



Т. М. НИКОЛАЕВА

ОТ ЗВУКА К ТЕКСТУ

ЧЕЛОВЕК И ЯЗЫК

**ЯЗЫК: РАЗГАДКИ
И ЗАГАДКИ**

ЯЗЫК И ТЕКСТ

Татьяна Михайловна Николаева родилась в 1933 г. Училась в Московском университете на филологическом факультете на отделении русского языка и литературы. С 1957 года жизнь ее связана с Академией наук: 1957–1960 – работа в группе машинного перевода Института точной механики и вычислительной техники. 1958–1962 гг. – заочная аспирантура в Институте языкознания (руководитель – проф. А. А. Реформатский).

С 1960 г. по настоящее время работает в Институте славяноведения РАН, где с 1990 г. заведует отделом типологии и сравнительного языкознания. (Первым заведующим был В. Н. Топоров, а в течение тридцати лет отделом руководил Вяч. Вс. Иванов.)

1962 г. – присуждена кандидатская степень (диссертация посвящена проблемам машинного перевода).

1975 г. – присуждена докторская степень (защита диссертация по типологии фразовой интонации славянских языков).

1992 г. – присуждено звание профессора.

2000 г. – избрана членом-корреспондентом РАН.

Т. М. Николаева – автор 400 опубликованных работ, в том числе монографий: «Опыт описания русского языка в его письменной форме» (1965, в соавторстве), «Интонация сложного предложения в славянских языках» (1969), «Фразовая интонация славянских

языков» (1977), «Семантика акцентного выделения» (1982), «Функции частиц в высказывании» (1985), «Просодия Балкан» (1996), «“Слово о полку Игореве”: Лингвистика текста и поэтика» (1997), «“Слово о полку Игореве” и пушкинские тексты» (1997). Под ее руководством издан ряд коллективных трудов; ею подготовлены к изданию и сопровождаются вступительной статьей книги: «Лингвистика текста» (в серии «Новое в зарубежной лингвистике», вып. 8, 1978) и «Из работ Московского семиотического круга» (М.: ЯРК, 1997).

Основная сфера интересов – общее языкознание, семиотика, типология языков, анализ текста, славистика, русистика, интонация фразы, словесная просодия, содержательные грамматические категории.





ЯЗЫК . СЕМИОТИКА . КУЛЬТУРА



Т. М. НИКОЛАЕВА

ОТ ЗВУКА К ТЕКСТУ



ЯЗЫКИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва 2000

ББК 81.2Рус-67-1
Н 63

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)

проект 99-06-87007



Николаева Т. М.

Н 63 От звука к тексту. – М.: Языки русской культуры, 2000. –
680 с. – (Язык. Семиотика. Культура).

ISBN 5-7859-0117-X

В рамках единой объясняющей теории обобщены многочисленные результаты исследований автора в области языковых, коммуникативных и семиотических систем. Представлены конкретные и общетеоретические размышления автора на широком филологическом поле: от звука – к интонации высказывания – к слову и концепту – к коммуникативному синтаксису – к тексту.

ББК 81.2Рус-67-1

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки русской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-7859-0117-X



9 785785 901179 >

- © Т. М. Николаева, 2000
- © А. Д. Кошелев. Серия «Язык. Семиотика. Культура», 1995
- © В. П. Коршунов. Оформление серии, 1995

Содержание

Введение	11
----------------	----

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕЛОВЕК МАНИПУЛИРУЕТ ЯЗЫКОМ

§ 1. Общие теоретические предпосылки	13
1. Системы валоризованные и эмпирические	13
2. Лингвистика на исходе XX века	16
§ 2. Диахрония или эволюция?	19
1. Лингвистическая теория и языковые изменения	19
2. Гипотеза о законе языковой эволюции	30
3. Какие же языковые компоненты можно считать исходными?	34
§ 3. Просодическая схема слова. Словесное ударение — факт поздней валоризации	43
§ 4. Ударение — в отличие от просодической схемы. Акцентное выделение — в отличие от «фразового ударения». Изоморфизм моделей	56
§ 5. Акцентное выделение как средство языковой компрессии. Способы формирования дополнительных «смысловых строк» в пространстве восприятия высказывания-1	64
1. Акцентное выделение и контраст	65
2. Акцентное выделение и важность	66
3. Акцентное выделение и эмфаза	68
4. Акцентное выделение и актуальное членение	70
5. Акцентное выделение и «введение в экстраординарную ситуацию»	73

§ 6. Акцентное выделение и языковые частицы. Способы формирования дополнительных «смысловых строк»-2	80
1. Частицы: аксиомы и парадоксы	81
2. Частицы и «акцентирование»	85
3. Частицы и ситуации. «Скрытая» семантика частиц	92
§ 7. Строки прозаическая и поэтическая: проблемы первичности и вторичности	105
§ 8. О возможных причинах модификации латинской и греческой словесно-просодических моделей	112
§ 9. Идея первичной и вторичной семантики грамматических категорий. Способы построения дополнительных «смысловых строк»-3. Употребление неопределенных и притяжательных местоимений и способы передачи дополнительной информации	118
1. Грамматические категории и три этапа их эволюции	118
2. Русские неопределенные местоимения: функции первичные и вторичные	119
3. Поссесивы и их «дополнительная семантика» (т. е. «дополнительные коннотации»)	126
§ 10. История одного поссесива — стремление к языковой компрессии	134
1. <i>Свой</i> : языковые данные	136
2. Опыт иерархии лингвистических интерпретаций	141
§ 11. Речевые стереотипы, цитации, фразеологизмы, клише. Способы формирования дополнительных «смысловых строк»-4. Сходство «стереотипов» и суперсегментных просодических моделей	147
§ 12. «Лингвистическая демагогия» — мощное средство убеждения коммуниканта	155
§ 13. Понятие «валоризации», оппозиции Н. С. Трубецкого и ментальные стереотипы, определяющие вид речевого поведения	162
§ 14. Краткие выводы	174
Примечания	177

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЯЗЫК — РАЗГАДКИ И ЗАГАДКИ

§ 1. Краткое введение	179
§ 2. Интонация. Ее составляющие — параметры. Их функционирование	182
1. Три интонационных слоя звучащей фразы	185
2. «Компенсационный» закон А. М. Пешковского	192
3. Попытка определения интонымы	203
4. Интонация и синтаксис	210
5. Интонация и морфология	211
§ 3. Интонация и типология. Основные интонационные модели славянских и балканских языков	212
1. Уровни типологического сопоставления фразовой интонации	212
2. Трудные проблемы типологического описания фразовой интонации	222
3. Основные интонационные модели славянских языков	228
А. Общие характеристики	228
Б. Анкета. Описание интонации	231
В. Некоторые гипотезы	234
4. Кое-что о просодии Балкан	236
А. Сведения о просодии Балканского языкового союза	236
Б. Основные интонационные типы и их просодическая структура	243
§ 4. Универсальность vs. типологичность просодической схемы. «Неоштокавский сдвиг» и его возможные причины. Временные загадки балканской просодии	252
1. Просодическая схема-2	252
2. «Неоштокавский сдвиг»	256
3. Временные загадки балканской просодии	260
§ 5. Чем притягивается словесное ударение? «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском словосочетании	270
1. Место ударения и фонетический состав слова	271
2. «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском именном словосочетании	282
§ 6. Что стоит за сложными правилами русской пунктуации?	291
§ 7. Три типа сегментных указателей межфразовой связи. Их иерархия	298

§ 8. Как изучать коммуникативные частицы? Общепризнанные положения. Парадоксы изучения частиц. Проблемы описания	303
1. Общепризнанные положения	304
2. Парадоксы изучения и описания	310
3. Проблемы описания	314
§ 9. Русские дейктические частицы, их функционирование в <i>n</i> -мерном пространстве. Что является «ближним дейкисом» — <i>вот</i> , <i>вон</i> или <i>это</i> ?	321
§ 10. Славянский партикулярный фонд. Формульная структура. Славянские языки и формально-смысловая структура. Какая смысловая категория пласта партикулярных лексем является доминантной? Некоторые неславянские параллели	327
1. Формульная структура славянского фонда партикул	328
2. Славянские языки и формально-смысловая структура пласта партикулярных лексем	339
3. Какая смысловая категория пласта партикулярных лексем является доминантной?	342
4. Некоторые неславянские параллели	344
§ 11. Частицы и формальная структура высказывания	347
§ 12. Понятие акционального статуса и различие <i>хотя</i> и <i>хоть</i> в синхронии и диахронии	363
§ 13. <i>Этот</i> , <i>его</i> , <i>этот его</i> и славянская «модель мира». Об одном подходе к интерпретации посессивных значений	378
§ 14. Качественные прилагательные и установка на стабильность в корреляции с языковой «картиной мира»	387
1. Прилагательные и характеристики внешних объектов	389
2. Прилагательные и представление о нормативном статусе мира	390
3. Прилагательные и субъективно-объективные свойства	393
4. Прилагательные оценки лица	394
§ 15. «Модель мира» в грамматике паремий. Грамматика паремий как социальный фактор. Различие в социализации и глубинной грамматике пословиц и загадок	397
1. Социальные функции паремий	398
2. Предикат в пословице и загадке	401
3. Референциальный статус имени	404
4. Корреляты пропозиции	407
Примечания	408

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЯЗЫК МАНИПУЛИРУЕТ ТЕКСТОМ

Краткое введение	411
§ 1. Общие положения. Единицы языка и теория текста	412
1. «Лингвистика текста» и ее эволюция	412
2. Билатеральность знака в тексте и идеи текста как пространства	417
3. Дешифровка «неочевидных смыслов»	422
4. Дешифровка текста и языковые уровни	424
5. Функциональная иерархия языковых единиц	427
6. Реляционные грамматические показатели и текст	433
§ 2. Звуки в тексте	437
1. Звукопись — один из ведущих принципов поэтики «Слова»	437
А. Начала	442
Б. Темы	443
В. Фуги	444
Г. Анаграммы	447
2. Звуки, которые слышат только поэты. «Из пламя и света рожденное слово...»	449
1. Тип звука и его характеристики	455
2. Время восприятия звуков поэтами	456
3. Предполагаемый источник воспринимаемого звука	458
4. Состояние души поэта перед восприятием звука	460
5. Творческая реакция поэта — исход стихотворения	460
§ 3. «Незнаменательные слова» и текст	462
1. <i>А мы швейцару: «Отворите двери!»</i> (В развитие идей Дмитрия Николаевича Шмелева о цельности семантики лексемы)	462
2. Семантика убеждения: лингвотекстологический анализ речи Марка Антония над гробом Цезаря в драме Шекспира	468
§ 4. Текст и грамматические показатели	475
Русские — Половцы	475
§ 5. Число и текст	484
Числовые модели порока и добродетели (Семантика «оцифрованного времени» в «Манон Леско»)	484
§ 6. Лексико-грамматические скрепы	488
Функционально-смысловая структура антитез и повторов в «Слове о полку Игореве»	488

§ 7. Текст — диалог поэтов	504
1. Образы, навеянные «Словом», в пушкинских текстах	504
А. Образы-персонажи	505
Б. Образы-впечатления	513
В. Образ географический — маршрут Лжедмитрия	514
2. Автор «Слова» и Боян	515
3. Пушкин и Боян	522
4. Смерть властелина на охоте: «Охота» Н. С. Гумилева и «Сероглазый ко- роль» А. А. Ахматовой	541
§ 8. Текст как пространство	551
Евгений Онегин, «Адольф» и загадочная Татьяна	551
§ 9. Текст в тексте	564
Метатекст и его функции в тексте (на материале Мариинского Евангелия)	564
К чему восходит текст о безвременно погибшем юноше?	578
Реконструкция единого «сна» у одиннадцати пушкинских героев	581
§ 10. Текст и жизнь	597
О возможном влиянии одного текста О. Бальзака на судьбы русских поэтов ..	597
Примечания	611
Литература	614
Список трудов Татьяны Михайловны Николаевой	660

Введение

Жанр предлагаемой читателю книги определить довольно трудно. Безусловно, она в каком-то смысле эклектична. Безусловно и то, что она является неким итогом работы автора в течение последних двадцати пяти лет. Труды первых двадцати лет существования в филологической среде сейчас не представляются интересными никак и ни в коей мере. Однако в Библиографию в конце книги они также включены.

Разумеется, на суд читателя хочется представить прежде всего теоретические выводы, но хочется также и предложить общему вниманию конкретные исследования и наблюдения, некоторые из которых кажутся не неудачными. В то же время не хотелось превращать эту итоговую книгу просто в сборник лучших статей, как это иногда бывает. Не хотелось и придавать ей явно искусственную цельность, сочиняя нечто вроде «перемычек» между опубликованными — давно или недавно — работами.

Наконец, перу автора принадлежит около десяти опубликованных монографий. Как быть с ними? Или не обращаться к ним совсем, или «вынимать» из них избранные отрывки? И это тоже было серьезной проблемой презентации своих трудов под одной крышей.

Можно сказать только одно: на протяжении всех сорока пяти лет работы проблематика всегда для меня доминировала над тематикой. Я кончала Университет в 1956 году по кафедре Общего языкознания, одновременно учась на отделении русского языка и литературы. Любовь и к тому, и к другому никак не вытравлялась последующими специализациями.

Поэтому была выбрана композиция книги, несколько неединообразная по основанию. Первая часть, по моему замыслу, демонстрирует общий теоретический результат всех моих лингвистических исследований. Отдельные, более конкретные наблюдения служат при этом иллюстрацией общей теории. Вторая часть — это исследования, если можно так сказать, тематические. Во второй части также отражено внутреннее продвижение, но уже в пределах принятого структурирования языковой системы. В этом смысле пусть не покажется странным, что одни и те же языковые феномены — просодические единицы, частицы, показатели неопределенности/определенности и проч. — оказываются распределены по разным главам: в первой главе они подтверждают общую мысль, а во второй они исследуются как таковые.

Особой специфической теории анализа текста, отличной от работ Московской семиотической школы, принципы которой были мною изложены несколько лет тому назад, у меня нет. Поэтому цель третьей главы — продемонстрировать конструктивную активность методов этой школы на примере своих работ по анализу текста и функционированию в нем речевых явлений — действительно, «от звука к тексту».

Библиография к этой книге может продемонстрировать как бы некий разброс интересов исследователя, но это именно разброс только исследовательской арены. На самом деле практически меня всегда интересовало нечто одно. Что именно — я постараюсь показать ниже. Во всяком случае, название книги «От звука к тексту» очень верное. Меня интересовало и движение от текста к звуку (включая и другие единицы), и, напротив, функционирование в тексте разных языковых единиц.

Наконец, «От звука к тексту» предполагает и какую-то достаточно большую промежуточную зону. Разумеется, на ней, на этой шкале, располагаются слова — знаменательные и незнаменательные, интонационные единицы, семантика звучащего синтаксиса, анализы текстов художественной литературы, анализ социального речеповедения разных русских слоев. Проще говоря, меня всегда притягивали какие-то сами собой возникавшие загадки, и я устремлялась их решать, не всегда должным образом оглядываясь на качество своей подготовки.

Тяжелой и мучительной проблемой для меня было то, что, обобщая и осмысляя былые свои работы, я оказалась не в состоянии фундировать их современной литературой, это было уже просто невозможно сделать по всем разделам. Поэтому я приношу искренние извинения всем тем достойным ученым, которые справедливо могут предъявить ко мне претензии по поводу неучтенности их идущих к делу работ. Это происходит от физической невозможности учесть все или просто от незнания. Именно поэтому я старалась включить в эту книгу те свои исследования, где, как казалось, было меньше обзорности, меньше дескриптивности и больше «своего».

Введения к подобным изданиям, как правило, заключаются благодарностями. И я благодарна от души очень и очень многим. И за человеческое добро, и за то, что у них многому было можно учиться. И я старалась воспринять от многих многое — открыто и непредвзято. В этой непредвзятости, возможно, были и плюсы, и минусы.

Но, выбирая — не без гордости за имевшие место человеческие и профессиональные контакты и с некоторой неловкостью за столь скромную отдачу — тех, кто повлиял на меня в наибольшей мере, хочу назвать прежде всего Александра Александровича Реформатского, Вячеслава Всеволодовича Иванова, Владимира Николаевича Топорова и Андрея Анатольевича Зализняка.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧЕЛОВЕК МАНИПУЛИРУЕТ ЯЗЫКОМ

§ 1. Общие теоретические предпосылки

1. Системы валоризованные и эмпирические

Прежде чем переходить к более конкретным анализам и результатам, необходимо изложить общие посылки, дальнейшее развертывание которых по сути и составляет текст данной части.

1. Первый из них — это все подкрепляющееся за годы работы убеждение в существовании в сознании человека, по крайней мере, двух систем. Одна из них представлена системным набором несколько абстрагированных **фактов эмпирии**, наблюдаемых и обобщенных в зависимости от возможностей данного реципиента. Вторая система, которую, вслед за Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном, я предлагаю назвать «**валоризованной**», с первой системой «соотносится», но ее единицы не являются прямым обобщением по отношению к единицам первой системы, то есть они не связываются с ними родо-видовыми отношениями, как бы эти единицы ни назывались.

Эти положения в сущности не оригинальны, именно на них опираются все исследования о «фонологизации», о перестройке фонологических систем и т. п. В большой степени они соотносятся и с учением о «холодных» и «горячих» культурах, ибо эти идеи К. Леви-Стросса можно интерпретировать так, что в «холодных» культурах единицы валоризованной системы более ригидны и наблюдаемым фактам эмпирии трудно пробиться через этот ментальный «панцирь». В «горячих» культурах отношения между этими двумя системами более гибки и реципрокны по существу.

Новой, как мне кажется, является установка на то, что сосуществование этих двух систем (по крайней мере, двух!) пронизывает всю ментальную структуру homo sapiens. Существенно то, что эти системы могут перестраиваться — частично или полностью, но эта перестройка не есть процесс простого накопле-

ния фактов эмпирии, к тому вынуждающих, хотя, несомненно, количественный фактор тут существенен, и обычно «валоризуется» некий феномен эмпирии, превысивший количественный порог перцепции.

Эмпирия и ее факты связаны с жизнью, которая изменяется и предлагает нам новые модели. Перцептивно-когнитивные модели при этом бывают различны: они определяются личностной гибкостью, прежде всего социально-интеллектуальной принадлежностью, и многими другими факторами. Поэтому не «всякий, имеющий глаза, видит». И в жизни мы считаем кого-то хорошим человеком, потому что «так принято», хотя реальное добро делает (делают) совсем другой, кого-то считают «вором», хотя он ничего не воровал, считаем скромным честолюбца, мы проходим мимо очевидных явлений, не замечаем явных изменений и т. п. Девализация обычно приходит откуда-то извне — то есть уже в готовом виде. Наивно предполагать, что изменение валоризованной системы зиждется на чисто количественном фундаменте: недостаточно объяснили, мало знает... и под.

Именно поэтому интересно взглянуть иными глазами на андерсеновского мальчика из сказки о новом платье короля. Что же он, собственно, сделал: а) просто нарушил правила этикета, громко объявив то, что видели все; б) увидел то, чего другие искренне не видели; в) перевел факты эмпирии в валоризованную систему (то есть видели-то все, но заставляли себя не переводить этот факт эмпирии в явленный валоризованный феномен)? Мы считаем, что последнее, иначе сказка о детском простодушии и искренности была бы слишком пресной.

Несомненно также, что «плотность» валоризованной системы бывает различной: представляется, что для так называемых «традиционных» культур она максимализирована, поэтому они и «холодные», то есть не развивающиеся. (В этом отношении были бы очень интересны и важны исследования об эволюции «традиционных систем» и, главное, о тех узлах системы, где эта эволюция осуществляется, то есть важна динамика этих систем, какая это именно динамика и типология этих динамик.)

Валоризованную систему, несомненно, представляет и сам язык. Так, как мы его понимаем и преподносим. Как и почему язык валоризуется, я ответить не могу. Однако очевидно, что знаменитый тезис Сэпира-Уорфа о том, что язык оказывает влияние на поведение и мышление представителей той или иной нации, можно представить и симметричным образом: мы создаем себе язык сами, ибо язык (во всяком случае — на историческом отрезке времени) не дан нам извне, а сформирован нами же.

Но валоризованную систему представляет и сама лингвистика, как и всякая наука вообще. Поэтому лингвисты могут долго не замечать языковых изменений и не откликаться на данные новых исследований. Особенно это станет очевидно далее, при обсуждении вопросов, связанных с системой просодии и интонации.

Очевидно, что язык сам по себе в принципе — это «горячая культура». Но для нас, лингвистов, все, что связано с языком, подлежит по сути четырем типам модификаций. Во-первых, изменяются эмпирические факты языка — каждый раз под влиянием разных факторов. Во-вторых, валоризуется надстроенная над фактами языка языковая система. В-третьих, накапливаются наблюдаемые факты языка как материал для языковеда, и в то же время вообще изменяется стиль науки каждой эпохи. И наконец, в-четвертых, модифицируется валоризованная ранее система самой лингвистики.

2. Естественно, что из первого постулата вытекает второй: твердая установка на **антропоцентричность** всякого бытия, и прежде всего — языкового. При этом, разумеется, не отрицается возможность самоперестроек языковой системы, то есть существование языка как самостоятельного целого. Иначе говоря, автор придерживается того взгляда, что история лингвистики XX века доказала несколько иную трактовку знаменитого соссюрковского тезиса. А именно — язык изменяется в самом себе, но — не для себя!

3. Третьим опорным постулатом излагаемой ниже концепции является установка (и вера!), что языковые системы движутся в определенном направлении, которое можно считать эволюцией языка (не обсуждая при этом аксиологические проблемы — хорошо это или плохо — не нам судить, возможно, так мы запрограммированы и «не можем иначе»). Эволюция, в нашем понимании, связана с телеологией, с некоторой единой целью для всех языков. Какова же эта цель? Что под этим понимается в данной книге?

Автор считает, что этой целью является установка на многоканальность речевого сообщения, то есть

на передачу все большей информации в единицу времени.

Информация при этом понимается очень широко — это и действительность, включая разные способы передачи ситуации и ее составляющих, и отношение к ней говорящего, и средства убеждения коммуниканта, и неясные «колеблющиеся значения», возникающие вокруг слова, особенно в стихе, и рефлексии диахронических моделей.

Близкие к этому утверждения высказывались. Это и идея «экономии», и «лени», и идеи опрощения и ряд других. Но, как кажется, именно XX век поставил более четко вопрос о количестве информации, которую тот или иной язык способен передавать. Поскольку единица времени (как мы это понимаем на упрощенном уровне) меняться не может, то модификации подлежит сам язык и его выразительные средства. Как это происходит и как может происходить — будет подробно обсуждаться в следующих разделах настоящей части. Происходит ли это во всех языках? Разумеется, нет. Происходит ли этот процесс одновременно в «передовых» языках? Тоже нет. Используются ли при этом одни и те же средства в достижении указанной цели? Также нет, и это и должен изучать лингвист. Иначе говоря, языки как люди. Есть среди них и весьма продвинутые, есть и совсем не развивающиеся, есть и борющиеся за жизнь всеми

возможными способами. И в этом отношении, перевернув стрелку исследовательского внимания, можно по-новому посмотреть на отношения языка и его диалектов: без пассаистского умиления, но выявив, чего же диалекту не хватило, чтобы достичь уровня литературного языка элиты.

Значит ли это, что все языки, скажем древние, скажем, были отстающими по сравнению с языками современности? Также нет. В частности, стадильная разница более зрелого греческого и создаваемого старославянского уже обсуждалась и утвердилась.

Кроме того, необходимо сразу же оговорить, что идея однонаправленного языкового развития ни в коей степени не отрицает возможности языка сохранять и использовать в их активном функционировании предшествующие и даже самые ранние его модели. Так, например, активное развитие парадигматики интонационных фигур и склеивание слов в синтагмы не отрицает и не уничтожает слоговые структуры и их дистрибуции.

И все же — можем ли мы говорить о тех особенностях языкового строения, которые мешают языковой системе занять передовые места?

Именно этому посвящена данная книга.

Итак, автор хотя и находится под сильнейшим влиянием идей Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона, но явно причисляет себя к той ветви филологии, которая связана с именами В. Гумбольдта, А. А. Потебни, Э. Сэпира, О. Есперсена, отчасти — сторонников «нового учения о языке», отчасти — немецкой школы «телеологов», отчасти — современной теории «девелопменталистов».

2. Лингвистика на исходе XX века

Подвести итоги всему, сказанному выше, удобнее всего, приведя полностью тезисы основных положений моего пленарного доклада, сделанного на Международной конференции 1995 года, «Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы»:

1. Как представляется, движение лингвистики XX века было дрейфом от тезиса о функционировании языка «в самом себе и для себя» в тезис — «под влиянием внешних обстоятельств и для нас». С этим связан и дрейф интереса от того, Как язык связывает человека с Действительностью? к тому, Как язык связывает Человека с действительностью?

Эта несомненность антропоцентричности новой науки не должна, конечно, строиться на отрицании эмпирико-позитивистских достижений дескриптивной таксономии.

2. Антропоцентричность прогнозируемой лингвистической парадигмы неизбежно предполагает глубокие изменения в общей структуре многих языковедческих ветвей.

3. Прежде всего она предполагает возвращение к теории языкознания, т. е. интерес не только к **языкам**, но и к **языку**. Существенным при этом может стать функциональный аспект языковых феноменов, и тем самым повысится интерес к таксономии нового типа — с функциональной ориентацией.

4. Функциональная ориентация, понимаемая достаточно широко, приведет к отказу от ряда наивных иллюзий середины XX века об обязательности установки коммуникантов на «коммуникативную удачу», на желание как можно точнее передать сообщаемую мысль.

5. В связи с этим существенным станет выявление ряда «неявных» и «потенциальных» установок в коммуникации, опирающихся на социальные, прагматико-социальные, ролевые и личностно-психологические факторы.

6. Поэтому неизбежен интерес к **пресуппозитивным факторам** в речевой коммуникации и их развитию в пользовании языковой системой.

7. Отсюда важной может оказаться и теневая сторона коммуникации — определение того, что данная коммуницирующая личность **не говорит**, чего **не употребляет**, чего **не называет** и как изменяет свою речь в изменяющихся ситуациях общения.

8. Это, в свою очередь, связано с повышением интереса к социальному фактору в языке — созданию социолингвистических портретов, описанных не только с точки зрения порождаемых высказываний (текстов), но и с перцептивной точки зрения: как может быть связан социолингвистический статус и **рецепция информации** в коммуникации, и — в связи с этим — интерес к дистрибуции информации в высказывании.

9. Прогнозируемым в этом плане является новый аспект обращения к данным диалектного языка — сравнение его с литературным по степени адекватности передачи коммуникативных установок разного типа.

10. Подобные исследования не могут оставаться в пределах описания одного языка: неизбежно они приведут к созданию принципиально новой **типологии языков**, сопоставляемых не только формально, но и содержательно с изучением их функциональных возможностей.

11. Важным в типологии нового типа представляется исследовать соотношения разных языковых уровней в аспекте компенсаторных антиномий коммуникативной недостаточности и сопоставления языков в этом плане.

12. Поэтому возможно появление новой дисциплины — **коммуникативной типологии языков**.

13. Изменение парадигмы синхронного описания неизбежным образом связано и с изменением отношения к корреляции оси: типология/компаративистика, что является в настоящее время в большей степени «горячей точкой» языкознания, чем представленные выше проблемы языковой синхронии.

14. Типология диахронических изменений предполагает изменение внимания от **Как?** не только к **Почему?**, но и к **Зачем?** То есть неизбежно введение телеологического (и аксиологического?) компонента в диахроническое описание.

15. Автором тезисов было предложено обсуждение гипотезы о том, что **Язык развивается в сторону увеличения передаваемой информации в единицу времени**. Иначе он сдаст свои коммуникативные позиции. Дальнейшие исследования могут верифицировать это положение.

16. Интересным и совершенно новым в этом плане может явиться изучение компенсаторности языковых возможностей на этом указанном этапе развития, которые определяют статус и типологию отдельных языков и будут служить основой **диахронической типологии**.

17. В связи с этим по-новому возникает вопрос о фонологизации/грамматикализации языковых феноменов (т. е. валоризации, по Трубецкому и Якобсону), которые, в свою очередь, могут обнаружить разное время валоризации элементов одного и того же ряда и/или одной языковой системы.

18. Это, несомненно, приведет к новому критерию **верификации реконструируемых систем**. То есть, иначе говоря, прежде чем поставить вопрос о том, каким было ударение в реконструируемом языке, нужно будет сначала доказать, что это был язык того диахронического типа, где ударение уже было фонологизировано.

19. Вероятно, в связи с этим вновь вызовут лингвистический интерес всевозможные классы диффузных элементов, еще не прошедших секуляризацию и валоризацию. Таким образом, реконструируемая система может в большей степени, чем теперь, отдалиться от своих языков-потомков.

20. С усилением внимания к диффузности в языковой таксономии более смелым явится признание значительного числа **исходных первичных** элементов со столь же диффузной и полифункциональной семантикой, которые нет необходимости сводить обязательно к «застывшим» формам неких иных классов, как это сейчас делается в словарях по отношению, например, к частицам.

21. Наиболее увлекательным компонентом диахронического исследования может быть облигаторность ответа на вопрос Почему? при завершении диахронического исследования. Например, ответ на вопрос, почему балтийские и славянские языки отражают общенаследованные тоны и рефлексy гласных по-разному?

22. Новая лингвистика, безусловно, поставит вопрос о возможности **тупиковых** диахронических преобразований, не сохранившихся к настоящему времени и не отраженных в синхронном состоянии. Наличие тупиковых путей характеризует развитие Человека и всех его реализаций в диахронии; в этом отношении язык не может быть принципиальным исключением.

23. Широко распространенная интерпретация языковых изменений через контактные заимствования может обогатиться теорией **сильных/слабых компонентов** языковой системы (как в универсальном, так и в типологическом плане) по их интерференционным возможностям. Возможно, это даст новый тип верификации истории и миграций каждого народа — носителя языка.

24. Общая установка на антропоцентричность языкознания приведет к большему вниманию к роли социального и историко-социального факторов в языковых изменениях и выявлению универсалий/типологии языков в этом плане.

25. Быть может, лингвистика XXI века найдет пути к решению вопроса, столь занимавшего лингвофилософов XX века. Это вопрос о соотношении трех компонентов: Языка, Действительности и Привязки языка к действительности. Очевидно, в первой половине XX века определяли, как язык описывает действительность, во второй — что вкладывает «человеческий» фактор в языковое описание действительности. Лингвистика (и/или философия) будущего, возможно, займется вопросом о том, что же представляет собой пересаженная в сознание человека действительность — если ее оторвать от языковой оболочки — и возможно ли это.

§ 2. Диахрония или эволюция?

1. Лингвистическая теория и языковые изменения

При обсуждении языковых изменений могут вставать четыре типа вопросов: изменяется что? изменяется как? изменяется почему? и изменяется зачем? Более распространенными являются ответы на первые два типа вопросов. Вопросы третий и четвертый часто смешиваются (и в речеупотреблении также — см.: *Он сделал это из-за денег / Он сделал это ради денег*). Что считать «объяснением» в применении к диахроническим исследованиям? Мыслимо ли вообще объяснение какого-либо процесса без понимания внутреннего механизма этого процесса? Мыслимо ли понимание каузирующих явлений без прогнозирующих выводов? Предполагает ли телеологическая интерпретация лишь вероятность в достижении некоей цели, или достижение ее считается абсолютным? И, наконец, сами языковые тенденции к изменению — это средство, причина или сама цель?

Эти призывы были в свое время обращены к языку Р. Якобсоном: «В нынешней иерархии ценностей вопрос куда котируется выше вопроса *откуда*... Цель, эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется» (Jakobson 1962; 144).

Взрыв интереса языковедов к проблеме случайного/неслучайного, телеологического/спонтанного, аксиологического/не-аксиологического в языковом развитии можно отсчитывать с начала 80-х, когда вышли в свет две ставшие сразу популярными монографии: Р. Лэсса (Lass 1980) и Дж. Айчисона (Aitchison 1981). Р. Лэсс провозгласил в качестве ведущего принцип у н и ф о р м и т а р н о с т и, т. е. иначе говоря, в языковом развитии не допускается какое-либо изменение, которое не было бы зафиксировано в типологии. «Не существует ничего (т. е. никаких событий, последовательности событий, комбинаций явле-

ний, общих законов), что по каким-либо разумным причинам не могло бы существовать в настоящем, но было бы истинным для прошлого» (Lass 1980; 55). И в более поздних работах Р. Лэсс повторяет этот тезис и тезис о том, что языковые изменения не подлежат рациональному объяснению. «Я не думаю, что языки — это „системы“ в собственно техническом (т. е. системно-теоретическом) смысле, и что их, таким образом, можно удачно диахронически рассмотреть, даже если бы они и были таковыми» (Lass 1980; 89). В другой работе Лэсс отмечает, что языковые изменения в принципе не подлежат объяснению (Lass 1987; 151). Сходные мысли были высказаны и в почти одновременно вышедшей книге Айчисона «Языковое изменение — прогресс или упадок?». По мнению Айчисона, сдвиги в языке могут иметь столь же разнообразные и случайные поводы, как и дорожные происшествия, а причины изменений так же загадочны, как мода носить три пуговицы на жакете в прошлом году и две — в этом. В изменениях языка есть что-то от Чайного приема у Безумного шляпочника у Л. Кэрролла. «Смерть языка» никак не связана с его возрастом. Однако в конце книги (по существу, популярной по жанру) Айчисон допускает, что «все-таки всегда можно предположить, что язык развивается неким мистическим способом, который лингвисты еще не идентифицировали» (Aitchison 1981; 234). К этим же критическим идеям присоединяется и известный историк синтаксиса Д. Лайтфут (Lightfoot 1981; 34): «Было бы ошибочным иметь дело с той довольно ограниченной теорией грамматики, которая приводит к учету неких мистических условий, к телеологическому подходу, к памяти расы и подобным „объясняющим“ принципам». Несколько позднее Д. Лайтфут повторяет упрек телеологам и эволюционистам в мистицизме, защищая от этого направления знаменитый «дрифт» (drift) Э. Сэпира: «Сэпир не предлагал считать drift неким объясняющим принципом, и потому его труды кардинально отличаются от более позднего „типологического“ подхода: ему удастся избежать эксплицитного мистицизма Лэкоффа, телеологических фантазий, обращения к так называемой памяти расы, которые претендуют на осмысленность в некоторых новых работах» (Lightfoot 1984; 219). И далее: «Нет смысла работать с очевидно ограниченной грамматикой такого типа, которая ведет к неким мистическим условиям» (Lightfoot 1984; 234).

Однако все приведенные выше цитаты относятся к началу 80-х, а уже в 1984 г. компаративист нового поколения Т. Марки характеризует «девелопменталистов» самым положительным образом: «Они внесли в науку яркую инновацию. Им удалось выявить модели изменения языка, которые не являются ни таксонометрическими, ни чисто дескриптивными, но по сути своей являются инструментами интерпретации. Прежние же лингвисты вполне удовлетворялись, торгуя чистой воды описаниями» (Markey 1984; 68, 69).

Но в современных объяснениях языковых изменений телеология, однако, отрицается даже сторонниками «объяснительного» подхода к диахронии. Так, в частности, тот же Р. Лэсс (Lass 1987) считает, что все изменения возможны,

но не обязательны, что язык прихотливо изменчив, подобно моде или искусству, но язык — отчасти и игра, поэтому изменения не всегда естественны и далеко не всегда закономерны. Между тем философ Владимир Соловьев писал почти сто лет тому назад: «Ряд изменений без известной исходной точки и продолжающийся без конца, не имея никакой определенной цели, не есть развитие... Определив закон развития, мы определим и цель его» (Соловьев 1988; 142). И — самое главное — он пишет далее: «Наука, как ее понимает позитивизм, отказываясь от вопросов *почему* и *зачем* и *что есть*, оставляющая для себя только неинтересный вопрос *что бывает* или *является*, тем самым признает свою теоретическую несостоятельность» (там же; 167—168).

Однако, если и принять идею телеологии языкового развития, до сих пор столь многими отрицаемую, то, строго говоря, это еще не означает, что эта цель видится единой: в принципе вопрос о цели может иметь плюралистичное решение — либо у разных языков могут быть разные цели, либо в процессе изменения эти цели могут варьироваться, либо обе эти возможности могут сочетаться.

Самая известная формулировка именно этой однонаправленности языкового движения, очевидно, принадлежит Э. Сэпиру. Это — знаменитый drift: «... историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам» (Сэпир 1934; 95).

Однако однонаправленность языкового развития с легкостью принималась только для отдельных участков языковой системы и вызывала скепсис — как обобщение.

Приведем примеры подобных наблюдений для различных локальных аспектов языковой системы.

Так, В. Вермеер (Vermeer 1987), исследуя так называемый «прогрессивный акцентный сдвиг» в южнославянских языках, намечает однонаправленность модели его осуществления: шесть этапов, распределенных по шкале от перехода ударения со слабого ера на открытый конечный слог (sъtô) до переноса от «полного» гласного на открытый следующий слог (oсi).

Локальную однонаправленность можно проиллюстрировать и примерами из синтаксиса. Например, среди прочих универсалий диахронии Дж. Гринберг сформулировал положение о том, что согласованные определения к имени должны со временем тяготеть к препозиции, а определения несогласованные — к постпозиции (Гринберг 1970). Именно этот процесс отмечался для состояния древнерусского посессива, который вначале следовал семантико-категориальной модели старославянского языка, когда в препозиции к имени ставился подчеркнутый, маркированный посессив, а в постпозиции — посессив нейтраль-

ный. (См. об этом подробно § 10 настоящей части.) Другими словами, русский язык в своем развитии полностью прошел путь приименных определителей, сформулированный Дж. Гринбергом.

Число таких примеров легко можно умножить, но почему-то словосочетание *однаправленность языкового развития* выглядит для лингвистов более пугающим, чем *совокупность диахронических универсалий*.

Единообразный и однонаправленный принцип эволюции отмечался и для самых ранних этапов становления тех или иных лингвистических категорий. В качестве примеров можно привести гипотезы лингвистов разных научных школ — Дж. Охала, Т. Гивона и Л. Г. Герценберга.

Дж. Охала известен своей теорией тоногенеза. Он принимает изначальную перцептивную близость консонантов, но потом после глухих, более напряженных, тон гласного оказывается выше, чем после звонких (или, говоря иначе, глухие порождают высокий тон, а звонкие — низкий); после этого происходит фонологизация тональных различий, которые перцептивно начинают связываться уже с гласными, в свою очередь разные тоны оказываются уже и после глухих, и после звонких (Hombert, Ohala, Ewan 1979; Hombert, Ohala 1982; Ohala 1984).

Л. Г. Герценберг связывает возникновение фонем с формированием слова из слогоморфем, то есть с переходом от языка слогоморфемного типа к языку, в котором основной единицей является слово (Герценберг 1981). Именно так возникает гетеросиллабическое состояние корня, корень утрачивает связь со слогом. Аллофоны, ранее зависевшие от контактных просодических характеристик, приобретают самостоятельный фонологический статус.

Таким образом, и Дж. Охала, и Л. Г. Герценберг конструируют и даже допускают некоторое состояние «до первотолчка»: до-тональное, до-фонологическое, до-словное. Впоследствии подобное состояние уже не регистрируется.

Сфера интересов Т. Гивона и сходно мыслящих с ним лингвистов (Givón 1977; Givón 1979) — это грамматико-синтаксический аспект становления самых ранних языковых систем. В центре внимания при этом находится коммуникативный уровень, а движущей силой при таком подходе является человек и развитие его дискурсивных установок.

Наиболее архаическим является такой порядок элементов в высказывании, который соотносится с их развертыванием в коммуникативной ситуации. Такой код Гивон называет «прагматическим». В дальнейшем прежнее иконическое становится знаковым. Язык осуществляет переход от прагматического кода к собственно языковому — происходит «синтактизация», которую языки осуществляют по-разному. При синтактизации речевая единица превращается в языковую — причем также специфическим способом у каждого языка.

Согласно анализируемой концепции, на уровне прагматического кода структуры разных языков представляются единообразными по модели. Различие способов синтактизации создает синхронно-типологическую дифференциацию

этих структур. В прагматическом коде корреляция формы и элементов содержания максимальна. Ее основные черты: 1) движение порядка слов от топики к комментарию; 2) свободная (*loose*) сочинительная связь, т. е. отсутствие подчинительных конструкций; 3) соотношение именных основ при глаголе минимально, примерно 1:1; 4) отсутствие флективной морфологии; 5) наличие особой интонации: низкий фокус на топике, затем — переход к мелодическому повышению на комментарию; 6) минимальность анафорики и, соответственно, зачаточное состояние местоимений как категории. Этот прагматический способ говорения, как пишет Т. Гивон, не исчезает, а сосуществует с новым, синтактизованным. Прагматический код близок по своей структуре к детской речи, к речи в свободной, нескованной ситуации; на нем изъясняются и плохо знающие язык иностранцы. Поскольку движение языка от прагматического способа к синтаксическому осуществляется постепенно, элементы того и другого всегда есть в языке, но в меняющихся пропорциях. Поэтому по сути каждый язык типологически эклектичен (*mixed typology*). Действительно, можно заметить, что многие высказывания, приводимые в исследованиях по русской разговорной речи (вроде *туфли Югославия / магазин Белград / там купила*), вполне соответствуют примерам на прагматический код, приводимым Т. Гивоном. Несмотря на типологическую эклектичность каждого языка, можно, в соответствии с этими критериями, разделить языки на топики-подчеркивающие (выдвигающие топик — вТ) и субъектно-подчеркивающие (выдвигающие субъект — вС), как это сделано в ставшей сейчас широко известной классификации Ч. Ли и С. Томпсон (Ли, Томпсон 1982). Эта классификация предлагается как синхронная, но характерно, что ее авторы говорят о циклическом движении от вТ к вС и обратно, отмечая новые компоненты языковой структуры на каждом этапе цикла. Даже в древних языках, например в хеттском, специально отмечается мена типа «от вТ к вС», причем топикиобразующий элемент *ku-* преобразуется в неопределенное и вопросительное местоимение (Justus 1976). Итак, и эта синхронная классификация по существу есть классификация д в и ж е н и я, что характерно для всего рассматриваемого направления в целом.

В связи с этим существенно определить функциональные причины синтактизации. В качестве основной называется стремление конденсировать смысловую насыщенность высказывания в единицу времени, т. е. за одно и то же время произнесения высказывания углубить его семантику, сделать высказывание «многоканальным», передав воспринимающему больше «смысловых строк» в одной и той же линейной последовательности. Поэтому не случайно в одном из анализируемых сборников помещена статья о структуре языка глухонемых ASL (*American sign language*), выработанном на базе английского языка (Friedman 1976). В силу специфики осуществления коммуникации абсолютная скорость ASL меньше естественной речи в 1,8 раза. Поэтому ASL ближе английского к смысловой агглютинации, причем развертывание начинается от топики. В этом языке не наблюдается анафорических замен, нет неопределенных местоиме-

ний — такой язык как бы первичен по своей сути и не может быть синтактизован.

Суммируя взгляды привлекаемых авторов, можно следующим образом обобщить разделяемую ими концепцию: 1) флективная морфология есть результат «склеивания» глагольной или именной основы с местоимениями и именами, ставшими местоимениями, а также — для аналитических форм — с десемантизованными глаголами; 2) развитие местоимений как таковых связано с активным развитием понятия анафорики, с явлением кореференции, т. е. с усложнением сообщаемого текста; 3) сама возникающая потребность в развитии уже предполагает мену топики. Таким образом, в пределах текстов первичных, с редко меняющимся топиком (последовательный рассказ о поступках одного человека, без временных и персонажных отклонений), возникают более сложные тексты с делением деятелей на старых и новых, дифференцируемых через местоимения; 4) новые имена необходимо каким-то специальным способом вводить в повествование. Для этого используются экзистенциальные конструкции с инициальным V: *Жил-был король*; 5) за именем старого деятеля (анафорическим) закрепляется первая позиция (начальная). Возникают конструкции SV, где S часто выражается местоимением; 6) из разделения имен концептуально на новые и упомянутые вытекает следующее важное положение: топик не обязательно тождествен агенту, он может быть и пациенсом, и объектом. Так возникает различие топики и субъекта; 7) за закреплением в языке порядка слов с анафорой в начальной позиции следует закрепление и более общей идеи порядка слов: более «топическое» передвигается влево, к началу. Порядок слов, линейная схема позиций становится ядром дискурсивных изменений; 8) потребность в синтактизации, в конденсировании смысла высказывания связывается непосредственно с расширением воспринимаемого мира, с пониманием его объема и его истории. Поэтому важным является и социальный статус изучаемого языка, активность его исторического развития, и давность и/или значимость его литературно-культурной традиции. Очевидно, судя по представленному нами суммарно перечню основных концептуальных позиций, в излагаемом направлении есть, с одной стороны, и наследие Ф. Боппа, а с другой стороны, и наследие О. Есперсена. Недаром Дж. Грин назвал книгу Т. Гивона «есперсенианской» (Green 1982).

Интересным, по нашему мнению, является трактовка процесса языковой эволюции как комбинаторного воздействия явлений, относящихся к разным языковым пластам и категориям, но действующим в одном направлении. Наиболее показательной в этом отношении представляется статья Т. Гивона о причинахмены порядка слов в древних текстах (Givón 1977). Это движение (от типа VS к SV) связано, по его мнению, со степенью топикальности (известности) субъекта. Она увеличивается по шкале «от экзистенциальной конструкции — к неопределенному имени — к определенному имени — к анафорическому местоимению». Поэтому экзистенциальная структура предпочитает син-

таксис VS, а анафорическая — SV. Т. Гивон рассматривает хронологически различные древние тексты сакрального характера. В более ранних текстах преобладает имперфект и порядок VS. В категориальном значении имперфекта доминирует континуальность, высказывания связываются через *и*, ткань повествования однопланова. По мере развития кругозора носителей языка ткань повествования меняется, происходит частая смена топика. Идентификация актанта может быть затруднена, поэтому важной становится активно вводимая анафорика, SV связывается с появлением нового топика и возникновением неимперфектных форм. Первоначально коммуникативные изменения грамматизируются: SV-структура становится возможной и при имперфекте, а континуальность входит в категориальное значение не только имперфекта, но и перфекта. Взаимодействие всех указанных выше факторов описано Т. Гивоном (Givón 1977). Итак, анафорика связывается с переменной точки зрения на мир, с возможностью создавать нечто вроде внутреннего цитирования и самоцитирования, с богатством или бедностью семантического потенциала антецедента; инициальная позиция местоимения зависит от некоторого неформального распознавания чего-либо как близкого или далекого. Для синхронного состояния подобные ситуации рассматривает Д. Болинджер (Bolinger 1979), критикуя, однако, поверхностный анализ кореференции, представленный во многих работах по структуре текста.

Комплексные изменения грамматических показателей под воздействием коммуникативно-прагматических установок особенно часто разбираются в анализируемых работах на примере следующей связи явлений: 1) посессивной структуры; 2) пассива; 3) перфекта с *иметь* или с *быть*; 4) эргативной конструкции. Становление эргативных языков в их отношении к неэргативным описывается во многих работах указанного направления. Значимость именно эргативности при коммуникативном подходе к языковым изменениям, в свою очередь, убедительно показана в ряде работ (Anderson 1976; Anderson 1977; Haas 1977).

Очевидно, что все эти градуальные комплексные процессы происходят как результат коммуникативной установки, при создании высказывания, а само высказывание реализуется на линейной оси. Поэтому основной ареной дискурсивных изменений и, соответственно, основным объектом анализа этого лингвистического направления является расположение элементов, т. е. порядок слов. Постулируемый общий принцип сводится к переходу от SOV к SVO для языков развитых традиций (*languages of civilisation*). Однако при более внимательном рассмотрении можно увидеть и различия в пределах той же концепции. Например: 1) $V_{\text{иниц.}}$ и SOV первоначально были исходными и равноправными структурами; 2) VSO — это промежуточный этап; 3) важен только один переход: от SOV к SVO; 4) S вообще несущественно, важен лишь порядок OV (более старый) или порядок VO (Lehmann 1976; Langdon 1977; Givón 1977). При этом VSO и $V_{\text{иниц.}}$ как бы молчаливо идентифицируются. На самом деле

несомненно, что далеко не всякое V начальное есть VSO. Скорее, напротив, начальное V часто бывает представлено при статальном описании с безобъектной структурой (*Наступила весна* и т. п.). Таким образом, из работ американских лингвистов указанного направления не всегда можно определить, какая именно структура — трехчленная или двухчленная — стоит за индексацией SV или V_{иниц.}. Между тем это структуры различные и синтаксически, и семантически: *Человек умер* или *Человек купил книгу*. Далее, в выделяемых трехчленных конструкциях не находится места вводящему обстоятельству, хотя, как мы знаем, именно наличие или отсутствие обстоятельств во многом определяет весь порядок слов. Недаром в концепции актуального членения предложения такое большое место занимает теория «кулис».

Сказанное выше о прагматическом коде, когда языки наиболее близки, и о синтаксическом, когда языки максимально различаются, очень близко к идеям, высказанным в 30-е годы В. И. Абаевым о языке как идеологии и языке как технике (Абаев 1936). Процесс технизации, по В. И. Абаеву (т. е. синтактизации в новых терминах. — *Т. Н.*), есть «универсальный процесс, определяющий линию языкового развития» (Абаев 1936; 5), технизация есть универсальный семантический процесс (Абаев 1936; 15). «Для нас формальное, — пишет В. И. Абаев, — это результат технизации того, что когда-то было не формальным, т. е. было идеологическим» (Абаев 1936; 6). В работах С. Д. Кацнельсона находим критику сравнительно-исторического языкознания за недостаток внимания к синтаксису, очень важному для понимания первопричин языковой эволюции (Кацнельсон 1939).

Важно здесь то, что, по этой теории, метод реконструкции протофактов лишь с очень большой натяжкой приложим вообще к синтаксису, поскольку синтаксические модели являются более поздними и в их различии не сводятся к единой архетипической конструкции, так как на каждом этапе они обусловлены и ментальным развитием homo loquens. Синтаксические структуры, в свою очередь, модифицируются возникающей флективной морфологией. Имеет место так называемый «ре-анализ», т. е. перераспределение, переформулировка, добавление или исчезновение компонентов поверхностной структуры. Что же является движущей точкой языковых изменений? Это сам говорящий и его отношение к окружающему миру, познание его.

Новой по тому времени была концепция Гивона и его учеников о том, что не все члены парадигмы одновременно «шагают» навстречу изменениям, но в зависимости от развития антропоцентрической установки. Кроме того, развитие целых лексико-грамматических классов тоже определяется эволюцией человеческого существования. Например, развитие неопределенных местоимений и артиклей осуществляется после определенных мировоззренческих сдвигов, когда мир расширяется и нужно иметь понятие о широком однородном классе. Позже других времен развивается Futurum как выход мысли за пределы реально осуществляющегося действия. В этой концепции связаны многие

разнофункциональные явления. Например, связано появление перфекта как глагольной категории, изменение порядка слов (от VS к SV) и степень известности субъекта топика (Givón 1977): в текстах более поздних кругозор носителей языка расширяется, возникает потребность в анафорике для отождествления объекта внутри увеличивающегося класса актантов. Новые актанты вызывают потребность в порядке SV, а также возникновение неимперфектных форм. Естественно, что ареной всех первичных изменений в этой концепции является синтаксис.

Синтаксис был в свое время и краеугольным камнем в «новом учении о языке», с которым у последователей Т. Гивона есть много пересечений, и отправной точкой для их диахронических разработок. Опираясь на motto теории о том, что «морфология лишь техника для синтаксиса» (в соответствии с разделением в языке идеологии и техники), они разработали положение о «синтаксической технике». В рамках этой теории высказывание понималось непосредственно и как таковое, без расчленяющей на языковые элементы ментально-когнитивной процедуры. Иначе говоря, центром теории являлось не слово, а предложение. «Главным и решающим в грамматике является целостное предложение, а не искусственно вырванное из контекста слово» (Кацнельсон 1949; 41). То есть синтаксис не мыслился вне связи с конкретным мышлением человечества на разных его стадиях. Из предложения выделяются члены предложения, затем оформляются слова, потом — грамматический строй. Далее, как пишет С. Д. Кацнельсон, «не слова составлялись из готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» (Кацнельсон 1949; 16). Из предшественников «новое учение о языке» отмечало и принимало именно А. А. Потебню, который «с огромной силой подчеркнул роль предложения как стихии, в которой совершаются все грамматические процессы» (Кацнельсон 1939).

То есть, иначе говоря, основной идеей марристов была идея непрерывного членения на подсмыслы первичного нерасчлененного смыслового комплекса и непрерывной их грамматикализации и дифференциации. Разумеется, богатый материал здесь давала и ранее известная энантиосемия языков древности.

Как уже говорилось, сходные со школой Т. Гивона идеи о двух стадиях развития человеческого речевого кода были разработаны в 30-е годы В. И. Абаевым. Эти идеи В. Абаева таковы, что люди в процессе взаимного осознания и наречения мира сходным образом смотрят на явление, он именуется в соответствии с «идеологией». Впоследствии эта внутренняя форма идеологии «выдыхается» и происходит «технизация». Для новых людей идеология уже неощутима. Так, сама грамматика, по мнению В. Абаева, есть результат технизации: «Самое существование грамматики как системы есть прямой результат технизации» (Абаев 1995; 51). Но в каком-то смысле эта технизация, «выдыхающаяся» идеология, есть для общества благодеяние, так как она экономит его силы. Поэтому процесс технизации влечет, по Абаеву, два последствия: закон

социализации и закон преемственности (Абаев 1995; 57). Язык существует в начале каждого этапа как «идеология», а потом — как «техника». То есть это очень близко к идеям «синтактизации» Т. Гивона. Системность языка, по его мнению, есть результат технизации, а в древности практически языки состояли из «исключений». Дело в том, что «каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и ключья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации» (Абаев 1995; 61).

Таким образом, в этой концепции ментальный статус архаического состояния не равен позднейшему.

С этим всем нужно согласиться. Но нужно понять и то, что принятие этой теории влечет за собой принятие и ряда очень важных следствий. Во-первых, это вызывает неизбежность аксиологического подхода. Языки тогда предстают как бегуны на длинной дистанции: одни впереди, а другие отстают. А это обидно и недемократично, хотя именно такой подход отличал О. Есперсена. Во-вторых, нужно верифицировать реконструкцию древнейшей структуры через параллельную структуру ментальную. Нужно отделить архаику от выявленного общего ядра. Это сложно.

Поэтому, возможно, языковеды и принимают часто идею однонаправленной языковой эволюции для отдельных участков языковой системы, но избегают более глобального решения этого вопроса в целом. Наиболее отчетливо такая позиция формулируется у самых известных компаративистов XX века. Показательно следующее высказывание Э. Бенвениста: «Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться „первоначальными“». Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные» (Бенвенист 1974; 35). С такой же убежденностью высказывается позднее и О. Семереньи: «Можно, по-видимому, считать аксиомой, что индоевропейский праязык не мог обладать свойствами, которых нет ни у одного языка на земле» (Семереньи 1980; 154).

То есть, иначе говоря, в языке не может быть ни забытых ответвлений, ни тупиковых ситуаций. То есть, в отличие от его носителя, он неизменен?

В уже упоминавшихся работах Р. Лэсса эти положения являются аксиоматической базой. Провозглашается униформитарная аксиома, принцип неизменности, «принцип пантемпоральной униформности». Таким образом, «ничто, не оправданное должным образом в настоящем, не может быть справедливым для прошлого» (Lass 1987; 55), «ни одна реконструируемая единица или конфигурация единиц, процесс изменения или стимул для изменения не могут относиться только к прошедшему» (там же; 50). То есть в языке настоящее всегда является активным аргументом для верификации феноменов любой давности, хотя для любых других исторических реконструкций этот аргумент не существует?

Что хотелось бы сказать по поводу таких концепций? По-видимому, во-первых, за ними стоят позитивистские установки той поры, когда на языковые системы переносились методы изучения неживой природы. Стремление подогнать языкознание, объект которого, видимо, является беспрецедентно и безаналогово сложнейшим, под «точные науки» в определенное время осознавалось как желание «улучшить» лингвистику. Во-вторых, возможно, здесь сказывается и характерная для человека идеализация прошлого, идеализация архаики. В-третьих, очевидно, не исключено влияние креационистской теории возникновения языка независимо от человека (хотя и в этом случае можно предположить, что имело место неполное усвоение переданных ему знаний, которые впоследствии по определенной программе эволюционируют). В-четвертых, принятие телеологии неизбежно влечет за собой нежелательный компонент аксиологии.

Отсутствие в современной лингвистике эксплицитно выраженных исторических «законов» Дж. Гринберг (Greenberg 1978) объясняет множеством факторов. Среди них — несинхронное возникновение диахронических процессов в разных языках, ограниченность выведенных законов определенной хронологией, возможность их циклических повторений и т. п. Поэтому, как считает Дж. Гринберг, существенно построить теорию *меняющихся состояний*.

Таким образом, систему языка можно представить в виде шкалы с двумя полюсами — максимально коммуникативным, с ареной основного действия в виде синтаксиса, и максимально системным и автономным (с ареной в виде корнеслов и фонетики). К последней зоне всегда тяготело сравнительно-историческое языкознание, к первой — эволюционная типология указанного типа. Вероятно, взятые как крайние компаративистская концепция Ф. Боппа и натуралистическая концепция А. Шлейхера имеют реальные основания, проецируясь на такую сложную систему, как язык. Поэтому в заключение хотелось бы присоединиться к словам В. И. Абаева: «В языке не так все просто: конкретные формы взаимодействия двух видов закономерностей (языковой идеологии и закономерности языковой техники) допускают такое беспредельное многообразие языковых типов, что уложить их в какую-либо упрощенную схему — задача совершенно неосуществимая и просто ненаучная» (Абаев 1936) — или к словам современного американского лингвиста: «Итак, языки могут модифицироваться только в те языковые типы, которые диктуются универсальной грамматикой. Однако они не свободны в том, чтобы переходить от одного человеческого языка к другому; им позволено это делать лишь в пределах морфосинтаксических устройств (patterns), которые они наследуют или видоизменяют» (Joseph 1980).

2. Гипотеза о законе языковой эволюции

Теперь мы намерены более подробно обсудить предложенную нами идею эволюционного механизма языка, о котором говорилось в первом параграфе первой части книги.

Еще раз повторяем эту формулировку: **язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени.**

Что такое информация и ее количество? Ответ, как уже говорилось, предлагается самый наивный: информация — это все то, что мы узнаем, выслушав (или прочитав) речевое сообщение. Информация — это и сведения о передаваемой ситуации (локальные, темпоральные, сведения о количестве актантов и их отношениях), модально-субъективные факты, все феномены звукового строя, паралингвистические факторы и т. п.

Естественно, что в соотношении «языковая единица/единица времени» подвергаться модификации может только языковая часть.

Как известно, язык характеризуется «двойным членением»: по звуковому основанию и по основанию смысловому.

Рассмотрим поочередно каждый из этих феноменов. (Наблюдений по этим проблемам много, так что они являются объектом последующих разделов, поэтому приводимые ниже примеры будут служить только иллюстративным целям.)

Общие для звука и смысла положения мы формулируем следующим образом:

1. Тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени осуществляется в языках двумя способами: а) **компрессией**, б) **суперсегментизацией**.

2. В языках, эволюционировавших в большей степени, сформулированная выше тенденция реализуется в большей степени. (Сейчас мы оставляем в стороне оценочную сторону этого явления: хорошо ли для нас, что мы передаем и получаем все более компрессированную информацию, или нет.)

Из сказанного вытекает, что возможны **как звуковые, так и смысловые компрессии и суперсегментизации.**

Звуковой аспект

Естественно, что самый простой способ звуковой компрессии — говорить быстрее. Действительно, антропологические исследования подтверждают это. Но препятствием при этом является временная ограниченность артикуляторных движений. Как показал реальный эксперимент, временное расстояние между двумя артикуляторными единицами не может быть менее 55—70 мсек (Белявский, Гейльман, Щербакова 1984). Данные других авторов свидетельствуют о том, что для опознавания инициального звука речи требуется примерно 30 мсек (Dermody, Mackie, Katsch 1987). Г. Фант с соавторами приходит к вы-

воду, что речь не допускает обычно более двух фразовых ударений в одну секунду (Fant, Nord, Kruckenberg 1987). Все это говорит о пределах временного компрессирования.

Однако у языка есть и другие звуковые возможности. Не нарушая законов перцепции, указанных выше, язык может двигаться в сторону той же передачи большей информации в единицу времени путем модификации самих речевых единиц, т. е. слов и их компонентов. Это — всем известные явления коартикуляции в пределах слога и слова, модификации безударных слогов. При этом возможны типологические расхождения (см. специальный выпуск: *Studies* 1986). Наоборот, языки, не близкие типологически, могут демонстрировать схождения: так, во французском и белорусском обнаружена меньшая компрессия гласных по сравнению с согласными, см. параллельные наблюдения (Fletcher 1987; Vygonnaya 1987) и под.

Тот факт, что причиной языковых изменений, и в частности фонологических, является убыстренная, аллегроя, речь, известен широко и как бы является лингвистическим трюизмом. Об аллегроя речи в этом плане неоднократно писал Р. Якобсон. Но можно поставить вопрос и иначе: язык изменяется не потому, что его носители вдруг стали говорить быстрее, а люди потому стали говорить быстрее, что внешние и внутренние обстоятельства заставляют язык перестроиться. То есть опять на первый план выходит **антропоцентрический** подход к языку. Интересна в этом плане и отмеченная в эксперименте языковая универсалия: выявлена асимметрия перехода от нормального темпа к медленному по сравнению с переходом от нормального темпа к быстрому: в последнем случае языковых изменений меньше, то есть речь как бы более «охотно» движется в сторону убыстрения (Vygonnaya 1987; Di Cristo 1985).

То, что для звукового уровня называется суперсегментизацией, осуществляется тем успешнее, чем больше в данном языке слова сливаются в некоторое большее единство — так называемый речевой такт, тонально-мелодическую группу и под. Таким образом, для того чтобы значимый фразовый контур был воспринят и тем самым усвоена требуемая дополнительная информация, в языке должно выражаться свойство, которое удобно назвать **слитностью**.

Слитности в языке мешают такие свойства слова, как тональное (музыкальное) ударение, а также фонологически значимая долгота. То есть это те феномены, которые препятствуют сильной временной компрессии и тем самым дальнейшему «оконтуриванию» группы слов единой интонационной фигурой. Уже достаточно давно, но очень точно это было сформулировано И. М. Тронским: «Музыкальный характер греческого ударения ставил известные грани возможности использования тонального движения в синтаксической функции... Там, где современные европейские языки располагают многочисленными средствами варьировать мелодику речи, древнегреческий язык, стесненный фонологизированной тональностью своего словесного ударения,.. вынужден был прибегать к служебным словам» (Тронский 1962).

Таким образом, ясно, что языкам «тональным» трудно сделать большую международную карьеру: слишком много времени тратится на «выпевание» словесных тонов. Очевидно, не случайно, что политония сохраняется лишь на периферии европейского ареала (север Европы и Балканы). В целом же Европе — родину основных международных языков — отличает, как писал неоднократно Р. Якобсон, отчетливое стремление к монотонии. Интересны в этом плане экспериментальные данные о возможной компрессивной слитности немецкого языка. Оказалось, что немецкий язык осуществляет компрессию, не выходя за рамки слова. Так, коллектив авторов измерял длительность ударного гласного /a/ и ударного слога /trakt-/ в последовательностях: Der Trakt gab den Ausschlag — Der Trakt ergab den Ausschlag — Der Traktor gab den Ausschlag — Der Vertrakte gab den Ausschlag — ... Der Vertraktete ergab den Ausschlag. Увеличение длины всего отрезка за пределами слова с корнем trakt- не влияло на компрессию ударного /a/ (Pompino-Marschall, Grosser, Hubmaier, Wieden 1987).

Для русского языка был проделан близкий по замыслу эксперимент Л. Г. Гиринской (Гиринская 1989). Она обнаружила, что при увеличении протяженности слова компрессия прекращается примерно после трех слогов, то есть средней длины слова. Это значит, что русские слова бывают слишком длинными для обеспечения оптимальной компрессии. Несомненно, что именно яркая слитность — liaison — была тем необходимым условием, которое делало французский язык международным в течение столь долгого времени.

На базе многих экспериментов был сделан вывод, что для английской беглой речи нет необходимости выделять уровень слова, то есть слово очень хорошо вписывается в более крупную единицу (Fisher-Jørgensen 1987).

Таким образом, просодическая обособленность слова является сильнейшим препятствием для развития слитности. Слитность обеспечивает развитие парадигматики мелодических контуров и тем самым создает возможность все того же увеличения информации в единицу времени. Отсюда можно, в свою очередь, делать и почти прогностические утверждения. Контрастивные сопоставления, параллельно проведенные для русского и болгарского языков (Стоева 1987; Николова 1987), продемонстрировали большую «сандхизированность», то есть слитность, для русского языка по сравнению с болгарским. При этом один из авторов (Стоева) прямо говорит о том, что, благодаря большому сандхи, в русском языке оказывается больше возможностей для развития числа мелодических контуров, чем в болгарском.

В связи с этим закономерно, что Р. Ф. Пауфошима описала произнесение в севернорусских говорах как пословное и выявила также, что именно в этих говорах ею обнаружены следы музыкального ударения (Пауфошима 1985; Пауфошима 1989). Таким образом, эволюционная концепция, как уже упоминалось, может открыть дорогу к несколько нетрадиционному подходу к изучению живых диалектов. Их можно рассматривать не только как бесценное хранилище реликтов, но и как системы, в которых что-то отсутствует по сравнению

с продвинутым и развитым литературным языком. То есть можно постараться понять, чего же диалектам не хватает и на чем они остановились.

Более подробно это будет рассматриваться во второй части книги, но и сейчас представляется необходимым в связи с вышесказанным предложить на обсуждение гипотезу о трех этапах развития языка (разумеется, через призму его просодии):

1. Этап до-словный; основной единицей является высказывание. Значащие единицы полисемантически и диффузны.

2. Этап слов. Очень длительный, а для многих языков не закончившийся. Он закреплен в нашей письменности. Эта закрепленность часто мешает психологически лингвистам понять суть интонационно-просодического уровня.

3. Этап пост-словный, когда основными единицами звучания являются отрезки, бóльшие, чем слова. Многообразие в генерации смыслов создают интонационные модели. А они сами обеспечиваются слитностью и компрессией.

До сих пор мы рассматривали языковые свойства как бы имманентно. Разумеется, за всем этим можно увидеть мощно воздействующие экстралингвистические факторы (см. ниже в связи с проблемой резкого изменения просодии слова в латинском и греческом языках после принятия христианства (Часть вторая, § 6)). Там же будет обсуждаться деление языков на курсусные (*cursus language*), просодически слитные, и нексусные (*nexus language*) — пословно произносимые.

Естественно, что именно курсусные языки, обеспечивающие своей слитностью разнообразие мелодических смысловых контуров и обретавшие тем самым возможность выражать дополнительные коннотации не только на лексико-сегментном уровне, все более и более завоевывали международную значимость.

Не-звуковые возможности компрессии и суперсегментизации

Указанная эволюционная тенденция воплощается и на не-звуковом уровне, как мы считаем, с абсолютной симметричностью.

И здесь мы находим также средства компрессии и суперсегментизации.

Под компрессией можно понимать уменьшение числа значимых единиц в пределах большей единицы, то есть примерно то, что Т. Гивон называет «синтактизацией». Иначе говоря, перед нами свершается все больший отход от близкого к иконичности прагматического кода. Уменьшается число дискретных единиц в пределах слова. Возникают флективно-фузионные процессы, следствием которых является «склеивание» единиц плана содержания, ранее передававшихся отдельными знаками. Возникает то, что называется «синтаксическими оборотами», все виды конструкций с *verba infinita* и т. п.

Что же такое суперсегментизация на не-звуковом уровне? Мы считаем, что так же, как интонация — условно — является чем-то внешним по отношению к линейности высказывания, но в то же время сообщает информацию объек-

тивную и расшифровываемую носителями языка, так и то, что называется **пре-суппозицией**, в свою очередь, добавляет дополнительную, «теневую», строку, нигде не выраженную, но всеми расшифровываемую.

Собственно говоря, именно этим языковым средствам и будут посвящены дальнейшие разделы этой части книги.

Некоторые явления здесь как бы совмещают компрессию и суперсегментацию. Например, известно, что посессивы при именах неотчуждаемой принадлежности или именах, входящих в семантическое поле посессора, часто элиминируются как избыточные, см.: *Она подняла руку, Пойду позвоню маме* и под.

Однако анализ показывает, что в старославянских евангельских текстах по сравнению с греческим оригиналом происходят именно вставки посессивов в таких случаях. Они появляются, например, при характеристике однозначно трактуемых лиц: в речи Христа при лексеме «отец» — *мънога дьла бвнхъ въ васъ отъ отъца моего* (И.10.32; греч. *ἕκτοῦ πατρός*); *Ѣко не научи мя отъць мон* (И.8.28; греч. *ἑδίδαξεν μεο πατήρ*); *Ѣже видѣхъ оу отъца моего* (И.8.38; греч. *ἑώραχα παρὰ τοῦ πατρί*). Вставок таких много, особенно при лексемах «отец», «мать», «ученики».

Вся дальнейшая содержательная программа первой части настоящей книги в основном будет посвящена разным проанализированным нами способам создания дополнительных смысловых строк в русском (и славянском) высказывании и — в соответствии с этим — построению некоторой особой языковой «грамматики» смысловой компрессии и ее категориальным особенностям.

3. Какие же языковые компоненты можно считать исходными?

Сказанное выше неумолимым образом подводит к вопросу самому шекотливому: а как же тогда можно представить себе «первичный» по структуре язык, каким было его движение? Каковы были его исходные компоненты?

КОГДА возникла речь?

По этому вопросу существуют две точки зрения — креационистская (практически не обсуждаемая; по поводу нее можно упомянуть только обзор всего, что о речи говорится в Библии: ведь говорили и змеи, и ангелы (Harrelson 1991)) и эволюционная.

Самые ранние предпосылки развития речевого аппарата находят у рыб (уже 300 000 лет тому назад) (Wind 1989; Wind 1992), постепенная эволюция речевого аппарата идет, по Винду, от этой поры. Зачатки человеческого языка отмечают примерно на уровне от 200 000 до 100 000 лет назад, в эпоху палеолита. В среднем палеолите, около 100 000 лет тому назад, произошел некий взрыв, скачок. По Ф. Либерману, он мог объясняться перенасыщенностью критичес-

кой культурной массы (Lieberman 1989). Б. Кьярелли (Chiarelli 1989) считает, что возникновение языка обусловлено латерализацией мозга гоминидов, в свою очередь связанной с началом использования и изготовления инструментов, в том числе каменных орудий, и развитием в связи с этим мыслительно-созидающей деятельности (см. также: Ragir 1993). Возникающую речь объясняют и через изменение респирации, и через подражание пению птиц. Однако все сходится на том, что настоящий звуковой язык возник примерно на уровне 50 000 лет назад, в эпоху среднего палеолита; а то, что уже можно назвать языком в нашем понимании, — где-то около 30 000 лет назад. Э. Паллиблэнк (Pulleyblank 1989) усматривает в этот период переход к произвольности языкового знака, обеспечившей дуальность языковой модели и развитие необходимой для языка символики. Ряд европейских ученых начинает вновь обращаться к теориям Я. Бёме о неслучайности связи звука и смысла; таким образом, произвольность языкового знака — это результат забвения первоначальной связи формы и содержания слова (Hafferland 1989). Именно в это время происходит и скачок в человеческой популяции — от 2 млн людей в период 30 000 лет до 6 млн за следующие 15 000 лет. Человеческие группировки (возможно, потенциальные базы древних диалектов) насчитывали от 175 до 400 человек. Язык неандертальцев (а некоторые считают его не звуковым, а жестовым), видимо, исчез вместе с ними. Впрочем, Ф. Либерман и другие, основываясь именно на том факте, что неандерталец не владел звуковым языком, считали, что язык идет от жестов, т. е. восходит к неандертальцам (полемику с этим см.: Wiener 1984).

Наиболее трудной для понимания оказывается эволюция языка от *Homo erectus* — *erectus/sapiens* — *sapiens*. Реконструируется 11 протоязыков примерно 25 000-летней давности. Неудачными оказались попытки выявить реальную дату знаменитой «Вавилонской башни». Местом зарождения языка и человека все больше начинают считать Африку (теория «черной Евы» (Bickerton 1990)).

Итак — естественно — единодушие ответа на вопрос КОГДА никак не соотносится с ключевым словом: ПОЧЕМУ?

КАК возникла речь?

Некое единство объясняющих теорий позволяет нам интерпретировать их как «теории параллельного коррелята». Например, развитие языка — это результат развития эхолокации и акустической сенсорики («Вполне можно считать верифицированным положение о том, что на ранних эволюционных этапах преимущество было за не-оптической сенсорикой, именно она помогала выжить» (Fruendt 1993; 15)). Происходило три вида селекции: филогенетическая (т. е. естественный отбор, по Дарвину), онтогенетическая и культурная. Язык необходимым образом включал в себя все три вида селекции (Catania 1993). Наконец, возникновение языка потребовало нескольких этапов развития символики: 1) осознание гоминидами самой возможности символа; 2) коллективное признание этих символов; 3) понимание условности этих символов, а вслед

за этим и возникновение мысли (стали «думать о»); 4) эволюция моторики, миметическая имитация (Donald 1993). Вообще развитие моторики считается важнейшим условием, в том числе и моторики артикуляторной; так, анатомия человеческих останков 40 000-летней давности говорит о том, что были две стадии эволюции ларинкса; полное развитие фаринкса осуществилось только на второй стадии.

Однако все чаще говорится об очень удобной для теории постепенности идее языка как коллажа, так называемой «мозаичной эволюции» (*mosaic evolution*). Язык человека опирался на язык приматов, который был гораздо сложнее, чем это принято думать. Он не соотносим с коммуникативными возможностями современных обезьян-приматов. Р. Лэсс (о котором подробно говорилось) ввел особый термин для интерпретации «мозаичной эволюции» — «экзаптация» (*exaptation*). Это термин эволюционной биологии, обозначающий функционирование как нового чего-то, уже ранее известного, но имевшего иную функцию. Таким образом, в языках всегда есть некий «*bricolage*» (Lass 1990).

Итак, намечаются три ступени коммуникации при возникновении языка (Tomasello 1991; 85): 1. Интенциональная коммуникация — нижний палеолит. 2. Коммуникация символическая — средний палеолит. 3. Собственно языковая коммуникация — верхний палеолит.

По-видимому, изначально протоязык был многозначен и расплывчат (*ambiguous*) и ингерентно неясен (Lieberman 1984). Более важен позитивный ответ на вопрос о моногенезе, связываемом с универсальной по своему устройству гомеостатичностью языка и вообще схожестью с биологическими моделями (Winter 1988; 262; Smillie 1991). Впрочем, как пишет один из авторов, «гипотезу о моногенезе языка невозможно ни доказать, ни опровергнуть» (Fidelholtz 1991; 99).

Среди исследователей есть авторы очень ярких и многократно цитируемых теорий, каждая из которых может быть по возможности кратко презентована. Согласно «теории красного мрамора» (*red marble theory*: наиболее подробное изложение этой теории: Key 1989; 68—70), первичные морфемы функционируют как частички (*particles*), обслуживающие семантическую систему некоего одного языка; со временем они распространяются на язык уже развившийся или производный от первичного. «Все это напоминает большую сумку с разноцветными кусками мрамора, которая первоначально принадлежит только одному языку. Основной цвет мрамора — красный, и таких кусочков больше половины, остальные же — разных цветов. Куски мрамора смешиваются, а потом пригоршнями разбрасываются по различным направлениям. Каждый новый язык получает свою порцию. Поскольку именно красного цвета было много, то он есть у всех языков. Но если, например, в первосумке было мало бирюзового цвета, то, естественно, в ряде языков бирюзового и не будет». На самом деле в этой несколько необычной гипотезе скрываются и креационист-

ские идеи, и идеи «мозаичной эволюции», и — что самое интересное — возможности ранних эволюционных тупиков.

Теория «невидимой руки» (*invisible hand theory*) связана с именем Р. Келлера (Keller 1985). Ей посвящено значительное число позднейших толкований (см., в частности: Lüdtke 1989; Nerlich 1989 и др.). Существуют даже визуальные (в виде рисунков-картинок) представления этой концепции. Теория «невидимой руки» считает языковые изменения процессами ненатуральными, т. е. не зависящими от человеческой интенции и не имеющими цели (*purpose*). Однако они определяются третьей серией феноменов, диктуемых именно человеческой деятельностью; иначе говоря, это не зависящий от общих усилий результат индивидуальных поведенческих актов. Итак, языковая эволюция ни естественна, ни спонтанна, ни телеологична. Она продукт нашей не имеющей дальней стратегии активности. Однако эта эволюция не может быть сопоставима и с биологической эволюцией, и вот почему: в природе изменения абсолютно случайны, а в языке — нет. Все лингвистические инновации производятся по уже имеющимся моделям; при этом возможны их случайные взаимодействия (*simple random interaction*).

В целом эту теорию, наиболее цитируемую до конца 80-х, можно считать переходным явлением от позитивистских убеждений середины века к телеологическим устремлениям его конца.

Реконструируемый язык (индоевропейцев) обычно оказывается очень близким к языкам индоевропейской древности, и для некоторого этапа это верно, но судить об этом мы не беремся.

Однако, если принять так называемую «униформитарную» точку зрения, то языковые системы предстают как в той или иной степени извечные — в отличие от всех других антропоцентрических гуманитарных систем. Возможно, это так и есть, но само по себе это презумпция, а не аксиома. Не исключено, что основанием для такого взгляда служат и циклические процессы, отрицать которые невозможно, а также категориальное выравнивание, различающееся по языкам, и различные аналогические процессы.

Но при таком подходе остается некоторая логическая странность. В дальнейших разделах будет много места уделено частицам, партикулам, которые, несомненно, являются кирпичиками, из которых создаются все слова коммуникативного фонда.

И по своему фонетическому составу, и по несомненно архаичной диффузности семантики эти частицы — явно древнейшие элементы. Естественно предположить, что они, в основном CV-состава, являются как бы исходным коммуникативным фондом. Но эта логичная точка зрения отчетливо отмечается в свете данных этимологических словарей. Из них мы узнаем, что многие «первичные» частицы восходят к застывшим формам местоимений. Например, частица *da* < **do* (*to*) (и.-е. указательное местоимение), *e* < из указательного местоимения **e*; *i* < **ei* (локатив от указательного местоимения *e*); *a* < **ēd/ōd*

(Abl. Sing. от и.-е. *e/o) и т. п. Тогда получается реконструируемый язык довольно странной структуры: частицы коммуникативно-модального пласта вторичны, а в глубокой истории просматривается некий язык с разветвленной системой падежей, с богатой морфологией, с развитой анафорикой, т. е. с изменяемыми местоимениями, часть форм которых уже успела «застыть», но — без частиц и без союзов. Может ли на уровне типологии быть такое? А куда же исчезли частицы этого реконструированного языка? И может ли сочетаться такое языковое существование с идеями (см. выше у Т. Гивона) о логическом пути позднего развития местоимений и анафорики?

Какими же представлялись те **минимальные первичные элементы**, из которых впоследствии создавались разветвленные и семантически сложные системы языков более поздней эпохи?

Первичные формы языка, по мнению исследователей, если их специально суммировать, манифестируются в виде трех типов единиц, при этом все единицы являются первичными, минимальными — в пределах своего слоя.

Согласно одному подходу, язык реализовался в виде слогов, но эти слоги отчетливо делились на два класса — ударные и безударные. Ударные слоги — это такие, в которых заключалось важнейшее семантическое содержание (*memorable speech*), своеобразные «капсулы речи» (Payson Creed 1989; 44). Например, капсула информации содержится в четвертой строке «Беовульфа»: *Scyld—scaef—scaefa*. Второй вид слогов — безударный. Таким образом, по мнению Пэйсона Крида, слог намного важнее звука при создании человеческой речи. Гоминиды стали людьми, именно изобретя слог (*bitting sound*).

Единицы первичного языка, по второй точке зрения, это фонестемы, т. е. комбинации фонов (как правило, консонантных), несущие некую диффузную семантику (Rolfe 1993). Например, фонестема присутствует в приводимом ряде английских слов: *damp/swamp/dump/plump/dimple* (Rolfe 1993; 37).

Третий слой единиц — фонемы, возникшие из уже функционирующих частиц (партикул), утративших полностью или частично свою семантику. «Фонемы не были, таким образом, изобретены; они уже повсюду присутствовали как фонетические частички, с неким глобальным значением, чаще всего синтаксическим, но потом они стали выполнять двойную нагрузку. Базовые корни, как это показывает ряд реконструкций, были, как правило, консонантными» (Studies 1989; 32).

Здесь интересными представляются и воззрения немецкой школы 30-х годов, так называемых телеологов — Э. Херманна, В. Хаверса, В. Хорна и др.

Э. Херманн видит начало звукового языка в междометных вскриках неопределенной семантики. Языковая древность, по его мнению, должна существовать в виде неопределенных и неоформленных *Wörtern*, такого уровня, который понимают и дети. Но каждое из этих «междометий» имело консонантную опору (*Stammlaut*), которая в дальнейшем модифицировала сопровождающий вокал, становясь формой CV; таких модификаций становилось все больше, и

они приобретали более ясное функциональное значение, как правило связанное с указательностью (Hermann 1943; 15). Самой древней единицей он считает *wo* — «где», которая по-разному воплощается в и.-е. языках. Поэтому само возникновение языка, как он считает, начинается с однословных вопросов. Почему же именно с вопросов? Человек хотел убедиться в том, что ему оставалось неясным. Вопрос всегда связан с повышением интонации, а однословные вопросительные слова, помещаясь в начале, притягивают к себе высокий тон (Hermann 1942; 367). Интересно, что с этой идеей перекликаются некоторым образом последние работы Н. Ю. Шведовой о местоименных компонентах как первичных исходных первоэлементах речебытия (Шведова 1997; Шведова 1999).

Таким образом, для телеологов первичными были мелкие словечки протяженностью не больше слога, которые вначале были вопросительными, затем указательными, далее превращались (с распространителями) в неопределенные слова-местоимения. По мнению В. Хаверса (Havers 1931), эти мелкие слова были частотными в нарождающейся звуковой речи, так как из-за своей краткости и фонетической простоты они были удобопроизносимыми и хорошо воспринимались перцептивно. По их концепции, эти мелкие словечки разным образом комбинировались в линейном потоке речи, поэтому главным источником знания о языке древности и понимания языка современности является синтаксис. (Неясным остается, однако, их взгляд на происхождение знаменательных слов, вообще — на происхождение морфологии.)

Сходными проблемами занимались и теоретики «нового учения о языке». Для них развитие языка начинается с длительного периода кинетической, незвуковой, речи. Звуковая речь рождается из ритуальных звуков магического характера. Первичный звуковой комплекс, по мнению марристов, не имел значения, он сопровождал кинетическую речь. Затем появилась звуковая речь, разлагавшаяся не на звуки и уж никак не на фонемы, а «на отдельные звуковые комплексы. Этими цельными комплексами еще нерасчленившихся звуков и пользовалось первоначально человечество как цельными словами» (Мещанинов 1929; 181).

Как и телеологи, марристы опирались на первичную огромную роль неких «местоименных» элементов, образующих потом глагольные и именные флексии. Существенно то, что этот «пассивный местоименный элемент вначале не был ни глагольным, ни именным, а позже мог быть использован и для образования глаголов, и для образования имен. Тем более что эти частицы обнаруживаются в индоевропейских языках в былом значении притяжательных частиц неотчуждаемой принадлежности» (Кацнельсон 1936; 97). Звуковая речь начинается, таким образом, не только не со звуков, но и не со слов, а с предложения. Предложение — это мысль активная, в отличие от пассивной. Из предложения выделяются члены предложения, затем оформляются слова, потом — грамматический строй. Далее, как писал С. Д. Кацнельсон, «не слова составлялись из

готовых звуков, а, напротив, отдельные звуки вырабатывались в ходе развития отдельных языков и их словарного состава» (Кацнельсон 1949; 16). Решение вопроса о том, почему частицы на протяжении стольких веков, практически не изменяясь, сохранялись в языках все более усложненной структуры, подробно изложено И. И. Мещаниновым: «...постепенно вырабатывался новый способ конструкции речи, использовавший для характеристики данного слова другие слова своей же речи, могущие придать требуемый оттенок, иначе самый смысл фразы оставался бы непонятным. Выделились так называемые вспомогательные слова, присоединение которых к другим выявляло действующую роль последних во фразе. И тогда как слова росли в своем объеме, превращаясь в процессе скрещения в многосложные, вспомогательные частицы сохранялись в своей более архаичной форме односложных слов, и, таким образом, при построении фраз упор стал делаться уже на эти функциональные частицы, осмыслявшие построение фразы оттенком служебной роли каждого входящего в ее состав слова. Следовательно, упор стал делаться на те односложные слова, которые обратились в вспомогательные частицы и которые постепенно утрачивали свое самостоятельное значение когда-то бывших слов. Благодаря этому упор стал делаться уже на слоги» (Мещанинов 1931; 63).

Думается, что дело здесь обстоит проще и важны тут не факты языка, но стойкая концепция лингвистики, не признающей первичность и диффузность на глобальном уровне и признающей ее на каждом конкретном этапе.

Оригинальную, но в сущности давно напрашивающуюся точку зрения на развитие языка находим в работе (Itkonen 1982). А именно: развитие языка — это прототип для развития самой лингвистики: «В самом деле, если оба явления — изменение языка и развитие науки о языке — вдохновлены одной и той же импульсивной силой, достаточно целесообразной и разумной, то языковые изменения естественно могут быть определены как „прототип“ для развития соответствующей науки» (Itkonen 1982; 140).

Можно к этому добавить, что наука о языке, очевидно, развивается циклически, каждый раз начинаясь со звукового слоя, потом передвигаясь через морфосистемы к синтаксическим. Строго говоря, мы не знаем, так ли именно развивался язык или мы так экстраполируем это по нашим ментальным моделям?

Наконец, можно сказать несколько слов и о том, почему подобные направления как-то мало известны в нашей лингвистике и только теперь начинают публиковаться в соответственных изданиях.

Дело в том, вероятно, что идеи общей по направленности языковой эволюции, попытки реконструировать палеоязыковое состояние, поиск того, какими были первичные (примарные) единицы, и вообще идея таких единиц у нас связались с комплексом марриетских идей и тем самым стали неприемлемы. Это уже понимают и лингвисты за рубежом. Э. Хольман пишет: «Догматическая проработка взглядов Марра его последователями в конце концов привела к рождению все еще распространенного взгляда, согласно которому эти вопро-

сы не заслуживают серьезного рассмотрения в качестве действительно научных проблем» (Holman 1982; 135).

* * *

Итак, уже можно заранее обозначить те сквозные концепции, которые будут проходить через все разделы первой части нашей книги.

1. Это идея различения нейтрального, исходного, и маркированного, связанного с идеями суперсегментизации и компрессии.

Этот круг проблем обсуждается в § 3 в связи с просодической схемой слова vs модели слова с фонологизированным ударением. Обсуждается также в § 7, где ставится вопрос о диахронической первичности стихотворной строки vs прозаической. В § 8 обсуждается — на материале основных языков античности — возможность влияния антропоцентрического и социального факторов на изменение типа просодии слова.

2. Это идея перечислимости средств языка, создающих дополнительные смысловые пространства, что, в свою очередь, обеспечивает возможность эволюционной языковой компрессии. Средства эти не находятся в парадигматических отношениях, но часто работают по принципу комплементарности.

В нашей работе эти вопросы решаются на базе целого набора языковых средств: Акцентное выделение (АВ) — § 4, Частицы, Акцентное выделение и Порядок слов — § 5 и § 6.

3. Это идея тернарности эволюционного процесса в грамматике, при котором в конце возникают дополнительные коннотации. А именно: 1) диахроническое смешение, 2) четкое разграничение функций, 3) благодаря этому четкому разграничению «неправильное» употребление — употребление «не на своем месте» используется как активное средство создания дополнительных смыслов.

Идея тернарности разворачивается на примере русских неопределенных и притяжательных местоимений и их функционально-семантической дистрибуции — § 9. Особое место занимает эволюция посессива «свой» как диахроническая иллюстрация указанного процесса — § 10.

4. Это идея отдельности валоризованной системы от системы, складывающейся из реальных фактов эмпирии. Обсуждается в § 11. Ставится вопрос о сходстве цитаций, клише и стереотипов речи и просодических языковых средств.

В то же время это идея непосредственного обращения «суперсегментных смыслов» именно к валоризованным системам, в особенности ментальным, когда только и возможными оказываются пресуппозиции. Этому вопросу посвящен § 12 первой части, в котором идеи Н. С. Трубецкого об оппозициях прилагаются к валоризованным речементальным структурам.

* * *

Все сказанное выше было мною продумано к началу 90-х годов. Поэтому особенно важным было узнать о сходных концепциях коллег, подтверждающих взгляд, согласно которому в самое последнее время языкознание снова начинает обращаться к общим вопросам. Например, Т. Янсон, о трудах которого будет речь идти ниже в связи с латинским ударением, пишет: «Я согласен с точкой зрения Мэддисона о том, что никоим образом нельзя исключать возможность того, что язык был изобретен единожды (*only once*), и состояние современных языков обусловлено тем, что произошло в первоязыке на его ранних стадиях» (Janson 1991). Т. Янсон здесь поддерживает одного из наиболее известных исследователей фонетических универсалий Я. Мэддисона, прямо объявившего, что «наше понимание истории человеческой эволюции наводит на мысль о том, что язык (т. е. язык вообще. — Т. Н.) эволюционировал в течение длительного времени параллельным образом в разных земных регионах» (Maddieson 1991).

На протяжении данной книги не раз будет обсуждаться так называемый закон Вакернагеля — классический пример того научного мышления, при котором существуют лишь слова ударные и безударные, но никак не интонация как система. Но, забегая несколько вперед, необходимо сказать, что одна из недавних работ (Dunn 1989) именно на примере закона Вакернагеля также подводит читателя-лингвиста к идее однонаправленной языковой эволюции. Закон Вакернагеля звучал асинтаксически и асемантически: безударные слова (клитики) занимают вторую позицию в предложении. Между тем Г. Данн вслед за Б. Комри считает, что эта позиция и есть место между топиком и комментарием, т. е. «основная интонационная пауза внутри предложения». В древнегреческом, по мнению Г. Данна, первоначально сентенциальное ударение было в начале предложения. Им исследовано движение безударных клитик за период от Гомера до Евангелия от Матфея. Оказалось, что постулируемый сентенциальный акцент двигался от начала предложения назад, к концу, и ко времени евангелиста Матфея падал на глагол-сказуемое, как и в современном греческом. Итак, от закона Вакернагеля к современной тенденции ставить безударные клитики после глагола прошло 850 лет. По его мнению, эта тенденция в греческом была неизменной. А между тем, «учитывая сложность истории Древней Греции, множество миграций, войн и завоеваний, регулярность этого процесса поражает и кажется запрограммированной заранее. Неизбежен поэтому вывод, что причины лежат в самом языке. Поскольку греческий — это индоевропейский язык <...>, подобной же эволюции можно ожидать и в других языках индоевропейской группы» (Dunn 1989; 17).

§ 3. Просодическая схема слова.

Словесное ударение — факт поздней валоризации

Для многих языков вопрос о существовании ударения практически проблемой не является. Для эксперименталистов в этом случае проблема тоже в своей постановке проста: как определить средства физической манифестации этого «ударения»? В тех языках, где ударение не является «фиксированным», встает еще проблема кодификации акцентной позиции: как поставить ударение «правильно»?

Принято также считать, что фонетисты — исследователи языков с якобы отсутствующим ударением просто его не обнаружили, не сумели определить выражающие его фонетические параметры или — на крайний случай — ударение в этих языках является «слабым» или «очень слабым».

Между тем ситуации, когда явно ударный слог может быть не самым громким, не самым длительным, не самым высоким, в повседневной речевой реализации вполне обычны. Ударение никак не выражено особо, но мы его почему-то слышим. В этих случаях говорят о психоперцептивном качестве ударения, то есть оно есть в нашем внутреннем словаре, где данное слово как бы записано вместе с ударением. В последние годы такая ситуация удачно именуется «лексическим ударением» (*lexical stress*). И в то же время, если нарочито выделять один из слогов, то он может перетянуть на себя перцептивный фактор и кодифицированное лексическое ударение будет в перцепции перечеркнуто актуальным восприятием. Это значит, что простое восприятие акустических феноменов и наличие инвентаря лексических ударений и правил их расстановки в сознании связаны неким непростым образом. Как же именно?

В сфере сегментной фонетики наличие трех рядов: реального звука — звукотипа — фонемы практически очевидно. Ясно, что фонема не есть родовое понятие по отношению к звуку — видовому, а является термом некоторого иного уровня. Существует и общепонятный фактор фонологизации, обсуждаемый в исторических грамматиках.

Для суперсегментного явления — ударения — также логично предположить наличие изоморфной трехчленной модели. Тогда ударение также предстает в виде некоей абстракции, во-первых, и это помогает поиску его фонетических привязок, во-вторых. Однако реальность ударения отрицать невозможно. Оно есть, поскольку мы его слышим, и слышим единообразно.

Кроме того, логично подумать о возможном существовании промежуточного уровня — уровня между просодией слова на звуковом уровне и словесной просодией с ударением или плюс ударение.

Как нам кажется, подобные идеи высказаны нами впервые. Принятие такого промежуточного уровня может позволить гораздо легче и «беспроблемнее» признать существование языков доударных, языков, в которых словесное ударение еще не валоризовалось, не фонологизировалось, но, возможно, системность

языка как-то компенсировала его недостаточность. Далее, это может избавить от сложных для историков далекой древности поисков ударения и его параметров в реконструируемом протоязыке. Это же облегчение в акустическом поиске, с другой стороны, может и привести к разумному теоретическому ограничению — для определения типа ударения в древнем состоянии будет требоваться типологическое доказательство того, что оно в данный период уже было. Характерно, что подобные проблемы почему-то проходят безболезненно для сегментной сферы: легко принять любой хаос в сфере древней парадигматики, недоразвитость глагольных категорий, но словесное ударение — это *conditio sine qua non!*

* * *

Характерно, что те терминологические трудности, которые связаны с русскими понятиями «ударение», «акценты», «тоны» и т. д., в равной степени распространяются на иноязычную просодическую терминологию. Поскольку для нужд типологического описания просодии необходимо четко осознавать, что стоит за базовыми понятиями неотечественной просодической литературы, считаем целесообразным остановиться на двух базовых англоязычных терминах: *stress* и *accent*. В Большом фонетическом словаре (*A grand dictionary of phonetics* 1981) оба понятия переводятся одним русским словом «ударение» (*udarenije*). Однако понятийные поля обоих слов не совпадают ни с полем слова «ударение», ни «ударение vs. акцент», хотя можно говорить о большом количестве смысловых пересечений.

Согласно Словарю, *stress* имеет значение как выделение слога путем увеличения энергии выдыхания и мускульной энергии.

Stress accent — это *accent*, продуцируемый комбинацией акустических феноменов (в числе от двух до четырех): 1) сила; 2) точность артикуляторного движения; 3) длительность звука; 4) частотные вариации (или их потенциальная возможность). Языки делятся на *pitch accent* — языки, в которых *stress* не играет роли (например, китайский), и *stress accent* (английский, русский, немецкий, испанский). В шведском и норвежском представлена комбинация обоих видов *accent*.

В этом же словаре в статье относительно *accent* говорится о целом ряде недоразумений, связанных с этим словом. По определению, это особая звуковая форма, выделяющая слог через *stress* или через *pitch*. Одни языки употребляют *stress* для *accent*, а другие — *pitch*. Реально же «не существует *stress* без *pitch* и наоборот». Не рекомендуется считать акцентной единицей словосочетание или часть предложения. Акцент — это тон (см. выше. — *Т. Н.*), привязанный к минимальной семантической единице. Сейчас утеряна разница между *accent*, *intonation*, *prominence*. Об английском *accent* сообщается, что это специальное усиление *stress* на слоге, которому приписывается *prominence* по отношению к другим слогам.

Как можно видеть, эти определения почти тавтологичны и нечетки. Реальный же узус лингвистических описаний говорит о двух значениях слова *stress*. Одно из них соответствует русскому понятию «динамическое ударение». Второе — факт лингвистического описания, просодического метаязыка. Лингвистический феномен *stress* не соответствует в точности физическому феномену, определяемому как *stress* (Beckman 1986; 13). В этом значении *stress* есть стабильная характеристика слова, метка его выделенного слога, фиксируемая в словаре и в высказывании не варьирующаяся. *Stress* — это свойство слов, *accent* — свойство высказываний. Они не независимы. *Accent* обычно реализуется на слоге, маркированном через *stress* (Cutler 1984; 77). Это различие сформулировано Д. Болинджером: «слог под *stress* есть тот, который потенциален для *accent*» (Bolinger 1986). Таким образом, в англоязычной просодической литературе на уровне высказывания *stress* — словарно закрепленные словесные ударения — являются как бы гвоздями, на которых закрепляются мелодические пики со смысловым заданием — *accents*. То есть *accents* — это некие точки в мелодике высказывания. Так они понимаются при речепорождении: «Внутри мелодики некие характерные резкие движения тона используются, чтобы выделить отдельные слоги. Эти движения — *accents*» (Bolinger 1986; 9). При речевосприятии: «В процессе речи некоторые слоги становятся перцептивно выделенными просодическими средствами, как правило, интонационными. Эти слоги акцентированы. Обычно *accents* располагаются на лексически *stressed* слогах слова» (Nooeteboom, Kruyt 1983; 3). «Словесный *accent*, т. е. просодическое подчеркивание на уровне слова» (Gvosdapióć 1987; 199). Но и «“*accent*” — это фонетически нейтральный термин для акустического подчеркивания» (Pulgram 1975; 117), т. е. не только мелодика. *Accent* означает и совокупность просодических подчеркивающих средств (Beckman 1986). То есть «акцент» — это «музыкальное ударение» в тех случаях, когда говорится об исторической и сравнительной акцентологии. Правда, в этом случае стараются употребить слово *tone*. Тогда «*accent* является более суперсегментным, чем *tone*» (Beckman 1986; 28), поскольку *tone* есть также словарная характеристика слова. Итак, справедливо замечание о том, что «понятие *accent* все еще остается плохо очерченным» (Nooeteboom 1982; 319). Более того, акцентом называется не только само расположение мелодических пиков на ударных слогах слова, но и определенная семантика этой мелодики. Так, Болинджер говорит о двух функциях интонации: *accent* и *intonation*. Акценты дифференцируют в высказывании важную часть и неважную (Bolinger 1986; 12).

Будет справедливым сказать, что ударения — *stresses* — тоже не рассыпаны по высказыванию как простая сумма стоящих за ними слов, а организованы в англоязычной просодической теории в некую иерархию — метрическую решетку (*metrical grid*), построенную в виде некоторого числа ярусов. Эта решетка сводится к одному гласоударному слогу: *Nuclear Stress*. Теория эта давно

разрабатывается в трудах Либермана, Принса, Селькирк (Prince 1983, 1989, Liberman, Prince 1977, Selkirk 1984).

С тем, что ударение априори может выражаться любым из основных акустических параметров или любым набором этих параметров, соглашались и соглашались практически все исследователи звукового строя. См., например: «Ударение можно определить как вершинообразующее выделение, реализуемое разными путями: с помощью экспираторного усиления, с помощью повышения высоты тона, с помощью удлинения, с помощью тщательной и энергичной артикуляции того или иного гласного или согласного» (Трубецкой 1960; 230); «... ударение может выражаться и повышением голоса, и усилением его» (Jakobson 1962; 107); «... ударение, будь то силовое ударение или музыкальное, „интонация“...» (Сэпир 1934; 62); «Ударение — это выделение одного слога внутри слова по сравнению с другими его слогами. Важнейшими средствами такого выделения являются интенсивность, выдыхание, высота тона и длительность» (Семереньи 1980; 86) и т. д.

Это единодушие в признании параметрической вариативности выражения ударения (сознательно приводились высказывания не современные и не эксперименталистские), разделяемое и учеными самого позднего времени, не препятствует тому, что в языкознании существует два способа категоризации статуса ударения: фонологический и фонетический. Фонологический, более абстрактный, обычно представлен в трудах фонетистов, осознавших методические трудности и экспериментальные парадоксы нахождения признаков ударения в конкретном звуковом потоке. При этом подходе ударение обычно трактуется как выделение одного из слогов слова, воспринимаемое на слух. В последнее время, когда активно исследуется взаимодействие со словесным фразового ударения, в отличие от словесного, не имеющего заранее данной сегментной «привязки», словесное ударение стало определяться как словарный факт, лексическое свойство слова (Cutler 1984; 77). «Ударение — это то, что отмечается в словарях» (Kejsper 1987; 115).

Фонетическим подходом к ударению можно назвать такой, когда ударение тоже понимается как выделение одного из слогов слова, но при этом связывается с конкретными акустическими параметрами. Фонетический подход к ударению свойствен чаще историкам фонетических изменений, акцентологам и индоевропеистам в целом.

Самым общепризнанным претендентом на роль выразителя ударения в слове является интенсивность (обычно синоним экспираторности или силы). Роль динамической характеристики при выражении словесного ударения как бы настолько очевидна («любое ударение является динамическим» (Семереньи 1980; 80)), что несомненность этого привела по сути к терминологической омонимии. Речь идет о следующем: «ударение» — это и идея выделения слога в слове, концепт, это и способ этого выделения (т. е. под ударением понимается именно силовое ударение). Эта двойственность термина в синхроническом

описании обычно не доставляет трудностей исследователю, поскольку конкретный контекст и знание сути дела легко эту омонимию снимают.

Более сложной и методологически необходимой для настоящей работы является квалификация статуса динамического ударения в диахронии. Здесь важным является ответ на такие вопросы: 1) существовало ли в реконструируемый период динамическое ударение вообще? 2) было ли оно параллельным с другими средствами выделения слога, например тональными? 3) налагалось ли оно на тональные средства или располагалось в слове на другом месте? 4) если оно существовало в другой позиции, то куда же исчезало после того, когда старое музыкальное ударение в ряде языков, как известно, стало передаваться нетональными средствами?

По этим вопросам существуют самые различные мнения. Например, А. Мейе говорит о динамическом ударении достаточно глухо: «и.-е. тон сводился к повышению голоса, без заметного усиления. Нет никаких следов, чтобы в и.-е. фонетике играло какую бы то ни было роль силовое ударение» (Мейе 1938; 163—164). Ф. Ф. Фортунатов: «Ударение в и.-е. было свободным» (Фортунатов 1956; 444). У исследователей более позднего времени уже читаем о параллелизме силового и музыкального ударений в раннем периоде. См., например, у Л. Г. Герценберга: «...наряду с тонами в праязыке существовало кульминативное словесное ударение. Оно, по-видимому, падало на первый слог, не имело фонологического значения; объяснялось это тем, что первый слог был корневым, язык же был суффицирующего типа» (Герценберг 1979); у него же: «...ударение первоначально выделяло важную часть слова, словесное ударение и слоговые интонации не связаны» (Герценберг 1980; 321). Итак, речь идет о первом слоге слова в и.-е. как подударном. И в то же время «ясно, что связанное ударение представляет собой инновацию по сравнению со свободным и что, следовательно, реконструкция индоевропейского ударения должна опираться на языки со свободным ударением» (Семереньи 1980; 89).

Итак, находилось ли ударение на первом слоге или было свободным?

Аналогичные проблемы возникают не только для языка прапериода, но и при реконструкции древнейших состояний древних языков. В ведийском языке «...ударение было музыкальным по преимуществу и характеризовалось высотой гласного» (Елизаренкова 1982; 104). Загадкой же латинского языка является гипотетическое существование первичного «динамического ударения» на первом слоге в «праисторическом» периоде латинского языка (свидетельством этого служит фонетическое богатство первого слога, явления синкопы раннего периода и под. (Vendryes 1902). Таким образом, по ряду концепций, латинский язык как бы проделал круг просодического развития: динамическое ударение — квантитативно-позиционные различия — динамическое ударение позднего типа (см. об этом подробнее (Николаева 1989)).

Более того, та же проблема встает и для финно-угорских языков. Только то, что для и.-е. языков соотносится с отдаленным реконструируемым перио-

дом, в финно-угорском соотносится с недавним прошлым и даже с настоящим. Так, по сути со всей группой языков связана дискуссия о месте эрзя-мокшанского ударения (Ravila 1973). Согласно одной точке зрения, ударение в эрзя свободное, оно варьируется в зависимости от говорящего и в зависимости от ситуации. По другому предположению, есть слабое ударение на первом слоге, во всяком случае — в изолированных словах. Для древнейшего прафинно-угорского состояния В. И. Лыткин восстанавливает свободное ударение.

Обратите внимание на еще одно обстоятельство, связанное с реконструкцией ударения.

С. Д. Кацнельсон, занимаясь акцентологией германских языков и фонетическим воплощением акцентов, пишет о том, что «помимо словесного ударения, в шведском и норвежском языках имеется два „акцента“, создающих возможность дополнительного смысловозначения в слове» (Кацнельсон 1966; 13). И далее он показывает, что «основными средствами фонетических реализаций акцентов являются интенсивность и тон» (Николаева 1989; 29). Таким образом, акцент ≠ ударение, но в слове две точки выделены интенсивностью. Это в принципе верно, и повышение тона, как правило, влечет за собой динамическое усиление, которое потом может фонологизироваться, т. е. стать ударением. «Параллелизм интенсивности и тона в акцентах уже не раз отмечался исследователями», — пишет в той же книге С. Д. Кацнельсон (Кацнельсон 1966; 21). Именно эта верная фонетическая идея привела В. А. Дыбо к важной концепции замены архаических и.-е. тонов динамическим (силовым) ударением: «Рассмотрение типологически аналогичных систем и их сравнительно-исторический анализ показывает, что такого рода системы возникают из тоновых систем с силовым контуром, сопряженным с тонами, при фонологизации силового контура, вызванной падением тоновых различий» (Дыбо 1981; 10). Эта же идея связана и с исследованием Л. Г. Герценберга: формированием свободного ударения из тоновых сандхи (Герценберг 1981; 159).

Однако за всеми этими убедительными построениями стоит неясной тенью судьба загадочного силового ударения, отдельного от словесного ударения-акцента. Если выше задавался вопрос о том, где оно размещалось, то теперь можно поставить и другой вопрос: куда же оно исчезло после фонологизации силового ударения на месте архаических тонов?

Что касается более поздней истории языка, то о судьбе этого столь привычного декларируемого силового и.-е. ударения обычно не упоминают. Или о нем «забывают», или оно — артефакт. Более того, в акцентологических работах под ударением обычно и имеют в виду акценты: сдвиг ударения, мена ударения — это мена акцентов. Между тем если быть строгим и держать в памяти положение об «отдельном» силовом ударении, то глядя на акцентную парадигму, мы ничего не узнаем о судьбе «ударения», а узнаем только о судьбе акцентов и их рефлексов.

Можно предположить, что вся эта явная и скрытая запутанность в вопросе о диахронии силового ударения заставила А. А. Зализняка вообще избегать термина «ударение», оставляя за ним четкие узкие границы: «Соответственно, термин „акцентуация” может употребляться, в частности, применительно к языку в целом (например, „праславянская акцентуация”, „современная русская акцентуация”). В этом случае возможен также термин „ударение”, но он уместен лишь там, где существует только один тип просодического выделения (например, „современное русское ударение”, но не „праславянское ударение”» (Зализняк 1985; 6).

Между тем, как кажется, все эти терминологические и экспланаторные трудности могут быть разрешены в рамках единой объясняющей модели, если принять в качестве нового концепта просодической теории соответствующее ему явление, которое в наших работах было названо *схемой слова* или *просодической схемой слова*. Под просодической схемой слова понимается модель распределения сильных и слабых (т. е. максимально и минимально выраженных) точек реализации параметров просодии в пределах слова, независимых от места и способа реализации ударения.

Для большинства исследованных языков (на типологической стороне этого явления мы остановимся ниже) просодическая схема слова организована таким образом, что сильной точкой интенсивности является начало слова, а сильной точкой для длительностного параметра, темпоральной, является его конец.

Приведем ряд примеров, демонстрирующих объективность просодической схемы слова.

Данные итальянского языка (по работе П.-М. Бертинетто (Bertinetto 1981)):

Слово с начальным ударением:	+	–	–
Интенсивность	8,08	2,91	2,57
Слово с пениультимным ударением:	–	+	–
Интенсивность	6,74	4,91	3,49
Слово с конечным ударением:	–	–	+
Интенсивность	6,87	4,99	5,62

Из приведенных данных видно, что акцентная кривая слова во всех случаях остается нисходящей, но под влиянием конкретного ударения подударный слог несколько усиливается.

Продемонстрируем собственные результаты анализа языков Балкан. Анализировались слова пяти ритмических структур: $\acute{\quad} \text{—}$, $\text{—} \acute{\quad}$, $\acute{\quad} \text{—} \text{—}$, $\text{—} \acute{\quad} \text{—}$, $\text{—} \text{—} \acute{\quad}$. Рассматривались следующие языки: румынский, албанский, новогреческий, македонский, болгарский, сербский. Ритмические структуры были подобраны единообразно: с вокальным анлаутом на /a/ и консонантным анлаутом

на /b/. Там, где это оказалось возможным, анализировались пары слов, отличающихся местом ударения. Все параметрические данные, полученные в лабораториях ИРЯ РАН, ИСАА, Университета дружбы народов, МГЛУ, Института физиологии им. И. П. Павлова РАН, регистрировались и сравнивались. Примеры пар: рум. *ágă* — *agá*; *bábă* — *babá*; *bárem* — *barém*; *amáră* — *amará*; н.-греч. *ἄλλα* — *ἄλλα*; *ἄμη* — *ἄμή*; *ἄρα* — *ἄρα*; *ἄλχη* — *ἄλχη*; *ἄχοπος* — *ἄχοπως*; алб.: *ármë* — *armë*; *átë* — *atë*; болг.: *бáкан* — *бакáн*; *áртък* — *арт'ък*; *áрка* — *аркá*; *бли́жа* — *ближá*; *бúча* — *бучá*; *бéден* — *бедéн*; *бráва* — *бравá*; *áрмия* — *армéя*.

Приведем обобщенный вариант фиксирования просодических параметров слова. Каждый из возможных показателей ударения нотировался как: f (высота тона), t (длительность) и i (интенсивность). Затем регистрировались данные в следующем виде. Например, если слог выражался максимумами всех трех параметров, то это передавалось как ftí. Соответственно tí означало и длительность и интенсивность, t — высоту и длительность, fí — высоту и интенсивность, i — только интенсивность и т. д.

Конкретные показатели: цифры показывают число (в %) тех случаев, когда интенсивность входит в совокупность акустических параметров, характеризующих слог (стб. 1); когда интенсивность является единственным показателем ударности слога (стб. 2):

	1	2
Румынский язык:		
— ' —	41,8	17,6
— — ' —	30,4	0
' — — —	33,3	20
— ' — —	66,6	9
— — — ' —	11	0
Новогреческий язык:		
— ' —	50	28
— — ' —	35	0
' — — —	52	9
— ' — —	43,7	16
— — — ' —	23,8	0
Болгарский язык		
— ' —	36	24,4
— — ' —	30,2	0
' — — —	36,3	90
— ' — —	28	0
— — — ' —	38,4	0

Вполне очевидно, что тенденция к понижению акцентной кривой, т. е. компонент просодической схемы слова, функционирует параллельно с выделительными тенденциями ударности.

Очертив концепт просодической схемы слова, мы хотим снова вернуться к динамическому ударению и показать связь этих двух просодических феноменов, но уже рассматриваемых отдельно.

При изучении ударения в самых разных аспектах как бы не принимается во внимание (или забывается) тот факт, что ударение есть то, что слышно как ударение. Иначе говоря, оно проходит некий порог нашей перцептивной тренированности. То есть ударение слышно всем как таковое и может быть всеми в таком качестве идентифицировано. Это — факт интроспективного языкового метасознания (возможно, эволюционно неранний). Сильные же точки просодической схемы слова не являются еще ударными слогами, однако расположенные на них сегментные конфигурации (слоги) слышатся (воспринимаются) лучше других. Если их усиливать, то эта увеличенная «слышимость» пройдет через тот порог перцепции, после которого слог уже воспринимается как ударный. Таким образом, сильные точки просодической схемы а к ц е н т о г е н н ы.

Как уже говорилось, сильной точкой интенсивности слова является начало слова, его первый слог. Фонологизация просодических явлений есть кодификация в парадигматике явлений, потенциально для этого пригодных, но градуальных по сути. Поэтому, вероятно, начало слова было усилено и в индоевропейском (см. теорию первого слога у Л. Г. Герценберга) — так, как оно усилено и в современном русском языке, и это было автоматизировано так же, как и в современном языке. Тем самым выделялось слово, очерчивалась в сознании воспринимающего его начальная граница (слово в данном случае мы понимаем широко), но слово не воспринималось как кодифицированный фонологический элемент. Смыслосоздающую функцию, видимо, выполняло тональное (музыкальное) ударение. После падения тоновых различий у языков оказывалось три возможности: 1) сохранить вообще тональные акценты; 2) кодифицировать те силовые увеличения, которые сопровождали тоновый акцент; 3) кодифицировать сильное динамическое начало, то есть, проще говоря, довести первый слог до состояния ударности. Все эти три вариации мы и имеем в общеиндоевропейском и — по группам — более узком наследии. Поскольку сейчас мы не говорим о другой сильной точке — длительностном конце слова, мы не анализируем возможности этого акцентогенного региона, но очевидно, что на его базе возникает пенультимное и конечное «ударения».

Предлагаемая нами теория, как представляется, распутывает указанные загадки с реконструируемым силовым праударением. Более того, она показывает, что по сути правы все авторы, как будто бы противоречащие друг другу. Это и идеи Л. Г. Герценберга об ударении на первом слоге, динамическом, но не несущем смысловой функции, это и мысли Р. Якобсона о так называемом «ре-цессивном» ударении, когда оно возникало в отдельных языках достаточно

поздно, это и концепция В. А. Дыбо, выводящего позднее силовое ударение из динамического усиления при тональных акцентах (в этом смысле прав и О. Семереньи, утверждавший, что всякое ударение в конце концов «динамическое»), это и взгляды А. Мейе, сомневавшегося в наличии силового ударения в индоевропейском, и позиции тех, кто считал и.-е. ударение «свободным», поскольку в данном случае речь шла об ударении из акцентов.

Акцентогенная активность первого слога имеет место и в наши дни. Так, исследовательница типологии акцентов М. Бекман (Beckman 1986) определяет три излюбленных места размещения акцента в анализировавшихся ею языках. Это: 1) начальный слог, 2) конечный, 3) предпоследний. Наша теория про-содической схемы слова, как кажется, и объясняет расположение именно этих трех точек. Понятие акцентной зоны было разработано в связи с изучением размещения ударения в латинском и древнегреческом языках. Эта зона получила название «конечного ансамбля» (см. Тронский 1953, Тронский 1962). Вариации расположения ударения в конечном ансамбле определяются количественным критерием: долготой — краткостью трех последних слогов.

Замечательной в этом плане является идея Н. С. Трубецкого о том, что в искусственном международном языке целесообразно иметь ударение на первом слоге (Трубецкой 1987; 27). С возможным в данном случае стремлением выдать желаемое за действительное можно прочесть у него, что «начальное ударение вспомогательного языка не представит затруднений и для тех народов, в родном языке которых место ударения свободно». Интересно в этой связи замечание Р. О. Якобсона о том, что при ярких эмоциях даже во французском языке возможно ударение на первом слоге: *fórmidable*.

Вообще о значимости первого слога как потенциально ударного написано очень много. Так, П. Мертенс (Mertens 1991) показывает, что во французском языке есть два места словесного ударения: конечное и начальное, эмфатическое. В английском языке при нежелательном стыке двух ударных ударение переносится именно на первый слог: *Mississippi river — Mississippi* (Shattuck, Hufnagel 1991). Даже в слабоударном грузинском речь может идти именно об ударении на первом слоге (McCoу 1991). К этому же относятся, видимо, и такие явления, как «ляпанье», перенос ударения в говорах на первый слог (Тер-Аванесова 1989). Разумеется, акцентогенная точка слова создает условия для употреблений типа *включить, принять, начать* и т. д. Кстати говоря, экспериментально важным в таких случаях было бы обращение к говорящим с просьбой расставить ударение в этих словах, в том числе и в тексте. Весьма возможно, это не совпало бы с их произнесением, что еще раз подтвердит гипотезу о раннем возникновении ударения как фонологического феномена.

Введение категории осознанной слышности ударения обращает наше внимание и на возможное несовпадение данных экспериментального анализа и осознанного восприятия звуковых единиц человеком. Например, в

трехсложном слове типа — ' — первый слог может быть самым интенсивным, а последний — самым длительным, однако все будет «правильно» слышать ударение в середине. Обращение к человеческой перцепции и когнитивному фактору продемонстрировало асимметрию анализа и синтеза звукового потока.

Если принять ударение как некий факт становления, как результат процесса, то можно сделать ряд серьезных выводов. Во-первых, возможно, что в некоторых языках фонологизации ударения еще не произошло. Поэтому в таких языках экспериментальный анализ будет выявлять, и с весьма возможной регулярностью, точки самые интенсивные, самые длительные, самые высокие и т. д., и все же об ударении здесь говорить нельзя. Это факт языковой интроспекции носителей языка. Поэтому языки без ударения вполне возможны, как это и показывает типология. Сложные компенсаторные отношения внутри языка могут заместить не появившиеся ударения.

Во-вторых, для того, чтобы реконструировать ударение в языке древнейшего периода, нужно сначала быть убежденным в том, что в данном периоде оно было, т. е. что это был язык, где ударение уже фонологизировалось. Для подобных доказательств, бесспорно, требуется глубокая разработанность теории диахронической типологии.

В-третьих, функции ударения меняются. Во многих языках оно настолько фонологизировано, что начинает выполнять все более разнообразные категориальные функции — от частеречной словообразовательной до самой тонкой семантики: ср. *красавéц, пальца́ми* и т. д. Иначе говоря, ударение и его функция сейчас — это не то, что было даже семьсот лет назад.

Это еще раз возвращает к основной идее Н. С. Трубецкого об осознанности фонологических компонентов как воспринимаемых элементов: «... наличие в сознании каждого члена языковой общности единого языка является предпосылкой любого речевого акта... Язык существует в сознании всех членов данной языковой общности» (Трубецкой 1960; 7).

Необходимо обратить внимание на то, что само слово «фонологизация» имеет два значения: процесс и результат. О первом значении как-то пишут мало, считая фонологическую систему стабильной. Но эта идея процесса подчеркивается в работах Р. О. Jakobsona: «Возникновение физиологического различия можно назвать „фонологизацией“ (или „фонологической валоризацией“), т. е. приобретением фонологической значимости» (Jakobson 1985; 119).

Фонологизации противостоит: для сегментных единиц смешивание их в некий диффузный класс, а для суперсегментных, более сложных по интроспекции, — их автоматизированная выполняемость, неосознанность их различительной способности.

Таким образом, фонологизация может быть результатом длительной эволюции, и потому если в языках-потомках нечто фонологизировано, то в языке-источнике оно может быть еще «до-фонологизировано».

Между тем для просодических феноменов существует изначальное препятствие в их движении к фонологизации. Дело в том, что, как пишет Н. С. Трубецкой, фонологические звуковые различия в отличие от фонетических не знают «переходных зон» (Трубецкой 1987; 33). Просодические фонологические особенности реализации ударения характеризуются тем, что ударение, став таковым, начинает входить в привативную оппозицию «наличие/отсутствие ударения», тогда как фонетические данные шкалированы и градуальны: «ударный слог» может по своим параметрам отличаться от неударного практически минимально. Таким образом, фонологизация ударения есть по своей сути кодификация, перевод явления в парадигматический феномен. Кодифицировать — значит усилить потенциально акцентогенные компоненты просодической схемы слова до того порога, после которого усиленное место будет восприниматься как ударение.

Приняв просодическую схему слова как феномен, автономный по отношению к ударению, существенно остановиться еще на одном важном обстоятельстве. В нашем метасознании ударение обычно связывается со слогом. В просодической же схеме значимы участки слова: начало — середина — конец, напрямую со слогом не соотносимые. Иначе говоря, существует еще один вид членения звукового потока, параллельный слоговому и им не определяющийся. Многоканальность звукового сообщения служит для этого достаточно фундаментальной опорой. Ближе всего членение на уровне просодической схемы соответствует тому членению, при котором в слове различается инициаль, средняя часть и финаль. Выше говорилось лишь о просодии слова, но указанные части различаются достаточно регулярно сегментным наполнением. Наиболее подробно значимость инициали для слова показана в последней монографии Л. Г. Зубковой (Зубкова 1990; 197). Вообще Л. Г. Зубковой впервые отчетливо сформулирована переплетенность в слове сегментных и суперсегментных характеристик, обусловленность первых последними.

Многолетние наблюдения эксперименталистов приводят к гипотезе о существовании некоторой промежуточной единицы между слогом и словом. Так, еще в 1876 г. тартуский ученый Л. Мазинг (Masing 1876), занимаясь анализом сербских акцентов, заметил, что рисунок мелодики (тона) при восходящем акценте / соотносится с рисунком при нисходящем акценте \cap так, что второй слог восходящего акцента сходен по тону с ударным слогом нисходящего акцента. Если снова вспомнить тот факт, что / появился в результате «переноса» прежнего акцента \cap на один слог к началу (а в наших терминах, в результате увеличения показателей предударного до порога ударности), то станет ясно, как об этом и писал Л. Мазинг, что речь идет о битональной фигуре, единой по сути, но по-разному расположенной по отношению к «ударному» слогу. Именно такие битональные рисунки в зоне ударного слога были нами обнаружены для болгарского языка, от которого таким образом сербский отличается фонологизированностью этих битональных фигур. К сожалению, не была еще произве-

дена работа по анализу лексемной закрепленности этих фигур в болгарском, что дало бы возможность понять, какова корневая дистрибуция этих фигур и достаточно ли она регулярна.

Американская исследовательница Дж. Брекенбридж-Пьерхамберт в диссертации об английской интонации (Breckenbridge-Pierrehumbert 1980) в качестве смыслоносителей интонации фразы обнаружила именно такие как бы спаянные битональные фигуры (LH, HL, L*N, H*L), непрямо соотносящиеся со слогами и формирующие индивидуальный рисунок высказывания на фоне основной мелодической линии (baseline).

Идея дифонного синтеза звучащей речи принята сейчас как базовая в Институте перцептивных исследований в Эйндховене (Нидерланды) (см. Collier, van Leeuwen, Willems 1992).

Двойной компонент выявляется и для интенсивности слога. Так, в славянских языках интенсивность второго слога слова близка к первому и часто резко отличается от третьего, где наступает перепад вниз. Впервые на это применительно к чешскому языку указал в 1924 г. Ф. Травничек (Travniček 1924). О двусложной структуре чешского языка писал и А. М. Селищев, представляя ее как трехэлементную с двумя краткими слогами и одним долгим (Селищев 1941). Можно привести и конкретные экспериментальные данные. Так, например, в структуре — ' — ударный был выделен, но подсчет отношения ударного слога к предударному давал приблизительно 1:0,9, а подсчет отношения ударного к заударному давал 1:0,3—0,25, т. е. ударный и предударный в этой структуре различались мало. Ср. в белорусском языке: слово *вільчыках* — интенсивность 9/8/3—1, т. е. опять объединяются два первых слога.

Что же касается длительности, можно обратиться еще к временам античности, когда было известно о значимости как минимум двух последних слогов, «конечного ансамбля». Таким образом, каждый акустический параметр слова (тон, интенсивность, длительность) вычленяет в слове некоторые участки вокруг ударения, приблизительно по протяженности соответствующие двум слогам.

* * *

Итак, на обсуждение предлагались следующие положения.

1) Просодическая схема слова — расположение максимумов и минимумов просодических показателей — представлена в слове как автономный феномен по отношению к ударению.

2) Просодические показатели схемы слова носят автоматизированный, неосознаваемый характер; ударение же есть осознаваемый в интроспекции метакомпонент.

3) Однако сильные точки схемы (максимумы) акцентогенны: увеличение их показателей до определенного перцептивного порога делает это участок осознанно воспринимаемым как ударение.

4) Когда усиленный участок слова осознается как ударение, имеет место фонологизация ударения.

5) Ударение есть то, что и воспринимается как ударение, поэтому чисто фонетические показатели (поиск и нахождение максимумов) для определения ударения недостаточны.

6) Таким образом, возможно существование языков, где не имеет (не имела) места фонологизация ударения как осознанного феномена; тем самым ударения в них нет.

7) Во многих языках сильной динамической точкой просодической схемы слова является его начало, поэтому бесспорные положения о развитости фонетики и о содержательной значимости словесной инициали еще не свидетельствуют, строго говоря, что в начале слова было ударение в нашем современном понимании.

8) Фонологизация ударения может быть длительным процессом, и содержательные функции ударения могут на протяжении исторического процесса меняться.

9) Реконструкция ударения для некоторого раннего исторического периода должна быть верифицирована уверенностью (доказанностью) в том, что в реконструируемый период ударение было действительно фонологизировано, то есть существовало как таковое.

§ 4. Ударение — в отличие от просодической схемы. Акцентное выделение — в отличие от «фразового ударения». Изоморфизм моделей

Итак, мы декларировали выше потенциальную вторичность ударения как позднего эволюционного явления в пространстве словесной просодии. Тем самым в этом словесно-просодическом пространстве намечилось два измерения: просодическая схема — это как бы арена действия, нечто нейтральное и потому нормативное, обязательное, и, с другой стороны, ярко маркированный когнитивно-перцептивный факт: ударение, феномен, которого в языке в принципе может и не быть.

Как показывают исследования, можно утверждать параллельность отмеченной многомерности также и для просодии высказывания.

Далее будут рассматриваться два уровня — уровень фразовой интонации, нормативный и обязательный, без которого фраза не может являться таковой, и уровень акцентного выделения (подчеркивания, *prominence*, «логического ударения» и под.), которого также может не быть, но которое и является, на наш взгляд, основным просодическим средством создания дополнительных смысловых строк.

Подобное смысловое подчеркивание меняет нашу точку зрения, дает иную трактовку привычным текстам. Например,

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Как можно понять эти слова Пушкина? — На самом деле, позитивистские факты — это явление низменное, а ложь (во спасение?) помогает нам жить и дает надежду.

А если прочесть так:

Тьмы **низких** истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Тогда мысль поэта можно понять как горькое разочарование в иллюзиях обмана, который дороже только низких истин. А ведь есть истины высокие!

А если:

Тьмы **низких** истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Тут человек всегда эгоцентричен и страстно жаждет услышать о себе только хорошее, даже если это и не совсем так.

Мы постараемся доказать, что «логическое ударение» есть факт, сосуществующий с фразовой интонацией и «фразовым ударением» — так же, как ударение словесное сосуществует с словесной просодической схемой.

Итак, выше было предложено различать просодическую схему слова (автоматизированный феномен, интроспективно не замечаемый) и ударение (факт воспринимаемый, когнитивно осознаваемый, перцептивно значимый). Это можно показать на самом простом эксперименте. На вопрос: «Скажите, где в этом слове ударение?» или даже: «Где Вы слышали ударение в этом слове?» средний носитель языка ответить должен. Но просьба: «Опишите движение интенсивности и длительности в слове» или вопрос: «Где в слове более громкие и более растянутые участки?», как представляется, могут быть осознаны только изошренным исследователем-специалистом.

Различие перцептивного статуса двух описанных феноменов словесной просодии строго параллельно отношению двух фразовых просодических феноменов (Николаева 1982). Нами было предложено разделение фразовой интонации с фразовым центром и «автоматизированным» (термин И. И. Ковтуновой) оформлением и потенциально возможного выделения слова или составляющей — акцентного выделения (АВ). Акцентное выделение предлагалось считать таковым при соблюдении двух условий. Первое: оно должно быть слышимым, каждый носитель языка должен понять, где было подчеркивание, и воспринять это правильно. Второе условие объясняется более высоким семантическим статусом высказывания в отличие от слова. Перцептивно яркое

акцентное выделение создает вокруг себя дополнительную смысловую ауру, теневое высказывание: *Это был мой первый неудачный брак* (остальные тоже были неудачными); *Витя поехал в Москву* (были какие-то препятствия или колебания); *Даже Петя не решил задачи* (Петя обычно решает их хорошо); *В школу пойдет папа* (а не кто-то другой, как обычно) и т. д.

В такой же степени, как трудно носителям сильноударных языков представить себе, что слово может быть без ударения, лингвистам оказалось сложным представить высказывание без яркого «фокуса», столь обязательного в фонологических представлениях высказывания. Собственно говоря, возможность наличия двух гетерогенных центров в высказывании: 1) автоматизированного, показывающего терминальный контур фразы и ее коммуникативный тип, и 2) отчетливого по восприятию и демонстрирующего сознательное подчеркивание — является сейчас в мировой интонологии наименее воспринимаемой. Так, сообщение на XI Международном конгрессе фонетических наук Н. Торсен-Гроннум (Torsen-Grønnum 1991) о том, что не во всяком датском предложении есть «фокус», а возможны простые описательные предложения без теневой семантики, было воспринято как сообщение о некоей датской экзотике. Таким образом, почему-то оказывается легче принять идею особенности языка (ср. характерную фразу английской фонетистки Э. Катлер: “In a language which has sentence accent...” (Cutler 1991)), чем идею нескольких функционально различающихся интонационных самовоплощений.

Акцентное выделение — это обозначение, может быть и неудачное, активной для восприятия выделенности просодическими средствами какого-либо слова во фразе: *Вам не с кем пойти? Пригласите Леночку. — Вот с ней я и не хочу идти!*; *Это довольно просто. — Для Вас* и т. д. Оказывается, что наличие и/или место такого выделения меняет картину описываемого мира, даже и не включаемого в очевидной форме в текст, где располагается акцентное выделение. В интересной книге С. Шмерлинг, посвященной трактовке акцентного выделения на англоязычном материале (Schmerling 1976), приводятся, в частности, такие примеры: *John called Mary a Republican, and then she insulted him* — акцентное выделение во втором предложении зависит от того, считается республиканцем — это оскорбление или нет: если да, то ударение ставится на *him*; если нет — по правилам английской фразовой просодии фразовое ударение помещается на глаголе. Рассмотрим другой пример: *This is the man I was telling you about; This is the doctor I was telling you about* (Schmerling 1974; 72). Нужно ли выделять *the man* и *the doctor*? Оказывается, что в обычной обстановке не требуется выделять *the man* и где-нибудь в госпитале *the doctor*. Но там, где мужчина (или доктор) редкость, реально, как пишет С. Шмерлинг, выделение *the man* или *the doctor*. Таким образом, вокруг акцентного выделения создается ореол коммуникативных коннотаций.

Принимая или отвергая любое из предложенных определений акцентного выделения, необходимо прежде всего обратить внимание на ту особенность

АВ, которая в наибольшей степени затрудняет и запутывает вопрос о его лингвистическом статусе.

Будучи по своей сути явлением функциональным, коммуникативным знаком, АВ в концепциях разноязычного толка непостижимым образом связывается именно с явлениями плана выражения, не совпадающими функционально с АВ, — с интонационной структурой высказывания, прежде всего с проблемной интонационного центра. Как нам представляется, теория АВ, его функциональной трактовки, может (или должна) относиться к фонетической стороне воплощения АВ так, как морфонология (в виде теории акцентных парадигм) относится к фонетическим данным словесно-просодического характера о типе воплощения словесного ударения в зависимости от его позиции. И в самом деле, для морфонологии достаточно знать, что *водá* и *странá* различаются по месту ударения в Acc. Sing.: *воду́*, но *страну́*, и совсем не обязательно знать, как именно выражается просодически ударение, расположенное на первом или втором слоге, морфонология занимается функциональным аспектом словесного ударения.

Как представляется, требуемые рамки могут быть наложены исходя из специфики АВ как коммуникативного явления. А именно, предлагается описывать АВ через его характерные особенности: 1) АВ резко выделяет слово по сравнению с другими его соседями по высказыванию: *Какой-нибудь еды дайте; Ее я никогда не понимала* и пр. 2) АВ создает вокруг высказывания, в которое оно входит, определенный коммуникативно-текстовый и достаточно объективный для данного социума ореол: *Ее я никогда не понимала* (а других — да); *Сегодня не так холодно* (до сегодняшнего дня было холодно) и т. п.

Но гипнотическое воздействие идеи неразрывной связи АВ и интонационно-просодического центра высказывания до сих пор оказывается непреодолимым. Как и многие прописные истины, эта сентенция имеет сложноопределимый генезис. Как и другие истины, кажущиеся непреложными, она родилась, вероятно, путем легких логических сдвигов в формулировке сентенции. А именно: во всяком законченном высказывании должен быть коммуникативно оформленный правильно интонационный центр — фразовое ударение. Безусловно, это фразовое ударение выделяет данное отмеченное слово — его носитель — из числа других, его можно считать интонационно маркированным. Все это так. Но как и каким образом из вышесказанного следует, что: 1) выделенным в высказывании может быть только одно слово, или если выделение приравнять к ударению, то ударным может быть только одно слово; 2) всякое выделенное слово и есть интонационный центр речевого отрезка.

Строго говоря, интонационная теория, точнее, интонационные факты, не предлагают этих положений теории функционально-синтаксической. Однако последняя формулирует их именно так. Большое распространение в лингвистике получило «понимание термина фразовое ударение, при котором этот термин становится обобщающим, поскольку выражает понятие акцентной орга-

низации всякого предложения в языке... О таком понимании термина говорят общепринятые термины: *Satzakzent, sentence stress, accent syntactique*» (Черкасова 1976). Фразовое ударение приравнивается к АВ. См., например, тезис о том, что если перемещается ударение и меняется порядок слов, то актуальное членение не меняется: *Он говорит правду — Правду он говорит* (Адамец 1966); или «во всех языках фокус предложения обычно есть носитель нормального фразового ударения» (*the main sentential stress*).

Как нам представляется, воедино смешиваются при этом несколько проблем: 1) тождественны ли в функционально-синтаксическом отношении АВ и нейтральное фразовое ударение, т. е. являются ли они категориями одного функционального слоя? 2) тождественны ли они в функционально-интонационном отношении? 3) находятся ли они в отношении дополнительного распределения в рамках одного и того же высказывания?

Мы говорили о двух отличиях высказываний с АВ от высказываний с нейтральным фразовым произнесением: резком для слуха выделении компонента с АВ и создании вокруг высказывания особой тексто-коммуникативной ауры. Обоих этих качеств нет у высказываний с нейтральным просодическим воплощением. Однако в теоретическом плане вопрос стоит так: имеет ли при этом место противопоставление плюса нулю — тогда это факты одной категории (как факты одного плана, компоненты одной парадигмы типа *стол + ø → стол-а*) или это факты не соотносимых между собой разноплановых функциональных явлений? Оказывается, что при такой постановке вопроса понятие нейтрально произнесенного высказывания и понятие фразового ударения в нейтрально произнесенном высказывании отнюдь не оказываются синонимичными. Ср. два высказывания: *Я принес для мамы новую книгу* и *Я принес для мамы новую книгу*. Первое и второе высказывания (без АВ и с АВ) противопоставляются как отсутствие — наличию, т. е. факты однокатегориальные. Но выделенное *я* противопоставляется *я* невыделенному или высказывание с АВ противопоставляется высказыванию без АВ глобально? Между тем интонационным центром или фразовым ударением (ФУ) в высказывании без АВ является зона последнего ударного слога, т. е. слово *книгу*. На основании чего мы можем как-то сопоставлять АВ в слове *я* во втором высказывании и ФУ на слове *книгу*? Никакая логика лингвистического рассуждения как будто таких оснований не дает. АВ — факт тексто-коммуникативной сферы, ФУ — факт собственно интонационной сферы.

Но, может быть, они тождественны именно в функционально-интонационном отношении? Это и будет ответом на второй вопрос.

Интонационный центр высказывания, или ФУ, как это принято считать в интонологии, выполняет следующие функции: 1) показывает коммуникативный тип высказывания: утверждение — вопрос — незавершенность — переспрос — восклицание и т. п.; 2) выполняет делимитативную функцию, заканчивая высказывание, отделяя его от других.

Разберем предложения с АВ: *Петя забыл нам позвонить* (с ударением контраста: Петя, а не кто-то иной). Ср.: *Петя забыл нам позвонить, когда все это произошло. Петя забыл вам позвонить? Не верю.*

Просодическое оформление, показывающее тип высказывания и его конец, совсем не концентрируется на слове *Петя*, конец высказывания все равно оформлен в соответствующем месте — ср. слуховое ощущение от мелодики слова *позвонить*: особенно характерно делимитативное продление ударного слога у слова *позвонить* в утверждении.

Фразовое ударение предлагается иногда называть «нормальным» ударением. Без этого ударения фраза не имеет цельнооформленности. Его позиционная обусловленность видна из серий типа:

Он завернул за угол дома.

Он завернул за угол дома дяди.

Он завернул за угол дома дяди матери.

Он завернул за угол дома дяди матери приятеля.

Добавляемые слова, на которые переносится интонационный центр, не являются самыми важными, центральным ядром, не выделяются они и на слух.

Таким образом, АВ и ФУ — функционально разноплановые явления, они поэтому не противопоставляются и не совмещаются.

Ответ на третий вопрос как будто очевиден из сказанного: функционально разноплановые явления не могут быть в дополнительном распределении, находясь в отношении и/или.

Следовательно, они могут сосуществовать в рамках одного и того же высказывания. И даже АВ не должно рассматриваться как «сдвинутое фразовое ударение» или «смещенный интонационный центр»!

Однако, как говорилось во вводной части, просодическим фактам в их функциональном плане в отношении к плану непосредственно фонетическому не хватает того лингвотейоретического статуса, которым обладает морфонология в ее соотношении с фонетикой альтернантов.

Итак, АВ и ФУ в лингвистическом плане несоотносимы.

Отвлекаясь от вопросов обсуждения акцентного феномена как такового, легко увидеть ключ к расхождению подобного рода в явлениях чисто терминологических, поначалу как будто бы и несущественных. Речь идет, конкретно, о разном понимании слова «фраза» в английской и русской лингвистической традициях. Для исследователей английского языка «фраза» (phrase) есть некоторый аналог словосочетанию, но не фразы, например, в понимании А. М. Пешковского, поэтому для англиста «фразовым ударением» в принципе могут, причем в той или иной степени, быть отмечены все знаменательные или даже служебные слова в высказывании.

Представляется, что метод соотнесения АВ-высказываний с потенциальным или реально обнаруживаемым (или однозначно конструируемым) контекстом справедливо подчеркивает основное свойство АВ: выводить данное вы-

сказывание в более широкую прагматическую сферу, сообщать информацию, дополнительную к той, которая непосредственно в этом высказывании содержится. Однако существовавший в течение долгого времени запрет на объяснение лингвистических явлений нелингвистическими феноменами заставляет обязательно вводить высказывание с АВ в рамки такого же языкового факта, хотя бы даже и гипотетического. Теория пресуппозиций в некотором смысле облегчает эту задачу, давая возможность отделять реальный контекст, в который входит высказывание с АВ, от контекста-тени, однако столь же коммуникативно объективного. Так, за фразой с АВ — *Только он не вернулся* — стоит «тень» *Остальные вернулись*, совсем необязательно присутствующая в контексте. И при методе подхода к высказыванию с АВ как контекстно включенной реплике сложность создает представленное неразличение АВ и ФУ. Так, инициальная фраза типа *Кто купил синюю машину?* может сопровождаться ответом *Ее купил Петр* (без АВ) и ответом *Ее купил Петр* (с АВ и теньвым сопровождением типа *Да, именно Петр, а не кто-то другой* или *Представьте себе, Петр и купил машину* и т. п.). Смещение АВ и ФУ снимает и спутывает эти различия: ведь оформленная по всем интонационным нормам реплика-ответ *Ее купил Петр* (без АВ и с ФУ на *Петр*) не вносит теневого сопровождения.

Содержательной характеристикой АВ, также связывающей его с реальным речевым потоком — текстом, является распространенное соотнесение АВ с категорией определенности/неопределенности (см.: Николаева 1979а). Оказывается, что имена определенные вполне могут быть отмечены АВ, например: *Я вчера вновь увидел своих друзей, поэта и гусара. Поэт очень постарел; Это мог сделать либо Ваш сын, либо Ваш брат! — Ну, за сына я ручаюсь.* Здесь мы имеем контраст за пределами одного высказывания, контраст парадигматический. Как мы писали неоднократно (см.: Николаева 1979а), такого рода контраст как раз и связан с кореферентностью, с известностью. «Использование в предложении контрастной темы предполагает, что сообщаемое в остальной части предложения не будет справедливо для остальных членов множества. Контрастные темы вводятся, когда то множество, из которого берется каждая тема, представляет информацию старую и предсказуемую (old predictable information)», например:

А — Among John, Bill and Tom, who teaches high school

В — *John* does (Kuno 1976).

Контрастное ударение синтагматическое также может наслаиваться на упомянутые имена: *Две сестры, старшая и младшая, занимались спортом. Старшая сестра увлекалась плаванием, младшая сестра — велосипедом.*

Таким образом, можно делать следующий фундированный вывод: АВ не связано с категорией определенности/неопределенности; АВ может накладываться на имена обеих категорий.

Тогда в чем же дело? Неужели все ошибались, связывая неопределенность с ударностью? Обратимся к примерам Н. С. Поспелова: *Поезд пришел* (сообщение о приходе поезда) — *Пришел поезд* (какой-то, которого не ждали). Эти примеры не сопоставимы с примерами *Пришел поезд* и *Поезд пришел*. Почему же? Потому что в примерах первой группы нет АВ, а второй — есть. Таким образом, здесь возможна шестичленная совокупность, а не четырехчленная: 1) *Поезд пришел* (только с ФУ, но без АВ); 2) *Пришел поезд* (то же); 3) *Поезд пришел* (а ждали чего-то другого, с АВ); 4) *Пришел поезд* (наконец-то, с АВ); 5) *Поезд пришел* (все-таки пришел — с АВ); 6) *Пришел поезд* (а не то, что вы думали — также с АВ).

Из шестичленного ряда видно, что АВ, как и всегда, создает коммуникативную ауру вокруг высказывания, расширяет его пределы в коммуникативном плане.

С категорией определенности/неопределенности связано не акцентное выделение, а фразовое ударение.

Действительно, индоевропейское предложение, особенно для группы славянских языков, устроено таким образом, что в большинстве случаев именно неопределенное имя — объект (или субъект) — располагается в конце высказывания, в той позиции, куда по правилам интонационного фразового оформления и помещается фразовое ударение. Более всего к нейтральному фразовому ударению тяготеет специфическое неопределенное имя. Специфическое неопределенное имя — это имя конкретного объекта, только не идентифицированного; неспецифическое неопределенное имя — это данный класс вообще (различие этих видов имени важно и прагматически: *Mary wants to marry a Swede* — за конкретного или любого? *John and Jack are looking for a pretty girl* — ищут одну девушку или две? (Kasher, Gabbay 1976)).

Нейтральное, без АВ, произнесение чаще всего связано с повествованием, с сообщением о некоторой ситуации — либо в одном высказывании, либо в цепочке высказываний, дополняющих одно другое. Итак: 1) нейтральным ФУ характеризуется обычно конец высказывания; 2) повествование (описание) есть очень распространенный способ сообщения; 3) в повествовании характерно введение специфических, т. е. конкретных, неопределенных имен; 4) по правилам и.-е. (особенно славянского!) порядка слов эти имена обычно помещаются в конце высказывания; 5) таким образом они связываются с нейтральным ударением, с ФУ (но не с АВ!).

Обратим внимание еще на одну особенность АВ. Как правило, акцентное выделение манифестируется через интенсивность и единообразно в тех языках, интонационные модели которых в целом несколько не сходны. Так, довольно значительно различаются мелодические фигуры основных контуров в английском, французском, немецком и русском языках. Однако типы смыслового функционирования акцентного выделения в этих языках и лексико-грамматические способы «привязки» этих подчеркиваний к тексту высказывания

заставляют говорить о возможности неслучайного схождения на эволюционном пути подобных просодических моделей, поскольку они в целом передают те же смыслы и практически теми же средствами.

Более подробно эти проблемы будут рассматриваться в § 11 настоящей части книги.

§ 5. Акцентное выделение как средство языковой компрессии. Способы формирования дополнительных «смысловых строк» в пространстве восприятия высказывания-1

Пафос обсуждений в предыдущем параграфе был направлен на «разведение» акцентного выделения (АВ), иначе — «логического ударения» и «фразового ударения», которое было бы гораздо удобнее именовать интонационной морфемой, показывающей вид и тип коммуникативного высказывания.

Однако в интологической литературе сам феномен выделенности, подчеркнутости того или иного слова всегда осознавался. И действительно, как мы говорили выше, подобно тому как словесное ударение по сути есть то, что в качестве такового и слышится, и воспринимается, так и акцентное выделение должно быть перцептивно активным. И в этом его суть. Но как же его интерпретировать? Ведь вторым его характерологическим признаком должно быть создание дополнительной смысловой строки. Какой же или каких же?

Удивительным образом, но во всем, что относится к интонационному уровню, у лингвистов всегда наблюдалась стойкая тенденция открыть все двери обязательно одним, и только одним, ключом. Вероятно, за этим стоит нечто, что можно условно назвать **графикогипнозом**. Долгое время интонация — как нечто *супер*сегментное, мыслилась в виде некоторой проволоочки над письменным текстом (условно, конечно). То, что это явление и более древнее, и первичное по отношению к речи письменной, воспринималось с трудом. А главное, еще труднее было представить себе интонацию в виде *n*-мерного образования.

Поэтому и семантику подчеркивания также пытались интерпретировать через один какой-то смысловой ключ. Ниже мы будем обсуждать основные содержательные структуры, с которыми традиционно связывалась функциональная семантика акцентного выделения.

Это — связь с семантикой **контраста**, связь с категорией **важности**, связь с категорией **определенности/неопределенности**, связь с **актуальным членением** предложения, связь с **синтаксической инверсией**. Наконец, это зависи-

мость семантики высказывания с акцентным выделением от той лексемы, которая оказалась акцентно выделенной. Мы постарались показать гетерогенность всех этих смысловых параметров и, тем самым, их не-вхождение в одну и ту же парадигму смыслов.

Как будет видно далее, все подобные привязки будут справедливы, но — только отчасти. Например, наложение акцентного выделения может добавлять значение результата: *Он получил место в министерстве* — т. е. были какие-то сомнения, но ему удалось их разрешить. Акцентное выделение может квалифицировать для слушателя количественный статус числительного, т. е. разяснить, много это или мало. Например, *Я три раза звонил по этому телефону*, т. е. — много.

В фундаментальном труде И. Фужерон, посвященном всем объективно возникающим перцептивным «теневым» контекстам, стоящим за комбинациями порядка слов, лексемы под АВ и тема-рематической организацией высказывания (Fougeron 1989), специальное место уделено не так легко интерпретируемой фразе Вари из пьесы Чехова «Вишневый сад»: *Мамочка кофе просит!* — произносимой в неожиданное для трапез время, а лингвистически характеризующейся приглагольной инверсией и выделением слова *кофе*, в то же время не противопоставленного какой-то иной возможной просьбе, например о чае. Подобные случаи будут нами анализироваться в конце параграфа. Однако помочь интерпретации именно этого примера помогла специальная литературоведческая статья о том, что в начале века в России обычай пить кофе «просто так» был еще неизвестен и от просьбы Раневской веяло чем-то глубоко иноземным и пока еще чуждым (см.: Полоцкая 1992).

Во всех трех параграфах, посвященных акцентному выделению, которые включены в первую часть нашей книги, основной задачей было: определить лингвистический статус этого явления, во-первых, и доказать тот факт, что оно способствует созданию объективно воспринимаемой дополнительной «теневой» смысловой строки, во-вторых.

Окончательное построение всех парадигматических наборов, образующих стороны многомерного смыслового пространства, формируемого акцентным выделением, не входило в наши задачи.

1. Акцентное выделение и контраст

Во многих работах, посвященных функциям интонации, все случаи, не соотносимые непосредственно с автоматизированным ФУ, интерпретируются только и только как носители контрастного значения.

Таким образом, устанавливается дихотомия: нейтральный («нормальный») вид ударения vs контрастное ударение. *Tertium non datur*. Характерно, что во многих статьях, посвященных контрастному и нормальному ударениям (Fuchs

1976; Schmerling 1974), основной пафос — доказать, что высказывания с «контрастным» ударением тоже «нормальны». Так, С. Шмерлинг (Presuppositions and the notion of normal stress) высказывает эту мысль достаточно прямо: «... разве можно считать, что предложения, с которыми ассоциируются пресуппозиции, менее нормальны для естественного языка, чем те, с которыми никакие пресуппозиции не ассоциируются» (Schmerling 1974; 244). Считая все объективно возникающие в речи ударения «нормальными», она предлагает снять оппозицию нормальное/контрастное ударение, заменив ее оппозицией сильное/слабое ударение (heavy/reduced stress).

Критикуется ли здесь идея контрастивности как обобщенной смысловой категории, передаваемой АВ? Ответить на этот вопрос сложно, и не потому только, что действительно во многих случаях АВ передает противопоставление. Дело еще и в том, что, как представляется, идея контрастивности АВ привела к разработке принципиально новой для лингвистики коммуникативно-текстовой категории — контрастоспособности лексемы.

Однако во многих случаях с АВ нельзя говорить о противопоставлении, но только о подчеркивании — *Масленицу всенародную праздновали*.

Например, таково АВ при интенсификации — *Мне очень понравилась Ваша жена* (А не не очень, как предполагалось?); *Я абсолютно с ним не согласен*; *Он просто совсем не знает алгебры*; *Мы ежегодно посылаем туда запросы* и т. д.

Таково АВ при результативных употреблении глагольных форм — *Пришел дядя Ваня* (т. е. все-таки пришел). *Он все продумал. И добился желанных результатов*.

Таково АВ при уточняющем атрибуте: *Мы собрались сегодня на филологическом факультете МГУ...* (явно смысл подчеркивания не в противопоставлении остальным факультетам); и атрибуте оценивающем: *Ко мне сегодня обратилась одна очаровательная дама*; *Скромным его никак не назовешь* и т. п.

Таким образом, не все АВ обладают семантикой контраста; более того, семантика подчеркивания, значения 'именно', обычно включаемая в контрастивную категорию со значением Х — не-Х, также, по нашему мнению, не может быть включена в контраст, реализуемый в пресуппозиции. Если уходящему человеку напоминают: *Ключи не забудь*, значение 'именно', несомненно, присутствует в АВ, и, столь же несомненно, никакого контраста здесь не предполагается. Таким образом, смысловое поле АВ оказывается шире одной только семантики противопоставления.

2. Акцентное выделение и важность

Мы говорили о вещах принципиально неразрешимых, но связанных изначально с теорией функционирования АВ. Трудности эти, или камни преткновения, едины для всего огромного комплекса проблем, связанных с просодиче-

скими явлениями. Это — неразрешимое противоречие между дискретностью фактов лингвистики и недискретностью первичных данных речевого потока, организованного, как и вся зона употребления, по принципу «более или менее». Все сказанное нами до сих пор преподносилось читателю таким образом, как будто в высказывании с легкостью можно отличить АВ, даже если их несколько, от остальных элементов, не являющихся АВ. Действительно, на этом в большой степени строится предлагаемая концепция. Однако сущность ее не только в акустико-перцептивной выделимости АВ, но и в их способности выводить слушателя за пределы одного высказывания. Естественно, возникает вопрос об иерархичности выделенных слов в высказывании.

В прямой форме именно о такой иерархичности говорится в работах И. Г. Торсуевой, посвященных категории важности в ее просодическом выражении (Торсуева 1970; 1974; 1979). Автор предлагает такой всеохватывающий анализ высказывания, при котором оно членится на элементы, «различающиеся для говорящего по степени их важности». Этот вид анализа имеет ряд выгодных особенностей, он не ограничен в количестве элементов по сравнению с другими видами смыслового членения и не оставляет отрезков вне сферы анализа. Торсуева исходит из того, что, даже учитывая необходимую степень субъективности оценки, основой теории является то, что «существует определенная градация по степени важности» — ею разбирается пример *Necesito esa cantidad mañanomisimo*, представляемый в виде шкалы элементов, располагающихся по степени важности — V_2, V_3, V_1 , где самый важный компонент — V_1 . Так, трехэлементные шкалы подобной сложности могут иметь вид $V_2, V_1V_2, V_1V_2V_1, V_1V_1V_2, V_2V_1V_1, V_2V_2V_1, V_1V_2V_2, V_2V_1V_2$.

К этому же направлению можно отнести известные работы чешского лингвиста Я. Фирбаса о распределении в высказывании некоторой смысловой категории — коммуникативного динамизма (КД), интерпретативно приближающегося к категории важности (Firbas 1972; 1979 и др.). Фирбас соотносит идеи коммуникативного динамизма с актуальным членением, но, строго говоря, его теории автономны; биссектрисе актуального членения в его концепции противопоставляется иерархия членения — собственно тема, переход, собственно переход, рема и собственно рема. Я. Фирбас исходит, в частности, из двух посылок, связанных с градуальностью КД в высказывании: о связи просодических средств с гаммой КД и о корреляции степени КД и лексико-грамматической характеристики слова.

В плане просодическом Фирбас выделяет 4 типа слогов: безударные, частично ударные, ударные, носители ядерного значения (*bearing a nucleus*). Таким образом, «гамма средств КД оказывается богаче гаммы просодических средств». В более ранних работах Фирбас соотносит степень КД, скорее, с семантико-функциональной нагрузкой частей речи: так, вспомогательные глаголы минимальны по степени КД, существительные с неопределенным артиклем — максимальны и т. п.

В более поздней статье Фирбас (Firbas 1979) соотносит КД уже с общесемантическим представлением высказывания. Так, актант важнее локализатора, обстоятельства места важнее обстоятельств времени, частицы типа *even, so far, i* «определяют сопровождающий их элемент как носитель самой высокой степени КД» (as the carrier of the highest degree of CD).

3. Акцентное выделение и эмфаза

Одним из авторов, наиболее четко связывавших акцентное усиление с эмфазой, т. е. субъективным компонентом, модальным подчеркиванием, был В. Матезиус (Mathesius 1947), различавший усиление (интенсификацию) и эмфазу. Основное средство эмфазы — именно просодия (*zvukový důraz*). Интенсификация, в свою очередь, может выражаться и лексико-грамматическими средствами: *Ten plakát nekřičí, ten rve* (ср. *Lev rve* — как его обычное состояние).

В целом вопрос об АВ и эмфазе, как представляется, связан со следующими проблемами.

Во-первых, это проблема просодических средств выражения эмоционального аспекта высказывания.

Во-вторых, это объективное решение вопроса о том, действительно ли АВ эмфатично по своей природе, отражает ли этот термин некоторое рутинное, но не адекватное действительности представление, эмфатичны ли некоторые, но не все виды АВ?

В-третьих, поскольку эмфазу (экспрессивность) часто связывают с появлением акцентного выделения при инверсии, необходимо остановиться на лингвистической интерпретации этой связи, несомненно существующей.

Оспаривать или отрицать роль просодического фактора при выражении эмоций в высказывании невозможно. Эмоциональный момент в фразово-просодическом рисунке может воплощаться в двух аспектах: 1) в общей эмоциональной окраске всего высказывания — передача печали, радости, удивления и т. п. В этом случае эмоциональный аспект как бы диффузно манифестируется на всех участках высказывания; 2) особо эмоционально могут быть отмечены некоторые отдельные компоненты — чаще всего это бывают оценочные прилагательные, интенсивы-наречия и пр. (см.: Торсуева 1979).

Однако всегда ли можно говорить об обязательной эмфатичности (или экспрессивности) всех АВ? Обратимся к примерам: *В кинотеатр мы попали не в семь, а в восемь часов; Для экскурсии мы выбрали не Владимир и не Суздаль, а Ярославль; Я написала не статью, а рецензию* и т. д. Во всех этих высказываниях противопоставительного плана как будто трудно выявить особую экспрессию, или эмфазу.

А если эта же идея противопоставления выражена просодически?

— *Петров или Сидоров сделает это?*

— *Сидоров.*

— *Дайте билеты, пожалуйста, не дальше десятого ряда.*

— *Яблоки купите. Другие фрукты мы не любим.*

И в этих фразах, как кажется, можно говорить лишь о свойстве просодического выделенного элемента передавать значение контраста, специальной эмоциональности здесь нет: очевидно, не все, что произносится более громко, более эмфатично.

Между тем (и в данном случае, очевидно, действует некоторая ложная коммуникативная посылка), безусловно, все экспрессивное громко; но верно ли обратное — все ли громкое экспрессивно?

Если отвлечься от рутинной схемы лингвистической теории, то, посмотрев непредвзято на языковые факты, будет трудно усмотреть особую экспрессивность, или эмфатичность, в высказываниях: *Ушли твои товарищи; Не он поедет; И я побежал*, произнесенных в нейтрально-информативном тоне, без определенной (специальной) эмоциональной накладки.

Идея неперенной связи АВ и эмфатичности в большой степени основывается и на обычных человеческих ассоциациях: громкое — эмоционально. Однако оно связывается и с недостаточной включенностью интонологических знаний в общелингвистическую теорию: усиление тех или иных просодических характеристик, в том числе акцентное усиление, есть категориальный факт просодии как системы со своей внутренней содержательной нагрузкой; его нельзя смешивать с общебытовым представлением об эмоциональности «повышением голоса».

Тем не менее инициальное АВ в приведенных примерах действительно связано с одним синтаксическим явлением — инверсией. Инверсия вызывает АВ. Прекрасные примеры этого — от уровня словосочетания до уровня предложения — показывает И. И. Ковтунова (Ковтунова 1976а): *Длинный вечер; На мокром асфальте; Шум поезда; Почернело от дождей; Кончаю институт; Быстро оделся; Стало весело; Солнце исчезло; Под квартирой был погреб* и т. д. Но — *Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ; Редки деревни на Белом море; А это парк начинается; Я лебедчиком работаю* и т. д.

Таким образом, порядок слов, ФУ и АВ связаны. При некотором нормативном порядке слов определенным образом располагается семантическая информация и имеет место только ФУ. АВ может либо накладываться сверху, либо возникать при инверсии, являющейся дополнительным сигналом коммуникативной перестройки. Порядок слов является, следовательно, как бы некоторой формальной единицей, соответствующей содержательной единице — категории линейного синтаксиса. Именно о структуре этой формальной единицы в ее отношении к смыслу и писали исследователи линейной организации предложения, начиная от А. Вейля; именно с ней, как представляется, и связана категория важности, о которой мы говорили.

4. Акцентное выделение и актуальное членение

В той же степени, как и связь с интонационным центром и фразовым ударением, предполагалась и предполагается неразрывной связь АВ с актуальным членением.

Дело в том, что с самого начала концепция актуального членения не имела смысловой интерпретации, это было лишь фиксированием некоторого явления, осуществляющегося в плоскости высказывания — «формальный способ включения в контекст» (Матезиус 1967). Этому несомненному в своей эмпирической наблюдаемости феномену лингвистическая теория с течением времени стала придавать различные содержательные толкования: оно соединилось с идеей линейного расположения элементов по степени важности, с оппозицией данного/нового, оппозицией известного/неизвестного, оппозицией неважного/важного, того, о чем говорится/того, что сообщается; оппозицией определенного/неопределенного. К некоторому периоду как бы предполагалось, что все перечисленные члены оппозиций манифестируются в высказывании единообразно: левые компоненты воплощаются в теме, правые — в реме. В начале 70-х годов раздалась голоса о том, что указанные оппозиции могут манифестироваться в высказывании самым различным образом, а вовсе не по образцу описанной выше простейшей схемы (см.: Papers 1974, Topic and Comment 1974).

Однако, как и во всякой плодотворной (хотя бы в начале) теории, в концепции актуального членения изначально существовала возможность несводимых друг к другу трактовок, как бы синонимичных, но на самом деле подменяющих друг друга. Поясним сказанное. Идея членения высказывания в его актуальном воплощении как будто предполагает бинарное расслоение: деление его на две части — тему и рему. Следует ли из этого, что во всяком высказывании должны быть найдены оба компонента и лингвистические доказательства должны обеспечить и подтвердить правильность осуществленного поиска? Или достаточно найти только один из этих компонентов, а второй возникнет автоматически? Если да, то какой из них важнее для поиска — тема или рема? Представляется, что ответов на эти естественные вопросы теория актуального членения никак не дает, и потому выбор принципиального решения есть вопрос лингвистического *specto* исследователя. Наблюдаемое реально во многих работах по актуальному членению, это *specto* выглядит следующим образом: осуществляется поиск ремы (а все же не темы), отмечается рема, все же остальное как бы должно считаться темой.

Тогда в этом случае всякое «отмеченное» слово, по тем или иным причинам причисленное к «важным» (наиболее важным!) частям высказывания, будет ремой. Таким образом, рема становится центральным понятием, концептом с множеством несинонимичных способов воплощения.

В большинстве исследований, так и иначе трактующих связь актуального членения предложения с просодической выделенностью какого-либо элемента, в явной или неявной форме присутствует некая точка зрения, обобщить которую можно в виде следующей цепи формулировок.

1. Во всяком высказывании есть главноударный элемент.
2. Обычно этот элемент располагается в конце звучащего отрезка.
3. В конце высказывания обычно помещается рема.
4. Следовательно, этот выделенный элемент связан с ремой; возможно, он неотделим от ремы.
5. Поэтому: там, где в высказывании рема, должно быть сильное ударение.
6. И наоборот: где есть сильное выделение — там и рема.
7. Существуют некоторые слова (например, частицы), влекущие за собой акцентное выделение связанных с ними слов.
8. Поэтому: они ремовыделители (см. п. 6 «где громко, там и рема»).
9. Рема — это новое, неизвестное, важное.
10. Поэтому: новое — ударно, старое — безударно (соответственно, в артиклевых языках имя с определенным артиклем чаще безударно).
11. Главноударное слово — это интонационный центр.
12. Поэтому (поправка к п. 6): где громко — там рема, там же и интонационный центр.
13. Ударенный элемент может иметь контрастивное значение.
14. Контраст — это эмфаза, это экспрессивный вариант того же обязательного ударного компонента — ремы.

Таким образом, неотъемлемая связь акцентного усиления и ремы является одним из краеугольных камней теории актуального членения.

Из сказанного видно, что теория акцентного членения связывает с ремой акцентное усиление.

Однако сама теория актуального членения в ее общепринятом виде является препятствием на пути столь легко принимаемого отождествления ремы и фразового ударения. А именно: линейно выраженная вербальная насыщенность ремы может быть выражена несколькими словами: *Мать / всплеснула руками; Во дворе / залаяла собака; По улицам / продувал ветерок; Андрей / поехал в Ленинград* и т. п. Между тем по интонационным законам зона фразового ударения в своем воплощении ограничена и обычно сосредоточена на последнем ударном слоге и его соседних слогах, т. е. на последнем слове. Этот факт отмечался исследователями актуального членения. «Если рема состоит больше чем из одного слова, то фразовое ударение падает на последний компонент словосочетания, составляющего рему. Ср.: *Андрей / поехал в Ленинград*» (Ковтунова 1976а; 10). Если к сказанному подходить буквально, то тогда — только на уровне ФУ — не различаются высказывания *Андрей поехал / в Ленинград* и *Андрей / поехал в Ленинград*, поскольку в обоих высказываниях фразовым ударением

отмечено слово *Ленинград*. Более того, тогда сама идея контекстного разнообразия в актуальном членении одного и того же высказывания теряет свой смысл, поскольку заранее очевидно, что при сохранении нейтрального произнесения и линейного словоупорядка серия высказываний типа:

Вчера Шерлок Холмс познакомился с женой доктора / Ватсона;
Вчера Шерлок Холмс / познакомился с женой доктора Ватсона;
Вчера Шерлок Холмс познакомился / с женой доктора Ватсона;
Вчера Шерлок Холмс познакомился с женой / доктора Ватсона —

будут иметь фразовое ударение на одном и том же месте и, так как главное — поиск ремы, а рема, как известно, связана с фразовым ударением, то, следовательно, одну и ту же рему, где бы мы ни проводили косую черту.

Итак, однозначность связи ремы и фразового ударения оказывается в своей внутренней логике не столь просто решающейся и не столь удобной для теории актуального членения, поскольку рема есть понятие практически резиновое, а фразовое ударение есть автоматизированный интонационный факт.

Второй существенной проблемой, связанной с актуальным членением в интересующем нас плане, является соотнесение актуального членения и АВ, поскольку фразовое ударение не есть непременно АВ и, таким образом, все только что сказанное относилось к просодическим (интонационным) аспектам выражения темы и ремы, но пока никак не затрагивало проблемы собственно АВ. Между тем в теории актуального членения практически не различаются высказывания нейтрального произнесения и высказывания с АВ: *Дмитрий / пришел злой; Пришел Дмитрий / злой; Злой пришел / Дмитрий* — «экспрессивные высказывания представляют собой вариант исходного члена парадигмы» (Ковтунова 1976а; 164).

Таким образом, рематическими будут следующие компоненты: *понравилась (Вера мне понравилась)*; *понравилась (Вера мне **понравилась**)*; *понравилась (Вера **понравилась** мне)*; *понравилась (**Понравилась** мне Вера)*. Совершенно очевидно, что текстово-коммуникативная аура, в основном отличающая высказывания с АВ, в приведенных примерах различна; однако отмеченные компоненты в них в равной степени являются ремами. В таком случае рема становится чем-то вроде метки, формальной черты, лишенной смысловой насыщенности, и деление на тему и рему, возвращаясь на круги своя, становится не чем другим, как «формальным способом включения в контекст». Тогда, возвращаясь к сказанному вначале об актуальном членении, в сущности теряет смысл всякая полемика по поводу содержательной характеристики ремы и, в частности, по поводу того, чем отличаются компоненты с АВ и с ФУ, или, иначе, чем отличаются высказывания с АВ и высказывания с нейтральным произнесением, например: *Я прошу дать мне пальто* и *Я прошу дать мне **пальто***. В обоих случаях ремой будет слово *пальто*. Тот существенный для коммуникативных

целей факт, что во втором случае возникает фраза-тень «а не...», оказывается для теории актуального членения незначимым, а обе ремы различаются лишь на степень громкости: нейтральное ФУ просодически слабее АВ.

Таким образом, теория актуального членения, лежащая в истоках лингвистики текста и как бы предваряющая выявление коммуникативно-текстовых категорий, сама по себе, в своем стремлении сохранить себя от естественного эволюционного распада на новые развивающиеся субкатегории, оказалась не в состоянии обеспечить прочные и фундированные смысловые интерпретации и выйти за рамки позитивного фиксирования несомненного факта.

5. Акцентное выделение и «введение в экстраординарную ситуацию»

В своей книге “Aspects of English sentence stress” (1976) С. Шмерлинг приводит интересный рассказ о том, как она узнала — в течение месяца — о смерти двух американских президентов (Schmerling 1976; 41). Сначала она услышала от матери: *Truman died*. Через несколько недель ее муж сказал: *Johnson died*. Почему же в одном случае был выделен глагол, в другом — имя (точнее, почему в одном случае есть выделение на имени, в другом — нет)? С. Шмерлинг дает нетипичное для лингвиста объяснение: смерть Джонсона не была неожиданностью, смерть Трумэна — нет (“Truman’s death was expected; Johnson’s was not”). В другой своей работе, полемизируя с понятием «нормального» ударения, С. Шмерлинг приводит два примера: *John died*, *John died* (Schmerling 1974; 70); оба они, по ее мнению, «нормальны» по ударению, но второе есть как бы ответ на вопрос о Джоне, тогда как первое — ответ на более общий вопрос типа *Why are you looking so glum?*

Как же связаны воедино известия об ожидаемой/неожидаемой смерти, глобальный вопрос об общем состоянии, примеры типа *Что-то сон одолевает; Еще фотоаппарат мне тогда купили; Только улыбка у нее неприятная* и пр. и непереносимость постановки ударения на начальном имени?

Примеры такой акцентно-синтаксической структуры всегда интересовали синтаксистов и интонологов (см. об этом: Николаева 1989г; 1980). Встречаются примеры типа *Тише! Бабушка спит* или *Открой! Папа пришел*. Случаи такого рода отмечены в разное время и на разном материале: *De Gaulle ist gestorben!* (Harweg 1972), *Präsident Kennedy ist ermordet worden!* (Fuchs 1976); *Mach die Tür auf. P a u l ruft* (Harweg 1970).

Чем же интересны приведенные примеры? Обратимся к ним снова.

Во всех этих примерах сообщается о некоторой глобальной ситуации, важной в целом: я на поезд опаздываю, а не тороплюсь просто так; бабушка спит и шуметь не надо; пришедшему отцу нужно открыть дверь и т. д. Таким образом, от проблемы непонятной для интерпретации ударности первого имени мы

переходим к идее некоторой общей характеристики всего высказывания, называемой нами г л о б а л ь н о с т ь ю.

Идея связанности языковой единицы некоторым общим признаком, сквозной характеристикой, оформляющей компоненты этой единицы, давно уже утвердилась для низших языковых уровней. Это, например, факты объединения слова (слога) такими параметрами, как назализованность, придыхательность, влияния качества гласного на соседящий согласный и наоборот и т. д. Между тем в сфере анализа содержательных единиц объединенность общим признаком и, соответственно, связанность часто не принимаются во внимание и даже не обсуждаются. В основном подобные явления привлекают внимание лингвистов при исследовании исторических феноменов: общеизвестны факты превращения наречий в предлоги, предлогов в превербы; свободно употребляемых местоимений в глагольные клитики и т. д. В области же современного речеупотребления и построения высказываний как бы доминирует презумпция некоторой обоймы со свободно заменяемыми местами; при этом ограничения на факт выбора того или иного компонента осуществляются в основном в лексическом или референционном плане.

Между тем объединенность большого речевого отрезка, комбинируемого из разных грамматических классов некоторой общностью смысла, может грамматикализироваться, а процесс категориального объединения идти и дальше — по новым смысловым параметрам. «На протяжении истории языка одни и те же (или весьма сходные) грамматические категории могут быть выражены сначала с помощью синтаксических средств, а затем с помощью средств морфологических, которые частично могут развиваться из синтаксических» (Иванов 1980).

Представляется, что именно глобальность является такой сквозной морфолого-синтаксической характеристикой, которую язык умеет и стремится выразить в определенных коммуникативных условиях.

Заемствованная от таксономического описания языкового механизма презумпция гомофункциональности единиц одного языкового уровня и идея равенства единиц низшего уровня перед лицом высшего уровня (морфемы складываются из фонем, словоформы из морфем, словосочетания из слов, предложения из словосочетаний и т. д.) предопределила трактовку всех почти высказываний как равноделимых на компоненты. Исключения составляла обычно очень небольшая группа высказываний с перечислимым набором предикатов типа *Наступила весна, Идет дождь* и т. д., признаваемых нечленимыми.

Как нам представляется, о некоторых средствах выражения этой сквозной характеристики — глобальности уже можно говорить.

А. Для славянских языков свойством различения глобальной/неглобальной ориентированности высказывания служат показатели аспекта. В применении к прошедшему времени свойство совершенного вида способствовать передаче события в целом, а несовершенного — концентрироваться на самом действии

уже описывалось неоднократно. В частности, эта мысль является одной из ведущих в книге О. П. Рассудовой (Рассудова 1968). Она отмечает, что основным фактором, влияющим на видовое употребление, является коммуникативная нагрузка говорящего, «один и тот же факт действия может быть представлен в зависимости от коммуникативной потребности говорящего» (там же; 19). При этом диапазон несовершенного вида шире, он лишен дополнительного семантического признака, «добавочный признак, выражаемый совершенным видом, связан с особым представлением целостности (целостного охвата действия)». Поэтому неограниченный процесс выражается только несовершенным видом, факт единичного действия ограниченного процесса, ограниченной повествовательности передается совершенным видом, если есть установка на указание целостности, и несовершенным — если ее нет. Сходные положения высказываются и зарубежными исследователями русского вида: см. «Основное значение совершенного вида — это представление действия как глобального события, коммуникативно однозначного» (the presentation of the action as a total event related to a specific single juncture) (Forsyth 1970; 347). Напротив, имперфективная форма не составляет события целиком, «не сообщает нам всего, что произошло, а только часть этого» (Galton 1976; 167). Особенно интересно в этом плане наблюдение над употреблением видов в их прагматико-ситуативной проекции в неличных формах глагола, в частности в императиве и инфинитиве. Так, высказывается предположение, что совершенный вид употребляется при передаче глобальной ситуации, не контролируемой актантом: *Не простудитесь; Не споткнитесь; Не попадитесь ему на глаза* и т. д. Но — *Не разговаривайте, Не продавайте дом* и т. д. Таким образом, различается прескрипция (*Нельзя разговаривать на уроках*) и факт (*Нельзя заказать шляпу*). Поэтому если ситуация не фактивна, а контролируема, обсуждаема, употребляется несовершенный вид глагола: *Зачем давать ему деньги?* и **Зачем дать ему деньги?*

Это различие видов в отрицательных конструкциях с императивом обсуждается и в одной из работ Т. В. Бульгиной (Бульгина 1980). Т. В. Бульгина также говорит о несовместимости форм совершенного вида в этих конструкциях с глаголами, обозначающими действие, зависящее от воли субъекта (*Носов не отморозьте — ? Не отмораживайте носов; Не поскользнься; Не стукнись, но *Не защити диссертацию; *Не плюнь в колодец, *Не пойдй за хлебом* и т. п.). Т. В. Бульгина делает далее тонкое замечание о том, что «прежние переводы евангельских заповедей: „не убий“, „не укради“ — не соответствуют современной норме; в новом издании фигурируют формы несовершенного вида: „не убивай“, „не кради“» (Бульгина 1980; 341). Существенно, что примеры, приводимые затем Т. В. Бульгиной как примеры оппозиции контролируемого/неконтролируемого действия, могут быть проинтерпретированы и с позиций противопоставления глобальной/расчлененной ситуации: *Не обгори — солнце очень горячее — Не загорай, тебе это вредно; Ты там ненароком не влюбись — Не влюбляйся, тебе это помешает в занятиях; Не выпей то, что в бутылке, —*

это метиловый спирт — Не пей сырой воды; Не прозевай поезд — Не зевай, т. е. «будь внимателен», и т. п. (там же; 342).

Коммуникативное различие в употреблении видов обнаруживается и в их отношении к событиям, реальным и описываемым в тексте, т. е. дискурсивным отрезкам. Так, Хоппер (Hopper 1979) связывает перфективное значение с подлинными событиями (actual story line), а имперфективное — с собственно нарративным компонентом текста, принадлежащим основной его (а не реальности!) структуре, — первый язык, реальных событий, характеризуется как foreground, второй — как background; первый аспект всегда реален, второй — может быть связан с ирреальностью. Рассмотренный с иной точки зрения, этот тезис соотносится с утверждаемым в настоящей работе положением о большей контекстной независимости высказываний глобальной семантики.

Обобщая подобные наблюдения, О. Даль приходит к выводу о том, что все, что происходит в окружающем нас мире, «может быть описано либо в терминах процесса, либо в терминах события» (Dahl 1974). Несовершенный вид корреспондирует процессу, который дуративен, совершенный вид — тотальному событию. О. Даль пишет далее: «По-видимому, существует тенденция пользоваться языковым изображением события — там, где это возможно».

Все это также соотносится с гипотезой о передаче глобальной ситуации как сквозной характеристики: *Только в вагоне я чувствовал себя хорошо* и *Только в вагоне я почувствовал себя хорошо*, как представляется, в первом случае обстоятельство есть только локализатор места, во втором — оно включает в себя и время до вагона, т. е. приобретает хронотопический характер. Это дополнительное значение, увеличивающее охват события, полноту его передачи, определяется меной несовершенного вида на совершенный. Помогает в этом создании комплексного обстоятельства здесь и частица *только*. Сходные функции при глаголе отмечаются для *еще* и *уже*. *Об этом он узнал еще в батальоне* — без *еще* обстоятельство в батальоне было бы просто обстоятельством места (Гойдина 1979).

Понятие глобальности связывается и с порядком слов. Чаще всего глобальной, если можно так выразиться «голографической», передаче ситуации свойствен порядок [] + V+S, где V есть вся глагольная группа либо один глагол, а [] может быть представлен обстоятельством — *На холмах Грузии лежит ночная мгла*, частицей — *Вот едет могучий Олег со двора* — или нулем — *Горит восток зарею новой*; или [] + V + O — *Продают помидоры* и т. п.

Нетрудно заметить, что именно препозиция сказуемого отличает все типы нерасчлененных высказываний в Русской грамматике-80, существенно при этом, что демонстрируются высказывания нейтральной просодической структуры, т. е. с ФУ, но без АВ.

Таким образом, можно высказать мысль о двух принципиально равноправных, но разнофункциональных “ordines naturales” в языках типа русского: один передает ситуацию в целом, другой — бифокальность, членимость события.

Глобальный порядок слов, где глагол предшествует субъекту, очень распространен при описании последовательности событий и совсем не связан с эмфазой, которую почему-то непременно приписывают «инвертированности»:

«Пади, пади!» — раздался крик; / Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник. / К Talon помчался: он уверен, / Что там уж ждет его Каверин.

Нарушение порядка [] + V + S при описании глобальной ситуации, например [] + S + V может привести к возникновению непредвиденного контраста. См., например, русский текст начала одной из глав романа О. Бальзака «Об Екатерине Медичи»: *В 1560 г. улица Вьель-Пельтри проходила вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и мостом Менял*, — можно подумать, что потом эта улица проходила где-то в другом месте; в действительности эта улица исчезла: после того как были снесены выходившие к реке дома, была образована набережная. Таким образом, необходима последовательность: *В 1560 г. вдоль левого берега Сены, между мостом Нотр-Дам и мостом Менял, проходила улица Вьель-Пельтри* (У О. Бальзака: *En 1560, les maisons de la rue de la Vieille-Pelletrie bordaient la rive gauche de la Seine, entre le pont Notre-Dame et le pont au Change*).

При признании двух гетерофункциональных порядков слов возникает очень важный вопрос о первичности одного из них. Разумеется, вопрос этот очень специален и требует компетентного рассмотрения.

Б. То, что глобальность в языковом сознании отчетливо противопоставляется расчлененности, показывает интересный пример, полученный для неславянского материала. Так, в англоязычных ситуациях подбирались примеры с субъектом и объектом с разными артиклями (The policeman — The gangster; A policeman — A gangster; The policeman — A gangster; A policeman — The gangster). В рамках этих четырех комбинаций составлялись фразы, в конце которых сообщаемый факт отрицался. Испытуемым предлагалось продолжить текст, конструируя истину (I thought that the policeman has been injured by the gangster, but I was mistaken. In fact...).

Оказалось, что при совпадении артиклей (the... the; a... a) отрицался факт в целом (например, *Я думал, что полицейский схватился с гангстером, в действительности старушка бросилась под машину* и т. д.), при несовпадении заменялся тот компонент, который сопровождался неопределенным артиклем (не гангстер, а пьяный; не полицейский, а прохожий и т. п.). Таким образом, активное членение на тему и рему здесь опять же различно для глобальных vs бифокальных высказываний (Nupet 1975).

Высказывания с ударным определенным именем входят, на наш взгляд, в общий комплекс выражения глобальности как сквозной характеристики высказывания. Они демонстрируют синтактико-акцентологический аспект воплощения этой категории. Но когда же воплощается именно этот аспект? Обратимся к тезису, неоднократно высказывавшемуся И. И. Ковтуновой и четко сформулированному в ее статье «Порядок слов в стихе и прозе» (Ковтунова

1976). Высказывается тезис о том, что инверсия влечет за собой особое «экспрессивное» ударение: *Наступила весна — Весна наступила; Отец работает — Работает отец; Люблю я книги читать* и т. д.

Мы говорили о том, что высказывания типа *Бабушка спит, Отец пришел* как будто бы неинверсивны. Однако этот тезис вполне может быть пересмотрен. Представим некое повествование, плавный рассказ о ситуации. В нем возможны фразы типа *Пришел отец; Спит бабушка; Звонит Павел; Умер президент* и т. и. Однако по существующей семантико-синтаксической традиции круг таких «нерасчлененных» предложений очень ограничен. В него входят так называемые «бытийные» предложения типа *Наступила весна; Пошли дожди* и т. п. А если этот круг сильно расширить? Тогда фразы типа *Звонит Павел* тоже войдут в эту сферу. Тогда высказывания *Бабушка спит; Де Голль умер* и т. д. есть также инверсивный и экспрессивный вариант, параллельный варианту спокойно-описательному. Когда же вводится этот вариант? Очевидно, тогда, когда необходима быстрая реакция адресата сообщения и необычная форма высказывания должна привлечь его внимание. Таким образом, этот вид акцентного подчеркивания мы предлагали назвать «выделением экстренного введения в ситуацию» (Николаева 1981а).

Как же этот тип выделения связан с нормальным фразовым ударением, частым для глобальной ситуации? Во-первых, если высказывания такого типа признать инверсивными вариантами, то тогда они являются как бы симметричным отражением лексической и просодической структуры этих нерасчлененных высказываний, и акцент подчеркивания падает именно на то слово, которое в нерасчленном высказывании находится в конце и отмечено, по интонационным нормам, нормальным фразовым ударением: *Бабушка спит — Спит бабушка*.

Категория глобальности бывает самым частым сопроводителем такого коммуникативного жанра, как описание. Следовательно, возникает идея некоторой поправки к принятой теории актуального членения: рема, как мы указывали, связана с неопределенным, новым именем и с фразовым нейтральным ударением не всегда, а в заданных коммуникативно текстах, в частности при описании, сообщении. В этом свете просодическая модель выделения в языке оказывается более сложной и тонкой и более гибко реагирующей на коммуникативные установки говорящего. Этот вывод ведет к дальнейшим исследованиям, цель которых — установление корреляции между типом сообщения и его акцентно-просодическим оформлением.

В. Являются ли высказывания с акцентом «экстренного введения в ситуацию» сообщением или описанием? Для ответа на этот вопрос необходимо обратить внимание еще на одну, на этот раз текстовую, особенность этих фраз: они не только выражают некоторое глобальное противопоставление ситуации, но и оказываются минимально связанными с предшествующим текстом — в такой же степени, как мало связывается с предшествующим развернутое опи-

сание с нейтральными фразовыми ударениями. Таким образом, *Смотрите, гроза начинается* есть как бы сокращенное до минимума ситуативное описание.

Именно о связи подобных акцентологически «аномальных» предложений с комплексностью сообщаемого пишет Я. Фирбас: здесь сигнал «по своей природе независим от контекста. Скорее, он преподносит весь пучок новостей, как независимый контекст» (Firbas 1975).

Таким образом, существуют как бы синтактико-акцентологические варианты: *Бабушка спит* — ответ на вопрос *Что делает бабушка?* и *Бабушка спит!* — призыв к тишине. Необходимо при этом еще раз вернуться к нашей теме: акцентному выделению. Между тем во фразе *Бабушка спит* выделения нет; его и не должно быть по нашей концепции, так как оно не выходит за пределы описываемой ситуации и не выходит за пределы нормы.

Фраза *De Gaulle ist gestorben!* означает выход за пределы стабильности, она создает инвертированный вариант глобальности (которая сама по себе не обязательно воплощается в инвертированном ударном варианте), ударная фраза такого типа есть целое, глобальное, но экстраординарное сообщение. Экстраординарность, как известно, есть отход от нормы. В этом плане можно обратиться к приведенным примерам с частицами, относящимися к ситуации в целом и влекущими за собой акцентное выделение первого имени — *Что-то сон одолевает; Только улыбка у нее неприятная; Еще моя мать заболела* и пр.

Подобного рода конструкции представляют собой добавление частицы к инвертированной глобальной ситуации, входящей в некоторое понятие отклонения от нормы: *Что-то сон одолевает* вряд ли будет сказано человеком, ложащимся спать в обычное для него ночное время. (Вообще сочетания местоимений с *-то* со словами-названиями эмоций имеют место тогда, когда описываемое состояние неадекватно ситуации: *С каким-то чувством грусти смотрел я на веселящуюся молодежь, но *С каким-то состраданием смотрел я на умиравшего в муках больного.*) Фразы же типа *А еще девушек беретесь провозжать; Вот пива не могу; Еще пальто я себе искал* — представляют собой инверсию более обычного типа с подчеркнутым инвертированным членом.

Так, глобальность как сквозную характеристику раскрывают не только показатели вида и времени, свойства обстоятельств и вводящих частиц, порядок слов, но синтактико-акцентологические характеристики. Поэтому теория актуального членения должна, по-видимому, принципиально по-разному применяться к глобально-ситуационным и бифокальным высказываниям: искать рему в первых, даже при случаях экстренно-коммуникативной инвертированности, возможно, было бы излишне прямолинейно и схематично.

§ 6. Акцентное выделение и языковые частицы. Способы формирования дополнительных «смысловых строк»-2

Итак, как было показано в предыдущих параграфах, акцентное выделение выполняет функции смыслового компрессирования речи, посылая в перцепцию реципиента дополнительные смысловые строки. Примечательно при этом, что эти строки — не какой-то индивидуальный сложный психологический контекст, нет, они будут примерно одинаково поняты всеми носителями языка. Фраза *Это был мой первый неудачный брак* для всех будет означать, что говорящий был женат еще несколько раз и неудачными были и другие браки. Значит, эта дополнительная аура есть факт языка, точнее, того, что называлось *langage*.

При всем том, что так называемые частицы бывают подчас таксономически неотличимы от совпадающих с ними (или тех же) слов коммуникативного фонда: союзов, междометий, наречий и под., именно это свойство — создание дополнительной смысловой строки (дополнительных строк) и является их основной характеристикой.

Они рисуют целые жизненные картины. Например, фраза *Даже Петров повеселел на вечеринке, глядя на Сидорова* дает повод для целого ряда выводов. Ясно, что на вечеринке было довольно много народу. Ясно, что Сидоров веселил публику (как именно, правда, мы не знаем). Ясно, что у Петрова были поводы быть мрачным (или это его вообще постоянное свойство?), но сила искрометного воздействия Сидорова была слишком велика.

Как будто бы очевидно, что частицы вполне способны самостоятельно выполнять функции создания дополнительной «теневого» ауры. И, кроме того, очевидно, что они в этом отношении однофункциональны с акцентным выделением и совершенно правильно помещаются с ним в один общий раздел настоящей части книги.

Частицы очень часто сопровождаются акцентным выделением. Или они выделяются сами, или выделяется связанное с ними слово. Более того, от типа выделения партикулярной лексемы зависит передаваемый дополнительный смысл (см., например, об этом далее в связи со словом *один* или *еще*). Поэтому во многих языковых описаниях частицы называются усилительными, или выделительными, или акцентирующими, хотя на самом деле ситуация здесь гораздо сложнее этой простой квалификации.

Несколько странно и то, что подобная связь с акцентным выделением, и не связь вообще, а отношения вполне перечислимые, существует во многих языках европейской значимости — английском, немецком, французском, русском, итальянском и др., хотя и языковые системы у них разные, и интонационные модели не совпадают. Семантическая же интерпретация высказываний с вклю-

ченными в них частицами и дистрибуция акцентной выделенности совпадают настолько, что языковые различия как будто бы стираются.

Таким образом, мы обращаемся к несколько парадоксальной идее о том, что акцентное выделение, передавая нечто, что Ю. Д. Апресян удачно называет «смысловыми кварками», как бы шагает через языки, преодолевая их системную непохожесть. И, не совпадая в другом, языки в этом почему-то совпадают.

Странно и противоречиво при этом и то, что мы твердо уверены в позднейшем по этапу языковой эволюции происхождении языковой компрессии через теньевые строки и пресуппозицию — и в то же время, по своей структуре и восхождению к древнейшему индоевропейскому фонду частицы оказываются архаичнейшим пластом лексемного реконструируемого фонда. Создается впечатление отдельности их существования от остальных языковых уровней. При этом проходят века, и они используются человеком, но в той или иной меняющейся функции.

Поэтому все сказанное о частицах ниже никак не претендует на разрешение целого клубка этих странных противоречий.

Итак, далее.

1. Частицы: аксиомы и парадоксы

Не выходя за индоевропейские пределы, отметим ряд общепризнанных положений, которые, будучи рассмотрены суммарно, оказываются неожиданно противоречивыми.

Первый ряд этих положений связан с понятием акцентированности, т. е. ударности/безударности.

Тезис первый: частицы ударны, особенно вводящие частицы. Однако свойство это может варьироваться от языка к языку и от частицы к частице. Например, инициальное БО, как отмечает Я. Бауэр (Bauer 1958; 82), активно ударно в одних языках — польском, белорусском, украинском, чешском, лужицком, в ляхских говорах. В сочетании же с другой частицей, занимающей первую позицию, одни языки акцентируют именно ее — ЁБО, ЛЬБО, ЎБО (старославянский) либо сохраняют ударение на *бо* — *абó*, *альбó* (украинский и белорусский). Как будто именно такой ударной была вводящая частица, сопоставляемая со слав. **e* (в ст.-сл. Е-СЕ, рус. *э-то*, *э-во* и т. п.), в аблаутном варианте **o* она сопоставляется с *вонь*, *воть* и т. д. (подробно см. об этой частице-катализаторе: Иванов 1979; 47 и далее). Эта частица, вводящая предложение, ударна; примечательно, что эта ударность, по выводам К. Уоткинса, сохраняется в греческо-армяно-индоиранском аугменте **e*, иными словами, она приклеивается не ко всякой даже личной глагольной форме, а к форме повествовательно-нарративного характера (аористу и имперфекту), вводя смысловой фрагмент типа «Вот что случилось».

Переходя к периоду самой последней современности, отметим зафиксированную для нескольких индоевропейских языков (Николаева 1982; Бондаренко 1978) тенденцию к яркой ударности у коннективов, открывающих собой высказывание: — *И* после сличения этих данных / вопросы останутся; *А* расшифровки эти / я их вообще рассматривала / достаточно так сказать ответственно серьезно; *И* / наконец последнее / что нам было делать / с движением тона //, открывающих собой часть высказывания, паратактических — *Стандарты есть но* / или отсутствие значит оборудования; *Не* / определяет (э) опорное существительное /а/ она служит для... и т. д. Так же активно частицы тяготеют к началу и акцентируются в русских говорах (Сафонова 1979).

Тезис второй: частицы, скорее, тяготеют к безударности. Исследователь порядка слов в древних языках по сравнению с современным, А. Вейль, по сути предшественник всех теорий актуального членения, говорит о первичной безударности частиц, о том, что безударность, точнее неударность, и была их функцией — *le seul effet du repos d'accent* (Weil 1879; 93). О безударности частиц, объединяя их с энклитическими личными и неопределенными местоимениями, неоднократно пишет А. Мейе как для индоевропейского (Мейе 1938; 358, 370), так и для общеславянского (Мейе 1951; 389). Таким образом, для древнего периода частицы объединяются в группу — кортеж неких мелких слов, т. е. частицы и/или местоименные формы, которые тяготеют ко второй, безударной, позиции в предложении. Позицию эту точнее назвать первой безударной, поскольку она охватывает сразу несколько слов, если пользоваться нашим современным пониманием слова. Это тяготение к безударной позиции, близкой к ударному началу, принято называть законом Вакернагеля. В ряде работ, обсуждающих этот закон (в частности, Wackernagel 1953; 1979), Вакернагель упорно подчеркивает тот факт, что мелкие слова, включая частицы, тянутся на второе место (или, как трогательно сказано: *an zweiter oder so gut wie zweiter*), во-первых, и что это второе место безударно, во-вторых. В этом общеизвестном законе остается неясным, однако, где причина, где следствие. Безударные ли слова тянутся на второе место или, напротив, второе место безударно; а почему именно сюда стягиваются энклитики — это уже особая причина. Сам Вакернагель дает основания для обеих интерпретаций. Так, он пишет о любви древних языков — *Hinter das erste Wort des Satzes ein betontes zu setzen* (Wackernagel 1953; 1867), т. е. приписывает безударность слову; в этой же работе он говорит далее о тенденции индоевропейского помещать глагол придаточного предложения в конец его — *wo das Verbum den Ton trug* (там же), т. е. приписывает акцентированность позиции, а не слову. Эта тенденция тяготения энклитик к позиции X (безударной? не-первой?) была отмечена и до Вакернагеля; сам он ссылается на Бергеня (Bergaigne), заметившего в 1877 г., что вообще все энклитические формы обычно «располагаются после первого слова в предложении... язык привык их располагать (*le langage s'est habitué à les*

construire) после первого слова, потому что они были лишены ударения» (Wackernagel 1979; 34). В этой точке зрения как бы сочетаются обе концепции. Именно безударность значимых частиц многократно подчеркивается в коллективной работе о немецких частицах *eigentlich, denn, noch, ja, nämlich, aber* и др. (Aspekte der Modalpartikein 1977). Однако в этой монографии говорится об этих частицах как о безударных вариантах слов (unbetönte Varianten von Wörtern), хотя в отдельных главах неперенная безударность некоторых частиц вроде *wohl* четко акцентируется. Все эти проблемы пытается решить в небольшой, но очень интересной статье американская исследовательница Сьюзен Стил (Steele 1977), пытающаяся понять, где причина и где следствие в законе Вакернагеля. Она относит неизвестное X как бы за скобки изучаемого периода, предполагая, что на втором месте была аналогичная позиция некоего субстратного состояния. Далее, в законе Вакернагеля греческие частицы вроде *δέ, γάρ, δή* и их аналоги объединяются с энклитическими местоименными формами. Однако и абсолютно первым словом тоже может быть частица (см. Тезис первый). Таковы, например, греческое *καί*, хеттское *ni-* и т. д. Из этого легко сделать удобно напрашивающийся вывод — частиц должно быть две группы: одни, акцентируемые, ставились в абсолютное начало, другие, безударные, помещались на второе или квазивторое место.

А как же тогда быть с примерами вроде: **Вот что случилось у нас вчера: иду вот я по улице?** Тогда можно считать ударное и безударное воплощение двумя разными частицами — именно так пишет о русском ударном и безударном *еще* А. Остроумов (Остроумов 1954). Однако препятствием для такой концепции является индоевропейская древность, а именно — позиция глагола-сказуемого, он часто занимает второе, безударное, «энклитическое» место, он безударен в главном предложении, и он конечен и ударен в придаточном, которое в индоевропейской древности обычно предшествовало главному. Эту ударность А. В. Добиаш объясняет известностью того действия, о котором говорится в придаточном, его анафоричностью (Добиаш 1897). Однако глагол придаточного может во всех языках, как известно, передавать действие еще не свершившееся и неизвестное: *Если кто-нибудь расскажет об этом, произойдет несчастье* и т. д.

Именно эта позиция индоевропейского глагола в придаточном, его «ударность» в конечной позиции и может, на наш взгляд, прояснить хотя бы каким-то образом ситуацию безударности/ударности частиц. Ключом к этому может являться фразовая интонация, индоевропейцами ранней поры не признаваемая и в то же время из их же трудов восстанавливаемая. Древнее предложение мыслилось как некая палочка с надетыми на нее словами, из которых одни были ударными, другие — нет. В лучшем случае допускалась ударность/безударность позиции. Далее, всегда предполагалось, что расставляющий акцентные писец отмечает факт слова, а не факт фразы. К интонации индоевропейской фразы обратился в связи с этим У. Ф. Леман (Lehman 1974). По его мнению,

начало высказывания характеризовалось сильно повышенной мелодикой (initial high pitch), конец — понижением (там же; 52). В придаточном же глагол был в конце, он был ударным (см. den Ton trug), иначе говоря, мелодика здесь повышалась, предложение было незаконченным (так и пишет У. Леман, что high pitch здесь незавершенность, incompleteness, (там же; 101)). Из этого встает интонационная модель очень яркого начала (оно проступает в русских примерах устной разговорной речи), ослабленного следующего участка и почти абсолютно современной для славянских, германских и романских языков модели двух связанных предложений 1, 2, где 1 — это придаточное. Инициальные частицы дублировали делимитирующую функцию интонации. Иными словами, как и теперь, начало интонационно яркое хорошо прослушивалось, и потому маркированное важное иногда передвигалось в начало. Именно так и трактуются примеры А. Мейе: «Греческий язык лучше всего сохраняет индоевропейский обычай ставить на первом месте главное слово. Примеров этого можно приводить до бесконечности; так, у Гомера:

A.207. ἤλθον εὐὼ πάύτουτα τό σόν μένος „пришла я укротить твой гнев”; глагол ἤλθον стоит в начале предложения, так как Афина подчеркивает свой приход» (Мейе 1938; 369).

Однако и интерпретация «через фразовую интонацию» не объясняет таких вещей, как расположение глагола в главном предложении, тяготение энклитик к безударной позиции, и, самое главное, того, почему одни частицы всегда инициальны, другие — всегда неинициальны и третьи могут перемещаться свободно. Очень сложным способом включение фразовой интонации может в известной степени прояснить предлагаемый ниже третий тезис.

Тезис третий: частицы акцентируют, они как бы притягивают ударение к тому слову, с которым они связаны. При этом от мены этого ударения зависит связь того или иного слова с акцентирующей частицей и резко меняется смысл предложения, в особенности — его скрытая семантика. Например: *Он даже ее не любил* → Так, случайные отношения или брак по расчету; *Он даже ее не любил* — Он не любил никого, а она уж самый подходящий объект для любви; *Он даже ее не любил* → Никто ее не любил; и хотя бы от «него» можно было этого ждать. Насколько явно проступает акцентирующая тенденция у некоторых частиц, можно судить по оборотам, состоящим из одних лишь частиц. Например, *И только-то!* Здесь ударность *только* обеспечивается с двух сторон: посредством *-то* и *и*.

Аналогичными примерами полны работы англоязычного материала, исследующие частицы *only, even*: *John even eats Skrunkies for dinner* — *John even eats Skrunkies for dinner*; *John can't even sell whiskey to the Indians* (ведь вообще индейцам можно продать все) → *John can't even sell whiskey to the Indians* (а уж виски можно продать кому угодно); *John even has the idea that he is tall for a Watusi* (т. е. ватуси невысокие) → *John even has the idea that he is tall for a Watusi* (ватуси высокого роста) (Anderson 1972).

По собственно славянским данным, сведения об акцентированности/неакцентированности частиц и их способности соотноситься с знаменательным словом находятся в работах В. А. Дыбо и его книге «Славянская акцентология» (Дыбо 1981), где приводятся (с. 52, табл. 15) частицы с постоянным акцентом (препозиционные ортогонические) *оу, кѣще, да тоу, не 'чем', та*; другие (проклитические) частицы переносили ударение на энклитику: *аще, кѣже тако, и, но, не, ни*. В качестве энклитик в данной таблице выступают частицы *бо, же, ли, бы* — безударные. Таким образом, по таблице В. А. Дыбо можно говорить о трех группах частиц: ударных, переносящих и принимающих.

2. Частицы и «акцентирование»

Разобраться во всех противоречиях и сложностях, связанных с акцентно-просодическими феноменами, относящимися к частицам, очевидно, можно, только соотнося функциональную нагрузку сегментных единиц и эволюционные просодические изменения. Помимо этого, в данном вопросе необходимо также различать факты лингвистические и факты языковые. Синтаксическая акцентология — это набор правил дистрибуции акцентуационных меток в высказывании. Но это набор меток: за синтаксической акцентологией стоит фразовая интонация, так же как за акцентуационными пометами слова стоит реальное акустическое воплощение словесного ударения. Чисто графические воплощения даже акцентированных текстов иногда оказывают гипнотическое действие, тем более что мы и сейчас не располагаем точными правилами интонационной транскрипции. Об определении древней интонации индоевропейского как параллельного по отношению к слову феномена было написано выше, в связи с работами У. Ф. Лемана, см. также у Т. Я. Елизаренковой: «Начало предложения рассматривается в отношении акцента как сильная позиция. Даже вокатив и личная форма глагола, обычно безударные в простом предложении или в главном в составе сложного, в этой позиции получают ударение. К началу предложения тяготеют ударные местоимения, наречия-префиксы, частицы» (Елизаренкова 1982; 112). Таким образом, ударность, акцентированность есть не только факт слова, но и позиции. Так, в свете интонационных позиций легко интерпретировать положение У. Ф. Лемана о том, что частицы-превербы в главных предложениях акцентированы, а в придаточных — нет (Lehman 1974; 117). А именно в придаточных глагол стоит в конце и попадает на пик восходящего тона незавершенности, что воспринимается как его, глагола, ударность, в главном он находится либо в абсолютно пониженном конце, либо в безударной середине, приставка всегда перед ним, на более повышенном тоне, поэтому она воспринимается как ударная.

Однако и акцентологи графической ориентации тоже по-своему правы. Они обычно имеют дело с акцентированными текстами, а акцентирование текстов,

на наш взгляд, есть показатель осмысления единства фонетического слова. Как пишет В. В. Иванов: «...но то, что в индоевропейском было правилом синтаксической акцентуации, в славянском переосмысливается как особенность интонации определенного слова» (Иванов 1979; 53). Внимательный анализ этого тезиса, к которому невозможно не хотеть присоединиться, открывает пути для выявления сложного спиралевидного процесса функционального развития просодических явлений, в период от индоевропейского к общеславянскому и к современным славянским языкам, когда акустические параметры, формирующие просодию высказывания, сложным и чередующимся образом меняли свое предназначение.

Так, очевидно, тональный компонент принадлежал слову, силовой отмечал начало фраз, фраза была метризована темпорально, ударными были слова в зависимости от позиции; затем каждое слово приобрело ударение, фраза была не такой объединенной, на последнем этапе, например, русского языка, время стало основным показателем ударения слова, мелодика объединила фразу и грамматикализовалась в систему интонационных конструкций, а повышенная ударность стала фактом не позиционным, а функционально-семантическим, в основном работающим на «скрытую семантику», а не на простую делимитацию. Частицы из синтаксических пограничных сигналов стали конденсаторами глубинной смысловой многоканальности. И она выражается усиленным ударением, акцентным выделением (АВ). Но новое не отменяет старое. Поэтому просодическая слабость срединной позиции, описываемая У. Ф. Леманом для протоиндоевропейского синтаксиса, ощутима и в современном русском языке ср.: *Вот вышла со мной пренеприятная история* и *Вышла тут со мной пренеприятная вот история*. Или: *Посмотрите на фотографию. Это я иду по улице* и *Иду это я по улице* и т. д.

Итак, переходя к современному состоянию, под ударностью (акцентированностью) понимаем лишь повышенную ударность — акцентное выделение. Логически естественно выделяются четыре возможных типа частиц.

1. Неакцентируемые и неакцентирующие.
2. Акцентируемые и неакцентирующие.
3. Неакцентируемые и акцентирующие.
4. Акцентирующие и акцентируемые.

Предложенная классификация требует нескольких предварительных оговорок. Во-первых, под неакцентируемыми и неакцентирующими мы понимаем частицы, практически никогда не имеющие этого свойства. Практически — это оговорка, сделанная, чтобы исключить те случаи, когда каждое слово может быть акцентировано: *Я сказал «ведь» а не «медь»*; *Бес попутал, и он теперь без путей* и т. д. Напротив, под акцентируемыми мы понимаем свойство потенциальное: все акцентируемые и акцентирующие частицы могут это свое свойство не реализовывать и не воплощать. Во-вторых, хотя на протяжении всей книги многократно подчеркивается тезис об отсутствии грани между ча-

стицами и наречиями, частицами и союзами, о «гибридности» этого класса, все же необходимо различать крайние ступени этой шкалы. Поэтому частица *так*: *Делать — так делать* — считается неакцентируемой, хотя существуют конструкции прескриптивного характера: *Делать нужно **тáк***. А именно... Точно так же различается частица *все* и местоимение *все*, ср.: *Он все читает и читает* и *Он **все** читает, даже ерунду*. В-третьих, на начальном этапе описания акцентно-просодических свойств частиц они рассматриваются в замкнутых интонационных рамках одного высказывания, т. е. не отделенные паузой или другими показателями синтагматического членения.

1. Неакцентируемые и неакцентирующие частицы в русском языке представлены небольшим числом частиц: *все, так, себе* и т. д. Появление на них акцентированности перевело бы их в другой грамматический класс: *А он **себé** читает* (т. е. не другим). Из специально анализировавшихся частиц к ним принадлежит частица *ведь*: *При красоте такой и неть ты мастерица? **Ведь** ты была б у нас царь-птица!*; *Нужно быть точным. **Ведь** вы могли отстать от своей команды!*; *Споемте, друзья, **ведь** завтра в поход* и т. д. Характерно, что эти частицы обычно не соотносятся с именем существительным и тяготеют к высказыванию в целом. К этим же частицам, неакцентируемым и неакцентирующим (Н-Н), относятся и частицы-коннективы: *да, а, сравнительные **будто, словно*** и т. д.

2. Группа акцентируемых и неакцентирующих частиц (А-Н) тоже невелика. В частности, к ним относятся местоименные вопросительные слова, употребляемые, согласно мнению Н. Ю. Шведовой, в функции частиц. Это конструкции типа: ***Что́** там твои заботы? **Что** жалованье!*

Где́
Куда́
Отчегó } *только ты все бегаешь?* и т. д.

Особое место занимают частицы: *еще, вот, вон, это*.

Остановимся на них более подробно.

Сочетания с *еще*: *Еще чаю?* — адресат уже выпил чай; *Еще чаю?* — была какая-то еда, но чай не предлагался. *Было куплено **еще/три** книги* — совершено несколько покупок, но не книги; *Было куплено **еще три** книги* — три книги уже купили; *Было куплено **еще три** книги* — какое-то количество книг было куплено, но не три.

Таким образом, *еще*, принимая на себя ударение, в комбинации с лексемой конкретной семантики вводит предмет в некий класс, в рамках которого он не составляет специфики; *еще* выступает как некий оператор, формирующий неопределенность имени, т. е. некий X добавляется к цепочке X_{n-1} : *Серый хребет, черные горы, **еще** хребет и, наконец, снежные горы; Потом опять пауза — печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили **еще** тесто, поставили **еще** опару*.

Если к X добавляется Y, то *еще* не выделяется: *Костюм купили, еще ботинки купить нужно; Сын есть у нас, еще хотелось бы дочь.*

Однако контекст не всегда дает возможность однозначной трактовки сообщаемого: *Нам предстояло пересечь ее (дорогу. — Т. Н.) и проехать еще километров сто* — где здесь поставить ударение: на *еще* или на *сто*? *Не сетуй, к трону есть еще дорога* — ударение на *есть* или на *еще*?

Поэтому в высказываниях с *еще* и неопределенным именем в реальных текстах часты артиклеобразные вставки со значением неопределенности: *Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие — и нужно переходить на корабль; Шум моря поглотил еще какие-то приказания командира дивизиона; Еще одно последнее сказанье — и летопись окончена моя.*

Сочетания с *вот, вон, это, тоже*: в этом случае место частицы определяется решением оппозиции: упомянутость/неупомянутасть или известный объект/впервые вводимый в коммуникацию объект.

Вот Вам письмо, — сказала Елена. — Наконец-то; Вот тот офицер, о котором я докладывала Вашему превосходительству; Вот его победитель. Кирилла Петрович указал на Дефоржа; Это книга, которую Вы столько искали; Это пластинка, забытая тогда в шкафу; Петя тоже не решил задачу и т. д.

Указанные частицы могут быть акцентированы и в несобственно приименных сочетаниях: *Вот глупостей он наделал! Это еще зачем?* и т. д. Легко видеть, судя по всем приведенным примерам, какое влияние оказывает место ударения (на частице или на имени?) на такое свойство имени, как определенность. Так, ударное *еще* делает имя неопределенным (*еще тарелочку, мой милый*), ударные *вот, вон, это* — напротив, определенным, упоминавшимся (*Вот мостик; Это книга Петра; Вон моя деревня*) и т. д.

На основании сказанного можно было бы сделать вывод, что имеет место оппозиция ударности/безударности имени vs частицы. То есть *купил еще ботинки* — ботинки были куплены, а если были куплены не ботинки, то будет ударно имя. Однако эта красивая теория обнаруживает целый ряд натяжек и передержек. А именно: во всех тех случаях, когда «ударение» падает на имя в ослабленном виде, акцентного выделения, т. е. ударности, вообще нет, т. е. нет акцентного выделения во фразах типа: *Вот мельница. Она уж развалилась* или *Я купил себе еще пачку хорошего чаю*, но только нейтральное фразовое ударение.

Следовательно, оппозиции эквиолентные, если смотреть на них с точки зрения изолированных словосочетаний, становятся привативными, рассмотренные с позиции высказывания: есть выделение — нет выделения. Таким образом, *еще, вот, вон, это, тоже, также* являются самым ярким примером акцентуруемых, но не акцентурующих частиц. Все они обслуживают одну прагматическую категорию — предшествования. Это предшествование здесь выражается по-разному: для *вот, вон, это* — это единичный идентифицированный упомянутый объект, для *еще* — сходный объект, который в принципе

может быть и идентичным: *Еще вина (того же самого)*, но может быть и «таким же»: *Купил себе еще фломастер*. Для *тоже* и *также* предшествующим и упомянутым является не тот же объект, не сходный по классу объект, а другой определенный объект. Предшествование есть и в конструкциях: *Мы стали другу другу еще ближе*; *Она выглядела еще красивее* и т. д. Таким образом, предшествование, предупоминание может сближать определенность и неопределенность. Необходимо отметить здесь расхождение по акцентно-просодическому корреляту *еще* и *уже* (см. выше о сближении в прагматическом плане *уже* и *даже* по экстремальности).

3. Частицы неакцентируемые и акцентирующие (Н-А). К этой группе принадлежат, в частности, *и, же, -то, -таки*. В данном случае под *-то* имеется в виду не частица, формирующая неопределенное местоимение, а *-то*, называемое А. А. Зализняком «релятивизатором» (об истории этого *-то* в русском языке и его формировании в сравнении с другими славянскими языками см.: Зализняк 1981). Наиболее «мощным» порождающим средством является *и*: *Мне Вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна; Вероятно, этот улыбающийся человек не чувствовал и вкуса каши, потому что жевал как-то машинально, лениво; У ней и бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она; Так я и бился годами, не получая никакой поддержки.*

См.: *Степанов в буре выехал из фактории. Оттуда же покатали брички; Я решил завтра же убежать из города; Я думаю, что он скоро вернется. — Он-то — не думаю; Думаю, что он-таки добился своего и использует командировку максимально.*

Определить общую категорию, текстовую нагрузку, выражаемую сочетаниями с этими частицами, не удалось; они и препозитивны (*и*), и постпозитивны (*же, -то, -таки*). Во всяком случае, именно об этой группе можно сказать, что здесь имеет место закон Васильева—Долобоко наоборот: заданный перечень клитик переносит ударение на имя.

К этой же группе (Н-А) относится частица *один*. О лексеме *один* и ее функциональной значимости в зависимости от акцентно-просодического оформления словосочетания с именем опубликовано несколько наших работ (Николаева 1979а; 1982). Однако в данном случае необходимо осознавать, что речь идет о типах сочетаний лексемы *один* с именем; к тому же существенно различать сильную и слабую акцентную подчеркнутость. Оказалось, что можно выделить шесть словосочетаний с *один*, по признаку места ударения (*один* или *имя*, или *один + имя*) или его силы: усиленное (выделено разрядкой) или неусиленное (курсив).

1. *Один + имя:*

Одна женщина рассказала мне интересную историю. Значение артиклеобразное.

2. *Один + имя:*

С одного вола две шкуры не дерут. Значение числительного.

3. *Один + имя:* Замечено, что медведь, живя долгое время в одном месте, ходит на жировку одной и той же тропой. Значение тождества.
4. *Один + имя:* Если заря свободы восходит для всех, ужели одна же женщина останется рабой? Значение исключительной ограниченности, 'только'.
5. *Один + имя:* Критика должна быть одна, и разносторонность взглядов должна выходить из одного общего источника, из одной системы. Значение исключительно-количественное, 'только один'.
6. *Один + имя:* Погода — одно удовольствие; Какой ответ? Одну суровость. Значение абсолютного, «тотального» воплощения некоторого свойства.

Частицей *один* в этой шестичленной парадигме именных сочетаний считается только четвертый случай — акцентное усиление, значение 'только'. *Все лгали мне. Одна старуха сказала, наконец, правду.* В этом случае *один* делает имя определенным.

Объединяя все указанные выше примеры этой группы частиц в целом со словом-частицей *один*, можно высказать гипотезу, что искомой обобщающей коммуникативной категорией будет здесь исключительность, выделенность объекта: *И серпантин на что-нибудь полезен; Отпустил сестер, сам же поехал в деревню; Он-то никогда не упустит своей выгоды; Она-таки знает, что делает; Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает* и т. д.

4. Четвертый случай: частицы акцентирующие и акцентируемые (А-А). При этом имеются в виду такие ситуации, когда присутствие частицы может вызывать акцентное выделение, но при этом оказывается несущественным, выделяется ли сама частица или слово, связанное с ней, т. е. позиция выделения безразлична: *Остались в училище только городские — Остались в училище только городские; Дело только в том, как Вы это воспримете — Дело только в том, как Вы это воспримете; Ума такого я уже не встречал — Ума такого я уже не встречал; Знал он всех мужиков, даже из далеких сел — Знал он всех мужиков, даже из далеких сел* и т. д.

Это свойство принадлежит не всем частицам, но число их совсем не так незначительно. К ним принадлежат также *совсем, вовсе, решительно, просто* и т. д. При анализе реальной речи оказывается также, что эта свобода в расстановке акцентного выделения используется широко: *Мы просто в восторге — Мы просто в восторге; Он только брата своего слушает — Он*

только б р а т а своего слушает; Даже не з н а л ничего — Д а ж е не знал ничего и т. д.

Во всех этих случаях есть некоторая оценка сообщаемого; всегда оказывается безразличной позиция выделения: оно может располагаться на самой частице, на связанном с ней слове или даже на другом слове; таким образом рушится концепция подчеркнуто важного, усиленного, ядра и пр.

Как было сказано выше, под акцентированием понимается лишь потенциальное или в принципе возможное акцентирование. Поэтому указанные частицы могут акцентироваться и не акцентироваться: *Квартира была отделана богато и даже / роскошно — Квартира была отделана богато и даже роскошно — Квартира была отделана богато и даже роскошно и т. д.*

По этой группе происходит сближение *уже* и *даже*: *Он уже не пел — Он уже не пел; Он даже не пел — Он д а ж е не пел*, что подтверждает гипотезу об о ц е н к е как обобщающей употребление частиц этой группы (экстремальность, объединяющая *уже* и *даже*, входит в категорию оценки).

Однако обобщая все сказанное об акцентировании частиц, можно заметить, что в тех случаях, когда акцентологическая выделенность того или иного компонента безусловна, далеко не всегда может быть доказан тот факт, что причина этой обязательной подчеркнутости — именно частица. Так, в тех случаях, когда акцентирование, казалось бы, бесспорно, элиминирование частицы или ее замена на союз показывают, что ведущая роль в возникновении акцентного выделения у компонента, связанного с частицей, принадлежит не ей: *Три года я мечтал о встрече с ней, а встретился только в ч е р а*, ср.: *Три года я мечтал о встрече с ней, а встретился в ч е р а*; *Даже П е т р нас не навестил, об остальных и говорить нечего*. Ср.: *Если П е т р нас не навестил, об остальных и говорить нечего*; *Только с т а р у х а молчала, остальные все говорили — ср.: С т а р у х а молчала, остальные все говорили*.

Примеры такого рода (а число их легко увеличить) с неизбежностью приводят к мысли об отсутствии прямой смысловой зависимости между наличием частицы и возникновением акцентного выделения.

Дело в том, что акцентное выделение вообще возникает там, где необходимо выйти за пределы одной описываемой ситуации, базирующейся на нормативной оценке ее составляющих компонентов, создать «скрытую семантику», теневое высказывание. Но и частицы сами как класс обладают специфической функцией, совпадающей именно с той нагрузкой, которая приписывалась акцентному выделению. Это выход за пределы описываемой нормативной ситуации, создание «скрытой семантики»: функционально-языковой нагрузкой частиц является их двуликость, воплощающаяся, в частности (или в особенности?), в способности формировать скрытое, «теневое» высказывание, различным образом соотносящееся с исходным.

Таким образом, частицы и акцентное выделение выполняют по отношению к линейно-ограниченному высказыванию сходные функции — они формируют теньевые высказывания, возникающие в перцепции параллельно с исходным высказыванием (*Это мое пальто — А не Ваше (Петра), как Вы подумали; Только он может нам помочь — Остальные не могут*). Именно в силу этой изофункциональности идея акцентирования и сливается с присутствием частиц, создавая некоторый единый формальный комплекс: частица + акцентирование. Однако, как видно из примера *Даже Петр...*, текстовая нагрузка оказывается первоосновой выделения, которое может быть перечеркнуто текстовым же заданием, т. е. не состояться.

3. Частицы и ситуации. «Скрытая» семантика частиц

Акцентируя или нет, но частицы добавляют некоторое смысловое содержание, дополнительные смысловые строки. Таким образом, их мир — это мир дополнительной скрытой семантики. В этой неявной семантике есть два полюса — субъективная информация и объективная. В ряду субъективной информации также можно выделить два потока: 1) говорящий выражает свое собственное отношение и 2) говорящий предлагает некоторое общее отношение воспринимающему, как бы навязывает его, например: 1) *А ведь он дурак; Вот и рассказывай после этого*; 2) *Даже Сидоров слушал доклад Петрова с восторгом* — слушателю предлагается характеристика Сидорова. В объективной информации различаются пласты, связывающие данное высказывание: 1) с нормой, относящейся к этой действительности: *Он шел уже задыхаясь*, т. е. его состояние не соответствовало норме; 2) с генерализацией, обобщением: *Еще в марте начали цвести розы* — в марте розы еще не цветут.

Наконец, в пределах дополнительной объективной семантики мы узнаем о каких-то дополнительных компонентах события: *Вернулся только Петя*, т. е. а) были и другие, б) они не вернулись. Кроме того, мы можем узнать о других ситуациях (или событиях), связанных с обсуждаемым. Например: *Раздается только крик чаек*. Очевидно, до этого имела место ситуация *Все тихо* или нечто подобное. На основании сказанного могут встать вопросы, а отражают ли сами частицы действительность хоть в какой-то мере, не исключено, что она отражается пропозиционной структурой высказывания? По нашему мнению, это не так. В высказывании *У нее было только одно платье* фрагмент *только одно платье* передает именно кусочек реальности: отношения платья и его владелицы. Поэтому, если пользоваться терминологией Р. Якобсона, введенной им в работе о шифтерах (Якобсон 1972), частицы есть одновременно и десигнаторы, и коннекторы: они передают отношение к факту — E^N , отношение к другому факту — $E^N E^N$ и отношение к сообщаемому. В дальнейшем мы укажем еще на одну особенность мира скрытой семантики в высказываниях с

частицами: они в пределах указанных объективных импликаций могут обманывать воспринимающего, выдавая ложную норму или несуществующую генерализацию за реальную (см. об этом: Николаева 1983). Обман при этом не соотносим с обычным человеческим обманом — сообщением о несуществующем, а есть как бы заgrimированное под общепринятую истину ложное внушение, делаемое чисто языковыми средствами.

Однако частицы не только соотносятся с действительностью и не только сообщают дополнительные смысловые строки, но также являются компонентом того высказывания, в которое данная частица входит. В первую очередь частица есть участник сообщения, по Р. Якобсону, различающему сообщаемый факт и факт сообщения. Структура этой среды, как уже указывалось, во многом определяет функциональную семантику частицы, что и служит, по ряду концепций, подтверждением той идеи, что частицы не имеют своей собственной лексической семантики. Например, с изменением формы глагола меняется семантика высказываний с частицей *вот*: *Вот возьму и скажу* — *Вот и сказал!* — *Вот взял и сказал* — *Вот взять и сказать...*; огромное значение имеют и просодические характеристики высказывания, наличие других частиц, повторы частиц вплоть до высказываний, по сути состоящих из одних частиц: *вот то-то и оно* и пр. (именно подобным почти фразеологизированным структурам во многом посвящена книга Н. Ю. Шведовой (Шведова 1960)). Итак, можно говорить о мире высказывания.

Но частицы подобны двуликтому Янусу: они никогда не являются только членом одного какого-либо высказывания. Не являясь обязательно компонентом собственно анафорическим, частицы входят в текст. Некой альтернативой текста может быть и конситуация, вербально непосредственно выраженная. В рамках текста различается микротекст, контекст, т. е. непосредственное окружение, и макротекст — собственно весь текст. Как будет показано далее, в одних случаях частицы реализуют свою семантику в контексте, в других — в тексте. Разницу между контекстом и текстом легче всего продемонстрировать на примере так называемых генерализованных, т. е. обобщающих, высказываний. Общеизвестна автосемантичность высказываний: *Все люди смертны*; *Злые языки страшнее пистолета*; *Каждый кулик свое болото хвалит* и т. д. Действительно, они не связаны кореферирующими отношениями анафорики и катафорики с окружающими высказываниями, как синсемантические предложения вроде *Это ее глубоко огорчило*; *Она не ожидала такого поступка* и пр. И вместе с тем эти, свободные от контекста генерализации, являются максимально привязанными к тексту. Действительно, человек, ни с того ни с сего произносящий *В жизни всегда есть место подвигам*; *Собака — друг человека* и т. д. и никак это не раскрывающий далее, будет сочтен по меньшей мере странным. Соответственно и сфера действия частиц может быть и микро- и макроконтекстной. Таким образом, помимо мира самого высказывания, в сферу семантики частиц входит и мир текста, мир скрытой семантики и мир реальности

(см. характеризацию семантики как отношения к *Textwelten, möglichen Welten und die reale Welt* — Bernath 1980).

Для нужд описания частиц через ситуацию ситуация должна быть расчленена, дискретизирована, нужно представить ее основные компоненты. По мнению М. Хэллидэя, ситуация состоит из трех компонентов: социального действия, ролевой структуры, организации первого и второго (Halliday 1977). По нашему мнению, в ситуацию входят актанты, показатели состояния (действия), локализаторы. Ситуация должна быть законченной, т. е. предикативной. Сложной теоретически является проблема отношения ситуация/высказывание, поскольку всякая видимая ситуация реальна и актуальна, но для языковой передачи она еще виртуальна, так как только в процессе языкового воплощения мы актуализируем ситуацию. Расчлененность этого акта передачи ситуации через высказывание описывается З. Генчевой, употребляющей для этого термин *repérage* (ориентация): «*Chaque énoncé réfère à une occurrence d'un "événement" (construit par prédication) qui est relié par une relation dite de repérage à l'acte énonciatif. Ce repérage, contribue à fixer les valeurs référentielles de l'énoncé et permet ainsi d'analyser des catégories comme personnes, deictiques, temps, aspect, détermination*» (Guentcheva 1978; 116).

Не случайно, что в большинстве исследований, указанных выше, понятие ситуации (события) оказывается необходимым в связи с анализом славянского вида глагола. Именно вид является квалификатором ситуации: определяет ее как глобальную (*event*), расчлененную (*action*), длящуюся (*process*) или статальную (*state*). Вид глагола, как будет проанализировано, определяет не только действие, но и ситуацию в целом.

Как показывают исследования по синтаксической семантике, всякое описание ситуации есть описание с некоторой точки зрения. Эта точка зрения, несомненно, связана с понятием нормы; но и в пределах нормы, и, напротив, за пределами нормы все равно существует выбранный угол зрения, и он определяет освещение ситуации. Существенно, что язык умеет показывать специфику этой точки зрения и находит ее. Так, вошедшее в лингвистический обиход понятие эмпатии соотносится с тем, как именно, описывая событие, говорящий демонстрирует свое отношение к его участникам. Например, ситуация *John hit Mary* описывается объективно в отдалении от Джона и Мэри; *John hit his wife* — с точки зрения Джона, точнее, вблизи от Джона; *Mary's husband hit her* — камера приближается к Мэри (Kuno, Kaburaki 1977; Kuno 1976). Поэтому вряд ли возможно в высказывании совмещение двух точек зрения — *?John's wife was hit by him?* или *?His wife was hit by John?* Таким образом, эта точка зрения может свидетельствовать о солидарности/несолидарности с актантом, о наличии симпатии к нему — см.: *Вася нам сказал, что мама часто читает ему свои любимые сказки*, здесь говорящий любит Васю (Yokooyama, Klenin 1977). Йокояма и Кленин считают далее, что русское притяжательное местоимение *свой* в 1-м лице — это как бы «выход на публику», а *мой* — нечто внутреннее: *Я пере-*

жил свои желанья, но Я предаюсь моим мечтам (там же; 259—260). См. также интересные замечания Е. В. Падучевой (Падучева 1982) о смысловой противопоставленности высказываний. Она обнаружила важное для себя обстоятельство — оценка принадлежит субъекту и Она не заметила важного для нее обстоятельства — точка зрения принадлежит говорящему (там же; 30). Эта точка зрения выражается иногда неожиданными, точнее малоизученными, языковыми средствами. Так, многократно интересовавшие синтаксистов и интонологов фразы с не совсем объяснимым ударением на первом слове: *Дождь пошел; Тише, papa спит* и пр. (см. об этом подробно выше), объясняемые в нашей работе как инвертирование глобальной ситуации с целью «экстренного введения в ситуацию», были несколько иначе интерпретированы французскими лингвистами К. Бонно и И. Фужерон (Bonnot, Fougeron 1982): они объясняют эту постановку фразового ударения как показатель активной включенности говорящего в излагаемую ситуацию вместо ее чисто дескриптивного изложения.

Однако точка зрения может охватывать не только соотношенность или несоотношенность с актантами: языковые средства могут указать на точную дату события, описываемого в тексте. В частности, таким средством оказывается наличие определенного артикля *the* или его отсутствие (Allen, Hill 1979). Например, фраза *Two weeks ago Frank said he would return next Monday*, сказанная 15 июля, в среду, означает, что он должен вернуться 20 июля; а фраза *Two weeks ago Frank said he would return the next Monday*, сказанная тогда же, означает, что он должен был вернуться 5 июля (там же; 134, здесь артиклем указывается ориентация на говорящего или воспринимающего и время поступка).

Не случайно это обращение к точке отсчета, к вариабельности квалификации является необходимым отступлением в книге Й. Бломквиста, целиком посвященной греческой противопоставительной частице *καί* (Blomkvist 1979; 18). Объясняя сливающиеся в одной частице копулятивное и адверсативное значения, он приводит примеры с немецкими *und* и *aber*. Ответом на вопрос *Wie ist das Wetter?* могут быть два: (1) *Die Sonne scheint, und es ist sehr windig*; (2) *Die Sonne scheint, aber es ist sehr windig* (там же; 20). Разница определяется этнографической психологией говорящего и тем, что именно он понимает под хорошей погодой.

Таким образом, частицы не только отражают ситуацию, но и отражают ее с определенной точки отсчета. В первую очередь это относится к частицам, описывающим тип протекания действия в пределах ситуации. Например, два разных временных значения 'только' (*only*): 1) 'не более, чем': *Мы мало знакомы, увиделись только вчера* и 2) 'не раньше, чем': *Он понял это только в старости* — могут быть переданы через некоторую ось отсчета (Jørgensen 1974). В первом случае есть точка в прошлом, от которой смотрят вперед, и это движение заканчивается где-то недалеко от настоящего, не переходя в будущее. Во втором случае говорящий смотрит из настоящего и охватывает некий период, размеры которого не определены и могут охватывать будущее.

Существование некоторого центра временной и пространственной ориентации прослеживалось для интересующей нас группы слов А. И. Моисеевым на базе русских *уже* и *еще* (Моисеев 1978) и Е. А. Волковой для немецких *schon* и *noch* (Волкова 1977). Авторы отмечают возможность обеих этих лексем сочетаться только с теми понятиями, которые по сути своей динамичны: *Она ^{еще} _{уже} красавица*; *Он ^{уже} _{еще} подросток*; *Он ^{уже} _{еще} спит* и т. д. На предельном состоянии, как начальном, так и конечном, может употребляться только одно из них. При этом, как отмечает А. И. Моисеев, существенна пространственная ориентированность ситуации и отношение к ней: *Уже высоко* (при подъеме), *Еще высоко* (при спуске); но *Уже низко* (при спуске), *Еще низко* (при подъеме) (Моисеев 1978; 359).

Включаясь в пространственную или временную ориентацию, высказывания с частицами, отражая ситуацию, объединяют, таким образом, мир реальности с миром дополнительной, скрытой семантики.

Итак, выявился набор из шести возможных смысловых признаков, связанных со «скрытой семантикой» частиц.

1. Определение отношения говорящего к сообщаемому.
2. Сообщаемое и норма.
3. Сообщаемое и генерализация.
4. Внесение характеристик в основную ситуацию.
5. Выявление других объективных фактов.
6. Сообщение об отношении высказывания к контексту.

Этот перечень типов «скрытой семантики» включает в себя выражение личности говорящего, дополнительные сведения об излагаемом событии (подтекст события), отношение говорящего к той картине мира, которую он, как предполагается, разделяет со слушающим, сообщение об анафоричности или катафоричности данного высказывания в рамках более широкого контекста. Таким образом, он, кажется, более явно описывает внутренний мир частицы, чем безликий набор терминов; кроме того, его обобщенность тем самым и предполагает вариативность наполнения. Приведем примеры на каждый из намеченных типов.

1. Собственное отрицательное отношение демонстрируется при повторах с частицами: *Он все читает и читает*; *Жена, ну и жена* (Шведова 1960; 325—326).

2. Отношение к норме: *Что-то есть хочется*; *Он заснул уже через несколько минут* (слишком быстро); *И вздохнуть не смел* (несовершенство физического минимума).

3. Отношение к генерализованному опыту: *Молва о Дон Гуане и в мирный монастырь проникла даже* (в мирные монастыри не проникают сведения о светских распутниках).

4. Дополнительные характеристики участников ситуации: *Ненавидел он даже Алешу* (Алешу нельзя ненавидеть).

5. Дополнительные объективные факты — *Еще пуце старуха бранится* (Бранилась и раньше, и довольно сильно).

6. Потребность в контексте: *А вот майора Петрова не помню* — ранее непременно должно было говориться о майоре Петрове; *Вот приходит он раз ко мне* — будет контекстное продолжение.

Однако необходима экспликация очень важной посылки: частицы — коварная часть речи. За этими словами стоит бесспорность наблюдений, связанных не только с размытостью, диффузностью семантики частиц, но и с тем фактом, что введение частицы в конструкцию, работающую на некий вид скрытой семантики, создает как бы обратную связь: этот вид семантики прочитывается или воспринимается там, где его нет, и часто желательным для говорящего образом. В наибольшей степени это касается оси: субъективное отношение — норма — генерализация — квалификация. Связано это, бесспорно, с такой особой категорией, как оценка, аккумулирующей, по сути, всю эту ось. Как пишет Н. Д. Арутюнова, иерархия ценностей субъективна и ценностное сравнение учитывает субъективную модальность желания (Арутюнова 1983; 331—333). Таким образом, как показывает Н. Д. Арутюнова, «быть лучше» вполне совместимо со свойством «быть плохим». С эталоном, с нормой связано понятие «хороший» (там же; 333). Однако область употребления частиц в еще большей степени, чем при употреблении оценочного компаратива, соотносится с желанием высказать свое собственное отношение, гримируя его под объективность, под норму, взгляд на которую разделяется и собеседником (воспринимающим). Если же последний, возможно, и стоит на других позициях, ему как бы дают понять, что спорить против трюизма бесполезно: *Ведь любовь пройдет. Это же пошлая истина* (ср.: *По-моему, любовь обычно проходит*). Таким образом, первая зона контаминации указанных типов скрытой семантики происходит для частиц по оси: оценка — факт. Обычно для каждой субъективной модели существует своя объективная, под которую она гримируется. Например: *Уже очень темно. Нужно идти домой* и *Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Нужно кого-нибудь искать*; *Он разговаривает даже во сне* и *Она занимается наукой даже по вечерам*; *Ведь все истины относительны* и *Ведь он всегда был глуповат*; *Он знал латынь еще ребенком* и *Она научилась читать еще до школы* и т. д. Все эти опорные и псевдоопорные пункты: норма, обобщения — суть прагматические импликации, конвенциональные импликации (или, в другой традиции, прагматические пресуппозиции), на базе которых строится общение. Как уже говорилось, они не обязаны быть истинностными. Но они стремятся быть таковыми. Однако и мы, слушающие, узнаем из этих импликаций о собеседнике — что он считает позитивным и даже — что он хочет нам внушить; но узнаем также и о неких объективных нормах, позициях социума, возможно, нам неизвестных: *Это хорошее для елки яблоко. Его и золотить не надо*. Мы узнаем, что: 1) для елки золотили яблоки; 2) некоторые яблоки, признаваемые «хорошими», почему-то золотить было не нужно. Из-за желтого его цвета? Тогда, вероятно, 3) хорошее яблоко — это ярко-желтое; 4) упоминаемое в разговоре яблоко было ярко-желтым.

Выражение семантики генерализации кажется неотделимым от нормы и ее содержательной интерпретации. Однако генерализация и норма связаны между собой отношениями близкого категориального контакта, но не совпадения. Можно сказать, конечно: *Все женщины стремятся нравиться*. Это норма. И наоборот: *При всяком нарушении режима язва желудка всегда обостряется*. И однако, к норме и генерализации наблюдается разное поведенческое отношение, а исследование семантики частиц как раз и изучает типы отношения к сообщаемому, реализуемые в высказываниях с частицами. Норма как бы осознается чем-то отличным от человеческого кодекса поведения, она опирается на объективные законы природы и человека в рамках этой природы. Ее соблюдать нужно (отсюда сема прескрипции), если она соблюдается, это хорошо (отсюда связь с оценкой). Однако позитивность соблюдения нормы, которая сама позитивна и должна быть стабильна в позитивности, как наша жизнь (маркируются отклонения от позитива), тем самым вводит в коммуникативный оборот и другой полюс антиномии: норму соблюдать хорошо, но в принципе она может и не соблюдаться (хотя это и плохо). Поэтому высказывания с частицами напоминают о норме: *Журча еще бежит за мельницу ручей; Он спит даже при ходьбе; Что-то холодное лето нынче! Уже через пять минут мы успели позавтракать; Какой-то ты мрачный сегодня; Они моются только раз в месяц; С какой-то грустью смотрел я на веселую свадьбу; Они заплатили за ремонт только сто рублей; Такой красавицы я уже не видел никогда* и т. д.

Генерализациями в нашей работе считаются обобщения человеческого опыта: *В сумерках все кошки серы, все женщины красивы; Краткость — сестра таланта; Злые языки страшнее пистолета; Самой нежной любви наступает конец* и т. д. Генерализации придуманы людьми, и человеческий социум это осознает. И тут намечается своеобразный парадокс по отношению к норме: норма существует независимо от человека и, однако, может абсолютизироваться и не абсолютизироваться, не соблюдаться, хотя она априори бесспорна. Генерализация же создается людьми, поэтому она по определению не бесспорна, однако она подается как абсолютная. Поэтому в высказываниях с частицами генерализация привносится, утверждается. Так же, разумеется, как и в случае нормы, генерализация может быть ложной, может быть индивидуальным построением, но выдаваемым за социальное обобщение. Не останавливаясь подробно на текстовых функциях генерализации (а выше говорилось о том, что это наиболее отчетливое средство, демонстрирующее различие микро- и макроконтеста: генерализованные высказывания минимально связаны с контекстом, но ни с того ни с сего их не произносят), скажем, что в русском языке есть много тонких средств передачи скрытой генерализации, не только частицы. Например, это даже запятая (или ее отсутствие) перед *как*: *Он трудится как врач* и *Он трудится, как врач* — 1) Он работает в качестве врача; 2) Все врачи много трудятся.

Практически все частицы, не являющиеся частицами неопределенности, участвуют в выражении скрытой семантики генерализации. Однако здесь су-

щественным представляется не столько семантика частицы, сколько синтаксическая структура высказывания с частицей и тот компонент, к которому данная частица относится. Прежде всего обращает на себя внимание частая соотнесенность частиц с субъектом высказывания: *И веревочка на что-нибудь пригодится; Их разве слепой не заметит; Только бесчувственный человек не помог бы ей в ее страданиях; Вот гусар не оставил бы поля боя просто так; Что ты хочешь от нее? Она же глупа и необразованна; Да, работы здесь на полчаса. Но ведь они старики; Он ведь не учился в университете, потому и латыни не знает; Помочь совсем не захотела. А еще сестра родная!* Во всех этих высказываниях включена опора на генерализацию как на средство полемики: скрытая генерализация, будь то позитив или негатив, всегда противоположна констатируемому: такие пустяки, как веревочка, считаются непригодными; слепые не замечают женской стати; люди с чувствительным сердцем помогают несчастному ближнему; гусары — отчаянные вояки; глупые и необразованные женщины неспособны на поступок X; старики не в состоянии быстро выполнять легкую для молодого работу; учившиеся в университете знают латынь; родные сестры — надежные помощники и т. д. Полемичность генерализованных высказываний подчеркивается и усиленным акцентным подчеркиванием коммуникативно важного члена.

Синтаксическая структура высказывания с частицами со скрытой опорой на генерализацию может быть и такой, при которой указанные частицы относятся к объекту: *Это только артисту читать; Это рассмешило бы и умирающего; Подобную задачу можно дать даже троечникам; Это зрелище могло обратить на себя внимание только чувствительного сердца; Вот родных внуков бабушка туда бы не пустила; Ведь и безнадежно больным что-то хочется; Не нужно вести подобные дела с еще совсем молодыми людьми.* Обращает на себя внимание особая позиция частицы *же* в высказываниях с объектами, вводимых частицами, где эта частица подчеркнута противопоставительно: *Но эта грязная работа не для красивых же женщин!*

Отнесение частиц к сказуемому в случае опоры на скрытую семантику генерализации связано в подобных случаях с поясняющим обстоятельством, включающим субъект подразумеваемой генерализации: *Для старухи ее лет это еще легкая работа* (Старухи не могут выполнять трудную работу); *Это уже большая победа для женщины с такой внешностью* (Женщины с подобной внешностью на большие победы рассчитывать не могут).

Еще раз необходимо подчеркнуть, что поскольку генерализации, преподносимые в имплицированном виде, употребляются в основном в полемических целях, то самая эта имплицитность загуманивает для воспринимающего истинность/неистинность генерализованного обобщения-опоры. Генерализация связана не только с частицами, передающими связь с изолированными высказываниями, но и со связанными контекстом несколькими ситуациями: *Он жених, ты невеста. Только ты будешь сидеть в своей комнате под*

надзором; До чего же Вы пугливы! А еще девушек беретесь провожать. И в этих случаях имеется полемичность, обращающаяся в этих случаях в противопоставленность. Но, кроме противопоставленности, скрытая генерализация привносит смысл уступительности: Хотя вы жених и невеста, а жених и невеста могут много встречаться...; Хотя такие пугливые девушек не провожают и т. д. Эта имплицитная уступительность, строящаяся на генерализации, отличается подобные структуры от чистого противопоставления: *С нетерпением жду от Вас писем, от Вас же нет никаких известий.*

Темы скрытой семантики, представленные выше, сообщают достаточное количество информации о подтекстовой стороне сообщаемого: об отношении говорящего к сообщаемому, о его взглядах на норму и предписанное к ней отношение, о тех общих суждениях, которые он разделяет вместе с воспринимающим (или хочет с ним разделять). Однако они не сообщают ничего нового о фактической стороне явления. Эта фактическая дополнительная информация также выявляется в скрытой семантике высказываний с частицами. *В нашем классе только Маша носит длинные волосы* — отсюда мы узнаем, что другие девочки в этом классе носят короткие волосы. Однако из высказывания *Я получил за эту работу только десять рублей* мы узнаем факт субъективной оценки — мало! — и кое-что об этой работе: говорящий считает, что подобная работа должна оцениваться дороже, но ничего не узнаем о других ситуациях, выполнял ли говорящий такую работу уже ранее, выполняли ли другие эту работу, сколько им платили. Во многих работах, обсуждающих частицу *даже* или ее эквиваленты (*sogar, even*), приводятся высказывания — фактические следствия: *Even Bill likes Mary* → *Other people besides Bill like Mary* (Karttunen, Peters 1979; 11); *Even Max tried on the pants* → *Other people tried on the pants* (Fraser 1970; 152) и т. д. Подобные пресуппозиции называются экзистенциальными импликациями, семантическими пресуппозициями, следствиями. Однако в ряде работ *even* с его пресуппозициями сравнивается с глаголами типа *to fail, to manage* и их пресуппозициями (Karttunen, Peters 1979; 27): *Mary failed to arrive* → *Mary didn't arrive*; *John managed to sit through a Chinese opera* → *John sat through a Chinese opera*. Рассмотрим подобные следствия: *Маше удалось приехать в Крым* → Маша приехала в Крым; *Он потерпел неудачу в попытке получить эту книгу* → Он не получил этой книги. Узнаем ли мы что-нибудь новое, новые ситуации? Для этого необходимо вспомнить введенную раньше модель ситуации. Она состоит из актантов, обстоятельств действия и самого действия. В высказываниях: *John managed to get the ticket* — *John has got the ticket* не меняется ни один из указанных компонентов события, ситуация остается той же самой; возьмем русское высказывание с *даже*: *Он разглядел иголку даже в темноте* — есть ли в нем скрытая семантика? Да, это имплицитная норма: в темноте что-либо разглядеть трудно. Но нового факта это высказывание не сообщает. Рассмотрим другое высказывание: *Он стал заниматься спортом еще с детских лет*. Теперь это цветущий и абсолютно здоровый чело-

век. Можем ли мы вывести второй факт из первого? Нет, не можем: герой сообщения может быть больным и хилым, несмотря на многолетние занятия спортом. Еще один пример: *Он читает только детективы*. И здесь нет фактических выводов, только оценка: мало! и ссылка на прескрипционную норму: интеллигентному человеку, каким он, очевидно, является (как и говорящий), не годится читать только детективы. Но добавим обстоятельство: *В последние годы он читает только детективы* → Прежде он читал нечто более серьезное (и это уже, очевидно, факт). Таким образом, скрытая семантика дополнительных ситуаций выявляется совсем не для всех частиц (ср.: *Вон птица пролетела* — нет подобных следствий; *Он ведь просто глупец* — нет следствий и т. д.), и даже для одних и тех же частиц скрытые ситуации могут как имплицироваться, так и не имплицироваться. Прежде всего, и ситуация основного высказывания, и скрытая ситуация фактивны (это — *irrefutable meaning* — Auwera 1979; 260). Поэтому имплицированная норма *В темноте что-либо разглядеть трудно* не есть факт; *Он читает только детективы* есть не факт, а характеристика. *Теперь это цветущий и абсолютно здоровый человек* — гипотетический факт, не абсолютизированный первым высказыванием.

Как же охарактеризовать конструктивно два соединяемых частицей факта: явный и скрытый? Прежде всего они должны пересекаться по каким-то формальным компонентам. Например, из ситуации *У Вашей внучки недавно родился сын* следует фактическая ситуация — *Теперь Вы стали прабабушкой*, но это не есть, по нашему мнению, скрытая имплицированная семантика, содержащаяся в первом высказывании. С точки зрения чисто структурной у обоих высказываний нет совпадающих точек (понятийно-лексических). *Я накупила себе парижских туалетов* — *Теперь я элегантная женщина*. Здесь уже есть совпадение: идентичный местоименный субъект. Однако и подобные случаи не приводятся в пресуппозитивной теории.

Каковы же предпосылки возникновения дополнительного фактивного имплицированного события?

Прежде всего, частицы должны относиться к компоненту внутри основной ситуации, а не ко всей ситуации в целом. Например: *Вы в основном правы. Только / я ездила в Ленинград не в прошлом, а в позапрошлом году; И еще — поставьте здесь свою подпись; Он очень посвежел. И даже / все время улыбается*. В подобных высказываниях частицы являются сигналом контекстной (конситуационной) ориентированности, но не вызывают имплицированного события.

Вторая посылка: в данном высказывании не должна имплицироваться норма (объективная), как соблюдаемая, так и несоблюдаемая или несоответственно реализуемая: *Еще не наступил вечер, но в воздухе уже чувствуется сырость; Еще волнуются туманы; Он не успел даже вздрогнуть; На небе ничего не осталось, только две полосы; На юге было тепло, даже жарко; Уже в два года он знал все буквы; Они ходили в баню только раз в месяц*. Норма уже как бы есть фактически имплицированная ситуация.

Третья посылка: дополнительные ситуации не имплицируются частицами неопределенности, которые выражают либо неопределенность самой ситуации, либо коммуникативную «дыру» в определенной ситуации, либо субъективную оценку.

Четвертая посылка относится к семантике имени при частице: оно должно представлять собой член некоторого альтернативного множества (включающего в себя хотя бы два компонента: *X* и не-*X*). Ср.: *Даже дети поняли это правило; Еще дети поняли это правило; И дети поняли это правило; Только дети поняли это правило; Одни дети поняли это правило; Дети-то поняли это правило.* Поэтому исключаются из данной группы частицы *вот* и *вон*, указывающие безальтернативно на один компонент: *Вот тот самый цветок; Вон туда бежит река; исключаются это и ведь*, относящиеся к ситуации в целом (*это* еще и соотносится с *вот* и *вон*).

Именно этой безальтернативностью высказываний с *вот* и *вон*, их способностью представлять ситуацию сиюминутную, видимо, объясняется подмеченная Бл. Блажевым неспособность таких высказываний к негации: *Вот цветок — (Не) вот цветок* (Блажев 1973).

Пятая посылка связывается с типом сказуемого в основном высказывании. Семантика глагольного сказуемого должна удовлетворять следующим требованиям: 1) глагол может означать действие, которое в принципе может повторяться: *Он отхлебнул еще и пошел домой* → Уже отхлебывал; 2) глагол может передавать действие, допускающее шкалярное усиление означенного состояния: *Он еще помрачнел* → Ранее уже был мрачным. В это шкалярное усиление может быть включена градация и других относитипных действий: *Она только крикнула на него тогда* (Не подняла на него руку); 3) эта шкалярность может привести к результативу — прекращению действия: *Он уже не спит* → Раньше спал.

Таким образом, не дают скрытой семантики дополнительного события высказывания со сказуемым экзистенциального значения, длящегося, неопределенно длящегося, вневременного и однократного с относящимися к нему частицами: *Он еще спит; Он только улыбнулся; Она к вам еще придет; Я даже не понимаю, чего Вы, собственно, хотите; Мы только гуляли, спали и ни о чем не думали.* Введение имен с частицами может перечеркнуть семантику подобных глаголов ср.: *Я даже по-своему любил Машу и Даже я любил Машу; Я любил даже Машу.*

Для одного и того же высказывания могут суммироваться дополнительные фактивные ситуации, если в нем представлено несколько частиц, удовлетворяющих поставленным выше условиям: *Даже Петя попросил еще чаю* — 1) Другие попросили еще чаю; 2) Все уже получили чай ранее.

Последний вопрос — как сформулировать правила построения подобных фактивных импликаций? В том случае, если частицы сопровождают субъект, то для частиц *даже, еще, и + X* производится замена на *другие* или *не только X*

с соответственным оформлением формы сказуемого во множественном или единственном числе:

Даже } Еще } И }	Кольцов прочел эту книгу →	Другие прочли эту книгу или Не только Кольцов прочел эту книгу.
------------------------	----------------------------	--

Для сочетания *только* + *X* добавляется к указанному правилу введение отрицания при сказуемом или его ликвидация, если оно есть: *Только Кольцов не читал этой книги* → *Другие читали эту книгу*; *Только Кольцов читал эту книгу* → *Другие не читали этой книги*. Для понимания других трансформаций необходимо сказать об особой роли *еще* и рассматривать два *еще* — ударное (*еще*₁) и безударное (*еще*₂). Тогда правило при объекте формулируется следующим образом. Например, *X купил* } *даже Y*

} *и Y*
 } *еще*₂ *Y*.

Тогда частица заменяется на *не только*. Для *еще*₁ происходит замена: *Y* + *уже* + страдательная форма от глагола — *X купил еще*₁ *книги* → *Книги уже были куплены*. Для *только* осуществляется замена на *ничего, кроме* и вводится отрицание при глаголе: *X купил только книги* → *X не купил ничего, кроме книг*.

При сказуемом повторного действия + частица *еще* происходит смена *еще* на *уже* + постановка глагола в прошедшем времени, если глагол был в прошедшем времени, необходимо добавить *ранее*: *Еще радуюсь Вашему примирению* → *Уже радовался*; *Еще радовался Вашему примирению* → *Уже радовался ранее*.

Для глагола результативной семантики с *уже не* добавляется вместо частицы *ранее* и глагол ставится в прошедшем времени: *Он уже не читает книг* → *Ранее читал книги*.

При сравнительных конструкциях с *еще* и формой *стать* → *стал* (*a*) происходит замена глагола *стать* на *быть*, *еще* на *уже* и компаратива на позитив: *Она стала еще красивее* → *Она уже была красивой*.

Во многих исследованиях, посвященных выявлению пресуппозитивной семантики, связанной с употреблением частиц, помимо сведений фактического характера описываются и некие квалификативные импликации: *Even Bill likes Mary*.

a. *Other people besides Bill like Mary*.

b. *Of the people under consideration, Bill is the least likely to like Mary*. Тем самым мы узнаем нечто и о Билле. В данном случае немного. (Karttunen, Peters 1979; 12).

Посмотрим примеры с более точной характеристикой. *Он не способен оценить даже «Прощание с Матерой»*. «Прощание с Матерой» — хорошая кни-

га, и это свойство бросается в глаза. Напротив, *Ему нравится даже Франсуаза Саган*. Франсуаза Саган — очевидно, писатель для невысокой требовательности вкуса, а «он» таков, что ему это нравится. Тем самым, мы получили две характеристики: «Его» и Франсуазы Саган — от говорящего. Но полностью мы имеем три характеристики — еще и мнение о говорящем, чей вкус и психологические данные мы разделяем или не разделяем.

Подобные характеристики: *Мэри любить трудно, Билл не способен любить* и т. д. называются иногда скалярными импликациями (scalar implicatures — Karttunen, Peters 1979; 25). Ср.: *Он ненавидел даже Алешу* — Алешу ненавидеть нельзя, он кроткий.

Однако выведение подобных индивидуальных характеристик не всегда бывает простым из-за наложения индивидуальной, прескрипционной и генерализованной информации: *Он не уступил места в метро даже старушке*. Мы узнаем только о «нем», о нарушении им прескрипционных законов, но о старушке дополнительная информация не появляется. Поэтому объем дополнительной информации связан со степенью индивидуализации всех ситуационных актантов, отраженных в высказывании:

(1) *И только Петрову в этой задаче не разобраться*. Петров глуповат. Задача легкая.

(2) *Только и Петрову в этой задаче не разобраться*. Петров умен. Задача трудная.

(3) *И только дураку в этой задаче не разобраться*. Задача легкая.

(4) *Только и умному в этой задаче не разобраться*. Задача трудная.

Этот баланс от общего к индивидуальному и определяет индивидуальность имплицированной характеристики, ср.: *Отрадно видеть, что находит порой хандра и на глупца и От женщин бегают и даже от меня*.

Индивидуальные характеристики связаны с теми частицами, которые способствуют выражению крайности: *только, даже, и, уже*. Второй посылкой является, как указывается, степень индивидуальности актантов. Интересной особенностью подобных импликаций является способность иррадиировать квалификацию не только на актанта, связанного с частицей, но и на другие компоненты высказывания (ситуации): *И без очков я сумела обнаружить X* → *X* есть нечто трудно обнаруживаемое, видимо мелкое; *Даже для старой женщины она полновата* → Она — старая женщина.

От характеристик предыдущей группы данные отличаются конструктивной несвязанностью с основным высказыванием. Например, *Она уже не так хороша собой* — Она была раньше хороша собой; *Она стала еще красивее* — Она уже была красивой, тоже, по сути, есть характеристики актанта. Но они говорят о реальных, неоспоримых или неоспариваемых ситуациях. Между тем из высказывания *Он уже Петрова критикует* можно сделать вывод о каких-то свойствах Петрова, согласно которым его не критикуют, в ситуативно-реальной форме эти свойства не предстают.

Таким образом, позиционные заполненности частиц-импликаторов связаны с теми же местами, которые характерны и для имплицированной нормы: *Он видел уже Тихий океан* (Тихий океан не рядовое и волнуемое зрелище); *Он смог купить уже стенку «Джордано Бруно»* (стенка «Джордано Бруно», видимо, вещь дорогая); *Она читает только Агату Кристи* (более сложное выведение индивидуальной характеристики, основанной и на норме, и на разделяемых взглядах, ср.: *Он ценит только Германа Гессе*); *Ты так избалована, что и Саша тебе не понравится*; *Ты так избалована, что только Саша тебе понравится*; *Ты так избалована, что даже Саша тебе не понравится* (характеристика Саши представляется отчетливой и сходной по всем трем высказываниям); *Ты так избалована, что Саша уже тебе не понравится* (образ Саши более снижен).

Итак, для имен существенно различие, во-первых, индивидуализированного и обобщенного, и, во-вторых, различие частиц при субъекте основного (главного) предложения и при именах других позиций, например: *А я, одна лишь я, любви до смерти трушу* — не сообщается никаких дополнительных характеристик. *Даже я* — сообщает эту характеристику, *еще, уже и и* — нет. *Даже я люблю буфетчика Петрушу* — дает обе характеристики.

Таким образом, *даже* оказывается максимально квалифицирующей частицей, распространяющей, при максимальной индивидуализированности актантов, квалификацию на субъект и на объект.

§ 7. Строки прозаическая и поэтическая: проблемы первичности и вторичности

Мы уже неоднократно говорили, что все связанное с акцентным выделением «работает» только, и только, на фоне сопоставления с нейтральным, немаркированным произношением других слов, не отмеченных просодической маркированностью. Только на некотором фоне нейтральности, реально перцептивно присутствующей, информация дополнительная может восприниматься вообще. Все приведенные выше тонкие различия смыслов высказываний с АВ и без него не возникнут, например, при громком пословном скандировании или тихом ровном шепоте. Видимо, не случайно примерно в одно и то же время Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров, обратившись к древнегреческому слову «знак» (Ivanov 1993) и славянскому ЗНА-КЪ (Топоров 1991), прежде всего возвели его к чему-то ярко вертикально выделявшемуся на нейтральной плоскости. Знак должен быть заметен.

Не стоит подробного доказательства тот уже исследованный факт, что акцентное выделение лучше всего реализуется на базе простого развернутого повествовательного предложения, мелодическая часть которого в наибольшей

степени является рыхлой и служит хорошим полем для того, чтобы знак — акцентное выделение — стал заметным. Мелодические контуры (интонационные фигуры) с более четкой нагрузкой (wh-вопрос, переспрос и др.) слишком компактны перцептивно, и акцентное выделение может оказаться слабым или — при его излишнем усилении — погасить семантику интонационного контура.

Между тем было замечено (в особенности — Ковтунова 1976, Невзглядова 1998), что интонационные, особенно мелодические рисунки стихотворной строки менее функционально выразительны, и — что важно — вся семантическая гамма возможностей акцентного выделения в стихотворной строке как бы не «работает». Если все же придерживаться концепции о позднем развитии всех языковых средств создания дополнительных смыслов, то естественно встанет вопрос о том, не является ли стихотворная строка первичной просодически по отношению к просодии строки прозаической? Очевидно, что прямых доказательств тому нет.

Однако цепь однонаправленных косвенных свидетельств, убеждающих сопоставлений и логических построений может нас к этому привести.

1. Занимаясь разработкой общей системы реконструкции праславянского текста, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров значительное место уделяют восстановлению исходной структуры праславянского стиха (Иванов, Топоров 1963). Наиболее сохранными при этом оказываются, по их наблюдениям, традиции русского и сербского эпического стиха («в настоящее время наиболее достоверные реконструкции праславянского эпического стиха основываются именно на сравнении этих двух традиций») (там же; 96). См. также у Р. Якобсона: «Русские и южнославянские эпические данные демонстрируют материал, чрезвычайно ценный для сопоставительного исследования, поскольку невозможно их вывести друг из друга непосредственным генетическим путем» (Jakobson 1966; 427). Еще один исследователь видит сходство — и наибольшую общеславянскую сохранность — в русской и болгарской стихотворной традициях, с большей древностью именно болгарской ветви (Шервинский 1963).

Таким образом, выявляется тенденция, объединяющая линию языков южнославянской группы (славянская часть БЯС) и русскую эпическую стихотворную традицию. Примечательно при этом, что, как подчеркивает Р. Якобсон, эта реконструируемая форма «остается чужой в неславянском окружении, т. е. у греков, румын, турков и финноугров» (Jakobson 1966; 421)¹.

Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров рассматривают девять основных типов праславянского стиха, различающихся в известной степени по жанровой соотнесенности, а также по большей или меньшей связанности с соответствующей национальной традицией:

¹ Р. Якобсон приводит данные исследователей тюркского и албанского стихосложения. Существенно в данном случае, изучая факты языков БЯС, выявлять не только схождения, но и расхождения глубинно-генетического характера.

Не занимаясь вопросом о первичности одной какой-либо стихотворной формы (например, десятисложника, сопоставляемого с сербским «десетерацем» — *Уранила / Кѡсѡвка дѣвѡјка //..*), можно обнаружить во всех приводимых формах общие черты фразово-просодического плана.

Основной характеристикой при этом можно считать наличие двух фразовых (т. е. входящих в строку) ударений: одно в начале строки (1-й слог в «десетераце», 3-й в русской стихотворной традиции), другое — в конце строки. Возможно и третье ударение — в том случае, если строка рассечена цезурой — ударение перед цезурой. Эти два ударения как бы скрепляют строку, создают ее жесткую просодическую рамку.

Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров приводят три разновидности русского былинного стиха, восходящие к праславянскому десятисложнику:

- I. Как во-стольном городе во Киеве
А у-славна князя Володимера
XX XX XXX XXX.
- II. Как во-стольном во городе во Киеве
А у-ласкава князя Володимера
XX XXX XXXX XXX.
- III. Как во-стольном было городе во Киеве
А у-ласкава у князя Володимера
XX XXXX XXXX XXX.

При сопоставлении этих трех типов былинного стиха обращает на себя внимание та же жесткость рамки: обязательно ударение на 3-м слоге (двусложная анакруза) и ударение на 3-м слоге от конца (дактилическая клаузула). Разнообразие создается лишь за счет усложнений более свободной середины². Таким образом, средняя часть строки демонстрирует способность сжиматься и растягиваться.

Итак, цельность строки создается двумя граничными ударениями. В случае третьего ударения сама связанность его с цезурой заставляет предполагать, что мы имеем дело с отражением двучастной синтаксической структуры (*С волками жить / по-волчьи выть*), в противоположность исходной одночастной (см.: «...место цезуры в известных славянских народных размерах отражает в преобразованном виде членение текста на такие многосложные группы, которые в то же время можно рассматривать и как элементарные синтаксические единства» — Иванов, Топоров 1963; 95)³.

2. Обратимся теперь к просодической модели славянской фразы — в той ее части, которая свойственна всем славянским просодическим структурам и так,

² На это обратил внимание Вяч. Вс. Иванов в докладе, сделанном в Институте славяноведения и балканистики АН СССР в декабре 1973 г.

³ Существенно также упомянуть при этом и работу О. М. Брика, указавшего на синтаксическую заданность русской стихотворной строки и перечислимость ритмико-синтаксических моделей (Брик 1927).

как она выводится на основании экспериментальных данных (Николаева 1977; 243).

А именно — для общеславянского просодического каркаса отмечается такая же рамочная обрамленность фразы, причем всеми просодическими параметрами. Основной центр — фразовое ударение — приходится на ударный слог последнего слова законченной фразы. Второй центр располагается на начальной ее части, как правило — это ударный слог первого полнозначного слова. Временные показатели отмечают, таким образом, три сильных (продленных) точки: 1) последний ударный слог, 2) первый ударный слог, 3) факультативная, или потенциальная продленная, точка — абсолютно конечный слог, который может по-разному реализоваться в разных славянских языках: быть короче конечного ударного, быть равным ему или быть более длительным. Середина фразы допускает временную компрессию вплоть до той степени деформации, когда ударные слоги могут сравняться с заударными; это явление связано с тенденцией речевой единицы к изохронности, поэтому вставка новых слогов связана с укорачиванием слогов середины. В начале фразы есть и потенциальная сильная точка — это предупредительный слог, т. е. аналог абсолютно конечному слогу.

Таким образом, временная структура выявляется очень четко, жесткую рамку составляют начало и конец с двумя усиленными точками в каждом случае (предударный + первый ударный vs последний ударный + заударный конечный), середина оказывается более мобильной и допускающей вставки, сокращения и растягивания. При этом середина может как бы выделяться из этой рамки, тогда стихотворная строка делается трехчастной⁴.

Акцентная, т. е. силовая, структура отмечает начало фразы большей громкостью, понижающейся к концу.

Таким образом, самые сильные точки фразы: по акцентной линии — начало, по временной — конечная часть. При слуховом восприятии эти два центра (при компенсации и неразличении параметров) могут казаться равно выделенными: неискушенный слух отмечает «ударение» вообще, не различая, акцентное оно или временное. Кроме того, как это приходится видеть и в настоящее время, в лингвистическом сознании «силовое» ударение — это на самом деле не силовое, т. е. акцентное, динамическое, а просто «немузыкальное»; таким образом, идея не силовой, не музыкальной, а временной выраженности славянского ударения, несмотря на множество подтверждающих этот факт экспериментальных работ, почему-то упорно не принимается.

Два рамочных центра характерны и для мелодических рисунков славянской фразы.

⁴ Якобсон (Jakobson 1966; 443) указывает именно на выбор такой трехчастной структуры для русского стиха, причем эти три просодических компонента соответственно заполняются и тремя отдельными смысловыми группами.

3. Как было отмечено выше, интонационный центр общеславянской фразы располагается в конце, в зоне ударного слога последнего слова. И в стихе «главное ударение, действительно, падает в громадном числе случаев на последний ударенный слог» (Шервинский 1963; 408). Существенно также важное указание Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова о том, что «перед цезурой и перед концом строки два последних слога принадлежат к одной словесной группе» (Иванов, Топоров 1963; 97), т. е. единицей просодии — как и в обычной фразе — является не слог, а фонетическое слово.

Итак, несомненно совпадение просодической модели праславянской стихотворной строки и общей для всех славянских языков модели фразы, т. е. коммуникативной минимальной речевой единицы. Таким образом, стихотворная строка на одном из своих звуковых пластов оформляется как фраза, а фраза есть как бы потенциальная стихотворная строка. «Фраза содержит целое число строк, о б ы ч н о о д н у» (Jakobson 1966; 453) (разрядка наша. — Т. Н.). И не случайно в качестве прообраза минимальной речевой единицы славянского текста Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров в указанной работе выбирают с т и х о т в о р н у ю с т р о к у, хотя априори это не задано (см. далее их анализ с к а з к и в конце реконструкции).

Если бы фразовое оформление стихотворной славянской строки совпадало с выведенной общей фразово-просодической моделью и этим бы все ограничивалось, то можно было бы говорить только о том, что стихотворная единица была, сверх того, и собственно речевой.

Однако оказывается, что нестихотворные славянские речевые единицы знают модификации исходной общей формы, далеко от нее отклоняющиеся, и что эти модификации недоступны (или нерелевантны) для стихотворной строки.

Для русского материала такого рода расхождения наиболее убедительно показаны И. И. Ковтуновой (Ковтунова 1976). По ее данным, инверсионное расположение в словосочетании или во фразе обязательно влечет за собой транспозицию фразового ударения и прикрепление его к инвертированному члену: *Редки деревни на Белом море; Широкие открывались взору пространства; Я лебедчиком работаю; Чистая комната; Удивился Иван* и т. д.

Существенно, что в прозаической речи оказывается «в области порядка слов стройная система стилистических противопоставлений: стилистически нейтральные варианты с восходящим расположением акцентов противопоставлены экспрессивным и стилистически окрашенным вариантам с нисходящим по силе расположением акцентов или с рамочной акцентной структурой.

В стихах эта система распадается» (там же; 49).

Важно, что далее И. И. Ковтунова, разбирая те случаи искажения стиха, к которым привело бы его прозаически правильное чтение, указывает на систему интонационно сильных позиций в стихе, и в первую очередь — на положение в конце строки.

Таким образом получается, что именно стихотворная строка тождественна выведенному экспериментально общеславянскому фразово-просодическому каркасу-эталону, а прозаическая строка знает значительные отклонения от эталона и отклонения эти неслучайны и значимы.

Какие гипотезы могут быть сформулированы в связи с этим? Первая. Славянский стих отражает самую древнюю, исходную форму фразово-просодической структуры, или, иначе говоря, та фразовая структура, которая есть в стихотворной строке (а стихотворная строка содержит и другие специфические звуковые стихотворные структуры — ритмо-мелодические и квантитативно-слоговые), соответствует самой древней форме фразово-интонационной модели⁵. Вторая. Древняя форма славянского сообщения и была стихом в его начальном варианте.

Гипотезы эти неальтернативны, они могут быть приняты одновременно, но вторая кажется нам слишком смелой и уводящей в иную по материалу сферу анализа семантики и функции первых реконструируемых текстов. Строго говоря, на эту проблему «работают» исследования по сопоставлению типа метра и жанра стихотворного текста, т. е. выявлению семантики метра и ритма; снова возвращаясь к работе Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, упомянем также, что десятисложник, разбираемый первым, есть размер эпоса, т. е. сообщения. Точно так же Р. Якобсон обнаруживает греческие формы стиха, аналогичные славянскому десятисложнику, именно в стихах пословиц, гномических и ритуальных формул, т. е. «самых древних формах эпической поэзии», возникшей задолго до гекзаметра (Jakobson 1966; 461).

И в первой, более осторожной, гипотезе есть слабое место, состоящее в том, что общеславянская модель-каркас, описанная выше, еще не есть непременно древняя модель: в принципе возможна и конвергентность позднейших трансформаций.

Однако эта гипотеза смыкается с другой нашей гипотезой — о более позднем появлении в славянских языках семантически-синтаксически осмысленных вариаций в порядке слов (ср. нерелевантность этого в стихе)⁶.

Сохранение древней славянской фразовой структуры именно в стихе доказывается, на наш взгляд, еще одной группой данных.

⁵ Необходимо подчеркнуть, что мы не рассматриваем собственно стиховой язык, считая его как бы особым пластом по сравнению с фразово-просодической моделью стихотворной строки. Идеи соотношения стихового языка и естественного языка отдельных эпох см.: Kuryłowicz 1976.

⁶ (Николаева 1977; 262), где высказывается тезис о том, что наиболее древним формам славянских языков свойственны следующие признаки: негибкость порядка слов, семантическое усиление конца фразы, пословное (а не посинтагменное) распределение интонации, распространенность частиц-актуализаторов предложения.

4. Все сказанное выше об акцентно-просодической структуре славянского стиха носит общий характер и основано на слуховых данных. Между тем было бы очень важно посмотреть, на что же похожа фразовая просодия стиха в свете подробно представленных и современных по методу получения экспериментально-фонетических данных. Эту возможность предоставляет работа Л. В. Златоустовой (Златоустова 1977).

Л. В. Златоустова показывает следующие специфические характеристики акустической структуры стиха:

1) ритмическая структура, т. е. фонетическое слово, в стиховом тексте выделена в большей степени, чем в прозаическом. Таким образом, интонация распределяется пословно. (Важно также, в этой связи, замечание К. Тарановского о том, что синтагматический стиховой контраст между слогами разных слов для славянского стиха почти неприемлем (Тарановский 1956));

2) общее время звучания увеличено. Особенно увеличены ударные гласные, гласные первых предударных слогов и гласные абсолютного исхода ритмической структуры, «на границах синтагм и, особенно, на границах синтагмы, совпадающей с границей строки» (Златоустова 1977; 12);

3) интонация в собственном смысле, т. е. мелодика, гораздо более сглажена, чем в прозаическом тексте, «мелодические изменения происходят в узком сравнительно частотном диапазоне», тональный контур в основном служит для оформления цельности строки.

Этот последний вывод может показаться несколько неожиданным для тех, кто привык считать стих связанным с яркими модуляциями, эффектными головными перепадами.

Но соответствует ли русский стих с его приведенными выше акустическими характеристиками какой-либо фразово-просодической модели в рамках славянской группы языков или это — особая стихотворная ипостась именно русской просодии?

5. Оказывается, что все эти характеристики соответствуют фразовой интонации — в ее общем виде — одного из славянских языков, а именно — украинского.

В украинском языке, по сравнению, в частности, с русским: 1) модулятивность меньшая, 2) средняя длительность во фразе бóльшая, 3) фразовое ударение обычно приходится на конечную часть. При этом ударный слог сильно продлен, но — что более важно — продлен и абсолютно конечный заударный слог: он может быть даже длительнее конечного, ему предшествующего ударного, иногда он длительнее ударного в несколько раз. Таким образом, конечная часть фразы в украинском языке оказывается сильно протяженной по длительности, что ощущается и при слуховом восприятии. Недаром украинскую речь часто называют «певучей».

Случайно ли это совпадение? В заключительной части нашей книги «Фразовая интонация славянских языков» (Николаева 1977) помещены три табли-

цы, в которых приводятся данные о числе схождений интонационных признаков для каждой пары славянских языков. Если же суммировать все показатели попарной языковой близости (а в книге такой общий подсчет не был произведен), то оказывается, что украинский язык занимает первое место среди восточнославянских и западнославянских языков по близости к каждому из остальных. Приводим общие цифры совпадений:

Русский язык	— 81;	Польский язык	— 79;
Украинский	— 94;	Чешский	— 77;
Белорусский	— 80;	Словацкий	— 74.

Таким образом, украинский язык как бы является в просодическом отношении носителем максимального числа схождений, некоторой исходной точкой отсчета. О причинах этой просодической «центральности» судить трудно, возможно, немалую роль играют здесь ареальные моменты, так как украинский язык оказывался наиболее далеким от неславянских контактов.

6. В начале статьи говорилось о просодической сохранности южнославянской стихотворной традиции, наряду с русской. И эти факты вполне согласуются с данными попарных языковых схождений. Заметим, что восточнославянские языки близки к южнославянским, а не западнославянским. Именно южнославянские языки по тому же критерию суммы признаков демонстрируют высокую степень общеславянской близости: болгарский язык — 95, сербский — 83.

Таким образом, русский стих, согласно данным Л. В. Златоустовой, оказывается более близким к общеславянской фразово-просодической структуре, чем русская прозаическая речь.

Как представляется, все приводившиеся факты и соображения согласуются с высказанной гипотезой о том, что праславянская форма стихотворной строки отражает древнюю структуру просодии славянской фразы.

§ 8. О возможных причинах модификации латинской и греческой словесно-просодических моделей

«То, что в индоевропейском было правилом синтаксической акцентуации, в славянском переосмысливается как особенность интонации определенного слова» (Иванов 1979; 53). За этими словами Вяч. Вс. Иванова вырисовывается возможность существования просодических конструкций, не привязанных к слову как имманентной единице, но связанных с некими просодическими эпохами, осознав различие которых, можно и вновь вернуться к просодии отдельного слова.

При отчетливо осознаваемом различии систем словесного ударения история просодии греческого и латинского языков оказалась во многом тесно сплетенной: факты эволюции латинского часто объяснялись греческим влиянием — различным на разных этапах; наконец, оба языка, согласно историческим данным, примерно в одно и то же время изменили свой просодический тип, приобретая так называемое «динамическое ударение».

Общеизвестен тот факт, что греческий язык периода расцвета был языком с музыкальным ударением; это означало, что ударный слог отличался от безударных более высокой тональностью, во-первых, и что ударные слоги различались типом этой тональности, во-вторых¹. В системе греческого стихосложения господствует нетональная, а в соответствии с ней количественная («квантитативная») структура, которая строится на упорядоченном чередовании долгих и кратких слогов без учета места ударения.

В слове вне стиха можно говорить о двух типах движения: повышающемся и понижающемся и о комбинации этих движений (*circumflex*); поэтому так называемое обложенное ударение есть комбинация восходящего + нисходящего тона. Естественно, что подобная комбинация требует для своей реализации долготы подударного слога.

Если традиционное учение давало четкий список и определение типов греческого ударения (~, ´, `), то в течение долгого времени менее ясной оставалась система, регулирующая место греческого ударения, которая определялась то как «закон трех слогов», то как «закон трех мор». Р. О. Якобсону удалось обобщить все гипотезы, сформулировав простое правило: «... гласные моры, расположенные между ударной морой и конечной морой, не могут принадлежать разным слогам» (Jakobson 1962b; 263—268). Таким образом, как граница существенно начало слога, содержащего предпоследнюю мору (начало «конечного ансамбля», по Е. Куриловичу). Прогрессивный акцент — когда ударная мора следует за указанным началом «конечного ансамбля»: γαμέτις, χαλῶς, πολίτις. Регрессивный акцент — это акцент, предшествующий этой границе: μέλανος, μελάνων, ἡγάγον. Итак, пенультимный слог является единственным, на котором может оказаться и прогрессивный, и регрессивный акцент: πρῆνων — πρῆνες, μητέρων — μητέρες. Древнегреческий язык ведет, таким образом, двойной отсчет: по морам и по слогам.

С первых веков нашей эры словесная просодия греческого слова меняется: осуществляется переход от музыкального ударения к динамическому. Это конструируется на основании анализа ранних христианских гимнов (II в. — нач. III в. н. э., Клемент Александрийский), особенно — Григорий Назианзин (IV в. н. э.) (Allen 1973; 268—269). Именно влиянием греческих псалмов этой поры и

¹ Мы не касаемся здесь истории и историографии вопроса, поскольку ставятся не описательные, но общие проблемы. См., в частности: Тронский 1962; Allen 1973.

ритмикой греческих христианских проповедей объясняют появление динамического акцента в поздней латыни (Szelestei-Nagy 1974).

Возникновение динамического акцента Х. Зайлер приписывает акустической природе циркумфлекса, создающего как бы некий высотный пик, сопровождающийся громкостью звучания, ударную «тяжесть» слога под новым динамическим ударением формулировали и поддерживали также долгие гласные и дифтонги и геминированные согласные (Seiler 1959).

Просодия слова и фразы современного греческого языка изучены практически минимально. Однако тип акустической реализации словесного ударения все же подвергался экспериментально-фонетическому анализу. Прежде всего оказалось, что необязательно ударный слог выделялся силовым способом, «динамически» (на вопросе о том, что такое динамическое ударение в понимании фонетистов и в понимании фонологов, мы остановимся ниже). Сила, громкость, аллофонически чередуется с высотой тона на ударном слоге. Ударный слог в греческом вообще ненамного сильнее безударного, а при сильном восхождении фразового тона безударный слог может в конечном положении быть и громче ударного (Jones 1967). Кроме того, ударность слога обязательно сопровождается его продленностью, что особенно становится очевидным при экспериментальном продлении или ускорении темпа. Особенно продленным бывает ударный начальный слог (Fourakis 1986).

Возвращаясь к древнегреческому языку, мы, таким образом, отметим для начала христианской эры один фундаментальный переход: от музыкального ударения к динамическому. Этот переход не был фактом чистой просодики, он повлек за собой и изменения строевой структуры языка. Так, именно с переходом к динамическому ударению связывают резкое уменьшение употребительности греческих частиц, которые ярко характеризовали своим обилием греческий язык классической поры (Тронский 1962; 57; Denniston 1954). На неизбежности этого процесса мы также остановимся далее.

Гораздо более сложной представляется реконструируемая картина эволюции латинского ударения. Ударение классической латыни было связано с предопределенным ритмическим рисунком слова, соотношением долгих и кратких слогов, недопустимостью на конечном слоге многосложного слова. В отличие от греческого, латинское ударение не определяется двойной системой оппозиции, а является поморным. Считая краткий слог одноморным, а долгий двуморным, определяют, что латинское ударение отстоит от конца слова на расстоянии одного слога + две моры (определяя с конца): *ŭ-tĭ-lĭ-tās*, *lau-dā-mus*, *cās-tĭ-tās* etc. Слова отличаются, при совпадении тактического места ударения, долготой: *invēnit* — *invēnit*.

В начале христианской эры латинское ударение, как и греческое, становится динамическим. Этот факт описывается и представителями античной грамматической теории²: сначала хронологию изменения характера латинского уда-

² См. об этом подробно: Тронский 1953; 162.

рения возводили к V в. н. э., затем — к более ранней поре (стих. Амвросия), наконец, возможно, к раннехристианской литературе Северной Африки II в. н. э. (Szelestei-Nagy 1974; 76). С изменением ударения связывается потеря количественных различий и качественные вокалические изменения (Janson 1979). Особняком стоит точка зрения Э. Палгрэма о постоянстве динамического ударения в латинском языке (об этом ниже) (Pulgram 1975).

Как уже указывалось, изменение количественных различий и переход к динамическому ударению иногда приписывают раннехристианскому греческому влиянию (оставляя в стороне тем самым вопрос о том, почему это явление произошло в самом греческом). Просодическая судьба романских языков оказалась различной (Ettmayer 1925). Однако и тут, как и для новогреческого, экспериментальные исследования демонстрируют акустическую сложность и комплексность параметров словесного ударения. Например, принято было считать, что ударение в итальянском — ударение динамическое, выражающееся через интенсивность. Последние экспериментальные исследования показали, что ведущая роль в просодии итальянского словесного ударения принадлежит длительности (как в русском языке), а не высоте и не интенсивности (Døgum 1985).

Однако особенностью латинского языка, его загадкой, является многократно обсуждавшаяся гипотеза о «первичном» динамическом ударении на первом слоге в «праисторическом» периоде латинского языка (за это говорит фонетическое богатство первого слога, явления синкопы раннего периода и под.)³. Таким образом латинский язык как бы описывает круг просодического развития: динамическое ударение — количественно-позиционные различия — динамическое ударение позднего этапа.

Назывались самые различные причины возникновения динамического ударения в латинском языке и его позднейшей перестройки.

1. «Пралатинское» динамическое ударение восходит прямо к праиндоевропейскому динамическому ударению (это, по выражению Э. Палгрэма, объяснение *ignotum per ignotius*).

2. Первичное динамическое ударение появилось под влиянием лингвистической среды, в частности этрусской⁴.

3. Было влияние некоторого параллельно существующего протороманского языка.

4. Имел место обычный, точнее, распространенный переход от гипотетического музыкального ударения к динамическому, который латинский язык почему-то осуществил ранее других языков (Тронский 1962; 1953).

В свою очередь перестройка ударения и введение количественно-позиционных различий возникли в латинском под греческим влиянием. Так, Э. Палгрэм пишет об эллинизированном характере классической латыни, о влиянии гре-

³ Очень подробно эти вопросы обсуждаются в фундаментальной книге Ж. Вандриеса на эту тему (Vendryes 1902).

⁴ Развернутую критику этой теории см.: Тронский 1953.

ческих учителей и греческой ораторской школы на латинскую произносительную манеру (Pulgram 1975).

5. Существование в латинском бытовании двух языков-стандартов (точка зрения Э. Палгрэма, представляющая наиболее соответствующей концепции общей просодической эволюции, предлагаемой в настоящей статье). Согласно Э. Палгрэму, в латинском языке существовали и развивались параллельно два языковых стандарта: письменный латинский и устный латинский.

Письменная форма с V в. до н. э. долгое время находилась под греческим влиянием; затем, до VII в. н. э., наступил постклассический средневековый период; с VII по X в. н. э. — «каролинское Возрождение», к которому по стандарту примыкает письменная «вульгарная» латынь. Устная латынь имела непрерывающуюся историю, и она-то являлась протороманским источником, началом романских языков. Просодические системы обоих стандартов различны. Письменный стандарт характеризуется просодемой (т. е. значимой) количественностью гласных, непросодемой акцентом, количественной метрикой. Напротив, устный вариант характеризуется просодемой акцентом, непросодемой количеством гласных, акцентно ориентированной метрикой.

Обе системы по-разному отражали просодические компоненты заимствованных греческих слов; ср. типы корреляций.

0.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	=	Греч. ударению (по месту)
	<i>apothēca</i>		ἀποθήκη
	(письм. латынь, устная латынь)		
I. A.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению (не финальному)
	<i>cāmēra</i>		καμάρα
	(письм. латынь)		
I. B.	Лат. количество	≠	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению
	<i>dialēctus</i>		διάλεκτος
	(письм. латынь)		
I. C.	Лат. количество	=	Греч. количеству
	Лат. ударение	≠	Греч. ударению (финальному)
	<i>basīlica</i>		βασιλική
	(письм. латынь)		
II.	Лат. количество	≠	Греч. количеству
	Лат. ударение	=	Греч. ударению
	<i>āncora</i>		ἄγκυρα
	(устная латынь)		

Существенным для различия двух стандартов латинского языка является их различие по принципу пословного или посинтагменного произнесения звукового потока. Э. Палгрэм называет *cursus language* — язык просодически слитный, не разделяющий поток на слова. *Nexus language* — это пословный язык. Таким образом, «курсусным» является только латинский письменный (например, и литературный французский также), латинский же устный и литературный греческий — это языки некусусные (Pulgram 1975).

Вопрос о курсусно-некусусных языках связан, в свою очередь, с проблемой ударения. Как выясняется, само понятие ударения трактуется по-разному, по крайней мере, тремя группами специалистов; 1) фонетистами, 2) фонологами, 3) сравнительно-историческими акцентологами.

История типов фонетики ударения и их эволюции в языках, подобных латинскому, не может быть проинтерпретирована полностью без обращения к двум системам. Первая из них — это фразовая интонация анализируемого языка и ее тип, поскольку и в древности слова не передвигались как бусины на проволочке, каждое со своей ударностью/безударностью, а включались разнообразным по сложности образом в систему фразовой интонации.

В связи с этим в настоящей статье мы хотим повторить ранее высказанную уже нами гипотезу об эволюции языка и его механизме, опирающуюся на его в широком смысле суперсегментные структуры.

Таким образом, второй этап перестройки латинского ударения — переход к динамическому ударению и пословному произнесению — может быть объяснен социальными причинами: меной социума коммуникантов, говорящих на этом языке.

Итак, в статье предлагалась гипотеза о едином направленном процессе языковой эволюции, с установкой на увеличение информации в единицу времени. Социальные катаклизмы могут влиять на этот процесс, так как он во многом опирается на уровень менталитета его носителей.

Значит ли это, что факты просодического изменения слова не могут заимствоваться, наследоваться и влиять на развитие другого языка? Наверняка, могут, как и другие пласты языковых уровней. Но в просодии слова есть компоненты структурные, строевые, модификации которых в родственных языках в основном и изучаются сравнительно-исторической акцентологией, с одной стороны; с другой стороны, в просодии слова есть универсально-эволюционные факты и факты эволюции именно этого языка. Ими должна заниматься теория диахронических универсалий.

§ 9. Идея первичной и вторичной семантики грамматических категорий. Способы построения дополнительных «смысловых строк»-3. Использование неопределенных и притяжательных местоимений и способы передачи дополнительной информации

1. Грамматические категории и три этапа их эволюции

В предыдущих параграфах в развертывание основной идеи компрессии речи в языковой эволюции во имя увеличения информации в единицу времени приводились примеры разных способов осуществления этой тенденции. Прежде всего это возникновение суперсегментных моделей, а среди них — все набирающее сферу действия и активизирующееся акцентное выделение. Разумеется, оно связано, как мы старались показать, и с законами тактического характера, с развитием семантики синтаксической позиции. Дополнительные смысловые строки, суперсегментизация в обобщенном смысле, обеспечиваются и особого рода языковыми частицами, называемыми в лингвистике то усилительными, то выделительными, то акцентирующими, то модальными. Мы обращали внимание на тот пока не очень объяснимый факт, что функции этих частиц и их сложные отношения с акцентным выделением удивительным образом совпадают в основных языках Европы, у которых совершенно не совпадают ни общие интонационные модели, ни грамматические структуры ни в древности, ни на современном этапе.

Не будет ли слишком смело предположить, что языковая эволюция для языков, сходных по истории, совершает некий сложный цикл от первоначально генетического сходства — к расхождению и опять к конвергентной ситуации общности?

Однако можно говорить и об еще одной возможности создания структур, индуцирующих теньевую смысловую ауру. Именно о ней говорилось во вводимом параграфе как о *т е р н а р н о м* пути развития некоторых грамматических категорий.

А именно — на первом этапе развития существует несколько способов выражения грамматически-категориального смысла. Эти способы находятся в отношении свободного варьирования и относительно свободного выбора. На втором этапе происходит четкая дифференциация отношений форма—функция. Иногда этот процесс требует значительного исторического времени.

И только тогда, когда эти правила категориальной дистрибуции строго оформлены, возможно наступление третьего этапа: показатели допустимо употреблять «не на своем месте», и тогда они приобретают разного типа дополнительные коннотации, т. е. опять же возникают дополнительные смысловые строки. Явление это, как кажется, универсальное. Например, известно, что в будущем

времени в 1-м лице употребляется английский глагол *shall*, а не в 1-м лице — *will*. В соответствии с вышесказанным априори можно предположить, что если в 1-м лице можно употребить *will*, а не в 1-м лице — *shall*, тогда регулярным образом будут возникать новые типы значений.

В наших работах эти ситуации описываются как ситуации **первичной и вторичной семантики** в категориально-семантическом употреблении.

В первую очередь подобные факты связаны с тем, что принято называть синтаксической семантикой. Сейчас затруднительно сказать, можно ли найти этому какие-либо аналогии в области, например, словоизменительного или словообразовательного употребления. Однако, как нам кажется, именно к такой вторичной коннотации примыкают случаи сознательного сдвига ударения, например, *красавéц!* вместо *красáвец*. *Возьми пальца́ми* — вместо *пáльцами* и под. Точно определить вид коннотаций здесь не всегда возможно, но они безусловно общепонятны. Может быть, и тут мы имеем некое косвенное доказательство относительно поздней валоризованности (фонологизованности) ударения.

Дальнейшее изложение будет посвящено анализу видов и способов выражения первичной и вторичной семантики у двух важнейших классов русских местоимений: неопределенных местоимений и местоимений притяжательных.

2. Русские неопределенные местоимения: функции первичные и вторичные

Об индивидуализации объекта со «слабонеопределенными» местоимениями пишет Е. В. Падучева в связи с ее общей классификацией именных групп в высказывании (Падучева 1984). Интересно здесь различие употреблений в «дискурсе» и «истории», разрабатываемое французской лингвисткой. Как замечает Кр. Бонно, в «дискурсе» *один* и *какой-то* могут смешиваться; в «истории» в рассказе *один* требует нарративного пространства и не может заменяться на *какой-то* (Bonnot-Saoulski 1983).

Здесь, казалось бы, проявляет себя еще раз предложенная А. Тимберлейком (Timberlake 1977) иерархия объектов, выведенная им для проявления преференции аккузатива или генитива при негации у глаголов с таким управлением в русском языке: Одуш. чел. > Одуш. жив. > Опред. > Неопр. Но эта иерархия не совсем здесь оказывается подходящей, поскольку можно ожидать *Я вчера видела одну вывеску*, но не *Я вчера купила одну простыню* (в последнем случае это числительное). Более того, прагматические ограничения оказываются при этом столь тонкими, что ответ *Я вчера встретил здесь человека* или *одного человека* будет различаться в зависимости от вопроса: *Да обитаем ли этот остров вообще?* или: *Да живут ли люди в этой деревне?* В первом случае, скорее, будет ответ: *Встретил человека*, во втором, возможно: *Встретил одного человека*.

Сказанное выше подводит к идее определения сущности функционирования неопределенных местоимений в русском языке. И здесь на обсуждение предлагается некий тезис. Этот тезис связан с распространенным мнением о том, что русские неопределенные местоимения, и в первую очередь слово *один*, являются неким, хотя бы и приблизительным, эквивалентом западноевропейского артикля (неопределенного). Между тем можно обратить внимание на особое функциональное поведение местоименных неопределенных слов, вводящих имя, в русском языке. Дело в том, что в очень многих ситуациях, когда был бы употреблен в артиклевом языке неопределенный артикль, в русском языке вряд ли можно употребить такие слова, как *один*, *некий*, *некто*. Например, говорилось о том, что если, услышав шум, кто-нибудь спросит: *Что это? Кто там?*, то, скорее, получит ответ: *Кошка* или *Ворона*, но вряд ли *Одна кошка* или *Некая ворона*. Между тем если речь будет идти о каком-нибудь цирковом выступлении животных, на вопрос: *И кто же был лучше всех?* — вполне можно ожидать ответа: *Одна кошка*. Точно так же подобное употребление *один* можно услышать в нарративных ситуациях вроде: *Тут я видела одну кошку, так вы не представляете себе, какой длины у нее была шерсть*. И в то же время невозможно подставить неопределенное местоимение в генерализованное высказывание-дефиницию *Агава* — *это растение (одна агавы, какая-то агавы и т. д.)*. Известно, что местоимение *какой-нибудь*, передающее, как принято считать, свободу выбора, выбора «любого» предмета, предполагает его некую отличность от других: так, если на столе лежит коробка абсолютно одинаковых карандашей, то никто не скажет: *Дайте мне какой-нибудь карандаш* (а ведь именно тут, казалось бы, и осуществляется полная безразличность выбора), а скажет: *Дайте мне карандаш* (Шелякин 1978). *Какой-нибудь* означает 'все равно, какой', т. е. большой, маленький, красный, синий и т. д. Это значит, что в понятие свободы выбора включено понятие выбора, т. е. потенциальной разности и особенности объектов. Точно так же *какое бы то ни было* уже подразумевает наличие совокупности вообще гетерогенных объектов: *Слепо преданный слуга, который не поколеблется исполнить какое бы то ни было приказание своего господина* (это сильнее, чем *какое-нибудь* или *какое-либо*).

Тем самым, как мы утверждаем, неопределенное местоимение выделяет объект из числа ему подобных, утверждая его особенность. То есть речь идет об индивидуализации (об этой индивидуализации, но не столь резко противопоставляя русские неопределенные местоимения западноевропейскому артиклю, пишет в связи с русским *один* В. Биркенмайер — Birkenmaier 1979). Очень отчетливо эту функцию западноевропейского неопределенного артикля передает Хоукинс (Hawkins 1978): неопределенный артикль эксклюзивен, он выводит определяемый объект к некоторому подмножеству потенциальных референтов, релевантных для описываемой ситуации. Неопределенные референты многозначны, а определенные — нет (Hawkins 1978; 202). В связи с этим необходимо, сопоставляя с усред-

ненным европейским артиклем, обратить внимание на четыре вида неопределенного артикля *a (an)*, выделяемых в современной англистике (см.: Burton-Roberts 1976). Это обобщающий: *A whale is a mammal*; специфический: *A whale struck the ship*; атрибутивный (копулятивный): *John is a scientist*; неспецифический: *Mary wants to marry a millionaire* (какого-нибудь. — Т. Н.).

Кэшер и Гэббэй соотносят подобное употребление с развиваемой сейчас семантикой возможных миров, с которыми связывается именно такой неспецифический неопределенный артикль (Kasher, Gabbay 1976). Как видно из приводимых нами русских примеров, русский язык обладает средствами различения специфической и неспецифической неопределенности (условно *-то-группа/-нибудь-группа*); по указанным нами причинам в обобщающем и копулятивном значении неопределенные местоимения не должны иметь места. Напротив, для английского и немецкого языков употребление артикля в обобщающей функции стало в последние годы объектом усиленного изучения (Harweg 1969; Иртеньева 1976).

Р. Харвег считает, что определенный артикль передает тип объекта, а неопределенный — класс (*Der Bergmann hat ein schweres Leben/Ein Bergmann hat ein schweres Leben*), но это различие по-разному выявляется в семантике текста. Н. Р. Иртеньева видит специфику неопределенного артикля в пресуппозитивном свойстве неизвестности признаков объекта, в необходимости их раскрыть и в их известности обеим коммуникативным сторонам, последнее — в случае родового определенного артикля. Для арабского языка обнаруживается «специфическая семантическая сфера (обобщение. — Т. Н.), в которой определенное имя и неопределенное имя являются абсолютно синонимичными» (Габучан 1972; 51). В этом коренится кардинальное отличие неопределенного местоимения от неопределенного артикля, который, напротив, вводит объект в класс ему подобных (см. анализ неопределенного артикля при генерализации — Дюкро 1982). В русском языке функции неопределенного артикля, т. е. инклюзивные по отношению к классу, передает существительное без детерминанта: *У нее родилась девочка; Там сидит ворона* и т. д. Именно этой особенностью неопределенных местоимений — их установкой на утверждение индивидуальности объекта — и объясняется неупотребление неопределенных местоимений в конструкциях типа *Агава — это растение*, поскольку здесь утверждается, что всякая агава есть растение, и весь смысл высказывания состоит в снятии особенности, в ее перечеркивании.

Однако не все может быть потенциально особенным в равной степени. Поэтому книга, рассказ, фильм, повесть потенциально индивидуальнее яблок, карандашей и т. п. Отсюда большая вероятность *Вчера я слышала некую историю*, но не *Вчера я купила себе некий карандаш*. В этом отношении в классификацию А. Тимберлейка включаются и объекты-названия, обозначающие такие ментальные эксплицируемые вещи, как книги, истории, рассказы, случаи и т. д. Они могут быть первичным звеном развертываемой далее нарративной цепи.

Именно эта интродуктивность свойственна конструкциям с *один, некий, некоторый* и *какой-то*. (Эту функцию «введения в бытие» у подобных слов см.: Арутюнова 1976; 359.)

Исходя из вышесказанного, может быть предложен на обсуждение вопрос о том, почему в одном высказывании маловероятны сочетания двух таких местоимений: *Один кит столкнулся с одним кораблем; Некий человек увидел некую обезьяну и говорит* и т. д. В принципе объяснение может быть двояким. (См. также в английском языке: **A tiger eats an antelope; *A tiger climbs a tree* (Burton-Roberts 1976; 434).)

А. Известно, что порядок слов в русском языке таков, что неопределенный объект располагается в конце высказывания, максимальной же точкой определенности является левофиксированная позиция, где чаще всего помещается анафорический субъект. Поэтому введение неопределенного местоимения в крайнюю левую позицию аннулирует позиционную определенность субъекта. Однако это объяснение не обеспечивает различия в интерпретации высказываний: *Вчера я купил себе пальто (*одно) и Вчера я слышал интересную историю (=одну)*.

Б. Второе возможное объяснение связано с феноменом так называемой эмпатии (Kuno 1976, Linde 1979), т. е. наличием в высказывании некоторого фокуса говорения, исходной точки зрения. Очевидно, этот фокус может быть только один. Поэтому *Однажды один человек увидел кита* — это история про человека и его контакт с китом, а *Однажды корабль столкнулся с одним китом* — очевидно, это продолжение рассказа об упомянутом корабле и начало истории с введенным новым активным актантом (Цивьян 1979).

Говоря о том, что русские неопределенные местоимения противоположны по функции неопределенному артиклю, мы имеем в виду некий абстрагированный эталон неопределенного артикля, но не неопределенные артикли артиклевых языков во всем многообразии их функций, которые, конечно, шире и разнообразнее того значения, которое имеет русская неопределенная дескрипция с именем без местоименного сопровождения (*Его отец — врач; Там сидит ворона; Я купил ручку* и т. д.). Поэтому многие высказывания с игрой артиклем очень трудно перевести на русский — *Lamartine n'est pas un poète, mais le poète; It is not a precious stone, it is the precious stone*. В. Биркенмайер обращает внимание на отличие русского *один* от немецкого неопределенного артикля по всем признакам, выделяемым для *ein*. Русское *один* он соотносит с английским *certain*, по Есперсену. Интересно, далее, его утверждение о некоторой упрощенности системы немецкой неопределенности по сравнению с русской (Birkenmaier 1976), вообще многими исследователями признаваемой за сложнейшую.

Согласно утверждаемым выше тезисам, неопределенные местоимения, во-первых, индивидуализируют объект, во-вторых, оказавшись не на своем месте, модифицируют значение предсказуемым образом. Обратимся теперь к высказываниям класса: *Звонят. Кто-нибудь ошибся дверью*. Почему же в этом случае возникает значение модального плана? Это употребление уже связано не с

семантикой именного словосочетания, а с совокупностью категориально-грамматических показателей высказывания в целом, а именно с тем, что при наличии сказуемого в форме совершенного вида глагола по правилам русского словоупотребления должна быть форма с *-то*, а не форма с *-нибудь*: *Вчера я открыл двери и увидел, что кто-то стоит на пороге (*кто-нибудь)*. См. также пример, приводимый Кобозевой (Кобозева 1981): *На двор въехал экипаж, и кто-то спрашивал Обломова. — Кто-нибудь из прошлогодних знакомых вспомнил мои именины, — сказал Обломов.*

Таким образом, выявляется некий пласт иерархии дистрибуции неопределенных местоимений в русском языке: они распределяются по контекстуально-грамматическим типам высказываний. В рамках каждой из этих групп можно говорить о связанности категорий, о соотносительности грамматических показателей друг с другом, что в первую очередь относится к корреляции показателей имени и глагола-сказуемого. Связанность грамматических показателей высказывания в целом во многом объясняется, на наш взгляд, общей установкой всего высказывания на передачу некоторого фрагмента действительности и отношения к нему. В этом мы опять подходим к понятию *ситуации*, через которое можно попытаться также описать функции и семантику русских неопределенных местоимений.

При этом оказывается, что в сочетании с именем абстрактным неопределенное местоимение может иметь другое значение, сравнительно с сочетанием с именами счетными: *На всех был отпечаток некоторого удовольствия, вызванного сознанием совершения великого общественного дела и Единственное, что было красиво, это — гиганты сибирские кедры. Некоторые из деревьев были в два обхвата. Или: На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы и Я ушел из подвала с какой-то необоримой, насмерть уничтожающей тоской в сердце.*

Однако и в рамках конкретных имен мы можем выделить *Nomina unica* (включая *Nomina propria*) и имена нереферентные, обозначающие представителя класса. См.: *Какой-то Петя сделал мне предложение* (выражается оценка, отношение) и *Какой-то мальчик сделал мне замечание* (отмечается факт). При этом существенно — для имен собственных, идет ли речь о реальных, но обычных людях, о реальных, но выдающихся людях или об ирреальных персонажах (литературных или вымышленных). Ср.: *Это какой-нибудь Петя Сидоров* (не исключено, что и он сам) и *Это какая-нибудь Настасья Филипповна* или *Это какой-нибудь Эйнштейн*. В последнем случае манифестируется значение 'такие, как', 'подобные'. Эта разница в активных коннотациях, связанных с именем собственным и именем счетным, легко демонстрируется, например, на предикативной конструкции. Если взять рамку-вопрос *А кто его жена?* и подставлять, меняя детерминативы, слова *студентка* и *Петрова*, то это различие выявится отчетливо:

А кто его жена?

	Студентка	Петрова
отсутствие детерминатива	+ (знач. неопр-ти)	+ (знач. опр-ти)
Одна	+	-
Некто	-	+ (‘вы ее не знаете’)
Некая	+ (‘небезызвестная, но Вы не знаете’)	+ (‘небезызвестная, не мешало бы знать’)
Какая-то	+ +	+ (‘неизвестная никому’)
Какая-нибудь	+ (значение вероятности)	+ (такая как Петрова или, возможно, сама Петрова, или русская)

Нами были рассмотрены русские неопределенные местоимения с выявлением следующей их функции: индивидуализация объекта, подчеркивание его особенности. Выполняется это таким образом, что частица налагается на потенциальную неопределенную дескрипцию, как бы перечеркивая значение включения объекта в класс ему подобных. Поэтому они и не употребляются там, где это включение задано: *Агава — это растение*. Но по поводу русских неопределенных местоимений можно утверждать не только тезис об установке их на индивидуализацию объекта, но и другой тезис, имеющий отношение к модальному компоненту, к субъективной оценке говорящего. Согласно этому тезису, русские неопределенные местоимения имеют два типа значений: 1) основное значение, которое можно считать объективным оценочно-нейтральным и 2) значение (значения) как бы второго ранга, с несомненным субъективным оценочно-модальным оттенком. Например, *какой-то*: 1) ‘неизвестный’: *Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка*; 2) ‘непрестижный’: *Княгиня Ласова какая-то здесь есть*; ‘не стоящий внимания’, ‘недостойный внимания’: *Будучи родом из каких-то немков, она, впрочем, ни на каком языке, кроме русского, пикнуть не умела*; *Женщина, с детьми, в каком-то са-*

рае, сосредоточенная и печальная; 'минимальный': В какие-то полчаса он написал письмо самое обстоятельное.

Какой-нибудь (кто-): 1) 'любой': Приданое дадите хорошее, и образованную кто-нибудь возьмет; 2) 'вероятный': Гляжу, катят мне прямо во двор. Кого-нибудь бог несет; 'непрестижный': Я вам не какая-нибудь дура; Не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты; 'минимальный': В каких-нибудь три года он нажил целое состояние.

Некоторый: 1) 'неполный, не укладывающийся в эталон': Студенческая форма на нем была в меру поношенной, что могло означать некоторое пренебрежение внешностью; 2) 'небезызвестный': Я надеюсь, что Вы, как честный человек, не позволите себе намекнуть даже единым словом на некоторый вексель, о котором была сегодня утром речь.

Некоторые: 1) 'часть из X': На улице показалось несколько прохожих. Некоторые везли вещи, толкая перед собой тележки; 2) 'неназываемый': Он даже не старается для оригинальности (по примеру некоторых лиц) писать теми же ямбами.

Кое-кто: 1) 'часть из': Начало светать: в лагере кое-кто проснулся; 2) 'не называемый, небезызвестный': Ты все еще надеешься, что кое-кто придет сегодня?

В каких же ситуациях употребляются местоимения в первой и во второй группе значений?

Здесь предлагается на обсуждение следующий тезис: в тех случаях, когда неопределенное местоимение налагается на потенциальный неопределенный артикль, создавая дескрипцию индивидуализированного объекта (неопределенной оригинальности), употребляются типы значений группы 1. В тех же случаях, когда неопределенный артикль не может иметь места (дескрипция определенная) или имеется установка на включение объекта в класс (предикатная позиция, генерализация), при введении неопределенных местоимений возникают значения группы 2. Обратимся к примерам с определенным именем.

Это может быть известный говорящему уникальный объект: *В чем ты пойдешь на банкет? — У меня есть для этого какое-то платье.* Здесь какое-то соответствует сознательно демонстрируемому говорящей пренебрежению к объекту речи.

Это могут быть имена собственные: *Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам. Некто Филипп Александрович Барашков (некто здесь 'безызвестный'). А знает с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительным помещиком и раскапиталистом (некий — 'неизвестный вам, но далеко не безызвестный'). Живет она где-то в какой-то Матросской улице (какой-то — 'непрестижной и жалкой').*

Это могут быть имена уникальные: *Какой-то владелец киношки «Одеон» делает мне замечания.*

Это могут быть числительные: *В каких-нибудь два часа он набросал весьма дельный проект.*

Неопределенные дескрипции со значением включения в класс при введении неопределенных местоимений также создают значение 2 ранга: *Ее муж* — *учитель* и *Ее муж* — *какой-то учитель*; *Мышь* — *млекопитающее* и *Какая-то мышь* — *млекопитающее!*

Итак, употребленные не на «своем месте», неопределенные местоимения модифицируют свое значение, создают значения 2 класса, коннотативно-оценочно-модальные.

Как же передается дополнительный смысл в тех случаях, когда неопределенные местоимения находятся на **своем месте**, т. е. на месте потенциального неопределенного артикля? В этом случае дополнительное значение выражается суперсегментными средствами — *Дайте какой-нибудь еды* (любой) и *Дайте какой-нибудь еды* (хотя бы какой-нибудь, минимум, говорящий очень голоден). Вводятся так же и лексические средства, например добавление *да и хоть*: *У меня ум практический. — Ну, благодари творца, что хоть какой-нибудь есть*; *Такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей*. Эта дистрибутивная заданность 1 (объективно-оценочных) и 2 класса (субъективно-оценочных) обнаруживается с отчетливой определенностью при отрицании в высказываниях с неопределенными местоимениями. Если неопределенное местоимение употреблено в объективно-оценочном значении (класс 1), то при отрицании местоимение заменяется: *К нам кто-то придет* → *К нам не придет никто*; *Спойте, пожалуйста, какую-нибудь песню* → *Не пойте, пожалуйста, никаких новых песен*; *Он рассказывал какие-нибудь новые анекдоты* — *Он не рассказывал никаких новых анекдотов* и т. д. В том же случае, когда местоимения употребляются не на своем месте, т. е., по нашей концепции, в объективном, коннотативно-модальном значении (класс 2), допустимо сохранение местоимения, отсутствие его трансформации, постановка отрицания обязательна только при предикате: *Он вам не какой-нибудь студент*; *Не давайте мне какой-нибудь еды, а дайте хорошую*; *Если некий человек не придет, расстраиваться не буду*; *В каких-нибудь два часа статью не напишешь*; *Кое-кто не приходил?* и т. д. Таким образом, различие значений этих классов, иначе выявление субъективно-оценочного плана, обнаруживается и при негации, отрицании высказывания, т. е. при выполнении некой суперсинтаксической трансформации по отношению к высказыванию в целом.

3. Посессивы и их «дополнительная семантика» (т. е. «дополнительные коннотации»)

Прагматические категории (т. е. «дополнительные коннотации») связаны в речупотреблении с возможностью выбора. Прагматические коннотации возникают там, где нет грамматической обязательности, но есть грамматическая допустимость. В свете высказанного тезиса очевидно, что реализация прагма-

тических категорий по отношению к категории посессивных местоимений в первую очередь зависит от частоты и обязательности употребления посессива в данном языке. Например, если в русском языке было бы обязательно отмечать посессивом каждый предмет, находящийся во временном или постоянном владении актанта (*Я поднес свою ложку к своей тарелке и отломил кусок своего хлеба*), то тогда высказывания типа *Я столько слышал о вашем Петрове* или *Он опять принялся за своего Робинзона Крузо* и под. не могли бы приобрести никаких дополнительных коннотаций.

Таким образом, для грамматических пересечений важно отделять посессивность от непосессивности в пределах одной и той же формы; для текстовых — выявить, есть ли дополнительная семантика у конструкции заведомо посессивной; для прагматических — определить семантику выбора между нулевой формой посессива и/или посессивами равной степени допустимости.

Прагматические коннотации посессивности, как уже говорилось, связаны с частотой и обязательностью употребления посессивов в данном языке. То, что тенденция обильно вставлять посессивы или, напротив, минимизировать их количество зависит от свойств системы каждого конкретного языка, становится очевидным при сопоставлении старославянского евангельского текста с греческим¹. Анализ показывает, что в сравнении с греческим источником осуществляются вставки посессивов, но не их элиминирование.

Можно сказать, что вставки посессивов появляются при введении в текст однозначно трактуемых лиц: например, в речи Христа при лексеме 'отец'. Например, **МЪНОГА ДѢЛА ЁВИХЪ ВЪ ВАСЪ ОТЪ ОТЬЦА МОЕГО** — И.10.32 (ἐκ τοῦ Πατρὸς); **ЁКО ОТЕЦЪ МОИ БОЛИИ МЕНЕ ЕСТЬ** — И.14.28 (ὅτι ὁ Πατήρ μείσιω μου); **ЁКО ЖЕ НАОУЧИ МА ОТЬЦЪ МОИ** — И.8.28 (ἐδίδαξεν με ὁ Πατήρ); **БЖДЕТЬ ДАНО ЕМОУ ОТЪ ОЦА МОЕГО** — И.6.65 (δεδόμενον αὐτῷ ἐκ τοῦ Πατρὸς); **ЁЖЕ ВИДѢХЪ ОУ ОТЬЦА МОЕГО** — И.8.38 (ἐώρακα παρὰ τῷ Πατρὶ).

Во всех подобных случаях имеет место 1 л., выраженное либо глагольной формой, либо личным местоимением 1 л., эти тексты — тексты прямой речи. См. также о матери Христа не в прямой речи: **ГЛА МАТЕРИ СВОЕИ ЖЕНО СЕБНЬ ТВОИ** — И.19.26 (λέγει τῇ μητρὶ). См. также о Христе как о сыне: **ПОСЛА БО ЕЪ ЕНА СВОЕГО ВЪ МИРЪ** — И.3.17 (ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱόν); **БЪ ВЪЗЛЮБИ МИРА. ЁКО ЕНА СВОЕГО ИНОЧАДААГО ДАСТЬ** — И.3.16 (ὥτε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ); **ДОНЪДЕЖЕ РОДИТЬ ЕНЬ СВОИ ПРЪВНЄЦЪ** — Мф.1.25.

Максимальное число посессивов-вставок представлено при лексеме 'ученики' Христа в текстах, где необходимость уточнения через посессив избы-

¹ Основным источником старославянского материала служил глаголический памятник XI в. — Маринское Четвероевангелие (Codex Bezae Cantabrigiae), издание которого осуществлено И. Ягичем в 1883 г. По всему тексту выявлялись посессивные структуры. Данные сопоставлялись пофрагмно с греческим текстом Нового Завета.

точна, так как принадлежность всегда конкретизирована контекстом. Например, **ПРИСТЪПИША КЪ НЕМОУ ОУЧЕНИЦИ ЕГО** — Мф.24.1 (προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταί); **И ГЛѢША ЕМОУ ОУЧЕНИЦИ ЕГО** — Мф.19.10 (λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί); **І ВЪПРОСИША И ОУЧЕНИЦИ ЕГО** — Мф. 17.10 (λέγουσιν ἐπηρώτησαν αὐτὸν μαθηταί); **ТЪГДА ПРИСТЪПШЕ ОУЧЕНИЦИ ЕГО РѢША ЕМОУ** — Мф.15.12 (οἱ μαθηταί λέγουσιν αὐτῷ); **ВЪПРОСИША И ОУЧЕНИЦИ ЕГО** — Мф.17.10 и т. д.

Впоследствии в славянских языках количественная насыщенность высказывания посессивами начинает меняться в сторону уменьшения. В первую очередь посессив начинает опускаться в языках артиклевослабых по отношению к именам так называемой неотчуждаемой принадлежности. При этом трактовка этой неотчуждаемой, уникальной принадлежности может диахронически меняться, отражая соответствующие изменения «картины мира».

Так, в «Слове о полку Игореве» посессив *свой* употребляется гораздо чаще, чем в современном русском языке. См.: *До нынешняго Игоря, иже истягну умь крѣпостию своюю и поостри сердца своего мужеством; наплънився ратнаго духа наведе своя храбрыя плѣкы на землю Половѣцкую за землю Руськую; вся своя воя; къ дружинѣ своей; на свои брѣзыи комони; главу свою приложити; свои брѣзыи комони; своя милья хоти; повелѣ яти отца своего; своихъ ладѣ; своими сильными плѣкы; своими желѣзными плѣки; позвони своими острыми мечи славу дѣду своему Всеславу; понизите стязи свои, вонзите свои мечи верезени; претръгоста бо своя брѣзая комоня.* Итак, слово *свой* в «Слове» скрепляет как предметы собственности почти все предметы и явления человеческого микрокосмоса. Исключением были сочетания со словом *золотой*: *Тогда въступи Игорь князь въ златѣ стремь и поѣха по чистому полю; Ступаетъ въ златѣ стремь въ градѣ Тьмутораканѣ; Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата въ сѣдло кощиево; Вступита, господина, въ злата стремь; Изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чрезъ злато ожерелие.* Объяснение того, почему в подобных высказываниях можно было опускать посессив *свой*, находим в специфике реалий того времени. «Только княжеские вещи имеют эпитет „золотой” — „стремя”, „шлем”, „стол”» (Лихачев 1950; 279). Таким образом, золотые княжеские аксессуары не могли быть ничьими другими. Посмотрим, как переданы эти предложения «Слова» и стоящая за ними реальность в издании 1800 г.: *Тогда князь Игорь, вступя въ золотое стремя, поѣхалъ по чистому полю; Онъ ступалъ въ золотое стремя въ городѣ Тмуторокани; Тогда Игорь князь изъ своего золотого сѣдла пересѣлъ: Вступите, Государи, въ свои златые стремена; Испустиль жемчужную свою душу чрезъ золотое ожерелие.* Пестрая картина употребления посессива *свой* в 1800 г. показывает, что это важное различие реалий, так четко отражавшееся в «Слове», к концу XVIII в. уже стало непонятным и потому неотраженным.

Именно насыщенность/бедность посессивов привлекает в качестве критерия «современности» русского текста Л. Яхнина при сравнении трех перево-

дов на русский язык романа А. Камю «Чужой» (Яхнина 1971). Точное соответствие французскому оригиналу делает русский язык излишне богатым посессивами, в результате чего текст не кажется современным. Изменение претерпевает и образ героя, который кажется молодым человеком, принадлежащим более сентиментальному XIX веку, а не тем персонажем, характерным для середины XX в., каким он предстает в романе.

Однако, приобретая разнообразные прагматические коннотации, посессивы не уходят от основной своей семантики — семантики принадлежности. Так, посессив может модифицировать семантику принадлежности, представляя ее как привычность, постоянность: *Il a pris une douche — Il a pris sa douche*, т. е. свой, постоянный душ (Ducrot 1970). Ср. *Bom Вам кофе — Bom Ваш кофе*, в последнем случае речь может идти о том кофе, который пьют постоянно. В этой связи представляется интересной мысль Е. М. Вольф о том, что посессивные структуры содержат «латентный» типовой предикат — например, карандашом обычно пишут, в доме живут, в школе учатся и т. д. Поэтому в тех контекстах, где основной предикат уже предсказан, посессив является избыточным. Однако, если он все-таки выражен, то возникает «значение постоянного действия, характерного для данного лица» (Вольф 1974; 94). Например, *В два часа он съедает свой суп. Съесть и суп* семантически связаны предсказуемыми отношениями, значит, посессив здесь создает семантику: свой обычный суп и/или тот суп, который он сам готовит и т. д. Такое прагматическое значение посессива есть во всех славянских языках. Например, *O drugej on zjadal svoju jeczmiennu kaszu, o osmej zjadal zupę* (польск.), *Přišel domů a snědl svou polévku* (чеш.), *Tutaj je vaša kava* — т. е. привычное блюдо (слвн.), *Он је попио чај и Он је попио свој чај*, т. е. обычный (срб.), *Той изяде супата и Той изяде своята супа* (бол.).

К этим отношениям: привычное vs окказиональное и обязательное vs необязательное можно свести англоязычные примеры, приводимые Д. Болинджером (Bolinger 1979; 293):

*His mother hates John all the time;

His mother hates John when he behaves that way;

*His pen is in John's pocket;

His pen is John's constant companion.

«Карандаш» связан с постоянностью, потому что является отчуждаемым объектом, мать же — явление постоянное и неотчуждаемое, поэтому введение посессива при назывании матери оказывается возможным при экстраординарности ситуации.

Семантика постоянности, привычности может переходить в семантику любви, привязанности к тому, что вводится через посессив, ср.: *У меня нет времени. У меня есть работа и У меня нет времени. У меня есть моя работа*. Ср. также: *У него есть его стихи; У меня есть моя дача: всегда есть занятие* и т. д. Ср.: польск. *Zdzisław zwykle nie ma czasu. Ma swoją psychologię, które, się stale*

zajtuje; чеш. *Netám čas. Mám svou práci; Nemiluje mě. Má své verše*; срб. *Он има своје стихове*; бол. *Имам си своя работа и Имам си моя работа* (последнее еще более эмоционально).

Семантика привычного, любимого по отношению к 1 л. часто приобретает еще одно прагматическое значение: «хороший, положительный». В книге Е. М. Вольф, специально посвященной языковым средствам выражения оценки, подчеркивается связь посессивов с оценкой и их аксиологическая дистрибуция. «Зона 1 лица притяжательных местоимений соотнесена с положительной частью оценочной шкалы или смягчает отрицательную оценку, а зона 2-го и 3-го лица — с отрицательной» (Вольф 1985; 180). По всей вероятности, выделение посессива 1 л. как носителя позитивной оценки можно считать языковой универсалией. См. *Norwid to mój poeta* (польск.), *Knedlíky to je moje jídlo* (чеш.). С этой же семантикой 1 л. — привычное-позитивное — связано и употребление так называемого *Dativus ethicus: Quid mihi Celsus agit? — Quid Celsus meus agit?* Как показывает на материале балканских языков Т. В. Цивьян, местоименные клитики в балканских языках, эквивалентные притяжательным местоимениям, в отношении к 1 л. связаны с общечеловеческим желанием присвоить себе самое лучшее, и нейтральная грамматически метка *мой* становится выражением наивысшей оценки (Цивьян 1983; 116).

В противоположность 1 л. посессив 2 л., действительно, часто имеет оттенок пейоративной семантики. Однако во многих случаях это не просто отрицательная семантика, но и скрытая цитация, отсылка к адресату, она передает мнение адресата, его манеру говорить и его темы, его среду. Поэтому *твой* — это о ком ты говоришь, о ком ты любишь говорить, возможно, кого ты любишь. Во всех анализированных славянских языках эта семантика совпадает. См. *Твоя Смирнова мне совершенно не понравилась* (рус.); *Twój Szczecin bardzo mi się nie podoba* (польск.); *Váš Londýn se mi vůbec nelíbil* (чеш.); *Ta tvoj Talin mi sploh ni bil všeč* (слвн.); *Твој Борхес ме је поразио* (срх.); в этом примере нет отрицательной семантики, но ср. *Твој Шоје више никог не интересује; Гледах филма. (Тази) твоя Пугачова никак не ми се хареса* (бол.). Специфическую роль в оценке ситуации и ее актантов играет особое возвратное местоимение в дательном падеже — *себе*. Как мы считаем, широко известное его разговорное употребление, для литературного русского языка считающееся некодифицированным: *Мы зовем ее, а она себе играет* — соответствует общей семантике замкнутости, сосредоточенности на своем мире, игнорирования окружающих. См. *Время идет, а он себе читает и читает* (рус.), *Ja sobie siedzę i pracuję sobie, a tu raptem wchodzi Zosia: Wieczorem ja sobie chodzę codziennie na spacer nad Wisłą* (польск.), *Zvu jí k obědu, ona si jen hraje a hraje* (чеш.). В словенском языке эта конструкция не отмечается, по сообщению информанта. *Он реке сурове, а ја си читам книги* (срб.); *Ние я викаме, а тя все си чете* (бол.). Оценочный компонент здесь накладывается на общее значение дательного падежа: направленности, поэтому, как уже отмечалось для дательного субъекта, он часто свя-

зан с оценочным словом (Арутюнова 1985; 19), а именно: *Мне плохо. Нам хорошо вдвоем. Мне противно* и т. д. соотносятся именно с дательным падежом. В этом плане, замечая, что многие индоевропейские языки грамматикализуют идеи «плохого события» и «хорошего события» через конструкции, включающие эмоционально воспринимающего события «посессора», А. Вежбицка различает негативные и позитивные дательные субъекта (Wierzbicka 1979; 357—360). По ее гипотезе, позитивные дательные, скорее, связаны с активной деятельностью самого субъекта (lucky agentive dative). Ср. польск. *Ciasto ładnie mi się upiekło: Kartofle mi się rozgotowały; Wszyscy pacjenci mi wyzdrowieli*; а негативные от него не зависят (dative of misfortune). Поэтому в польском языке будет *Matka mi umarła*, но маловероятно: *Matka mi wyzdrowiała*. Сходным был пример словенского информанта: *Umrla mi je mati / Njegova mati je ozdravela*. Однако в сербском языке, входящем в балканскую структуру посессивных форм, с более интенсивным употреблением дательного падежа, клитика *ми* будет возможна в обоих исходах: *Тесто ми се одлично испекло* и *Сви пациенти си ми оздравили*.

Вероятно именно потому, что посессив сам имплицитно семантику оценки, направляя ее в определенную сторону, для посессивов не характерно в целом сочетание с качественными приименными определителями. Так, отмечалось, что возможны конструкции *Мария Ивановна — Петина мать* и *Мария Ивановна — хорошая мать*, но маловероятно: *Мария Ивановна — хорошая Петина мать*; или *Петя — наш повар* и *Петя — хороший повар*, но маловероятно: *Петя — наш хороший повар* (Вольф 1983). Однако, как кажется, эти примеры неоднотипны: У Пети, конечно, одна мать, но возможен в данном социуме еще и плохой повар.

Выше говорилось о прагматических значениях посессивов, связанных с индивидуализацией объекта. Однако возможны коннотации противопоставления типизированного и индивидуализированного. Оттенок пейоративной семантики связывается с типизированным объектом. Этот тип семантики выступает при неместоименных формах выражения посессивности. Например, *профессорская дочь* — это типичный представитель некоторого класса и *дочь профессора* — это единичный объект, дочь одного профессора (Birkenmaier 1976). Ср. *profesorská dcera / profesorová dcera* (чеш.), *ona je profesorska kći / ona je kći profesora* (слвн.), *професорска ћерка / професорова ћерка* (срб.), *тя е професорска дъщеря / тя е дъщеря на професор* (бол.). Приведенные примеры интересны различием способов выражения одного и того же содержательного противопоставления; в русском и словенском языках противопоставлены притяжательное прилагательное и посессивный родительный, в чешском и сербском языках — разные суффиксы притяжательных прилагательных, в болгарском языке — притяжательное прилагательное и предложная группа с *на*. Однако и в этом случае прагматические коннотации обеспечиваются существованием функциональных синонимов. В случае различения типизированного и индиви-

дуализированного существена не только семантика посессива, но и тип определяемого имени. Так, при отношении неотчуждаемой принадлежности референция сохраняется: *женские глаза — глаза женщины; женские руки — руки женщины*, ср. также *детские игрушки — игрушки детей*. Однако *улыбка ребенка ≠ детская улыбка* и *детские привычки ≠ привычки детей* и т. д. (Волоцкая, Николаева 1984).

С семантикой типизации/индивидуализации соотносится и тот вид семантики, который можно условно назвать «интимизацией/экстериоризацией объекта». Так, Е. В. Падучева описывает прагматическое различие для себя: *Она не упускала выгодных для себя обстоятельств* (внешний взгляд) и *Она не упускала выгодных для нее обстоятельств* («ее» точка зрения) (Падучева 1983). Ср. аналогичный сербский пример: *Није испуштала околности које су за њу биле повољне* и *Није испуштала за себе повољне околности*.

С этой же категорией связывается и различие *мой/свой*. Так, высказывалось предположение о внутренней направленности *мой* у А. С. Пушкина: *Я предаюсь моим мечтам*, и о внешней направленности *свой*: *Я пережил свои желанья* (Yokoama, Klenin 1977). Именно такой тип различения семантики для *мой* и *свой* был предложен болгарским информантом: *Аз обичам моята дъщеря* (интимное сообщение) и *Аз обичам своята дъщеря* (официальное сообщение). Словенским информантом было в этом плане указано на различие дательного падежа (для более интимизированного объекта) и посессивного местоимения (большая экстериоризация): *Ona ti je žena / Ona je njegova sodelavka*.

Таким образом, прагматические значения, накладывающиеся на общую семантику посессивности, связаны со следующими противопоставлениями: освоенный, привычный — чужой, новый; мой — не-мой; конкретный — типизированный; интимизированный, внутренний — экстериоризированный, внешний. Положительное значение приобретает каждый левый член из перечисленных противопоставлений, пейоративную окраску — каждый второй член. Таким образом, самое позитивное — это освоенное, мое, конкретное, интимизированное.

Вторая текстовая категория — текстовая интродуктивность — является одним из характерных функциональных свойств посессивных высказываний бытийного плана. В этой связи разные типы бытийных структур с наложением посессивности анализировались в указанных выше работах О. Н. Селиверстовой, Е. М. Вольф, Н. Д. Арутюновой и Е. Н. Ширяева, Хем Чандра Панде. Оказалось, что для посессивного по своей семантике высказывания свойство быть или не быть интродуктивным в тексте связано с двумя аспектами этих высказываний. Во-первых, существенно наличие или отсутствие связочного бытийного глагола. Во-вторых, интродуктивность связана и с лексическим планом: с конкретной лексемой имени вводимого объекта обладания.

Так, *есть* обязательно в интродукции конкретного предмета и необязательно при абстрактном понятии. Поэтому может быть интродуктивным и *У нас*

есть одна книга, и У меня к тебе просьба, У нас сейчас странная ситуация и т. д. Таким образом, интродуктивные высказывания непредметного значения имеют свою специфику, отличающую их от интродуктивных высказываний предметного значения (Арутюнова, Ширяев 1983; 161). Существенно также предыдущее знание (контекстного или пресуппозитивного плана) об обсуждаемом предмете. Например, если уже известно, что у человека есть машина, высказывание *У него машина серая*, где должно было бы быть *есть* по правилу предметного высказывания, лишается связи и тем самым не является интродуктивным. К этому необходимо добавить и не раз развивавшееся в этой книге положение о тяготении славянского высказывания к содержательной и структурной глобальности. Глобализованные по семантике высказывания не требуют *есть*, поэтому они могут быть интродуктивными: *У меня завтра экзамен, У нее грипп* и т. д. В этом смысле мы не присоединяемся к трактовке Х. Чандра Панде высказывания *У него уникальная коллекция марок* как обязательно неинтродуктивного высказывания с уже известным из контекста мнением о существовании коллекции марок (Панде 1981): подобное высказывание может быть глобальной характеристикой Х-а и потому быть интродуктивным.

Для осуществления и неосуществления текстовой интродуктивной функции высказывания с посессивной семантикой существенна также отнесенность объекта обладания к явлениям так называемой неотчуждаемой принадлежности. Имена неотчуждаемой принадлежности редко участвуют в текстовой интродукции без отрицания. Так, маловероятна интродукция *У него есть глаза, У него была мать* и т. д. В этих случаях глагол *быть* выполняет функции глагола существования, но не бытийной связи. Интродукция в подобных случаях оказывается возможной лишь при характеристике вводимого неотчуждаемого объекта. Например, *У него была мать только в раннем детстве, а потом она умерла; У него глаза какого-то особенного цвета*.

Эта классификация в общем виде связана с тяготением к позитивному сценарию мира, где о норме обычно не сообщается. Начать рассказ словами *У него есть руки* так же странно, как и словами *У Мюллеров сегодня кто-то здоров* (**Bei Müllers ist jemand gesund*) или *Посмотрите, там какая-то трезвая женщина* (**Da ist eine Frau nüchtern*) (Harweg 1969).

Отличие интродуктивных посессивных структур славянских языков от многократно в этом плане описанного английского языка и языков, близких ему по структуре, состоит в том, что в применении к сфере родственных отношений носитель славянских языков обычно употребляет посессив в интродукции лишь при представлении, знакомстве: *Познакомьтесь — моя дочь* и т. д. В других ситуациях даже в интродуктивных высказываниях посессив может опускаться. Он опускается в интродуктивных высказываниях с двойным указанием родства, например, срб. *Улази ујаков дечко* или мак. *Влегува вујково момче*, а в английском языке нельзя сказать **Uncle's boy is coming in*, но обязательно *My uncle's boy is coming in* (Mišeska-Tomić 1973).

Выражение анафорических отношений посредством посессивов связано с определенностью имени, его предупомянутостью. Однако от других приименных показателей посессивы отличает их денотативная соотнесенность. Например, *Я купил книгу и эта книга стала мне очень нужной*. Здесь *эта* — шифферное слово, оно соотносится в денотативном плане только с им же определяемым именем *книга*. Ср. с этим *Я узнал новости о Петре. Его приезд — дело решенное*. Здесь *его* соотносится с *Петр*. *Петр все-таки решил приехать. Его приезд — дело решенное*. Здесь *его* соотносится с *Петр* и с *приехать*. В соответствии с этим двойственным началом посессивов, их анафорическая сущность и степень их текстовой обязательности в большей степени, чем у демонстративов, зависит от предшествующего текста. Например, *Английский писатель Вальтер Скотт родился в Шотландии. Его отец был дворянином и Родители Вальтера Скотта жили в Шотландии. Отец был дворянином* (Падучева 1973). Для славянских языков в последнем случае посессив может быть избыточен. Поэтому для посессивных словосочетаний, вводимых в текст, по-другому интерпретируется новизна — упомянутасть имени посессора. Это имя может уже иметь анафорические отношения с упомянутым ранее объектом обладания (или наоборот). Таким образом, посессив может обладать большим числом анафорических корреляций, чем демонстратив.

§ 10. История одного посессива — стремление к языковой компрессии

Значительное место в предыдущем параграфе занимали так называемые «прагматические коннотации» посессивов, т. е. их несобственно притяжательная семантика.

Как нам кажется, немаловажным текстологическим наблюдением явился тот факт, что текст «Слова о полку Игореве», как и полагается средневековому тексту, богато уснащенный посессивами — там, где теперь они были бы элиминированы, не продемонстрировал наличие посессива в одном случае — при адъективе *золотой*: *золотое стремя, золотое седло, золотые стремяна, золотой престол*. Подкрепляя себя ссылкой на Д. С. Лихачева, который сообщал о том, что только *княжеские* аксессуары могли быть золотыми, мы объяснили этот факт тем, что в VII в. князь не мог пересесть в *чужое* золотое седло и потому это прилагательное уже имплицировало в себя факт неотчуждаемой принадлежности. Важным оказалось и то, что данное глубокое различие, свидетельствующее об элементе «модели мира» этой эпохи, полностью было нивелировано издателями русского перевода 1800 года.

Подобные языковые факты в не меньшей степени, чем очень многое другое, могут верифицировать хронологию памятника.

Следующий параграф будет по сути посвящен двум разным проблемам: одна из них языковая, вторая — лингвистическая.

Языковая связана с несобственно притяжательным семантическим компонентом посессива *свой* — семантикой подчеркнутой/неподчеркнутой посессивности.

Важным в поставленной нами проблеме является то, сохраняет ли язык на отрезке весьма длительной хронологии эту оппозицию, меняя при этом сами средства ее манифестации; и если сохраняет, то как именно и в каком направлении эта система средств меняется. Действительно ли имеет место компрессия языкового выражения? Участвуют ли при этом акцентно-просодические феномены?

За современной семантикой подчеркнутой/неподчеркнутой посессивности стоит более архаическая индоевропейская языковая категория, формулируемая как противопоставление отношений *proprius/privatus* (Markey 1984). Все компоненты этого семантического ряда восходят к корню *s (we/o). Но в ходе языкового развития появляются уже специфические показатели посессивности подчеркнутой. Например, это греческое ἴδιος (*Fhedios < *sFedio < *swe-dio). В германских языках к выражению подчеркнутой посессивности привлекаются глаголы. Ср. готск. *aigan*, немецкое *eigen*.

В анализированных нами славянских языках подчеркнутая посессивность выражается тремя способами: инверсией, лексической вставкой слов типа *собственный* и акцентным выделением. Все эти возможности прослеживаются на диахронической оси на примере русского посессива *свой*.

Собственно лингвистическая задача носила, скорее, характер эксперимента, как его понимали лингвисты-теоретики. А именно — как и до какой степени можно углублять интерпретацию материала и что дает такое углубление, выход на все новые уровни, помогающие первичной интерпретации? Поэтому изложение строится следующим образом. Сначала идет просто диахроническое описание данных. Потом — слои экспликативные. Данные древнерусского языка сопоставлялись со специально фактографированными данными старославянского языка (Codex Marianus). Следующий этап — сопоставление с оборотами греческого текста Нового Завета. Последний этап — сопоставление всех совокупностей полученных фактов с теорией диахронических универсалий и с известными положениями Дж. Гринберга о тяготении приименных посессивов: к препозиции (согласованные) и постпозиции (несогласованные). Текст исследования специально строился так, что на каждом этапе выводы как бы казались исчерпанными и должны бы были удовлетворить поклонников «материала» в его минимально интерпретированном виде. Нам не дано понять, насколько этот метод представления «по матрешкам» оказался удачным. Однако в нашей книге он применяется именно таким образом еще раз, когда в третьей ее части обсуждается загадка «странного сближения» двух текстов — «Охоты» Н. С. Гумилева и «Сероглазого короля» А. А. Ахматовой.

Но возвращаясь к нижеследующему разделу, можем добавить все же важную вещь, что семантическая модель противопоставлений оказывается необыкновенно живучей. Она только время от времени сбрасывает форму в соответствии с законами диахронии.

1. *Свой*: языковые данные

В качестве объекта исследования были взяты словосочетания со словом *свой* в русском языке на ранних этапах его развития: от древнерусского периода до конца XVIII в. Цель исследования — определить, какие именно аспекты possessивной семантики язык стремился различить формальными способами; выявить, как именно это реализовалось в разные периоды эволюции языка. В работе использовались: 1) данные Картоотеки ДРС Института русского языка РАН; 2) данные Картоотеки Словаря XVIII в. словарного сектора ЛО Института языкознания АН СССР; 3) данные дистрибуции типов номинации и possessивных форм в «Слове о полку Игореве». Графика примеров соответствует их представлению в картоотеках.

1) Данные древнерусского языка (до XV в. включительно)

Два обстоятельства обращают на себя внимание в описываемый период. Первое: словосочетания со словом *свой* могут иметь атрибут как в препозиции, так и в постпозиции. Второе: отмечается довольно устойчивая группа лексики, допускающая только один порядок элементов словосочетания, а именно — постпозицию *свой*.

По поводу первого из указанных обстоятельств необходимо отметить количественное преобладание конструкции N + *свой*, т. е. препозиции N и постпозиции *свой*. Так, по данным картоотеки ДРС конструкции N + *свой* относятся к *свой* + N как 1,9:1.

В каких же случаях употребляется маркированная конструкция *свой* + N? Она встречается всюду, где есть противопоставление, как явное, так и имплицитное. Прежде всего, это прямое противопоставление своего и чужого, выраженное в тексте: *Тако же и Изяславъ ись своихъ полковъ наперед одинъ в полкъ противных и прииде; Видѣвъ же полкъ Изяслави король и тако и своим полкомъ повелъ; Юрои же ни их посла к ним отпусти, ни своего к ним посла; Написаша и своихъ книгъ немало, о великихъ тинахъ сказавъ.* Значение, близкое к указанному: ‘свой, а не чужой’ — и приближающееся к нему — ‘свой собственный’, также выражается препозицией *свой*: *И видѣ его сестра его Рогнѣдъ велми изнемагающа, и нача ему молитися, да ляжетъ въ Смоленсѣ въ своем здании; Аще познаеть кто чюжь конь, любо оружје въ своемъ миру, то взати ему свое, а 3 гривнѣ за обиду.* На базе этих значений возникают устойчивые сочетания типа *своим умом, своими гла-*

зами, своими руками с окрашенной посессивной семантикой 'свой собственный', сохраняющейся в подобных сочетаниях и в настоящее время: *Цареградци же умориша его, глаголюще, яко умре сво ею смертію; А кабалу писал Гридя сво ею рукою; Се язъ пишу душевную грамоту, и да в Орду, ни кимь не нужень, цѣлымъ сво имъ умомъ, въ сво емъ здоровьи; А мы холопу вашему подали сказку за сво имъ знамены, а в сказки им написано; Бѣху же Угри первое въ православие крещение от Грек приемше, но не постѣвшим им сво имъ языком грамоту изложити и т. д.*

К значению подчеркнутой индивидуальной собственности примыкает значение дистрибутивности, распределения индивидуальной принадлежности владения: *Они же не постряпуче поткоша вси с ними кыйждо въ сво и бродь; А доводчику у нихъ изъ стану въ стань не переѣзжати, кождо бо искаше сво е го съпротивника побѣдити. И смѣсишася кождо въдаеть сво и стань.* Таким образом, в плане линейного распределения словосочетания у указанного периода подчеркнутое выражение притяжательности, обладания, окрашенное дополнительной семантикой 'свой, а не чужой', 'свой собственный', 'каждому свое', выражается препозицией притяжательного местоимения. Нейтральное, немаркированное выражение притяжательности выражается постпозицией *свой*: *Мы, княже, за тя главы сво я съкладываемъ, а ты нынѣ держишь врагы своѣ и наши просты; Наряди же полки сво и Всеволод и пусти возы сво я зарѣку; И повороти конь Мъстиславъ и съ дружиною сво ею от стрья сво е го; А самъ Рюрикъ на том же цѣлова к ним крестъ, и распусти дружину сво ю и дѣти свое, и Половци отпусти въ вѣжи сво ѣ, одаривъ их дарми многыми, а самъ иде во Вручи орудии сво и хъ дѣля; Онъ же не поѣха, но и сына сво е го выведе из Орѣхова, князя Александра, токмо намѣстники сво я.* Именно вокруг этого неокрашенного посессивного значения группируется лексическое поле имен, относящихся к непосредственной сфере окружения актанта: слова типа *двор, послы, воевода, град, ратники, полки, бояре*, а особенно — имена родства.

Оппозиция *свой/подчеркнуто свой*, т. е. противопоставленно *свой*, отчетливо проступает при именах-этнонимах: литовцы, половцы для автора текста не *свои*, они «свои» для чужого. См.: *Олгирд посла сво ю Литву во сторожѣхъ передъ полки; Олгердъ же и Кестутеи повелѣша опять сво е и Литвѣ бродитися за Великую рѣку; Олгердъ же и Кестутеи со сво ею Литвою отрекошася пойти противу Немецкои рати; А по иныхъ сво и хъ Половцевъ послаша.* Ср. с этим: *И еще убо князь Мстиславъ уготовися на брань съ Ростовци сво им и и многие примеры подобного типа.* Некоторые сочетания с лексемами *отчина, власть, сторона, град*, оказались, судя по материалу, допускающими обе конструкции, с пост- и препозицией посессива без явного их содержательного различения в тексте: *Возврати же ся князь Михаиле во градъ сво и с великою побѣдою и возвратишася во сво е отечество с великою радостью; Но жаль мне сво е ѣ отчины; Прииде с пожалованьемъ въ сво ю отчину; Тогда вборзѣ буду въ сво ю отчину; Глѣбъ Борисович иде на Бѣлоозеро въ сво ю отчину;*

Онъ же иде Смоленску въ свою отчину; Брате, ты тамо свое отчину от Юрья постереги; Отпусти его почестивъ во свою отчину; Поидоша к Батыеву про свою отчину; Помысли въ сердце своемъ церковь въздвигнути въ отчинъ свои в Серпоховъ; Обнови отчину свою (вариант: *свою отчину*); *Положилъ гнѣвъ свои на отчину свою*; *Пожалованъ царемъ Озбякомъ отчиною своею Тферьскою землею*. Подобное смешение конструкций наблюдается и у других слов указанной группы лексики. Ее прагматическое отличие от предыдущей группы (родственники, послы, полки, дом, двор и т. д.) можно увидеть в следующем: группа с твердым порядком *N + свой* соответствует неким объектам, безусловно подчиненным какому-то смысловому центру, первичному актанту (обычно это князь, о котором повествует летописец), это как бы нулевое подчинение, а отчина, власть, град, сторона могут принадлежать и параллельному для летописца, и столь же полномочному актанту, поэтому в таких примерах можно усмотреть оттенок подчеркнутой дистрибутивной посессивности.

Таким образом, несомненно и вполне доказуемо утверждение, что для древнерусского языка описанного периода различается собственно посессивность, не окрашенная дополнительной семантикой, и принадлежность подчеркнутая, окрашенная. Средством их различения служит порядок компонентов в словосочетании: *N + свой* — немаркированная посессивность, *свой + N* — маркированная посессивность. Количественно из них преобладает *N + свой*, поскольку обычно всякая не отмеченная особо структура, по определению, преобладает и статистически. Прагматический фактор обеспечивает наличие определенной группы лексики, тяготеющей к чистой посессивности — обычно это круг непосредственного владения актанта.

2) Данные XVI—XVII вв.

Отличительными чертами этого периода можно считать четыре явления: 1) резкое увеличение числа примеров с конструкцией *свой + N*, т. е. препозицией посессива; 2) появление двух разных значений у структуры *N + свой*; 3) частые случаи необъяснимого с предшествующих позиций смешения семантики употребления обеих конструкций: это становится очевидным при одном и том же *N* и совпадении смысла высказываний; 4) появление слова *собственный* как частого лексического подкрепления к соответствующему значению *свой*.

Так, структура *свой + N* сохраняется при подчеркнутой притяжательности ('свой, а не чужой', 'свой собственный', 'каждому свое'): *И опричь бы того таможенного вѣсу, никакие люди въ свои вѣсъ хлѣба не покупали и не продавали; Велель имъ жалованную грамоту переписать на свое государево имя; А называютъ ту его Ондриюшкину тоню своею тоню и владѣютъ тою тоню насильствомъ сами; Для сыску волочились мы, холопи твои, во многие годы своею охотою; Всѣ мы, наручники, живемъ во ими дворы; Ужь у него воя сѣда борода, а гораздо почитаетъ отца и боится его; Для того сви"янымъ*

препозиция посессива все больше начинает характеризовать те словосочетания, которые в более ранний период были бы отмечены постпозицией *свой*: *Первому полку воевода поставляет единокровного своего боярина князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского; Се азъ, князь Михаило Андреевичъ, менял есми все с своим слугою с Офонасом со Внуковым землями... А променил есми Афонасу своему слуге Липние Боярской Лукинскои; Ученици восплакаша, яко оставше доброго своего пастыря и по бозѣ учителя; Оумилостивися государь Ѳедоръ Ивановичъ, пожалуи вели, государь, на того своего бобыля дать свои правѣднои судъ и оуправу в той гибели; Се язъ, Ѳедоръ Игнатъевъ сынъ, своимъ сыномъ съ Мокіемъ, да язъ Олексіи Микифоровъ сынъ, своимъ сыномъ с Ыгнатъемъ и т. д.*

У структуры *N + свой* остается значение неокрашенной посессивности: *Турские дервиши на груди у себя... рѣжутъ и на голове и на телѣ своемъ... зелье жгутъ; А к девицу монастырю далъ вкладъ по родителех своих Андрей Яковлевъ; А товары свои привозятъ и въ лавкахъ торгуютъ; Въ приезде своемъ запоздають; Всеа Русі и Московского царства царевичъ Дмитреи изгнанъ ото отечества своего.* Однако у постпозиции *свой* возникает как новое значение окрашенной посессивности. В этом случае посессив является предикативом (в современном прочтении он обязательно ударен): *А языкъ де у хана свои и говорятъ по своему; Королевство земли Шпайскія земля же на велми пространна, а языкъ свои и люди воинские зѣло храбры; У которыхъ пищали свои и тѣмъ дати по пяти рублевъ.*

В словосочетании со *свой* все чаще появляется слово-вставка *собственный*: *Ренское королевство не было еще подѣ чужею властію, но имѣло собственныхъ своихъ владетелей и самодержавного своего короля именемъ Григоріуса.* Появление этой вставной лексемы объясняется смешением препозиции и постпозиции *свой*, характеризующим этот период. Смешение это сказывается как в разнообразных вариантах порядка слов в словосочетаниях с одним *N* (*Созда человекъ во образъ свои — Перваго человека Адама созда Господь по своему образу*), так и в непротивопоставленном функционально введении обеих структур в один текст: *И охотники приняли подѣ свои дворы и под огороды свои десятинные пашенные земли, хотя в некоторых текстах это функциональное различие увидеть все же можно: Въдаю и то, что я в отписки свои к великому государю многая рѣчи на свою статью написалъ, которая не в чинъ; Янъ Казимеръ... присылалъ езувита своего о том, что вашему бѣ королевину в-ву потомуужь воину вести съ своеи стороны.*

3) Данные Петровской эпохи

В этот период наблюдается дальнейшее функциональное смешение конструкций *N + свой* и *свой + N*. Приведем количественные данные по четырем материалам, имеющимся в Картотеке Словаря XVIII в. ИЛИ РАН: 1) письмам Петра I 90-х годов XVII в., 2) книге И. Посошкова «О скудости и богатстве»,

материалам, имеющимся в Картотеке Словаря XVIII в. ИЛИ РАН: 1) письмам Петра I 90-х годов XVII в., 2) книге И. Посошкова «О скудости и богатстве», 3) Походному журналу Петра I 1713—1715 гг., 4) сатирам А. Кантемира. Распределение функциональных стилей литературного языка в этот период было настолько жестким, что недифференцированный подход к текстам может затуманить картину функциональной дистрибуции.

В письмах Петра I структура N + *свой* относится к *свой* + N как 1,2:1, т. е. примерно поровну. Обращает на себя внимание факт, отмеченный и для предыдущей эпохи: если перед именем стоит еще одно определение-прилагательное, то *свой* обязательно препозитивно, при этом оно непосредственно примыкает к имени: *Благодарствую и впредь такоже по вѣрною с в о е й службѣ служить обещаюся; Князь Иванъ Дмитріевичъ отъ тяжкія своея раны... переселился въ вѣчные кровы* и т. д. Смешение обеих структур видно при сопоставлении идентичных этикетных формул: *Здравствуйи на многие лѣта со сажителницею с в о е ю, а моею государынею невѣстушкою*. Сравним с этим в той же формуле обращения *Братецъ государь царь Іоаннъ Алексѣевичъ съ невѣстушкою, а съ с в о е ю супругою и съ рождениемъ своимъ в милости Божіеи здравствуйте*. Ср. также: *Реи да спуститъ въ знакъ с в о е му началнику, что онъ то учинитъ можетъ и Тогда точас долженъ о томъ прислать къ началнику с в о е му*.

У Посошкова преобладает препозиция над постпозицией (3:1), что может объясняться дидактичностью, а не чистой информативностью его текстов, поэтому преобладают устойчивые сочетания с именем типа *свое состояние, своя воля, свой вѣк* и т. д.

В Походном журнале 1713—1715 гг. соотношение препозиции *свой* к постпозиции 4:1, причем представлена препозиция в тех контекстах, в которых в древнерусский период была бы возможна только постпозиция: *Агличане украшали с в о и корабли флагами и палили со всѣхъ с в о и хъ кораблей*.

У А. Кантемира соотношение обеих конструкций 1:1; в ряде случаев их параллелизм может быть, вероятно, объяснен соображениями метрического характера: *Зналь бы лишь ружье свое да сво во капрала; Воинъ ропщеть, что с в о и мъ полкомъ не владѣть. Когда ужъ имя с в о е подписать умѣть; Отъ жены, дѣтей с в о и хъ долгое посольство отправить тебѣ, Потомъ с в о е недовольство явить*.

Таким образом, значение противопоставления, дистрибутивной собственности, подчеркнутой собственности остается при *свой* + N (*Нелзѣ говорить, себе ради не щадитъ крови людскои црь Петръ: шляпа свидѣтельствуеть, что и с в о е и крови не щадитъ; При которыхъ онъ и с в о и литовскіе роты имѣть* и т. д.). Но учащающееся добавление атрибута-прилагательного, расширение именной группы, перетягивает посессив в препозицию. Таким образом, именно препозиция постепенно становится нормой, преобладающей конструкцией.

4) Данные второй половины XVIII в.

Наиболее характерной чертой именно этой эпохи является резкое увеличение числа примеров с включением леммы *собственный* в сочетание с функциональным значением подчеркнутой принадлежности: *Пользы ваша мнѣ приятнѣ своей собственной; Пизистратъ любилъ дочь Стеропы как собственную свою; Болѣе печется о поступкахъ и дѣлахъ ближнего нежели о своихъ собственныхъ; И говорилъ имъ собственную свою персоною следующее; И о благополучіи ихъ такъ пекутся, какъ о своемъ собственномъ; Опредѣлилъ онъ мнѣ двухъ человекъ своихъ собственныхъ къ моимъ услугамъ и т. д.* Функционально близким является указанное выше постпозитивное употребление *свой* в предикативе и под ударением: *Братъ мой, а умъ у него с в о й.*

Победу препозитивной структуры *свой* + N (или, напротив, потерю ею функциональной маркированности) можно продемонстрировать данными журнала «Трутень», полностью представленного за 1769 г. Соотношение препозиции к постпозиции равно 4:1. В ряде случаев в пределах одного предложения встречаются обе структуры: *И правда никтоль приличногo со нравомъ с в о и м ъ прозвища не имѣеть как сіи господа, ибо вертять дѣла по с в о и м ъ прибыткамъ; Присматривать за с в о и м ъ домостроительством и примеромъ с в о и м ъ служителей своихъ поощрять к трудамъ; На конецъ вмѣсто бещестія взялъ обратно с в о й вексель съ надписью, что по оному деньги получены, да для наступившей зимы супругъ с в о е й не худой на шубу мѣхъ; Сей вельможа, подобясь дикому медвѣдю, сосущему с в о и лапы, сдѣлалъ домъ с в о и навсегда лѣтнюю и зимнюю для себя берлогу или лучше сказать онъ сдѣлалъ домъ с в о й домомъ бѣшеныхъ.*

Таким образом, оказывается постоянно значимой разница между чистым значением притяжательности и значением окрашенной притяжательности. В раннем периоде развития русского языка она выражается оппозицией места *свой* в словосочетании, т. е. порядком слов. Постепенно модель *свой* + N, представленная только в отмеченных по смыслу контекстах, побеждает количественно и становится выражением нейтральной посессивности, немаркированной. Тогда окрашенное значение *свой* начинает искать маркированные формы для своего выражения и находит их либо в добавлениях лексического плана, либо в акцентной выделенности, либо в особой конструкции с постпозицией: *У него свой собственный дам; У него свой дом; Дом у него свой.*

2. Опыт иерархии лингвистических интерпретаций

Изложенные выше языковые факты, как представляется, достаточно объективны, но недостаточно интерпретированы. Описание, составляющее п. 1, есть только дескрипция, только факты — без каких-либо гипотез, объясняющих механизм языковой эволюции или дающих право на лингвистический подход к

подмеченным языковым явлениям. Какой же может быть предлагаемая интерпретация? Прежде всего существенно, что всякая интерпретация есть сопоставление двух систем: системы описания и некоторой другой системы X. Удачность выбранной системы X определит степень углубленности в трактовке языкового материала. В нашем случае X-системой могут быть факты того же языка (русского) как современного нам этапа, так и категориально близкие факты того этапа, который описывался. Это могут быть факты другого языка (других языков), возможно повлиявшего на описываемый. Наконец, это может быть система общеязыковых законов, как диахронических, так и панхронических. Представляется, что все эти перечисленные системы-интерпретации не исключают, а дополняют друг друга и могут быть описаны через градацию объясняющих феноменов.

1. В плане синхронного описания полученные диахронические факты находят соответствие в типах функциональной семантики посессива «свой», выведенных и описанных Е. В. Падучевой. Помимо основного значения 'свой'₁ = 'себя + притяжательность', Е. В. Падучева выделяет 'свой'₂ = 'собственный', 'свой'₃ = 'свой₁ + дистрибутивность', 'свой'₄ = 'особый', 'свой'₅ = 'надлежащий' и 'свой'₆ в значении 'свой человек' (*Кто там? — Свои*). Е. В. Падучева определяет контексты, допускающие употребление *свой* только в несобственно притяжательных значениях 2—6. Эта классификация, накладываемая на приведенные нами данные диахронии, отчетливо демонстрирует стремление языка сохранить различие 'свой'₁ и 'свой'₂₋₅ (структуры 'свой'₆, т. е. субстантивированные, в нашей работе не рассматривались), обеспечить это различие формальными средствами. Примечательно, что формы реализации этой смысловой дифференциации меняются, вплоть до противоположного воплощения: от немаркированного N + *свой* = 'свой'₁ в начале развития до немаркированного *свой* + N = 'свой'₁ в конце процесса. Однако категориальная суть различия сохраняется. Таким образом, система значений, выведенная Е. В. Падучевой для современного русского языка, проливает свет на ту тенденцию, которую русский язык стремится сохранить, несмотря на мощное давление каких-то участков системы, благодаря которым формальные способы выражения этой тенденции претерпели столь существенные изменения.

2. Каковы же причины этих изменений? Наиболее логично в их поисках обратиться к иным способам выражения посессивности в истории русского языка, а именно адъективному и генитивному, и выявить эволюцию линейной структуры этих словосочетаний. Работа эта была проделана М. Виднэс (Виднэс 1958). Разбирая четыре теоретических возможности: *Петров дом*, *дом Петров*, *дом Петра* и *Петра дом*, М. Виднэс демонстрирует, что препозиция атрибута была явлением, свойственным русскому языку, а постпозиция его — фактом либо поздним, либо иноязычным. Так, сочетание *дом Петра* появляется лишь в середине XVII в. («Повесть о Савве Грудцыне»). Даже у классиков XVIII в. Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова очень много препозитивных посессивных определений, выраженных генитивом и отыменным прилагатель-

ным. Решительным переходом к постпозитивному посессивному генитиву можно считать «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, где он составляет 75%. М. Виднэс делает вывод о том, что постпозиция выражения принадлежности, представленная родительным падежом, исконно чужда русскому языку (там же; 175). Сравнивая эти данные с нашими данными, мы можем сделать вывод о том, что обе линии выражения притяжательности как бы поменялись местами: *свой* перешло в препозицию, а родительный принадлежности — в постпозицию. Итак, хронологически оба явления примерно совпадают. Тогда можно сделать еще один вывод: на постоянную тенденцию сохранения различия 'свой'₁ и 'свой'₂₋₅ (по Е. В. Падучевой) накладывается перестройка линейных структур двух типов выражения притяжательности, приводящая к их симметричному преобразованию.

3. Но имеем ли мы право, решая этот вопрос, ограничиваться только средствами выражения посессивности и не заинтересоваться более общим вопросом об изменении/неизменении порядка элементов в именном словосочетании в русском языке. Этот вопрос был детально изучен О. А. Лаптевой (Лаптева 1959). Рассматривая словосочетания с *многий, великий, малый*, О. А. Лаптева показывает тонкую сетку закономерностей их линейной структуры, многие из которых на современном этапе могут быть интерпретированы, исходя из прагматического подхода. Так, О. А. Лаптева также отмечает наличие определенной группы слов, у которых атрибут находится только в препозиции, например, *время, лѣта, дни, часть, годы* (см. именно групповое объединение лексики со *свой* в препозиции и постпозиции в нашем материале). Ею отмечены *Новгородъ Великий* (но *Великий Римъ, Великая Пермь*). Ср. выше *Ростовци своими*, но *своя Литва*. То есть препозиция посессива как бы отчуждает денотат словосочетания в этот период. О. А. Лаптева показывает, что закрепленность линейного порядка зависит не только от типа лексемы имени, но и от членности/нечленности прилагательного, и даже от типа памятника. В целом же выявляется неуклонный рост препозитивных употреблений в конце древнерусского периода (в работе приводится библиография исследований других историков словопорядка в русском языке, единодушно пришедших к этому же выводу).

Таким образом, поднявшись еще на один уровень интерпретации, можем добавить, что отмеченные нами закономерности могут быть подкреплены более общим тезисом: в русском языке укреплялась тенденция помещать изменяемый атрибут в препозицию, а неизменяемый — в постпозицию, т. е. *свой дом, новый дом, но дом Петра, дом соседа*. Тенденция эта, как очевидно, выходит за пределы собственно посессивной сферы.

4. Каковы же тогда движущие силы этих изменений? М. Виднэс высказала предположение, что *домъ Петровъ* есть форма, возникшая под старославянским влиянием. Необходимо поэтому обратиться к анализу старославянской ситуации. Исследований о позиции слова СВОИ в именных словосочетаниях старославянского языка нам не удалось обнаружить, поэтому был проведен специ-

альный анализ порядка элементов в сочетаниях слова СВОИ в Мариинском Евангелии. В старославянском тексте отношение N + СВОИ к СВОИ + N примерно равно 10:1. Поскольку маркированной является, несомненно, препозиция СВОИ, остановимся на случаях препозиции.

Все подобные примеры укладываются полностью в классификацию Е. В. Падучевой; препозицией отмечены значения ‘свой’₂₋₅. Это значения:

1) ‘свой собственный’, ‘свой’₂ — **ѢКО ПРѢЪ ВЪ СВОЕМЪ ОТЪЧЪСТВИИ НЕ ИМАТЬ ЧЪСТИ** (И.ІV.44); **ЕГДА КРѢПЪКЫ ОУРЪЖЪ СѦ ХРАНИТЬ СВОИ ДВОРЪ** (Л.ХІ.21); **І ВЛАѢЗЪ ВЪ КОРАБЪ ИСЪ ПРѢЂЕ. І ПРИДЕ /ВЪ/ СВОИ ГРАДЪ** (Мф.ІХ.1); **І ОВЪЦА ГЛАСЪ ЕГО СЛЫШАТЬ. І СВОЮ ОВЪЦА ГЛАШАТЬ ПО ИМЕНИ. І ИЗГОНИТЬ СѦ І ЕГДА СВОЮ ОВЪЦА ИЖДЕНЕТЪ ПРѢДЪ НИМИ ХОДИТЬ** (И.Х.3); **ѢКОЖЕ ЧЛѢКЪ ОТЪХОДѦ ПРИЗЪВА СВОЮ РАБЫ. І ПРѢДАСТЪ ИМЪ ИМѢНИЕ СВОЕ** (Мф.ХХV.14); **ВЪСАЖДЪ ЖЕ И НА СВОИ СКОТЪ ПРИВЕДЕ И ВЪ ГОСТИНИЦЪ** (Л.Х.34);

2) ‘дистрибутивно свой’, ‘свой’₃ — **І ИДѢСАХЪ ВЪСИ КЪЖЪДО НАПѢАТИ СѦ ВЪ СВОИ ГРАДЪ** (Л.ІІ.3);

3) ‘надлежащий’, ‘свой’₅ **ВЪЗВРАТИ НОЖЪ СВОИ ВЪ СВОЕ МѢСТО** (Мф.ХХVI.52).

Конструкция N + *свой* более частотна, не маркирована, передает неокрашенную притяжательность и, как в древнерусском языке, чаще всего соотносится с именами, денотатами которых являются феномены непосредственного окружения и непосредственного владения актанта: **СЕГО РАДИ ОСТАВИТЬ ЧЛѢКЪ ОТЦА СВОЕГО И МАТЕРЬ СВОЮ І ПРИЛѢПИТЬ СѦ ЖЕНѢ СВОЕЙ** (Мф.ХІХ.5); **ѢКОЖЕ ЧЛѢКЪ ОТХОДѦ ОСТАВИ ДОМЪ СВОИ. І ДАВЪ РАБОМЪ СВОИМЪ ВЛАСТЬ И КОМОУЖЪДО ДѢЛО СВОЕ** (Мф. ХІІІ.34) и т. д.

Таким образом, исходная древнерусская модель может быть соотнесена со старославянской.

5. Однако решать вопрос о корреляции этих двух языков в области порядка слов мы не можем без обращения к греческим евангельским текстам, словопорядок которых в старославянских текстах обычно копировался.

Старославянским формам ‘свой’₁ в греческом тексте обычно соответствуют формы местоимений αὐτός, σός, формам со значениям ‘свой’₂₋₅ — греческие формы ἐαυτοῦ, ἐαυτῆς, ἰδιός (последняя чаще всего):

ВЪЗЪМЕТЪ КРѢТЪ СВОИ — ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ;

ИЗВЛѢЧЕ НОЖЪ СВОИ — αὐτός ἀπόστροφον τὴν μάχαιραν σου;

ИЖЕ БО АШТЕ ХОШТЕТЪ ДШЖ СВОЖ СПѢТИ — ὅς γὰρ ἐὰν θήλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σωσάι;

МАРИѢ... ВЪЗВРАТИ СѦ ВЪ ДОМЪ СВОИ — ὑρέστροφεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς;

ВЪЗВЕДЪШЕ ЖЕ ОЧИ СВОИ — ἐνάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμούς αὐτῶν;

ВЪЗВЕДЪ ОЧИ СВОИ — ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμούς αὐτοῦ и т. д.

Сравниваем порядок слов в старославянском словосочетании, где греческим эквивалентом является ἰδιός, ἐαυτοῦ:

ѢКО ПРѢКЪ ВЪ СВОЕМЪ ОТЪЧЪСТВИИ — ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι;
ХРАНИТЬ СВОИ ДВОРЪ — φυλάσσει τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν;
И НА СВОИ СКОТЪ — ἐπὶ τὸ ἴδιον κτήνος;
КЪЖДО НАПѢСАТИ СѦ ВЪ СВОИ ГРАДЪ — ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ πόλιν;
І ПРИДЕ (ВЪ) СВОИ ГРАДЪ — ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν;
І СВОѦ ОВЪЦА ГЛАШААТЪ — καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ.

Исходя из этих примеров, мы можем принять решение, что значения посесивности: 'свой'₂₋₅ в греческом языке различались лексически. Но это было бы неточно. Практически всякое несобственно притяжательное употребление соответствует греческим ἴδιος, ἑαυτοῦ (исключение — **ВЪЗВРАТИ НОЖЪ СВОИ ВЪ СВОЕ МѢСТО** — ἀπόστρεφον τὴν μάχαιράν σου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, об этом будет сказано ниже). Но не наоборот. Сочетаниям N + *свой* могут соответствовать эти же греческие лексемы:

ВЪ ІМА СВОЕ ТОГО ПРИЕМАЕТЕ — ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ (И.V.43);

ГЛАДИ О СЕБѢ СЛАВЫ СВОЕѦ ИШТЕТЬ — τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ (И.VIII.18);

ОБРѢТЕ СЪ ПРѢЖДЕ БРАТРА СВОЕГО СИМОНА — τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα (И.I.41);

НЪ І ОЦА СВОЕГО ГЛАШАЕ БА — ἀλλὰ καὶ Πατέρα ἴδιον ἔλεγεν τὸν θεόν (И.V.18);

ВЪВРЪЖЕ ВЪ ВРЪТОГРАДЪ СВОИ — ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ (Л.ХІІІ.19).

Что же тогда важнее для греческого — лексическое различие или порядок элементов? Если первое, то многие наши выводы для ранних этапов русского требуют дополнительной верификации, поскольку тогда старославянский порядок слов есть просто копирование греческого, где существенна только лексика, нейтрализуемая в старославянском в одном посессиве СВОИ, русский же язык все повторяет за старославянским. Но это противоречило бы обнаруженной контекстной семантике различения притяжательности окрашенной и неокрашенной, характеризующей и русские, и старославянские тексты. Существенным здесь является указание исследователей греческого евангельского текста о том, что в греческом языке подчеркнутая «окрашенная» посесивность передавалась препозицией местоимения. Таким образом, старославянский язык заимствует некоторую общую установку: передавать несобственно посесивные значения через препозицию СВОИ (Blass, Debrunner 1979).

Подлинным исключением оказались лишь три случая в тексте всего Маринского Евангелия: **ВЪСЪКО БО ДРѢВО ОТЪ ПЛОДА СВОЕГО ПОЗНААТЪ СѦ** — ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ (Л.VI.44); **КОМОУЖЪДО ПРОТИВЪ СИЛѢ СВОЕИ** — ἕκαστῷ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν (М.XXV.15); **ѢКОЖЕ КОКОШЬ ГНѢЗДО СВОЕ ПОДЪ КРИЛѢ** — ὄρνις τὴν ἑαυτοῦ νοσσιᾶν ὑπὸ τὰς πτερυγὰς (Л.ХІІІ.34). В этих примерах обращает на себя внимание специфическое значение 'свой'₃ — значение дистрибутивности. Возможно, реализация именно этого значения отличала старославянский порядок

от греческого аналога. Тогда это соотносится с примером **СВОЕ МѢСТО** — τὸν τόπον αὐτῆς и может свидетельствовать об активном становлении значений ‘свой’₃₋₅ в старославянском. Возможно, значение ‘свой’₅, ‘надлежащий’, обрело маркированную форму выражения ранее ‘свой’₃. С другой стороны, для старославянского языка ‘свой’₅ подчеркивается лексически — **ВЪСѢКО, КОМОУЖЪДО** и **ѢКО**, и тогда линейный фактор может быть функционально избыточным.

6. Однако оценить факты старославянского и греческого языков, а также движение словопорядка в русском языке невозможно без обращения к позициям универсальной грамматики, в первую очередь к той ее части, которая относится к функциям порядка слов. Некоторые интересующие нас положения обнаруживаются в известной работе Дж. Гринберга (Гринберг 1970), в трактовке Универсалий 17 и 18. Универсалия 17: «С вероятностью, большей, чем случайная, можно ожидать, что в языках с доминирующим порядком VSO прилагательное стоит после существительного». Дж. Гринберг пишет: «Можно отметить, что количественные местоимения (например, „некоторый”, „все”), вопросительные местоимения и притяжательные прилагательные проявляют ту же самую тенденцию предшествовать существительному, что наблюдается, например, в романских языках, но такие случаи не изучены. В связи с этим получаем следующие Универсалии: Универсалия 18. Когда описательное прилагательное предшествует существительному, указательное местоимение и числительное в подавляющем большинстве случаев также предшествуют существительному... Универсалия 19. Общее правило, устанавливающее, что описательное прилагательное следует за существительным, может не распространяться на небольшое число прилагательных, которые обычно предшествуют существительному; но когда общее правило гласит, что описательные прилагательные предшествуют существительному, то это правило не имеет исключений» (там же; 129—130).

Таким образом, русский язык в своем развитии пришел к статусу определителей имени, указанному Дж. Гринбергом: согласованные определения препозитивны, несогласованные — постпозитивны.

7. Последний вопрос — это вопрос о соотношении русского и старославянского словопорядков. Можно здесь принять или отвергнуть некоторые положения активно сейчас развивающейся диахронической типологии. А именно — можно считать, что русской системе исконно был свойствен иной порядок слов, чем старославянской, поэтому автохтонные русские тенденции взяли верх над старославянскими формами, т. е. рассматривать интерференцию чисто структурно и ахронически. Можно считать и иначе: русский язык пошел дальше старославянского по пути, описанному Дж. Гринбергом. Обратимся снова к старославянско-греческим параллелям. Несомненно, что в большинстве случаев греческий язык соответствует модели современного русского языка, а именно — в постпозиции размещаются неадъективные определители αὐτῆς,

αὐτοῦ и т. д., т. е. несогласованные, в препозиции — согласованные определители. Ср. ἔχάλεσεν τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν... τὰ ὑπαρχοντα αὐτοῦ. Старославянский язык употребляет в обоих случаях согласованное определение: **ПРИЗЪВА СВОЮ РАБЫ І ПРѢДАСТЬ ИМЪ ИМѢНІЕ СВОЕ** (Мф. XXV. 14). Тогда дифференциация типов значений 'свой' в греческом языке осуществляется и позицией, и лексикой, в старославянском же — только позицией. В современном русском языке различие собственно и несобственно притяжательных значений выражается несколькими способами. Таким образом, будучи генетически близким к старославянскому языку, в своем типологическом пути, в том, что касается функций элементов и правил их словопорядка, русский язык оказался близким к греческому. Эволюционно старославянский оказывается как бы промежуточным. С некоторой осторожностью можно здесь сослаться и на мнение М. Бауэровой о средствах, вырабатываемых, когда «новый литературный язык столкнулся с теми выразительными потребностями, которые встали при переводе такого зрелого языка, каким был греческий» (Бауэрова 1958).

Проведенный анализ показал, что различие собственно притяжательных и несобственно притяжательных значений характеризует все языки анализа: русский, старославянский и греческий. Однако формы выражения этого различия могут по языкам не совпадать, могут и меняться в пределах одного языка (вплоть до диаметрально противоположных изменений). Обнаруженные факты могут быть интерпретированы путем введения иерархически организованной системы интерпретаций: от более частных до самых общих. Внутренняя непротиворечивость уровней интерпретации еще раз подтверждает выведенные фактические закономерности.

§ 11. Речевые стереотипы, цитации, фразеологизмы, клише. Способы формирования дополнительных «смысловых строк»-4. Сходство «стереотипов» и суперсегментных просодических моделей

Мы уже не раз останавливались на том, что при сопоставлении примеров с акцентным выделением на английском, немецком, отчасти французском, и русском языках совпадают и место, и функция акцентных выделений — настолько, что этот факт кажется чем-то обыденным и тривиальным. Между тем над этим стоит и задуматься. Ведь система фразовой интонации в этих языках не совпадает, и это было описано многократно. Совпадение типов акцентного подчеркивания и совпадение выбранных этим подчеркиванием лексем наводит на мысль, высказанную раньше: что существует еще некий просодический

слой, который как бы «шагает» через собственно интонационные различия, и передает он то, что, на наш взгляд очень удачно, называет Ю. Д. Апресян «семантическими кварками». Длинные ряды подобных нетривиальных совпадений (а примеры взяты из разнообразных интонационных исследований) приводятся в нашей работе (Николаева 1989г); сейчас можно привести хотя бы несколько случаев.

1) Акцент «за недостатком» (default accent):

— Has John read Slaughterhouse-5? — Петя читал «Плаху» Айтматова?
— No, John doesn't read books. — Нет, он не читает романов.

2) Контраст — синтагматический и парадигматический:

Je n'ai pas dit qu'il aimait ça: il adore ça — Я бы не сказал, что он это любит:
он это обожает.

3) Подтверждение сказанного выше:

— Why doesn't he sell those products? — А почему бы ему не продавать
это?
— He sells them. — Он и продает это.

4) Анафорическое отождествление, связанное с категорией определенности/неопределенности:

This is the doctor I was telling you about. — Это врач, ~~я вам о нем~~
рассказывала.

5) Противопоставление ситуации глобальной и экстраординарной — ситуации нейтральной и ожидаемой: обнаруженное здесь совпадение уже 25 лет удивляет интонологов:

An accident happened! — Беда случилась!

De Gaulle ist gestorben! — Де Голль умер!

Paul geht! — Пауль идет!

Близка к этому и модель «торопливого пояснения»:

My mother's coming (Why you are in such a hurry?) — Мать моя приезжает (Что это Вы так спешите?)

My head aches (What's the matter?) — Голова заболела (Что с Вами?)

Преключаем перечень, описанный только на треть.

Все интонологи сходятся сейчас и на том, что это акцентное подчеркивание («логическое ударение», prominence, акцентное выделение, АВ — по нашей терминологии; существуют и другие названия) является особым средством просодического уровня, не совпадающим ни с мелодико-тональным оформлением фразы, ни с так называемым фразовым ударением — интонационными каденциями и антикаденциями, демонстрирующими коммуникативный тип высказывания и являющимися для него чем-то вроде аналога флексии в слове. Экспериментальным образом доказано, что при передвижении «логического ударения» ударение фразовое продолжает выполнять свои функции, не меняя своей позиции — как правило, это зона последнего ударного слога в синтагме или высказывании.

Не-интонологи же считают, что акцентное выделение совпадает с фразовым, и достаточно равнодушны к убедительным доводам эксперименталистов. К настоящей идее эти внутрилингвистические расхождения не имеют отношения, и причины такого «упорства» не-интологов мы разбирать подробно не будем. Хотя они выявляются довольно просто. Во-первых, сам термин «ударение» в словосочетании «фразовое ударение» наводит на мысль о чем-то «ударном», т. е. выделенном, тогда как для фразового ударения был бы более удачен термин вроде «интонома», «просодическая морфема» и под. Во-вторых, не совпадает семантика русского слова «фраза», т. е. «целостное высказывание», и английского *phrase*, которое соответствует, скорее, синтагме, по Л. Щербе, или словосочетанию. В-третьих, не-эксперименталистам трудно отделаться психологически от картины интонации как некой «проволочки» или нити, которая находится над графически представленным высказыванием и по ней что-то передвигается. Представить интонацию многомерным пространством сложной автономной структуры не очень просто.

Однако это явление существует, смысл его понятен всем носителям языка и его восприятие не требует специальной подготовки.

Обратимся теперь к некоторому явлению, имя для которого, несмотря на уже ряд подготовленных и опубликованных работ, я найти так и не смогла. Речь идет об идиомах, клише, речевых штампах, речевых стереотипах, «крылатых словах», популярных цитатах и проч. В обобщающей монографии В. Н. Телия (Телия 1996) не все сказанное принимается в качестве объекта фразеологии. Если использовать ее классификацию, то мы будем говорить о Фразеологии 1 (изучает идиоматичность сочетаний слов), Фразеологии 3 (изучает клишированность речи), Фразеологии 5 (раздел паремиологии) и Фразеологии 6 (коллекционирует крылатые выражения, цитаты, афоризмы и т. д.) (Телия 1996; 75).

Условно мы называем эту область речеупотребления употреблением **речевых стереотипов**.

Под **речевыми** стереотипами мы понимаем отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в контекст, представленный «свободными» компонентами высказывания (высказываниями).

Еще раз возвращаясь к вопросу о том, где граница между свободой/несвободой в селекции речевых фрагментов при речеговорении, мы предлагаем обратиться к самому простому, но, на наш взгляд, доказательному критерию — критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно — говорящий употребляет этот фрагмент как **чужую речь** и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий. Поэтому и *Велика Федора да дура*, и *Счастливые часов не наблюдают*, и *Командовать парадом буду я*, и *Знаешь что, давай подробности!* равно продуцируются как кусочки чужого текста. Как правило, адресат воспринимает это адекватным образом. (Хотя при этом возможны два типа исключений: 1) реципиент воспринимает текст, отдален-

ный по времени, или текст, переведенный с другого языка, и не может «распознать» введенные чужие блоки; 2) реципиент принадлежит к иной социальной группе и тем самым функции чужого текста не выполняются.)

Только клишированными предложениями (интересно, но не знаю, возможно ли сейчас понять, были ли они индивидуальными или распространенными) говорила Эллочка Щукина-людоедка. Это блестящая находка И. Ильфа и Е. Петрова и блестяще найдено ими слово: «людоедка», поскольку ее речь — это не речь *homo sapiens*'а.

Необходимо, однако, сказать, что именно пример Элочки Щукиной подводит еще к одной группе стереотипов, которую мы назвали **коммуникативными** стереотипами.

Разумеется, это название условное, его можно считать рабочим. Под употреблением коммуникативного стереотипа мы понимаем те случаи речеворечения, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты-клише. См. у современного философа Э. Канетти: «Человека можно опознать по часто им употребляемым определенным словосочетаниям» (Канетти 1997; 396). Анализ таких стереотипов представлен в замечательной и очень актуальной статье Л. В. Кнориной (Кнорина 1989). Она приводила там собранные ею коммуникативные стереотипы четырех индивидуумов-интеллектуалов. Это математик 38 лет, излюбленные обороты: *Я вижу, вас миллионы* (если в комнате более трех человек); *Такая мысль мне и в голову не забегала*; *Ему под хвост попала прогнозная вожжса*; *Дщерь моя укатила*; *Древний, черт знает какого года издания* (о предметах быта) и под.

Библиограф-женщина 42 года, обороты-штампы: *Пошла искать у моря погоды*; *Живыми не дадимся*; *Обижаете*; *У ти какая!*; *С вами все ясно* и т. д.

Математик 51 года: *Это другой Милославский*; *Кожей чувствую*; *Впадать в стопор*; *Она такая интеллигентная, что с нее капает*; *Молчит как рыба об лед*; *Сделать андайк* и др.

Студентка 18 лет: *Во глубине сибирских руд*; *Главное, ребята, сердцем не стареть*; *Похоже на то*; *Пятачок, чтоб не обидеть* и проч.

Интересно, что Л. В. Кнорина приводит набор «излюбленных оборотов» и у филолога-лингвистики: *Теперь ты знаешь все* (при завершении рассказа); *Не всякий вас, как я, поймет*; *Что бы это ни значило*; *И ничего, и ничего, и ничего*; *Замерз к чертовой матери* (об утраченной актуальности); *Об этом бы знали*; *Сольемся в экстазе*; *По-русски сказать* (при введении иностранного слова) и т. д. (Кнорина 1989; 118).

И все-таки понять внутренние потребности именно в коммуникативных стереотипах еще сложнее, поэтому далее ограничимся только общепонятными клише, **речевыми** стереотипами.

Несмотря на огромную литературу, посвященную речевым стереотипам, мы нигде не встретили ответа на самый простой вопрос:

А какова их функция? Зачем вообще люди их употребляют?

Очевидно, что их смысловая компактность и емкость берегут время говорящего и его умственные силы. Очевидно также, что авторы (включая и народное авторство) этих стереотипов бывают остроумны и точно подмечают суть явления (иначе эти стереотипы бы не выжили). Интересно также, что вселенная и человек отражаются ими неравномерно (см. Телия 1996; 154—176) и что загадка этой неравномерности как-то может быть решена.

И все-таки остается непонятным, какая сила заставляет людей вводить в свою речь подобные клише, выбирая такую «склеенную» речь вместо свободных конструкций. По нашей гипотезе, одна из причин возникновения клише-паремий — в том, чтобы не только объяснить мир, но и избавить человека от ощущения неплотно вокруг него сформированной социальной среды. См. у Э. Канетти: «...человеку страшнее всего прикосновение неизвестного. И только в массе человек может освободиться от страха перед прикосновением» (Канетти 1997; 18—19). Именно эту функцию в широком смысле выполняют паремии, в особенности, конечно, пословицы. Пословицы направлены на человека и на его социализацию, в отличие от архаических загадок, направленных на объяснение мира. Но эту же функцию выполняют и так называемые «автономические» загадки типа *От чего утка плавает?*; *Что находится в середине Парижа?* и под. Они возникают поздно и, как правило, загадываются в среде детей и подростков. Именно подобные загадки, маскирующиеся под шутки, часто служат средством унижения «непосвященных» детей и подростков. См. о сходном функционировании в коммуникации шуток вообще: «Следует особо отметить, что шутка подчиняется закону, который всегда направляет наше рассмотрение душевной жизни, а именно связь с чувством общности. И здесь мы видим стремление понизить ценность других» (Адлер 1997; 234).

Идея сходства подобного речеупотребления с употреблением средств просодического подчеркивания возникла у меня неоднократно, и дальнейший текст будет посвящен выявлению этого сходства.

1. Первая общая их черта — **необязательность употребления.**

А именно — говорящий может произнести речь достаточно длинную и не употребить ни разу ни одного «акцентного выделения». Это будет вполне самодостаточная нейтральная речь, снабженная всеми интонационными показателями. Быть может, только — при отсутствии АВ — она будет несколько более протяженной во времени. *Это был мой первый неудачный брак = И тогда я женился неудачно впервые; У него дача своя = У него своя собственная дача* и т. д.

Точно так же можно сказать: *Он с утра до вечера бьет баклуши = Он с утра до вечера бездельничает; Она из него веревки вьет = Он делает все, что она захочет; Сегодня праздник со слезами на глазах = Сегодня праздник очень печальный* и т. д.

То есть, иначе говоря, и в случае просодического выделения, и в случае употребления клишированного предложения говорящий всегда может обойтись без этих языковых явлений, всегда подобрать нейтральный вариант.

Тогда возникает вопрос самый интересный, который мы пока оставляем, переходя к следующему пункту: а зачем вообще в коммуникации возникает потребность в таком употреблении?

2. Вторая общая черта — **возможность их существования только на фоне синтагматически нейтрального «остатка».**

Представим себе, что высказывание произносится со всеми равно ярко подчеркнутыми словами. Так выкрикивают на митингах, так иногда читают поэты. Тогда слова будут звучать веселее, но нужного эффекта — возникновения всем понятного дополнительного смысла — не получится. Именно об этом свойстве поэтического языка писала И. И. Ковтунова (Ковтунова 1976). Именно это свойство поэтической речи (как и ряд других ее просодических особенностей) подчеркивается в § 7 (см. выше) о возможной диахронической первичности стихотворной, а не прозаической строки.

Можно и говорить только клишированными предложениями. Но тогда это не будет обычной человеческой коммуникацией, а будет языковой игрой. Так беседовали трактирщик и Пугачев в «Капитанской дочке». Так характеризуется речь Санчо Пансы, оруженосца Дон-Кихота. Именно этим ужасает речь Элочки Щукиной-людоедки: она говорила только клише, штампами, не чередуя их с обычными речевыми компонентами.

Итак, и акцентное выделение, и употребленный речевой штамп требуют для своей правильной интерпретации синтагматического контраста, соседства с нейтральными компонентами.

3. Третья общая черта — **они должны быть адекватно восприняты теми, к кому они адресованы.**

Акцентное выделение должно быть произнесено по правилам просодической модели именно этого языка: если произносить слишком громко, это будет звучать только странно, если произносить слишком тихо, нужный дополнительный смысл опять-таки сообщаться адресату не будет. (Я лично столкнулась с этим, читая лекцию финнам об изменении значения русского слова *один* в зависимости от места акцентного выделения в словосочетании. Оказалось, что мои примеры не были поняты, так как финны, хотя и русисты, не «слышали» этих акцентных выделений.) Наконец, необходимо учитывать, что акцентное выделение может иметь и национально-языковое типологическое различие, реализуясь по-разному в разных языковых интонационных системах. То есть акцентное выделение существует постольку, поскольку оно «слышится».

Это же нужно сказать и об употреблении клишированных речений, «чужого слова». Они живут также постольку, поскольку они известны носителям языка и могут быть верно поняты. Без этого они мертвы и странны. Поэтому нам не смешны, как правило, в чужой стране «их» юмористические передачи, построенные на злободневных цитатах, непонятны диалоги замкнутых эзотерических социумов. Зато при понимании источника «чужого слова» и верном ощущении этого инкрустированного чужого предложения семантическая емкость ком-

муникации стремительно увеличивается. Например, по ТВ сообщается о первом выезде в «капстрану» генерала А. Лебеда с женой. Они летят в Париж и парижская индустрия прекрасного хочет их всячески фасцинировать. Реплика одной из смотрящих: «*Ой, Сань, гляди, какие маечки!*» — мгновенная реакция полного понимания.

А вот всем ли понятна фраза на капустнике по поводу юбилея «ефремовско-го» МХАТа, приписанная как бы Т. Дорониной: «*Враги сожгли родную мхату*»?

И, наверное, уже мало нашлось понимающих аллюзии заголовка в газете «*Над всей Италией безоблачное небо*».

Поэтому и слово, акцентно выделенное, и «чужое слово» должны быть восприняты именно в этом их статусе, иначе оба языковых приема утрачивают свой актуальный смысл.

4. Четвертая черта — самая главная, но сознательно нами в изложении отодвинутая. **Они должны сообщать дополнительный смысл** высказыванию. В этом состоит их основная функция в речепотреблении. В предыдущих параграфах (§§ 3—6) приводится ряд таких дополнительных значений. Например, значение результата, значение оценки, значение контраста (часто почитающееся единственным), значение ‘а именно’. Например, «*Войну и мир*» я не читал — сообщение, «*Войну и мир*» я не читал — значит, читалось хотя бы что-то другое; *Я был там три раза* — неизвестно, это много или мало, *Я был там три раза* — говорящий считает, что это много. Очевидно, что семантика такого типа акцентных подчеркиваний связана и с понятием нормы, и самооценкой, и с характеристикой — когда говорящий невольно «выдает себя», вводя дополнительную строку.

Говорить о типах дополнительной семантики клишированных речений намного сложнее. Как уже указывалось выше, цель их, на наш взгляд, это социализация личности. Начальная функция паремий, безусловно, состояла именно в этом. Но, как известно, значимость паремий для социализации стирается, и эту функцию начинают выполнять вновь возникающие «чужие слова». В нашей совместной работе с И. А. Седаковой мы выделили четыре типа функционирования клишированных речений: 1) свое для своих, 2) чужое для своих, 3) свое для чужих, 4) чужое для чужих; там же приводились попытки описания высказываний этих четырех типов (Nikolayeva, Sedakova 1994). Не отказываясь от предложенной там классификации, в настоящей работе сведем эти типы к двум: а) функция согласия и б) функция протеста.

В случае когда стереотип употребляется по принципу **согласия**, он выполняет функцию указания на то, что говорящий принадлежит к некоей социальной группе. «Я — ваш!» или «Я — из такой-то группы!» См. у С. Е. Никитиной о народной культуре: «Главное — это невыделенность личности из социума, обусловленная прежде всего традиционным образом жизни» (Никитина 1989; 35).

Именно поэтому так много общих стереотипов находят в языке молодежи (во всех странах обнаруживают так называемое молодежное аргю), так как мо-

лодежь, до социального распада конкретных молодежных «стай», максимально конформна, особенно «тинэйджерская» ее часть. (Как представляется, о бунтарстве можно говорить только в том случае, если человек выступает против **своей** возрастной или социальной среды.)

Случаи употребления речевых стереотипов в функции неприятия, отталкивания, культурного протеста разделяются на несколько подвидов. Так, во-первых, говорящий употребляет клише буквально, но часто с некоторой особой «цитатной» интонацией, давая понять, что для него это ЧУЖОЕ.

Во-вторых, клише может быть трансформировано и тем самым модернизировано. Именно этот прием используется в современных рекламах и особенно в заголовках газет. Например, *Тень Грозного меня остановила* («Московский комсомолец»); аллюзий, как видно, здесь множество: это и монолог **Бориса** Годунова, довольно мрачный, если можно так сказать, это и отношение к чеченской войне, так как Грозный — столица чеченцев, это и сообщение о прекращении огня.

Именно такая модернизация может служить средством более или менее мягкого протеста, иронии — собственно именно на этом приеме строятся тексты телевизионной передачи «Куклы».

Одно и то же клише, вроде *Согласно пожеланиям трудящихся*, в речи, скажем, номенклатурных функционеров могло быть позитивно-нейтральным компонентом, а в речи демократической интеллигенции — стереотипом отталкивания, протеста. И сейчас по-разному будет восприниматься *Оттянись со вкусом!* в молодежной речи и в речи пожилой дамы — специалиста по русскому языку.

5. Поэтому для функционирования единиц в обоих случаях должен существовать некий обязательный для социума-адресата общий фонд знаний.

Как иначе можно оценить семантику акцентного выделения, если дополнительная сообщаемая смысловая строка «не доходит до аудитории»? Как можно воспринять многоярусную остроту газетного заголовка «*Крутые мэры*», если читательская аудитория не знает речения *крутые меры* и не слышала о современном употреблении слова *крутой*?

Разность общего культурного фона, как можно наблюдать теперь, уже разделяет поколения. Например (разговор с молодым человеком-немосквичом филолога): *А вот у нас у Никитских ворот дом Огарева, затем кинотеатр «Повторный», там лежали юнкера. Знаете: «И швырнула в священника обручальным кольцом»?* — Он: *А почему? Почему она швырнула?*

Отмеченные сходства не кажутся притянутыми за уши. Как представляется, в обоих случаях речь идет о существовании (формировании?) в речупотреблении совершенно особого слоя языковых средств, возможно и определено, гетерогенных, цель которых и их функция — сообщать адресату нечто дополнительное, нечто сверх того, о чем сообщает нейтральное высказывание. Точнее, нечто сверх того, что сообщает на денотативном уровне это же самое высказы-

вание, если из него «вычесть» оба разобранных средства. То есть оба эти явления — в широком смысле **суперсегментны**.

В целом же существование широко понимаемого суперсегментного языкового слоя, основная функция которого — создавать дополнительные смыслы, семантическую ауру вокруг сообщаемого сегментными средствами, и служит, на наш взгляд, основному закону языковой эволюции, о котором говорится во всех параграфах первой части нашей книги, — **увеличению сообщаемой информации в единицу времени**.

§ 12. «Лингвистическая демагогия» — мощное средство убеждения коммуниканта

Функция внушения, убеждения, воздействия установлена для языка давно. Интересно понять механизмы этой функции. Воздействие может быть прямым, «любовым»: *Да вы не слушайте! Это же просто глупости!*; *Какой же он умница*; *Задача слишком простая, а Вы ее не решили* и т. п. Это прямое воздействие в основном осуществляется лексическими, словообразовательными средствами — такими, где оценка входит непосредственно в словесную семантику. Однако, оценка может быть «спрятана», «замаскирована». Например: *Он получил звание профессора?* — *Это при его-то знаниях ему все-таки дали*. Здесь нет прямого положения: *Он мало знает*, препозитивная часть семантически минимальна, а ассертивная часть прячется под пресуппозитивную: факт его невежества всем известен. Подобные явления мы предлагаем назвать «лингвистической демагогией». Суть ее — в оценочном воздействии на адресата, не выражающемся прямо, «в лоб». Попытаемся показать некоторые особенности такого перлокутивного феномена, а также — что на наш взгляд более интересно — его социальный генезис.

Как мы полагаем, основной посылкой разбираемых далее «лингвODEмагических» феноменов является ощущение социального одиночества. При нетерпимом отношении к этому явлению возникает установка на создание коммуникативно плотного пространства без лично незаполненных лакун. Иначе говоря, за говорящим индивидом должен стоять некий социум. В случае реальной «незаполненности» и/или вербальной невыраженности мнений этого социума в речевом поведении говорящего манифестируются две тенденции: построение максимального социума языковыми средствами и выражение мнения этого социума. Таким образом, «генерируется» позитивная референтная группа. Как внушает говорящий, эта группа мыслит и полагает так, как и он, точнее, он говорит и мыслит, как и «все они». Поскольку установочной задачей здесь является плюрализм, то соответствующее отражение он получает и в языковом употреблении.

1. Одним из первых средств «лингводемагогии» являются так называемые универсальные высказывания. Например, *Все мужчины подлецы, Не обманешь — не продашь, На всякого мудреца довольно простоты* и т. д. Характерна здесь неоднократно отмечаемая свободная взаимозаменяемость сингуляри-са и плюралиса. Эти высказывания универсальны, тем самым, согласно теории К. Поппера, они в принципе не верифицируемы, а потому и не подлежат обсуждению. По нашему мнению, стоящая за ними множественность отражает не столько множественность фактов, сколько множественность носителей сознания, передаваемого в подобных текстах.

2. Универсальные суждения не всегда сообщаются в прямой форме, в которой они были бы особенно уязвимы, адресату часто предлагаются генерализации. Эти скрытые генерализации часто входят в высказывания с частицами определенного типа. Например, *Работы здесь на полчаса. Но ведь они старики*. За этим стоит генерализация: «Старики не в состоянии быстро выполнить даже и легкую работу». *Мрачный он что-то. И на толстяков порой находит тоска*. Скрытая генерализация: «Толстяки обычно жизнерадостны».

3. К универсальным высказываниям, явным или имплицитным, при-мыкают и высказывания, за которыми стоит понятие нормы. Норма — это скорее результат биологического существования человека и его этикетного поведения; генерализованные же высказывания отражают как бы результат коллективного человеческого опыта. В «лингводемагогических» высказываниях имеет место создание квазиобщепризнанной нормы, т. е. мнения формируемого социально плотного пространства. Например, *Она уже в десять лет прочла всего Тургенева* (очевидно, в этом возрасте читать Тургенева рано). Некоторые высказывания гримируются под норму (на самом деле обычно социально размытую). Например, *Она даже волосы не красит* (это нужно делать? или уместно оставаться седой?). *Вы моетесь уже полчаса* (а сколько нужно мыться?) и под. Как известно, высказывания типа *Вы даже дверь за собой не закрыли* сильнее, чем простой императив: *Закройте дверь!* Частицы также являются одним из активных средств построения квазинормы формируемого социума. При лингводемагогической установке высказывать свое собственное отношение и мнение, выдавая его за объективную норму, обычно: для каждой субъективной модели существует своя объективная, под которую она гримируется; ср.: *У нее высокая температура. Нужно вызвать врача и Уже восемь часов вечера. Не садиться же работать*.

4. И генерализация, и норма, создаваемая лингводемагогическими средствами, обычно отражают некий всеобщий социум, глобальный человеческий универсум. Более узкий круг множественного и единого мнения создается особым перлокутивным средством, состоящим в мене ассерции и пресуппозиции. А именно — коммуникативная установка, то, ради чего делается сообщение, маскируется под пресуппозицию, под общеизвестный фонд представлений, тогда

как формально утверждаемая часть иллокутивно облегчается и содержательно упрощена. Как известно, ассертивное значение высказывания выражается его пропозициональной частью. Это основные компоненты главного предложения, максимально очищенного от контекстно-модальных коннотаций. Оказывается, что наиболее действенным в лингводемагогическом плане является помещение подлинно ассертивного компонента не в пропозициональную часть высказывания. Какие же именно части синтаксической структуры высказывания его заключают?

1) *Обстоятельства. Он все-таки пришел после этой своей выходки. Сообщается: «Его выходка была недостойна». Его, при всей его бездарности, все-таки выдвинули в Академию. Сообщается: «Он бездарен, и, что самое главное, это все знают». Несмотря на их отношения, их все-таки послали вместе в командировку. Сообщается: «У них „такие” отношения». Естественно, что подобный намек на общеизвестные всем, кроме адресата, сведения, воздействует гораздо сильнее, чем прямое сообщение, например, Он бездарен. Тогда собеседник вполне может возразить: Что Вы, а мне так не кажется.*

2) Частицы, вводимые в высказывание об индивиде и также отсылающие к «общему» фонду знаний. Так, введение частицы *ведь* гасит силу пропозициональной ассертивности (и тем самым дискуссионности), делает высказывание более цельным, воспринимаемым как необсуждаемый факт. Ср. *Ведь она жуткая дура!* и *Она жуткая дура!* Сходные функции выполняет и частица *же*: *Он же не знает английского!* *У него же плохое произношение!* и под.

3) Маскируемая под пресуппозицию ассерция помещается в придаточную часть сложного предложения. Например, *Ему некогда для Вас написать, так как его всюду приглашают.* Сообщается: «Его всюду приглашают».

Во всех указанных случаях воздействие на адресата осуществляется путем отсылки его к создаваемому в процессе коммуникации фантому «общего фонда». Поэтому собеседник не решается оспаривать сообщаемое, уже как бы известное всем, кроме него. Ср. *При его трусости...* и *Он трус.* В последнем случае гораздо больше опасности услышать возражение.

5. Множественность создаваемой референтной группы выражается и в формах глагола-сказуемого типа *говорят, считают, сказали, думают* и т. д., и во введении в качестве обстоятельства-кулисы при подобных глаголах в форме множественного числа обозначения социальной институции, например, *В институте считают, что...*, *А в классе про тебя говорят, В секторе не любят...* и т. д. (К сожалению, нам пока не удалось решить проблему того, каково реальное соответствие этим создаваемым в коммуникации социумам. То есть: *В институте...* это кто? и сколько должно быть «их»? Каковы их социальные амплуа?)

6. К этому же виду средств «лингвистической демагогии» примыкает и распространявшаяся в последние годы манера «говорить на „они”», при этом местоимение 3 лица множественного числа употребляется и в том случае, когда

беседа шла только с о д н и м (причем иногда и всем реально известным) человеком.

Представляется, что распространяющаяся конструкция с *они* в указанном значении употребляется тогда, когда речь идет об акции непрестижного представителя престижной в целом корпорации: употребление подлежащего *они* вместо безличной конструкции как бы включает в *они* и самых престижных членов корпорации. Так, человек, поговоривший с президентом Академии наук, вряд ли употребит *они* в этом случае (таким образом, мы имеем теперь нечто обратное былому *они*, относящемуся к индивиду — престижной персоне).

7. Как видно из приведенных примеров, множественность как языковая категория совмещается в большинстве подобных высказываний с н е о п р е д е л е н н о с т ь ю, нереферентностью как при названии деятеля, так и при названии действия: *Говорят — Кто-то считает — Кое-кто считает — Один человек сказал — Был как-то один случай* и под. Все это хорошо известно из фольклористических исследований так называемых «быличек», т. е. рассказов о необычайных, сверхъестественных явлениях. Таким образом создаются фантомные члены социума: неопределенность выполняет те же социальные «лингводемагогические» функции, что и плюрализация.

8. Широкое употребление форм множественности глагола и имени, а также активное введение неопределенности совмещаются в высказываниях анализируемого типа с особыми формами глагола, так называемого неактуального статуса: *Не обманешь — не продашь, Так принято, Один человек тут рассказывает, Говорят, что...* и под. Эти формы глагола не совмещаются обычно с наречиями-локализаторами типа *15 мая 1911 года в селе Петрово* и т. д. Подобная несовместимость конкретизирующих наречий с глаголами неактуального статуса является изученным фактом синтаксической семантики.

Таким образом, за всеми перечисленными приемами, включающими в себя явления чисто синтаксические, тенденции к предпочтению одних типов высказывания и избеганию других, к выбору одних грамматических категорий и неупотреблению других стоит все та же коммуникативная программа: плотное заполнение социального пространства при перлокутивной установке на убеждение. Плотный социум выгоден говорящему, который его создает и конструирует его мнение. Таким образом формируемое при помощи лингводемагогических приемов коллективное сознание предстает воплощенным в высказываниях, денотативный статус которых минимально конкретизирован, не соотношен с реальной действительностью.

9. Все сказанное распространяется не только на языковые формы построения позитивной социальной группы и ее мнения. При помощи плюрализации глагольных форм, неопределенности имени и действия, неактуальности денотативного статуса сказуемого может создаваться социум ф а н т о м о о б р а з н о г о п р о т и в н и к а, обычно неединичного (ср. множественное и неиндивидуализированное представление русалок, чертей и под.). Существенно, что

фантомы коллективного сознания здесь тоже размножены. Даже в науке существуют особые приемы совмещенности в пейоративной номинации неопределенности и множественности типа *Некоторые ученые полагают...*; *В отличие от некоторых лингвистов...* и под. Таким образом, противостоящий «своему» корпус также плотен и гомогенен.

Если при воздействии на отдельное лицо используются, как мы уже указывали, различные формы создания социума с мнением, совпадающим с мнением говорящего, то при создании негативного плюралиса используются особые приемы плюрализации по отношению к поведению адресата. Интересно, что при подобных, часто встречающихся в коммуникации конструкциях, вполне обычный поступок приобретает пейоративную оценку. Это явление было нами названо «мультипликацией». К средствам мультипликации относятся: умножение имен действия, плюрализация действий, плюрализация ситуаций через превращение в итератив благодаря наречиям типа *вечно, постоянно, обычно* и под. Например, *Вот Вы по театрам все ходите, а я дома сижу* — говорится человеку, бывшему в театре, например, один раз. *Вы ведь всегда интересуетесь, сколько кому лет* — говорится лицу, всего однажды задавшему подобный вопрос. Мультипликация обладает свойством снижать и делать обидными даже и внешне комплиментарные высказывания. Например, *Вечно ты в новом платье!*

Характерно, что к подобной форме мультипликации единичных поступков примыкают и высказывания с глаголами-сказуемыми типа *любишь, предпочитаешь, привык(ла)* и т. п. Этот вид «негативной плюрализации» также сочетается с неопределенностью (ср. пример А. Б. Пеньковского *Ходят тут всякие* — при обращении к одному человеку).

И однако — функции позитивного и негативного плюрализма различаются. Правда, в обоих случаях плюрализация направлена против адресата и — как следствие этого — против индивидуального, но при «лингводемагогическом» воздействии (убеждении) умножается некий фантомный социум, мнение которого как бы отражается, в случае же негативного плюрализма умножаются поступки адресата, ситуации, когда он вел себя, по мнению говорящего, негативным образом.

10. Итак, в отношении к отдельному индивиду «лингводемагогической» тенденцией является мультипликация его поступков, оцениваемых как негативные, хотя бы подобный поступок и был единократным. Это приводит к тому, что уже сама по себе мультипликация, отнесенная даже к нейтральному поступку, как бы делает этот поступок если не негативным, то странным или курьезным (например, *я была свидетелем обиды по поводу фразы Вы обычно любите в командировках зубную пасту покупать*).

Другой стороной той же тенденции является упрощение характеристики адресата, не мультиплицируя признаки, а, напротив, минимизируя их. Это можно назвать стремлением к характеристике одним признаком.

Так, в частности, происходит характерологическое склеивание ряда оценочных прилагательных, по сути не являющихся синонимами. Нами был собран не приводимый в настоящей статье подробно материал (данные Словарной картотеки словарного сектора ИЛИ РАН) по употреблению трех пучков оценочных прилагательных: *тихий — скромный, волевой — энергичный, пустой — легкомысленный*. Все эти пары-связки совсем не синонимичны. Человек скромный по существу своему может и не быть тихим, внешне тихий может быть жестоким честолюбцем, энергичный человек вполне может быть безвольным, а волевой — сдержанным, мало троящим энергию. Однако, как видно по данным картотеки, это объединение в одну характеристику встречается у большинства писателей. Тенденцию к разрушению клише встретили мы только у И. С. Тургенева: *Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно («Первая любовь»); Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом («Дворянское гнездо»); Он замечательно умный человек, хотя, в сущности, пустой («Рудин»); Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице («Дворянское гнездо»).*

Названные пучки оценочных прилагательных-характеристик употребляются в основном в функции предиката или легко могут быть трансформированы в предикат в этом значении. Глубокое коммуникативное различие идентификации и предикации подчеркивалось неоднократно и разными авторами. Действительно, коммуникативные усилия на предикацию и идентификацию затрачиваются разные: так, в любой «средней» беседе огромное значение придается точности идентификации объекта речи, хотя бы объект назывался только для примера и был в сущности для развития беседы безразличен. Иными словами, коммуникативная значимость предиката бывает затемнена и/или аннулирована идентификацией субъекта. Здесь напрашивается аналогия с оценочными характеристиками неодушевленного объекта, которого обычно характеризуют по одному признаку (например, *высокий*), хотя у него есть и другие измерения. Так и за человеком при коммуникативной характеристике обычно закрепляется одна какая-то черта, которая и сообщается. Таким образом, обилие оценок, предоставляемое лексическим богатством прилагательных, в коммуникативном плане сводится к небольшому числу базовых штампов. Это способствует нивелировке характеризующих индивидов и большей свободе манипулирования социальными ролями. Эти тенденции опять возвращают нас к «лингводемагогической» идее обязательного создания плотного коллективного социума.

11. «Лингводемагогические» тенденции можно усмотреть в коммуникативной манипуляции лексической многозначностью. Например, слово *настоящий* означает не только «соответствующий какому-то эталону, подлинный», но и «позитивный» с очень явной оценкой: *Гордость и мужество — основные качества настоящего человека — тот, кто не имеет этих качеств, недостойн*

уважения. Это слово — *настоящий* — часто в коммуникации закрепляется за абстрактными родовыми понятиями вроде *человек, мужчина, женщина, ребенок* и постепенно становится, употребляясь в коммуникации, неким средством семантики убеждения, аналогичным универсальным высказываниям, т. е. не-верифицируемым коммуникативным приемом. Например (из Словарной картотеки ИЛИ РАН): *Как все настоящие ученые, он был романтиком*. По сути это не вполне очевидно, может быть настоящим ученым и суховатый человек, но слово *настоящий* в подобных контекстах оказывает гипнотическое действие.

Еще больше можно сказать о слове *жизнь*. Именно лингводемагогическим приемом является указание на собственную максимальную приближенность к жизни, к реальной структуре мира. Небезынтересно, что как антипод этому сознанию обычно предстает образ некоего мечтателя-ученого, абсолютно далекого от соотнесения с действительностью. Этим обобщенным образом чаще всего бывает тип ученого-астронома или химика. Между тем именно астрономам принадлежат максимально точные и конкретные открытия. Так, открытие планеты на «кончике пера» есть плод оптимальной и точной включенности в действительность. Все факты подобных открытий обычно регистрируются в виде высказываний с языковыми показателями дейкгического и конкретного актуального характера. Например, *В перигелии своей орбиты Плутон получает от Солнца света и тепла в 890 раз меньше, чем Земля, а в афелии в 2450 раз меньше* (БСЭ, 2-е изд., т. 33; 302), ср. здесь языковые показатели определенности, актуального глагольного статуса, денотативной референтной приближенности и личной соотнесенности актантов.

Итак, в данном случае мы имеем дело с разными значениями слова *действительность* (*реальность, жизнь* и под.). С одной стороны, действительность — это окружающий нас материальный мир, а с другой стороны, житейские будни, повседневные приземленные заботы. Таким образом «далекие от жизни» астрономы максимально приближены к конкретной действительности в первом смысле, а создающие фантомные социумы носители «лингводемагогического» поведения — во втором смысле. Точнее, в реальном речевом употреблении обычно представлено перлокутивное изменение: перемещение квалификаций одного типа на объекты, принципиально оцениваемые другим способом. Эта транспозиция атрибутивных моделей и создает мифологемы социальной оценки.

В настоящей статье было перечислено лишь несколько способов «лингвистической демагогии», т. е. воздействия посредством оценки, осуществляемого не прямым, «лобовым» способом, которые, как нам казалось, нам удалось заметить. Несомненно, что дальнейшие исследования углубят и расширят эту пока только намеченную область лингвистической коммуникации.

§ 13. Понятие «валоризации», оппозиции Н. С. Трубецкого и ментальные стереотипы, определяющие вид речевого поведения

Как выделить объект нашего интереса, изучая его в синтагматике? Считаем, что ответ на этот вопрос можно получить лишь после того, как мы введем некую классификацию стереотипов, более подробно объясняемую далее, с одной стороны, и эксплицируем исходные теоретические посылки автора — с другой.

А. Классификация предлагается следующая: стереотипы делятся на Речевые, Коммуникативные и Ментальные.

Б. Основные посылки работы:

1) и в языке, и в сознании старые модели не всегда исчезают, заменяясь более новыми; они сосуществуют с ними или «всплывают», более или менее очевидным образом;

2) распространенная несколько десятилетий назад «привычка» объяснять, называть и интерпретировать через собственно лингвистические термины и феномены факты иных гуманитарных областей не изжила себя, поскольку лингвистика до сих пор остается наиболее виртуозно разработанной таксономически гуманитарной наукой; более того, такой метод позволяет приблизиться к общей интерпретации явлений, связанных с человеком;

3) извлекаемый пласт «случайных» фактов речеупотребления желательно в исследовании минимизировать, предполагая, что зона случайного очень мала — просто велик диапазон от сознательного до бессознательного в речеговорении;

4) в настоящее время лингвистам необходим опыт социальной психологии, в особенности — социально ориентированного поведения.

Под **речевыми** стереотипами мы понимаем отрезок высказывания (или целое высказывание), включенное в контекст, представленный «свободными» компонентами высказывания (высказываниями).

Еще раз возвращаясь к вопросу о том, где граница между свободой/несвободой в селекции речевых фрагментов при речеговорении, мы предлагаем обратиться к самому простому, но, на наш взгляд, доказательному критерию — критерию оценки по перцептивной и продуктивной маркированности. А именно — говорящий употребляет этот фрагмент как **чужую речь** и сам это ощущает, и это же ощущает слушающий. Именно такой критерий применялся в наших работах о фонологизации словесного ударения — когда ударение квалифицировалось прежде всего как перцептивный, распознаваемый факт, т. е. есть ударение есть то, что воспринимается как ударение. Как было видно из § 11, речевые стереотипы и их функции в тексте вообще могут быть сопоставлены с функционированием суперсегментных интонационных моделей, и это далеко не случайно.

Итак, речевые стереотипы вполне соответствуют более крупным или менее точно переданным фрагментам «чужого текста» в литературном произведении; именно этими компонентами так интересуются в последние десятилетия исследователи «интертекста» и деконструктивисты.

Дополнительная семантика речевых стереотипов возникает, по нашему мнению, лишь на фоне синтагматического контраста с не-стереотипизированной тканью текста. На особую семантику таких контрастирующих по стереотипизированности сочетаний обращал внимание Л. Витгенштейн: «Можно было бы представить себе, что некоторые работы, имеющие форму эмпирических предложений, затвердели бы и функционировали как каналы для незастывших, текучих эмпирических предложений; и что это отношение со временем менялось бы, то есть текучие предложения затвердевали бы, а застывшие становились текучими» (Витгенштейн 1994; 335).

Вторая группа стереотипов, по нашей классификации, — **коммуникативные** стереотипы.

Разумеется, это название условное, его можно считать рабочим. Под употреблением коммуникативного стереотипа мы понимаем те случаи речевого оборота, когда в одних и тех же ситуациях говорящий употребляет одни и те же обороты-клише. Сразу нужно сказать, что сюда относятся и так называемые «этикетные модели» — формулы вежливости, формулы поведения в разных социализированных ситуациях и под. Сюда же относятся и формулы делового языка, формульные клише конференций, заседаний, этикетных встреч и т. д. Однако, как кажется, они не так интересны для социолингвистического анализа, хотя и много изучаются в последнее время. Более интересны те случаи, когда коммуникативные стереотипы индивидуальны. Так, индивидуальной была манера острить у героя рассказа Чехова, обращавшегося к уходящему гостю: «*Вы не имеете никакого римского права...*» Распознать коммуникативные индивидуальные клише не всегда легко — они могут совпадать с не-стереотипизированными высказываниями: например, если человек встречает любое сообщение других об уходе словами: «*С какой целью?*» и адресат слышит это впервые. Они могут совпадать и с разобранными выше речевыми стереотипами. Релевантной является именно их **коммуникативная повторяемость**. Поэтому клишированные реплики А. А. Реформатского не были коммуникативными стереотипами, так как они каждый раз были неожиданными, варьировались, поэтому их употребление входило в сферу речевой игры, которая характерна для «речевых» стереотипов¹. Сходны по функционированию с коммуникативными стереотипами рассказы стариков, которые кажутся интересными свежему гостю и которые в тысячный раз слышат родные, рассказывание одних и тех же анекдотов, привычные для окружающих реплики в очере-

¹ См. о языке А. А. Реформатского большую подборку из двенадцати работ (Опыт описания языковой личности. А. А. Реформатский // Язык и личность. М., 1989).

дах былых лет, в транспорте и т. д. Эти привычные клише коммуникативного характера совсем в человеческом общении не безобидны, многолетние отношения могут, как это иногда наблюдается, распасться потому, что коммуниканты (муж—жена, подруги и под.) не могут выйти за пределы обмена одними и теми же накопившимися за годы коммуникативными клише. В пьесах драматургов XX века это часто обыгрывается: см. реплики у Э. Ионеско, С. Беккета, Л. Петрушевской и др. Глубинное понимание таких индивидуализированных клише, вероятно, еще впереди. Безусловно, они служат и средством защиты от непредвиденных ситуаций, от «выяснения отношений», являясь в то же время и орудием упрощения коммуникативных коллизий. Именно поэтому коммуникативные клише часто бывают «поданы» как шутка, как привычная шутка, хотя функции таких шуток могут легко прочитываться как желание отгородиться от коммуниканта.

Третий вид стереотипов мы предлагаем называть **ментальными**, хотя, строго говоря, они реализуются (манifestируются) также на вербальном уровне². Именно введение подобного класса стереотипов можно считать наиболее дискуссионным положением настоящей работы. Для лучшего понимания того, что имеется в виду, приведем простые примеры манифестаций таких стереотипов. Довольно часто приходится слушать диалоги типа: «*Как она растолстела! — А что, селедка лучше, что ли?*»; «*По-моему, зря этот указ приняли! — А Вы что, за коммунистов?*» Многолетний опыт в восприятии подобных диалогов привел к выводу, что и к ментально-речевой структуре человека вполне можно приложить знаменитые типы оппозиций, введенные ранее Н. С. Трубецким первоначально для фонологических противопоставлений. Гипотеза состоит в том, что и человеческие реактивные структуры можно описать в терминах тех же оппозиций. То есть одни мыслят (или экстраполируют свои мысли) бинарными оппозициями, другие — градуальными. И в рамках бинарных (дуальных) различаются, согласно Н. С. Трубецкому, привативные и эквиполентные оппозиции. «*Кто не с нами — тот против нас*» — привативная. «*Больше или меньше*»-мышление — градуальная оппозиция. «*Красные — Белые*» — эквиполентная. Однако, эквиполентные, как правило, тяготеют к привативным (см. об этом в применении к литературному процессу: Николаева 1995). Разу-

² Очень показательным явился в этом отношении текст современного журналиста: «В чем конкретно проявляется этот стереотип? В том, например, что советский человек не привык сопоставлять доходы государства, из которых ему должны какие-то льготы, и свои собственные доходы <...> На этом стереотипе держится вся система перераспределения и все трудности реформирования.

Если все хотят получить положенное, но меньше дать, а человечество не придумало до сих пор никаких источников доходов государства, кроме как от нас, то откуда же оно возьмет? И вот здесь проблема языкового барьера (выделено нами. — Т. Н.) между властью и людьми становится ключевой» (Олег Витте, беседа с Л. Великановой, «Литературная газета», 16.VII.1997).

меется, в соответствии все с теми же фонологическими теориями, для дуальных оппозиций выделяется маркированный член, определяемый маркирующим признаком. Поэтому **один и тот же человек** может оказаться и плохим, и хорошим, и «никаким», обыкновенным — в зависимости от того, к какой группе принадлежит говорящий. «Плохой» формируется по признаку — «*А что в нем хорошего? Что он кому хорошего сделал?*». «Хороший» — характеризуется по признаку: «*Очень хороший, порядочный человек! Никогда никому никакой гадости!*» Очевидно, что в первом случае маркировано как обязательное благое действие, а во втором — действие негативное.

Нейтральная же характеристика, как можно судить по многим примерам, связывается с неким центром — понятием **нормы**. Именно отталкиваясь от этой нормы, люди рассматривают отклонения в ту или иную сторону: к плюсу или минусу. Это предложенное нами деление людей по принадлежности к ментальным стереотипам и сама классификация этих стереотипов кажутся одновременно и тривиальными и, напротив, чересчур смелыми. Тривиальными — потому что подобные диалоги слышатся беспрестанно и как будто все знают о существовании «норм»; смелыми — так как за этим просвечивает идея, что люди и мыслят, и воспринимают не одинаково — в зависимости от привычной перцептивной модели. Между тем это различие представляется очень важным для жизни современного общества, когда необходимо учитывать модель перцептивного типа у реципиента: для убеждения, перетягивания на свою сторону, разъяснения сложных ситуаций, рекламы и т. д. Иными словами, иллокутивный успех предполагает хорошую социоперцептивную ориентацию.

Таким образом, существенно не только увеличение **знаний**, увеличение **информации**, что, конечно, может изменить внутреннюю бинарную модель, но и предварительное ознакомление, с каким именно типом ментального стереотипа мы имеем дело в каждом конкретном случае — хотя бы путем простых наводящих вопросов.

Наиболее сложным является ответ на вопрос о том, обусловлены ли социолингвистические стереотипы ментальными и наоборот. Ответить на него, очевидно, можно только после разработки этой проблемы совместными усилиями целого ряда научных дисциплин, связанных с изучением человека вообще.

Однако в настоящей работе нам хочется предложить на обсуждение некую обобщенную модель речевой коммуникации, несомненно связанную с уровнем ментальной структуры (сейчас не обсуждаем, функцией чего это является — типа общей культуры, личных особенностей, социального окружения и т. д.). Совершенно условно эту модель можно назвать **моделью речевого поведения обывателя**. Отдельные фрагменты речевой культуры (речевого поведения) этого условного класса нами описывались в предыдущих публикациях, как правило предваряемых докладами; обсуждение их показало верность нашу пываемых коммуникативных структур — во всяком случае, такова была реакция коллег-филологов. В настоящей работе впервые предлагается обобщен-

ное (в пределах наших данных) описание этой коммуникативной структуры; очевидно, что ряд излагаемых гипотез окажется дискуссионным.

Можно предположить, что речевое поведение описываемого типа является стереотипизированным в целом и, скорее, связано с дуальным устройством ментальных моделей.

Более того, многие положения лингвистического характера обобщаются в результате изучения «модели мира» в грамматике паремий, т. е. используются данные так называемого языка «традиционной народной культуры» (см. об этом во второй части настоящей книги). Это и естественно, так как язык обывателя — это язык, как правило, неиндивидуализированный, основывающийся на чувстве социальной солидарности, плотно заполненного социального окружения. В качестве гипотезы предполагаем также, что эта модель, которую можно считать более «архаической», чем модель речевого поведения элитарной интеллигенции (при этом употребление «модных» новых словечек не меняет эту модель), в постепенно все более оттесняемом, но не уничтожающемся полностью виде сохраняется и у носителей элитарной культуры — так же, как и в суперсегментном просодическом слое по-синтагменная и по-словная модель произнесения не уничтожает до конца более древнее деление по слогам.

Напоминаем далее, что развитие языка и человеческой ментальности рассматривается нами в эволюционном плане, а в связи с данной темой — как движение от дуальной модели к градуальной.

Итак, как уже говорилось, дуально устроенная стереотипическая модель связана с маркированностью одного из членов оппозиции. В свою очередь, идея маркированности кажется неотъемлемо связанной с перцепцией, с порогом восприятия. Опять и опять возвращаясь к суперсегментному просодическому уровню, можем сказать, что именно так устроено восприятие ударения — то есть увеличение физических характеристик слога (высоты, длительности или интенсивности) достигает некоторого критического перцептивного порога, после чего данный слог воспринимается как ударный.

Легко видеть, что эти идеи связаны, в свою очередь, со знаменитым понятием валоризации, сформулированным Н. С. Трубецким и Р. Якобсоном по отношению к единицам фонологии. То есть «фонологизируется», становится единицей системы, а не фактом эмпирии, то, что валоризовано. А валоризуется то, что перцептивно маркировано, то есть часто — чисто количественно — превышает порог нейтрального немаркированного восприятия.

В применении к описываемой коммуникативной модели можно говорить о следующих наблюдаемых крупных категориях:

- 1) тенденции к «укрупнению» факта или события;
- 2) нелюбви к конкретному единичному факту;
- 3) нелюбви к точной информации.

Все три феномена тесно связаны между собой и — при внимательном рассмотрении — могут быть прогнозированы социолингвистически.

Рассмотрим каждую из описанных тенденций с позиций стереотипизованного лингвистического факта.

Тенденция к укрупнению факта или события

Данная тенденция, на наш взгляд, формируется тремя категориальными коммуникативными рядами. Условно предлагаем их назвать: 1) мультипликацией, 2) разведением градуальных явлений по полюсам, 3) увеличением масштаба отдельного факта.

О *мультипликации* явления можно говорить, например, в следующих коммуникативных ситуациях. Это наблюдается, когда на самом деле имел место один-единственный факт, одно событие (или довольно редкое), но коммуникант его представляет в качестве совокупности однородных (и, возможно, регулярных) событий. Например, человека как-то видели в театре — *Вот Вы по театрам ходите, а я...; Я знаю, Вы на воздухе любите бывать* (коммуникант один раз выехал на дачу). Мультипликация сопровождается и формируется не только множественным числом имени, но и наречиями типа *всегда, все время, с утра до вечера, как ни посмотришь* и т. д. *Ты всегда недоволен; Она вечно жалуется; Как ни посмотришь — ты все в новом платье* и т. д. Как правило, мультипликации подобного рода вызывают раздражение или обиду, иногда сопровождаемую речевым отпором. (См. об этом в § 12.)

К мультипликации можно отнести и многократно описанное явление употребления множественного числа как альтернативы неопределенности: *Ну, я вижу, у вас гости* (сидит одно «гостевое» лицо); *Смотрите, она с кем-то в театре — до сих пор мужчины?; Ты там какие-то статьи пишешь, оскорбительные* и под.

Как показала жизнь, формы этого социолингвистического стереотипа могут и меняться — так, на глазах исчезает такой подвид мультипликации, как «разговор на „ОНИ“», вроде *Я был в издательстве, они хотят мою книгу переиздать* или *Вы были в дирекции? — Да, они говорят, что со сборником ничего не выйдет*. (См. об этом также в § 12.) Разговор на «они» был очень характерен для 70—80-х годов; тогда одна известная лингвистка сказала, в частности, по этому поводу: «У нас» — это значит «У них», то есть тогда, когда полюса СВОИХ и ЧУЖИХ были максимально разведены.

Средства мультипликации широко используются и в языке газет и телевидения. Можно возразить, что эти, как будто бы современные, средства, далеки от моделей традиционной паремийной культуры, но нельзя забывать, что это средства *массовой* информации, и тем самым ориентированы на нерасчлененную массу реципиентов — как и паремии. Например, такие заголовки характерны для газеты «Вечерняя Москва» — см. *В метро все чаще падают* (об одном случае, когда один не пострадавший пьяный упал на рельсы), *На Ленинградском шоссе убивают* (об одном случае нападения, не окончившемся трагедией) и под.

При помощи мультипликации, которой в целом, как правило, присуща пейоративная окраска в описываемой модели, создаются и очевидным образом негативные образы, например, такой, который можно назвать «фантомообразным противником». Например, *В отличие от тех ученых, которые не уважают конкретные знания; Трудно было бы согласиться с теми, кто...* То есть «фантомообразный противник» во многих случаях отражает то, что в математике называется «пустым множеством».

Именно созданию мультиплицированного пустого множества служит, на наш взгляд, и такая речевая модель, когда не адресант, а адресат в ответ на какое-то конкретное обвинение или упрек отвечает: *А никто с Вами и не спорит; Да никто так и не считает; Никто Вас тут не оскорблял* и под., хотя бы в разговоре вообще было бы только два участника.

Мультипликация может рядиться и под похвалу или восхищение: *У вас всегда такие туалеты!* или *У него такие остроумные шутки, что...*, но, как правило, пейоративная окраска присутствует, хотя бы и в скрытом виде.

О разведении по градуальным полюсам говорилось выше вообще в связи с идеей ментальных стереотипов, ориентированных на дуальные оппозиции. Подобные речевые структуры можно регулярно слышать в толпе, ранее — в очереди, теперь — при обсуждении отношения к властям и/или к разным группировкам, когда обсуждающие каждый раз предлагают некий «крайний» вариант — *Ну, уж эти вас всех до единого Америке продадут. — А эти ваши всех, кто не чисто русский, в лагерь посадят* и т. д.

Увеличение масштаба отдельного факта является, по нашим наблюдениям, одним из наиболее типичных явлений речевой коммуникации — и не только для простонародной речевой культуры.

Несомненно, это увеличение связано с валоризацией феномена и, тем самым, с порогом перцепции, для которого такое преувеличение оказывается необходимым.

Легко заметить, например, что если А и Б говорят о В, уехавшем, например, в командировку на несколько дней, и оба знают сроки, то часто приходится слышать: *Как, да он еще в Париже!* или *Он же в Париже!* или: *Не звоните ему, он сейчас в Париже,* или — *Как, Вы уже вернулись?* Иначе говоря, отсутствие, как правило, перцептивно затягивается. Именно так можно объяснить часто встречающуюся реакцию на смерть знакомого: *Как, да я позавчера еще с ним говорил!*; *Да он на днях мне звонил!* (то есть предполагается в модели, что умирание как самая важная вещь должно быть долгим, хотя все знают и априори, и на уровне эмпирических наблюдений, что умереть можно мгновенно).

Увеличивается также и различие возраста между мужем и женой, особенно если она старше. *Она гораздо старше его — лет на десять или больше,* — говорят в тех случаях, когда разница составляет лет пять-шесть.

Увеличивается возраст поздно родившей женщины: *Да ей уже под сорок было,* — говорят о родившей в тридцать пять. Вообще увеличивают возраст

человека, но не абсолютно, а начиная с какого-то порога, примерно лет с семи-десяти. Разумеется, от поколения к поколению этот возраст меняется. Лет тридцать назад говорили: *Ей за семьдесят*, а теперь говорят: *Да ей под сто!*

Можно подумать, что речь идет в основном о женщинах, но это преувеличение касается и мужчин — как при увеличении, так и при уменьшении — например, когда говорят о вундеркиндах и т. д.

Преувеличиваются и явления природы — например, жара (*Будет сильно за тридцать градусов!* — если объявляют «около тридцати») или мороз.

Сюда же относится и наблюдение Е. А. Земской о том, что если учительница, например, в очень мягкой форме сказала на родительском собрании, что ребенок Х «не совсем внимателен иногда на уроках математики», то, придя домой, мать скажет что-нибудь вроде: «*Учительница тебя страшно ругала, ты, оказывается, ужасно невнимателен на математике*» (Ермакова, Земская 1994).

Таким образом, мы подводим еще раз читателя к тому выводу, что нащупываемая нами обывательская модель не знает середины, не знает расположенной между плюсом и минусом нормы. Напомним, что идеи «золотой середины» у Горация — это ментальная установка элиты римской культуры в ее вершине.

В соответствии с этим в категорию укрупнения факта естественно должна входить и преувеличенная по коммуникативной частотности **оценка**. Как предполагает Э. Канетти, говоря о реакции на инфляцию, хотя бы компенсированную, «масса чувствует себя обесцененной, потому что обесценился миллион» (Канетти 1997; 203), то есть, иначе говоря, обыватель себя отождествляет где-то с чем-то большим. Предмет беседы часто не описывается, а оценивается, оценка является удобной коммуникативной реакцией (собственно говоря, описание в преувеличенных масштабах не всегда отличимо от оценки). Как отмечает М. В. Ляпон: «Специфику оценки по принципу „люблю-не люблю” усматривают в том, что она обладает параметром субъективной истины, не нуждается в мотивировке и не пользуется понятием нормы» (Ляпон 1989; 27). Более того, можно наблюдать и доминирование оценки отрицательной, негативной. При этом ощущается, что обыватель как бы боится хвалить, боится не совпасть в похвале с собеседником, в то время как негативная оценка делает его восприятие как бы критическим и, как предполагается, более тонким. Тот же Э. Канетти вводит интересное наблюдение о «радости от негативного суждения»: «Лучше всего начать с явления, всем хорошо знакомого, — радости от негативного суждения. Не раз мы слышали суждения типа „плохая книга” или „плохая картина”; говорящий при этом делал многозначительную мину, будто высказал нечто содержательное. Форма высказывания обманчива, скоро в таких случаях происходит переход на личности, говорится „плохой писатель” или „плохой художник”, и звучит это совсем как „плохой человек”. Легко поймать знакомого, незнакомца, себя самого на таких фразах. Радость от негативного суждения очевидна» (Канетти 1997; 321). Интересно, что именно такие выводы были сделаны еще в 30-е годы группой немецких ученых-телеоло-

гов, о которых говорилось и выше (Херманн, Хаверс, Хорн). В этом отношении метким является формулировка о *Negationfreudigkeit des Volkes* («радости негативной оценки у простого народа»). Однако понятие «народ» явно у них не совпадает с привычным русским словоупотреблением. По мнению телеологов, народ (*das Volk*) — это обозначение некой людской общности на примитивных ступенях развития, это и низовые слои у культурных народов (*als Volk gilt die Gesamtheit auf primitiven Stufen, die Unterschicht bei Kulturvölkern* (Havers 1931; 30)). Поэтому в одном смысле народ — это нация (древняя) или масса, просто-народность — на позднем уровне.

Действительно, критиковать легче, чем созидать и, в сущности, основной миф индоевропейцев о борьбе антропоморфного героя с териоморфным противником можно в наши дни считать трансформировавшимся в противостояние: ЛИЧНОСТЬ — ТОЛПА.

Именно в свете замечаний Э. Канетти и «телеологов» интересны наблюдения Е. В. Какориной (Какорина 1996) над языком так называемой оппозиционной прессы. Стереотипов в этом языке больше, чем в официальном и нейтральном, и, как пишет Е. В. Какорина, «образный мир оппозиционной прессы несет в себе черты „эстетики безобразного“, в котором гипертрофирована область отрицательных оценочных номинаций» (Какорина 1996; 425). К сходным выводам приходит и Л. П. Крысин (Крысин 1996), проанализировавший оценочный уровень современной обывательской массы, освободившейся от многолетнего страха и молчания: «... в наши дни чрезвычайно высок уровень агрессивности в речевом поведении людей <...> Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата — от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах литературного словоупотребления, до грубо просторечной и обценной лексики» (Крысин 1996; 386). Итак, тяготение к оценке — черта обывательская и неизбежно просторечная: «Наиболее общие признаки просторечия — это малая часть отвлеченной лексики и большое количество экспрессивных слов и оценочных словообразований» (Капаназде 1984; 29; см. также о стереотипизированных штампах оценки в городской речи Урала: Клычников 1990).

Можно высказать также и гипотезу о том, что в широком аспекте именно эта обывательская тяга к укрупнению факта и, тем самым, к доведению его до того порога перцепции, когда факт воспринят, то есть валоризован, воплощается — уже на вербальном уровне — в некоторой особенности, отличающей речь обывателя, особенно поднятого судьбой на высокую должность.

Речь идет о явлении очень характерном, но, как кажется, еще никем не описанном, а именно о стремлении сделать слово более длинным и потому — как бы более весомым. Несомненно, что интеллектual выбирает более короткое слово в ниже приводимых парах, а обыватель — более длинное (часто удлинение вербальной единицы ограничивается хотя бы одним слогом).

См. такие пары: *Муж — супруг; Жена — супруга; Есть — кушать; Жить — проживать; Будьте добры — Будьте любезны; Учить язык — Изучать язык; Сообщать — информировать; Спать — отдыхать*³ и т. д.

Интересно то, что этому удлинению подлежат самые простые слова, передающие базовые жизненные понятия. Иначе говоря, обыватель интуитивно хочет повысить значимость таких базовых понятий, увеличивая объем эквивалентных им лексических единиц. Вероятно, прежде такую «удлиняющую» роль играло «слово -ерс» и другие добавки подобного типа. Интересно, что сходное явление было отмечено японской писательницей XI века Сей Сенагон («Записки у изголовья»), которая, будучи придворной дамой при дворе императора, заметила, что японские придворные стремятся увеличить простые слова, вставляя в них какие-то дополнительные элементы, и, по ее мнению, придают себе этим значимость.

Нелюбовь к конкретному единичному факту

В данном случае под конкретным единичным фактом понимаются лингвистически неидентичные явления. Во-первых, это тот вид неопределенности объекта, который в русском языке приблизительно соответствует неопределенному артиклю в артиклевых языках. Например, *Вчера в электричке одна женщина рассказывала...* Существенно, что при этом в общении фигурирует один феномен или некое неопределенное, но конкретное множество этих феноменов. Нелюбовь к такому единичному факту, как уже говорилось, характерна для газет массовой ориентации (особенно для заголовков), мгновенно преобразующих единичный факт в множественный (разумеется, это явление сопрягается и с мультипликацией). См. уже упоминавшийся выше заголовок «Вечерней Москвы»: *В метро все чаще падают* — об упавшем на рельсы и не пострадавшем пьяном. Подобного рода конструкции нередко являются поводом для волнения масс, стихийного террора и проч. под лозунгом «*Наших убивают!*» (может одновременно быть и мультипликацией, и укрупнением факта!) и им подобным.

В текстах традиционной культуры также мы имеем дело не с единичным, но неопределенно обозначенным фактом, а с фактом генерализованным. *По горам по долам ходит шуба да кафтан* — это и вообще баран, и, так сказать, Первобаран, но никак не конкретный неизвестный баран. Разнообразные по экспериментальной установке трансформации статуса референции имени в русских паремиях (переводы на артиклевые языки, переводы с артиклевых языков, интерпретации разного рода) показали невыявленность (точнее, невыявляемость) референциального статуса имени в грамматике паремий, тяготение не к оси обобщенность—конкретность, а к оси обобщенность—неопределенность (см. об этом подробно: Николаева 1994). Именные структуры в основ-

³ В последнем случае речь идет, конечно, не только об удлинении выбираемой ритмической единицы, но и об эвфемистической перифразе.

ном были выражены через квантор всеобщности, что, как известно по многим современным семантическим исследованиям, свидетельствует о том, что подобные структуры номинации неверифицируемы в принципе и безразличны к конкретности действующего актанта.

Интересно отметить, что в русской традиционной культуре зло выражается в виде представителей низшей мифологии, описываемых, как правило, с *плюрализованными* показателями — русалки, лешие, домовые и т. д., но не уникальным понятием на грани имени собственного, вроде Вельзевула или Люцифера. В этом отношении можно вполне согласиться с Н. И. Толстым в том, что языческий пантеон на Руси просуществовал недолго (Толстой 1987), но и объяснить это так, что боги пантеона были уникальными, конкретными и единичными.

Таким образом, все описанные способы реализации обывательской (массовой) модели сводятся еще и к предпочтению в употреблении **категории неопределенности**, по развитости и по числу категориальных единиц превышающей в русском языке другой член оппозиции — категорию определенности. Об этом свойстве русской грамматики как о русской грамматической доминанте в последние годы писали немало, в том числе и автор этих строк.

Естественно, что описанные коммуникативные категоризации подводят к третьему признаку.

Нелюбовь к сообщению информации

Наблюдать это качество могли все представители более старшего возраста еще лет пять-шесть тому назад. Все эти *Там написано* или *Вы что, ценник не видите?* на самом деле не случайны. Приведем несколько примеров наших записей беседы обслуживающего с обслуживаемым в московских магазинах и учреждениях (необходимо уточнить, что записи были сделаны в конце 1989 — начале 1990 гг.)

1. Касса Малого театра. Середина февраля 1990 г.:

Х (кассирше). — *Вы уже продаете на март?*

Кассирша. — *А зачем? Смысл какой? Зачем на март продавать? Разве что в училище театральное? Ведь театр закрывается на ремонт с 23 февраля!* (Единственно необходимая информация в этом и следующих примерах нами подчеркивается. — Т. Н.)

2. Музей редкой книги в Библиотеке им. Ленина. Читатель здесь впервые.

Читатель. — *Где можно взять библиотечные требования?*

Библиограф. — *А там нет?*

Читатель. — *А где «там»?*

Библиограф. — *А где всегда лежали!*

Читатель. — *А я не знаю.*

Библиограф. — *В ящике у каталога всегда были.*

3. Химчистка.

Звонит телефон.

Х (звонящий). — *Это химчистка?*

Сотрудница. — *Обед!*

4. Аптека.

Х. — *У вас есть валокордин, и в какой упаковке?*

Фармацевт. — *Можете платить 30 копеек.*

Х. — *А это таблетки или жидкий?*

Фармацевт. — *Я же сказала, можете взять по тридцать копеек.*

5. Магазин «Гастроном».

Х. — *Спички — по две копейки коробок?*

Продавщица. — *И когда это было?*

6. Булочная. Обеденный перерыв.

Х. — *После обеда у вас будет сахар?*

Продавщица. — *У нас обед!*

Цель «обслуживающего» в подобных диалогах была показать покупателю, что, незнающий, он является социальным аутсайдером (а, как говорилось, быть таковым — это самое страшное в массовой культуре), что в ее руках — воспитание (через возможное унижение) такого аутайдера. Но и сообщать информацию не хотелось. Видно, как в настоящее время это нежелание отчаянно борется с требованиями «рыночной экономики» — когда, например, в дорого оплачиваемых рекламах или рекламирующих заметках в газетах все-таки не сообщается адрес (например, рекламируемого парикмахера, врача), не сообщается имя, в кафе не вывешиваются цены на улице, как в других странах и т. д.

В разговорах частного характера нередко информация, то есть чисто денотативный феномен (видимо, обсуждение бывает на денотативном уровне затруднено), переводится в другие коммуникативные планы. Например, обсуждение информации переводится в план эмоциональный: говорящий спокойно сообщает нечто, а в ответ слышит: *«Ну, не стоит так волноваться по этому поводу»*. Чаще всего стараются подвергнуть сомнению источник информации: *Х сказал, что... — Да все врет, небось* и т. д. (хотя в принципе этот Х никогда не имел репутации лгуна).

Таким образом, вырисовывается некая стереотипизированная модель, в которой происходит **вытеснение конкретной информации, царит неопределенность, явления мультиплицируются, а конкретный факт, для того чтобы быть отмеченным (валоризованным), должен быть сильно укрупнен.**

Какому же социальному классу соответствует эта валоризованная модель речеупотребления? Мы говорили об «обывателях» как о некоем обобщенном классе; думается, что она помещена также внутри каждого из нас, но образование и четкость разума помогают ее вытеснить. Возможно — но это уже вопрос для социопсихолога, — именно эта модель как-то сводится к феномену так называемого коллективного бессознательного.

§ 14. Краткие выводы

В качестве ответной реакции на насмешливые замечания представителей так называемых точных наук, которые приходилось так много слышать в конце 50-х и начале 60-х о том, что лингвистика не точна, не имеет четких определений, описания ее не минимизированы, язык, в ее представлении, не «экономен» и проч., хотелось бы спустя почти сорок лет сказать доброе слово о своей науке и воспеть панегирик ее объекту.

Собственно говоря, в те годы не был поставлен простой вопрос — а насколько наука об объекте должна быть ему адекватна? Может быть, человек и его язык организованы гораздо сложнее, чем движение планет или таблица элементов Менделеева? Может быть, несомненность эклектики — это и есть развивающаяся жизнь? И, может быть, человек — действительно, «венец творения»? И «точные науки» просто до него еще не доросли?

Попробуем описать разные науки через серию из трех вопросов.

1) Как это устроено?

На это отвечает геология, физика, химия и далее.

Лингвистика должна на этот вопрос ответить обязательно.

2) Как оно (это) функционирует?

На этом этапе включается ботаника, зоология, вообще — естественные науки.

Современная лингвистика не мыслится без ответа и на этот вопрос.

3) Как человек может этим манипулировать?

Только язык (понимаемый, конечно, широко) этому отвечает.

И это лингвистика сейчас исследует и описывает.

Таким образом, лингвистику (то есть науку о человеческих языках) можно считать областью самого высокого познания.

Разумеется, все это в полном объеме — задача будущего.

Но в первой части книги хотелось хотя бы фрагментарно представить именно этот, манипуляционный, аспект языковой сферы, наиболее антропоцентрический.

Во второй части собраны исследования, описывающие «как это устроено» и «как это функционирует».

Таким образом, в первой части исследуется язык «для человека», а во второй — «в самом себе и для себя», хотя иногда может казаться, что речь идет об одних и тех же объектах.

К каким же выводам приводят исследования, помещенные в этой первой части? Или, говоря иначе, какой основной гипотезе они служат?

1. Первый фактор — антропоцентрический.

Человек стремится познавать все больше информации в единицу времени. Или — он вынужден воспринимать все больше информации в единицу времени.

Но в его сознании существуют по крайней мере две модели — валоризованная, включающая в себя осознанные «образы», отражающие эмпирию, но не идентичные ее элементам, и модель, воспринимающая эти факты эмпирии.

Переход от эмпирической к валоризованной довольно сложен: он определяется уровнем культурного (в смысле культуры человечества и социального развития) — в культурах «холодных» он почти нереален, а в «горячих» — требуется усиление некоторого перцептивного порога, чтобы факт эмпирии «перескочил» в валоризованную структуру, вытеснив что-то бывшее или нечто добавив.

2. Второй фактор — языковой.

Для того чтобы соответствовать своему хозяину — человеку, язык также стремится передавать больше информации в единицу времени. У него существуют для этого две возможности — компрессия и суперсегментизация. Обе возможности осуществляются как на звуковом, так и на грамматическом, строевом, уровне.

Суперсегментизация связана с компрессией: она не может осуществиться без включения категории слитности, которая для звукового уровня создает возможность мелодических контуров, а для строевого осуществляет «синтактизацию», несвободность селекции на синтагматической оси.

Суперсегментизация возможна только при наличии некоей нейтральной структуры, на базе которой она и может возникнуть. Нейтральное и маркированное друг без друга, таким образом, не существуют, но, возможно, нейтральное и существует отдельно — это уже в качестве ответа на вопрос: как это устроено? Это и должна решать диахрония.

Маркированное, как правило, предполагает необязательность своего воплощения и/или наличие выбора, который так же предполагает свободу манифестации.

Нейтральное подчинено правилам и автоматизировано. Его устройство подчинено определенным законам и свободы не предполагает.

Маркированное обращается к валоризованной сфере сознания. Как нам представляется, доказательством тому может служить простое указание на некоторые кажущиеся сначала не столь сложными трудности лингвистической таксономии.

Дело в том, что именно эти языковые феномены — словесное ударение, акцентное выделение, выявление стереотипического отрезка — на фоне остальной «свободной» речи оказывается невероятно трудно выявить снизу, через факты эмпирии. Ударный слог бывает не самым высоким, не самым интенсивным, не самым длительным. Фразеологизм от свободного сочетания тоже трудно отличить формально, так как узко перечислимыми бывают и факты управления, и набор сочетающихся лексем. И акцентное выделение не всегда отчетливо видно на интонаграммах. А однако — они определяются — при включении когнитивно-перцептивного фактора — абсолютно точно, потому что они обращены к системе валоризованных единиц. Точно так же бывают красавицы, и

все согласны с этим, но они не соответствуют обмерам и нормам, и наоборот — мисс Х кажется унылой. Так же трудно бывает объяснить выбор в любви, выбор в антипатии, выбор профессии, если она — призвание. Очевидно, здесь имеет место прямой контакт с неэмпирической системой.

Все сказанное выше относится к возможностям языковой системы служить человеческой потребности манипулировать языком и никак не претендует на другое свойство языка, которое, конечно, несомненно и которое долго почиталось единственным, — это описание действительности. Кое-что об этом будет во второй части книги.

3. Как это реально отражено в помещенных выше разделах?

Выявляется первичная нейтральная область, на базе которой развивается перцептивно значимый объект. Это — просодическая схема слова, изофункциональная звукотипу, это и поэтическая строка, четко лимитированная. Это — нейтральное фразовое ударение, функции которого — делимитация и определение коммуникативного типа высказывания. Им противостоят словесное ударение и «акцентное выделение», факторы маркированные. Высказываются идеи о чисто антропоцентрическом факторе преобразования просодических систем языков античности (необходимость временного компрессирования!). Акцентное выделение сообщает дополнительные смысловые строки. Этому же способствует особый класс языка — частицы, которые и сосуществуют часто с акцентным выделением и в то же время функционально ему параллельны.

Дополнительные строки создаются и в грамматической системе — когда четкая дистрибуция функций уже определилась и употребление «не на своем месте» создает искомые коннотации. Подобные вопросы решаются на примере русских неопределенных местоимений и посессивов. Более подробно исследуется эволюция воплощения «дополнительного» несобственно посессивного значения у русского притяжательного местоимения *свой*.

Это же положение о размещении «дополнительного» на неправильном месте, там, где должно быть собственно грамматическое решение, выявляется на базе синтаксических структур (раздел о «Лингвистической демагогии»).

Дополнительный смысл приобретается и путем «монтажа» (именно в соответствии с киноидеями С. М. Эйзенштейна) стереотипизированных речений, «чужой речи», сопоставленных на синтагматической оси с участками «свободной речи».

Многие семантические категории, реализация которых осуществляется таким образом, связаны с понятиями нормы, генерализации и под. Такие посылаемые семантические сигналы обращены к валоризованной системе, менее гибкой и потому менее чутко реагирующей на демагогические средства. Доминирование валоризованной системы видно на таких простых примерах, как частые реакции не слишком образованных людей типа: «А что Вы кричите?» — на нечто хотя бы и сказанное тихо, но неприятное им по сути, то есть происходит как бы трансверсия укрупненного объекта с сознания на воплощение.

Последний раздел посвящен, как мы надеемся, попыткам речемышления «обывателя» соотносить и в то же время не соотносить валоризованную и эмпирическую системы: укрупнение факта, борьба с информацией, борьба с конкретным фактом и т. д.

Примечания

§ 1. Т. М. Николаева. Лингвистика начала XXI века: попытка прогнозирования // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции, т. 11, М., 1995.

§ 2. Данный параграф основывается на следующих работах автора: Диакрония или эволюция? // Вопросы языкознания, 1991, № 2; Теории происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания, 1996, № 2; Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // Вопросы языкознания, 1984, № 3.

§ 3. В параграфе используется текст нашей статьи: Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // Вопросы языкознания, 1993, № 2, а также разработки этой идеи в наших монографиях и статьях по интонации и ударению в последнее десятилетие.

Интересно привести здесь пример и личного характера. В конце 80-х годов я записала большой отрывок на македонском языке от диктора-македонца. Оставшись наедине с текстом, я поняла, что совершенно не слышу ударений и не вижу их реализаций на интонограммах. Тогда я расставила ударения по словарю, там, где это было просто, затем обратилась к грамматическим правилам, боясь ошибиться при флективных формах. Когда во всем тексте ударения были проставлены, я стала опять его прослушивать и была просто поражена: ударения были так отчетливо слышны, что невозможно было поверить, что их нельзя было никак услышать еще недавно.

§§ 4 и 5. Параграфы 4 и 5 основываются на работах автора: Семантика акцентного выделения. М.: Наука, 1982; Место суперсегментных средств в структуре текста // Сборник статей по вторичным моделирующим системам, Тарту, 1973; Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности в славянских и балканских языках // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках, М.: Наука, 1979; Функции акцентного выделения и синтактико-семантическая структура высказывания // Фонетика. Фонология. Интонология. Материалы к IX Международному конгрессу фонетических наук. М., 1979; «Экстренное введение в ситуацию»: особый вид просодического выделения // Теория языка, методы его исследования и преподавания, М.: Наука, 1981; Синтаксическая акцентология и/или фразовая интонация // Фонетика. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук. М., 1983; Функции акцентного выделения в устной

научной речи // Современная русская устная научная речь, т. 1, Красноярск, 1986; Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи-2, Л., 1989; Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // Вопросы языкознания, 1993, № 1, 2.

§ 6. Изложенные ниже соображения опубликованы в книге автора: Функции частиц в высказывании. М., 1985.

§ 7. Фактическая часть параграфа повторяет статью: Стихотворная и прозаическая строки: Первичное и модифицированное // *Balkanica*, М.: Наука, 1979.

§ 8. Данный параграф основывается на статье автора: Фонетическая природа греческого и латинского ударения: Преемственность, эволюция, скачок? // Палеобалканистика и античность, М.: Наука, 1989, а также на разделе «Латинско-греческая просодия» в монографии «Просодия Балкан» (М., 1996).

§ 9. Использовались результаты следующих работ автора: Функции частиц в высказывании, М.: Наука, 1985; Поссесивность и другие содержательные категории высказывания // Категория поссесивности в славянских и балканских языках, М.: Наука, 1989; Первичная и вторичная семантика русских словосочетаний с неопределенными и притяжательными местоимениями // Сборник в честь А. Богуславского. Фг.а.М., 1992.

§ 10. Параграф основывается на исследовании автора: Средства различения поссесивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория поссесивности, М.: Наука, 1986.

§ 11. Параграф основывается на следующих находящихся в печати работах автора: Социолингвистическая дистрибуция речевых, коммуникативных и ментальных стереотипов (в печати); Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // *Revue des études slaves*. LXVI, 3, 1995 (совм. с И. А. Седаковой); О параллелизме в функционировании речевых клише и некоторых суперсегментных просодических моделей // Фразеология в контексте культуры. М., 1989.

§ 12. В основе параграфа лежит статья: Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенциональности, М., 1988.

§ 13. На эту тему написана работа автора: Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого—Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В. В. Иванова, М.: ОГИ, 1999.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Язык — РАЗГАДКИ И ЗАГАДКИ

§ 1. Краткое введение

Выше говорилось о трех возможностях языковой системы: 1) манифестировать, как «это устроено», 2) демонстрировать, как «это функционирует», и 3) предоставлять человеку возможность «этим манипулировать».

Именно третьей особенности языка была посвящена первая часть нашей книги.

Совершенно очевидно, что только синтагматическая ось в этом случае оказывается в центре внимания лингвиста.

Поэтому во второй части основное внимание уделяется выявлению единиц речевого потока, проблемам их таксономии и определению их функционирования.

В первой части никак не освещался вопрос о том, как именно язык отражает действительность. Между тем — это другая его сторона, если первой считать его отношения с человеком. Более того, можно предположить, что социальный аспект языка воплощается именно в этой языковой ипостаси. Даже настойчиво исследуемая в последние десятилетия «модель мира» именно социальна, а не индивидуальна. Трудно представить себе, как может этим манипулировать отдельный индивид. Он может только лгать, и не более того.

Итак, язык — это двуликий Янус, связывающий человека с действительностью и в то же время не позволяющий ему полностью с нею объединиться.

Собственно говоря, именно этим связям и служат такие разные феномены, как фразовая интонация, пунктуация (особенно — русская), сентенциальные частицы и даже грамматика паремий, вводящая индивидуала в регламентированную социальную сферу и демонстрирующая видение мира, быть может, древней поры.

Как мы надеемся, и в этой, второй, части будут ясны общие интересы автора, которые всегда сводились к чему-то, если можно так выразиться, сукцес-

сивному. Поэтому мне никогда не удавалось исследовать что-нибудь вне контекста, вне синтагматических отношений — ни семантику отдельных слов, ни этимологические связи, ни даже логику отдельных концептов.

Можно предвидеть опасность того, что вторая часть настоящей книги окажется самой скучной — она трактует в большей степени формальные моменты и располагается между описанием «смысловой игры» и эволюционных гипотез, с одной стороны, и семиотическим анализом литературных текстов, самих по себе интересных и загадочных — с другой. Однако всякая линейная протяженность, в том числе и наша жизнь, тоже располагается между четко развивающимся и обещающим началом и столь же четко обозначенным печальным концом. В интонологии это называется «принципом шляпы (a hat)».

В первой части говорилось о двух системах нашего речевого мышления — валоризованной и эмпирической. Говорилось и о том, что для прорыва в валоризованную систему необходимо не только накопление фактов эмпирии (естественно, это и есть знакомый с детства «переход количества в качество»), но и определенный уровень ментальной подготовки и ментального состояния. Большую роль при этом играет и словесное воздействие. Поэтому вся первая часть в известной степени как бы опровергает восточную пословицу: «Сколько ни говори *сахар*, во рту слаще не станет». Безусловно, станет!

Итак, вторая часть книги нацелена в большей степени на анализ формальных средств языка и их способности описывать единицы Действительности.

Однако и тут необходимо отметить тот факт, что автор предлагаемых ниже исследований никогда не преследовал никаких собственно прикладных задач, связанных с языком. Между тем более чем сорокалетняя работа в лингвистическом «подразделении» Академии наук привела меня к выводу, что — вольно или невольно — исследователь прикладной установки стремится представить (и обнаружить!) те качества языковой системы, которые можно назвать стопроцентными, и — введя их в практическое описание — быть уверенным в правильном дальнейшем воплощении именно этого языка, и никакого иного. Между тем во всяком реальном языковом существовании обнаруживаются тенденции, иногда даже и не фреквенталии. Каждая из них реализуется не стопроцентно. Часть из них — несостоявшиеся окончательно инновации, часть, напротив, рефлексии неких старых систем, часть — инкорпорированный фрагмент какой-то заимствованной системы и под. Эти системы часто напоминают те «колеблющиеся смысловые признаки» в стихе, о которых говорил Ю. Н. Тынянов и которые иногда реализуются только «в тесноте стихового ряда». Обнаруживаются эти системы, как правило, в тех фрагментах языкового существования, где имеет место **выбор**, оставляющий в то же время возможность им не воспользоваться. Таким образом, демонстрация контрпримера в данном случае «не работает». Носитель языка может не различать на более тонком уровне *-то*, и *-нибудь*, *-нибудь* и *-либо*, *хотя* и *хоть*, не видеть различия в высказываниях «Пойду возьму пальто» и «Пойду возьму свое пальто», не использовать

тонкий подшерсток «акустических параметров при реализации ударения» и под. И он имеет на это право. Иначе говоря, как и в жизни, многое несомненное и существующее отнюдь не является обязательным.

И далее. С очень большой осторожностью можно, на основании анализа успешивных единиц широкого плана, — говорить о существовании **третьей системы** в ряду отношения Человек—Язык.

Система эта не подлежит манипуляции, не является той совокупностью реляций, о которых писал Ф. де Соссюр, эксплицируя свое понимание языка как системы, напротив, вся она строится на неких **абсолютных показателях**. К этому выводу я пришла, исследуя просодические характеристики балканских языков (см. ниже) и обнаружив с изумлением, что дикторы — носители разных языков выбирали абсолютно совпадающие временные характеристики для воплощения ударных гласных, протяженности речевых отрезков и т. д. — при расхождении мелодических систем. Сходное явление мы видим, например, при выборе акцентного выделения после заданного списка частиц — в сущности, ничем не мотивированном, ибо ведь может и не быть акцентного совпадения у *даже*, *sogar* и *even*. Более того, при образовании тех же многокомпонентных частиц вроде *у-же-ли*, *а-ж-но*, *то-ли-ко* и под. возможно, как показала компьютерная программа, построение нескольких тысяч (!) таких комбинаций, однако язык выбирает из этого несколько десятков, а потом переходит на другие модели.

Трудно сказать, на что именно в языке эта пока смутно мерцающая для лингвистов третья система распространяется (кажется, что парадигматические системы как будто бы через нее описывать сложно). Трудно сказать также, зависит ли она от физиологического устройства человека: ведь явно наша способность к компрессии речи ограничена артикуляторными возможностями. Неясно также, в какой прогрессии эти способности развиваются. Так, по-моему, невозможно определить функции и сущность интонации точнее, чем это сделал А. С. Грибоедов: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». Здесь заложены основы кодифицированной интонации: правильное разбиение на синтагмы («с расстановкой»), верное определение места акцентных смысловых подчеркиваний («с толком»), выразительная передача должной эмоциональной окрашенности («с чувством»). Но самое суггестивное в словах Фамусова — это: «Не как пономарь». А почему, собственно, так читает пономарь? Потому ли, что он плохо понимает читаемый текст, или он воссоздает некую более древнюю традицию, переходящую от поколения к поколению?

Одну попытку подойти к этой проблеме мы сделали, сравнив чтение разными дикторами — носителями разных языков чтение художественного текста, чтение стиха и чтение сказки (см. книгу «Просодия Балкан» (Николаева 1996), эти исследования далее не приводятся). Однако довольно быстро стало ясно, что доказать древность интонационного воспроизведения сказки нельзя, так как это может быть просто диктат жанра.

Таким образом, выделение этой третьей системы в ее оформленном виде — очевидно, дело будущего. Но без этого также невозможно разгадать движущие пружины языковой диахронии.

§ 2. Интонация. Ее составляющие — параметры. Их функционирование

Не представляет секрета тот очевидный факт, что просодическая часть знаменитого труда Н. С. Трубецкого значительно уступает по эффектной и элегантной законченности части фонетико-сегментной. Просодическая часть книги близка к дескриптивности, и многие положения, теоретически важные, остаются здесь неопределенными. Прежде всего — это вопрос о фонемном статусе просодических единиц. В «Основах фонологии» сказано, что фонемы — это «кратчайшие части звукового ряда, которые выполняют эту функцию». То есть функцию, которая «способствует и облегчает узнавание и отождествление слов и частей слова, которые имеют символическую значимость» (Трубецкой 1960; 51—52). Признаки просодические — это признаки **звука**. Н. С. Трубецкой говорит о трех функциях признаков звука: 1) вершинообразующей, или кульминативной, 2) разграничительной, или делимитативной, 3) смыслоразличительной, или диссертивной. Тогда, следуя за Н. С. Трубецким, в одном языке ударение (например, в польском) выполняет функцию кульминативности, в чешском — вторую, разграничительную, в русском — третью, то есть явления как бы гомогенные становятся гетерофункциональными и просодия распадается. Сам Н. С. Трубецкой, несомненно, это понимал. Поэтому в «Основах фонологии» раздел «Просодические признаки» по сути трактует все просодические свойства языка в совокупности и излагает некую единую трактовку просодической системы. Более того, Н. С. Трубецкой вводит здесь новую концептуальную единицу — просодему: «Под просодемой мы понимаем минимальную просодическую единицу данного языка, иными словами — слог в слогосчитающих языках и мору в моросчитающих языках» (там же; 222).

Как именно соотносятся между собой просодема и фонема, Трубецкой не пишет, и далее весь этот раздел его книги представляет собой перечень-описание самых разнообразных просодических явлений, а не только тех, которые могут быть скоррелированы в качестве привязки к сегментным элементам: фразовая интонация, фразовые ударения, фразовые паузы и т. д. При этом в его книге легко различаются единицы, несомненно не являющиеся двусторонними знаками, например корреляции толчка, и единицы, значимые сами по себе, — например интонации переспроса или общего вопроса. В этом плане и «фразовое ударение» (см. «То слово, которое должно быть выделено по смысловым соображениям, получает экспираторное ударение» — там же; 251) никак не подходит под определение просодического признака как компонента фонемы.

Итак, Н. С. Трубецкой вплотную подошел к созданию теории просодии как автономной системы со своей собственной иерархией единиц — и остановился...

Возможно, потому, что изначальная градуальность, недискретность просодических данных не была ему, открывателю красивых симметрических фонологических конструкций, конгениальна. Возможно, потому, что просодические признаки были частью сложнейшей и до сих пор не описанной диахронически языковой системы, как можно предположить (и такие предположения есть!), на самом деле первичной по отношению к сегментной фонетике.

Р. О. Якобсон, излагая впоследствии подход Н. Трубецкого к фонологии, подчеркивал «связочную» функцию просодических признаков: «Различительные свойства фонемы делятся на две группы: первая группа — это ее неотъемлемые свойства, расположенные на оси одновременности, вторая группа — это просодические свойства, имеющие отношение только к оси последовательности» (Якобсон 1985; 67). «Короче, именно просодические свойства связывают фонему с этой осью» (там же; 85). Однако Р. Якобсон чувствовал в просодическом слое нечто, не поддающееся строгой теории, которой он и сам хотел придерживаться, и потому эклектика его ранних работ дает сейчас очень много для размышлений, как и всякая эклектика, имя которой — жизнь. Собственно ударению посвящено несколько работ Якобсона, написанных в период между войнами. Впоследствии его интерес к сути просодических явлений угасал, и в более поздних трудах он уже повторял свои замечательные прозрения 20-х и 30-х.

Можно сказать, что само слово «суперсегментный» в течение длительного времени своей внутренней формой облегчало задачу таксономической квалификации явлений подобного рода. В сознании исследователей предполагалась реально существующей по-ярусная система речепорождения и восприятия, согласно которой слоги складываются из фонем, слова — из слогов, синтагмы — из слов, высказывания — из синтагм, а на все это как бы «сверху» накладывается некий «суперсегментный» контур (возможен вариант: он складывается из микропросодических суперсегментных компонентов, соотносящихся с сегментными единицами). Такой подход получил название принципа “bottom up” («снизу»), в противоположность другому, то есть “top down” («сверху»). При этом подходе просодический костяк считается для восприятия первичным, а сегментные структуры — наоборот, вторичными, различаемыми лишь после восприятия просодических и в соответствии с последними. (Экспериментальное обоснование этого подхода, где с определенностью утверждается перцептивное доминирование более абстрактного уровня, см.: Касевич, Шабельникова 1987). Идея именно просодического приоритета в нашей перцепции реконструирует также предполагаемый принцип восприятия человеком и других единиц, в частности лексем, для которых при подходе top down не обязательно быть цельнооформленной и сепаратно воспринимаемой единицей; как показывает эксперимент, слово воспринимается не целиком, а по пучку неких ярких спек-

ральных характеристик, соотносящихся с узловыми суперсегментными показателями (Bannert 1987).

Важно отметить, что и теория текста пришла к сходным общетеоретическим выводам, согласно которым текст воспринимается через совокупность неких ярких знаменательных компонентов, образующих в комбинации основной смысловый каркас слова. (Об этом см. в третьей части нашей книги — раздел «Единицы языка и теория текста»). Интересно также, что, как показывает еще один эксперимент, люди членят просодическую цепь по-разному: для фрагментов осмысленных и для фрагментов бессмысленных. Так, аудиторы-чехи делили последовательность XXXXX предпочтительно как XXX XX для осмысленных цепочек и как XX XXX — для чисто ритмических решений (Pálková 1987).

Противопоставленность этих двух подходов обсуждается на международных фонетических конгрессах все отчетливее. И каждый из них находит для себя экспериментальные подтверждения. В целом представляется, что оба принципа не противоречат друг другу, а находятся как бы в зеркальных отношениях. Видимо, необходимо понять при этом и гибкость функциональной природы самой человеческой перцепции, возможно явно человеком и не всегда осознаваемой, а именно — в каждом конкретном случае важно одно: либо сделать родо-видовое обобщение, либо опознать требуемый конкретный объект.

Из сказанного следует далее, что суперсегментный слой и многослоен, и многоэлементен. Выше, в связи с теорией Н. С. Трубецкого, подчеркивалась его градуальность в эмпирии. Возможно, это и остановило и Трубецкого, и Якобсона, отняв у них дальнейший интерес к просодическим фактам, где нужно ясно понимать, что мы накладываем дискретную сетку валоризованного описания на изначально недискретный поток фактов.

Несомненно, что лингвистика будущего не будет бояться первичного хаотичного «дыма», из которого возникали будущие языковые единицы. И просодия, и диффузные поначалу партикулы в этом дыме играли не последнюю роль.

Однако теперь обратимся к двум не совпадающим реально концептам: **интонация фразы** и **фразовая интонация**. Русский язык позволяет их различать. Итак, интонация фразы — это некоторая многослойная структура, надстроенная над конкретной фразой. Фразовая интонация — это языковой уровень, образованный примерно таким же образом, как и другие уровни языка. О различии их будет говориться ниже.

Следующая проблема — показать и доказать, что фразовая интонация есть единство различного. А именно — доказать, что основные составляющие интонации — мелодическая, акцентная и временная, то есть основные параметры интонации, — не только имеют свою формальную и не совпадающую структуру, но и служат различным функциям при передаче смысловых отношений. В первой части книги говорилось уже достаточно много о не совсем ожидаемых типологически совпадениях, выражаемых через акцентное подчеркивание.

Эту задачу — разведения интонационных параметров — в свое время выполнил наш эксперимент по проверке так называемого компенсационного закона А. М. Пешковского, проведенный более тридцати лет назад, который дал для того времени непредсказуемые результаты. Поэтому, как кажется, имеет смысл и сейчас эти результаты продемонстрировать.

Наконец, существенно понять, функционируют ли интонационные составляющие — параметры — абсолютно изолированно, или же они объединяются в некоторые пучки, служащие также, в свою очередь, передаче смысловых отношений на уже новом уровне восприятия. Эти вопросы также решались экспериментальным путем, и примерно в тот же период было сформулировано понятие «интонемы», которое, как кажется теперь, снова может быть востребовано, но уже для более глубокого рассмотрения семантики межфразовых связей в языке вообще.

1. Три интонационных слоя звучащей фразы

Смешение универсального и специфического в описании интонации не есть результат одной недостаточности лингвистической теории; это смешение проистекает из самой специфики материала, т. е. из суперсегментных свойств звучащего потока.

Во всех этих концепциях представлена или одна оппозиция: слово/фраза (т. е. фразовая интонация представляет собой как бы всю просодию высказывания минус словесная просодия), или если и рассматривается интонация предложения, то только с точки зрения ее фонетической структуры. Типологические проблемы при этом не ставятся.

Все конкретные наблюдения над фактами интонации отдельных языков говорят о том, что во всяком звучащем отрезке представлены три интонационных слоя, каждый из которых может быть расчленен, описан отдельно, а сама интонация фразы таким образом стратифицирована. Именно нерасчлененный подход к этим трем слоям и приводит к тем противоречиям интонационного описания, о которых говорилось выше. Эти три слоя следующие: 1) универсальный слой; 2) слой словесной просодии данной фразы; 3) специфический интонационный слой, отражающий фразовопросодические особенности данного языка.

Как видно, интонация предложения не просто противопоставлена просодии слова, а распадается сама на две части: универсальную и специфически языковую. Идеальным результатом развития интонологической теории явилось бы унифицированное и точное перечисление универсальных свойств интонации, которое было бы известно каждому исследователю в той же степени, в какой известны, например, сведения по морфологической типологии или транскрипции Международной фонетической ассоциации. Тогда исследователи интона-

ции отдельных языков могли бы стремиться найти интонационную специфику своего языка или внести коррективы в набор интонационных универсалий.

Остановимся на каждом из трех слоев более подробно, стараясь хотя бы эскизно наметить их состав и специфику.

Универсальный слой

В интонационный универсальный слой, как нам представляется, также включаются три разных аспекта, касающихся трех разных сфер интонации:

- 1) сфера первая — структура и функции плана содержания;
- 2) сфера вторая — отношение плана содержания к плану выражения;
- 3) сфера третья — структура плана выражения.

План содержания, т. е. собственно смысловая сторона фразовой интонации, в своей универсальной части оказывается более объемным, чем это обычно предполагается исследователями одного языка. В него входит прежде всего сама смысловая структура уровня в целом: так, во всех языках темп передает отношения важности/неважности, мелодика показывает связность/несвязность и т. д. Такое явление, как смысловая градуальность пауз между синтагмами, несомненно, универсально; заранее можно сказать, что причинно-следственные отношения и отношения результата будут передаваться большей паузой, чем отношения непосредственно примыкающих друг к другу событий. Во всех языках фразовая интонация, помимо знаково-интонемного содержания, передает еще и эмоционально-оценочное значение, при этом эмоциональная сторона речи раздваивается — одни эмоции передаются одинаковыми для всех языков средствами, другие специфически языковыми, находящимися в компенсаторных отношениях с интонемными показателями.

Та общая семантика бинарных противопоставлений, которую предложил С. И. Карцевский для двусинтагменной фразы, также представлена во всех языках. Выше говорилось о том, что семантика интонационного слоя еще остается неопианной и список интонемных отношений — это открытый список. Это остается справедливым, однако в наборе интонационных значений всех языков присутствуют и такие смыслы, как пояснение, вводность, эмфатическое выделение, логическое подчеркивание, противопоставление, перечисление, предикативность и т. д.

К сфере соотношения плана содержания и плана выражения относятся передача вопросительного предложения восходящей мелодикой, общего сообщения — понижающейся мелодикой, сходство типа оформления восклицательного предложения, передача логического ударения усилениями акустических характеристик и т. д. В эту же сферу входит различие вопроса и переспроса, различие общего вопроса и вопроса с вопросительным словом и т. д.

Сходство в структуре плана содержания представлено для естественных языков и на других уровнях. Так, например, во многом совпадает набор грамматических категорий, передаваемых словообразовательным уровнем, глубин-

ным значением падежа и т. д. В области же фразовой интонации исследователей издавна поражало чисто фонетическое сходство субстанционной категоризации, которое не могло быть объяснено через смысловую структуру. Это сходство давало основания для объявления всего интонационного уровня явлением универсальным, покоящимся на общефизиологической речевой основе¹.

К общим фонетическим явлениям (т. е. явлениям плана выражения) относится само членение звукового потока на интонационные единицы, по-разному называющиеся в разных интонационных школах (ритмическая группа, дыхательная группа, тоновая группа, речевой такт, синтагма) и т. д. Мелодический параметр, изученный для интонационного уровня в разных языках, дал основания для выведения общеканонической формы интонации простого предложения, названной «шляпой» (a hat), в разных языках эта форма варьируется (Cohen, Hart 1967).

Распространено мнение, что в ряде языков в конце повествовательного предложения представлено повышение. Однако в специально посвященной этому работе К. Хаддинг-Кох вводит представление вторичной незаконченности, наложенной на первичную универсальную модель понижения (Hadding-Koch 1965). Выше говорилось об особом типе вопросительной интонации с понижающимися заударными слогами. Как отмечает И. Фонадь, такое проникновение понижения тона в *yes/по* вопрос наблюдается во всех языках (Fonagy 1969). Во всех языках, по его данным, в конце повествовательного предложения появляется и абсолютно конечный подъем, ориентированный на коммуникативную связь (см. выше о К. Хаддинг-Кох), особенно у женщин и молодежи.

Несомненно, сама структура просодического уровня такова, что при соединении синтагм в предложении восходящая мелодика будет сочетаться с более краткой паузой, а нисходящая мелодика первой синтагмы — с более длительной паузой. В самом конечном же понижении общий интервал падения будет зависеть от числа заударных слогов и по-разному распределяться в зависимости от их количества.

Общезыковые интонационные модели накладываются на абсолютные индивидуальные модели, с внесением при этом соответствующих корректировок. При этом возникают межязыковые зональные просодические объединения — так, например, можно отличить в целом интонационные особенности севера и юга.

Многочисленные примеры, приводимые Д. Л. Болинджером, относятся именно к фонетической стороне интонационного уровня. Эффект не только в том, что выявляются мелодические сходства типологически далеких языков, но и в том, что становится очевидной эклектическая пестрота интонационных

¹ Именно на этой общефизиологической основе настаивали: Болинджер 1972, Lieberman 1967. Однако оба автора видят в интонации и конвенциональное начало.

описаний. Заканчивая перечень некоторых фактов, составляющих универсальный слой звучащей речи, мы можем, сославшись на Д. Болинджера, еще раз подчеркнуть, что «число и детализированность полученных аналогий заставляет предполагать, что если бы адекватные описания были составлены и для других языков, то некоторые из них, считающиеся столь специфическими, на деле оказались бы совсем не такими» (Болинджер 1973; 221).

Слой словесной просодии

Вторым интонационным слоем звучащей фразы, как говорилось выше, мы считаем те просодические явления, которые обязаны своим появлением просодии конкретных слов, входящих в данную фразу или синтагму.

При этом словесные просодические сведения также неоднородны — они представляют собой факты двух видов. Первый комплекс фактов — это совокупность общих сведений о словесной просодии в данном языке. Например, это знания о том, является ли ударение в данном языке фиксированным или нет, и если фиксированным — то на каком именно слоге. Так, при ударении, фиксированном на первом слоге, интенсивность слова не будет сильной; при вопросительной мелодике или мелодике незавершенности ударный слог может быть выделен; при конечной понижающейся — скорее всего будет подавлен. При ударении, фиксированном на последнем слоге, антикаденция и полукаденция в данном языке может нейтрализоваться (т. е. дифференцирующих заударных здесь нет), повествовательная мелодика конца будет, скорее всего, иметь понижение перед ударным слогом.

Для языка существенны также сведения о том, есть ли в нем заударные и ударные фонологические долготы; представлено ли в данном языке музыкальное ударение или нет и т. д. К числу таких общих сведений принадлежат также и знания о том, какова средняя длина слова в данном языке. Так, например, специфический рисунок словенской фразы во многом объясняется средней краткостью словенских слов, обеспечивающих именно тот вид предложения, когда «ударение ныряет во фразе, как каное в волнах» (Bolinger 1955).

Кроме общих сведений, характеризующих словесную просодию языка в целом, в словесно-просодический слой входят и конкретные факты данной фразы. Например, от числа заударных слогов зависит распределение мелодического интервала в терминальном тоне, а также возможность реализации той или иной мелодической фигуры. Исследователь, расшифровывающий данные осциллограммы русской фразы-вопроса с падающими заударными, может, не зная текста, принять это предложение за повествовательное, так как конец здесь понижающийся. Существенно также, есть ли в данном слове — носителе фразового или синтагматического ударения — долгота, где она представлена: так, например, по нашим наблюдениям, в сербском слове с восходящими акцентами постударное повышение тона может полностью реализоваться на первом заударном слоге, если он долгий, или, напротив, перейти на второй слог, если

первый заударный слог оказывается слишком кратким, таким образом оказывается существенной длительность слова в целом.

Структура начала фразы, ее мелодическая форма, часто бывает представлена повышением, однако, если начальное слово имеет ударение на первом слоге, мелодика повышается на нем, затем наступает понижение; если же начальное слово имеет ударение на втором или третьем слоге, то повышение может быть до ударного слога, он же сам будет в этом случае занимать высокую позицию.

К конкретным сведениям относятся и данные о типе акцента в словах в тех языках, где они представлены. В частности, в сербском языке в вопросительной мелодике при наличии долгого нисходящего акцента будет выбрана антикаденция с падающими ударными, при восходящем акценте — с восходящими ударными.

В целом, говоря о конкретных словах, составляющих фразу и, особенно, формирующих каденционный участок, можно сказать, что здесь прежде всего существенна ритмическая структура слова (т. е. число слогов и место ударения). Многие мелодические и акцентные кривые фраз, кажущиеся при первичной расшифровке различными, на самом деле отличаются только за счет разных ритмических структур входящих лексем.

Третий интонационный слой

Это слой собственно языковой, составляющий фразовую интонацию языка X, именно его и должны обнаруживать интонационные исследования каждого конкретного языка. Но существует ли он вообще? Может быть, интонация каждой фразы состоит лишь из двух слоев — универсально-языкового и конкретного слоя словесной просодии, которая модифицирует универсальные черты, создавая для каждой фразы ее интонационную специфику? Авторы обычно говорят лишь о двух слоях — словесном и фразовом, не расщепляя последний далее.

И все же, как представляется, этот третий слой существует. Но обнаружить его иногда удается только косвенными средствами.

Приведем примеры того, что мы считаем явлениями этого третьего слоя. Прежде всего о его существовании говорит факт влияния интонации одного языка на интонацию другого языка. Для славянских языков такое влияние отмечалось неоднократно, например влияние немецкой интонации на словенскую, венгерской — на словацкую и т. д. Особенно интересным является факт, зарегистрированный для словацкого языка, где в ряде говоров с ударением на первом слоге фразовое ударение оказывается на предпоследнем слоге: под несомненным влиянием фразовой интонации соседящего польского языка.

Ни с универсальным, ни со словесным слоем не связаны такие явления, как величина частотного диапазона в подъеме и падении. К специфическим интонационным явлениям относятся и такие факты, как монотонность слогов в одних языках (украинский, белорусский, словацкий языки) и модулятивность их в других (русский, польский, сербский). Словенский язык, будучи также то-

нальным языком, отличается от сербского именно этой малой модулятивностью безударных слогов, в результате чего ударные слоги вырисовываются во фразе очень ярко. В целом деление языковой интонации на ориентированную на ударные и фигурно ориентированную (ср. русский язык, в котором существенная информация располагается на ударных, и немецкий язык, где важно выполнить некоторую мелодическую фигуру, как бы накладывающуюся на терминальный участок) также не зависит от универсальной модели и конкретного словесного наполнения фразы. Типологически различающая форма повествовательной фразы с непосредственным падением тона или с восходяще-нисходящим движением также входит в интонационную специфику языка.

Все упомянутые факты относятся к конкретному выражению интонации. Однако в инвентарь специфических интонационных средств входят и явления, определяемые косвенным путем. Например, к таким явлениям относится сила воздействия словесной просодии на тенденцию к выделению ударного слога (т. е. *strong stress/weak stress*), а также сила воздействия фразовой интонации на фонетическое слово. Эта сила воздействия может по-разному выражаться на уровне разных просодических параметров. Так, фраза может быть сильно или слабо структурирована во времени, иметь сильно (слабо) выраженную акцентную линию, сильное или слабое мелодическое воздействие — причем разное на разных участках фразы.

Со всеми этими проблемами связан сложный и тонкий вопрос: образуют ли эти специфические факты систему, т. е. системны ли те специфические факты, которые остаются, если мы «вычтем» из фразовой интонации данного языка все универсально-языковое?

Некоторые экспериментальные данные по этому поводу все же есть. Так, например, в научной литературе по русской интонации подробно описан специфический тип русского вопроса — с падающими заударными (Е. А. Брызгунова — ИК-3). Отдельно от этого в ряде конкретных описаний (особенно в зарубежных работах) упоминается о крайне высоком положении ударного слога в русском языке именно в этом типе мелодики. На основании экспериментальных данных оказалось, что оба этих признака можно объединить — высота слога; «супервысокость» оказывается компенсаторным вариантом неподнятого мелодически конца фразы. Это подтверждается тем разделом работы М. Г. Радиевской (Радиевская 1973), где исследуется чтение русских текстов иностранцами (в интонационной системе которых при вопросе обязателен конечный подъем мелодики); интонационная система этих дикторов не требует высотной компенсации для различения вопроса и ответа, и потому очень высокий частотный подъем в русском языке именно в этой вопросительной интонационной конструкции достигается при преподавании русского языка с наибольшим трудом.

Естественный вопрос, встающий перед исследователем, пытающимся стратифицировать предложенным нами тройным способом интонацию лю-

бой фразы, это вопрос о том, где же типологические характеристики интонации данного языка, т. е. характеристика не универсальная и не индивидуальная? Самый простой ответ, собственно и предлагаемый в данной работе, это — включить в третий слой характеристики типа собственно языковые данные. Дело в том, что, как это ни парадоксально, по мере развития типологии как науки понятие типа начинает исчезать из сферы языковедческих интересов (Greenberg 1973). С идеей типа соотносятся и такие элементы анализа, как замкнутость/открытость системы изучаемых объектов и число признаков, дифференцирующих эти объекты. В связи с этим возможны следующие ступени трактовки понятия типа. Наиболее простая представлена тогда, когда объекты различаются по одному какому-либо признаку, например, такова морфологическая классификация прошлого столетия, таково деление языков на консонантные и вокалические и т. д. При замкнутом числе объектов возможен и такой путь, когда сами языки, обычно полярные в этом ряду, объявляются типами, а остальные языки — промежуточными, тяготеющими к этому типу-этalonу.

Возможен и третий путь, когда набор признаков задан до анализа объектов и каждый объект соотносится с этим набором или пространством признаков. В этом случае тип есть обычно некоторое идеальное соответствие заданной части выбранных признаков.

Но наиболее сложна практически и теоретически ситуация, наиболее частая, когда необходимо всесторонне классифицировать — в их отличии друг от друга — заданную совокупность объектов, не имея ранее данного дифференцирующего набора. В этом случае признаки обычно выбираются в соответствии с данными языков анализа. Именно с такой ситуацией мы и имеем дело в нашем случае. Интонационные факты славянских языков группируются самым различным способом: поэтому если считать ведущими одни признаки, языки могут группироваться одним способом (например, по типу мелодического решения), если другие признаки — иным (например, по роли временного фактора) или третьим (по силе словесного удара). В заключительной части нами предлагается некоторая иерархия признаков и в связи с этим градация их типологизирующей силы, однако при самом первичном подходе — групповые характеристики целесообразнее включать в индивидуальные. О трудности их различения пишет в указанной работе и Дж. Гринберг («Исследование того, что специфично или особенно, на практике бывает трудно отличить от присущего по крайней мере нескольким языкам»).

В заключение мы хотим сказать, что вся история изучения фразовой интонации разных языков говорит о том, что многие факты, познанные и сопоставленные, увеличивают сферу «универсального», все большее число интонационных фактов переходит из частноязыкового в общеязыковое. Поэтому можно предполагать, что факты, воспринимаемые пока как специфические, будучи организованными в систему, утратят свою специфичность.

2. «Компенсационный» закон А. М. Пешковского

Компенсационный закон, названный А. М. Пешковским «принципом замены», упоминается в большинстве его работ, относящихся к проблемам интонации (Пешковский 1956; 49—52; 1959; 1918). Этот ставший общеизвестным принцип сводится к следующему тезису: языковые средства, служащие формальным способом выражения той или иной категории, могут разным образом комбинироваться, будучи распределенными в самом языке по степени эффективности выражения. А именно отсутствие в реальной речи одного из более действенных средств вызывает усиление того же формального качества в наличествующих остальных средствах выражения той же грамматической категории². Так, интонация и порядок слов суть вспомогательные средства, компенсирующие основные синтаксические средства (по Пешковскому, формы слов и служебные слова). Например, в приводимом ниже трехчленном ряду ударность слова «читал» возрастает: *Читал ли ты это?— Читал ты это?— Ты читал это?*

Исследование справедливости принципа замены в первую очередь требовало ясного осознания того, что же имел в виду А. М. Пешковский, говоря о компенсирующей роли интонации. При этом, как обычно при более детальном анализе внешне очевидных вещей, всплыли на поверхность некоторые довольно принципиальные неясности, не разрешимые до конца и при внимательном чтении высказываний А. М. Пешковского. А именно неясными оказались следующие вопросы.

I. Что понимал А. М. Пешковский под «интонацией»? Сопоставление терминологических его высказываний по этому поводу говорит о том, что это понятие употреблялось им в двойном смысле: а) интонация — это мелодика, т. е. движение основного тона на протяжении фразы. В этом смысле речь может идти о восходящей, нисходящей, обрывающейся и т. д. интонациях; б) интонация — это не только мелодика. Так, говоря об изменениях интонации, Пешковский говорит об усилении силы звука (интенсивность), о величине пауз, о ритме звучащего отрезка, о тембре и о темпе речи.

II. Что понимал А. М. Пешковский под словом «яркость», говоря о большей или меньшей «степени яркости» интонации в разных случаях? Ответить на этот вопрос оказалось очень сложно по следующим причинам. В русском языке слово «яркий» означает (в грубом приближении) две разные вещи: 1) *яркий* — говорят о более интенсивном качестве чего-то по сравнению с менее интенсивными признаками у предметов того же класса (*бледная зелень — яркая зелень*); 2) *яркий* говорят о выделяющемся объекте, не таком, как остальные. Так, яркие одежды противопоставляются неярким, уже безразлично какого цвета.

² Иногда указанный принцип называют «принципом Пешковского—Макаева». Имеется в виду статья: Макаев 1956.

В первом значении антонимом будет *бледный, слабый*, во втором — *незаметный, стандартный, невыдающийся*.

В применении к характеристикам эти два толкования, весьма близких на лексикографическом уровне, будут интерпретироваться уже совсем по-иному. А именно: при первом толковании более яркая интонация — это большая интенсивность, больший частотный диапазон, большая длительность и т. д. При втором толковании более яркая интонация — не такая, как обычно, резко отличная, например, не повышающаяся мелодика, а понижающаяся и т. д.

Что же имел в виду сам А. М. Пешковский? Как это ни парадоксально, оба толкования. Первое: «...утвердительные (по форме. — *Т. Н.*) предложения могут произноситься и вопросительно, но степень вопросительного повышения голоса должна в них быть тогда гораздо больше (разрядка А. М. Пешковского. — *Т. Н.*), чем в тех случаях, когда интонации помогает грамматика» (Пешковский 1959; 181).

Второе: «Когда мы произносим *Который час?* мы словами спрашиваем, а голосом как бы сообщаем. Наоборот, когда мы говорим *Он там был? Земля вращается вокруг Солнца?* — мы словами как бы сообщаем, а голосом спрашиваем» (Пешковский 1956; 50).

III. Каковы те «синтаксические значения», которые остаются инвариантными при слуховом восприятии в тех случаях, когда основные синтаксические средства отсутствуют, а интонация выполняет их функцию? Все ли служебные слова и союзы могут при опущении компенсироваться интонационными средствами или возможна нейтрализация ранее различных синтаксических конструкций в одной интонационно-синтаксической структуре?

Если подходить к высказываниям А. М. Пешковского буквально, то, очевидно, все союзы могут компенсироваться интонацией. «Различные фразные интонации могут иметь совершенно те же значения, что и все прочие синтаксические признаки» (Пешковский 1918; 180) (разрядка моя. — *Т. Н.*), и далее — п. 5 — там, где говорится о замене союзов. Однако конкретные примеры, приводимые А. М. Пешковским для иллюстрации принципа замены, — это всегда вопросительные или условные предложения (*Если назвался груздем, то полезай в кузов — Назвался груздем — полезай в кузов*), т. е. предложения с достаточно четкими синтаксическими функциями, синтаксически простые.

IV. Непосредственно с этим связан следующий вопрос: сколько же, в понимании А. М. Пешковского, существует типов интонаций? На этот вопрос крайне затруднительно ответить. В книге «Русский синтаксис в научном освещении» Пешковский говорит (на протяжении всей книги) об очень большом числе (22 вида) интонаций, называя их разными терминами, но не говоря в каждом случае о тех фактических данных (акустико-физиологических или слуховых), которые бы дали основание считать каждый выделенный им тип интонации специфическим. В целом его концепцию по данному поводу обобщить трудно. С одной стороны, интонация, в понимании А. М. Пешковского, — это особая

сторона речевой деятельности, которая «блуждает по поверхности языка», иногда сливаясь с его сегментными формами, образуя законченный речевой оборот. В этом смысле Пешковский сближается с С. И. Карцевским, прямо утверждавшим, что «интонация не имеет ничего общего с грамматикой» (Karcevskij 1931).

С другой стороны, если интонация компенсирует отсутствие союза или другого служебного слова, создавая эквивалентную по смыслу звучащую конструкцию, а союзы при этом определенным образом классифицированы, то не напрашивается ли вывод, что типы интонации а priori классифицированы согласно замещаемым синтаксическим конструкциям?

V. Есть ли разница между компенсацией чего-то и просто «большей выразительностью»? Если мы и докажем, что интонация бессоюзного предложения более ярка (в любом смысле), чем интонация союзного, то не может ли это просто означать, что бессоюзное предложение как таковое имеет иную интонацию, скажем, более подчеркнутую, чем союзное, но при этом нет никакой замены как средства выражения того же значения? В этом смысле характерно, что говорят о большей выразительности бессоюзных предложений как класса, противопоставляя его союзным предложениям в целом. Сам А. М. Пешковский пишет то о большей выразительности, то о замене, употребляя эти выражения синонимически; на самом же деле — это отнюдь не синонимы. Большая выразительность — понятие количественное; компенсирующая замена — не только количественное, но и качественное, требующее идентификации, проверки на тождественность. Несомненный интерес должна была вызвать проверка отдельных акустических компонентов интонации на компенсирующую синтаксическую функцию. В качестве основных компонентов, релевантных для такого изучения интонации, были приняты следующие величины.

1. Величина паузы. Исследовалась на границе между предложениями, составляющими союзное и соответственно бессоюзное предложение.

2. Темп речи. Исследовалась средняя продолжительность звука сопоставительно в частях, составляющих сложное предложение.

3. Мелодика фразы (интонация в узком смысле). Исследовалось движение основного тона в частях предложения (максимальная амплитуда колебаний в пределах одной тоновой единицы в *гц*).

4. Изменение интенсивности в тех же пределах (в *мм*).

В качестве объекта исследования были выбраны двусоставные сложные предложения русского языка. Такие сложные предложения, безусловно, должны входить в сферу действия компенсационного закона именно потому, что маркированный показатель синтаксических отношений — союз — может здесь отсутствовать или присутствовать, и, следовательно, принцип замены может проявляться в полной степени.

Были взяты предложения разных типов. Из академической грамматики русского языка (АГ-52-54; ч. II. Синтаксис) заимствовались (в несколько упро-

шенном виде) предложения представленных там типов, по одному на каждый тип. Затем союзы опускались. Например, предложение *Хотя уже темно, я все равно поеду* представало в виде *Уже темно, я все равно поеду*, предложение *Ясно, что ты ошибся* — в виде *Ясно, ты ошибся*. Полученные пары предложений (111 пар) читались тремя дикторами — носителями русского языка (дикторы Х и М — мужские голоса, диктор Н — женский). Перед опытом примеры были перемешаны. Цель опыта была известна диктору. Чтение записывалось на магнитофон, магнитофонная запись переводилась затем на осциллографическую. Эксперимент производился в 1964 и 1965 гг. в фонетической лаборатории ЛГУ им. А. А. Жданова. Осциллограммы обрабатывались и представлялись в графической записи согласно указаниям, приводимым в книге Л. В. Бондарко «Осциллографический анализ речи» (Бондарко 1965). Для большей убедительности одни и те же фразы прочитывались и анализировались в двух вариантах: 1) с препозицией главного предложения и 2) с препозицией придаточного.

Таким образом, предполагалось получить ответ на следующие вопросы:

1. По-разному ли проявляют отдельные компоненты интонации компенсирующую способность интонации, отмеченную А. М. Пешковским?

2. Каковы по своему составу те примеры, в которых не проявляется действие компенсационного принципа (при условии если его действие не окажется абсолютным)?

3. Можно ли таким образом предсказать произнесение бессоюзного варианта союзного предложения?

Полученные результаты

Поскольку сопоставление действия компенсационного принципа рассматривалось для отдельных компонентов интонации, то полученные данные будут также описываться для каждого из параметров по отдельности в следующем порядке: данные паузы, данные темпа, данные мелодики и данные интенсивности.

Данные паузы

Средние величины пауз даются в бессоюзных и союзных предложениях в м/сек (с/с — союзное предложение, б/с — бессоюзное)

Диктор Х		Диктор М		Диктор Н		
с/с	б/с	с/с	б/с	с/с	б/с	
276	373	636	689	270	303	<i>препозиция придаточного</i>
242	340	357	488	342	364	<i>препозиция главного</i>

Как видно из приводимых данных, величина паузы в предложениях без союза у всех трех дикторов по обеим позициям больше величины паузы в союзных предложениях. Однако нужно заметить, что в процентном соотношении расхождение в величине паузы колеблется от значительного увеличения — до 35% у диктора Х (при препозиции придаточного) до увеличения на 6% у диктора Н (препозиция главного).

Приведенные выше цифры отражают средние величины пауз в союзном и бессоюзном предложении. Существенно выяснить также количественное соотношение тех пар бессоюзного и союзного вариантов одного (лексически) предложения, где принцип замены соблюдается — пауза увеличивается, и тех случаев, где принцип замены не соблюдается — пауза не увеличивается или даже уменьшается. В процентном соотношении число примеров, в которых принцип замены соблюдается, оказалось следующим: у диктора Х — 72% рассмотренных пар, у диктора М — 73%, у диктора Н — 78%.

Таким образом, на основании обоих типов данных можно сделать вывод о том, что принцип замены, сформулированный А. М. Пешковским, для паузы соблюдается.

Данные темпа

При анализе второй временной просодической характеристики — темпа — вставал ряд трудностей методического характера. Прежде всего существенно было определить, что же в данном случае считать более яркой интонационной структурой. Вначале предполагалось, что более яркая характеристика означает больший разрыв между темпом первой и второй частей сложного предложения. Однако такой принцип явно не годился для предложений с равновесным темпом обеих частей, а таких предложений было довольно много. В конечном итоге считалось, что соблюдение принципа замены имеет место, если при опущении союза происходит компенсация длительности за счет удлинения какой-либо части отрезка, лишившегося союза. Естественно, что удлинение какой-либо части текста должно привести к увеличению средней продолжительности звука во всем отрезке. Поэтому был проведен сопоставительный подсчет средней продолжительности звука в части предложения с союзом и в той же части бессоюзного предложения — варианта союзного. При этом были получены следующие результаты: увеличение средней продолжительности звука (начиная от одной *мсек*) у диктора Х наблюдалось в 78% пар, у диктора М — в 75%, у диктора Н — в 74%.

Однако при учете средней продолжительности звука в отрезке, утратившем союз, появлялась опасность утраты объективного критерия за счет действия совершенно иной, не имеющей отношения к смыслу и синтаксису тенденции — так называемой тенденции к изохронности речевых тактов. А именно ликвидация союза ведет иногда к резкому изменению размера придаточного предложения, которое при этом становится значительно короче главного. Например,

предложение *Несмотря на то, что я здесь, дела обстоят плохо* превращается в предложение *Я здесь, дела обстоят плохо*, где первая часть представлена всего шестью звуками. В таких случаях и начинает действовать тенденция к изохронности, к более или менее равному по времени звучанию отдельных синтагм в пределах одного высказывания — и короткий отрезок произносится медленнее при всех смысловых перестановках и комбинациях³. Однако отчетливое выражение эта тенденция находит не при всяком уменьшении числа звуков в отрезке. В целом полученные нами данные полностью согласуются с экспериментальными данными И. Фонадя и К. Магдич, показавшими, что тенденция к изохронности (увеличение длительности при уменьшении числа слогов) функционирует не прямо пропорционально числу слогов, а по экспоненте ($y = a + be^{cx}$) (Fonagy, Magdics 1960). Тенденция эта действует с уменьшающейся силой при многосложных отрезках, а наиболее яркое ее проявление — на отрезках из 2-3 слогов. Такие случаи были специально рассмотрены. В целом и по отношению к темпу представлялось возможным говорить о с о б л ю д е н и и п р и н ц и п а з а м е н ы.

Данные мелодики

При изучении мелодики сложного предложения в союзном и бессоюзном вариантах принимались во внимание две величины: движение основного тона в первой, неконечной, синтагме (т. е. то, что принято называть полукаденцией) и движение тона во второй, конечной, синтагме⁴. В обоих случаях учитывался частотный размах (в *гц*), а в первой синтагме существенным также являлся и тип движения основного тона (т. е. была возможна как нисходящая, так и восходящая мелодика), во второй же синтагме, завершающей, движение основного тона было нисходящим. Считалось, что принцип замены соблюдается, если частотный размах движения основного тона на разрешающем участке в бессоюзном предложении был больше, чем в той же синтагме союзного предложе-

³ Об этом писал еще В. Н. Всеволодский-Гернгросс (Всеволодский-Гернгросс 1922), а также А. М. Пешковский, описывающий стремление произносить обособленные отрезки за одно время независимо от их величины (Русский синтаксис в научном освещении. XXII. Обособленные второстепенные члены). На конкретном материале эта гипотеза подтверждается авторами коллективного доклада о просодии и грамматике на IX Международном конгрессе лингвистов (Quirk et al. 1964, см. также: Daneš 1957).

Эта тенденция одно время казалась как бы универсальным ключом, разрешающим закономерности темпа. Однако несомненно, что эта тенденция функционирует параллельно со смысловым распределением темпа в контрастно сопоставляемых синтагмах, то подчиняясь ему, то подчиняя его. Очевидно, отношения именно такого типа имел в виду А. М. Пешковский, говоря о том, что «интонация блуждает по поверхности языка».

⁴ Благодаря выбору минимальных по усложненности состава двучленных сложных предложений, в наших случаях первая и вторая синтагмы совпадали с первой и второй частями сложного предложения, что в принципе совсем не обязательно.

ния. Например, если в предложении с союзом в неконечной синтагме отмечалось движение основного тона на участке от 120 до 150 *гц* (для мужского голоса), а в бессоюзном варианте того же предложения отмечалось на том же участке движение основного тона в диапазоне от 109 до 163 *гц*, то в случаях такого типа (в разном количественном решении) считалось, что принцип замены подтверждается.

Каково же общее число случаев, в которых частотный диапазон бессоюзного предложения больше, чем частотный диапазон того же отрезка в союзном предложении?

По нашим данным, принцип замены соблюдается:

у диктора Х — 24%,

у диктора М — 14%,

у диктора Н — 12% пар.

Таким образом, в данном случае говорить о соблюдении принципа замены не представляется возможным. Что же касается слуховых впечатлений противоположного характера, то он может объясняться комплексным восприятием текста, при котором значительная разница в паузе и длительности отрезка может создавать глобальное, нерасчлененное впечатление «увеличения всего», и стабильность мелодики может не улавливаться. Кроме того, восприятие людей — активных носителей языка (лингвистов) бывает психологически обусловленным не непосредственным восприятием просодического материала, а знанием системы языка. Эту особенность восприятия показал экспериментальным путем Ф. Либерман (Lieberman 1965).

Так как мелодика является центральной просодической характеристикой (недаром ее часто и называют интонацией), интересно будет в данном случае более подробно остановиться на тех случаях, в которых компенсационный принцип А. М. Пешковского не соблюдается. Такие предложения распадаются на два класса. Первый класс — это те примеры, в которых мелодика союзного и бессоюзного предложений полностью совпадает⁵.

Второй класс примеров — случаи, когда в союзном и бессоюзном вариантах одного предложения принципиально различная мелодика. Например, в союзном варианте — восходящая, в бессоюзном — нисходящая. В этом случае имеет место принципиально иная интерпретация отношений между частями, входящими в одно сложное предложение. Они воспринимаются (при нисхо-

⁵ Существенно при этом заметить важную особенность, которая сама по себе является отнюдь не второстепенным фактом исследования. Часто отмечалось совпадение мелодического рисунка у предложений с придаточными разного синтаксического уровня — дополнительных, определительных, условных, уступительных и т. д. Создаются определенные мелодические фигуры с восходящей и нисходящей мелодикой, варьирующиеся от диктора к диктору, но не соответствующие распространенной презумпции о наличии для каждого синтаксического типа своего мелодического рисунка. Такие основные мелодические типы описаны Е. А. Брызгуновой (Брызгунова 1963), а ранее Г. М. Кузнецовой (Кузнецова 1960).

дящей полукаденции) как два самостоятельных процесса, два параллельных события. С ликвидацией союза исчезает релятивная связь двух предложений. Например, предложение *Для того чтобы дочь училась, мы поселились в городе* (с мелодикой в первой синтагме от 209 до 375 *гц*, диктор Н) в бессоюзном варианте произносится с мелодикой 330—150 *гц*, т. е. общий рисунок меняется.

Данные интенсивности

Данными интенсивности служили амплитудные характеристики (в *мм*). При этом более дробно учитывались следующие показатели:

- 1) данные о наиболее интенсивном звуке в первой синтагме;
- 2) данные об интенсивности ударного звука (т. е. носителя синтагматического ударения) в первой синтагме;
- 3) данные об интенсивности наиболее интенсивного звука во второй синтагме.

По каждому из этих показателей в отдельности сопоставлялись данные союзного и бессоюзного вариантов одного предложения. Соблюдением закона А. М. Пешковского считалось увеличение интенсивности. Были получены следующие результаты. Закон Пешковского соблюдается:

- 1) по наиболее интенсивному звуку в первой синтагме:

у диктора Х — для 34% предложений,
у диктора М — для 29% предложений,
у диктора Н — для 25% предложений;

- 2) по интенсивности ударного гласного в первой синтагме:

у диктора Х — для 40% предложений,
у диктора М — для 25% предложений,
у диктора Н — для 25% предложений;

- 3) по наиболее интенсивному звуку во второй синтагме:

у диктора Х — для 29% предложений,
у диктора М — для 25% предложений,
у диктора Н — для 17% предложений.

В целом эти показатели значительно ниже временных показателей.

* * *

Таким образом, наши данные говорят о различном отношении отдельных показателей интонации к компенсационному принципу, выдвинутому А. М. Пешковским. Показатели паузы и темпа подтверждают этот тезис, показатели мелодики не подтверждают, показатели интенсивности в целом не подтверждают, располагаясь между временными и мелодическими характеристиками. Итак, можно наметить следующую нисходящую (по числу примеров, подтверждающих этот тезис) линию просодических параметров: 1) временные характеристики, 2) силовые, 3) мелодические.

Разные компоненты интонации по-разному соответствуют или не соответствуют принципу замены А. М. Пешковского, а поскольку этот закон относится к соблюдению и компенсированию синтаксического смысла, то возможно продолжить эту мысль в следующем виде: целесообразно в связи с этим делать вывод о разном типе передачи смысла разными компонентами интонации.

Обсуждение полученных результатов

Вывод о разной реакции акустических параметров на ликвидацию служебного слова — союза — сам по себе (если это в дальнейшем подтвердится другими исследователями) может служить конечным результатом исследования. Однако выведение этой закономерности по существу ничего не объясняет в самом принципе замены, выдвигавшемся А. М. Пешковским не с акустических, а с грамматико-синтаксических позиций. Поэтому необходимо остановиться далее на ряде вопросов, более непосредственно связанных со смыслом:

1. Почему имеет место такое различие в реакции акустических компонентов интонации на ликвидацию союза?
2. Чем объясняется столь значительное (в самом лучшем случае — при анализе паузы до 30%) число отклонений от принципа замены?
3. Какие выводы дает исследованный материал о строгости соблюдения принципа замены в целом?

Остановимся на каждом из этих вопросов в отдельности.

Загадочной разницей в реакции отдельных компонентов интонации остается таковой, если не выходить за рамки чисто акустического анализа. Однако на более широком фоне — если рассматривать интонацию и ее компоненты прежде всего как смысловоразличители — возможно какое-то объяснение. Исследование функционирования темпа разными учеными и в разных странах привело к более или менее единодушному мнению о смысловом функционировании темпа: функция темпа есть различение важного/неважного в сообщаемом — синтагма, содержащая более важную часть сообщаемого, произносится медленнее; синтагма, несущая менее важную часть сообщения, — быстрее⁶.

Для иллюстрации покажем различие в темпе обеих синтагм, составляющих сложное предложение, и обратим внимание на средние продолжительности звуков в синтагме в части, содержащей союз (рассматриваются только союзные предложения). Привлекаются данные диктора Х (данные темпа приводятся в мсек).

⁶ Специально выяснению смысловой функции темпа посвящена экспериментальная работа М. Г. Кравченко (Кравченко 1960). Об этой же функции темпа как основной пишет В. Н. Всеволодский-Гернгросс (Всеволодский-Гернгросс 1922) и др.

Знак препинания (ЗП)	Препозиция союзной части		Постпозиция союзной части	
	темп до ЗП	темп после ЗП	темп до ЗП	темп после ЗП
,	64,04	79,4	73,16	68,76
–	70,3	71,8	72,26	64,55
:	57,3	62,3	72,32	67,3

Согласно приведенным данным, союзная часть есть носитель менее важной части сообщаемого (если правило о том, что менее важная часть сообщения произносится быстрее, обратимо). С ликвидацией же союза может происходить изменение в интерпретации смысловых отношений — в этом случае предложения становятся равновесными, или, напротив, более значительной представляется часть его, имевшая ранее союз. Тогда, очевидно, начинает «работать» принцип замены, и различие в средней продолжительности звука отрезка с союзом и того же отрезка, утратившего союз, становится ощутимым.

Сходные положения можно высказать и о паузе. Привлечем данные того же диктора (данные паузы приводятся в мсек).

Знак препинания	Препозиция союзной части	Постпозиция союзной части
,	27,6	25,1
–	318,9	278,8
:	550	420

Очевидно, что величина паузы перед союзной частью меньше, чем величина паузы после союзной части: к центральному месту сообщения необходимо подготовиться! С ликвидацией союза менее важная часть сообщения перестает быть отмеченной столь очевидным образом, как наличие служебного слова, и происходит иное распределение частей по смыслу, о котором будет говорить ниже.

Что же касается данных мелодики, то ее смысловоразличительная функция обычно определяется как задача быть средством связи между отрезками звучащего текста, т. е. показывать, составляют ли отдельные синтагмы одно целое или они представляют два параллельных события. В последнем случае обычно фиксируется нисходящая мелодика неконечной синтагмы. Естественно, что такими не связанными смысловой связью параллельными частями может представляться скорее бессоюзное предложение, чем союзное (*Травка зеленеет, солнышко блестит*). В тех же случаях, когда обе части сложного предложения осознаются связанными, эту связь показывает одна и та же просодема как в бессоюзном, так и в союзном предложении (так сказать, «связаны — и ничего более!»).

Полученные нами данные в целом подтверждают принцип А. М. Пешковского, формулируемый как принцип замены. А именно можно сказать, что бессоюзные предложения имеют увеличенные (яркие) просодические характеристики по сравнению с соответствующими союзными предложениями.

В данную формулировку вносится уточнение — этот принцип распространяется только на временные просодические характеристики!

Однако этот вывод не говорит ни о чем, если рассматривать принцип Пешковского как принцип компенсации. Обратясь к аналогиям, почерпнутым из данных другого языкового уровня, полученные нами данные можно сопоставить с таким рядом фактов: известно, что в русском языке флексии множественного числа представлены большим числом звуков, чем флексии единственного числа (ср. *-а, -у, -о, -и, -е*, с другой стороны, — *-ов, -ами, -ах*). Таким образом, если продолжить аналогию, удлиненные флексии более выразительны (более отчетливы в речи). Однако утверждение того, что это количественное увеличение флексии компенсирует утрату единственного числа, было бы по меньшей мере странным.

Итак, если рассматривать принцип замены как принцип также и компенсации, то сказать о нем, судя по нашим данным, ничего нельзя, несмотря на проделанный эксперимент. Дело в том, что, как указывалось выше, компенсация предполагает отождествление компенсируемого. В наших же данных и ряда других исследователей совпали мелодические рисунки предложений, синтаксически различных, с разными типами придаточного предложения, а также в ряде случаев интонация бессоюзных и союзных предложений. Таким образом, не оказалось возможным произвести отождествления одних и тех же структур, проверив лишь их количественное увеличение.

Как указывалось, цель эксперимента была неизвестна двум дикторам. Однако напоминаем, что предложения с союзом и без союза имели один и тот же лексический состав. Перед чтением все примеры несколько раз просматривались дикторами. Таким образом, некоторое отождествление, попарное осознание двух вариантов одного и того же предложения имело место. Требовать же от диктора обязательного «вкладывания» одного и того же содержания в оба текста было методически опасно по следующим причинам.

Сам А. М. Пешковский говорил о «точно таких же синтаксических значениях», которые могут компенсироваться интонацией. Однако анализ наших примеров, взятых с союзом и без союза, говорит о наличии некоторых синтаксических отношений, более «крупных», чем традиционно выделяемые типы сложноподчиненных предложений. Не случайно Пешковский, говоря о принципе замены как об универсальном принципе, обычно сам приводил примеры с ярко выраженным значением смысловой связи, остающимся и после ликвидации союза. На соблюдение или несоблюдение принципа замены, несомненно, оказывает влияние не только служебное слово (основное синтаксическое средство, по Пешковскому), но и лексический состав всего предложения в целом. Так, если сравнить, с одной стороны, предложения *Как мне говорили, отец ее уже умер* и *Если требовали обстоятельства — он был любезен* и, с другой стороны, предложения *Мы пошли домой, потому что пошел дождь* и *Он так покраснел, словно его уличили во лжи*, то очевидно, что опущение союза во второй группе коренным образом меняет смысл предложения, тогда как при ликвидации союза в первых двух предложениях этого не происходит. Из этого следует, что возможно по-новому поставить вопрос об экспериментальной проверке закона Пешковского, пойдя далее его автора и следуя его духу, а не букве, т. е. выявить сначала эти укрупненные смыслы, остающиеся инвариантными при опущении союза или другого формального показателя, и затем проверить интонацию полученных пар. Именно сохранения этих пока еще никак не определенных смысловых отношений необходимо тогда будет требовать от диктора, идентифицировав их предварительно. Однако решение этих задач есть по существу выяснение всех основных проблем синтаксического функционирования просодических единиц.

3. Попытка определения интонымы

Интересно и существенно выяснить общее соотношение в одном тексте всех просодических величин, рассматривавшихся до сих пор в отдельности или парно (пауза и темп, мелодика и интенсивность). Важно знать, образуют ли параметры просодии некоторые связанные и обычно предполагающие друг друга пучки значений, как соотносятся эти пучки значений и реальные тексты (именно в этом случае будет возможно более подробно рассмотреть вопрос о разных типах сложного предложения, выделенных в синтаксисе, с одной стороны, и типах «интонации», с другой стороны). Важно также сопоставить полученные данные по результатам обоих дикторов. В этом смысле все результаты являются предварительными в том смысле, что их следствием было разграничение существенного и несущественного в описании просодии, а также проверка гипотезы о самостоятельном функционировании отдельных просодических величин. В этом случае лингвистический материал как бы отвечал на

некоторую предложенную ему анкету, причем, как показало предложенное выше описание, данные собственно лингвистические самым различным образом координировались с данными звукового потока. Этот метод чисто экспериментального подхода к материалу без предварительной гипотезы о возможных результатах соотносится с аналогичными работами по анализу сегментных единиц языка, получившему название трансформационного анализа. Следующим этапом является в данной работе противоположный подход к данным, когда лингвистические данные являются сопоставляемым материалом, а исходным — набор просодических величин.

Для того чтобы иметь возможность сопоставлять как отдельные тексты, так и результаты обоих дикторов, необходимо перейти от абсолютных данных (*мсек, гц, мм*) к относительным. Некоторая попытка перейти от абсолютных данных к относительным была сделана и описана выше, в разделе, посвященном анализу мелодических данных. Однако, как уже говорилось, не всегда оказывается целесообразным считать различие в наборе уровней различием в типе интонационной фигуры, необходимо ввести более гибкие показатели. При сопоставлении просодических данных в работе был принят метод некоторой анкеты, заполнявшейся для каждого примера в соответствии с абсолютными данными, полученными при обработке осциллограмм. Предварительный анализ этих абсолютных данных, как представляется, оказался полезным для различения существенного и несущественного. На каждой карточке с записью рабочего примера записывались в отдельных графах следующие данные: величина паузы, тип разрыва в темпе между средней продолжительностью, тип мелодики и данные по интенсивности. Эти величины измерялись следующими показателями: 1) выделялось три типа пауз: а) минимальная, б) средняя и в) большая, соответственно обозначаемые цифрами 1, 2, 3; 2) выделялось три типа соотносительности средних продолжительностей звуков первой и второй синтагм (разрыв в темпе): а) темп ровный, б) вторая часть произносится медленнее, в) вторая часть произносится быстрее первой; эти относительные величины соответственно обозначались цифрами 1, 2, 3; 3) три типа мелодики: а) мелодика первой синтагмы восходящая; в случае нисходящей мелодики первой синтагмы выделялось два типа — б) вторая синтагма начинается на одном уровне с первой и в) вторая синтагма начинается на значительно более низком частотном уровне, чем первая. В случае восходящей мелодики в первой синтагме не было необходимости различать эти два типа, поскольку в этом случае вторая синтагма, по нашим данным, всегда начиналась на более низком уровне (см., например, мелодические фигуры типа 100—200 *гц* в первой синтагме и 150—66 *гц* во второй — для диктора Х и 108—143 *гц* в первой синтагме и 136—75 *гц* во второй — для диктора М). Разумеется, речь идет о соотношениях в движении основного тона на релевантных участках мелодического изменения (выше указывалось, что заударная часть в первой синтагме может располагаться на низких частотах). Эти типы мелодики соответственно также обозначались цифрами 1,

2, 3. Для возможности более подробного анализа вводились более дробные показатели — так, на карточке с записанным рабочим примером обозначались «подклассы» приведенных показателей — например, является ли темп обеих синтагм абсолютно равновесным или есть небольшие расхождения, не является ли пауза в данном произношении особенно большой (т. е. не занимает ли крайней точки на графике статистического распределения случаев) и т. д. Особо фиксировались данные по интенсивности, которая, как видно из вышеизложенного, не вошла в обиход основных относительных показателей. Наиболее существенным в данном случае было фиксирование соответствия/несоответствия интенсивности и мелодики по движению на данном участке текста.

Как уже упоминалось, тип мелодики — восходящая/нисходящая, вторая синтагма ниже первой или нет — не требует пересчета от количественных показателей к относительным, поскольку направление мелодики и расположение синтагм есть в каждом случае факт абсолютный. Что касается данных паузы и темпа, то были введены следующие соответствия относительных и абсолютных данных:

	<i>Относительная величина (тип)</i>	<i>Абсолютная величина</i>	<i>Диктор</i>
Пауза	I	от 0 до 100 мсек	X
		от 0 до 500 мсек	M
	II	от 100 до 500 мсек	X
		от 500 до 700 мсек	M
	III	от 500 мсек	X
		от 700 мсек	M
Темп	I	0, разрыв ± 15 мсек	X
		0, разрыв ± 15 мсек	M
	II	2-я синтагма с темпом до +15 мсек и больше	X
		2-я синтагма от +10 мсек	M
	III	2-я синтагма от -15 мсек	X
		2-я синтагма от -10 мсек	M

В соответствии с описанной системой обозначений каждый пример обозначался в троичной системе: тип 111 — интерпретируется как «пауза минимальная, темп ровный, мелодика в первой синтагме восходящая», тип 212 — «пауза средняя, обе части равновесны по темпу, мелодика первой синтагмы и мелодика второй синтагмы — равные по частотному интервалу, нисходящие», тип 131 — «пауза минимальная, вторая синтагма произносится в более быст-

ром темпе, мелодика первой синтагмы восходящая» и т. д.

По введенным троичным признакам всегда может быть 27 (3³) различающихся между собой типов или групп примеров: 111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133, 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233, 311, 312, 313, 321, 322, 323, 331, 332, 333.

При описании распределения примеров согласно введенным относительным показателям крайне важно числовое распределение примеров согласно полученным троичным типам: распределяются ли они свободно и более или менее равномерно или образуют некоторые зоны сгущения.

По распределению примеров в соответствии с типами очевидно, что 1) разница в числовом составе групп очень велика — одни типы вбирают в себя значительное число примеров, другие, напротив, оказываются чисто гипотетическими, 2) распределение примеров по типам у обоих дикторов совпадает (в том приближении, согласно которому самые большие по числу примеров типы у одного диктора оказываются таковыми и у другого).

На нашем материале выявилось четыре группы примеров, значительно превышающих остальные группы по количественному составу, а именно:

1. Тип 111 — в основном союзные предложения всех типов, с запятой между предложениями. Такая интонация (темп ровный, пауза минимальная, мелодика неконечной синтагмы восходящая) представляется нейтральной, немаркированной.

2. Тип 211 — (пауза средняя, темп ровный, мелодика неконечной синтагмы восходящая). Представлен союзными и бессоюзными предложениями, в основном со знаком тире. Предполагаемое дополнительное значение — противопоставление, сопоставление.

3. Тип 313 (пауза большая; темп ровный, мелодика неконечной синтагмы нисходящая, уровень второй синтагмы ниже). Представлен в основном бессоюзными предложениями с двоеточием, тире, скобками. Дополнительное значение — важное пояснение.

4. Тип 333 (пауза большая, темп второй части быстрый, мелодика нисходящая, уровень второй синтагмы ниже) — представлен в основном примерами с двоеточием и скобками. Дополнительное значение — несущественного, «вводного», пояснения.

Что касается остальных типов, их состав крайне пестр и разнообразен.

При сопоставлении результатов чтения обоих дикторов представлялось интересным не только выяснить, чтение каких примеров совпало, но и то, в чем состояло различие. При этом были возможны следующие данные: 1) чтение полностью не совпадает (а именно — и темп, и пауза, и мелодика различаются); 2) совпадает все, кроме одной из этих величин, 3) совпадает только одна из этих величин. В связи с такими гипотетически возможными исходами представлялось интересным выяснить, какие из величин, составляющих интонацию, «устойчивы», а какие — более «свободны». Приводим полученные данные.

Число примеров, совпавших в чтении по всем параметрам	Число примеров с несовпадающим чтением	Число примеров, различающихся в чтении по одному параметру			Число примеров, совпавших в чтении по одному параметру		
		пауза	темп	мелодика	пауза	темп	мелодика
95	34	26	42	19	18	13	37

Таким образом, можно говорить о большей «предсказуемости» для мелодики, менее точной — для паузы, и еще меньшей — для темпа.

Результаты исследования

Выведение основной просодической единицы — интонымы

Рассмотренные примеры — с анализом как отдельных параметров, так и всей совокупности признаков в целом — дают возможность перейти к некоторым выводам общего характера:

1. Разные параметры интонации по-разному передают смысловые отношения между членами сложного предложения; при этом возможны разные комбинации просодических признаков внутри одного и того же предложения, т. е. разное его прочтение.

2. Нет однозначного соответствия между совокупностями интонационных признаков и типами синтаксических единиц или типом пунктуации.

3. Нет строгих указаний на различение союзных и бессоюзных предложений как таковых на основе интонационных данных.

4. Отсутствие связи интонации и других языковых показателей, однако, не абсолютно — в ряде случаев по типу предложения можно предсказать соответствующую интонацию.

Прежде чем попытаться определить, каковы же именно эти случаи, необходимо определить единицы интонации, как они представляются автору данной работы, т. е. описать лингвистический статус интонационных единиц. Слово «лингвистический» употреблено здесь, так как фразовая интонация включается в совокупность фактов языковой структуры постольку, поскольку интонационные средства передают всегда (а в ряде случаев только они и передают) тип отношений между отрезками текста, т. е. они служат средством передачи иерархических отношений лингвистических единиц, показывая отношения элементов системы. Из того, что интонационные факты признаются фактами лингвистическими, не следует, что при этом отрицается возможность интонации передавать экстралингвистические явления — интонационными средствами они передаются так же, как это имеет место и на других языковых уровнях.

Существующее разнообразие в определении сущности просодических единиц связано с самой спецификой звукового функционирования интонации. Наиболее ранняя точка зрения на этот вопрос покоится на следующем силлогизме: фонология есть наука о смысловоразличительной функции звуков, единицы интонации есть звучащие смысловоразличители, следовательно, единицы интонации есть фонемы⁷. При этом принято называть их надлинейными, или суперсегментными, фонемами.

Если же принимать во внимание знаковый характер просодических единиц, т. е. то, что они не только различают, но и сами несут значение (что разделяется отнюдь не всеми лингвистами), оказывается логичным вывести интонацию из фонологии и считать интонационные единицы морфемами, т. е. наименьшими значащими языковыми единицами⁸. Тогда фонемами — единицами просодии будут минимальные единицы, формирующие интонационную морфему, но сами значения не имеющие⁹. Однако и на этом пути — объявления интонационных единиц морфемами — есть немало терминологических трудностей. Так, сами понятия «морф», «морфема» часто (особенно в русской традиции) связываются только с определенным языковым уровнем со своим специфическим набором содержательных категорий. Тогда очевидно, что интонационные единицы, будучи значимыми сами по себе, никак не соотносятся с языковыми категориями, закрепляемыми за морфологией. Так возникает мысль об отнесении интонационных единиц к специфически функционирующему уровню — просодематике.

Говоря о просодематике, необходимо четко осознавать, что в настоящее время и ранее известны два принципиально различных подхода к интонации. При комплексном понимании интонация есть пересечение (комбинация) гетерогенных просодических явлений — движения основного тона, темпа, типа стыка и т. д. Каждый из этих параметров обладает своими специфическими единицами — носителями значения: тонемами, хронемами, акцентемами. При более узком понимании, интонация — это только мелодика, и, таким образом, существуют только тонема.

В настоящей работе единица интонации — интонема — понимается как связанный пучок просодических значений (как это было очевидно из представ-

⁷ Традиция эта восходит к Л. Блумфильду, назвавшему интонационные единицы вторичными (secondary) фонемами; см.: Блумфильд 1968; 89; Bloch and Trager 1942; Malmberg 1963; 110.

⁸ См., например: Bolinger 1957; 14; Pike 1965; Wells 1945; Roberts 1963; Глисон 1959; 88.

⁹ Однако при разграничении фонем и морфем в просодии возникает ряд трудностей. Так, ударение — фонема или морфема? В слове, очевидно, фонема, т. е. компонент морфемы, но если это слово несет фразовое ударение, то морфема. К. Пайк предлагает употреблять эти термины более осторожно или не употреблять совсем. Т. В. Твудл считает, что противоречивость суперсегментной терминологии обусловлена принципиальной противоречивостью самого явления (Twadell 1953).

ленного описания эксперимента). Такое определение интонымы — обусловленного и несвободного сочетания просодических единиц — не является, разумеется, новым. Однако в нашей работе такой подход не был предварительным, но результатом описанной выше экспериментальной работы, данные которой показали:

1) величины, формирующие интонацию, есть носители самостоятельного значения: связанности/несвязанности (мелодика); важного/неважного (темп) и т. д. Разумеется, приводимые названия значений абсолютно условны и приводятся с чисто иллюстративной целью — автор считает, что слишком распространенное стремление назвать просодические категории терминами иного уровня во многом вредило ряду исследований по интонации. Единицы этих величин образуют, таким образом, парадигматические ряды;

2) эти единицы не сочетаются в любых произвольных комбинациях, а образуют связанные пучки — интонымы; без этой связанности интонома не имела бы права на существование как самостоятельная языковая единица. Таким образом, предлагаемое понимание интонымы аналогично предложенному некоторыми авторами пониманию морфемы или элементарной грамматической категории. Признаки, составляющие интоному, таким образом, совместимы и однородны.

Итак, **интонома** — это различаемая в языковом употреблении единица, передающая тип отношений между звуковыми единицами — синтагмами и представляющая собой связанный пучок значений отдельных просодических величин. Реализуется и определяется интонома лишь в контрастном сопоставлении синтагм в потоке речи.

За акцентемами, тонами, хронемами, диэремами целесообразно сохранить общее название просодем.

Существенным в приведенном выше определении является оговорка о необходимости контрастного сопоставления синтагм при реализации интонымы. А именно — при разного рода идентификациях и описаниях интонационных единиц и «интонационных фигур», как представляется, камнем преткновения было одно обстоятельство, не лежащее на поверхности, но ведущее к пестроте интонационных определений. Речь шла по существу о несопоставимых явлениях. Так, при комплексном понимании интонации оказываются несопоставимыми односинтагменные и многосинтагменные высказывания. Действительно, при описании интонационных свойств односинтагменного высказывания (или конца многосинтагменного высказывания, которое в этом смысле аналогично односинтагменному) ряд перечисленных просодических параметров практически не имеет смысла. А именно — показатели темпа становятся нерелевантными (разумеется, речь идет об изолированном высказывании), так как эти показатели относительны — медленное чтение есть медленное по отношению к быстрому, т. е. исчезает контрастное сопоставление. Понятие паузы теряет смысл, так как, произнося отдельное высказывание, мы как бы вырываем

его из «вечного молчания», разумеется, не измеряемого в относительных единицах. И только один просодический параметр — мелодика ведет себя одинаково в односинтагменных и многосинтагменных высказываниях.

Проделанная работа была основана на дикторском чтении. Как показал анализ выбора интономем и сопоставление дикторских выборов, диапазон расхождений не может быть как угодно велик. «Если текст не двусмысленный и если мы не злоупотребляем свободой своего голоса, всякое чтение соблюдает некоторый минимум звуковых условий, необходимых для правильного понимания текста. Этот минимум есть свойство самого текста», — писал Б. В. Томашевский (Томашевский 1959). Перечисленные выше гипотезы исходили именно из свойств текста.

4. Интонация и синтаксис

Полученные нами данные как будто бы с достаточной определенностью говорят о том, что принцип «каждой синтаксической конструкции — свой интонационный тип» явно не подтверждается. В некоторых простых случаях это, несомненно, так. И, вероятно, не имеет смысла ставить вопрос об интонационном соотношении определяемого и определяющего, не сообщая этой паре в целом различную синтаксическую нагрузку и не меняя ее место во фразе в целом. Несомненно также, что одному и тому же интонационному знаку может соответствовать несколько весьма различных синтаксических типов. Е. А. Брызгунова показывает весьма наглядно и убедительно, как одна и та же интонационная конструкция (ИК) обслуживает, например, и простое, и сложное предложения, являясь то вопросительным предложением, то частью сложного и т. д.

«Интонационная сторона богата, но число мелодических стандартов невелико, а функций у них много». Веской является критика А. М. Пешковского за привязывание им интонации к синтаксическому типу. Однако все же представляется, что и обратный тезис — «интонация никак не связана с синтаксисом» — будет столь же крайним и столь же неверным. И интонация, и синтаксис передают смысловые отношения, семантические связи элементов фразы. Быть может, не стоит бояться выдвинуть тезис о неравенстве синтаксических конструкций с той точки зрения, что одни из них более прямо отражают некоторые смысловые отношения и потому задают интонацию, другие же как будто пусты и потому принципиально разночитаемы, хотя их «первичный» синтаксический смысл вполне ясен. Именно это мы старались показать. Таким образом, целесообразнее считать, что интонация более соответствует тому, что принято называть «глубинным синтаксисом». Иными словами, та же мысль о соотношении синтаксиса и интонации выражалась как то, что в предложении необходимо «различать два слоя — 1) синтаксический, 2) синтаксико-семантический». Однако эти глубинные отношения, как мы старались показать, мо-

гут диктовать не только привычные синтаксические показатели (в нашем случае союзы), но и показатели иного плана — лексические и пунктуационные. Но и это тоже синтаксис, поскольку лексические, например, показатели задают интонацию не своим собственно лексическим значением (иначе говоря, доводя эту мысль до абсурда, можно дойти до утверждения, что и лексическим единицам свойственна «своя» интонация), но указанием на тип смысловых отношений, реализуемых в противопоставляемых на линейной оси связанных синтагмах (*Он ударил, я упал замертво*). Таким образом, нельзя не согласиться с тезисом, что «синтаксис связан с интонацией через смысловое (в широком смысле) содержание предложения». Развитие, продолжение этой мысли состоит в том, что предполагается, что «просодия и синтаксис не связаны, но вместе это — грамматика предложения». Продолжая эту мысль, естественно прийти к выводу, что интонация и синтаксис каждой фразы есть некоторое постоянное единство, и потому — чем больше в синтаксисе, тем меньше в интонации, и наоборот. Так должна была возникнуть идея компенсации.

5. Интонация и морфология

Разумеется, не предполагается говорить здесь о зависимости этих двух уровней, но лишь об аналогии между просодическим и морфологическим уровнем. Аналогия была следующая:

1. Минимальные единицы грамматики — граммы выражаются в виде минимальных единиц плана выражения грамматики — морфов.

Минимальные единицы плана содержания просодического уровня — просодемы выражаются в виде минимальных единиц плана выражения просодического уровня; в нашем употреблении — «уровни» пауз, темпа, мелодики.

2. Минимальные единицы грамматики — граммы (и их выражение — морфы) входят в парадигматические ряды, само существование которых есть непереносимое условие функционирования этих минимальных единиц.

То же отмечается в просодическом уровне: пауза средняя имеет право на отдельное существование лишь в противопоставлении с минимальной и максимальной.

3. Каждая из минимальных единиц грамматики имеет самостоятельное значение. Также и минимальные единицы просодии: тонемы, акцентемы, хронемы, диэремы — имеют значение сами по себе.

4. Минимальные единицы морфологии могут комбинироваться в пределах одного слова, если они принадлежат к неоднородным (см. выше) категориям. Единицы просодии также могут комбинироваться в пределах одного высказывания. Это высказывание не может характеризоваться одновременно восходящей и нисходящей мелодикой, но может характеризоваться восходящей мелодикой, быстрым темпом и т. д.

Таким образом, отдельные параметры интонации: темп, мелодика, паузация — могут быть уподоблены категории числа, падежа, рода и т. д.

5. В пределах одного слова возможна комбинация граммем, выраженных каждая порознь разными морфемами — агглютинация, и выраженных одним морфемом — фузия.

Существенно определить, какой из этих типов свойствен комбинации просодем в пределах одного интонационного высказывания. Как кажется, просодические единицы могут как сочетаться более свободным образом (вполне возможен иной темп при одной и той же мелодике), так и существуют при этом определенные ограничения и определенного типа связанность.

Все сказанное выше дает основания сопоставить интонеми как единицу просодии в предлагавшемся понимании и морфеме как аналогичную ей единицу морфологической системы.

Перечисленные интонеми не имели названия, как не имеют их морфемы.

Однако, несомненно, над этим интонемным уровнем существует некий высший уровень, на котором уже можно говорить о значениях интонеми, так как принято рассматривать значения падежей. В пределах этого уровня возможна нейтрализация, омонимия и синонимия интоном, как возможна нейтрализация падежных форм (речь идет не о синкретизме падежей). Употребляемые иногда термины «интонация пояснения, противопоставления и т. д.» есть попытка найти этот высший уровень интонационной семантики.

§ 3. Интонация и типология.

Основные интонационные модели славянских и балканских языков

1. Уровни типологического сопоставления фразовой интонации

Типологическое направление в языкознании в том виде, в каком оно существует в настоящее время, может, как представляется, быть сведено к трем кругам поисков, не исключających, а, напротив, дополняющих друг друга. Это — поиски универсалий, поиски типа и поиски индивидуально-специфических особенностей.

При работе над теоретической программой типологического исследования славянских языков было отмечено, что тщательно выполненные и единообразные описания отдельных языковых систем явятся надежной базой для общетипологических результатов (см.: Бурлакова и др. 1962). Однако установки типологические и установки на описание отдельного языка переплетены между собой изначально таким образом, что начать то или иное исследование, соблюдая

все требования верности теоретическим посылкам, оказывается практически невозможным.

Под универсалиями тоже понимаются вещи далеко не однородные.

Универсалиями в современном понимании считаются как элементы соотношения плана содержания и плана выражения, так и узкие, не поддающиеся содержательной интерпретации закономерности плана выражения (Гринберг, Осгуд, Дженкинс 1970; см. также: Успенский 1965; 182—222). Для направления поиска универсалий оказывается ценным, что «языки как бы созданы по единому образцу».

Поиски типа языковой структуры обращены в сторону большей индивидуализации — «единый» образец распадается на некоторое число моделей, через которые описываются отдельные языки, причем в принципе допустимо, чтобы один и тот же язык входил, по разным основаниям, в различные типы¹. Строго говоря, тип — это не только не конкретный язык, рассмотренный в качестве эталона, но и не класс языков, а некоторое идеальное и вовсе не обязательно представленное во всех своих проявлениях соотношение определенных лингвистических свойств, взятых в их совокупности².

Третье направление поиска — поиски индивидуально-специфических особенностей — как будто бы было всегда целью лингвистического описания. Однако речь идет о том индивидуальном описании, при котором всегда присутствует — явно или в сознании исследователя — установка на такое представление языка, когда в центре внимания оказывается не полное, монографическое описание, а выявление именно специфики данного языка (обычно эта специфика понимается как отличие от некоторого общего «ядра», характеризующего группу родственных языков или языковую совокупность).

Объект нашего исследования — замкнутая и перечислимая группа славянских языков. На этом материале естественным образом получаются все три группы данных — универсалии, типы (пусть нигде не представленные в чистом виде) и, наконец, индивидуальные особенности каждого языка. Для этого каждый язык должен быть сопоставлен с набором данных-вопросов, которые оказываются типологически значимыми.

Конкретное изучение фразовой интонации близкородственных языков привело нас к выводу, что сопоставление интонологических данных не может (в той степени, в какой речь идет о системах интонации) производиться по одному какому-нибудь критерию, как, например, различаются консонантные и вокалические языки, но должно быть ответом на перечень вопросов, причем последовательность элементов перечня иерархически упорядочена. Таким образом, этот перечень есть иерархия уровней типологического анализа при сопоставлении фразовой интонации.

¹ О принципиальной типологической гетерогенности одного языка см.: Uspensky 1972.

² В этом понимании типа языка мы солидаризируемся с позицией П. Сгалла (Sgall 1971).

Как показывают конкретные результаты, движение с более высокого уровня на более низкий удовлетворяет тем изменяющимся требованиям, которые возникают при переходе от более далеких генетически членов одной языковой семьи к близкородственным языкам.

1. Первым типологическим уровнем можно считать языковое различие по месту интонации в различении функциональных типов предложения³. Это различие, безусловно, связано со строевой структурой предложения в данном языке. Так, например, русский язык допускает, по-видимому, максимальное различие, и поэтому функциональная нагрузка интонации в нем очень велика. Например, предложение *Он был здесь* допускает как повествовательное, так восклицательное и вопросительное прочтение (причем с разными вопросительными центрами — *Он был здесь?* — *Он был здесь?* — *Он был здесь?*). Использование в других языках частиц при неместоименном вопросе (*czy* — польское, *чи* — украинское, *чи* — белорусское, *дали* — болгарское и др.) снижает различительные возможности интонации. Это направление — сопоставление функции интонации в языке — в первую очередь занимается структурированием лексико-грамматического состава предложения, рассматриваемого с совершенно новой для синтаксиса точки зрения, а именно: классификации состава предложения по тем различительным возможностям, которые он представляет интонации (см. пример Е. А. Брызгуновой — *Вы были на Волге* и ограничивающее *когда-нибудь*: *Вы были когда-нибудь на Волге?*).

2. Второй уровень, в нашем понимании, — это сопоставление интонационных систем, рассматриваемых на содержательном уровне. Выше говорилось о том, что интонымы есть знаки, передающие определенные единицы смысла. Именно эта совокупность смысловых единиц и есть система содержательных категорий интонационного уровня, аналогичная, например, категориям падежа, числа, уменьшительности, вида — на морфемном уровне. Выявление содержательных категорий в их неразрывной связи с выражающими их формальными единицами и есть, на наш взгляд, основная, и конечная, задача описания интонационной системы каждого языка. Однако реально эта система пока не описана ни для одного языка. Кроме того, весьма возможно, что полученные системы содержательных категорий оказались бы крайне близкими для языков разных групп — в той степени, в какой большинству языков присуща, например, категория глагольного времени, организованная определенным образом⁴.

К сфере различения системных смысловых отношений относятся два важных вопроса славянской фразовой интонации: 1) различие интонации неза-

³ Первыми в этой области являются работы Е. А. Брызгуновой, а также работы, выполненные под ее руководством (Брызгунова 1967; 1971).

⁴ Сообщая конкретные сведения, мы сознательно придерживаемся данных славянских языков. Другие языки будут привлекаться только в иллюстративных целях, иначе пестрота приводимых языковых данных затемняла бы картину типологического исследования, намеренную именно для родственных языков.

вершенности (в неконечной синтагме) и интонации чисто вопросительной, т. е. различие полукаденции и антикаденции, 2) совпадение движения тона в вопросительном предложении с вопросительным словом с движением тона в повествовательном предложении или в вопросительном предложении без вопросительного слова.

Противопоставление антикаденции и полукаденции представлено в славянских языках по-разному. В противоположность немецкому языку с очень четким различием этих двух интонационных фигур (см. об этом: Светозарова 1970), о каждом славянском языке можно говорить в этом плане с определенными оговорками.

3. Различение систем интонации и различение степени ее функциональной нагрузки относятся к содержательной стороне сопоставления интонационных уровней. Для сопоставления существенны также и формальные средства. Не случайно Ф. Данеш подчеркивал (и в этом мы полностью с ним солидаризуемся), что при исследовании интонации одного языка центр внимания интонолога обычно направлен на функциональные отличия, при типологическом же исследовании прежде всего существенно сопоставление формальных средств. Именно эти формальные средства, описанные на «фонетическом» уровне, явятся базой для генетических и ареальных сопоставлений, это фонетический «инвентарь» интонационных средств (см. Wodarz 1960).

Хотя интонация понимается как комплексное явление, методический подход к трем параметрам, формирующим языковую специфику просодии, в принципе, очевидно, различен. Так, при описании мелодических характеристик различаются количественный и качественный методы. Количественный метод предполагает сопоставление диапазона возможных частотных модуляций для данного языка в его обычной речи. В частности, наиболее широкий диапазон отмечается для русского языка, резко отличающегося по этому свойству от других славянских языков. При изучении же акцентных характеристик существенную роль приобретает именно количественный фактор⁵.

Качественный подход к мелодике предполагает формальное сопоставление смыслоразличительных мелодических фигур — каденций (т. е. конклюдивной каденции, антикаденции и полукаденции). В состав такой мелодической фигуры обычно вводят три компонента — высотное положение ударного слога, высотное положение предударных слогов, высотное положение заударных слогов. По реальному числу слогов эта трехэлементная модель может быть как угодно велика: это зависит от величины заударной части, где часто тип мелодической фигуры находит свое разрешение в абсолютно конечном слоге заударной части. Для определения некоторых специфичных мелодических характе-

⁵ Сложность организации акцентных данных в виде рядов дискретных единиц отмечал П. С. Кузнецов, подчеркивая различие в музыкальной нотации для мелодики и интенсивности: расчлененные указания в виде гаммы при мелодических характеристиках и неопределенные типа *forte*, *piano* — при указаниях силы звука (Кузнецов 1966; 105).

ристик речи бывает важна и значительная часть предударных слогов. При отсутствии заударной или предударной частей некоторые мелодические фигуры могут совпасть, так как создаются условия для их нейтрализации. Список всех мелодических фигур указанного типа явится перечнем-инвентарем славянских фразовых каденций. Многие типы каденций, как показывают конкретные описания, по всем славянским языкам совпадают, а именно — большинство зафиксированных каденций есть в каждом славянском языке.

Однако степень существенности тех или иных признаков для формирования типа каденции тоже произвольна и часто определяется эмпирическими данными. (Необходимо помнить, что при всей объективности анализа данных набор типологических признаков всегда в известной степени произволен и определяется исследователем.)

Обратимся, например, к тому виду восходящей мелодики, когда заударный слог располагается выше ударного. Уже на этом уровне более абстрактной констатации наличие такого типа является типологически характеризующим: например, он не характерен для русского и белорусского языков; в словацком языке заударный слог расположен на одном уровне с ударным и т. д.

Однако если ввести дополнительное понятие типа движения тона в этом высоком заударном слоге, то мы получим четыре типа каденции, каждый из которых отличает отдельный славянский язык (т. е. в этом случае мы имеем дело с явлением «языкового алломорфизма»).

Этот тип восходящей мелодики предстает в виде следующих аллофигур:



Как известно из соответствующих описаний, первый тип характеризует чешский язык (Daneš 1957; 48—49), второй — польский (Jassem 1962; 56—60), третий — словенский язык (Wodarz 1963; 181), четвертый — ляшские говоры. Это различие четко осознается — так резкое повышение в заударном слоге воспринимается как полонизм в чешском и словацком языках (Uhlár 1958; 335). Отвлекаясь от славянского материала, можем напомнить, что именно это различие в типе движения заударного слога при восходящей мелодике разделяет интонационные системы столь близких языковых структур, как американский и британский английский (Шахбагова 1970).

Таким образом, на фонетическом уровне каждый каденционный тип представлен рядом подтипов (выше мы говорили о виде движения в заударном слоге, но это же можно сказать об ударных и предударных слогах).

После составления такого максимального набора форм мы предлагаем на этом уровне сопоставления (третьем по счету и первом — по анализу формальных средств) выявить типы форм, присущие только одному языку и отсутствующие в других, т. е. определить формы, представляющие языковые раритеты, не переводимые друг в друга даже с учетом алломорфизма. Так, например, многие формы французской интонации, приводимые П. Делаттром (см.: Delattre

1970), вполне — с определенной перекодировкой — соответствуют русским, но формы *écho* в русской системе нет. Р. Лид считает несуществующей в английском языке характерную русскую фигуру восходящей мелодики с падающей заударной частью (Leed 1965) и т. д. Итак, на этом уровне речь идет не о несовпадении функций, не о несовпадении фигур в их распределении по смысловым оппозициям, а о простой языковой исключительности формы одного языка, неизвестной другим языкам.

Как и можно предположить, таких форм в славянском инвентаре немного. Например, к ним принадлежит тип конклюдивной каденции с подъемом на ударном слоге, он не существует в русском языке. Далее, только для украинского, сербского и македонского языков нами была отмечена особая форма восходящей мелодики с восходяще-нисходящими заударными (в сербском языке она реализуется после долгого нисходящего акцента) форма.

Особое место занимают диалектные разновидности, например, «пльзенское пение» (Jančák 1966), вршовицкая мелодия (Skoumál 1970) и т. д. Для русского языка, в частности, известны факты певучего подъема на последнем слоге конклюдивной каденции в северных говорах. Для их исследования нами был прослушан материал, собранный в лаборатории экспериментальной фонетики ИРЯ РАН⁶. Материал не интонаграфировался; однако слуховой анализ показал следующие особенности этого произносительного типа: 1) конечное повышение встречается далеко не всегда даже в речи одного диктора, а возникает в потоке высказываний внезапно после целого ряда «обычных» терминальных исходов и, вероятно, выполняет какую-то сложную тексто-терминальную нагрузку; 2) конечное повышение представлено на последнем, не обязательно ударном слоге, так что ударный слог (если он неконечный) в этих случаях осуществляет понижение тона; 3) если же ударный слог — конечный, то, как казалось на слух, на нем происходит нисходяще-восходящий перелом тона.

Итак, при выявлении интонационных раритетов необходим иерархический подход к материалу⁷. Даже без детального разбора типа движения тона в восходящем заударном можно сразу сказать, что славянские языки условно делятся на две группы: 1) языки, где существенно движение заударного (польский, словенский, чешский), и 2) языки, где существенно движение ударного (русский, болгарский, македонский, белорусский, сербский)⁸. Остальные славянские языки промежуточны. Конечновосходящие языки — западные. Параллельно

⁶ Были прослушаны записи, сделанные в Архангельской и Вологодской обл. (всего шесть дикторов). Отмечались конечные повышения типа *Это хорошó; ...развесят к ушатú; Не могу прогнать никак; В лесу эти баракú* и т. п.

⁷ На таком сопоставлении настаивает также М. Ромпортл в своих статьях о типологии интонационных систем (Romportl 1965; Он же 1957).

⁸ Сказанное выше не отменяет существенность каденций как некоторой фигуры-рисунка. Указанный признак (важен заударный или важен ударный) является более общим, каденция же включает в себя все три элемента — предупредный, ударный и заударный.

лей с языками южнославянскими на этом уровне нет. Исходя из этого можно высказать гипотезу об относительно позднем становлении интонационных стереотипов. Косвенные данные об изменении порядка слов в русском языке и русской разговорной речи говорят о том, что этот процесс стабилизации еще не прекратился (Баринава 1973).

Итак, на описанном уровне типологического сопоставления фразовой интонации основной задачей является определение типов интонационных фигур, не входящих в основное ядро инвентаря славянских просодических конструкций.

4. На следующем этапе сопоставления (при совпадении различаемых содержательных единиц и при общем совпадении формального инвентаря) целесообразно сравнивать языковые интонационные системы по тому, какие именно фигуры соответствуют каким именно единицам плана содержания⁹. Так, например, тип каденции, употребляемый в русском языке в основном при вопросе с А (низкий ударный, высокий заударный), в чешском языке является обычной нормативной формой неместоименного вопроса; другой пример — форма вопроса с вопросительным словом с повышенным концом в русском языке допустима лишь для переспроса, а в польском языке — это нормативный вариант вопроса с вопросительным словом. Более того, подъем в абсолютном конце повествовательного предложения, в славянских языках с немзыкальным словесным ударением обычно воспринимаемый как показатель незаконченной коммуникативной связи, в сербском и словенском языках есть показатель типа словесного акцента в слоге-носителе фразового ударения, и такая конклюдивная каденция в этих языках не несет никакой дополнительной коммуникативной нагрузки.

5. При совпадении и набора форм, и их соответствия смысловым категориям может возникнуть еще одна проблема типологического описания — вопрос о разном соотношении нормы и не нормы в разных языках. А именно — в рамках общего упорядоченного множества форм-смыслов могут различаться дополнительные системы: литературный vs разговорный язык, и эти подсистемы могут по-разному распределять в разных языках свои единицы, совпадающие в целом¹⁰. Это различие относится к следующему уровню описания.

⁹ Аналогичную картину являет собой система славянской морфологии, когда одному и тому же набору содержательных категорий, например имени существительного, может соответствовать в целом (с элементарным фонетическим пересчетом) один и тот же инвентарь флексий в разных языках, но распределяться эти флексии могут по-разному. Из этого еще раз видно, что принципы типологического описания разных уровней родственных типологических языковых систем должны совпадать: специфика определяется лишь конкретностью языкового материала.

¹⁰ Мы сознательно говорим о мелодическом компоненте, поскольку именно он может быть наиболее простым образом описан в рамках не количественных отношений, но качественных моделей — каденций и интонационных фигур. Однако в общей форме все сказанное относится и к другим интонационным параметрам — временным и акцентным характеристикам.

Наиболее показательным в этом отношении для славянских языков является тип восходящей мелодики с высоким поднимающимся ударным слогом и падающими заударными (в терминологии Е. А. Брызгуновой — ИК-3). Выше уже говорилось, что в русском языке этот тип очень яркий, с резким подъемом тона на ударном и с непривычным для европейского уха конечным понижением; он труден для иностранцев, в том числе и носителей славянских языков. В русском языке этот тип нормативен; только такой тип принят в белорусском языке, вполне допустим он в литературной украинской и сербской речи. В целом же — этот тип известен всем славянским языкам, но нормативные поправки при этом различны. Обратимся к чешскому языку. Фр. Данеш называет этот тип нисходящей полукаденцией (для русской традиции, ориентирующейся на ударный слог, это, конечно, восходящая мелодика), причем полукаденцией признаковой, т. е. маркированной, необычной. М. Ромпортл считает этот тип разговорным. При этом по говорам оказывается, что разное проявление этого типа мелодики встречается и в соседящих между собой селениях. Именно как разговорный описывает его Х. Кржижкова.

Для словацкого языка В. Ухлар также считает этот тип разговорным, употребляющимся преимущественно в тех случаях, когда заударные слоги кратки. В польском языке этот тип описан В. Яссемом, но не встречается в перечнях польских мелодических фигур, приводимых другими авторами. При этом в речи советских поляков, записанных нами в г. Вильнюсе, считающих польский язык родным и основным, этот тип мелодики уже значительно больше распространен, чем «классический» польский вариант с резким движением на заударном слоге. В словенском языке этот тип нормативен, но допустим лишь при определенном типе ударного гласного — с долгим нисходящим акцентом.

Говоря о других типах фразовой мелодии, можно заметить, что тип конклюдивной каденции с подъемом тона перед ударным, нормативный для русского языка, согласно сообщению Фр. Данеша, в чешском языке является «фамильярным вариантом».

М. Грепл описывает как «народный» тип антикаденции с резким подъемом на конечном слоге, который является вполне нормативным в польском языке (Grepl 1967; 85).

Таким образом, следующий уровень типологического сравнения интонаций — различие языков по оппозиции норма/не-норма, точнее «литературно/нелитературно» в применении к алломорфному набору интонационных фигур.

6. Однако возможна и такая ситуация, когда в сопоставляемых языках для одной и той же единицы плана содержания представлен один и тот же набор синонимических формальных единиц, причем этот набор для каждой смысловой категории по языкам совпадает и все синонимы при этом нормативны. Тогда следующим уровнем сопоставления будет уровень употребления, а именно — определение того, какой из нормативных вариантов в том или ином языке более употребителен.

Так, в русском языке из двух типов восходящей мелодики — употребительнее вариант с пониженными заударными (если не касаться вопроса о стилях произношения). В украинском же языке оба типа равноправны.

Не выходя за пределы лингвистических отношений, выраженных интонационными средствами, мы можем считать этот уровень — уровень употребления — последним уровнем сопоставления интонационных систем.

7. Однако описывать и сопоставлять интонационные системы невозможно, игнорируя эмоциональную сферу, которая выражается просодическими средствами двойственным образом. Во-первых, часть эмоций передается таким способом, что их трактовка универсальна для носителей любого языка, чаще всего это тембральные средства, определенные типы модуляций и т. д. (Николаева, Успенский 1966). Горе, радость, человеческая симпатия не требуют знания языка, они неконвенциональны. Во-вторых, существуют эмоции, которые могут быть правильно поняты носителями одного языка и превратно истолкованы носителями другого языка. Сейчас мы не касаемся вопроса о том, как и почему эмоции разделяются на эти две группы; представляется, что конвенциональная сторона выражения эмоций гораздо шире — она охватывает и другие языковые сферы: сегментную фонетику, словообразование, порядок слов в предложении и словосочетании и т. д.

Для описания интонационных систем разных языков существенным является и тот факт, что эмоциональные варианты одного языка, воспроизведенные в другом языке, оказываются нейтральными. Поэтому для выявления систем «смыслы — формы» в разных языках необходимо уточнить их экспрессивную однородность (особенно это существенно для тех описаний, которые ориентированы на преподавание интонации). Эмоциональные варианты, так же как и нелитературные или диалектные, могут быть ценным материалом для сравнительно-исторического изучения фразовой интонации, для выявления генезиса ее форм, поскольку иногда только в этих формах может фиксироваться та или иная интонационная фигура, уже (или еще!) не употребляющаяся в нейтральной системе.

Говоря об эмоциональных вариантах, мы имеем в виду не эмоциональную деформацию фразы, появляющуюся, в частности, под влиянием эмфазы или усиленного ударения, речь идет только о типах мелодических фигур, которые, в зависимости от языка, могут быть эмоциональными или нейтральными.

Обоснование причин расхождения одного и того же формального типа по эмоциональному и нейтральному вариантам в разных языках было сформулировано Р. Якобсоном, связавшим эмоциональные (или, в его терминологии, внеграмматические) элементы с общим синхронным состоянием системы данного языка, но не с какой-либо природной экспрессивностью (Якобсон 1923; 39—40). Экспрессивные элементы используют те формальные возможности, которые не реализуются системой грамматических элементов. Поэтому для эмфазы русский язык использует фонологически свободную долготу, а чешский

язык — интенсивность (там же; 46). Эта же закономерность вытекает из описания русского языка, предложенного Е. А. Брызгуновой. Так, стандартные ИК способны выражать эмоции, если они лексико-синтаксически избыточны. Например, типы полукаденций ИК-3, ИК-4, ИК-4а могут различаться, выполняя эмоционально-стилистическую нагрузку (Брызгунова 1969; 179—184).

Строгое различение эмоциональных и нейтральных интонационных фигур проводилось на чешском и словацком материале¹¹, однако для нас существенны эмоциональные варианты одного языка, совпадающие с нейтральными вариантами другого языка.

Наиболее интересна в этом отношении мелодия «печали», единообразно описываемая всеми чешскими исследователями и состоящая в резком понижении на ударном при ровном заударном. Это — обычный тип русской конклюдивной каденции, причем факт его незмоциональности и нормативности кажется аномальным даже для носителей английского языка, в котором движение тона на слогах более резкое, чем в чешском.

Второй тип отмеченной эмоционально фигуры чешского языка с восходяще-нисходящей фигурой в повествовании регулярно отмечался нами в нейтральном произношении белорусского языка.

В ляхских говорах в вопросе с вопросительным словом в качестве нейтральной формы употребляется двуцентровый рисунок, отмечаемый как эмоциональный для литературного чешского языка и недопустимый (т. е. нелитературный) для русского языка.

Эмоциональная форма незавершенности в ляхских говорах есть нейтральная форма чешского языка. Та же форма незавершенности, которую М. Грелл считает эмоциональной для чешского языка (с ровным заударным), есть нормативная форма полукаденции для словацкого языка. По нашим наблюдениям, особенно сложно соотносятся эмоциональные и незмоциональные формы в близких по родству языках или диалектах одного языка. А именно: неиспользованные в данном языке формы мелодических фигур, будучи использованы в близком языке, кажутся эмоционально окрашенными, в более далеком языке — кажутся просто чужими.

Итак, мы предлагаем следующий список типологических критериев сопоставления фразовых интонаций славянских языков:

1. Типология терминальных отрезков — каденций, с учетом всех уровней сопоставления, о которых говорилось выше.
2. Типология высказываний, для которых недостаточен анализ одних каденций — глобальных высказываний (вопросительное предложение с вопросительным словом, восклицательное предложение).
3. Типология мелодической линии фразы.
4. Типология акцентной линии фразы.

¹¹ См.: Grepl; Petřík 1939—1940; 1938; Mihál 1958; Wodarz 1964; Romportl 1958; 51.

5. Типология временной структуры фразы.
6. Типология мелодической линии слова — для языков с музыкальным ударением.
7. Типология акцентной линии слова.
8. Типология временной структуры слова.
9. Типология тенденции к выделению ударного слога в слове.
10. Типология воздействия линии слова (схемы) на тенденцию к выделению ударного слога.
11. Типология воздействия фразовой просодии на словесную — на разных участках фразы и разными акустическими параметрами.

2. Трудные проблемы типологического описания фразовой интонации

Подлинное изучение интонационных фактов не укладывается, однако, в рамки идеальных описаний, на базе которых и возможна истинная типология. Проблемы эти изначальны, это проблемы двойного плана — проблемы типологии как ветви науки и проблемы описания, т. е. описания одной какой-либо системы. В данном случае не предполагается, что интонационный уровень обладает какими-то специфическими трудностями, не разрешимыми для описания; напротив, знакомство с изучением других языковых слоев, вплоть до словообразования или морфонологии, показывает, что эти трудности в целом едины. Однако интонационные факты (и с этим, очевидно, согласятся все исследователи конкретного материала) мучительно и трудно добываемы, сама первичная недискретность речевого потока обязывает внимательнее отнестись к конечной задаче описания. Кроме того, одна удивительная особенность фразовой интонации требует особенно пристального внимания к индивидуальной языковой специфике. А именно — дело в том парадоксе, согласно которому нет языкового слоя, столь близкого к универсальности в своих категориях, как интонация, и в то же время нет языковой формы, столь сложной для усвоения и столь специфичной, как та же фразовая интонация.

Какие же объективные трудности и вытекающие из них дефекты описания можно считать первоочередными, создающими заколдованный круг для исследователя, пытающегося быть методически безупречным?

1. Отсутствие системы содержательных единиц, с которыми соотносятся интонационные формы.

Уже говорилось, что интонационный уровень характеризуется своими собственными единицами плана содержания — интонемами. Интонема определялась как пучок содержательных единиц — просодем, а значение интонемы — как реализующееся на синтагматической оси. Как указывалось выше, интонемы не имеют названия, хотя обозначения типа «интонация перечисления», «ин-

тонация противопоставления», «интонация пояснения» приближаются к сущности передаваемого смысла. Однако как исчислить эти содержательные единицы, как определить их конечный список при том состоянии интонационной теории, когда мы не знаем главного — универсален ли этот список или выявляется только для конкретного языка? По существу нет критериев: 1) как обнаружить новую смысловую единицу, передаваемую интонацией, 2) как доказать, что эта единица есть действительно лингвистическая единица, 3) как попытаться передать словами — или на метаязыке — значение этой единицы. Например, очень сложно определить значение, передаваемое первым членением в известных примерах типа *Недавно / приехавший доктор прочел нам лекцию* и *Недавно приехавший доктор / прочел нам лекцию*. В случаях такого типа обычно пользуются термином «актуальное членение», по существу ставшим в настоящее время абстрактным ярлыком для всех неясных дроблений текстового целого. В этом смысле «актуальное членение» как термин вернулось к своей внутренней форме, т. е. членение, которое осуществляется сейчас — и ничего более. Но существуют явно не укладывающиеся в рамки актуального членения случаи типа *Кабинет истории / Московского университета* и *Кабинет / истории Московского университета*.

Что же передает членение на синтагмы в этих примерах? Как будто бы — это просто членение. Тогда *Лес рубят — щепки летят* является, не просто членением, а добавлением к нему некоторого смысла. Интонационная теория не может дать ответа на вопрос о смысловой идентификации такого рода членений.

Специалисты по интонации самых разных языков предлагают списки основных интонационных значений; наборы этих значений как будто сильно отличаются друг от друга, однако внимательный анализ показывает, что эти отличия есть отличия не языков, но теорий. Интонационные описания не достигнут требуемого единообразия до тех пор, пока исследователь каждого отдельного языка не сможет аргументированно ответить, почему он выделяет, например, десять основных интонационных единиц, а не девять и не одиннадцать (хотя бы в рамках предлагаемой системы выявления и описания этих содержательных единиц). В данном случае классический метод описательной лингвистики — считать содержательной единицей лишь ту, которая выражается посредством формальных оппозиций, — не всегда оказывается пригодным, так как сами формальные единицы интонационного уровня по-разному определяются в зависимости от смысловой «установки». Специфика экспериментально-фонетического исследования состоит в том, что оно всегда имеет некий результат. Именно поэтому многочисленные работы, исходящие из чисто синтаксической семантики (типа «Интонация придаточного определительного», «Интонация придаточного дополнительного» и т. д.), всегда давали, особенно при усреднении большого числа примеров, исходно разнородных на «глубинном уровне», некие количественные факты. Однако только сопоставление

с данными и примерами другого исследователя может привести к выводу: данное смысловое отношение имеет или не имеет специфическую интонационную фигуру в исследуемом языке.

Сказанное относится к тем ситуациям, когда перед исследователем стоит задача — описать интонацию одного языка. При сопоставительном изучении данных родственных языков существенна другая опасность: опуская какую-либо смысловую оппозицию, пропустить в языке X некую формальную единицу, интонационную фигуру, которая широко представлена в языках Y и Z. Между тем выводы ареально-генетического плана во многом могут зависеть от наличия/отсутствия в языке X этой фигуры, которая может выражать периферийные смысловые оппозиции и потому не окажется обнаруженной исследователями. Обращаясь к конкретным примерам, мы можем назвать для русского языка интонацию переспроса, которая соотносится с аналогичной фигурой обычного общего вопроса в западнославянских языках. Безусловно, эта фигура переспроса была выведена нами эмпирическим путем, и нет никакой гарантии, что в русском языке не упущены какие-либо лингвистически значимые интонационные противопоставления.

2. Отсутствие формальных критериев определения границ и признаков интонационных конструкций.

Разбирая возможные типы языковых типологических соответствий формальных интонационных единиц, мы пользовались выше понятием каденции (включая сюда полукаденцию и антикаденцию). Каденция в целом соответствует тому, что в английской традиции называется терминальным тоном или у нас — интонационной конструкцией.

Какова же протяженность этой фигуры, достаточная для того, чтобы полученные по разным языкам данные были типологически сопоставимы? Пытаясь найти ответ на этот вопрос, мы снова вступаем в сферу заколдованного круга: сведения о том объеме каденции, который достаточен для сопоставления, мы можем получить, уже имея нужные данные. Так, например, всеми исследователями включается в интонационную конструкцию ударный слог, обычно включаются и заударные слоги (причем, их число ограничивается рамками последнего слова), но число включаемых предупредительных слогов варьируется. При этом в ряде случаев не представляются сведения, достаточные для описания формальных конструкций, различающих смысловые оппозиции в одном языке, и те знания, которые необходимы для выявления фигур, существующих в этом языке А — для сопоставления их внутри группы языков, куда входит А. В частности, для различения вопроса/повествования может оказаться в одном языке достаточно знания о типе движения тона в ударном слоге, но для описания каденции и антикаденции в данном языке нужны сведения, большие по объему. Так, в белорусском языке в повествовательном предложении представлена в каденции некая восходяще-нисходящая фигура, место которой в каденции не фиксировано. Она легко выявляется в пределах ударного и заударного

словов, но для того, чтобы ее обнаружить в предупредной позиции, необходим анализ по крайней мере двух предупредных слогов — таким образом, те фиксации каденций, при которых рассматривается лишь первый предупредный слог, могут оказаться неполноценными для нужд сопоставления. Другой пример — из украинского языка, в котором есть полукаденция с восходяще-нисходящими заударными слогами. Только знание того, что данный вид полукаденции регулярно представлен в сербском языке (после восходящих акцентов), заставило нас выделить эту фигуру в особый вид полукаденции. Только сопоставление, уже проделанное «начерно», как бы сопоставление первичного поиска, заставляет вводить в качестве типологических такие критерии, как резкость/нерезкость движения тона в конечном заударном слоге, как понятие монотонности слогов, как наличие/отсутствие второго центра в вопросительном предложении с вопросительным словом и т. д. Даже, казалось бы, ясный вопрос о конце интонационной конструкции становится неопределенным при сдвиге интонационного центра, при его переносе в середину или начало отрезка.

Известно, что сопоставительный анализ требует единообразности отдельных описаний. Вместе с тем известно также пожелание ко всякому описанию, предполагающему системность, включать лишь релевантные, дифференцирующие признаки. При более внимательном подходе эти два критерия оказываются в сложных, почти противоречивых отношениях (кроме банальных и неинтересных случаев одно-однозначных систем), что затрудняет поиски формальных средств: исследователь должен как бы заранее решить, какие признаки ему нужны — интер- или интрасистемные. В первом случае полученные данные будет трудно сопоставить, во втором — нужно заранее знать типологические факты, в том числе и о исследуемом языке.

3. Отсутствие критериев тождественности сегментного языкового материала.

Сказанное выше с некоторыми коррективами можно отнести не только к типологическому исследованию интонационного уровня, но к любой совокупности языковых фактов. Однако у интонации есть своя специфика, заключающаяся в том, что она, хотя бы на первичном уровне исследования, должна изучаться на базе сегментного языкового материала. Выше говорилось о маркированности/немаркированности языкового материала, сказывающейся на выборе интоном.

Также очевидна и бесспорна неоднородность материала, возникающая при замене пунктуационных знаков (типа *Я вышел, стало душно*; *Я вышел — стало душно*; *Я вышел: стало душно*). Более сложна, но также поддается классификации неоднородность сложных предложений, как бессоюзных, так и с союзами разного типа; в данном случае ясно, что не существует сложного предложения вообще, а под этим названием скрывается перечень принципиально разных смысловых корреляций его членов. Однако существует более сложная и коварная вещь: смысловая неоднородность простых предложений. В книге «Интонация сложного предложения в славянских языках» мы пытались пока-

зать, какое значение для выбора интонации при чтении имеет лексическое наполнение предложений (Николаева 1969; 119—124). Например, *Уйти незаметно было нельзя, он вышел открыто* содержит в своем лексическом составе указание на иной смысл отношений между синтагмами, чем *Он в роскоши, я здесь* или *Мне говорили, отец ее уже умер*. В простом предложении мы имеем дело с еще более неясной картиной. Так, опыт ряда исследователей говорит о том, что восклицательное предложение есть по существу лишь конгломерат классов восклицательных предложений. Интонационные модели не совпадают с синтаксическими, а соотносятся с ними сложным образом. Поэтому всякий исследователь интонации, занимавшийся повествовательным предложением на примерах типа *Я купил книгу*, и исследователь, делавший работу на примерах типа *Это дом*, могут делать вывод строго лишь о своем типе повествовательного предложения, всякая экстраполяция выводов может оказаться слишком грубой. Таким образом, возможно, что внимательный подход к пересечению сегментного состава и интонационных моделей будет толчком для создания новой ветви синтаксиса, который явится синтаксисом смысловых отношений сегментного состава, рассмотренного «с точки зрения» интонации. Именно такой новый синтаксис предлагается Е. А. Брызгуновой, показывающей потенциальное расслоение предложения с некоторым лексико-грамматическим составом на разное количество сопоставляемых с ним «смыслов».

4. Смешение универсальных и специфически языковых показателей.

Это смешение является самым распространенным недостатком и самым неизбежным в большинстве интонационных описаний. Оказывается, что найти специфику одного языка можно лишь в том случае, если известны данные остальных языков. Обратимся к чисто славянским данным и сопоставим их с некоторыми сведениями, полученными на базе изучения языков других групп и семей (в данной ситуации сознательно отбиралось небольшое число примеров, взятых из малоизученных языков; число языков и примеров можно легко умножить).

Пример 1. Все славянские языки, согласно данным других исследователей и нашим собственным данным, по типу движения тона в общем вопросе были расклассифицированы на языки, в которых восходящее движение осуществляется до конца и часто в абсолютно конечном слоге, и те языки, где это восходящее движение затрагивает в основном зону последнего ударного слога. Ср.: «Другой особенностью азербайджанского языка является своеобразная мелодика речи. В азербайджанских вопросительных предложениях, не имеющих в своем составе вопросительного слова, последние слоги выделяются восходящим музыкальным (т. е. мелодически. — Т. Н.) движением голоса, независимо от того, является ли последний слог ударяемым» (Языки народов СССР, II. Тюркские языки. 1966; 70). Итак, «своеобразная азербайджанская мелодика» напоминает польскую, словенскую, немецкую и даже — украинскую, как ее описывал О. Брок.

Пример 2. Говоря о вопросительном предложении с вопросительным словом, мы замечали, что в некоторых случаях мелодика его может быть как равной повествовательной, так и иметь подъем в конце, как в чистом вопросе. Именно это отмечается для якутского языка (фраза *Кто поймал? — Ким тутта?* может произноситься именно этими двумя способами) (Алексеев 1970; 42).

Пример 3. Общий вопрос и переспрос в славянских языках различались в основном по тому, что переспрос имеет резко выраженную конечновосходящую структуру. Это же различие выявлено в казахском языке (Туркенбаев 1968).

Пример 4. Как будто бы славянской спецификой является особый вид общего вопроса с падающим концом, в особенности спецификой русского языка. Точно такая модель общего вопроса (в нотации К. Пайка — 1231) оказывается разговорной формой вопроса испанского языка в отличие от более литературной 1222 (Bowen 1956).

Пример 5. Х.-В. Водарц отмечал функцию двух последних слогов — ударного и безударного — в ляхских говорах: они, соответственно, носители эмоций и синтаксических реляций. Так же, по данным А. К. Оглоблина, распределяются функции двух последних слогов в индонезийском языке (Оглоблин 1967).

Итак, судя по этим примерам, реальна опасность увидеть специфику там, где ее нет. Именно это рождает интонационные исследования, на которые тратится большое число сил и времени и которые, однако, содержат известные факты и не содержат ничего подлинно специфического. Например, сообщается, что особенностью тагальского ударения является «повышенная частота, большая амплитуда и большая длительность» (Gonzalez 1970), что спецификой повествовательного движения в хауса является «восходяще-нисходящее движение тона» (Вишневская 1968) и т. д. Выше уже говорилось о «своеобразной» мелодике азербайджанского языка; далее, тот факт, что начало фразы более интенсивно и это повышенное начало представлено во всех видах повествовательного предложения, оказывается, «является признаком фразовой интонации узбекского языка» (Ниязов 1969). Или — заранее очевидно, что предложения декларативного характера (объявления) будут произноситься более громко и более медленно, чем обычное повествовательное предложение. Однако на молдавском материале была проделана большая экспериментальная работа, чтобы получить эти данные как специфически молдавские (Ченушэ 1971). Представляется, что трудности — в самом материале. Как это ни парадоксально, возможно, что чисто типологическое описание с уже известной конкретной целью сопоставления может оказаться более методически точным, чем описание одного языка. Например, О. фон Эссен говорит о том, что в английском и немецком языках безударные слоги произносятся на более низком уровне, чем ударные, а в датском языке наблюдается обратная картина — та же, что и в южнонемецких диалектах (Essen 1957; 298). Сообщая такого рода сведения, исследователь не берет на себя ответственность за всю интонационную специфику языка, а только говорит об узких локальных отличиях.

В этом же общем круге неразличения специфического и универсального можно выделить и микроситуации той же проблематики. Например, выше достаточно говорилось о разговорной специфике в разговорных вариантах. Приведем несколько примеров сложности соотношения универсально-разговорного, специфически разговорного и неразговорного.

Пример 1. Общеразговорное vs специфически разговорное.

В работе, посвященной интонации русской разговорной речи, Г. А. Баринова (Баринова 1973) отмечает наличие полукаденции особого типа — понижающейся. Это входит в специфику русской разговорной речи и, действительно, отличает ее от литературного языка. Однако эта обрывистость, малая связность разговорной речи в целом, когда связи частей сложного предложения уподоблены связям отдельных предложений, когда интенсивность повышена, когда широко осуществляется сдвиг терминального тона и т. д., — свойственна разговорной речи вообще и не является специфически русской. См., например, сходные данные, полученные из исследования разговорной речи американских студентов.

Пример 2. Разговорное vs диалектное.

Сообщая сведения об интонационной специфике ряда поволжских русских говоров, А. Кугаевская пишет о том, что эти говоры отличаются конечным легким подъемом в абсолютном конце и понижением в конечных синтагмах (там, где в литературном языке повышение); эти говоры отличаются и более сильным продлением конечных гласных (Кугаевская 1969; 124—127). Все эти сведения характеризуют разговорный вариант русской интонации и очень характерны для него, не являясь специфически диалектными.

Пример 3. Разговорное vs словесно-просодическое. В сербском и словенском языках в тех случаях, когда ударный слог — носитель фразового ударения — представлен восходящими акцентами, имеет место повышение тона на следующем слоге. Если общая мелодика фразы понижающаяся, то ударный слог покажет это понижение, акцент же дает «рефлекс» в виде легкого подъема на следующем слоге.

3. Основные интонационные модели славянских языков

А. Общие характеристики

Общие факты, отличающие фразовую интонацию всех рассмотренных славянских языков, — это как бы некий каркас, модифицируемый индивидуальными наслоениями. В данном случае общие характеристики — это не универсальные интонационные факты, а следующий слой признаков. Важно при этом установить — это признаки собственно славянские или нет.

Мелодика начального участка фразы, заканчивающегося каденциями, характеризуется начальным подъемом в зоне первого ударного слога; при этом

если ударный слог открывает фразу, то на нем осуществляется мелодический подъем, а следующий слог будет расположен на уровне ударного; если же ударный слог не является начальным, то он занимает высокое положение, а модуляции тона в его пределах незначительны.

Каденционное понижение во всех славянских языках может быть выражено следующими факультативно варьирующимися реализациями¹²: 1) ударный слог может быть представлен либо резким понижением тона от уровня предударного, либо низким расположением ударного слога по сравнению с предударным слогом; 2) заударные слоги могут располагаться либо на нижнем уровне ударного, либо ниже ударного слога. При этом они могут быть на одной ноте, либо понижаться «лесенкой».

Все славянские языки знают тип восходящей мелодики с высоким ударным и падающими заударными и тип с низким положением ударного слога и восходящими заударными (различие определяется их функциональной нагрузкой).

Во всех славянских языках число мелодических фигур полукаденции больше числа мелодических фигур антикаденции.

Местоименный вопрос имеет более цельную глобальную структуру, без неопределенной середины, как во фразах с каденцией, антикаденцией и полукаденцией. Он двуцентров: первый центр — это ударный слог вопросительного слова, второй — конечный ударный слог. Второй центр более продлен, чем первый. К вопросительному слову осуществляется значительный подъем мелодики и интенсивности.

Восклицательное предложение характеризуется более высоким основным тоном, повышенной интенсивностью, увеличенной длительностью и наличием некоторой дугообразной фигуры.

Акцентная линия фразы стремится к понижению, однако в зависимости от типа мелодического задания эта направленность может и не реализоваться.

Длительность имеет три сильные позиции: начало, ударный слог — носитель фразового или синтагматического ударения, абсолютно конечный слог. В средней части звучащего отрезка все слоги более кратки.

Слово (т. е. микрофраза) характеризуется сильной акцентной точкой — первый слог и сильной временной точкой — ударный и заударный конечные слоги¹³.

¹² Говоря о факультативности варьирования, мы понимаем, что более внимательное изучение повествовательного предложения, рассмотренного со всей спецификой синтаксиса устного высказывания, поможет выделить несколько типов внутри повествовательных фраз, семантика которых и определит выбор мелодической фигуры. См. у Д. Болинджера: «Интонация соответствует не утверждению как таковому, но разным его видам» (Bolinger 1970; 112).

¹³ Речь идет о естественно конкретной просодии слова, а не о просодических возможностях слова (или акцента), т. е. способности различать тип и место ударения разным числом комбинаций. Именно этим комбинаторным возможностям посвящена статья Г. Якобсона, рассмотревшего эти возможности для сербских и скандинавских акцентов (оставляя в стороне вопросы чисто фонетических совпадений, например с.-х. 1 и акцента 2). См.: Jakobson 1972.

Сила давления фразы на слово оказывается наиболее значительной в позиции фразового ударения. Это воздействие не нужно понимать как буквальное подавление; оно осуществляется при помощи достаточно сложного механизма. Например, ударный слог слова, ставшего носителем фразового ударения, не укорачивается, а продлевается. Напротив, интенсивность ударного слога, оказавшегося носителем фразового ударения, при нисходящей мелодике (каденции) будет более низкой, чем, например, интенсивность ударных слогов середины. Поэтому распределение f (частоты), t (длительности), i (интенсивности) на протяжении фразы будет варьироваться по определенным законам.

Несомненна связь между типом фразовой интонации и конкретной просодией слов, наполняющих звучащий отрезок. Эта связь однотипна для всех исследовавшихся языков. По общим типам этих закономерностей можно предсказать конкретный рисунок просодии данного отрезка. Например, о слове типа —́ — и слове типа —́́, находящихся в конечной нисходящей позиции и под фразовым ударением, можно заранее сказать, что у слова —́ — длительности обоих слогов будут близки (будут представлены две сильных точки: ударный слог и абсолютно конечный слог), а у слова типа —́́ ударный слог будет значительно более продленным, чем предупредный, и более продленным, чем ударный слог слова —́ — (так как две сильных временных точки совместились здесь в одном слоге). Так же можно предсказать, что линия интенсивности в обоих этих словах будет понижающейся, но для —́́ — разрыв между интенсивностью первого и второго слогов будет больше, чем для —́́, поскольку в первом случае самая пониженная точка фразы и безударность совпадают. Очевидно, что в начале звучащего отрезка мелодика ударного слога структуры —́́ — будет восходящей, с отчетливым движением тона, а ударный слог структуры —́́ в начале отрезка будет сам занимать высокое положение, а движение тона на нем может быть незначительным.

Четко осознавая правила соотнесения сильных и слабых точек фразовой просодии, с одной стороны, и типа ритмической структуры слова — с другой, можно — в любом исследовании славянской интонации — отделить фразовую модель от словесного наполнения.

Признание определенной просодической структурированности славянской фразы и синтагмы имеет значение не только для теории фразовой интонации как таковой, но и для исследования других языковых явлений, в частности вопросов историко-лингвистического характера. А именно — работы по исторической акцентологии и по историческому синтаксису обычно строятся без учета фразово-интонационной структуры: синтаксис рассматривается как внезвуковой факт, а слова — в изолированном, на самом деле не существующем состоянии.

Между тем при фиксированном порядке слов одни и те же классы (например, предикативные элементы)¹⁴ оказываются в одной и той же позиции во

¹⁴ См. о фиксированности синтаксической позиции отдельных классов слов в индоевропейском предложении и о связанных с этим проблемах акцентологии: (Иванов 1965; 185—256).

фразе — позиции исхода или начала и, подвергаясь регулярному и единообразному фразовому воздействию, могут предсказуемым образом модифицировать свой облик в каждой из фразовых позиций.

Точно так же в тех исследованиях, где модификации словесных акцентов как будто бы рассматриваются во фразе, на самом деле фразовым окружением считаются лишь соседящие проклитики и энклитики, а слова, подлежащие анализу, не изучаются в их фразовом положении; экспериментальные исследования демонстрируют, что для анализа модификации просодии слова важно знать следующие характеристики исследуемых слов:

- 1) находятся ли они под фразовым ударением или нет;
- 2) на какой тип мелодики они ложатся — восходящий или нисходящий;
- 3) где они располагаются: в начале, середине или конце отрезка (причем существенно, есть ли у них постоянное синтаксическое место или они вводятся в высказывание свободно).

Б. Анкета. Описание интонации

Проблемы описания мелодического параметра фразы

А. Нисходящая мелодика (конечная часть повествовательного высказывания):

1. Наблюдается ли повышение тона в первом предударном слоге по сравнению со вторым предударным слогом?
2. Есть ли повышение тона в самом ударном слоге? Если есть, то где именно: на границе предударного и ударного слогов, в центре ударного слога, на границе ударного и заударного слогов?
3. Возможно ли повышение тона в конечных заударных слогах?

Б. Мелодика вопроса с вопросительным словом:

1. Наблюдается ли конечный подъем в вопросах такого типа? Где он реализуется: в последнем ударном слоге и/или в конечных заударных слогах?
2. В случае отсутствия этого подъема происходит ли плавное понижение тона от начала до конца или на последнем ударном слоге происходит резкий перепад мелодики?

3. Как осуществляется начальный подъем тона:

- 1) самая высокая точка — это абсолютное начало?
- 2) подъем тона идет к вопросительному слову?
- 3) подъем тона ведется к ударному слогу вопросительного слова?
- 4) подъем тона идет к какому-то слогу высказывания (например, ко второму), какая бы лексема на нем ни реализовалась?

В. Мелодика восклицания:

1. Отмечается ли в таких высказываниях некая дугообразная фигура?

2. Если да, то как она реализуется:

- а) на ударном слоге главноударного слова?
- б) на всем этом слове?

- в) на всей фразе в целом?
 - г) просто в центре фразы?
 - д) таких фигур — одна или несколько?
- Г. Мелодика вопроса с *A*?

1. Как завершается вопрос с *A* — повышением или понижением тона (если есть заударные слоги)?

2. Есть ли подъем на начальном *A* с последующим понижением?

3. Как расположен ударный слог — выше предупредного, ниже или на одном уровне с ним?

Д. Собственно восходящая мелодика (общий вопрос, переспрос, незавершенность):

1. Сколько фигур восходящей мелодики можно выделить, исходя из комбинаций следующих признаков:

- а) положения ударного слога по отношению к предупредному и заударным;
- б) повышения — понижения — ровности заударных слогов;
- в) резкости/нерезкости движения тона в ударных и заударных слогах.

2. Различаются ли эти фигуры для общего вопроса (*Он понял?*) и незавершенности (*Он понял, что было уже поздно?*)?

3. Если они не различаются по рисунку, то есть ли отличия в числе этих фигур (например, для незавершенности число фигур больше, чем для общего вопроса)?

4. Где наблюдается резкое восхождение: в ударном слоге и/или в заударном слоге? Важен абсолютно последний слог.

5. Если после ударного слога наступает понижение, то где оно начинается: в непосредственно заударном слоге или во втором (третьем) заударном?

6. Происходит ли повышение тона обязательно в конце фразы или эта фигура может перемещаться к началу?

7. Если такой сдвиг происходит, то имеет ли место второе повышение или в конце мелодика понижается?

8. Есть ли особая мелодика в переспросе?

9. Есть ли особая мелодика при перечислении?

10. Каков набор мелодических фигур-синонимов?

Е. Общая оформленность фразы:

1. Как оформлено начало фразы — подъемом или нет? Если подъем, то как он осуществляется:

- а) к первому слогу?
- б) ко второму слогу?
- в) к первому ударному слогу?

2. Как распределяется информация о типе фразы — по ударным слогам или существенны и безударные слоги?

3. Ударные слоги монотонны?

4. Безударные слоги монотонны?

*Проблема описания немелодических параметров***А. Длительность:**

1. Существенно ли отношение трех слогов: первого ударного слога, последнего ударного слога и абсолютно конечного заударного. Как они соотносятся по длительности:

- а) при нисходящей мелодике?
 - б) при восходящей мелодике?
- Есть ли здесь какое-либо различие?

2. Сильно ли сокращены ударные слоги в середине фразы или синтагмы (это определяется посредством фраз, где одно и то же слово помещается в разные фразовые позиции)?

3. Сколько временных центров:

- а) в вопросе с вопросительным словом?
- б) в общем вопросе с центром, сдвинутым к началу?
- в) в восклицании?

Как соотносятся эти центры?

4. Может ли деформироваться ритмика слова во фразе (например, предупредительный или заударный будет длительнее ударного). На каких участках фразы это происходит: начало, середина, конец?

5. Какова семантика сверхсильного продления какого-либо слова во фразе?

6. Сильно ли деформируется (сокращается) слово при особой смысловой установке?

Б. Интенсивность.

1. Понижается или повышается линия интенсивности к концу при восходящей мелодике?

2. Наблюдается ли при восходящей мелодике некая дуга, при которой ударный слог оказывается самым низким?

3. Какова семантика усиления интенсивности слова во фразе?

Факты просодии слова (для нетональных языков)

1. Фиксировано ли место ударения в данном языке?

2. Есть ли в данном языке фонологическая неударная долгота?

3. Чем (преимущественно!) выражается словесное ударение в данном языке?

4. Происходит ли компенсаторная замена показателей ударения на разных фразовых позициях: начало, середина, конец восходящий или конец нисходящий? Или ударение всегда выражается единообразно?

5. Имеет ли место сближение по интенсивности двух первых слогов трехсложного слова?

6. В двухсложных словах типа — —́, трехсложных словах типа — — —́, четырехсложных типа — — —́ —, — — — —́ как соотносятся интенсивность первого и ударного слогов?

7. В двусложных словах типа —́ —, трехсложных типа —́ — —, четырехсложных типа —́ — — —, —́́ — — как соотносится длительность ударного и конечного слогов?

8. Как выражается словесное ударение слов структуры —́ — —?

9. Сильно ли в данном языке фразовая просодия подавляет словесную? Это можно определить следующими проверками-вопросами:

1) сохраняется ли выделение ударения частотой и интенсивностью в нисходящем конце у структур типа —́́, — —́́;

2) сохраняется ли выделение ударения частотой в восходящем конце у структур типа —́ —, —́ — — (у языков с восходящей до конца мелодикой);

3) сохраняют ли слова свою структуру во фразе, а именно:

а) много ли нулевых показателей ударения слов во фразе (если учитывать параметры f, t, i);

б) есть ли структуры Верх-Низ-Верх для (—́ — —) и Низ-Верх-Верх для (—́ — —) в середине и начале фразы;

в) есть ли структуры интенсивности Верх-Низ-Низ для типов —́ — — и Верх-Низ для —́ — на всем протяжении фразы?

4) сильно ли структурирована фраза по длительности (см. выше «Длительность»);

5) сильно ли структурирована фраза по интенсивности (т. е. насколько нарушается пиками словесных ударений общая линия фразы)?

В. Некоторые гипотезы

По предлагаемым данным, как представляется, можно сделать более широкие выводы-гипотезы.

1. Наблюдения над включенностью слова во фразовую интонацию в том или ином языке показывают, что можно говорить о языках, в которых слова нанизываются, как бусины, на линию фразовой интонации, мало при этом модифицируясь. Напротив, в других языках слова как бы растворяются во фразово-интонационных единицах, подчиняясь им. Из славянских языков ближе всего к последней ситуации именно русский язык. Эта оппозиция — оппозиция слабости/силы воздействия фразовой интонации на словесную — и вытекающее из этих данных противопоставление силы и слабости фразовой интонации в данном языке — фактор, на котором мы хотим остановиться подробнее. А именно: если обратиться к самым элементарным положениям исторической фонетики и исторической акцентологии с точки зрения законов современной русской звучащей фразы и вспомнить тот факт, что и в древности говорили не пословно, а более или менее связно, и изолированные слова всегда были фикцией, то ряд этих неоспоримых фактов покажется небесспорным. Прежде всего это количественные характеристики типа многочисленных «компенса-

торных проделаний» и т. п. При посинтагменном решении фразы многие из этих процессов не осуществились бы или осуществились бы иначе.

Однако и другие факты истории языка подтверждают данные исторической фонетики. Естественно вытекающим отсюда решением вопроса будет принятие тезиса о пословном интонационном решении в славянских языках древней поры.

Подтверждением этого могут служить и свидетельства неинтонационного свойства. Возвращаясь к положениям, высказанным ранее, мы видим, что фразовая интонация включается в систему текстовых средств, объединяющих в себе три совокупности величин: 1) интонацию, 2) тектонические средства, порядок элементов, 3) эксплицитные сегментные средства — в частности, частицы. В первой главе говорилось также о том, что эти средства могут, выполняя смысловые функции, быть в компенсаторных отношениях.

Таким образом, можно представить себе как гипотезу идею о том, что существует ряд связанных пучков-признаков, характеризующих два типа языков.

Тип 1

1. Интонация распределяется пословно.
2. Порядок слов жесткий.
3. Семантически усилен конец.
4. Обязательны или часты частицы-актуализаторы предложения.

Тип 2

1. Интонация не пословна (слово в сильной степени подчинено высшей про-родической единице).
2. Порядок слов более гибкий.
3. Семантически усилено начало.
4. Частицы-актуализаторы предложения мало представлены.

Представляется, что первый тип — это языки древние или архаизированные, а также языки с менее разветвленной литературной традицией. Таким образом, получается, что древнерусский язык и современный русский литературный язык по этим признакам группируются по-разному.

Как уже говорилось, текстовые средства реализуются там, где есть выбор, где есть употребление. Именно история литературного языка есть проблема развития системы выборов со все более четким осознанием смысловых возможностей реализации той или иной единицы из числа употреблений, подлежащих выбору, и развитием умения пользоваться этими возможностями выбора.

Таким образом, за такой общей идеей, как понятие сила/слабость фразовой интонации, стоит мысль о большей или меньшей грамматикализованности интонационных фигур.

4. Кое-что о просодии Балкан

Сходные методы, как нам казалось, необходимо было применить и к несколько иной языковой совокупности — к языкам Балканского языкового союза. Однако при более внимательном подходе выявился ряд принципиальных трудностей, не возникавших при анализе языков славянских.

А именно — в процессе чисто практического исследования отчетливо проступила разница между **языковой семьей** и **языковым союзом**. В первом случае вопрос о славянской семье как совокупности родственных языков, объединенных общим происхождением и априори имеющих нечто общее в просодических системах, даже не ставился. Число проблем во втором случае увеличилось по ходу исследовательского процесса.

Прежде всего неясным оставался вопрос методологического характера — что отличает языковой союз, скажем, от ареальной совокупности примыкающих языков контакта? Второе, какие именно языки мы имеем право включать в Балканский языковой союз? Третье, что связывает языки славянской части БЯС и неславянской его части в плане просодии и интонации, как и каким способом выделять при этом просодические балканизмы? В данном случае традиции, подобной традиции славистической, не существовало.

Наконец, период между нашим исследованием славянской интонации и интонации балканских языков равнялся практически пятнадцати годам. За этот период интонология сильно продвинулась, изменились и технические возможности интологов, были пересмотрены и вопросы методологии. И однако — полученные результаты сначала казались маловероятными и неожиданными, даже неудачными — если оставаться на структуралистских позициях былого — экономности, простоты и исчерпанности. Огромную профессиональную поддержку оказали в этом смысле смелые и пионерские работы Т. В. Цивьян о сути балканского менталитета, воплощенной в лингвистических его проекциях (Цивьян 1992; 1999 и др.), на которые мы будем ссылаться ниже, хотя звуковым строем Балкан Т. Цивьян не занималась.

Сначала приведем краткие сведения об истории языковедческого исследования просодии языков БЯС.

А. Сведения о просодии Балканского языкового союза

В классической работе К. Сандфельда (Sandfeld 1926), положившей основу фундаментальному изучению Балканского языкового союза и тем самым заявившей на право балканистики быть особой наукой, в основном, освещались проблемы грамматических схождений, а также пересечения лексические и отчасти фонетические. К. Сандфельдом был очерчен круг языков БЯС: новогреческий, албанский, болгарский, сербский, румынский и турецкий, а также круг не только общих, но и попарных схождений. К. Сандфельд обнаружил и текс-

товые схождения, например, начало сказочного текста: 'это было и не было' — рум. *era Ți nu era*, турецкое *bir varmys bir jogmus* (Sandfeld 1926; 162). Однако о просодии в нашем понимании в книге не говорится. Вообще в лингвистических кругах до сих пор отчетливо представление о том, что система фонетических конвергенций для БЯС минимальна (см. об этом Banfi 1991).

Поэтому, сознавая свою ответственность в этом вопросе, мы хотим прежде всего остановиться на критериях объединения языков в БЯС. Как это ни парадоксально, Балканский языковой союз обычно принимается как априорно существующее целое: «Лучшим примером языкового союза был и остается Балканский языковой союз» (Schaller 1983; 211). Однако тот же Х. Шаллер отмечает наличие балканизмов и в соседних языках и сходные явления в языках, далеких по контакту с БЯС. К. Штайнке считал языки венгерский и цыганский также примыкающими к БЯС (Steinke 1983). Р. Александер видит особый союз внутри БЯС — балканский славянский: «Балканский славянский есть единая языковая единица и должна изучаться как таковая» (Alexander 1983; 20). Существенна при этом и теория Г. Бирнбаума (Birnbbaum 1965), что направляющим ядром Балканского языкового союза является именно его неславянская часть.

Р. Якобсон, занимаясь в наибольшей степени фонологией языковых союзов, подчеркивал благоприобретенность свойства быть языковым союзом, принципиальную текучесть этого состояния: «Признак языкового союза — благоприобретенные сходства в структуре двух или нескольких смежных языков, равнобежные преобразования самостоятельных языковых систем» (Jakobson 1962). Так выявлялось принципиальное отличие языкового союза от языковой семьи, но до сих пор не существует критериев необходимости и достаточности признаков для объединения группы языков в союз, с одной стороны, и признания права для отдельного языка быть членом этого союза — с другой. В. Н. Топоров описывает онтологическую сущность Балканского феномена именно как гетерогенную систему (Топоров 1989). В этом определении важны оба компонента: гетерогенность и системность. Поэтому в нашей работе сделана попытка построить схему системных соответствий на базе просодических корреляций, которые поначалу могут казаться слишком малозначительными.

Р. Якобсон (Jakobson 1962a; 138) отмечал в пределах БЯС реликтовость сербского и словенского языков как языков с тоновым ударением. По его мнению, Евразийский союз в целом характеризуют два признака: корреляция по твердости/мягкости и монотония гласных. Сербско-хорватско-словенский ареал перекликается в этом плане с другим островом политонии: Скандинавским полуостровом и зоной Прибалтики. В собственно фонологическом плане он отмечал также близость новогреческой фонологии и болгарской (там же; 105).

Однако просодические схождения в БЯС, несомненно, существуют. Так, нами был переписан для съемки болгарский материал, интонографирование производилось в лаборатории Института стран Азии и Африки МГУ. Во время записи, когда отчетливо слышной была только просодическая часть, в комнату вошел

специалист по тюркским языкам и спросил: «Это что, турецкий?». На вопрос о том, как он это определил, он ответил: «По просодической агглютинации».

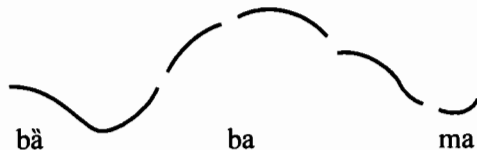
И. Дуриданов полагал в качестве одной из ведущих балканистических черт наличие в той или иной степени редуцированного звука (Duridanov 1983). Об этом же признаке в связи с греческо-болгарской редуцией писал и Г. Дреттас (Drettas 1987).

Кстати, в работе Дреттаса история балканистики как лингвистического направления излагается наиболее подробно. Явление редукции есть в то же время в тюркских языках Сибири и в русском языке. В связи с этим важно мнение Р. Александер о том, что утрата количественных различий есть новая черта северо-запада Балкан (Alexander 1983).

Для БЯС отмечались и собственно интонационные сходства. Именно поэтому был поставлен вопрос о том, существует ли интонация романцев как семьи, поскольку у румын много общего в этом плане со славянами, особенно с болгарями (Ettmayer 1925).

Ниже этот вопрос будет подробно анализироваться в соответствующих главах.

Узко интонационный балканизм был предложен на обсуждение И. Лехисте и П. Ивичем (Lehiste, Ivić 1980). Они ввели понятие так называемой обратной модели (reverse pattern) для общего вопроса. «Перевернутость» модели описывается как понижение на ударном с последующим повышением и конечным вторичным понижением:



Эта интонационная единица и, соответственно, интонационное понятие уже широко обсуждается в работах по интонации языков БЯС. К. Кайспер (Keijsper 1987) предположила, что существует всего две модели движения тона в балканских языках: тон восходящий от базового низкого (тип 1) и наоборот (тип 2).



Таким образом, по мнению Кайспер, отмеченная И. Лехисте и П. Ивичем «обратная модель» реализует второй тип интонации.

Важным шагом вперед в концептуальном отношении явилась введенная В. Вермеером (Vermeer 1987) единая шкала движения процесса прогрессивно-го сдвига ударения на следующий слог с нисходящим тоном.

Важность этого — в его всеобщности. Она распространяется на словенские и на сербские диалекты. Это единый путь, по которому языки прошли разные стадии.

В последние годы внимание стало уделяться такому просодическому явлению, как ударное продление. Так, И. Кочев (Кочев 1988), демонстрируя распространение ударного продления с востока на запад болгарской диалектной зоны, считает это явление общеполгарским и, возможно, общеполганским.

В книге Солта (Solta 1980) большое внимание уделяется балканскому языковому субстрату: фракийскому, иллирийскому, пайонскому. Не имея возможности проследить наш материал в столь глубокой диахронии, ограничиваемся в настоящей работе лишь фактами латинско-греческой просодии. Системами, контактными по отношению к БЯС, являются просодические системы итальянского языка, финно-угорских языков (по отношению к славянской семье вообще) и тюркских языков. Ф. Елоева (Елоева 1987), считая, что современная лингвистическая ситуация юга Балкан, в частности Греции, есть результат диахронии контактов, смешения кодов, многое приписывает влиянию турецкого языка через понтийские диалекты и диалекты Малой Азии.

Необходимо отметить также, что просодия конкретных языков БЯС количественно исследована по-разному. Так, на первом месте по числу исследований находится сербский язык, просодия которого во всех аспектах изучается около полутора веков и по которому мы имеем теперь фундаментальное исследование Н. Лехисте—П. Ивича (Lehiste, Ivić 1986), подводящее итоги более чем двадцатилетним изысканиям.

Много сделано также по просодии (интонации) румынского языка, особенно Л. Дэскалу, которая практически проанализировала экспериментальным путем почти все виды фразовой интонации румынского языка.

Последние годы характеризуются появлением фундаментальных работ по новогреческой просодии. Так, на XII Конгрессе фонетических наук два доклада были специально посвящены акустической природе новогреческого ударения. А. Арванти (Arvanti 1991), признавая, что акустическими коррелятами новогреческого ударения являются частота, длительность и интенсивность, считает, что греческий язык — это язык слогосчитающий, не имеющий членения на ритмические группы и различающий только одно ударение в слове. Именно отсутствие ритмического членения, по ее мнению, и отличает новогреческий язык, например, от английского, где ритмические группы обязательны и где число ударений в речевом потоке тем самым оказывается большим.

А. Ботинис (Botinis 1991), рассматривая две новогреческих модели вопроса с вопросительным словом: нисходящую и с восходящим концом (эмфатическую), приходит к выводу о том, что частота не играет основной роли в выделении новогреческого ударения.

Именно монография А. Ботиниса, вышедшая в Швеции (Botinis 1989), по существу является первой фундаментальной монографией по новогреческой просодии. Центральное место в ней занимает фонетическое слово, не превышающее обычно трех слогов (см. сходные для других языков наблюдения Л. Гиринской и П. Мертенса). А. Ботинис сравнивал ударные и безударные слоги, с одной стороны, и слоги в фокальной (т. е. выделенной) позиции, префокальной и постфокальной. Основные задачи исследования: 1) как манифестируется словесное и фразовое ударение в новогреческом? 2) какой из параметров наиболее последовательно проходит через слово в предложении? 3) зависит ли тип выражения ударения от просодической структуры высказывания в целом? Материал вводился в конструкции-фреймы, сходные с теми, которые были составлены для нашей работы. Так же, как и в нашем исследовании, рассматривались слова, различающиеся только местом ударения: например, *nómo* (закон) и *nomó* (страна). Такие слова включались в соответствующие фреймы. Например (графика А. Ботиниса): *Maria ikserē to (nómo / nomó) kala*. В специальных фреймах-вопросах требовался ответ с обязательным подчеркиванием, т. е. фокусированием, одного из слов:

1. *Pos ikserē i Maria to nómo?* — *I Maria ikserē to nómo KALÁ.*
2. *Ti ikserē i Maria kala?* — *I Maria ikserē to NÓMO kala, etc.*

Ряд результатов А. Ботиниса имеет большое значение для подтверждения нашей концепции просодической схемы слова, о которой говорилось выше. Например, имея в виду его данные о том, что в *NÓMO* разность ударного и безударного > 14 мсек, а в *NOMÓ* > 35 мсек, мы осознаем, что новогреческое слово правоориентировано по длительности.

В фокальной позиции разрыв по *t* несколько уменьшается: *NÓMO* > 34 мсек; *NOMÓ* > 42 мсек. Правоориентированность по длительности свидетельствуют и *t* самих ударных: *ó* в *nómo* всегда короче *ó* в *nomó*.

Основным средством выделения фокуса, по А. Ботинису, является частота основного тона, которая четко реализуется на ударном.

Интенсивность новогреческого предложения довольно сильно понижается к концу.

Просодия новогреческого слова рассматривается также и в зависимости от словосочетания, в которое это слово входит, например:

To neo máqima / tis ine diskolo
 Новый урок / ей труден
To néo máqima tis / ine diskolo
 Новый урок ее / трудный

Наиболее существенными для нас оказались не подчеркнутые самим автором данные о значительном конечном продлении слова, особенно перед пау-

зой, значительно превышающем продление по ударности. То есть речь идет о конечном заударном слоге. См. отношения 98/183, 111/188, 90/188, 85/194 и т. д.

Важно и то, что, по данным А. Ботиниса, подъем тона при восходящей мелодике осуществляется на постударном слоге, т. е. это тот же «негативный» подъем в общем вопросе, по Л. Дэскалу, и *reverse pattern*, по И. Лехисте—П. Ивичу.

В плане перцепции ударения наименьший эффект дала частота, наибольший — манипуляции по длительности.

Рисунок терминальной мелодики создается, по А. Ботинису, модуляциями в ударном слоге + заударными слогами, если они представлены.

Собственно балканских сопоставительных исследований стиха, проведенных экспериментальным путем, в последние годы проведено не было. Однако в заключение хотелось бы остановиться на двух циклах работ по балканской версификации.

Во-первых, это цикл исследований С. Бо-Бови по просодии новогреческого стиха (Baud-Bovy 1936; 1953; 1957).

В книге 1936 г. о народной греческой песне обсуждается вопрос о генезисе народной версификации, которая одними считается заимствованной, а другими — восходящей к античной метрике. Бо-Бови полагает, что в рецитации мелодика несущественна, более важны длительность и интенсивность. Существенны еще два замечания Бо-Бови: о наличии на Балканах так называемой «ломбардской» акцентуации, когда длительность гласных находится как бы вне отношений ударности/безударности, а имеет свою дистрибуцию; в этом случае ударные выделяются через интенсивность. Второе замечание — утверждение о чисто графическом размещении ряда акцентов.

В строке интенсивностью выделяются только четные слоги: 2, 6, 10, 14. Из нечетных подчеркнуты первые слоги обоих полустиший. Второе полустишие на слог короче первого, зато последний слог в нем сильно продлен. Эта тенденция сильно продлевать абсолютно последний слог строки отмечается С. Бо-Бови и для болгарского стиха.

Для нашей концепции возможной левоориентированности ряда балканских языков по длительности важно его замечание о большей длительности инициальных слогов, особенно при часто встречающемся повторе строки. Итак, в порядке убывания, подчеркнутыми являются слоги: 14, 6, 10, 4, 8, 2, 12.

Мелос, по данным Бо-Бови, приспособливается к акцентуации; так, для нужд мелодики, безударный слог растягивают, но не подчеркивают.

Через современный тип стиха, по его мнению, просвечивают два архаичных размера: ямбический, при котором безударный слог привязан к последующему ударному, и трохаический, когда ударный связан с предыдущим ударным.

Справедливость этого наблюдения особенно ощущается при перцепции балканского стиха, особенно болгарского, хотя акустические данные это подтверждают не всегда.

Каково же происхождение греческого народного стиха? Бо-Бови возводит 12-сложник с цезурой после 7-го слога к византийским пословицам.

Существенным, в свете наших экспериментальных данных, оказалось замечание Бо-Бови (Baud-Vovy 1936; 113) о различении народного стиха и народной греческой песни: в первом представлено много монотонных участков с фиксированной дистрибуцией (как он считает, pour souligner les mouvements de la pensée).

В работе 1953 г. (Baud-Vovy 1953) автор занимается анализом функций междометий-экскламативов, которые часто вставляются в стих, особенно после цезуры. Вставки подобного рода произносятся на ноте первого слога. По мнению Бо-Бови, задача таких вставок двойная: 1) сохранение старой метрической схемы в тех случаях, когда слова исторически сократились; 2) подчеркивание знаменательных слов «акустическим» шлейфом.

В статье 1957 г. (Baud-Vovy 1957) особое место уделяется западному влиянию на греческий стих. Здесь прежде всего важны две традиции: итальянская и французская. Через эти контакты в любовных песнях XV и XVI вв. появляется рифма. Наконец возникает характерный именно для Франции, но не для Италии, 15-сложник. Влияние осуществлялось, в основном, через Кипр.

Но важнейшим последствием эволюции было объединение стихотворных строк по две, т. е. создание двустишия (complet). Эти комбинации стихотворных строк отчетливо вырисовываются и в нашем экспериментальном материале, хотя более частой структурой является, скорее, не двустишие, а четырехстишие.

Другой цикл данных по балканской версификации — книга А. Славова (Sławow 1974) о болгарских данных. Подтверждая тезис о наибольшей популярности восьмисложника с делением 5 + 3, реже 4 + 4, Славов обращает внимание (и это подтверждают наши данные) на отдельность, не-слиянность болгарского слова в стихотворной строке: строки состоят из слов, как стена из кирпичей, и все они «mają określone długości i określoną strukturę akcentową» (там же; 18).

Интересны его данные о средней продолжительности слов (по числу слогов) в трех жанрах: прозе, художественной поэзии и народной поэзии в трех языках: русском, болгарском и сербском:

	Проза	Поэзия	Народная поэзия
Русский	3,01	2,74	3,8
Болгарский	2,96	2,7	2,86
Сербский	2,79	2,68	2,77

Из этих данных видно, что самые короткие ритмические группы представлены в поэзии. Самые протяженные ритмические группы (слова) отмечены в русском языке, а самые непротяженные — в сербском. Эти последние данные

А. Славова, как кажется, вполне объяснимы в свете нашей концепции о языковой эволюции, излагавшейся выше. Русский язык оказывается наиболее ранним по литературному и коммуникативному пути эволюции, поэтому он оказался способным в наибольшей степени оконтуривать большее число слов; особенно интересны здесь данные народной поэзии, говорящие о давнем процессе эволюции в этом плане. Сербский язык — это язык с системой музыкальных ударений, выполнение которых требует абсолютного времени даже и в стихе, болгарский же язык занимает, как и должен был занимать, промежуточную позицию.

Б. Основные интонационные типы и их просодическая структура

Как уже указывалось ранее, трудности заключались и в том, что языки БЯС имеют не сводимую друг к другу научно-исследовательскую традицию. Так, полиакцентность сербского языка неизбежно приводила к тому, что во всех исследованиях по интонации фразы в центре внимания оказывается поведение во фразе разноакцентных ритмических структур (хотя, конечно, можно еще и еще раз восхититься фундаментальностью последних исследований И. Лехисте и П. Ивича). Пожалуй, на данном этапе в наибольшей степени исследованы интонационные структуры болгарского языка (работы Д. Тилкова, Т. Бояджиева, И. Пенчева, А. Мишевой и др.); румынский язык на интонационном уровне (в основном, вопросительных предложений) последние два десятилетия успешно исследуется Л. Дэскалу; существует несколько работ по новогреческому языку и минимально представлены албанский и македонский языки.

В отношении самого набора интонационных фигур также можно говорить о принципиальной неоднородности типов высказываний по отношению к тому, насколько «плотно» ложится на них интонационный контур. Эта неоднородность объясняет и носящий эмпирический характер разноразной иллюстративного материала при разных типах высказывания, когда примеры на одно явление очень кратки, на другое — демонстрируются только интонационным центром, на третье — примерами подлиннее и т. д.

Мы считаем (см. об этом Николаева 1989а), что существует по меньшей мере три типа высказываний, различающихся по степени слитности надстроенной над ними интонации.

1. Высказывания повествовательные, тяготеющие к монологу. Их интонацию можно назвать «рыхлой» — без активной единой мелодической структуры, отчетливой здесь бывает лишь терминальная зона. В этих высказываниях более отчетливы ударные слоги, в них же есть большая акцентная подчеркнутость слов. Иначе говоря, в них доминирует сегментная структура, в особенности тех слов, подчеркивание которых работает на внутритекстовую семантику.

2. Вопросительные высказывания, в которых более слитна интонационно-мелодическая фигура, образующая определенный очерченный рисунок, зато

ударные слоги отдельных слов сглажены. См. сходные наблюдения у Дж. Пьерхамберта о том, что «фонетическая значимость акцентного центра (nuclear stress) тем ниже, чем продолжительней фраза в целом» (Pierrehumbert 1980; 168).

3. Реплики-ответы. Этот тип обычно рассматривался в одном ряду с повествовательным. Между тем реальный анализ, особенно работы С. В. Кодзасова последнего десятилетия (Кодзасов 1989, 1989а) показывают, что именно эти типы высказываний отмечаются регулярной краткостью и максимально осуществляемой возможностью передавать через интонацию множество смыслов.

Различие этих трех типов высказываний существенно для типологических целей. Так, наиболее интересными и характеризующими тип просодии данного языка являются вопросительные предложения. При этом возможны следующие вариации: идентичные по рисунку фигуры выполняют различные по языкам функции; некий язык располагает большей по числу совокупностью мелодических фигур вопроса, чем другой; иные типы вопроса, например переспрос, близки к универсалиям мелодического решения, другие — общий вопрос, например, — в значительной степени отражают специфику языка.

Реплики-ответы, по нашему мнению и опыту, являются наиболее сложным материалом для типологических наблюдений, поскольку, как кажется, они практически недоступны для анализа исследователям, не являющимся носителями данного языка.

Материалом, анализирующимся при исследовании типологии высказывания, является перечень вопросительных предложений определенного набора. Набор этот был впервые опробован в работе по изучению вопросительных предложений финно-угорских языков (Николаева 1989б). В этот набор были включены следующие типы вопросительных предложений.

1. Общий вопрос:

Вы были когда-нибудь в Москве?

Вам тут нравится?

Вы были в Ленинграде ?

Вы мне еще не почитаете?

2. Специальный вопрос:

Когда Вы первый раз были в Москве?

Где Вы учитесь?

Какие языки Вы изучаете?

Когда бы Вам хотелось уехать?

3. Уточняющий вопрос с А:

А в Киеве?

А русский?

4. Переспрос:

*Когда?**Где?**Какие?*

5. Уточняющий вопрос без А:

Итальянский? Французский?

6. Альтернативный вопрос:

Итальянский или французский? Это интересно или нет?


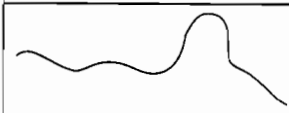

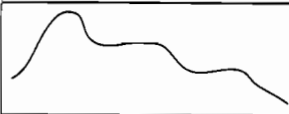




Из этих предложений был составлен единый квазитекст:

- *Вы были когда-нибудь в Москве?*
- *Когда Вы в первый раз были в Москве?*
- *Когда?*
- *Где Вы учитесь?*
- *Где?*
- *Вам тут нравится?*
- *Это интересно или нет?*
- *Какие языки Вы учите ?*
- *Какие?*
- *Итальянский? Французский.*
- *Итальянский или французский?*
- *А русский?*
- *Вы были в Ленинграде?*
- *А в Киеве?*
- *Когда бы Вам хотелось уехать?*
- *Вы мне еще не почитаете?*

Из сопоставления всех данных по мелодике вопросительных предложений балканских языков, рассмотренных в настоящей работе, можно сделать некоторые обобщающие выводы. Они сделаны в табличной форме (см. стр. 246).

Прежде чем перейти к описанию того, какие единицы представления интонационных параметров были выбраны для типологии просодии БЯС, необходимо остановиться на некоторых базовых предпосылках.

Первым этапом выявления интонации отдельных типов высказывания является анализ фреймов — типовых предложений, в которые в разные, заранее определенные места, вставляются слова. Подобный метод часто применяется исследователями интонации. Основной моделью подражания служили в данном случае типовые рамки Н. Д. Светозаровой (Светозарова 1982). Для сербского языка подобный метод был применен уже около двадцати лет назад П. Ивичем и И. Лехисте (Lehiste, Ivić 1986); для голландского языка — пять

Тип контура	Общий вопрос	Вопрос с вопр. сл.	Переспрос	Уточнение	Альтернат. вопрос
	алб.			греч. болг. алб.	
	рум. греч.			алб.	с.
	алб. макед.		с. алб.	рум. греч. с.	рум. алб.
		рум. болг.		греч.	алб. болг. макед.
		греч. с. алб. макед. болг.	греч. болг.	макед. греч. алб. болг.	алб. рум. греч.
			рум. греч. алб. макед.		с.
	болг. с. макед.		болг.		
			рум. макед. алб.		

типов предложений-рамок, см. (Nooteboom, Doodeman 1980); для французского языка — А. ди Кристо (Di Cristo 1985); для новогреческого — А. Ботинис (Botinis 1989) и т. д. Этот метод удобен тем, что рамки-фразы остаются идентичными, слова же заменяются и тем самым выявляются данные о просодии слова — с точки зрения ее модификаций во фразе. С другой стороны, поскольку один и тот же тип предложения повторяется многократно с заменой только одного слова, можно сделать объективные выводы об интонации именно этого типа фраз. Однако нельзя при этом не учитывать и известный недостаток этого метода, поскольку избранные слова не включаются полностью в мелодику сен-

тенционального типа, а произносятся с некоторой подчеркнутостью. В этом произношении может варьироваться и их просодия. (Так, Е. Кайспер отмечает, что сербские слова под эмфазой могут произноситься без ретракции: *devòjka* вместо *dèvòjka* (Keijsper 1987).)

Были выбраны следующие модели фраз (приводится русский вариант):

Это (). — повествовательное краткое; слово X находится в конечной фразовой позиции.

Это ()? — вопросительный вариант; общий вопрос.

Это () или нет? — альтернативный вопрос; слово X находится в центре фразы.

Как Вы произносите слово ()? — специальный вопрос; слово X находится в конечной позиции.

() — это слово. — повествовательное краткое; слово X находится в начальной сильной позиции.

Скажи слово (). — повелительное краткое; слово X находится в конечной позиции.

Скажи слово () еще раз — расширенное повелительное; слово X находится в центральной позиции.

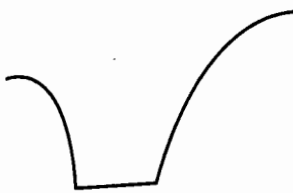
Вот так ()! — восклицание; слово X находится в конечной позиции.

Когда услышите (), нажмите кнопку. — высказывание сложноподчиненное; слово X находится в конечной позиции при полукаденции.

Таким образом оказывается возможным построить обоим реализаций одного и того же слова, включая изолированное произношение, и провести анализ всех перечисленных типов высказываний с вариантами, создаваемыми словами X с различной ритмической структурой.

Всего нами было выявлено семь терминальных фигур (не общих контуров!), которые описываются в порядке убывания их частотности:

1



Румынское окончание придаточного

Греческое окончание придаточного

Албанское окончание придаточного

Румынский развернутый императив при — '—

Румынский общий вопрос

Македонский общий вопрос

Болгарский спецвопрос

Албанский спецвопрос при '— —

Румынское утверждение-2 при — — '—

Албанское утверждение-2 при — '—

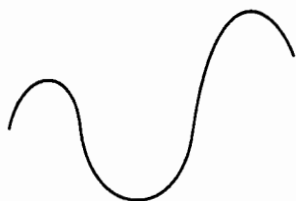
Болгарское утверждение-2 при — '—

Болгарское придаточное при — '—

Сербское утверждение-2 при '—

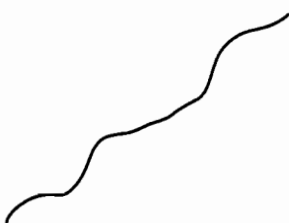
Сербское восклицание при '—

2



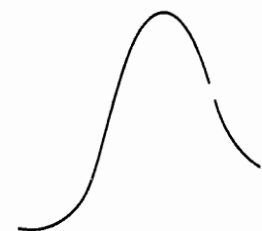
Румынский общий вопрос
Греческий общий вопрос
Болгарский общий вопрос
Болгарский альтернативный вопрос
Македонский альтернативный вопрос
Македонский вопрос с вопр. словом
Македонское утверждение-2
Македонское окончание придаточного
Румынское утверждение-2 при ' —
Албанское утверждение-2 при ' —
Болгарское утверждение-2 при ' —
Сербский императив при '

3



Албанский общий вопрос
Греческий развернутый императив
Греческий вопрос с вопр. словом (конец)
Сербохорватский вопрос с вопр. словом (конец)
Греческое утверждение-2
Румынский развернутый императив при ' —
Сербское придаточное при '
Сербский альтернативный вопрос при '

4



Греческое придаточное при ' —
Болгарское придаточное при ' —
Македонский императив при ' —
Албанский вопрос с вопр. словом при — ' —
Македонский альтернативный вопрос
Македонское придаточное
Сербский общий вопрос при ''
Сербский альтернативный вопрос при ''
Сербское придаточное при ''
Сербское восклицание при ''

5



Румынское утверждение
Болгарское утверждение
Греческий альтернативный вопрос
Албанский альтернативный вопрос
Румынское восклицание
Греческое восклицание
Болгарское восклицание
Албанский краткий императив
Греческий краткий императив
Албанское восклицание
Румынский краткий императив при — ' —

6



Румынская финаль утверждения при — $\overset{\cdot}{\text{—}}$
 Болгарский вопрос с вопр. словом при — $\overset{\cdot}{\text{—}}$
 Сербская финаль утверждения при $\overset{\cdot}{\text{—}}$
 Македонское придаточное
 Сербское придаточное при $\overset{\cdot}{\text{—}}$
 Греческое утверждение
 Албанское утверждение
 Румынский императив при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ —
 Сербское утверждение при $\overset{\cdot}{\text{—}}$

Обращает на себя внимание следующее.

При восходящей мелодике сербскому типу при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ соответствует мелодика при — $\overset{\cdot}{\text{—}}$. Сербскому типу при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ соответствует в других языках мелодика при $\overset{\cdot}{\text{—}}$.

При нисходящей мелодике сербскому типу при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ соответствует мелодика при — $\overset{\cdot}{\text{—}}$.

Сербскому типу при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ соответствует мелодика при $\overset{\cdot}{\text{—}}$ — (кроме албанского языка).

Таким образом, во всех случаях сербский $\overset{\cdot}{\text{—}}$ — соответствует $\overset{\cdot}{\text{—}}$ —. Но сербскому $\overset{\cdot}{\text{—}}$ — соответствует в языках БЯС (там, где она зависит от типа слова!) мелодика при структуре — $\overset{\cdot}{\text{—}}$. Это значит, что сербский язык как бы сохраняет общую модель до неоштокавского сдвига. Это наблюдение можно считать очень важным для славянской просодической диахронии.

Таким образом, представлены три основных типа:

1) существует некая фигура, реализующаяся в терминальной позиции и не зависящая от слова;

2) существует не одна фигура (в наших данных обычно две) разного рисунка; дистрибуция определяется типом ритмики слова;

3) одна фигура как бы прикрепляется к ударному слогу слова.

Как это распределение связано о языками БЯС?

Первый тип характеризует греческий (мелодика оформлена и от слова не зависит).

Второй тип — это сербский, где все зависит от оппозиции акцентов, и македонский.

В остальных языках наблюдается сложное смешение возможностей.

Какие структуры тяготеют к тому или иному типу?

Четкого ответа нет, но можно сказать, что: общий вопрос стремится к единообразию; слабее эта тенденция выражена в придаточном; тенденцию привязки контура к ударному слогу обнаруживают более эмоционально окрашенные смысловые структуры — императивы обоих видов, восклицание и альтернативный вопрос.

Во всех языках БЯС были обнаружены фигуры мелодики как с высоким, так и с низким положением ударного. Сведения о других языках позволяют

считать это явление, создающее своеобразную волнообразность текста, балканизмом. Фонологизацию этого явления имеем, однако, только в сербском.

Просодия жанров анализа различалась. Речевые единицы художественного текста были длительнее сказки, а скорость — меньше. То есть чтение художественного текста свидетельствует о более долговременной и вариативной программе. Просодия же сказки приближалась к известным и по другим языкам описаниям спонтанной речи и была в наибольшей степени и однообразна, и предсказуема.

В чтении, кроме, может быть, румынского, не отмечалась высокая функциональность просодических средств, чувствовалась большая вариативность и малая упорядоченность. Во всех данных были (больше или меньше) длительные монотонные участки, особенно в сказке. Интенсивность, в основном, выполняла две функции: очерчивание начала и конца отрезков и подчеркивание слов трех категорий — отрицания, интенсивов-наречий и глаголов (особенно результатов и/или причастных форм); особенно глаголы подчеркнуты в сказке. К точковому концу часто идет слабое монотонное понижение тона. Напротив, именно длительность к концу отрезка увеличивается с более ярким выделением ударных. С другой стороны, мелодика стремится выделять ударные слоги в начале отрезка, причем высоким часто бывает второй пик.

Все указанные особенности особенно ярко проявляются в стихе. Но в стихе проявляются и специфические особенности. Начальные строки формируются понижением с высокого уровня на первом ударном, затем повышением. Именно в стихе наблюдается чередование выпуклых и вогнутых дуг.

Начало мелодики стиха яркое, середина и конец более монотонны. Зато длительность более яркая к концу.

В разных языках стих может разбиваться на единицы по несколько строк, по две строки, по одной. Но их структура сохраняется. Таким образом, ударность слога в слове в начале может выделяться мелодией, а в конце — длительностью.

Все изохронные феномены в стихе особенно активны.

Интенсивность в стихе меняется в зависимости от языка. В сербском она очерчивает слово (причем без проклитического предлога). Болгарский и македонский отличаются интенсивностью не слова, а ударных слогов. В албанском, греческом и болгарском интенсивность четко выделяет начальный и конечный иктусы.

Все максимумы акустических параметров не всегда приходились на ударный слог, но на ударный слог приходился хотя бы один максимум. Таким образом, ударный слог оказывался подкрепленным. Необходимо сказать также, что на слух часто стих производил впечатление ямба.

Наконец, необходимо еще и еще раз подчеркнуть, что только сопоставление наших данных с данными широкого диапазона языков позволит ответить на вопросы:

1) не имеем ли мы дело с универсальными фактами?

2) не имеем ли мы дело с фактами креолизации (или даже пиджинизации)?

Только получив ответы на эти вопросы, мы можем говорить о собственно балканских феноменах.

Существенным является тот факт, что на основании функционального анализа всех контуров мы не можем ни расчленить эти языки по какому-то признаку, ни объединить их по другому. Таким образом, существует некоторое общее ядро контуров, которые могут в каждом языке БЯС иметь разные функции. При этом возможна и синонимия, и омонимия. Из этого следует, что интонационная система БЯС как целого находится в состоянии становления, поскольку нет ни единообразия отношения: форма/функция, ни каких-то ярких особенностей, присущих только одному языку. Именно такое разнообразие отличает креолизованные структуры.

Что же отличает интонационную систему БЯС от других интонационных систем Европы?

Это — тенденция к высокому подъему в конце специального вопроса (все языки, кроме румынского), тенденция помещать центр общего вопроса в середину контура или даже влево (славянские языки БЯС), не-пословное выделение поднимаемого центра (а как бы некоторым куском; это тоже в славянских языках БЯС). Иначе говоря, славянские языки БЯС обладают контурами более рыхлыми, менее сглаженными и меньше выделяющими центр.

И все-таки неудовлетворенность оставалась от того, что практически все фигуры были известны всем балканским языкам, дистрибуция их часто казалась факультативной, и хотя само число фигур было ограничено, свобода варьирования была намного большей, чем в собственно славянских языках, где употребление той или иной фигуры во многих случаях казалось предсказуемым.

Утешающий ответ находим в последней книге Т. В. Цивьян (Цивьян 1999): «В алгоритм БММ (Балканская модель мира. — Т. Н.) заложена гораздо большая (по сравнению с „нормой“) свобода, и, главное, в ней до тонкости разработан механизм перехода от одной традиции к другой, от одного фрагмента, кода и т. п. к другому... Но эти особенности усложняют задачу исследователя» (там же; 7). И далее: «Существующее в пространственно-временной тесноте и далеко не всегда добровольное объединение *разного* и разъединение *одинакового* стимулирует особого рода отождествление своего Я. Балканское Я стремится утвердить исконность и непрерывность по вертикальной, диахронической оси своего существования, оси, прикрепленной к некоей точке...; при этом горизонтальное, синхронное положение Я остается подвижным, колеблющимся, сохраняющим возможность выбора» (там же; 13).

В этом параграфе мы говорили в основном о мелодических фигурах языков БЯС.

Между тем не менее неожиданные данные — как в универсальном, так и собственно типологическом плане — предоставили данные временные и дан-

ные интенсивности. Это в первую очередь связано с типологичностью так называемой просодической схемы слова, о которой подробно говорилось в первой части этой книги и о которой пойдет речь в следующем параграфе.

§ 4. Универсальность vs. типологичность просодической схемы.

«Неоштокавский сдвиг» и его возможные причины.

Временные загадки балканской просодии

1. Просодическая схема-2

Возвращаясь снова к идее просодической схемы слова, мы должны отметить, что ее общие очертания, а именно: акцентная кривая к концу понижается и сильной точкой является начало слова, а длительность увеличивается к концу слова и эта конечная зона является сильной точкой по длительности, — долгое время считались универсалией, пожалуй, потому что наиболее ранние исследования в этом плане проводились на англоязычном материале и материале индоевропейских языков Европы. Считалось, что тенденция кривой интенсивности в слове несомненна: она понижается, поэтому заранее предсказуемыми и нетипологическими могут оказаться критерии, которые первоначально задуманы исследователем как интересные для сопоставления. Так, А. Риго занялся вопросом о ведущем акустическом параметре словесного ударения в языках, где «ударение фиксировано». Он приходит к выводу о том, что фиксированность ударения сама по себе не предсказывает акустический параметр ударения: в чешском языке доминирует интенсивность, во французском — длительность (Rigault 1970). Однако эти выводы можно было бы на основании приведенных примеров предсказать заранее: в чешском языке, где ударение падает на первый слог, интенсивность занимает в слове вершинную позицию; во французском языке, в котором ударный слог удален от акцентной вершины, он будет выделен длительностью.

Итак, понижение акцентной линии к концу слова есть как будто бы одна из просодических универсалий.

И вместе с тем ряд данных свидетельствует о том, что это не совсем так. Это относится к сведениям о тюркских языках.

Обратимся к данным, позволяющим сконструировать тюркскую схему просодии слова, аналогично тому, как это делалось ранее для индоевропейского слова. Типологическая разница в направлении акцентной кривой в ряде работ подчеркивается в достаточно прямой форме.

См., в частности, у А. Орусбаева (Орусбаев 1971; 8): «Если для русского языка типично увеличение интенсивности в направлении к началу слова, то

для киргизского, напротив, характерно повышение интенсивности в направлении к концу слова. Подобное явление наблюдается и в другом тюркском языке — в азербайджанском».

Д. А. Павлов и Т. С. Есенова (Павлов, Есенова 1986) подтверждают и дополняют выводы А. Орусбаева; монгольские и тюркские языки отличаются от индоевропейских повышением интенсивности к концу слова. Очень важно их замечание о том, что трудно судить о том, является ли это повышение интенсивности к концу слова признаком именно ударности. Оказывается, что слово с начальным ударением может тоже иметь восходящую акцентную кривую, а ударность выражаться другими фонетическими средствами (там же; 50). Если верно, как пишет А. Орусбаев, что и длительность к концу слова возрастает, то обе сильные точки схемы просодии слова в тюркских языках совпадают (если сейчас не останавливаться на упомянутых субстратных структурах принципиально иной модели). См. у И. Я. Селютиной, описывающей удлинение гласных к концу кумандинского слова именно как словесную суперсегментную черту тюркских лексем (Селютина 1986).

Итак, возникла гипотеза о трансформации модели славянских языков БЯС под влиянием (тюркского?) соседа и о возможных неожиданностях в исследовании акцентных и временных характеристик языков БЯС вообще.

В нашей работе были получены ответы на следующие вопросы:

1) как выражается в данном языке схема просодии слова: распределение интенсивности, распределение длительности безотносительно к ударению?

2) чем выражено ударение в данном языке? Общее число комбинаций трех параметров (*fti*), число попарных комбинаций (*ft*, *fi*, *ti*) и одиночных выделений слога (*f*, *t*, *i*)?

3) как это связано с местом ударения в слове?

4) как это связано с числом слогов в слове?

5) какова средняя продолжительность звука в словах: а) с разным числом слогов и б) с разным местом ударения?

6) какова средняя интенсивность гласных в слове при тех же показателях?

Все указанные выше характеристики связывались не только с ритмической структурой слова, но и с его сегментной структурой. Учитывалось различие консонантно-вокалического исхода и консонантно-вокалического начала при всех ритмических вариантах.

Хотя все слова в анализе являлись реальными и взятыми из словарей соответствующих языков, выбиралась фонетическая структура, максимально удобная для типологического анализа. Поэтому основным исходным вокалом был гласный [a], а основным консонантом [b]. По возможности подбирались пары слов, различающихся местом ударения, типа *му́ка* — *мука́* (рус.). Например, *ágǎ* — *agá*, *bábǎ* — *babá*, *ármě* — *armě*, etc.

Кроме того, остальные слова выбирались с таким расчетом, чтобы их структуры во многом, но по-разному, совпадали, так что они образовывали некую

сеть связей, по которым можно было судить, как изменяется совпадающая сегментная часть слов в зависимости от меняющегося сегментного «остатка». Такими были, например, группы слов: ἄγαν — αγαλλιῶ — ἀγάλια — ἀγάς — ἄγανο — ἄγαθον — ἀγαπίω; μπούκα — μπουγάς — μπουζί — μπουκαβάς; ἀβολία — ἀβάρα — ἀβατον; μπάκας — μπακιρώνω (греч.); babá — bábiřǎ — babadám — babácǎ; alún — alunát — alúnhul; aúr — aurǎ — aurár (рум.); árмия — армѐя — аромát — арǎт — árка — арká; б́уча — бичѐ; баджǎ — баджǎк — баджанǎк; аскѐр — аскѐрин; аналѐз — ананás — анǎжак — анǎрт (болг.) и т. д.

Эти же вопросы были заданы при анализе фраз-фреймов и трех типов текста — художественного, сказки и народного стиха.

Оказалось, что в отношении языков БЯС по длительности можно говорить о языках **левоориентированных** (то есть сильной точкой по длительности является начало, а не конец слова) и языках **правоориентированных** (сильной точкой по длительности является конец слова). Кроме того, выявилось различие языков по тому, изменяется ли вообще средняя продолжительность звука при переносе ударения, а ударный слог стремится сохранить стабильность (б́уча — бучá и под.) или меняется и длительность самого ударного также.

Более детальный ответ дали нам и данные по дистрибуции право- и левоориентированности акцентной кривой и темпоральной структуры в наборе разного типа высказываний-фреймов.

При этом исследовалась: 1) средняя продолжительность звука (СД) по типам высказывания, 2) отношение длительности начального ударного высказывания к конечному ударному (Н/К) у высказываний, 3) отношение длительности конечного ударного к абсолютно конечному слогу (если таковой был). Сходным образом исследовалась и интенсивность.

Полученные результаты.

Критерий Н/К (отношение длительности начального слога к конечному).

В албанском языке:

- левоориентированность (т. е. продлено начало): в утвердительном предложении, в общем вопросе, в альтернативном вопросе, в кратком императиве, в утверждении;
- правоориентированность: в вопросе с вопросительным словом, в развернутом императиве, в восклицании, в придаточном предложении.

В румынском языке:

- левоориентированность: отчасти в общем вопросе, в альтернативном вопросе, в утверждении-2, в кратком императиве;
- правоориентированность: в утвердительном предложении, отчасти в общем вопросе, в вопросе с вопросительным словом, в развернутом императиве, в восклицании, в придаточном;
- равновесность: отчасти в общем вопросе.

	Утверждение	Общий вопрос	Альтерн. вопрос	Вопрос с вопр. словом	Утверждение-2	Краткий императив	Развернутый императ.	Восклицание	Придаточное
Румын.	К	Кз-у К Р		К		К Кз-у	К	К	К
Греч.	К	К Кз-у	К Р	К Р		К	К Кз-у Р	К	К
Албан.	К Кз-у			К Р	К	К Р	К Кз-у		К Кз-у
Болгар.	К	Р		Кз-у	Р Кз-у	К Кз-у	Кз-у	К	К
Макед.	К	К		К		К	Кз-у	К	Р
Срб.	К	К		К	К	К	К	Кз-у	К

Отношение: К/Кз-у (т. е. отмечается то, что длительное, ударный или заударный). Р — равновесны.

В греческом языке:

- левоориентированность: в утвердительном предложении, отчасти в общем вопросе, в альтернативном вопросе, в утверждении-2;
- правоориентированность: в общем вопросе, в вопросе с вопросительным словом, в кратком императиве, в развернутом императиве, в придаточном предложении.

В болгарском языке:

- левоориентированность: отчасти в утверждении, в общем вопросе, в утверждении-2; в развернутом императиве;
- правоориентированность: отчасти в общем вопросе, вопросе с вопросительным словом, в кратком императиве, в восклицании, в придаточном;
- равновесность: отчасти в утверждении, отчасти в альтернативном вопросе, в утверждении-2.

В македонском языке:

- правоориентированность: в утверждении, в кратком императиве, в развернутом императиве, в восклицании, в придаточном, в общем вопросе, в вопросе с вопросительным словом;
- равновесность: в альтернативном вопросе, в утверждении-2.

В сербском языке:

- левоориентированность: в кратком императиве, в восклицании;
- правоориентированность: в утверждении, в общем вопросе, в вопросе с вопросительным словом, в развернутом императиве, в придаточном;
- равновесность: в альтернативном вопросе, в утверждении.

Эти данные дают возможность выделить язык максимально левоориентированный (албанский: 5 структур из 9), с явной тенденцией к левоориентированности (румынский, греческий, болгарский: 4 структуры из 9), малоориентированный влево (сербский: 2 из 9) и правоориентированный (македонский). Небезынтересно, что равновесность проявляется явно у славянских языков БЯС.

Эти же данные говорят не только о языках, но и о синтаксических структурах.

Так, к левоориентированности тяготеет утверждение-2 (*X — это слово*) — краткий императив, альтернативный вопрос.

К правоориентированности — вопрос с вопросительным словом, развернутый императив и придаточное предложение.

Остальные структуры варьируются самым различным образом.

2. «Неоштокавский» сдвиг

Таким образом, для балканского ареала можно говорить о некоторой тенденции к симметричности по отношению к общеславянской просодической модели. А именно: интенсивность может не понижаться к концу речевого отрезка, а длительность может иметь в качестве сильной точки начало слова.

Учитывая факт значительного по времени турецкого владычества на Балканах (см. выше данные тюркских языков в этом плане), можно высказать некую гипотезу по поводу имевшего место в XV веке так называемого «неоштокавского сдвига», на котором далее остановимся подробнее.

В применении к сербохорватским фактам полученные данные и общая теория просодической схемы дают основания для обсуждения фонетических причин «неоштокавского сдвига».

Старая штокавская акцентуация знала два акцента: долгий и краткий. В XV в. два старых акцента $\grave{}$ и $\acute{}$ не в начале слова перешли на слог к началу слова и создали $\grave{}$ и $\acute{}$.

Почему это произошло? «Зашто је удовица, селђ, писѡти, девојка, неправда, рѡком, планинѡ и сл. дало: удовица, сѡло, писати, девојка, неправда, рѡком, планина» (Белић 1960; 160). Как пишет А. Белич: «Одговор је врло прост». Тон ударного $\grave{}$ и $\acute{}$ не в начале опадал: понижалась и частота, и интенсивность. П. Ивич дает фонологическую трактовку акцентного сдвига: противопоставление ударений по качеству, которое возникло на первом слоге, явилось лишь компенсацией за потерянную возможность акцентировки последнего слога (Ивич 1958; 19). В более поздней статье И. Лехисте и П. Ивич (Lehiste, Ivić 1982; 200) показывают сложность и многоэтапность штокавского акцентного сдвига. В частности, неоштокавский сдвиг, по их описанию, на первом этапе развивал более высокую F_0 и большую интенсивность на первом предупредном

слоге. Повышение этих двух важных для ударения характеристик привлекло к предупредительному (становящемуся ударным!) две другие необходимые характеристики: темпоральное продление и переход к полному, а не редуцированному, воплощению гласного. В дальнейшем необходимость различать «старые» инициальные акценты и акценты, сдвинутые к началу, привела к перестройке в суперсегментной системе языка: арена акцентной реализации сместилась с односложной на двусложную структуру (Lehiste, Ivić 1982); их исследование части чакавских и кайкавских акцентов демонстрирует как бы состояние штокавских диалектов перед сдвигом, диалекты Славонии осуществляют множество переходных этапов.

Иными словами, в словенско-сербско-хорватском ареале происходило усиление конечной зоны слова. Но, как указывает В. Вермеер, в чакавском и штокавском процесс этот прервался после этапа 1, в кайкавском и резьянских говорах — после стадии 2. К сожалению, неясно, когда же именно сербские говоры прекратили это движение вправо.

Богатый материал по *t*-параметру просодической схемы слова дает описание современных сербских, хорватских, словенских и македонских говоров по системе ОА (Fonološki opisi 1981).

Возможные варианты у чакавских говоров:

1) Безударная долгота возможна только в слоге перед ударным. Акцент может быть в любом месте слова. Тоны различаются только в долгих. В слове может быть два долгих: ударный и перед ним (Žminj, Sali).

2) Долгие только под ударением: тон — фонологически нерелевантен; ударение может быть в любом месте; долгий в открытом конечном слоге может укорачиваться до квантитета краткого (!). Это — Крес. См. также для этого региона описание системы Орлец (Houtsagers 1985), где нет фонологических долгот и только ударные могут быть долгими/краткими, и лишь долгие различают тон. В более ранней работе П. Хоутзагера отмечает для этого же региона (Houtsagers 1982) поразительное для слуха многообразие долгих акцентов, не доходящее до того, однако, чтобы смешиваться с краткими. В работе о диалектах Креса и Лошинь (Houtsagers 1984—1985) он окончательно приходит к выводу об отсутствии фонологически безударных долгот.

Сюда же входят Трогир, Чемба.

3) Все гласные могут быть долгими и краткими; фонологически релевантного тона нет; дистрибуция ударения и квантитета в слове свободная — вплоть до последнего слога. Важно, что может быть несколько долгих подряд (Dobrinj).

4) Слоги могут быть долгими (полудолгие) и краткими; акцент может быть на любом слоге; если есть восходящий акцент, то не может быть безударной долготы (Komižaj, Врбањ).

5) Все слоги могут быть долгими и краткими. Восходящий тон не может быть на последнем слоге. Долгими могут быть три слога подряд: ударный, претоник и посттоник (Ластово).

6) Долгие безударные могут быть только перед слогом с кратким и перед ударным с нисходящим акцентом; в последнем слоге возможна только нисходящая интонация (Штињаки).

7) Долгота может быть только после ударного (Пайнърт).

Такова пестрота долготной системы чакавских говоров, демонстрируемая только хотя бы на примере этих семи систем. В кайкавских говорах все же заметно некоторое изменение параметра слова:

1) Ударный может быть долгим и кратким; безударный всегда краток; краткий не бывает на конце многосложного слова (Мочила, Домагович).

2) Долгие и краткие могут быть ударными и безударными; долгий безударный может быть непосредственно перед ударением; в акцентной единице может быть только одна долгая (Домасловец, Зачретје).

3) Краткие могут быть ударными и безударными; долгие гласные — только под ударением; последний слог не может быть ударным (Кубинец).

4) Краткие могут быть ударными и безударными; долгими могут быть только ударные; на последнем слоге может быть только долгий (Прелог) и т. д.

Таким образом, выявляется для чакавских и кайкавских диалектов разнообразие систем, основывающееся на следующих корреляциях квантитета и ударения:

Квантитет (по типам диалектов)

1) Ударный — всегда долгий, и, наоборот, безударный — всегда краткий.

2) Ударный может быть и кратким, и долгим, безударные — всегда кратки.

3) Ударный — всегда долгий, а безударные могут быть и краткими, и долгими.

4) Безударный может быть долгим перед ударным (если ударный краток).

5) Безударный может быть долгим перед ударным в любом случае.

6) Безударный может быть долгим только после ударного.

7) Безударный может быть долгим и перед ударным, и после него; в слове возможен подлинный трехсложный ансамбль.

Место ударения (возможные варианты)

1) Может быть любым.

2) Не может быть конечным.

3) Зависит от типа акцента.

Еще более интересными представляются долготно-ударные структуры различных штокавских наречий:

1) Все гласные могут быть долгими и краткими. В словах без восходящего тона ударение автоматически падает на первый слог.

Восходящий тон может быть и на конечном слоге, и в односложных словах. Долгие безударные могут идти только после ударения (Трновац, Оток).

2) Восходящий тон может быть на любом слоге, кроме последнего, и вообще в односложных словах.

Долгие могут быть ударными или постударными (Мала Пертовица, Вальпово, Губер, Дрветине, Тратошница, Добретичи).

3) Все акценты могут стоять на любом слоге.

Долгие могут быть ударными, быть претоником и посттоником (Круч).

4) Все слоги могут быть долгими и краткими.

Ударные могут быть долгими и краткими.

Восходящий может быть на любом слоге, кроме последнего и в односложных.

Долгие безударные могут быть и до ударного, и после него.

В одном слове могут быть ударными два контактных слога таким образом, что первый — носитель восходящей, а второй — нисходящей интонации: *ženà, vù:kù, pé:tàk* (Вујака).

5) Все силлабемы могут быть долгими и краткими, акцентированными и неакцентированными.

В просодической единице могут быть два долгих слога.

Однако долгий безударный может быть перед ударным только в предшествующем слоге (*ka:zàli, pi:tàli*), тогда как после акцента он может выступать на любом слоге (*kazí:vo, pòora:la, sùncokre:t*).

Не перебирая все возможности до конца, можем и так убедиться, что говоры демонстрируют тенденцию к долготному усилению словесного анлаута. Но только в чакавских и кайкавских говорах это выразилось в усиленной долготе предударного слога, а в штокавских — в постударной долготе. Примечательно, что хорошо известен факт очень длительного предударного в русских словах типа *водá*, «сохранивших» исконное место ударения. Таким образом, по нашему мнению, в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных слогов. В одном случае первый из них так и оставался долгим предударным, в другом — его долгота перешагивала порог перцепции, необходимой для фонологизации ударения, т. е. был усилен «начальный ансамбль» и этот слог становился «ударным», а второй в долготном ансамбле — долгим посттоником. Вероятно, это движение к началу и было той причиной, которая приостановила для сербскохорватских говоров распространившееся движение регрессивного, т. е. правоориентированного долготного сдвига, который успел осуществиться только словенский.

Трудно говорить о том, случайно ли нештокавское перемещение ударения к началу совпало с увеличением контакта с тюркскими элементами, хотя выше говорилось о своеобразии просодической схемы в тюркских языках. Создается впечатление, что сложным движением долготы в просодической схеме слова была охвачена значительная часть Балкан. Фонетически же в этом регионе широко осуществлялось долготное равновесие двух контактных начальных слогов, однако предположить точные топохронологические датировки слишком сложно.

Возвращаясь к нашей гипотезе, можно сказать далее, что долготное балансирование временного параметра просодической схемы слова «прояснило» в штокавских говорах первый слог до порога ударности (тоновое движение), но новый ударный не оторвался от своего контактного соседа-посттоники, в результате чего возникла двусложная структура восходящих тонов.

Таким образом, можно предложить новую терминологию, базирующуюся на классическом представлении о фонологизации. А именно — мы имеем дело не с переносом ударения, а с увеличением просодических характеристик на новом участке слова, в результате чего другой слог, с увеличенными характеристиками до нужного порога перцепции, после фонологизации становится ударным.

О причинах перестройки просодических схем слова говорить можно: они связаны с общим изменением функциональных установок языковой системы, и в частности просодии, тогда как назвать объективную причину «переносов» ударения, не выходя за плоскость непосредственной эмпирики, часто бывает затруднительно.

3. Временные загадки балканской просодии

Во Введении к настоящей части (§ 1) говорилось о возможном существовании «третьей системы» в звуковом слое языка, т. е. системы не валоризованной, не обобщенно-эмпирической, но базирующейся исключительно на абсолютных, а не на привычных для языковеда релятивистских показателях. Именно эту третью систему и предоставилась возможность, как кажется, увидеть в темпоральных показателях балканских языков.

Именно в разном отношении к времени, трактуемом нами сейчас пока самым поверхностным образом, лежит, как представляется, стержень оппозиции «холодной и горячей» культуры, по К. Леви-Строссу. Как пишет К. Ясперс, «Принципы западного человека исключают простое повторение по кругу. Постигнутое сразу же рационально ведет к новым возможностям. Действительность не существует как сущая определенным образом, она должна быть охвачена постижением, которое является одновременно вмешательством и действием» (Ясперс 1992; 297).

Однако различие двух видов времени не оказывается исключительно темпоральным феноменом. Как правило, Время обычно ассоциируется с Пространством. Мы предлагаем в дальнейшем связывать его и с Событием, поскольку антропоцентричность нашего сегодняшнего научного сознания позволяет отойти от чисто физических феноменов прежней научной парадигмы.

Таким образом, правильнее говорить не о циклическом ВРЕМЕНИ, а о циклических-во-Времени-Событиях. Такой цикл всегда заполнен, «циклическое» время не знает пустоты, дыр, зияний. Включенность в него освобождает от страха одиночества, освобождает и от свободы. Типичным словом для обозна-

чения События-во-Времени является русское *Пора*, это время, не отделимое от события, «пора любви», «пора ехать на охоту», «пора собирать урожай» и т. д. (см. об этом подробно Яковлева 1992; 30—41). С этим связаны и такие противопоставления как *нынешний* (т. е. циклично повторяющийся) и *сегодняшний* (новое, уникальное) (Яковлева 1992; 39—40).

Итак, циклическое время мыслится заполненным, а линейное потенциально открытым. Возникает желание его сжать, компрессировать. В связи с этим интересна идея Т. В. Цивьян о текстах операционного характера, описывающих изготовление человеком разного рода артефактов от начала, созидания, до уничтожения, истребления (Цивьян 1993). Нельзя не согласиться с автором в том, что человек вмешивается в область природы, «навязывая ей свой темп и ритм и добываясь компрессии времени». Однако в ее же словах можно усмотреть и другую, не менее властную, функцию подобных текстов. «Произнесение текста приобретает над слушателем магическую власть, оно, как метроном, отсчитывает время, и это время сакрально, в него нельзя вторгнуться, текст нельзя прервать, как невозможно нарушить протяженность и целостность Времени» (Цивьян 1993; 36). Тексты, описываемые Т. Цивьян, произносятся в Бытии-сейчас (*Dasein*), они могут быть приказом из циклического прошлого, уничтожением открытости будущего. Мы врываемся в открытое время, уменьшая зияния и другими, более обыденными способами. *Я к Вам на минуту* — говорит человек, рассчитывая пробыть немногим более часа (см. об этом Яковлева 1992; 29). *Мгновения* в прошлом охватывают целую жизнь, это, по Блаженному Августину, «растяжение души».

Итак, мы манипулируем со Временем, но и оно манипулирует с нами. Существование разных систем отражает и язык, мы различаем время рациональное, обыденное и исключительное (Яковлева 1992; 20). Различаем циклическое и линейное. Но внутри линейного существует ли только одна вперед указывающая стрелка?

Нашей задачей было, однако, не отразить проблему Времени в философской мысли XX века, а, двигаясь избирательно, подвести под общие категории длительностные характеристики языкового высказывания, которые обычно рассматриваются сугубо эмпирически.

Между тем человеческое высказывание обладает рядом существенных по отношению ко времени просодических характеристик. 1. Оно информативно и членимо на события, передаваемые средствами языка. 2. Эти события оформлены не единообразно по времени: начало протяженно, центр более свободен и вариативен, конечная часть растянута и более всего предсказуема. 3. Внутри этих крупных членений соблюдается и более мелкая, но не менее строгая временная структурированность.

Наконец, 4. Структурированное во времени высказывание произносимо. И произносится оно в измерениях уже однородного времени, т. е. за некое число секунд, минут и т. д. Таким образом, временная структура реализуется во вре-

мени же. Первая временная структура заполнена событиями разной протяженности, вторая структура гомогенна и равномерна.

В этом смысле вторую структуру можно считать Временем-в-Пространстве для высказывания. Т. е. для произносимого высказывания его пространство и есть время. Нетрудно заметить, что индивидуальное человеческое высказывание легко уподобляется индивидуальной человеческой жизни.

Временные структуры языков разных семей изучались достаточно подробно; вполне доступны изложению как универсальные, так и типологические черты длительности в пределах общей просодии. Однако, как нам известно, не ставился вопрос о возникновении некоторого временного механизма при речевом контакте носителей языков, принадлежащих к разным семьям, но объединенных одним территориальным регионом. Именно таким полигоном является территория Балкан, где, как пишет Т.В.Цивьян, «„чужой язык” становится потенциально своим» (Цивьян 1992; 37).

Сходства и различия языков БЯС обычно описываются как результат контакта этих систем, в нашем же случае, как нам кажется, удалось выявить некоторые закономерности, имеющие место при непосредственной установке на контакт. Полученные результаты, излагаемые ниже, оказались для нас неожиданными и ни в какой степени не коррелирующими с данными экспериментального исследования десяти славянских языков.

Итак, результаты оказались, как уже говорилось, нетривиальными. Примечательно, что эта нетривиальность обнаруживалась только при сопоставлении языков. Факты же каждого языка, рассмотренные в отдельности, никак бы об этом не свидетельствовали. Таким образом, и просодия, казалось бы периферийный для типологии классического образца языковой пласт, еще раз свидетельствует о том, что балканистика не существует на уровне представления одного или даже двух языков, хотя бы и балканских.

Не останавливаясь на изложении всех полученных темпоральных характеристик, которые могут быть интересны только типологу-интонологу, и на некоторых особенностях просодической схемы слова, не соответствующей «канонической» схеме индоевропейской словесной просодии: т. е. продленным в большей степени оказывается начало слова, а не конец, приведем, в последовательности от менее необычного к более необычному и неожиданному, серию наблюдений, которые мы считаем «темпоральными балканизмами»:

1. В Балканском регионе слово очень мало, а часто и практически никак не модифицируется по длительности во фразе. Напомним, что в анализ было введено 9 фреймовых структур таким образом, что исходное слово, вначале произнесенное изолированно, оказывалось в ситуации 9 разных фразовых нагрузок (стр. 245). Что это значит — большая изоляция слова в просодическом аспекте? Здесь речь идет о двух феноменах:

а) значительная модификация слова во фразе свидетельствует о высокой разности интонации в данном языке, о сильном воздействии фразовой просодии

на словесную, что обеспечивает один из основных показателей интонационной эволюции — показатель «слитности» (см. этот показатель в английском, русском, французском, польском и др. языках). Изоляция слова говорит о малой слитности просодических контуров и, тем самым, о малой их грамматикализованности;

б) немодифицированность слов, с другой стороны, говорит о стремлении не потерять значимый материально компонент речи — слово, сохранить его доступность для носителя «чужого языка», знающего язык говорящего, возможно, не во всем объеме. Это соответствует идее Т. В. Цивьян о том, что при реализации балканских контактов важно «выделение значимых элементов сообщения, что уже соответствует переходу на уровень смысла» (Цивьян 1992; 19). Не обращаясь к просодическому уровню, Т. В. Цивьян говорит в этой связи о роли неполнозначных элементов — шифтеров ситуации. Этот же класс элементов обладает еще одним функциональным аспектом, столь же существенным для ситуации контактов: речь идет о разрежении потока информации, когда для уяснения смысла человеку требуется «некоторый разгон, паузы в концентрированном сообщении» (Цивьян 1992; 20). Эти функциональные установки соотносятся с указанной изоляцией балканского слова с еще большей, если так можно выразиться, «буквальностью», о *паузах контакта* можно здесь говорить в прямом смысле слова.

Вторая интерпретация несколько не противоречит первой. Сильное и модифицированное погружение слова во фразу обычно имеет место в языках-гегемонах с большой традицией устного литературного узуса. Этим языкам нет необходимости приспособливаться к контактам с не очень хорошо понимающим, но неизбежным соседом: соседи сами должны учить его язык. Сказанное в первую очередь необходимо относить к языкам типа английского и — в пределах славянской группы — русского языка и отчасти польского.

2. Результаты темпорального анализа балканских фактов включали в себя не только сведения о слове, но и подсчеты средней продолжительности речевых тактов в текстах разных жанров.

Предсказуемыми оказались данные о средней продолжительности речевой единицы при чтении художественного текста и при рассказывании сказки. Естественно, что сказка была ближе к народной разговорной речи, единицы которой более кратки, чем единицы литературной кодифицированной речи.

См. соответствующие данные (в мсек):

	Текст	Сказка
Сербский	1355,67	1119,47
Македонский	1175,54	1035,93
Болгарский	2149,44	1866,90
Греческий	1416,46	1326,55
Албанский	1257,38	1121,03
Румынский	1976,3	1864,77

Что касается длительности единиц стихотворного текста, то этой единицей естественно являлась строка. В реальном чтении цезуры (или паузы) разделяли строку на две части. Поэтому для стихотворной строки (во всех языках, кроме румынского, так как стих румынской поэмы «Миорица» предельно краток: от 12 до 16 звуков, были подсчитаны средние длительности первой половины строки, средние длительности постцезурной части и отношения между ними.

См. данные (мсек и абсолютное отношение между частями):

	Первая часть	Вторая часть	Отношение
Сербский	677,3	1064	0,63
Македонский	767,1	758	1,01
Болгарский	860	860	1
Греческий	1225,75	1171,87	1,04
Албанский	957,3	991,4	0,96

То есть в среднем (кроме сербского) отношение двух частей стиха колеблется от 0,96 до 1,04. Таким образом, цезура по времени располагается в середине строки.

3. Более интересными являются данные о том, что, как оказывается, по всему Балканскому региону в речевом общении функционируют отрезки совпадающей протяженности. Именно на это здесь и в дальнейшем необходимо обратить внимание читателя, не искушенного в просодических проблемах. Дело в том, что темпоральные возможности речевой организации требуют строгой относительной структурированности, т. е., например, конечный ударный бывает во фразе, как правило, длительнее ударного в середине фразы, все ударные, как правило, длительнее заударных, слово под эмфазой произносится более растянуто, часть высказывания, имеющая пояснительное значение, произносится «скороговоркой» по сравнению с остальной частью, *рема* обычно протяженнее *темы* и т. д. Что же касается абсолютных временных характеристик, то они, как предполагается, могут допускать достаточно большой разброс, варьируясь и от языка к языку, и от диктора к диктору.

Балканские же факты (на нашем уровне знания просодической типологии) демонстрируют удивительно единообразные по языкам предпочтения к определенному набору темпоральных единиц. Например, таковы величины средних продолжительностей (в мсек): 560, 600, 1000, 1060, 1640, 1920. Сразу же необходимо заметить, что излюбленные продолжительности речевых единиц у носителей балканских языков совпадают в значительно большей степени, чем излюбленные продолжительности отдельного звука (см. об этом ниже), которые хоть иногда демонстрируют индивидуальные человеческие склонности речепорождения. Но при этом закрепленности речевых единиц за смыслом и/или за жанром текста не наблюдалось.

Например, первая половина стихотворной строки в «Балладе о мертвом брате» (греч.) была, как правило, протяженностью по времени 880 мсек. Такие же по времени речевые единицы встречались в сербском стихе, албанской сказке, в македонском художественном тексте, румынской сказке, греческой сказке, сербском тексте. И подобное может быть сказано по поводу каждой из перечисленных выше временных единиц. Таким образом, речевые единицы обнаруживают минимальные тенденции к речевому варьированию. Это наводит на мысль о том, что и набор речевых единиц, и их темпоральная протяженность являются первичными, заданными, а человек со своей индивидуальной скоростью к ним подстраивается.

4. Не менее интересные наблюдения были сделаны при чтении текста и, особенно, при рассказывании сказки. Речь идет об обнаруженных двух типах продолжительности звуков в речевом такте, точнее, о количестве звуков в тактах. Первый набор — 10—11 звуков и второй — 16—17 звуков. Например (11—10 звуков): *преко ватре; змијин цар; а она му каже; и чује у шуми; и избегла* (срб.); *и самиот бог; од мојот пат; сеа да видиш; полислувам* (мак.); *и ще ни видят; а той не зема; на кум Милен* (болг.) и т. д. Подобных примеров можно привести множество. Как видно при этом, синтаксическая структура этих отрезков может быть любой. Интересно, что для румынского языка такой дистрибуции не было отмечено.

Так же частотны отрезки из 16—17 звуков. Оба типа наполнения речевого такта в наибольшей степени представлены в сербском языке, затем в македонском и в албанском. В меньшей степени в болгарском, еще меньше в греческом и чисто случайно — в румынском.

Чем же эти наблюдения интересны?

Дело в том, что обе речевые программы соответствуют основным типам славянского народного стиха. То есть это нерасчлененный восьмисложник: 16—17 звуков и половина цезурированного десятисложника: 10—11 звуков (Гаспаров 1989; 14, и указанная там литература). Это наводит на мысль о существовании в славянском ареале Балкан изохронных структур, на которые членилась речь (не случайно они широко представлены в архаическом жанре — сказке. В современной речи мы организуем группы звуков, скорее, по смыслу, чем по принципу изофонности). Народный стих сохранил, таким образом, подобное членение речи и канонизировал его. Впрочем, о первичности здесь говорить сложно: возможно, разговорная речь (сказка) была и вторичной по отношению к ранее просодически оформившемуся стиху. Однако связь эта несомненна.

5. Выше отмечалось наличие общих темпоральных показателей для речевых единиц — тактов и наличие величин, излюбленных для всех носителей балканских языков. То же самое можно сказать и о данных, полученных при определении средней продолжительности звука (СПЗ) в балканских языках.

Прежде всего, здесь отмечались результаты тривиальные и предсказуемые.

Таковыми были данные о продолжительности звуков в текстах всех анализирувавшихся жанров.

См. (в мсек):	Худ. текст	Сказка	Стих
Сербский	72,56	76,67	81,48
Македонский	75,23	76,01	82,69
Болгарский	77,09	81,89	90,69
Греческий	61,25	67,48	70,25
Албанский	97,01	114,94	129,83
Румынский	73,22	74,05	87,42

Это означает, что художественный текст читался быстрее, чем сказка, а чтение народного стиха было самым медлительным. Напоминаем, что речевые единицы в сказке, напротив, были короче, чем в тексте, т. е. художественный текст требует большей временной изошренности.

Необычным, однако, оказался обнаруженный и в этом случае набор «любимых» средних длительностей звука, наблюдаемых по всем языкам Балкан. Одна из них — 66,6 мсек полностью соответствует приведенным В. Левелтом (Lewelt 1990) средним показателям человеческой речи, т. е. примерно 15 звуков в секунду. Интереснее иные общеполубалканские показатели средней продолжительности звука: 68,5; 70; 74,2; 75; 77,7; 80; 83,3; 88,8; 100.

Предпочитаемые скорости можно назвать и для каждого языка, и для каждого диктора, но приведенные выше общеполубалканские показатели примечательны тем, что привлекают внимание к существованию в языке не только отношений структурно-реляционных, но и каких-то абсолютных количественных временных показателей, о наличии которых наука о звуковом строе как бы и не подозревала.

Еще раз подчеркнем это нетривиальное наблюдение. Ведь средняя скорость произнесения звуков укладывалась по всему материалу в диапазон от 60 до 100 мсек. Поэтому можно было бы себе представить, поскольку весь просчет велся нами до сотых долей миллисекунды, что разброс величин в этом континууме будет по вариативности колоссальным. Однако этого не было, и набор предпочитаемых средних продолжительностей звука не превышал десяти единиц.

6. Как уже говорилось выше, наши наблюдения располагаются по степени нестандартной непредсказуемости полученных результатов. Данные, излагаемые ниже, также связаны с общеполубалканским явлением, которое можно определить как ориентацию на временную серийность с частным подвидом бинарной изохронии.

Под бинарной изохронией мы имеем в виду одинаковую по времени протяженность, отмечаемую в примыкающих непосредственно речевых единицах:

- 1) изохрония самих примыкающих речевых единиц:

- срб.: *опколио пожар* (900 мсек) и *како је чобан* (900 мсек); и *почну се разговорати* (1600 мсек), *својим језиком говоре* и (1600).
- болг.: *рече плахо Јанка* (1120) и *се притисна до него* (1120); *недеј Стојчо* *ще ни видјат* (1360); *не сме в село да ни видјат* (1360).
- албанск.: *në një tavolinë* (1200), *në goshë s'paskan ardhur* (1200), *nuk kishin ndruar* (960), *edhe kafeja* (960) и т. д.

Бинарную серийность обнаруживают и средние продолжительности звуков (СПЗ) в примыкающих единицах (в мсек):

- срб.: (70) *шта се ниме добило* (70) *Дали је разумно торе и вечерас?* (73,3) *има у земли пун подрум* (73,3) *сребра и злата.*
- мак.: (92) *рикал копал* (92) и *се шчо му препречило.*
- болг.: (66) *че не може стигна* (66) *Стојчо дрънна оглавниците.*
- рум.: (73) *pentru copii* (73) *și le da câte wi crimpei de narav.*

На грани бинарной изохронии находится такое явление, когда идентично время произнесения гласных в примыкающих слогах, так что один из них ударный, а другой не находится под ударением.

Например (рум.):

Jos în casă; ciocolată; în singurătate.
100-100 80-80-120-120 130-130-130-130

Одинаковой длительности оказывались ударные гласные разного качества в серийных цепочках, особенно в стихе.

См. (болг.):

Пофдли се момина мајка: 120-120-120-100;
че су џмала малка мома. 130-100-80-80-80.

В некоторых случаях одинакова серийная длительность и ударных, и безударных. См. (мак.): *Старо Југро, чудовиште.* Длительность гласных равна: 120-120-120-120-80-100-100. См., например, также полное повторение длительности гласных в лексемах-повторах при рассказывании:

ρα — βει, ρα — βει, ρα — βει (греч.).
240- 160 240- 160 240- 160

7. Наконец пора сказать о самом поразительном и самом неожиданном показателе времени, отмеченном нами в балканских текстах. Речь идет об абсолютных характеристиках гласных, как ударных, так и безударных. Явле-

ние это было отмечено *только в тексте* и распространяется на все балканские языки, которые мы рассматривали. Его нет в изолированных произнесениях слов, причем нередко это те же самые слова, которые потом предстают в тексте. Такое явление не встречалось ни в научной литературе интонологического плана, ни в моих собственных экспериментальных данных при исследовании русской и славянской интонации и просодии, собранных уже в течение более тридцати лет.

В чем же это явление состоит?

Оно являет себя в существовании небольшого набора длительностей гласных, известных всему балканскому региону. Это три основных величины — 120, 100 и 80 мсек. Первичная схема выглядит следующим образом: 120 — это длительность ударного гласного, 80 — это длительность безударного, 100 — возможная длительность и того, и другого.

Примечание. Естествен вопрос: представлены ли иные временные показатели ударных и безударных гласных в балканских языках?

Разумеется, есть. Мы говорим лишь о некоторой обнаруженной фреквенции, общей тенденции.

Но приведем примеры:

Мак.: *задача, погледот, смешка, трипати, коса, бога.*

120-140 120-70 120-80 120-80 120-80 120-120

Болг.: *колата, ни видят, Стойчо, младите, село, снага, лице* и т. д.

120-120 120-100 120 120 120 120 120

Самое интересное состоит в том, что показатели 80 и 120 как бы могут «меняться» при выражении ударного и неударного. См. сербские примеры (цифра указывает длительность ударного гласного): *језик* (120); *сребра* (80); *злата* (120); *опет* (80); *у двор* (80); *све пореду* (120); *је био* (120); *чобан* (80) и т. д. Интересно сравнить ударный в корреляции с заударным по отношению к этим трем величинам: *сребра* (120-120); *тице* (80-120); *подрум* (80-120); *сребра* (80-120); *писку* (120-80); *молити* (80-80) и т. д.

Данные македонского языка: *дабот* (120-80); *глушецот* (80-80); *видит* (80-80); *опашката* (120-80-100); *дупката* (100-100-80); *мака* (120-80); *маката* (100-80-150); *куртулиса* (80-80-80-60); *вратот* (120-80) и т. д. То, что эти три величины находятся как бы вне отдельных языков, а распределены по всему региону, становится особенно заметно, если привести темпоральные показатели одних и тех же слов, оказавшихся в разных фразовых позициях.

Сербский:

сребра *ништа*

80-180 120

сребра *ништа*

80-120 120

Более подробные данные:

урашила — 100-90-80-100

по разбоју — 70-180-120-40

по разбоју — 60-140-90-180

<i>злата</i>	<i>чобан</i>	<i>у недельу</i> — 90-100-100-100
180-120	80	<i>у недельу</i> — 60-80-60-80
<i>злата</i>	<i>чобан</i>	<i>засукала</i> — 80-120-80-70
80-140	60	<i>засукала</i> — 80-140-80-80
<i>злата</i>	<i>чобан</i>	<i>у животу</i> — 100-80-100-120
120-80	60	<i>у животу</i> — 60-60-100-70
<i>у чуду</i>	<i>чобан</i>	
120	80	
<i>у чуду</i>	<i>чобан</i>	
80	100	

Болгарский:

<i>малка мома</i>	— 120-80 / 120-80
<i>малка мома</i>	— 160-60 / 200-120
<i>малка мома</i>	— 160-80 / 140-80
<i>малка мома</i>	— 180-60 / 180-100
<i>ясна зора</i>	— 220-180 / 100-160
<i>ясна зора</i>	— 100-120 / 160-160
<i>ясна зора</i>	— 200-120 / 120-100
<i>ясна зора</i>	— 140-100 / 160-120

Македонский:

<i>пропаст</i>	— 100-80
<i>пропаст</i>	— 100-100
<i>Турци</i>	— 80-100
<i>Турци</i>	— 120-120

Албанский:

<i>Meted</i>	— 120-80
<i>Meted</i>	— 100-80 и т. д.

Существенно при этом вспомнить немаловажное в просодическом отношении обстоятельство: известно, что каждая гласная характеризуется и своей микропросодией, т. е. качество гласной накладывает еще дополнительные свойства на длительность; в обычных текстах это неизбежно отражается на показателях длительности ударения. А в случае сербского мы еще имели дело и с четырьмя словесными акцентами, именно реализующимися в зоне ударного слога. Однако этот набор: 120-100-80 кажется как бы рассыпанным по тексту рукой настолько властной, что она перечеркивает требования микропросодии, схему темпоральной акцентной дистрибуции и общепросодический закон о доминировании ударного над безударным по длительности.

Все перечисленные наблюдения в максимальной степени охватывают именно славянскую часть Балкан, в минимальной части — румынский. Однако они повсеместны.

Что же за этим стоит?

Прежде всего: указанные языки входят в большую зону, которую можно назвать *зоной подчеркнутой квантитативности*. Кроме славяно-балканских языков, к ней примыкают русский, украинский, итальянский, латинский и древнегреческий, возможно, хеттский и другие языки Малой Азии. В этих языках смысловые единицы отделяются друг от друга посредством темпоральных вариаций; временное варьирование создает и смысловую игру. В других — доминируют тонально-мелодические средства, в третьих — акцентно-экспираторные (интенсивность), хотя во всякой реальной просодической системе параметры представлены во всем наборе, хотя и количественно по-разному.

Общей для всех балканских языков интонационной системы нет. Не совпадают они ни грамматически, ни лексически.

Каким же образом здесь, на перекрестках многообразного общения, осуществляется «проверка контакта на протяжении всего акта коммуникации» (Цивьян 1992; 19)?

Прежде всего — путем выделения значимых элементов, *слов*. Так происходит подача дискретных сигналов и своеобразная настройка на контакт. Нужную для восприятия изохронию осуществляет серийность.

Какую же роль могут выполнять таинственные общие показатели 120, 100, 80? Как представляется, они являются чем-то вроде сигналов Морзе: тире, точка, тире—тире и т. д. Трудно ответить на вопрос, почему именно эти характеристики так активны, а не какие-нибудь другие. Существенно только то, что они появляются в *тексте*, т. е. в коммуникативной, а не в лабораторной ситуации. Быть может, они являются реликтами какой-то общей темпоральной системы или ростками новой, объединяющейся, — сказать сейчас трудно.

Итак, в каких же Временах протекает речь, произнесенная на Балканах?

1. В общепланетарном Времени, гомогенном и соизмеримом (миллисекунды, секунды, минуты и т. д.).
2. Во Времени языковой системы, структурированном и негомогенном.
3. Во Времени-в-Событиях, через наполнение предыдущей схемы значащими элементами. Это время индивидуально.
4. Время единиц Настройки, время подаваемых единых друг для друга контактов. Это время Kontakta.

§ 5. Чем притягивается словесное ударение? «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском словосочетании

В данном параграфе представлены две работы, разделенные ровно тридцатью годами (первая выполнена в 1969 году, а вторая — в 1999 году), и обе они

связаны с именем моего учителя Александра Александровича Реформатского, которому они посвящались. Важно, что его, как и его старшего товарища по Московскому лингвистическому кружку — Романа Якобсона — интересовали некоторые несомненные тайны, связанные с концептом «ударение», разгадать которые, очевидно, сложно и до сих пор.

В первой части настоящей книги высказывалось предположение, что ударение является фактом фонологической, а не фонетической системы. То есть то, что ударение есть валоризованный факт и именно его перцептивная реальность есть свидетельство тому. Поэтому мы не должны удивляться, если ударный слог не окажется ни самым высоким, ни самым интенсивным, ни самым длительным. Хотя, разумеется, и в этом случае «лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным». Абстрактность существования ударения как ментального фактора, однако, нисколько не означает его полную оторванность от эмпирической природы. (Хотя, как говорилось выше, валоризованные системы знают и пустые, и фантомные множества.) Известно, что в каждом языке существует параметрическое предпочтение для выражения словесного ударения. Исследования последних десятилетий доказали, что этим параметром для русского языка является *длительность*. Известно также, что психометрическая заданность места ударения для носителя языка является тоже важным фактором, поэтому активно внедрившийся в фонетику термин «лексическое ударение» можно считать вполне удачным.

Первый раздел параграфа посвящен вопросу о том, как же расставят ударение носители русского языка в *неизвестных* им иностранных словах разной ритмической структуры. Как кажется, некое приближение к ответу было найдено — оно обнаружилось в абсолютных показателях — абсолютной высоте, абсолютной длительности и абсолютной интенсивности гласных, а также — и это обязательно — в открытости/закрытости конечного слога и позиции слога относительно словесного ауслата.

I. Место ударения и фонетический состав слова

1.

Тот факт, что для русского языка нельзя говорить о так называемом фиксированном ударении, означает по существу, что вместо одного-двух факторов выбор места ударения в русском слове определяется множеством факторов. Факторы эти и многочисленны, и многообразны. Сюда относится и принадлежность слова к той или иной акцентологической парадигме, и наличие в слове морфемы определенного типа: так, существуют всегда ударные префиксы, всегда ударные суффиксы и т. д. Важно и наличие акцентируемой финали; играет роль и тип контекста, стилистическое чутье в выборе варианта; существенной бывает также и социальная принадлежность говорящего.

Сказанное относится к словам русского лексического состава. Однако место ударения в заимствованных словах также определяется множеством аналогий и ассоциаций. Ударение слова в языке-источнике сложным образом налагается на ударения в ранее заимствованных словах или на исконные русские акцентологические модели¹. Возникающие новые ассоциации закрепляются в сознании — так, человек, услышавший впервые слова *антаблемент* и *сигнарант*, наверняка прочтет их с ударением на последнем слоге. Однако в словах иностранного происхождения тоже возможны различия, отклонения от рекомендуемой нормы, причем иногда довольно упорные. Так, стойко держится *шо́фер*, *до́цент*, *по́ртфель*, *мага́зин*. Может быть, сдвиг ударения в этих словах объясняется тем, что ударение в заимствованных словах тяготеет к предпоследнему слогу? Эта гипотеза опровергается произношением слов типа *ха́ос* и *Фору́м*. И потом сдвиг ударения происходит не во всех словах с одним и тем же суффиксом: так, *шо́фер* распространено, но *гри́мер* — нет.

Наша работа была задумана как попытка определить на очень ограниченном материале, не управляют ли выбором места ударения в заимствованных словах какие-то чисто фонетические принципы организации слова. С этой целью нами был произведен небольшой эксперимент. А именно — были отобраны слова из «Словаря иностранных слов»² и даны для прочтения десяти информантам. Отобранные слова должны были быть неизвестными информантам (в случае, если слово оказывалось известным, оно исключалось из эксперимента). Кроме того, не привлекались к эксперименту также слова, хотя и неизвестные, но содержащие однозначно акцентуруемые финали (морфемы) типа *-тура*, *-ант*, *-аж* и т. п. Выбор слова считался удачным, если оно не вызывало никаких акцентных ассоциаций или вызывало противоречивые ассоциации. Так, слово *раба́т* могло ассоциироваться и с *Арба́т*, и с *ро́бот*; слово *маза́р* — и с *ма́зать*, и с *база́р*.

Каковы были фонетические критерии, по которым обрабатывались полученные результаты?

1. Число слогов в слове (отбирались двусложные, трехсложные и четырехсложные слова).
2. Тип конечной огласовки — кончается слово на гласную или на согласную.
3. Тип гласных, входящих в состав слова: передние или непередние.
4. Тип согласных в слове: твердые или мягкие.
5. Имеется ли в данном слове зияние на стыке слогов?
6. Имеются ли в данном слове дифтонги?
7. Имеются ли в данном слове скопления согласных?

¹ Насколько сложны и разнообразны пути таких акцентных столкновений см.: (Суперанская 1968).

² Словарь иностранных слов / Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. Изд. 4-е. М., 1954.

Фонетические особенности, указанные в пп. 3—7, могли по-разному реализоваться в слове, а именно — быть представленными в разных по месту слогах. При отборе слов мы старались учесть все возможные комбинации.

Всего для первичного эксперимента было отобрано 218 слов³. Число это объяснялось соображениями удобства проведения эксперимента: большее число слов дало бы более достоверные сведения, но тогда чтение из-за усталости информантов пришлось бы осуществлять в несколько приемов, что было бы нежелательно по психолингвистическим соображениям. В этом виде чтение с карточек 218 примеров занимало в среднем 10 минут.

Все отобранные слова неосторожно было бы называть заимствованными — большинство из них, конечно, *Fremdwörter*, а не *Lehnwörter*. Итак, более точно, речь шла о расстановке ударения в неизвестных словах иностранного происхождения.

Какие требования предъявлялись к информантам первичного эксперимента:

Они должны были: 1) бегло и без запинки читать по-русски, т. е. сам процесс чтения не должен был вызывать затруднений.

Они не должны были: 1) знать иностранные языки (критерием тут было самосознание этого факта, так как иностранный язык входит в программу средней школы); 2) иметь высшее образование; 3) заниматься умственным трудом.

2.

Единицей подсчета считалось одно произнесение. Каждое слово имело, таким образом, десять возможных произношений — по числу информантов: 218 слов дали 2180 произнесений.

По числу слогов отобранные слова распределялись следующим образом: двусложных слов — 110, трехсложных слов — 72, четырехсложных слов — 36.

1. *Критерий качества последнего звука слова — гласный или согласный.* Покажем полученные результаты поочередно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов.

Двусложные слова

Таблица 1

Число слов		Число произнесений с ударением	
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге
на гласный	16	25	135
на согласный	94	594	346

³ Список слов в той последовательности, в которой осуществлялось чтение, приводится в Приложении.

Трехсложные слова

Таблица 2

Число слов		Число произнесений с ударением		
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на начальном слоге
на гласный	25	52	183	15
на согласный	47	356	85	29

Четырехсложные слова

Таблица 3

Число слов		Число произнесений с ударением			
		на последнем слоге	на предпоследнем слоге	на втором слоге	на начальном слоге
на гласный	22	1	169	50	0
на согласный	14	64	70	5	0

Какие наблюдения можно сделать на основании первого подсчета?

1) Ударение в основном осуществляется на последнем и предпоследнем слогах, т. е. акцентологически релевантной оказывается последняя часть слова.

2) Обнаруживаются различия между словами на гласный и словами на согласный, а именно:

а) в словах, оканчивающихся на гласный, отчетлива тенденция делать ударным предпоследний слог (так, все испытуемые читали *просперити*, *шнэка*, *пиасáва*, *пиккóло*);

б) в словах, оканчивающихся на согласный, различаются трехсложные и двухсложные слова, а именно — для трехсложных более вероятно ударение на последнем слоге, для двухсложных, а также и для четырехсложных слов, которые были представлены незначительным количеством, были равновероятны ударения и на последнем, и на предпоследнем слоге;

в) приведенные цифры показывают значительное число отклонений от принципа ударения на предпоследнем слоге для слов на гласный и на последнем слоге для слов на согласный. Таким образом, критерий гласности/согласности, а также количественный критерий числа слогов для однозначного предсказания выбора оказываются недостаточными.

2. *Критерий зияния.* Проверялось, не притягивает ли ударение один из компонентов зияния. Зияние наблюдалось в следующих комбинациях на стыке слогов: *ea*, *ya*, *ia*, *oa*, *eo*, *io*, *az*, *ay*, *iy*, *oy*, *ai*. Не приводя табличные данные из-за

небольшого их количества (зияние наблюдалось лишь в 33 словах), можно по поводу данного критерия сообщить лишь следующие наблюдения:

1) стык гласных (зияние), расположенный далее второго-третьего слогов от конца слова, не оказывает влияния на выбор ударения;

2) особо выделяется подгруппа сочетаний *ау, оу*, с тенденцией к ударению на первой части сочетания (*ра́ут, га́усс, кра́уч, джа́уль, то́у, ка́упер*);

3) про остальные сочетания ничего определенного сказать нельзя.

3. *Критерий наличия сочетаний ай, ей*, являющихся дифтонгами в языке-источнике. При этом учитывалось положение данного дифтонга в слове.

Данные подсчета показали следующее:

1) *ей, ай*, расположенные в начале многосложного слова, как правило, не перетягивают ударения;

2) *ей, ай*, расположенные в последнем слове слова, перетягивают на себя ударение. Так, например, *гриза́иль* давало результат 9:1, *дедвейт* — 9:1⁴ и т. д. Это для двусложных слов существенно, так как по данным двусложных слов (табл. 1) число ударений на последнем слове относится к числу ударений на предпоследнем слове как 5:3, т. е. число ударений на предпоследнем слове весьма значительно;

3) *ей, ай*, расположенные в предпоследнем слове слова, также оказывали влияние на выбор ударения. Так, *кайма́н* дало 3:7, *стайе́р* — 0:10;

4) в словах с *ай, ей*, расположенных между (или перед) гласными, ударение чаще не падало на эти дифтонги. Так, *дуа́йен* — 7:3, *сабайо́н* — 8:2, *пайо́л* — 9:1.

Таким образом, наибольшее влияние оказывал дифтонг *ай, ей*, расположенный в последнем слове слова, особенно трехсложного. Так, *плейсто́сейст* — 10:0.

4. *Критерий скопления согласных*. Таковы скопления в словах *ротанг, одельстинг, тапреп* и т. д. Возможность «перетягивания» проверялась для всех трех ситуаций:

1) скопление согласных находится в конце слова — *реверс, салинг* и т. д.;

2) скопление согласных находится между последним и предпоследним слогом — *мертель, дарбар*;

3) представлены оба типа скоплений — *линкруст, нистагм* и т. д.

Всего таких слов со скоплением всех трех видов было представлено 50 для двусложных слов и 22 для трехсложных. Получены следующие результаты:

1) для двусложных слов оказалось 319 произнесений с ударением на последнем слове и 181 произнесений с ударением на предпоследнем слове;

2) для трехсложных слов оказалось 200 произнесений с ударением на последнем слове, 18 произнесений с ударением на предпоследнем слове и 2 произнесения с ударением на начальном слове.

⁴ Здесь и в дальнейшем цифры означают следующее: первая цифра — число ударений (произнесений) с выбором последнего слога, вторая — число произнесений с ударением на предпоследнем слове, третья — на третьем и т. д.

Таким образом, полученные данные не отличаются в своих пропорциях от общего распределения произнесений (см. табл. 1—3). Критерий скопления оказывается нерелевантным, так как изменение положения скопления — любая из описанных выше позиций — не оказало влияния на выбор места ударения.

5. *Критерий твердости/мягкости конечного согласного слова.* Рассматривалась возможность распределения произнесений с ударением в зависимости от типа конечного гласного слова. При этом получились следующие результаты:

1) двусложные слова были представлены 16 словами на мягкий согласный; из них было 98 произнесений с ударением на последнем слоге и 62 произнесения с ударением на предпоследнем слоге. В двусложных словах было 78 слов на твердый согласный; для них оказалось 496 произнесений с ударением на последнем слоге и 284 произнесения с ударением на предпоследнем слоге;

2) трехсложные слова были представлены 42 словами на мягкий согласный и 5 словами на твердый согласный. Для слов на мягкий согласный оказалось 311 произнесений с ударением на последнем слоге, 80 произнесений с ударением на предпоследнем слоге и 29 произнесений с ударением на начальном слоге. Для слов на твердый согласный оказалось 45 произнесений с ударением на последнем слоге и 5 произнесений с ударением на предпоследнем слоге. Таким образом, и этот критерий не вносит принципиально ничего нового в общие данные о распределении ударений в двусложных и трехсложных словах.

6. *Критерий качества гласных в слоге.* Этот критерий был подобран на основании интуитивного противопоставления гласных переднего ряда (*e, i*) гласным непереднего ряда (*a, o, y*)⁵. Эти гласные обозначались через Н (непередние) и П (передние). Рассматривались четыре возможных комбинации Н и П в слове:

1) Н—Н, т. е. и в последнем, и в предпоследнем слогах представлены непередние гласные — *наваб, тургор, макадам, гастропор, анаколуф* и т. д.

2) П—П, т. е. и в последнем, и в предпоследнем слогах, представлены передние гласные — *мелис, мидель, кипрегель, интерим, тердесиен* и т. д.

3) П—Н, т. е. в последнем слоге представлен передний гласный, в предпоследнем слоге представлен непередний — *салеп, домен, сподумен, цинубель, килопарсек* и т. д.;

4) Н—П — в последнем слоге представлен непередний гласный, в предпоследнем — передний: *редан, тифдрук, стивидор, утлегарь, пролегомен*. Покажем в табличной форме полученные данные, соответственно для двусложных, трехсложных и четырехсложных слов на согласный (см. табл. 4—6).

⁵ Напоминаем, что речь идет об эксперименте по чтению заимствованных слов. Гласный *y* в данных словах не был представлен.

Двусложные слова

Таблица 4

	Тип комбинации гласных в слове			
	Н—Н	П—П	П—Н	Н—П
<i>Общее число слов</i>	36	19	22	17
Число произнесений с ударением на последнем слоге	240	116	117	121
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	120	74	103	49

Трехсложные слова

Таблица 5

	Н—Н	П—П	П—Н	Н—П
<i>Общее число слов</i>	13	9	15	10
Число произнесений с ударением на последнем слоге	114	66	94	82
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	16	22	41	6

Четырехсложные слова

Таблица 6

	Н—Н	П—П	П—Н	Н—П
<i>Общее число слов</i>	5	2	6	1
Число произнесений с ударением на последнем слоге	28	6	21	9
Число произнесений с ударением на предпоследнем слоге	22	14	33	1

Этот критерий, в отличие от двух предыдущих, дает новые факты распределения ударения, а именно — создается впечатление, что гласные непереднего ряда оказываются «сильнее» гласных переднего ряда и перетягивают ударение на себя. Полученные впечатления необходимо проверить. Как было выяснено вначале, самая сильная тенденция для слов на согласный — это тенденция к ударению на последнем слоге. Если гласные типа Н являются действительно

более сильными, то для разного типа комбинаций Н и П в последнем и предпоследнем слогах должны получиться также разные, причем заранее предсказуемые, результаты, а именно:

1) в сочетании Н—П, где сильные гласные представлены на конечном слоге, т. е. работают в одном направлении два сильных фактора, число произнесений с ударением на последнем слоге должно быть значительно больше числа произнесений с ударением на предпоследнем слоге;

2) в сочетании П—Н, где сильные гласные находятся в предпоследнем слоге и оба фактора работают в разных направлениях, распределение ударений на последнем и предпоследнем слогах должно быть примерно равным, с перевесом на последнем слоге в трехсложных словах, в которых (см. табл. 2) фактор последнего слога наиболее сильный.

Проверяем полученные данные, извлекая их из вышеприведенных таблиц; первая цифра показывает число произнесений с ударением на последнем слоге, вторая цифра — число произнесений с ударением на предпоследнем слоге:

Н—П = 121:49 (двусложные слова); 82:6 (трехсложные слова); 9:1 (четырёхсложные слова).

П—Н = 117:103 (двусложные слова); 94:41 (трехсложные слова); 21:33 (четырёхсложные слова).

Таким образом, предполагаемые результаты подтверждаются. Возможно, именно этим обстоятельством объясняются произношения *магáзин, пóртфель, дóцент, докúмент, шóффер* — гласные непереднего ряда в предпоследнем слоге оказываются сильнее гласных переднего ряда в последнем слоге. Именно поэтому, возможно, новеллу П. Мериме называют «Лóкис», в противоречие с французским и литовским произношением, но царя Мидáса не называют Мй-дасом.

Однако это объяснение хотя и говорит о силе действия данного фактора, не является универсальным. Им не объясняются случаи типа П—П и Н—Н, где имеет место такое же разнообразие произнесений. Здесь, вероятно, играют роль факты следующего, не уловленного нами уровня распознавания.

Окончательно подтвердил бы данную закономерность эксперимент со специально подобранными или придуманными словами, отличающимися по гласным, но не по согласным — типа *милас — малис, редан — раден* и т. д.

3.

Таким образом, оказались существенными следующие черты:

- 1) наличие гласного или согласного в абсолютном конце слова;
- 2) число слогов — для слов на согласный;
- 3) тип гласного в последних слогах — для слов на согласный;
- 4) наличие сочетаний *ай* и *ей* — для слов на согласный;
- 5) наличие сочетаний *ау, оу* — для слов на согласный.

Несущественными для расстановки ударения оказались следующие черты:

- 1) фонетика начала слова в многосложных словах (если не рассматривать особо проблему побочного ударения);
- 2) наличие скопления согласных в разных позициях;
- 3) твердость или мягкость последнего согласного — для слов на согласный.

Существенно также понять механизм иерархии для полученных позитивных признаков, так как раскрытие внутренних подчинений признаков помогает раскрыть и определить число возможных исключений.

В нашем случае критерии располагаются по важности следующим образом:

- 1) критерий гласности/согласности конечного звука;
- 2) критерий числа слогов — для слов на согласный;
- 3) и 4) критерий качества гласного и наличия сочетаний *ай, ей*;
- 5) критерий наличия зияния *ау, оу*.

Таким образом, важно определить соотносительное место третьего и четвертого критериев. Приведем примеры слов с разными комбинациями гласных переднего и непреднего ряда, с одной стороны, и наличием дифтонгов в этих же словах, с другой стороны. Полученные данные: *виндзейль* — 9:1, *кайман* — 3:7; *стайер* — 3:7; *дедвейт* — 9:1; *грязиль* — 9:1; *найтов* — 6:4; *клевейт* — 9:1; *свейтинг* — 6:4; *стейер* — 0:10; *крейтон* — 6:4; *сайзель* — 5:5. Создается впечатление, что эти критерии приблизительно равноценны. На основании приведенных данных можно сказать только, что каждый из дифтонгов оказывается сильнее, чем аналогичная гласная — *а* или *е* в другом слоге, см.: *стайер* — 3:7 и *стейер* — 0:10; *дедвейт* — 9:1 и *свейтинг* — 6:4.

4.

Все сказанное выше относилось к специфическому фрагменту языка — фонетике заимствований (чужой) лексики. О том, что фонетика иноязычных слов, а также соответствующая фонологическая система составляют специфическую подсистему, писалось неоднократно⁶. При этом не исключено и дальнейшее расслоение этой системы. Так, в одном из последних исследований, посвященном чтению аббревиатур (Мамаев 1968), показывается устойчивая тенденция к чтению аббревиатур с произношением ударения на последнем слоге. Таким образом, МКХ (*эм-ка-ха*), несомненно, будет читаться с ударением на *ха*, но *эмкаха* как слово будет прочитано с ударением на *ка*.

Полученные данные очень сложным образом соотносятся с данными собственно русской акцентологии. Однако некоторое объяснение критерию передних/передних гласных, быть может, можно предложить, основываясь именно на русских данных. Так, *а, о, у* — гласные, более длительные по абсолютной продолжительности звучания, чем *и, е*. Между тем доказано, что именно дли-

⁶ См.: Поливанов 1968; Гловинская 1967; Калнынь 1968, Mathesius 1947; Kučera 1958; Fries, Pike 1949.

тельность является ведущим фактором русского ударения. Возможно, что произношение *шóфер, пóртфель* вызывается инстинктивным желанием «опереться» на более длительный гласный.

ПРИЛОЖЕНИЕ

клевейт 9:1	скудо 0:10	нотогая 0:10:0:0
дуайен 7:3:0	диплекс 7:3	сезаль 9:1
метазоа 1:9:0:0	тоу 0:10	аланбик 6:4:0
базилика 0:3:7:0	салинг 6:4	мелос 6:4
голоцен 10:0:0	лантан 9:1	эспарто 0:10:0
тотем 9:1	альпари 6:4:0	думпар 6:4
веджвуд 10:0	гекахорд 10:0:0	сапропель 8:2:0
свейтинг 6:4	крейтон 6:4	оксиморон 9:1:0:0
маркетри 4:6:0	эпифора 0:8:2:0	топинамбур 5:5:0:0
празеодим 8:2:0:0	килопарсек 2:8:0:0	кромлех 4:6
виндроуэр 4:0:6:0	пролапс 9:1	кипрегель 9:1:0
гиатус 4:6:0	нанду 0:10	сайзель 6:4
сизаль 7:3	огон 9:1	маркато 0:10:0
инцухт 9:1	фалинь 6:4	гальвег 8:2
сподумен 6:3:1	микрופиле 0:9:1:0	гомруль 7:3
аддендум 7:2:1	азалея 0:8:2:0	зигоспора 0:10:0:0
нистагм 10:0	скрупул 7:3	стивидор 7:2:1
мульда 2:8	бейдевинд 9:0:1	миттель 6:4
ноумен 2:3:5	нобиль 4:6	гуанако 0:10:0:0
мангольд 8:2	пролегомен 2:8:0:1	катрен 6:4
брокколь 5:5	аллод 9:1	скатол 6:4
шнека 0:10	дизажио 0:4:6:0	каик 5:5
монтанвакс 10:0:0	ротанг 8:2	анапест 8:2:0
мазар 7:3	облиго 1:8:1	сарос 8:2
преамбула 0:9:1:0	каупер 1:0:9	квипу 0:10
гаррига 0:9:1	жеода 1:9:0	серум 7:3
рабат 8:2	тердесиен 2:8:0:0	дроссель 4:6
окапи 2:8:0	лори 0:10	полдер 3:7
цинубель 8:2:0	тандем 7:3	астрая 0:10:0:0
корпускула 0:10:0:0	маракас 10:0:0	паунус 3:7
мелис 0:10	примутрок 10:0:0	гэнро 3:7
стейер 0:10	момме 3:7	скорбут 5:5
апраксия 0:4:6:0	мидель 5:5	ордалия 0:7:3:0
гемоторакс 0:10:0:0	генро 4:6	тобогган 10:0:0
салеп 8:2	агреман 10:0:0	вапа 0:10
николь 5:5	базилик 3:7:0	ойдиум 5:1:4

ригодон 10:0:0	кильсон 8:2	археорнис 4:6:0:0
иксия 1:3:6	эпидернис 6:4:0:0	редан 9:1
берсим 7:3	клаузула 0:10:0:0	плейстосейст 10:0:0
торако 8:2	макадам 10:0:0	наваб 10:0
раут 2:8	ритор 2:8	просперити 0:10:0:0
имаго 1:9:0	гарига 0:9:1	демурредж 10:0:0
лаглинь 7:3	примас 5:5	тифрук 6:4
тургор 10:0	гилея 0:10:0	габбро 6:4
мотто 0:10	ступор 2:8	флортимберс 10:0:0
эпифиз 9:0:1	котиледон 9:1:0:0	сабайон 8:2:0
пиасава 0:10 :0 :0	гевеа 1:9:1	гасоропор 9:1:0
пайол 9:1	польдер 3:7	пиллерс 4:6
дарбар 7:3	крауч 2:8	домен 3:7
диспаша 3:7:0	одельстинг 10:0:0	пончо 4:6
зальбанд 10:0	валгалла 2:8:0	гезенк 5:5
бластула 1:7:2	чайрикер 0:10:0	аблаут 4:6
гризайль 9:1	джауль 5:5	гарда 5:5
гевея 0:10:0	мадия 1:8:1	анаколуф 2:8:0:0
стопор 3:7	реверс 6:4	гавиал 10:0 :0
жакерия 0:1:9:0	югер 1:9	виндзейль 9:1
пентатлон 10:0:0	ротор 0:10	инфикс 5:5
найтов 6:4	диатриба 0:10:0:0	утлегарь 10:0:0
интерим 9:1:0	махайродус 2:8:0:0	анабасис 1:9:0:0
литота 3:7:0	фетва 0:10	дрифтир 4:6
донжон 7:3	талреп 8:2	нониус 3:1:6
неогейя 0:10:0:0	пандус 6:4	оверарм 10:0:0
гаусс 2:8	спарринг 5:5	дефибрер 7:3:0
демиург 10:0:0	вакуф 6:4	дуплекс 5:5
буриме 7:3:0	патуа 6:2:2	приор 8:2
мертель 5:5	синопсис 5:5:0	кайман 3:7
фольконер 8:2:0	битенг 4:6	стайер 3:7
хедив 3:7	диастола 0:10:0:0	линкруст 5:5
тримурти 1:9:0	ботдек 5:5	пентаэдр 8:2:0
декувер 7:3:0	коннетабль 10:0:0	дедвейт 9:1
колон 7:3	геест 2:8	кунгас 8:2
гикорд 2:8:0	панагия 0:4:6:0	
эргастул 10:0:0	рефери 6:4:0	

2. «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском именном словосочетании

«Значит, вопрос не так прост»
(А. А. Реформатский, одна из его
последних статей об «ударении»)

Будучи автором самого известного, долго живущего и самого популярного учебника — «Введение в языкознание», т. е. труда, казалось бы, посвященного самым общим вопросам языковой структуры и ее функционирования, воспитанный с юных лет в традициях Московского лингвистического кружка, сразу же и активно поддерживавший гонимый тогда отечественный структурализм, Александр Александрович любил в языке мелкое и не всегда объяснимое. Как хорошо сказал о нем В. А. Виноградов: «Даже фактам на вид случайным и трудно объяснимым он пытается найти разумное, т. е. системное, объяснение ... И тем интереснее были для него явления стихийной, распирающей рамки системы, речи...» (Виноградов 1979; 5).

Используя фразеологию стремительно растущего к концу нашего века эпистемологического антропоцентризма, можно сказать о существующем сейчас противополжении двух философских позиций: «бритвы Оккама», призывающей отсекаать усложненные интерпретации, если найдена и существует простейшая, и тезиса о том, что «дьявол таится в деталях». И, вероятно, они не противоречат друг другу. Важно понять, чего от языка хочет — исследователь?, интерпретатор?, пользователь?, педагог?

Скорее всего, дьявол, таящийся в деталях, тем и страшен, что, как и всякий дьявол, он принадлежит *иному миру*, т. е. иной системе (или ее рефлексам, а возможно, и ее зачаткам), выявлять которую вовсе не обязательно, ограничиваясь кодифицированной нормой, в сущности, абсолютно безупречной.

С несколько иной стороны, об этом же писал и другой наш замечательный лингвист В. И. Абаев, звуковым строем, правда, занимавшийся мало. Системность языка, по его мнению, есть результат «технизации», а в древности практически языки состояли из «исключений». Дело в том, что «каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном виде обрывки и ключья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации» (Абаев 1995; 61). Сходные идеи высказывает и С. Д. Кацнельсон, он подчеркивает, что именно самые повседневные, элементарные понятия человеческой жизни связаны с супплетивизмом — то есть, иначе говоря, с набором исключений (Кацнельсон 1936; 13).

Нами высказывалась идея о механизме корреляции двух систем в речевом сознании носителя языка — системы валоризованных («фонологизованных»)

единиц и системы единиц эмпирического уровня — идея, вытекающая естественно из положений Н. Трубецкого и Р. Якобсона о процессе «валоризации» в диахронии и о реальности системы оппозиций в структуре обеих систем (Николаева 1999). Перцептивный уровень, как правило, связан с валоризованной, то есть осознаваемой, системой. Ударение, как мы неоднократно пытались показать в своих работах, является фактом валоризованным и, вероятно, позднейшим. Поэтому оно связано с перцептивным уровнем — ударение есть то, что осознается как ударение, оно слышно.

Между тем лингвисту может быть интересно и важно и то, что происходит в до-пороговом состоянии словесной просодии, именно там можно обнаружить те «обрывки и клочья», о которых писал В. И. Абаев. Не гоняясь за эффективностью сравнения, возможно провести параллель в этом плане с психоанализом, так же не ориентирующимся на простое перцептивное различие информанта.

В этой связи автора настоящей статьи давно привлекал просодический статус русского словосочетания (в особенности именного). Казалось, что словосочетание стоит как бы между цельнооформленным словом и чисто синтаксической структурой — частью высказывания. Допускалась градуальная степень разницы просодии у отдельных типов словосочетаний.

Как всегда опережая в своих смелых гипотезах свое время, Р. Якобсон в 1922 году в книге «О чешском стихе в сопоставлении с русским» в сущности именно так объяснял скудость прилагательных в именных словосочетаниях у В. Маяковского: «М. избегает привычных словосочетаний прилагательного с существительным, ибо чем привычнее такое сочетание, тем теснее ассоциация между его членами, в тем большей степени прилагательное подчинено существительному и тем слабее его ударение» (Jakobson 1979; 107). «Стих М. — декламируется так, как если бы все входящие в стих слова связывались между собой впервые» (там же; 114).

Разумеется, необходимо полностью исследовать все параметрические характеристики русских словосочетаний в их комбинаторной и компенсаторной дистрибуции. Однако для данного исследования нами была выбрана именно интенсивность. Быть может потому, что, как показано и доказано последними исследованиями (см. Бондарко 1998, раздел «Фонетические свойства словесного ударения»; 218—225), интенсивность не является неперенным проводником лексического ударения в русском языке и все ее функции пока еще для лингвистов затемнены.

Можно хотя бы напомнить, что именно интенсивность является проводником «акцентного выделения», создающего в высказывании «дополнительные смысловые строки» — *Дайте пальто, а не плащ* и под. Именно интенсивность сочетается во многих языках с лексемами определенного типа вроде *даже, even, sogar* и т. д., которые, имея достаточно прозрачную семантику, вообще-то говоря, могли бы и не выделяться на просодическом уровне. Именно интенсивность и ее семантическая дистрибуция совпадает в ряде ведущих европей-

ских языков, тогда как их мелодические парадигмы совершенно различны (см. об этом: Николаева 1989г).

Поэтому для исследования были выбраны именные словосочетания из двух знаменательных слов с разными по частеречной принадлежности определяющими словами (определяемым всегда было имя существительное). Например, *Дорогая книга, Наша книга, Книга отца* и под. Таким образом в позиции 1-го слова в словосочетании оказывались: Прилагательное, Существительное, Местоимение. В позиции 2-го слова, по законам русского синтаксиса, могло оказаться только Существительное — *Шляпа папы* и под. Иначе говоря, только существительные могли оказаться и первым словом (тогда они были определяемыми компонентами), и вторым (тогда они были определяющими компонентами).

Вторым исследовательским параметром было наличие/отсутствие предлога между двумя существительными, составляющими словосочетание. При этом различался тип фонетического исхода этого предлога: оканчивается на согласный? на гласный? состоит из одного согласного? Например, *Стакан из шкафа / Стакан с рисунком / Книга для папы* и т. д.

Третьим (и самым интересным для нас критерием) был критерий расстояния между «лексически ударными» слогами в словосочетаниях: например, *Мечта папы* — расстояние минимальное и *Шляпа отца* — расстояние большее.

Таким образом был сформирован список из 33 словосочетаний, который был прочитан 5 дикторами — носителями литературного русского языка. Словосочетания читались изолированно (всего было прочтено 165 примеров). Их чтение представляло собой **первый этап эксперимента**.

Перед обсуждением конкретных результатов необходимо еще и еще раз подчеркнуть, что нашей целью никак и ни в какой мере не являлась задача доказать, что русское ударение выражается интенсивностью, то есть экспираторно. Задача была иной — попытаться понять механизм привязок к элементам высказывания пиков акцентной кривой, дистрибуция которых вполне могла никак не поддаваться перцептивной рефлексии носителя языка.

См. список:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. <i>Книга папы</i> | 12. <i>Стакан с рисунком</i> |
| 2. <i>Книга отца</i> | 13. <i>Гитара папы</i> |
| 3. <i>Книга Тамары</i> | 14. <i>Гитара отца</i> |
| 4. <i>Книга от папы</i> | 15. <i>Гитара Тамары</i> |
| 5. <i>Книга от отца</i> | 16. <i>Гитара для папы</i> |
| 6. <i>Книга от Тамары</i> | 17. <i>Гитара для отца</i> |
| 7. <i>Мечта папы</i> | 18. <i>Гитара для Тамары</i> |
| 8. <i>Мечта отца</i> | 19. <i>Синяя книга</i> |
| 9. <i>Мечта Тамары</i> | 20. <i>Родная книга</i> |
| 10. <i>Стакан из шкафа</i> | 21. <i>Голубая книга</i> |
| 11. <i>Стакан со стола</i> | 22. <i>Наша книга</i> |

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 23. <i>Моя книга</i> | 28. <i>Дорогое дитя</i> |
| 24. <i>Наше дитя</i> | 29. <i>Наша гитара</i> |
| 25. <i>Мое дитя</i> | 30. <i>Моя гитара</i> |
| 26. <i>Милое дитя</i> | 31. <i>Синяя гитара</i> |
| 27. <i>Родное дитя</i> | 32. <i>Родная гитара</i> |

Использовалась техника WINCECIL.

Исследовалось:

1. Абсолютная интенсивность первого слова vs абсолютная интенсивность второго слова в словосочетании.
2. Тип акцентной кривой в словосочетании в целом.
3. Совпадение отмеченных интенсивностью лексических ударений и пиков мелодики.
4. Тип мелодической кривой в словосочетании в целом.

Применялись следующие количественные подсчеты:

1. Для первого слова в словосочетании — общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений в отношении к отмеченным:

- а) если первое слово — прилагательное;
- б) если первое слово — местоимение;
- в) если первое слово — существительное.

2. Для второго слова в словосочетании —

- а) общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений в отношении к отмеченным;

б) число не отмеченных интенсивностью лексических ударений в управляющих словах в отношении к не отмеченным интенсивностью лексическим ударениям в управляемых словах (напоминаем, что на втором месте по законам русского синтаксиса в случае, если оно занято существительным, может быть и управляемое, и управляющее слово).

3. Для словосочетания в целом —

количество и дистрибуция структур: ++ (отмечены оба члена словосочетания), +|- (первый компонент отмечен, а второй — нет), -|+ (первый не отмечен, а второй — отмечен), -|- (не отмечены оба).

Полученные результаты общего характера:

1. Если первое слово было прилагательным или местоимением, то его общая интенсивность в 1½ раза была большей, чем если первым словом было существительное. То есть словосочетание с изменяемым определяющим оказывалось ближе к цельному слову и потому его начало и отмечалось как сильная точка по интенсивности.

2. Акцентные кривые демонстрировали два вида: а) кривая, понижающаяся от начала к концу, и б) кривая с поднятым центром. Как представлялось, именно второй вариант и представлял больший интерес.

3. Акцентная кривая и мелодическая, как правило, не совпадали.

4. Мелодическая фигура была практически единообразной — в виде дуги.

5. Общее число (в процентах) не отмеченных интенсивностью лексических ударений у всех знаменательных слов было 45,4%, то есть около половины всех случаев.

Более конкретные количественные показатели:

Для первого слова в словосочетании:

1. Общее число не отмеченных пиком интенсивности лексических ударений — 40,7%.

2. В том числе для первого слова — местоимения — 30,48%.

3. Если первое слово — существительное — 48,54%.

4. Если первое слово — прилагательное — 20,8%.

Для второго слова в словосочетании:

1. Общее число не отмеченных пиком интенсивности лексических ударений — 52,5%.

2. В тех ситуациях, когда первое слово в этом словосочетании является существительным — 21 %.

3. Если первое слово в данном словосочетании является местоимением — 76,9%.

4. Если первое слово в данном словосочетании является прилагательным — 9%.

5. Поскольку второе слово-существительное могло быть и управляемым (*Книга отца*), и управляющим (*Наша книга*), то подсчитывалось специально число неотмеченных управляемых существительных к аналогичным управляющим в позиции второго слова. Отношение было 0,8, т. е. 80%.

Какие же гипотезы можно при этом высказать:

1. Примерно половина лексических ударений совпадает с пиком интенсивности. (Подчеркиваем: совпадает! — а не «выражается»).

2. Число неотмеченных ударений во втором слове больше, что легко объясняется общей тенденцией словосочетания (которое в данном случае было минифразой) понижать акцентную кривую к концу.

3. В случае если первым словом является местоимение, то, очевидно, лексическое ударение в этом случае выделяется (*Наша книга*, т. е. **не ваша**), акцентный вес же второго слова ослабляется, см. показатели: 30,48/76,9.

4. В случае если первым словом является прилагательное, то акцентный вес приобретает существительное: 208/9. Именно эту акцентную слабость прилагательного и смог гениально ощутить Р. Якобсон (см. выше о В. Маяковском).

5. В случае если первым словом является определяемое существительное, то акцентный вес приобретает определяющее существительное — 48,54/21. А также показатель 0,8/1. То есть как бы — *Книга отца*, а не кого-то другого.

Иначе говоря, усиливается акцентный вес уточняющего посессива.

Итак, выявляется существенность лексико-семантической принадлежности (включая частеречную принадлежность) слов в первой и второй позиции. То есть фактор смысловой.

И здесь все же хотим подчеркнуть, что речь не идет об очевидном акцентном выделении слов, которое всегда перцептивно ощущается и добавляет очевидную смысловую строку (см. по этому поводу нашу монографию: Николаева 1982). Нет, те «обрывки и клочья», о которых писал В. И. Абаев, выявляются именно на таком «подковерном» уровне, когда для говорящего существует выбор и он его осуществляет практически неосознанно. Этот «подковерный» уровень интересен для лингвиста, не связанного ни задачами кодификации, ни преподавания, ни технической реализации. Эти задачи, как правило, связаны с фонологизованными феноменами. Более того, мне лично приходилось неоднократно слышать, в частности, от славян — носителей музыкальных акцентов об их бесконечной устарелости, неупотребительности и под. После чего — четыре «давно не существующих» акцента исполнялись как по учебнику.

Все сказанное выше не учитывало **чисто фонетический** фактор дистрибуции пиков интенсивности в словосочетании.

Между тем именно он показался наиболее интересным.

Как показали примеры, пики интенсивности в словосочетании (то есть акцентная кривая с повышенной серединой!) возникали в случае определенных контактов (располагаем по убывающей вероятности):

1. Когда в середине оказывались контактными два лексических ударения: например, *Мечтá нáны* [А + А].

2. Когда контактными оказывались лексическое ударение и гласный следующего слова: например, *Мечтá отцá* [А + α].

3. Когда в середине словосочетания оказывалось скопление гласных безотносительно к лексическим ударениям составляющих их слов. Например, *Кнѝга- от- отцá* [ъ + α + α].

Дополнение к результатам первого эксперимента

Сказанное выше легло в основу моего доклада на XIV Международном конгрессе фонетических наук (Сан-Франциско, 1—7 августа 1999 г.). Во время обсуждения мне были сделаны замечания, сводящиеся к тому, что в моих примерах, как правило, фигурировала гласная [а] как ударная — в одних примерах, так и заударная — в других, обладающая своей внутренней абсолютно высокой интенсивностью, и потому «перенос на нее» мог объясняться исключительно абсолютными показателями звуков.

После конгресса я повторила эксперимент, введя следующий список словосочетаний:

1. *Мечты Ирана*
2. *Мачты Ирана*
3. *Дачи Ивана*
4. *Дары из Итаки*
5. *Гитары Иры*
6. *Муки Игоря*

7. *Каши Ивана*
8. *Зámки Игоря*
9. *Море этана*
10. *Сады Эдема*
11. *Замкѝ Игоря*
12. *Горе этана*

Эти примеры были прочитаны четырьмя дикторами — носителями литературного русского языка. Результат показал, что контакт-звоние и в этом случае оказался столь же «притягательным» для акцентного подъема.

Таким образом, я пользуюсь случаем поблагодарить моих критиков за то, что эксперимент стал более «чистым».

Второй этап эксперимента

На втором этапе эксперимента те же 33 словосочетания из первого списка вставлялись в наборы из 6 предложений-фреймов (общепринятый прием интоналогии) так, что словосочетание попадало в начальную, конечную и серединную позиции при мелодике высказывания в целом восходящей или нисходящей. Например:

9. Мечта Тамары

1. Мечта Тамары передалась и мне.
2. Такое платье — мечта Тамары.
3. А где же мечта Тамары?
4. Мечта Тамары — вещь дорогая.
5. Мечта Тамары сбылась?
6. Мечта Тамары, которую мы все знали, сбылась.

10. Стакан из шкафа

1. Я достала стакан из шкафа.
2. Стакан из шкафа упал и разбился.
3. А где стакан из шкафа?
4. Вот стакан из шкафа, который ты искала.
5. Стакан из шкафа нашелся?
6. Стакан из шкафа — это часть гарнитура.

Или:

30. Моя гитара

1. Моя гитара тихо пела в ее руках.
2. И только тихо звенела моя гитара.
3. Моя гитара — это по сути мой портрет.
4. Где же моя гитара?
5. Вам нравится моя гитара?
6. Моя гитара, как вы догадались, итальянская.

31. Синяя гитара

1. Синяя гитара была для нас редкостью.
2. В руках у него была синяя гитара.

3. Синяя гитара — это что-то романтическое.
4. Где же моя синяя гитара?
5. Вам понравилась синяя гитара?
6. Синяя гитара, которая вас удивила, была им придумана.

Эти примеры были прочитаны (с интервалом около полугода) теми же дикторами — носителями русского литературного языка, которые читали 33 словосочетания в первом эксперименте. Было всего прочтено 990 высказываний.

Задачи ставились те же, но особо отмечалась роль позиции словосочетания — при обоих типах мелодики.

Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений (разумеется, речь идет только о компонентах словосочетаний первого эксперимента) — 43,1%.

Более конкретные количественные показатели:

Для первого слова в словосочетании:

1. Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений в процентах — 41,2% (для изолированного прочтения — 40,7%).
2. В случае если этим первым словом является местоимение — 37,5% (для изолированного прочтения — 30,48%).
3. В случае если этим первым словом является существительное — 81,3% (для изолированного прочтения — 48,54%).
4. В случае если этим первым словом является прилагательное — 75,1% (для изолированного прочтения — 208%).

Для второго слова в словосочетании:

(Напоминаем, что этим словом может быть только существительное!)

1. Общее число не отмеченных интенсивностью лексических ударений — 46,8% (для изолированного прочтения — 52,5%).
2. Если в этом словосочетании первым словом является местоимение — 34,1% (для изолированного прочтения — 76,9%).
3. Если в этом словосочетании первым словом является управляющее существительное — 81,3% (для изолированного прочтения — 21%).
4. Если в этом словосочетании первым словом является прилагательное — 56,8% (для изолированного прочтения — 9%).

Создается, по этим данным, впечатление близости общего числа не отмеченных интенсивностью лексических ударений, однако в гораздо меньшей степени возникает возможность интерпретации через лексико-семантический (и/или частеречный фактор).

Обратимся к более подробным данным, учитывающим положение словосочетания в высказывании и налагающийся на него тип мелодики.

Число не отмеченных интенсивностью лексических ударений для первого слова словосочетания:

1. Понижающееся начало — 65,7%
2. Понижающаяся середина — 61,3%

3. Понижающийся конец — 78,7%
4. Повышающееся начало — 54,6%
5. Повышающаяся середина — 75,5%
6. Повышающийся конец — 95,2%

Число не отмеченных интенсивностью лексических ударений для второго слова словосочетания:

1. Понижающееся начало — 53,1%
2. Понижающаяся середина — 65,3%
3. Понижающийся конец — 78,7%
4. Повышающееся начало — 72,4%
5. Повышающаяся середина — 52%
6. Повышающийся конец — 81,9%

Полученные результаты можно считать предсказуемыми и гораздо менее интересными, чем результаты первого эксперимента.

А именно —

1. Наименее отмечены «концы», особенно при повышающейся мелодике, которая сильно подавляет интенсивность как параметр, начинающий здесь выполнять фразовые функции declination.

2. Примерно одинаковы во всех случаях данные «середин», то есть наиболее «вялой» по выражению части фразы.

3. При понижающейся мелодике первое слово больше «смято» фразовым движением, а при повышающейся — второе.

Итак, была сделана попытка рассмотреть до-фонологический уровень поведения интенсивности в русском словосочетании, используя разного типа «привязки»: позиционные, мелодические, чисто фонетические (контакт-зияние) и лексические («словарное» ударение).

Как оказалось, именно изолированное прочтение дает возможность в большей мере увидеть «клочья и обрывки» до конца несостоявшихся тенденций.

Это, естественно, говорит о большой силе воздействия фразовой просодии на словесную в русском языке, что не было неожиданным.

Ожидаемыми были и частеречные предпочтения.

Наиболее интересными для нас оказались неслучайно вызвавшие критические сомнения волны вздымающейся интенсивности при вокальных контактах.

Как представляется, именно эти ситуации могут внести хотя бы крохотный вклад в начала просодической диахронии.

§ 6. Что стоит за сложными правилами русской пунктуации?

Многолетние занятия просодией и интонацией родились, в сущности, из первоначальных интересов именно к графической, письменной, форме русского языка. Толчком к тому послужили занятия автора машинным переводом в 1957—1960 гг. в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР.

Более подробные исследования привели к созданию коллективной монографии (Волоцкая и др. 1965). Мои же личные интересы вели меня сначала к теме корреляции интонации фразы и пунктуационных знаков в русском языке. Это воплотилось в монографии (Николаева 1969), где — для нужд типологии и выявления универсалий — привлекались уже и славянские языки.

Однако было ясно, что за эклектикой русских пунктуационных правил стоит какая-то нащупываемая простая установка, некая коммуникативная задача. И когда основная работа шла над изучением функций частиц, удалось прояснить эту систему — через отношение к общесинтаксическому концепту **событие**.

Действительно, пунктуационные знаки стремятся отделить одно событие от другого и в разделенных событиях продемонстрировать, что каждый семантический автономный компонент события имеет право на вхождение в виде **одного члена**. Если их делается больше (однородные члены, пояснение и проч.), они выделяются пунктуацией. При такой установке системы она может становиться многомерной. А именно — добавляется членение на тему и рему посредством тире, причем интересно, что в данном случае к членению добавляется некий смысловой X. Имеет место также и обращение к пресуппозиции (разделение *как* с запятой и без). Кроме того, русские знаки препинания неоднородны по многозначности: в одних случаях семантическая широта максимальна (запятая), в других — минимальна (скобки).

Выведенной простой установкой, разумеется, соответствуют не все положения Правил, их немного и они рассматриваются тоже.

Принципиальная эклектичность русской пунктуационной системы уже становится признанным фактом, и все реже раздаются голоса с требованиями унифицировать, упростить, подвести все правила под единый критерий, ликвидировать факультативность употребления¹. Возможно, именно это разнообразие установок и определило ту усложненность и гибкость, которые характеризуют русскую пунктуационную систему.

¹ Можно говорить о двух отчетливых волнах предложений и требований по упрощению русской пунктуации — 30-е и 60-е годы XX в. (см.: Проект свода правил об употреблении знаков препинания // Русский язык в школе, 1930, № 3; Проект «Правила русской пунктуации» // Проблемы современного русского правописания. М., 1964).

И все же, признавая множественность и разноплановость факторов, определяющих выбор и употребление знака, можно, однако, попытаться понять хотя бы в самом общем виде функциональную нагрузку русских знаков препинания (сделать это сложно, поскольку действующая система Правил является одновременно и жесткой — в каких-то пределах — и оставляющей лазейки индивидуальным путям употребления — в других частях прескриптивного комплекса).

Остановимся на пунктуационных знаках, помещающихся внутри предложения: запятой, точке с запятой, тире, двоеточии, скобках. Назовем их внутренними знаками в отличие от внешних — точки, вопросительного и восклицательного знаков, многоточия.

Основным требованием или условием, вокруг которого как будто бы не возникали споры, была установка на то, чтобы внутренний знак не мешал правильному пониманию предложения (см. анекдоты о случаях типа *Помиловать нельзя казнить*, *Поставить статую золотую чашу держащую* и т. п.). Но что же такое то правильное понимание, которое может быть или не быть искажено неправильным употреблением или неупотреблением пунктуационного знака?

Представляется, что речь может идти о трех принципиально различных комплексах явлений.

1. Передача в предложении сообщения о некотором событии, номинативная функция. При этом — при стремлении точно передать сущность события — возможно в свою очередь говорить о двух сторонах проблемы:

а) правильно или неправильно передается число участников события, актантов (при широкой трактовке этого понятия)? Например: *Я встретил жену брата и мать* — *Я встретил жену, брата и мать* (сколько человек?); *Она сорвала белый зеленый багрянеющий цветок* — *Она сорвала белый, зеленый, багрянеющий цветок* (сколько сорвано цветов?);

б) правильно или неправильно отделяется одно событие от другого, если в одном предложении рассказывается о нескольких событиях? Например: *Я собрался и выехал поздно вечером вопрос разрешился удачно* (к какому событию относится обстоятельство времени?).

Однако в реальной практике случаи возникающего непонимания при отсутствии знака довольно редки и обусловлены определенными грамматическими совпадениями. И, однако, употребление пунктуационного знака в ситуации передачи события обязательно (нефакультативно).

Интересно в связи с этим, что, насколько можно судить по разным проектам изменения Правил пунктуации, основная борьба связана с вопросом о том, что считать событием и каковы его границы в семантическом плане. Несомненно, что событие — это всякая пропозиция, соотносимая с предикативными отношениями. Там, где имеется более одной предикативной пары, очевидно, имеется два или несколько событий (*Травка зеленеет, солнышко блестит*). Однако интуитивно ощущаемое требование локальной цельности события вызывает к жизни правило об отсутствии знака в предложениях типа *По улицам*

двигались грузовики и мчались легковые машины, где общий локализатор делает предложение рассказом об одном событии. Еще дальше идут авторы проекта «Правил русской пунктуации», предлагая считать одним событием факты, передаваемые сложносочиненными предложениями с сочинительными союзами и сложноподчиненными предложениями типа *Я вам как чужой* (ср.: *Море глухо роптало и волны бились о берег бешено и гневно; Старайтесь смотреть на меня только как на пациента*)². Итак, отделение событий друг от друга нормативно. К событиям, как представляется, можно отнести и «свернутые» конструкции — причастные и деепричастные обороты.

2. Передача внутренних отношений (А) между компонентами одного события и (Б) между самими событиями.

А. Постановка знака препинания в первом случае факультативна. Это значит, что существующей системой правил предоставляется право пишущему и воспринимающему решать, располагается ли рассказ о событии однопланово, так, что каждое слово добавляет семантическую информацию к событию, излагаемому в линейной протяженности, или двупланово — когда второй ряд составляют уточнения, пояснения к компонентам: *Лет пять тому назад, осенью, по дороге из Москвы в Тулу, мне пришлось просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей*. При этом в уточнение (пояснение) могут добавляться и дополнительные оттенки значения, например, причина или уступительность: *С женитьбой на Книппер, сближение Чехова с театром стало, конечно, еще полнее*.

Таким образом, русская пунктуационная система ориентируется на некоторую максимальную насыщенность одного события разными в содержательном плане отношениями его компонентов, но с соблюдением неперемного условия: каждое отношение может быть представлено од н и м в х о ж д е н и е м. В этом случае пунктуационный знак не ставится в примерах типа *Вчера он отдал этому красивому доброму человеку свою любимую книгу даром*. Если же одно и то же отношение представлено в предложении более одного раза, то появляется пунктуационный знак (это относится к однородным членам и к уточнениям-пояснениям).

Выше речь шла об отделении событий и определении отношений их компонентов. Пунктуационная система русского языка обладает еще и третьей возможностью: передачи типа отношений между событиями. Последовательность или зависимость событий могут передаваться и средствами лексико-грамматической структуры предложения, тип отношений между событиями может оставаться немаркированным; однако семантика отношений демонстрируется и вариациями пунктуационных знаков. В этом смысле внутренние пунктуационные знаки неоднородны: они располагаются от знака с максимальным числом передаваемых значений (запятая) до знака с минимальным их числом (скоб-

² (Проблемы русского правописания; 17—20)

ки). Эта разная содержательная широта внутренних знаков почти прямо называется в Правилах: так, о запятой обычно говорится, что она отделяет или выделяет то-то и то-то, о двоеточии — что оно передает следующий комплекс значений³... Существенно при этом заметить, что эти содержательные ярлыки (пояснение, следствие, результат, причина и т. д.) весьма условны, они, безусловно, составляют только часть еще не составленного и невыявленного перечня семантики отношений линейных единиц.

3. Перечисленные выше типы функциональной нагрузки внутренних знаков препинания относятся к денотативной стороне общей семантики предложения. Между тем существующая практика употребления пунктуационных знаков в русском языке позволяет передавать и другой содержательный пласт — коммуникативную установку пишущего.

Одной из наиболее характерных черт русской пунктуации можно считать запрет на разделение запятой распространенной группы подлежащего и группы сказуемого⁴. Однако при воспроизведении устной формы высказывания с членением его на основу, тему и ядро необходимость указывать границы этого раздела ощутима. В распространенном русском предложении это членение может быть различным, и читающему необходимо передать единственную точную коммуникативную установку автора (ср.: *Место для лагеря выбрал | Петр Петрович — Место для лагеря | выбрал Петр Петрович; При Петре Первом похвалялись бояре | бородами — При Петре Первом | похвалялись бояре бородами*)⁵. Между тем в предложениях с отсутствующим сказуемым (в случае глагола-связки в настоящем времени или в случае эллипсиса) это членение обычно однозначное; в таких предложениях, как правило, ставится тире. Обратимся в этой связи к трактовкам разного типа употреблений тире, предлагаемых действующими «Правилами русской орфографии и пунктуации»⁶.

Дуб — дерево;

Жизнь прожить — не поле перейти;

Поэзия — это огненный взор юноши;

Надежду и певца — все море поглотило.

Отношение подлежащего — сказуемого.

Обобщающее слово, стоящее после перечисления.

³ Так, в проекте «Правил русской пунктуации» очевидно стремление «нагрузить» функционально малоактивное двоеточие, приписав ему значение не только причины, но и следствия и результата (Проблемы современного русского правописания; 22).

⁴ Этим русская пунктуация отличается в особенности от французской. Характерно, что в прошлом столетии это запрещение могло быть еще нарушено (см.: Воинов 1857; Класовский 1869). Л. В. Щерба был сторонником сближения русской пунктуации с системой типа французской, считая, что во фразе *Мой дядя был старый революционер* запятая нужна, а во фразе *Дом, где я живу* — нет (см.: Щерба 1974; 242).

⁵ Примеры взяты из книги: (Адамец 1966).

⁶ (Правила русской орфографии и пунктуации; 98—103)

<i>Я не слишком люблю это дерево — осину.</i>	Приложение в конце предложения.
<i>Со мною был чугунный чайник — единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.</i>	Самостоятельное приложение-пояснение.
<i>Хотел объехать целый свет — и не объехал сотой доли.</i>	Неожиданное присоединение, резкое противопоставление.
<i>Здесь не житье им — рай</i>	Резкая противоположность.
<i>Солнце взошло — начинается день.</i>	Результат.
<i>Назвался груздем — полезай в кузов.</i>	Отсутствие подчинительных союзов.
<i>Я вас спрашиваю: рабочим — нужно платить?</i>	Место разбиения простого предложения на две словесные группы.
<i>Мы села — в пепел, грады — в прах, в мечи — серпы и плуги.</i>	Эллипсис.

Во всех этих предложениях явно ощущается, что первая часть — это нечто исходное, основа, а вторая — это то, что сообщается о первой, рематическая часть. Таким образом, мы утверждаем, что в современном русском литературном языке существует показатель коммуникативной установки пишущего — тире, знак, прошедший эволюцию от показателя эллиптичности к показателю двучленности высказывания, его актуального членения на основу и ядро.

Значит ли это, что тире в данных случаях имеет значение только показателя двучленной рассеченности предложения? Вовсе нет; к этой указанной идее членности может добавляться (или не добавляться) некий смысловой X. Это различие двучленных предложений по смыслу подчеркивал Л. В. Щерба. Сопоставляя, с одной стороны, фразы типа *Когда стало темно, — мы выбрались, наконец, из нашего убежища; Так как вы поступили крайне неосмотрительно — то и пришлось принять некоторые меры предосторожности помимо вас* и, с другой стороны, двучленные фразы типа *Ленинград — большой город; Это замечательное произведение искусства — было вырезано простым ножом* и т. д., Л. В. Щерба приходит к выводу, что оба типа фраз есть фразы двучленные, но во фразах первого типа присутствует, кроме того, «та или иная логическая связь, временная или причинная» (Щерба 1947; 120—122). Таким образом, помимо общности есть отличия в предложениях типа *Дуб — дерево и Назвался груздем — полезай в кузов.*

Итак, очерченное выше употребление русских пунктуационных знаков отвечает двум функциональным аспектам — денотативному (п. 1, 2А и 2Б) и коммуникативному (п. 3).

Специфика внутренних отношений знаков препинания состоит в их неоднородности, уже отмеченной нами ранее разной функциональной нагруженно-

сти. Это проявляется в особенности и при «чтении» внутренних пунктуационных знаков⁷. При общей иерархии паузальных величин от запятой к скобкам [, < — < : < ()] оказывается, что двоеточие определяет не только паузу, но и тип мелодики, а скобки — мелодику, темп, паузу. Таким образом, степень предсказуемости чтения пунктуационных знаков различна. Это увеличение степени конкретности чтения перечисленных четырех знаков в содержательном плане соответствует той же иерархии уточнения их функциональной нагрузки: о значении запятой сложнее говорить, чем о значении тире, а тем более — двоеточия, а тем более — скобок.

Необходимо также заметить, что о подлинной функциональной сущности пунктуационных знаков можно говорить лишь на фоне определенным образом структурированного лексико-грамматического состава предложения. Иерархия при этом такова, что определенные (маркированные) союзы оказываются сильнее поставленного пунктуационного знака, сильнее которого оказывается также и маркированный лексический состав. Таким образом, наиболее активная арена действия для пунктуационных знаков, передающих различные отношения, — это предложения с немаркированными союзами, немаркированным лексическим составом⁸.

На фоне целого ряда современных наблюдений над функциональной нагрузкой пунктуации в настоящее время уже воспринимается как упрощенный тезис А. М. Пешковского об обязательном соответствии пунктуационного знака и определенной ритмико-мелодической фигуры (Пешковский 1918; 1959).

Очерченные нами выше функциональные характеристики русской пунктуационной системы, как представляется, охватывают лишь ее основной костяк. Какие же элементы русской пунктуационной системы остаются вне очерченных трех линий — выделения события, передачи отношений внутри событий и между ними, коммуникативного членения?

Прежде всего совсем не все виды коммуникативного членения находят отражение в пунктуационной системе. Это — различие членения во фразах типа *Недавно | приехавший доктор сделал нам доклад* и *Недавно приехавший доктор | сделал нам доклад*⁹.

В перечисленные выше типы функций не укладывается также и ряд правил употребления знаков препинания.

1. Прежде всего к ним относятся правила о постановке знака в зависимости от лексико-грамматического воплощения того или иного компонента предло-

⁷ Мы пользуемся в данном случае собственными экспериментально-фонетическими данными (см.: Николаева 1969; 25—32, 119—125, 238—249).

⁸ Об иерархии отношений между союзами, лексическим составом и пунктуационным знаком в предложении см. статью: (Николаева 1968).

⁹ Знак для обозначения членения такого типа предлагал ввести Л. А. Булаховский (Булаховский 1930).

жения. Это 1) неотделение придаточного, вводимого посредством *не*: *Я хочу знать не как это делается, а зачем*; 2) отделение определения, относящегося к местоимению: *Как, бедной, мне не горевать!* Ср.: *Как бедной Маше не горевать!*

2. Во-вторых, особой интерпретации (может быть, также в рамках синтаксиса линейных единиц) требует правило о постановке/непостановке знака в зависимости от позиции линейной единицы (в частности, это относится к позиции определительного оборота): *Нарядно одетая девочка вбежала в комнату*. Ср.: *Девочка, нарядно одетая, вбежала в комнату*.

3. Несомненно, что только договоренности (а не действию внутренних законов системы) подлежат фиксированные в Правилах указания о том, выделять или нет вводные слова, междометия, как оформлять перечисление, как оформлять прямую речь, обращение.

Остальные сложные случаи, в сущности, относятся все к той же уже упоминавшейся проблеме: как определить границы и компоненты одного события. Эти идеи отражаются в Правилах в виде несколько неясных формулировок: самостоятельность/несамостоятельность конструкции, теснота смыслового единства, распространенность или нераспространенность тех или иных конструкций и т. д.

Для выделения события, параллельного основному (т. е. второго или третьего самостоятельного события, представленного в тексте в свернутом виде, но отделяемого знаком как самостоятельный элемент), возможны некоторые трансформации развертывания. При этом целесообразно выделять два вида таких преобразований.

При первом из них восстанавливается квазипредложение с тем же, что и в первом предложении-событии, подлежащим и сказуемым, преобразованным из центра свернутого оборота: *Читая книгу, бабушка улыбалась* → *Бабушка читала книгу, бабушка улыбалась*. Такие упрощенные предложения стандартного типа И. П. Севбо называет «упрощенными стандартизованными предложениями» (Севбо 1969; 21) (ср. примеры И. П. Севбо: *Князь Андрей, сделав распоряжения об отъезде, ушел в свою комнату* → *Князь Андрей сделал распоряжения об отъезде*], [*Князь Андрей ушел в свою комнату*]; *В конце января, овеванные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады* → *В конце января хорошо пахнут вишневые сады*], ..., [*Вишневые сады овеяны первой оттепелью*]).

Во втором случае, более нетривиальном, восстанавливается третье предложение афористического типа, с подлежащим не из основного предложения, а из свернутого оборота, а сказуемым — из основного предложения, но в настоящем времени. Например: *Покойно, как лодка, скользит по каменной глади автомобиль* → *Лодка (лодки) скользят покойно*; *Девочка, любимица отца, вбежала смело* → *Любимцы родителей (любимцы отцов) вбегают смело*; *Как истинный художник, Пушкин не нуждался в выборе поэтических предметов для своих произведений* → *Истинные художники не нуждаются в выборе поэтических предметов для своих произведений*.

Этот тип восстановления — построение афоризма — относится к сфере так называемых пресуппозитивных факторов — некоторого фонда общих знаний членов коммуницирующего социума, апелляцией к которому и является поставленный знак. Интересно также, что постановка знака в конструкциях такого типа может быть показателем формирования этого общего фонда, обращения к исходной посылке, которая может оказаться ложной или неочевидной: *Как блондинка, она любила кататься на велосипеде* — ср.: *Как блондинка, она пользовалась успехом на юге*.

Это событие-афоризм трудно примыслить для конструкций типа *Он нам известен как энергичный человек*. В таких предложениях знак не ставится.

Одиночные деепричастия, фразеологизированные обороты рассматриваются не как свернутые конструкции-события, а как компоненты одного события, и знаком не отделяются, хотя описанные преобразования возможны и здесь. Ср.: *Они шли молча; Он покраснел как рак; Жизнь их текла как по маслу* → *Они шли, они молчали; Рак (после варки) краснеет; Масло создает гладкую поверхность*.

§ 7. Три типа сегментных указателей межфразовой связи. Их иерархия

В предыдущем параграфе была сделана попытка «объяснить» загадки русской пунктуационной системы, скорее, применительно к одному событию, которое может быть — без знака — представлено в любой полноте, но одним только вхождением. Гораздо сложнее разобраться в многомерном пространстве межфразовых связей русского предложения, если еще и пытаться при этом соотносить графический облик с интонационным воплощением. Совершенно понятно, что смысл отношений вытекает иногда однозначно из лексического наполнения обеих частей: *Чин следовал ему — он службу вдруг оставил*. Несомненные уступительные отношения здесь как бы и не требуют союза. Ср. между тем: *Мы пошли домой — грянула гроза*. Здесь явно последовательность событий имеет место (*Только мы... так*). Но при введении дуеточия ситуация меняется: *мы пошли домой, потому что грянула гроза*.

Совершенно очевидно, что в известной задаче о волке, козе и капусте, которых нужно было переправлять по одному, не хватало какого-то четвертого компонента. Так, в излагаемом ниже тексте эту роль четвертого элемента играет тип интономы, которую мы назвали исходной. Итак, в игру вводятся четыре системы: Союзы, Лексический состав, Знаки препинания, Интономы. Внутри каждой выделяются члены маркированные и немаркированные. Определяется иерархия показателей для каждой системы. Определяются правила выбора на каждой ситуационной ступени. И тогда выбор интономы, то есть прочтение предложения, осуществляется по правилам почти школьной задачи.

При речевой деятельности произносимые фразы неизбежно сопровождаются той или иной интонацией. Существенно определить сначала те общие факторы, согласно которым происходит выбор и реализация интонацией. По данным примеров, можно говорить о следующих трех факторах (указаниях): 1) указания лексического характера, 2) указания в виде союзов, 3) указания пунктуационные¹. При этом комбинируемые факторы-указания могут «действовать» в одном направлении, в разных или быть нейтральными.

Поясним сказанное. Фраза *Уйти незаметно было нельзя, он вышел открыто* реализуется с одной и той же интонацией: с запятой, тире, двоеточием и скобками. В этой фразе лексические указания достаточно выражены². То же относится к фразе *Мне говорили, отец ее уже умер*, произносимой одинаково при всех знаках препинания, а также с союзом и без союза.

Во фразе *Лягушки прыгают под ногами / по земле ползет уж* — лексический состав предложения не сообщает о типах отношения между синтагмами, союз отсутствует, знаки препинания остаются единственным показанием этих отношений; в соответствии с этим выбираемые интонации различны.

Внутри показателей, характеризующих перечисленные три фактора, выделяется дополнительное членение — на маркированные и немаркированные показатели (более подробно об этом будет сказано ниже, укажем лишь для пояснения, что мы считаем запятую немаркированным знаком, а двоеточие — маркированным; союзы дополнительные и определительные — немаркированными, а присоединительные — маркированными и т. д.).

Таким образом, в предложении могут быть ряды указателей:

	С	Л	ЗП		С	Л	ЗП
1	+	+	+	7	–	–	–
2	+	+	–	8	0	–	–
3	–	+	+	9	0	–	+
4	+	–	–	10	0	+	–
5	–	+	–	11	0	+	+
6	–	–	+				

(Л — лексика, С — союз, ЗП — знак препинания, + маркирован, – немаркирован; 0 в графе С — означает, что союза нет, так как бессоюзные предложения не есть предложения с немаркированным союзом).

¹ При подготовке работы к печати автор с удовлетворением обнаружил элементы сходного подхода у М. Бирвиша (Bierwisch 1966). М. Бирвиш сопоставляет синтаксическую структуру предложения (как глубинную, так и поверхностную) с соответствующей интонацией, а также членением фразы (phrasierung); при этом он приходит к общей идее о существовании в тексте синтаксических интонационных показателей (SIM — Syntaktische Intonation Marker), определяющих интонацию «на выходе».

² О роли лексического фактора при выборе писал С. Карцевский: «Nous... (см. след. стр.).

Однако сами факторы-указания, насколько можно судить по нашим данным, не равны между собой. Так, самыми сильными являются указания союза, затем — лексический, затем — пунктуационный фактор (союзный фактор важнее; так, почти всегда совпадали интонаемы союзных предложений с любыми знаками препинания).

Если в предложении более одного маркированного показателя (случаи 1—3 включительно), они могут находиться в следующих соотношениях:

1. Указатели действуют в «разных направлениях», тогда один фактор побеждает (по принципу $C > Л > ЗП$). Так, в предложении *Он с ужасом увидел, они заехали в лес* $Л > ЗП$ (пауза большая, темп второй части более медленный, мелодика понижающаяся). Однако при введении союза (или, иначе, восстановлении его) оказывается, что чтение примера меняется. Так, пример *Он с ужасом увидел, что они заехали в лес* читается с исходной интонаемой, т. е. $C > Л$.

2. Указатели действуют в «одном направлении», тогда выбирается интонаема, указанная этим «направлением», но не ее, если можно сказать, «удвоенная порция», точно так же как в сегментном отрезке *маленькие девочк... смеются* слову *девочки* будет приписана одна флексия *-и*, так же как в отрезках *маленькие девочк... и девочк... смеются*, т. е. независимо от того, что она одновременно диктуется как адъективной, так и глагольной флексией.

Этим объясняется тождественное чтение фраз типа *Он в роскоши — я здесь* и фраз *Стоило ему войти, все притихли*, где в первой фразе маркирован $ЗП$, во второй фразе — $Л$. Приведенным выше выводам о типах указателей, диктующих выбор интонаемы в предложении, и об их соотношении по маркированности предшествовали наблюдения над эмпирическими данными, в основном предложенными выше. Так, выявилась наиболее распространенная интонаема: пауза минимальная, темп ровный, мелодика неконечной синтагмы повышающаяся, реализующаяся в большинстве сложных союзных предложений с запятой при отсутствии маркированных лексических показателей.

Эту интонаему будем называть исходной интонаемой сложного предложения (или более точно — исходной интонаемой двусинтагменной фразы). Маркированными считаются такие указатели (лексика, союзы, знаки препинания), которые требуют выбора неисходной (т. е. иной) интонаемы.

Необходимо сказать еще об одном обстоятельстве, существенном при проблеме выбора интонаемы. Так как интонаема — комплексная просодическая единица, формируемая показателями величин, каждая из которых образует свои парадигматические ряды знаков (аналогичным в морфологии рядом граммем падежа, числа, рода и т. д.), интересно было бы посмотреть, на какие параметры по отдельности влияют типы указателей (т. е. что они маркируют), для чего необходимо обратиться к более конкретному материалу.

...appelons lexicologique le plan où regne la phrase” (Karcevskij 1931); см. также: (Hultzen 1959).

К сожалению, материал не дал возможности сделать какие-либо точные выводы о лексическом указателе. Представляется, что подготовить примеры для анализа такого рода очень сложно — для этого нужно большое предварительное исследование о типах отношений между частями сложного предложения, диктуемых лексическим составом этих частей.

Выбор интонымы для предложений с союзом исследовался в тех случаях, где представлен тождественный знак (в нашем случае запятая). Результаты были следующими:

1. Подавляющее большинство союзных предложений выбирает исходную интоному сложного предложения.

2. В ряде случаев выбиралась интонома, когда одна часть произносится медленнее другой. Более быстро произносится союзная часть, носящая в произношении дикторов как бы пояснительно-сопровождающий характер: *Ясно, что ты ошибся; Он посмотрел туда, куда полетела птица; Он уважал его, а это все-таки был его командир; Он был любезен, насколько требовали обстоятельства; Как мне говорили, отец ее уже умер.*

3. При союзах присоединительных и присоединительно-пояснительных происходит выбор интонымы с понижающейся мелодикой и большой паузой, например: *В город приехал отряд, отчего вся жизнь города изменилась; Мне стало очень грустно, чего он и добивался; Человек со стороны был бы поражен, если мог быть такой человек; Не знаю, приехал ли ты; Ей стало грустно, так как разговор не получился.*

Итак, наши данные не подтверждают тезиса о том, что каждому типу предложения должен соответствовать свой тип интонации. Различия в типах интонации могут определяться в таких исследованиях и лексическим составом фраз (Л). Неразличение лексики и интонации ведет к проецированию лексических значений на интонационные. Так, Б. Сиртсема (Siertsema 1962) говорит об интонационном тождестве сочетаний *yóu swine!* и *yóu darling!*

К чему могут привести попытки такого навязывания синтаксических и ситуативных конструкций просодическим данным, показывают А. В. Исаченко и Х. И. Шэдлич (Isačenko, Schadlich 1964; 39—40), цитируя Г. Хоккета, который, приводя вопрос “*Where you going?*” и ответ *Home*^{3,1}↓ (цифры показывают мелодические уровни.— Т. Н.), считает, что *home* имеет значение «констатации факта, который и не был бы сообщен, если бы о нем не спросили», а *Home*^{3,2} — значение «Мне не особенно хочется домой, ну а что ж еще делать?».

Проникновенная филиппика против такого подхода звучит также и в книге К. Пайка (Pike 1947; 23—25).

Экспериментальная работа М. А. Виллер, сведшей к четырем типам интонации соотношения основных членов в нераспространенном предложении 8 типов, выдвинутых Л. В. Щербой, показывает, сколь велико может быть различие между подходом «изнутри» и «извне» к одному и тому же явлению (Виллер 1960).

Изучение распределения просодических данных, т. е. выбора интоном, поставленного в соответствие четырем (как максимум) вариантам одного и того же примера, различающимся только по знаку препинания (запятая, тире, двоеточие или скобки), проделанное по всем параметрам и всем примерам, позволило сделать следующие общие выводы о влиянии знаков препинания на просодические показатели:

1) знаки препинания по-разному функционируют в союзном и бессоюзном предложении, что соответствует приводимому ряду $C > Л > ЗП$, т. е. $C... > ЗП$;

2) в союзном предложении маркированным является тире — всегда диктует выбор интономы, величина паузы — средняя (ср.: *Если вы навестите меня, я буду рад* и *Если вы навестите меня — я буду рад* и т. п.). Двоеточие и скобки для союзного предложения в целом можно считать немаркированными. Так, фразы типа *Мы пошли домой (потому что пошел дождь)* обычно читают с исходной интономой;

3) в бессоюзном предложении маркированы тире, двоеточие и скобки. Необходимо напомнить, что эта закономерность выводится лишь для фраз с немаркированным лексическим составом, ибо $Л > ЗП$; в соответствии с этим фразы *Я верю, вы не хотели его обидеть*; *Я верю — вы не хотели его обидеть*; *Я верю: вы не хотели его обидеть*, по нашим данным, читаются одинаково;

4) все знаки препинания в предложениях бессоюзных с немаркированным лексическим составом оказывают влияние на выбор типа паузы.

Кроме того, двоеточие определяет не только паузу, но и тип мелодики. Для двоеточия, таким образом, выбор интоном суживается (т. е. неясным остается только темп).

Что касается темпа, то он определяется только скобками (более быстрый темп в скобках), т. е. скобки являются единственным знаком препинания, определяющим всю интоному (т. е. пауза большая, темп скобочной части более быстрый, мелодика неконечной синтагмы понижающаяся, мелодический уровень скобочной части более низкий).

Итак, в бессоюзном предложении (при прочих равных условиях) скобки определяют паузу, мелодику и темп; двоеточие — паузу и мелодику; тире — паузу, запятая — паузу (напоминаем, что отсутствие паузы в данной работе считалось нулевой паузой).

В союзных предложениях тире и запятая также определяют паузу; чтение двоеточия и скобок либо приравнивается к чтению запятой, либо к типу чтения этих знаков в бессоюзном предложении.

Таким образом, полученные данные (кроме чтения скобок) не подтверждают тезиса о неременном соответствии пунктуационного знака и интонационной фигуры. Так, запятая может соответствовать и повышающейся, и понижающейся мелодике неконечной синтагмы, для двоеточия характерна понижающаяся мелодика неконечной синтагмы. Совпадает с полученными данными лишь тезис о том, что тире (черта) =, запятая + пауза (необходимо добавить —

при прочих равных условиях), так как все остальные параметры для запятой и тире равным образом не обусловлены.

Итак, выбор интонаемы может диктоваться разными причинами: 1) типом союза, 2) лексическим составом, 3) знаком препинания, 4) бессоюзностью как таковой. Таким образом, одна и та же интонаема (например, пауза средняя, темп ровный, мелодика неконечной синтагмы повышающаяся), выбранная во фразах *Стоило ему войти, все притихли*, *Если вы навестите меня — я буду рад* и *Жена готовила, он работал в саду* (диктор X) диктуется: в первой фразе — лексическим составом, во второй — тире, в третьей — отсутствием союза. Сложностью комбинаций всех перечисленных факторов объясняется пестрота состава групп примеров, описанных выше.

§ 8. Как изучать коммуникативные частицы?

Общепризнанные положения.

Парадоксы изучения частиц. Проблемы описания

Последующие пять параграфов (§§ 8—12) посвящены разным подходам к раскрытию семантики и формального функционирования частиц, точнее, партикулярного фонда, который мы считаем ключевым пластом лингвистической системы в целом — ключом и к синхронии, и к диахронии, и, быть может, к великой тайне происхождения языка. Легко заметить, что, если посмотреть правде в глаза, именно на партикулярном фонде, который составляет коммуникативный пласт языковой системы, почему-то совершенно отдельный от пласта знаменательных слов, мало изменяющийся и как бы искусственно секуляризованный, сходятся пересекающиеся в перспективе две основные линии взгляда на языковую эволюцию. Согласно первой, реконструируемый язык четок и схематичен и диффузируется впоследствии, согласно второй — идет от размытых семантически и формально первичных элементов. Как кажется, первая точка зрения восходит к валоризованной системе взглядов самого лингвиста (см. Часть первую), взгляд второй — к его эмпирической ориентации. Подлинной «правды», видимо, нам знать еще не дано.

Вместе с тем частицы похожи на звезды в ярком ночном небе — они и далеки, и близки, от них, вспыхивая, идут в разные стороны лучи. Они притягивают нас и в то же время непостижимы.

Вот почему из всего разнообразия исследований автора, посвященных частицам, были выбраны для публикации в этом издании только те статьи (или фрагменты монографий), в которых, по нашему мнению, трактуются с разных сторон и часто пересматриваются те связанные с частицами вопросы и проблемы описания, которые уже как будто бы для лингвистов кажутся тривиальными и обсуждению не подлежащими.

Поэтому в § 8 разделяются: 1) действительно общепризнанные положения, то есть положения лингвистической теории, 2) парадоксы описания и существования частиц, выявляемые при их комплексном изучении, 3) проблемы их описания, то есть представления в явном виде в грамматиках языков, как нормативных, так и академических.

1. Общепризнанные положения

1. Первым общепризнанным положением, касающимся описания частиц, является положение о необычайной популярности частиц в лингвистическом исследовании. Популярность эта началась с конца 60-х годов (не случайно именно в 1969 г. вышли три большие монографии — Weydt, Carruba и Blomkvist), в 70-е годы она увеличилась, в настоящее время выходят книги даже об отдельных частицах (например, Gornik-Gerhardt 1981).

В целом в лингвистике 70-х годов практически во всех странах наметились четыре частицы-«любимицы», а именно ‘даже’, ‘только’ и антонимичная пара ‘уже’ — ‘еще’ (Оскотская, Булатникова, Крейдлин, Торопова, Волкова, Моисеев, Fraser, Anderson, Traugott, Waterhouse, Morissey, Doherty, Pasicki, Bańkowski, König и др.). Причины этого обращения к частицам вполне соотносимы с общими сдвигами в языкознании: от описания факта через язык к определению отношения к этому описанию; человек может связывать высказывание с общим знанием о мире, со своим отношением к сообщаемому, может связывать высказывание с другими высказываниями в том же тексте, может соотносить его с ситуацией непосредственного действия. Одна и та же частица оказывается способной передать несколько коммуникативных линий одновременно: «...они выражают отношение адресанта к адресату или к описываемой ситуации, презумпции говорящего, его намерения, его эмоции... частицы обладают способностью выражать минимальной ценой весь комплекс прагматических значений» (Wierzbicka 1976; 327).

Оказалось, точнее было явно сформулировано, что активное употребление частиц есть один из показателей знания языка. Например, иностранец скажет, скорее, *Bitte, geben Sie mir das Buch*, а немец — *Können Sie nur vielleicht mal das Buch da geben* или *Ach, geben Sie nur doch bitte mal das Buch* (Heinrichs 1981; 3).

2. Несомненно также и то, что стремительно увеличивающийся интерес к частицам связан не только с изменением общеязыковедческого фокуса внимания, но и с расширением возможностей чисто формальных — появлением новых аспектов самого описания. Люди обычно описывают то, что умеют описывать. В течение многих лет структура высказывания представлялась — так или иначе — в виде дерева двусторонних зависимостей:

Маленький мальчик быстро читает интересную книгу

Успешным полагался тот анализ, при котором не оставалось никакого никуда не относящегося остатка. Из модели такого анализа по «непосредственно составляющим» родилась и порождающая грамматика. Модальные и вводные слова вроде *к сожалению, конечно, возможно* просто выносились за скобки; к чистым союзам можно было применить искусственные решения, например сделать их вершиной иерархии скобок. Но что же делать с фразами вроде *Aber wie hieß er doch?*

И вот эта коммуникативная свобода частиц оказалась их принципиальным свойством: «... частицы выходят за ЭСК (элементарные синтаксические конструкции. — Т. Н.) и реализуются в пределах предложения» (Елизаренкова 1982; 406).

Новым и мощным аппаратом для описания частиц явилась теория пресуппозиции, позволившая сделать лингвистическим фактом семантику «дополнительной строки», непосредственно не вытекающей из буквального состава предложения: *Только Петрову не решить эту задачу* — задача легкая, а Петров решает плохо; *Петрову не решить только эту задачу* — Петров решает хорошо, а задача трудная. Именно поэтому так много описаний посвящено максимально пресуппозитивным частицам: *только, даже, еще, уже*,

3. Частицы не вписываются точным образом не только в школьную схему предложения, но и в словари и грамматики. Например, в 17-томном академическом словаре помещается, по подсчетам А. Бартошевича, 131 частица, в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова — 84 частицы, в Малом академическом словаре — 110, в Словаре С. И. Ожегова — 75. Из них во все словари попадает только 42 частицы и 64 частицы встречаются только в одном из них (Бартошевич 1978; 332). В. Хайнрихс приводит список из 28 немецких частиц (Heinrichs 1981; 14). Из них как частицы фигурируют в одной работе 17 слов, в другой — 13, в третьей — 13, но не точно те же, в четвертой — 24, в пятой — 16. Определенного списка частиц не дает и АГ-80, где, в частности, некоторые частицы повторяются — при различении их функций.

4. Эта принципиальная размытость списка частиц связана с размытостью их семантики. А именно: они одновременно и многозначны, и синонимичны. Таким образом, функциональная семантика частиц как бы налагается одна на другую. Так, например, Т. Я. Елизаренкова показывает многозначность ведийских частиц: *U* ‘вот’, ‘же’, ‘тут’, ‘тотчас же’, ‘и’, ‘а также’, ‘а’, ‘но’, имеет дейктическое значение и значение сочинительного союза; *Nū* ‘теперь’, ‘тут’, ‘вот’, ‘еще’, ‘уже’ и мн. др. И в то же время в общем приводимом ею списке многие частицы синонимичны — в основном со значением ‘ведь’, ‘же’: *āngá, āha, u, kam, khalu, tú, sma, svid, ha, hi* (Елизаренкова 1982; 406). То же самое можно сказать и о современных языках. Так, А. В. Знаменская выделяет восемь значений частицы *и* (Знаменская 1964). И в то же время *и* синонимично *еще, даже, тоже, именно, и*, как мы показывали выше, все эти значения представляют непрерывную шкалу (о шкалярности значения *даже* см.: Крейдлин 1975). Известна, например, синонимия частиц при переводе: *schon* — *же; ja* —

ведь, же; nun — ведь, ну, так; doch — ведь, же; bloß — же, только, не и т. д. — и синонимия частиц в одноязычном тексте: *Er kann ja (nun) nicht fort sein; Sei bloß (nur) aufmerksam; Es ist doch (denn) so unerwartet* и т. д. Автор считает специфическим свойством частиц «их способность выступать в качестве синонимов по отношению друг к другу» (Крашенинникова 1956; 24). Число подобных примеров можно с легкостью привести и для русского языка:

и — даже: С милым и в шалаше рай; Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это; Как он попал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать, но попадал; Дарья Михайловна очень к нему благоволила, но Наталья Алексеевна и слышать о нем не хотела; Стало быть, уже и скрывать не хотят, что следят за мной, как стая собак.

же — ведь: Училище неприятно подействовало на него. Но, думал он, живут же люди и здесь; Сгноить тебя мало, если такую лошадь испортишь. Она же для хозяйства клад; Он сделал предложение? Он же тебя любит; Но на нее не гляди. Это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

вон — ведь: У нас, вон, у самих завтра пять-десять тысяч внесу в казну; Панихиды по тебе служить собирался, да твоя мать вон все останавливала; А старуха грызла меня. — Книжник! Книжники-то вон распутству учат... и т. д., не говоря уже о многократно отмечавшихся синонимических совпадениях у антонимов уже — еще; вон — вот. Так, например, А. И. Моисеев показывает, что *еще* и *уже* могут быть: 1) контрастны, 2) синонимичны, 3) дифференцированы по дистрибуции (Моисеев 1978). Подобного рода синонимические совпадения возможны и для частиц, входящих в состав неопределенных местоимений: *Далеко-далеко, где-то на большой дороге, светился красный огонек — тоже, вероятно, кто-нибудь (кто-то) варил кашу; Некто (кто-то) сравнивал душу поэта в минуту вдохновения с растопленным в горниле металлом; Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо (что-нибудь) изменять в устройстве жизни: летом квартир никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно; Лихорадящим больным есть не хочется, но чего-то хочется, чего-нибудь кисленького. Так и мне хочется чего-то (чего-нибудь) кисленького.*

Таким образом, частицы имеют свое значение и почти всегда синонимичны, т. е. они представляют собой «наборы сем» (Копыленко 1978; 73). Наборы эти индивидуальны, но семы могут совпадать. В. Арндт, понимая под частицами только первичные партикулы, в нашей терминологии, считает их «минимальными морфологически и сложными функционально», поэтому, заключает он, «не все модальные слова есть частицы, но все частицы по сути своей модальны» (Arndt 1960; 326). Эта полифункциональность частиц, диффузность их семантики, сосуществование синонимичности и оригинальности влекут за собой еще два феномена, также всеми признаваемые: частицы должны подкреплять друг друга (или могут подкрепляться) и их значение во многом определяется контекстом.

5. Синонимия частиц, параллельная сохранению некоторой инвариантной совокупности сем у каждой частицы, создает сложные комплексы различной линейной протяженности. Актуальной для описания проблемой (и, может быть, более актуальной, чем их отличие от союзов и других частей речи) является проблема их линейного тождества. Например, *А вот, Вот и, Ну вот, Вот бы, Да вот* и т. д. считать сложной частицей или комбинацией частиц (см. специальную статью А. В. Знаменской о сочетании с *Вот* — Знаменская 1967)? В болгарском языке есть специально вопросительная частица *Дали* (Чолакова 1958; 65), эти компоненты в неконтактном виде есть и в русском вопросе — *Да идешь ли ты наконец?*, но частицами еще считаться не могут.

Для древних языков создаваемые частицами комплексы описывают в их разделении на начальные — союзные и примыкающие к ним (см.: Caruba 1969, Josephson 1972). О позиционной роли славянских частиц и семантико-синтаксической функции позиции будет сказано далее, однако можно заметить, что строгого различия союзной частицы и собственно частицы не было и для греческого языка: Деннистон описывает *καί* как копулятив, если он занимает первое место, и как адвербиальную частицу — для не первой позиции (Denniston 1954; 325). Он формулирует даже правило: *καί* + X = коннектор + наречие, и X + *καί* есть коннектор + наречие, таким образом, статус *καί* меняется (Denniston 1954; LVII). В его фундаментальной монографии приводятся и анализируются три вида комплексов из частиц: единая частица, сложная генетически (вроде *да-же, не-у-же-ли*): *Μέντοι, Γάρ, Γούν, Καίτοι, Τοιγάρ, Τοίνυν* и т. д.; позиционно контактная комбинация, близкая к единой лексеме: *Ἀλλῆ, Οὔ γάρ ἀλλά, Σέ γε, Καί γε, Καί δέ, Καί δή* и т. д.; комплексы дистантные: *Καί... δή, Ἀλλά... γάρ, Οὔδε... γε* и т. п.

Й. Бломквист, описывая комбинации греческих частиц для эллинистической прозы, считает явлением более позднего периода многочленные комбинации — *οὐ μὴν δέ, οὐ μὴν δὲ ἀλλά, ἀλλά μὴν* и т. д., однако отмечает и распад (расщепление) комбинаций частиц классического периода (Blomkvist 1969). Таким образом, справедливым оказывается тезис о том, что частицы «обладают способностью сочетаться друг с другом в целые комплексы, которые в предложении легко возникают и легко распадаются, видоизменяются» (АГ-80; 730). В состав таких комплексов вовлекаются уже и не частицы только; так, в АГ-80 приводятся такие составные частицы, как *добро бы, ладно бы, то ли не, хватъ и, не иначе как, то ли дело, того и гляди, что ни на есть* и т. п. (АГ-80; 725). При этом сочетания вроде *нет-нет да и* признаются единой фразеологизированной частицей, а сочетания *уж и, вроде бы, да как* — «легко возникающими комплексами». Тенденция комбинироваться в комплексы достигает у частиц такого масштаба, что появляются и фразеологизируются целые предложения, состоящие только из частиц и смежных грамматически им слов; семантика этих предложений вполне понятна — *Как же!; Ну вот еще! А то?; Ну уж и...; Вот то-то же!; Как же это!; Вот то-то и оно!; Так уж и?; Вот ведь!; Вот еще!*

Как раз!; То есть как?; То есть как это?; Ну уж!.. Как есть и т. д. Примерами подобного рода фразеологизированных реплик богато насыщена книга Н. Ю. Шведовой (Шведова 1960); см. также цепочки, приводимые А. Е. Орловым, М. И. Черемисиной, — *и если бы, и пусть же, но и даже, раз уж и, только вот и, а то и* — и их формальную классификацию (Орлов, Черемисина 1980).

Хотя способность частиц входить в фразеологизированные коммуникативные комплексы и можно считать общепризнанной, однако сама количественная представленность частиц в языке есть характерологическая типологическая черта. Э. Косериу называет как «языки частиц» древнегреческий и немецкий (Coseriu 1980); Хейнрихс — русский, немецкий и греческий (Heinrichs 1981). Действительно, и в немецком языке отмечается большое количество подобных комбинаций частиц, многие из которых анализируются в специальном монографическом сборнике (*Aspekte der Modalpartikeln* 1977). См. цепочки типа *doch schon, schon doch, denn auch nur, vielleicht mal, doch mal, denn aber auch nur* (Heinrichs 1981).

6. Следующий признанный тезис, относящийся к частицам, — это тезис об их принципиальной непереводаемости. Употребление частиц нужно не усвоить, а освоить. Кроме того, очевидно, что для ряда типологически различных языков необходим перевод, кардинально отличный по структуре. Так, интересны английские примеры, приводимые в учебном пособии А. Н. Васильевой по употреблению русских частиц:

Ведь ты пойдешь в магазин. }
Ты же пойдешь в магазин. }
Ты пойдешь в магазин-то?

You're going to the shop.

You're going to the shop?

(Vasilyeva 1972; 36)

Характерно, что поясняющий далее контекст существен именно для различия русских частиц. См. далее примеры вроде *Приехать-то я не приеду, а написать-то напишу или позвоню, обязательно* (*I can't come but I'll make a point of writing or 'phoning, though*) или *А Нина ведь видела* (*But Nina has seen*), *А сама вот играть не очень стремится* (*But she's not all that keen to play herself*) (Vasilyeva 1972; 66—67). Сходна ситуация с переводами немецких частиц. См. примеры: *Warum bist du auch zu spät gekommen?* — *Je ne comprends pas pourquoi tu es arrivé en retard* — *Just tell me, why do you come too late?* или *Ich kann doch deine Seife benutzen?* — *I can use your soap, can't I?* (Heinrichs 1981; 73).

Таким образом, создаются как бы национально специфические коммуникативные слова; например, немецкое *eigentlich* сопоставляется с русским *ничего* не по прямой семантике, а по непереводаемости всего комплекса (Albrecht 1977; 19).

7. Еще одно положение общепризнанной теории — это тезис о том, что значение высказываний с частицей в огромной степени определяется контекстом.

Они относятся к предложению (высказыванию) в целом (см. тезис Каррубы о том, что комплексы частиц для предложения в целом — это примерно то же, что наречие для глагола); много пишут о «размытой семантике» частицы, которая реализуется только в контексте (Копыленко 1981; 19), об отсутствии лексического значения у частиц, поскольку только предложение его определяет (Iwasaki 1977), о том, что модальное значение частицы описывается его «средой» (Кривоносов 1974; 181). Все эти положения в целом действительно общепризнанны. Однако, как представляется, внутри этого тезиса заключены некоторые не вытекающие друг из друга положения. Например, тезис о том, что частица относится ко всему предложению, не исключает возможности для нее иметь свое инвариантное значение. Например, ср.: *И только / гулять туда он больше не ходил; И даже / гулять туда он больше не ходил; И ведь / гулять он больше не ходил*. Вокруг каждого из этих высказываний можно предположительно воссоздать совершенно различное контекстное окружение, которое и будет определяться различием семантики частиц. Во-вторых, неясным остается, на современном этапе, что такое контекст — в применении к употреблению частиц. Например, это может быть простая лексическая замена формы глагола-сказуемого: *Так и рвется к вам* (высшая интенсивность действия), *Так и уехал к вам* (т. е., очевидно, не сделав чего-то), *Так и поступил* (т. е. здесь, очевидно, не частица *Так и...*, а *так + и*, т. е. 'именно так'). Это может быть интонационное членение: *Только / отцу этого не говорите* — *Только отцу этого не говорите*; это может быть интонационное выделение: *Вот домик Петра Первого* (описательная демонстрация) — *Вот домик Петра Первого* (о нем говорили).

Более точно было бы говорить здесь не об определенности имени, а об его предупомянутасти. Обе эти категории часто принимаются лингвистами за единую. Предупомянутое может остаться неопределенным. Например: *Дайте мне какую-нибудь ручку!* — *Вот и ручка для Вас*. Ручка не приобретает статус определенной дескрипции (см. об этом важном разграничении: Блажев 1973); *Еще он тогда захворал!* (напоминание) — *Еще он тогда захворал* (были другие неприятные события). Существенным бывает и общая протяженность высказывания и отсутствие/наличие в нем сказуемого, ср.: *Где уж нам!* и *Где уж нам только достать бы эту лодку?*; *А еще мужчина!* и *А еще мужчина к нам, помните, тогда приходил* и т. д. В связи с этим, не отрицая положения о размытости семантики частиц и о реализации смысла частицы в высказывании, можно несколько перевернуть указанный тезис как бы «лицом к частицам» и считать, что с каждой частицей можно сопоставить заданный и перечислимый набор сем (который, как уже говорилось выше, может в принципе пересекаться для отдельных частиц), при этом каждая из сем корреспондирует определенному контексту. Это следует и из того, что далеко не все контексты, даже для очень близких по семантике частиц, взаимно заменимы.

Так, например, интересна ситуация в русском языке с частицами *вот*, *это*, *и*. Они могут выполнять связочную функцию: *Государство — это я; Уче-*

ность — вот чума; *Вот и мальчик*. Об этой связочной функции подобных частиц писал еще В. В. Виноградов (Виноградов 1972; 529), присоединяя к ним и слово-связку *как*. Существенно при этом примечательное наблюдение, сделанное В. Биркенмайером для русского *и*: оно не только выполняет связочную функцию, но и является оператором определенности, снимая неопределенность имени, характерную для позиции конца русского высказывания: *Вот мальчик* (опред./неопред.?) и *Вот и мальчик*.

2. Парадоксы изучения и описания

Все собранное выше представляет собой набор самых общих и почти недискуссионных положений об изучении частиц и их лингвистическом статусе.

Между тем существует набор одноаспектных фактов, или лингвотеоретических положений, каждый из которых считается утвердившимся в языковедении, но, собранные попарно, они производят впечатление странного противоречия. Противоречия эти могут объясняться четырьмя причинами: 1) противоречивой сущностью самого объекта изучения (частиц); 2) принципиальной гетерофункциональностью этого класса на уровне синхронии; 3) гетерофункциональностью этого класса на уровне диахронии; 4) различием лингвистических школ (и традиций) по отношению к «старому» и «новому» материалу, т. е. некоторым теоретическим диссонансам сравнительно-исторического и синхронного языкознания. Как будет видно ниже, большая часть парадоксов относится к принципиальным вопросам теории языковой эволюции.

Парадокс первый

Значение частиц определяется контекстом. И в то же время существуют целые предложения, составленные из одних частиц. И они вполне понятны, причем понятны даже без контекста. Например, легко представить себе контекст вокруг фраз, состоящих из частиц вроде *Вот ведь!*; *Вот то-то же!*; *Aber doch!*; *Nur aber doch denn mal!*; *Ну вот ведь как!* и даже незаконченных формально *Ну и? И то...* и т. д. Они могут быть вопросом, могут быть ответом на вопрос, могут даже, комбинируясь, составлять часть диалога: А. *Ну вот. Вот так-то.* — Б. *И то...* Вместе с тем тезис о влиянии контекста остается неоспоримым. Легкий формально, но не объясняющий сути выход может быть найден в конструировании особого «нулевого» контекста и интерпретации поведения частиц в таком контексте.

Парадокс второй

Частицы несут на себе весь максимум коммуникативного (в отличие от номинативного) пласта высказывания. Они передают отношение к ситуации, отношение элементов текста друг к другу, отношения говорящих и отношение

говорящего к той системе «общего фонда знаний», которая объединяет адресанта и адресата (адресатов). Таким образом, это слова максимально ответственные за удачу (*happy conditions*) общения. И при этом именно эти слова, или словечки, обладают, как говорилось выше, столь же максимально «размытой семантикой», значениями неясными и неопределенными и, как указывалось, практически непереводаемыми. Так, Хейнрихс пишет об абсолютно неоднозначных переводах и функциях таких близких генетически слов, как *denn* и *then* (Heinrichs 1981; 68); более того, оказывается, что наиболее употребительные частицы варьируются от деревни к деревне в пределах одного говора (Евтухин 1979; 201). И дело при этом не только в том, что частицы не уместаются в традиционную схему школьного разбора, грамматики непосредственных составляющих или генеративной теории: они суперсегментны по своей сути и описать их еще сложнее, чем интонацию или порядок слов, поскольку последние хотя бы в той или иной степени поддаются переводу представленных данных на язык научной абстракции.

Парадокс третий

Частицы признаются продуктом более раннего употребления, разговорной речи, диалектной характеристикой. По мере развития и совершенствования национального языка (развития его литературного варианта) число употребляемых в нем частиц обязательно падает: новый синтаксис не нуждается в напоминании об уже сказанном.

О специфике древнерусского синтаксического строя, «выражающейся в постоянных повторениях говорящим сказанного ранее, для более точной передачи содержания мысли», пишет И. А. Элсберг (Элсберг 1967; 13). Так, в старохеттских текстах отмечается гораздо большее количество частиц, убывающих количественно в текстах нового царства (Josephson 1972; 20). Т. Я. Елизаренкова подробно анализирует разветвленную и богатую систему частиц в ведийских текстах и их уменьшение в санскрите (Елизаренкова 1982). (Об уменьшении числа частиц в позднем санскрите см. также: Барроу 1976; 266.) Принадлежность частиц разговорной речи, употребление их в комедийных, а не в трагедийных текстах классического греческого описывает Деннистон (Denniston 1954; XXV); об уменьшении числа частиц, точнее, об их синонимическом совпадении в позднелатинском языке пишет К. Фишер (см. относительно *que* в его работе: Fischer 1981; 156). Предлагаются и интерпретации этого явления. Например, И. Бломквист связывает уменьшение числа эмфатических частиц в поздней эллинистической прозе в сфере неэмоционального языка с меной акцентно-просодической системы греческого языка: переходом от частотного параметра в ударении (*pitch*) к ударению экспираторному (*stress*) (Blomkvist 1969; 145). Это объяснение соотносится с предложенным в наших книгах членением языков на две полярные группы, где сила фразовой интонации и обилие частиц в языковом употреблении как бы обратно пропорциональны друг другу (Нико-

лаева 1977; 1982). И. Добрев связывает убывание частицы *же* в славянских текстах с развитием категориального значения анафоричности у вопросительных местоимений, тем самым *иже* < *и* + *же* стало заменяться на *кѣто* в значении 'тот, который' (Добрев 1962; 112). И параллельно с этим мы находим широко распространенный тезис о стремительном развитии частиц как позднего класса, о позднем развитии в языке категории коммуникативной модальности (для русского языка, например, В. В. Виноградов отмечает этот процесс начиная с XVIII в. (Виноградов 1972; 569). Или, например, такой тезис: «Частицы, как известно, по своему образованию — более позднее явление в языке сравнительно с другими частями речи. Они сформировались из других частей речи, как знаменательных, так и служебных» (Знаменская 1967а; 82).

АГ-80 приводит множество примеров формирования частиц из других частей речи в русском языке. Просто стремительный процесс образования частиц демонстрирует К. Е. Майтинская. Например, частица 'только' возникает из слова со значением 'лысый, голый': *куш* в коми, венг. *csupán*; 'пустой', 'степь'; венг. *pusztán*; от слов со значением 'с трудом': фин. *vain*, кар. *vain, vai, va*, вод. *vaitas, vai, va*, эст. *vaid(e)*; от слов со значением 'беда' 'мýка': селькуп. *kenkysa* и т. д. (Майтинская 1982; 124).

Итак, по мере развития языка частиц становится больше или меньше?

Парадокс четвертый

Четвертый парадокс относится к славянским данным. Вербовка частиц из самых разных частей речи, появление новых членов, как кратких, но отдельных единиц вроде *было, просто, пусть*, так и единиц уже увеличивающейся протяженности вроде *и вот так и, бы то ни было*, все равно не препятствует сохранению некоторого ядра общего для славянского мира числа коммуникативных словечек, которые не исчезают, не вливаются в состав словоформ. Это ядро, например, легко выделить в Этимологическом словаре русского языка Фасмера. См.: *а, абы, али, або, альб, аж, ажно, ан, ась, ать, ахти, аче, аще, бо, вон, вот, да, даже, де, э, эва, еле, еще, же, и, -ка, ко, ли, либо, на, нет, неужели, нука, ну! нуже, один, оже, осе, авось, паче, се, так, -тко, то уже, це, ци, чи, эва, это* (отмечены элементы современного литературного языка) — все эти частицы находят соответствия в других славянских языках. За некоторыми небольшими исключениями (*бы* — форма аориста от *быть*, *ведь* от *вѣдать*, *лишь* от *лихой*) отличие ядра частиц и поздних частиц, восходящих к знаменательным словам, отчетливо ощущается не только языковедами, но и всеми говорящими по-русски.

Парадокс пятый

Пятый парадокс связан с формой этого ядра. Несмотря на свободную «вербовку» частиц из других частей речи и на ответственное разнообразие фонетического состава, это архаическое ядро сохраняет довольно прозрачную по своим законам фонетику, которая отличается от фонетики языков других групп

(например, фонетика финно-угорских частиц, по данным книги К. Е. Майтинской, совсем иная) и от фонетики других классов слов той же группы языков, даже служебных слов. И здесь, несколько забегаая вперед, можно сказать, что если выше мы говорили о разнообразных функциональных и формальных смежных сферах для частиц, то, как оказывается по многим параметрам, антиподом частиц и по формально-фонетической структуре является предлог.

Фонетика архаического ядра легко описывается через набор первичных единиц и правила грамматики их порядка. Это набор вокальных частиц *a, i, u, e* (*o*), каждая из которых употребляется (или употреблялась) в виде самостоятельной единицы, и набор сочетаний *CV*, где *C* может быть *j, n, l, m, b, t* (*d*), *g* (*ž, z*), *k*, (*č, c*).

Более подробно эта партикуловая фонетика будет описываться далее, сейчас необходимо отметить, что она не знает *r* (в резкой противопоставленности предлогам), не терпит для общеславянского ядра никаких консонантных сочетаний и отчетливо поддерживает открытость слога. Таким образом, этот простой в своей исходной части «конструктор» порождает значительное число частиц, союзов, местоимений и местоименных наречий — *или < u + ли; либо < ли + бо; ибо < u + бо; иже < u + же; даже < да + же; едва < ед + ва; единь < ед + u + нь; елико < e + ли + ко; только < то + ли + ко; коли < кь + ли; кьто < кь + то; нежелу < не + же + ли; никто < ни + кь + то; осе < e + се; здесь < сь + де + сь; такь < та + кь; эва < э + ва* и т. д. На основе этих партикул современные частицы, т. е. неизменяемые слова, соотносятся с изменяемыми словами, но сходного коммуникативного генезиса — *некий, один, чей, этот, эдакий, экий, оный, сей* и т. п.

Таким образом, по правилам пересчета можно говорить (для языков, связанных и неблизким родством) о трех совпадениях в порожденных цепочках: 1) совпадает цепочка и функционально, и генетически — ср. лит. *dargi* ‘даже’ = *dar* (*да*) + *gi* (*же*); 2) совпадение функциональное, но не генетическое — ср. ведийское *сапа* — ‘даже’ после отрицания = ‘и не’ (*И не думайте!*), хотя *са* ≠ *и*; 3) совпадение генетическое по частям, но не функциональное: лит. *ĩrgi* ‘тоже’ из *ĩr* (*и*) + *gi* (*же*), т. е. *иже*; лит. *ogi* соответственно *a* + *же*, но значит ‘ведь, а, вот’; лит. *argi* соответственно *ли же* или *или же*, но значит ‘разве’.

Для более отдаленных групп это фонетическое ядро остается на консонантном уровне. Так, К. Е. Майтинская говорит о первичности трех рядов коммуникативных единиц: отрицательных, усилительных и вопросительных. Фонетически это *n*-овые компоненты: указательные отрицательные и чисто указательные; *t*-овые: указательные; *k*-овые: дейктические вопросительные.

В. М. Иллич-Свитыч также описывает партикулярный фонетический набор близко к тому, что указывалось выше для славянских языков. При этом некоторые частицы, например *-ка* после императива (*дай-ка*), возводятся им к периоду ностратического единства (Иллич-Свитыч 1976; 207). Более активными в его фонетическом ядре являются лишь *m*-овые компоненты, которые в славян-

ских языках перешли в позицию конца (см.: Et. slovník, 1973, koncové partikule; 1980, где видна вторичность многих образований с начальным *m-*).

Парадокс шестой

Последний парадокс относится к самым серьезным проблемам общей теории языковой эволюции. А именно: частицы в своем наиболее архаичном ядре «конструктора» первичны или вторичны?

С одной стороны, существует отчетливая теория, по которой архаическое ядро частиц восходит к тому периоду развития языка, когда сложившихся частей речи, морфологии в современном смысле слова, еще не существовало и частицы-партикулы могли быть и междометиями, и собственно частицами, и местоимениями. См. о ведийском у Т. Я. Елизаренковой: специальных союзов в языке еще нет и их функции осуществляют частицы, местоименные формы и наречия, между которыми нельзя провести твердой грани (Елизаренкова 1982). К. Е. Майтинская пишет также, что наиболее древние частицы образовались на материале звуковых комплексов междометийного характера или на материале местоимений (Майтинская 1982; 152), что общность указательных частиц с указательными словами объясняется «первоначальной недифференцированностью дейктических слов — они были местоимениями, местоименными наречиями и указательными частицами» (там же; 124). Таким образом, «эта общность указательных местоимений и указательных частиц отражает то древнейшее состояние дейктических слов, когда указательные местоимения и указательные частицы еще не были разделены, т. е. одна и та же единица совмещала в себе обе функции» (там же; 146). Этой кажущейся логичной идее первичной функциональной диффузности коммуникативных компонентов высказывания противоречат уверенные утверждения ряда этимологических словарей о том, что многие частицы самого первичного состава восходят к застывшим падежным формам *i*-*e*. местоимений. Например, *da* < **i*-*e*. указ. мест. **do* (*to*), *e* < *указ. мест. *e*; *i* < **ei* локатив от указ. местоимения *e*.

Таким образом, принимаемая лингвистическая теория и принимаемая в соответствии с ней идея эволюции языка описывается через разницу двух глаголов, за каждым из которых стоит серьезное лингвистическое *credo*: восходит или соотносится?

3. Проблемы описания

При описании и представлении функциональных характеристик частиц с необходимостью вставали серьезные проблемы анализа материала и подхода к нему, которые или приходилось решать со всей неизбежностью (вполне возможно, что неудачно), или оставлять нерешенными, или, во всяком случае, не принимать какого бы то ни было обязывающего решения.

Первая проблема — это проблема синтагматической протяженности частицы, т. е. проблема отличия составной частицы от соположения частиц как случайного, так и вероятностного. Существует критерий, по которому единой частицей считается частица хотя бы и составная, но имеющая иное, особое, значение, не вытекающее из значения ее составных частей, отдельно располагающихся. Этот критерий, например, удачно работает для частицы вроде *даже*, ср.: *!Я! даже боюсь его!* и *Да боюсь же его!* или *Да иди же быстрее!* и *Даже идет он быстрее, чем ты!* Но некоторые частицы, в частности и приводимые в списках АГ-80, отнюдь не поддаются этому критерию. Например, *только бы*: *Только не опоздать бы!*; *лишь бы*: *Лишь бы дождя не было!* Здесь вполне допустимы смысловые разложения: *Только не опоздать!* + *Не опоздать бы!* = *Только не опоздать бы!* Или: *Дождя бы не было!* + *Лишь дождя не надо* = *Лишь бы дождя не было* и т. д. Точно так же вызывают размышления в этом же разделе примеры вроде *Вот это так распоряжения*, приведенные на *Вот так* (почему здесь не *Вот это так?*) и т. д.

Наиболее сложными являются определения статуса комплексов с *и*, которые столь же частотны, как древнегреческие конструкции с *χαί*, чего и следовало ожидать; судя по подсчетам Е. Дограмаджиевой, всего из 1925 случаев употребления *χαί* в греческих евангельских текстах в 1705 случаях ему соответствует ст.-сл. *И* (Дограмаджиева 1968; 88). Это конструкции вроде *Вот и*: *Вот и папа пришел* <!/Вот папа пришел + И папа пришел!/?; *Еще и обижает* <!/Еще обижает + И обижает!/? Подобные сочетания рассматриваются далее.

Необходимо при сопоставительном изучении учитывать и роль графики при определении состава частиц, точнее, графической традиции. В русском языке она наиболее, по сравнению с другими славянскими языками, стремится к графической раздельности частей: ср. польск. *zkaǳe, tenże, tamże*, луж. *kotryż, čejž*, чешск. *když*, слов. *kdeže*, чешск. *ato, atož*, укр., бел. *ану* и т. д.

В настоящей работе проблема классификационного рабочего критерия в этом плане не решается: привлекается материал ядра бесспорных по статусу частиц.

Вторая проблема — это проблема парадигматического характера, т. е. проблема выработки критериев отличия частиц от наречий, местоимений и прежде всего от союзов. Как указывалось выше, проблема шкалярности грамматического функционирования частиц входит в число общепризнанных положений. Особенно отчетливо эту промежуточность класса частиц сформулировал еще в эпоху общетаксономических иллюзий Л. В. Щерба: «Всегда остается какое-то количество слов, которое никуда не подходит. Их относят либо к наречиям, либо к частицам, являющимся своего рода складочными местами, куда сваливают вперемешку все лишнее, что никуда не подходит...» (Щерба 1958; 24), «Нечего опасаться, что некоторые слова никуда не подойдут, — значит, они действительно не подводятся нами ни под какую категорию. Таковы, например, вводные слова, которые едва ли составляют какую-либо ясную кате-

горию... Разные усилительные слова вроде *даже*, *ведь* и (= 'даже'), слова отчасти союзного характера вроде *итак*, *значит* и т. п. тоже никуда не подводятся нами и остаются в стороне» (Щерба 1974; 81).

Третья проблема связана с вопросом о соединении традиций в описании частиц и соблюдении общих принципов за счет некоторого теоретического компромисса. Речь идет о следующих вещах. К частицам относят и комплексные по семантике коммуникативные словечки, и неизменяемые полуформанты *-то*, *-либо*, *-нибудь* и т. д. Как указывалось выше, материал с подобными частицами является одним из основных источников в настоящем исследовании. Между тем указанные частицы-форманты образуют изменяемые неопределенные местоимения, которые определяют имена, входя, таким образом, в состав приименных словосочетаний: *некое лицо*, *какой-нибудь подарок*, *некоторые люди*, *какие-то минуты* и т. д. Таким образом, неизменяемые компоненты высказывания, не входящие в дерево предложения, вроде *вот*, *только*, *еще*, *даже* измеряются теми же мерками, что и изменяемые и входящие в состав грамматической схемы элементы. Как мы постараемся показать далее, зоной объединения и сопоставления этих феноменов являются такие категории, как событие, передаваемое в его глобальности/неглобальности, факторы пресуппозитивного характера и грамматический состав высказываний. Однако в этом плане необходимо было бы для полноты выводов привлечь и изменяемые местоимения *этот*, *тот*, *такой*, и их славянские эквиваленты, состоящие генетически из тех же компонентов «конструктора», что и неизменяемые частицы: *такой* < *та* + *къ* + *јь*; *тотъ* < *то* + *тъ*; *этойъ* < *э* + *то* + *тъ* и т. д.

Четвертая проблема — это проблема позиции, занятой по поводу наличия у частицы собственного инвариантного значения. Как указывалось выше, многие исследователи отрицают наличие у частиц собственного лексического значения, справедливо указывая на их определяемость контекстом, структурой высказывания — во-первых, и на их широкую синонимичность — во-вторых. Однако внимательный анализ функциональной семантики каждой частицы показывает, что у любой частицы есть свое значение. С некоторой натяжкой, как всегда в лексикографической практике, это значение можно сформулировать в общем виде. Это инвариантное значение как бы пронизывает всю систему употребления слова с частицей, создавая сложную систему смысловых переходов — постепенных, с градуально меняющейся семантикой. Поэтому *какой-то* во фразах: *По-Вашему, Рудин Тартюф какой-то?* и *В обществе она рассеянна и ленива, это придает какую-то заманчивость ее словам* или *Опять ты видишь какой-то свет!* — *Не какой-то, а настоящий свет* — одно слово с общим значением.

Об инвариантном значении частиц, формирующих неопределенные местоимения, также писали достаточно много, более того, уловить это значение и было той задачей, которую ставили себе исследователи. Так, поиск инвариант-

ного значения с учетом всех функциональных ответвлений определил программу большой работы М. А. Шелякина (Шелякин 1978). Именно в силу инвариантности и синонимичности значения невозможны для частиц подстановки ни типа *На ней было/розовое/синее/коричневое* и т. д. *платье*, ни типа *На ней было/светло-синее/ярко-синее/синее/темно-синее/платье*. Высказывания *Я вижу кое-что*, *Я вижу что-то*, *Я вижу нечто* несводимы к подобного рода однородным или количественным заменам.

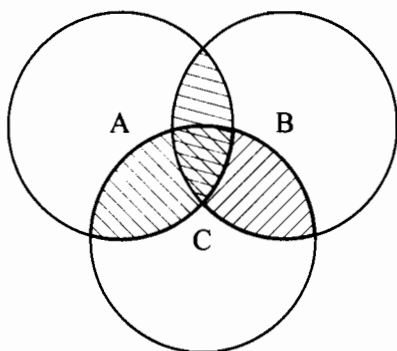
Но, приняв идею «особости» инвариантного значения каждой частицы и выражения ими же разной степени его как способа выражения отдельных пластов их семантики, мы сталкиваемся еще с одним явлением, как будто бы противоречащим вышесказанному. А именно: существуют контексты схемы, когда разные частицы имеют одно и то же значение. При этом различаются две ситуации. Если пытаться как-то передавать значение через перифразу, то этой перифразой может быть (на материале неопределенных местоимений): а) неопределенное местоимение из рассматриваемой совокупности, а некоторое слово иного набора, например: *любой, всякий, какой попало, нечто вроде X, как бы X* и т. д.; б) другое неопределенное местоимение из того же рассматриваемого набора, например: *какой-то — один, какой-нибудь — кто-нибудь* и т. д., перифраза: *нечто вроде, как бы*. См., например:

С каким-то неопределенным чувством глядел он на дома, стены, забор и улицы; Он встал и вышел к товарищу в каком-то раздумье; Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и все смеялся; Во мне есть какая-то глупая откровенность, какая-то болтливость; Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость; После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было; Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе; Все почувствовали некоторый трепет; Был он, как и прежде, уравновешен, медлителен, но уравновешенность стала иной, как бы от некоей внутренней строгости; Ему казалось, что в нем зарождается некое новое настроение, но он не мог понять, что именно ново.

Вторая перифрастическая возможность реализуется тогда, когда значение перифразируется через неопределенное же местоимение: *Люди несли жизнь, как долг, жили без радости, без надежд на нечто (что-то, что-нибудь) лучшее, светлое*.

Подобного рода взаимных пересечений много: от попарных до тройственных и более. Вторая из описанных ситуаций отличается от первой тем, что неопределенные местоимения здесь как бы сливают свою семантику, а не приобретают — все вместе — некое новое особое значение.

Изложенную идею можно представить в виде схемы, где А, В, С (фигуры выбраны условно) суть инвариантные значения частиц, заштрихованные же участки суть зоны смысловых совпадений; таким образом, говорить о полной нейтрализации нельзя, так как инвариантное значение при совпадениях не разрушается, а как бы отбрасывает свою тень на текст.



Например, в слове *один* (или польск. *rewien*), как показывает В. Биркенмайер, есть указание на будущее, чего нет в *какой-то*, хотя контексты их употреблений могут иногда совпадать (Birkenmaier 1976).

И вместе с тем, будучи упрощенной, приведенная схема не отражает внутренней структурированности каждого из инвариантных значений, хотя именно эта структурированность и является базой для пересечений межсловной семантики.

Пятая проблема связана с вопросом описания частиц. Как и через какие параметры может быть представлен результат их анализа? Естественно, что исследовательские пути при этом могут быть самыми различными.

Выходом из таксономического тупика, к которому привели все попытки найти строгие критерии отграничения частиц от других грамматических классов, в первую очередь оказалась идея пословного описания частиц. Например, именно такое описание считает оптимальным Е. А. Стародумова: «Достаточно полная и ясная картина функционирования частиц может быть представлена только на основе „пословного” их описания, исследования каждого слова — обязательно с учетом его парадигматических связей с другими, функционально подобными словами» (Стародумова 1974; 3). Многие кандидатские диссертации посвящены анализу отдельных частиц (Оскотская 1966; Иванова 1970; Булатникова 1973; Вязовик 1981 и др.).

Особенно это направление характерно для изучения семантики английских и немецких частиц, когда целые монографии посвящаются трем частицам (Altmann 1976), одной частице (Gornik-Gerhardt 1981), не говоря уже об обширных списках статей об одной частице. Частицы можно описывать и по рядам, которые обычно, хотя и в разном составе, приводятся в каждой грамматике. Так, В. В. Виноградов выделяет 8 рядов частиц (Виноградов 1972), в основном по двум разным критериям: по семантике самих частиц — количественные (*почти*, *приблизительно*, *ровно* и т. д.) и по типу связи с другими словами — присоединительные, модально-приглагольные, выделительные и т. д.; он же выделяет 12 рядов модальных слов и частиц, обе классификации пересекаются; АГ-80 по функциям выделяет 6 рядов частиц: 1) фор-

мообразующие; 2) отрицательные; 3) вопросительные; 4) характеризующие действие по протеканию во времени или результативности; 5) модальные; 6) утверждающие или отрицающие реплики (АГ-80; 725—731); известна классификация А. Мировича (Мирович 1962), относящаяся во многом к высказываниям или к словосочетаниям с частицами; собственно, семантически классификация Е. А. Стародумовой (Стародумова 1974), которая делит их на ограничительные, утверждающие, частицы крайности и действительные. В грамматиках, описывающих древние языки, число разрядов обычно меньше. См. три группы у Бломквиста: адверсативные, прогрессивные и добавляемые (Blomkvist 1969).

Вторым параметром является анализ той дополнительной семантической информации, которая сообщается частицей воспринимающему и на которую она, с другой стороны, опирается. Например: *Только старуха сидела молча* → а) В помещении были и другие существа; б) Эти существа не молчали. Или: *Уже в два года она говорила совершенно чисто* → В два года можно говорить и с дефектами речи; *Он даже вздохнуть не мог* → Не совершается естественный биологический минимум: вздохнуть как будто бы всегда можно и т. д. Эти явления в широком смысле называются пресуппозициями. Однако среди них различаются пресуппозиции экзистенциальные и прагматические, выделяются следствия (entailments) и импликатуры, конвенциональные и коммуникативные (conversational). Все эти категории связаны с частицами по-разному и по-разному с разными частицами. Более того, через них частицы связаны и с такими традиционными грамматическими категориями, как уступительность, обобщенность, анафора и т. д.

Следующим параметром является анализ связанности/несвязанности грамматического состава высказывания, в которое входит частица. Дело в том, что тезис о зависимости значения частицы от состава высказывания имеет разную силу и в зависимости от частиц, и в зависимости от их значений. Например, возможно: *Даже он получил подарок* и *Даже он получит подарок*. Но: **Я себе в Москве купила какую-нибудь блузку* (*купила* требует *какую-то*).

Ш е с т а я п р о б л е м а — проблема соотношения частиц с языковой типологией. Здесь также возможно двигаться по ветвящемуся пути, который в целом может быть представлен в виде некоторого древовидного графа, где левая часть отсекает различное, а правая часть объединяет языки по данному выбранному признаку.

Можно представить себе первый уровень типологического сопоставления как количественный. А именно: языки можно делить на языки, где частиц много, и на языки, где частиц мало. Так, Э. Косериу не только выделяет два частицеобильных языка: древнегреческий и немецкий (см. выше: Хейнрихс включает сюда и третий язык — русский), но и дает общую типологию строя этих языков. Так, он включает в их строй еще два обязательных компонента: широко представленные *composita* и богатую систему префиксации у глаголов

(Coseriu 1980). См. о специфике греческого в этом плане у Е. Курзовой (Курзова 1979). При общем среднем количестве частиц (вся славянская ветвь языков знает множество частиц) следующим уровнем будет уровень составления репертуара. Репертуар этот составляют и осмысленные, т. е. самостоятельно коммуникативно выступающие, компоненты и части частиц, т. е. партикулы. На этом уровне важно отделить частицы, известные только одному языку или даже только одному языку в его прошлом. Например, многие частицы, приводимые К. Чолаковой (Чолакова 1958), — *чак, холан, хем, зер, кешки, хич, шди* — являются словами-заимствованиями и не входят в общеславянский фонд. Далее, некоторые частицы характеризуют лишь один язык в определенную эпоху: *abrž* — старочешский; *ačak* — старословацкий; *ačet* — старорусский; *bociem* — старопольский; *dače* — старорусский; *ижно* — старорусский; *јасу* — старопольский; *јекудž* — старочешский; *lepak* — старопольский; *medle* — старочешский; *nali* — старочешский и т. д. На этом уровне определяется общий инвентарь и обнаруживаются некоторые доминанты для каждой группы славянских языков. Именно этим вопросом много занимался Я. Бауэр, выделявший, например, линию начального *бо* для западнославянских языков и нетипичность *бо* и союзов/частиц с *бо* для русского языка и т. д. (Bauer 1958). Характерные доминанты частицы-релятивизатора *X + же* или *X + то* приводит для славянских языков А. А. Зализняк (Зализняк 1981).

В рамках общего совпадения выделяется далее частица как целое и частица — комплекс частиц, еще не слившихся в единый компонент. Например, А. Лампрехт показывает процесс грамматикализации в чешском языке тех комплексов, которые в русском языке могут восприниматься как более свободное сочетание (Lamprecht et. al. 1977; 262—290).

Наконец, на следующем уровне определяются частицы, которые во всех исследуемых языках являются самостоятельными словами, и те частицы, которые сейчас можно назвать только партикулами (см. выше *-ва, -ча*), но которые в языках более древних были самостоятельными частицами.

Для основного ядра можно определить два последних уровня совпадений: а) совпадают примерно и функции, и фонетический состав; б) совпадают функции у частиц, этимологически различных. В качестве примера последнего случая можно привести чешские союзы *i, a*. Так, *a* имеет значение сочинительное (*a* в русском языке сопоставительно-противительное). Но чешское *i* по исследованию Х. Беличевой-Кржижковой (Běličová-Křížková 1978) имеет не только сочинительно-копулятивное значение, но и употребляется тогда, когда состав актантов полностью исчерпан и в принципе не имеет добавления, ср.: *Vrátili se Pepík, Franta a Tonik; Vrátili se Pepík, Franta i Tonik; Zdravi tě tatínek, maminka a babička*, ср.: *tatínek, maminka i babička* (там же; 83).

На этом уровне ему эквивалентно русское *да*, которое в большей степени, чем *и*, передает значение исчерпанности: *Иван да Марья*.

§ 9. Русские дейктические частицы, их функционирование в n-мерном пространстве.

Что является «ближним дейксисом» — *вот, вон* или *это*?

Публикуемый ниже текст исследования о трех основных дейктических частицах — *вот, вон, это*, так же как и предыдущий параграф, посвящен пересмотру, казалось бы, незыблемых позиций грамматики: о распределении «ближнего» и «дальнего» дейксисов. Оказывается, что проблема требует более внимательного подхода. Важным является целый ряд признаков, по которым и идет квалификационное «ветвление»: наличие/отсутствие глагольного сказуемого, временная форма этого сказуемого, акцентированность/неакцентированность частицы в безглагольном высказывании, родо-видовые отношения в функции связи и т. д.

Подчеркнем, что сама коммуникативная функция частиц — быть коннекторами — говорит о том, что высказывания с включенными в них частицами принципиально не могут передавать изолированное событие «без комментариев». Если по отношению к таким частицам, как *-то* (*Он-то придет!*), *же, даже* и др., эту концепцию, как представляется, можно принять без обсуждений, то более проблематичным остается вопрос о возможности/невозможности прямого введения ситуации изолированной и/или глобальной в коммуникативную среду.

Представляется, что для частиц необходимо различать степени дейктических возможностей.

Непосредственное введение ситуации как таковой в коммуникативную среду, без текстовых переключек и конситуационных аллюзий, и было бы тем, что можно назвать дейктической актуализацией ситуации. Частицами-претендентами на роль дейктических актуализаторов могут, очевидно, выступать три частицы: *вот, вон, это*. В каждой из них прослеживается рефлекс указательного местоимения — *тѣ, онѣ* (см. более раннее *се* — *Се ветри, Стрибожи внуци, веють съ моря стрелами на храбрыя плѣкы Игоревы: се* связано с указательным местоимением *съ*, о его судьбе подробно см.: Элсберг 1967). Анализ дейктических значений этих частиц и выявление иерархии их коммуникативных значений в рамках этой содержательной категории позволит сделать выводы о типах дейктического введения ситуации в целом.

Оказывается, что принципиально существенным является наличие в данном высказывании глагольного сказуемого или его отсутствие; при отсутствии глагольного сказуемого ситуация, как будет видно далее, предстает более глобализованной.

1. Разберем примеры с акциональным глагольным сказуемым в презентной форме.

Вон тучи собираются. }
Вот тучи собираются. } *Домой пора.*
Это тучи собираются. }

По нашему мнению, наибольшая непосредственность дейксиса выражена в примере с *вон*. В *вот* присутствует не только дейктический, но и анафорико-катафорический компонент: *Что же Вы домой спешите? — Вот тучи собираются* или — *Видимо, пора уходить. Вот тучи собираются* и т. д.; см. аналогичное замечание у Т. П. Вязовик о совмещении нескольких функций у конструкций с *вот*, а не только о наличии чистой указательности (Вязовик 1981; 6—7). *Вот*-конструкции оказываются обычно, по мнению Т. П. Вязовик, «гибкими и полифункциональными». Об анафорической отнесенности *это* с предшествующей ситуацией, обычно глобальной, уже говорилось. Напомним, доказательством этого служили четыре аргумента: 1) конечность позиции antecedента для *это* — если он есть, т. е. построение предложения по законам словопорядка в описательной глобальной ситуации с новым компонентом в конце; 2) возможность введения референтного неопределенного показателя даже при имени собственном — *Сегодня нам лекцию читал /некто/ Сергеев. Это...*; 3) несочетаемость реальной *это*-конструкции с нереперентностью предшествующего имени — *Мне нужны какие-нибудь туфли. *Это хорошие туфли*; т. е. предшествующая ситуация должна быть реальной; 4) она не должна иметь негированный antecedent — т. е. быть + TOT + LIMIT+ EXIST. Таким образом, у *это* анафорический момент бесспорен: *Что это? — Это тучи собираются. Домой пора.*

Намечается для ситуации презенса иерархия: *вон* → *вот* → *это*.

Несомненно, что *это* в разбираемых ниже конструкциях изофункционально *вот* и *вон*. Статус частиц для последних в современной русистике не отрицается. Поэтому нет оснований для *это* в подобных высказываниях утверждать статус местоимения. Все три частицы могут быть ударными и безударными, поэтому критерий ударности/безударности не оказывается здесь рабочим; справедливо, однако, и положение о комплексной функциональной семантике лексемы, поэтому диапазон функций *это* неизмеримо больше, чем, например, у *вон*.

В применении к пласту прошлого о дейксисе в максимальной степени, очевидно, можно говорить о сочетаниях частиц с Praesens historicum. Обычно при этом появляется дополнительное значение, которое можно назвать «дейксисом издалека».

1) Считаем его значением № 1: *Вот вижу Ваше лицо, улыбающиеся глаза, как я рассказываю Вам много, много; На пир любви душой стремлюсь я. Вот вижу вас, вот милых обнимаю; Разговор с Легостаевым надолго запомнился мне. Вот сидит передо мной — решительное и спокойное лицо, коротко стриженная голова; Вот раздается «ау!» вдалеке, вот над колосьями в синем венке*

черная быстро мелькнула головка. Здесь, в этих примерах, возможна замена *вот* на *вон*.

Это в дейксисе издалека обязательно требует анафорического пространства, необходимого и для обобщенных высказываний (*Что у нас ладу нет в семье, / это /я чувствую, и тяжело мне!; /Должно быть, везде и на всех попрощах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью!.* Это /так нужно!). См.: *Вы думаете — это бредит малярия? Это было, было в Одессе.* Пространство текста здесь заполнено: *Вы думаете.* В том случае, если это пространство заполнено и для *вот*-конструкций, *вот* можно заменить на *это*: *Из каждого дома, из-за опущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина поет скрипка.*

Таким образом, для значения № 1 *вон* = *вот* без условий интродуктивного фрагмента, *вот* = *это* с интродуктивным фрагментом.

2) Второе значение — начало некоторого эпизода, нарративной ситуации, текстовая интродуктивность. *Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана; Вот едет могучий Олег со двора; Боярыня Мамелфа сегодня вот мне говорит про Глеба.* В данных примерах *вот* невозможно заменить на *вон*: возникает значение непосредственного дейксиса — *Вон мчится тройка почтовая; Вон едет могучий Олег со двора*, что подтверждает гипотезу о первичности именно *вон* в функции непосредственно дейктической актуализации ситуации. Это в подобном значении как бы ищет выхода из требований интродуктивного текстового прикрытия. Этим минимальным выходом может быть инициальное введение *verba sentiendi* — *И я увидел: это идет ко мне знакомый*, а чаще всего — сдвиг *это* не в начальную позицию, как бы псевдоприкрытие — *Иду это я по улице, как шархнет мимо рысак...; Она это руку подставляет, а слезы кап-кап...* (по наблюдению Н. Ю. Шведовой, это в подобной позиции часто произносится как *эт-та*; Шведова 1960).

Для значения № 2 возможны *вот* и *это*.

3) Значение 3 — значение результативности, законченности фрагмента, переход к новому, т. е. значение рубежа, вообще характерное для *Praesens historicum*: *Вот кибитка подъезжает; Люди долго и упорно идут по горам. Вот они достигли перевала.* Здесь невозможна замена на *это*, т. к. *это* поясняет, но не результирует, невозможна замена на *вон* — возникает значение «дейксиса издалека».

Таким образом, 3-е значение *Praesens historicum* с указательной частицей допускает только *вот*.

При переходе к прошедшему времени в актуализируемом высказывании с частицей дейктичность ослабляется и для *вон*. Чистая иллюстративность, наглядность, свойственная *вон*, переходит в наглядность примера, поскольку всякий пример по сути иллюстративен: *Чувствуем по-другому. Я вон мужа в четырнадцатом году провожала. Слезами изошлась; Наши из молодых да ран-*

них были — мой вон техникой увлекался (это значение примера есть и в настоящем времени: *Знаете, я не умею сердиться. Ничего не выходит. Вон с рабочими начну кричать, даже ногами топая, а выходит смешно* и т. д.). С иллюстративной показательностью примера связаны содержательно два контактных смысловых явления — итеративности: *Разглядишь какую-нибудь птицу в синем прозрачном воздухе и долго будешь следить за ее полетом, вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой* (в этом случае дейктичность издалека также присутствует и *вон* может заменить *вон*), и обобщения: *А старуха грызла меня: книжник! Книжники вон распутству учат* (замена на *вон* меняет нагрузку примера, делает более конкретным, но без значения непосредственного дейксиса).

Таким образом, создается впечатление, что в высказываниях с активным сказуемым сама дальность дейктического значения, характерная для *n*-овых форм, как бы сберегает дейктическое значение *вон*, тогда как более «ближние» *t*-овые формы (*это* и *вот*) более активно подвергаются текстовым коннотациям. В ситуации «дейксиса издалека» в прошлом *вон* сближается с *вот* (см. об этом: Маслова 1977). Однако в русском языке, как представляется, их объединение не заходит настолько далеко, чтобы можно было говорить об объединенной единице, какова, например, артефактивная английская единица ‘*dthat*’ (Kaplan 1979).

2. В актуализируемых ситуациях второй группы, воплощаемых высказываниями с *вон*, *вот*, *это* без глагольного сказуемого, мы имеем все три частицы (о предикативном характере русского *вот* см.: Блажев 1980).

<i>Вот</i> <i>Вон</i> <i>Это</i>	}	<i>стерляди кусочек.</i>
--	---	--------------------------

Существенным для всех трех частиц является при этом акцентированность/неакцентированность частицы. При ее акцентировании вводится категория предупоминания — *Вот стерляди кусочек; Вон стерляди кусочек; Это стерляди кусочек*, и тем самым проблема непосредственного дейксиса снимается. При неакцентированной частице и неакцентированном имени, т. е. при обычной нейтральной интонации, дейктическое значение присутствует. Однако оказывается, что существенным является сдвиг в иерархии: с одной стороны, на первый план выходит *это*, затем *вот*, затем *вон*; с другой стороны, безразличной оказывается категориально-лексическая принадлежность имен, связанных с частицей. Для *это* существенна степень индивидуализации имени. Максимально индивидуализированы местоимения и имена собственные: *Это я, Это он, Это Петр* есть целостные высказывания и целостные ситуации, имплицитующие бытийную связку *есть*. Наиболее распространена конструкция *Это я*. И здесь, несколько отвлекаясь в сторону, правомерно сказать об отли-

чии именно русского этикетного поведения в инициальной телефонной фразе, отделяющей русский этикет не только от славянского, но и шире — европейского употребления, когда говорят *здесь*: *Здесь Милка*; *Здесь Эльжбета*; *Здесь Кристиан Сапнок* и т. д. По этому поводу предлагается тезис о том, что русское *здесь* не предполагает включенность говорящего в локализацию, т. е. это поле «чужого», а не «своего»: *Здесь построили школу*; *Здесь растут грибы*; *Здесь хорошо* — все это имеет место помимо говорящего (*Я здесь живу*; *Я купил здесь книгу*, по нашему мнению, свидетельствует о локализованности, а не об активной ангажированности). Поэтому интродуктивное *Здесь Ирена* воспринимается как сообщение о третьем лице.

Итак, *Это я*, *Это Сережа* — самодостаточные ситуации. Но *Это кошка*, *Это птица* уже имплицитно некое предварительно воспринятое действие: *Это птица /кричит/*, *Это кошка /шуршала/* и т. д., т. е. содержат элемент пояснения. Элемент и дейксиса, и пояснения отчетлив при соединении с именами неодушевленными, хотя здесь действие не примысливается: *Это брюква*, *Это валерьянка*, *Это мое новое платье* и т. д. См. очень тонкий пример И. С. Тургенева, вообще часто использующего как бы игру с кодом: *А вот это моя контора*, — *сказал мне вдруг 2-й Полутыкин* (т. е. «внезапное» употребление *это* с неодушевленным именем нетипично для ситуации *In medias res*).

Вот в подобных ситуациях действует по противоположной схеме. *Вот я*, *Вот Х*, *Вот Петр* (еще раз с акцентными ограничениями) — высказывания неполные, нереализующиеся, возможно *Вот и я*, *Вот и Петр*, но это не столько дейксис, сколько сильный результатив, ожидаемое событие. Особенно крайним является максимально индивидуализированное *Вот я*, поэтому интересна разговорная неcodифицированная форма *Я вот он*, на возможной двойкой трактовке которой мы остановимся ниже. Зато *Вот брюква*, *Вот мельница*, *Вот ручка* представляют собой полноценные дейктические ситуации. Они заменимы на *Вон*. Ср.: *Я недавно приехал в Коринф. Вот ступени, а вот колоннада* (*вот* → *вон*); *«Миша приказал долго жить, — отвечал Кирила Петрович, — умер славною смертью от руки неприятеля. Вон его победитель», — при этих словах он указал на Дефоржса* (*вон* → *вот*).

Таким образом, *вон* и *вот* ближе к нарицательному имени, неиндивидуализированному, а *это*, напротив, к индивидуализированному. Категории ближе/дальше как относительные необходимо выявить, поскольку всякое текстовое употребление не абсолютно и организовано по принципу поля. Кроме того, все время нужно помнить о дейктическом значении, обсуждаемом в данном разделе.

3. Третьей возможной сферой употребления частиц является значение связочное, как бы ушедшее от дейксиса и переходящее во вневременное существование. И здесь еще раз выявляется доминантность дейктической семьи именно у *вон*: оно связывается с ситуацией непосредственно — ср.: *Государство — это я*; *Ученость — вот чума*, но не: **Ученость вон чума*; **Государство вон я*. Это

объясняется и тем, что *вон* не нуждается в ситуационном и текстовом предва- рении и потому не привлекается для связочной функции. *Это* и *вот*, таким образом, являются связками (идея о глагольно-связочной функции француз- ских *voici, voilà* указывалась Гено, см.: Genaust 1975).

Однако контексты *это* и *вот* не совпадают. В связочной функции еще от- четливее проступает ось максимально-минимальной индивидуализации. Она значима для *вот*, но не для *это*. Ср.: *Любовь — это сон упоительный* и *Лю- бовь — вот сон упоительный*. Но невозможно: **Убийца вот Петров*. Но: *Пет- ров — вот убийца* (ср.: *Убийца — это Петров* и *Петров — это убийца*), по- скольку *вот* сопоставляет конкретное или видовое понятие с более обобщен- ным, родовым (*Убийцы — вот зло*), т. е. как бы поднимает на ступень по абстракции. *Это* более толерантно, оно требует другого: текстово-ситуацион- ного введения.

Возвращаясь снова к конструкции *Я вот он; Мы вот они*, можно предло- жить два толкования; 1) *Я /Вот он/*, где *я* приравнивается к ситуации *Вот он*, действительской, глобальной, и 2) *Я — вот — он* 'я есть он', поскольку *он* обоб- щеннее *я*, а *вот* требует обобщения. Оба объяснения не исключают друг друга: см. тенденции у *вот* при дейксисе безглагольной ситуации и реализации их в функции связки.

Сведёние всего сказанного о трех действительских частицах можно предста- вить в следующей табличной форме:

Тип высказывания		Допустимость частиц			Иерархия их веса
		Вот	Вон	Это	
Высказывания с глагольным сказуемым	Непосредствен- ное настоящее	+	+	+	Вон → Вот → Это
	Настоящее в прошедшем	+	+	+	Вот → Вон → Это 1) Вот = Вон; Вот = Это 2) Вот = Это 3) Вот
Высказывание без сказуемого		+	+	+	Это → Вот → Вон
Функция связки		+	-	+	Это → Вот

§ 10. Славянский партикулярный фонд.

Формульная структура. Славянские языки и формально-смысловая структура. Какая смысловая категория пласта партикулярных лексем является доминантной? Некоторые неславянские параллели

Этот параграф, достаточно протяженный и потребовавший для решения поставленных в нем проблем большого собранного материала (данные исключительно славянских языков с привлечением только отдельных неславянских параллелей), демонстрирует, как нам кажется, с достаточной наглядностью, не-одномерность существования одной и той же генетически единицы в континууме родственных языков. Как мы старались показать, частицы и синонимичны друг другу, и многозначны, они могут дублироваться и редуцироваться, создавая новые единицы языка. Синхрония здесь сосуществует с диахронией, таксономический статус в одном языке не совпадает со статусом той же единицы в других и так далее.

Более того, именно здесь мы предлагаем, как кажется, два важнейших результата для славянского партикулярного мира: **реконструкция в плане выражения и реконструкция в плане содержания.**

Реконструкция в плане выражения доводит весь партикулярный фонд до 13 единиц с опорной консонантной основой (в немецкой лингвистической традиции есть лучшее выражение — *Stammlaut*), каждая из этих единиц открывает путь к развитию той или иной семантической категории. См. об этом ниже.

Реконструкция в плане содержания приводит к мысли о том, что в основе этой, безусловно диффузной, первичной семантики лежала категория **определенности/неопределенности**, возможно не совсем соответствующая нашему ее пониманию.

Некоторые неславянские параллели, как индоевропейские, так и неиндоевропейские (ностратического плана) подводят нас также к очень важной проблеме, оставшейся практически нерешенной. Это проблема консервации и прохождения через века некоторого смыслового единства, которое сохраняется, меняя формальные «оболочки», но не выходя при этом за пределы все того же большого, но перечислимого партикулярного фонда. Например, диалектное *ажно* [даже] состоит из $a = da + ж = же + но = да$, то есть укрепляющее общее значение. Ведийское *сапа* [даже] связывается с *са* [и] + *па* [не, отрицательная частица]. Ср. русское — *И не думайте, и не говорите = даже*. См. далее в тексте примеры подобных комбинаций и рекомбинаций, когда из генетически тождественных компонентов складывается отличающаяся семантика и тождественная семантика возникает при сочетании нетождественных генетически компонентов.

Определено исследователями-этимологами, что в первом столбце мы имеем частицу *a/e/o* указательной семантики, во втором столбце — показатель 3 лица местоимения: *z/g/h*, связываемый с местоимением 3 лица единственного числа (см. *ego*), а в третьем столбце — или ноль, или данные индоевропейской реконструкции, здесь — санскрит — показатель *m*, несомненно говорящий о 1 лице единственного числа. Таким образом, мы обнаруживаем здесь столь гонимое учителями русское *Вот / он / я* (вариант — *Я / вот / он*). Итак, в партикулярном фонде выявляется перечень основных семантических позиций, легко меняющих свое формальное обличье, не выходящих при этом все же за пределы самого этого фонда.

1. Формульная структура славянского фонда партикул

Прежде чем предложить описание фонетического строя пласта партикулярных славянских лексем, необходимо выявить достаточно обстоятельно исходные теоретические позиции автора, во-первых, и напомнить о некоторых общепризнанных в отношении частиц положениях, перечислявшихся в § 6 Второй части.

Прежде всего необходимо вспомнить о таком известном свойстве, как стремление частиц вступать в комплексы, образуя новые частицы. Однако при этом возможно повторение того же близкого или идентичного звукового компонента — *Ну-ну; ей-ей, но-но-но!, вот-вот* и т. д. в современных языках или *кто + то → кто-то* для прошлого. Помимо прибавления того же или близкого формально компонента, в среде частиц (партикул) наблюдается тяготение к слиянию в комплекс близких по смыслу компонентов — *только лишь, лишь только, едва только, даже и, еще и* и т. д. Все это создает сложную плоскость континуума как в звуковом, так и в смысловом отношении. Создается не только благоприятная семантически, но и благоприятная фонетически почва для смешения частиц, их совпадения в обоих планах. На современном русском материале активность подобного смешения очень интересно показана Р. И. Аванесовым (Аванесов 1979): смешиваются конструкции с вопросительными местоимениями и *это*: *Что это он так грустен?* и конструкции с неопределенным местоимением *Что-то он грустен*, с промежуточным звеном: *Где-то он теперь?* Возникают ряды: *Кто это идет? — Ктой-то идет? — Ктой-то идет. — Кто-то идет*. Р. И. Аванесов приводит много примеров подобного типа из литературных источников — даже из письма Ф. М. Достоевского (*Чтой-то не выходят журналы?*).

Синхронное существование континуума звук-смысл, где сходство звука поддерживает сходство смысла и наоборот, совпадает в пласте частиц с сосуществованием разных диахронических явлений, как бы спроецированных на одну плоскость. Разумеется, это явление есть и в сфере других языковых феноме-

нов, но там, как представляется, более ясно разграничение современного и архаического пластов. Так, И. А. Киселев показывает родство *вот* и *это*: *вот* < *ото*; *о* < *и.-е. *е; *в* есть протеза, *т* — в обоих случаях местоименно-дейктический показатель (Киселев 1976; 47), однако для русского языка оба этих слова одинаково современны. То же явление описывается для болгарского языка И. Добревым (Добрев 1962; 115): наличие в болгарском *же* соотносится с этимологически родственным *-гъ-*, *-го-* в *негли* (русское *нежели*), *него*, *кого*, *когато*, *тогава*; а также с конечной частицей — *зи* (по второй палатализации) — *гози*, *тези*, *онзи*. Таким образом *-гъ-* } восходят к старой частице,

же

зи

родственной греч. γέ. Временное сосуществование создает еще одно измерение в континууме славянских частиц. В рамках одного языка эту континуальность представить трудно, только при сопоставлении общих славянских данных она проступает отчетливо.

Обратимся к шести общеславянским лексемам — частицам *i*, *a*, *no*, *da*, *ano*, *tak*. Первые четыре односложны, они и есть минимальные партикулы. Две вторых интересны из-за наложения *да* и *та* (по звуку-смыслу) и из-за того, что есть комбинация *a* + *no*. Для анализа материала привлекались данные Этимологического словаря славянских языков под ред. О. Н. Трубачева (ЭССЯ, т. 1—10) — для частиц *a*, *и*, *да*; Этимологический словарь славянских языков под ред. Б. Гавранка (Et. slovník 1980); Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (Фасмер 1964—1973).

Указанные частицы в целом передают следующие основные значения: 1) соединение — ‘и’; 2) противопоставление — ‘но’; 3) подтверждение — ‘да’; 4) указание на способ действия ‘так’. О более периферийных значениях будет сказано ниже.

Покажем, что каждая из этих частиц имеет все эти значения в рамках славянской общности.

А	-‘и’	—	Чешский, словацкий как известный факт. См. также У: <i>Стояв между двором а селом</i> ; Б: <i>Цимох а Хомка пойдучь на работу</i> ; Р _{ст} : <i>От рыдания а слез его скрачашеся глась его</i> ; Сл: <i>Tri a tri</i> ;
	‘но’-	—	У: <i>не до короля, а до народу</i> ; Б: <i>не ношчу, а на свитанни</i> ; Р: <i>не насильно, а добровольно</i> ; Ч _{ст} : <i>Svět nadrží boha, а bôh svět drží</i> ; Сл: <i>Ne pri nas, а pri vas</i> ; С-х: <i>Ja мислим, да је код киће, а оно го њема</i> ; М: <i>јас ај чакав, а таа не дојде</i> ; Б _г : <i>не живеем за да ядем, а ядем за да живеем</i> и т. д.
	‘да’-	—	Р: <i>Ты ведь это сделал, а?</i> ;
	‘так’	—	Сл: <i>Kaj mi praviš, kak si rekel, а?</i>

- ДА -'и' — С-с: **придѣта да видѣта**; Р: *Отец да матъ*; Б: *Знаецъ по то купец да мама*; У: *Був соби человек да жінка*; Бг: *Тоу е стар да не види.*
- 'но' — Р: *Хотел туда поехать, да не успел*; У: *Прийшов додому, да не застав работника*; Б: *Забелено, да ёсч невелено*; П: *Nie wieliczka to zbroja, da dobrejka*; С-х: *Не како ја хоћу, да како ти*;
- 'да' — Р: *Ты это сказал? Да*; Бг: *Съгласен ли си? Да*; М: *Может ли да дојдеш? Да*; Сл: *Kaj, vi vsi? Da, mi vsi*; Св_д: *Da veru doktor by sa zišiel do dediny.*
- 'так' — Р_{ст.}: *Аще хоцещи видѣти и да идеши нынѣ въ домъ*; Сл: *Jaz ti rečem, da ti piš*; С-х: *Да шта ћемо сад чинити?*; У: *Так той котик, як почув, да догнав лисичку*;
- И 'и' — Р_{ст.}: *Десятъ и пать лѣтъ*; Въстанъ и ходи; Б: *На дваре было сыра и холодна*; У: *Дала йому кари очи и чорныи брови*; П: *Walka na smierc i zycie*; Бг: *Надойдоха момци и девойки*; М: *Го знајдов и го доведов дома*; С-х: *Посвадише се сноха и заова*; Ч_{ст.}: *Sam i tam svet i toře; Potok i reka.*
- 'но' — С-с: **РОЖДЕНО ОТЬ ПЛѢТИ ПЛѢТЬ КЕСТЬ И РОЖДЕНО ОТЬ ДУХА ДУХЪ; РѢХЪ ВАМЪ ЮЖЕ И НЕ СЛЫШАЕ-ТЪ**; Бг: *Знаеш и не ма обаждаш*; С-х: *Лаћан бих и не напитасте ме*; Ч_{ст.}: *Hledati budeš miesta jeho, i nenalezneš.*
- 'да' — С-х: *И, какав си*; Ч: *i, at se to doví*; Св: *I, či ta nevidíte?*
- 'так' — Ч_{ст.}: *Tyš mój přítel zvlašćny; i budeš apoštol v nebi záćny*; П: *A wyszedłszy nie mógł mówić do nich, i wznali, iże widziennie widział*; Б: *Прийшоу дождж, и трава адразу зазеленела.*
- НО 'и' — С-х: *Пошто су се напојили вина, но да рече*; П: *Skoro już pragnie sie z tobą zobaczyć, no to może idź do niej.*
- 'но' — П: *Miał się habilitować, no ale jakoś mi się nie udało*; Сл: *Jaz sem hotel, no ti ne*; С-х: *Благо није ни сребро ни злато, но је благо, што је срцу драго*; Св: *Chcel vstať, no pristupil ten dlhý vígan.*
- 'да' — Ч: *Bylo by se vám stýskalo? No! To je horko!*; П: *Więc ty byłaś? No.*
- 'так' — С-х: *Но видиш, мой драги ...; А но кад је тако*; Ч: *Tam prý mají prase, no jedná radost.*
- АНО 'и' — Ч_{ст.}: *Když jeho žena jme tresktati, an še roshněvají z toho*; Р: *Musi się bielić, ano rozaeto się je i polewo wodom.*
- 'но' — Р_{ст.}: *На Кострому приехали, ано и тут протопона изгнали*; Р_д: *Поехал ан не успел*; Сл: *S teboj nič nitam, an s tvojim*

		<i>bratom; Б: Усего было много, ано прынуки не было; Ч_{ст.}: Rád by se byl nasytie mláta, ано jemu nedadiechu.</i>
‘так’	—	<i>Р_{ст.}: Не могли противу его отечати, ано исполнился, бяше очи слез; Ч_{ст.}: Zemi pod sebou necítili, аn tu hloubka byla přenesmírna; Бг: Зашто не го итеш? Ано не ми е прилика.</i>
ТАК ‘и’	—	<i>Р_{ст.}: И ѿловаль образъ святаыя Богородицы, ти тако изиде из цркве; С-х: ěим се испнете на брдо, таки бисте видели његов бели дворац, Р: Пропало, так нечего о том говорить; Ч: Cestu znal dobrě a tak tam brzy přišel.</i>
‘но’	—	<i>Р: Хотел поехать, так ничего не вышло.</i>
‘да’	—	<i>Ч: Tak, tak, babičko, pravdivé to příslovi; Бг: Написали писмото? Така; У: А він мовчить? Так; Б: Усе у зборы? Так; Р: А оставаться мы не имеем права. Так?</i>
‘так’	—	<i>Р: Так нехорошо поступать; У: Нехай буде так; Б: Писаць треба так, а не иначе; П: Tak musí byt; Ч: Už je to tak; Св: Prosim nebrať tak moje slová; Сл: Tako mi pomagaj; С-х: Тако треба писати.</i>

Приводя выше «перетекания» значений в общеславянском континууме, мы не говорили еще о случае отхода от смысла, но сохранения звучания. Например, русское *но* не есть по значению *ну*, но *Но* польское равно *ну* — *No dobrze, pójdziemy; Dawaj, babo, siekierę, no!*

С другой стороны, в разном звучании можно найти сходные смыслы даже в одном языке. Например, *аж* и *даже* — синонимы, но *аж* — нелитературная форма. *Аж* < *a* + *že*. *А* имеет значение ‘но’ (см. выше) и *да* имеет значение ‘но’. Поэтому $\left. \begin{array}{l} a + ж \\ da + же \end{array} \right\} \text{ ‘но’ + ‘же’}.$

Добавление реального *но* → *ажно* снова укрепляет значение *даже*, соединяя, как было сказано выше, сходное со сходным. Подобным образом могут быть сочленены и связаны в континуум почти все непервичные партикулы.

Однако прежде чем, несмотря на указанные выше сложности самого материала, представить описание формальной структуры славянских партикул, необходимо изложить некоторые исходные позиции, предшествующие данному описанию. Дело в том, что материалом исследования являются собственно славянские партикулы. Многие из них традиционно возводятся к застывшим падежным формам индоевропейских относительных или указательных местоимений, например: *a* < *ēd/ōd* — Abl. Sing. от и.-е. **e-/o*; *i* < **ei* Loc. Sing. от **e*; *da* < и.-е. указ. мест. **do/* вариант **to* и т. д. Этот вопрос непосредственно связан с признанием (или установлением) некоторой идеи универсального диахронического пути языков исследуемого типа. А именно, возможен ли путь, при котором язык первоначальной общности, такой как индоевропейский, с

соответственным уровнем корреляции языка и цивилизации, имел столь богатую и давнюю систему местоимений с падежными формами словоизменения, уже успевшими «застыть» в виде наречных образований, не имея первичных коммуникативных элементов типа частиц? Ведь сам факт наличия разветвленной системы местоимений говорит и о высоком развитии анафорики, иначе говоря, о давней истории развития текстовых отношений. Где же тогда его, общеиндоевропейского языка, частицы? Получается язык очень странной типологии, в котором на уровне коммуникативно-текстовом, с одной стороны, представлены *Lallwörter*, с другой — богато флективно выраженная система падежей местоимений. Во всех своих работах по славянскому синтаксису Я. Бауэру удалось убедительно показать, что путь от частицы к союзу — более поздний (Baueg 1972), т. е. однонаправленный процесс. Точно так же встает прямо вопрос — от междометия к дейксису и от него — к флективному местоимению или наоборот. То есть развитие — прогресс или регресс? На первой точке зрения стоят авторы чешского словаря служебных слов (*Et. slovník* 1979), к ней присоединяемся мы в нашей работе. Именно к такому развитию — от дейксиса к анафоричности и относительным местоимениям — приходят авторы коллективной монографии о категории определенности в славянских языках (*Категория определенности... 1979*). Полностью солидаризируясь с точкой зрения К. Е. Майтинской (Майтинская 1982) о том, что в течение длительного периода частицы и местоименные основы по существу неразличимы и как бы подменяют друг друга в высказывании, мы еще раз обращаемся к глаголу «соотносится», а не «восходит».

Второй проблемой является соотношение славянской и неславянских ветвей в этом аспекте. Славянские частицы часто соотносят с родственными компонентами древних индоевропейских языков — санскрита, греческого, латыни. Например, *a* с др.-инд. *āi* 'потом, затем, и, также'. Можно ли всегда принять при этом ту интерпретацию, согласно которой *t* в этом случае утрачивается? Ведь и в славянских языках мы в одних случаях имеем приращения, в других — нет. В частности, 'и' в словенском языке — *in < ino = i + no*. Если словенский язык обладает *n*, а другие нет, а при этом словенский был бы зафиксирован на более древнем этапе, то, строго говоря, как можно доказать то, что другие языки это приращение утратили, а не то, что только словенский его приобрел? Далее, большая древность абсолютная не есть относительная древность языковой диахронии. Поэтому и латынь, и греческий, и даже санскрит по уровню диахронико-универсального языкового развития не обязательно есть предшествующий этап для общеславянского периода. См. у А. Мейе: «Славянский язык — это индоевропейский язык, сформировавшийся в результате длительного употребления, глубоко измененный многими влияниями, но в целом сохранивший архаический тип» (Мейе 1951; 14).

Исходя из сказанного выше о требованиях большой осторожности при ориентации на несобственно славянские параллели, «конструктор» формального

порождения славянских коммуникативных слов из партикул строится в настоящей работе с ориентацией только на славянские данные и факты истории славянской фонетики. Инвентарь партикул строился в соответствии со следующими внутренними установками.

1) Каждая партикула должна употребляться отдельно, изолированно и иметь при этом свою семантику и функциональную сферу — хотя бы в славянском языке. При этом ее минимальность должна быть признана изначальной, а не результатом позднего упрощения.

2) Каждая партикула считается отдельной и при соблюдении другого условия — она не разлагается далее на компоненты, каждый из которых, в свою очередь, может употребляться изолированно и со своей собственной семантикой.

3) Каждая партикула должна при этом быть зафиксирована в составном сложном комплексе, куда она входит в качестве части. При этом общее значение комплекса тоже должно соответствовать значению коммуникативных, «частичных» слов. Например, Р. *ледаций* 'никчемный, дрянной' восходит к *lě + da*, где *lě* — 'только', *da* в значении опатива, отсюда П. *ladaco* 'не стоящее' не является таким комплексом, оно имеет конкретную оценочную семантику.

4) Таким образом, исследуемые комплексы не должны быть словами полноправной семантики, они — носители шифтерного значения.

5) В описываемый комплекс не входят, соответственно, слова с индексом H_1 (вторичные от зафиксированных славянских форм словоизменения) и с индексом H_2 (неславянские).

Не случайно анализ подобных образований приводит к выводу об описании через систему единиц, означаемых как *n*-овые, *t*-овые, *m*-овые, *d*-овые и т. д. (Майтинская 1982; Et. slovník 1980 и др.). Трудности выявляются в наибольшей степени при решении вопроса о вокальном составе партикулы (отождествление или различение *o* и *ь*, *e* и *ě*, *jь* и *и* и т. д.). Поэтому представим перечень исходных партикул по их консонантной опоре.

Состав консонантов такой:

v, s, j, ž

b, t, d;

k, c, č

m, n

l, т. е. 13 консонантов.

Обращает на себя внимание доминирование группы передне- и среднеязычных звуков s, ž, t, d, c, č, n, l; отсутствие *p*, обычно с необходимостью признаваемого первичным для общеславянского и индоевропейского состава. Самым значительным фактом мы считаем отсутствие *r*.

Общая фоника партикулы определяется: 1) открытостью исхода, он кончается гласной, 2) отсутствием сочетаний согласных — даже тех, которые харак-

теризуют общеславянскую эпоху. Спорным оставался вопрос о компоненте *-ǫd/-ad* (см. *ot-ǫd, dos ǫd, pos ǫd, ǫd, ot tǫd* и т. д.). Он не был включен в основной состав не по закрытости исхода, а потому, что не подходит под первое правило — изолированного употребления.

Представляется, что указанные основные особенности: 1) открытая фонетическая структура, 2) отсутствие *r*, 3) отсутствие сочетаний консонантов (и тем более — сочетаний с плавными, столь характерных для славянского консонантизма) — резко противопоставляют частицы предлогам, в которых как раз эта фонетика представлена: см. славянские примеры подряд — *prama, predi, predtem, prema, prēmimo, prēmo, pri, prěčo, prijē, prjedku, pro, proću, proč, pro-medju, proti, protivalo, proz, prýmiž, přódcı* (Et. slovník 1973; 208—227).

Сюда же можно отнести выбор *b* (звонкого коррелята у частиц) и выбор *p* — для предлогов (с *b* без пометы *H*, для славянского фонда отмечается только один (!) предлог — *bez* — там же). Наконец, по своей основной функции предлоги и частицы также противопоставлены: предлоги ориентированы на денотативный аспект высказывания, частицы — на коммуникативный.

Сопоставим указанные ведущие признаки:

	Частицы	Предлоги
1. Выбор <i>b</i> (в оппозиции к <i>p</i>)	+	—
2. Наличие <i>r</i> в составе	—	+
3. Наличие консонантных сочетаний	—	+
4. Открытость фонетической структуры	+	—
5. Ориентация на коммуникативный аспект, а не на действительность	+	—

Таким образом, частицы и предлоги являются как бы служебными словами-антиподами¹.

Все консонантные возможности описывались по следующему признаку: 1) может употребляться самостоятельно, 2) может употребляться в начальной позиции — 1-й, 3) может употребляться во 2-й слева позиции, 4) может употребляться в абсолютно конечной позиции. Представим соответствующие результаты, приведя по одному примеру в соответствующей графе.

Обращает на себя внимание и тот не совсем понятный, но явный факт, что губные согласные не могут оказываться в первой позиции комплекса.

На эти табличные данные спроецированы, несомненно, разные факты. Они нуждаются в выяснении спорных вопросов консонантного набора, во-первых, и в коррективах вокалического характера, во-вторых.

Вопрос о тождестве *t/d* в применении к частицам поднимался неоднократно (см. Et. slovník 1980; 148—149); признание их двумя вариантами может объе-

¹ Важно все же заметить, что эти признаки для частиц являются доминирующими, а для предлогов — только количественно преобладающими.

динить местоименные компоненты *ť, ta, to* и др. и собственно частицы. Однако такое объединение — вне нашей компетенции и вне рамок собственно славянской фонетики, различающей *t* и *d*. Комплекс *ž, ě, c* также может быть преобразован сведением их к *t, k* и *g* соответственно, но это также переводит славянский срез фонетики в некий реконструированный период, о частицах которого мы ничего не знаем. Далее, введение *g* в некоторых отношениях было бы полезно, так как, имея два варианта — *g, ž* и присоединяя к ним вторичное *z*, можно построить соответствующую серию с примерами вроде *že* изолированное, *nego, negъli* — 2-я позиция, *togázi* — конечная позиция, чего сейчас для *g* сделать не можем, так как для *g* нет изолированной частицы; поэтому *g* не включено в указанный консонантный набор, кроме того, *g, z, z* входят в общеславянский консонантный состав как самостоятельные единицы.

	<i>Изолированное</i>	<i>1-я позиция</i>	<i>2-я позиция</i>	<i>Конечная позиция в многосложных словах</i>
v	vo!	—	ovo	pokudova
b-	bo	—	libo	anebo
m-	my	—	kamo	tudyma
s-	съ	seliko	nu-s	avose
č	ci	cili	sice	ceici
n	no	nebo	ano	neboť
l	lě	libo	ale	neuželi
ž	že	ježe	uže	kog(ъ)daže
t	tu	tako	tutъ	kogato
d	da	daže	jeda	jъnog(ъ)da
č	če	čili	ače	nyněča
j	ju	ježe	kojъ	semkaj
k	ko	къto	tako	ovako

Набор гласных оказывается более сложным для определения. Такие же критерии, как и для согласных, были основанием для выделения отдельных вокалических партикул. Так, отдельными единицами — партикулами явились *a, i, e* (С-с ОУ — временного значения). Нет оснований для выделения отдельного *ě* и отдельного *o*. Но если согласный является как бы опорой партикулы, то глас-

ные одни не составляют комплексов-частиц. Поэтому для гласных был принят несколько иной критерий: включалась та гласная, изменение которой модифицирует смысл сложной частицы, т. е. обычный принцип фонологии. Ср. *али* и *але*, *или* и *али*, *или* и *иле*; *тоу*, *та*, *тъ*, *то*; *да*, *-де* и т. д. По этому критерию не удалось обнаружить противопоставления *e* и *e*². Поэтому *e* отдельно не рассматривалось.

Включение вокализма позволило углубить представление о фонетике партикулярного пласта. Оказалось, что не все согласные в равной степени могут присоединять к себе весь набор гласных: одни представлены полным набором, другие — очень ограниченным.

Приведем максимальный список, отмечая неустойчивые комбинации:

Из 91 возможной позиции (13x7) оказалась заполненной 51, т. е. примерно 56%. Максимально заполненными оказались клетки *t*, *d*, *n* — все три: смычные, переднеязычные, зубные (к этим трем группам — *t*-овых, *d*-овых, и *n*-овых мы вернемся).

Следующим этапом может быть порождение двучленных партикулярных комбинаций, а именно — 51 единичная партикула может в принципе соединяться с 51, т. е. дать (2601 вариант — 51) 2550 вариаций. Реальное же число гораздо меньше. Этимологический словарь служебных слов дает для русского языка 344 партикулярные лексемы (включая *H*₁).

Словарь М. Фасмера дает 135 слов. Этимологический словарь под ред. О. Н. Трубачева дает для 10 выпусков подобных лексем 56, а общее число словарных единиц в этих 10 выпусках — 5141.

Итак, можно поставить вопрос о том, на что же именно обращалось внимание в коммуникативно ориентированных словах восстанавливаемого раннего этапа.

Выясняется, что в центре оказываются три феномена: 1) объект речи, 2) событие в целом, 3) уточнение события — «кулисы», по теории актуального членения.

В отношении объекта существенной является его идентификация. В строгом смысле партикулы этой семантики все входят в синкретичное поле определенности/неопределенности, т. е. это именно принцип поля, где одни больше тяготеют к указательности-определенности (включая относительность-определенность: *v*-овые — *овъ*, *эво*, *овако*); другие совмещают определенность/неопределенность как бы в одном ящике: *t*-овые, *s*-овые; третьи соединяют определенность с неопределенностью и отрицательностью: *n*-овые³; четвертые — определенность с неясностью: *k*-овые; пятые — неопределенность с выделением, разделительностью — *l*-овые;

² Кроме выделяемого значения неопределенности в *někto*, *něčto*, обычно, однако, противопоставляемого *ni*-.

³ Этот же путь *n*-овых показателей, где отрицательное значение появляется позже, показывает для финно-угорских языков К. Е. Майтинская (Майтинская 1982).

В отношении события также вводится в коммуникацию его определенность — *ž* (g). Р: Ты не забыл написать письмо, говорили же об этом; С-с: **ДОСТОЯШЕ ЮМОУ ПРОИТИ СКВОЗЬ САМАРИЖ, ПРИДЕ ЖЕ ВЪ ГРАДЪ;**

его неясность — *l*-овые, С-с: **ТЫ ЛИ ЕСИ ЦЕБАРЬ ИЮДЕИСКЪ; ОТЬ НАЗАРЕТА МОЖЕТЪ ЛИ УБТО ДОБРО БЫТИ?** Р: Далеко ли от вась до вокзала?; события сопоставляются — **ИОНЪ АЗЪ ОУСЪБНЖХЪ, КЪТО ЖЕ ЕСТЬ СЪ?**; противопоставляются — Бг: *Марко се понамръшти, но не отговори ништо*; Р: *Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл*; поясняются — С-с: **ВЪ ИСТИНЪ И ТЫ ОТЬ НИХЪ ЕСИ, НЕО И БЕСЪ — ДА ТВОИ АВЪ ТА ТВОРИТЬ;**

актант побуждает к событиям — Р_{ст}: *Ну буди вьсегда добрь стражь тьлу своему*; Р: *Ну, рассказывай*; Сл: *Nu tedaj, vi bogati, plačite se!*

событие уточняется через обстоятельства места действия — С-с: **СЪМО И ОВАМО ТЪКОША;** С-х: *Ѕемој шетати тамо овамо*; М: *Оди ваму тому* и способа — Р_{ст}: *И тако вься служба ихъ съ благословениемъ съверьшакеться*; Св: *Prosim nebrat' tak tojé slová*; Сл: *Tako ti pomagaj.*

Таким образом, в оставшемся ядре общеславянских коммуникативных слов категория определенности/неопределенности в широком смысле, пожалуй, является единственно важной: тот — не тот, какой же? Все те значения, которые связываются теперь с частицами, а не с собственно партикулами, т. е. Partikelsemantik, не выявляются, все они связаны со скрытой семантикой — нормы, оценки, характеристики, указания на другие события, пресуппозитивным фондом знаний и т. д. Весь этот мир коммуникативных аллюзий связан, видимо, с позднейшим этапом эволюции коммуникативного речевого обмена, а нагрузка, доставшаяся в этом плане именно частицам, объясняется именно их запрограммированной коммуникативной размытостью, во-первых, и стремлением человека повысить многоканальность информации речевого отрезка, не увеличивая его протяженности, т. е. соображениями психолингвистическими, во-вторых.

При этом указанные семы могут сложным образом комбинироваться по двум основным принципам комбинации частиц: 1) комбинируется сходное с *сходным*; 2) комбинируются *несходные семы*.

При этом партикулы оказываются партикулами сильной семантики, сохраняя ее при всех комбинациях и перестановках: это: *s* — сильная определенность; *t* (определенность прежде всего). Эта определенность побеждает, в частности, при сочетании с *li* (*ли*). *Ли* обладает не такой сильной семантикой (неясность, разделение), она сохраняется в изолированном положении, в комбинации с *-бо*, где *ли-* в первой позиции, но в сочетании с *т-* определенно — *толи* — С-х_{ст}: *Ноћ тмаста толи није, да не може девојка бит познана, хотя имеем али, дали, или*, где *ли* сохраняет свое значение. Точно так же *т-* побеждает неопределенность *к-* в *так*: *Так поступайте, а не иначе*.

Некоторые комбинации приобретают, в свою очередь, устойчивое единое значение, например: *-лико* — количественное значение: *селико, толико, колико*; *-амо* — значение местной направленности: *тамо, овамо, онамо*; *-ако* — способа действия: *окакъ, такъ, так* и т. д.

Поскольку наиболее важным явилось, по нашим выводам, отношение к категории определенности (и здесь вполне очевидно, что все этимологические словари соотносят основное ядро партикул с местоименными корнями, обсуждаемым остается лишь вопрос о связи их непосредственно с застывшими падежными формами), существенно посмотреть, какими способами формировалась неопределенность как категория в славянских языках.

Всего можно выявить три основных способа построения собственно неопределенности, каждая на своем начальном этапе как бы амбивалентно скреплена с определенностью (проследить их взаимную эволюцию с опережением или отставанием — вне нашей компетенции).

I. Добавление частицы-партикулы. Она может быть добавлена в начале, слева (А), может присоединяться к концу, справа (Б).

- А. 1. *Да* — У: *Дахто, дащо*; Св: *dakto, dačo, daký, dakde* и т. д.;
 2. *J* — Ч_{ст}: *I коту*; С-х: *итко; икакавъ, икада*;
 3. *Ede* — Бг: *Едекои, едечто, едикде*. Ср. С-с: **ЄТЄРЪ КЫИ, ЄТЄРЪ ТАКОВЪ**;
 4. *Leda* — У—Б: *Ляда каго, Ледай хто*;
 5. *Ně* — общеславянский префикс неопределенности — *něčьso/něčьto, něčbj, něčьto, někotер, něкако* и т. д. и их производные;
 6. *Koj (e)* — восточнославянский: *Кое-где, кое-кто*; Б: *коияк*.
 Б. 1. *Si* — в основном У Б П Ч Св — П: *Ktoś, coś, gdzieś*; Ч: *kdosi, cosi*; Св: *ktosi, čosi, kędysi*; Б: *шмос'ци, хмось'ци*; У: *хмось*; Сл: *kdor* и т. д.;
 2. *To* — Р: *какой-то, кто-то, где-то* и т. д.;
 3. *Libo* — Р: *кто-либо, что-либо*; С-х_{ст}: — *што-либо, кто-либо*.

II. Употребление в неопределенном значении слов, имеющих параллельно другое значение.

- jacy* (Р_{ст и д}) — *Jacy kto; Kaki jacy*,
jedьnъ — общеславянское значение неопределенности и слав. коррелят неопределенного слова со значением 'unus'.
(j)edinъ — в западнославянских языках имеет значение неопределенности: Ч: *jistý*, Св: *istý*, в южнославянских — определенности, идентичности: М: *ист*; С-х: *исти*; Сл: *ísti*.
koter/kьter/kotorь/kьторь и их корреляты. Общеславянское употребление.
kьto — общеславянское и все родственные слова. В русском языке это употребление прослеживается Л. И. Маловицким (Маловицкий 1971) и др.
čьto — общеславянское употребление.

В указанных словах происходит как бы перераспределение основных партикул в их грамматике порядков, возможен третий путь — соединение со знаменательным словом не из набора партикулярных лексем; эти компоненты также могут добавляться в начале или в конце слова:

III ₁ <i>byti</i>	— У: <i>Будь-хто, будь-що</i> ;
<i>chotěti</i>	— Св: <i>cht'a/st'a — st'akedy; st'akede</i> ;
<i>vol'a</i>	— Св: <i>vol'akto, vol'ačo</i> — выводится из венг. корня <i>val-</i> 'быть, существовать' в наложении с <i>voliti</i> (сл. глагол желания) — Et. slovník 1973; 727;
<i>věky</i>	— Ч: <i>kdekoliv, ačkoliv</i> (ст. — <i>kolvěky</i>); Св: <i>ktokol'vek</i> ; П: <i>ktokotwiek</i> ;
<i>ljubo</i>	— Ст-сл: къто люѡбо ; Р _{ст} : <i>къто либо</i> ; С-х _{ст} : <i>кто либо</i> .
III ₂ + <i>byti</i>	— Р ¹³ : <i>Кто (ни) будь, что (ни) будь</i> ; У: <i>хто будь, що будь</i> ; П: <i>кто bądź, gdzie bądź</i> ; Ч _{ст} : <i>čsobud'</i> .
<i>chotěti</i>	— Ч _{нар} : <i>kdochce, kdechce</i> ; У: <i>хто хотя</i> .

2. Славянские языки и формально-смысловая структура пласта партикулярных лексем

В работе «Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском» А. А. Зализняк отмечает сосуществование в древнерусском языке двух моделей сочетания местоимений с частицами-релятивизаторами, обе модели создают относительную конструкцию: модель **къто же** и модель **къто то** (Зализняк 1981), обе они имеют типологические параллели, которые приводятся в статье. Модель **къто же** отмечается широко в старых памятниках западнославянских языков, словенские слова на *-r*: *kdor, kadar, kolikor* и др. восходят к *že, къто то* выступает в болгарском языке; в западнославянских языках отмечаются и две модели одновременно — Ч: *kterýžto* (книжн.), П_{ст}: *któryžto*, Св: *kdežto* и т. д. (там же; 89—93 и далее).

Важным для типологических сопоставлений оказывается критерий, сама возможность введения которого может оказаться проблематичной. А именно — можем ли мы говорить о случайности в историческом процессе выбора/элиминирования той или иной частицы (партикулы)? Не наблюдается ли при этом какой-либо отчетливой преференции? И какой именно: чисто фонетической, или фонетико-семантической, или чисто семантической?

Например, всеславянский тип *koliko* представлен С-с: **КОЛИКО**, Ч: *kolik*, Св: *kol'ko*, Сл_д: *koliko*, С-х: *колико*, М: *колку*, Бг_д: *колко*, П: *kilka*, Б: *колькі*. Но в русском и украинском мы имеем наращение *с*: *сколько*, Р_д: *скоко*; У: *скільки*, Уд: *скільки*.

Диапазон подобных разбросов, наращений и опрощений можно практически отметить для каждой партикулярной лексемы общеславянского фонда.

Например, *ot-kol* имеет формы с коренным *o* — Р: *отколь, отколева*, У: *відкіль*, У_д: *водкил*; Бг.: *отколи, итколи*; с коренным *u* — Р_д: *откуль*, Б: *адкуль*, Св_{ст}: *odkul'*; с коренным *l* — Р_д: *откель*, П_д: *odkiela*; Св_{ст}: *odkel'*; с коренным *a* — У_д: *откаль*, С-х: *откале*, Св: *odkial'*; с коренным *ы/и* — Р_д: *откиль, откуля*. Подобные чередования имеются и в исходе слова. Например, *kog(ъ)da* имеет исход *-da*: С-с: *когда, когда*; Р: *когда*, С-х: *када*, Сл_д: *kada*, Б: *кога*, М: *кога*; исход *dy* — Р_д: *когды, кады*; Ч_{ст}: *kehdy*, Св_д: *kedu*, С-х_{ст}: *кади*, П: *kiedy*, с консонантным исходом — Св: *ked'*, У_д: *кедь*, П_д: *kej*; с утратой консонанта — П_д: *kie/ke/ky/ki*.

Всегда ли подобные предпочтения объясняются историко-фонетическими законами данного языка, даже если речь идет о двух видах предпочтения: выборе той или иной партикулы — при предоставлении этого выбора — и выборе звукового облика партикулы, если этот выбор предоставляется также. То, что выбор осуществляется активно вплоть до самого последнего времени, видно по тем пометам, которые дают для анализируемых единиц сопоставительные словари: одна и та же единица, нормативная для одного славянского языка, в другом будет представлена только в диалектном материале, в третьем — только в старых текстах и т. д.

Однако некоторые различия типологического характера, вернее зональные тяготения, можно увидеть. Например, различаются зоны [*jako*] — [*како*]. Зона [*jako*] представлена, скорее, в западных языках — П: *jak*, У: *як*, Б: *як*, Ч: *jak*, Св: *jako*. С к представлены южнославянские и восточнославянские языки — Р: *как*, С-х: *како*, М: *како*, Сл: *kako*, Бг: *как* (однако необходимо признать, что в старых языках, и в старославянском, оба типа сосуществуют — П_{ст}: *kako*, Ч_{ст}: *kako*, но Р_{ст}: *яко*, С-х_{ст}: *яко*). Подобным же образом различаются по языкам адъективные образования от этих же фонетических единиц: ср. Ч: *яку'* и Р: *какой, каков*, С-х: *какав* и т. д. (на неславянских древних коррелятах обеих моделей мы сознательно не останавливаемся). Из только что приведенного примера можно сделать вывод, что западнославянские языки предпочитают йотацию в инициальной позиции. Что это не совсем так, убеждает другое деление — *jed(ъ)/led(ъ)* в *едва*-лексеме. Начальную йотацию отмечают в С-с: *ѣдѣва*, Р: *едва*, Ч: *jedva*, С-х: *jedva*, Сл: *jedva*, М: *одвај*, Б: *едва*; вариант *le*, считающийся вторичным, отмечается для Б: *ледз, ледзьве*, У: *ледве*, Св: *ledva*, П: *ledwie*. Определение второго варианта как вторичного не объясняет предпочтения, поскольку все эти языки знают йотированные инициалы.

Подлинный ответ на все поставленные вопросы о причинах (и фактах) типологической дистрибуции частиц в славянском континууме можно получить лишь в том случае, если каждую славянскую частицу проанализировать так, как проанализировал частицу *bo* Бауэр. Эта схема демонстрирует не только дистрибуцию, прерывность, типологию распределения, но и обратное — непрерывность славянского континуума, удивительным образом в этом пласте коммуникативных слов сочетающегося с избирательностью. В целом ситуа-

цию можно характеризовать как одновременное ‘и’ + ‘или’ (недаром и включается в и-ли).

Однако в целом можно говорить о некотором предпочтении в южнославянской зоне консонантной структуры — *v, t, n, d*; для западнославянской зоны — *s, ž* (см. выше у А. А. Зализняка о выборе *že* релятивизатора для западных языков) и *ot* — для восточнославянских языков.

См. южнославянские *евај, еваки, евако* (С-х), *ипово* (Сл), *ионако* (С-х), *инамо* (С-х), *каконо* (С-х, Б, М), *камо* (Сл, С-х, М, Б), *нака* (Сл, Бг); *нали* (М, Бг), *етавако* (С-х), *некамоли* (С-х), *нели* (Сл, М, Бг), *некамо* (Сл, С-х), *одагле* (С-х), *одавде* (С-х, М), *одавле* (С-х), *оле* (М, Бг), *онако* (Св, Сл, С-х, М, Бг), *онамо* (Св, С-х, М, Бг), *овамо* (Сл, С-х, М, Бг), *ово* (С-х, М, Бг), *оволико* (С-х, Бг) и т. д., а также *дакако* (С-х), *дако* (С-х), *дали* (С-х, М, Бг), *дано* (С-х, Бг), *дури* (М), *дори* (Бг) и др.⁴ Таким образом, можно высказать гипотезу о том, что южнославянским языкам свойственна бо́льшая соноризация, при этом выбирается тот или иной член набора в соответствии с этим.

Несмотря на высокую частотность *же* в старославянском языке, именно западнославянские языки присоединяют эту частицу к местоименному исходу — ср. Ч: *týž, tenže*, Св: *tenže*, П: *tenže*, в этих же языках местоимения неопределенной семантики присоединяют *-si* (*š-, s’-, si*). Таким образом, в западнославянских языках сильнее тенденция к преференции фрикативных шумных — *ж, с’* (это входит в обывательское представление о «шипящих» звуках в этих языках).

Русский язык всегда предпочитает *t*-овые партикулы, даже их редулицируя (*чь-то + то* и т. д.), поэтому, возможно, *вон* и оказалась в такой изоляции, сохранив первоначально архаическое собственно дейктическое значение. *T*-овая партикула в то же время явилась основой болгарского и македонского артикля (см.: Стоянов 1968), а также релятивизатора: болг. *които, когато, като, къде-то* и т. д. Таким образом, одна и та же партикула явилась источником как русской неопределенности (*что-то, когда-то*), так и болгарской определенности: *-ът, -от, -та, -то*. Это еще раз подтверждает мнение о первоначальной синкретичности, амбивалентности показателя неопределенности/определенности. По частотности *t*-ового показателя болгарский и македонский языки, сохраняя указанные фонетические особенности, сближаются с восточнославянскими (особенно с русским).

⁴ *p < же* здесь и в подобных случаях.

3. Какая смысловая категория пласта партикулярных лексем является доминантной?

Обращаясь вновь к теме неопределенности, на наш взгляд, более сложной концептуально, чем определенность, попытаемся сопоставить некоторые типологические данные выражения неопределенности имени в славянских языках. В последние годы этой теме посвящен ряд интересных исследований, причем многие из них сопоставляют именно внутриславянские данные (Hlavsa 1972; Дашкова, Куева-Шверчек 1979; Куфнерова 1980; Křížková 1971; Дончева 1970; Ивић 1971; Topolińska 1978; Грозева 1979). Во всех этих работах не рассматривается русский язык, который, по нашему мнению, обладает максимальным диапазоном средств выражения неопределенности. Наша концепция семантики русских неопределенных местоимений, состоящая в приписывании им признака особости, специфичности, выделения объекта из класса ему подобных, подтверждается фактами, приведенными славистами в указанных выше исследованиях. Сопоставляя полученные ими результаты, можно уже с уверенностью говорить о том, что релевантным оказывается в плане содержания названный признак индивидуализации объекта, вводимого неопределенным местоимением, а в плане выражения — порядок слов, передвигающий неопределенное имя в крайнюю позицию, где ее линейная семантика делает имя неопределенным (без детерминирующего сопровождения). В этом отношении можно наметить общие черты всего славянского континуума в оппозиции к неславянским артиклевым языкам, с одной стороны, и движение «артиклеобразности» неопределенных детерминантов по степени убывания с юга (хотя и в балканских языках существует целая гамма расхождений — см.: Reiter 1967) на запад, затем на восток, к крайней точке — русскому языку, с другой стороны.

Остановимся на употреблении лексемы «один». М. Грозева, сопоставляя болгарское *един* с немецким *ein* (Грозева 1979), демонстрирует факты, вполне соответствующие высказанным положениям. Например, в предикате, видимо, запрет на 'один' существен для всех славянских языков — *Das Auto ist ein Verkehrsmittel* / *Колата е превозно средство*. Но в значении 'всякий', 'любой', где русскому языку противопоказан *один*, лексема употребляется в обоих языках — *Ein Haus kostet viel Geld* / *Една къща струва много пар и* / *Всяка къща струва много пари*. См. также о *један* в работе М. Ивић — *Ти си један безобразник* (Ивић 1971). Здесь объединяется предикативность и типичность представительства (т. е. запретные зоны для русского *один*). Таким образом, генерализация выражается в южнославянских языках через 'один'. Вторая сема — выражение заурядного (т. е. не-особенного) представителя некоторого класса. В этом случае артиклевый неславянский язык требует обязательного неопределенного артикля. В болгарском языке может быть , *един* или *някой, някакъв*. Во многих примерах М. Грозевой в русском языке не было бы *один*: *Dieses Bild*

ist ein Rembrandt / Тази картина е (един) Рембранд; Heute ist ein Tag! / Днес е един ден!; Und die Rüscher ist auch so ein Trampeltier / И Рюшер е една глупачка. См. у М. Ивић — *Имао је лице једног Квазимода* (Ивић 1971). Однако при сопровождении абстрактного имени ‘один’ опускается и в болгарском языке — *Er fuhr ein angenehmes Leben / Той води приятен живот* (Грозева 1979). При сопоставлении болгарского и чешского языков (Куфнерова 1980) уже больше сходства западнославянской и восточнославянской систем. Порядок слов в чешском языке также связан с неопределенностью — *Чувствавах, че един водопад се е надвесил на главата ми / Cítil jsem, že mám nad hlavou na spadnutí vodopad.* В случае же новой, выделяющей информации оба языка употребляют ‘один’: *една красива сграда — jedné krásné budově.* Но уже при собственных именах *един* переводится как *takový*. При сопоставлении с белорусским языком болгарское порядковое числительное с членом — *единият* уже переводится как *адзін*, т. е. выделенность необходима — *Идат двама души, единият дякон Викентиу / Идуць, двое, і адзін з іх дзякан Вікенцін* (Лашкова, Куева-Шверчик 1979). Специфическая неопределенность: русские *какой-то, некий, некто* в болгарском языке через эквиваленты *някакъв, някой* передает также немецкое *ein*, но именно здесь в болгарском языке выражается индивидуализация, выделенность (аналог *один*): *Wo eine Hebamme wohnt? — Къде живее някаква акушерка?; Franz suchte nach einem Wort — някаква дума; ...und zu einer willkürlich Schriftart zu werden — и да се превърне в някакъв произволен начин* (Грозева 1979). Также именно неизвестность македонского *некој*, которое сообщает; что «говорящий не в состоянии идентифицировать», обсуждает З. Тополинська (Topolińska 1978). См. также в сербском — *Можда је то био некакав сан. Или нека пушта тишина у њему* (Křížková 1971). В чешском же языке *nějaký*, — генетически близкое слово, употребляется в двух значениях, соответственно эквивалентных русским *-то* и *-нибудь*: (1) *Četl to v nějaké knize (какой-то)*, (2) *Vypůjč mi nějakou knihu (какую-нибудь)*. Зато в чешском языке местоимения с *-si (jakýsi)* более точно соотносятся с *какой-то*, а местоимения на *-koli (jakýkoli)* — с *какой-нибудь* (Hlavsa 1972). Разница в системе неопределенных местоимений всех трех групп языков отчетливо прослеживается на одном примере Зл. Куфнеровой: *Трябваше да изберам едно момче, неженено — Musili si vybrat nějakého chlapca svobodného* (Куфнерова 1980). В русском языке было бы *какой-нибудь*. Но в целом мысль наша состоит в том, что существует в русском языке некий сдвиг в сторону определенности на два порядка по сравнению с южнославянскими языками, на один — по сравнению с западнославянскими⁵. А именно: обозначив русские слова *какой-то* семы: 1) ‘один’, 2) ‘какой-то’, 3) ‘какой-нибудь’, мы можем обозначить, например, болгарское *един* как потенци-

⁵ Х. Беличева-Кржижкова отмечает для литературного русского языка отсутствие корреляции *какой-нибудь/который-нибудь* (ср. *nějaký-některý*, ср. белор. *каторы-небудзь*), которая также могла бы дать дополнительный смысловой ряд (Křížková 1971).

альное 1—2—3; чешское *nějaký* как 2—3. Таким образом, русские неопределенные местоимения наименее артиклеобразны: они нацелены не на типизацию, а на индивидуализацию (см. гамму максимальной неопределенности: *кто-нибудь, кто-либо, кто бы то ни было, кто угодно*, формирующуюся уже в последние этапы развития языка). Доказательства всему сказанному, как представляется, можно найти в анализе русских неопределенных местоимений.

4. Некоторые неславянские параллели

Генетическое тождество основных славянских партикулярных показателей на уровне общиндоевропейской и индоевропейской параллелей других семей издавна обращало на себя внимание и описывалось. Действительно, не могут не поражать такие примеры, как санскр. *evá* ‘именно, же’, санскр. *etád* ‘это, то’, *enád* ‘то, оно’, санскр. *ka* ‘кто’, лит. *và* ‘вот’, лит. *gi* ‘же’ и т. д. Поражает здесь собственно одно — неизменность скрепленности звуковой и смысловой единиц, сохраняющаяся на протяжении тысячелетий. Все индоевропейские корреляты партикул, соотносящихся с категорией определенности/неопределенности (а как было выше показано, все частицы соотносятся так или иначе с этой категорией, только на более позднем уровне развивающийся пресуппозитивный фактор связывает их с более широкой определенностью — общекоммуникативным фондом знаний), на уровне других семей языков в общеностратическом плане прослеживаются в большой работе Вяч. Вс. Иванова (Иванов 1979). На общность ведущих консонантных опор партикулярных лексем указывает еще В. М. Иллич-Свитыч (Иллич-Свитыч 1971, 1976) *-ja* — ‘какой, который’, *na* — указ. мест., *ke* ‘кто’, *ko* — ‘кто’.

Ср. также у него указ. частицу $da < dlad \left\{ \begin{array}{l} *dh \\ *d, \text{ усилительную и соединительную} \\ i \end{array} \right.$

ную частицу *da* и др. Однако для данного исследования существенно выявить сходство (или различие?) моделей образования звуко-смысловых комплексов, проверить универсальность или языковую специфичность процесса создания частиц из единичных партикул. Размытость семантики частиц, их полифункциональность в индоевропейских языках уже отмечалась как одно из их основных свойств. См. вед. *nú* (*nū*) — ‘теперь’, ‘тут’, ‘вот’, ‘еще’, ‘уже’; вед. *tú* (*tū*) ‘же’, ‘ка’, ‘конечно’; *aha* ‘конечно’, ‘однако’, ‘ведь’, ‘же’; *u* — ‘вот’, ‘же’, ‘тут’, ‘тотчас же’, ‘и’, ‘а также’, ‘и’, ‘но’ (Елизаренкова 1982); судя по всем данным этой книги, коммуникативный пафос ведийских частиц скорее связан с речью, с текстом (там же; 406), но не с денотативным аспектом. Интересными представляются и модели соединения — вед. *sana* ‘даже’ связывается с *sa* — ‘и’ + *na* — отрицательная частица, т. е. *u* + *ne*. Ср. у Т. Я. Елизаренковой, *sana* употребляется как *даже* после отрицания, как ‘даже не’ в утвердительном

предложении (там же). То есть сохраняется и идентифицируется смысловая модель порождения, несмотря на неполное звуковое генетическое тождество. См. также *utá* < *u* 'же', 'а', 'но' + *tá* 'то', т. е. *же* + *то*. Ср. русское *тоже* — та же смысловая модель, но с обратным линейным порядком. В свою очередь эта частица уже просто начинает означать 'и'. Эту же модель попытаемся применить к литовскому *taĩgi*. *Taĩ* — 'это, то', *gi* — 'же'. Должно получиться опять 'тоже', но частица переводится как 'итак', что соответствует русскому *то* + *же* по составу компонентов, различаясь только по линейному соположению, но не соответствует по общей семантике. Наоборот, *aĩgi* соответствует русскому *разве* семантически и по компонентам: *aĩ*-'ли' + *gi* 'же', т. е. *ли же*, явно вопросительный комплекс, но не соответствует генетически. *Dárgi* лит. соответствует русскому *даже* по всем параметрам: *dár* — *да*; *gi* — *же*, но *ōgi* не соответствует: это $\tilde{o} = a + gi = же$, т. е. *аже*; соответственно *ĩrgi* = *иже* по форме, но 'тоже' по значению. Таким образом, по смысловой генетической модели *ĩrgi* скорее ближе указанному вед. *utá* (см. выше). Эти примеры еще раз подтверждают непрерывность звукового и смыслового континуумов славянских и, шире, индоевропейских частиц, где могут наблюдаться разнообразные корреляции звуков и смыслов при исходной тождественности.

Сходства смысловых моделей могут наблюдаться и на уровне сформировавшихся слов, ставших частицами. Например, в русском языке совпадают генетически разные слова *только* и *один* в одной семантике единственности. Но в значении некоторого предупреждения, угрозы употребляется предпочтительно *только*, а в значении 'и ничего другого' — скорее *один*: *Имение — один песок*. Ср. точно те же модели в латышском — *Pamēg'ini tikai!* — *Попробуй только!*, см. далее: *To zināja tikai viņš* — *Это знал только он*. Но *Te aug priedes vien* — *Тут растут только сосны*, т. е. одни сосны, где *vien* — *один*.

Все эти соответствия не только на уровне плана выражения, но и на уровне плана содержания не оказываются столь очевидными, если выйти за генетически близкие пределы.

Интересные и важные факты эволюции коммуникативных слов в финно-угорских языках дает многократно уже цитировавшаяся книга К. Е. Майтинской (Майтинская 1982). Как и в славянских языках, точнее в индоевропейском языке, в финно-угорских языках, по мнению К. Е. Майтинской, местоименные слова употреблялись как в качестве указательных местоимений, так и в качестве указательных частиц (там же; 144), подобные частицы К. Е. Майтинская называет первообразными. Так, первообразными оказываются частицы местоименного плана: *s-*, соотносимая с указательным и личным местоимением, *n-*частицы, также восходящие к указательному местоимению и развившие позднее отрицательное значение, особенно развившееся в венгерском языке, где утратился отрицательный глагол. Третьей партикулярной опорой является **k* (ϕ), служащее базой для вопроса и, как естественное следствие, неопределенности. -*Ка*, которую В. М. Иллич-Свитыч считает одной из древ-

нейших частиц, в финно-угорских языках имеет также значение усилительности: фин. *-ka/-ko*; морд. *-ga/-ge, -ka/-ke*. Дейктические слова строятся на *t*-овой основе: хант. *t̄i, t̄u* ‘вот’, манс. *ta, ti, tit-ti* — ‘вот’ (там же; 123). Эти консонантные опоры, как видно, близки не только индоевропейскому вообще, но и выведенной выше славянской консонантной партикулярной фонетике.

Семантически близкой оказалась и модель соединения сходного со сходным, например венг. *E ide hozd e* ‘сюда принести вот’.

Однако, судя по данным К. Е. Майтинской, сам путь развития набора частиц в финно-угорских языках гораздо более поздний по относительной языковой хронологии, чем в славянских языках. Она считает, что наиболее активным процесс образования частиц был уже после распада финно-угорской общности (там же; 149). В языках этой группы очень мало союзов, число частиц невелико: от 40—70 по языкам. Частицы от союзов часто отличаются позицией, что не характерно для славянских языков, и значение частиц тоже различается по их месту, так коми частица *но* в препозиции побудительна, в постпозиции равна русскому *же*. Судя по их современному облику, фонетика финно-угорских частиц явно типологически иная, она тяготеет к закрытости исхода: ср. саамск. *-des, -ges, -gas/-hes, -gull/-kul*; морд. — *-как, -гак, -вок*, мар. *-ак, -ат*, удмурт. *-ик, -ук* и т. д., хотя есть и много вокалических.

Однако основными можно считать два существенных типологических различия.

Первое — это очень большое число заимствованных частиц, особенно союзобразного типа, что подтверждает цитированное выше мнение Я. Бауэра о значительной проницаемости синтаксической структуры сложного предложения. Первое место по числу заимствованных частиц (т. е. по индексу N_2) занимает русский язык. При этом, по выводам К. Е. Майтинской, заимствуются частицы указательные — *вот*, ограничительные — *только, лишь*, уточнительные — *именно*, усилительные — *ведь, же, даже*, выражения неполноты качества — *почти, едва, еле, чуть*, утвердительные, отрицательные, вопросительные и модальные — даже такие поздние, как *хоть, пускай, давай, будто, может быть* и др. См. мокш. *вдь < ведь*, коми *коть < хоть*, морд. *a < а* со значением противительности. При этом позиция языка-источника, например, для *же* сохраняется, см. вод. *t̄iōže* ‘мы же’ (Майтинская 1982; 122). Происходит также и построение новой частицы через комплекс: свое + чужое, ср. в коми *сіджѳ* ‘также’ < *сідз* ‘так’ + *жѳ* < ‘же’ из русского *же*. Таким образом, эти коммуникативные смысловые лакуны заполняются извне (см. другие возможности, например, в статье М. Шубигер (Schubiger 1965) об английской интонации и немецких частицах).

Минимальным по индексу N_2 оказывается число частиц в венгерском, мало их также в финском и эстонском языках (Майтинская 1982; 138).

Вторым важным отличием является отличие по индексу N_1 (частицы, вознившие из знаменательных слов), которых, судя по фактам, в финно-угорских

языках неизмеримо больше, во-первых, и, что еще интереснее, они строятся по другим моделям, во-вторых. Так, славянские дейктические частицы примарны, они строятся из исходного конструктора. Ср. мокш. *нява* ‘вон’ < 2 л. ед. ч. императив от глаг. *няме* ‘видеть’, коми-перм. *дзö* ‘вот’ < *видзöт* ‘смотри’; ограничительное ‘только’: коми *куш* < ‘голый’, ‘лысый’, венг. *csupán* < *csupasz* ‘голый’, ‘лысый’, *pusztán* < *puszta* ‘пустой’, ‘степь’, фин. *vain* < *vaivoin* ‘с трудом’, мокш. *neganec* ‘точь-в-точь’ образовалось на основе форм слова *ne* ‘конец’; венг. *éppen* ‘именно’ восходит к имени *ep* ‘полный’, финское *edes* ‘даже’ < *edes* ‘дальше’, ‘вперед’, эст. *isegi* ‘даже’ < *ise* ‘особенный, отдельный’, коми *вийöдзe* ‘даже’ < *вийöдз* ‘до предела’; манс. *xит* ‘ведь’ < *xит* ‘мужчина, человек’ и т. д. (см. Майтинская 1982; 124—132).

Таким образом, эволюционная схема развития славянских и финно-угорских частиц различна, несмотря на несомненное ностратическое тождество основных местоименных консонантных партикулярных баз: *n*, *-t-*, *d-* *s-*, *k-* *j-*. А именно: 1) основной массив финно-угорских частиц, по данным К. Е. Майтинской, развивался на гораздо более позднем относительно этапе развития языков одной семьи, поэтому расхождений в этом пласте много; 2) широко использовалось заимствование частиц из других языков (кроме русского, частицы заимствовались и из тюркских языков); 3) преобразование в частицы знаменательных слов — индекс H_1 — также шло гораздо более интенсивно и по совершенно другим семантическим моделям; 4) насколько можно судить, мало использовалась возможность создания новых частиц из старых путем сложения или мены порядка — см. примеры от ведийского до современного русского; 5) фонетике частиц в финно-угорских языках не противопоставлена закрытость исхода.

Таким образом, здесь можно говорить о различии диахронических моделей.

§ 11. Частицы и формальная структура высказывания

В предлагаемом ниже тексте делается попытка различить два разных феномена: 1) в какой степени семантика частиц определяется формальной структурой высказывания и 2) напротив, насколько сама частица вносит в высказывание ту или иную семантику. Иными словами, в настоящем разделе речь идет о сочетаемости разных лексико-грамматических средств в рамках высказывания и превращении этого в более или менее формализованный «длинный компонент» (термин-концепт Ю. С. Степанова).

Многokратно выдвигавшееся положение об отсутствии собственного лексического значения у частиц, о том, что особый коммуникативный оттенок у высказываний с частицами возникает только от взаимодействия частицы с определенным лексико-грамматическим составом высказывания, заставляет обратиться к последней сфере смыслового функционирования частиц — к вы-

сказыванию, причем к высказыванию изолированному, поскольку смысловые импульсы, связывающие высказывания с частицами с макроконтекстом и ситуацией, рассматривались в связи со «скрытой семантикой» частиц.

Действительно, интенсивность протекания дуративного действия: *А она так и сверлила его глазами; Сердце у него так и билось, так и билось; Уходить не хотелось — так бы и стояли и смотрели на нее все время*; абруптивная завершенность действия: *Он так и грохнулся на пол, не успев слова сказать; Мы так и вскочили, ошеломленные этим известием* и т. д. — во многом обеспечиваются несовершенным видом глагола-сказуемого в первом случае и совершенным видом — во втором. Однако при более внимательном подходе обнаруживается, что дело не в виде только, а в способе глагольного действия, передаваемом сказуемым: в первом случае он дуративен и его перевод в совершенный вид может обеспечить лишь передачу начальной фазы действия — *Сердце у него так и забилося*, во втором случае несовершенный вид дуративного процесса невозможен. Но при этом обеспеченность общего значения именно глагольными средствами несомненна. Ср. с этим два высказывания: *Вот домик смотрителя* и *Вот домик смотрителя*; в первом случае имя имеет определенный денотативный статус (о домике уже говорилось), во втором — это вводимый в рассмотрение новый объект; создается это различие акцентно-просодическими средствами, ср. также: *Еще чаю* и *Еще чаю* (чай пили — еще не пили и т. д.), другой пример — *Только / книги у него хорошие* (а не плохие, как вы только что сказали) и *Только книги у него хорошие* (все остальное плохое). Ср. также функцию и произношение частицы *да*: в *И да будет ваша жизнь отныне счастливой* и *Да ложитесь спать наконец!*

Итак, грамматико-категориальная и строевая (включая просодию) характеристики структуры высказывания, несомненно, связаны с общей семантикой частиц. Однако для выявления типов конструктивно-семантических связей и того, соотносятся ли с этими типами значения частиц, необходимо ответить на два связанных между собой вопроса: 1) какие именно показатели структуры высказывания могут быть значимыми для семантически-функционального варьирования частиц, 2) до какой степени изменение смысла высказывания определяется именно частицей, т. е. не приписываем ли мы частице ту часть значения, которая обеспечивается и при ее отсутствии.

Таким образом, речь идет о семантике некоторой по крайней мере неоднокомпонентной цепочки, включенной в высказывание и охватывающей его целиком, либо распространяющейся на его часть. Иначе говоря, речь идет об общем признаке, сквозной характеристике, давно признаваемой для единиц низших языковых уровней, например объединения слова (слога) такими характеристиками, как назализованность, придыхательность и т. д. Между тем объединенность большого речевого отрезка, комбинируемого из разных грамматических классов, некоторой общностью смысла может грамматикализироваться, а процесс категориального объединения идти и дальше — с введением но-

вых смысловых параметров. Не углубляясь в факты языковой истории, заметим все же, что подобные связанные характеристики отличают, в частности, так называемые номинативные языки от эргативных, где активность/инактивность субъекта определяет категориальные формы и остальных компонентов. В области же речеупотребления и построения высказываний в современных языках долгое время как бы господствовала презумпция существования высказывания как обоймы с свободно заменяемыми элементами: при этом ограничения на факт выбора осуществляются в лексическом или чисто референционном плане.

Интерес к выявлению подобных сквозных семантических характеристик отчетливо проявился с начала 80-х годов и именно в нашем отечественном языкознании (работы Н. Д. Арутюновой, А. В. Бондарко, Т. В. Булыгиной, Г. А. Золотовой, Ю. С. Степанова и др.). Для обозначения этой линейной цепочки наиболее удачным представляется термин Ю. С. Степанова — «длинный семантический компонент» (Степанов 1981; 257 и далее). Ю. С. Степанов приводит и перечень содержательных интерпретаций «длинных компонентов» (там же; 264—277): 1) временность/вне- или всевременность; 2) постоянство/непостоянство; 3) отчуждаемая/неотчуждаемая принадлежность; 4) определенность/неопределенность; 5) личность/неличность; 6) расчлененность/нерасчлененность; 7) наличность/неналичность.

Интерес для языковеда к длинному семантическому компоненту определяется непредсказуемостью его грамматического воплощения. Вне этой проблематики остаются чисто денотативные несообразности — допущения: *Кентавр выпил круглый квадрат* и т. д. Называя подобные неявные, «скрытые» грамматические категории «криптотипами», Т. В. Булыгина совершенно ясно формулирует принцип, по которому необходимым (и достаточным) условием для отнесения той или иной семантической категоризации к грамматическим криптотипам следует считать «грамматический характер ее косвенного отражения» (Булыгина 1980; 338). Увлекательный перечень найденных скрытых коррелятов только начинает выявляться. При этом обращает на себя внимание факт некоторой несводимости друг к другу всех полученных данных. Эти новые суперкатегории иногда кажутся взятыми как бы из разных содержательных областей. Объясняется это различием точек зрения каждого из лингвистов, исходных позиций их исследовательских интересов. Например, целый ряд наблюдений о связанности части высказывания пределами «категориальной ситуации» делает А. В. Бондарко (Бондарко 1983; 11). Категориальные ситуации соотносятся с сигнификативными ситуациями, «отражающими определенный фрагмент действительности, воспринимаемой человеком, т. е. денотативную ситуацию» (там же; 16). Категориальные ситуации связаны с системой функционально-семантических полей данного языка. Каждое из полей ориентировано на смысловой центр лексико-грамматического характера: акциональный, предметный, качественно-количественный, обстоятельственный. Аспек-

туальные ситуации (подвид категориальных) связывают основные компоненты высказывания через единство аспектуального воплощения; например, такова процессная ситуация: *Я подошел к оудию, оно еще дымилось*; модально-конативная аспектуальная ситуация: *Объяснял, да не объяснил* и т. д.

В вариант длинного компонента объединяется имя (объект) и глагол кумулятивного действия с общим значением партитивности: *Нарвать цветов. Набрать грибов. Набрать бумаги* и т. д. Ср.: *Сорвать цветок. Собрать грибы. Собрать бумагу* (Birkenmaier 1977).

Т. В. Булыгина описывает особую скрытую категорию — контролируемые/неконтролируемые положения вещей. Ею выделяются в рамках этой категории неизвестные ранее отношения: несовместимость предикатов и обстоятельств цели в неконтролируемых ситуациях: **Дерево упало ради меня, но Он остался в этом городе ради нее*; связь этой же категории с видовыми ограничениями при императиве: несовершенный вид при контролируемом действии и особенно — при агентивных глаголах — **Не защити диссертацию; *Не сходи за хлебом* и т. д. (Булыгина 1982; 68—82); см. также у нее о несовместимости «актуального» употребления предиката и нереферентного имени и возможности нереферентного имени при неактуальном употреблении предиката, различие в этом плане у *любить* и *нравиться* (там же; 29). Таким образом, Т. В. Булыгина рассматривает дистрибуцию тех или иных форм одного класса в зависимости от отношения к выявленной криптокатегории, с одной стороны, сочетаемость классов управляемого и управляющего слов и, соответственно, их грамматических форм — с другой, и комбинации лексических единиц с категориально-грамматическими.

Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев (Арутюнова, Ширяев 1983) описывают реализацию «длинного компонента» не только с позиции грамматической сочетаемости, но и с позиции общепрагматической категоризации, либо, напротив, с «точки зрения» отдельной лексемы или группы лексем, прежде всего глагольных. Например, «микрокосмос» описания, мир человеческой личности, обводимый вокруг него языком «меловой круг» снимает потребность в отягчающих текст указательных и притяжательных местоимениях (там же; 142); оказывается, что глагол *иметь* допустим лишь применительно к межличностным событиям: нельзя иметь в доме стирку, уборку, ремонт и т. д. (там же; 183). Вообще оказывается, что системы глаголов при событийных именах менее развиты, чем при именах предметно-конкретных (там же; 136, 148—149). Эта прагматическая тень ложится и на полексемные правила употребления глаголов бытия в русском языке: *происходить, совершаться, состояться, проводиться* и т. д. Например, *возникать* связывается с значительными, масштабными событиями, *происходить* не появляется при описании погодных условий; при множественном числе имени события появляется значение периодической повторяемости: *В институте происходят интересные вечера поэзии* и т. д.

Еще более глубокую связь сенсорных и аксиологических компонентов человеческого мироощущения мы видим в работе Н. Д. Арутюновой (Арутюнова, 1983). Например, сенсорный компонент больше связан с несовершенным видом инфинитива, процессом: *Хорошо ходить за грибами*; аксиологический — с совершенным: *Лучше пойти в гости*. Грамматическая симметрия видов в прошедшем времени утрачивается, предпочтение отдается ирреальному событию; таким образом, лексическая система языка не совпадает полностью с системой речевого употребления (Арутюнова 1983; 336—338).

Сходные наблюдения и выводы делаются и Г. А. Золотовой, соотносящей мир грамматики с миром окружения: «В основе своей классификация способов выражения сказуемого включает в себе единство морфологических, синтаксических и семантических признаков. Именно это осуществление единства признаков вселяет веру в то, что грамматическое осознание явления приближается здесь к существу самого явления» (Золотова 1982; 33), см. далее о двух имеющих в языке основаниях для классификации слов, взаимодействующих и пересекающихся, а именно: общеграмматической классификации и классификации категориально-семантической. Обе они важны с точки зрения синтаксического функционирования (там же; 125). Далее Г. А. Золотовой перечисляются типы субъектно-предикатных отношений, где формы основных компонентов в их различии соотносятся и с ролями референтов и типами действий во внеязыковой действительности (там же; 125 и далее). Центром анализа предикатных классов и основным критерием подразделения знаменательных глаголов служит значение акциональности/неакциональности (там же; 159).

Таким образом, смысловые и формальные показатели «длинных компонентов» в предложенных концепциях и в их иллюстративных экспликациях различаются: соотносится общая категория и выбор форм, соотносится семантика двух грамматически сочетающихся слов, соотносится отдельная лексема и грамматические показатели связанных с ней слов и т. д. Поэтому возникает предложение о создании некоей обобщенной и потенциально возможной схемы комбинаций языковых феноменов, создающих «длинный компонент». Исходный набор состоит, согласно нашему предложению, из содержательных элементов и элементов формальных, субстанциальных. А именно, это категории: 1) денотативные (например, состояние природы, физическое состояние человека и т. д.), 2) прагматические (например, категория оценки, контролируемость/неконтролируемость действия и т. д.), 3) скрытые языковые — определенность/неопределенность имени, неотчуждаемая принадлежность и т. п. Категории субстанциальные: 1) формы одной парадигмы, однородные граммемы, например формы падежа, формы вида, формы числа и т. д.; 2) различные категории внутри одного лексико-грамматического класса, например личные формы глагола противопоставляются неличным, сравнительная степень сравнения противопоставляется падежным формам позитивной степени и т. д.; 3) разные по лексическому значению классы слов внутри одной части речи, например фа-

зисные глаголы, глаголы бытия, глаголы чувствования и т. д.; 4) отдельные лексем; 5) отдельные значения одиночных лексем.

На базе приведенной классификации можно составить таблицу попарных сочетаний и перенумеровать все возможные комбинации (разумеется, «длинный компонент» может охватывать и большее число компонентов). При составлении подобной таблицы необходимо учитывать два обстоятельства: а) чистые категории сочетаться друг с другом, естественно, без субстанциального наполнения не могут, поэтому эти клетки остаются «пустыми»; б) при комбинации чисто субстанциальных компонентов необходимо выявить третью составляющую процесса — содержательную категорию, поэтому в эти клетки добавляется буква «к».

	<i>Формы одной парадигмы</i>	<i>Категории одного класса</i>	<i>Разные лексические группы</i>	<i>Разные лексемы</i>	<i>Разные значения одной лексемы</i>
<i>Денотативные категории</i>	1	2	3	4	5
<i>Прагматические категории</i>	6	7	8	9	10
<i>Скрытые категории</i>	11	12	13	14	15
<i>Формы одной парадигмы</i>	16 к	17 к	18 к	19 к	20 к
<i>Категории одного класса</i>	21 к	22 к	23 к	24 к	25 к
<i>Разные лексические группы</i>	26 к	27 к	28 к	29 к	30 к
<i>Разные лексемы</i>	31 к	32 к	33 к	34 к	35 к
<i>Разные значения одной лексемы</i>	36 к	37 к	38 к	39 к	40 к

Например: *На Тане была котиковая шуба — У Тани была котиковая шуба* — 33к (разные предлоги в комбинации с лексическими классами передают денотативные категории актуальности и общей принадлежности); *Зачем ему это делать? — Зачем он это делает?* — 7 (личная форма vs. инфинитив передают прагматическую оппозицию: прескрипция — факт); *Старики раздражительны — Старики в раздражении* — 14 (предикатив адекватный vs. именной передает денотативную категорию актуальности); *Нарвать цветов* — 16к (вид глагола + генитив передает скрытую категорию партитивности). Разумеется, предложенная таблица будет спорной и экспериментальной,

очень вероятно, что некоторые клетки не будут заполнены, а другие клетки — густо заполнены самыми разнообразными примерами. С несомненностью можно сказать только одно: она окажется интересной при типологическом подходе, поскольку при выражении скрытых категорий языки, очевидно, проявят самую изощренную избирательность (см. первичные данные подобного рода в работе: Селиверстова 1983).

Все, что относится к частицам, может быть связано только с пунктами 5, 10, 15 и 36к—40к, поскольку в центре нашего внимания оказывается воздействие структуры высказывания на значение той или иной частицы или, иными словами, связь значения частицы с теми или иными категориально-грамматическими компонентами того высказывания, в которое они входят.

Связь между выбором типа неопределенного местоимения в русском языке (группа *не-, -кое, -то* vs. *-нибудь, -либо, бы то ни было*) и типом высказывания («контекстом») отмечалась неоднократно (Шелякин 1978). Так, невозможны: *Вчера к нам кто-нибудь заходил; Я купила себе в Москве какую-нибудь шляпу*; но возможны: *К нам кто-нибудь заходил?; Я куплю себе в Москве какую-нибудь шляпу* и т. д. Это различие двух групп частиц, формирующих неопределенные местоимения (*кое-, -то, не-, один, -либо, -нибудь, бы то ни было*), в первую очередь соотносится с аспектуальным планом глагола-сказуемого.

Этой проблеме, решаемой на материале славянских языков, и в первую очередь — русского, уделяется в настоящее время очень большое внимание. Абсолютно прямой зависимости для русского совершенного вида и большей определенности имени и несовершенного вида и неопределенности имени никто в настоящее время не устанавливает, хотя обе эти оси являются как бы фактической точкой отсчета. Так, известная возможность употребления в определенном высказывании обоих видов: *Вчера в 17 ч. 45 мин. я смотрел по телевизору какой-то фильм*; и *Все эти пять лет я проработал на какого-то неизвестного человека* разрешается разными авторами по-разному. В. Биркенмайер дополняет различие аспектуального характера различием в способе действия (Aktionsart) — *Кто-то позвонил?* (телефон близко) и *Кто-нибудь звонил?* (вообще). Поэтому различию во временной локализации, выражающемуся и через *кто-то (кто-нибудь)*, «соответствует и различие аспектуальное» (Birckenmaier 1977).

З. Генчева в виде критерия, дополняющего аспектуальность, видит соотнесенность с планом речи (discours) или планом рассказа (récit). Так, в плане речи имперфективность связывается с неопределенным объектом, перфективность — с определенным. Сочетание же имперфективности и определенности объекта может означать и обозначать и соотнесение события с настоящим (план речи), и отсутствие этого (план рассказа), где вторичный имперфект имеет значение аориста. З. Генчева соотносит всякое высказывание с описанием некоторого события, обнаружением его свойств (régéage). При этом в высказывании фиксируются и его референционно важные компоненты. «Поэтому в плане

высказывания существенны такие категории, как категории лица, дейктики, время, вид, определенность» (Guentcheva 1978).

Приведенные примеры попарных соответствий по признаку «определенность» могут быть вытянуты в некоторую категориальную цепочку, соотносимую с общей определенностью высказывания в целом. Именно это свойство высказывания уже обращало на себя внимание упоминавшихся выше исследователей. См. у В. Косески-Тошевой: «Существенна интерпретация показателя в целом как показателя предложения (*kwantyfikatora w ogóle jako kwantyfikatora zdaniowego*), комбинирующего свое значение из значений словосочетаний» (Koseska-Toszeва 1978). В. Косеска-Тошева показывает, что соотношение определенности всего высказывания и времени глагола-сказуемого строится по принципу обратно пропорциональной зависимости: чем меньше сфера протекания глагольного действия (*zakres*), тем с большей вероятностью высказывание определено, и наоборот. Поэтому *Aorist* характеризует в основном определенное высказывание, а *Futurum* — неопределенное.

Ср.: *Czy do nas ktoś przyszedł? — Czy do nas ktokolwiek przyjdzie?* (автор показывает аналогию в функционировании *któś/ktokolwiek* и *kto-mol/komnibudź*) — (Koseska-Toszeва 1975, 1978). Эта определенность, соединяющая частицы *-to, nie-, кое-*, и вид глагола-сказуемого соотносятся, в свою очередь, с тенденцией совершенного вида передать событие в целом, а не концентрироваться только на самом действии. В частности, эта мысль является одной из ведущих в книге О. П. Рассудовой, которая отмечает, что основным фактором, влияющим на видовое употребление, является коммуникативная нагрузка говорящего, что «один и тот же факт действия может быть представлен в зависимости от коммуникативной потребности говорящего» (Рассудова 1968; 19). При этом диапазон несовершенного вида шире, он лишен дополнительного семантического признака, «добавочный признак, выражаемый совершенным видом, связан с особым представлением целостности (целостного охвата действия)» (там же; 6). Поэтому неограниченный процесс выражается только несовершенным видом, единичное действие ограниченного процесса, ограниченной повествовательности передается совершенным видом, если есть установка на указание целостности, и несовершенным — если ее нет. Сходные положения высказываются и зарубежными исследователями русского вида: основное значение совершенного вида — это представление действия как глобального события, коммуникативно однозначного (*the presentation of the action as a total event related to a specific single juncture*) (Forsyth 1970; 347). Напротив, имперфективная форма не составляет события целиком, «не сообщает нам всего, что произошло, а только часть этого» (Galton 1976; 167).

Обобщая подобные наблюдения, О. Даль приходит к выводу о том, что все, что происходит в окружающем нас мире, «может быть описано либо в терминах процесса, либо в терминах события» (Dahl 1974; 28). Несовершенный вид отвечает процессу, который дуративен, совершенный вид — тотальному собы-

тию. О. Даль пишет далее: «По-видимому, существует тенденция пользоваться языковым изображением события — там, где это возможно» (на этом мы остановимся ниже).

Связь признака определенности с возникновением глагольной видо-временной системы в славянских языках в качестве отправной точки возникновения этой системы видит и Н. Телин (Thelin 1978). Первой глагольной оппозицией он считает расчленение презенса и аориста, последнего — со значением определенного свершившегося события. В некоторых исследованиях вообще всякое глагольное время связывается с оппозицией *этом/том* (Woods 1976); см. также включение Филмором показателя «этот» в англ. *come* и исключение его из *go* (Filmore 1966). В этом плане и в исследовании о частицах в хеттском языке (Josephson 1972) переход от частицы к видовому показателю со значением совершенного вида (-кан) может быть прогнозирован, поскольку именно аспект в наибольшей степени связан со всей нарративной структурой, а показатель аористической семантики в первую очередь с определенностью события. Это тяготение совершенного вида к цельности события и, соответственно, некоторой отделенности его от говорящего и тем самым неконтролируемости отчетливо прослеживается и в указанных наблюдениях по семантическому согласованию Т. В. Булыгиной (Булыгина 1980, 1982, 1983): *Не попадись ему на глаза — Не попадайся ему на глаза; Не урони стакан — Не роняй стакан* и т. д. См. также протупающую общую ситуативность, связанную с совершенным видом в примерах Н. Д. Арутюновой (Арутюнова 1983): *Хорошо ходить в лес за грибами — А еще лучше за ягодами* (действие заменяется на действие); *Лучше было бы пойти на речку — А еще лучше съездить в город* (ситуация заменяется на ситуацию).

В. Биркенмайер, говоря о связи русского глагольного вида и определенности, связывает это со способом действия — Aktionsart и европейским определенным артиклем (Birkenmaier 1977; 47).

Занимаясь различием типов высказываний через употребление *-то*-группы vs. *-нибудь*-группе, О. Даль описывает это различие через введение перформативов как одной из последних инноваций грамматической теории: в *-то*-местоимениях выделяется оператор экзистенциальности, возможный при введении их в декларативные предложения. Этот оператор описывается через перформатив STATE ‘заявляю’ (к группе *-нибудь* относится перформатив PREDICT ‘предсказываю’, объединяющий модальность и футуральность) (Dahl 1970).

Таким образом, *-то*-местоимения связываются не только с определенностью, но и с экзистенциальностью, с бытийностью. В этом отношении интересным является семантическое согласование местоимения *что-то*. Само по себе местоимение *что-то* тяготеет к распространению через атрибуцию, с сохранением некоторой неточности атрибулируемого: *Когда я подошел к реке, то вдруг увидел что-то яркое и синее; То фазан сорвется, то торопливо промелькнет что-то маленькое, уродливое, унылое*. Это *что-то* может быть очень распро-

страненным и атрибутированным подробнее, чем обычно существительное; *В нем простота и скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе; Нельзя было не прочесть в этих серых бойких глазах что-то столь наглое, дерзкое и подлое; Ударился головою во что-то мягкое по ощущению, похожее на подушку, набитую хорошим пухом; На Нине было надето что-то кружевное, смутно напоминавшее жакет, и это что-то было ей тоже к лицу.*

Это тяготение что-то к неопределенной атрибутируемости сближает его с не~~что~~, еще более приобретшим налет таинственности и загадочности. Однако *что-то* в контекстах как бы должно раскрыться через атрибуцию, тогда как не~~что~~ требует проникновения скорее в суть, чем в форму: *Что-то странное произошло с присутствующими и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании; Щемит на душе: словно жаль чего-то, что-то вспоминается такое же неуловимое, как этот веселый день урожайного лета; Что-то необыкновенное было в его внешности, сразу не поймешь, но что-то под стать этому дню; Что-то такое случилось с его ратниками там, на постах, и за это «что-то» надо отвечать ему; Трудно определить это неуловимое что-то, но оно угадывалось, чувствовалось; В тоне его, в движениях, взглядах было что-то, встревожившее Волоцкого — в чем именно заключалось это что-то, он не мог тогда сказать себе; Это самая тяжелая, мучительная болезнь чего-то, чего я сам определить не могу, чего-то непостижимого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть, сию же минуту осуществится.*

Именно эта потребность для «что-то» в расширении, интродуктивности и создала фразеологизм: *В нем (в ней) что-то есть.* Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев трактуют это как 'В нем, в его личности, есть что-то особенное, своеобразное, может быть, незаурядное' (Арутюнова, Ширяев 1983; 172).

Вообще конструкции *что-то* + Атрибут тяготеют к бытийности, тем самым эти конструкции вполне связываются с параметром EXIST (см. о таких конструкциях в этом плане: Арутюнова, Ширяев 1983; 187—190, в связи с их квалификативными свойствами).

— При снятии признака экзистенциальности возникают высказывания вопросительные, повелительные модально-вероятностные. *Вчера к нам кто-то приходил.* → *Вчера к нам приходил кто-нибудь?*; *Он сыграл что-то печальное.* → *Сыграйте что-нибудь печальное* или: *Он, вероятно, сыграет что-нибудь печальное.*

Интересно в этой связи наблюдение С. Ф. Молчановой, что идея модальности начинает так прочно ассоциироваться с *нибудь*-группой, что в разговорной речи само наличие слов на *-нибудь* без каких-либо дополнений уже создает общую модальность высказывания, а именно: значение предположительности, единственным средством выражения которой и будут слова на *-нибудь*: *Чувствуется сквозняк. Кто-нибудь открыл дверь в коридоре; Слышится плач. Кого-нибудь обидели* и т. д. (Молчанова 1964).

При снятии признака однократности возникают высказывания итеративные, дуративные, генерализованные: *Каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине; Ему хотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью; Людей, похожих друг на друга, нет: каждый имеет что-нибудь свое.*

При снятии обоих признаков, как представляется, возникают предложения условно-модальные: *Всякая комедия, если она выражает что-нибудь смешное ярко и естественно, — классическая комедия; Начнет она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении с нею на дороге — я замираю от страха.*

Эти данные говорят о доминировании признака экзистенциальности, потому что именно высказывания итеративные, дуративные и генерализованные являются той сложной зоной, где допускается (или стремится быть допущенной) группа *-то-местоимений*: *Каждый день что-то утрачивалось...; Ему хотелось чего-то такого...; Каждый имеет что-то свое* и т. д. Все сказанное выше не означает, что имперфект и неактуальное настоящее несовместимы с ~~*-то-местоименной группой*~~. Напротив, нашей идеей было утверждение скрытой категории определенности, не допускающей ~~*-нибудь-группы*~~. Поэтому очевидно существование некоторого константного содержания определенности в высказывании, и если в одной части его становится меньше, то в другой при сохранении того же коммуникативного намерения оно должно увеличиться. Например: *Кто-то упал с дерева* — правильно, но: **Я хотел бы почитать какую-то книгу*; однако, возможно: *Я хотел бы почитать какую-то книгу, о которой так много рассказывал мне мой брат* или **Сыграйте что-то печальное*, но: *Сыграйте что-то печальное, то, что мы уже слышали в прошлый раз*. Таким образом, увеличение неопределенности глагольной формы требует максимальной конкретизации имени — при желании сохранить общую степень определенности высказывания.

Частицы «выделительные» принято связывать с различными формами глагола-сказуемого, определяющего тип значения частицы.

Например, *Только и сказал* (спел, подумал) — резкое окончание активности субъекта: *Только и успел сказать, как сразу грохнуло*; напротив, несовершенный вид глагола означает непрерывность и доминирование одного единственного действия: *Только и говорил об этом; Только и думал; Только и шел* и т. д. Между тем как и в случае с «акцентированием», непременно связанным с частицами, возникновение этих различий оказывается различием более глубокого смыслового характера, непосредственно с частицами не соотносящимся. Например: *Только попробуй* (скажи, сделай); *Только подумайте* (вообразите); *Только не болей* (не расстраивайся); *Ну, ребята, пойте — только гусли стройте* и т. д. Во всех приведенных примерах элиминирование *только* практически не меняет смысла, передаваемого типом и формой глагола. Таким образом, можно говорить о десемантизации *только* в некоторых случаях, но нельзя столь

определенно говорить о «длинном компоненте», включающем в себя *только*. Однако анализ зависимости частицы от конструктивной среды высказывания показывает, что частицы в этом отношении далеко не однородны. Можно предложить здесь следующие классификации: 1) большая ориентированность на акцентно-просодические средства — большая ориентированность на строевые средства; 2) связанность с общим смыслом высказывания — связанность с отдельным компонентом высказывания; 3) ориентированность на имя — ориентированность на глагол; 4) связанность с грамматической формой глагола — связанность со способом действия глагола (*Aktionsart*); 5) наконец, одни частицы вообще мало связаны со структурой высказывания, в нашем материале такой частицей была *ведь*, и по другим параметрам близкая к союзам; 6) последним критерием разделения частиц можно считать тенденцию образовывать коммуникативные фразеологизмы — обороты, где основным центром смысла являются частицы.

Представим данные анализа русских частиц в соответствии с указанными признаками:

	<i>Же</i>	<i>Только</i>	<i>Ведь</i>	<i>И</i>	<i>Даже</i>	<i>Вон</i>	<i>Вот</i>	<i>Это</i>	<i>Еще</i>	<i>Уже</i>
1. Ориентированность на акцентно-просодические средства	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Ориентированность на строевые компоненты	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+
2. Связанность с общим смыслом	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Связанность с отдельным компонентом	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+
3. Ориентированность на имя	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Ориентированность на глагол	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4. Связь с формой глагола	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-
Связь со способом действия	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+
5. Малая включенность в структуру	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-
Большая включенность в структуру высказывания	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+
6. Широкое образование фразеологизмов	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-
Малое образование фразеологизмов	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+

Существенными сближениями и расхождениями, вытекающими из полученных выше сопоставлений, можно считать следующие.

1) Выделение частиц-лидеров, максимально связанных со строевым уровнем и с фразеологизацией. Это *и*, *вот*.

2) Сходство табличных показателей у *даже* и *уже*, объясняющееся и семантикой данных частиц — их тягой к экстремальности, крайности передаваемого факта, см.: *Он даже начал задыхаться* и *Он уже начал задыхаться* (об экстремальности *уже* см.: Гойдина 1979). Этим *уже* отличается от *еще*.

3) Выявляется группа частиц, минимально включенных в структуру высказывания и минимально образующих фразеологизмы на своей основе.

Это *же*, *ведь*, *даже*, *вон*. Причины этого, как представляется, различны. *Вон*, как указывалось выше, есть частица максимально дейктическая, относящаяся к высказыванию в целом; *ведь* поясняет целое высказывание, максимально приближаясь к союзу в общепринятом понимании; *же* ориентировано на контекстную связь, сигнализируя «выход» за пределы высказывания, в которое оно входит; *даже* максимально пресуппозитивно, его скрытая семантика предела, неожиданного, крайнего, равно распространяется на все грамматические классы. Поэтому каждая из указанных частиц является чем-то предельным для своей функциональной сферы (а сферы эти у указанных частиц не пересекаются).

4) Определяются частицы, максимально склонные к образованию фразеологизмов. Это *только*, *вот*, *и*. См. фразеологизмы *и только*; *да и только*; *только-только*; *только-то!*; *чего только нет*; *подумать только!*; *где только можно*; *кто только не*; *откуда только* и т. д.; *Вот уже!*; *Вот то-то же!*; *Вот и хорошо!*; *Вот невидаль!*; *Вот так X!*; *Так вот*; *Вот уж и X*; *Вот вам!*; *А вот нет*; *Вот бы!*; *Вот я вам*; *Вот тебе раз*; *X и X (часа и часа)*; *И так*; *И без того*; *Оно и X*; *t-овые* показатели + *и (там и; оттого и; зато и)* и т. д. Объяснение выбора именно этой группы частиц как идеомообразующих оказалось затруднительным — так же, как объяснить возникновение отдельных фразеологизмов для других частиц, например *Туда же!*

Особого внимания заслуживает частица *и*. В целом ее набор значений можно передать как 1) 'ведь', 2) 'же'; 3) 'именно'; 4) 'тоже'; 5) 'даже'. Первые три типа значений связаны между собой семейной определенности: *Куплю Гнедого. Недорого и просят за него* — 'ведь'; *Эх, и хороша у вас обувка!* — 'же'; *Там его и нашли* — 'именно'. Эта сема определенности дает основание В. Биркенмайеру считать *и* артиклоидом, делающим имя определенным, точнее, не сочетающимся с неопределенным именем: *Вот и дети*, одновременно *и* выполняет и связочную функцию. Отсюда: *Часы и часы*; *Ну, книга и книга*, близкое к *Жена есть жена* и к контаминированному *Часы и есть часы*. Между тем это *и* — показатель определенности — широко присоединяется к глаголу — факт, не обсуждавшийся в этой связи: *Я и сказал ему, что ухожу*; *Он и стал летчиком*; *Кучер и распустил поводья* и т. д. Во всех этих случаях глагол по сути своей

анафоричен, имеет текстовое предварение, поэтому *и*-показатель есть в данном случае показатель глагольной определенности. О длинном компоненте или о семантическом согласовании по определенности можно говорить при *t*-овом подтверждаемом актуализаторе + указанной *и*-конструкции при глаголе: *Оттуда они и произошли; Там его и нашли; Туда они и двинулись* и т. д. Здесь определенность связывает высказывание как целое.

От подобных конструкций отличаются конструкции типа: *Ну, я ему и говорю; Вот и решил я поехать в Москву*, где *и* ближе к присоединительному союзу: *И я ему говорю; И вот я решил поехать в Москву* и т. д.

Значения ‘ведь’, ‘же’ и ‘именно’ различаются дополнительными семами, добавляемыми к определенности: факт фондовых знаний, несюжуминутный — это ‘ведь’, факт оценки — ‘же’, факт предыдущего контекста — ‘именно’.

Различение ‘тоже’ и ‘даже’ связано, в свою очередь, с различением *и* ‘даже’ и *даже*. Это различие в их употреблении может быть описано по иерархическому принципу. Прежде всего *даже* употребляется в тех случаях, когда скрытая семантика неожиданного, выхода за предел, относится к передаваемому событию в целом: *Такой волшебный лунный свет, что даже белки девчокиных глаз отливали каленой синевой*, при *и* отливало бы каленой синевой и все остальное; ср.: *В первое время у меня даже голова тряслась*.

Далее, *даже* должно быть выбрано, если в структуру высказывания уже входит *и*, хотя бы в виде сочинительного союза: *Даже старики и дети сбрасывали бомбы с крыши* — **И старики и дети сбрасывали бомбы с крыши*, но возможно: *И старики с детьми сбрасывали бомбы с крыши*. Это же относится к присутствию в высказывании *ни*, включающему *и*.

Даже обязательно выбирается, если высказывание описывает градационную шкалу, где должен быть выражен неожиданный предел: *Работал я быстро, даже с азартом; Товары были все второй, даже третий сорт; Шел он легко, даже весело*; введение *и* делает градационные конструкции сочинительными: *Работал я быстро и с азартом* и т. д.

Невозможно употребление *и* в значении ‘даже’ в указанных приглагольных конструкциях с перфективным прошедшим совершенного вида: *Я даже зазмурился; Он даже спал тогда*, ср.: *Я и зазмурился. Он и спал тогда*, где возникает описанная выше сема определенности.

И может употребляться параллельно с *даже* в тех случаях, когда речь идет не о неожиданной коммуникативной инновации, а о крайней точке некоторого ряда — *Сегодня не спит и Егор; Мне и рубля не накопили строчки* и т. д.

Как уже говорилось, скрытая семантика *даже* и *и* (‘даже’) характеризует актанта как неподходящего, в первую очередь, к указанной роли: *Даже Петров развеселился* → Петров не весельчак и т. д. См. у А. С. Пушкина: *С семьей Панфила Харликова приехал и мосье Трике. Остряк, недавно из Тамбова*. Последняя характеристика снимает возможное прочтение как ‘даже’, переводя *и* в значение инклюзивного ‘тоже’.

Данные вышеприведенной таблицы демонстрируют и асимметричность структурных строевых отношений для *еще* и *уже*. Исключая пока из рассмотрения акцентно-просодические средства и указанное значение экстремальности, сближающее *уже* с *даже* и отсутствующее у *еще*, обратим внимание на другие расхождения.

Еще в сочетании с будущим временем свойственно значение оптимистического обещания: *Мы еще увидим небо в алмазах; Ты еще покажешь всему миру, на что ты способен. Уже* не входит в эту оппозицию, с будущим временем сочетается только *уже не*, но построенные таким образом высказывания фактивны и лишены перлокутивной окраски: *Мы уже не увидим неба в алмазах; Ты уже не покажешь всему миру, на что ты способен.*

Конструкции с *еще* и прошедшим временем обоих видов имеют значение напоминания: *Вы еще тогда с братом моим танцевали; Еще вы рано ушли с этого вечера. Уже*, вводимое в подобные конструкции, также фактивно и лишено перлокутивного характера.

Третьим значением *еще*, не разделяемым *уже*, является значение несоответствия поведения обсуждаемого лица его предполагаемому статусу: *А еще старым другом считался; В суде отказали. Еще родственники называются.*

Как отмечалось неоднократно в литературе, *еще* и *уже* могут совмещаться на промежуточных этапах (Моисеев 1978, Волкова 1977): *Он еще юноша; Он уже юноша*, но не **Он уже ребенок, *Он еще старик*. В применении к подлежащему процессу, выражаемому несовершенным видом, *еще* и *уже* распределены по фазам действия: *Он уже спит* — начало действия, антоним — *Он еще не спит; Он еще спит* — завершение действия, антоним — *Он уже не спит* (здесь завершаемость действия есть факт скрытой семантики — *Он еще спит*, значит, что уже мог бы и не спать, а не объективное физическое состояние). Таким образом, *еще* и *уже* в части своей семантики связаны с фазами действия глагола-сказуемого, с тем, что называется способом действия.

При соотносительности на временной оси двух событий антонимичными могут быть комбинации: *уже — еще; уже не — еще; уже — еще не*. Примеры видовых комбинаций при таком соотношении: *Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл* — несов. вид/сов. вид; *Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят* — несов. вид/несов. вид. Сочетание сов. вид/несов. вид в этом значении частиц исключено. Возможны построения типа: *Вы тогда еще закричали, когда уже я к дому подходил*, но в этом случае *еще* имеет значение напоминания; реальные примеры подобного рода в имевшемся материале обнаружены не были.

Из трех значений *же*: 1) отождествительного, 2) противопоставительного, 3) итогово-результативного — именно первое при своей реализации обладает тенденцией склеиваться с наречными показателями времени, места, создавая подчеркнутость отождествления — 'именно так, а не иначе' — *тотчас же, теперь же, сию же минуту, с первых же месяцев* и т. д. Это *же* имеет отожде-

ствительное значение, при соотнесении с признаком вызывает повторение прилагательного — носителя признака: *Остановилась перед деревянным домиком с деревянной же калиткой*. Варьирование этих местоимений позволяет сделать более глубокое отождествление объекта на уровне идентификации денотата: *Вышла женщина, похожая на Федора Лукича: такая же грузная, тот же ласковый взгляд, те же черты доброго, открытого лица* — можно предполагать, что это родственница Федора Лукича, а не просто похожая на него женщина (тогда был бы *такой же взгляд, такие же черты*).

Семантическое согласование *только* связано в основном не только с видом глагола-сказуемого, но и со способом действия. Это соотносится с началом некоего действия в момент совершения другого действия: *Только задремал ямщик, на дорогу выходит кто-то; Только начало смеркаться, он и постучал...*; в этом общем значении несовершенный вид не употребляется. Напротив, совершенный вид исключается для того общего значения, которое связывается с всепоглощающей исключительностью длящегося действия: *Он ничего не говорил, только смотрел; А баба только кланялась и кланялась*.

Семантическое согласование иногда приписывается разным сочетаниям *только* с императивом: *Только попробуй!; Только смотри у меня!; Только не забывайте нас* и т. д. Как уже говорилось, семантического согласования здесь нет, разные типы значений представлены императивными конструкциями и без *только*.

Семантически согласованные компоненты с *вот* обсуждались отчасти в связи с дейксисом, относящимся ко всему высказыванию, — в сравнении с *вон* и *это*. Указано было на несочетаемость *вот* с единичным неупомянутым именем, на тяготение *вот*-связки к обобщенному имени (*Ученость — вот чума* и т. д.). Эта обобщенность сочетается с *вот* и при оценках: *Вот невидаль!; Вот дурак!; Вот свинство!* и т. д.

Сочетание *вот* с Praesens historicum процессуальных глаголов сочетает интродуктивность с наглядностью: *Вот едет он к сестре в гости* и т. д., сочетание *вот* с фазисным значением настоящего — результат: *Вот получает он от нее письмо*. Сочетание *Вот* с Futurum perfectum чаще всего связано с сочетанием условности и результативности: *Вот придет барин, барин нас рассудит*.

Вот, только, и, как уже указывалось, являются основными частицами, формирующими фразеологизмы.

Анализ семантики длинных компонентов, включающих в себя частицы, во многом был неполным из-за сознательного исключения из рассмотрения в данном параграфе акцентно-просодических феноменов, между тем именно частицы являются той поистине уникальной частью речи, которая непосредственно связывается даже в самом упрощенном описании с интонационно-акцентными факторами.

§ 12. Понятие акционального статуса и различие *хотя* и *хоть* в синхронии и диахронии

В последнем параграфе второй части нашей книги, входящем в некий цикл, обращенный к частицам, понятие формальной структуры высказывания, сохраняясь, превращается уже в семантическую его структуру, по-прежнему связанную с грамматическим устройством.

Как уже говорилось выше, в течение долгого времени в славянских языках работает некий «конструктор», создающий все лексические единицы партикулярного фонда — *и + бо, ли + бо, и + ли* и т. д. С некоторого времени, он почему-то перестает порождать новые структуры, хотя число возможных комбинаций еще не исчерпано. В эволюцию вовлекаются слова знаменательного фонда в их «застывших» формах, либо даже заимствованные партикулы. Однако и новые компоненты соблюдают все те же «правила игры», добавляя элементы из старого фонда и входя в отношения синонимии-многозначности.

Задачей, поставленной нами, была проблема различия *хотя* и *хоть*, во многих грамматиках признаваемых вариантами с разными пометами (разг.? устар.? и проч.). Оказалось, что их различие ведет к довольно глубокому дистанцированию по акциональному статусу, то есть по тому фактору, совпадает ли действие с уступительным компонентом с действием основным или как-то ему противопоставляется. Есетственно, что в своей основе это различие ведет к исходной грамматической форме этих слов: деепричастие vs императив.

Однако и тут, как и в случае с выделением «лексического ударения» через пик интенсивности, можно возразить: ведь неразличение или смешение этих союзов-частиц будет допустимо в пределах нормы! Да и именно анализ таких случаев, как можно сказать еще раз, отличает лингвиста-исследователя от лингвиста-нормализатора или преподавателя. И в этом случае мы обнаруживаем те самые «обрывки и клочья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перепутанные процессами технизации», о которых мы писали выше, ссылаясь на В. И. Абаева.

Итак, задача — найти (обнаружить) семантико-функциональные различия уступительных союзов *хотя* и *хоть*.

Квалифицируются эти союзы в литературе по-разному. Существуют следующие варианты:

1) *Хотя (хоть)*. То есть тем самым они объявляются полностью синонимичными.

2) *Хотя* (разг. *хоть*). Здесь *хоть* объявляется стилистическим (или стилистико-функциональным?) вариантом.

3) *Хотя, хоть*... Таким способом они объявляются разными союзами, но об их различии, как правило, не сообщается, и в дальнейшем они фигурируют именно такой сдвоенной парой.

Существует мнение, что *хоть* — феномен фольклора: пословиц, былин, поговорок. Не исключает его и трактовка *хоть* как фактора ритмического, как бы «краткого» односложного варианта *хотя*. Наконец, *хоть* считается признаком несколько простонародного употребления. И, разумеется, все эти наблюдения справедливы.

По поводу функциональных различий *хотя* и *хоть* существует публикация Н. П. Перфильевой (Перфильева 1977). Автор ощущает отсутствие обоснований для объявления *хоть* «фонетическим» вариантом от *хотя* и обследует составленную ей картотеку из 220 примеров сплошной выборки (художественная литература XIX и XX веков). Кратко ее выводы можно характеризовать так, что *хоть* чаще встречается в «нереально-уступительных» конструкциях, а *хотя* — в «реально-уступительных» и сопоставительно-противительных. Кроме того, *хоть*, по ее мнению, ближе к частице, выполняя ограничительную функцию, и потому — это таксономически гибридная лексема, а *хотя* — ближе к собственно союзу. Тем самым, «функтивы *хотя* и *хоть* не являются вариантами» (Перфильева 1977; 69).

И все же функциональные различия этих союзов, именно как союзов, ощущаются и в современном русском литературном языке¹.

Например, скорее всего будет сказано: *Хоть Вы меня всегда и обижали, а я к Вам все равно хорошо отношусь* (но не *хотя*); *Он подолгу оставался на работе, хотя у него и дома были все условия* (не *хоть*); *Она какая-то нескладная, хоть и красавица* (скорее *хоть*, а не *хотя*); *Я продолжал бежать, хотя силы уже иссякали* (здесь вряд ли *хоть*).

Можно предположить, что *хотя* до сих пор сохраняет свою исходную функцию быть деепричастием (причастием) настоящего времени от глагола *хотеть*². Иначе говоря, *хотя* стремится передавать параллельные акциональные процессы, состояния, поступки.

Тогда естественно предположить, что *хоть* связывается с иной сферой временного статуса. Действительно, *хоть* передает, как правило, состояние статальное, как бы извечный статус, или статус сегодняшнего дня, но не действие в настоящем, наконец, этот союз передает действие, совершенное в прошлом, или даже действие, предполагаемое в будущем.

См., например, прекрасно иллюстрирующий этот тезис пример из «Мощари и Сальери» Пушкина:

И никогда на шопот искушенья
Не преклонился я,
Хоть я не трус,
Хотя обиду чувствую глубоко.

¹ Еще раз напоминаем о том, что речь будет идти не о невозможности/возможности, а о некоторой обнаруживаемой тенденции употребления этих союзов.

² О существующих неясностях в определении происхождения союза *хоть* будет говориться далее.

Здесь очевидно постоянство признака в первом случае — с *хоть* и одновременность состояния двух акциональных феноменов во втором — с *хотя*.

Итак, *хоть* как бы отходит от неопределенности сейчас свершающегося события, в отличие от совпадающего с ним по времени *хотя*.

Поэтому именно *хоть* гораздо чаще сопрягается с *и*, которое уводит восприятие от настоящего момента, перевода происходящий факт в сферу известности, определенности, некоторой анафоричности: *Утро было светлое, хоть и холодное*.

Подобное *и* связано с категорией определенности, известности, так что высказывалось даже предположение, что такое русское *и* можно считать (условно!) чем-то вроде «определенного артикля» при глаголе (см. предыдущий §). Например,

— *А Вы бы поискали это в «Доме книги»!*

— *Я и был там.* (Или — *Я там и был*).

Необходимо заметить, что здесь еще раз встает проблема требования/нетребования дистантности или контактности при квалификации лексемы как цельного единства. Иначе говоря, если завтра будет принято решение о слитном написании с частицей *бы*, то тут же — как естественный факт — возникнет союзчастица *хотя бы*, подобно *даже* или *неужели*. Поэтому не так просто ответить на вопрос, не существует ли как цельность союз *хоть и* (и даже *хотя и*), или это все-таки комбинация двух союзов. К этому же кругу проблем относится и вопрос (более остро он встанет ниже, при обсуждении древнерусских данных) о синонимии союзных лексем с «распространителями» и без них. В частности, очевидно, что *и хоть*, и *хотя* в сочетании с существительными конкретного значения имеют семантику минимизации, однако они не противопоставлены друг другу «прямо», то есть нельзя сказать: *Дайте хоть кусок хлеба vs Дайте хотя кусок хлеба*, но *хоть* в таких конструкциях противостоит *хотя бы*, то есть *хотя* с распространителем *бы*. Семантическое противопоставление в этом случае, как представляется, следующее: *Хоть* ориентировано на ноль, на возможную опасность не получить ничего, а *хотя бы* — на некий исходный, но ожидаемый минимум с надеждой на нечто большее. То есть *Дайте хоть два рубля* имеет в пресуппозиции: если у Вас так плохо с деньгами и Вы не хотите ничего давать, а *Дайте хотя бы два рубля* подразумевает: а если больше, то было бы еще лучше.

В свете всего вышесказанного важно отметить, что сформулированная выше функциональная дистрибуция примеров с *хоть* и *хотя* вполне отчетливо просматривается в наших «академических» грамматиках русского языка, однако, по нашим наблюдениям, на это ранее просто не обращали внимания.

Например (используем приведенные там данные):

Я обрадовался, увидев родной город, хоть и неласков он был ко мне (Ф. Шляпин) — известное предшествующее состояние;

Иван Степанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке (Ю. Олеша) — постоянный статус персонажа.

Вы хоть и мастер угадывать, однако же ошиблись (Ф. Достоевский) — также известный постоянный статус.

Хоть слушать всякий вздор богам бы и не сродно. / На сей однако ж раз послушал их Зевес (И. Крылов) — известное постоянное свойство богов.

Приведем примеры на *хотя*:

Ей пробовали рассказать, что говорил доктор, но оказалось, что, хотя доктор и говорил очень складно и долго, никак нельзя было точно передать того, что он сказал (Л. Толстой) — одновременный процесс речи и непонимания.

Мой репертуар стал казаться мне заигранным, неинтересным, хотя я и продолжал работать, стараясь внести в каждую роль что-то новое (Ф. Шляпин) — одновременность акции и внутреннего состояния.

Учился он порядочно, хотя часто ленился (И. Тургенев) — одновременность протекания акциональных процессов.

Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми (В. Короленко) — одновременность двух состояний.

Хотя ложь еще живет, но совершенствуется только правда (М. Горький) — одновременность двух процессов.

Хотя в комнате были только эти двое товарищей — друзей, начальник артиллерии со всей военной выправкой подошел, остановился и рапортовал о предварительном исполнении приказа (А. Толстой) — одновременность действия и состояния.

Можно ли, отметив подобную тенденцию, тут же фиксировать случаи контр-примеров, то есть случаев, когда эти союзы употребляются не так, как мы предположили выше? Разумеется, можно.

Прежде всего большая краткость *хоть*, его неоспариваемая «разговорность», ведет к его предпочтительному использованию в кратких поэтических жанрах, особенно — в баснях, эпиграммах, частушках и под. При этом нужно учитывать и иные, чем у *хотя*, ритмические возможности *хоть*: двусложное слово vs односложное. Например, у И. А. Крылова: *Хоть видит око, да зуб неймет* — при несомненной одновременности действия, *хоть* обеспечивает ритмический рисунок.

Кроме того, *хотя* — слово более протяженное и более «книжное» — является более предпочтительным у писателей при описаниях разного типа, при рассказе о развертывающихся событиях и т. д. Несомненно, что деловой язык предпочитает именно *хотя* (возможно, и из-за своей большей ориентированности на «презентное» состояние).

Таким образом, целесообразнее говорить не о семантической оппозиции этих двух союзов, а о тяготении каждого из них к разным полюсам некоей общей семантической шкалы.

В связи со всем вышесказанным было существенно понять пути эволюции *хотя* и *хоть* в диахронии, а также их схождения и расхождения на разных этапах истории русского языка. В Словаре И. Срезневского анализируется только

*хотя*³. Словарь русского языка XI—XVII веков, издаваемый Институтом русского языка РАН и Словарь русского языка XVIII века, издаваемый Институтом лингвистических исследований РАН, до этих слов в своих выпусках еще не дошли. Таким образом, основным источником явилось использование материалов Картотеки Словаря русского языка XI—XVII веков Института русского языка РАН⁴. (Мы пользуемся случаем поблагодарить за эту возможность руководство Словаря и сотрудников отдела.) Собранный материал показал, что анализу подлежат не два слова: *хотя/хоть*, а три: *хотя*, *хоть* и *хоти*. Последний союз, в настоящее время не употребляющийся, в древнерусском языке книжного стиля представлен широко и, несомненно, по своему происхождению является «застывшей» формой императива от *хотети*, подобно тому как императивами являются и другие уступительные союзы: *пускай* и *пусть*. *Хотя* же, как уже говорилось, — это форма деепричастия от того же глагола, аналогичная *несмотря* от *смотреть*. О происхождении лексемы *хоть* будет говорить специально, в заключительной части параграфа. Сейчас же необходимо заметить, что именно этот союз-частица *хоть* оказался представленным в Картотеке минимальным числом примеров, в отличие от *хоти* и особенно — от *хотя*. В дальнейшем используются только примеры на *хоть* из Картотеки, встреченные в книжных текстах, и не привлекаются данные, почерпнутые из сборников пословиц, поговорок, народных речений и проч., как плохо датированные.

Заметим, что оппозиция *хотя/хоти* не отмечается для текстов не-книжного характера. Например, А. А. Зализняк в своей фундаментальной монографии о древненовгородском диалекте (Зализняк 1995) не фиксирует ни *хоти*, ни *хоть*, но приводит четыре контекста с *хотя* (хотѧ).

1) Грамота № 605 (конец XI — нач. XII в.):

...оже ми лихо мѣлваше и покланю ти сѧ братъче мои то си хотѧ мѣлвати ты еси мои а ѡ твон (Зализняк 1995; 246). Здесь несомненно значение минимизации «хотя бы».

2) Грамота № 724 (предположительно 1161—1167 гг.):

и заславъ захарѧ въ вѣрь Чрокѧ не данте савѣ ни одного песца хотѧ на нихъ емати и самъ (Зализняк 1995; 295). Здесь определить значение затруднительно. Возможны два варианта, и А. А. Зализняк это отмечает в переводе (Зализняк 1995; 296): «я сам хочу за это взяться», тогда деепричастие предлагает как бы «галлицизм» для этой эпохи. Второй вариант — «Сава хочет сам за это взяться». Но в любом случае эта форма представляется деепричастной.

3) Грамота № 489 (первая половина XIV века):

Ѡ попа .ко .монсею .востѣписа

³ хотѧ — со значением: 'по крайней мере' и со значениями 'хотя, хотя бы, если' (Срезневский 1959; 1394).

⁴ Для уточнений и расшифровок использовался: Указатель источников Картотеки Словаря русского языка XI—XVII вв. в порядке алфавита сокращенных обозначений. М., 1984.

... [л] ѡ хотѣ бы истерати

... [ѡ] зо во томо а дома п [р] о. (Зализняк 1995; 452). Здесь *хотя* переводится уступительно-условным комплексом «если даже».

4) Грамота № 317 (вторая половина XIV века):

... а нынѣ покаитеса того безаконна а не то дѣло шканѣное немного поводити а тыхъ бы хотѣ и не постыдѣтиса (Зализняк 1995; 463). Это сложное для понимания место А. А. Зализняк переводит как: «Покайтесь же теперь в том беззаконии! А на то дело окаянное немногих попускает; а [вам] бы их хотя б не стесняться (т. е. хорошо бы, чтобы вы хотя бы не боялись осуждения с их стороны)» (там же). Эти четыре примера приведены специально для сравнения с неидентичным по семантике и структуре материалом книжных текстов Словаря РАН.

Понимая всю сложность представления функциональной семантики древнерусского материала, после обдумывания различных способов его представления, мы пришли к выводу, что изложение целесообразно строить следующим образом.

Сначала сообщается о некотором сложно определяемом «кусте» значений, полифункционального типа, который соответствует всем анализируемым союзам. После чего представляются менее диффузные моносемантические употребления⁵.

Вторая часть описывает семантику указанных трех союзов с распространителями (с вниманием к тем таксономическим трудностям, о которых говорилось выше).

В третьей части сообщаются факты, относящиеся только к одному из союзов — 1) уникальные семантические особенности и 2) не характерный для других распространитель.

В четвертой части делаются некоторые выводы о смысловом и функциональном различиях союзов-частиц *хотя*, *хоти* и *хоть* в древнерусском языке.

1. Первый семантический комплекс — ‘пусть — если — хотя бы’.

Хотя:

прибыльнее лѣбъ ясть, хотя не хочется, нежели словъ лживыхъ слушать, Фрол Скобеев сказал... хотя жить свой утрачу, а от Аннушки не отстану.

Хоти — подобные примеры не встретились.

Хоть — ситуация аналогичная.

Второй семантический комплекс — ‘пусть — если’.

Хотя:

нашъ царь приказался накрепко: кто станетъ хотя царемъ назватся, повелель съсечь его,

⁵ Графический облик примера точно повторяет тот вид, в котором он представлен в Картотеке. Необходимо уточнить также, что представляются именно **примеры**, а не весь материал в Картотеке. Не сообщается также источник для каждого приводимого примера, так как это сильно увеличило бы объем статьи.

как ни *ѡсть хотя неть* согласия между ими и другъ друга укоряеть обаче *всѣ согласно заповѣдь магометскую сохраняють*.

Хоти:

у брата своего у царя я не живу, а *хоти* коли у него буду, и онъ меня таит-ся, а в князя *дѣла* еще со мною не *дѣлываль*.

Хоть:

*есть в томъ государствѣ води тепліе, в которыхъ мощно изварити яйце без огня и рибу хоть без дровъ и без огня*⁶.

Первое одиночное значение — **уступительности**: ‘*пусть*’ (‘*хотя*’):

Хотя:

дѣа еси моя милая дѣца хотя ты меня много хулиши і лаеш і без чести і соромотиши а я на тебя не могу злобы ни досады держати,

а воду то святить, хотя истинный крестъ погружается, да молитву дѣавольскую говорить,

хотя мнѣ голова своя положити, а тебѣ послужу.

Хоти:

и бояре и дѣяки говорили: хоти государь вашъ въ то время еще на государстве не былъ... да въ томъ лихово нѣтъ ничего.

хоти мнѣ шаха лѣта все дожидатца, а къ шаху мнѣ безъ людей не езживать, и говорить де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за Азовъ стоять крѣпко.

Хоть — примеры не обнаружены.

Второе одиночное значение — **условия**.

Хотя:

а хотя кто что вынеслъ или на поле, на огороды, или въ греблю, то все пламенемъ взялось.

а хотя коли повелимъ имати или на тѣхъ, у кого будутъ грамоты наши жаловальныи, на монастырскихъ людехъ ни тогда никто не емли ничего по сей нашей грамотѣ.

Хоти:

хоти придет к царю и на двор, а свѣдаетъ, что у Леонтья царя Турского или Кизилбашского шаха послы или посланники и ему к царю не ходити, а ѣхати к себѣ на подворье,

кто украдетъ хоти что не своихъ б алтынъ будет хоти дерзнул на государя своего рукою до оружія.

Хоть — примеры не обнаружены.

Третье одиночное значение — **временное** (‘когда’).

Хотя:

а хотя он после нѣсколько сот годами опят в жидовскую землю пришьоль, и онъ все пусто нашель.

⁶ Очевидно, что последний пример можно рассматривать как сложное предложение с большой натяжкой, то есть считать часть после *хоть* эллипсисом.

Примеров с *хоти* и *хоть* в этом значении не обнаружено.

Четвертое одиночное значение — **минимизации** ('хотя бы').

Хотя:

*аще ли кто въ печали человѣка призритъ, хотя студеною водою напоит во
узноенный ден, не лишен будет царства небесного,
и ежели иного кого не същещца, то извольте послать хотя Федосью Грекову,
довлѣтъ, чтобъ тѣ анбары, хотя не всѣ, были въ городѣ.*

Хоти:

и по ся мѣста мочно было изготовити хотя два отпуска такихъ.

Хоть — примеры не обнаружены.

К этому значению примыкает более общее значение «крайности», доведе-
ния до предела: *и такъ тонцовали что и сорочки их хотя выжми отъ поту их.*

2. Прежде чем перейти к семантике анализируемых союзов с «распростра-
нителями», в качестве «гибридной» конструкции приведем примеры на **раздели-
тельное** значение союза *хотя*, который, дублируясь, передает значения:
'или...или; будь то... или' и под.:

*а за кормилица 12, такоже и за кормилицю, хотя си буди холопъ, хотя си
роба,*

*слыша же блаженный Андрѣй, еже вопіаху, помилуй нас, хотя, либо не хотя,
начася смѣяти,*

а на Кемчике де острог хотя ставити, хотя и нет,

и о томъ объяви Курлянчикомъ, и вели збирать, хотя хотятъ, хотя нѣтъ.

Хоти в данном значении не представлено.

Хоть:

*а ты де, Савка, ей, царевне, о томъ хоть извѣщай хоть нетъ, я де про то
сама съ Ульяною переговорю въ Покровском у церкви, у ранней обедни,
і ты стафъ хоть 1000-чи хоть 100, хоть 10 и опъ томъ не думай, хоть
многое число напередъ, хоть малое, толко чтобъ правая сторона была равна.*

Несколько смешивая композицию, заметим, что в подобном значении вы-
ступает и структура *хотя... или*:

*а речетъ тако: хотя богатырь или не богатырь, однако если холопъ госу-
даревъ и ко мнѣ имени не прибудетъ,*

*я же вездѣ въ равномъ разстояніи стоять не смотря на то хотя прямо или
криво идуъ.*

3. Наиболее частотным распространителем для всех трех союзов безуслов-
но является *и*.

Первое значение — комплекс уступительности + условия: 'пусть—если—
если даже'⁷.

⁷ Разумеется, *даже* — это почти синоним *и*: *Вдова должна и гробу быть верна = даже
гробу*, но семантика и часто приближается к грамматикализованности, тогда как *даже* вос-
принимается более «отчетливо».

Хотя:

а будетъ сыщется, что жили болиши трехъ мѣсяць и на тѣхъ людей кабалы давати и поневоля, хотя они к ним итти въ холопы и непохотятъ, ко всемъ милой другъ заежжаетъ, онъ к одной ко мнѣ не заедет, а хотя онъ ко мнѣ и заедет, он тайны мнѣ онъ (так! — Т. Н.) не скажетъ.

Хоти:

а хоти и тѣхъ людей на Крымской сторонѣ не будетъ, и ему крымскою стороною отъ астроханскихъ воровъ не пройти, а хоти и цесарского или королевского или какова вельможного роду къ тому рыцарскому братству пристать хочеть, сперва долженъ о томъ прошение принестъ.

Хоть:

а хоть поедет басурман через мою землю, яз и его велью проводить с честью, а то ведь царевич, да мне и свой, если якій скоть на що наколется или стрѣлю прострѣленъ будетъ хоть и наскрозь то тимъ коренемъ исцѣлѣется.

Второе значение — одиночное — **чистой уступительности:**

Хотя:

Ляховъ въ мукахъ учили, хотя и сами холопы, а намъ до Ржевскихъ дѣла нѣтъ, а Хима Ржевской хотя и будетъ Карповыхъ роду и Ржевским с Карповыми далеко разошлись.

Хоти:

и государь вашъ хоти нашимъ рѣчемъ съ тобою и не говоритъ и не повѣритъ, и государь вашъ повѣритъ государя нашего грамоте, и нынѣ ты братъ мой въ мыслѣ себѣ такъ взялъ, хоти есмь отъ тебя и далече, а ты бы насъ близко себя чинилъ.

Хоть:

климатъ нашъ хоть и суровъ, однако же не всегда же ненастья да туманы, бываетъ и ведро.

Третье значение, также одиночное, — **минимизации**, близкое к современному «хотя бы». Обнаружено только с союзом **хотя**:

обо всемъ что вы нынѣ чините и где обрѣтаетесь, писать по вся недѣли, а не хуже хотя и по дважды въ неделю.

4. Вторым по частотности распространителем уступительных союзов **хотя** — **хоти** — **хоть** является отглагольная частица **бы**.

Общим семантически является компонент **условно-уступительного** значения: ‘пусть/если’.

Хотя:

когда лошадь будетъ иметь черные мяса сухи, тогда хотя бы имѣла задние кости широки будетъ казатца не статна.

Хоти:

а хоти бѣ государь вашъ надъ ними что и учинилъ и государь нашъ по своей правдѣ о томъ взысканіе учинить.

Первое одиночное значение — **уступительности**: смысловой показатель 'пусть':

Хотя:

и если, государь, милость ваша к нему будет, чтобъ ему объявить чрезъ письмо, хотя бь, государь, его малымъ потѣшеньемъ что дать.

Хоти:

что вамъ мне въ беломъ платьи положити, хоти бы язъ и здорově былъ, но мысль моя... предлежитъ в черничество.

К нему примыкает «субзначение» — 'пусть даже', то есть как бы **усиленная уступительность**:

И Ильдеджерта гораздо лутче убралась, i в консилиуме о войнѣ предлагала такъ порядочно хотя бы самому знающему все военные обряды.

Хоти — примеров в этом значении не обнаружено.

Второе одиночное значение — **условия**: 'если':

Хотя:

прежде всего надобно смотрѣть воздухъ и положеніе того мѣста гдѣ лошадей содержать. Ибо хотя бь кто Арапскихъ, Турецкихъ и Неополитанскихъ жеребцовъ имѣлъ, но ежели мѣсто и воздухъ къ тому неспособно, то никакого успѣху не будетъ.

Хоти:

хоти б которая меж Келмашетем... была с Будачеем и с Муцаломъ и ссора и чем было бити челомъ великому государю, а не им, Аллечуке и Хотаджуку... управливатца.

Третье одиночное значение — **минимизации**, некоего изначального, но необходимого минимального отсчета.

Хотя:

и требуетъ от вас хотя бь словесно благословили заочно.

Хоти:

онъ бы хоти въ Астрахань послалъ людей своихъ.

5. Последняя разбираемая нами конструкция является общей для трех союзов — это их сочетания с показателями **количества**. Будет справедливо заметить, что многие высказывания, приведенные нами выше в качестве примеров на отдельные значения, на самом деле почти синонимичны, и проводимые семантические границы часто искусственны. Кроме того, несомненно, что в приводимых далее примерах *хотя/хоть/хоти* являются, скорее, частицами, а не союзами, недаром В. В. Виноградов именовал их «частицами-союзами».

5.1. Комбинация союза с распространителем-показателем *мало*⁸.

Хотя:

а мы ныня хотя мало поболим или жена, или дѣтя то стальше бга врага дшамъ и тѣломъ ищемъ проклятыхъ бабъ чаробѣицъ,

⁸ Примеров на эту конструкцию приводится несколько больше, чтобы показать — хотя бы иконически — степень ее распространенности и грамматикализованности.

*печаль преложить и отдохнове не хотя мало сотворить ми,
а ежели что хотя мало что в доимку упущено будетъ і оная възыскана бу-
детъ на Колской воевоцкой канцеляриі несомненно,
надлежатъ прихавъ на станъ давать онымъ лошадямъ хотя мало есть
отрубей моченыхъ чтоб те отруби прочистили горло.*

Хоти:

хоти маленько побѣлее золотово ся покажетъ то дешевле емли.

Хоть:

*что бы, государь, спустити б дней или въ два, что было, то судить хоть
мало болѣзни твоей облегчения.*

5.2. С тем же значением **минимизации** выступает сочетание союза-части-
цы с числительным **один**:

Хотя:

*аще къ ней прикоснется хотя единымъ словомъ, то не можетъ сей день
живъ быти,*

*а кто утаитъ хотя одну обжу, а уличимъ его, и мы того скажемъ своимъ
государемъ.*

Хоти:

*а ты молви хоти одно то: царево слово на головѣ держу,
яко ни у меня с собою нет, ни в Литве остася, такова хоти едина пицаль,
еже столь далече шествие пути кажет.*

Хоть:

*я готовъ тотчас умереть, говорил Гардвин, ежели у меня хоть одна капля
крове что иное думаетъ, кроме спокойствия моей милостивой принцессы,
а будетъ я... образцовъ против сей млювной записи хоть въ единомъ въ
словѣ своемъ не устою.*

6. Итак, выше были продемонстрированы основные значения уступитель-
ности, передаваемой через союзы *хотя/хоти/хоть* и модификации этих значе-
ний при введении в высказывания «распространителей» при этих союзах. Не-
трудно заметить, что выделяемые значения могут оказаться абсолютно сино-
нимичными в высказываниях с распространителями и без них; наконец, в
современном русском языке в одних случаях распространитель был бы элими-
нирован, а в других — введен. Все это еще раз подтверждает нашу мысль о
практически непрерывно работающем «конструкторе», формирующем из пар-
тикульных компонентов (как указывалось выше, по модели, напоминающей
игрушку-калейдоскоп) разнообразные сочетания и комбинации. В языковой
эволюции они могут объединяться, и разъединяться, по-разному комби-
нироваться — именно по указанному принципу.

Кроме того (подобные примеры не приводились из-за боязни слишком пе-
регрузить наш текст) все эти распространители могут быть представлены в
разных внутривидовых сочетаниях. Таким образом, возникают квазикомплек-
сы типа *бы + и*, *бы + и + один*, *будетъ + и* и т. д., сходные с теми комплексами

клитик, которые известны для синтаксиса древних языков (например, хеттского), для романских языков, для южнославянских и т. д.

В заключение остановимся на тех комбинациях, которые характерны для одного какого-либо союза из анализированных трех.

6.1. В первую очередь это относится к сочетанию *хотя* с инфинитивом. То есть здесь *хотя* выступает в своей исконной функции деепричастия от глагола *хотети*. В современном русском языке такое *хотя* было бы передано как: *желая*.

прииде в Киев Дионисии архиепископъ Суздальскыи... и хотѣ ити на Москву, хотя быти митрополитомъ на Руси,

король бо поведе его на великого князя, хотя разорити христианство, и прихотя он, Сумчалей... великую нам тесноту и изгоню чинит, хотя нас к себе в холопи взять и от твое царские милости отлучить,

бедный... умысли себе смерти предати, бросися прямо с мосту в ров, хотя ушибѣтися до смерти,

имѣемъ примѣръ памятной о взятіи буржса ілі бурга. Того ради что хотя его спасті его отъ здраваго, убережень онъ былъ на нужду римлянномъ.

Естественно, что в подобных конструкциях не выступают ни *хоти*, ни *хоть*.

6.2. Второй не общераспространенной конструкцией является модель, где в основном выступает *хоти*. Это: *хоти + ино*.

Если в предыдущих примерах *хотя* четко выступает в функции деепричастия, то в этой — несомненно союзная функция *хоти*. Синтаксис соответствует правилу строгого параллелизма двух сообщаемых ситуаций.

Ино можно рассматривать и как целостную лексему, и как партикулярный комплекс: *и + но*. Тогда он может анализироваться как дистанцировавшееся *И*, столь обычное для уступительных союзов *хотя/хоти/хоть*, в сочетании со столь же распространенным противительным *НО*. Однако эта лексема, несомненно, имела диффузную семантику. В Этимологическом словаре славянских языков для уровня древнерусского языка *ино* приписывается значение ‘но’, ‘то’, ‘так и так’, ‘разве’, ‘только’ (ЭССЯ, 8; 168). И. И. Срезневский приписывает ему значения ‘то’, ‘но’, однако несомненно, что ряд примеров и для него остался семантически непзрачным:

А подале пошедъ, ино темница Господа нашего Іисуса Христа.

А въ црковь ту влезши, ино на правѣ Гурзинскія службы, Гурзи служатъ и т. д. (Срезневский 1958, 1; 1102).

Для указанной конструкции очевидно, что союз (союзная часть?) связывает синтаксически параллельные действия, где обсуждение говорящим второй ситуации обусловлено ситуацией первой:

а говорилъ де брату своему Кедяю Алей царевичъ: хоти де послать проведать про посланника своего про Чирючя ино де послать человека с 2 или с 3, хоти низок потолок, ино огня не страх,

и бояре и дьяки говорили: хоти государь вашъ въ то время ещо на государстве не былъ, ино отецъ его шахъ... о томъ ко государю нашему, приказываль, да въ томъ лихово нѣтъ ничево.

6.3. Последняя конструкция является не столько не общей для союзов, сколько реликтовой, и потому рассматривается в этом же разделе. Это — сочетание союзов с распространителем *будет + и* (без *и* подобная конструкция в Картоотеке не была представлена). Все высказывания с *будет* имеют значение **футуральной условности + уступительности** (последнее не во всех случаях)⁹.

Хотя:

а будетъ проведаютъ или хотя будетъ и Александровых, а посадилъ его шах, к тому новому царю не ходить,

сказал: такова разряду не помню, а хотя будетъ таковъ разрядъ и былъ и Юмранъ былъ менши чюлка,

Азовъ сталь некрѣпокъ, мочно его взять... только безъ государева повелѣнья учинитъ того не смѣютъ, хотя будетъ и возьмутъ, а ему, государю, будетъ неприятно, попрежнему Азова у нихъ принять не велить.

Хоти:

и того бѣ образа просити за изборскихъ людей пятьдесятъ человекъ, да хоти будетъ къ тому и прибавити, ино прибавит и Фому Мотукѣва.

Как видно из предшествующего изложения, *хотя*, *хоти* и *хоть* (последнее, как уже говорилось, было представлено в картотеке минимально) по смысловому заданию оказались очень близкими. Формальные различия относятся к уникальному употреблению *хотя* с инфинитивом, а *хоти* — с *ино*.

Есть ли все же какие-то различия между этими союзами на древнерусском уровне? Если есть, то искать их нужно, видимо, на каком-то особом смысловом пласте.

Обратимся к примерам с *хоти* и проанализируем их категориальную структуру:

и бояре и дьяки говорили: хоти государь вашъ въ то время еще ни государстве не былъ, да въ томъ лихово нѣтъ ничево,

и говоритъ де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за Азовъ стоять крѣпко,

а нынѣ тебѣ не до тово, хоти еси добрѣ силенъ и крѣпкаго умыслу,

а хоти и тѣхъ людей на Крымской сторонѣ не будетъ, и ему крымскою стороною отъ астроханскихъ воровъ не пройти.

Ср. примеры с *хотя*:

бей Яловецкой ничего не делает и дѣлать не хочетъ, а хотя спаги и янычене на него кричатъ, что безъ дровъ и безъ воды быти не могутъ, сказываютъ, что дѣ дѣлаю, что мнѣ велятъ, хотя бы и пропасть довелось,

⁹ Интересно отметить, что сейчас сочетание *хотя будет* воспринимается как некий не употребляемый архаизм, но в то же время *если будет* вполне укладывается в современные нормы, однако с ощущением полноточности глагола *быть*.

послать меня къ бугдыханову величеству, и хотя не вразумѣль царское величество, какимъ обычаемъ писалъ въ листу своемъ бугдыханово величество, прибыльнѣе хлѣбъ ясть хотя не хочется, нежели словъ лживыхъ слушать, воеводство Поморское и подскарбство Прушское и другое надворное, хотя на многихъ стоитъ, толко указу королевского на нихъ нѣтъ,
а воду то святить, хотя истинный крестъ погружается, да молитву дѣвольскую говорить,

себе ужъ хотя воняю, да иныхъ не соблазняю,
Фрол Скобеевъ сказал... хотя живетъ свои утрачу, а отъ Аннушки не отстану.
Посмотрим на примеры с распространителями.

Примеры с *хотя*:

много и нынѣ такихъ, что много обѣщаютъ, а мало даютъ, хотя и вѣдаютъ, что на торгу за слова не продаютъ,

и сказали ему иные рабы, хотя ты и ничего не понесешь, мы нужды не имѣемъ,

лядунки не удобны... одна тягостна, а другая хотя бы и не тягостна, толко къ даннымъ походамъ не вечна.

Примеры с *хоти*:

что хочеть нашего царствія величества титла и печати учинити, и ты обезумѣвъ, хоти и вселенней назовешия государемъ, да хто тебя послушаетъ, и того хотимъ, чтобъ тѣ наши подданные, которые вашъ гнѣвъ принесли, хоти и поучени будутъ толко бы впереди болши того об нихъ писанья не было, что вамъ мне въ беломъ платьи положити, хоти бы язъ и здоровъ был.

Итак, как кажется, и в древнерусском языке два союза: *хотя* и *хоти* — отличаются корреляцией акциональных состояний в обоих событиях, соединяемых союзом. *Хотя* соединяет одновременные события. *Хоти* связывает разные по совершаемости ситуации: при этом могут комбинироваться настоящее и «вечное», настоящее и давно прошедшее, настоящее и будущее и т. д.

Естественно, что интерпретация этого приводит к исходной функции *хотя* как деепричастия настоящего времени, предполагающего акциональную одновременность. Это объясняет тот факт, что *хотя* почти не встречается в конструкциях с *ино*, так как здесь описывается ситуация условная, а не реальная. Это объясняет также частое тяготение контекстов с *хоти* к будущему времени: это и есть сентенциональный рефлекс на происхождение *хоти* от императива.

Таким образом, именно *хоти* оказывается наиболее близким к современному русскому *хоть*, если его рассматривать в противопоставлении *хотя*.

Логически из этого вытекает, что *хоти* было в русском языке вытеснено партикулой *хоть*¹⁰.

¹⁰ Процесс вытеснения *хоти* партикулой *хоть*, очевидно, нужно проследивать начиная со второй половины XVIII века. По данным Словаря русского языка XI—XVII вв. это сделать не удалось.

Последний вопрос — это проблема происхождения союза (частицы) *хоть*.

Как уже указывалось, во многих современных работах *хоть* объявляется либо «фонетическим» вариантом *хотя*, либо его «разговорным» вариантом. Наиболее внимательно к этому вопросу подошел Б. Лавров (Лавров 1941; 118—121). Он обращает внимание на не анализированный нами вариант уступительного союза *хошь*: *Хошь черта впряги, инь не тянетъ; Изловя вошь, отпусти хошь* и под. По его мнению, безусловно, *хошь* здесь — вариант от *хочеши*, но семантика его стерта и не всегда можно сказать, имеем ли мы дело со сказуемым или с частицей: *Злорѣчивой хошь языкъ отрѣзатъ, и она перстомъ киваетъ*. Б. Лавров обращает внимание на то, что такое *хошь* часто встречается в севернорусских говорах, где наблюдается и *мошь* вместо *можешь*. В памятниках встречается и форма *хочь* как форма 2-го лица. Б. Лавров полагает, что это форма повелительного наклонения, которая функционирует в роли формы наклонения изъявительного. Что касается *хоть* и *хоти*, то обе они, по мнению Б. Лаврова, являются формами повелительного наклонения. *Хоти*, по его данным, встречается редко, а *хоть* связано главным образом с фольклорными текстами (напоминаем, что речь идет о древнерусском языке). Далее, Б. Лавров сомневается и в общепринятом мнении (которое он, однако, принимает) о том, что *хотя* — наиболее распространенный союз современного русского языка — является изначально причастно-деепричастной формой. Дело в том, что в польском языке ему эквивалентен союз *chocia*, тогда как нормативное соответствие русским деепричастным формам должно иметь на конце носовое *a*. «Так как русск. *хотя* не вполне соответствует польск. *chocia*, то это заставляет с большой осторожностью определять исходную форму союза» (Лавров 1941; 121).

Однако, по нашему мнению, более загадочным является генезис формы *хоть*. Возможны при этом следующие гипотезы.

1) Это форма повелительного наклонения, имеющая функционирование в диалектах, подобно *положь*, *глянь*, *становь* и под., и перешедшая в современный язык после вытеснения *хоти*, которое, как мы старались показать, в древнерусском языке было аналогичным современному *хоть*. Тогда неясно — почему *хоти* было вытеснено, во-первых, и когда именно возникла эта диалектная форма, во-вторых?

2) *Хоть* является «фонетическим вариантом». Но — какой формы: от *хотя* или от *хоти*? Скорее, вероятно второе, так как *хоти* исчезло из употребления. Тогда можно построить теорию двух *хоть*, и «новое» *хоть* могло совпасть со «старым» и диалектным. Важно осознать, что существует еще чисто «металингвистическая» привычка определять диалектные формы как некие «отражения» литературных, и тем самым им приписывать — хотя бы неявно — историческую вторичность.

3) Можно предположить иначе: на каком-то периоде развития русского языка (вероятно, это период постпетровский) произошло перераспределение функциональной парадигмы трех лексем: *хотя/хоти/хоть* (последнее из некой па-

раллельной «народной» формы). *Хоть* стало восприниматься и описываться как вариант от *хотя*, что фонетически было облегчено ударением на первом слоге в слове *хотя*, на самом же деле оно разделило с ним ряд функций (как мы показывали выше), а *хоти* было вытеснено как функционально избыточное.

§ 13. *Этот, его, этот его* и славянская «модель мира». Об одном подходе к интерпретации посессивных значений

Три последних параграфа — это три опыта выявления так называемой «картины мира», или «модели мира», — в данном случае они не различаются.

Почему они помещены именно в этой части, а не в первой — целиком антропоцентрической? Это различие в композиции не случайно. Вся первая часть по сути посвящена возможностям **человека**, возможностям его коммуникативных манипуляций, которые ему предоставляет **язык**.

Картина мира через язык **обнаруживается**. И манипулировать ею носитель языка не может. Конечно, постепенно она меняется — но не от индивидуальной воли. И в данном случае лингвист выступает в роли, сходной с ролью психоаналитика, — он должен сам увидеть то, что, возможно, еще неизвестно пациенту.

И мощным средством этого мировоззренческого раскрытия мира является грамматика — как будто бы наиболее «технизированный» и стабилизированный участок языковой системы. Парадоксально, но именно ее затрудняющая выбор нормативность является верификационным средством.

Выявить через грамматику эту модель довольно трудно, и здесь, видимо, нет методических рецептов, а нужны долгие годы профессиональной тренировки, которая, в свою очередь, и создает интуицию исследователя.

В помещенном ниже параграфе говорится о том отношении к миру, которое выявляется в разных языках через комбинации посессива с детерминативом.

Оказалось, что эти комбинации структурируют объекты обладания и наше отношение к ним.

Нужно сказать, что в этой работе бесценную помощь оказало непрерывное обращение к книге Н. Д. Арутюновой и Е. Н. Ширяева «Русское предложение. Бытийный тип», замечательным и тонким наблюдениям там можно только удивляться.

Иногда важнее всего для лингвиста бывает случайное замечание информанта. Так, при работе со словенкой, доцентом университета Любляны, я спросила, почему для слов семантики 'беда' она, как и другие — поляки, чехи, не употребила ни *быть*, ни *иметь*, а произнесла в принципе иной глагол — *Doletela me je nesreča*. Ее ответ: «Кто же хочет иметь беду на постоянно», — может быть эпиграфом к этому разделу!

Посессивность, несомненно являющаяся одной из универсальных языковых категорий, не соотносится в то же время с языковыми средствами, единственная функция которых есть выражение бытия и принадлежности. Так, посессивность выражается приименными словосочетаниями с род. падежом в качестве управляемого компонента, словосочетаниями с дат. падежом, предложными конструкциями, местоимениями с посессивным значением, притяжательными прилагательными, глагольными словосочетаниями с *иметь* и *быть* и др. Каждая из этих формальных структур, в свою очередь, соотносится с набором сем, только часть из которых связана с семантикой посессивности. См. замечание Е. М. Вольф о том, что «нет таких грамматических структур, которые обозначают только владение в узком смысле слова» (Вольф 1977; 170).

Тот факт, что грамматические категории, в частности категории падежа, имеют «общее значение», делает затруднительным для лингвиста отсечение чисто посессивных значений от несобственно посессивных и от непосессивных вообще на тех участках грамматической системы языка, где посессивные значения могут иметь место¹. Можно говорить о том, что конструкция *X* имеет набор значений, в число которых входит и значение посессивности, однако это значение представлено не во всех употреблениях конструкции *X*. В то же время конструкция *X* обладает неким «общим значением», через которое значение посессивности оказывается связанным и с другими значениями конструкции *X* общими грамматическими отношениями.

Однако в концептуальной системе высказывания семантика посессивности определяется и тем, что посессивы, часто выступая в роли приименных детерминативов, оказываются связанными с другими определителями имени (демонстративами, неопределенными местоимениями, артиклями и т. д.) и включаются, через общую систему шифтерных показателей, в коммуникативно-текстовые отношения высказывания, ср.: *Со стола упали бумаги* и *Со стола упали мои бумаги*. Посессивы выполняют, таким образом, функции показателей определенности и анафоричности, т. е. содержательных категорий текста.

Третьей группой содержательных категорий, связанных с посессивностью, являются категории прагматические. Например, *Он пришел домой после работы и принял свой душ*; *свой* значит здесь 'привычный, регулярный'.

Таким образом, все содержательные категории, связанные с посессивностью, делятся на три группы: грамматические, текстовые и прагматические. Оказывается возможным сформулировать общий принцип формального разграничения каждой из этих трех групп. Так, при анализе грамматических наложений существенна многозначность конкретной языковой конструкции. Например, конструкция «*сущ*_{1 им.} + *сущ*_{2 род.}» может иметь и не иметь посессивную

¹ Характерно, что Р. О. Якобсон призывал не смешивать «общее значение» падежей и «основное, или главное», значение, которое терминологически открывает путь для расщепления падежа как категории (Якобсон 1985; 136).

семантику, ср.: *шляпа отца и выдача зарплаты*. В этом случае задача описания — отделить посессивные семы от других значений данной структуры. Анализируя текстовые значения, важно выявить, имеет ли присутствующая семантика посессивности еще и дополнительные смысловые наложения, например подчеркнутого противопоставления: *Он послал туда своего ученика*. Прагматические категории связаны в речепотреблении с возможностью выбора. Они возникают там, где нет грамматической обязательности, но есть грамматическая допустимость. Тогда очевидно, что реализация прагматических категорий зависит от частоты и обязательности употребления посессива в данном языке. Например, если бы в русском языке было обязательно отмечать посессивом каждый предмет, находящийся во временном или постоянном владении актанта (*Я поднес свою ложку к своей тарелке и отломил своей рукой кусок своего хлеба*), то тогда высказывания типа *Я столько слышала о вашем Сидорове* или *Он опять принялся за своего Робинзона Крузо* не могли бы приобрести никаких дополнительных коннотаций.

Таким образом, для грамматических пересечений важно отграничить посессивность от непосессивности в пределах одной и той же формы; для текстовых — выявить, есть ли дополнительная семантика у конструкции заведомо посессивной; для прагматических — определить семантику выбора между нулевой формой посессива и/или посессивами равной степени допустимости.

Остановимся далее на отграничении посессивности и других значений в такой интересной и многократно обсуждавшейся русской конструкции, как *У Х есть Y*, в рамках которой могут совмещаться пространственные, экзистенциальные и посессивные значения.

Соотношение пространственного, экзистенциального и посессивного значений представляется уже априорной языковой универсалией, поскольку обладание чем-либо предполагает существование этого объекта, а существование немислимо без пространственной реализации. Эти три категории связаны с денотативной стороной высказывания, определяющей актантно-ролевое воплощение отражаемой ситуации. Однако хотя категориальная близость посессивности, локативности и экзистенциальности прослежена на материале большинства языков, каждый из них воплощает эти соответствия по-своему².

В русском языке эти значения в основном связаны с указанной конструкцией *У + род. есть нечто*. В пределах этой бытийной конструкции посессивность может включаться с разной степенью активности, а может и не присутствовать совсем. Мы не придерживаемся расширенного понимания посессивности, когда в него включается вообще отношение лица ко всему пространству, в рамках которого оно существует, будь то «денотативное» или «психологичес-

² Наложения этих категорий описываются в книге (во многом оказавшей влияние на настоящую работу): Арутюнова, Ширияев 1983. См. также: Селиверстова 1973; 1983; Панде 1981; Lyons 1967; Lehiste 1969; Christie 1970.

кое» пространство. Поэтому в дальнейшем изложении предполагается, что для высказывания *У нас есть собака* 'мы' и 'собака' связаны отношением посессивности, а для высказывания *У нас дождь* нельзя установить подобных отношений между 'мы' и 'дождь'. (Речь идет не о прагматических, а о грамматических связях. В прагматическом плане возможно *Наш дождь утих*, т. е. тот дождь, о котором мы сообщали, наш привычный дождь, связывающий нас дождь и т. д.)

Методика формального выделения посессивных сем в пределах бытийной структуры *УХ есть У* была следующей: применялся метод трансформаций — подстановок; конструировалось высказывание, как бы непосредственно следующее в контексте за анализируемым; в это экспериментальное высказывание вставлялись допустимые и содержательно нейтральные приименные детерминативы из набора: *Этот*; *Этот мой (наш, ваш и т. д.)*; *Его (мой, ваш, твой)*; \emptyset .

Оказалось, что высказывания с *У + род* разбиваются на группы в соответствии с различаемым числом и типом этих подстановок. Выявилось, таким образом, пять групп:

1. *Этот / Этот его / Его.*
2. *Этот / Этот его / *Его.*
3. **Этот / *Этот его / Его.*
4. *Этот / *Этот его / *Его.*
5. \emptyset .

В соответствии с изложенным пониманием посессивности считалось, что семы посессивности присутствуют в группах 1, 2, 3, но не присутствуют в группах 4 и 5, где возможны лишь подстановки (только) *Этот* или \emptyset .

Группа 1. Подстановки: *Этот / Этот его / Его*. В эту группу вошли подгруппы высказываний со следующей семантикой:

1) *Х* обладает постоянным *У*-м, который может входить в некоторое множество однородных с ним феноменов: *У меня есть кот. Этого кота любит весь дом; У меня есть кот. Об этом моем коте ходят легенды; У меня есть кот. Моего кота ни с чьим не спутаешь: такой он пушистый;*

2) *У* обладает указанными выше свойствами, но характеризуется количественно: *У нее трое детей. Эти дети всегда поражают своими способностями; У нее трое детей. Эти ее дети были грозой нашего района; У нее трое детей. Ее дети очень похожи друг на друга;*

3) *Х* обладает неодушевленным, но важным для него («престижным»?) *У*-м, которого он в принципе может и не иметь — машиной, яхтой, дачей и проч.: *У Сережи есть машина. Эта машина досталась ему нелегко; У Сережи есть машина. Эта его машина всегда была объектом моей зависти; У Сережи есть машина. Его машина может развивать большую скорость;*

4) *У* обозначает некоторую ситуационную характеристику: *У Петрова большие связи. Эти связи помогают ему устраивать дела; У Петрова большие*

связи. Эти его связи стали притчей во языцех; У Петрова большие связи. Его связи часто используются знакомыми;

5) X обладает обязательным Y-м с необязательными свойствами: У Нади голубые глаза. Эти глаза она унаследовала от матери; У Нади голубые глаза. Эти ее голубые глаза всегда мне напоминали кусочки эмали; У Нади голубые глаза. Ее глаза — единственное ее достоинство³.

6) X обладает Y-м постоянным, но необязательным: У него есть воля. Эта воля помогает ему жить; У него есть воля. Эта его воля всегда меня подавляла; У него есть воля. Его воля должна служить нам примером.

Таким образом, во всех подгруппах семантика посессивности представлена активно: возможна и подстановка *этот его* и подстановка *его*. Общее значение посессивности в этой группе можно передать как обозначение постоянной, но факультативной принадлежности (так, можно не иметь кошки, братьев, дачи, связей, воли, голубых глаз, но если это есть, то, как предполагается, надолго).

Г р у п п а 2. Подстановки: *Этот / Этот его*, но не **Его*. В эту группу входят подгруппы высказываний следующей семантики:

1) сообщение о владении X-а Y-м в прошлом: *Была у меня в детстве одна кукла. Эта кукла была случайно куплена бабушкой где-то на Севере; Была у меня в детстве одна кукла. Эта моя кукла почему-то очень нравилась подругам; Была у меня в детстве одна кукла. *Моя кукла...*

2) сообщение о кратковременном или потенциальном владении X-а Y-м в заданный период времени: *В тот день у нее на руке был удивительный браслет. Этот браслет напомнил мне одну давнюю историю; В тот день у нее на руке был удивительный браслет. Этот ее браслет очень шел к ее черному платью; В тот день у нее на руке был удивительный браслет, *Ее браслет...*

3) сообщение о владении Y-м X-а, не включенного в узкий микромир говорящего: *У одного моего родственника есть большой фруктовый сад. Этот сад я помню с детства; У одного моего родственника есть большой фруктовый сад. Этот его сад в последние годы сильно пощипали мальчишки; У одного моего родственника есть большой фруктовый сад. *Его сад...*

4) сообщение о временном негативном состоянии в микромире X-а, где Y — абстрактное понятие: *У меня беда. Эта беда пришла, как всегда, неожиданно; У меня беда. Эта моя беда связана с нашей машиной; У меня беда. *Моя беда...*

5) сообщение о владении недетерминированным или «странным» объектом: *У него есть какое-то обаяние. Это обаяние особенно действует, когда он читает стихи; У него есть какое-то обаяние. Это его обаяние и помогло ему сделать карьеру; У него есть какое-то обаяние. *Его обаяние...*

³ Подобные высказывания легко переходят в высказывания с подчеркнутой актуализацией признака: *Косы у девочки были длинными; Лекции у этого профессора интересные; Собрание у нас было бурным*, где у-локализатор превращается в у-определение. Об актуализации этих признаков см.: (Арутюнова, Ширяев 1983; 71).

Общее значение группы 2 можно обозначить как сообщение о факультативной принадлежности, временной принадлежности или о владении неясным или несущественным предметом. Из вариантов подстановок с посессивом возможен только один: *Этот его*, но не *его*.

Г р у п п а 3. Подстановка: *Его*, но не **Этот* и **Этот его*. Эта группа представлена следующими подгруппами высказываний:

1) сообщение об уникальном объекте, активно входящем в мир *X*-а. Именно в этом контексте бывают представлены сообщения о самых близких людях.

Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев, отмечая, что в ситуации с *есть* обычно вводится неопределенное имя, пишут, что в высказываниях типа *У тебя же есть Надя* имя собственное обозначает статус: жена, дочь и т. д.⁴ К этому можно добавить и то, что предлагаемые в настоящей работе подстановки также могут прояснить статус *Y*-а по отношению к *X*-у. Например, *Не расстраивайся. У тебя же есть Коля. Твой Коля тебя выручит* и *Не расстраивайся. У тебя же есть Коля. Этот твой Коля тебя выручит*. Здесь по типу подстановки можно судить о статусе Коли (*Y*-а).

К этой же группе можно отнести событийно-бытийные высказывания типа *У него умер отец*. См.: *У него умер отец. Его отец был большим ученым; У него умер отец. *Этот отец* или **Этот его отец*...;

2) сообщение о перманентном или длительном отсутствии уникального *Y*-а, необходимого для *X*-а (возможно метафорическое употребление): *У него нет сердца. Сердце его давно очерствело; У него нет сердца. *Это сердце* или **Это его сердце*...

Общая семантика высказываний группы 3 может быть охарактеризована как семантика постоянного владения уникальным *Y*-м или длительного отсутствия этого *Y*-а.

Г р у п п а 4. Подстановка *Этот*, не **Его* или **Этот его*.

Как видно по подстановкам, посессивность в этих высказываниях не представлена. В эту группу входят следующие подгруппы:

1) сообщение о нахождении *Y*-а в широком локусе, куда входит и *X*: *У нас в лесу много грибов. Эти грибы очень украшают наше меню*. Но не **Наши грибы* или **Эти наши грибы*;

2) сообщение о состоянии природы в сфере восприятия *X*-а: *У нас снег. Этот снег меня как-то успокаивает*. Эта группа очень велика по возможному включению *Y*-в: *У нас метель; У нас сегодня дождь* и т. д. По замечанию Е. М. Вольф, некоторые предикатные имена вообще не сочетаются с посессивом, это имена, безличные по семантике, например: **его дождь*, **его ветер*. «Их нельзя употреблять с посессивом вне особых условий контекста» (Вольф 1974; 63). Сюда же относятся высказывания, сообщающие о более широком мире, чем мир *X*-а, хотя *X* и может быть в него включен;

⁴ «Предложения типа *У тебя же есть Надя* были бы непонятны, если бы говорящим не была известна роль Нади в данном микромире» (Арутюнова, Ширяев 1983; 15).

3) сообщение о временной ситуации, не вызываемой *X*-м и не руководимой им. Если же *Y*-событие осуществляется или инспирируется *X*-м (*X* принимает экзамен, *X* устраивает прием и под.), то тогда такие высказывания переходят в группу 2: *У нас завтра спектакль. Этот спектакль обещает быть очень интересным.* Ср.: *У нас завтра спектакль. Этот наш спектакль готовился очень долго;*

4) сообщение о временном состоянии объекта *Y*, находящегося на внешней поверхности тела *X*, например: *Под мышкой у него был сверток; В руках у нее были темные еловые шишки; За плечами у него был мешок; У него была в зубах сигарета; У него в руках был журнал.* Ср.: *Под мышкой у него был веник. Этот веник напомнил мне детство.*

Итак, в группу 4 входят высказывания со смысловым центром *Y*, а не *X*; они описывают некое временное состояние: ситуацию, как бы проходящую мимо *X*-а.

Г р у п п а 5. Подстановки невозможны. Возможен лишь повтор *Y*-а, не сопровождаемый детерминативом. Эту группу высказываний составляют подгруппы двух видов: высказывания с отрицанием и высказывания вопросительные:

1) сообщение об отрицании *Y*-а: *В сентябре у нас редко бывают грозы. Грозы — явление более раннее;*

2) высказывания с вопросом о наличии *Y*-а: *У тебя есть мука? Мука мне нужна для пирога.*

Мы считаем, что в группе 5 посессивность не представлена, так как обладание в таких высказываниях либо специально отрицается, либо ставится под сомнение.

Таким образом, оптимальной ситуацией обладания является, судя по данным всех указанных подстановок, постоянность владения, установка на единственность, уникальность *Y*-а, которым *X* хочет владеть в позитивных для себя обстоятельствах. «Неудачной» ситуацией обладания является ситуация несуществующая или неясная, а также ситуация временная, затрагивающая *X* лишь благодаря стечению обстоятельств. Обладание, таким образом, стремится к стагнации, к статичности. Эти выводы вполне согласуются с положениями, высказанными Э. Бенвенистом по поводу глагола 'иметь' в *иметь-языках*, хотя формально это глагол полноценного словоизменения: «Все проясняется, когда мы наконец признаем „иметь” тем, чем он и является — глаголом состояния» (Бенвенист 1974; 213). Таким образом, по Э. Бенвенисту, 'иметь' — псевдотранзитив, это — конверсив по отношению к 'быть у'. Метод примененных подстановок, подтверждая это, устанавливает, что языковая категория посессивности отражает некий фрагмент общей «картины мира», характерной чертой которой вообще является установка на позитивную стабильность.

Полученные путем подстановок группы высказываний (1—5) в целом можно определенным образом интерпретировать. Эти подстановки отделили от остальных высказывания-ситуации нереальные или потенциальные (группа 5, где подстановки были невозможны). Для реальных ситуаций осуществлялось

отчетливое выделение ситуаций владения уникальным близким У-м (группа 3, где возможна только подстановка *Его*). Именно в этой группе и осуществляется обладание в смысле, указанном Э. Бенвенистом. Однако это не неотчуждаемые объекты, что необходимо понять, — для неотчуждаемых вообще невозможно и инициальная фраза: *УХ есть У: *У Маши есть ноги; *У Сережи есть легкие*. Метод подстановок позволил также разделить владения объектом не-уникальным, необязательным, но постоянным (группа 1), и объектом временным, случайным или нежелательным (группа 2). Группа 4 — это высказывания, описывающие ситуации реальные, которые не имеют компонента посессивности, но обладают чистой локативностью (*У нас* — локатив).

Из трех возможных подстановок: *Этот /Этот его/ Его* — посессивная семантика возможна в двух: *Этот его* и *Его*. Данный набор посессивных подстановок характеризует группу 1. И это не случайно: в центре внимания оказывается желательный объект, отчуждаемый принципиально, которым актант хочет владеть постоянно.

Все сказанное выше относилось к русскому языку, в котором многократно описываемая У-конструкция является практически основным способом передачи семантики посессивности. Для проверки того, являются ли выведенные путем подстановок типы высказываний (в русском языке все они имеют У-конструкцию) только фактом русского речевого сознания или они имеют более широкий типологический выход, привлекались данные ряда славянских языков: польского, чешского, болгарского, сербскохорватского и словенского. Эти данные были получены от информантов — носителей данных языков, филологов-лингвистов, которым была изложена суть проблемы. Русской У-конструкции в славянских языках соответствовали разные синтаксические структуры. Как пишут Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев, «использование одного принципа для описания мира и человека, категорий субъективных и объективных, составляет особенность русского языка, отличающую его от романских, германских и западнославянских языков, в которых сообщение о мире и его частях, взятых в плане их предметного содержания, создается по бытийному типу, представленному специальными конструкциями, а микромир человека изображается в виде его „владений”» (Арутюнова, Ширяев 1983; 184—185). Отличие от русского синтаксиса прежде всего характеризует словенский язык, где в сравнении с другими славянскими языками конструкция с У вообще неизвестна. Кроме того, русские У-конструкции передаются и не в бытийных предложениях несколькими способами. Ср., например, русский и чешский языки: *Петра умерла жена* — *Petrovi zemřela žena*; *Ножка у стола сломалась* — *U stolu se ziomila noha*; *Листки у календаря были вырваны* — *Listky z kalendáře byly vytrženy*; *Дочь у нее учится на филологическом факультете* — *Její dcera studuje na filologické fakultě*.

Основным же отличием было широкое употребление глагола ‘иметь’, доминирующего в качестве показателя семантики владения в западнославянских и

южнославянских языках (на употреблении этого глагола в украинском и белорусском языках мы останавливаться не будем). Действительно, большая часть русских предложений была переведена через 'иметь'-конструкции. Например, *У меня есть кот / Имам котка* (болг.) / *Ja imam mačka* (серб.-хорв.) / *Mat kotka* (польск.) / *Mám kocoura* (чеш.) / *Imam mačko* (словен.)

Задачей типологического сопоставления было проверить, как распределяются высказывания по типам возможных подстановок, т. е. проверить сходство дистрибуции посессивных типов; выяснить, в каких случаях не употребляется 'иметь'-конструкция; наконец, определить локальные языковые особенности, относящиеся к общей сфере посессивности.

Оказалось, что в целом высказывания распределились по тем же группам, которые были описаны выше для русского языка. Наблюдаемые в этом плане типологические отличия относились не к «картине мира», совпавшей в указанных языках, а к типу сильной/слабой артиклевости в этих языках. Так, совсем иную картину демонстративов дал артиклевый болгарский язык. Более активными оказались демонстративы в чешском языке, в котором 'этот' употреблялся там, где в других языках были возможны только чистые посессивы.

Глагол 'иметь' не использовался в следующих случаях:

1) в подгруппе 4 группы 2 (общая семантика «У нас беда»). См. польск. *U nas nieszczęście*, чеш. *Přihodili se mi nepříjemnosti*, словен. *Doletela me je nesreča*. См. выше замечание словенки о том, что «никто постоянно беду иметь не хочет». Это, как видно из примеров, подкрепляется и неупотреблением глагола 'иметь';

2) в подгруппах 1 и 2 группы 5 (семантика «У нас в лесу много грибов»). См. серб.-хорв. *Kod nas je snjeg*, болг. *В наши гори има много гъби*, польск. *U nas w lesie jest dużo grzybów*; *U nas są teraz upały*, чеш. *V našem lese je hodně hřiba*; *Tady u nás je metelice*, словен. *V gordu u nas je veliko gob*; *Zimój je metež*;

3) в подгруппе 1 группы 5 (семантика «У нас в сентябре редко бывают грозы»). См. болг. *У нас през септември рядко вали дъжд*, серб.-хорв. *У септембру су код нас непогоде ретке*, польск. *We wrześniu rzadko bywają burze*, чеш. *V září u nas zřídka byvají bůřky*, словен. *V septembru so nevihte redke*.

Таким образом, отличие локативного и посессивного значений русского У + род. в славянских предложениях-эквивалентах реализуется через сказуемое, отличное от 'иметь': бытийное или описательное.

В ряде случаев русская У-конструкция с посессивным значением передавалась дат. падежом. Он появлялся в тех случаях, когда затрагивалась сфера, близкая к актанту. Это — отношение к самым близким людям или психосоматические характеристики актанта. См. болг. *Умря баща му*; *Баща му беше голям поет*; *Сърцето му е студено*, серб.-хорв. *Умро му је отац*; *Срце јој је сломљено*, польск. *Zmarł mi ojciec*; *Głowa mi dziś pęka*, чеш. *Umřel mi otec*, словен. *Umrol mi je oče*.

Интересный материал для выявления дополнительной семантики, которая может быть внесена в посессивные конструкции, дал болгарский язык. Бол-

гарский информант пользовался при передаче подстановок двумя способами идентификации и актуализации имени: через указательное местоимение и через артикль. Ср.: *Имам котка. Тази моя котка е много хитра* и *Моята котка е много хитра* (чистый посессив: *Котката ми често я крадат*). Как уже говорилось, увеличение компонентов выбора открывает дорогу модальным коннотациям. В болгарском языке в этом случае сочетания с 'этот' и 'этот его' приобретают пейоративное значение. Однако это отмечается не во всех случаях. Нами были проанализированы все соответствующие указания информанта. Оказалось, что пейоративная окраска слабеет по мере перехода от уникального и постоянно существующего неотчуждаемого объекта владения к объекту владения отчуждаемому неуникальному и/или временному. Ниже приводим примеры, где два плюса отмечают яркую пейоративную окраску, один плюс — более слабую, минус — ее отсутствие: *Умря баща му. Този негов баща (+ +) обичаше чашката; Той има двама братя. Тези негове братя (+) хвани единия удари другия; Аз имам кошка. Тази моя кошка (+) е много хитра; Като дете имах една кукла. Тази моя кукла (-) беше от парцали; Имам един приятел. Този мой приятел (-) замина за София; Петя има температура. Тази нейна температура (-) ми плаши.*

Выше говорилось о трех типах категорий, связанных с посессивностью: грамматических, текстовых и прагматических. Все сказанное относилось, в нашем понимании, к сфере грамматики. Сопоставлялись и прагматические значения, реализующиеся через сферу посессивности, в тех же славянских языках. Оказалось, что сфера прагматики удивительно единообразна и не дает практически никаких типологически ярких различий. Напротив, область текстовых значений сразу продемонстрировала множество тонких и еще ожидающих исследователя расхождений.

§ 14. Качественные прилагательные и установка на стабильность в корреляции с языковой «картиной мира»

Тематически этот параграф перекликается с предыдущим: собранный во всей тогдашней доступности материал о преференции прилагательных при обозначении объектов действительности показал также, что человечество предпочитает большее — меньшему, хорошее — плохому, стабильное — нестабильному и далее. Большинство излагаемых данных принадлежит другим исследователям. Однако здесь же приводится и специально собранный материал, подтверждающий мою гипотезу о тенденции объединять качественные прилагательные в пучки, практически сливающиеся в сознании. При этом такие пучки из двух прилагательных обязательно включают в себя одно име-

нование по внешнему признаку, а другое — по внутренней характеристике личности: *тихий + скромный, энергичный + волевой, легкомысленный + пустой*.

В сознании обывателя таким образом происходит часто ментальная транс-позиция: первый признак доминирует над вторым. Поэтому тихого карьериста считают скромным, веселого экстраверта — пустым и т. д.

Свойство естественного языка передавать в рамках категориально-грамматических отношений отношение к миру, его «видение» отмечалось в последние годы в ряде исследований по функциональной семантике (см., в особенности: Арутюнова 1976; Wierzbicka 1979, 1980), обратившей внимание не только на способность к адекватной передаче внеязыковых явлений, но и на возможности посредством языка убеждать, передавать свое отношение, выражать себя через язык. Эти языковые свойства связываются преимущественно с прагматическим подходом в лингвистическом анализе. В рамках прагматического подхода выявляются, при исследовании языковых фактов, два направления: изучаются средства собственно семантические, т. е. компоненты грамматики и лексики как показатель отношения к миру, и изучаются особенности контекстов, отличающихся разной прагматической направленностью. Уже подвергались детальному анализу категории вида и времени, лексические группы имен семантики (см.: Wierzbicka 1970; Николаева 1981; 78), в данной же статье делается попытка обобщить коммуникативно-прагматические особенности прилагательных (П), «одной из наименее изученных и сложных для исследования частей речи» (Вольф 1977; 7). Коммуникативная специфика прилагательных состоит прежде всего в том, что «П совмещает в своей структуре семантический и прагматический аспекты языка, что отражается как в значении лексических единиц, относящихся к классу П, так и в их употреблении. Для П как класса слов характерно наличие субъективно-оценочных значений и соответствующих коннотаций. Таким образом, в самой семантике П оказываются связанными собственно семантический и прагматический планы высказывания» (там же; 8). Оказывается, что тип выбора прилагательного и строгость (точность) употребления прилагательных являются ведущим показателем различия языка упрощенного (*restricted, common*) и интеллектуального (*elaborated, formal*) — двух кодов, существование и функционирование которых описано на английском материале Б. Бернстейном (Bernstein 1975).

Так, для упрощенного языка употребление прилагательных и наречий очень ограничено и набор их перечислим.

Сопоставление данных, полученных для прилагательных как класса, включающего прагматический аспект в свою лексико-категориальную сущность, позволяет обобщить их и сделать следующие выводы:

1) приписывая предметам окружающего мира те или иные объективно присущие им свойства, человек демонстрирует свое безразличие к этим свойствам посредством иерархии в приписывании этих признаков;

2) за выбором грамматических показателей адъектива стоит позитивная программа человека, его представление о нормативном статусе и позитивном сценарии событий;

3) человеку свойственно отличать признаки, относящиеся к предметам и лицам, как бы относительные, восходящие к человеку как субъекту, и признаки объективные, имманентные;

4) таким образом, благодаря приадъективным конструкциям может происходить различение и выделение человека как объекта описания и человека как субъекта описания, т. е. его автора.

Основным приводящимся далее языковым материалом являются данные польского, русского и английского языков; необходимо еще раз подчеркнуть, что предметом изложения является не столько лексическая, сколько лексико-грамматическая и тексто-грамматическая специфика прилагательных.

1. Прилагательные и характеристики внешних объектов

Оказалось, что для пар квалификативных прилагательных со значением размера: длинный — короткий, широкий — узкий и т. д. — одно является в исходных конструкциях предпочтительным, употребление же другого маркировано, ограничено. Например, говорится: *10 Wagen Lang* (**kurz*), *250 Meter breit* (**schmal*), *200 Meter hoch* (**niedrig*), *35 Jahre alt* (**jung*) (Bierwisch 1967).

Иначе говоря, несомненна определенная направленность человека в употреблении подобных слов. М. Бирвиш связывает такую модель употребления с «основными измерениями человеческого перцептивного аппарата», Более того, внимательный анализ демонстрирует достаточно большую сложность в различении объектов и их признаков:

Der Wagen ist lang = Der Wagen ist hoch;

Die Strange ist lang = Die Strange ist hoch.

*Die Zigarette ist lang ≠ *Die Zigarette ist hoch;*

**Der Turm ist lang ≠ Der Turm ist hoch.*

Сходные наблюдения о структуре пространственных отношений, отраженной в человеческом сознании, были сделаны на материале английских прилагательных (Givón 1970). Выяснилось, что из двух антонимически связанных прилагательных размера одно, относящееся к большему размеру, является обобщенным, генерализованным, сфера же употребления другого более узка.

Так, ответ на вопрос — *How big is it?* может быть и *It is very big*, и *It is very small*. Но вопрос *How small is it?* допускает только *It is very small* как ответ, но не **It is very big*. Соответственно: *How long is it?* — *Very long, very short*, но — *How short is it?* — *Very short; *Very long*.

Именно эти генерализованные прилагательные являются словообразовательной базой соответствующих обозначений размера, выраженных существи-

тельными: *length* — *long* — *short*; *thickness* — *thick* — *thin* (см. по-русски: *длина*, но не *коротчина*; *ширина*, но не *ужина* и т. п.).

В работе А. Н. Журина, посвященной русским прилагательным, пространственные прилагательные вполне определенно связываются с человеком как вертикально ориентированным существом (Журинский 1971).

Так, *высокий* — это вовсе не любой длинный вертикальный, а самостоятельный и изолированный: водосточная труба — нет, сосулька — нет; более того, высоки те предметы, которые сами по себе таковы, а не имеют такую форму по воле человека: так, свеча — нет, бутылка — нет. То есть правильно воспринимаемые как высокие предметы имеют сходство с самим человеком. Свойство быть высоким оказывается, как замечает А. Н. Журинский, очень важным: так, некоторые толстые люди, если бы были на голову выше, не считались бы толстыми, вернее, это свойство не выдвигалось бы на первый план. А. Н. Журинский вводит понятие нормальной ориентации (НО) — это наиболее частое расположение ведущей пространственной характеристики предмета по отношению к говорящему. Возможная и мгновенная НО — расположение в момент речи. Мы говорим: *широкое здание*, если мы напротив него, и *длинное здание*, если проходим мимо. Наоборот, нестандартная ориентация отражает «переходы от поперечной к вертикальной ориентации», т. е. нечто, человеку несвойственное.

Таким образом, пользуясь прилагательными размера, человек характеризует предметы, соотносясь с самим собой как с эталоном пространственного описания; исходной грамматической и словообразовательной формой является прилагательное, обозначающее больший размер.

2. Прилагательные и представление о нормативном статусе мира

Анализ грамматических конструкций, связанных с прилагательными, и анализ их текстового употребления демонстрируют еще одну черту самовыражения через язык: оказывается, что, характеризуя то или иное явление через атрибуты, носители языка имеют представление о норме, более того, сценарий мировых событий должен быть позитивным: негативное и отклоняющееся от нормы маркируется.

Например, при ассоциативном анализе антонимических связей, в тех случаях, когда требовалось назвать антоним, позитивный член назывался «дружнее», чем негативный, называвшийся как бы неохотно и иногда заменяемый неожиданным по парности словом (Deese 1965).

Таким образом, частотность ассоциаций оказывается для антонимов обоюдной. Приведем данные Диза (цифры показывают число ответов; группа испытуемых количественно оставалась неизменной): *bad* — *good* — 43; *good* —

bad — 29; *black* — *white* — 39; *white* — *black* — 23; *dirty* — *clean* — 21; *clean* — *dirty* — 15.

Эта склонность иметь последовательную установку на позитивную программу отмечена и в расположении однородных членов в привычных английских словосочетаниях, обследованных В. Купером и Дж. Россом (Cooper, Ross 1975). Выяснилось, что порядок расположения этих компонентов неслучаен: недаром работа называется *World Order*, т. е. то, что стоит за *Word Order*; так, в первую очередь называется: ближайшее — *here and there, in and out, this and that, now and then...*

мужское — *man and woman...*

взрослое — *cat and kitten...*

позитивное — *plus or minus, all or none...*

одушевленное — *men and machines...*

активное — *speaker and hearer; cat and mouse...*

основательное — *land and sea; Army and Navy...*

источник энергии — *bow and arrow; gin and tonic...*, и т. д.

Все эти качества — позитивные; собранные вместе, по мнению авторов, они характеризуют среднего киногероя: он — *Here, Now, Adult, Male, Positive*.

Возвращаясь к собственно прилагательным, можно также отметить, что выражаемое в тексте отношение к миру, выведенное из их текстового распределения, ориентируется на позитивную стабильность мира. Р. Харвег, анализируя дистрибуцию прилагательных в тексте, определил, что они делятся на два класса — в зависимости от того, могут или нет появляться в абсолютно инициальных фразах. Так, прилагательные *gesund, heil, zufrieden, nüchtern, normal, da, klar* и т. п. не могут быть абсолютно начальными, они «прилагательные следования» — *Nachfolgeradjektive*, у них обязательно должны быть текстовые предшественники — *krank, kaputt, betrunken, weg, komisch* (Harweg 1969). Поэтому **Bei Müllers ist jemand gesund*; **Da hinten ist eine Frau nüchtern*. Но: *Bei Müllers ist jemand krank; Da hinten ist eine Frau betrunken*.

Прилагательные следования могут все же стать инициальными — через добавление *wieder*. Но это слово, добавленное к прилагательным следования, означает возвращение к исходной ситуации: *Karl снова здоров*; добавленное же к их антиподам, оно означает повторяемость событий: *Karl опять заболел*. За всем этим стоит, по мнению Р. Харвега, потребность в нормализации, когда нормальное есть позитивное, и это есть отражение мира в сознании человека: «Основанием этой нормализации, очевидно, является существование некоторого определенного мировоззрения, в рамках которого именно то состояние из двух возможных считается нормативным, когда оно обеспечивает позитивность» (там же; 342).

Показателем состояния объектов внешнего мира с ориентацией на норму является и семантика форм сравнительной степени прилагательных (Toyn Higgins 1976). Так, из фраз *Элен безобразнее Мэри, Том хуже Боба, Джек*

пьянее Билла, мы понимаем, что статус обоих актантов не позитивен: и Мэри нехороша собой, и Билл достаточно пьян. Но по фразам *Эллен красивее Мэри, Том лучше Боба, Джек умнее Билла* мы не можем сказать определенно, что Мэри красива, Боб хорош, а Билл умен: очевидно разделение в языке и негативного, и нормативного.

Особое место в подобного рода исследованиях семантики форм прилагательного занимает анализ данных польского языка, предпринятый Ф. Кифером (Kiefer 1980). Существенна для способа выражения отношения к миру — для польского языка — возможность как аналитического, так и синтетического выражения форм сравнения: *Kazia jest wysza niż Julia, Kazia jest bardziej wysoka niż Elżbieta; Janina jest ładniejsza niż Elżbieta, Janina jest bardziej ładna niż Elżbieta*.

Различия обеих компаративных форм на первый взгляд кажутся стилистическими. Ф. Кифер вводит особый тест на их различие — тест отрицания. При этом выявляется расслоение форм компаративов: *Kazia jest wysza niż Julia, Kazia jest bardziej wysoka niż Julia*.

Формы аналитические отличаются от синтетических тем, что в них непременно содержится «пресуппозиция наличия качества»: таким образом, во фразе *Janina jest bardziej ładna niż Elżbieta* включается красота Янины, а во фразе *Janina jest ładniejsza niż Elżbieta* — нет. Однако, как замечает далее Ф. Кифер, не всегда эта пресуппозиция наличия качества входит во все аналитические формы — независимо от семантики прилагательного. Так, у прилагательных меры это различие незначимо (там же; 163). *Herbata jest tańsza niż kawa, Herbata jest bardziej tani niż kawa; Ten film jest dłuższy niż tamten, Ten film jest bardziej długi niż tamten; Ten film jest krótszy niż tamtem, Ten film jest bardziej krótki niż tamten; Kawa jest droższa niż herbata, Kawa jest bardziej droga niż herbata*.

Это же относится и к оценочным прилагательным: *Dzisiaj pogoda jest brzydsza niż wczoraj, Dzisiaj pogoda jest bardziej brzydka niż wczoraj*.

Польский язык, таким образом, обладает языковыми средствами семантико-разрешающей силы, которыми не располагает, в частности, шведский, немецкий и др. Польский язык, как видно из приводимых Кифером материалов, обладает тонкой моделью сохранения/отсутствия пресуппозиции качества в компаративе. В частности, по этому критерию различаются некоторые антонимические пары: *suchy* сохраняет пресуппозицию аналитически и синтетически, но *mokry* может иметь ее в синтетической форме, не имея аналитической; напротив, *krzywy* может быть сравниваемо лишь аналитически — в отличие от *prosty*. В целом же польский язык различает два типа антонимичности: отрицание по контрасту и отрицание по противоречию. Если отрицаемое, негативное, прилагательное есть член противоречащей пары, то компаративные пресуппозиции имеют место всегда. Тогда, таким образом, достаточно синтетического компаратива. Если же негирующее прилагательное входит в оппозицию контраста, то оно может не иметь пресуппозиции и может быть сравниваемо как

аналитически, так и синтетически. Оказывается далее, что по этому критерию различаются и прилагательные цвета: *zielony*, *brązowy* могут быть сравниваемы только аналитически, *biały*, *czarny*, *czzerwony* имеют оба способа сравнения, так как их семантика многозначна.

Выше мы говорили о месте нормативного статуса в функциональной семантике прилагательного. Возвращаясь к этому еще раз, стремление отделить — через язык — норму от не(-)нормы можно увидеть и в этих же формах компаратива. Так, прилагательные с высшей степенью качества (т. е. не-норма!) уже содержат пресуппозицию наличия: *doskonały*, *swietny*, *wybitny*, *wspaniały*. Ср. в русском: *Анна блистательнее Марии*; *Петр талантливее Павла*. Таким образом, грамматические и текстовые формы прилагательных выявляют присущее человеку устремление понимать норму — в ее отличие от не-нормы, ненормативным является и просто непозитивное и экстрапозитивное.

3. Прилагательные и субъективно-объективные свойства

Как уже говорилось выше, человеку свойственно не только выражать объективные свойства, опираясь на свой перцептивный аппарат, не только стабилизировать мир, проецируя на него свои представления о норме, но и отличать те свойства объектов, которые являются их имманентными характеристиками, объективными, и свойства, заведомо приписываемые, исходящие от субъекта.

Различению последних посвящена диссертация И. А. Елисейевой (Елисейева 1981). В работе анализируется функциональная семантика словосочетаний с прилагательным — управляющим словом: *добрый с детьми*, *известный среди художников*, *нужный для шитья*, *робкий с женщинами* и т. д. Во всех этих конструкциях присутствует значение ограничения, относительности признака. Оказывается, что та группа прилагательных, которая включает слова, приписывающие характеристики, а не объективные свойства, гораздо более разветвлена и входит во множество словосочетаний. Таким образом, человек как бы заранее предопределяет некоторую замкнутую локальность или социальную ограниченность даваемых характеристик: *интересный — кому?*, *добрый — к кому?*, *покорный — кому?*, *выгодный — для кого?* и т. д. Поэтому типичнейшей формой имени в подобных словосочетаниях является дательный субъекта. Напротив, во второй группе, в прилагательных, определяющих объективные свойства объектов, семантика имен связана не с лицами, т. е. с социальными, а в основном с объективными же ограничениями — *бледный от усталости*, *смуглый от загара*, *золотой в солнечных лучах* и т. д. Однако в этой последней группе более отчетливо проступает пресуппозиция относительности этого, хотя и объективного, признака: вообще, видимо, не бледный, не смуглый, не золотого цвета и т. д. Точно так же *робкий с женщинами* предполагает, что не всегда робкий и т. д. Итак, выявляется еще одна особенность семантики прилага-

тельных: социально приписываемые — в отличие от имманентных — даются как бы с большой осторожностью, с оговоркой.

Выше отправным пунктом исследования явились прилагательные меры. Как оказалось, эти прилагательные не абсолютно коммуникативно безразличны, а имеют личностно-социальную ориентацию. Как выяснилось далее, прилагательные меры можно условно разделить на три группы: всегда относительные: *chief, actual, tall* и т. д., абсолютные: *four-legged, aged*, объединяющие оба свойства: *definite, clever, present* (Siegel 1979). Эта особенность прилагательных меры связана с их свойством быть как предикативами, так и атрибутивами. В этом плане они соотносятся уже с как будто противоположной по семантике группой — группой социально направленной оценки лица. Обратимся к полю прилагательных этой группы, попытавшись описать ее внутреннюю структуру.

4. Прилагательные оценки лица

Оказывается, что приписываемые прилагательные со значением оценки лица вообще обладают диффузностью значения и стремятся соединяться в семантически размытые пучки. Как отмечает и Е. М. Вольф: «...семантические связи П в синтагматике могут быть направлены на другие П — и в этом случае два П часто оказываются в грамматически (синтаксически) параллельных структурах». Нами был собран материал по употреблению трех таких пучков: *тихий—скромный; волевой—энергичный; пустой—легкомысленный*.

Приведем примеры по первому из этих пучков (примеры взяты из материалов Словарной картотеки ИЛИ РАН: *Человек богатый, но самый простой, и меня за тихое и скромное поведение очень полюбивший* (А. Болотов); *Профессор Бек есть тихой, скромный человек, осторожный в своих суждениях* (Н. Карамзин); *Так я уж веки здесь: тих, скромн завсегда* (И. Крылов); *Пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов — прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый* (В. Одоевский); *Но он жил тихо и скромно, никого не приглашая к себе* (Н. Полевой); *Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком* (А. Пушкин); *Эта красота тихая, скромная, далекая от всяких притязаний на какую бы то ни было торжественность* (Н. Лесков); *Вообще в классе было сравнительно тихо и скромно* (Н. Помяловский); *Скоро страх титулярной советницы совершенно рассеялся: молодой человек оказался скромн и тих, даже больше, чем следовало* (А. Писемский); — *Дуня? — Скромная да тихая, воды не замутит* (Д. Мамин-Сибиряк); *А про Бурдовского и говорить было нечего: человек тихий и скромный* (Ф. Достоевский); *И, снявши шубу, пошел своей скромной, тихой и легкой походкой прикладываться к местным образам* (Л. Толстой); *В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек* (М. Горький); *Тихая, скромная речка огласилась фырканьем, плеском и криком* (А. Чехов);

Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском (С. Соловьев).

Все это пары-связки совсем не синонимичных прилагательных. Человек скромный по существу своему может и не быть тихим, внешне тихий может быть честолюбцем и жестоким деспотом, энергичный вполне способен оказаться безвольным, а волевой — сдержанным, мало тратящим энергию. Однако, как видно по примерам, эти пучки встречаются у многих писателей. Пожалуй, судя по собранным материалам, желание разрушить клиширующуюся последовательность можно обнаружить в явной форме лишь у И. С. Тургенева: *Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно (Первая любовь); Настасья Карповна клала земные поклоны и вставала с каким-то скромным и мягким шумом (Дворянское гнездо); Он замечательно умный человек, хотя, в сущность, пустой (Рудин); Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе, с беззубою улыбкой на напряженно озабоченном и пустом лице (Дворянское гнездо).*

Синтаксическая структура приведенных примеров свидетельствует о том, что названные пучки употребляются в основном в функции предиката или легко могут быть трансформированы в сочетания в этом значении. «Прилагательные, как известно, принадлежат к предикатным словам. Это основное свойство — их предикатный характер — определяет и их значение, и их употребление.

Так, в частности, классические предикаты сочетают в себе два аспекта — обозначение собственно признака и обозначение оценки, с этим связана их способность выступать в двух структурах — денотативной и квалификативной, которые обычно реализуются вместе, в пределах одного высказывания» (Вольф 1974).

На глубокое коммуникативное различие идентификации и предикации неоднократно указывалось Н. Д. Арутюновой, отмечавшей стремление идентификации к точности и предикации к размытости, подчеркивавшей «простую и в то же время основополагающую идею о функциональном (коммуникативном) различии субъекта и предиката, об отношении первого из них к миру, а второго к мышлению о мире» (Арутюнова 1978). В самом деле, и коммуникативные усилия при этом затрачиваются различные: так, в любой «средней» беседе огромное значение придается точности идентификации объекта, хотя бы объект назывался только для примера и был в сущности безразличен. Иными словами, коммуникативная значимость предиката бывает затемнена и аннулирована идентификацией субъекта. Нечто подобное можно заметить и при восприятии научных сообщений, когда в дискуссии обсуждается скорее «тема», а не «рема» сообщаемого. Характерны при этом и ассоциативные добавки к теме, часто не имеющие отношения к основной теме (мысли) сообщения и никак на нее не влияющие. Более того, о психическом здоровье человека судят по тому, «узнает» ли он что-либо, чем по тому, насколько разумные вещи он сообщает об известных объектах.

Особое положение прилагательных, отмеченное выше, диктует их объединение в диффузный семантический пучок в связи, как представляется, с двумя обстоятельствами.

Первое из них мы предлагаем назвать стремлением к характеристике одним признаком.

Если еще раз вернуться к делению признаков на оценивающие, приписываемые и имманентные, то для вторых в упоминавшейся работе А. Н. Журинского устанавливается наличие главных размеров в человеческом восприятии. Это длина, высота и глубина. При этом мы стремимся назвать предметы по одному главному размеру, не сообщая об остальных его характеристиках, хотя бы они были очевидны для восприятия: «Когда мы называем длинным забор, мы никак не учитываем у него высоты». Со всей очевидностью здесь напрашивается аналогия с оценочными характеристиками человека. При коммуникативной характеристике за отдельным лицом обычно закрепляется одна какая-то черта, которая и сообщается. Таким образом, обилие оценок, предоставляемое лексическим богатством прилагательных, в коммуникативном плане сводится к небольшому числу базовых штампов. «Базовая система специфицирующихся дескрипций — это нотация того типа, когда объекты характеризуются некоторыми базовыми атрибутами. Сами эти атрибуты, в целях эффективности дескрипций, являются одномерными и некоррелируемыми, как и все базовые прилагательные в языке» (Журинский 1971).

Возникновение семантических пучков связано, таким образом, с тенденцией к уменьшению возможных характеристик.

Второе обстоятельство, препятствующее дифференцированному употреблению оценочных прилагательных и способствующее их объединению в пучок, связано с формой и сущностью у приписываемого качества, с отдельностью формы и сущности. А именно: такие качества, как быть волевым, скромным, пустым должны как-то проявляться. Иногда установка на подчеркивание формы проявления положительно оцениваемых качеств может даже приводить к их ликвидации. Например, широко известно поведение на конференциях, собраниях людей, входящих с опозданием и демонстрирующих «деликатное» поведение: всячески показывая всем, чтобы о них не беспокоились, они в конце концов устраиваются подчеркнуто неудобно или стоят. Понимают ли носители подобных социальных ролей, что быстро пройти в первый ряд и там сесть было бы гораздо более деликатно «по существу»? Вероятно, да, но в данном случае побеждает столь характерная для социокоммуникативных отношений боязнь, хотя бы в случае легких изменений внешних форм, получить другую социальную роль.

Если с этой точки зрения рассмотреть названные выше пучки прилагательных, то окажется, что из объединяемых в пары прилагательных одно является более «внешним», другое более «внутренним». Так, внешние — это *тихий*, *энергичный*, *легкомысленный*. Таким образом, можно, устанавливая или имити-

руя более легко воспринимаемое внешнее свойство, вызвать квалификацию данного объекта и вторым словом. Это открывает возможности и для манипулирования социальными ролями. См. у Б. Бернштейна, согласно которому «ограниченное употребление прилагательных свойственно общему языку, возникающему там, где идет нивелировка индивидов, т. е. распределение социальных ролей» (Bernstein 1975). Именно сходную мысль о «склеивании» двух прилагательных при оценке, когда один образ может быть представлен на размерной шкале, а второй расплывчат, мы находим в статье Д. И. Шапиро (Шапиро 1978), когда оценка «красивая женская нога» представляется как 'стройная нога + длинная нога'.

Резюмируя сказанное, можно обобщить.

1. Характеризуя через прилагательные внешние объекты, человек опирается при этом на особенности своего перцептивного аппарата.

2. При характеристике существенным является и представление о мире: установка на позитивную норму, отклонения от которой маркируются.

3. Человек различает характеристики имманентные, присущие объектам, и приписываемые им субъектом.

4. Прилагательные, оценивающие лица, часто объединяются в контексте, в синтагматике, в диффузные семантические пучки, поскольку они наиболее отчетливо демонстрируют скрытую предикацию.

5. При этом наблюдается тенденция к квалификации объекта одной характеристикой.

6. В объединении и предпочтении одной из характеристик значительную роль играет отношение форма—сущность, выбирается в качестве основной характеристика по форме.

§ 15. «Модель мира» в грамматике паремий.

Грамматика паремий как социальный фактор.

Различие в социализации и глубинной грамматике пословиц и загадок

Последний параграф — это попытка каким-то образом выявить через грамматическую структуру сохранившихся «традиционных» текстов «модель мира», отразившуюся в грамматике паремий. Данные русских и славянских пословиц и загадок приводят — с осторожностью — к гипотезе о более древнем характере загадки и более позднем — пословицы, более социализированном.

Интересным отличием славянской загадки от древнеиндоевропейской, исследованной Т. Я. Елизаренковой и В. Н. Топоровым, является не двумерность (Первочеловек = Космос), а трехмерность: 1) Феномен Природы / 2) Одушевленное существо / 3) Артефакт, продукт цивилизации. Таким образом, в связке Загадка—Отгадка возможны комбинации: 1/2, 2/1, 1/3, 3/1 и т. д.

1. Социальные функции паремий

1. Предметом настоящего исследования¹ является грамматика основных видов паремии — пословицы и загадки, — рассмотренная с разных точек зрения. Это — вхождение ее в общенормативную грамматику набором употребляемых категориальных форм, выявление дополнительной семантической нагрузки у грамматики в ее соответствии с социальными установками паремии, определение типовых ситуаций в рамках паремийного высказывания, наконец, соотнесение этих ситуаций с древнейшими реконструируемыми типами индоевропейского предложения.

Кроме того, паремийный материал, собранный по соответствующим сборникам загадок и пословиц на славянских языках², дает возможность сопоставления русских данных в пределах семьи родственных языков, а собранные по разным источникам переводы русских паремий на языки с системой артиклей предоставляют возможность понять колебания в интерпретации глубинной семантики привычных русских текстов.

2. Как представляется, долгое время паремии, пословицы и загадки, изучались в основном в пределах фольклора и методами фольклористических исследований в изоляции от грамматики в ее теоретико-функциональном аспекте. Между тем историю лингвистики XX в. можно по существу свести к преобразованию знаменитого положения Ф. де Соссюра о том, что язык существует «в себе и для себя», в тезис «в себе, но не для себя». Как пишут современные социолингвисты: «Значение всегда является значением для кого-либо. Нет такой сущности, как значение предложения само по себе, вне зависимости от каких-либо людей. Когда мы говорим о значении предложения, это всегда значение для кого-либо, для реального лица или гипотетического типичного представителя языкового сообщества» (Лакофф, Джонсон 1987). Обратим внимание на названного выше последнего адресата. Именно к нему и обращается перлокутивная установка паремий. Они создаются обществом для себя в целом и для каждого его члена. Их цели: 1) сообщить нечто основное и/или изначальное о мире и о человеке; 2) способствовать гомеостазированию общества в целом; 3) воздействовать на потенциального «блудного сына», одиночку, с тем чтобы вернуть его в лоно соборного Коллективного Разума. Необходимо, однако, сразу же оговорить, что эти три цели реализуются обеими паремиями по-разному, в разной степени и модифицирующимися в отдельные эпохи существования и развития общества способами.

И пословицы, и загадки обладают своей коммуникативной спецификой, будучи в предельной степени включенными в коммуникативный контекст, ибо

¹ Настоящая публикация является обобщением части исследования большего объема, входящего в коллективную монографию «Загадка как текст» (М.: Индрик, 1994).

² Использовались данные всех основных литературных славянских языков, за исключением словенского и серболоужицких.

если можно представить себе изолированные высказывания вроде *Сегодня как будто бы обойдется без дождя*, то человек «ни с того ни с сего» произносящий *С волками жить — по-волчьи выть* покажется более чем странным. Однако, функционируя только на макроконтекстном уровне, паремии не могут быть встроены в нейтральные высказывания путем разного рода анафорических и собственно синтаксических средств. Поэтому их перлокутивная структура должна быть особой.

Кроме того, в большинстве нейтральных высказываний мир представляется как система, потенциально преобразуемая. «Мир моделируется как набор суждений, которые представляют наши знания о его статических характеристиках. Этот мир изменяется посредством действий, которые могут рассматриваться как параметрированные процедуры» (Аллен, Перро 1986; 320). А в паремийных же высказываниях воздействие ориентировано на поведение типизированное, целью которого является не преобразуемый мир, а стабилизированный. Пословицы, по определению А. А. Крикмана, есть не гносеологические, а прагматические орудия (Крикман 1984; 165). Поэтому даже пословицы, сообщающие о природе, растениях, животных и т. д., суть на самом деле сообщения о человеке и его действиях. При этом сообщаемое и не универсально, и не конкретно только, но соединено с социальным как с промежуточным звеном.

Причину психологической готовности к применению пословиц в коммуникации видят не только в том, что это одна из наиболее действенных структур убеждения, но и в их свойстве способствовать установлению общности у членов коммуницирующего социума. Так, в настоящее время псевдопаремийный материал с успехом применяется в психотерапии, когда сначала квазипословицы сплачивают людей, а потом служат в качестве ностальгических реминисценций, чем-то связанным с началом выздоровления, и тем самым служат вторичным средством стабилизации (Rogers 1989). Естественно, что пословичная модель легко находит свое продолжение в политических лозунгах и призывах унитарных систем (Militz 1991).

Может создаваться впечатление, что загадка, в отличие от пословицы, социально нейтральна и эволюционно нетрансформируема. Однако это вовсе не так. На заре своего существования загадка обращена прежде всего к осознаваемому человеком Космосу, Вселенной, при том особом мироощущении, когда Макромир и Микромир воспринимаются как идентичные и сосуществующие в Едином. Можно полагать, что архаичное мышление не знало ни дедукции, ни индукции в нашем современном понимании, т. е. того позитивистского подхода, который всегда предполагает укрупнение феноменов в родовые и видовые понятия без субстанциального перерыва в мышлении. То есть отгадывание Вселенной по архаической модели есть Отображение (Мимесис), нечто гомогенное искусству. Однако очевидно, что на этом древнем этапе не все владели тайным знанием и тайным умением Отображения. Поэтому подобные знания являлись и социальной характеристикой приобщенности к некоей социальной группе. При этом

само отгадывание имело место как результат Отображения. В. Н. Топоров и Т. Я. Елизаренкова в работе о ведийской загадке подчеркивают, что при разгадывании ведийской загадки «найденный смысл всегда нов и единствен», что «открытие, обретение смысла всегда нечто сверхъестественное, всегда чудо, доступное лишь для носителя высокой мудрости» (Елизаренкова, Топоров 1984).

В более поздние и гораздо более поздние эпохи члены социума заучивают соответствующие ответы с детства, уже не постигая индивидуально некие смыслы отгадок, заучиванием они страхуют себя от подозрений в социальном аутсайдерстве.

При возникновении письменных культур с их ярко выраженным в более позднее время логоцентризмом, культом отдельного слова и новой графической формой выражения загадка обязательно должна была обновить одежду и войти в письменную культуру, не меняя при этом установки на социальное единодушие и сдвиг «горизонта ожидания» при отгадывании. Возникают так называемые автонимические загадки. См. *А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе? — Союз И; Что находится центре Парижа? — Буква Р; Чем кончается всё? — Буквой Ё* и под. Естественно, что каким высшим жреческим озарением ответ на автонимическую загадку быть получен не может. Его можно только знать, поскольку базирующиеся на графике автонимические загадки суть продукт Микромира и к Микромиру и обращены. Они в еще большей степени выполняют задачу проверки на социальную включенность и в еще большей степени мучительны для потенциального аутсайдера, каким обычно оказывается уже умеющий читать и писать ребенок младшего школьного возраста.

По мере развития европоцентрической цивилизации для входящего в нее лица факт потенциального незнания ответа на загадку перестает быть социально опасным. И теперь загадка оборачивается второй своей стороной — обманутым ожиданием, принципиальной неразгадываемостью. Загадка становится забавным загадкоанекдотом. *Что такое: зеленое, висит и пищит? — Селедка; Что такое — четыре черных ноги? — Это одноногий негр играет на рояле* и под. Важно то, что в коммуникативно-социальном плане анекдот как бы противоположен загадке: знать его вовсе не обязательно, напротив, незнание в данном случае дает возможность собеседнику рассказать его еще раз. Таким образом, загадкоанекдоты также спланивают общество, но другими коммуникативными методами, чем архаические загадки и загадки автонимические.

Итак, и загадка, и пословица являются, по Аристотелю, энтимемами, средствами убеждения (Green, Pepicello 1986). Воздействие энтимемического характера — это особый вид риторической стратегии, который не строится по правилам логики и развития силлогизма, а основывается на общем фонде знаний слушающего и говорящего (Todorov 1978).

Можно предположить, что аналогия, принцип аналогического соотнесения ситуации, является фактором, объединяющим загадку и пословицу. Такими

путями фольклорные тексты, направленные на стагнацию, аннулируют выбор, т. е. именно то, что порождает личность.

3. В последние десятилетия произошел большой сдвиг в языкознании, пройти мимо которого для нужд паремиологии, на наш взгляд, невозможно. Мы говорим о двух языковедческих направлениях.

Первое — это направление, изучающее целевую установку при речевом поведении. Оно прежде всего связано с именем Дж. Остина, различавшего локуцию, иллокуцию и перлокуцию. Связано оно и с теорией речевых актов, с идеями речевой кооперации, с так называемой когнитивной лингвистикой, описывающей язык как социализированное пространство.

Вторым обещающим направлением является новый подход к трактовке категорий грамматики. Прежнее разделение грамматического описания на два слоя: парадигматическое представление с таксономией форм и так называемые правила употребления — оказалось недостаточным, и перемещение в сторону человека потребовало антропоцентрического подхода к категориальной грамматике. С этим направлением связан круг работ, посвященных так называемой картине мира в каждом языке.

Нами был произведен анализ двух феноменов грамматики паремий: 1) квалификационно-содержательное определение типа вербального предиката в пословице и загадке; 2) референционного статуса имени в обеих паремиях. Анализ проводился как бы остранинно, исключительно путем сопоставления самих грамматических форм и их квалификации в наиболее фундаментальных работах по грамматике современного русского языка. Прежде всего использовались тома Функциональной грамматики русского языка, издаваемой в последние годы под руководством А. В. Бондарко (Теория функциональной... 1990, Теория функциональной... 1991), две академические грамматики (АГ-1952-54, АГ-80) и труды Е. В. Падучевой и О. Н. Селиверстовой по референционному статусу имени, а также отдельные специальные работы по универсальным высказываниям и именам с абстрактным и универсальным значениями (Е. Н. Гаврилова, Л. И. Лебедева и др.). Эта установка на «чужую» интерпретацию категориальной семантики была выбрана совершенно сознательно — чтобы избежать гипнотического воздействия самого паремийного материала.

Полученные результаты.

2. Предикат в пословице и загадке

1. О семантике предиката в н е у с л о в н ы х пословичных структурах можно сказать следующее:

а) В славянских пословицах безусловной структуры употребляются преимущественно периферийные формы глагола: настоящее время, прошедшее, будущее время, императив (т. е. это ядро глагольной парадигмы).

б) Формы числа и вида не равноправны и не равнозначны. Императив функционирует только в единственном числе. Есть различия по персональности в сфере настоящего: *Рыбак рыбака видит издалека* и *Цыплят по осени считают*.

в) Самым существенным оказалось то, что при непериферийности формы глагола пословицы, как правило, используют разнообразные периферийные оттенки, или семантические наложения, функциональной семантики форм, т. е. неосложненная категориальность практически не используется. Эти дополнительные для каждой категории смысловые наложения сближаются, объединяя категории функционально. Таким образом, сквозь различия категориальных форм просвечивает некая общая диффузированная семантика паремии, общность которой видна только при расчлененном семантическом анализе каждой из парадигматических единиц. Эти смысловые корреляции глагольных форм пословичных структур можно представить наглядным образом:



Таким образом, непредставленность семантики возможных миров в семантике пословичных глагольных форм компенсируется обилием «супервременных», или первично синкретичных, привходящих коннотаций.

2. Обращенная практически к каждому и во все времена, пословица все же не игнорирует возможности быть советчиком при некотором ограниченном числе случаев, т. е. при ситуациях потенциальных. Очевидно, что условность понимается здесь широко, т. е. имеется в виду реализация некоторой ситуации

только в качестве функции от переменной — другой ситуации X. При таком подходе условную семантику имеют и сложные предложения со значением причинности, уступительности, собственно условия, множество бессоюзных структур самой разнообразной семантики. Именно такое понимание условности и представлено в АГ-80 (АГ-80, т. II; 562). Таким образом, разнообразные формы предикатов в условных структурах как бы описывают разнообразие возможных моделируемых ситуаций, в которые может привести исходная обусловленная ситуация. Однако эта свобода выбора predetermined образом оказывается обреченной именно при наложении на онтологическую дидактичность пословицы. Совершенно очевидно, что в безусловных предикатных структурах «проработанность» глагольных категорий значительно больше, чем в условных. Поэтому в них коммуникативная установка как таковая сама более тесно сплетена с категориальной семантикой формы. А в «условных» же предложениях речения повернуты к адресату не самим сообщаемым, а некой дополнительной ситуацией, потенцируемой или нереализованной. Эти «теневые» структуры входят в модели грамматики паремий и могут, по нашему мнению, быть описаны и истолкованы тремя возможными наложениями:

А. 'Может (могло) быть и хуже'

Пакуль ёсць хлеб ды вада — усё не бяда (бел.)

Покі хліб та вода, то ще не беда (укр.)

Б. 'А может (могло) быть лучше и иначе'

Не замесіш густа, як у амбары пуста (бел.)

Тягни, кобыло, хоч тобі не міло (укр.)

В. Пословичные высказывания, теневая семантика которых может быть определена по аксиологии только в контексте. Обычно они характеризуют некую ситуацию как результативную, стабилизовавшуюся: *Як граюць, так і тайнуюць* (бел.), *Каквото повикнало, тавоз се откликнало* (болг.), *Назвался груздем — полезай в кузов* (рус.).

3. Предикат в загадке выполняет совершенно иную функцию, чем предикат в пословице. Смысловым центром пословицы обычно является проскрибируемое действие, предикат. Центр загадки — это имя. Именно имя, т. е. явление, предмет, феномен, и отгадывается; к нему и обращены предикаты, которые служат как бы связующим звеном между ним и миром. Пословица обращена к действующему человеку, загадка обращает человека вовне. Потому в загадке возникает некий стоп-кадр. Внутри этого стоп-кадра перемещение и движение возможно, но это кадр с семиотической рамкой. Макромир, как мы и говорили, равен здесь Микромиру. Поэтому времена в глаголе могут и меняться: даже стагнированный кадр может быть именован по-иному: *Яблоки рассыпались*, *Лежат рассыпанные яблоки*, *Кто-то рассыпал яблоки*, но это всегда — *la nature morte*. Именно поэтому в предикатах загадки глагольных форм много, но нет периферийных форм, описывающих альтернативные миры, тогда как пословица и в обусловленных ситуациях диктует *modus vivendi*.

Итак, какие модели состояния описывают предикаты загадок:

а) результат, перфективность, то, что мы видим сейчас как следствие первичного действия:

Рассыпался стакан по всем городам; Олена-царевна по городу ходила, ключи оборонила; Сивка море перескочил, а копыта не смочил и т. д. (рус.); *Червоне коромисло через річку повисло: Летіло золото, а стало болото* (укр.); *Бела кабыла увесь лес паела: Месяц бачыў, а сонца украла* (бел.) и т. д.;

б) вечно длящееся действие, имеющее место вчера, сегодня и завтра:

Лежит кучка поросят, кто ни тронет — завизжат (рус.); *Живе без тіла, говорить без языка, ніхто його не бачить, тільки чує* (укр.); *Цервен ус чърно тело лиже* (болг.); *Брат брата гониць, ніколі не дагониць* (бел.) и под.

Загадка демонстрирует две модели описания мира, две картины. На одной изображено извечное действие, часто глагол типа *стоит, лежит, сидит* и под., но вместо глагола может быть именная характеристика: *С хвостом, а не мышшь* и т. д.

Вторая картинка — результат, по которому мы можем догадываться о происшедших событиях: *Червоне коромісло через річку повисло*.

Итак, основные ситуации: результативное прошедшее и длящееся настоящее. Так как первое свидетельствует о преобразованиях при мировом творении, а второе — о сегодняшнем статусе сотворенных элементов, то возможны свободные замены категориальных форм в разных фиксациях загадок: при этом перфект соответствует обычно настоящему, а настоящее длящееся — имперфекту: *Сидел птах на белых горах — Сидит птах на белых горах* (Курица на яйцах); *Летит пан, на воду пал и воды не всколыхнул, В лесу летало, в воду упало, не булькнулось* (Пух или перо) и т. д.

3. Референциальный статус имени

1. Известно, что референциальный статус имени в пословицах связывается с обобщенностью, к имени добавляется значение квантора всеобщности ‘всякий’, ‘любой’, В языке это значение связано с денотативным референциальным статусом неопределенности. Поэтому, кроме повторения этого очевидного наблюдения, казалось существенным понять, какое же расслоение характеризуемых моделей встает при более детальном анализе пословичных высказываний. Для этого привлекались данные артиклевых языков, во-первых, и собранные по разным паремнологическим работам примеры переводов на артиклевые языки русских пословиц, во-вторых.

Кроме того, предваряя эти данные, необходимо заметить, что, говоря о статусе имени в пословице, на самом деле говорят не обо всех именах пословиц, а обычно об одном имени, просто первом по порядку или о локализирующем имени. Например, *В тихом омуте черти водятся* — это во всяком тихом омуте, а не *В тихом омуте водятся всякие черти* и под.

При наличии двух имен при переводе оказались возможными следующие артиклевые комбинации: О — определенный, Н — неопределенный, 0 — нулевой.

О — О:

Яйца курицу учат — Die Eier lehren das Huhn.

Игра не стоит свеч — Das Spiel lohn nicht die Kerzen.

Куда иголка, туда и нитка — Wohin die Nadel, dahin auch der Faden.

На воре шапка горит — Auf dem Dieb brennt die Mütze.

О — Н:

Из-за деревьев не видят леса — Er sieht den Wald vor Bäumen nicht.

Нашла коса на камень — Die Sense stieß auf einen Stein.

0 — Н:

У страха глаза велики — Furcht hat grosse Augen.

Н — Н:

И на старуху бывает проруха — Auch eine Alte macht einen Fehler.

С большой головы да на здоровую — Vom einen Kranken Kopf auf einen Gesunden.

Н — 0:

Будет свинка, будет и щетинка — Wird es ein Schweinchen geben, wird es auch Borsten gehen.

В чужой монастырь со своим уставом не ходят — In eines fremdes Kloster geht man mit seinen Regeln nicht hinein.

0 — 0:

Нет дыма без огня — Wo Feuer ist, da ist auch Rauch.

Когда в пословице представлено только одно имя, то возможны три решения:

О — *Куй железо, пока горячо — Schmiede das Eisen, solange es heiss ist.*

Н — *Бедя никогда не приходит одна — Ein Unglück kommt selten allein; Misfortunes never come alone; Un malheur n'arrive jamais seul.*

0 — *Чужой мед горек — Fremder Honig ist bitter.*

Какие из этого можно сделать выводы?

1) Абстрактное имя (свойство, качество) передается, как правило, нулевым артиклем. Однако интересным исключением является слово *беда* в трех языках — с неопределенным артиклем. Это вполне соотносится с принципиальной «неосваиваемостью» беды, которая была нами подмечена при опросе информантов по вопросам посессивности (см. § 13).

2) При двух единообразных неопределенных артиклях ситуация представляется как цельная.

3) Возможно изображение ситуации как централизованной. Тогда окружающие явления входят в сферу интересов этого центра. Артикли определенные: *Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm; Wohin die Nadel, dahin auch der Faden.*

2. Для загадки существенно отношение имени с разными типами артикля в самой загадке и в отгадке. Для имени-отгадки выявились три возможности:

а) имя-отгадка представлено нулевым артиклем:

Sidit девица в темнице, коса на улице. — Морковь.

Es sitzt ein Mädchen in einem Kerker, der Zopf ist draussen. — Rübe.

Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька. — Кошка.

Ist völlig zottellog, hat vier Pfötchen und einen Schnurrbart. — Katze.

Стоит копытце, полно водицы. — Колодец.

Es steht ein Trog, voll vom Wasser. — Brunnen.

Дядя Афанасий лыком подпоясан. — Веник.

Onkel Aranasij mit Bast umgürtelt. — Besen.

Черен — да не ворон, рогат — да не бык. — Таракан.

Schwarz, aber keine Rabe, gehört aber kein Stier. — Kuchenschabe.

б) имя-отгадка передается неопределенным артиклем:

Что не корыстно? — Коромысло.

Was ist uneigennützig? — Ein Tragejoch.

Стоит сноха, ноги развела. — Соха.

Es steht eine Schwiegertochter, sie hat die Beine auseinandergestellt. —

Hakenpflug.

Два Петра в избе. — Ведро.

Deux Pierres à la maison. — Des seaux.

в) имя-отгадка передается определенным артиклем:

Самсоница в избе. — Солоница.

Dame Samson à la maison. — La salière.

Нет ни окон, ни дверей, посередине архиерей. — Орех.

Pas de fenêtres, ni de portes. Au milieu un évêque. — La noix.

Что в избе бодро? — Ведро.

Was ist in der Hütte Erfrischendes? — Der Eimer.

Что в избе Фрол? — Стол (и т. д.).

Was in der Hütte Frol? — Der Tisch.

Попытаемся ответить на вопрос о различии в артикле отгадки в соотношении с ситуацией загадочного текста?

В первой группе отгадка понимается как воплощение класса, а не как его представитель, т. е., так сказать, таксономическая кошка или вообще зверь. Как видно по примерам, текст загадки при этом характеризующий: *Вся мохнатенька...*

Ответ во второй группе представляет не общее родовое понятие, а некоего представителя этого рода. Текст загадки, как видно также по примерам, является описанием ситуации, а не характеристикой: *Скребется в углу пузырячатый мышонок в брюхе.* — (Всякая) беременная женщина.

В третьей группе загадывается единственно возможный для данного локуса объект. Определенный артикль отгадки в данном случае предрешен.

Однако необходимо заметить, что рассматривались примеры с артиклями-данностями. На самом деле, передать артиклем современной категориальной

семантики значение имени в русской архаической загадке достаточно сложно. *По горам по долам гуляет и единичный баран, и баран вообще, и Первобаран начала творения.* Именно этот пример был переведен нашими информантами на французский язык и с определенным артиклем, и с неопределенным.

4. Корреляты пропозиции

Следующий этап анализа — попытка найти корреляты пропозиции, т. е. осуществить ситуативное прочтение оси предикат—имя. В пословице вычленить семантическую обусловленность пропозициональных структур не удалось. Актанты пословиц подобны героям басен: это может быть слон, бочка, мартышка, стареющая красавица — морализаторская значимость при этом не изменится.

Иное положение в загадке. Для загадок архаической структуры соотношение имени загадываемого и имени отгадываемого во многом предсказуемо. Это корреляция трех основных компонентов: Феномен Природы (1); Одушевленное живое существо (2); Артефакт, продукт цивилизации (3). Таким образом, возможны отношения: 1/2; 2/1; 1/3; 3/1; 2/3; 3/2; 1/1; 2/2; 3/3. Например:

Выше сараю две куклы играют. — Солнце и Месяц (3/1); *Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка.* — Месяц (3/1); *Белы хоромы, красны подпory.* — Гусь (3/2); *Лежит холм, а за холмом две ямы.* — Глаза (1/2); *Месяц-новец днем на поле блестел, к ночи в небо слетел.* — Серп (1/3) и т. д.

Предикаты в загадке архаической структуры также во многих примерах тяготеют к определенной семантике. Чаще всего это семантика стабильности, покоя: *сидит, лежит, стоит* и под. Такие соотношения анализируются в книге Ю. С. Степанова, ориентированной на лексические вхождения в структурные схемы предложения (Степанов 1989).

И вот здесь, как представляется, общий текст загадки демонстрирует интересную тенденцию. Типы I и II индоевропейского предложения, т. е. различающиеся по степени активности/инактивности субъекта, в загадке стремятся к объединению. А именно — если активно имя загадки, то инактивно имя отгадки. И наоборот. Например: *За окошком стоит Антошка.* — Месяц; *По синему небу тарелка плывет.* — Месяц; *Среди леса, среди леса лежит шмат железа.* — Змея; *Под мостом, мостом лежит гиря с хвостом.* — Змея; *Зимой калачом, летом пирогом.* — Собака.

Предикат архаических загадок также тяготеет к стагнированности: *стоит, лежит*; стагнированный результат описывает и совершенная форма, и медиальная, связанные с древнейшим *hi*-спряжением.

Таким образом, постепенное погружение в семантику паремии может дать основание для объявления синтаксиса загадки синтаксисом древней индоевропейской модели по сравнению с пословицей, очевидно, более позднего

происхождения. За лексической структурой текста загадки проступает корреляция живого/неживого (последний класс представлен как явлениями Природы, так и Продуктами деятельности человека). Центром пословицы является глагол, грамматика которого осложнена категориальными коннотациями проскрипционного характера, центром загадки является имя.

Примечания

§ 2. Интонация. Ее составляющие... основывается на многих работах автора, прежде всего — на четырех монографиях по этой проблематике. Более детально:

Три интонационных слоя звучащей фразы — сокращенный вариант фрагмента монографии «Фразовая интонация славянских языков», М., 1977.

«Компенсационный» закон А. М. Пешковского — приводится статья «Принцип замены» А. М. Пешковского и отдельные компоненты интонации // Вопросы фонетики и обучение произношению, МГУ, 1975.

Попытка определения интонемы — избранные фрагменты из монографии «Интонация сложного предложения в славянских языках», М., 1969.

§ 3. Интонация и типология — представляет собой композиционно объединенные и тем самым несколько приобретшие иное звучание фрагменты из монографий «Фразовая интонация славянских языков», М., 1977, и «Просодия Балкан», М., 1996.

§ 4. Универсальность vs. типологичность просодической схемы. По сути этот раздел связан с соответствующим параграфом первой части, где обсуждаются общие идеи существования просодической схемы как особого этапа в развитии слова, его до-ударной основы. Делается вывод — судя по данным в основном языков Балкан — о том, что просодическая схема не универсальна и может оказывать влияние при контакте языков. Реально — именно так объясняется ряд явлений, обсуждаемых ниже.

«*Неоштокавский сдвиг*» и его возможные причины — основывается на работе автора «Возможная интерпретация „неоштокавского сдвига“ и идея просодической схемы слова» // Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание. Тезисы докладов Международной конференции. Звенигород, 25—27 ноября 1998 г., и фрагменте монографии «Просодия Балкан».

Временные загадки балканской просодии — сокращенный вариант статьи автора «Категория времени и речевое общение на Балканах» // «Знаки Балкан-2», «Радикс», 1994, а также близкой к ней экспериментальной работы с тем же названием: *Временные загадки балканской просодии* // Проблемы фонетики, 1993, № 1.

§ 5. Обе опубликованные здесь работы связаны с именем А. А. Реформатского, отделены интервалом в тридцать лет и ему посвящаются.

Чем притягивается словесное ударение? см.: Место ударения и фонетический состав слова // Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-летию А. А. Реформатского, М.: Наука, 1971.

«Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском словосочетании — работа базируется на экспериментальном исследовании, доложенном на XIV Международном конгрессе фонетических наук (Сан-Франциско, 1999). Вариант в виде статьи на русском языке сдан в сборник, посвященный столетию со дня рождения А. А. Реформатского.

§ 6. Что стоит за сложными правилами русской пунктуации? — см. статьи автора: О функциях пунктуационных знаков в современном русском языке // Современная русская пунктуация, М.: Наука, 1979, а также связанную с ней более раннюю публикацию «Знаки препинания, дерево предложения, морфологические категории» // Структурная типология языков, М.: Наука, 1966.

§ 7. Три типа сегментных указателей межфразовой связи. Их иерархия — сокращенный вариант статьи автора: О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств // Вопросы языкознания, 1968, № 6.

§ 8. Как изучать коммуникативные частицы? представляет собой три теоретических вступительных раздела в монографии автора «Функции частиц в высказывании», М., 1985.

§ 9. Русские дейктические частицы, их функционирование в n-мерном пространстве. Что является «ближним дейксистом» — *вот, вон* или *это*? — основан на статье автора: Дейктические частицы и изолированная ситуация // Russian linguistics, 9, 1985.

§ 10. Славянский партикулярный фонд. Формульная структура. Славянские языки и формально-смысловая структура. Какая смысловая категория является древнейшей? Некоторые неславянские параллели — параграф представляет собою переделанный композиционно и перефокусированный раздел монографии «Функции частиц в высказывании», М., 1985.

§ 11. Частицы и формальная структура высказывания — раздел монографии автора «Функции частиц в высказывании», М., 1985.

§ 12. Понятие акционального статуса и различение *хотя* и *хоть* в синхронии и диахронии — фрагмент статьи, принадлежащий автору, из совместной работы с И. И. Фужерон: Некоторые соображения по поводу категории уступительности // Вопросы языкознания, 1999, № 1, а также — статьи «*Хотя* и *хоть* в исторической перспективе» // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой, М.: Индрик, 1999.

§ 13. *Этот, его, этот его* и славянская «модель мира». Об одном подходе к интерпретации посессивных значений — основывается на статье автора: Об одном подходе к интерпретации посессивных значений // Язык, система и функционирование, М.: Наука, 1989.

§ 14. Качественные прилагательные и установка на социальную стабильность в корреляции с языковой «картиной мира» — см. статью авто-

ра: Качественные прилагательные и отражение «картины мира» // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии, М.: Наука, 1983.

§ 15. «Модель мира» в грамматике паремий. Грамматика паремий как социальный фактор. Различие в социализации и глубинной грамматике пословиц и загадок — текст параграфа наиболее близок к опубликованной статье автора «„Модель мира” в грамматике паремий» // Филологический сборник. К 100-летию В. В. Виноградова, М., 1996, но базируется также на более ранних работах, связанных с этой проблематикой: Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст, М.: Индрик, 1994; Определенное — неопределенное — конкретное в пословице и загадке // Малые формы фольклора, М., 1994.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЯЗЫК МАНИПУЛИРУЕТ ТЕКСТОМ

Краткое введение

Третья часть представляет собой избранные работы автора, в той или иной степени посвященные попыткам разгадать «неочевидные смыслы» отдельных текстов художественной литературы.

Возможным теоретическим введением служит здесь статья «Единицы языка и теория текста», опубликованная более десяти лет назад. Казалось бы, целесообразнее было бы поместить мою вступительную статью к антологии «Из работ Московского семиотического круга» (М., 1997), однако более ранняя работа в принципе содержит те же основные положения, но ориентирована в большей степени на язык и его единицы, участвующие в исследованиях смысла текста, чем на раскрытие семиотической программы представляемой школы.

Остальные параграфы скомпонованы по уровням языка, от которого Московская семиотическая школа никогда и не отрывалась. Поэтому сначала говорится о роли *звуков* в тексте, затем — о роли *служебных слов*, затем — отдельных *лексем*: числительных, знаменательных слов и даже *грамматики*.

Из двух монографий: «„Слово о полку Игореве“». Лингвистика текста и поэтика» (М., 1997) и «„Слово о полку Игореве“ и пушкинские тексты» (М., 1997) — я взяла небольшие фрагменты, связанные с тем или иным уровнем не только языка, но и самого текста, в основном солидаризируясь с направлением, открытым в науке о тексте впервые В. Н. Топоровым. Это направление можно назвать X-текстом, выявляемым внутри других произведений.

Интертекстовые влияния демонстрируются в зависимости от введенной нами классификации: 1) «заимствовано» — это обычно Цитаты, 2) «наваяно» — это то, что я называю «Образами», 3) «совпадает» — это только количественное преобладание у двух авторов одних и тех же Тем.

Последний раздел вызывает самые большие опасения у автора, и все, что там написано, может быть сочтено фантастическим. Я предлагаю все сказанное там считать гипотетическим.

Как кажется, филология знает два вида верифицирования.

В первом случае все изложенное должно быть доказательным. Как правило, это относится к ее лингвистической части. Во втором случае все сообщенное должно выглядеть убедительным. Это, как правило, бывает литературоведческое ее крыло.

§ 1. Общие положения.

Единицы языка и теория текста

1. «Лингвистика текста» и ее эволюция

Многообразность задач настоящей работы во многом определяется тем, что выявление места языковых единиц в теории текста требует в первую очередь экспликации этой теории. Многие исследователи, имена которых представлены в данной книге, писали о тексте и его теории. Однако необходимо различать работы по теории текста и ту теорию, которая может быть построена на базе этих работ, в свою очередь рассматриваемых как исходный базисный текст. Так любое научное направление отличается от концептуализации этого направления, предложенного как бы «со стороны».

Результаты анализа текста могут быть неоднозначны. И любое из предложенных прочтений не должно быть априорно ложным. Очевидно, всякий текст, особенно художественный, дешифруется как конгломерат сингулярных истинностных прочтений.

Специфической особенностью анализируемого направления является то, что все определяющие его методiku исследователи — лингвисты. Лингвистическая ориентация, как будет показано далее, является важной при прочтении вербального текста, по своей сути ориентированного на свойства языкового знака. Однако излагаемая концепция связана не только с лингвистической, но и с собственно семиотической предысторией исследователей, многие из которых начинали с анализа простых семиотических структур: системы этикета, системы графем, невербальных систем коммуникации и др. Без этого предварительного этапа было бы, очевидно, невозможно перейти к семиотическому анализу систем высокого уровня.

Предлагаемый для обсуждения теоретический подход к анализу текста не связан ни с каким специфическим видом или жанром текста. Как будет подробно рассматриваться далее, анализу подлежали фольклорные тексты: заговоры, загадки, сказки, тексты мифологического содержания, тексты художественные, как прозаические, так и поэтические. Нельзя также говорить об ограничениях хронологического характера, поскольку охватывались и древнейшие индоевропейские тексты, и поэзия XX в. Ограничения в материале связаны в основном с его лингвогеографической принадлежностью. А именно — анали-

зировались тексты древнейшего индоевропейского ареала, тексты античности, тексты балканского, балтийского и, преимущественно, славянского ареала. Таким образом охватывалась зона балто-балкано-славянских корреляций (включая и античную балканистику).

Анализ в основном проводился на базе исследований текстов указанной принадлежности, опубликованных в тезисах соответствующих конференций (Симпозиум по структуре текста. М., 1976, далее ССТ; Balcano-Balto-Slavica. Симпозиум по структуре текста. М., 1979, далее BBS; Структура текста-81. Тезисы симпозиума. М., 1981, далее Т-81; Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы совещания. М., 1983, далее КП) и в специальных сборниках (Балканский лингвистический сборник. М., 1977; Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979, далее Balc.; Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979, далее КО-Н; Структура текста. М., 1980, далее СТ; Текст: семантика и структура. М., 1983, далее ТСС). Широко привлекались также публикации в других изданиях Института славяноведения и балканистики, прежде всего серийных: Славянское и балканское языкознание, далее СБЯ; Балто-славянские исследования, далее БСИ. Многие из разбираемых ниже работ публиковались в «Трудах по знаковым системам», издаваемых в Тарту (далее ТЗС), и в других наших и зарубежных изданиях.

Поскольку целью было изучение лингвистической ориентации излагаемого направления, то некоторые важные общие положения и дополнения к концепции анализа текста остались в стороне: например, взгляды на структуру текста как такового, на семантику его архитектоники, на отличие художественного текста от нехудожественного и т. д. Вне настоящего рассмотрения остались, таким образом, риторические фигуры и тропы в концепции текста, с одной стороны, и семиотически важные компоненты текста вроде чисел, абстрактных фигур и т. д., с другой стороны, так как последние не связаны с конкретной языковой оболочкой.

Вообще в целом интерпретация роли языковых единиц в реальном тексте и соответственно места лингвистических единиц в теории текста должна как будто бы входить в «лингвистику текста», область, насчитывающую уже более четверти века автономного филологического существования.

Между тем лингвистика текста (подобно другим новым возникающим ветвям лингвистической теории), выступая сначала как нечто отчетливо очерченное и понятное, стала понятием диффузным, уже готовым к концептуальному распаду.

«Под этикеткой „лингвистика текста“, в настоящее время продается практически все, что угодно» (Kalvėrkāper 1981). Само словосочетание «лингвистика текста» не имеет ограниченного денотата: оно употребляется как обобщающее (или синонимичное) наименование к: «грамматика текста», «структура текста», «семантика текста», «текст как целое» и под.

Причины подобной эволюции лингвистики текста и некоторого ее кризиса могут, как представляется, быть выявлены и определены. С самого начала существования «лингвистики текста» как самостоятельной и признанной дисциплины текст понимался как особым образом организованная единица, состоящая из последовательности отдельных высказываний. Высказывания эти могут быть объединены в более крупные единицы: сложные синтаксические целые, абзацы и пр. Текст оказывался при таком подходе соединенной совокупностью этих целых. Таким образом, он распадался на меньшие по объему компоненты, а они, в свою очередь, — на предложения, подобно тому как предложения распадаются на словосочетания (элементарные синтаксические единицы), а словосочетания — на слова¹. Синтаксис текста, как и синтаксис предложения, воспринимался как набор правил сочетаемости, правил соединения предложения в текст. И здесь, помимо вопросов чисто тектонических, существенными оказались проблемы прономинализации, введения повторов, синонимических и тавтологических и т. п. Самыми распространенными концептами лингвистики текста первой поры были: когезия и кореференция, а соответствующими им объектами — варианты порядка слов и варианты анафорических связей². Эти правила в ближайшем времени оказались перечислимыми и мало перспективными для дальнейшего понимания проблемы.

Как и при развитии синтаксиса предложения, следующим этапом «надфразового синтаксиса» был этап функционального описания. Но и на этом этапе не предполагалось, что тексту имманентно присущи сложные корреляции его как единства с единицами языка.

Функционирование единиц в основном определялось для уровня языковых грамматических классов и грамматических категорий (см. ряд сборников, характерных для этого направления, а в зарубежной лингвистике — работы Г. Вайнриха; см. в частности: Weinrich 1964, 1975, 1976).

Выявление функционально-семантической нагрузки языковых категорий в текстах, несмотря на обилие очень интересных результатов и тонких наблюдений, в основном способствовало характеристике именно этих категорий и мало давало тексту. Текст рассматривался как арена реализации языковых феноменов, их коммуникативный фон. В этом отношении коммуникативно ориентированная лингвистика текста оказалась онтологически неотличимо связана с лингвистической прагматикой.

Все эти исследования в основном апеллировали к одному из свойств текста — к с в я з н о с т и и в гораздо меньшей степени к его второму свойству — к ц е л ь н о с т и, хотя оба этих свойства были сформулированы уже на ранних

¹ Характерным для этого периода было определение текста как «надфразового синтаксиса», а его единиц — как «единиц, больших, чем предложение».

² Именно кореференции, анафорике и прономинализации посвящены наиболее цитируемые работы, например: Harweg 1968.

этапах изучения текста, в особенности с психолингвистических позиций. Цельность текста по преимуществу задавалась прескриптивно: каким именно должен быть текст, чтобы осознаваться как таковой; определялись условия бытования текста как целого: с этим связано активно развиваемое понятие *текстуальности* (Textualität, Textuality, Textualité). Характерно, что в некоторых руководствах по лингвистике текста проблемы текстуальности оттесняют проблемы связности. Так, Р. Богранд и В. Дресслер определяют текст как явление, удовлетворяющее семи требованиям текстуальности: формальной когезивности, когерентности смысловой, интенциональности, воспринимаемости, информативности, ситуационности и интертекстуальности (Beaugrande, Dressler 1981). В этой книге дается и краткая история лингвистики текста как самостоятельной дисциплины — в отличие от более раннего «Введения в лингвистику текста» того же В. Дресслера, где лингвистика текста связывалась с глубинной историей филологии (Dressler 1972).

Во всех этих случаях речь идет о том, каким текст должен быть. Между тем данностью является не только текст вообще, но и конкретный текст. И здесь высказывались сомнения по поводу существования имманентной структуры конкретного текста: «Текст существует как виртуальная сумма всех его ситуативных реализаций» (Koch 1976; 26). Более того: «Не существует каких-либо обобщенных правил интерпретации одного текста, как бы ни был объективен его смысл» (Coseriu 1980a; 112). Таким образом, создавалось впечатление, что лингвистика текста как бы уходила от своего непосредственного объекта — текста в его конкретности. Лингвистика текста ориентировалась на текст вообще. И это было вполне закономерно. Но может ли существовать теория, сознательно формируемая в качестве концептуальной базы интерпретации отдельного текста?

Как представляется, именно такая теория предлагается в данной книге, и наша задача теперь — показать место в ней лингвистических феноменов.

Понятие цельности текста, несомненно, связано с категориями его пространственного воплощения. Однако пространственность текста двоякая: он развертывается во времени, пространство при этом осмысливается как протяженность. С другой стороны, можно говорить о пространстве как таковом, суммарно — как цельность — включающемся в восприятие. Именно текст как протяженность является объектом изучения повествовательной (нарративной) грамматики. В мировой науке ее концептуальная сущность обычно связывается со знаменитыми идеями В. Я. Проппа, работы которого активно развивались школой так называемого французского структурализма³. Текст в этом аспекте совпадает с повествованием (*récit*). Подход этот отличается от излагаемого в настоящей книге, как представляется, в первую очередь по отношению к центральной лингвисти-

³ Идеи французской школы нарративной грамматики освещались у нас многократно, приводилась и подробная библиография, поэтому в дальнейшем будут приводиться ссылки только на отдельные необходимые для изложения работы.

ческой единице — языковому знаку, билатеральному по своей онтогенетике: он имеет и субстанцию, и смысл. Отношение повествовательной грамматики к лингвистической стороне текста характеризуется двумя особенностями.

1. Безразличие к субстанциальной стороне знака. Существенными оказываются денотаты, означаемые, которые могут взаимозаменяться на понятийном уровне. См. у В. Я. Проппа как эквиваленты сказочные варианты избушки Яги: 1) избушка на курьих ножках в лесу; 2) избушка на курьих ножках; 3) избушка в лесу; 4) избушка; 5) лес, бор; 6) жилище не упоминается. Жилище дарителя: 1) дворец; 2) гора у огненной реки и т. д. (Пропп 1928)

Эта безразличность к субстанциальной стороне знака у В. Я. Проппа неслучайна. Представляется, что она связана с основным изучаемым им жанром — сказкой, бытующей предпочтительно в устной форме. Между тем устный нарративный текст отличается от письменного очень существенно. Упрощенно говоря, его пространство и есть время. Оно протяженно и линейно, звуковая субстанция не удерживается метром и ритмом. Поэтому на первый план выходят денотативные отношения.

2. Представление о линейном развертывании текста, подобном развертыванию предложения. «Текст — это большая фраза» (*Le récit est une grande phrase*) (Barthes 1974; 4). Предполагается, что смысловая структура текста линейна и тем самым определяется ее смысловая двумерность, но не n -мерность. Кроме того, смысл текста в таком представлении дискретизирован, разбит на единицы, сочетаемость которых примерно соотносится с сочетаемостью слов и предложений, хотя и вводится связывающее слова семантически понятие «изотопии», ставшее широко известным по работам А. Греймаса.

С этим сходно и генеративистское понятие текста, во многом переносящее идеи по-уровневой организации языковой системы на текст, который, как мы стараемся показать далее, находится с языком (кодом) в достаточно сложных отношениях и во всяком случае ему не изоморфен. Излагаемое представление текста как пространственной данности, все компоненты которой подчинены и сукцессивным, и симультанным отношениям, связывается скорее с другим подходом к теории текста: «герменевтикой текста», на сходстве с которой мы остановимся далее (см. «*Texte nicht nur Tathandlungen, sondern auch Tatsachen sind*») (Frank 1979; 65).

Итак, повествовательная грамматика вслед за Проппом не вводит знак в текст как билатеральную сущность, т. е. не имеет собственно с л о в а р я: «Подобно тому, как в языкознании подлинная реконструкция, обладающая высокой эвристической ценностью, возможна лишь при непременном обращении к элементам этического (материального) уровня, реконструкции в области сказки предполагают аналогичное обращение к „словарю“, т. е. к области мотивов, доведенных в идеальном случае до их языковой формы» (Топоров 1980; 276). См. также: «Важно не только, что мифологический персонаж съел нечто или пошел куда-то, а то, что он именно съел и куда он пошел» (Топоров 1984).

2. Билатеральность знака в тексте и идеи текста как пространства

Таким образом, основным отправным пунктом теории текста, представленной в трудах сотрудников отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, является обращенность на бытование и поведение в тексте языкового знака. Знак этот билатерален. Поэтому его текстовые переключки могут осуществляться дважды: по линии смысла и по линии субстанции (звука). Этот тезис не столь тривиален, как может показаться вначале. Идея билатеральности языкового знака не тождественна частому утверждению о непременности корреляции в тексте плана выражения и плана содержания. Последнее утверждение на самом деле не концентрируется на «особости» языкового знака в тексте и специфике именно его контактов.

Языковой знак текста, как будет показано далее, вовсе не обязательно есть слово в его цельнооформленном виде, но — нечто близкое к слову. Видимо, именно это имел в виду М. М. Бахтин, говоря: «Только слово может нести любую идеологическую функцию» (Волошинов 1929; 5). Таким образом, даже для архаического состояния выявляются факты не «вещей и их наименований: его (исследователя. — Т. Н.) внимание направлено исключительно на речь, на слово, его интересуется языковое значение, сигнификат, а не референционное значение, денотат». Итак, «слово» есть самостоятельно живущая в тексте единица, а не только наименование (Торогов 1981). Его билатеральность обеспечивает и возможную двойственность (Duplizität) кодирования. По этой причине в описываемой системе связанность звуковых цепей общим признаком не есть еще самодостаточный результат анализа: она требует и смысловой интерпретации. См. совершенно иную точку зрения: «Звуковая оболочка слова, его акустическая характеристика становится в речи Гоголя значимой независимо от логического или вещественного значения. Артикуляция и ее акустический эффект выдвигаются на первый план как выразительный прием» (Эйхенбаум 1969; 309). Разумеется, самостоятельное изучение смысловой нагрузки звукописи имеет полное право на существование и может дать интересные результаты; возможно и автономное изучение формы и типов звукописи как в диахронии, так и в синхронии⁴. Но в излагаемых работах выявляется не смысл звука, а смысл звука в соотношении со смыслом текста: «Художественное произведение значимо все сплошь. Из этого следует важность установления прежде всего связей между разными уровнями эстетических текстов, а не вычленение отдельных уровней, как это делалось (по отношению, например, к звуковой организации стиха или к сюжету в прозе) в тех работах ОПО-Яза, с установками которых спорит Бахтин» (Иванов 1973; 7). Точно так же не входит в данную теорию неинтерпретируемое описание риторики⁵.

⁴ См. подобные интересные и важные наблюдения: Кожевникова 1984.

⁵ См. такой подход: Plett 1979.

Таким образом, не определяется смысл фоника как таковой, а ищется смысловой коррелят фонической комбинации, т. е. воссоздается языковой знак. Выявляется и смысловая основа звуковой переключки двух знаков. Например, Рим как ведущая ключевая тема вергилианского текста «Энеиды» воплощается в звуковом комплексе начала поэмы: *Arma virumque cano...* Рим связывается с темой «мира»: латинское *Urbi et orbi*, где *Urbs* есть Рим и представлена переключка *r-b*. В русской же традиции двуединость этой темы воплощается в текстовых объединениях: *Рим — мир (р-м, м-р)* (Топоров 1981).

Сопрягаясь с другими знаками по смыслу и по звуку, языковой знак может вступать в сложные ассоциативные цепи текста. Создается многомерное содержательное пространство текстовых переключек. Например, Буй-Тур Всеволод говорит, что его *Кони готовы, осъдлани у Курьска напереди. А мои куряне свѣдоми къмети... пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми*. Только понимание глубинного сквозного противопоставления русские — половцы, проходящего через весь текст, дает возможность содержательного сопоставления с этими словами: *А половцы неготовыми дорогами побѣгоша къ Дону Великому*. Здесь неготовые дороги антонимичны сразу двум синонимам: *вѣдоми* и *знаеми*. Создаются цепи: *пути — дороги, вѣдоми — знаеми*. В свою очередь, *вѣдоми* соотносится со *свѣдоми*, а *неготовые* (дороги) с *готовы* (кони).

Изложенные позиции связаны со второй ведущей идеей излагаемой теории текста. Это идея текста как организованного семантического пространства. Эта идея подробно излагается в программной для репрезентируемого направления статье В. Н. Топорова «Пространство и текст» (Топоров 1983; 228). См. в особенности: «Известный изоморфизм проблематики пространства и текста отражает какие-то глубинные переключки между этими областями, отсылающие к исходной одноприродности или общности иного рода». При подобном понимании текста существенна и структура пространства-текста, и тип его единиц. Существующее симультанно, это пространство не дискретно в том смысле, в каком дискретны знаки кода, хотя оно в известном смысле слова прерывно. Поэтому последовательное описание текста как развертывания абзацев, сложных синтаксических целых и проч. не входит в описываемую теорию. Точно так же пространство-текст не представляется таким линейным, каким оно предстает в нарративной грамматике, оно многомерно. Единицы этого семантического пространства не равны точно единицам языка, скорее, они напоминают некоторые семы высказывания, эквивалентные жестам: так, одному жесту может соответствовать: *Красавица!*, *Красивая женщина!*, *Красотка!* и т. д. (Николаева 1969). См. также по этому же поводу: «Монтажное немое кино 20-х гг. сравнительно легко описывалось, в частности, в работах С. М. Эйзенштейна и других теоретиков того времени как аналог словесного языка» (Иванов 1973; 12). Сказанное не противоречит тезису о примарности именно языкового знака в описываемой теории; языковые билатеральные знаки структурируют смысловую непрерывность текста, особенно поэтического.

Идея текста как семантического пространства оказывается активно действующей для обновления традиционных лингвистических приемов и прояснения собственно лингвистических проблем. В частности, это относится к классической области лингвистики — этимологии. Оказывается, что за «внутренней формой слова» стоит как бы в свернутом виде семантическое пространство текста, где текст может быть равен мифу. Более того, именно непрозрачность этимологии для традиционных методов является результатом завершенности, структурированности текстового (мифологического) образа. Именно так — через семантическое пространство — выявляется этимология греческого слова 'Муза' (Топоров 1977). Обращение к функциональной схеме характеристики Муз, их постоянным текстовым характеристикам, реконструкция связанных с ними мотивов приводит к ранней ипостаси Аполлона — врачевателя болезней и помощника в бедах. Музы включаются в ассоциативную сферу женских образов: Девы-Лихорадки, Трясовицы и других, которые соотносятся с мышами — хтоническими существами, в которых были превращены дети Бога-Громовержца и Матери-Земли. Мыши характеризуются и пением. Фонетически же связь Музы-мыши подтверждает малоазиатское название, с носовым (культ Муз — бесспорно фракийского происхождения). Этимологически с «мышинным» ареалом в Малой Азии связывается Мезия и Мигдония.

Семантическое пространство, рассматриваемое как инвариант, дает возможность в рамках данной теории прояснить факты одного языка через текст на другом языке. Он помогает восполнить «смысловые зияния» (термин В. Н. Топорова) первого текста. Так, балто-балканское сопоставление фрагмента «основного мифа» о Хозяйке низа, жене Громовержца, позволяет отождествить литовский мифологический персонаж *Laumė* и балканскую Хозяйку низа (Судник 1980), а также дополнить общую семантическую структуру «основного мифа». Точно так же представление о единстве текста и кода в погребальном обряде дает основания для сопоставления сербского наименования гроба и могилы ледяным домом (*ледну кућу нашла*) с литовским наименованием его темным домом (Невская 1979), что проясняет семантическую структуру поля смерти в балтославянском ареале. Этот же метод позволяет сделать очень смелый, но убедительный вывод, через семантико-пространственную составляющую сопоставить генетически литовское *margas* и русское *мрак* (Невская 1984). Эта уже неоднократно подчеркивавшаяся опора на билатеральную сущность языкового знака обеспечивает более решительное сопоставление и неэтимологического свойства в идентичных точках семантического пространства (текста). См. *k-n-n* и *n-n-k* как звуковой каркас *πανοβήλα* < *panicula* и *конопля* (Цивьян 1977; 311).

Существование в идентичном семантическом пространстве дает возможность лексемам, традиционно отдаленным (словарно), быть сближенными семантически; оказывается допустимой и интерпретация нетривиального употребления лексем. Так, *гора* осмысляется как «путь» (Свешникова 1980), *гостить* включается в поле «кладбища» (Невская 1984) и т. д. Идентичность позиции дает ос-

нование для неожиданных сближений на звукосемантическом уровне, которые через пространственно-семантическое отождествление оказываются вполне оправданными. Например, сближаются *волосы* — *волосень* — *волость* — *волхв* (по исходному *cel-* и его семантическим полям) (Иванов, Топоров 1973). Таким образом, звук притягивает смысл, а смысл притягивает звук: из «первоначального дыма» (образ В. Комаровского) текста рождаются и перерабатываются собственно языковые знаки. Двусторонность уже существующего знака может стремиться не столько к распаду, сколько к созданию новых связей (Торогов 1978; 3) (именно в тексте видно, как оживает априори несколько абстрактная идея «асимметрии» языкового знака С. Карцевского). Так, *μακάριος* ‘блаженный’, соотносясь фонически с *мокрый*, *Мокошь*, *мак*, *макнуть*, создает ментальную конструкцию «благодать через воду», «блаженство водной смерти» (Топоров 1979) и т. д. Подобным образом можно интерпретировать и некоторые особенности архаического менталитета, рассмотренного через призму ключевых лексем одного поля, т. е. опять же не покидая пределы собственно языковых данных.

Возникает удачный для исследователя парадокс: привлечение текста для анализа другого текста дает возможность выйти к более широким, уже внетекстовым, обобщениям. В этом отношении программной для анализируемого направления можно считать работу Вяч. Вс. Иванова о лексемах, обозначающих психические состояния в архаических текстах (Иванов 1980). Детальный анализ всех лингвограмматических показателей при контекстах с *φρένες* говорит о пассивном духовном состоянии человека, о восприятии им воли богов и тем самым позволяет понять и исходный смысл лексемы: ‘та часть сознания, через которую осуществляется воздействие богов’. Гомер. *θυμός* ‘летучий дух, вещество жизни’ подобен крови, жидкому началу, его потеря — удушье, при его утрате человек задыхается. Сходные представления семантики лексем помогают интерпретировать мифопоэтические понятия не только греков, но и абхазо-адыгов, и хеттов и проследить по контексту эволюцию к понятию самодialogизирующей современной души.

Интересным дополнением к статье Вяч. Вс. Иванова является работа математика В. А. Успенского «О вещных коннотациях абстрактных существительных»: так, авторитет можно представить в виде сплошного шара, в хорошем случае большого и тяжелого, в плохом — маленького и легкого. Ложный авторитет — полый внутри (*дутый*), с настолько тонкими стенками, что может *лопнуть*. Радость — легкая светлая жидкость, она тихо разливается, бурлит, искрится, переливается через край; по-видимому, она легче воздуха. Горе — тяжелая жидкость, погружающая в себя человека. Но существенно — «страх — по крайней мере в отдельные моменты времени — помещается внутри человека... однако в состоянии анабиоза. В какой-то момент он просыпается (пробуждается), растет и, наконец, нападает на своего хозяина — возможно, все еще оставаясь внутри» (Успенский 1979; 147). Так факты современного русского языка сопрягаются с данными Вяч. Вс. Иванова.

В связи со всем указанным выше необходимо сказать о некоторых проблемах, оставшихся не вполне ясными:

1) Однонаправленна ли эволюция семантического пространства текста и как именно она эволюционирует?

Некоторые данные заставляют предполагать существование однонаправленной эволюции. При этом литература одной языковой традиции может переключаться с более ранними тексто-семантическими структурами другой языковой традиции или могут осуществляться переключки текстов одной культуры разных этапов (или одного этапа)⁶. При этом в пределах сохранения одной семантической модели текстового пространства возможны и собственно лексические замены⁷. Таким образом пространство текста создают оба текста, и оба они вместе помогают исследовать каждый из них (будь то тексты разных языков или тексты разных авторов), т. е., с одной стороны, помогают выявить более глубокие содержательные компоненты одного текста, с другой стороны, прояснить при этом само инвариативное семантическое пространство.

Так, например, у Ахматовой есть очевидные и несомненные цитаты из Блока (Топоров 1981а): *Он прав — опять фонарь, аптека...* Подобные прямые указания могут рассматриваться как нечто вроде ключа, помощи, шифра для внимательного читателя. См. далее у Блока: *Донна Анна видит сны*, и у Ахматовой о *Дон Гуане-поэте*. Таким образом возникает дуальное сопоставление: *Дон Гуан* (поэт, Блок) и *Анна* (поэт, Ахматова). Подобные переключки двух поэтов могут выражаться и в синтаксическом параллелизме — *Но с любопытством иностранки* (Блок) — *Но с постоянством геометра* (Ахматова), и во введении *Nomina* гроргия одной ситуации в сходном семантическом пространстве: *Саломея* (Блок) — *Иоканаан* (Ахматова).

Возвращаясь к проблеме однонаправленности эволюции текста, можно только поставить довольно сложную по доказательству задачу: как отличить однонаправленность от цикличности, единство общего процесса от актуального для настоящего момента воздействия прошлого. В этом смысле очень важно неоднократно приводившееся высказывание Мандельштама: «Акмеистический ветер перевернул страницы классиков и романтиков, и они раскрылись на том самом месте, какое всего нужнее было для эпохи».

2) Имеет ли семантическое пространство текста очерченные лингвогенетические или ареальные границы? Где граница универсального и этноспецифического в пределах этого пространства? Пояснить суть этой проблемы можно на минимальном семантическом пространстве коммуникации — том, которое образуют сложные частицы, сами по себе — важнейшие опорные слова для дешифровки текстов (см. Часть вторую). Например, русские *даже* и *ажно* —

⁶ См.: Тименчик, Топоров, Цивьян 1978; Топоров 1984; Иванов 1981; Топоров 1977; Топоров 1981; Топоров, Цивьян 1984.

⁷ См., например, переключки Блока и Жуковского (Топоров 1977).

разные русские словарные единицы. Но *даже* = *да* + *же*, *ажно* = *а* + *же* + *но*. Порознь *да* связано семантически и с *а*, и с *но*: *хотел, да раздумал*. Таким образом, семантическое пространство здесь одно, но с разным порядком элементов. Болгарское *дали* — слитная вопросительная частица, в русском же языке ее линейное пространство прерывно и она не оформлена как единица словаря *я зыка* — *да придешь ли ты?* Ведийское *сапа* имеет значение ‘даже’, исходно это *и + не*. Ср. русское *и не думайте, и не воображайте!*

Таким образом ставится вопрос об этногенетической возможности транспонировать или не транспонировать семантический инвариант.

3. Дешифровка «неочевидных смыслов»

Все сказанное выше относится к ведущим теоретическим принципам излагаемого направления исследования текста. Однако эти исходные позиции: опора на языковой знак и понимание текста как упорядоченного семантического пространства — являются работающими лишь при выявлении их отношения к основной цели исследования. Цель эта — декодирование некоторого общего, но неявно вербально выраженного смысла текста. В иных школах этот декодируемый смысл иногда бывает самым общим: например, что типичной ситуацией для западной культуры является трагическая ситуация: от Анаксимандра до Камю и от Исхода до Кальвина и Паскаля. Трагический дешифруемый миф здесь — это миф самоуничтожения.

Идеи декодирования неочевидного смысла текста связываются в последнее время с герменевтикой, переживающей сейчас новый расцвет (во многом вокруг концепций Х.-Г. Гадамера). Лингвистика текста сближается с герменевтикой, задача ее при этом сделать эксплицитным и то знание, о котором не говорят и не думают. Герменевтические методы, применяемые в настоящее время к тексту, открыли для его исследователей два неизбежных, но могущих быть принятыми следствия.

Первое — это практическое снятие ранее жгучей проблемы авторской интенции, точнее, выделение ее в особую проблему, отдельную от дешифруемого смысла. Интерпретатор понимает автора лучше, чем он сам может понять себя... Лингвистика — это герменевтика речевой практики, экспликация значения, присутствующего в речи лишь имплицитно (Нуск 1980; 91—92). Установки интерпретатора при этом могут быть различными: можно реконструировать собственно авторскую интенцию, реконструировать код, являющийся ключом к глубинному вниманию текста, реконструировать текст, таящийся в тексте. Интерпретатор обязан выявить единство текста и смысл этого текста.

Второе — это стирание непроходимой пропасти между действительностью (денотатом) и интерпретируемым кодируемым смыслом (сигнификатом). Дешифруемый смысл объективен, и он добавляет нечто и к линейно сообщаемому

му на первичном коде, и к биографии и личности автора — так же, как декодированный феномен бессознательного у отдельной личности, несомненно, является объективным добавлением к его внешней биографии — см. в частности, понятие «индивидуального авторского мифа» Ш. Морона (Maugron 1963). Характерно, что именно в последние годы стали раздаваться голоса об онтологическом схождении экзегетики и герменевтики в применении к сакральным текстам: дешифровка неочевидных смыслов и ценностей проясняет отраженную структуру реалий. Преодоленным можно считать и тот подход, согласно которому декодируемый смысл обязательно «сакрален» (Salmon 1981), соотношение сакрального и профанического неоднозначно отношению денотата и сигнификата: «Знак и денотат кивают друг на друга» (Топоров 1982; 39).

Итак, изучение функционирования языковых единиц в тексте прошло уже большой путь — от первичного анализа правил соединения цепочки предложений, характеризовавшего 60-е годы. О первых этапах лингвистики текста можно сказать то же, что было сказано о первых читателях «Господина Прохарчина»: «Ни читатели, ни критики не были подготовлены к тому, что данный элемент текста может выступать не только в первичной (основной) функции, но и во вторичных, поступая тем самым в распоряжение более высокой структуры текста». В анализируемой концепции обращается внимание на то, «каким образом в тексте... возникает некий общий смысл (хотя бы на ранних этапах его формирования), рождающийся из факта семантической связности отдельных элементов текста» (там же; 6).

Однако декодируемая информация может быть принципиально разнотипной. Это могут быть ценностные ориентации автора. Например, для «Слова о полку Игореве» может быть выявлено ведущее противопоставление: индивидуальности, личности — стихийному стадообразному началу хаоса. Это может быть «чужое слово» — текст одного автора, прочитываемый в тексте другого автора. В последнем случае возможны и звуковые переключки, совпадения моделей звукозаписи, и совпадения на уровне ключевых слов (например, и у Блока, и у Ахматовой есть *мертвое сердце, взор*), на уровне синтаксических параллелей, семантических «концептов»: *за окном* (Блок) — *заоконная* (Ахматова), возникают объединяющие оба текста словосочетания — *неизбежные глаза и под*. И здесь активно напрашивается аналогия с интенсивно развивающейся в последнее время теорией и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и. Однако во многих работах интертекстуальность часто является помотивным анализом, выявлением сходства тем, отношений, вводимых понятий — например, в очень интересных работах Р. Лахман (Lachmann 1983, 1984). Тогда сопоставление текстов осуществляется через пространство денотативно-сигнификативное, но не через непосредственные языковые знаки.

Особенностью излагаемой теории является нащупывание, через определенные ключевые единицы и их сближение, некоторого текста, возникающего в глубинах анализируемого и, стабилизируясь, отливающегося уже в полностью

воплощенный и законченный текст — у других авторов или у того же на более позднем этапе⁸. «Может быть, в ряде случаев имеет смысл предполагать особый, скрытый и от самого поэта уровень, создающийся спонтанно и независимо» (Цивьян 1971; 277). Во всех этих случаях заполнение «смыслового зияния» осуществляется только через соотношение с планом выражения, с субстанциональной частью языкового знака.

Эта обязательность нахождения формы является активным средством верификации найденного пространства текста. См. у Андрея Белого в «Петербурге»: «Аполлон Аполлонович видел всегда два пространства: одно материальное... другое — не то чтоб духовное (материальное также)... в пространстве роилось пространство...» Таким образом создаваемый интертекст не является воспоминанием, отблеском другого текста, как это часто представляют в теории текста, связанной с психоанализом (Vance 1979), и не ориентируется на аналогичный по жанру текст (Beaugrande, Dressler 1981). Напротив, текст вполне объективно демонстрирует свои связи под пристальным взглядом читателя: «Текст по всей сумме мыслимых потенциалов выступает (или может быть понят) как более мощная интерпретирующая система, нежели аспект текста, который актуален для его автора» (Топоров 1984; 482).

Объективность подобного подхода концептуально соотносима с развиваемыми в данной теории текста идеями реконструкции архаического текста, причем имеется в виду возможность воссоздания обоих уровней восстанавливаемого текста: как структурированного смыслового, так и соотносящегося с ним через тяготение к дискретному знаку звукового. Идеи эти рассматриваются в данной монографии специально, они стали известными уже давно по работам Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова по реконструкции «основного мифа» — поединка антропоморфного Громовержца с териоморфным земным противником.

4. Дешифровка текста и языковые уровни

Итак, в основе излагаемой теории лежит подход к тексту как многомерному смысловому пространству. Смысл этот декодируется исследователем. Подход этот несколько отличается уже от широко известных исследований поэтического текста у Р. Якобсона, хотя во многом к нему восходит. (Речь идет о таких текстах, исследованных Р. Якобсоном, как “Se vedi li occhi miei” Данте, “Si nostre vie” Дю Белле, “The expence of spirit” Шекспира, “Les chats” и “Spleen” Бодлера, “Revedere” Эминеску и др.) Суть в том, что подробный анализ того, «как это устроено», не ведет, как ранее надеялись, с неизбежной логикой к тому, «что же здесь сказано». Как и всякое научное открытие, открытие смысла есть некото-

⁸ Так возникает «Петербургский текст», «Блоковский текст», текст «Молодой певец и быстротечное время» в работах В. Н. Топорова.

рый «прорыв вверх» из плоскости эмпирических фактов. Поэтому, постепенно понимая, «что здесь сказано», мы уже посредством циклизированного анализа воссоздаем, «как устроено то, что здесь сказано». В предлагаемой теории смысл текста как бы держится на некоторых «опорных точках», он не изоморфен линейному разворачиванию текста. См. у А. Блока: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение»⁹.

Вместе с тем сказанное никак не следует понимать как критику по-уровневого детального анализа текста, такой анализ существует как самостоятельный вариант подхода к тексту со своими автономными задачами. Эвристический пафос каждого из указанных подходов можно передать через тип артикля: по-уровневый анализ подходит к конкретному тексту как к «некоему» тексту, излагаемая же теория ищет пути декодирования конкретного текста (в каждом случае — этот, и никакой другой).

Декларированную связанность дешифруемого смысла с языковым наполнением конкретного текста иллюстрируют три конкретных исследования. Это — многократно переводившаяся работа Вяч. Вс. Иванова о стихотворении В. Хлебникова «Меня проносят на слоновых» (Иванов 1967), анализ Т. В. Цивьян 'Ευ τῶ μὴ 'Αδῦρ К. Кавафиса (Цивьян 1979а), описание Т. М. Судник структуры одного белорусского заговора (Судник 1983).

Автор многих работ по теории анаграмм и анаграмматических структур в индоевропейских текстах, Вяч. Вс. Иванов считает ключевой темой стихотворения, воплощенной на разных ментальных циклах, тему *Слон*. Слово это кодируется Хлебниковым двойко — оно выступает на уровне звукописи и исчезает там, где «горизонт ожидания» заставляет его предполагать на уровне синтаксическом или в анафорической структуре. См. цепочечную ассоциацию: *слоновых — ловах — новый; носилки: н-с-л (проносят на слоновых носилках слон), повиснули: с-н-л* и т. д. В то же время «в обоих предложениях, образующих это четверостишие, субъект не выражен явным образом»... «Ритмическая простота композиции компенсируется крайней усложненностью синтаксического построения»... «Такая мозаичность синтаксической структуры и невыраженность субъекта оставляет неясной природу того слона или тех носилок, которым посвящаются две следующие строфы» ... «Двуплановость всей картины подчеркивается тем, что эта именная конструкция, содержащая формы мужского рода, выступает в качестве приложения к форме женского рода *та*, что объясняется двойкой природой девы, о которой здесь говорится: в общей процессии этой деве пришлось быть хоботом, падающим, но не касающимся земли». Последнее замечание связано с е р ы м прочтением Вяч. Вс. Ивановым стихотворения: оно передается в вербальном ключе — девушки, сплетаясь, со-

⁹ Эти слова А. Блока являются как бы внутренним эпиграфом к статье (Топоров 1983а), откуда они и процитированы.

здавая образ слона, проносят Вишну (т. е. слово воссоздает индийскую миниатюру). В словесной ткани Хлебникова отображен каждый образ миниатюры. Переплетенность строф повторами — как бы сплетение девичьих тел, Л-звукопись, возможно, это тема Л-любви к Вишну, проходящая по тексту: *ласково лилась на землю; падала, ласковый хобот...* Ритмическая структура поддерживает разноуровневые связи; синтаксическая затемненность отражает нерасчлененность клубка фигур. Центральная фигура, Вишну, кодируется ударными гласными: *Сплетя носилок призрак зимний*. Особую роль в стихотворении играют деепричастия: употребляясь вместо личных форм глагола, они архаизируют текст и в то же время объединяют его в сомкнутое и мало членимое целое. Мозаичность синтаксиса соотносится с мозаичностью метрики. Детальный лингвистико-функциональный анализ подводит исследователя ко второму прочтению стихотворения: это противопоставление «верха — низу, мужчины — девам, его спокойствия — трепетанию дев, его единственности — их множественности, его подчеркнутой антропоморфности и слонаобразности всего шествия дев». В третьем прочтении с автором и соответствующими сторонами его мировоззрения отождествляется сам Вишну и его культ.

Несомненная стилизация есть и у К. Кавафиса «В месяце Атир» — описывающее чтение эпитафии. Это два текста: один вложен в другой, переплетаясь с ним (текст эпитафии, Э, и текст авторского комментария, К). Основной принцип текста Э: «Повторение минимальной единицы, которое проецируется на повторение более крупных единиц, в конце концов репрезентируя структуру всего текста. Ни один элемент не изолирован, и от любого элемента путем достаточно простых операций можно перейти к структуре текста в целом». Текст Э подчеркнута безглаголен и непредикативен; имена в N.-Асс. и в Асс. противопоставлены именам в Nom., Gen., Dat. как свободно «плавающие в тексте» — связанным синтаксически. Организующим началом является Voc., он определяет жанр текста. Глаголы Э противопоставляются по залогу, залоговые же противопоставления соответствуют их семантической оппозиции: *опочить* (пасс.) — *жить* (акт.). Основная прочитываемая мысль — преждевременная смерть, оборвавшая жизнь. Напротив, текст К подчеркнута насыщен активными глаголами. Связь семантики (прошлое — настоящее) обеспечивается тем, что «свободно плавающие» на уровне Э формы Асс. оказываются на уровне К прямыми дополнениями при глаголах восприятия. Обе литературные формы новогреческого языка распределены через грамматические формы обоих текстов: архаизированный язык Э противопоставляется современному языку К (игра идет в основном на оппозиции флективных форм Э аналитическим конструкциям К). На фоне вообще изысканной звукописи стихотворения К. Кавафиса выделяется особый комплекс: *m* или *n* + *V*. Этот звуковой комплекс соотносится с семантемой *памяти*. Она выражена в лексемах [*mnimi*] ‘память, воспоминание’, [*mnima*] ‘надгробный памятник, гробница, могила’, [*mnimion*] ‘памятник’, [*mnimon*] ‘помнящий’ и др. Тема памяти ведет к ее поискам на зву-

ковом уровне. Однако *m* + *V* [*me*] восходит и к другой ключевой лексеме: *Я*. Так возникает декодированный смысловой комплекс — ключ к стихотворению: *μνημη-με* ‘память меня’, имеющий два семантических выхода: «Я (автор) помню» и «Меня (героя Э) помнят».

Т. М. Судник анализирует белорусский заговор — исцеление от нарывов, *ат скулы*. Магнитофонная запись текста, воспроизведенного при исследовательнице в 1975 г., дает возможность накладывать на текст записи реальную интонацию исполнительницы. Т. М. Судник расчленяет текст заговора на две четкие части: I. Номенклатурная, II. Сюжетная. Структурным стержнем номенклатурной части является сквозная категория женского рода: так, на формальный грамматический уровень «проецируется исходное мифопоэтическое представление о женщине/деве как олицетворении болезни». Красный цвет проходит эпитетом через гамму болезней. Оттенок экспрессивности усиливает особая «задабривающая» интонация. Суффиксальное варьирование переключает слушателя в мир растений и животных: *краска* ‘цветок’, *сініца* ‘синица’, или ‘голубика’, *чарніца* ‘черника’. Так табуируются болезни и обнажается конвенциональная заданность списка. Следующее звено номенклатурной части — цепь стереотипных конструкций типа *пры-дум(а)-н-а* (Part. Praet. Pass.), здесь болезнь предстает как результат чьего-то злого умысла. Заключительная часть номенклатурной части текста — цепь отыменных прилагательных, указывающих на источник зла. Т. М. Судник демонстрирует далее, как активно сопрягаются языковые уровни в «сюжетной» части заговора. Нагнетение «звукоизобразительных» предикатов соответствует интонационной подчеркнутости, выделению ударных слогов. Логическое ударение переломной строки совпадает с введением шифтерных показателей, возникает указание на объект болезни, на Змею (злокозненный персонаж) и на некую высшую неясную силу. Момент исцеления отмечен паузой, темп становится размеренным, введение божественного персонажа коррелирует с подчеркнутым множественным числом — *уз'ехалі, азірнулісь*. Преодоленность болезни манифестируется в цепь отрицаний, при которых имена болезней перечисляются уже без табуирования. «Итак, процесс б о л е з н ь — и с ц е л е н и е представлен в заговоре как противоборство, поединок».

5. Функциональная иерархия языковых единиц

На основе всего сказанного выше уже становится очевидным и легко прогнозируемым, какого же именно типа языковые единицы оказываются наиболее важными и активно «работающими» в рамках излагаемой теории текста. Это з н а ч и м ы е в смысле «вещественном», а не р е л я ц и о н н ы е языковые элементы. Последние в отличие от первых в большей степени ориентированы не на текст, а на связь (в другом аспекте тоже содержательную) дискретных языковых единиц в пределах микроконтекста.

Таким образом, первой по значимости языковой единицей является слово (понимаемое как лексема, а не как конкретная словоформа). См. у М. М. Бахтина: о всеохватывающих возможностях слова. Но наиболее близким предшественником излагаемой теории в отечественной филологии можно считать именно Ю. Н. Тынянова. Идеи, связанные с поднимаемыми проблемами, относятся в основном к главе II книги Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка». Существенным является введение Ю. Н. Тыняновым понятия «тесноты стихового ряда»: «Слова оказываются внутри стиховых рядов и единств в более сильных и близких отношении и связи, нежели в обычной речи; эта сила связи не остается безрезультатной для характера семантики». Важной для излагаемых идей можно считать и мысль Ю. Н. Тынянова о том, что слово может быть не связано непосредственно ритмически и синтаксически с другими словами стиха, однако под действием «тесноты ряда» в нем начинают взаимодействовать «колеблющиеся признаки». «Интенсивация колеблющихся признаков есть в то же время интенсивация семантического момента в стихе вообще, так как нарушает привычную семантическую среду слова». И еще более важно далее: «Эти „колеблющиеся признаки“ дают некоторый слитный групповой „смысл“ вне семантической связи членов предложения... создается единство лексической тональности» (Тынянов 1965; 121, 125, 128, 133).

В излагаемой теории слово также является опорным понятием, а в слове — то, что Ю. Н. Тынянов удачно называл «вещественной частью». См.: «Отношение к языку — уже и концентрированное — к слову — становится в этой ситуации важнейшей и формообразующей особенностью поэтического языка, а слово с основанием должно рассматриваться как ядро данной лингвопоэтической концепции» (Топоров 1979а). В текстах выявляются ключевые слова. Их повторяющаяся смысловая смежность и создает тот возникающий текст, о котором говорилось выше. Ключевые слова вообще проникают в языкознание стремительно, особенно в области звуковой перцепции и информатики: так, по ключевым словам опознается смысл сообщения в шуме, на базе ключевых слов осуществляется автоматизированная информационная служба и автоматизированное реферирование; оказывается, что в монологе говорящий выделяет опорные смысловые точки устного текста. В текстах поэтических и архаических за отдельным словом может возникать семантически компрессированная мифологема. Так, Т. В. Цивьян показывает путем последовательного развертывания смысловых ассоциаций, что за глаголом $\pi\lambda\acute{\epsilon}\omega$ 'валять шерсть' стоит «архаическая мифологема о творении мира, представляемом как навивание, тканье, валяние, замешивание, вылепливание, вырезание и т. д.» (Цивьян 1979б). Подобное отношение к слову не равно тому подходу, когда определяются частые слова текста, типизированные характеристики. Так, например, Н. Анциферов определяет цвета блоковского Петербурга: снежный, черный, город смерти, синий всех оттенков, вплоть до сизого. Второй тон — пурпурный, красный, «по сине-серому фону прыгает зайчиком кроваво-красный цвет северных зорь» (Анциферов

1921; 312). Однако у Н. Анциферова это именно частые эпитеты-атрибуты, не создающие текст города, т. е. некую связную совокупность внутренних тем и предикатов.

Внутренний текст могут составлять и лексемы одного текста, т. е. создается как бы семантический мир группы функциональных лексем, не тождественный распространенному объединению лексем через совокупность семантических компонентов-признаков. Именно такой семантический сублексемный текст построен на базе глаголов говорения М. И. Лекомцевой (Лекомцева 1971). Так, М. И. Лекомцева воссоздает мир вербального закона по дистрибуции глагола. Значимым оказывается и представление «об общепринятом едином источнике знаний», и имплицированная ссылка на некий источник, и перформативные установки, и нейтрализация источника — исходности речи в словах сакральных персонажей. Существенно также обращение речи на себя и сакрализованность/несакрализованность этой обращенности. В этой работе демонстрируется также понимание пространства как текста с нефиксированными референционными отнесениями, поэтому, в частности, операционно сложным является вопрос об отнесении или неотнесении каждого глагола к группе говорения.

Лексема, опора текста, может либо представлять в расщепленном виде, либо, напротив, может быть усилена через повтор. В тохарском тексте повтор глагола *prāskau* 'боюсь' (Иванов 1985) как бы вводит тему смерти, разрешаемой повтором производных от *sruk* 'убивать, умирать'. С этим связывается и повтор формы *pontas* 'всех' и междометия *O!* Так, в древнем поэтическом шедевре уже возникает второй текст: страха перед смертью, которая уготована всем, и эстетизация этого страха.

Повтор буквальный, тавтология, как показывает Л. Г. Невская, является в фольклоре одним из основных формирующих текст начал (Невская 1983). Существенно для анализа Л. Г. Невской выявление «семантической тавтологии»; при этом дублирование смысла может воплощаться в комбинациях разных по воплощению грамматическому — см. выше замечание о «вещественной части». Ср. *сугрева моя теплая; у этой холостыбы да неженатой; раздумалась печальным умом разумом...*

Все многочисленные наблюдения такого рода возможны только при признании примарности языкового знака. Как бы симметричным для указанных исследований является тот его тип, когда основу отталкивания составляют понятия и категории: задача при этом проследить, как они воплощаются в тексте (а не в сюжете, как в нарративной грамматике).

Таким образом, через словесное притяжение и идентичность «вещественной» и семантической части слова осуществляется семантическое сближение разных текстов в одно семантическое пространство. Его единство дает возможность исследователю связать лексемы, не ассоциирующиеся словарно. Например, связываются *волк* и *черт* в румынских текстах, поскольку в общем семантическом пространстве они идентифицируются (Свешникова 1979).

Таким образом уже заранее можно предвидеть, что в научно-логическом соответствии с изложенными выше принципами после однокоренных лексем следовать по существенности в теории должны сложные слова. «Архаичные сложные слова, сохраняющиеся в древних индоевропейских языках, в частности, в именах богов (и в производных от них топонимах и теофорных личных именах), представляют значительный интерес как следы реальных индоевропейских текстов, сокращенными трансформами которых они являются» (Иванов 1977). Вяч. Вс. Иванов показывает связь — по семантике первого компонента и по этимологии второго — для мэонийского *Κανδαύλας* и русского фольклорного *волкодав*. Именно эта модель лежит в основе имени Кухулин (см. русское *собаку съест*). Вяч. Вс. Иванов, сопоставляя гетерогенетические пространства мифа, показывает, что Кандавл «был индоевропейским эпитетом волчьего бога войны, которому в жертву приносили собак». Далее выявляется, что термин «собака-волк» объединяет два понятия, противопоставленных герою-кузнецу. В свою очередь, Змей славянского и кельтского мифа оказывается в своем истоке чудовищным Псом. Этот чудовищный Пес в общеевразийском комплексе — опасен, он враг Большой Медведицы и всего мироздания.

Если сложные слова в компрессированном виде передают стоящий за ними более развернутый текст, то в еще более компрессированном виде первоначальный текст может быть представленным во «внутренней форме слова». Поэтому в центре излагаемых исследований оказывается этимология (конкретно — славянская и индоевропейская). Это направление совсем не имеет корреляций в других теориях текста, так или иначе трактующих функции языковых единиц. Выше уже говорилось об определении этимологии греч. Музы через семантическое пространство генетически близких языков.

Слова *мост* и *путь* в русском языке этимологически не связаны. Однако само освоение пространства — путь — в случае опасной альтернативной неопределенности как бы сжимается в ничтожный по протяженности, но важнейший по значению участок — мост... (Топоров 1983). Отсюда нередкие обо-значения моста как пути, ср. лат. *pons (pontis)* 'мост', при ст.-слав. пять, ср. также отзвуки этих функций у древнеримского жреца *ponti-fex* 'а буквально 'делающий мост' или в индоевропейской перспективе 'делающий путь'. Внимание к внутренней форме слова не только дает новое подкрепление для этимологических изысканий, но и еще раз обращает взгляд исследователя на первоначальную яркость внутренних семантических связей, уже стертых в современном восприятии. Так, мы как бы заново, через построение первичного мифопоэтического пространства, понимаем, почему знание сравнивается с родами, рождением (лат. *in-genium*); в свою очередь, это соотносится с идеей знака (ср. в и.-е. **g'enə-mn-* 'родовой знак') (Топоров 1980а).

Постепенное прояснение семантического микроконтекстного и макроконт-екстного пространства дает возможность проследить смысловые и генетические связи слова *телепень* (рус. 'что-то вялое, неповоротливое', бел. 'неуклю-

жий, толстый человек', укр. 'то, что болтается, мотается'), см. далее — «идея заполнения определенного пространства, емкости, полноты, способности к расширению (возрастанию)» — см. *толпа, толпиться* — см., наконец, имя хеттского бога плодородия Телепинуса (Топоров 1975). Смысловые связи дают возможность объединить в группу и тем самым семантизировать суффиксы (*-ръ) у слов **darь*, **pirь*, **zirь*, **mirь* (Иванов 1975). Глубинные расслоения мифологического пространства текста могут дать разные этнолингвистические коды одной и той же мифологемы. Возможны, в частности, антропоморфные/неантропоморфные кодовые версии. Их взаимное семантическое наложение помогает понять затемненную на уровне одного языка суть номинации. Так, детальное прослеживание типов номинации божьей коровки в балтийском и славянском ареалах (вплоть до широких индоевропейских параллелей) позволяет исследователю объяснить ее антропоморфные именованья: женское («Мария») и мужское («Петр») с восхождением к исходной паре основного мифа: Громовержца и его жены. Внимание к «вещественной стороне» языкового знака, естественно, вызывает целый ряд работ по номинации в излагаемой теории (см., в частности: Волоцкая 1981, 1982; Николаева 1981).

Корреляция звук — смысл выявляется в тексте не только для уже существующих или реконструируемых лексем или лексических связей; но и для контактов, сближающих слово по звуковому или семантическому совпадению окказионально, только в рамках данного конкретного текста. На это обратил внимание еще Ю. Н. Тынянов, говоря о совпадении своей и чужой «вещественной» части, например: *И тень нахмурилась темней*. Ю. Н. Тынянов приводит по этому поводу наблюдения А. С. Шишкова о басне Сумарокова: *Епанча хлопчет*. Это соотносится и с *суетится*, и *хлопает* — «и трепещущая вещь, и одаренное чувствами существо» (Тынянов 1965; 115).

Выявляются и верифицируются неочевидные связи: *уз-ол* — *уж-ас* — *уз-кий*. Этот комплекс реализуется в романах Достоевского и ведет к возникновению гиперсемантемы и окказионального (сначала) общего понятия (Топоров 1973; 280). См. также *Ви-й* и *ви-деть* в работе Т. В. Цивьян, у нее же *костер* — *костра* — *кора* — *Кострома* (смерть как огонь) (Цивьян 1979а), *змея* — *земля* у В. Н. Топорова (Топоров 1977б). Только через обобщенные мифологемы двух противопоставленных типов Города: Города-блудницы и Города-девы — мы осознаем сближение: *ворота* и *раз-врат* (Топоров 1981).

Во многих текстах смысловое объединение происходит не только по корням (близким или отдаленным генетически), но и по звуку или комбинации звуков, не воплощенных в устойчивый билатеральный знак. В данной теории текста, таким образом, очень существенна звук о п и с ь в широком смысле этого слова. Прежде всего это исследование анаграмматического пласта в теоретическом и эмпирическом плане, проводимое Вяч. Вс. Ивановым и В. Н. Топоровым. Идея анаграмм связывается именно с тем двойным кодированием, о котором говорилось выше в связи с языковым знаком. Необходимо различать две тен-

денции в тексте, иногда неразличимые в рамках первичного наблюдения. Первое — это собственно звукопись, т. е. повторение одного звука или двух звуков, связывающих воедино цепочку слов. Например, в «Слове о полку Игореве» звуковая тема *p*: *Не ваю ли храбрая дружина рыкают акы тури ранены; Тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани гряхуть трупиа...;* повторение группы звуков: *в—к—х*: *Великихъ плѣковъ половецкихъ яко вихрь выторже: к—п—т: Подѣ копыты костью была посеяна, а кровию поляна*¹⁰. В подобных случаях звуковой комплекс как бы стремится стать знаком, обрести единство формы и содержания.

Хотя известный тезис К. Уоткинса о том, что анаграммы — это язык богов, а аллитерации — язык людей (Watkins 1970), может быть оспорен (можно выстроить промежуточные случаи), несомненно, что в случае анаграммы мы уже имеем заданное слово, оно существует и может быть представлено в тексте в полном виде. Причудливая игра его обломков имеет свой собственный ритм и постепенно собирается, как мозаичная картинка, в перцепции воспринимающего. Анаграмму можно в известной степени уподобить некоторым видам реклам — повторяющиеся кусочки образа, постепенно складывающиеся в целое. Именно значительность числа работ, посвященных звуку и тексту, позволяет остановиться лишь на двух, связанных с анаграмматическим слоем проблемах.

Во-первых, это решение вопроса об анаграмматической передаче чужезычного слова. Вопрос этот разрабатывается в уже упомянутых работах В. Н. Топорова и Т. В. Цивьян. Метод выявления чужезычного анаграммируемого слова отчетливо демонстрируется на примере анализа В. Н. Топоровым строк О. Мандельштама о ласточке: «... мертвой ласточке, а не веселой щебетунье» (Топоров 1981). *Научи меня, ласточка хилая / Разучившаяся летать, / Как мне с этой воздушной могилою / Без руля и крыла совладать... и — Будут люди, холодные, хилые / убивать, голодать, холодать.* Понять нетрадиционный образ ласточки возможно лишь в связи с превращением «безъязыкой» Филомелы Зевсом в ласточку. Безъязыкость ласточки отсылает к ее имени на родном языке — *χελιδών*, синтезируемому из фрагментов русского текста: *хил-, холодн-, голод-, люд-, лад-, лет-*.

Второй нетрадиционный подход к анаграммированию осуществлен Вяч. Вс. Ивановым на материале стихотворения Гельдерлина (Иванов 1981б). Здесь выясняется вопрос об анаграмматическом кодировании имени (Диотима) в пределах шифтерных показателей — *du, dich, dir*. Таким образом, анаграммирование (скрытое кодирование) оказывается соотношенным с дейксисом — явным указанием. В то же время скрытое кодирование включается внутрь явного.

¹⁰ См. об этом более подробно следующий параграф.

6. Реляционные грамматические показатели и текст

Итак, предыдущий пример из работы Вяч. Вс. Иванова показывает, что выявление минимальных звуковых единиц — осколков ключевого слова — может связывать «вещественную часть» текста с собственно грамматическими показателями.

Какие же компоненты *не*-вещественной части языковой системы включаются в излагаемую теорию текста?

Уже априори можно предположить, что, понимая текст как семантическое пространство, мы должны с неизбежностью говорить о разной степени о с в о е н н о с т и этого пространства. Поэтому обращение к категории *свой/чужой* и к категории притяжательности в целом является неслучайным научным следствием из изложенной трактовки текста. Так, не случайно в программу работ по тексту вошли исследования, посвященные семантике посессивности. В этих работах реализация посессивных отношений рассматривается именно на фоне семантического пространства текста. Тема связи категории принадлежности и текста активно звучала и на специальной конференции, посвященной категории притяжательности. В этой связи особенно показательна для развиваемой теории появившаяся работа З. М. Волоцкой и А. В. Головачевой «Роль категории притяжательности (посессивности) в организации текста загадки», где посессивные отношения рассматриваются через тип текста, тип денотата и тип пресуппозиции в тексте загадки. Этот же подход — определение категориальной семантики через текст — представлен в работе А. В. Головачевой «Детерминация объекта обладания в связном тексте», Вяч. Вс. Иванова «О связи притяжательности и глагольных аффиксов». Именно широкое понимание пространства как такого концепта, который проецирует личность с ее постепенным различием отчуждаемости/неотчуждаемости и освоенности/неосвоенности в мире действительности и в мире текста отражено в работе В. Н. Топорова «К генезису категории притяжательности». Таким образом, анализ категории посессивности в общетеоретическом плане оказывается неотделимым от более общей проблемы: введения личности в коммуникативное пространство. Именно поэтому оказываются тематически и программно связанными работы Т. В. Цивьян: «Об одном особом аспекте посессивности: Dat. eth. и его трансформы (на материале балканских языков)» и более раннее исследование об оппозиции *внешний/внутренний* (Цивьян 1973).

Все сказанное относилось к тексту, рассмотренному с более общей точки зрения. Особое место занимает притяжательность в поэтическом тексте: она может являть себя сквозной категорией, пронизывающей все семантическое пространство стихотворения (Лекомцева 1983).

В отличие от большинства работ по тексту, трактующих в основном местоимения исключительно как средство анафорики, т. е. связности текста, в данной концепции м е с т о и м е н и я рассматриваются с позиций их общего фун-

кционирования в тексте и выражения при этом определенной категориальной нагрузки. Поэтому в актив данной *теории* входят и местоимения не только по-сессивной семантики.

М. И. Лекомцева демонстрирует текстово-коммуникативную специфичность всего набора местоимений третьего лица в старославянском языке. В отличие от местоимений первого и второго лица, они не сохраняют референтного тождества, поэтому определение их коммуникативной роли должно выявить специфику каждой местоименной формы. Так, в старославянском языке, как показывает М. И. Лекомцева, различалась анафорика высказывания в целом и анафорика отдельного аргумента.

Как и в случае притяжательных местоимений, текстовая нагрузка и реализация дейксиса и анафорики в поэтическом произведении иные, чем в норме. Т. В. Цивьян показывает «перетекания значений» в тексте А. Ахматовой, «когда — в крайних точках — *тот* употребляется в значении *некий*, а *некий* в значении *тот самый*... Восстановление денотатов возможно на основании знания „ахматовского мира”, широкого контекста ее поэзии и лишь затем и минимально — средствами самого текста». Итак, уже очевидно, что местоимения занимают первое место в более обширном ряду коммуникативно ориентированных частей речи и вообще **ш и ф т е р н ы х** **п о к а з а т е л е й**.

Третья группа коммуникативно ориентированных слов нереперентной семантики — это **а р т и к л и** и особые коммуникативно направленные слова — **ч а с т и ц ы**. Известная работа Г. Вейнриха о коммуникативно-нарративном обосновании меньшего числа неопределенных артиклей в тексте по сравнению с определенными (неопределенные артикли вводят новые персонажи, число которых в тексте не может быть априори велико) (Вейнрих 1978) проверялась на материале болгарского текста и на материале албанской сказки. Т. Н. Молошная подтверждает выводы Г. Вейнриха анализом «нулевого артикля» болгарского текста. Сравнивая албанскую сказку с русской в точках интродукции, инициали текста, появления нового персонажа, Т. И. Цивьян приходит к выводу об инвариантности сказочного персонажа на сюжетно-семантическом уровне: «Модель текста построена таким образом — и в этом ее универсальность и залог сохранения во времени и пространстве, — что она шире любого своего языкового воплощения... Великолепная гармоничность замысла сказочной модели проявляется в ее адекватности любому языку».

Принципиальная адекватность предлагаемой модели текста общим принципам построения текстовой структуры видна из функционального анализа семантики частиц. Оказывается, что славянские частицы обладают определенным набором свойств: во-первых, единством семантической структуры внутри каждого из славянских языков; однако то значение, которое в одном языке является литературным и современным, в другом оказывается диалектным, или просторечным, или архаическим; во-вторых, их значения «перетекают» друг в друга в пределах определенных контекстов, что не препятствует в то же время каж-

дой частице формировать свое инвариантное значение, определяющееся только общей суммой контекстных семантических реализаций. Таким образом, в принципе поведение частиц — единиц языка в тексте — аналогично поведению мифологических персонажей в текстовой диахронии или объектов художественного (особенно поэтического) текста.

Подобный общий анализ коммуникативных слов в принципе отличается от описания, например, Б. М. Эйхенбаумом употребления служебных слов у А. Ахматовой, в основном являющегося констатацией наибольшего лексемного предпочтения (Эйхенбаум 1969а; 91—98).

Уже напрашивается вывод, что грамматика в ее классическом понимании — как морфология и синтаксис — в излагаемой теории текста играет меньшую роль, чем значимые элементы слова и слова-шифтеры. И это, несомненно, так, хотя во многих описаниях присутствует детальное представление грамматического уровня описываемого текста, однако часто оно представляет собой или еще обращенный к предшествующей традиции компонент «полного анализа» текста, или служит лишь указанием на «параллелизм» тех или иных конструкций, или указанием на внутритекстовые переходы. Причина такой малой интерпретативной силы анализа грамматических форм, как представляется, коренится в том, что полная картина «модели мира», стоящей за системой грамматических категорий, менталитет грамматики, еще не раскрыта ни для одного языка; поэтому, строго говоря, мы часто не знаем, что стоит за выбором той или иной грамматической формы (а именно выбор создает смысловую структуру текста: текст, как и человек, демонстрирует себя там, где нет заданной правилами жесткости реализации). Более интерпретирующим анализ грамматики является там, где она сопоставляется с другой системой или с несобственно грамматическим языковым уровнем. Например, предикаты движения — каркас текста романа Достоевского — сопоставляются Т. В. Цивьян по функции со служебными неполнозначными элементами (союзами, предлогами и т. п.) (Цивьян 1976).

Перечень активно включенных в теорию текста компонентов языковой системы завершает синтаксический уровень. Синтаксический компонент оказывается наименее включенным в изложенный тип анализа текста. Действительно, только в немногих случаях обращение к синтаксическому уровню оказывается интерпретативным, а не чисто дескриптивным. Таков, например, анализ функции вопросительных предложений и их функций (и их избытка) в «Царе Эдипе» Софокла, предложенный В. Н. Топоровым (Топоров 1977б). В большинстве же случаев обращение к синтаксическим структурам оказывается эвристически удачным при соотнесении их со звуковым уровнем, по отношению к которому они часто являются компенсаторными. (См. выше о работе Вяч. Вс. Иванова о стихотворении В. Хлебникова «Меня проносят на слонах»; см. также у В. Н. Топорова — «нарушение гармонизации порядка слов восполняется искусными скрепами на звуковом уровне» (Топоров 1981б).) Эта

обратная зависимость синтаксиса (грамматики) и звука была точно сформулирована Ю. М. Лотманом (Лотман 1972; 64): «Там, где обычные языковые связи неполны или не мотивированы, особенно концентрированы фонологические связи. И наоборот — на участках текста, где морфосинтаксическая упорядоченность ясна, фонологическая — ослаблена».

Возникает некоторый парадокс. Ведь лингвистика текста с самого начала осознавала себя как «надфразовый синтаксис», как правила объединения предложений в сложные синтаксические целые и сложных синтаксических целых — в абзац и далее. Между тем в излагавшейся теории именно синтаксис функционально минимизирован. Не случайно ли это? Как ни странно, нет; и причина этого коренится в достаточно сложных отношениях текста и языка, также объясняемых в излагаемой теории: «Эволюция языка и эволюция текста не подчинены друг другу, а находятся в антагонизме, объясняющем и точку зрения Соссюра на атомистичность языковых изменений... Чем меньше участок текста, тем вероятнее действие на нем собственно языкового закона эволюции?» (Иванов 1981а). Как понять эти слова Вяч. Вс. Иванова, вводящие далеко не традиционное понимание филологической диахронии? Представляется, что основной декодируемый смысл текста, как это предстает в изложенной теории, передается некими значимыми смысловыми квантами, не привязанными ни к линейному контакту, ни к оформленности грамматических уровней. Текст оказывается прошитым этими смысловыми перекличками. Очевидно, нечто подобное мы имеем в начале языковой истории, когда тексты практически были минимальны, сводясь часто к одному или нескольким высказываниям, и «иконический» порядок слов соответствовал разворачиванию идей и смысловых связей. Такой порядок слов и тип оформления слова (малая грамматикализация) в коммуникативно-дискурсивной теории языковой эволюции называется «прагматическим кодом»¹¹. Дальнейшее развитие грамматикализации, в особенности развитие флексий из изначально значимых элементов, чаще всего шифтерно-анафорического характера, синтактизация реляционных связей ведут к четкой дискретизации языкового знака. Из «кванта смысла» билатеральная единица становится словом, а в реальном тексте — словоформой. Синтаксические связи этой словоформы четко обозначены, и текст-высказывание стремится к регулярности прочтения — к «счастливой коммуникации». «Колеблющиеся значения» на этом минимальном отрезке не имеют возможности реализоваться.

Текст же, рассмотренный как цельность, дает возможность сопряжения смыслов, построенного на контактности; как это ни покажется парадоксальным, художественный текст оказывается ближе именно к архаическим формам высказывания. Клиширование отношений, их грамматическая «отливка» еще не произошли. Более точно было бы сказать так: чем текст *n*-мернее, тем его собственно

¹¹ Эти идеи перехода от прагматического кода к синтаксическому под влиянием коммуникативно-дискурсивных факторов см. в обзоре: Николаева 1984.

синтаксическая опора менее значительна; формализованные клишированные тексты, например деловые, уже практически «синтактизированы». Не случайно во многих цитированных работах происходит нечто вроде взрыва привычных языковых штампов: текст снова возвращает к их буквальному прочтению, к распаду идиомы. Например, что собственно значит «Поэма без героя» — нет ни одного героя или героя в ней нет? (Цивьян 1971). Не случайно также, что в тексте «Слова о законе и благодати» те законченные синтаксические схемы с заданным лексическим заполнением, которые составляют уровень заведомо поэтических образов, оказываются принадлежащими к репертуару ветхо- и новозаветной поэтики (Топоров 1986) — это примеры из семантического пространства предшествующего развития текстов, т. е. уже подвергшихся синтактизации и клишизации.

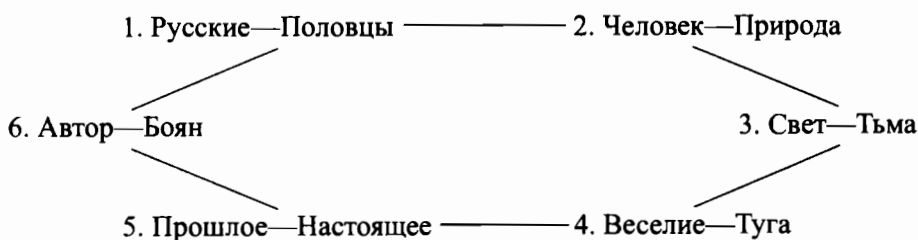
* * *

Все сказанное выше относится к экспликации роли и места языковых единиц в определенной теории текста. Опора этой теории — языковая, быть может и потому, что ее последователи — лингвисты, не прекращавшие никогда собственно лингвистических занятий. Может ли изложенная теория считаться замкнутой и закрытой? Безусловно, нет.

§ 2. Звуки в тексте

1. Звукопись — один из ведущих принципов поэтики «Слова»

Основные семантические оппозиции «Слова» не изолированы в смысловой ткани, а связаны друг с другом, образуя нечто вроде замкнутого кольца. Попробуем изобразить это кольцо:



Система повторов-антитез скрепляет и проясняет эти дуальные оппозиции. Так, немецкий исследователь структуры «Слова» И. Клейн (Klein 1972) объясняет первоначальный взгляд на «мозаичность» структуры текста «Слова» тем,

что памятник не рассматривался целиком. Именно повторы делают ткань «Слова» взаимно пронизаемым целым.

За основной смысловой оппозицией стоят связанные с ней субоппозиции. Например, с дуальным противопоставлением Человек — Природа связываются субоппозиция Город — Открытое пространство и примыкающее к нему противопоставление Христианские — Нехристианские элементы «Слова». Здесь же можно говорить о «бездомности» половцев (земля их — *незная*) и их «безродности»: они не «внуки» старых божеств, как русские. И. П. Смирнов видит еще одну важную оппозицию для древнерусской литературы: **быть/хотеть**. В этом отношении он уподобляет Игоря Адаму, свершившему грех через вызов и потому изгнанному (Смирнов 1991; 46—48). По нашему мнению, это также субоппозиция к Человек — Природа.

С противопоставлением Свет — Тьма связывается — как особая — тема Солнца во всех его ипостасях. И. Клейн видит в его рамках также христианско-дьявольское противопоставление, когда половцы персонифицируют зло, бесовское наваждение, они *дѣти бѣсови*.

Субоппозиции связывают, в свою очередь, основные дуальные противопоставления. И однако, система семантики «Слова» укладывается в эту бинарную структуру.

По отношению к соistryанию Автора и Бояна практически все предшественники соглашались с тем, что их манеры противопоставлены. Однако характеристики этих манер были самые противоположные. Так, Д. Шарыпкин считал манеру Бояна скальдической, а Автора — неорусской. Р. Якобсон видел в Авторе ученого-книжника, находящегося под сильным влиянием византийских хроник, в частности хрониста Херобоска, размышляющего о том, как начать.

И. И. Гаген-Торн видит в Авторе следы народного творчества, как бы подпольной народной литературы. Боян же, напротив, — ученый-книжник церковнославянского толка. Стиль Бояна — гимнографический, исполненный гипербол и метафор. Кстати, именно Н. И. Гаген-Торн принадлежит своеобразная и несколько модернизированная идея о том, что «„Слово о полку Игореве” было враждебно растущему самовластию Москвы» и потому Софоний-рязанец в «Задонщине» не упоминает об Авторе.

«Возможно, „Слово” было запрещено в Москве. Поэтому единственный его экземпляр сохранился в Новгородской или Псковской республике, враждебной Москве, оппозиционной княжескому самовластию. „Слово” не входило в официальную литературу, диктуемую сверху. Этим можно объяснить и поразительную сохранность текста: его хранили тайно и бережно, как святыню свободной мысли» (Гаген-Торн 1976; 78).

Совсем другой точки зрения придерживается и Бр. Мериджи (Meriggi 1967). Для него Боян — типичный представитель шаманизма. Он ясновидец; он окружен животными, деревьями. Он поднимается все выше и выше, летая умом под облака. Согласно наблюдениям В. Радлова и М. Элиаде, это техника авто-

экзальтации алтайских шаманов. Инструмент Бояна — магический тамбурин шаманов. Его поэзия, по мнению Мериджи, магиико-религиозная, а поэзия Автора — народно-эпическая¹.

Итак, сколько исследователей — столько и мнений. Вероятно, чем выше в мировой культуре поднимается автор, тем более убедительными кажутся обращаемые к нему любые реминисценции.

В чем же сходятся все, анализируя поэтику «Слова»? Во-первых, в том, что она строится на сложно пересекающихся повторах. В этом отношении — хотя нами и принято решение не обращаться к текстам Куликовского цикла — очень важно, именно как свидетельство принципиально иной поэтики, наблюдение Д. С. Ворга о том, что система параллелизмов в «Задонщине» принципиально иная, чем в «Слове о полку Игореве» (Worth 1966).

Во-вторых, в том, что для текста «Слова» огромную роль играет звукопись. Именно на богатстве звукописи «Слова» и ее практической бедности в «Задонщине» строит, в частности, гипотезу о позднейшем происхождении «Слова» А. Зимин: «Если в „Слове“ можно обнаружить разветвленную систему звукописи, то ничего подобного нет в „Задонщине“». Однако „вычленив“ все элементы звукописи писатель XIV—XV веков не мог (должны были остаться ее следы, а их нет)» (Зимин 1967; 142). Такая логика требует доказательств.

Звуковая ткань «Слова» исследовалась в трех аспектах:

1) Аспект ритмический и связанный с ним вопрос о поэтическом/прозаическом статусе памятника.

2) Анализ вокалической структуры текста и его фрагментов.

3) Анализ консонантных цепочек и консонантных чередований.

Оба последних аспекта были подвергнуты нами внимательному анализу.

Одним из первых о звукописи в «Слове» писал П. П. Вяземский (Вяземский 1877). Прежде всего он отмечает как частотное начало — инициаль *ПО-* и гласный *О*, иногда соединяющие большие по протяженности отрывки. Например:

Въ Полѣ ОльгОво гнѣздО, хОрОбрОе гнѣздО, далече залетѣлО, не былО Онѣ Обидѣ ПОрОжденО ни сОкОлОу, ни кречетОу, ни тебѣ, ПОганый ПОлОвчине.

(Вяземский 1877)

Он подключает к этим повторам далее повторение *С, Р, К*. «Аллитерация проявляется несомненная и даже роскошная» (Вяземский 1877; 29).

Глубоким проникновением не только в форму, но и в смысл звукописи «Слова» была замечательная работа В. Ф. Ржиги о гармонии речи в «Слове о полку Игоревом» (Ржига 1926). Он выделяет пять типов аллитерации в «Слове»: 1) ал-

¹ Хотя для «Слова» в целом отмечается гораздо больше перечисленных имен названий зверей и птиц, чем, например, в «Задонщине», где есть только жаворонок, шуры, ястребы (см. об этом: Соловьев 1967).

литерация на согласный звук; 2) аллитерация группы согласных; 3) созвучие соседних слогов одного и того же слова или двух соседних слогов; 4) созвучие гласного; 5) созвучие целых слов. Существенны для смыслофоники аллитерации с плавными (которые, по его наблюдениям, особенно часты в плаче Ярославны), комбинации с плавными, то есть двузвучия; из гласных особенно часто повторение *У* в контактных словах. Самое важное в работе В. Ржиги — это попытка найти функциональную интерпретацию для этих звуковых повторов. Он видит в них и звукоподражания: *Врани грахаютъ, трупиа себѣ дѣляче* («Кряканья круків»); зловещие завывания ночи, которые описываются через скопления *С, З, П, Ч, Ш, Щ*; грусть и печаль коррелируют с *У*, например при описании гибели юноши князя Ростислава. В. Ржига пишет: «Імена князів дзвенять не тільки в славі, але й у всій музиці „Слова“... В них відчувалося зачаровання влади, бачилось сяйво світла, чулося дзвін слави».

Перед второй мировой войной детальный анализ поэтики и звукотехники «Слова» был представлен Е. Ляцким (Ляцкий 1938—1939). Подход Е. Ляцкого достаточно своеобразен. Он считает, что в «Слове» переданы разные типы произнесения стиха в зависимости от разности стиля и, тем самым, смысла. Так, он различает тона-стили: «средний — эпико-повествовательный, низкий — скорбно-лирический, минорный, укоризненный, и высокий — лирико-патетический, мажорный; всем этим видам свойственны различные оттенки в смысле и написании» (Ляцкий 1938—1939; 55). В связи с этим Е. Ляцкий считает, что в зависимости от стилистико-семантической установки может меняться произнесение гласного (полное, открытое, усеченное?) и, соответственно, звуковая эвфония. Он приводит текст «Слова» в этой своей огласовке.

Именно о повторах в фонической ткани «Слова» писали также Л. А. Булаховский и Л. П. Якубинский.

Л. П. Якубинский (Якубинский 1948) обратил в этой связи внимание на функцию в тексте церковнославянизмов. Они используются также и как средства создания звуковой выразительности поэмы. Так, в «Слове» встречается и *врань*, и *воронь*. Но, например, со словом *грахаютъ* употребляется только *врань*. Получается таким образом созвучие *РА-РА-*. Напротив, при *чърный воронь, поганый половчине* возникает *ОР- ОР-*.

Это же *РА-РА-* Л. П. Якубинский видит и в *Ст-РА-ни РА-ди, г-РА-ди весели*, а также в *Отвор-РИ в-РА-та новуг-РА-ду* и под. Именно в этой звукофонической функции и выступают церковнославянизмы в «Слове», например, *на своихъ с-РЕ-б-РЕ-ныхъ б-РЕ-зѣхъ* (Якубинский 1948). Таким образом, это перекликается с идеей Д. С. Лихачева о том, что сложение мелких компонентов с их звуко-семантикой создает, перекликаясь, более сложные «сверхсмыслы» (Лихачев 1979; 118).

Новую трактовку самой дешифровки поэтической звукотехники «Слова» вносит в понимание его звукописи Р. Якобсон. В пионерской работе П. П. Вяземского говорится только о повторах, то есть о буквальных совпадениях какой-

либо одной звуковой единицы, звука или звукосочетания; речь шла о звуковой технике. Поэтическая техника древнерусских текстов состоит, как показывает Р. Якобсон, в перекличках неких звуковых компонентов, не обязательно точно повторяющихся и не обязательно близко контактирующих, — создается звуковая игра. Эту звуковую игру Р. Якобсон соотносит с византийской поэтической техникой, предполагая известным для Киевской Руси трактат Херобоска «Об образъх». Эти сплетения и пересечения звуковых компонентов выглядят как некий второй, дополнительный, текст со своими особыми ассоциациями и аллюзиями. «Причудливая игра на цепи сходств и контрастов, на смежности и дальности в пространстве и времени, сплетение настоящего с прошлым и будущим, историзма с предзнаменованиями, острое сочетание различных литературных жанров, приемы загадок, сжатый намек взамен повествования, заведомая разнородность языковых средств — все это роднит поэтику „Слова” с другими характерными произведениями затрудненного, сокровенного, притчноиносказательного стиля, овладевшего на исходе XII и в начале XIII в. поэзией русской и западной, скандинавской и провансальской, кельтской и немецкой, греческой и латинской. Подобно „Моление Даниила Заточника” и „Слову о Лазаре в аду”, „трудная повесть” о полку Игореве требует от интерпретатора напряженного внимания к художественной специфике памятника и эпохи» (Якобсон 1958; 108—109).

В последние годы внимание в ряде статей было уделено вокалическому аспекту звукописи. Так, В. В. Жигунов считает, что автор распределяет по строкам, объединенным смыслом, основные звукотипы русских гласных, количественными комбинациями которых и создавалась красота стиха (Жигунов 1982). Например, *Чему, господине, насильно вѣши* — а и у по одному разу, и и о по три, е/ѣ — по три (то есть один + три). Об анаграммах в «Слове», в основном опирающихся на гласные, пишет и Г. Г. Хазагеров (Хазагеров 1990). Например, по его мнению, повторы звуков РУ и С создают слово РУС. В самом именовании *Слово о полку Игоревѣ, Игоря сына Святослава, внука Ольгова* слышатся ключевые слова — «горе» и «слава». «Замечательная инструментовка на слово „рана” в знаменитом плаче Ярославны» (Хазагеров 1990; 5). См. далее: «Звуки и слова как бы цепляются друг за друга, символизируя идею преемственности» (там же; 6).

Итак, очевидно, что «Слово» пронизано звукописью. Поэтому приведем далее выявленные нами основные, как представляется, модели связей лексических элементов через звуковые ряды. В целом будет говориться о четырех типах звукотехники в «Слове»:

1. Начала (инициали).
2. Темы.
3. Фуги.
4. Анаграммы.

А. Начала

Под началами понимаются совпадения начальных звуковых комплексов слов. По своему составу эти инициали-повторы могут быть четырехкомпонентными, то есть состоять из четырех звуковых единиц, трехкомпонентными, двухкомпонентными и однокомпонентными. По типу смысловой и грамматической связи они могут соединять слова: а) контактные и связанные непосредственной смысловой подчиненностью, б) связанные смысловой подчиненностью, но дистантные, в) контактные, но не входящие в одно синтаксическое «дерево», г) дистантные и непосредственно грамматически не связанные. Необходимо также оговорить — для случаев дистантной связи, что пока трудно дать точное определение той величины линейной протяженности текста, в пределах которой можно говорить о звуковых связях. Поэтому наши решения иногда могут быть признаны произвольными.

а) Слова контактные и связанные непосредственно по смыслу:

Пол-я пол-овецкая; Ко-нецъ ко-ния; Ст-язи ст-оять; По-ля по-крыла; К-ають к-нязя; Ч-рълена ч-олка; С-ребрено с-тружие и под.

Особое место занимают сочетания типа

Труб-ы труб-ять или *Мост-ы мост-ити*,

которые мы относим к лексическим повторам.

б) Слова контактные, но не связанные непосредственной смысловой зависимостью:

По-роси по-ля; Ко-пыты ко-стьми; У-стью у-ношу; У-тра у-ши; И-горя и-же и-стягну; О-но о-бидѣ; С-ебѣ с-лавы; Р-ѣтко р-ата-евѣ; Б-яшетъ б-ратие; З-намение з-аступи; С-оловию с-тараго; С-кача с-лавию; С-вивая с-лавы; Т-ебѣ т-ѣмуроканьскый; В-нуци вѣють; По-ловецкыя по-скепаны; П-олуднию п-адоша; В-нука в-ступила; Ре-че рѣ-ка и т. д.

в) Слова дистантные, но связанные через синтаксические связи:

По-чнемъ // по-вѣсть; За-ря // за-пала; По-тручяти // по-ловец-кыя; Вѣ-три // вѣють; По-ѣха по // по-лю; По-морию и По-сулюю; По-ловци // по-бѣгоша; Р-укавъ // р-ѣцѣ; В-сеславъ // в-лѣкомъ; З-аутреню // з-вонъ; Ту-гою // ту-ли и т. п.

г) Слова дистантные и не связанные синтаксически и по смыслу:

Побѣдами // побѣлѣ; Ка-ють // Ка-ялы; Си н-очь // син-ее; Кро-ва-вѣ // кро-ва-ти и под.

Разумеется, для этого случая верифицированными могут считаться лишь многокомпонентные повторы.

Частотность инициали *по-*, как уже говорилось, описывал П. П. Вяземский. По нашим подсчетам, она встречается в тексте «Слова» 176 раз. Несомненно, это, как он и предполагал, связано с этнонимом «половцы», который проходит через весь текст. Значительная часть слов с инициалью *по-* относится, во-первых, к имени половцев и производному прилагательному. Во-вторых, это глагольные формы с приставкой *по-*, в основном формы аориста:

по-скочи // по-тече // полетѣ // по-тече и т. п.

Но во многих случаях обилие этой инициали можно объяснить именно такой аллюзивностью: отнесение к имени врага:

по-слушати // по-морию // по-сулию // по-ловцы // по-бѣгоша // по-лунощы // по-яругамъ; по-тяту // по-лонену; по-томъ // по-барая // по-ганья плѣкы; по-лозие по-лзаша // по-вѣдаютъ // по-чнутъ // по-лѣ По-ловецкомъ и т. д.

Выше речь шла о совпадении инициалей у двух слов попарно, но выявляется особая связь трех слов, состоящая в том, что два слова объединяются двухкомпонентными (или более) началами, а третье слово присоединяется к ним или меньшей по составу инициалью, или эта инициаль как бы входит «внутри» третьего слова, уже не являясь собственно инициалью. Например:

Мосты мостити мѣстомъ; Б-ысть б-рата Бр-ячислава; Ту-гою ту-ли зат-че; И-з-рони зл-ато слово съ сле-з-ами смѣшено и под.

Таких примеров можно привести множество. В ряде мест текста возникает некоторое инициальное единство слов, связанных контактно:

В-си в-нуци В-сеслави; Б-резѣ /не/ б-ологомъ б-яхуть и т. д.

От примеров такого рода легок переход ко второму классу звукописной техники, который был нами назван «темой».

Б. Темы

Под объединенностью через тему нами понимается связь группы слов по одному какому-либо звуку, согласному или гласному. Звук этот может как охватывать инициальную часть слова, так и проходить внутри слов, как бы связывая их воедино одной нитью. Именно такого рода связи отмечались П. П. Вяземским и В. Ф. Ржигой; мы приведем здесь относительно небольшое число из возможных примеров. Проблематичным является в данном случае вопрос об идентификации/дифференциации глухих и звонких пар согласных. Как кажется, тут возможны оба решения, а более точно — возможен компромисс. Автор «Слова» часто переходит от глухого члена пары к звонкому:

С-олнце с-вѣтитя на небе-с-ѣ, Игорь кня-з-ь въ Ру-с-кой з-емли: С-таша с-тя-з-и Рюриковы, а дру-з-ии Давидовы; П-тиць крылы п-риодѣ, а звѣри п-олизаша. Не б-ысть ту б-ра-та Б-рячислава...

Приведем примеры «тем».

Тема -М:

*С-м-азу м-ычючи въ пла-м-янѣ розѣ;
М-илыхъ ладѣ ни м-ыслию с-м-ыслити ни ду-м-ою сду-м-ати.*

Тема -П:

*П-реди п-ѣснь п-оаше;
П-ѣвше п-ѣснь а п-отомъ п-ѣти.*

Тема -В:

*В-ся с-в-оя в-оя;
Не в-аю ли по кро-в-и пла-в-аша.*

Тема -Р:

*Не ваю ли х-р-аб-р-ая д-р-ужина р-ыкають акы ту-р-и р-анены;
Отво-р-и в-р-ата Новуг-раду;
Тогда по Р-уской земли р-ѣтко р-атаевѣ кикахуть, нѣ часто в-р-ани г-рая-хуть, т-р-упиа себѣ деляче, а галици свою р-ѣчь гово-р-яхуть...*

Обращая внимание на повторяющиеся звуки в «Слове», В. Ржига отметил частое повторение комбинаций определенных звуков, например, *ЗЛ, СЛ, СМ* и т. д. (*Святославъ изрони злато слово съ слезами смѣшено*). Идея повторяющихся комплексов привела его к мысли о зашифрованности в них княжеских имен. Р. Якобсон, идя далее, предположил, что кодируемые имена могут представлять в разных комбинациях, как раскладываясь по-звучно, по минимальным элементам, так и представая в виде сгущений разной степени конденсированности. Внимательный анализ всего текста «Слова» подтверждает это предположение.

При этом, однако, целесообразно выделить некий промежуточный этап между «темой», то есть повторением одного звука, и анаграммой, то есть включением целого значимого отрезка. Таким типом звукописи мы считаем вариант, названный выше «фугой».

В. Фуги

Под звукописью типа фуги понимается движение по тексту некоторого набора звуков; это движение составляет определенный рисунок, при котором в развитии звукового комплекса часто включаются — по одному — новые звуки,

так что создается на определенных участках как бы сплошная «фугированная» ткань очень большой протяженности.

Приведем примеры «фуг»:

Н-З/С-В:

Понизите стяжи свои вонзите свои — Н-З-С-З-СВ-В-НЗ-СВ.

В-К-Р:

Въ княжихъ крамолахъ вѣци челоуѣкомъ скратишася — В-К-КР-В-В-К-КР;
Рукавъ въ Каялъ рѣцѣ утру князю кровавыя раны — Р-К-В-В-К-Р-Р-К-КР-В-В-Р.

К-П-Р:

Княже птиць крылы приодѣ а звери кровь полизаша — К-П-КР-ПР-Р-КР-П.

К-М-Т:

Земля тутнетъ рѣкы мутно текутъ — М-Т-Т-Т-К-М-Т-Т-К-Т.

П-Р-Т:

Рица въ тропу Трояню чресъ поля на горы — Р-ТР-П-ТР-Р-П-Р.

С/З-Т/Д-Р:

Сего бо нынѣ сташа стяжи Рюриковы а друзии Давидовы нъ розно ся — С-СТ-СТ-З-Р-Р-Р-З-Д-Д-Р-З-С.

В-К-Х:

Великихъ плѣковъ половецкихъ яко вихрь выторже — В-К-Х-К-В-К-Х-К-В-Х-В.

К-П-Т:

Подъ копыты костьми была посяяна а кровию поляяна — П-К-П-Т-К-Т-П-К-П.

Все приведенные нами примеры на самом деле свидетельствовали лишь о разыгрывании консонантных вариаций. На самом деле, если при этом учитывать также и вокалические данные, поэтика фугирования окажется еще сложнее и изощреннее. Тогда в тех же самых примерах мы увидим повторы, более протяженные: *вѣ/вѣ* (*вѣци челоуѣкомъ*); *утн/утн* (*тутнетъ... мутно*); *низи/зи/нзи* (*понизите стяжи свои вонзите свои*); много при этом возникает и контактных инициалей, двухэлементных и одноэлементных. Фугирующие последовательности звуков создают таким образом некие структуры, среди которых выделяются параллельные и противопоставленные, симметричные.

Параллельные структуры:

И рече Игорьъ — И-Р/И-Р;

Полозие ползаша — О-Л-О-З/ОЛЗ;

Изяславъ позвони — З-В/ЗВ;

Князю разумѣти — ЗЮ/ЗУ;

Немизѣ брезѣ — ЗЪ/ЗЪ и т. д.

Симметричные структуры:

Сороки втроскоташа — СОР-ОК/РОС-КО;
Сороки не троскоташа — СОР-ОК/РОС-КО;
Врьже жребий — РЪЖ/ЖР;
Бръзья комони да позримъ — РЪЗ/ЗР;
Щиты прегородиша ищучи — ЩИ/ИЩ и т. д.

Симметричные структуры представлены широко и входят, таким образом, вместе с параллельными в общую систему поэтики «Слова», определенную как систему антитез-скреп.

В. Ржига (Ржіга 1926) указывал в общем виде на преобладание аллитераций вокруг звука У. Действительно, самая «изысканная» звукопись почему-то сконцентрирована в тексте вокруг У. Например:

Уже лжу убудиста — УЖ/ЖУ + У-У-У-У;
Уже тресну нужда — УЖ/УЖ + НУ/НУ + У-У-У;
Прысну море полунощи — НУ/УН + ПР-Р-П;
Чръныя тучя идуть — ТУ/УТ + Ч-Ч;
Хула на хвалу — УЛ/ЛУ + Х-У-Л-Х-Л-У;
Уже дружина жадни — УЖ/УЖ + Ж-Д-Ж-Д.

Все указанные выше приемы могут комбинироваться, создавая «концентрированную» звукопись, разгадываемую (или анализируемую) по слоям. Приведем два примера.

См. перечень воинских племен, подвластных князю Ярославу Черниговскому:

Могуты — *Татраны* — *Шельбиры*
Топчаки — *Ревугы* — *Ольберы*.

Здесь, как минимум, представлены четыре звуковых переключки:

- 1) -льбиры/-льберы;
- 2) Т-опчаки/Та-т-раны;
- 3) топч-А-кы/татр-А-ны;
- 4) мо-ГУ-ты/рев-УГ-ы.

Второй пример — конец обращения Ярославны к Солнцу (когда она его упрекает):

*Чему господине простре горячую свою лучю на ладъ вои въ полъ безводнѣ
жаждею имъ лучи спряже тугою имъ тули затче.*

То, что здесь шифруется имя Игоря (вслух он называется «ладой»), было замечено еще Р. Якобсоном. См., действительно, в этом отрезке: ГО-И-Р-О-Р-ГОР-О-ОИ-О-О-И-И-Р-О-И-И. Но, кроме этого, в этом же отрезке обнаруживаются и другие переключки: ЧЮЮ-ЧЮ-ЧИ-Ч; ВО-ВО-ВО; ЛУ-ЛА-ЛЕ-ЛУ-УЛ; Ж-Ж-Ж; Т-Т-Т; ЮЮ-Ю-Ю-У-У (в этих и других случаях выписываем формы

текста, так как, строго говоря, неясно, имеем ли мы дело с анаграфикой или анафоникой).

Движение фуг — это развитие текста от одних введенных компонентов к другим, при этом крайние звенья цепей могут уже довольно далеко отстоять друг от друга. Например:

Дивъ кличет врѣху древа велить послушати земли незнаемъ Вльзѣ и Поморию и Посулию и Сурожу и Корсуню и тебѣ Тьмутороканьскый блѣвань!

Фрагмент распадается на четыре отрезка:

- 1) *Дивъ кличет врѣху древа велить послушати* — Д-В-Л-В-Д-В-В-Л;
- 2) *Земли незнаемъ Вльзѣ* — 3-Л-3-Л-3.

Оба они объединяются через Л в *послушати*.

3) *И По-МОРИю и По-СУЛ-ию и СУР-ожу и Ко-РСУ-ню*. Только вместе взятые имена демонстрируют переключки: МОР-/СУЛ-/СУР-/РСУ-. Интересно, что с этими именами мы видим в дальнейшем в тексте продолжение звуковой «игры» и новые переключки-скрепы: *СПО-ни и по-РОС-и по-СУЛ-и*. Инициаль *ПО-* объединяет два первых именованя и связывает первый отрезок с первым через *По-слушати*, где также имеется предваряющая переключка: *по-СЛУ-шати*.

- 4) *Тебѣ Тьмутороканьскый блѣвань* — Т-В-Т-В.

Это отрезок совершенно самостоятельный и в предыдущий фрагмент (фрагменты) никак не вписывающийся.

Итак, компоненты фугированной ткани могут «склеиваться» в относительно устойчивые комбинации. Такие комбинации уже легче соотнести с конкретным именем (или словом), то есть — с анаграммами.

Г. Анаграммы

О том, что в «Слове» шифруются отдельные имена, уже говорилось неоднократно. Как представляется, в пределах этой техники можно продемонстрировать и новые примеры.

1. В отрывке, относящемся к князю юноше Ростиславу, до введения его имени в текст, повторяются звуки У, Р, С, Т, по мере движения к его имени все больше «складывающиеся» в именование князя:

СТР-ежаше его гоголемъ на водѣ чайцами на СТРУ-яхъ ч-Р-ѣня-дѣми на вѣ-ТР-ѣхъ на Т-ако ли Р-ече Р-ѣка СТУ-гна х-У-д-У СТРУ-ю имея пож-Р-ѣши ч-У-жи РУ-чи и СТРУ-гы Р-о-СТР-ена к УСТУ УНОШУ князю РОСТИСЛАВУ... (считаем, что У здесь относится к УНОШУ).

2. Об осуждении князя Игоря говорится:

Кають князя Игоря иже погрузи жирь во днѣ Каялы рѣкы половецкыя.

Здесь К-З — от Князя, от Игоря — И, Г, Р. См.: К-И-ГР-З-ИР-К-Р-К-К.

3. При назывании князей относящиеся к ним определения содержат консонантный и вокалический набор звуков этих имен:

К-Р-А-С-Н-О-М-У Романови Святъславличю; Рюриковы, а Д-Р-У-зии Давидовы.

Таким образом, вокруг имени собственного создаются как бы зоны сгущения звуков этого имени.

Каковы же содержательные возможности интерпретации описанных форм звукописи в «Слове»? По нашему мнению, они многообразны и в то же время подчинены единой задаче сопряжения звука и смысла.

Начала, инициали, служат самому непосредственному объединению слов в тексте; так, нами выявлен 161 случай непосредственных контактных начал. (Наблюдение П. П. Вяземского относительно особой инициали *ПО-*, относящейся к *половцам*, как кажется, нужно считать верным.)

Темы во многом формируют общее настроение отрывка, его эмоциональный колорит².

Анаграмматические компоненты обычно окружают называемое имя, как бы готовя к нему. Более глубокой (по всему тексту) может быть, как это и считал В. Ржига, тема «славы», которая соотносилась с многими именами героев и их предков, входя в состав их имен фактически. Однако и само это слово лексически представлено в тексте и легко выделяется на анаграмматическом уровне.

Более сложной представляется интерпретация **фуг**. Были подсчитаны наиболее частые компоненты, входящие в максимальное число фуг. Это были П, Т, Р, С, входящие в большинство наборов. Наиболее частое двухкомпонентное сочетание СТ-, трехкомпонентное — СТР-.

Прежде всего — именно фуги выполняют функцию звукоподражания. Например:

А не сорокы втростоташи / Сорокы не тростоташи — СОР-О-К ТРОС-КО.

Подъ копыты костью была посьяна, а кровию поляна — КО-ПО-Т.

Сочетание К-Т дважды передает крик птиц: орлов — *Орлы клетамъ на кости* — и дятлов — *Дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажуть*; набор шипящих вызывает в сознании крик испуганных лебедей: *Крычатъ тѣлѣгы полуноцы рци лебеди роспужени*.

Во-вторых, именно фуги связывают текст, создавая переходы от одной темы к другой. Поэтому важны те фразы, которые течение фуговой ткани прерывают (хотя внутри их самих могут и быть звуковые переключки). Каков же состав таких фраз и их смысловая нагрузка?

² Например, звук Р, пронизывающий сцену битвы, описание воинов Рюрика и Давида по звуко-символическим наблюдениям идентифицируется как «Большой, Грубый, Мужественный, Темный, Активный, Простой, Низменный, Угловатый» (см.: Журавлев 1974; 46—47).

Это фрагменты — двигатели сюжета:

*Игорь ждет мила брата Всеволода;
Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влѣкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону Великому;
А Святъславъ мутен сонъ видѣ въ Киевѣ на горахъ;
Скочи влѣкомъ до Немиги съ Дудутокъ;
Копиа поють на Дунаи;
Княземъ слава, а дружинѣ Аминь.*

Это эмоциональные оценки ситуаций:

*Туга и тоска сыну Глѣбову!
Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?
О стонати Руской земли, помянувшѣ първую годину и първыхъ князей!
А мы уже, дружина, жадни веселия!
Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось!
Уныша бо градомъ забрали, а веселие пониче!
Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии!
Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонилось!*

Это повторяющиеся рефрены:

*За раны Игоревы, бугега Святъславличя!
О Русская земле! Уже за шеломянем еси!*

Это передаваемая чужая прямая речь:

*Нѣ рекосте: Мужсаимѣся сами, преднюю славу сами похитимъ, а заднюю сами поделим;
Ни хитру, ни горазду, ни птицю горазду суда Божиа не минути;
Тяжко и головѣ кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы.*

Однако и эти строки включаются в более сложную, не только звукописную, систему повторов.

Итак, поэтика «Слова» есть сложная иерархическая структура, а приведенные факты звукописи представляют один из ее слоев.

2. Звуки, которые слышат только поэты. «Из пламя и света рожденное слово...»

Есть речи — значенье
Темно иль ничтожно! —
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Как полны их звуки
 Безумством желанья!
 В них слезы разлуки,
 В них трепет свиданья.

Не встретит ответа
 Среди шума мирского
 Из пламя и света
 Рожденное слово;

Но в храме, среди боя
 И где я ни буду,
 Услышав, его я
 Узнаю повсюду.

Не кончив молитвы,
 На звук тот отвечу,
 И брошусь из битвы
 Ему я навстречу.

(Лерм. II, 144).

Это стихотворение М. Ю. Лермонтова 1840 г. известно широко. И все же в нем обращает на себя внимание некий зашифрованный элемент: речи, обладающие необыкновенным воздействием на душу поэта, — текст или совокупность слов. Но что же это на самом деле за речи? Они обладают эмоциональным воздействием: / *им без волненья внимать невозможно... В них слезы разлуки, в них трепет свиданья.* / Они повелевают: / *И брошусь из битвы Ему я навстречу.* Но можем ли мы с уверенностью говорить о связном вербальном тексте? Их «значение темно иль ничтожно». Да и вербализованная ли это речь — «речи», «звуки», наконец, просто «звук»? И самое непонятное в стихотворении — *из пламя и света рожденное слово.*

Рассмотренное в более широком контексте — русской поэзии XIX и XX веков, — в целом интерпретируемое как единый текст, текст поэтической культуры, это стихотворение может подвергнуться некоторой дешифровке, в особенности эти совсем непонятные строки. Необходимо, однако, снова обратиться к Лермонтову. И в других его стихах говорится о речах таинственной силы и эзотерического воздействия, но в них уже нет ни знаковой неясности, ни загадочности происхождения.

Это слова, существенные лишь для самого поэта:

Есть слова — объяснить не могу я,
 Отчего у них власть надо мной;
 Их услышав, опять оживу я,
 Но от них не воскреснет другой.

(Лерм. I, 243)

Таким образом, потенциальная невербализованность таинственных звуков может быть признана мнимой, а «из пламя и света» — выражением случайным, синонимом «пламенных звуков».

Но все же рассмотрим еще два стихотворения Лермонтова:

Звуки

Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Всемогущий! что за звуки! жадно
Сердце ловит их.
Как в пустыне путник безотрадной
Каплю вод живых!
И в душе опять они рождают
Сны веселых лет.
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней,
И опять я в мысли полагаюсь
На слова людей.

(Лерм. I, 285)

Мой дом

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
До самых звезд он кровлей достигает
И от одной стены к другой
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно;
Пространство без границ, течение века
Объемлет в краткий миг оно.

И всемогущим мой прекрасный дом
 Для чувства этого построен,
 И осужден страдать я долго в нем,
 И в нем лишь буду я спокоен.

(Лерм. I, 291)

Итак, мир поэта — вся Вселенная, где возникают звуки, вдохновляющие поэта на строки, достающиеся ему подчас с трудом, с муками:

...И не осмелятся равнять
 С земным небес живые звуки...

(Лерм. I, 306)

...Он покупает неба звуки,
 Он даром славы не берет...

(Лерм. II, 44)

Острое ощущение связи Вселенной, мучительный интерес к другим мирам никогда не покидали Лермонтова.

Однако только ли Лермонтов слышал непонятные, вдохновляющие его звуки?

Проблеск

Слышал ли в сумраке глубоком
 Воздушной арфы легкий звон,
 Когда полночь, ненароком,
 Дремавших струн встревожит сон...

То потрясающие звуки,
 То замирающие вдруг...
 Как бы последний ропот муки,
 В них отозвавшийся, потух!

Дыханье каждое Зефира
 Взрывает скорбь в ее струнах...
 Ты скажешь: ангельская лира
 Грустит, в пыли, на небесах!

(Тютч. I, 9)

Ср. также стихотворения «Художник» Блока, «Льются звуки, печалью глубокой...» Вяч. Иванова и «Ответ» А. Ахматовой.

Только ли Лермонтов связывал источник вдохновляющих его звуков с пламенем, светом, огнем? (Уже в приведенных стихах мы наблюдаем «расплавленное золото и медь», «как золотая, в вечернем огне», «льются в сердце горячей струей», «медный смех».) Обратимся к другим стихотворениям подобного типа, обращая внимание на тему «пламя и света»:

...прямо смотрю я из времени в вечность,
И пламя твое узнаю, солнце мира.
И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мироздания курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится...

(Фет 14)

Огненным зноем живу,
Пламенной песней горю,
Музыкой слова зову
Я бирюзу к янтарю...

(Ф. Сол. 430)

И неба вышние моря
Вечерним пурпуром горели!..
Душа горела, голос пел,
В вечерний час звуча рассветом.
Я шел к блаженству. Путь блестел
Росы вечерней красным светом...

(Блок I, 20)

В звучном жаре
Дыханий —
Звучна пламенна мгла:
Там, летя из гортани,
Духовеет земля.

Выдыхаются
Души неслагаемых слов —
Отлагаются суши
Нас несущих миров...

(А. Бел. 370)

Я вздрагиваю от холода,
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото,
Приказывает мне петь...

(Манд. 68)

Анализ русской поэзии XIX—XX веков приводит к выводу о возможности вывести и сформулировать одну из возможных структур, некоторую общую модель: поэт описывает звуки невербального характера, необыкновенной силы и воздействия, которые оказывают большое влияние на его творчество: или

непосредственно претворяются в стихи, или влияют на его душевное состояние, а позднее — воплощаются в творчество.

Тема «звуков» в поэзии — гораздо шире указанной и очень интересна. Однако мы сознательно суживаем проблему, отграничиваясь от звуков следующих типов: 1) описан звук неясного происхождения, видимо, объективный, но не связанный с творческой эволюцией поэта, 2) описание согласного хора поющей и звучащей природы, точнее — известный образ природы как согласного гармонического хора.

Благодаря такому отсеву выявилось около 140 стихотворений; они имеют как бы двустороннюю структуру: объективный аспект и субъективный. В объективном пласте описывается некий поток звуков разного акустического плана (это «текст в тексте»), выявляется время появления этих звуков, состояние окружающей природы. В субъективный пласт включается некий предполагаемый источник звука, описание состояния души поэта до появления звуков, творческая реакция поэта. В дальнейшем описании не делается никаких попыток интерпретировать природу звуков, в особенности строить гипотезы по следующим поводам:

1) воспринимает ли поэт некие звуковые импульсы, действующие «стихотворно» на его нервную систему, а обычные люди этого не воспринимают?

2) оказывают ли — в особое время дня и в особых условиях — воздействие на поэта объективные звуки, практически слышные всем?

3) не слышит ли поэт, находясь в особом «предтворческом» взволнованном состоянии, свои собственные звуки (вроде шума в ушах, гула) как внешние? Характерно, что проблемы эти интересовали и самих поэтов, в особенности крайне внимательных к природе своего творчества акмеистов, которые пытаются сами и ответить:

Душу от внешних условий
Освободить я умею:
Пенье — кипение крови
Слышу и быстро хмелею.

(Манд. 209)

Знаменательно также, что значительное число этих стихотворений имеет заголовки, непосредственно указывающие на связь их с «творческой мастерской»: «Звуки» (Лерм.); «Слава» (Лерм.); «Бессонница» (Тютч.); «Проблеск» (Тютч.); «Фантазия» (Бальм.); «Сочетания» (Бальм.); «Голос» (Блок); «Художник» (Блок); «Слова» (А. Бел.); «Язык» (В. Ив.); «Поэзия» (В. Ив.); «Творчество» (Ахм.); «Поэт» (Ахм.); «Последнее стихотворение» (Ахм.); «Silentium» (Манд.); «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (Пушк.); «На смерть Гете» (Барат.); «Лермонтов» (Бальм.).

Итак, совокупность отобранных стихотворений указанного типа анализировалась нами как некий единый расширенный текст (теоретико-множественная

сумма текстов)³. Методы, применяемые при такого рода исследованиях, — методы так называемого контент-анализа — уже давали позитивные результаты при изучении объективного и субъективного содержания произведений одного жанра⁴.

Анализ и описание проводились по следующим направлениям:

1. Тип воспринимаемого звука; оценка его.
2. Время дня, в которое были восприняты звуки.
3. Состояние окружающей природы в это время.
4. Предполагаемый источник звука; место его зарождения.
5. Состояние души поэта перед восприятием звуков.
6. Творческая реакция поэта.

Анализируя каждый из этих указанных признаков по отдельности, в дальнейшем мы попытаемся показать «структурную связанность» некоторых из них.

1. Тип звука и его характеристики

I. Наиболее распространенными названиями являются слова, соотносимые с корнем «звучать».

1. *звук* — неясный (Сол. 232), неясный (Бальм. 78), неясный звук невнятного моления (Блок I, 82), далекий, тайный (Сол. 165), непрерывный, заунывный (Блок I, 303), назойливый (Блок III, 43), тайное — не звук и не цвет, не цвет и не звук (Ахм. 367), один, все победивший (Ахм. 201)⁵.

2. *звуки* — песен (Лерм. I, 291), небес живые (Лерм. I, 306), неба (Лерм. II, 44), предвестники для нас последнего часа и усладители последней нашей муки (Тютч. I, 44), то потрясающие, то замирающие вдруг (Тютч. I, 9), какие-то (Бальм. 93), отходящих бурь (Блок I, 316), печалью глубокой, бесконечной тоскою полны (В. Ив. 67), как тайные знаки (Ахм. 256).

3. *отзвук* — неземной (Сол. 71), вселенских гармоний (В. Ив. 279), песни неземной (Сол. 71).

4. *созвучья* — торжествующие (Вл. Сол. 93).

II. Слова, соотносимые с корнем «звенеть».

5. *звон* — легкий (Тютч. I, 9), легкий, доселе не слышанный (Блок III, 145), гаснущий (Бальм. 422), серебристый, ему же названия нет (Бальм. 482), непомерный неуследимый (Блок III, 264), заоблачный (Бальм. 422), на лютне незримой чуть слышно звеня (Бальм. 109), песня тайная звенит (Блок I, 48), троез-

³ При продумывании методов описания, применяемых в данной работе, большое влияние на автора оказала работа: Топоров 1973.

⁴ См. удачное применение методов контент-анализа к исследованию современного рассказа: Канторович 1978.

⁵ Определения к звуку приводятся лишь в том случае, если они в стихотворении есть. При этом нельзя забывать о том, что в подавляющем большинстве звуки не имеют эксплицитных характеристик: поэты говорят просто «звуки, звоны» и т. д.

вездный размеренный (Бальм. 397), праздный (Блок III, 201), всегда жужжащий (Блок III, 145), ныла и звенела (Манд. 138).

6. *перезвон* — перекатная зыбь перезвона (Бальм. 183).

III. Слова, соотносимые со «звать».

7. *зов* — таинственный (Бальм. 120), далекий (Блок I, 78), неведомый, бескрылый страшный (Блок I, 82), голос как будто бы зов (Бальм. 145).

IV. Слова, соотносимые с «петь».

8. *напев* — чей-то (Бальм. 78), заглушенный и юный (Блок III, 202), напеваает кто-то нежно (Сол. 377).

9. *песни* — звезд всезвонные (Бальм. 422), небесных высот (Заб. 144).

V. Звуки неясного типа.

10. *гул* — далекий (Блок I, 256), дальний (Тютч. I, 75), чудный, еженочный, непостижимый (Тютч. I, 74).

11. *шум* — тихий (Блок I, 90).

12. *шепот* — скучный (Пушк. III, 250), чей-то (Блок I, 137).

13. *шорох* — смутный (Манд. 203).

VI. Звуки «печального» звучания.

14. *стон* — жалкий (Тютч. II, 271), ночи (Лерм. I, 265), кто-то стонет (Бальм. 108).

15. *вздых* — чьи-то (Бальм. 78), неба (Фет 38), стонет раненая медь (Анн. 132).

16. *плач* — струился серебристый (Ахм. 90), кто-то плачет (Бальм. 108).

17. *вой* — чей-то пронзительный жалобный (Сол. 196).

VII. «Речеподобные» звуки.

18. *голос* — далекий (Блок I, 20), ночной (Сол. 125), чей-то обманчивый (Блок I, 338), безжизненный голос тоски (Блок I, 58), важный, благосклонный (Блок I, 256), сладко вздыхающий (Фет 208), сновидческий (Цвет. 172).

19. *глагол* — неизреченный (Фет 269), сверкающий громами (Вл. Сол. 68).

20. *слово* — слова золотого вещей мед (В. Ив. 270).

VIII. «Оркестрированные» звуки.

21. *оркестр* — скрипок запредельных (Блок III, 192).

22. *дождь симфоний* — (Белый 260).

23. *благовест* — всемирный (Тютч. I, 202).

24. *орган* — музыки (Заб. 255).

25. *аккорд* — (Паст. 580).

Итак, если выбирать наиболее частотные признаки, можно построить образ далекого неясного звука, либо одиночного, либо близкого к гулу и разной степени звонкости.

2. Время восприятия звуков поэтами

Объективное время восприятия звуков, описанное в собранных стихотворениях, охватывает очень четкий период, условно формулируемый нами как время «от вечерней до утренней зари». Внутреннюю его структуру составляют четы-

ре временных отрезка: 1) время заката солнца, вечерняя заря; 2) сумрак сгущающейся ночи; 3) ночь; 4) рассвет, утренняя заря.

Рассмотрим характеристики каждого из этих временных периодов (описание Природы в это время см. ниже), суммируя в конце типы и дистрибуцию звуков:

1. Вечерняя заря, закат — алый час (В. Ив. 159), сумрак алый (Блок I, 81), был час чудотворен и полн, высот последнее злато (Цвет. 172), сумрак алый (Блок I, 109), море заревое (Блок III, 192), от зари догорающий свет (Сол. 165), уходящие тени уходящего дня (Бальм. 93), истома, вечер (Ахм. 259), неба осветленный край (Блок III, 264).

Вечерняя заря, закат, упоминается в этих стихах очень часто, это важное время дня⁶. Для этого времени дня характерны звуки четкие, даже пронзительного звучания, хотя и «далекие, тайные», — звуки, звук, звоны (самое частое, см. название «Закатный звон в поле» И. Анненского), стоны.

2. Наступающая ночь — вечер мгlistый и ненастный (Тютч. I, 9), в сумраке глубоко (Тютч. I, 9), во мгле почиет день туманный (Сол. 232), уходящие тени (Бальм. 100), зажглась звезда (Блок I, 338), часы вечернего тумана (Блок I, 48), не легли еще тени вечерние, а луна уж блестит на воде (Блок I, 29), вечер тайный (В. Ив. 357), восходил туманный рог луны (Заб. 66).

Характерные звуки этой поры — смешанные, неясные, «гаснущие» звоны, «голос тоски», как бы звенящие песни, пронзительные мертвые звуки и т. д.

3. Ночное глухое время — ночной порой есть час один, проникнутый тоской (Тютч. II, 271), есть некий час в ночи (Тютч. I, 17), в час, когда как бы во сне (Фет 269), глухая бессонная ночь (Блок I, 104), глухая ночь мертва (Блок I, 49), туманная ночь (Паст. 580), час тоски невыразимой (Тютч. I, 74), нега ночи голубой (Тютч. I, 74), ночь, сверканье звезд (Фет 14), ночь, туманы (Сол. 165), мрак (Сол. 196), звездная ночь (Бальм. 108), белая ночь (Блок II, 90), ночь, полуночный зной (Ахм. 256), молчанье ночи (Бальм. 183).

Звуки тогда воспринимаются либо приглушенные и неясные — шепот, гул (особенно часто), вздохи, стоны, хоры, аккорды, звон как бы лютни, плач и т. п., либо одиночные и сильные — далекий, страшный зов, вой.

4. Рассвет, утренняя заря — первой зари я почувствовал пыл (Фет 208), в час рассвета (Бальм. 100), рассвет и туман (Бальм. 482), первый луч восходящего в небе светила (Блок I, 70).

Звуки этой поры — приятно-мелодические, чисто вокальные: легкий звон, «звон серебристый», «звон неуследимый», «слова золотого вещий мед».

⁶ См. у В. Н. Топорова: «Закат у Достоевского — не только знак рокового часа, когда совершаются или замышляются решающие действия, но и стихия (разрядка наша. — Т. Н.), влияющая на героя» (Топоров 1973; 238), и далее там же — о месте закатной темы в мифопоэтической традиции. Быть может, небезынтересно заметить, что собственно тема солнца в данных стихотворениях упоминается мало, и, строго говоря, в дальнейшем, описывая «источники звука», мы не можем говорить, что речь идет именно о «нашем» Солнце.

Отмечается также и особое «звучащее» время года — весна (Фет 38; Блок I, 342; Блок I, 303; Блок I, 137; Ахм. 92), когда звуки могут восприниматься и в дневное время.

Но в целом удивительно характерным для дневного беззвучия и, соответственно, нереактивности, а точнее, особого дневного состояния поэта, является одно из стихотворений О. Мандельштама (Манд. 62), где — при дневном спокойствии — союз слова и эмоции не возникает.

3. Предполагаемый источник воспринимаемого звука

Как уже говорилось выше, стихотворения неоднородны по своей установке на локализацию воспринимаемого звука. Неоднородны они и в устремлениях поэта понять этот источник — сложность поэтико-метафорических образов мешает отделить «веру» от «штампа», буквальное восприятие от аллегоризации. Поэтому, не выходя за пределы собственно текстовые, можно говорить о четырех типах источника звука:

1. Источник звука поэту неизвестен и сам он над этим задумывается — Откуда он, сей гул непостижимый? (Тютч. I, 74), Даже это не напевы. Что же? (Сол. 377), С моря ли вихрь? Или сирины райские в листьях поют? Или время стоит? Или осыпали яблони майские снежный свой цвет? Или ангел летит? (Блок III, 145).

2. Источник звука — в душе поэта, точнее, в нем самом — Мне чудятся и жалобы и стоны... встает один, все победивший звук (Ахм. 89), в душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет. В нем воздух и звон серебристый, ему же названия нет (Бальм. 482), мой тихий сон, мой сон ежеминутный — невидимый, замороженный лес (Манд. 203), пенье — кипение крови (Манд. 209), в фантазии рождаются порою немые сны (Блок I, 20).

3. Звук раздается в непосредственной близости от поэта — Раздается близ меня (Пушк. III, 250), вокруг меня раздавались от небес до земли (Бальм. 93), бродит вокруг (Ахм. 204), пред нами кружились во мраке (Ахм. 256), там, где жидкие березы, прильнувши к окнам, сухо шелестят (Ахм. 89).

4. Звук восходит к дальним источникам. О комплексе «небесные» звуки говорилось часто как о типичном поэтическом клише. Поэтому очень большое число словосочетаний вроде «песни небес», «небесные звуки», «звуки неба» и т. п. не представляет особого интереса для анализа стихотворений: более того, иногда в характеристике поэта, слышащего «небесные» звуки, уже проскальзывает не локализатор, но чисто речевой штамп («небесный характер», «небесная красота» и т. д.).

Остановимся на предполагаемых источниках, более точно характеризованных.

Источник звездного характера — Дальний Сириус дрожью объят <...> И как ровно пред ним, начертанье высоких побед, Троезвездный размеренный

звон, ослепительный сistr Ориона (Бальм. 397), А на вершинах Зодиака, где слышен музыки орган (Заб. 255), В краю, подвластном зодиакам, был громко одинок аккорд (Паст. 580), Когда горят над сопками Стожары и пенье сфер проносится вдали (Заб. 167).

Источник — нечто туманное, нереальное — отзвук песни неземной (Сол. 71), и только звук, неясный звук порой доносится оттуда (Сол. 232), из сфер неземного тумана (Бальм. 145), в сей мгле безумной (Блок III, 201), в затаенной тиши (Блок III, 202), в дали любимой (Блок III, 264), из тишины грядущих полуснов (Блок I, 104), у края земли, над холмами вдали (Блок I, 58).

Источник — стихия огня и пламени, некий сгусток огненной стихии — Там, где все блистает нетленной славой и красотой, где чистый пламень пожирает несовершенство бытия (Пушк. II, 255), в нимбе красного огня (Блок II, 48), из пламя и света рожденное слово (Лерм. II, 144), огненные струны на лире, брошенной в миры (А. Бел. 260), а также:

И неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

(Фет 14)

Донесся откуда-то гаснущий звон,
И стал вырастать в вышину небосклон.
И взорам открылось при свете зарниц,
Что в небе есть тайны, но нет в нем границ.

(Бальм. 145)

Плакал дух, — а в звездной глубине
Расступалось огненное море,
Чей-то сон шептался обо мне...

(Блок I, 137)

...отгулом сфер, звучащих издавеча,
стихия светом умного огня...

(В. Ив. 303)

В звучном жаре дыханий
звучна пламенна мгла...

(А. Бел. 370)

Непосредственные впечатления от текстов, как это видно, не дают оснований считать, что этим источником-пламенем является наше реальное Солнце. Строго говоря, именно таких формулировок нет, хотя известно, что как раз в то время, когда писало большинство цитируемых нами поэтов, культ Солнца был

очень велик, что сказывалось и в названиях их сборников («Будем как Солнце», «Ярь», «Пламенный круг» и т. д.)⁷. Скорее всего, стихия пламени и огня сложным образом сочеталась с красным маревом вокруг поэта в предтворческом его периоде и с назойливым шумом, перераставшим в ритм.

4. Состояние души поэта перед восприятием звука

О состоянии души поэта в анализируемых стихотворениях сообщается довольно много; композиционно эта характеристика обычно начинает стихотворение. Однако, если сравнивать «эмоциональный ввод» с эмоциональным «выходом», то последний описывается в большем числе стихотворений, и, видимо, он более важен для поэта.

Состояние души поэта можно описать так:

1. Физическое состояние бессонницы — мне не спится (Пушк. III, 250).

2. Тяжелое настроение — час один, проникнутый тоскою (Тютч. II, 271), час тоски невыразимой (Тютч. I, 75), в те дни, когда душа трепещет избытком жизненных тревог (Блок I, 339), сердце так слабо и сиротливо (Анн. 147), ум полон томного бессилья (Блок I, 48), все туманнее, все суевернее, на душе и на сердце — везде (Блок I, 29), душа молчит (Блок I, 78), не сходим ли с ума (Блок III, 41), мир я вижу, как во мгле (Барат. 274)⁸.

3. Общее напряженное ожидание — неподвижен, внемлю (Лерм. I, 285), но хочет все душа моя во всем дойти до совершенства (Лерм. I, 306), свободен, весел и силен (Блок III, 264), страстно верим, ждем трубы (Блок I, 316), я жду призыва, я жду ответа (Блок I, 81).

4. Осознанное ожидание начала творчества — я уже в предпесенной тревоге (Ахм. 89), я так молилась: «Утоли глухую жажду песнопенья» (Ахм. 90), это я в предвкушенье великом слышу нечто, что меньше, чем звук (Б. Ахм. 5).

5. Творческая реакция поэта — исход стихотворения

В исследованных стихотворениях практически отсутствуют те случаи, когда реакция поэта не сообщается, хотя другие компоненты намеченной схемы могут отсутствовать: описание вида природы, описание времени события и — даже — описание исходного состояния души. Таким образом, сознательно упрощая, можно выводить лишь одну обязательную схему: «Стимул» — «Реакция».

Описываемые окончательные реакции можно условно разделить на две совокупности: в первой из них речь идет об эмоциональном состоянии, во вто-

⁷ Попытки объяснить вспыхнувший в эти годы в русской литературе «культ Солнца» см.: Долгополов 1977.

⁸ К той же группе можно, очевидно, отнести и некоторое глобально отрицательное состояние: долог мой путь утомительный (Сол. 196), горечь дальних мук (Сол. 232), душе утомленной моей (Сол. 285), земную печаль разлюбив (Бальм. 120).

рой — о творческом. В каждой из групп четко намечается деление реакций на положительную и отрицательную, хотя в группе эмоциональных реакций выявляется нечто вроде подгруппы: поэт не может точно сформулировать своих ощущений.

Реакции эмоциональные:

1. Отрицательного характера — но тщетно плачется и молится оно (Тютч. II, 271), и нет пути передо мной к стране вотще обетованной (Сол. 232), тебя в сочетанья свои завлечет и обманет (Бальм. 183), ты только ослепишь сверканьем... и, уязвленная страданьем, душа воротится назад (Блок I, 339), как страшно все! как дико <...> забудемся опять (Блок III, 41), не жди последнего ответа, его в сей жизни не найти (Блок, I 113), но наутро я сам задохнулся вдали (Блок I, 58), великое чуется, но великое я пережил (Блок I, 29).

2. Реакция, напоминающая катарсис, положительная — О, как тогда с земного круга душой к бессмертному летим (Тютч. I, 9), я загораюсь и горю, я порываюсь и парю в томленьях крайнего усилья (Фет 269), я понял те слезы, я понял те муки, где слово немеет, где царствуют звуки (Фет 208), нельзя заботы мелочной хотя на миг не устыдиться, нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не молиться (Фет 38), и в этом прозренье, и в этом забвенье легко мне жить, и дышать мне не больно (Фет 14), душа поет и говорит, и жить, и умереть готов (Сол. 476), и вечное, вечное счастье зажглось (Бальм. 120), мне открылось, что времени нет (Бальм. 120), я узнал, как ловить уходящие тени, уходящие тени потускневшего дня (Бальм. 93), и мгновенно житейское канет (Блок III, 202), молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь (Блок I, 316), я шел к блаженству (Блок I, 20), мне провидится и снится исполненье тайных дум (Блок I, 90), но с той поры я чтить привык святой безмолвия язык (В. Ив. 357), так позволь мне стоять безглагольным, затаенно в лазури неметь (В. Ив. 159), все, все услышал я (Заб. 77).

Реакции творческого характера:

1. Поэт начинает писать — принимают образ эти звуки, образ, милый мне, и в одежду жизни одевают все, чего уж нет (Лерм. I, 285), огненным зноем живу, пламенной песней горю, музыкой слова зову я бирюзу к янтарю (Сол. 430), творческий разум осилил-убил, и замыкаю я в клетку холодную легкую добрую птицу свободную (Блок III, 145), миров испепеленный слой живет в моем проросшем слухе (А. Бел. 358), чтоб уста твои родили слово-свет (В. Ив. 270), уже душистым раскаленным ветром сознание мое опалено (Ахм. 89), но вот уже слышались слова <...> и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь (Ахм. 201), Быть словам женихом и невестой! это я говорю и смеюсь. Как священник в глуши деревенской, я венчаю их тайный союз, вот зачем мимолетные феи осыпали свой шепот и смех (Б. Ахм. 5).

2. Непосредственного претворения реакции в поэтический текст нет — И, мне не сказавши ни слова... ушло... а я без него... умираю (Ахм. 204), образ

твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать (Манд. 70), но я забыл, что я хочу сказать, и мысль бесплотная в чертог теней вернется (Манд. 117).

Легко заметить, что число положительных реакций вообще больше, чем отрицательных; менее поверхностны другие данные: в большинстве случаев, если в «экскурсии» говорится о тяжелом состоянии, плохом настроении поэта, то в «рекурсии» просветления не наступает, или поэт уже не в состоянии реагировать на открывающиеся светлые дали (так в большинстве стихов Блока, Тютчева). У тех же поэтов может быть и реакция самая положительная, но чаще — от эмоционального нуля.

* * *

Итак, можно в целом наметить схему самую общую: 1) поэт — 2) в определенном предтворческом взволнованном состоянии — 3) в определенное время дня «от вечерней до утренней зари» — 4) при определенном состоянии природы — с преобладанием пламенно-красной гаммы не в ночное время и блеска ночью, а также смутного сумрака, сизо-красных теней в предночное время — 5) воспринимает некоторые звуки, которые могут быть и четкими, звонкими, и неясно-приглушенными (последнее часто определяется временем дня) — 6) источник этих звуков он или чувствует в себе самом, или в непосредственной близости, или где-то в далеких, заоблачных высях, — 7) у поэта наступает эмоциональная реакция, претворяющаяся либо в начало непосредственного творчества, либо в некий душевный перелом — иногда с грустным осознанием невозможности идти по новому, просветленному пути.

§ 3. «Незнаменательные слова» и текст

1. *А мы швейцару: «Отворите двери!»*

(В развитие идей Дмитрия Николаевича Шмелева
о цельности семантики лексемы)

В статье представлена попытка проанализировать функции в тексте русского незнаменательного словечка *А* на материале одного небольшого стихотворения Б. Окуджавы.

Прежде чем приступить к конкретному анализу, необходимо изложить несколько общих авторских посылок.

1. В последние годы былые мучительные проблемы разложения «семантического спектра» слова были с излишней легкостью сняты введением *X*-лексемных нумераций: X_1 , X_2 , X_3 и т. д. Таксономические трудности различения лексико-семантических вариантов, «оттенков» смысла, определения границ

многозначного слова по отношению к его распаду на омонимы, поисков семантического инварианта и под. как бы исчезли сами собой.

Однако, как кажется, конкретный анализ демонстрирует единство лексико-семантической единицы и возможная функциональная размытость делает поиск инварианта только еще более привлекательным.

2. Более того, можно предположить, что для слов так называемого коммуникативного пласта — частиц, междометий, союзов, даже местоимений — не всегда оказывается реальным определить их грамматическую принадлежность в каждом случае; во всяком случае, для славянского континуума одни и те же материально, то есть по звуковой оболочке, слова в одном языке будут функционировать как междометия, в другом — как союзы, в третьем — как частицы и т. д. Более того, подобным образом могут различаться эти слова и в пределах одного языка — например, как диалектная форма и форма языка литературного.

3. Предполагается также, что в языковом сознании говорящего все эти смыслы и функции сосуществуют, поворачивая «на свет» то одну, то другую сторону общей многомерной структуры.

4. Единицы коммуникативного пласта, в частности сочинительные союзы, устроены так, что их семантика и сходится, и расходится: проще говоря, иногда можно заменить А на И, А на НО и т. д. и поставить другой союз в его, так сказать, материализованном облике. В иных случаях семантика другого союза как бы входит внутрь семантики данного слова и становится «внутренним» компонентом его конкретного смыслового употребления, если обратиться к понятиям компонентного анализа.

5. Основным значением русского союза А мы (вместе с И. Фужерон, с которой занимались русскими сочинительными союзами) считаем сопоставление — метатермин, который, оказалось, почти невозможно передать по-французски. Сопоставление имеет место в том случае, когда фокус внимания передвигается с одного события (внутри картины) к другому. Например, *На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, а рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап* (А. Куприн). При замене на И «кинокамера» как будто отодвигается несколько дальше, и картина предстает более обобщенной и более единой, цельной: *На дороге в белой пыли валялся довольно большой недоеденный огрызок колбасы, и рядом с ним во всех направлениях отпечатались следы собачьих лап*.

6. Последняя посылка: лингвистика текста должна помогать «вскрывать» неочевидные текстовые семантические связи и оперировать при этом собственно лингвистическими категориями.

Приведем полностью анализированное стихотворение:

А мы швейцару:
«Отворите двери!
У нас компания веселая, большая,
приготовьте нам отдельный кабинет!»

А Люба смотрит: что за красота!
А я гляжу: на ней такая брошка!
Хоть напрокат она взята,
пускай потешится немножко.

А Любе вслед глядит один брюнет.
А нам плевать, и мы вразвалочку
покинув раздевалочку,
идем себе в отдельный кабинет.

На нас глядят бездельники и шлюхи.
Пусть наши женщины не в жемчуге,
послушайте, пора уже,
кончайте ваши «ах» на сто минут.

Здесь тряпками попахивает так...
Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы.
Я не любитель всяких драк,
но мне сказать ему придется,
что я ему попорчу весь уют,
что наши девушки за денешки,
представь себе, паскудина брюнет,
они себя не продают.

1

В стихотворении пять начинающих строчку *А*:

А мы... — *А1*;
А Люба... — *А2*;
А я... — *А3*;
А Любе... — *А4*;
А нам... — *А5*.

Последовательно постараемся выявить, путем возможных замен, функциональную семантику каждого из этих пяти *А*.

1) *А1*. Заменяем его на *НО*: *Но мы швейцару*: «Отворите двери!». Такая замена допустима, так как возможное сопротивление швейцара, по-видимому, очень дорогого ресторана в тексте ощущается. Это дает нам право вписать в семантику *А* компонент 'но'. Однако в случае этой замены уже сразу предполагается за текстом некий начавшийся скандал и эксплицитированное сопротивление. В стихотворении этого нет, поэтому текстуальная замена *А* на *НО* неудачна.

Попробуем заменить *А* на *И*: *И мы швейцару*: «Отворите двери!». Эта замена, точнее выявление такого смыслового компонента, также оправданна. Но при такой замене фраза становится абсолютно начальной, как бы эпическим введением к дальнейшему, и линия потенциально сопротивляющегося швейца-

ра отходит на задний план: само собой разумеется, что он должен отворить дверь и приготовить отдельный кабинет. Но стихотворение написано не в конце 90-х, а в конце 50-х или в начале 60-х. Самое вероятное то, что швейцар был заранее «подмазан» именно на этот единственный раз.

2) *A2*. Попробуем и его заменить на *НО*: *Но Люба смотрит: что за красота!* Такая замена предполагает неожиданность зрелища великолепия ресторана; тогда он предполагался априорно заштатным? или они хотели уходить? Это не так, так как к походу готовились заранее. Итак, считаем, что в *A2* смыслового компонента ‘но’ нет.

Заменяем на *И*: *И Люба смотрит: что за красота!* Такая трансформация возможна, но тогда смотрящая Люба подключается к общей ситуации, описываемой первой фразой: *А мы швейцару... И Люба смотрит*, после того *А я гляжу* выглядит как противопоставление и снабжается элементом нового — этим новым кажется брошка Любы, чего в тексте определенно нет — брошка описывается. Таким образом, в *A3* есть компонент ‘и’, но замена в плане выражения искажает общий смысл.

3) *A3*. Заменяем на *НО*: *Но я гляжу: на ней такая брошка!* Подобная замена абсолютно бессмысленна, так как никакого нарушения «горизонта ожидания» или противопоставления, типичных для *НО*, здесь нет: герой знает про брошку и даже про ее историю. Заметим, кстати, что слово *напрокат* здесь означает, скорее, что она взяла ее у подруги (ср. *Я платье напрокат взяла у Нади у В. В. Высоцкого*), а не в каком-либо официальном месте проката.

И я гляжу: на ней такая брошка! Замена на *И* в принципе возможна, но тогда герой как бы ориентирован весь на Любу и примыкает к ней. *А Люба смотрит... И я смотрю*. В этом случае в стороне остается функция брошки и снисходительное отношение героя к желающей принарядиться Любе: *Пускай потешится немножко*. Итак, в *A3* есть компонент ‘и’.

4) *A4*. Замена на *НО* придает сюжету нечто зловещее и выглядит страшным предупреждением читателю: *Но Любе вслед глядит один брюнет...* Это предупреждение идет сразу после ожидания — *потешится немножко*. В рассказе о посещении ресторана этого предупреждения явно нет (хотя, возможно, я не права — см. анализ заключительной части). Однако на данном этапе текста считаем, что замена на *НО* для *A4* невозможна, и компонента ‘но’ в его значении нет.

И Любе вслед глядит один брюнет... При замене на *И* смысл так сильно не изменяется, но в этом случае брюнет как бы входит в общую, заранее предполагаемую картину, возможно, он даже и не совсем незнакомый. Итак, смысловой компонент ‘и’ входит в семантику *A4*.

5) *A5*. Вот как раз в этом случае вполне можно утверждать, что компонент ‘но’ в этой фразе стихотворения присутствует: *Но нам плевать, и мы вразвалочку...* Но при полной материальной замене сильно «элевируется» брюнет, так как эта фраза становится парной к фразе о брюнете, между тем — *Нам плевать!*

И нам плевать — такая семантика также возможна и ощутима, но заканчивающее весь ряд *И* с присоединительным значением делает финалом *плевать* и лишает его сопоставительного смысла. Таким образом, последнему *А* приписываются компоненты 'но' плюс 'и'.

Подведем итоги той части стихотворения, которая отмечается серией из пяти *А*.

Безусловно, *А1 — А2 — А3 — А4 — А5* имеют сопоставительное значение, то есть, по определению, сохраняют **основное** значение русского *А* как союза.

Эта цепочка-серия имеет собственную структуру, с рамочным обрамлением: 'НО'/'И' — 'И' — 'И' — 'И' — 'НО'/'И'.

Рамочно-серийную структуру создают и предикаты строк-фраз *мы (0) — смотрит — гляжу — глядит — А нам (0)*.

Наконец, серийная на *А* часть стихотворения рассекает весь текст ровно пополам: в тексте 24 строки, если считать *А мы швейцару: «Отворите двери!»* двумя строками — как это и передается графически в издании; тогда *кабинет* в последней строке находится точно в центре, в конце двенадцатой строки, соотносясь с тем же словом *кабинет* в первой строфе.

Возвращаемся к некоторым исходным посылкам.

Строго говоря, *А1* нельзя считать точно квалифицируемым союзом: это, скорее, частица-приступ, столь характерная для русского («цепочечного нанизывания» — в древнерусском (не старославянско-греческой ориентации по стилю): *А которому посаднику състи на посадниково, а городскими кунами не користоватися, а судомъ не мститися ни на когож, а судомъ не тчитися, а праваго не погубити, и виноватого не жаловати, а безъ исправы челоуѣка не погубити ни на суду на вѣчи. А князь и посадникъ на вѣчи суду не судятъ... А не въсудѣтъ вправду ино Богъ буди имъ судіа во второмъ пришествіи Христовѣ. А таинныхъ посуловъ не имати ни князю, ни посаднику...* (Псковская судная грамота XV века; пример взят из работы М. Преображенской и Р. Кершиене). Этот «приступ», часто серийный, прекрасно сохранен и в самой современной русской разговорной речи:

Ж1. — А сколько этот пирог / если завесить?

— Рублей на двенадцать //

— А с чем он? будьте добреньки //

М. — А сырковой массы нет?

— Кто сказал?

— А я не видел //

Ж2. — А это что за банки?

— Это гуманитарная помощь //

Ж3. — А вы почему здесь стоите?

— А женщина отошла и очередь мне свою уступила // (Примеры представлены М. В. Китайгородской и Н. Н. Розановой.)

Итак, все эти *А* строго таксономически как будто разносятся по разным грамматическим классам служебных слов и в то же время они явно едины.

То же и в стихотворении Б. Окуджавы. Первое *А*: *А мы швейцару*, несомненно, частица-приступ, которая, по нашему мнению, в русском общении создает налет «интимизации», снимает оттенок официальности и «барства»: ср. *У нас будет сегодня зарплата?* и *А у нас сегодня будет зарплата?* Однако эта частица-приступ вполне входит в серию с несомненно союзным *А* в *А я гляжу* и другими *А*.

2

Итак, первые 12 строк довольно прочно смонтированы в единое целое лингвотекстовыми показателями: серией из пяти *А*, выстроенных так, что первое и последнее имеют компонент 'но', а все вместе имеют компонент 'и'; так же, по принципу замкнутой серии, организованными предикатами; лексемой *кабинет* в первой и последней фразах. Организующее имеет функцию «интимизации».

Именно таким образом первая часть отгорожена от второй, как часть про *своих* от рассказа о *чужих*.

Грамматическая и синтаксическая структуры второй части совсем иные. Во второй части нет ни одного *А*! Естественно, что нет и никакой «интимизации». В ней нет вообще никаких инициальных союзов, которые, по своей исходной грамматической сущности, выполняли бы функцию «соединения», связывания чего-то с чем-то. Мир *чужих* дается разрозненно и характеризуется «в лоб» и чисто лексически: *На нас глядят бездельники и шлюхи... Здесь тряпками попахивает так... Здесь смотрят друг на друга сквозь червонцы...* Во второй части снова возникает *брюнет*, тут уже просто именуемый *паскудиной*. Развязка складывающегося сюжета неясна: *но мне сказать ему придется, / что я ему попорчу весь уют*. Это просто бахвальство или дело кончится драмой, так как смотреть на Любу (несомненно, очень красивую — если не иллюзия эти *кончайте ваши «ах» на сто минут*), видимо, никому не допускается?

Итак, именно серия *А* отделяет мир *своих* от мира ненавистных *чужих*: самая грамматикализованная часть речи помогает понять текст. Первая и вторая части связываются через *брюнета*, так что создается классический «треугольник»: *Я — Люба — брюнет* — с неизвестной развязкой (именно эта неизвестность заставляет предполагать, что заинтересованность *брюнета* может быть и мнимой и — что самое ужасное — на *Любу* никто не смотрит). Говоря проще, в принципе возможны три «разгадки»: 1) на *Любу* никто не смотрит, а ущербным героям хочется какого-нибудь скандала, чтобы потом рассказывать; 2) *Люба* действительно и сразу пользуется ошеломляющим успехом — *брюнет* раньше ее не видел, но смотреть на нее (см. выше) нельзя: таковы установки этой компании; 3) *Люба* и *брюнет* давно знакомы, да и брошка-то имеет «мопассановский налет»: герой видит ее впервые (*А я гляжу: на ней такая брошка!*), но сам себя утешает, что она взята *напрокат*. Однако, как у всякого опытного поэта,

настоящего прямого ответа нет, а все три решения были мне предложены при обсуждении настоящей работы¹.

Стихотворение относится к прошлому. В те годы, когда жили его герои, богатыми *брюнетами*, готовыми швырять деньги на красавиц, были, конечно, грузины. И ресторан этот, вероятно, «Арагви». Так, один из рассказов В. Аксенова той поры начинается с описания длинной очереди почти окоченевших от холода людей перед «Арагви», мимо которых легкой походкой проходит сверхпопулярная и очень светская личность (предполагалось, что речь идет об Евгении Евтушенко), перед которым швейцар уже загодя распахивает двери.

Но это давнее стихотворение подтверждает и тезис Ю. М. Лотмана о том, что всякий текст имеет свою дальнейшую историю и свою эволюцию в этой истории. Сейчас герои стихотворения как бы оживают: очевидна их априорная ненависть к практически незнакомым людям только потому, что они, вероятно, в этом ресторане бывают чаще и брошки взяты не *напрокат*, ненависть к их *червонцам* и в то же время — мучительная тяга к ним, ненавидимым, иначе зачем вообще туда идти, в эту чужую *красоту*? Смесь неуверенности в себе, некоторого комплекса неполноценности (А вдруг *Люба* соблазнится этим миром?) естественным образом сочетается с агрессивностью: *Я не любитель всяких драк, но мне сказать ему придется...*

И ключом к этой теперь легко расшифровываемой внутренней семантике текста явились сочинительные союзы!

2. Семантика убеждения: лингвотекстологический анализ речи Марка Антония над гробом Цезаря в драме Шекспира

1. Нередки ситуации, когда один человек умеет полностью переубедить собеседника; нередки ситуации, когда один человек может повлечь за собой толпу, переубедить ее, если мнение толпы сформировано, или просто убедить — если перед ним *tabula rasa*. Даже наш «нейтральный неформальный разговор предполагает осуществление власти, т. е. воздействие на восприятие и структурирование мира другим человеком» (Блакар 1987; 91).

Каковы же движущие силы механизма убеждения? Во всяком случае, мы можем говорить о четырех факторах, способствующих убеждению (переубеждению) социума. Эти факторы гетерогенны. Во-первых, это — новые данные об обсуждаемой ситуации. Например, много различных «а вдруг» в детективных сочинениях — новых неожиданных данных, сенсационных фактов, доказательств, они создают истину, а истина убеждает. Однако и с истиной дело

¹ Несомненно, что строгое принятие только одного из решений может несколько изменить предложенные выше трактовки всех А.

обстоит не так просто. Оказывается, что наше намерение убедить входит в систему подачи истины при речи (Болинджер 1987; 30). Наконец, как это ни парадоксально, в зависимости от говорящего одно и то же может быть истинным или ложным (Дэвидсон 1986; 115).

Во-вторых, это прямое обращение к собеседнику (собеседникам) с различными их именованиями. Возможны тут два полюса: лесть и оскорбление, человечество пока не научилось игнорировать и то, и другое. Оба этих фактора связаны с денотативной стороной сообщения, с истиной, выявляемой или подтачиваемой. Следующие два фактора связаны с формой. Это — риторика и ее компоненты и стиль говорящего, некий неуловимый X.

Факторы эти обусловлены социально и социально воспринимаются.

Как представляется, существует еще и пятый путь убеждения и воздействия: он связан с формированием (деструкцией) социального общего мнения. Страх социального одиночества часто оказывается самой большой опасностью для индивида: человек боится не только поступать иначе, чем другие, но и считать и думать иначе. Мощный аппарат лингвистических конструкций, опирающийся на ось: социум — оценка — норма — служит и выражению общественного мнения (а чаще гримирующемуся под него квазивыражению), и индивидуальному самовыражению: я думаю как все, или, что важнее и что нужно внушить, все думают как я. Как пишет Г. Вайнрих: «Третий закон семантики: всякое значение слова социально» (Вайнрих 1987; 49). Эта установка на мнение, социальное или индивидуальное, уводит все дальше от оси ситуации ложь—истина и создает основу для множества языковых манипуляций. Например, если в вазе пропало печенье и говорится, что Дэвид взял его, Дэвид украл, Дэвид стибрил, то «не существует такого критерия, который позволил бы проверить, было ли печенье взято, стибрено или украдено. Тем не менее для Дэвида и его матери небезразлично, какое из этих выражений выбрано» (Блакар 1987; 45). Таким образом, объект лингвистики — языковая действительность — обладает свойством самоманипулирования: высказывание может лгать, не сообщая неверных фактов, может убеждать, не сообщая никаких фактов, может вести за собой или оскорблять. То есть речь идет не о прямом воздействии, а о воздействии через языковое манипулирование. «Мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста» (Вайнрих 1987; 54).

2. Речь Марка Антония, бывшего консулом вместе с Юлием Цезарем в год его трагического убийства, была во всех смыслах исторической: она переломила историю Рима. Антоний предложил заговорщикам Бруту и Кассию предать забвению вражду и примириться. Надгробное похвальное слово Юлию Цезарю он произнес с их ведома и согласия. В результате этой речи заговорщикам пришлось бежать, народ, прославляющий Цезаря, которого только что проклинал, с факелами бросился к их домам.

Занимаясь иллюкутивными силами текста, интересно понять, что же мог сказать консул Марк Антоний? Что перевернуло ориентацию многоликой и пере-

менчивой римской толпы? Приводим свидетельство Светония: «Вместо похвальной речи консул Антоний объявил через глашатая постановление сената, в котором Цезарю воздавались все человеческие и божеские почести, затем клятву, которой сенаторы клялись все блюсти жизнь одного, и к этому прибавил несколько слов от себя» (Светоний 1966; 33). Таким образом, в этом изложении речь Антония ориентирована на второй из указанных выше факторов: установка взята на прямое хвалебное обращение, на денотативную сторону. А вот описание той же речи у Плутарха: «Антоний, в согласии с обычаем, сказал похвальную речь умершему. Видя, что народ до крайности взволнован и увлечен его словами, он к похвалам примешал горестные возгласы, выражал негодование происшедшим, а под конец, потрясая одеждой Цезаря, залитою кровью и изодранной мечами, назвал тех, это это сделал, душегубами и подлыми убийцами» (Плутарх 1964; 235). И здесь также включен фактор прямых номинаций: к похвале покойному присоединяются негодование и прямое оскорбление убийца-заговорщиков.

Чем же отличается речь Марка Антония в пьесе «Юлий Цезарь» Шекспира? В пьесе есть увлекательная для лингвиста деталь. Брут и Кассий боятся красноречивого (как сообщает Плутарх, он прошел специальную школу азиатического красноречия) Антония. Они налагают путы на его будущую речь: Цезаря он хвалить может, но заговорщиков ему критиковать нельзя:

Mark Anthony, here, take you Caesar's body. You shall not in your funeral speech blame us. But speak all good you can devise of Caesar. And say you do 't by our permission (Shakespeare; Ист.).

Наш дальнейший анализ есть попытка понять «функциональную морфологию» речи шекспировского Антония, разложив ее на несколько линий — с тем чтобы эффект целого был более явным.

3. Речь Марка Антония предваряется речью Брута, где он перечисляет проступки Цезаря перед Римской республикой и говорит о своей любви к Цезарю. Толпа полностью убеждена Брутом. Следующая речь — Марка Антония — кажется уже почти формальным ритуалом, который все же надо соблюсти.

Приводим первую часть этой речи, которая, по существу, и совершила перелом в настроении римлян:

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears;
I come to bury Caesar, not to praise him.
The evil that men do lives after them;
The good is oft interred with their bones;
So let it be with Caesar. The noble Brutus
Hath told you Caesar was ambitious;
If it were so, it was a grievous fault,
And grievously hath Caesar answered it.
Here, under leave of Brutus and the rest —
For Brutus is an honourable man;

So are they all; all honourable men —
 Come I to speak in Caesar's funeral.
 He was my friend, faithful and just to me;
 But Brutus says he was ambitious;
 And Brutus is an honourable man.
 He hath brought many captives home to Rome;
 Whose ransoms did the general coffers fill.
 Did this in Caesar seem ambitious?
 When that the poor have cried, Caesar hath wept:
 Ambition should be made of sterner stuff;
 Yet Brutus says he was ambitious;
 And Brutus is an honourable man.
 You all did see that on the Lupercal,
 I thrice presented him a kingly crown,
 Which he did thrice refused, was this ambition?
 Yet Brutus says he was ambitious;
 And, sure, he is honourable man.
 I speak not to disprove what Brutus spoke
 But here I am to speak what I do know.
 You all did love him once, not without cause:
 What cause withholds you then, to mourn for him?
 O judgement! Thou art fled to brutish beasts,
 And men have lost their reason. Bear with me;
 My heart is in the coffin there with Caesar,
 And I must pause till it come back to me.

(Shakespeare; Ист. 1949)

По нашему мнению, эта речь построена таким образом, что в ней композиционно продуманно переплетаются три базовых понятия: Оценка — Речь — Факт. Эти компоненты взаимосвязаны: например, существуют две оценки Цезаря в речи Антония — по Фактам (в речи самого Антония) и по Речи (это Оценка Брута, причем его Оценка дается Антонием через Речь Брута). Речь самого Марка Антония есть конфронтация этих двух Оценок.

Кроме того, в речи Марка Антония есть и Ключи: фрагменты, взывающие к понимающему и готовому воспринимать слушателю.

Предлагаемый ниже анализ строится по следующей программе:

I. Сообщение ключевых фрагментов.

II. Линия самооценок Марком Антонием своей собственной речи и ее цели.

III. Характеризация Брута и других заговорщиков.

IV. Характеристика Юлия Цезаря:

а) обсуждение его основной Оценки, данной Брутом в качестве непреложной и аксиоматичной;

б) характеризация Юлия Цезаря по Фактам его деятельности.

V. Описание отношения Марка Антония и Цезаря.

VI. Описание отношений толпы и Цезаря с одновременным формированием мнения толпы о Цезаре.

I. Ключевые фрагменты

Как представляется, в Речи Марка Антония ключевых фрагментов два:

1) Намек на то, что Цезарь творил добро:

The good is oft interred with their bones;

So let it be with Caesar.

«Переживает нас то зло, что мы свершили, а добро

Нередко погребают с пеплом нашим.

Пусть будет так и с Цезарем» (перевод М. П. Столярова).

2) Изначальное сомнение в том, был ли Цезарь честолюбцем и заслужил ли столь суровую кару: If it were so, it was a grievous fault, And grievously hath Caesar answered it.

«Что ж! Если так, виной то было тяжкой

И тяжело за нее он поплатился» (перевод М. П. Столярова).

II. Самооценка Марком Антонием цели своего сообщения

Марк Антоний все время сам оценивает свои цели и свою речь, т. е. в его речь все время вплетается метатекстовое начало. Эти цели Марк Антоний определяет по указанной выше нами системе базовых отношений: Факт/Речь. Приводим все его метатекстовые определения в виде цепочки в порядке их появления в речи. Первоначальная цель — Факт (**I come to bury Caesar, not to praise him**) — затем — Речь (**Come I to speak in Caesar's funeral**) — опять — Речь (**I speak**) — снова — Речь (**not to disprove**) — Речь о чужой Речи (**What Brutus spoke**) — Речь (**But here I am to speak**) и — конечное: цель Речи — Факт (**What I knew**).

Таким образом, метатекстовая нить речи Марка Антония есть как бы сообщение о фактичности его собственной речи. Тем самым приобретает перформативное значение. Этим речь Марка Антония отличается от речи Брута, представляющей лишь реестр проступков Цезаря.

III. Характеристика заговорщиков

Плутарх сообщает о жестокой критике Антонием заговорщиков, о посылаемых в их адрес проклятиях. Но вспомним основное ограничение его речи у Шекспира: он не может бранить Брута и Кассия, но «Цезаря хвали ты сколько хочешь». И здесь Марк Антоний выходит из положения виртуозно: прямых номинаций, Оценок, он не привлекает, а использует два приема: с одной стороны, иерархии семантики служебных слов — квазисинонимов, с другой стороны, аллюзии, «игры слов», называния без называния. За Брутом и Цезарем на протяжении речи закрепляются две характеристики: *honourable/ambitious*. Это оппозиция может быть передана как «честоимец» и «честоищец». Почетный постоянный эпитет, относящийся к Бруту, — *honourable*, Марк Антоний все вре-

мя повторяет, но он сопровождается «мелкими словами» — союзами, все более снижающими этот образ (Карлсон 1986). Это цепочка — For — But — And — Yet — Yet + sure.

См. For Brutus is honourable man; so are they all, all honourable men /But.../ — And Brutus is an honourable man — /Yet.../ — And, sure, he is an honourable man.

Таким образом достоинства Брута постепенно как бы ставятся под сомнение, но способ этот — именно лингвотекстологический, а не прямой, номинативный.

Называние без называния дается Марком Антонием эффектно — в конце: O judgement! Thou art fled to **brutish** beasts. Здесь соотносится имя Брута и английское brutish «жестокий, беспощадный». В русских переводах это, по языковым и метрическим причинам, обычно не передается: «О здравый смысл! К зверям ты, верно, скрылся» (перевод П. Козлова); «О разуменье, ты к зверям бежало» (перевод М. П. Столярова).

IV. Характеристика Юлия Цезаря

Эта характеристика многокомпонентна. Она строится на сложном переплетении Фактов, сообщаемых Антонием, и Оценки, данной ему Брутом, которая уже воспринята и признана толпой. Именно в этой части Марк Антоний по сути совершает ораторский подвиг: он переламинает общественное мнение, борется с толпой, уже успевшей воспринять Оценку как данность. (Недаром высказывалось мнение, что героем этой пьесы является именно римская толпа (Шестов 1903; 153).)

Последовательность Фактов, сообщаемых Антонием, явно значима и продуманна. («При перечислении не все частные случаи, призванные подкрепить правило, играют одну и ту же роль... порядок их предъявления значим» (Перельман, Ольбрехт-Тытека 1987; 216).)

Факт 1: Цезарь как друг, верный и преданный. Это сфера личных отношений: He was my friend, faithful and just to me.

Факт 2: Цезарь — победитель-воин, обогативший Рим. Военная сфера: He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill.

Факт 3: Цезарь — человек добрый и чувствительный к страданиям другого. Личная и общественная сфера: When that the poor have cried, Caesar hath wept.

Факт 4: Цезарь — вовсе не «честолюбец»! Это доказывается очевидными свидетельствами: You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown.

Вся эффективность этого подготовленного сообщения, по сути уничтожающего Оценку Брута, в том, что это — последний аккорд.

Указанные Факты перемежаются в речи Марка Антония апелляцией к Оценке Брута через речь Брута (ambitious). Обсуждая то, был ли Цезарь честолюбцем, Марк Антоний также и здесь прибегает к метауровню, анализируя само понятие «честолюбие». Поэтому изложение каждого Факта сопровождается

небольшим резюме, трактующим понятие «честолюбие», его содержание. См. это сопровождение по Фактам:

Факт 1 — But Brutus says he was ambitious;

Факт 2 — Did this in Caesar seem ambitious?

Факт 3 — Ambition should be made of sterner stuff.

Факт 4 — (синтез, соединение факта и комментария) — crown... which he did thrice refuse: was this ambition?

Выше говорилось о двух уровнях в речи при характеристике Цезаря. Однако напоминаем, что через частицы, вводящие рефрен о достойном Бруте, идет, как мы показывали, снижение образа Брута. Таким образом, рассмотренная в целом, схема выглядит следующим образом:

For Brutus — Факт о Цезаре 1; But Brutus — Факт о Цезаре 2 — Did this in Caesar seem ambitious? Yet Brutus — Факт о Цезаре 3 — Ambition should be made of sterner stuff. Yet Brutus... And, sure, — Факт о Цезаре 4 — Was this ambition?

V—VI. Отношение Цезаря к Антонию и толпе

В своей разоблачительной речи Брут разделяет свою личную любовь к Цезарю и его преступления против народа Рима и республики. Антоний строит свою речь таким образом, что его дружба, их отношения с Цезарем становятся чем-то, что он разделяет со всем народом Рима, с толпой. Как и в изложении Факта 4, где представлен некий синтез, синтез представлен и в цепочке местоимений, где отношения с Цезарем постепенно переходят от Я к Вы и Все вы:

He was **my** friend, faithful and just to **me** — I thrice presented him a kingly crown — **My** heart is in the coffin there with Caesar and I must pause till it comes back to **me** — The noble Brutus hath told **you** — **You all** did see — **You all** did love him once, not without cause — What cause withholds **you** then to mourn for him — Bear with me!

4. Известны положения Дж. Серля о том, что существует пять, и только пять, иллокутивных целей:

Ассертивная — рассказ о том, как обстоят дела.

Комиссивная — обязать говорящего нечто сделать.

Директивная — попытаться заставить других нечто сделать.

Декларативная — изменить внешний мир посредством данного произнесения.

Экспрессивная — выразить чувства или установки (Серль, Вандервекен 1986).

Представляется, что выполнить все пять целей столь совершенно и столь кратко и красноречиво удалось, видимо, только шекспировскому Марку Антонию.

§ 4. Текст и грамматические показатели

Русские — Половцы

То, что «Слово о полку Игореве» есть по жанру песнь о битвах, о боевом походе, о столкновении и противопоставлении двух вражеских станов, как будто бы факт наиболее общеизвестный. Поэтому эту оппозицию рассмотрим первой.

С самого начала противопоставляются два принципиально разных вида войска. Русские воины заранее оседлали коней. Их профессиональная подготовка безупречна. Они повиты под трубами, с конца копья вскормлены, дороги им известны, а овраги знакомы, колчаны открыты, сабли остры, натянутые луки готовы к бою. В этой краткой характеристике перечисляются все свойства воина-профессионала. И князь их Игорь выполнил все основные условия в секуляризованной модели Судьбы в европейской модели мира.

Он подготовился эмоционально (*поостри сердца своего мужествомъ*), продумал ментальную и интеллектуальную подготовку (*истягну умъ крѣпостию своею*) и вооружился военно-стратегически (*наплъннися ратнаго духа*). Он **ведет войска, сидя на коне в своем золотом седле князя**.

Каковы же половцы? Неизвестными «неготовыми» дорогами бегут они к Дону. Как перепуганные лебеди, кричат их телеги, где и женщины, и скарб. Серым волком бежит их хан Гзак, а вслед за ним — Кончак. Они идут, подобно туче, а простираются по земле, *аки пардуже гнѣздо*.

Посмотрим, дают ли основания какие-либо чисто «лингвистические» показатели для верификации этого внешне и эмоционально яркого различия двух войск.

И половцы, и русские — это люди, действующие в тексте, описываемые актанты. Они должны быть переданы одушевленными именами существительными. Какие же текстовые актуализаторы, сопровождения, могут быть при одушевленных именах? В основном, это показатели поля определенности/неопределенности. Рассмотрим их употребление в «Слове» применительно к двум смысловым полям: полю половцев и полю русских.

Начнем с показателей неопределенности, обычно характеризующих выход за пределы описываемого в тексте мира (неопределенные местоимения, неопределенные артиклеобразные показатели, имена существительные нарицательные в функции неопределенности).

Неопределенных местоимений в тексте «Слова» нет совсем — его внутренний мир слишком очерчен и конкретизован. Однако неопределенные имена без сопроводителя (типа — *На горизонте показались всадники; Хочу купить ручку и под.*) в тексте «Слова» представлены обильно — вместе с именами предметов это 191 словоформа. Такой тип выражения неопределенности имени относится в равной степени и к русским, и к половцам:

княземъ, русици, куряни, къмети, половци, русичи, красныя дѣвки половецькыя, головы половецкая, вои, сваты, князи, поганья, жены руския, бояре, руские сыны, дѣвицы, князи стари и молодые, христьяне, поганья полки и т. д.

Итак, оба стана уравниены на первичном уровне — уровне нерасчлененной массы. Грамматические показатели здесь совпадают.

Переходим к показателям определенности, которые функционально связаны с индивидуализацией объекта.

Приименные показатели определенности относятся только к русским:

Тѣи бо Олегъ; Тѣи бо два храбрыхъ Святъславлича: Того старого Владимира; Тѣи бо бес щитовъ съ засапожники кликомъ плѣкы побѣждають; Тѣи клюками подпръ ся о кони; Тому въ Полотьскѣ позвониша; Тому въщей Боянь и прѣвое припевку, смысленый, рече.

Также только в поле русских отмечаются рестриктивные определительные придаточные:

Храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ плѣкы касожьскыми; От старого Владимира до нынешнего Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею; Кають князя Игоря, иже погрузи жиръ во днѣ Каялы.

Только к именам, связанным с полем русских, относятся и притяжательные местоимения первого, второго и третьего лица, тоже выполняющие индивидуализирующую функцию:

А мои ти готови; А мои ти куряне свѣдоми къмети; Уже бо бѣды его; В моемъ теремѣ златовръсѣмъ; О моя сыновъчя; Се ли створисте моеи сребреней сѣдинѣ; Брата моего Ярослава: Грозы твоя по землямъ текутъ; Носить вашъ умь на дѣло; Ваши златыи шеломы и сулицы ляцкыи; Дружину твою, княже; Кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ; На моя лады вои; Мое веселие по ковылию развѣя; Възлелѣи, господине, мою ладу ко мнѣ.

К половцам эти определители не относятся.

Неожиданно интересные результаты — вплоть до решения избегаемых нами вопросов аутентичности текста — дает дистрибуция употребления в «Слове» рефлексивного притяжательного местоимения *свой*. В тексте «Слова» оно употребляется — в соответствии с общим лингвистическим законом эволюции понятия неотчуждаемой принадлежности — намного чаще, чем это было в современных русских текстах, например:

До нынешнего Игоря, иже истягну умь крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ; Наплѣннися ратнаго духа наведе своя храбрыя плѣкы на землю Половѣцкую за землю Рускую.

См. примеры и далее:

Вся своя воя; Къ дружинѣ своєю; На свои бръзья комони; Главу свою приложити; Свои бръзьи комони; Своя милья хоти; Повелѣ яти отца своего; Своихъ милыхъ ладѣ; Своими сильными плъкы; Своими железными плъкы; Позвони своими острыми мечи; Славу дѣду своему Всеславу; Понизите стязи свои; Вонзите свои мечи вережени; Претръгоста бо своя бръзая комоня.

При имени половцев такой показатель встречается два раза и оба раза только в прямой речи — в золотом слове князя Святослава Всеволодовича: *И половцы сулицы своя повръгоша, а главы своя подклониша под тыи мечи харалужныи*, — и в разговоре половецких ханов, Гзака и Кончака: *Соколича рострѣляевѣ своими значеными стрѣлами*.

Однако вот неожиданное исключение в дистрибуции местоимения *свой*. Оно не появляется в тех случаях, когда в тексте представлено словосочетание имени с прилагательным *золотой*:

Ступаетъ въ златъ стремя въ градѣ Тьмутораканѣ; Ту Игорьъ князь выседѣ изъ сѣдла злата въ сѣдло кощиево; Вступита, господина, въ злата стремя; Изрони жемчюжну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие.

Почему же в этих случаях притяжательное местоимение не вставлялось? А именно потому, что, согласно тому же закону неотчуждаемой принадлежности, для средневекового русского сознания оно было бы избыточным. Объяснение этому находим у Д. С. Лихачева: «Только княжеские вещи имеют эпитет „золотой” — „стремя”, „шлем”, „стол”» (Лихачев 1950; 279). Таким образом, золотое — это только княжеское и ничье другое, князь не мог пересестъ в чужое золотое седло.

В этом смысле очень существенно посмотреть, как переданы эти словосочетания в издании «Слова» 1800 года:

Тогда князь Игорьъ, вступя въ золотое стремя, поѣхалъ по чистому полю; Он ступалъ въ золотое стремя въ городѣ Тьмуторакани; Тогда Игорьъ князь изъ своего золатаго сѣдла пересѣлъ; Вступите, Государи, въ свои златыя стремени; Испустилъ жемчюжную свою душу чресъ золотое ожерелие.

Неединообразный способ решения показывает, что это столь прозрачное семантически различие типа принадлежности в конце XVIII века было и непонятным, и неактуальным.

Далее. Все, относящееся к половцам, обычно называется *половецким*. И здесь важно наблюдение С. П. Обнорского (Обнорский 1946; 166). Анализируя смысловое различие препозиции прилагательного к имени, предшествования его, и постпозиции прилагательного, С. П. Обнорский считает постпозицию показателем большей эмоциональности. Слова *половецкий* и *русский*, по его данным, различаются: из 25 случаев употребления слова *русский* постпозитивно

только 9, а из 18 случаев употребления слова *половецкий* постпозитивно 17, то есть это слово более эмоционально, оно обозначает чужого, врага.

Не менее важными оказались и такие лингвистические структуры, как обращения, апеллятивы. Обращаясь к людям, мы характеризуем их, передаем свое отношение. В поле русских система и набор обращений необыкновенно разнообразны и синтаксически развернуты:

Братие и дружино; О Бояне, соловию стараго времени! Одинъ братъ, одинъ свѣтъ, свѣтлый ты, Игорю, оба есѣ Святъславличя; О Руская земль! Ярѣ туре Всеволодѣ; княже; О моя сыновья, Игорю и Всеволоде; Великий княже Всеволоде! Ты, буй Рюриче и Давыде! Господина! Галичкы Осмомыслѣ Ярославѣ! А ты, буй Романе и Мстиславе! Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! Ярославли и вси внуце Всеслави!

По сути дела, обращения — это как бы маленькие характеристики адресата.

В семантическом поле половцев подобных обращений нет:

Мльвитъ Гзакъ Кончакови: Аже соколь къ гнѣзду летитъ,— соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрелами.

Рече Кончакъ ко Гзѣ: Аже соколь къ гнѣзду летитъ, а въ сокола опутаевѣ красною дивцею.

И рече Гзакъ къ Кончакови: Аже его опутаевѣ красною девицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнутъ наю птици бити въ полѣ Половецкомъ.

Анализ чисто лингвистических показателей, приименных характеристик, подводит уже к выводу чисто семантическому: русские индивидуализированы, они — личности. Половцы же — нерасчлененная враждебная стихия, толпа, почти лишенная индивидуальных человеческих характеристик. Сходную мысль находим и у Н. С. Демковой (Демкова 1979; 66): «Половцы описываются в той же самой ситуации „готовности к бою” как очевидные представители „не-культуры”» — *Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша*. Еще и еще раз важно подчеркнуть, что речь идет о тексте памятника и о противопоставлении двух враждебных станов только в этом тексте. Эти выводы неправомерно экстраполировать и на другие тексты, и на реальные исторические ситуации. Приведем простой пример — уже упомянутую в «Слове» битву князя Мстислава с Редедей Касожским, где вожди обоих враждебных станов четко конкретизированы: «Сказал Редедя Мстиславу: „Чего ради будем мы губить наши дружины? Сойдемся и поборемся сами, и если ты одолеешь, то возьмешь имущество мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою; если я одолею, то я возьму твое все”. И сказал Мстислав: „Да будет так”» (перевод Д. С. Лихачева).

И в устной народной эпической поэзии русские богатыри своих конкретных противников знают — Соловья-разбойника, Тугарина Змеевича, Калина-царя,

вполне и характеризуемых вербально. «Решать бой, выдвигая силачей, было в обычаях степи; Русская земля должна была противопоставить степным „богатырям” своих собственных героев» (Барсов 1887; 398).

«Слово о полку Игореве» принято сравнивать с «Песнью о Роланде». Как будто бы параллелей достаточно много: похожа военная ситуация, трагичен исход, сходны протагонисты: Роланд — племянник императора Карла, Святослав Киевский называет Игоря и Всеволода — *сыновья*, то есть «племянники», хотя на самом деле он был им двоюродным братом. Обе битвы далеко от родных мест, оба героя сражаются с «восточным» врагом.

Однако у этих текстов есть различие, которое мы считаем существенным и даже определяющим неочевидную поначалу смысловую задачу: «Слово о полку Игореве» повествует о борьбе личности с не-личностью в самом широком смысле этого концепта (подробнее — далее). В тексте «Песни о Роланде» лагеря франков и сарацинов абсолютно симметричны:

Однажды в зной Марсилиий Сарагосский
Пошел искать прохлады в сад плодовой
И там прилег на мраморное ложе.
Вкруг мавры — тысяч двадцать их и больше.
Он герцогам своим и графам говорит...
...Сидит в саду плодовом наш король.
При нем Роланд, и Оливье-барон,
Спесивец Ансеис, и дук Самсон,
И Жоффруа, Анжу его феод...
Всего пятнадцать тысяч храбрецов...
(перевод Ю. Б. Корнеева)¹

В каждом лагере есть свой идеальный «барон». У франков — герцог Нейм²:

И тут встал Нейм, лучшего вассала не сыскать ни при каком дворе, и он сказал королю...

У сарацинов — Бланкандрин:

Бланкандрин был подлинным шевалье, он был помощью своему сеньору, и он сказал королю.

Также симметричен и тип принятых при дворе обращений:

Сеньоры бароны, идите к Шарлеманю,

— говорит сарацинский царь Марсилиий;

¹ См. издание: Библиотека всемирной литературы. Серия первая. М., 1976, с. 27.

² Здесь и далее наш перевод с французского соответствующих фрагментов «Песни о Роланде» (издание: *Das altfranzösische Rolandlied*. Halle: Max Niemeyer Verlag, 1948).

Сеньоры бароны,

— сказал император Карл.

Итак, выше рассматривались приименные характеристики в тексте «Слова». Обратимся теперь к предикатам, к глаголам, в основном являющимся двигателями внутреннего сюжета, показателям действия. Поэтому функциональная семантика глаголов необходимым образом предоставляет эффект сюжетной кульминации, перелома сюжета. По нашему мнению, кульминационной осью, поворотной точкой, является мольба Ярославны, ее обращение к трем божествам-стихиям³. И о жанре этого плача, и о об имени *Ярославна* (впервые упоминает его как имя жены Игоря Екатерина II) существует уже большая литература, см. ее перечень в статье «Ярославна» (Энциклопедия, 5; 295—297). Привычное для нас сейчас слово «плач» на самом деле означает некую семантическую подмену: первое слово *кычеть* означает и просто «горюет» (Прийма 1985; 4), собственно же «плач» имело много значений (Тищенко 1985), некоторые из которых еще будут рассматриваться далее. Подлинное значение поступка Ярославны было понято еще М. Максимовичем в 1836 г.: «Но какая глубокая мысль Певца — сие избавление Игоря представить ответом на плач Ярославны, вымолить его силою любви и простосердечной веры в Природу» (Максимович 1836а; 461).

«Плач Ярославны не лирическая причетъ: это есть не что иное, как эпическая молитва, обращенная к стихийным силам о покровительстве Игорю и его дружине... Он есть не что иное, как заклинательная мольба к богам о спасении любимого и дорогого существа. Автор не просто рассказывает здесь как летописец о бегстве Игоря, но самую удачу этого бегства изображает следствием этой борьбы» (Барсов 1887; 162).

Рассмотрим теперь действия антагонистов, русских и половцев, сосредоточившись на трех сферах глагольных предикатов. Это — движение, речь и чувства.

Предикаты движения:

Поле русских

Наведе свои храбрыя пълкы; А всядемъ, братие, на свои бръзья комони; Скачють, акы сѣрыи вълци въ полѣ; Въступи Игорь князь въ златъ стре-

³ В данном случае не так важно, какого возраста была Ярославна — юной или почти ровесницей Игоря, то есть первой его женой или второй: так, в одном из первых примечаний к «Слову» написано о том, что в 1184 г. Игорь женился на княжне Ефросинье, дочери Ярослава Галицкого. Первый же его сын, Владимир, родился в 1170 г. Между тем неизвестны источники этого примечания (подробно см. об этом: Воинов 1986). На самом деле юный возраст «мачехи» может объяснять и то, что в своей «мольбе» она ничего не говорит о сыне — обстоятельство, которым часто пользовались, утверждая неаутентичность «Слова», хотя точно таким же по психологичности аргументом может служить и обратное.

мень и поѣха по чистому полю; Игорь къ Дону вои ведетъ; Камо, турь, поскопяше, своимъ златымъ шоломомъ посвѣчивая; Игорь плѣкы заворочаетъ; Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата; Вступита, господина, въ злата стремень; Олговичи, храбрыя князи, достѣли на брань.

Поле половцев

А половци неготовами дорогами побѣгоша; Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ вѣлкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому; Половци идутъ отъ Дона и отъ моря; А погании со всѣхъ странъ прихождаду съ побѣдами; А погании сами, победами нарицуце на Рускую землю; По Руской земли про-строшася половци, акы пардуже гнѣздо.

Итак, русские движутся организованным войском, а их предводители едут на конях. Это средневековые воины-профессионалы. Половцы бегут, простираются, рыщут. Сравним две фразы: *Игорь къ Дону вои ведетъ* — *Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ вѣлкомъ*. Снова противопоставляется индивидуально-человеческое и стихийное.

Предикаты-глаголы речи:

Поле русских

И рече Игорь къ дружинѣ своей: Хошу бо, рече, копие приломити; И рече ему буй турь Всеволодъ; Рекоста бо братъ брату; Жены руския въсплакавшись, аркучи; Одѣвахуть мя, рече; И ркоша бояре князю; Изрони злато слово; На Дунаи Ярославныѣ гласъ ся слышитъ.

Поле половцев

Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша.

Итак, половцы издают только клики, а русские преграждают поле алыми щитами. Но вообще с половцами в «Слове» связывается очень много звуков — но не вербальных, человеческих. Отвлекаясь здесь в другую область филологии, скажем об одной особенности тюркско-монгольской просодии: в этих языках интенсивность звучания к концу слова нарастает, в славянских падает⁴. Этот резкий громкий конец слов воспринимается как чужой странный звук вроде скрипа или стрекота. Именно такой, видимо, казалась половецкая речь русскому уху.

Предикаты-глаголы, обозначающие чувства:

Поле русских

Истягну умъ крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплѣнився ратнаго духа; Спаль князю умъ похоти и жалость ему знамение

⁴ См. об этом подробно в книге «Просодия Балкан» (Николаева 1996), в разделе «Просодия тюркских языков».

заступи; Хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону; Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота... и своя милья хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая; Игорь плѣкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода; Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати; А мы уже, дружина, жадни веселия.

Половцы подобных предикатов не знают.

Существенным и значимым оказывается еще один синтаксический способ развернутой характеристики. Это характеристика через с р а в н е н и е . Что ближе к волку — бежать волком или бежать как волк? Очевидно, первое. Итак, русские —

скачуть, акы сѣрые влѣци въ полѣ; Не ваю ли храбрая дружина рыкають, акы тури; Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся.

Половцы —

Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ вълкомъ; Кончакъ ему слѣдъ править,

однако есть исключение —

По Рускои земли прдстрошася половци, акы пардуже гнѣздо.

Получается, что русские — личности, воины-профессионалы, своей воинской подготовкой они надеются защитить себя от врага и стихий. «В центре его (автора. — Т. Н.) внимания люди, которые, как в устном героическом эпосе, своими силами будут бороться с врагом» (Адрианова-Перетц 1950; 300).

Антитезой-скрепой «плачу» Ярославны является другой призыв о помощи: князя Святослава Всеволодовича к русским князьям. Обращается он по той же схеме: Называние — Перечисление могущества — Просьба:

Галичкы Осмомыслѣ Ярославе!
 Высоко сѣднши на своемъ златокованнѣмъ столѣ,
 Подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плѣкы,
 заступивъ королеви путь,
 затворивъ Дунаю ворота,
 меча бремены чрезъ облакы,
 суды рядя до Дуная.
 Грозы твоя по землямъ текутъ,
 отворяеши Киеву врата,
 стрѣляеши съ отня злата стола салтъани за землями.
 Стрѣляй, господине, Кончака,
 поганого кощя,
 за землю Рускую,
 за раны Игоревы
 буюго Святъславлича.

Итак, слова Святослава, обращенные к людям, остались без ответа. Мольба Ярославны — ось симметрии, она поворачивает сюжет. «После того как Певец с напрасной надеждой взывал к князьям и думою уносился в минувшее, он обратился к Природе голосом женской любви» (Максимович 1836а; 460).

Это переворачивание сюжета отражается не в последнюю очередь на лингвотекстологических показателях, рассмотренных выше. Поиск антитез-повторов здесь можно осуществлять безошибочно.

Рассмотрим те же предикаты *после* обращения Ярославны.

Предикаты движения:

Поле русских

А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду; Вьврѣжесе на брѣз комонь и скочи съ него бусымъ влькомъ; И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подѣ мъглами; Коли Игорь соколомъ полетѣ Игорь ѣдетъ по Боричеву.

Поле половцев

На слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ.

Предикаты речи:

Поле русских

Игорь рече.

Поле половцев

Овлурѣ свисну за рѣкою; Млѣвитъ Гзакъ Кончакови; Рече Кончакъ ко Гзѣ; И рече Гзакъ къ Кончакови.

Предикаты, обозначающие чувства, отсутствуют. Снова обратимся к типу сравнений, то есть способу сопоставления объекта с окружающим миром (бежит как волк, или волком):

Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду: скочи съ него бусымъ влькомъ; полетѣ соколомъ подѣ мъглами; Коли Игорь соколомъ полетѣ...

Итак, характеристика переворачивается, как в зеркале: половцы обрели довольно рассудительную речь. Теперь уже едут на конях они, а русские бегут, летят и под. Переворачивается и тип сравнения.

§ 5. Число и текст

Числовые модели порока и добродетели

(Семантика «оцифрованного времени» в «Манон Леско»)

В. Н. Топоров опубликовал немало работ, посвященных и роли чисел в культурных моделях, и семантике этих чисел в реальных текстах¹. В этих его работах есть и объясняющая часть, есть и подмеченные им «загадки». Можно сказать по его работам, что древние модели обычно «прячутся» в пределах первого десятка, разлагаясь как 2+1, 2+2+2+1, 3+2 и т. д. Совсем иная семантика у «случайных» цифровых доминант — например, у возраста 26 лет у героев классической европейской литературы.

Век Просвещения естественно пронизан цифрами, числовая точность сближает французский роман с современной литературой факта.

Но — как ни удивительно — числовые выкладки просто переполняют повесть самую мелодраматическую, самую притчеобразную, самую страстную — «Манон Леско» аббата Прево.

Над «Манон» рыдало не одно поколение, сентиментальные повести, как правило, коррелируют с некоторой туманностью, неясностью происходящих событий. Между тем в тексте «Манон Леско» практически нельзя встретить временных указаний типа *вскоре, незадолго перед тем, давно уже, совсем недавно, недолго* и т. д. Все указания точны — страстная любовь в доме откупщика длится *три недели*, снова в Сен-Дени герои попадают через *полтора месяца*, заключение длится *полгода*, плавание в Америку длится *два месяца*, в Америке они спокойно прожили *девять месяцев*, герой попадает в тюрьму в Америке на *три месяца*.

Рассказчик, встретивший Де Грие перед Америкой, зачем-то сообщает читателю, что это было за *полгода* до его (рассказчика) поездки в Испанию. Даже слуги в гостинице в Сен-Дени точно помнят, что герой был здесь с Манон *полтора месяца* тому назад. С самого начала — карета заказывается на *пять часов* утра, любовь изошряет ум героя за *два-три часа*, Тиберж прибывает в Сен-Дени спустя *полчаса* после героев: Манон навещает героя в семинарии в *шесть часов* вечера. Вечер у брата Манон длится до *полуночи*, и только в *четыре* герой ложится в постель. Так же фиксируется время ухода и прихода героев, их знакомых, лакеев, привратников.

Сами герои внимательно следят за показателями времени. Так, отец кавалера Де Грие сообщает ему, что Манон, по его, отца, вычислениям, любила Де Грие ровно *12 дней*²:

¹ См., в частности: Торогов 1980б; 1981б; 1983б; 1987а.

² Русский и французский текст см.: Источники.

Il continua de me dire que, suivant le calcul qu'il pouvait faire du temps depuis mon départ d'Amiens, Manon m'avait aimé environ douze jours: car, ajouta-t-il, je sais que tu partis d'Amiens le 28 de l'autre mois; nous sommes au 29 du présent; il y en a onze que Monsieur B... m'a écrit; je suppose qu'il lui en ait fallu huit pour lier une parfaite connaissance avec ta maîtresse, ainsi, qui ôte onze et huit de trente-un jours qu'il y a depuis le 28 d'un mois jusqu'au 29 de l'autre, reste douze... (с. 34).

Сам герой, упрекая ветреную Манон, признается, что он все время вел точный счет случаям ее непостоянства:

Ce sont là des coups qu'on ne porte point à un amant, quand on n'a pas résolu sa mort. Voici la troisième fois, Manon, je les ai bien comptées (с. 141).

Герой точно рассчитывает, что двадцати тысяч экю им хватит на десять лет.

Современная теория речеобразования (литературный язык) пришла к выводу, путем большого числа экспериментов, что временная программа человеческой речи охватывает две единицы: короткую и протяженную, а паузы между ними распределяются следующим образом: перед короткой синтагмой идет долгая пауза, а после нее — краткая. Примерно таким же образом Де Грие описывает ритм своей жизни: *Mais j'étais né pour les courtes joies et les longues douleurs* (с. 75) и далее — *J'ai remarqué, dans toute ma vie, que le Ciel a toujours choisi, pour me frapper de ses plus rudes châtiments, le temps où ma fortune me semblait le mieux établie* (с. 124). Краткие периоды (обычно — сутки) переворачивают всю его как будто наладившуюся жизнь.

Итак, весь текст «Манон Леско» легко разбивается на эпизоды, имеющие определенную структуру. В начале сообщается о прибытии в некое место (или отбытии из него). Например, *Мы так гнали лошадей, что прибыли в Сен-Дени еще до ночи; Мы быстро доехали до Шайо и остановились на первую ночь в гостинице* и т. д.

Например, вначале рассказчик беседует с Де Грие очень недолго, потом он встречает его спустя почти два года. Де Грие рассказывает половину своей истории за час.

Семнадцатилетний герой, прожив безупречную юность, прибывает в Амьен, где два-три часа делают его другим человеком и он меняет свою жизнь за сутки³. После чего полтора месяца он наслаждается любовью в Сен-Дени и Париже. Сутки меняют его жизнь снова — он возвращается домой, где проводит (практически в заточении) полгода. Затем — около полутора лет в Сен-Сюльпис и Париже. Новая встреча с Манон меняет его жизнь за сутки. Затем — около полугода жизнь Шайо/Париж. Несколько периодов по суткам меняют их жизнь, и они оказываются в тюрьме. Месяцы в тюрьме. За сутки герой покидает Сен-Лазар, еще за сутки выкрадывает Манон из Приюта.

³ В данном случае и далее слово «сутки» не синонимично «дню»: во всех ситуациях Прево описывает подробно именно сутки, то есть события вечера + ночь + утро + день.

Рассказ обо всем этом длится час. Он охватывает, по нашему подсчету, 15 эпизодов.

Вторая часть структурирована менее четко — периоды от Шайо до вторичного заключения длятся по нескольку дней. Затем снова ритм: путь в Америку длится два месяца. Девять-десять месяцев они живут в Новом Орлеане. Внезапная дуэль с племянником губернатора Синнеле и бегство после его мнимой смерти — сутки. Два дня — преследование героев. Затем — три месяца темницы, три с половиной месяца в Новом Орлеане. Потом — встреча Де Грие с первым рассказчиком в Кале, уже описанная в начале. Вторая часть также состоит из 15 сюжетных единиц.

В каждом эпизоде можно обнаружить одну ключевую фразу, как бы резюмирующую отношения героев; как правило, это мнение об отношении Манон (но об этом ниже). Эти фразы составляют нечто вроде реферативного текста сюжета, который, скорее, можно теперь, в свете теории возможных миров, регенерировать самым разнообразным образом, иначе перестраивая сюжет, например: 1) герой привозит Манон домой к себе и добивается согласия семьи на брак; 2) герой не просит непрерывно вспомоществования — отца, Тибержа, де Т... — и сам зарабатывает на жизнь себе и любимой; 3) герой пересматривает самооценку («мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку») и считает себя более безнравственным, чем Манон; 4) Манон добивается расположения родных Де Грие и становится добропорядочной дамой и т. д. Роман Прево замечателен тем, что у него нет логически неизбежной эволюции сюжета, и — тем самым — на каждом переломе обстоятельств они могут измениться в любую сторону. В этом его безусловная занимательность, но в этом, по нашему мнению, и состоит его глубинная моралистическая дидактичность и одновременно жизненная правдивость. Роман — как бы раскрытая книга, где есть две страницы — направо и налево, его чтение напоминает непрерывно раздваивающуюся дорогу, где неверно выбранный путь приведет к повтору, к возврату, и — к следующему раздвоению. На этой-то роли числа два в романе мы и хотим остановиться подробнее.

Прежде всего — в романе две части. В ней как бы два рассказчика — первый, условно, — сам автор, Прево, создатель «Записок знатного человека», в которые и входит в виде фрагмента «История кавалера Де Грие и Манон Леско», и сам Де Грие.

Первый рассказчик встречается Де Грие дважды, с интервалом два года. Герой дважды оказывается в Сен-Дени; герои дважды начинают жизнь в Шайо.

Манон дважды предает героя, переходя к богатому любовнику.

Дважды Манон попадает в Приют. Герои дважды решают обвенчаться, но это у них не получается (правда, первый — по легкомыслию, второй — как наказание за это). Попытки эти симметрично близки, соответственно, к началу и к концу повествования. Герой дважды пытается начать духовную карьеру.

Два члена семьи Г. М... пытаются сделать Манон своей содержанкой.

Героя дважды выручает из тюрьмы отец. Два раза он просит денег в садах Парижа и получает их.

Число два настойчиво мелькает и на переходах от эпизода к эпизоду, и внутри эпизодического времени. В Сен-Лазаре герой говорит о двух месяцах пребывания и потом — еще о двух днях. Путь в Америку занимает два месяца. Два дня заняло бегство героя с Манон. «Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль». В Новый Орлеан к герою прибывает его друг Тиберж — «Вместе мы провели с ним два месяца в Новом Орлеане в ожидании кораблей из Франции и, пустившись, наконец, в море, высадились в Гавре две недели назад». Подобного рода примеры очень легко увеличить.

Разумеется, столь частое повторение числа 2 можно считать случайностью или объяснить — ординарностью протекания житейского времени.

Однако можно вновь вернуться к работам В. Н. Топорова о функциональной символике пространства (Топоров 1980).

В. Н. Топоров подчеркивает роль числа семь в «Преступлении и наказании» Достоевского. Этот роман как бы настойчиво «семеричен». Именно числа 7 почти совсем нет в «Манон Леско». Итак, у каждого значительного произведения есть своя числовая доминанта. И у Прево это — двойка.

Что же значит это число?

Во всех древних культурах легко найти ответ на этот вопрос, и ответ этот полностью соответствует смыслу романа: *это роман о страсти мужчины и женщины и о Добре и Зле*.

См. у В. Н. Топорова о дуализме «инь-ян» в китайской традиции: «Различиями между членами этой пары объясняли существование противопоставлений: между женским и мужским, слабым и сильным, темным и светлым, ночным и дневным, связанным с луной и связанным с солнцем, отрицательным и положительным. Учением о „инь-ян“ задавался код структуры вселенной...» (там же; 11).

Стараясь не отходить от сюжета романа, обратим внимание еще на одну фразу из этой же работы В. Н. Топорова, где говорится о том, что в ряде архаичных традиций нечетные числа связываются с мужским началом (динамичность, активность), а четные с женским (устойчивость, инертность) (там же; 25).

Поэтому настойчиво мелькающая двойка и объясняет характер героя и говорит о том, что роман аббата Прево — не о двух героях, а о Женщине, поэтому он обычно в обиходном употреблении и называется «Манон Леско».

§ 6. Лексико-грамматические скрепы

Функционально-смысловая структура антитез и повторов в «Слове о полку Игореве»

1. «В повторяемости один из секретов завораживающей силы „Слова о полку Игореве”. Сложные сплетения и переплетения различных повторений составляют различные ритмы „Слова”. Ритмичность „Слова” не может быть вскрыта на одном каком-то уровне. Она идет в самых неуловимых и трудно осознаваемых сферах — от чисто звуковых до чисто смысловых, от коротких повторов внутри одного предложения до повторов, разделенных большими расстояниями» (Лихачев 1983; 21). Богатство и разнообразие повторов в «Слове о полку Игореве» отмечено практически всеми исследователями его поэтики и, по общему мнению, является специфической характерологической чертой именно этого памятника. Детальный анализ типов повторов проводится в работах И. П. Еремина, Н. С. Демковой, Д. С. Лихачева, Сл. Вольмана, Р. О. Якобсона и др. Обращает на себя внимание широкая структурная вариативность типов повторов: могут повторяться целые предложения, фрагменты предложений, отдельные словосочетания и отдельные лексемы. Повторяются синтаксические конструкции, цепочки контактных словоформ, вводящие частицы-зачины. Повторяются звуковые сочетания и отдельные звуки. При этом связываются как элементы контактные, близкие, так и дистантные.

Насыщенность повторами текста столь очевидна, что правомерно поставить вопрос об их функциональной нагрузке. Основную задачу повторов Сл. Вольман видит в реализации ритмического членения «Слова», его разбиении на строки (Wollman 1958; 10). Это объяснение, во многих случаях приемлемое, не распространяется на далеко расположенные повторы-рефрены, не имеет оно и содержательной интерпретации. Детальный анализ повторов, проведенный Н. С. Демковой, показывает связи рефренов со смысловой расчлененностью текста и с идейной нагрузкой каждого выделяемого фрагмента: «Можно говорить о наличии сложной и единой системы повторов, которая обнаруживается во всех без исключения фрагментах (таким образом, внутритекстовые связи в „Слове” очень сильны)» (Демкова 1979; 59). Так, повторы «О Русская земля! Уже за шеломянемь еси» образуют дважды указание на грядущую беду, они вводятся автором накануне битвы. Три призыва «За землю Рускую... за раны Игоря» звучат как «настойчивое заклинание», напоминающее о связи Игоря и Русской земли. Рефрены несколько видоизменяются, и, как показывает Н. С. Демкова, изменяется и описываемая ситуация. В одном из последних исследований Д. С. Лихачева о поэтике «Слова» указывается на полифункциональность повторов в «Слове»: они создают эффект художественного узнавания, своего рода ритмы и рифмы, характерные для средневековой прозы, они как бы замедляют действие — там, где автор хочет это подчеркнуть, они име-

ют свою собственную семантику: так, конструкции с *уже* часто показывают печальные и предвиденные события. Существенно также, что «каждый предлагающий новое прочтение или новое толкование „Слова о полку Игореве” исходит сознательно или бессознательно из презумпции его художественной логичности» (Лихачев 1983; 9). Поэтому, как представляется, может быть предложен еще один опыт изучения художественной системы «Слова», в то же время включающий все предшествующие наблюдения.

Текст «Слова» объединяют и скрепляют не только повторы, но и противопоставления, антитезы. Так, Всеволод говорит, что его кони *готовы, осѣдлани у Курьска напереди. А мои куряне свѣдоми кѣмети... пути имъ вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени*. А враги их, половцы, *неготовыми дорогами побѣгоша къ Дону великому*. Неготовые дороги антонимичны сразу двум синонимам — *вѣдоми* и *знаеми*. Тем самым создается цепь: пути — дороги, ведомы — знаемы. Антонимичные прилагательные при путях и дорогах включаются по звуковой ассоциации в ряд *комони готови* и *кѣмети свѣдоми*. Нестройный бег половцев (*побѣгоша*) контрастирует с безупречным выездом войска Игоря: *поѣха по чистому полю... Игорь къ Дону вои ведетъ*. Возникает проходящая и далее через текст значимая идейно антитеза: *ехать* — *бежать*. Обратимся к двум последним характеристикам воинов-курян в приведенном ряду: *луци у нихъ напряжени, тули отворени*. Из мольбы Ярославны мы узнаем, что беспощадное солнце *въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче*. В свою очередь, лексема *жаждею*, несомненно, есть смысловая контрастная переключка с претенциозным желанием *испити шеломомъ Дону*. Солнце расслабляет луки и открывает колчаны *имъ*, т. е. Игорю и его войску. Активная направленность солнца подчеркивается в начале текста той же формой дательного падежа: *Солнце ему тьмою путь заступаше* (ср.: «Затмение предоставляется делом самого солнца, а не враждебной ему силы»¹. «Солнце представляется действующим произвольно» (Робинсон 1978; 41)). Активную *персональную* направленность солнца понимает и Ярославна: *Свѣтлое и пресвѣтлое слънце! В сѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои? Солнце и ветер Ярославна упрекает: Чему, господине... — и только одну обожествленную стихию — реку — она просит: Възлелѣй, господине, мою ладу ко мнѣ*. И именно река (Донец) отвечает ей. Лексемный повтор связывает обращение к водной стихии Игоря и Ярославны: *О Донче, не мало ти величия, лелѣя в шу князя на вльнахъ...*

Даже по одному этому пути повторов и антитез, прослеженному выше, видно, как глубоко пронизывает текст памятника разветвленная система антитез и повторов, называемых нами в целом системой антитез-скреп.

Современный анализ текста во многом базируется на задаче выявления неочевидных — в отличие от идейного содержания — смысловых противопостав-

¹ Слово о полку Игореве / Текст и примеч. А. Потебни, 1878; 17.

лений, ценностных ориентаций и установок автора. Метод лингвистики текста состоит в содержательной интерпретации распределения лингвистических показателей по противопоставленным смысловым полям (например, поле русских — поле половцев), причем выбор этих языковых показателей должен быть свободным, т. е. не определяться ни грамматическими, ни стилистическими требованиями. Таким образом, в задачу анализа художественного произведения методами лингвистики текста входит установка на дешифровку, на выявление неочевидных смысловых характеристик.

В целом поэтика «Слова» характеризуется двумя свойствами, отмеченными Д. С. Лихачевым для средневековой русской литературы в целом. Это стремление к дуальному противопоставлению, к абстрагированности, с одной стороны, и стремление и умение создавать «сверхсмыслы» из наложений и перекличек фонических, грамматических и лексических (Лихачев 1979; 118). Дуальные противопоставления в «Слове» уже подвергались изучению, шестичленная система подобных противопоставлений излагалась в других наших публикациях; в настоящей же статье основное внимание будет обращено на формальные аспекты создания «сверхсмыслов» в «Слове» через систему антитез-скреп.

Практически всеми современными исследователями теории текста подчеркиваются два его основных свойства: его цельность и его связность. Цельность и связность могут обеспечиваться одними и теми же единицами текста, но эти задачи функционально различны. В каждом художественном произведении эти две функциональные задачи различать необходимо. В «Слове о полку Игореве», как будет видно далее, обе текстовые задачи разрешаются по-разному. Цельность текста реализуется созданием смысловых комбинаций и смысловых ассоциаций, связность достигается повторами иного рода и способствует закреплению рассказанного.

2. Разобраться в системе *смысловых ассоциаций* в «Слове» и возникающих при этом «сверхсмыслах» оказывается возможным при разграничении основного сюжета: повествования о походе Игоря Святославича — и комментария к основному сюжету: сообщений о событиях прошлого, отступлений литературно-полемиического или эмоционального характера².

Анализ распределения антитез и повторов в этих двух повествовательных пластах показывает довольно строго дистрибутивную закономерность: антитезы относятся к основному сюжету, повторы объединяют основной сюжет и комментарий к нему, а также разнородные части неосновного сюжета. Таким образом, различное объединяется и единое противопоставляется.

Сказанное необходимо подкрепить материалом текста памятника.

Контрастивные переклички, антитезы-скрепы отличают основной сюжет «Слова», его повествовательную структуру. Однако выявленный набор этих

² О безусловной необходимости разграничения основного рассказа и видов комментария к нему см.: Браун 1963.

инкрустированных антитез-переключек останется простым неинтерпретированным перечнем стилистико-поэтических находок, если не обратиться к смысловой схеме противопоставлений основного сюжета, только через соотнесение с которой может определиться функциональная нагрузка антитез-скреп.

На симметричность, зеркальность архитектоники основного сюжета «Слова» внимание обращалось неоднократно. Однако всякая симметрия имеет ось, стержень отсчета. Это же относится и к содержательной стороне текста. По нашему мнению, как уже говорилось в § 4, таким центральным поворотным пунктом основного сюжета «Слова» является мольба Ярославны — обращение к трем обожествленным стихиям: Солнцу, Ветру и Воде. Эта мольба как бы переворачивает ситуацию, меняя плюсы на минусы.

Всего в предшествующих работах нами было выделено шесть дуальных противопоставлений: 1) русские — половцы, 2) человек — окружающая его природа; 3) свет — тьма; 4) веселие — туга; 5) настоящее — прошлое; 6) автор «Слова» — Боян. Все они охватывают разные аспекты художественных ценностей: первая связана с борьбой двух человеческих станов, вторая — с отношением человека и окружающего его мира, третья — с морально-оценочными категориями, четвертая — с эмоциональным миром, пятая — с противопоставлением эпох, шестая — с противопоставлением творческих стилей. Каждое из этих противопоставлений включается в общую систему повторов и антитез-скреп, но в то же время реализуется именно ему присущим специфическим способом.

Соотношение формальных и смысловых единиц в художественном тексте может быть двояким: от противопоставления к способам его реализации и наоборот. В настоящей работе центром тяжести является анализ особого вида изобразительных средств «Слова», поэтому применяется метод движения от формы к смыслу.

Под *лексическими антитезами* понимаются такие антитезы-скрепы, в которых один из членов связанной грамматически пары элементов сохраняется в тексте или заменяется словосочетанием с той же лексемой, а другой заменяется на антоним.

Так, заменяется предикат при том же смысловом субъекте:

*Солнце ему тьмою путь заступаше — Солнце свѣтитъ на небесѣ;
Щекоть славий успе — Соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ;
Говоръ галичь убуди — Галици помлъкоша* (интересно, что птицы в двух предыдущих примерах представлены через характерный для них звук).

Субъект может заменяться на синоним:

Пути имъ вѣдоми — Неготовами дорогами побѣгоша.

Заменяется объект и субъект при сохранении предиката:

Се бо готския красныя дѣвы вѣспѣша на брезѣ синему морю, звоня рускымъ златамъ — Дѣвици поютъ на Дунаи;

Кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ — Соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ;

Игореву князю богъ путь кажетъ — Дятлове тектомъ путь рѣцѣ кажутъ (ханам).

Меняется ситуация в целом на антонимическую при сохранении основных актантов:

А въстона бо, братие, Киевъ туюю, а Черниговъ напастьми.

Тоска разлилася по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Руской — Страны ради, гради веселы³.

Антитеза может охватывать два и более фрагмента:

*Луци у нихъ напряжени
А любо испити шеломомъ Дону* } — Жаждею имъ луци съпряже;

*Спала князю умъ похоти
Тули отворени* } — Туюю имъ тули затче.

*О Руская земль! Уже за шеломянемъ еси
Дремлешь въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо.
Далече залетѣло* } — Игорь князь в Руской земли;

*Дльго ночь мркнетъ — Погасоша вечеру зори;
Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съ моря стрѣлами на храброя плѣкы
Игоревы — Въшумѣ трава, вежи ся половецкии подвизашася;*

*Луцежъ бы потяту быти, неже полонену быти
Тгда въступи Игорь князь въ златъ стремень* } — Ту Игорь князь, высѣдѣ изъ сѣдла злата, а в сѣдло кощиево;

*И видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты
Солнце ему тьмою путь заступаше
Игорю утрпѣ солнцю свѣтъ* } — Чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои?

На последнем примере хочется несколько остановиться. Если мир Ольговичей, их тема характеризуются тьмой, мглой, они восстали против знаменья и лишились света, то Ефросинья Ярославна, дочь князя Галицкого, видит иную ситуацию: для нее солнце открыто и обнажено, лагерь и воинов мужа она видит

³ Страна имеет значение 'земля', и наоборот. См.: Виноградова 1967, 1978.

залитыми палящим светом. Это, как представляется, дополняет важную теорию А. Н. Робинсона об особых солярных претензиях Ольговичей, об их конфликте с Солнцем (см.: Робинсон 1978; 32). Ярославна же из другого рода.

Наконец, большими противопоставленными ситуациями-антитезами можно считать два обращения, две мольбы: князя Святослава Всеволодовича к князьям и Ярославны — к обожествленным стихиям. Оба они построены по одной и той же общиндоевропейской модели гимнического обращения адоранта: Называние — Перечисление Могущества — Просьба. Князя в «Слове» не слабее Природы. Ветер веет в вышине под облаками, лелеет корабли на синем море. Он мечет хиновские стрелки на своих легких крыльцах на воинов милого лады. А Ярослав Галицкий мечет тяжести через облака, стреляет *съ отня злата стола салтъани за землями*; великий князь Всеволод может *посуху живыми шерешеры стрѣляти*.

Днепр Словутич пробил каменные горы сквозь землю Половецкую, он лелеял на себе Святославовы суда до стана Кобяка. А Ярослав Осмомысл *подперь горы Угорскыи своими желѣзными пѣлки... затворивъ Дунаю ворота... Грозы твоя по землямъ текутъ*; великий князь Всеволод *может Волгу веслы раскропити, а Донъ шелома выльяти*.

Всем тепло и прекрасно Солнце, только беспощадно жжет зноем войско Игоря, а от железных войск Романа и Мстислава *тресну земля*.

Эту противопоставленность двух обращений заметил еще М. А. Максимович: «После того как Певец с напрасной надеждой взывал к князьям и думою уносился в минувшее, он обратился к Природе голосом женской любви... И Природа услышала сей голос и отозвалась на него благосклонно своими стихиями, дотоле враждовавшими с Игорем» (Максимович 1836а; 460).

Следующим видом реализации смысловых противопоставлений в тексте при помощи антитез-скреп является особый художественный прием, который удобно назвать *контрастным распределением*. Контрастное распределение также входит в систему антитез, но спецификой его является взаимная симметричность характеристик по отношению к некоторой заданной паре актантов. Например, в начале текста X играет и X рисует акварелью. Y же молча стоит у окна и Y горько плачет. В конце текста X молча стоит у окна, X горько плачет. Y же играет и Y рисует акварелью. Подобное контрастное распределение в художественном тексте не может не иметь содержательной интерпретации и не быть связанным с глубинными противопоставлениями текста.

В «Слове о полку Игореве» контрастное распределение связано в основном с двумя противопоставлениями: русские — половцы и человек — природа.

В указанной работе Н. С. Демковой было обращено внимание на введение темы поля у русских и темы бега у половцев в предполагаемом зачине «в духе Бояна»: *Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици стады бѣжатъ къ Дону Великому*. Действительно, тема бега становится в «Слове» в каком-то смысле диагностической. В начале текста предикат «ехать» и его синонимы относят-

ся только к русским, к войнам, профессионально обученному войску и его предводителю: *Наведе свои храбрыя плъкы; А всядемъ, братие, на свои бръзья комони; Въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чистому полю; Игорь къ Дону вои ведетъ!; Ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата; Вступита, господина, въ злата стремена.* К врагам же, к половцам, относятся предикаты невоинские, неиндивидуальные, почти анималистические: *А половци неготовами дорогами побѣгоша; Гзакъ бежитъ сѣрымъ вълкомъ; Половци идутъ отъ Дона и отъ моря; А погании сами, побѣдами нарищуце на Рускую землю; По руской земли прострошася половци, акы пардуже гнѣздо.*

Рассмотрим сферу тех же предикатов движения после обращения Ярославны. (Более подробно см. эту дистрибуцию в § 4.) Русские — *А Игорь князь покосочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду; Въврѣжеся на бръзь камонъ и скочи съ него бусымъ вълкомъ; И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подѣ мъглами; Коли Игорь соколомъ полетѣ... Половцы — На слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ.*

Картина явно переворачивается. Раньше Игорь вел войска, едучи на коне, а половцы бежали неготовыми дорогами, серым волком бежал их хан Гзак. Теперь Гзак и Кончак едут на конях, а серым (бусым) волком бежит сам Игорь.

Эту симметричность еще ярче подчеркивает сфера глаголов речи. Предикаты со значением речи связаны с русскими до обращения Ярославны: *И рече Игорь дружине своей; Хощу бо — рече — копие приломити; И рече ему буй туръ Всеволодъ; Рекоста бо братъ брату; Жены руския въсплакашась, аркучи; Одѣвахуть мя — рече; И ркоша бояре князю; Изрони злато слово; На Дунаи Ярославнынъ гласъ ся слышитъ.* А половцы? *Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша.* Таким образом, в первой части текста «Слова» с половцами хотя и связывается много звуков, но не человеческих, вербальных, а странных, скрипящих — кричат, как перепуганные лебеди, их телеги, речь их уподобляется говору галок, стрекотанью сорок, отрывистому лаю лисиц; *Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты и Лисици брешуть на чръленыя щиты: Дѣти бѣсови — Лисици.*

После обращения Ярославны ситуация изменяется в направлении, указанном выше. Русские — *Игорь рече.* Половцы — *Овлуръ свисну за Рѣкою; Мльвить Гзакъ Кончакови; Рече Кончакъ ко Гзѣ; И рече Гзакъ Кончакови.* Итак, после обращения Ярославны половцы обретают речь, и весьма здравую.

Эта крестообразная мена антонимических предикатов связана, на наш взгляд, с преображением в тексте протагониста — Игоря. Игорь терпит не только военное поражение. Не останавливаясь на этом подробнее, выскажем лишь соображение, что именно со «Слова» начинается доминантная именно для русской классической литературы и типологически неповторимая тема краха индивидуализма («Слово» и Пушкин слишком связаны, но эта тема есть, безусловно, и у Лермонтова, еще больше — в «Преступлении и наказании» и др.). Спасенный из плена силой женской мольбы, Игорь возвращается уже не индивидуально-

тью, осознавшей себя как личность, одержимой гордыней. Мена предикатов *ехать* и *бежать* подчеркивает эту перемену.

Последний вид антитетического распределения в основном сюжете «Слова о полку Игореве» можно определить как *наличие-отсутствие текстовых показателей*. Говорить о функциональной значимости такого распределения можно лишь в том случае, если оно строго выдерживается. В этом можно убедиться, обратившись к показателям имени в тексте при существительных, относящихся к сфере русских и сфере половцев. Все показатели определенного, индивидуализированного имени: указательные, определительные и относительные местоимения, посессивы — относятся только к русским. Половцы предстают без какого-либо индивидуализирующего показателя. Их сфера — только множественное число без местоименных показателей. Особенно ярко различие половцев и русских сказывается в богатстве разнообразных обращений у русских: *О Бояне, соловию старого времени!*; *Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый ты, Игорю*; *О моя сыновья, Игорю и Всеволоде!*; *Инъгварь и Всеволодъ и еси три Мстиславичи, не худа гнезда шестокрилиц!* и т. д. Обращения в «Слове» — это как бы свернутые характеристики. У половцев обращения нет: *Мльвить Гзакъ Кончакови: Аже соколь къ гнезду летить*, — *соколича рострѣляевъ своими злачеными стрѣлами. Рече Кончакъ ко Гзѣ: Аже соколь къ гнѣзду летить, а вѣ соколца опутаевѣ красною дивницею*.

Таким образом, оппозиция русские — половцы разрешается содержательно как противопоставление индивидуализированного и массового, личностного и стихийного, человеческого и стаеобразного, почти звериного врага.

Система контрастивного распределения связывается и с противопоставлением свет — тьма. В начале активного развития основного сюжета Солнце лишено своего постоянного эпитета *свѣтлый* — *Солнце ему тьмою путь заступаше*. Светлым величается Игорь: *Одинъ свѣтъ свѣтлый ты, Игорю*. Далее в тексте, подтверждая эту контрастность, «солнцами» называются Ольговичи⁴. *Чръныя тучя съ моря идуть, хотять прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии мльнии* (см. это же в рассказе бояр). И только Ярославна возвращает Солнцу отнятый у него постоянный присущий ему титул: *Свѣтлое и тресвѣтлое слънце*. Происходит контрастивное распределение⁵.

3. Как было показано выше, система антитез-скреп характеризует основной сюжет «Слова». В противоположность этому повторы-переключки относятся к сфере прошлого в трех ее реализациях: 1) прошлое соотносится с прошлым же;

⁴ Некоторое объяснение претензий Ольговичей см. еще у Е. В. Барсова: «Что под выражением „Дажь-божья внука” нужно понимать киевского князя, об этом толковал еще Шишков в 1826 г. . .» (Барсов 1887. Т. I; 368). См. также у Вс. Миллера: «Итак, внуком Дажь-бога называется князь» (Миллер 1877; 74).

⁵ А. Н. Робинсон считает, что известная отчужденность сторон во фразе *Солнце светится на небесѣ* — *Игорь князь в Руской земли все же есть*. См.: Робинсон 1978; 49—51.

2) время Игоря и сам Игорь соотносятся с временем других князей и с самими этими князьями, 3) соотносятся и противопоставляются автор «Слова» и Боян.

Линия прошлое—прошлое связывает в основном через повторы два сюжета: историю Олега Святославича и историю Всеслава Брючиславича Полоцкого. Обе истории симметрично располагаются по отношению к вершине симметрии в рассказах о прошлом, обе они примерно совпадают по протяженности, оба отражаемых периода близки хронологически: 1067—1078 гг. Психологическим центром первой истории является битва на Нежатиной Ниве — НН, психологическим центром второй — битва на Немиге — Н. Текстовые повторы в них активны. *Были вѣчи Трояни* — первая и *На седьмомъ вѣцѣ Трояни* — вторая. Эти повторы их связывают абсолютно безотносительно к тому, кто реально этот Троян: важно, что это, по всей вероятности, одно и то же лицо. Обе истории перекликаются и упоминанием Ярослава Мудрого: *Минула лѣта Ярославля* (история Олега) — *разшибе славу Ярославу* (история Всеслава). Повторы связывают их и далее. Это почти мистический перезвон городов: *Ступаешь въ златъ стремянь въ градѣ Тьмутороканѣ, той же звонѣ слыша давный великий Ярославъ, а сынъ Всеволожь Владимиръ по вся утра уши закладаша въ Черниговѣ* (рассказ об Олеге) — *Тому въ Полотыскѣ позвониша заутреню рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Киевѣ звонѣ слыша* (рассказ о Всеславе). Повторяются в обеих историях упоминания двух святых Софий: в Киеве — история Олега и в Полоцке — история Всеслава.

Однако беспокойный Олег Святославич не похож, судя только по этим текстам, на Всеслава Полоцкого. Они объединяются по законам поэтики через третий член сравнения — *tertium comparationis*. Так создаются «сверхсмыслы». Третьим членом сравнения являются Игорь и история его похода.

Так, во времена Олега Святославича *Рѣтко ратаеви кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче, а галици свою речъ говоряхуть, хотять полетѣти на уедие*. При возвращении Игоря *Тогда врани не граахуть, галици помлѣкоша* — это повтор-антитеза и к *Говорѣ галичъ убуди*.

В битве на Немиге *Немизѣ кровави брехъ не бологомъ бяхуть посяни, посяни костьми рускихъ сыновъ*. Во время битвы на Каяле — *Чръна земля подѣ копыты костьми была посяна, а кровию польяна*.

Олег мечемъ крамолу коваше и после поражения Игоря *Князи сами на себе крамолу коваху*.

Олег ступаетъ въ златъ стремянь въ градѣ Тьмутороканѣ. — Тогда вступити Игорь князь въ златъ стремянь и поѣха по чистому полю.

Олег лишен колдовского начала, он вступает в злат стремянь, как Игорь в начале похода до плена. Н. С. Демкова пишет: «... плен князя Игоря интерпретируется автором в системе образов „Слова“ как „смерть“, а его бегство из плена — выход, выход из „смерти“ (из другого мира)» (Демкова 1979; 69). Выйдя «из другого мира», Игорь приобретает уже сходство с другим князем — Всеславом Полоцким. Повторы-скрепы показывают это сходство. Князь Всеслав,

убегая от киевлян, *Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи из Бѣлаграда, обѣсися синѣ мъглѣ... скочи вълкомъ до Немаги съ Дудутокъ*. См. побег Игоря — *Прысну море полунощи; идутъ сморци мъглами... Вѣврѣжесе на брѣзь комонъ и скочи съ него бусымъ вълкомъ*. Совпадают лексемы-повторы: *полночь, мгла, скочить волком*. Возникает многократно обсуждавшаяся в литературе тема оборотничества Игоря. Однако, не останавливаясь на данной теме, хочется подчеркнуть мастерство автора в создании этих сверхтекстовых аллюзий. Все, что происходит с Игорем в момент побега, сообщается уже *после* истории Всеслава, поэтому *скочи съ него бусымъ вълкомъ* перекликается с *скочи вълкомъ до Немаги* волхва Всеслава. Между тем в начале текста бежит серым волком Гзак, и здесь явно не возникает никакой идеи оборотничества половецкого хана, на этом этапе развития повествования *бежать* у половцев противостоит *Игорь къ Дону вои ведеть*.

Повторы объединяют и скрепляют настоящее и прошлое не только по рекам Каяле и Немаге, но и Каялу объединяют со Стугной: *Ту ся брата разлучиста на брѣзь быстрой Каялы; ту кровавого вина не доста; ту пирь докончаша храбрии русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую. Ничить трава жалощами, а древо съ туюю къ земли преклонилось*. В реке Стугне в 1093 г. погибает князь Ростислав: *Плачется мати Ростислава по уноши князи Ростиславѣ. Уныша цвѣты жалобою, и древо съ туюю къ земли прѣклонилось*.

Так, Олег и Всеслав становятся двумя прототипами Игоря — до плена и после плена. Но в «Слове» не один только смысловой пласт перекличек повторов и антитез. Игорь спасен (и Всеслав спасается, и Олег становится черниговским князем), но он гибнет как индивидуальность. Поэтому возникает ассоциация с третьим князем — Ростиславом. Имя юного князя анаграмматически подготавливается: через Р, С, Т и У — *уноша: Р — ѣка СТУ—гна х—У—д—У СТРУ—ю имѣя пож—Р—ъши ч—У—жи РУ—чи и СТРУ—гы Р—о—СТР—ена къ УСТ—ью*. Также с *уноши князи* перекликается *Уныша цвѣты...*

Творческий спор связывает автора «Слова» и Бояна. Как ни квалифицировать творчество Бояна, очевидно, что автор соперничает с ним. Начальные контексты, передающие речь Бояна, автором далее дублируются и редуцируются. См.:

Боянь бо вѣщий,
аще кому хотяше пѣснь творити,
то растѣкашется мыслию по древу,
сѣрымъ вълкомъ по земли,
шизымъ орломъ подь облакы.

И далее:

О Бояне, соловию стараго времени!
Абы ты сиа плѣкы ущекоталъ,

скача, славлю, по мыслену древу,
летая умомъ подь облакы,
свивая славы оба полы сего времени,
рища въ тропу Трояню чресь поля на горы.

Уже много лет спорят по поводу того, что такое «мысль»: «мысль» или «белка», «мышь». Но поэтика «Слова» полиассоциативна. Поэтому оба прочтения не исключают друг друга. «Мысль-белка» переключается со скальдическим образом белки Рататоск, переносящей знание по воображаемому мировому древу, ясеню Иггдрасиль, от верха, где парит орел, к низу, к земле, где сидит волк. Но «мысль-мышь» также имеет текстовую скрепу: *Скача, славлю, по мыслену древу, летая умомъ подь облакы*. Здесь «мысль» аналогична мифологической «мыси» и в смысловой функции. Боян воспевает «храброго» Мстислава. Но поединок храброго Мстислава с Редедей, во всяком случае с более поздних нравственных позиций, строится на обмане: договорившись биться «борьбою», а не оружием, но, поняв, как «был велик и силен Редедя», Мстислав зарезал его ножом.

Обратимся к триаде воспеваемых в конце князей. Родственные отношения повторяются: два брата, Игорь и Всеволод, и потомок одного из них, Владимир. Братья нежно любят друг друга, дружны, и в тексте это подчеркивается дважды, с обеих сторон: *Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый ты, Игорю!* и *Игорь плѣкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода*. Храбрость буй-тур Всеволода безупречна, а его воинская отвага описывается почти гиперболически. Владимир Игоревич возвращается успешно домой.

Представляется, что повтор этой триады родственных отношений ассоциативно как бы еще один тур в соперничестве двух поэтов.

4. *О Бояне, соловию стараго времени, абы ты сиа плѣкы ущекоталъ* — обращается автор к Бояну. Далее в основном сюжете — *Щекотъ славий успе*. Это явный повтор-переключка. Но затем — *Соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ*. Возникает тройная ассоциативная цепочка. См.: Боян растекается *сѣрымъ вѣлкомъ по земли*. Он ущекотал полки, *рища въ тропу Трояню*. И половцы *Побѣдами нарищуце на Рускую землю*. Снова возникает тройная аллюзия. Эта трехступенчатость ассоциаций характерна для «Слова». Тернарные структуры в основном можно разделить на три группы:

1) X ассоциируется с Y, и Z ассоциируется с Y. Поэтому ассоциируются X, Y и Z. По тому же принципу возникают, через повторы-скрепы, аллюзивные тройки: Олег — Всеслав — Игорь; Каяла — Стugna — Немига; Боян — Игорь — Всеслав (по волком).

2) X сближается с Y через повторы, и X противостоит Z через антитезы. Речь галок слышится и в прошлом, и в настоящем, но в настоящем они замолкают. Донец противостоит Стугне в тексте. Тем самым он противостоит и Каяле — в настоящем, и Немиге — в прошлом.

3) Создается тройка объектов со следующей семантикой: X; X — как бы Y, одновременно X и Y; Y. То есть знаки этой триады асимметричны. Примеры:

когда в прошлом перекликаются редко пахари, но часто каркают вороны и слышится (речь галок) то можно предположить, что имеются в виду просто галки, птицы. Когда перед битвой *Щекоть славий успе, говорь галичь убуди* — то это и галки, и как бы половцы. Когда начинается зачин «Бояна»: *Не бури соколы занесе через поля широкая — галицы стады бѣжатъ къ Дону великому*, то здесь галки — это половцы.

Многokrратно спорили о значении слова мысль: 'белка' или 'мысль'. Весьма вероятно, что автор намеренно подкреплял повторами текста оба смысла. Обратимся к первому «бояновскому» контексту. В нем три действующих образа: мысль, волк, орел.

Заметим, что во втором тексте конкретные образы-субъекты последовательно исчезают. Но они подкрепляются предикатами и тем самым создается повтор.

Как указывалось выше, Н. С. Демкова заметила перекличку с началом «под Бояна» как воплощение далее темы бега (сначала половцы, потом Игорь) и темы поля — для русских.

К повторам, относящимся к Бояну, по всей вероятности, принадлежит и техника звукописи.

Прием синтаксического и фонического «подхвата» применяется с соблюдением законов зеркальной симметричности текста и в конце «Слова»:

Рекъ Боянь. . . Тяжко ти головы кромѣ плечю,
зло ти тѣлу кромѣ головы.

Во фразе-подхвате и ее дальнейшем синтаксическом продолжении мы видим звуковую тему З/С — *Ру-С-кой З-емли бе-Зъ Игоря* — и далее: *С-олнце С-вѣтит-С-я на небе-С-ѣ, Игорь кня-З-ѣ въ Ру-С-кой З-емли*.

По нашему мнению, еще один глубинный смысловой повтор-антитеза связывает автора «Слова» и Бояна. Это триада воспеваемых князей. Кого воспевал Боян? Двух родных братьев, Ярослава и Мстислава, и потомка одного из них — внука Ярослава, Романа Красивого. Оба брата ненавидели друг друга, один из них, Ярослав, даже бежал с поля боя в битве при Листвене 1024 г. Роман привел на Русь половцев. Половцы убили Романа, упрекая его в неверности. Те же родственные отношения связывают князей в «Слове», однако любящих друг друга и достойных.

То же можно сказать и о Солнце. Это и просто солнце, природное светило, и Солнце — верховное божество, и Дажь-бог, солярный покровитель Ольговичей.

Гзак бежит волком, т. е. подобно волку, Игорь — уже и как волк и как бы оборотень, Всеслав явно бежит, обернувшись волком, как оборотень.

5. Троичные ассоциации в «Слове», накладываясь, могут создавать сложные ассоциативные ряды. Например, Игорь — Олег — Всеслав — Гзак — Боян. Все они связаны через систему антитез и повторов, попарно и троично, но не обязательно одним признаком. Так же связаны: Каяла — Немига — Стugna — До-нец. Объединен и ряд: галки — вороны — соловьи — соколы — «птицы».

Отдельные предложения «Слова» оказываются связанными системой текстовых переключек «гуще», чем остальные. Таким образом, возникают субтексты, глубокую соединенность которых можно понять, если рассмотреть их особенно детально. Нами приводилась такая связь для ряда: *готови — свѣдоми — вѣдоми — знаеми — неготовами*.

Приведем еще три подобных субтекста.

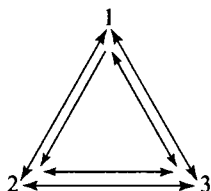
Субтекст первый:

- 1) *Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло* — перед битвой-поражением.
- 2) *О далече зайде соколъ, птицъ бѣя, — к морю!*
А Игорева храбраго плѣку не крѣсити! — Представлено поражение и его печальный результат.
- 3) *А Игорева храбраго плѣку не крѣсити!*
Донѣ ти, княже, кличетъ
И зоветъ князи на побѣду.
Ольговичи, храбрый князи, достѣли на брань — это резюмирование поражения Святославом Всеволодовичем.

Вышеуказанные контексты объединяются:

- 1) все три по лексеме *храбрый*;
- 2) 1 и 2 — по лексеме *далече*;
- 3) 1 и 3 — по *Ольгово гнездо / Ольговичи*;
- 4) 2 и 3 — по *А Игорева храбраго плѣку не крѣсити!*

Получается фигура



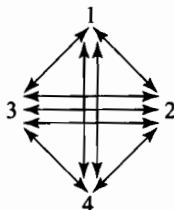
Субтекст второй:

- 1) *Ничить трава жалощами, а древо с тугою к земли преклонилось* — эмоциональный итог рассказа о поражении Игоря.
 - 2) *Уныша бо градомъ забрали, а веселие пониче* — подведение итогов последующим бедам.
 - 3) *Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскии* — эмоциональное завершение рассказа об одинокой кончине Изяслава Полоцкого.
 - 4) *Уныша цвѣты жалобою, и древо съ тугою къ земли прѣклонилось* — печальный комментарий о гибели в реке Стугне князя Ростислава в 1093 г.
- Эти контексты объединяются:

- 1) 1 и 4 по корню *жал-* и по отрезку *древу с тугою...*;
- 2) 2 и 3 по *никнуть*, по *веселие* и по корню *уныл-*;

- 3) 1 и 2 по *никнуть*;
- 4) 1 и 3 по *никнуть*;
- 5) 2 и 4 — по *уныша*;
- 6) 3 и 4 — по *уныль*.

Графическая схема переключек:



Субтекст третий:

Как можно заметить по ряду примеров, наиболее тесно связанными в тексте «Слова» являются эмоциональные его части. Эмоционально окрашенными являются и концовки-итоги текста. Наиболее частой лексемой, передающей негативное эмоциональное состояние, является в «Слове» лексема *туга* ('печаль'). Эта лексема часто бывает подкреплена синонимами, усилена: *тугою и жалощами*; *тугою — напастьми — тоска — печаль*; *туга и тоска*; *жалобую — тугою*.

Напротив, его антоним *веселие* выражается обычно как «минус»-веселие с отрицающим его квалификатором, причем эти квалификаторы разнообразятся: *невеселая година встала*; *веселие пониче*; *жадни веселия*. Всего с лексемами *туга* и *веселие* в «Слове» представлено 15 контекстов, из них 9 — до обращения Ярославны, а 6 — после:

- 1) Чръна земля подь копыты костыми была посѣяна, а кровию польяна; *тугою* взыдоша по Руской земли.
- 2) Ничить трава жалощами, а древо с *тугою* къ земли преклонилося.
- 3) Уже бо, братие, *невеселая* година встала, уже пустыни силу прикрыла.
- 4) А встона бо, братие, Киевъ *тугою*, а Черниговъ напастьми; тоска разлился по Руской земли; печаль жирна тече средь земли Руской.
- 5) Уныша бо градомъ забрали, а *веселие* пониче.
- 6) И ркоша бояре князю: уже, княже, *туга* умъ полонила.
- 7) А мы уже, дружина, *жадни веселия*.
- 8) Се у Римъ кричатъ подь саблями половецкыми, а Володимиръ подь ранами. *Туга* и тоска сыну Глѣбову!
- 9) Уныли голоси, *пониче веселие*, трубы трубятъ городеньскии.
- 10) Чему, господине, мое *веселие* по ковылию *развѣя*?
- 11) Чему, господине... въ полѣ безводнѣ жаждею имъ лучи съпряже, *тугою* имъ тули затче?
- 12) Княже Игорю! не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли *веселиа*.

13) Уныша цвѣты жалобою, и древо съ тугою к земли прѣклонилось.

14) Соловии веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ.

15) Страни ради, гради весели.

Обозначим тугу как Т, а веселие — как В, «минус»-веселие — как В̄. Получаем общую цепочку субтекста. Т/Т/В̄/Т/В̄/Т/В̄/Т/В̄/Т/В̄/Т/В̄/Т/В̄. Видны симметричность начала и конца: Т/Т—В̄/В̄, перелом в середине после обращения Ярославны и глубокий внутренний ритм чередования Т и В̄. Это и есть один из внутренних ритмов «Слова», создаваемых повторами и антитезами.

б. Все сказанное выше относилось к повторам, антитезам и антитезам-повторам, обеспечивающим смысловую цельность текста памятника, создающим единую систему дуальных противопоставлений, осложненную дополнительными аллюзивными наложениями.

Однако в «Слове» повторы обеспечивают и связность текста, они скрепляют текст. Поэтическая техника подобных повторов отличается от повторов, описанных выше.

К повторам скрепляющего типа относятся повторы-цитаты, представленные в «Слове» многократно. В каждой цитате-пересказе обязательно есть хотя бы один буквальный повтор предыдущего текста.

Н. С. Демкова обратила внимание на «текст в тексте» — рассказ бояр о битве на Каяле Святослава (Демкова 1979; 71). В их рассказе есть *А любо испити шеломомъ Дону*. См. ранее в речи Игоря: *Хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону*.

Эти попарные цитаты-повторы всегда связаны с прямой речью. Причем либо оба авторских текста принадлежат прямой речи, либо один из них входит в авторское повествование, а другой — в прямую речь. Примечательно, что такие повторы-цитаты относятся только к основному сюжету памятника.

Святослав Киевский повторяет слова автора: *А Игорева храбраго плъку не крѣсити!* См. ранее: *О далече зайде соколь, птиць бья, къ морю! А Игорева храбраго плъку не крѣсити!*

Святослав трижды призывает князей вступить за землю Русскую. См. вначале: *Наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую за землю Рускую*.

Автор повторяет слова Всеволода о курянах: *Сами скачутъ, акы сѣрьи влъци въ полѣ, ищучи себе чти, а князю славъ*. См. далее: *Русичи великая поля чрѣльными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю славы*.

Автор, описывая пленение Игоря: *Ту Игорьъ князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево*, переключается с двумя предшествующими контекстами: *Тогда въступи Игорьъ князь въ златъ стремянь, и со словами самого Игоря: Луцеж бы потяту быти, неже полонену быти*.

На последнем примере еще раз можно продемонстрировать указанную выше поэтическую особенность текста «Слова», когда образуются тройки: X; X и Y; Y. Игорь пленяет Кончак. *Стрѣляй, господине, Кончака, поганого кощя* — обращается Святослав Киевский к Ярославу Осмомыслу. Здесь *кощя* — Кончак.

Пересел въ сѣдло кощиево — это и седло Кончака, и седло раба. *Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатъ, а кощей по резанъ* (о князе Всеволоде Юрьевиче). Здесь *кощей* — только ‘раб’.

Игорь повторяет слова Ярославны: *Възлелѣй, господине, мою ладу ко мнѣ — О Донче! не мало ти величия, лелѣявшу князя на вльнахъ.*

Игорь повторяет слова реки Донца: *Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия — О Донче! не мало ти величия...*

Кончак повторяет слова Гзака: *Аже соколь къ гнезду летитъ, соколича рострѣляевѣ — Аже соколь къ гнѣзду летишь, а соколца...*

Не цитатой является только самый известный повтор-рефрен:

О Руская землѣ! Уже за шеломянемъ еси.

Скрепляют текст повторы близких или контактных слов:

*А самъ въ ночь вълкомъ рыскаше,
изъ Кыева дорискаше до Курь Тматороканя,
великому Хръсови вълкомъ путь прерыскаше.*

...Бишася день, бишася другой...

*Уже бо Сула не течетъ сребреными струями
къ граду Переяславлю,
и Двина болотомъ течетъ
онымъ грознымъ полочаномъ
подъ кликомъ поганыхъ.*

Так повторяются не только глаголы, но и имена:

*Съ зараниа до вечера съ вечера до свѣта;
Ярь туре Всеволодѣ... отъ тебѣ, ярь туре Всеволоде!*

Повторяются однокоренные слова: *ни мыслию смыслити, ни думою сдумати*. Повторяются однотипные синтаксические конструкции и грамматические цепочки. В этом плане особенно интересны конструкции с инициальной частицей *уже*. Как отмечает Д. С. Лихачев, через *уже*-конструкции обычно передаются ситуации печальные, ожидаемой беды (см.: Лихачев 1983; 19). И это действительно так. Само же слово *уже* не включает в себе печальных ассоциаций, в принципе Всеволод мог бы сказать: *А мои ти готовы, уже осѣдлани у Курьска*. Но в «Слове» через *уже* передаются ситуации грустные и трагические:

*Уже бо бѣды его пасетъ птицъ по дубию;
О Руская землѣ! Уже за шеломянемъ еси!
Уже бо, братие, невеселая година вѣстала, Уже пустыни силу прикрывла;
Уже намъ своихъ милыхъ ладъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни
очима съглядати;
Уже дѣски безъ кнѣса в моемъ теремѣ златовръсѣмъ;*

*Уже, княже, туга умъ полонила;
 Уже соколома крильца приспѣшали поганихъ саблями;
 Уже снесся хула на хвалу, Уже тресну нужда на волю, Уже вѣржесея дивъ
 на землю, ... А мы уже, дружина, жадни веселия! А уже не вижду власти
 сильного и богатаго, и многовая брата моего Ярослава...;
 Нъ уже, княже Игорю, утрѣтъ солнцю свѣтъ;
 Уже бо Сула не течетъ сребреными струями къ граду Переяславлю...;
 Уже понизите стяжи свои, вонзите свои мечи верезжени. Уже бо выскочис-
 те изъ дѣдней славѣ.*

Примечательно, что после обращения Ярославны уже-конструкции исчезают, хотя через уже можно констатировать и позитивный результат. Это показывает семантическую направленность и эмоциональную окрашенность конструкций с уже. Не неожиданным поэтому является в тексте «Слова» частая сопряженность уже-конструкций с лексемами туга и «минус»-веселие: *Уже бо, братие, невеселая година встала. Уже, княже, туга умъ полонила; А мы уже, дружина, жадни веселия.*

7. Система повторов и антитез-скреп относится и к звуковой форме текста «Слова». Проблемы метрики «Слова», определение его стихотворного жанра, акцентологические проблемы «Слова» остаются за пределами данного параграфа, так же как и вопросы чисто лингвистические. Однако чисто звукописные решения «Слова» создают еще один, поверхностный, слой скреп, дополняя скрепы лексические и лексико-фразеологические. Но и сам слой звукописи имеет внутреннюю структуру, повторяющую во многом структуру лексических повторов и антитез (см. об этом § 2 данной части, раздел 1).

§ 7. Текст — диалог поэтов

1. Образы, навеянные «Словом», в пушкинских текстах

Образ в нашем актуальном понимании — это некий персонаж пушкинского текста, действительно **Образ**, в той или иной степени навеянный образами «Слова», не обнаруженный в других источниках, исследованных в связи с пушкинским текстом, и не обязательно связанный в этом плане с другими образами того же текста (то есть другие персонажи могут быть со «Словом» как связаны, так и не иметь этой связи).

В основном подобные персонажные сходства представлены в «Сказках».

Перечислим некоторые из таких образов, по нашему мнению, вполне соответствующих указанным требованиям.

А. Образы-персонажи

Золотой петушок — Див

Целесообразно на этом образе остановиться подробнее и показать тем самым тип верификации предлагаемых нами сождений.

Сказка Пушкина «Золотой петушок» в последние десятилетия стала привлекать все больший интерес и получила, по всеобщему мнению, титул «самого загадочного произведения» Пушкина. Бесспорно наблюдение Ахматовой о том, что источником сюжета сказки и ее основного действия служит произведение Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», вышедшее в Лондоне в 1832 г. и известное Пушкину по французскому переводу того же года “*Les contes d’Alhambra, précédés d’un voyage dans le province de Grenade*” (Ахматова 1967). Эта книга была и в библиотеке самого Пушкина. Однако остается одно обстоятельство, на которое, естественно, не обращали внимания: у Ирвинга беду и войну вещает флюгер, то есть существо неживое. Возможно, поэтому Р. Якобсон в своей знаменитой статье об оживающих статуях у Пушкина (Jakobson 1975) поставил этот образ наравне с Медным всадником и Каменным гостем. Однако у Пушкина говорится недвусмысленно — *Посади ты эту птицу...* и так далее.

Наиболее подробный анализ смысловых отношений в «Золотом петушке» проделан А. Коджаком (Коджак 1978). Не упуская важной для нас нити, скажем, что именно ему принадлежит наблюдение о том, что, в силу сложности семантики русских посессивных конструкций, неясно, отдает ли звездочет петушка царю навсегда в качестве обменного дара или, напротив, он приставляет его к царю и тем самым царь сам становится объектом всевидящего ока петушка:

Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой.

См. у Коджака о том, что местоимение *твой* меняет свое значение. «В первом случае оно обозначает принадлежность петушка Дадону, а во втором случае оно обозначает объект наблюдений петушка, т. е. самого Дадона, за которым петушок будет приставлен следить. Оба эти значения сосуществуют в сказке, но развязка требует именно последнего понимания слов звездочета» (Коджак 1978; 352). Итак, если принять второе решение, Дадон по сути обречен. Петушок с самого начала вещает зло и беду, но и более — он вестник насылаемой им же беды. Более глубоко — он вестник Судьбы, которой Дадон по легкомыслию бросил вызов. «Традиционное сказочное „неосторожное обещание” становится в „Сказке о золотом петушке” чем-то совсем иным — неизбежным развитием событий в жизни царя Дадона. С самых первых шагов своего правления Дадон был уже обречен на порабощение злыми силами и, следовательно, на гибель: его вражда с соседями должна была повлечь за собой их ответные нападения, из-за которых Дадон был вынужден взять себе в союзники звездочета, который и подготавливает для него западню, из которой царь мог бы выско-

читать, только отказавшись от собственной воли оставаться пленником Шамаханской царицы, на что он, конечно, не способен. Таким образом, трагическая развязка по воле мудреца оказалась также и результатом своеволия Дадона» (Коджак 1978; 354). Именно так поступил и Игорь, именно за своеволие его упрекает князь Святослав.

Еще и еще раз необходимо подчеркнуть, что мы не решаемся найти определенный ответ на вопрос — является ли «Слово о полку Игореве» первым образцом, истоком этой темы, или это просто первое по древности к ней обращение — но тема Вызова индивидуальности Судьбе бесспорна.

Див — загадочное существо — в «Слове» *кличетъ врѣху древа*. Он обращается к разным землям:

*земли незнаемъ Влзѣ и Поморию, и Посулюю, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ,
Тьмутороканьскый блъванъ!*

Див возвещает войну, недаром именно в упомянутых землях беда:

*А древо не бологомъ листвие срони: по Рси и по Суле гради подѣлиша; Уже
бо Сула не течетъ серебряными струями.*

Когда же бояре сообщают князю о постигшем Русь несчастье, одно из самых мрачных и предвещающих беду сообщений — это то, что Див слетел (упал? бросился?) на землю:

*Уже снесся хула на хвалу; Уже тресну нужда на волю; Уже врѣжесе Дивъ
на землю.*

Сказка Пушкина датируется 1834 г., когда его славистические занятия уже были серьезными. Как уже говорилось выше, сюжет сказки и ее основное действие восходят к книге В. Ирвинга, но, однако, описание действий Петушка явно напоминает Дива:

Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незванной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется.

(т. 4, с. 476)

Каждый крик петушка приносит беду — *Люди в страхе дни проводят*. Наконец, когда, лишившись сыновей, царь с Шамаханской царицей возвращается, происходит, после отказа скопцу в девушке, то страшное, о чем говорили бояре: петушок покидает свое высокое место и несет смерть: *Петушок спорхнул со*

стицы... Дадон гибнет. Колоритом «Слова» веет и от картины поля после битвы, напоминающей также аналогичные сцены в «Руслане и Людмиле»:

Перед ним его два сына;
 Без шоломов и без лат
 Оба мертвые лежат,
 Меч вонзивши друг во друга.
 Бродят кони их средь луга
 По притоптанной траве,
 По кровавой мураве...

(т. 4, с. 479)

Здесь вспоминаются и *А самъ подъ чрълеными щиты на кровавъ травѣ*, а также — *Вонзите свои мечи верезжени...*

Елисей — Ярославна

Источником «Сказки о мертвой царевне» М. К. Азадовский считает сказку братьев Гримм «Белоснежка» (“Schneewittchen”). Но этот сюжет богато представлен и в русских сказках. Однако в них нет ключевого образа — белоснежности кожи царевны (у Пушкина — *Мать беременна сидела, / Да на снег лишь и глядела*). Но важно для нас следующее замечание Азадовского: «Отклонение от своего источника Пушкин сделал в образе королевича Елисея. И немецкая, и русская сказка не знают жениха. Сказочная традиция: царевич случайно наталкивается на гроб, видит в нем девушку, влюбляется в нее и т. д.» (Азадовский 1936; 147). Однако вообще обращение к трем стихиям в поисках возлюбленного (возлюбленной) встречается и в западноевропейской традиции, и в сказках братьев Гримм.

Ярославна и Елисей связаны формальными узами с Игорем и царевной. Совпадения их обращения не случайны, хотя обращение Ярославны гораздо более мотивировано сюжетом. Ярославне помогает река, а Елисею — месяц, но в обращении к Солнцу оба подчеркивают всеобщую направленность его сил: *Всѣмъ тепло и красно еси; Всех нас видишь под собой*. Обоим помогает только одна из стихий.

Безусловно, эти обращения напоминают друг друга. Оба они как бы переламывают сюжет.

Царевна-Лебедь — Дева-Обида

О сходстве образов Девы-Обиды из «Слова» и Царевны-Лебедь. Приведем аргументы. Обида — Девушка; она всплскивает лебедиными крыльями на Дону у синего моря, *плещучи, упуди жирня времена*. И хотя, скорее, фигура этого окказионального мифологического персонажа негативная и настроенная против русского войска, но сам образ красивой девушки, выходящей из моря, потряхивая лебедиными крыльями, романтичен и привлекателен:

Глядь — поверх текучих вод
 Лебедь белая плывет.
 ... Тут она, взмахнув крылами,
 Полетела над волнами
 И на берег с высоты
 Опустилася в кусты.

(т. 4, с. 442)

Далее существенны свидетельства М. К. Азадовского об источниках сюжета сказки — то есть в основном речь идет о злых трех сестрах, загадывании подслушанных желаний и об оклеветанной матери. Приводятся сходные сюжеты в западноевропейской литературе, начиная с *Le piacevoli notti* Страпаролы 1550—1553 гг. и его позднейших французских обработок. Образ девушки с косой и звездой во лбу также отмечен Азадовским в западноевропейских источниках, а в русском фольклоре распространено сравнение прекрасной женщины с лебедушкой. Но все это как бы порознь. Существенно приводившееся замечание Азадовского о том, что «ни в одном из этих источников, как ни в одной пушкинской записи, нет образа царевны Лебеди. Этот образ отсутствует обычно и в русских фольклорных редакциях данного сюжета» (Азадовский 1936; 154). Далее М. К. Азадовский приводит и мнение А. Л. Слонимского о том, что этот образ сочинен самим Пушкиным и в нем отразилось его чувство к жене и ее облик.

Дева на стене из «Руслана и Людмилы» — Ярославна

Этот образ, возможно, менее убедителен по сходству; однако, близкими поэтически ауре «Слова» кажутся: образ женщины на стене, за которой — долина; песнь, звучащая на заре; девушка, которая сравнивается — как бы предвзято образ Царевны-Лебедь — с одинокой лебедью в море:

И дева по стене высокой,
 Как в море лебедь одинокой,
 Идет, зарей освещена;
 И девы песнь едва слышна
 Долины в тишине глубокой.

(т. 4, с. 62)

Черномор — Всеслав Полоцкий

Оба персонажа появляются из мглы, ночью, преодолевают большие расстояния (и Черное море близко к Тмуторокани, куда улетал князь Всеслав).

Была высказана гипотеза, что русское слово *мгла* означает и означало не только некоторую непрозрачность, затуманенность видения, но и элемент суб-

станционального заполнения, наличия некоей суспензии, создающей «мглистость». Кроме того, само появление мглы в текстах связывается и с темным, обычно недневым временем суток. Говоря иначе, мгла — это нечто вроде завесы, непрозрачной и мрачной, иногда с психологическим налетом — ореолом грусти и печали. Нами высказано предположение, что мгла в системе русского (и, возможно, славянского) менталитета могла восприниматься как нечто вроде *temps de passage*, состояние души и природы, при котором возможны «иномирные» контакты, неожиданные сведения и неожиданные визиты. То есть мгла — это завеса, скрывающая (или открывающая) иной мир, путь к нему и в него; при этом мир иной может быть воспринят как визионерски, так и чисто в ментальном плане.

Можно привести по этому поводу много примеров из древнерусского языка, в том числе — *земля мгляна*, означавшее ад, место для погибших душ, а также контексты раздельного семантически употребления слов *мгла* и *облако*, *мгла* и *туман* и т. п.

Верифицировать нашу гипотезу можно и другими примерами. Начнем с демонстрации некоторых специфических текстов русской поэзии. См. выше § 2.

Речь идет о том, что в целом ряде стихотворений описывается то, как поэт в определенном душевном состоянии вдруг начинает воспринимать какие-то невербальные звуки, оказывающие на него воздействие: или они оказываются ярко стихогенными, или только усугубляют тяжелое состояние души поэта. Была исследована и фоника этих звуков, и дистрибуция этой фоники в зависимости от времени суток и от состояния окружающей природы.

Особенно значимым оказалось то, что краски природы в таких случаях представляли не «чистыми», а были окрашены в какие-то сизо-багряные, дымно-алые, сумрачно-красные тона.

Однако выше не было обращено внимание на то, что при перцепции таких невербальных звуков часто присутствует параметр мглы. Приведем ряд примеров:

Мир я вижу как во мгле / Арф небесных отголосок слабо слышу (Баратынский); *Вечер мглистый и ненастный / Чу, не жаворонка ль глас?... Гибкий, резвый, звучно-ясный, / В этот мертвый, поздний час, / Как безумья смех ужасный. Он всю душу мне потряс...* (Тютчев); *О чем в сей мгле безумной, красно-серой колокола? / — О чем гласят с несбыточною верой? / Ведь мгла — все мгла...* (Блок); *Но верится: пройдет сверкающий громами / Среди этой мглы божественный глагол* (В. Соловьев); *И звуки, как тайные знаки, / Пред нами кружились во мраке. / Мы были с тобою в таинственной мгле, / Как будто бы шли по ничейной земле...* (Ахматова); *Мы были — сумеречной мглой, / Мы будем пламенные духи. / Миров испепеленный слой / Живет в моем проросшем слухе...* (А. Белый) и т. д.

Все-таки справедливым будет сказать, что во многих стихотворениях употребляются и синонимы мглы — *сумрак* или *туман*.

Итак, можно предположить некую идею, как бы заложенную в стихах, примеры из которых мы приводили, что сквозь мглу, туман и/или мрак, сумрак иногда к поэтам доносятся какие-то неясные, не облеченные в слова звуки, оказывающие на него безусловное воздействие.

Нечто подобное можно было увидеть в древнерусских текстах, приводившихся выше.

Интересным было и то обстоятельство, что то значение слова *мгла*, которое совмещается с употреблением *облака* и *тумана*, обычно иллюстрируется в словарях примерами из «Слова о полку Игореве», что очень важно для излагаемой здесь темы.

В тексте «Слова» слово *мгла* и эта лексема оказываются связанными с одним из наиболее ярких и функционально нагруженных образов — князем-волхвом Всеславом Полоцким, живущим двойной жизнью: днем он ведет обычный образ жизни князя, а вечером и ночью преобразуется в какого-то страшного волка-оборотня.

Сейчас важно то, что этот князь *в полночь обесися синѣ мглѣ*. То, что, судя по тексту, он за ограниченный срок преодолевает огромное расстояние от Киева до Таманского перешейка (Тмуторокани), и то, что он преграждает путь великому богу Солнца — Хорсу, заставляет не сомневаться в том, что его передвижение было не наземным. Он — «летающий волшебник», мчащийся по небу колдун.

И тут выскажем предположение, что этот летающий волшебник нашел свое отражение у Пушкина. В «Руслане и Людмиле» находим князя Всеслава, хотя и в несколько гротескно-пародийном виде. И это отображение, в свою очередь, неотделимо от темы мглы:

Все смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...

(т. 4, с. 15)

Образ этот повторяется не раз:

Взвился, как вихорь, к облакам,
Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный
И вдруг умчал к своим горам...

(там же, с. 34)

Итак, появление Черномора — летающего волшебника — непременно сопровождается туманностью, мглистостью окружающего воздуха:

Но тот взвился под облака...
На миг исчез...
Уже колдун под облаками...

(там же, с. 73)

Остановимся и на имени колдуна — *Черномор*. Как всегда у Пушкина, внешняя простота и прозрачность скрывает множество сплетающихся семантических нитей. Имя *Черномор* встречается у Пушкина и в «Сказке о царе Салтане» как имя морского дядьки. Разбирая семантику этого имени, В. В. Лопатин и Э. А. Григорян (Лопатин, Григорян 1985) показывают, что *черное* не есть эпитет к морю ни в сказке, ни в русском фольклоре: море — *синее*, даль его — *лазоревая*.

Итак, Черное море — факт географический. Само это слово сложное, и корень *мор-* на самом деле восходит не только к концепту *море*, но и к компоненту *мор-* в словах *мороза*, *морить*, *мор*, *смерть*. «Корень *мор-* связывается в этой традиции не только с понятием смерти, но и с понятием ночи, тьмы, мрака, с олицетворением сил, противоположных жизни и свету» (там же; 127).

Само это имя заимствовано Пушкиным у Карамзина: оно появилось в его богатырской сказке «Илья Муромец», где Черномор тоже злой волшебник. Между прочим, сказка Карамзина совпадает по времени с первыми годами после открытия «Слова».

В данном случае важно то, что упоминание о Черном море связывает нас с ночным маршрутом князя Всеслава.

Изображение бесовской, демонической силы в литературе самых разных жанров обычно связывается с вертикалью: верх—низ. То есть они либо низвергаются с небес, либо существуют в хтоническом образе — как земные гады, или, наконец, сосуществуют на земле с людьми. Но пушкинские бесы кружатся в с р е д и н н о м воздушном мире — ни верха, ни низа. Их пространство — это пространство тумана, мутности, мглы: *Лишь глаза во мгле горят...*

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Мчатся тучи, вьются тучи,
Невидимкою луна
Освещает снег летучий,
Мутно небо, ночь мутна.

(т. 3, с. 178)

Само слово *мутный* тоже является одной из ключевых лексем «Слова».

Тот факт, что «Руслан и Людмила», произведение совсем молодого поэта, как бы переполнено лексемами со значением туманности, мглистости, мрачности, тьмы: то есть это повторяет ландшафтные краски «Слова», что как-то не замечали, привлек к себе внимание одного из пушкинистов (Соловьев С. 1974). Действительно, примеры такого колорита в этой поэме поистине неисчислимы:

*Тень объемлет всю природу;
Плывет луна, царица ночи, / Находит мгла со всех сторон;*

*И тихо на холмах почила;
 Все мрачно, мертвое молчанье;
 Вдруг холм, безоблачной луною / В тумане бледно озарясь, / Яснеет...;
 Напрасно витязь пред собою / В туманы дальние смотрел;
 Тяжелый, пасмурный туман / Нагие холмы обвевает;
 Окружены седым туманом, / Русалки тихо на ветвях...
 В ночной одетая туман, / Луна во тьме перебежала из тучи в тучу... и под.*

С. Соловьев объясняет множественность таких лексем-образов влиянием В. А. Жуковского: «Луна и туман, луна в тумане — частый и, пожалуй, излюбленный образ Жуковского» (там же; 342). Как, однако, представляется, сходства лексического характера здесь могут быть вторичными и объясняться сходством семантики, диктующим план выражения. Итак, эта средняя сфера — мгла, туман, сумрак, несомненно, связаны и в поздней поэзии с каким-то таинственным, иномирным существованием.

Если еще раз обратиться к самой лексеме *мгла* у Пушкина, то она имеет, в-первых, пейзажное значение — и в этих случаях пейзаж очень похож на пейзаж «Слова»:

*Дымится кровию земля, / И села мирные, и грады в мгле пылают;
 Ненастный день потух, / Ненастной ночи мгла / По небу стелется одеждою свинцовой;
 На мрачном небе мгла носилась;
 И мнится, слышу их воинственные клики, / Кругом — густая мгла, — За ним — военный стан;
 Находит мгла со всех сторон / И тихо на холмах почила;
 Луна во мгле перебежала / Из тучи в тучу;
 Поля покрыты мглой;
 Редает мгла ненастной ночи, / И бледный день уж настает;
 Ночная мгла на город трепетный сошла;
 Идет по снеговой поляне, / Печальной мглой окружена;
 Окрестность исчезла во мгле, мутной и желтоватой...*

Второе значение этой лексемы — ментального свойства: мгла — это некая завеса перед миром будущего, то есть миром, еще неизвестным здесь, но уже известным в за-мглой состоянии:

*Грядущие годы таятся во мгле;
 Что день грядущий мне готовит? / Его мой взор напрасно ловит. / В глубокой мгле таится он...*

Мгла у Пушкина заслоняет от людей какие-то факты инобытия, но по отношению к ним она пассивна; она не ведет человека и не уводит его. Эту функцию в его текстах выполняет другое явление, как бы активная ипостась мглы: слово-мифологема — **Метель**.

Б. Образы-впечатления

К образам, навеянным текстом «Слова», относим и образы-впечатления, характеризующие не обязательно человека. Эти образы, возможно, менее убедительны, чем предыдущие, так как менее верифицируемы и более расплывчаты.

Выезд мужа Натальи Павловны на охоту

Этот раннеутренний торжественный выезд:

Пора, пора! рога трубят;
 Псари в охотничьих уборах
 Чем свет уж на конях сидят,
 Борзые прыгают на сворах.
 Выходит барин на крыльцо...
 Чекмень затянутый на нем,
 Турецкий нож за кушаком,
 За пазухой во фляжке ром
 И рог на бронзовой цепочке.
 ...Вот мужу подвели коня,
 Он холку хватъ и в стремя ногу,
 Кричит жене: не жди меня!
 И выезжает на дорогу.

(т. 4, с. 237)

— напоминает и «авторское» начало «Слова» — *Трубы трубятъ въ Новѣградѣ*, и боевую подготовку курян, и выезд вступившего в стремя князя Игоря.

Образ Рыдающего града

Города в «Слове» горюют и радуются, как люди.

А въстона бо, братие, Киевъ туюю, а Черниговъ напастьми; Се у Римъ кричатъ подь саблями половецкими; Страны ради, гради весели.

Образ рыдающего града возникает в тексте ранней редакции «Руслана и Людмилы»:

Злочастный град! Увы! Рыдай,
 Твой светлый опустеет край,
 Ты станешь бранная пустыня...

(т. 4, с. 505)

Существенно для этого образа и то, что он возникает после описания появления восточного врага (печенегов) у стен Киева, а описание войска печенегов, по общему мнению, появилось под действием текста «Слова».

Образ поникших и падающих растений и деревьев

Несколько раз в «Слове» после эпизода трагического и грустного появляется, каждый раз немного варьирующийся, образ склоняющейся перед горем природы:

Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось; Уныша цвѣты жалобою, и древо с тугою къ земли прѣклонилось.

Князь в «Русалке», вспоминая с тоской покончившую с собой возлюбленную, идет к дубу, где она, *Обняв меня, поникла и умолкла*, видимо, он идет на встречу своей смерти.

См. далее у Пушкина:

Идет к деревьям, листья сыплются.

Что это значит? листья,
Поблекнув, вдруг свернулись и с шумом
Посыпались, как пепел, на меня...

(т. 5, с. 445)

Подкреплением к этому является и отмеченное всеми пушкинистами упоминание Бояна в стихотворном отрывке 1826 года, предваряющем работу над «Русалкой», — «Как счастлив я, когда могу покинуть...». Говоря о речи любимой, герой замечает, что сравниться с ней может

... младенца первый лепет
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Баяна Славья гусли...

(т. 5, с. 574)

Возлюбленная в степи

Сознавая некоторую натянутость этого образа, можно представить себе, что восточную любовь — степную Кончаковну, «опутавшую» князя Владимира, напоминают аллюзии знаменитого стихотворения «Не пой, красавица, при мне»:

... Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь, и при луне
Черты далекой, бедной девы...

(т. 3, с. 66)

В. Образ географический — маршрут Лжедмитрия

Необходимо отметить и еще один образ, на этот раз вполне бесспорный, хотя и почему-то не замеченный ранее в полном объеме. И. Новиков (Новиков 1951)

обратил внимание на то, что в «Борисе Годунове» фигурирует равнина «близ Новгород-Северского», то есть вотчины князя Игоря.

Однако, «географический образ» в целом здесь гораздо интереснее. Лжедмитрий — пушкинский герой, бросивший вызов Судьбе, как и Игорь, и предрешенный вестим сном. Его победа связана именно с Новгород-Северским. См. у Пушкина (т. 5, с. 295):

РАВНИНА БЛИЗ НОВГОРОДА-СЕВЕРСКОГО
(1604 года. 21 декабря)

Далее Пушкин просто подряд упоминает топографию «Слова»:

ЛЕС
(Лжедмитрий, Пушкин)
Самозванец
... Чем свет, мы в путь; к обеду будем в Рыльске...

(т. 5, с. 308)

Из Рыльска был один из «молодых месяцев» «Слова», племянник Игоря, князь Святослав Рыльский.

МОСКВА. ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ
(Борис, Басманов)
Царь
Он вновь собрал рассеянное войско
И нам со стен Путивля угрожает...

(т. 5, с. 309)

Именно «со стен Путивля» обращалась с мольбой к трем стихиям-божествам о спасении мужа княгиня Ефросинья Ярославна.

Действительно ли Лжедмитрий проходил эти места? Да, действительно, но он проходил и другие города, и маленькие местечки. Между тем из топонимов, не относящихся к «Слову», назван Пушкиным только один — Севск.

Образы, навеянные Пушкину «Словом», по нашему мнению, этим не ограничиваются. Самое главное место отводится двум образам, как мы считаем, связанным с Бояном и отношением к нему и Автора «Слова», и Пушкина. Этому специально посвящен следующий раздел.

2. Автор «Слова» и Боян

Текст «Слова» начинается с профессиональной задачи: *лепо* или *нелепо* писать по-старому? Можно сказать, что вызов, опираясь на свою профессиональную подготовку, бросают две личности: Автор «Слова» и Игорь. Необходимо сказать, что современники увидели в «Слове» прежде всего — Бояна.

«... Два года тому назад открыли в наших архивах отрывок поэмы, под названием Песнь Игоревых воинов, которую можно сравнить с лучшими Оссиановыми поэмами и которая написана в XII веке неизвестным сочинителем. Слог, исполненный силы, чувства величайшего героизма, разительные изображения, почерпнутые из ужасов природы, составляют достоинства сего отрывка, в котором поэт, представляя картину одного кровавого сражения, восклицает: „Увы, чувствую, что кисть моя слаба, что я не имею дара великого Бояна — сего соловья времен прошедших”. Следовательно, и до него были в России великие поэты, которых творения поглощены веками. Летописцы наши не говорят об этом Бояне, и мы не знаем, когда он жил и когда пел. Но это почтение, воздаваемое его дарованиям таким поэтом, заставляет сожалеть о потере его творений!» — писал Н. М. Карамзин.

Мнения о том, кто же такой Боян и был ли он, до сих пор высказываются самые разнообразные (см.: Энциклопедия, т. 1; 147—153), Трудно даже сказать, понимали его как индивидуальность или как имя нарицательное — от глагола *баяти*. Так, у А. С. Пушкина (см. далее) есть и обе трактовки. В. С. Миллер считает его лицом обобщенно-поэтическим, а само имя — болгарским. Ю. Венелин предполагал, что это болгарский князь Боян Владимирович (умер в 931 г.), слышавший в народе колдуном. А. Вельтман предположил, что это имя Яна Вышатича (*Бо Янь*). Однако ряд достоверных данных свидетельствует о том, что само имя Боян в Древней Руси существовало.

Сложен и запутан вопрос о том, что именно из высказываний Бояна действительно цитируется в «Слове» — от минимизированного числа «припевов» до гипотезы о том, что большая часть «Слова» есть новая роспись по канве текста Бояна, посвященного Святославу Ярославичу и его сыновьям и написанного за сто лет до похода Игоря.

Менее важен для наших задач и детально обсуждаемый вопрос о локальной принадлежности Бояна — где он жил и песнотворцем какого князя он был.

Интересно, пожалуй, следующее: Бояна признали сразу и в существование его поверили, по сути ничем не верифицированные ссылки на него подтверждения не потребовали. Однако чем больше возможных переключек и параллелей со «Словом» находят в текстах самых достоверных, тем жарче становятся споры относительно аутентичности «Слова». Поистине *Nabent sua fata libelli!*

Однако, существует точка зрения, что Боян — это выдумка автора, что он приписывает ему пророчества, которые как бы не берет на себя, что само имя *Боян* выдуманно автором по модели *stajani — Stojan* (Schütz 1968). Шютц считает также, что Велес — это характеризующее и мало значащее «великий» от *vel-ji*, где *сь* — суффиксальное наращение.

Напротив, имя *Боян* возводится к алтайскому имени нарицательному, обозначающему барда, вещуна, оборотня, мага (иногда это прозвище могло становиться именем собственным). «Этот облик унаследован вещим Бояном „Слова” и созвучной легендой о сыне Симеона Болгарского, маге, „способном пре-

вращаться в волка и других зверей”: запись Лиутпранда именует его Баяном, а другие источники — Вениамином, и это имя традиционная библейская ассоциация связывает опять-таки с волком» (Якобсон 1958; 110). Согласно А. Соловьеву, *Боян* — имя восточного происхождения, известное славянам с VII в. до XIII в. и означающее вдохновенного рапсода, осененного «божественным» (*devin*) даром (Soloviev 1964; 55). Он не согласен с тюркоориентированной версией (Menges 1951) о том, что *Боян* соотносится с тюркско-татарским *бан*, то есть «богатый».

Наконец, несомненное влияние Хроники Манассии на поэтику «Слова» привело ряд авторов к идее, что Боян вставлен автором вместо Гомера, упоминаемого Манассией. Тогда, в случае принятия такой гипотезы, проявляется и слово *Троянь* (это прилагательное от Троя). См. об этом: Якобсон 1958; 108, Гаген-Торн 1976, Soloviev 1964.

Несомненность опоры на великого предшественника, то есть в данном случае на Бояна, видят и в слове *почнемъ* в начале текста (Левашова 1983), так как в древнерусском языке *почати* означает «не только приступить к действию», но и «обратиться к истокам чего-либо, к самому исходному моменту» (там же; 123).

Спорным остается даже и вопрос о том, был ли Боян единственным великим поэтом-предшественником автора «Слова». Фраза *Рекъ Боян и ходы на Святы-славля пѣснотворца старого времени Ярославля Ольгова когана хоти* (одно из самых «темных» мест в «Слове») расшифровывалась некоторыми учеными как упоминание о двух певцах: Бояне и Ходыне. И. П. Смирнов считает, что идея двух певцов согласуется с глобальной концепцией парности, конъюнктивности, характеризующей и древнерусскую литературу, и культуру в целом (Смирнов 1991). Д. С. Лихачев не называет имени второго конкретного певца, но считает, что в самом тексте «Слова» есть внутренний диалогизм, что оно рассчитано на исполнение двумя певцами, в двух разных манерах, архаической, украшательской, и второй, более сдержанной, фактически повествовательной (Лихачев 1984).

Не считая возможным обсуждать вопрос о легендарно-мифическом Ходыне, остановимся на бесспорном для текста Бояне.

Перед современным читателем при анализе его образа встают три простых вопроса:

1. Можно ли себе представить, как на самом деле относился автор «Слова» к Бояну?

2. Как выглядят Боян и его творческий метод, исходя только из текста «Слова»?

3. Что мы сейчас можем сказать об этом поэтическом споре?

В последнее время все больше ученых соглашается с тем, что автор спорит с Бояном, не принимает его манеру. Наиболее отчетливо эту точку зрения высказал А. С. Пушкин. Так, первую фразу «Слова», обычно считающуюся вопросительной:

Не лѣпо ли ны, бяшетъ, братие,
 начяти старыми словесы
 трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ,
 Игоря Святъславлича?

— Пушкин понимает как утвердительную, с утвердительным *ли*. «Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец „Слова о полку Игореве” не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна». Именно литературной полемикой считают начало и зарубежные слависты (Braun 1966, 1968). Спор с Бояном считает и смысловым центром «Слова» Н. Гаген-Торн (Гаген-Торн 1976). Этот спор с Бояном проходит через весь текст «Слова»: поэма начинается Бояном и кончается Бояном. «Такая рефлексия, сколько известно, несвойственна народной поэзии», — замечает А. А. Потебня.

Эпоха песнопения Бояна как будто бы вполне определена: он воспевал битву Мстислава с Редедей Касожским (1022), старого Ярослава (умер в 1054 г.), Красного Романа (умер в 1079 г.), Всеслава Полоцкого (умер в 1101 г.). Считают, что он был певцом и Олега Святославича, утвердившегося в 1094 г. на черниговском престоле.

Итак, хотя Автор был отделен от него более чем столетием, он спорит с Бояном.

Посмотрим сначала, как он характеризует его манеру и как он его именует.

Автор сообщает, что песнь должна начинаться по былинам сего времени, а не по замыслению Бояна. И далее существенной представляется частица *бо*: *Боянь бо вѣщий, аще...* Частица *бо* — поясняющая. Может быть, она тут является ключом к пониманию текста — не нужно петь слогом Бояна, потому что он пел следующим образом: **он растекался мыслию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками**. Е. Хофман обращает внимание на то, что Боян в тексте часто как бы «окружен животными» (Hofman 1923). Он пускал десять соколов на стаю лебедей. Тому соколу, который долетал до лебеди, та и пела песнь. Но это были не соколы, а его вещие персты, *которые он на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху*. Струны рокотали сами, соколиный полет не имел заданного порядка. Создается впечатление некоторого отсутствия творческих мук. Далее автор показывает, как мог бы Боян пропеть песнь Игорю — *Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, галицы стады бѣжатъ къ Дону великому*. Отрицательные сравнения с параллелизмом характеризуют, как правило, архаическую фольклорную манеру повествования, в «Слове» они отсутствуют, кроме: *А не сороки втроскоташа, на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ*. Е. Хофман также говорит о характерной для Бояна бинарной модели, то есть параллелизме однородных членов, даже с повторениями лексем. Сравнения с животными всегда парны. Возможны для него параллельные структуры и трехчленные, и даже четырехчленные. М. Бра-

ун считает манеру Бояна слишком «орнаментальной» и слишком «метафорической».

Автор пишет о возможном начале *Пѣти было*... И далее *Чи ли въспѣти было, вѣщей Боянъ, Велесовъ внуче*... Инфинитив обозначает долженствование, подлежащность. Таким образом — это как бы приглашение к новой манере — «А может быть, лучше было бы воспеть так-то...» Далее следует:

*Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Киевѣ;
Трубы трубятъ въ Новѣградъ — стоять стязи въ Путивль...*

(см. далее анализ этого фрагмента А. С. Пушкиным как демонстрации именно этой новой, «авторской», манеры).

В качестве именно «бояновского стиля» в «Слове» демонстрируется тяга к афористике. Бояну приписывается суждение о Всеславе Полоцком:

Ни хитру, ни горазду,
ни птицю горазду
суда Божиа не минути.

Вс. Миллер замечает по поводу этой фразы: «Ему (Бояну. — Т. Н.) приписывается пословица, одно из тех бесчисленных изречений житейской мудрости, которых авторы никому не известны» (Миллер 1877; 127). Последнее высказывание Бояна: *Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы*. Трудно представить себе, что даже в XII веке такое высказывание могло казаться мудрым и/или оригинальным. В уже упоминавшейся работе Е. Хофман именуется пословицы-максимы Бояна слишком уж тривиальными (кларр).

Как же сам Боян именуется? Сначала он — Боян — *вещий*. Он соловей старого времени, внук Велеса. Правда, И. П. Смирнов полагает, что термин «внук», как правило, в «Слове» несет негативную окраску, и это не похвала (Смирнов 1991; 44).

Во второй половине текста он уже *смысленый*. Его сообразительность (то есть смышленость) состоит в создании предсказания о том, что Божьего суда никому не миновать. В самом конце текста он уже называется *пѣснотворцемъ старого времени*. Постепенное снижение этих номинаций кажется неслучайным.

Боян — вещий, ведающий, все знающий, прорицатель. И в то же время, как он говорил, он помнил усобицы былых времен: *Помняшетъ бо, рече, пѣрвыхъ времянь усобицѣ*. Это *рече* заставляет задуматься над вопросом, а помнил ли он их на самом деле? А может быть, его панегирики были столь трафаретны, что, в сущности, годились для любого князя. «И все-таки в Бояновых песнях, обращенных к князьям, не было порывов романтической фантазии, философской глубины или лиризма. Содержание этих песен, относившихся к самому консервативному жанру скальдической поэзии, скудно и трафаретно, окаменело-схематично и стереотипно» (Шарыпкин 1976; 21).

Именно опираясь на художественные критерии, А. Н. Веселовский считал Бояна не реальным лицом, а болгаро-византийской моделью-маской: «Главный аргумент против русского Бояна — это тип искусственного, школьного песнотворца, каким он нам является» (Веселовский 1877; 279).

Итак, несомненно, однако, что реальный Боян был придворным поэтом и воспевал князей. А. Соловьев уверен в том, что объекты его возвеличения были людьми достойными (Soloviev 1964; 51).

Отвлекаясь от решения не выходить за пределы текста, посмотрим, кого же он воспевал — как сообщает нам об этом Автор. Это: старый Ярослав, храбрый Мстислав и Красный (Красивый) Роман. Ярослав и Мстислав были родными братьями. Роман был внуком Мстислава, то есть внучатым племянником Ярослава. Оба брата враждовали вплоть до кровных битв — например, битвы при Листвене 1024 г., когда Ярослав бежал. Роман Красивый привел на Русь половцев.

Итак, Боян воспевал следующих персонажей: двух ненавидящих друг друга братьев, и потомка одного из них, приведшего на Русь врага.

Мстислав именуется «храбрым». Какова же его храбрость? Приводим рассказ об упомянутой в тексте его битве с Редедей Касожским в русском переводе Д. С. Лихачева:

Сказал Редедя Мстиславу: «Чего ради будем губить мы наши дружины? Сойдемся и поборемся сами, и если одолеешь ты, то возьмешь имущество мое, и жену мою, и детей моих, и землю мою: если я одолею, то я возьму твое все». И сказал Мстислав: «Да будет так». И сказал Редедя Мстиславу: «Не оружием будем биться, но борьбою». И схватились бороться крепко, и в долгой борьбе стал изнемогать Мстислав, ибо был велик и силен Редедя. И сказал Мстислав: «О пречистая Богородица, помоги мне! Если же одолею его, воздвигну церковь во имя твое». И, сказав так, бросил его на землю. И выхватил нож, и зарезал Редедю...

(Памятники литературы Древней Руси. 1978; 161)

Так, неверный слову, побеждает обманом Мстислав. Автор ведь говорит *зареза*, а не выбирает другой синоним.

Обратимся к триаде князей в «Слове», противопоставляемых таким образом этой триаде. Это тоже два брата, и потомок одного из них, и племянник другого: Игорь, Всеволод и Владимир. Братья нежно любят друг друга, дружны, и в тексте это подчеркивается: *Одинъ братъ, одинъ свѣтъ, свѣтлый ты, Игорю! Оба есвъ Святъславличи!* Таково же и отношение Игоря к брату: *Игорь плъкы заворочаетъ: жаль бо ему мила брата Всеволода.* Храбрость буй-тура Всеволода безупречна, и его воинская отвага описывается подробно и восторженно.

Итак, образ Бояна в тексте как будто бы снижается. Но остается соперничество авторское. Примечательно, что начальные контексты, связанные с Бояном, Автором потом дублируются и редуцируются.

См. о манере Бояна:

Боянь бо вѣщій,
аще кому хотяше пѣснь творити,
то растѣкашется мыслию по древу,
сѣрымъ влъкомъ по земли,
шизымъ орломъ подѣ облакы.

Далее Автор повторяет:

О Бояне, соловию стараго времени!
Абы ты сиа плѣкы ущекоталь,
скача, славию, по мыслену древу, лѣтая умомъ подѣ облакы,
свивая славы оба полы сего времени,
рища въ тропу Трояню чресь поля на горы.

Говорилось о тернарности поэтики «Слова» в связи с полиассоциативностью связи мыси (мысли) и мыси (белки). В указанном выше как бы «дублированном» тексте мысль уже пересекается с *мысленымъ древомъ* и *умомъ подѣ облакы*. Во втором тексте конкретные образы-субъекты действия исчезают. Но они восстанавливаются по предикатам:

Кто скачет по древу? — Белка.

Кто летает под облаками? — Орел.

Кто рыщет по тропе? — Волк.

Но добавление *мыслену, умомъ, времени* показывает здесь, что эти образы на самом деле суть символы.

Итак в первом тексте Автор описывает стиль Бояна через конкретные образы, во втором же, «авторском», дает понять, что на самом деле эти образы символичны.

Соперничество с Бояном касается и звукописных компонентов. Так, при переходе от второго, реконструируемого как «бояновского», зачина, к началу в духе авторской поэтики тип звукописи меняется. Автор как бы «подхватывает» фоннику:

Колони, ржутъ за Сулою: К-З-С;

Звенить слава въ Киевѣ: З-С-К;

Но — *Трубы трубятъ въ Новѣградѣ:* ТР-ТР-Р;

Стоять стязи въ Путивлѣ: СТ-СТ-Т.

Такой же прием синтаксического и фонического «подхвата» применяется и в конце текста «Слова»:

Рекъ Боянь... Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы.

См. фразу-подхват:

Солнце свѣтитя на небесѣ, Игорь князь въ Руской земли.

На глубокую связь изменений русского языка в XII веке, изменений синтактико-метрической структуры основного текста и метрики «цитат» из Бояна, обратил внимание В. В. Колесов, исследовавший акцентно-ритмическую природу текста «Слова». Выводы В. В. Колесова:

«Все стихи-цитаты из Бояна строятся по парному принципу, что весьма характерно для древнеславянской языческой поэзии и долго сохранялось (в виде отрицательного сравнения) в русской народной поэзии. Напротив, если поэтический повтор принадлежит самому автору „Слова“, такие стихи состоят из трех членов сопоставления, что стало обычным значительно позднее. Это еще одно свидетельство того, что автор „Слова“, отталкиваясь от старой поэтической традиции, желая петь „не по замыслению Бояна“, но хорошо зная эту традицию, стоит в самом истоке новой для восточных славян поэтической техники, а необходимость изменений диктуется существенными изменениями русского языка, произошедшими на протяжении XII века» (Колесов 1983).

Итак, Автор — поэт нового времени — вызывает на состязание старую поэтическую манеру, персонифицированную в Бояне, кто бы этот Боян ни был.

3. Пушкин и Боян

1. Прежде всего нужно сказать, что Бояну неслыханно повезло. Видимо, ему везло и при жизни. Видимо, это гипнотическое признание и беспроигрышное везение и заставило автора с ним состязаться и демонстрировать ту иронию и ту пышную хвалу, о которой писал Пушкин.

Очень тонкий писатель Н. М. Карамзин, одним из первых упомянувший о «Слове» в «Spectateur du Nord» за 1797 г., в основном писал о Бояне: «... поэт, представляя картину одного кровавого сражения, восклицает: „Увы! чувствую, что кисть моя слаба, что я не имею дара великого Бояна — сего соловья времен прошедших“. Следовательно, и до него были в России великие поэты, которых творения поглощены веками. Летописцы наши не говорят об этом Бояне, и мы не знаем, когда он жил и когда пел. Но это почтение, воздаваемое его дарованиям таким поэтом, заставляет сожалеть о потере его творений». С первой декады XIX в. начинается длительный и неоспариваемый культ Бояна. Так, тот же Карамзин издал в 1801 г. первую часть «Пантеона российских авторов», где писал: «Мы не знаем, когда жил Боян и что было содержанием его сладких гимнов; но желание сохранить имя и память древнейшего русского поэта заставило нас изобразить его в начале сего издания. Он слушает поющего соловья и старается подражать ему». Хотя в самом «Слове» достаточно ясно сказано, о чем пел Боян и каких князей он воспевал непосредственно (т. е. по этому можно примерно судить и о том, когда он жил), ему приписывали самые разнообразные и противоречивые поэтические ипостаси. Так, в «Песнях, петых на состязаниях в честь древним славянским божествам» А. Н. Радищева Боян явля-

ется вдохновителем новгородской свободы. Но, как отмечает Ф. Я. Прийма, «большинство писателей 1800-х, 1810-х и даже 1820-х годов, рассматривающих поэму об Игоре в походе с позиций сентиментализма, выделяли в ней лишь образ Бояна... и воспринимали его как певца любовных наслаждений» (Прийма 1980; 131).

В 1808 г. представлением «Боян», автором текста для которого являлся С. Н. Глинка, открылся Петровский театр. При звуках музыки раздвигался занавес и на Олимпе, окруженном лесом, вместе с древнегреческими божествами восседал Боян.

Итак, Боян предстал то певцом любви и наслаждений (например, у А. А. Дельвига), то поэтом-гражданином (В. А. Жуковский, П. А. Катенин, К. Ф. Рылеев, А. И. Одоевский, В. К. Кюхельбекер, Никита Муравьев и др.). См. у Кюхельбекера стихи о невозможности видеть рядом с собой Пушкина:

Тебя, мой огненный чувствительный певец
Любви и доброго Руслана, —
Тебя, на чьем челе предвижу я венец
Арьоста и Парни, Петрарки и Баяна.

Иначе говоря, в начале XIX в. Бояном безудержно восторгались не только поэты, но и филологи. Для М. А. Максимовича «Слово о полку Игоре в» важно «как единственный источник, в котором сохранилось известие о славном веще Бояне... Он (Автор. — Т. Н.) так любит, так величает Бояна, как Песнотворца старого времени, прежних князей и прежней славы Русской» (Максимович 1836; 457). Много лет спустя Вс. Миллер писал, что Автор ученически следует направлению Бояна: «Начав во вкусе Бояна, автор должен был выдержать направление и кончить тем же почтенным именем» (Миллер 1877; 125). Таким образом, как пишет один из самых внимательных исследователей стиля «Слова», Д. Шарыпкин, «постоянно находились критики, которые, говоря о Бояне, оставляли академическую сдержанность и преисполнялись пиитическим восторгом. Тогда все, что сказано в „Слове“ о Бояне, принималось как собрание комплиментов, идущих один за другим со все возрастающей интенсивностью» (Шарыпкин 1970; 15).

(Сведения, излагаемые далее, во многом заимствуются нами из монографии Ф. Я. Приймы «„Слово о полку Игоре в“ в историко-литературном процессе первой трети XIX века»: Прийма 1980.) Наиболее интересными и показательными для общекультурной картины российского общества являются, по нашему мнению, обращения к «Слову» у писателей не первого ранга (кроме Пушкина, о громадном влиянии «Слова» можно говорить и в связи с Н. В. Гоголем — специальные главы о том и другом в книге Ф. Я. Приймы тоже представлены).

Центром этого «культа» был, разумеется, Боян. Уже в 1798 г., еще до издания «Слова» 1800 г., вышли «Песни Владимиру киевских баянов Нарезного», где «баян» было словом собирательным. О Бояне же как о великом певце писал

Н. М. Карамзин в изданной в 1801 г. первой части «Пантеона российских авторов». В издание был включен и гравированный «портрет» великого Бояна. А. Х. Востоков, также считая имя Боян обозначением древнего певца, публикует в 1804 г. повесть «Певислад и Зора», где герой — один из участников придворного хора Баянов. Влияние текста «Слова» есть и в стихотворении Востокова «Русские реки в 1815 г.». Почему-то (или это вполне отвечало духу времени) с Бояном сравнивали Державина: К. З., А. Палицын, А. С. Шишков и др. (Прийма 1980; 131). Некоторая размытость образа Бояна, близкая к трафаретной маске, позволяла более простодушным, чем А. С. Пушкин, авторам видеть в Бояне любой облик вплоть до прямо противоположного. Певцом новгородской свободы его видит А. Н. Радищев в «Песнях, петьх на состязаниях в честь древним славянским божеством» (1801—1802). Такое же мнение о Бояне было высказано в «Речи о пользе вообще слова» И. И. Чернявского, профессора университета в Вильно (1803). Иные же считали Бояна как бы ипостасью певца любви — Леля (например, А. А. Дельвиг — в черновике недописанного стихотворения «Рождение Леля»). Сентименталистски изображен Боян и в оперно-музыкальном представлении «Добрыня» Г. Р. Державина (1806). Апофеозом Бояна можно считать театральное представление «Боян» 1808 г., автором текста для которого был С. Н. Глинка. Боян восседал при открытии занавеса на Олимпе вместе с богами. Затем, с золотой лирой в руке, он сходил с Олимпа и обращался к Гению России (символ Родины) с патриотическим призывом. Свободно мешая эпохи, Боян взывал и к греческим Музам, и к Петру I, и к Великому Новгороду, и к Суворову (и ко многим другим). Война 1812 года усилила интерес к «Слову». О нем пишет Жуковский в «Певце во стане русских воинов» и в стихотворении «К Воейкову»; наконец, в 1818—1819 гг. Жуковский перевел «Слово о полку Игореве».

В «Русском вестнике» за 1814 г. был помещен анонимный «Отрывок из повести о князе Мстиславе Великом, победителе половцев», автором которого был, как установил в 1954 г. Ф. Я. Прийма, Н. Кугушев из Тамбова. Образы «Слова» присутствуют и в стихах Ф. Н. Глинки, и в эпических стихотворениях П. А. Катенина.

Важнейшим замечанием Пушкина, которое и до сих пор осталось без серьезного внимания, было замечание о том, что ли в первой фразе означает не вопрос, а подтверждение, и тем самым автор «не преминул объявить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна». (О пушкинском разборе писали немало, однако не обратили внимания на очень тонкое замечание поэта в примечании, что один из первых переводчиков «Слова», А. С. Шишков, перевел ли как вопрос, так как именно ему «было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя „Слова о полку Игореве“ предпочитали былины своего времени старым словесам».) Ли утвердительное Пушкин видит как частицу типа же с разными значениями. Но — главное — снятие установки на вопросительность, по его мнению, лишает текст

противоречивости, так как сначала поэт хочет идти по следам Бояна, а потом объявляет, что нужно не по замыслению Бояна. «Явное противуречие!.. Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании...»

О фразе *Боянь бо въщий*... Пушкин пишет: «Не решу, упрекает ли здесь Бояна или хвалит, но, во всяком случае, поэт приводит сие место в пример того, каким образом слагали песни в старину». Очень подробно Пушкин разбирает следующую фразу, где говорится об усобицах (Пушкин понимает это именно как брань, а не междоусобие) и о «соколах и лебедях».

Сейчас, через полтора столетия, все настолько привыкли к метафорическому пониманию этого образа, что даже странно читать полемику Пушкина с теми, кто полагал, что военачальники или сами стихотворцы пускали соколов на лебедей и так именно и соревновались (так считали Шишков и Пожарский). «Поэт изъясняет иносказательный язык соловья старого времени, и изъяснение столь же великолепно, как и блестящая аллегория, приведенная им в пример». Далее Пушкин поясняет слово *истягнул*, говорит о суеверии, связанном с затмением солнца. По поводу текста о Бояне — «О Бояне, певце старого времени...» — Пушкин высказывается так: «...если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу». Одним из наиболее трудных и «темных» мест «Слова» является идентификация Трояна (все высказанные по этому поводу гипотезы здесь обсуждать не будем). Пушкин честно признается, что он не может ответить на этот вопрос. И здесь мимоходом он роняет фразу, проливающую, быть может, свет на твердый и кажущийся иногда предвзятым скептицизм по отношению к «Слову»: «Прочие толкователи не последовали скромному примеру: они не хотели оставить без решения то, чего не понимали».

Один из самых глубоких исследователей «Слова», В. Ржига, интерпретировал начальный текст памятника как разные «пробы пера» — в духе Бояна, в духе воинских (то есть трудных) повестей. Собственно начало он видел со слов *Комони ржуть за Сулюю; звенить слава въ Киевѣ*. Это доказывается и лингвистически, и фонопоэтически. Именно это увидел и Пушкин: «Теперь поэт говорит сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени».

2. Тема «Пушкин и его взгляд на отношения общества и поэта» — одна из любимых в пушкинистике, наиболее разработанных и освещенных наиболее серьезно. Поэтому в данном разделе предлагается сообщение об эволюции Пушкина самое краткое и схематичное, но без него нельзя будет понять и эволюционирующее отношение Пушкина к поэту типа Бояна. Эту эволюцию мы будем рассматривать в хронологии его творческого пути (необходимо — относительной!) в отношении к следующим ключевым мировоззренческим концептам:

1) официально-придворная, государственная ангажированность и признанность;

2) допустимость внешнего заказа (внешней темы), откуда бы он ни шел;

3) необходимость (и/или достаточность?) высокого уровня техники;

4) существенность/несущественность реакции на творения внешнего мира (хотя бы на уровне не-я).

Еще и еще раз нужно оговорить то известное обстоятельство, что «новое» в мировоззрении Пушкина появлялось, если судить по его же текстам, не строго шаг за шагом, а часто и на сопровождающем фоне «старого», которое, может быть, уже становилось чем-то вроде чисто внешней литературной маски.

Для юного Пушкина как будто бы существует два типа поэтов. Один — это поэт общественного служения, воспевающий подвиги царей и героев. Такой поэт, естественно, окружен уважением общества и государственной и народной признанностью. Поэт такого типа обычно **бряцает**:

Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громкозвучных лир.

(«Воспоминания в Царском Селе», 1814 г., т. 1, с. 77)

Так же естественно, что поэты такого типа воспевают войну, например, тот же Державин:

Скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу товарищей, с душой воспламененной,
Греми на арфе золотой!
Да снова стройный глас героям в честь прольется,
И струны гордые посыпят огонь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

(там же, с. 80)

Но для юного Пушкина существовал и иной тип поэта: непридворный, социально свободный, житейски «ноншалантный». Такие поэты воспевают свои чувства, и в первую очередь — любовь. Так, Пушкин призывает Батюшкова:

Настрой же лиру, по струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний зефир по цветам.
Любви нет боле счастья в мире:
Люби — и пой ее на лире.

(«К Батюшкову», 1814 г., т. 1, с. 69)

Итак, каким же поэтом быть лучше? Создается впечатление, что в юности для Пушкина — *tertium non datur*.

Ты хочешь, чтобы славы,
 Стезею полетев,
 Простясь с Анакреоном,
 Спешил я за Мароном
 И пел при звуках лир
 Войны кровавый пир.

(«К Батюшкову», более поздний текст, т. 1, с. 112)

Амплуа поэта в принципе может меняться — так случилось, например, с Денисом Давыдовым при наступлении мирного времени:

С веселых струн во дни покоя
 Походную сдувая пыль,
 Ты славил, лиру перестроя,
 Любовь и мирную бутылъ.

(«Денису Давыдову», 1821 г., т. 2, с. 90)

Итак, как же соотнести это деление с перечисленными четырьмя оппозициями?

Оппозиция **первая** — придворный поэт уважаем и многого достоин; веселый поэт любви тоже имеет право на существование, но уже, видимо, меньше — на общественное уважение.

Оппозиция **вторая** — внешний заказ допустим для поэтов обоих типов — ведь и приказ петь любовь тоже по сути есть некий диктат.

Оппозиция **третья** (техника) — в этот период для Пушкина она не так важна.

Оппозиция **четвертая** — внешняя реакция (хотя бы друга или любимой) не отрицается, для поэта она важна.

Каким же он видит в это время «народного певца»? Безусловно, он окружен ореолом общепризнанности:

И юные сыны воинственных славян
 Спокойной праздности с досадой предадутся,
 И молча некогда вдоль старца соберутся,
 Преклонят жадный слух, и ветхим костылем
 И стан, и ратный строй, и дальний бор с холмом
 На прахе начертит он медленно пред ними,
 Словами истины, свободными, простыми,
 Им славу прошлых лет в рассказах оживит
 И доброго царя в слезах благословит...

(«Александрю», 1815 г., т. 1, с. 147)

Правда, уже в 1814 г. в ранней редакции стихотворения «Батюшкову» Пушкин изображает народного (или псевдонародного) певца весьма иронически (предполагается, что здесь он имел в виду С. А. Ширинского-Шихматова):

...Что неуклюжий славянин,
 Изменник радостных дружин,
 Варяжски песни затевает
 Теперь на дудочке простой
 И слогом древности седой
 В деревню братьев приглашает.
 Сошел с ума — и в пастухи!
 Вот какво писать стихи!

(т. 1, с. 447)

У зрелого Пушкина система указанных оппозиций перестраивается. С. Г. Бочаров считает, что резкий перелом наступает после 1824 г. (Бочаров 1974; 9). Его взгляд на место поэта и его право на свободу внутреннюю и внешнюю выражено во многих, всем хорошо известных стихах (только набор их по разным исследователям меняется). Более поздние пушкинисты непременно включают в этот перечень знаменитое стихотворение «каменноостровского» цикла — «Из Пиндемонти».

Обратимся снова к перечисленным выше концептам-оппозициям. Третья из них (начнем с нее) — это т е х н и к а , р е м е с л о. Как будто бы, покинув юность, Пушкин не отрицает цеховой принадлежности поэтов.

В письме А. И. Казначееву в 1824 г. он пишет:

Ради Бога не думайте, чтоб я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека: оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющей мне пропитание и домашнюю независимость.

(май 1824 г., т. 10, с. 87)

Однако Ремесло — это ведь и Мастерство. Обратимся поэтому к «пушкинской» речи А. А. Блока: «Поэт — сын гармонии: и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, внести гармонию во внешний мир <...> Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную осязательную форму слова: звуки слова должны образовать единую гармонию. Это — область мастерства» (Блок 1962, т. 6; 161 и далее).

И в этой связи важно сказать о развернувшейся дискуссии о том, почему самим Пушкиным в «Памятнике» были сняты строки:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что звуки новые для песен я обрел.

Они были заменены им на общеизвестные:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Первым к этому расхождению серьезно подошел Владимир Соловьев, предположивший, что для Пушкина существовали два посмертных адресата, к которым он и обращался. Первый — поэты-избранники, способные оценить его, Поэта. Второй адресат — это народ, видящий в поэзии только содержание и неспособный понять поэта как творца: «„Памятник” — самое важное для поэта — поэтическое вдохновение, заветная лира. Это и есть первое и главное основание его славы среди избранников: *И славен буду я / Доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит.* — Но поэт, прежде забывавший даже о среде избранников, утвердившийся в своем безусловном одиночестве — *ты царь, живи один,* — он утверждает свою всенародную славу <...> Поэт знает <...> для него более ценно нравственное воздействие поэзии: *И долго буду тем любезен я народу...*» (Соловьев Вл. 1991; 369—370).

Мысль Вл. Соловьева была подхвачена и развита М. Гершензоном: «Пушкин отверг эту строчку, потому что она приписывала народу такое суждение о поэзии, до которого он едва ли способен возвыситься: он видит и ценит в поэзии гораздо более деловые ценности — „что чувства добрые я лирой пробуждал”» (Гершензон 19196; 53).

Ставший более резким по сравнению с мыслью Вл. Соловьева, этот тезис М. Гершензона много лет спустя вызвал яростную отповедь М. П. Алексеева: «Этих цитат вполне достаточно, чтобы представить себе весь ход мыслей Гершензона и всю сугубо идеалистическую и реакционную подоплеку его догадок, меньше всего отвечавших действительному содержанию пушкинского стихотворения. Перечитывая его статью в наши дни, поражаешься не тому, что в ней есть, а тому, какую длительную полемику она вызвала, какие странные и поистине бесплодные допущения она породила, насколько своим ложным мудрствованием она усложнила и запутала естественное понимание „Памятника”» (Алексеев 1967; 50).

Но является ли техника сама по себе, техника, за которой стоит труд, тяжелый и серьезный, явлением самодостаточным?

Ответом на это можно считать образ Сальери. Этот пушкинский образ, по нашему мнению, в своей далеко идущей прогностичности, потрясающей ясности видения двух полярных миров созидания, еще не оценен полностью.

Артист-ремесленник — не просто отброшенный историей соперник, он о п а с е н. Представляется, что в мире существует два вида о б у ч е н и я. Первый. Сначала так, потом так, потом так... Все выверено точно! Второй. Делай, как я. Смотри на меня. И здесь обучиться может только равный или почти равный, и в этом мире царит Божество интуиции. Сальери — и индуктивист, и позитивист. Правда Неба и Земли сводится для него к простой гамме — к Ясности. Правда Неба предполагается — им! изоморфной правде Земли. И тут Сальери предвосхищает образы более поздние — Базарова, Писарева, так не любившего Пушкина, эпоху Stoff und Kraft и даже позитивизм середины XX века. Он же отражает и прозрачный мир раннего и позднего европейского

Просвещения. Но Сальери — еще опаснее. Впечатления о мировом космосе у него личные: **Для Меня все это ясно...**, но выводы у него — общесоциальные. Для таких людей **Для Меня** — это значит: **Для Других, Для Всех**. Поэтому он уже заранее самооправдан социальной миссией:

Я избран, чтоб его
Остановить — не то, мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки.

(т. 5, с. 362)

Именно так всегда действовали от-народа-идушие герои, например, Брут, убивший Цезаря тоже во имя Всех (вплоть до примеров самых недавних).

Объясняя ментальность подобных людей, М. Гершензон пишет: «Сальери... убивает в сущности не Моцарта, а Бога (небо) и спасает не себя, а человечество в его целесообразном труде... На такого, как он сам, „жреца, служителя музыки“ у него верно не поднялась бы рука, потому что для него человек — только геометрическая точка целесообразных усилий, там для него — человек, где таких усилий нет,— там марево, тень человека. Таков в его глазах Моцарт, залетный херувим, но только не живая личность» (Гершензон 1919а; 116—117).

В другой работе «Тень Пушкина» (Гершензон 1926а) М. Гершензон подробно разбирает все случаи упоминания «теней» в пушкинских текстах и приходит к выводу, что они гораздо более «реальны», чем кажется. Эта мысль была разработана далее С. Сендеровичем (Senderovich 1980), сформулировавшим некую более абстрактную идею «тени» в образах пушкинской поэзии (как отражение внутренних «теней» поэта) и соотнесшим идею «тени» со статуарным мифом Пушкина у Р. Якобсона. Продолжая эту идею, можно предположить, что «теневого остаток» — это и есть загадочное Нечто, что отличает гениальность от способности и что постигается только интуицией. Творения бездарностей не отбрасывают «тени», потому что их нет в душе их творца.

Пушкин сам почти сформулировал это. Видимо, он много думал над проблемой: дано/не дано. «В пьесе Пушкина мы имеем не историческую драму, основанную на темном биографическом эпизоде, но символическую трагедию: Пушкин воспользовался фигурами двух композиторов, чтобы воплотить в них образы, теснившиеся в его творческом сознании. Истинная же тема его трагедии не музыка, не искусство и даже не творчество, но сама жизнь творцов и притом не Моцарта или Сальери, но Моцарта и Сальери» (Булгаков С. 1990). Таким образом, противопоставление этих двух образов приобретает характер философской антиномии. Дж. Волль считает, что именно Сальери — главный герой трагедии (Woll 1976). Она даже сравнивает Сальери с Великим Инквизитом в легенде Достоевского. Но, по ее мнению, Великий Инквизитор искренен и последователен, Сальери — нет, его раздирают сомнения (Woll 1976; 259).

Итак, Моцарт — это точка отсчета, таящая для Сальери сомнения в самом себе. Сальери способен к обучению: он готов был перенять «пленительные тай-

ны великого Глюка». Но если «этому» обучиться нельзя, тогда конец всем Сальери. Возможен и еще один путь — преклонения перед божественным даром Моцарта, делающим его жрецом Музыки. Но тогда он и вести себя должен соответственно. Но Моцарт прост, и божество его *проголодалось*. Пушкин подмечает еще одну, внешнюю, особенность людей бездарных: они не умеют (или не хотят) отделять себя от профессионального дара: Сальери ведь практически все время говорит о себе.

Итак, техника, ремесло недостаточны для истинного творца. Для него нужно иное. Но на этом этапе еще остается позитивной оппозиция вторая — *з а к з* и его допустимость. Ведь и Моцарт может написать «по заказу».

У Пушкина возникает новое противопоставление: не **уважаемый** пиит, бряцающий при дворе монарха, противопоставляется беззаботному певцу любви, а **свободный** художник противостоит осыпанному наградами придворному барду. Именно так отличается Мицкевич от поэта типа Саади:

Любили Крым сыны Саади,
 Порой восточный краснойбай
 Здесь развивал свои тетради
 И удивлял Бахчисарай.
 Его рассказы расстилались,
 Как эриванские ковры,
 И ими ярко украшались
 Гиреев ханские пиры.
 Но ни один волшебник милый,
 Владелец умственных даров,
 Не вымышлял с такою силой,
 Так хитро сказок и стихов,
 Как прозорливый и крылатый
 Поэт той чудной стороны,
 Где мужи грозны и косматы,
 А жены гуриям равны.

(«В прохладе сладостной фонтанов»,
 1828 г., т. 3, с. 81)

Официальная ангажированность на этом этапе отрицается, но народный певец еще пока окружен уважением; более того, он, может быть, даже больше заслуживает уважения, чем пиит придворный:

Блажен в златом кругу вельмож
 Пиит, внимаемый царями.
 Владея смехом и слезами,
 Приправя горькой правдой ложь,
 Он вкус притупленный щекотит
 И к славе спесь бояр охотит,

Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы,
Меж тем за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.

(«Блажен в златом кругу вельмож», 1827 г.,
т. 3, с. 33)

Однако и в народном певце есть что-то жалкое: он, хотя и не бряцает, но — бренчит:

Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит.

(«Полтава», 1828 г., т. 4, с. 303)

Таким образом, Пушкин начинает отказывать поэту в любой ангажированности.

Этап следующий — отказ от з а к а з а, что не тождественно ангажированности. На среднем, промежуточном, этапе поэт у Пушкина все же может заказу следовать, но заказу как просьбе, мольбе и — по велению сердца.

Именно по заказу-просьбе поет в «Каменном госте» Лаура. Но и ее собственное пение — это не только выполнение просьбы, но и ответ ее сердца:

Я вольно предавалась вдохновенью,
Слова лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце.

(«Каменный гость», 1830 г., т. 5, с. 380)

Итак, поэт не должен следовать внешнему заказу и даже внешней теме. И в этом отношении интересна судьба знаменитого отрывка, впервые появившегося в «Езерском» (1832—1833) и как бы искусственно в него вставленного:

Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет пыль и лист несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На ближний пень. Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?

Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.

(т. 4, с. 347)

В «Египетских ночах» (примерно, октябрь—ноябрь 1835 г.) конец этого отрывка меняется:

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона, избирает
Кумир для сердца своего.

(т. 6, с. 380)

А. Ильичев, занимавшийся этим отрывком, считает, что поэт сопрягает здесь одновременно две точки зрения — толпы, видящей лишь диссонанс в поступках персонажей, и поэта, способного увидеть во всем этом гармоническую целесообразность (Ильичев 1991). Идя далее, Пушкин совершает еще один шаг: поэт не должен принимать заказную тему даже у себя. Он не волен в своем творчестве: творчество управляет им, а его доля — пассивная реципиентность:

Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой. Вдохновения не сыщешь: оно само должно найти поэта.

(«Путешествие в Арзрум», т. 6, с. 640)

Пушкин формулирует эту разницу в позиции на новом этапе в терминах профессиональных — как разницу между восторгом и вдохновением:

Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного.

(т. 7, с. 41)

Именно в этом коренится различие импровизатора, пусть даже талантливо-го, и Чарского — поэта-аристократа:

Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед Вами и Вы обретаете новые, неожиданные слова для воплощения видений Ваших, когда стихи легко ложатся под перо Ваше и звучные мысли легко бегут навстречу стройной мысли.

(т. 6, с. 373)

Об этой поздней свободе Пушкина даже и от себя самого пишет Вл. Соловьев: «Пушкинская поэзия есть поэзия по существу и по преимуществу — не до-

пускающая никакого частного и одностороннего определения» (Соловьев Вл. 1991; 318). «... Настоящая чистая поэзия требует от своего жреца лишь неограниченной восприимчивости душевного чувства, чутко послушного высшему вдохновению» (там же; 323), «Поэт не волен в своем творчестве. Это — первая эстетическая аксиома. Так называемая „свобода творчества“ не имеет ничего общего с так называемой „свободой воли“». Как ясно из гениально-простого свидетельства Пушкина, творчество свободно никак не в том смысле, чтобы ум поэта мог по своей воле, по своему заранее обдуманному выбору и намерению создавать поэтические произведения <...> Настоящая же свобода творчества имеет своим предварительным условием пассивность» (там же; 328).

Итак, Пушкин отвергает идею какого бы то ни было внешнего заказа, включая и свой собственный, сознательный — то есть не интуитивистски сделанный — выбор.

Следующий шаг — отказ от (или неприятие) **внешней** реакции, внешней оценки, то есть и славы.

«Пушкин постепенно отказывается от всех без исключений, мыслимых и придаваемых обычно искусству заданий и пролагает путь к такому абсолютно определению поэзии, согласно которому та „по своему высшему, свободно-му свойству не должна иметь никакой цели, кроме себя самой“» (Абрам Терц 1993; 135).

Разумеется, с наибольшей ясностью это воплощено в знаменитом стихотворении 1836 г. «Из Пиндемонти»:

...Иная, лучшая потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...

(т. 3, с. 372)

По замечанию одного из исследователей этапов пушкинской эволюции А. Фомичева, «стихотворение написано словно от лица узника, лишённого прав» (Фомичев 1986; 280). Естественно, что крайняя точка этого пути — бездействие, статическое восприятие «иных» сигналов. Именно это противопоставление пассивности со знаком плюс и активного действия со знаком минус отмечали у позднего Пушкина многие и даже на просто сюжетном уровне. А. К. Жолковский считает это «инвариантом психологической зоны» (Жолковский 1979; 17). Естественно также, что при таком мировоззрении возникают особые отношения и с Высшим началом, потому что это ведь тоже Тема. В последние годы этим проблемам посвящены работы И. Сурат (Сурат 1994, 1995, 1996). «Творчество побуждается интуицией, а не готовым знанием, для которого нужно подобрать соответствующую форму; оно предполагает нераздельность и одно-

временность зарождения формы и смысла... Когда искусство пытается служить не только Богу, но и религии, оно уходит в сторону от творчества, изменяет своей природе» (Сурат 1994; 211). «...Пушкин был только поэт, во всем поэт — и к высшей Истине он был причастен как поэт». По точному выражению о. С. Булгакова: «Он знал Бога, но особым знанием художника... Поэзия Пушкина была рассмотрена как цельное метафизическое знание о мире, Боге, человеке, как откровение божественной Красоты в тварном мире, она помогла обогнать взгляд на творчество как особое религиозное призвание, особый путь к Абсолюту» (Булгаков С. 1990; 212—213).

Иначе говоря, Пушкиным отрицается и внешнее призвание — линия, наметившаяся уже давно:

А слава... Луч ее случайный
 Неуловим...
 Мирская честь
 Бессмысленна, как сон.

(«Сцена из Фауста», 1825 г., т. 2, с. 287)

Едва ли северная слава
 Пустая притча, лживый сон.

(«Бородинская годовщина», 1831 г., т. 3, с. 225)

Ты царь: живи один.

(«Поэту», 1830 г., т. 3, с. 175)

Возможный суд коллег также не имеет значения: уже в письме к А. А. Бестужеву Пушкин пишет:

Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным...

(январь 1825 г., т. 10, с. 121)

Таким образом — постепенно — иногда возвращаясь с сомнением, поэт отказывается от:

- официальной ангажированности,
- внешней темы,
- внешнего заказа,
- ремесла как самодостаточности,
- собственного права на тему,
- права коллег на квалификацию своего труда.

Вслед за В. Ходасевичем мы придерживаемся того взгляда, что стихотворение «Пророк» есть стихотворение о пророке, каким он должен быть, но вовсе не о поэте и, может быть, в противовес ему. Так, и текстуально пушкинский текст совпадает с библейским: текст VI главы пророка Исаяи, как это показывает в деталях Б. И. Коплан (Коплан 1922).

Говоря языком современности, Пушкин постепенно отказывается от любых форм обратной связи.

Не обсуждая практически уже философский вопрос — может ли тогда поэт оставаться поэтом? — ясно осознаем, что царь быть один не может, ему нужны подданные.

Что же предполагает, как следствие, отсутствие обратной связи? — «писание в стол», элемент незавершенности, большую дозу экспериментальности. Все это у позднего Пушкина было.

Но линия эта все же не была прямой: тема личной и творческой свободы все время не покидала его, но «Памятник» в каком-то смысле оптимистичен в своей трагичности.

Личность как будто бы еще более трагическая — А. А. Блок, говоря о Пушкине, казалось, понимал трагедию абсолютного отделения от всего и даже от своего Я. «На бездонных глубинах духа, где человек перестает быть человеком (курсив наш. — Т. Н.), на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную... Там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир» (Блок 1962, т. 6; 163). Задачу поэта Блок видел в том, чтобы «внести эту гармонию во внешний мир», то есть повернуться к людям и миру.

С определенной пронизательностью эту человеческую трагедию описал и В. Розанов: «Он все восходил в своем развитии; сколько „куколок“, умерших трупики оставил его великолепный полет; эти смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже: Ты царь, живи один...» (Розанов 1990; 168).

3. Как же, в свете вышесказанного, эволюционирует отношение Пушкина к Бояну, выраженное в его текстах, поскольку его исследовательское отношение, выраженное достаточно явно, было подробно рассмотрено выше.

Боян как личность более всего упоминается в «Руслане и Людмиле». Он появляется в начале поэмы:

Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук:
Все смолкли, слушают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть и Руслана
И Лелем свитый им венец.

(т. 4, с. 13)

И далее:

Не слышат вешего Баяна.

(там же)

...Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем.

(там же, с. 50)

Но наиболее яркое впечатление от исполнения Бояна создается при описании смертного сна Руслана — эпизода мрачного и какого-то безысходного.

Несомненно, что Пушкин описывает в этом сне переход героя, устремляющегося за женой в темную бездонную глубину, в некий новый мир, совпадающий лишь внешне с гридницей Владимира, где и князь, и его окружение сидят неподвижно, *не смея перервать молчанье*, среди них сидит и мертвый Рогдай:

Убитый, как живой, сидит,
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана...

Примечательно, что весел в этом страшном зале только заведомо мертвый — Рогдай.

... и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу,
Князья, бояре — все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло — смертный хлад
Объемлет спящего героя.

(т. 4, с. 87)

Создается впечатление какой-то механистичности Бояна: как заводная кукла-автомат гофмановских историй, он ударяет по струнам в любой обстановке — и в веселом застолье, и в страшном мертвом сне. Пушкин здесь предваряет суждения о Бояне Вс. Миллера, А. Веселовского, Д. Шарыпкина (см. выше).

Еще раз реальный Боян появляется в отрывке «Как счастлив я, когда могу покинуть...» (1826), одним из предварительных этапов работы над «Русалкой» (см. выше). Описывается речь возлюбленной:

Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,

Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Баяна Славья гусли.

(т. 5, с. 570)

Интересно, что впоследствии, в 1832 г., когда отношение Пушкина к функции поэта, как было сказано выше, менялось, это место не было включено в основной текст.

Белка с изумрудами — Боян

В нашей книге (Николаева 1997) уже приводилось сопоставление Бояна и загадочной Белки из «Сказки о царе Салтане». Надеемся, что в контексте данного раздела этот образ, это сходство будет еще более убедительным. Напомним основные приводившиеся аргументы:

1. В текст «Слова» «белка» входит неоднократно: то как белка, то как мысль; в обоих случаях с этим сопоставляется Боян.

2. В «Сказке о царе Салтане», тоже поздней — 1831 г., то есть когда отношение Пушкина к официально-народной ангажированности уже формируется — появляется несколько странный образ поющей народные песни Белки, сидящей при дворе среди золотых кучек орехов, из которых она вынимает изумруды:

Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех.
...Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли в огороде.

(т. 4, с. 431)

3. Песня Белки настолько «народная», что кажется уже квазинародной.

4. Кучки равные, то есть без различия и без выдумки, но она при дворе и вся в золоте.

5. По свидетельству М. К. Азадовского именно этого образа Белки в предполагаемом гриммовском источнике сказки Пушкина нет. Добавим именно здесь некоторые дополнительные аргументы:

6. Рассказ о чудесной Белке повторяется в сказке с е м ь раз. Это значит, что сюжет этот или эпизод почему-то важен.

Именно с е м ь раз упоминается имя Бояна в «Слове».

7. Ключевым фрагментом можно считать фразу: *Князю прибыль, белке честь. Ср. Ищучи себѣ чти, а князю славу.*

Очень ценным является и здесь замечание М. К. Азадовского по поводу осыпанной золотом и изумрудами методически складывающей свое богатство в кучку белки-архаистики: «Что же касается мотива белки, грызущей золотые орешки с изумрудными ядрами, то его источник остается пока совершенно неясным: русскому фольклору он совершенно чужд» (Азадовский 1936; 152).

Архип Лысый — Боян

Еще более, по нашему мнению, напоминает Бояна народный поэт Архип Лысый из «Истории села Горюхина». Архип Лысый — это народный поэт, упоминание о котором обнаружено в случайно найденной в семье разодранной и перепутанной рукописи без начала: это летопись, которая была приобретена героем за четверть овса.

В доме героя имелась одна книга-образец: «Новейший письмовник» Курганова:

Курганов казался мне величайшим человеком... Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога: иногда я даже сомневался в истинности его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою.

(т. 6, с. 174)

Не напоминает ли это легендарных поэтов в «Слове» — и Бояна, и Автора?

Герой решает стать сочинителем:

Я непременно решился на эпическую тему, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика и принялся за работу.

<...> Я думал, что эпический род не мой род и начал трагедию Рюрик <...> Трагедия не пошла <...> Вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к поэту Рюрика.

(т. 6, с. 181)

Детальный анализ «Истории села Горюхина» был проделан Ч. Тиммером (Timmer 1968). Он обращает внимание на то, что в этой повести наслаивается друг на друга множество текстов — это даже «не текст в тексте», а «тексты в текстах». Тиммер считает «Историю села Горюхина» как бы семантическим ключом к «Повестям Белкина», в которых на самом деле ничего не происходит, или, говоря иначе, горизонт читательского внимания все время обманут: Сильвио не стреляет, Бурмин и Марья Гавриловна, оказывается, женаты, ужасы только сняты Адриану Прохорову и т. д. Подлинным же ключом служит эпитафия самого Пушкина: *А вот то будет, что ничего не будет.*

Тиммер видит в этой повести и многочисленные, и в то же время эксплицируемые «пробы пера». Безусловно, в этой повести много от пародирования «Истории государства Российского» Карамзина. Но выше уже говорилось, что возникают и иные ассоциации. Приведем тексты:

Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами...

(т. 6, с. 183)

...Синие листы, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком...

Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи... Один из змеев падает... Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что змей был составлен из летописи, к счастью, успел спасти остальные.

(т. 6, с. 185)

Кажется, что это уже не Карамзин, а — судя по некоторым ключевым намекам — до сих пор неясная история нахождения рукописи «Слова».

Именно из этой странной рукописи неожиданно выясняется, что:

...поэзия некогда процветала в древнем Горюхино. Доныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам известного Вергилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова.

И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз (выделено нами. — Т. Н.), но равняются с ними затейливостью и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

По боярскому двору
 Антон староста идет (2)
 Бирки в пазухе несет (2),
 Боярину подает,
 А боярин смотрит,
 Ничего не смыслит.
 Ах ты, староста Антон,
 Обокрал бояр кругом,
 Село по миру пустил,
 Старостиху надарил.

(т. 6, с. 190)

Эти стихи кажутся столь же жестокими в пародировании банальности, трюстичности и бездарности, как и приписывание Автором «Слова» Бояну мысли о том, что смерти никому не миновать и что телу без головы плохо. Итак, народ, выйдя из кабаков, громко распевает песни Архипа Лысого. Но после внедрения новой политической системы

В три года Горюхино совершенно обнищало... приуныло, базар опустел, песни Архипа Лысого умолкли.

(т. 6, с. 196)

Таким образом, создается впечатление, что образ и тип певца Бояна — с развитием и эволюцией самого Пушкина — снижался так же последовательно, как снижался образ Бояна в самом «Слове».

4. Смерть властелина на охоте

(«Охота» Н. С. Гумилева и «Сероглазый король» А. А. Ахматовой)

1. Два стихотворения, отделенные в публикации всего лишь годом («Охота» Н. Гумилева — 1910 г. и «Сероглазый король» А. Ахматовой — 1911 г.), связаны несомненными и все более глубокими при внимательном сопоставлении переключками. Хотя оба они хорошо известны, для нужд дальнейшего анализа приводим их полностью.

Охота¹

Князь вынул бич и кликнул клич —
Грозу охотничьих добыч,
И белый конь, душа погонь,
Ворвался в стынущую сонь.
Удар копыт в снегу шуршит,
И зверь встает, и зверь бежит,
Но не спастись ни в глубь, ни в высь,
Как змеи, стрелы понеслись.
Их легкий взмах наводит страх
На неуклюжих росомах,
Грызет их медь седой медведь,
Но все же должен умереть,
И легче птиц, склоняясь ниц,
Князь ищет четкий след лисиц.
Но вечер ал, и князь устал,
Прилег на мох и задремал,
Не дремлет конь, его не тронь,
Огонь в глазах его, огонь.
И, волк равнин, подходит финн
Туда, где дремлет властелин,
А ночь светла, земля бела,
Господь, спаси его от зла!

¹ См.: Источники.

Сероглазый король²

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,
Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

«Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой».

Трубку свою на камине нашел
И на работу ночную ушел.

Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки ее погляжу.

А за окном шелестят тополя:
«Нет на земле твоего короля».

Сначала обратимся к внешним данным текста:

1) В обоих стихотворениях гибнущий охотник — властелин: «князь» (Гумилев, «царь» по автографу в ИМЛИ); «король» (Ахматова).

2) Трагедия происходит во время охоты: «С охоты его принесли» (Ахматова); «Охота, гроза охотничьих добыч» (Гумилев).

3) Ключевое время сообщения — алый вечер: «Но вечер ал, и князь устал» (Гумилев); «Вечер осенний был душен и ал» (Ахматова).

4) Совпадает во фрагменте с вечером и тип рифмовки: *ал — устал — задремал* (Гумилев); *ал — сказал* (Ахматова).

5) Герой погибает на переломе между вечером и ночью: «А ночь светла, земля бела. Господь, спаси его от зла!» (Гумилев); «За ночь одну она стала седой» (Ахматова). Однако в стихотворении Ахматовой действие происходит через сутки после трагической смерти короля: «Умер вчера...» Муж сообщает о том, что королева за ночь поседела, и снова уходит на ночную работу.

6) Второй мужской персонаж действует ночью (но род его деятельности не указан): «И волк равнин, подходит финн, туда, где дремлет властелин» (Гумилев); «И на работу ночную ушел» (Ахматова).

7) У Гумилева говорится, что второй мужской персонаж — финн. У Ахматовой этого прямо не сказано, но к тому ведут некоторые этноментальные аллюзии: «Спокойно сказал» (русский не так бы преподнес дома сенсацию); «Трубку свою на камине нашел».

² См. Источники: Ахм.

8) У Ахматовой смерть короля несомненна; у Гумилева, несмотря на финальную мольбу («Господь, спаси его от зла!»), тема смерти нагнетается: «Но не спасись ни в глубь, ни в высь... Но все же должен умереть».

9) В двух стихотворениях совпадает не все: в стихотворении Ахматовой тело находят у дуба. У Гумилева дуб не упоминается, и герой ложится подремать на мох. Далее, у Ахматовой действие происходит как будто бы ранней осенью: «Вечер осенний был душен и ал»; у Гумилева — осень поздняя: «Стынувшая сонь», «мох», «удар копыт в снегу шуршит».

Таким образом, стихотворение Ахматовой можно считать репликой к «Охоте», повествующей о событиях «через день».

2. Герой стихотворения Ахматовой — «сероглазый король». Вообще цвет глаз у Ахматовой обозначается часто, ее герои смотрят на мир самыми разными глазами. См. «неизбежные глаза»; «а взгляды его — как лучи»; «смех в глазах его спокойных»; «на глаза осторожной кошки похожи твои глаза»; «покорно мне воображенье в изображеньи серых глаз»; «стали уже зрачки ослепительных глаз»; «черноглазый, горбатый старик»; «страх в огромных глазах»; «светлых глаз нет приказу подымать»; «лучи спокойных глаз»; «последняя сила в синих глазах ожила»; «свет веселый серых глаз — ее очей»; «и очей моих синий пожар»; «сила в голубых твоих глазах»; «словно звезды глаза голубели»; «васильковые очи»; «в зеленые глаза тебе глядеться»; «в зеленых глазах иступленье»; «в очи темные глядела»; «как лунные глаза светлы»; «царь глядит вокруг пустыми светлыми глазами»; «орлиные глаза»; «сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный свет» и под.

Однако можно понять и так, что серые глаза — глаза влюбленного мальчика, глаза жениха. Ахматова и Гумилев познакомились в отрочестве, в Царском Селе. О Гумилеве см. у С. Маковского: «...чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными и светлыми ресницами, видимо, завораживали женщин» (Маковский 1989; 45—73). См. у Ахматовой:

Сероглаз был высокий мальчик,
<...>
Я спросила. — «Что ты — царевич?»
Это был сероглазый мальчик,
На полгода меня моложе.
«Я хочу на тебе жениться, —
Он сказал, — скоро стану взрослым
И поеду с тобой на север».

(«У самого синего моря», 1914)

Или:

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.

Эти липы, верно, не забыли
 Нашей встречи, мальчик мой веселый.
 Только, ставши лебедем надменным,
 Изменился серый лебеденок.
 А на жизнь мою лучом нетленным
 Грусть легла, и голос мой незвонок.

(1912, Царское Село)

Наконец:

У меня есть улыбка одна:
 Так, движенье чуть видное губ.
 Для тебя я ее берегу —
 Ведь она мне любовью дана.
 Все равно, что ты наглый и злой,
 Все равно, что ты любишь других.
 Предо мной золотой аналой,
 И со мной сероглазый жених.

(1913)

И в том же 1913 г.:

Со мной всегда мой верный, нежный друг,
 С тобой твоя веселая подруга,
 Но мне понятен серых глаз испуг,
 И ты виновник моего недуга.

3. И так, для соотнесения в стихотворении «сероглазого короля» и Гумилева можно найти и ряд чисто внешних опор. См. и «сероглазый жених», и «серые глаза с длинными светлыми ресницами» (С. Маковский), самоутверждающаяся влюбчивость Гумилева, высокий дуб («единственный в этом парке», — писала Ахматова) в парке имения Слепнево, где жили Гумилевы.

П. Лукницкий, оставивший много дневниковых записей о разговорах с А. Ахматовой, сообщает очень важные факты, относящиеся к интересующей нас теме:

1924. 19 декабря.

АА: «У меня есть около 15 стихотворений, которые я не решусь никому показать: это детские стихи. Я их писала, когда мне было 13—14 лет. Все они посвящены Н. С. **. Но интересно в них то, что я о Н. С. всюду говорю как об уже неживом. Я много кому и в ту пору, и после писала стихи, но ни с кем это не было так. А с Н. С. у меня так всегда. Это мне самой непонятно...»

По поводу того места дневника, где записано, что АА в своих стихотворениях всегда говорит об Н. С. как об умершем, АА добавила, что она всегда его называет братом.

<...> Начало одного стихотворения, написанного 25 января 1910 г. в Киеве:

Умер твой брат, пришли и сказали.
Не знаю, что это значит... (Лукницкий 1988; 57—58)

Ср.:

На кустах зацветает крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню и помнить не надо.

Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело...
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

(10 февраля 1911, Царское Село)

Таким образом, у Ахматовой, обвенчавшейся с «братом» менее года назад, уже возникает тема вдовства.

В поэме «У самого синего моря» (1914 г.) образ раздваивается. Юноша — сероглазый мальчик — влюблен в героиню и хочет жениться, но она ждет — как Мелиссанда Жоффруа Рюделя (а «Принцесса Греза» была тогда очень популярна) жениха-царевича. Он приплывает — мертвым.

Погибает и сероглазый король. И здесь необходимо сказать еще об одном образе «Сероглазого короля» Ахматовой — очень молодой (ведь и муж — «такой молодой») королевы, гордо и одиноко любящей («за ночь одну она стала седой»), достойно затмевающей более простую соперницу. Трудно сказать, почему, но нам кажется, что первая фраза: «Слава тебе, безысходная боль!» — это фраза королевы. А концовка: «А за окном шелестят тополя: „Нет на земле твоего короля”» — это слова менее величественной матери маленькой сероглазой дочки (трудно не верить в провиденье поэта).

Итак, смерть сероглазого короля — предвиденье или приговор? См. страшные слова Ахматовой через несколько недель после расстрела Гумилева:

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.

(Осень 1921, Петербург)

Отношение Ахматовой к стихотворению «Сероглазый король» менялось. С. Маковский в своих воспоминаниях пишет о первом годе брака двух поэтов:

Развивалась эта драма любви на моих глазах... Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она (Ахматова. — *Т. Н.*) к моей жене, читала стихи. Она еще не печаталась в журналах, Гумилев не «позволял». Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас же предложил поместить их в «Аполлоне» (Маковский 1989; 64).

Среди этих стихотворений и был «Сероглазый король». Однако потом, в 20-е годы, Ахматова дала редактору издания П. Н. Лукницкому, подготовившему под своей редакцией двухтомное собрание ее сочинений в кооперативном издании писателей «Петроград» в 1925—1926 гг. (т. 1 — стихотворения 1909—1914 и т. 2 — 1915—1922), указание исключить стихотворение «Сероглазый король». Это же указание было повторено для издания, подготовленного осенью 1927 г. в кооперативном «Издательстве писателей в Ленинграде».

4. Однако тема «Смерти на охоте» существовала в литературе той эпохи независимо от драматических отношений поэтической четы.

См. стихотворение Г. Иванова:

Мы скучали зимой, влюблялись весной,
Играли в теннис мы жарким летом...
Теперь летим мы под медной луною,
И осень правит кабриолетом.

Уже позолота на вялых злаках,
А наша цель далека ли, близка ли?..
Уже охотники в красных фраках
С веселыми гончими — проскакали...

Стало дышать трудней и слаще...
Скоро, о скоро падешь бездыханным
Под звуки рогов в дубовой чаще
На вереск болотный — днем туманным!

В этом стихотворении мы видим: и осень, и смерть на охоте, и дубовую рощу (Ахматова), и вереск болотный («прилег на мох» — Гумилев). Только здесь герой погибает днем.

Наконец, рассматриваемый сюжет не существует без оглядки на эпоху, когда в русскую поэзию входили — уже после моды на это в Западной Европе (Э. Ростан, М. Метерлинк, А. Стриндберг и мн. др.) — принцессы, царевны, короли и королевы.

Возникает несколько вопросов:

- 1) типичен ли этот мир для русской литературы рубежа веков?
- 2) типичны ли отдельные персонажи?
- 3) повторяется ли где-либо именно такой сюжет?

Для поиска ответов на эти вопросы мы обратились к доступной массам поэтической культуре рубежа веков. Были просмотрены так называемые «Чтецы-декламаторы» за период с 1892 по 1916 г. Эта форма была удобна тем, что представляла и отечественную поэзию, и переводную, и первостепенную, и третьестепенную.

От чтения всей этой гигантской массы *Declamatorium*'а отчетливо возникало ощущение, насколько же исторические сюжеты были любимы в это стилизованное время. Как ни удивительно, первое место занимает «экзотическая» восточная и античная тематика. Это, например, «Пир Валтасара» О. Тюминой, «Юлиан-отступник» П. Порфинова, «Пир Петрония» Д. Ратгауза, «Самсон» Н. Языкова, «Игры» А. Н. Майкова, «Галатей» Л. А. Мея, «Путник» В. Я. Брюсова и многие, с ними сходные. Не менее широко представлен и мир «Старой Европы». Сюжет здесь всегда более печальный, чем в восточноантичных (или стилизовано древнерусских) стихотворениях. В каждом из них — смерть, и ее мрачный отблеск ложится на все стихотворения, избираемые для чтения-декламации. Вот средний уровень подобных текстов:

В башне древнего аббатства, члена рыцарского братства,
Мы сидели и молчали вокруг Круглого стола,
Над окрестностью суровой разливался свет багровый
Сквозь узорчатые грани красноватого стекла,
Свет багровый разливался, шорох странный раздавался,
Мы сидели и молчали возле Круглого стола.
Мы смотрели на Артура, на красавца-трубадура

и т. д.

(В. Кругликов. «Алтея»)

Во всех этих стихотворениях властительница (королева, царица, графиня, принцесса) грустна, одинока (хотя втайне и любит — чаще, юношу: пажу или менестреля), страдает и ждет или даже погибает насильственной смертью:

Но графиня грустна,
Но графиня бледна,
Одиноко стоит у окна.

(А. Федоров. «Позабытая арфа»)

Шумен праздник и весел —
И только грустна королева одна.

(С. Л. Надсон. «Мечты королевы»)

Что кесаря значит внезапный отъезд?
Чей в склепе фамильном стоит новый крест?
Молчите, проклятые струны.

(А. Н. Майков. «Менестрель»)

В старинном замке больна царевна,
В подушках белых, прозрачной льда.

(А. Н. Толстой. «Часы»)

У царицы моей есть высокий дворец,
О семи он столбах золотых...
Она видит: далеко, в полночном краю,
Средь морозных туманов и вьюг,
С злою силою тьмы в одиночном бою,
Гибнет ею покинутый друг.

(В. С. Соловьев)

Люблю мою Грезу прекрасную,
Принцессу мою светлоокую,
Мечту дорогую, неясную,
Далекую...

(Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник
«Принцессы Грезы» Э. Ростана)

К большому подойдя окну,
Ты плачешь, бедная царица.
Окутали твою страну
Полотнища ночного ситца.

Выходишь на пустой балкон,
Повитый пеленой тумана.
Безгласен неба синий склон.
Жасмин благоухает пряно.

Ты комкаешь платок в руке,
Сверкает, точно нож, зарница —
И заунывно вдалеке
Курлыкает ночная птица...

(В. С. Ходасевич. «Ситцевое царство»)³

Печальна королева, печален и соответствующий пейзаж. В этом отношении наиболее близко к интересующей нас теме стихотворение В. Ходасевича. Однако собственно темы «Смерти властелина на охоте» обнаружить не удалось. При этом в стихах ряда поэтов возникает также и как бы протест против наивной стилизации «под средневековье» или «под Ренессанс». Это достигается путем создания «нулевого хронотопа»: «Уже охотники в красных фраках», и см. тут же — «Играли в теннис мы жарким летом» (Г. Иванов); «Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж» (И. Се-

³ См.: Источники.

верянин); «И на работу ночную ушел» (А. Ахматова); «Маленькая балерина» (А. Вертинский) и т. д. Отвлекаясь от нашей темы в сторону сопричастных исследований, можно сказать и о возникающих в литературе тех лет псевдокоролевствах и псевдокоролях, например «король Богемии», — так что можно написать целое исследование о меняющейся литературной карте Европы.

Может быть, «Охота» Н. С. Гумилева не имеет аналога в современной ему среде, не имеет аналога именно в русской поэзии?

5. Тот же С. Маковский сообщает в общем-то широко известный факт «влюбленности в парнасскую словесную живопись» Н. С. Гумилева:

Иностранных языков Гумилев не знал, но вслед за Валерием Брюсовым, Анненским, Коневским, гр. Василием Комаровским с помощью словаря и подстрочников приобщался к красочной пышности Леконта де Лилля, Эредиа, Бодлера, Теофиля Готье, прославлял их, переводил ревностно, особенно — последнего (позже выпустил отдельной книжкой «Эмали и камеи», 1914) (Маковский 1989; 75).

Иоганнес фон Гюнтер:

Он тогда как раз перешел к какому-то очень подкупающему классицизму, напоминающему мастерство французских парнасцев [речь идет о периоде до 1910 г.] (Гюнтер фон 1989; 134).

Владимир Шкловский:

Лет пятнадцать назад я видел Гумилева среди молодых романо-германистов в Петроградском университете. Тогда мы все занимались зараз несколькими языками Запада, сами писали стихи, и я впервые узнал имена Анри де Ренье, Леконта де Лиль и многих других (Шкловский 1989; 67).

Николай Оцуп:

Гумилев долгое время был под влиянием Леконт де Лилля, которому даже посвятил отличные стихи «Креол с лебединой душой» (Оцуп 1989; 91).

И вот мы находим аналог «Охоте» Н. С. Гумилева — стихотворение Л. де Лилля «Смерть Сигурда» (пер. И. Поступальского)⁴:

Да, Сигурд умерщвлен! Из шерсти покрывало
от головы до пят героя облекло.
Прекрасный труп лежит на плитах тяжело;
Дымящаяся кровь еще бежит вдоль зала...

Две любящие женщины стоят у гроба героя:
Брунгильд, возлюбленная, и жена — Гудрун:

Вот Брунгильд, сдернув плат,
которым был накрыт король, во сне убитый,

⁴ Л. де Лилль. Смерть Сигурда // Л. де Лилль. Из четырех книг. Стихи. М., 1960; 66.

глядит на золото кудрей, на лоб открытый
на мужественный торс, навек лишенный лат.

<...>

Тут Гудрун издает три раза дикий крик:
«О, Сигурд! Сигурд мой! О, как же я несчастна!
О женщины! Вчера все было, а потом
любимый конь его вернулся, весь дрожащий;
был пеной бешеной замазан круп блестящий,
и слезы падали из конских глаз ручьем...»

Самое поразительное в этом стихотворении то, что Сигурда убивает сама гордая королева Брунхильда. Убивает из ревности, после чего убивает себя над гробом:

Ты, Гудрун, выслушай! Мои слова правдивы.
Был Сигурд мной любим. Но он тебя любил.
И в сердце у меня зажегся гневный пыл, —
В крови десятка ран не тонет он, строптивый,
Как будто в первый день, теперь меня он жжет.
Но Сигурд плакал бы над мертвою женою...
Я это сделала! Отомщена я вдвое...

Однако в стихотворении «Охота» Н. С. Гумилева есть убитый во сне герой, преданный конь, но нет двух женщин. Они есть во всех древних сюжетах о Сигурде (Зигфриде). Это Кримхильда и Брунхильда. Или — Гудрун (кстати, родившая ему дочь) и Брунхильда. Две женщины есть в стихотворении «Сероглазый король» Ахматовой. Герой Гумилева погибает не от руки ревнивой королевы, как у любимого им персонажа. Его убивает мужчина, как Зигфрида — Гунтер и Хаген (в некоторых версиях — не без направляющей руки Брунхильды).

Но у Леконта де Лилля и у Н. С. Гумилева не упоминается дерево, под которым герой погиб. Это дерево — дуб — упоминают Ахматова и Г. Иванов. В «Песне о Нибелунгах» дерево указано.

В немецком мире это — липа (строфы 972 и 977) (перевод М. Кудряшова 1889 г., с которым, несомненно, было знакомо поколение Гумилева и Ахматовой):

Уж вот к широкой липе [der Linden breit] они идти решили...
Да, верх во всяком деле над всеми витязь брал.
Меч добрый отвязал он, колчан поспешно снял
Копье приставил к липе проворною рукой.
И у ключа стоял уж и ждал гость славный, удалой.

А ранее см.:

Бойцы лихие, Гунтер и Гаген, в лес густой
Собрались на охоту, у них был замысел злой.

До сих пор говорилось только о литературном влиянии. Между тем нельзя забывать и об опере «Сумерки богов» Р. Вагнера, впервые прозвучавшей в Байрейте в 1876 г. В России она была поставлена группой Неймана в Москве и Петербурге в 1889 г. Первая русская постановка — 1903 г. в Мариинском театре. Возобновлена на русской сцене 10 октября 1911 г. в Большом театре.

Сюжет текста «Смерти властелина на охоте» собирается, таким образом, по фрагментам, иногда противоречивым, иногда дополняющим друг друга. Это «Песнь о Нибелунгах» — Леконт де Лилль — Гумилев — Ахматова.

§ 8. Текст как пространство

Евгений Онегин, «Адольф» и загадочная Татьяна

Автору не раз приходилось обращаться к героине романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — Татьяне Лариной, занимаясь в основном переключками пушкинских текстов с текстом «Слова о полку Игореве», над которым, как известно, Пушкин много и серьезно работал и даже готовил к печати его комментированное издание (см. об этом подробно: Николаева 1997).

Образ Татьяны возникал при обсуждении самых разных тем. По мере раскрытия основной темы показалось, что многократно (сотни крат!) изученный и описанный, но все-таки загадочный и как бы скрытый ее лик можно попытаться представить еще с нескольких новых сторон.

Кажется, что именно Татьяну принято всегда хвалить и всегда ею восхищаться — и в первом ее воплощении, и во втором. И как будто бы это и справедливо: это очень глубокая, мечтательная, тонкая провинциальная девушка, а затем нравственная и достойная, всеми уважаемая жена, столичная дама, безупречная по такту, по вкусу, идеальный образец *comme il faut*.

Но нет ли у нее каких-то потаенных особенностей в той области, которую мы теперь называем Бессознательным?

Например, ведь знаменитый Сон Татьяны — это ЕЕ сон, образы ее мира, ее подавленное странное видение и предвидение! Это сон древней прорицательницы, а не юной читательницы Ричардсона. Интересно, что, проснувшись, она ищет в Словаре Мартына Задеки много слов из сна, в том числе и слово **ведьма**, каковой во сне как будто нет.

В облике Татьяны проскальзывает что-то очень древнее и потому страшное. Д. Мережковский отметил — один из немногих — это архаическое, колдовское начало у Татьяны, однако его логика была логикой его времени: «архаическое» — это значит «народное», а «народное» — это значит «хорошо» и непонятно почему «просто»! «Татьяна вся родная, — пишет Д. Мережковский, — вся из русской земли, из русской природы, загадочная, темная и глубокая, как русская сказка. <...> Душа ее — проста, как душа русского народа. Татьяна из

того сумеречного, древнего мира, где родились Жар-Птица, Иван-Царевич, Баба-Яга, — „там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит”, „там русский дух, там Русью пахнет”. Единственный друг Татьяны — старая няня, которая нашептала ей сказки волшебной старины» (Мережковский 1990; 119).

Остановимся хотя бы на нескольких противоречивых странностях. Так, Татьяна видит страшный пророческий сон за несколько дней за дуэли. Она думает об этом сне:

Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

Но Татьяна не просто сновидец, размышляющий о сне и даже пытающийся его интерпретировать по словарю, — заранее объявлено, что Татьяна снам **верит!** Ведь она

... верила преданьям
простонародной старины
и снам...

Но она ничего не делает, чтобы предотвратить страшную дуэль и смерть Ленского: здесь было бы достаточно нескольких простых светских уловок именницы. Но, по правде сказать, все герои Пушкина, увидевшие пророческие сны (а провиденциальность их отмечена и описана многократно), не делают никаких выводов из явленных им знамений. Григорий Отрепьев мог бы отказаться от тщеславных замыслов, Марья Гавриловна — не ехать в «метель», Алеко — как-то усмирить свои проснувшиеся страсти. Над этим бездействием героев пушкинских снов тоже можно подумать.

Сам Пушкин, описывая сюжет именин, делает по этому поводу замечание несколько противоречивое:

Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени.

Но ведь это все было ей дано знать через сон — а снам она верила!

Интересное наблюдение о контекстах Татьяны сделано В. Марковичем. Он заметил, что с Татьяной всегда связывается текст зимы, холода, ночи, луны, сумерек, ночных теней. Недаром в хижине сна тьма воцаряется после прихода Татьяны (Маркович 1980). Эти его заметки можно продолжить:

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход...

Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает...
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она...

...страшные рассказы
Зимою в темноте ночей...

Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.

Трезвый взгляд читателя, уже знающего, что у Пушкина просто так ничего не бывает, замечает, что Татьяна как будто бы и вообще не спала, поскольку читала до зари и вставала на заре. У нее было нечто вроде двух жизней: народной таинственной и читательницы-дворянки. Пушкин как будто бы подчеркивает эту тему «без сна»:

Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит.

И между тем луна сияла...
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне
И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...

Татьяна (русская душою,
Сама не зная, почему)
С ее холодною красою
Любила русскую зиму.

...И мглу крещенских вечеров.

И в своем знаменитом сне она видит деревья в снегу, «луч светил ночных», потерянную дорогу, метель, она падает в снег, но медведь ее подхватывает. Чудовища за столом кричат: *Мое! Мое!* Что это? Какая-то охота за ней? Или это плод ее воображения?

Многими исследователями «текст Татьяны» связывается с лесной богиней-охотницей — Дианой.

И утренней зари бледней,
И трепетней гонимой лани.

И далее —

Одна, печальна под окном,
Озарена лучом Дианы,
Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит...

Одним из самых странных для житейской интерпретации эпизодов романа является гаданье Татьяны:

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкий двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна
Дрожит печальная луна.

Можно заметить: зачем же добиваться простой житейской интерпретации? Но, думается, поскольку «Евгений Онегин» явно не готический роман, именно такая необъяснимость и есть маркированный намек на нечто особое в Татьяне. Посмотрим еще раз на это удивительное гаданье. Во-первых, Татьяне не холодно при ночном морозе и она знает это заранее, выходя на двор «в открытом платьице». Во-вторых, кем же может быть этот странный прохожий — незнакомый, не крепостной, идущий ночью пешком мимо барского дома и носящий значимое имя — Агафон? Не вестник ли это какой-то силы, возможно, Добра и Любви? В-третьих, никто не отражается в ее зеркале, только Луна — Диана. Может быть (см. выше), Татьяна видит — себя?

Самое удивительное — это ее визит к дому Онегина. Татьяна, девушка 17 лет из барской патриархальной семьи, пускается в путь, описанный ранее как достаточно далекий — см.:

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.

Эта дальность видна и из времени пути самой Татьяны:

...В поле чистом
Луны при свете серебристом
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.

Когда же она возвращается —

Темно в долине. Роща спит
Над отуманенной рекою;
Луна сокрылась за горою.

Как же можно себе реально представить такую прогулку? Никто у Лариных не хватился юной барышни, никто не прислал за ней карету или хотя бы дворового? И у Онегина в доме никто (управляющий? экономка?) не отправил с соседской барышней карету или хотя бы слугу мальчика? Да был ли вообще этот странный визит? Или же в Татьяне есть нечто «инога мира, супернатуральное» и Пушкин, обращаясь к фоновым знаниям помещичьего этикетного быта современного ему читателя, дает это читателю понять. В данном случае реплика *Пора, давно пора домой!* не меняет дела, так как Татьяна явно вне людской опасливости.

Выше говорилось о том, что Татьяна — это мороз, метель, зимняя ночь, луна, холод.

Но в то же самое время именно Татьяна — это огонь и жар!

Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты...

И сердцем пламенным и нежным...

Она дрожит и жаром пышет...

И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...

И, как огнем обожжена,
Остановилась она.

Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит.

...какая рана
моей Татьяны сердце жгла!

Что же это за женщина — мороз и огонь, холод и жар? Кто это?

Ответ, как мы считаем, находится в теории архетипов К. Юнга. Это — Ани-ма, Душа. «По Гераклиту, на высших уровнях душа огненна и суха, так что $\psi\chi\eta$ — близкородственно „холодному сухому дыханию“, $\psi\chi\epsilon\iota\nu$ — значит „дышать“, $\psi\chi\rho\acute{o}\zeta$ — это холод, $\psi\chi\acute{o}\zeta$ — сухость» (Юнг 1991; 116). Из дальнейших рассуждений Юнга можно узнать многое от Анимы в Татьяне и тем самым несколько иначе поразмыслить о ее функции в романе: «...она живет из самой себя и делает нас живущими. Это жизнь под сознанием, которое не способно ее интегрировать <...> Все относящееся к Аниме нуминозно, то есть безусловно значимо, опасно, табуировано, магично. Желая жизни, Анима желает и добра, и зла <...> Анима верит в $\kappa\alpha\lambda\omicron\upsilon\ \chi\acute{\alpha}\gamma\alpha\tau\omicron\upsilon$, а это первобытное состояние, возникающее задолго до всех противопоставлений эстетики и морали <...> Анима консервативна, она в целостности сохраняет в себе древнее человечество» (Юнг 1991; 116—117).

Таким образом, Древнее начало и Природа не так просты и не так простодушны, как это казалось Д. Мережковскому, уловившему в Татьяне нечто колдовское. Пушкин и создавал образ и простой, с той простотой, что «выше» — выше уловок, выше кокетства, выше привычности. Образ влекущий и пугающий, равно близкий и старой няне, и Клеопатре. Это образ Женщины-Природы-Судьбы.

Понять Татьяну невозможно, как кажется, без эволюции второго протагониста романа — Онегина. Путь его в романе предстает чем-то вроде дуги: от страстей юности к бесстрастию последующих лет и к тяжелой страсти позднего возраста. Итак,

рано чувства в нем остыли...

В любви считаясь инвалидом...

Он становится денди, ампула которого: удивлять не удивляясь. Был еще некий довольно неясный период, когда Онегин в совершенстве постигает *науку страсти нежной*, неясно, когда он ее постигает — когда чувства уже остыли? Но тогда непонятно, почему все эти проработанные экзерсисы были для него —

И труд, и мука, и отрада.

Может быть, шел сложный компенсаторный процесс?

Почему Пушкин пишет как о самом любимом упражнении Онегина — умения вызвать и подстеречь юное чувство:

Подслушать сердца первый звук,

Преследовать любовь, и вдруг

Добиться тайного свиданья...

И после ей наедине

Давать уроки в тишине!

Ведь именно так он и поступает с Татьяной. Поэтому также неясно — она ли полюбила *кого-нибудь*, или это был проигранный результат онегинского былого? Потому он и наказан!

Итак, Онегин из игрового мира светской городской жизни попадает в древний подлинный мир Природы. Он должен пройти инициацию-испытание. На пути (совсем как герои В. Я. Проппа) он встречается девушку, открывшую ему свою любовь. Однако — и это существенно — ему Татьяна не говорит, что она

Была бы верная супруга

И добродетельная мать.

Очевидно, что эти качества Татьяны ею предназначаются для другого. В беседе с Онегиным она пользуется непростой тональностью, и речь ее вовсе не провинциальна. Это говорит почти визионерка (*Вообрази: я здесь одна / никто меня не понимает*), и письмо ее — это сообщение об **узнавании**:

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан Богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...

По всем канонам архаического ритуала, пройдя мимо своей Души, кем и является для него Татьяна, герой, становясь антигероем, должен быть наказан: совершением преступления, изгнанием, потерей души, страданиями или даже самой смертью. Все это постепенно с Онегиным и происходит. Он убивает духовного брата (если так трактовать фразу *Убийцу брата своего*), покидает свой дом, скитается, не находя покоя. Наконец, он возвращается на родину.

А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон.

Ю. М. Лотман считает, что страшным банкометом в этой игре Онегина является Рок (Лотман 1983; 366).

И в эту минуту он встречает Татьяну. *В каком-то странном сне* он принимает приглашение ее мужа. Ощущая вспыхнувшее чувство, он ищет для него формы. Сначала банальные и испробованные ранее:

...накинёт
боа пушистый на плечо,
Или коснется горячо
Ее руки, или раздвинет
Пред нею пестрый полк ливрей,
Или платок подымет ей.

Их бесполезность и бездейственность ведет к подлинным страданиям. *Уж не чахоткой ли страдает?* — говорят про него. Чувства его и их выражения становятся серьезней: он пишет письмо больного, измученного человека, где смешаны искренность, раскаяние, но и мужские амбиции-условия:

Я утром должен быть уверен,
Что с Вами днем увижусь я

и т. д.

Но и на это ответа нет. Он пишет второе письмо, третье. Наступает долгий период поздней трансформации, перерождения. Идут долгие зимние месяцы чтения, страданий, размышлений и мечтаний.

С Онегиным начинает что-то происходить:

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он.

Он проходит длительный и мучительный путь какого-то близкого к смерти анабиоза. И тут наступает преобразование. Онегин читает, и нечто из другого мира проступает в его душе:

Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказанья,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

То есть он начинает видеть мир глазами Татьяны, вспоминать ее жизнь — то, что, судя по тексту, она ему сообщить не могла, не успела.

Это она

...верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.

Быть может, не случайно он едет к Татьяне *уже на мертвеца похожий*. Древние обряды инициации, вплоть до самых страшных, напоминает и сообщение о том, что Онегин несколько месяцев не выходил из *запертого дома* (*Впервые свои покои запертые он оставляет...*), он как бы встает из гроба. Высказывалось даже мнение (Эмерсон 1995), что последний визит Онегина к Татьяне был воображаемым. Вспомним «странности» ее собственного визита к Онегину. «Скорость, с которой Онегин мчится к любимой женщине, необъяснимое отсутствие кого-либо из лакеев у дверей в прихожей княжеского дома, невероятная легкость, с которой Онегин попадает в будуар Татьяны, — все это не раз расценивалось разными критиками как напоминающее описание сновидений, логику сказок или иронию рассказчика...» (Эмерсон 1995; 38). Вячеслав Иванов считает, что странное ясновидение, обретенное Онегиным, это его подсознательное начало. «И однако как жутко-чудесно было все, что творилось потом с самим Онегиным <...> и до загадочных состояний его, уже безумно влюбленного в Татьяну, в затворе его комнаты, когда говорят с ним голоса его под-

сознательной памяти, „тайные преданья сердечной темной старины”» (Иванов 1990; 260). С этим согласиться трудно: уж слишком эти голоса звучат из мира Татьяны.

Итак, Онегин обретает душу и чувства, пройдя через подлинные страдания, по сути сломленный Женщиной-Судьбой и ею же на глубоком уровне спасенный, пройдя через Нечто, подобное смерти, то есть переступив границы обычного человеческого существования. Но в каком-то смысле ЭТА жизнь его кончена: недаром Пушкин колебался, отправить ли его на Кавказ или сделать декабристом.

Итак, Татьяна — это Анима, судьба, счастье и испытание. Может быть, какой-то иной образ, а не только архетипический, просвечивает сквозь пушкинский текст, и текстовая ткань это подтверждает?

Во многих пушкинских текстах встает образ Клеопатры. Она как будто бы прямо противопоставляется почти идеальной Татьяне петербургского периода: Татьяна сидит рядом с блестящей Ниной Воронскою, / сей Клеопатрою Невы.

Однако намек на Клеопатру находим и у проницательного Мережковского, описывающего Татьяну, хотя в дальнейшем эта тема заслоняется у него «русскостью» Татьяны? «Трудно поверить, что художник, который воплотил в этом видении царицу смерти и нег, создал и чистый образ Татьяны. Всего любопытнее, что эта уездная барышня, подобно Клеопатре, любит загадочный мрак, любит ужас. Поэт говорит о Татьяне: *Но тайну прелесть находила / И в самом ужасе она*» (Мережковский 1990; 139).

Выше говорилось о многих «странностях» в эпизодах Татьяны. Станным можно считать и ее петербургское поведение по отношению к Онегину.

Сочетания письмо + отповедь в начале и конце романа молчаливо принято считать симметричными. Однако по простоте и искренности чувств они не идентичны. Так, Ю. М. Лотман полагает, что, несмотря на обилие литературных штампов, письмо Татьяны вполне искреннее и не кажется странным. Столь же по-своему естественна и «отповедь» Онегина (Лотман 1983; 229).

Однако еще А. Ахматова (Ахматова 1936) обратила внимание на несколько фальшивый тон письма Онегина:

Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю?

Выше говорилось о гипотезе К. Эмерсон о том, что визит Онегина к Татьяне в Петербурге был воображаемым. Именно необъяснимая грубость и как будто бы несвойственная Татьяне манера говорить привели ее, как она пишет, к этой идее: «Особенно меня раздражает одна неприятная деталь — какой-то неподходящий, грубо-нравоучительный и ханжеский тон в последней сцене, где она отчитывает Онегина» (Эмерсон 1995; 32). Но и далее. Объясняясь в любви, Онегин приводит довольно оскорбительную мотивацию:

Мне дорог день, мне дорог час:
 А я в напрасной скуке трачу
 Судьбой отсчитанные дни...
 <...>
 Но чтоб продлилась жизнь моя,
 Я утром должен быть уверен,
 Что с Вами днем увижусь я.

Но это, хотя бы, требования. Но дальше идет презумпция возможной реакции любимой женщины и — тем самым — ее характеристика:

Боюсь: в мольбе моей смиренной
 Увидит Ваш суровый взор
 Затеи хитрости презренной...

Видеть **такой** женщину и писать ей — по меньшей мере странно! Но и далее Онегин как будто бы забывает о ее собственном письме и их общей предыстории:

Когда б Вы знали, как ужасно
 Томиться жаждою любви.

Но и Татьяна как будто, судя по ее ответу, забыла о значимости любовного чувства, столь важного для нее еще несколько лет назад:

А нынче! — что к моим ногам
 Вас привело? какая малость!
 Как с Вашим сердцем и умом
 Быть чувства мелкого рабом?

Онегин тоже довольно верно угадывает реакции этой Татьяны, которую читатель считает еще прежней. Она действительно подозревает в его действиях *затеи хитрости презренной*:

Тогда — не правда ли? — в пустыне,
 Вдали от суетной молвы,
 Я Вам не нравилась... Что ж ныне
 Меня преследуете Вы?
 Зачем у Вас я на примете?
 Не потому ль, что в высшем свете
 Теперь являться я должна?..

И создается впечатление, что, во-первых, герои говорят и пишут друг другу *чужие* слова и что, во-вторых, Пушкин дает понять это читателю, делая эту «чужость» почти нарочитой. Ведь не случайно он роняет реплику: *Ей внятно все*.

Источник этих чужих слов был разгадан той же Ахматовой. «Петербургский эпизод» «Евгения Онегина» был ею проанализирован в связи с вопросом

о влиянии на Пушкина романа «Адольф» Бенжамена Констана, вышедшего в 1815 г. и сразу же ставшего повсеместно знаменитым. По наблюдению Ахматовой, «сходство Онегина с Адольфом возрастает к концу пушкинского романа, и в особенности явственно в VIII главе» (Ахматова 1936; 107). Совпадают и возраст героя (26 лет), и томительное и пустое существование, и сходство внешнего сюжета: родственник героя, граф П., в любовницу которого — польскую графиню Эллелору — Адольф влюблен, приглашает его на вечер, как и муж Татьяны. Ахматова приводит длинный список француженско-русских соответствий «Адольфа» и «Онегина», особенно это видно в «письме Онегина к Татьяне».

Однако Ахматова не обратила внимания на семантику позиции этих отрывков и тем самым на их функциональное место в тексте. Важно то, что все совпадающие с онегинскими тексты Адольфа написаны **в начале романа Констана**, Эллелора же откликается на его чувство, а потом превращается в надоевшую и постыльную любовницу. В «Онегине» же все перевернуто по отношению к «Адольфу». Первой объясняется в любви Татьяна. В «петербургском» же эпизоде тактика à la Adolphe, применяемая последовательно, не имеет никакого успеха. Все фатовские приемы французской литературы Татьяна просто игнорирует. И только больной, сломленный, похожий на мертвеца Онегин допущен ею к общению.

Итак, «Онегин» — это перевернутый «Адольф», крах французской тактики перед Женщиной-Судьбой. Пушкин создает литературно новый образ женщины, потом многократно повторенный в русской классической литературе. Не ее выбирают и обольщают — выбирает **Она**.

Но почему же именно «Адольф»? Более поздние исследования той же Ахматовой, как кажется, помогают ответить на этот вопрос (Ахматова 1977). Как она считает, глубинная эмоциональная жизнь самого Пушкина связана с чувством к Каролине Собаньской, урожденной Ржевуской, **польке**. Эта обворожительная графиня, сестра Евелины Ганской, жены Бальзака, очаровавшая Пушкина, Мицкевича и Сент-Бева, была осведомительницей русской тайной полиции, выдававшей заговорщиков-поляков. О ней есть специальная работа Р. Якобсона (Якобсон 1987). Доживала она свою жизнь во Франции, в 56 лет вышла в последний раз замуж, любила слушать «Евгения Онегина».

Как считается, именно ей писал Пушкин 2 февраля 1830 года, как будто бы уже влюбленным женихом, по сути единственное свое любовное письмо, где связывает всю свою жизнь с мучительным и блаженным чувством к ней. Называет он в этом письме ее *Chère Ellenore*. Потому что они вместе читали когда-то «Адольфа» и потому что она — полька. Восьмую главу «Онегина» он кончает осенью 1830 г. в Болдине. Ахматова находит текстовые совпадения и с «Каменным гостем»: оба произведения повествуют о чувствах по-настоящему влюбленного Дон-Жуана. «Поэтому Гуан похож на Онегина — вернее, оба они похожи на Адольфа, то есть на Пушкина» (Ахматова 1977; 182).

И Ахматова идет еще далее. Многое от «демона» Собаньской она усматривает в Татьяне петербургского периода. Известно, что именно Собаньска носи-

ла столь знаменитый потом малиновый берет. П. А. Вяземский к жене от 5 апреля 1830 г. пишет: «Собаньска умна, но слишком величава». См. у Пушкина о Татьяне: *В сей величавой, в сей небрежной...*

Пушкин был у Собаньской 5 января, в канун Крещенья — ср.:

— У! Как теперь окружена
Крещенским холодом она!

Уехал он из Петербурга 4 марта 1830 г. (по старому стилю):

В воздухе нагретом
Уж разрешалась зима.

Итак, Татьяна — это и идеал, и архетип Анимы, и что-то влекущее и страшное, что-то от Клеопатры, и что-то такое прекрасное и сильное, что губит и делает слабым.

В русском языке есть категория, которая в лингвистике именуется «неотчуждаемой принадлежностью»: то самое дорогое, что мы имеем, нам **не принадлежит** (глаза, сердце, душа, родители). Это значит, что Женщину-Судьбу нельзя ни обольстить, ни купить, ни ввести в круг своего обладания — именно потому, что это твоя Судьба, твоя Анима. Быть может, именно об этом говорят строки:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей.

Слово *меньше* ведет нас к банальному *больше*, но *легче* как бы опрокидывает горизонт ожидания и ведет к *тяжко*, *тяжело*. Поэтому подтекст можно прочитать как: *Как же тяжело и как трудно понравиться той, кого любишь по-настоящему!*

Дополнение 1

Уже после подготовки к печати этой книги, весной 1999 г., мне удалось ознакомиться с двумя статьями французского слависта Жана Брейяра, выводы которого, как оказалось, во многом, как мы это обсудили, совпадают с моими (см. Breuillard 1981, Breuillard 1999 (в печати в США)). Важно при этом не только концептуальное совпадение, но и то, что Ж. Брейяр, рассматривая «таинственную Татьяну», в основном сосредоточивается на эпизоде пребывания ее в доме Онегина и на том, что же именно она там делает, или, точнее, совершает. В нашей работе этот эпизод как бы выпадает, так что в целом наши исследования составляют нечто вроде цельного «диптиха».

Изложим относительно кратко основные положения Ж. Брейяра. Они являются ответом на вопрос о том, как свершилось внезапное превращение героини — «Как изменилася Татьяна!»

Ж. Брейяр обращает внимание на то, что в романе по сути одна Татьяна связана с неким иным миром, она способна прислушиваться к иному миру, это — «предчувствие иных, скрытых сил». Это — не наивность Татьяны, не ее незрелость (тогда бы наивное дитя Ольга, по мнению Брейяра, была бы еще ближе к этому миру). Это связано с тем, что, как считает исследователь, персонажи делятся на «горизонтальных», т.е. одномерных, и вертикальных, обладающих уходящими в древние почвы мира связями. Таких персонажей два — Онегин и Татьяна. Они связаны с тем, что Ж. Брейяр называет *théâtre primitif*, то есть тот простой мир древности, где есть великаны и оборотни, ведьмы и вампиры.

Это мир магии и стремления к обладанию: или ты будешь съеден, или ты победишь! Не случайно Пушкин все время подчеркивает «активную магию» Татьяны, ее умение и знания (гадание, например). Но сама она еще не осознает свою таинственную силу. Признание Татьяны — это заявка на обладание. Но она колеблется между тем, кто же сам Онегин — ангел или демон? Вещий сон помогает ей понять, что второе. Значит, они принадлежат одному иному миру. Ж.Брейяр замечает в этом странном сне три «вторжения жизни»: ручей, почему-то не скованный стужей (на это, по-моему, никто не обращал внимания. — Т. Н.), выскочивший медведь и шалаш с неистовым гамом внутри. Татьяна преодолевает также три препятствия: ручей, упадок сил и — порог хижины. Во сне наступает прозрение и — начинается борьба.

Но Татьяна, оставшись одна, еще бродит «тенью», как это подчеркивает Пушкин.

И центром перерождения, по мнению Ж.Брейяра, является именно «вялая» VII глава. Начинается весна, это «Воскресение природы», возобновление древних сил. (Тут Ж. Брейяр делает интересное наблюдение о том, что сам Пушкин эксплицитно объявляет о нелюбви к этому времени!) «Стихийные, природные силы, олицетворенные во сне в образах медведя и чудовищ, теперь овладели ею всею и придают ей силу и душевное спокойствие» (Breuillard 1999). И она посещает дом Онегина. И тут, как считает Брейяр, она интересуется не бытом любимого, не даже собственно книгами. «Внимание Татьяны привлекают больше всего маргиналии». Это пометки, следы ногтей. Она как бы воспринимает конкретные следы его присутствия. «Чтение Татьяны в кабинете Онегина — это прежде всего поиск релевантных знаков. Это расшифровка нового текста, написанного неизвестными письменами. Тут путь к душе Онегина лежит через смекалку толкователя» (там же).

Иначе говоря, происходит **колдовство**. Татьяна овладевает его душой. (Ж. Брейяр подчеркивает, что она сидит спокойно и неподвижно в его креслах, а он все время мечется.) Итак, «пока Татьяна душевно растет, в Онегине совершается обратный процесс: в конце романа, лишившись всего того, что давало ему силу и привлекательность, он представляет собой пустую скорлупу, будто „старое дитя“, бледное и высохшее существо, „на мертвеца похожий“. Таким

образом „возрастание” Татьяны параллельно „сокращению” Онегина: оба явления тесно, органически связаны. Эволюция Татьяны является лишь одновременной инволюцией Онегина. В данном случае времени Татьяны противопоставляется *антивремя* Онегина» (там же).

Дополнение 2

Разумеется, концепция Ж. Брейера кажется русской коллеге — Татьяне, внучке Татьяны, матери Татьяны и бабушке Татьяны, с раннего детства читавшей и читавшей все, что попадалось, — слишком крайней. Однако она вполне согласуется с изложенными в первой части книги взглядами на сосуществование двух систем: валоризованной, абстрактной, и эмпирической. Поэтому Татьяна вполне может быть чистой и любящей русской девушкой-дворянкой, несмотря на «древние корни». Как нам кажется, именно это хорошо объясняется введением концепта Анимы К. Юнга.

Однако теория Ж. Брейера лучше интерпретирует странные и не очень умные письма Онегина, штампы-трафареты, провалы его «французской тактики».

И тут вспоминается исключительно идущая к месту фраза Пушкина:

Остались мне одни страданья —
Плоды сердечной пустоты.

Онегин — пуст, и он — страдает. Оказывается, это двойная связка, и Пушкин это понимал.

Она объясняет и мелькнувшее при ее чтении словаря Задеки слово **ведьма**, которое Татьяна почему-то ищет.

Можно также, не выходя за рамки *comme il faut*, подумать и над фразой «Муж в сраженьях изувечен», которая трактовалась определенным образом, но — как скабрзность. Ведь у Татьяны нет детей. А Диана, лунная богиня, все время возникающая в «тексте Татьяны», связывается с девственностью.

Итак, трудно сказать, что именно чувствует человек-Татьяна, рыдая над письмом в сущности погибшего Евгения.

§ 9. Текст в тексте

Метатекст и его функции в тексте (на материале Мариинского Евангелия)

Не будучи, как представляется априори, обращенными непосредственно к нити основного повествования текста, метатекстовые компоненты вносят некий дополнительный смысловой «этаж» в содержание текста, обнажая его внутреннюю структуру, его соотношение с другими текстами и самим собой, его

внешнюю и внутреннюю цитацию. «Метатекстовые нити могут выполнять самые различные функции. Они проясняют семантический узор основного текста, соединяют различные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно выдернуть, не повредив остального. Иногда нет» (Вежбицка 1978; 421).

К метатекстовым компонентам относятся и термины-субстантивы вроде *имя*, *слово*, *выражение*, т. е. элементы метаязыка с соответствующими им толкованиями. Эти толкования вводятся через кодовые связки типа *а именно, то есть, называемый* и т. д. К ним же относятся (или присоединяются) толкования приблизительные, вводимые через *вроде бы, якобы, подобно* и т. д. В этом плане метатекстовые элементы сближаются со сферой неточных номинаций (о последних см.: Сахно 1983). Приблизительность номинаций пересекается с чужим словом в тексте и с отношением к нему, с цитацией и модальностью. В свою очередь цитирование, как явное, так и имплицированное, так же может быть структурным средством метатекстовой организации. Обращение к чужой речи есть результат заботы о точности своего кода. Это же коммуникативное стремление обнаруживаем и за толкованием, переводом слова или выражения чужого языка.

Таким образом, метатекстовые компоненты могут функционально соотноситься, с одной стороны, с такими категориями текста, как «чужое слово», отношение к нему, выраженная модальность. С другой стороны, они соотносятся с категориями приблизительности, неопределенности имени, а через последнюю — с экзистенциальностью и интродуктивностью.

Определение функциональной нагрузки каждого метакомпонента — это выявление смыслового его веса и смысловой задачи в общем семантическом пространстве текста. Это выявление неочевидных смысловых корреляций, включающихся в общую систему смысловых отношений данного текста. Поэтому анализ метакомпонентов неотделим от общих методов анализа структуры текста в целом, когда текст рассматривается как замкнутая дешифруемая нами система (безотносительно к авторской интенции). Обычно метатекстовые компоненты усматривают в текстах нового времени. Однако и в старых текстах они используются так же активно¹.

С очевидностью можно предсказать, что в тексте полемическом и в тексте дидактическом число метакомпонентов, чужих слов и цитаций будет намного больше, чем в текстах сугубо нарративных.

Полемичность пронизывает всю текстовую структуру евангельских текстов. Этим они отличаются от житийных. См. типы номинации Феодосия и неизменность его образа (а следовательно, и неизменность точки зрения) на всем протяжении житийного текста (Михайловская 1981), тогда как в евангельских текстах

¹ См. у Н. Г. Михайловской функциональную дифференцированность глаголов речи глаголати — молвити в древнерусских текстах (Михайловская 1980): молвити передает живую речь, для особо важных цитат и речений вводятся вѣщати и вѣщавати и т. д.

полифония наименований и полемика отношений создают огромный диапазон номинаций: **Исѣ** — **снѣ члвчскы** — **тектонѣ снѣ** — **Хѣ снѣ вѣжи** — **Исѣ Назарѣнинѣ** — **снѣ мои възлюблены** — **члвкъ съ** — **цсрѣ Издаилвѣ** — **нарицаемы Хѣ** — **цсрѣ иуденскѣ** — **оучителю** — **равѣви** — **гн** — **наставниче** — **тѣ** и др.² Полемичность выступает и при обращении к авторитетам пророков, в особенности Моисея: **неѣко отѣ Мосѣа есть нѣ отѣ оцѣ** (И.7.22); **не Моси дасть вамѣ хлѣбѣ съ небсе** (И.6.22); **что вамѣ заповѣдѣ Моси** (М.10.3).

За текстом стоит отражающаяся в нем культура. В данном случае — это культура с повышенным вниманием к вербальному воплощению бытия. Сами тексты пророчествуют: **не кѣнигы ли рѣша ѣко отѣ семене Два придетѣ Хѣ**, существенными и характеризующими являются и устные воплощения: **что вам заповѣдѣ Моси**, и живая устная речь действующего лица: **вы-истиннѣ отѣ нихѣ еси. Ибо галилѣанинѣ еси. I вестѣда твоя подобитѣ сѣ** (М.14.70); **и ты отѣ нихѣ еси ибо и вестѣда твоя авѣ тѣ творитѣ** (Мф.26.73). Речь и слово становятся атрибутом человека: **вѣ изгонѣ вѣсѣ и тѣ вѣ немѣ** (Л.11.14). Атрибутом и речевым субститутом народа является **я зы к**.

Опорными метаязыковыми единицами текста являются имя и слово. Имя становится ярлыком сути, переносимым на себя свойства сути и воплощающим ее. Поэтому важно и название, и самоназвание: **I нарицати сѣ отѣ члкъ равѣви. Вы же не нарицаете сѣ равѣви** (Мф.23.7—8); **ни нарицаете сѣ наставници** (Мф.23.10). Небезразличность названия младенца для данной культуры отчетлива при описании названия Иоанна Крестителя: **i вьсть въ осмы день придж обрѣзатѣ отрочѣте. I нарицахѣ е именемѣ отѣца своего Захарѣѣ. I отѣвѣштѣвши мати его рече ни нѣ да наречетѣ сѣ Иоанѣ I рѣша еи. ѣко никтоже есть отѣ рождениѣ твоего. I же нарицаатѣ сѣ именемѣ тѣмѣ. Помавадохѣ же отѣцю его. како ви хотѣлъ нарешти е. I испрошѣ дѣштицѣ написа гла. Иоанѣ есть имя емоу i чюдиша (сѣ) вьси.** (Л.1.59—62).

В тексте отражены и акты переназывания, нареkania взрослых людей: **ты еси Симонѣ снѣ нонинѣ. Ты наречеши сѣ Кифа еже съказаатѣ сѣ Петрѣ** (И.1.43); **нарече имя именѣ, Воанирѣсѣ, еже есть сна громава** (М.3.17). Однако получение нового имени не есть в то же время полная отмена старого существования: **и гла Петрови Симоне съпиши ли** (М.14.37). Получается некоторая раздельность существования человека и его воплощения в имени: **не съ ли есть тектоновѣ снѣ. Не мати ли его нарицаетѣ сѣ Марѣѣ** (Мф.13.37). (Сейчас было бы сказано: *он сын плотника и Марии*.) Эта параллельность существования не только осознается, но и описывается: **гладохѣ же Пилатови архирен иуденци. Не пиши црѣ иуденскѣ нѣ ѣко самѣ рече. Цсрѣ есмѣ иуденскѣ** (И.19.21). Таким образом, имя становится как бы повышенной ипо-

² «Возможность по-разному именовать один и тот же объект проистекает из возможности по-разному его обозначить, являющейся следствием множественности суждений» (Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977; 307).

стасью лица: и бѣси повннотъ са намъ о имени твоємъ (Л.10.17); аште приметъ отроча се въ имя мое ма приметъ (Л.9.48); нъ си въсѣ сътворатъ вамъ за имя мое (И.15.21) и под.

Вторым существенным для культуры конструктом является слово — основное понятие действия, как и м я есть основной терм: аште кто любитъ ма слово мое съблюдетъ (И.14.23); нъ иштете мене оубити ꙗко слово мое не въмѣштаатъ са въ васъ (И.8.37); въсѣкъ грады къ мнѣ и слышан слова моѣ и творѣ (Л.6.47); рци словомъ и исцѣлѣеть отрочъ мой (Л.7.7) и др. В самом тексте различаются два вида поучения: слово и параболическое иносказание — притча: і тацѣми притчѣми мънозѣми глше имъ слово ... бес притчѣ же не глше имъ (М.4.33—34); въпрашаахъ же и оученици его глшште. что есть притча си (Л.8.9). Суть притчи, ее иносказание могут остаться непонятными: І ти ничесоже отъ сихъ не разоумѣша. І бѣ глбсь съкровень отъ нихъ. І не разоумѣахъ глмыхъ (Л.18.34). Напротив, этот смысл может быть разгадан легко: І слышавъше архирен и фарисен притчѣ его разоумѣша ꙗко о нихъ глше (Мф.21.45). Описываемую культуру можно, таким образом, назвать ориентированной на вербальность. Это установка на слово как действие высшего плана, на сл о в о - и м я как особую суть, параллельную обыденной сути личности, на сакрализацию текста. «Иудаизм и вслед за ним ислам разрабатывали доктрину о предвечном бытии сакрального текста — как довременной нормы для еще не сотворенного мира: но в христианстве место этой доктрины занимает учение о таком же предвечном, о довременном бытии Логоса, притом понятого как личность („ипостась“)... И все же само имя „Логоса“, или „Слова“, очень естественно ассоциировалось с понятием „слова“ как текста — с понятием книги» (Аверинцев 1977; 201).

В сугубо полемическом тексте, каким является евангельский текст, антителичным можно считать не только поведение к н и ж н и к о в, но и поведение нейтральное, находящееся вне вербального противодействия сл о в а как живой поучающей речи и к н и г и как окаменевшей догмы. Носителями невербальной культуры оказываются три персонажа, каждый из которых несет определенную функциональную нагрузку.

Функция до-с л о в н о г о, до-и м е н н о г о проникновения в суть осуществляется Иоанном Крестителем. Прежде всего примечательно, что мы не знаем о каком-либо наречении им учеников и крестьящихся людей, он не дает имен. Все его ответы относятся к денотативной, а не номинативной сути: ты ли еси грады ли иного чаемъ (Л.7.20); съ есть гркдыи по мнѣ. іже прѣдъ мъножъ высть. ѿмоу же азъ нѣсмъ достоннъ да отрѣшж ремень сапогоу его (И.1.27). Так же, по сути, он характеризует и себя: І въпросиша и чьто оубо ты еси. І лиѣ ли еси. і гл нѣсмъ. Пророкъ еси ты. і отвѣшта ни (И.1.20—21). В тексте о нем поэтому говорится, что он: не бѣ ть свѣтъ нъ да свѣдѣтельствоуетъ о свѣтѣ (И.1.8), и только после него: І слово плать высть (И.1.14).

Функцию Беседы, Дискуссии, любознательного отношения к новизне, происходящую от концептуальной пресыщенности, иначе говоря, функцию быть носителем эллинистического мировоззрения, текст представляет тетрарху Галилеи и Перей Ироду Антипе. Он — сын царя Ирода, поэтому человек, называющий себя царем иудейским, ему лишь любопытен; он привык беседовать с Иоанном Крестителем: *Иродъ во боѣваше сѧ Иоана вѣды и мѧжа правѣдѣна и ста. И хранѣваше и. и послушавъ его мѧного творѣваше и. въ сласть его послушаваше* (М.6.20). Привыкнув к эллинистической пестроте культуры, он готов включить в нее нечто новое: *Иродъ же видѣвъ Иса радъ бысть зѣло бѣ во желѣих отъ многогъ врѣменъ видѣти зане слышаваше мѧного о немъ. И надѣваше сѧ знамение етеро видѣти отъ него бываемо. Въпрашаваше же и словеса мѧного* (Л.23.8.9).

Самый отчетливый чужой в среде вербальной культуры — римлянин Понтий Пилат. Его функция — это функция Сути, Прагмы. В тексте показано понимание им двух параллельных сущностных начал в окружающей культуре: денотативной и номинативной сущности, а также понимание своей чуждости этой культуре: *ты ли еси цѣрь юденскъ. Отъвѣшта емоу Ис. о себѣ ли ты глещи се. ли ини тебѣ рѣша о мѧнѣ. Отъвѣшта Пилатъ. еда азъ жидовинъ есмь. родъ твой и архiereи прѣдаша тѧ мѧнѣ* (И.18.33—35). Он требует ответа «по сути»: *ты ли еси цѣрь юденскъ* (Мф.27.11); *ты ли еси цѣрь юденскъ* (М.15.2); *ты ли еси цѣсарь юдеомъ* (Л.23.3); *ты ли еси цѣрь юденскъ* (И.18.33). Обращаясь к толпе, Пилат показывает понимание роли имени в окружающей его среде и в то же время подчеркивает несерьезность именования как вины с его точки зрения: *Вараввѣ ли. или Иса нарицаемаго Ха* (Мф.27.17); *что же сътвориш Иса нарицаемаго Ха* (Мф.27.22); *что оубо хощете сътвориш его же глѣте цѣрь юденска* (М.15.12). Поэтому, с его точки зрения, можно казнить лишь претендента на суть, но не претендента на имя: *глааж же Пилатови архiereи юденсци. Не пиши цѣрь юденскъ. нѣ ѣко самъ рече. цѣрь есмь юденскъ. отъвѣшта Пилатъ. еже писахъ писахъ.* (И.19.21—22). Это глубокое противопоставление римской и иудейской культур отмечают также А. и Д. Пэтт, авторы структурно-семиотического анализа новозаветного текста: М.15—16; они связывают его с оппозициями: одиночка — толпа, секулярность — традиция (Patte 1978); примечательно, что это отрицание сакральности чисто вербальной культуры сближает ранее враждебных друг другу Ирода и Пилата: *высте же си друуга. Иродъ же и Пилатъ въ тѣ день съ совож. Прѣжде во вѣшете враждѣ и мѧшта между совож* (Л.23.12).

Понимание важности слова и имени для той культуры, которая стояла за анализируемым текстом, диктовало особенное внимание к функционированию метатекстовых компонентов. Лингвистика текста, как указывалось выше, всегда имеет дело с ситуацией выбора, т. е. такой, когда требования как грамматики, так и стилистики допускают плюрализм употребления. Поэтому важно знать, что такой выбор есть: если бы все собственные имена вводились через имя,

то это была бы языковая норма. Сопоставительный анализ четырех текстов говорит о том, что этот выбор представлен: *видѣ члѣка на мытъници сѣдѣшиа, імене Матеа* (Мф.9.9), ср.: *видѣ Левъчижъ Альфеова сѣдѣшта на мытъници* (М.2.14). Ср. также первые упоминания: *і се приде единъ отъ архисинагогъ. іменемъ Иаиръ* (М.5.22), и другое введение: *сынъ Тимеовъ Вартимен. слѣпъ сѣдѣаше при пѣти хлѣбѣа* (М.10.46), где ни Тимей, ни Вартимей больше нигде не фигурируют. Таким образом, задача дешифровки функциональной нагрузки метатекстовых компонентов в данном тексте вполне может быть поставлена.

Метатекстовые компоненты с лексемой *имя*

Рассматриваются не ситуации нареkania, давания имени, о которых говорилось выше в связи с общим определением культуры этноса как вербально ориентированного, но те, когда лексема *имя* добавляется к имени собственному, уже у человека имеющемуся. Таких текстовых отрезков в Мариинском Евангелии — 19: 1) *члѣка. На мытъници сѣдѣшиа. імене Матеа* (Мф.9.19); 2) *вѣѣма же на десѣте апѣла. імена сѣтъ се* (Мф.10.2); 3) *оврѣтѣ чѣа кѣрннѣиска, іменемъ Симона* (Мф.27.32); 4) *члѣкъ богатъ отъ арипатѣа іменемъ Иосифъ* (Мф.25.27); 5) *приде единъ отъ архисинагогъ. іменемъ Иаиръ* (М.5.22); 6) *выстъ перен единъ іменемъ Захаріѣ... жена его... има еи Елисаветъ* (Л.1.5); 7) *посѣланъ выстъ... мѣжеви. емоуже има Иосифъ* (Л.1.27); 8) *і има дѣвѣ Маріѣ* (Л.1.27); 9) *і се вѣ чѣкъ въ Илѣѣ. еому же има Симеонъ*. (Л.2.25); 10) *емоу же вѣ има Иаиръ* (Л.8.11); 11) *жена едина іменемъ Марѣта* (Л.10.38); 12) *і сѣби вѣ сестра іменемъ Маріѣ* (Л.10.39); 13) *нищъ же вѣ единъ іменемъ Лазаръ* (Л.16.19—20); 14) *и се мѣжъ іменемъ нарицаемъ Закѣхен* (Л.19.2); 15) *і се мѣжъ іменемъ Иосифъ. сѣвѣтъникъ сы* (Л.23.50); 16) *отъвѣштѣавъже единъ емоуже има Клеопа* (Л.24.18); 17) *выстъ чѣкъ. посланъ отъ Ба. има емоу Иоанъ* (И.1.6); 18) *вѣ же члѣкъ отъ Фарисѣи. Никодимъ има емоу* (И.3.1); 19) *вѣ же има рабоу Малухъ* (И.18.10).

Для анализа текстовых функций перечисленных отрывков составлен был набор анкетуемых признаков: 1) как вводится этот же персонаж в других текстах Мариинского Евангелия, если он там представлен; 2) осуществляется введение персонажа в прямой или в косвенной речи; 3) какой набор лексем характеризует данные отрывки; 4) какие ключевые нарративные темы связаны с данными отрывками; 5) какова ценностная ориентация говорящего — нейтрален, христианин, враг христианства; 6) какова ценностная ориентация вводимого персонажа; 7) меняются ли обе ориентации?

Полученные результаты

1. Во всех отрывках с лексемой *имя* присутствуют лексические показатели категории экзистенциальности: формы от *быть*, формы от *один*, формы от *человек*, *муж*, *жена* и т. д., особые экзистенциальные частицы *се*, *і се*. См. (со-

храняется нумерация выше): 1) ч̄л̄ка... с̄ѣдша (статальность). Ср.: мытарѣ... с̄ѣдштъ (Л.5.27); 2) а п̄л̄м а і мена... сатъ се; 3) ч̄к̄а обрѣтѣж кѣриненска — ср. единомуѣ Симоноу кѣрѣнниноу (М.15.21); емъше Симона е д н н о г о кѣринѣа (Л.23.26); 4) ч̄л̄к̄ъ богатъ отъ Ариматѣвъ; приде Иосифъ іже н ть вѣ (М.15.43—45); с е мжжъ с̄вѣтъникъ сы (Л.23.50); 5) приде е д н н ъ отъ архисоунагогъ; с е кьназъ вѣшедъ (Мф.9.18); і с е приде мжжъ к Исоу емоу же вѣ нма... І ть кьназъ вѣ (Л.8.40); 6) выстъ нерен е д н н ъ; 7) посланъ выстъ м ж ж е в и; 8) нма дѣ вѣ Маритѣ; 9) с е вѣ ч̄к̄ъ Илмѣ; 10) і с е приде мжжъ къ Исоу емоу же вѣ нма... кьназъ... вѣ; 11) в ы с т ъ же ходаштемь нма... жена е д и н а; вѣ же е д и н ъ бола Лазарь (И.11.1—5); 12) і сѣи вѣ сестра; 13) нищъ же вѣ... е д н н ъ именемъ Лазарь. Ср. ранее в этом же эпизоде: члвкъ же е д и н ъ вѣ... богатъ; 14) н с е мжжъ... вѣ старѣи мытаремъ; 15) і с е м ж ж ъ именемъ... с̄вѣтъникъ сы; 16) отъ вѣштавъ же е д и н ъ емоу же нма; 17) в ы с т ъ ч̄к̄ъ посланъ; 18) вѣ же ч̄л̄к̄ъ отъ фарисѣи; 19) вѣ же нма равоу... Ср. оудари е д н н ъ нѣкы отъ нхъ архиреова рава (Л.22.50); е д и н ъ же отъ стоаштинхъ извлкъ ножъ оудари рава архиреова (М.14.47); і с е е д н н ъ отъ сжштинхъ съ Ис̄м̄... оудари рава архиреова (Мф.26.51).

Таким образом, в перечисленных отрывках и в связанных с ними тождеством ситуации других отрывках текста обязательно присутствуют показатели категории неопределенности в ее интродуктивно-экзистенциальном варианте: вѣ, сы, ч̄л̄къ, мжжъ, едннъ, жена и т. п. Факт связи неопределенности имени в тексте и перерыва нарративной линии, введения нового эпизода известен уже давно (в особенности см.: Вайнрих 1978), именно так неопределенность функционирует в интродукции притч: ч̄к̄ъ етеръ нмѣ дьвѣ члдѣ (Мф.21.28); дьва длъжнника вѣсте занмодавцоу етероу (Л.7.41); ч̄л̄къ едннъ с̄хощдаше (Л.10.30); ч̄коу единомуѣ богатоу оговъзи с̄а нива (Л.12.16) и т. д. Однако в притчах персонажи безымянны. Более существенное отличие — различие ключевых сюжетных тем, сопровождающих притчи и *имя*-ситуации. Первая тема последних — это тема д в и ж е н и я, п у т и. Глаголы движения всегда сопровождают отрывки с метакомпонентом *имя*, передаваемые ситуации — это всегда в буквальном смысле «проходные эпизоды»: 1) І п р ѣ х о д а... видѣ ч̄лка; н з и д е н оу зьрѣ мытарѣ именемъ Левѣнж; 2) і п р и з ъ в а оба на десатѣ оученика своѣ; 3) с̄ходкше же обрѣтѣж ч̄лка... задѣша м и м о х о д а ш т о у единомуѣ (М.15.21) і в̄ко н п о вѣ с а емъше симона г р а д ж ш т а с ѣ с̄ла (Л.23.26); 4) п р и д е ч̄л̄къ богатъ; п р и д е Иосифъ отъ Ариматѣвъ (М.15.43—45); Иосифъ... п р и с т ж п ѣ къ Пилатоу (Л.23.50); 5) і с е п р и д е... с е кьназъ вѣшедъ (Мф.9.18); і с е п р и д е мжжъ к Исоу (Л.8.40); 6) вѣ в и ж е с а емоу анѣ; 7—8) п о с ѣ л а н ѣ в ы с т ѣ м ж ж е в и; 9) і п р и д е д̄хмъ вѣ цр̄квѣ; 10) н с е п р и д е мжжъ къ Исоу; 11—12) в ы с т ѣ ж е х о д а ш т е м ѣ н м ѣ... в ѣ н и д е Ис̄ъ; 13) (единственное исключение); 14) і в ы с е д ѣ п р о х о ж д а ш е Ис̄ъ; 15) і сѣ п р и с т ж п ѣ къ Пилатоу; 16) Ис̄ъ п р и в л и ж ѣ

сѣ и дѣаше съ нима; 17) высть чкъ посланъ отъ Ба; 18) съ приде къ нему ништнѣ; 19) приде тамо съ свѣтилы...

Итак, с темой и мени связывается тема пути. Во всех эпизодах присутствует косвенная речь, исключение — № 13, оно включено в рассказ, в притчу. Эти «проходные эпизоды» входят в основное повествование текста, не являясь параболическими отклонениями. Исходной ценностной точкой является нейтральность либо позитивность как рассказчика, так и персонажа.

2. Вторая ведущая сопровождающая тема — тема контакта, прикосновения, касания, как физического контакта, так и поведенческого сближения. Контакт связан с христианством, с Иисусом; инициатором контакта может быть как вводимый персонаж, так и Христос. См. конкретно: 1) мытарь Матфей становится учеником Христа; 2) Христос созывает учеников и дает им власть; 3) Симону Кириянину дают нести крест Христа; 4) Иосиф Аримафейский просит тело Иисуса и получает его; 5) Иаир — **паде на ногу его**; Христос исцеляет его дочь, коснувшись руки; 6) Захария и Елизавета становятся родителями Иоанна Крестителя; 7—8) Иосиф и Мария становятся сопричастны христианству через зачатие; 9) праведный Симеон получает возможность умереть, после того как берет на руки младенца Христа; 10) Иаир — см. 5; 11—12) **Марфа и Мария сѣдъши при ногу исвоу**, принимают Христа в доме; 13) нищий Лазарь приобщается к посмертному блаженству (но здесь исключение остается — он как бы вне христианства); 14) бывший мытарь Закхей неожиданно принимает Христа в доме; 15) см. 4; 16) Клеопа, идя с воскресшим Христом, узнает его; 17) Иоанн Креститель крестит Христа; 18) Никодим приходит к Христу за истиной и становится близким ему; 19) Христос касается отрезанного уха раба Малха и исцеляет его.

Таким образом, к теме пути присоединяется тема обретения через контакт. Ценностные ориентации из нейтральных становятся позитивными. Здесь нет, как в канонических притчах, ни дурных хозяев, ни неразумных дев, ни злых работодателей, движение всегда от нейтрального к «своему», к позитивному. Описанные ситуации реальны и включены в основное повествование. Именно так в повествовании обычно отличается пример (он может быть безымянным) от образца (образец всегда конкретен). Поэтому эпизоды с металексемой «имя» можно назвать **скрытыми притчами-образцами**.

Метатекстовые компоненты с лексемой *нарицаемый*

В данной группе отрывков оказалось целесообразным различать тип основной лексемы: *человек; место*.

«Нарицаемый» человек

Рассматривались приименные показатели, но не глаголы называния, хотя именно глаголы способны очень четко передавать разное отношение к сути=

имени собственному и сути=имени нарицательному: не съ ли естѣ тектоновъ снѣ. Не мати ли его нарицаеть съ Марѣ (Мф.13.55) — ср. выше возможную современную форму *Он сын Марии и плотника*.

Во всем анализируемом тексте представлено 18 подобных примеров: 1) роди ск Ісѣ нарицаемы Хсѣ (Мф.1.16); 2) видѣ... Симона нарицаемаго Петра (Мф.4.18); 3) і Келевен наречены Таден (Мф.10.2); 4) на дворѣ архиереевъ нарицаемаго Канѣфа (Мф.26.3); 5) шедъ отъ оубо идсѣт нарицаемы Июда Искарнотъскы (Мф.26.14); 6) імѣаше же тѣгда съвѣзнь нарочита нарицаемаго Варавва (Мф.27.16); 7) кого хоцете отъ оубо отъпоушту вамѣ. Вараввж ли. или Іса нарицаемаго Ха (Мф.27.17); 8) что же сътвориѣ Іса нарицаемаго Ха (Мф.27.22); 9) бѣ же нарицаемы Варавва съ своимн ковѣники съвѣзанъ (М.15.7); 10) сто оубо хоштете сътвориѣ его же глѣте цсрѣ нюденска (М.15.12); 11) і Симона нарицаемаго Зилота (Л.6.15); 12) і жены едины бѣахж исцѣлены... Марѣ нарицаемаѣ Магдалини (Л.8.2); 13) се народъ и нарицаемы Июда единъ отъ оубо на десѣте идѣаше (Л.22.47); 14) выниде же сотона вы-Июдѣ нарицаемаго Искарнотъ сѣща отъ числа оубо на десѣте (Л.22.3); 15) чѣвкъ нарицаемы Іс. врьнье сътвори и помаза очн мон (И.9.11); 16—18) Тома нарицаемы близнецъ (И.9.6; 20.24; 21.2).

Слово «называемый», как отмечает Л. С. Сахно, на самом деле многозначно, оно может соответствовать позиции всех, позиции не всех. Последнее вызывает желание полемизировать (Сахно 1983; 33). К этому делению можно добавить и другое: «называемый» относится к подлинному имени: нарицаемы Варавва или это некоторое добавление к собственному имени, дополнительный идентификатор — Марѣ нарицаемаѣ Магдалини. В первом случае «называемый» есть ситуативный точный коррелят «по имени», именно поэтому он наиболее важен для понимания функционального разграничения этих групп. В остальных случаях «называемый» свидетельствует о дополнении к имени. В целом для этой группы намечаются три принципиально разных множества с метакомпонентом *нарицаемый*.

1. Человек получает другое имя или добавление к исконному имени: Симонъ нарицаемый Петръ; Келевен наречены Таден; Марѣ нарицаемаѣ Магдалини; нарицаемы Июда Искарнотъскы; Симонъ нарицаемы Зилотъ. В этих случаях персонаж вводится через косвенную авторскую речь. Автор присоединяется к общему называнию. Русский эквивалент — *прозываемый* или *называемый*.

2. Человеку приписывают некую сущностную характеристику и называют по ней: Ісѣ нарицаемы Хсѣ; Іса нарицаемаго Ха (Речь Пилата); Іса нарицаемаго Ха (Речь Пилата); его же глѣте цсрѣ нюденска (Речь Пилата). Здесь случай второго «называемого», по Л. С. Сахно: Пилат не примыкает к точке зрения иудеев, он подчеркивает, что это именно их номинации: і гла нюдеомъ се цсрѣ вашъ (И.19.14); гла имъ Пилатъ. цсрѣ ли вашего пропънж (И.19.15). Имплицированное цитирование, о котором говорилось выше в связи с наблю-

дениями А. Вежбицкой, содержится в связи с данной номинацией, выступает отчетливо и в обращении, где «называемый» обычно имплицитруется: рѣгаа-хжса емоу глѣжште. радоуи са цсрю нюденскъ (Мф.27.29); і начаса цѣлова-ти и. радоуи са цсрю нюдескъ (М.15.18).

3. *Нарицаемый* относится к подлинному имени человека: нарицаемы Канѣфа; нарицаемы Варавва; нарицаемы Июда; нарицаемы Ис. Во всех этих номинациях персонаж ценностно чужд говорящему, он не проходит пути, освоеня, так: нарицаемы Ис — говорит слепой, как бы цитируя толпу и ее речь.

Таким образом, *нарицаемый* — это коннотативный метакомпонент. Передаваемые коннотативные оттенки распределяются следующим образом: группа 1 — передается чужое дополнительное именование, отношение к нему наиболее нейтральное; группа 2 — передается чужая сущностная номинация, говорящий к ней не присоединяется; группа 3 — передается собственное отчужденное отношение к персонажу. Таким образом, если компонент «по-имени» связан, как говорилось, с «освоением», то «нарицаемый» связан, напротив, с «отчуждением».

Специальное функциональное место в этой связи занимает в данном тексте подчеркивание «чуждости» Иуды Искариота. Первоначально *нарицаемый* относится к его топонимическому прозвищу: он Иуда, называемый Искариотским, как Мария называется Магдалиной. Но это первичная нейтральность снимается переводом его номинации с *нарицаемый* в группу 3 — он становится: нарицаемы Июда. Его чуждость подчеркивается в тексте и особым приемом: при анафорической номинации коммуникативным определением: Июда Искариотъскы іже и прѣдасть (Мф.10.4); отъ овоуж ндсат нарицаемы Июда Искариотъскы (Мф.26.14); отъвѣщавъ же Июда прѣдаи и его рече (Мф.26.25); Июда единъ отъ обою на десате приде (Мф.26.47); видѣвъ Июда прѣдавн его (Мф.27.3); і Юдж Искариотъскааго іже и прѣдасты- и (М.3.19); Июда Искариотъскы единъ отъ обою на десате иде (М.14.10); приде Июда единъ отъ овоуж на десате (И.14.43); вьниде же сотона вы-Июдж нарицаемааго Искариотъ сжца отъ числа обою на десате (Л.22.3); се народъ и нарицаемы Июда ндѣаше (Л.22.47); глѣаше же Июдж Симонова. Искариота съ бо хотѣаше прѣдати и единъ сы отъ обою на десе (И.6.71); гла же единъ отъ оученикъ его. Июда Симонъ Искариотъскы. іже и хотѣаше прѣдати (И.12.4); въ срѣце Июдѣ Симоновоу Искариотъскоумоу да и прѣдасть (И.13.2); вѣдѣаше же Июда иже и прѣдааше (И.18.2). Иуда, таким образом, вводится всегда как новый персонаж, интродуктивно, тем самым это постоянство развернутого коммуникативного определения сближает, как говорилось, метатекстовые компоненты с неопределенными дескрипторами имени.

«Нарицаемое» место

В тексте Маринского Евангелия таких отрывков 11: 1) градъ нарицакмын Назаредъ (Мф.2.23); 2) на мѣсто нарицаемое Голъгота еже естъ нарицае-

мое Краниево мѣсто (Мф.27.33); 3) на мѣсто нарицаемое Краниево (Л.23.33); 4) изиде въ нарицаемое Краниево мѣсто (И.19.17); 5) въ градъ Галилеискъ емоу же имя Назаретъ (Л.1.26); 6) въ градъ Дѣвъ. іже нарицаатъ сѧ Витлеємъ (Л.2.4); 7) идѣаше Исъ въ градъ нарицаемыи Наннъ (Л.7.11); 8) на мѣсто поусто града нарицаемааго Видѣсанда (Л.9.10); 9) весь... еи же имя Емаоуъ (Л.24.13); 10) въ градъ самарьскъ нарицаемыи Сухарь (И.4.5); 11) иде... въ Ефремъ нарицаемъ градъ (И.11.54).

Коннотации отчужденности и негативности в этих именованиих нет. Выступают как функциональные синонимы: градъ нарицаемыи Назаретъ и емоу же имя Назаретъ. Как и отрывки с лексемой *имя*, эти отрывки текста связаны с темой пути, движения: *пришедъ, привѣса, придѣ, изиде, посланъ выстѣ, възиде, идѣаше, отиде, иджшта, приде, иде*. Но их сюжетная нагрузка специфична: подобные топонимы с метакомпонентом вводятся перед началом значительных событий: 1 и 5 — явление ангела Марии, 2, 3, 4 — казнь Христа; 6 — рождение Христа; 7 — воскрешение мертвого сына вдовы и полное признание Христа Иоанном Крестителем; 8 — первое умножение хлебов; 9 — явление воскресшего Иисуса; 10 — эпизод с самарянкой и превращение воды в вино; 11 — приближение иудейской Пасхи.

Таким образом, метакомпонент «нарицаемый», обращенный к топонимам, служит функции привлечения внимания ко в дальнейшем важному месту, освоение его от изначальной неизвестности (Иерусалим, Галилея так не вводятся). Поэтому текстовая нагрузка подобных компонентов сочетает в себе и функции группы *имя* (освоение), и свойства «нарицаемый» человек (исходная отчужденность).

«Чужое иноязычное слово» как метатекстовый компонент

Иноязычное слово — обращение

Как говорилось выше, цитации, текстовые отсылки и самоотсылки есть также явления метатекста, они переключают внимание адресата на собственно текстовые компоненты, тем самым создается следующий уровень интерпретации. Включенная речь, чужая — это и буквально чужая речь, вставляемая в текст сознательно (в случае данного текста это очевидно), иноязычные инкорпорирования могут переводиться, толковаться, или вводиться без перевода.

Именно обращение является в Мариинском Евангелии позицией, где вводится чужая речь, параллельно со старославянской формой. Вообще в данном тексте вариации обращений, т. е. коммуникативных вариантов номинации одного лица, огромны, например, именно обращение может свидетельствовать о неполном переименовании в коммуникации: *и гла Петрови. Симоне съпниши ли* (М.14.37), показывать все аспекты представленных «точек зрения».

Собственно чужая речь, иноязычная, выступает в данном тексте при обращении к Иисусу в речи обыденных персонажей. Всего обращений четыре: *гос-*

поди, учитель, наставник и равви. При сопоставлении с греческим текстом оказывается, что их корреспонденция неоднозначна. Представлены следующие группы старославянско-греческих соответствий:

- 1) *гн* — *Κύριε*;
- 2) *оучителю* — *Διδάσχαλε*;
- 3) *оучителю* — *Ράββει*;
- 4) *равви* — *Ράββει*;
- 5) *наставъниче* — *Ἐπιστάτα*.

Таким образом, существенно определить принцип выбора в старославянском и греческом текстах в том случае, когда арамейскому слову, перенесенному в греческий текст, соответствуют два варианта в Мариинском Евангелии, и наоборот, понять, когда одной форме *оучителю* в греческом тексте соответствует либо греческое, либо арамейское слово. Для этого анализировались соответствующие фрагменты текста с учетом следующих показателей: 1) социальный статус адресанта; 2) отношение адресанта и адресата.

Всего отмечено 41 обращение в указанных ситуациях. Наиболее распространенным является соответствие: *оучителю* — *Διδάσχαλε* (25 случаев). Кто так обращается? Ученики Иоанна Крестителя (М.9.38), ученики Иисуса (М.4.38; М.13.1), но в подавляющем большинстве это посторонние, пока еще чужие лица (или чужими и остающиеся): *единъ кънижъникъ* (Мф.8.19; М.12.32); *етери отъ кънижъникъ і фарисѣи* (Мф.12.38); *садоукеи* (Мф.22.24; С.12.19); *законоучитель* (Мф.22.30); *единъ отъ народа* (М.9.17); *приде единъ въпрашааше* (М.10.17); *едины отъ фарисѣи и иродиѣны* (М.12.13); *мытаре* (Л.3.12); *і се мжъ из народа възъпи* (Л.9.38); *законъникъ етеръ* (Л.10.15); *единъ отъ народа* (Л.12.13); *единъ къназь* (Л.18.18) и т. д.

Выбор двух вариантов соответственно: *оучителю* — *Ράββει* и *равви* — *Ράββει* — разрешается оппозицией числа адресующихся. Если обращается группа индивидов, то выступает форма *оучителю*; если же обращается один человек, то выступает *равви*. Таким образом, старославянский текст отличается от греческого по текстовой функции метакомпонента — арамейского слова. Для греческого текста существенна оппозиция: «свой в целом» — *Ράββει*, «посторонние» — *Διδάσχαλε*; для старославянского текста существенно обращение: один «свой» с учителем — *равви*, группа лиц — *оучителю*, т. е. большая интимизация. Так, *оучителю* говорят *оученици* (И.11.8), ученики Иоанна (И.6.25), *оученици его* (И.9.2), *оученици его* (И.11.8). Но Иуда Искариот (ученик один, хотя и предатель) говорит *равви* (Мф.26.25; Мф.26.49; М.14.45), т. е. так же, как Симон Петр (М.9.5; М.11.21) и другие.

Иноязычное слово — компонент текста

Выделяется 6 текстовых ситуаций введения иноязычной речи.

1) Иноязычное слово вводится в прямой речи, сообщающей о речи других без перевода-толкования (Речь — Речь — Б/Т): *речеть братоу свожмоу рака*

повиненъ ксть съньмищоу (Мф.5.22); і нарицати сѧ отъ члкъъ равъви (Мф.23.7); вы же не нарицате сѧ равъви (Мф.23.8).

2) Иноязычное слово вводится в прямой речи о речи других с толкованием (Речь — Речь — Т): вы же глѧте аште речетъ члкъъ отъцоу ли матери корван. еже естъ даръ (М.7.11).

3) Иноязычное слово вводится в прямой речи с толкованием (Речь — Т): ты наречеши сѧ Кифа еже съказаатъ сѧ Петръ (И.1.43); і глаше авва отцъ (М.13.36); обрѣто.мъ. меснѧ. еже естъ съказаемо Хъ (И.1.42).

4) Иноязычный компонент вводится в прямой речи, толкование осуществляется в косвенной (Речь — Текст — Т): елwi елwi лема савахтани. ежестъ бже .мон бже .мон въскжѧ ма еси оставилъ (Мф.27.46); въ деватжѧхъ годнѧхъ възъпи Исъ гласомъ велнемъ гла елwi лима савахтани. еже естъ съказаемое бже бже .мон въскжѧ ма остави (С.15.34); і емъ за ржжѧ отроковицѧ гла ен. талитакоумъ еже естъ съказаемое дѣвнице тебѣ глѧхъ възстани (М.5.41); і нарече нма именѣ воаннрѣсѣ. еже естъ сѧ громова (М.3.1.7); і гла емоу еффата. еже естъ разврѣзи сѧ (М.7.34); і рече емоу нди оумын сѧ въ коупели силоуамьсѣѧ. еже съказаатъ сѧ посыланъ (И.9.7); она же рѣсте емоу рав'ви. еже глетъ сѧ съказаемо оучителю (И.1.39); она гла емоу. еврейскы раввоуни. еже наречетъ сѧ оучителю (И.20.16).

5) Иноязычное слово вводится в косвенной речи как сообщение о прямой речи и в тексте толкуется (Текст — Речь — Текст — Т): і сѣде на сждништи. на мѣстѣ нарицаемѣмъ Литостротѣ. еврейскы же Гаввата (И.19.13); изиде въ нарицаемое Краниево мѣсто. еже глетъ сѧ еврейскы Голгота (И.19.17); і пришедъше на мѣсто нарицаемое Голгота. еже естъ нарицаемое Краниево мѣсто (Мф.27.33) — последние два примера структурно как бы симметричны.

6) Иноязычное слово вводится в прямой речи и не толкуется (Речь — Т — Т): не можете Боу работати н мамонѣ (Мф.6.24); не можете Боу работати н мамонѣ (Л.16.13).

Итак, все шесть групп связаны с прямой речью, не выявлен гипотетически возможный вариант введения иноязычного слова не в прямой речи, в тексте, без указания на то, что это факт чужой речи: в современном языке было бы скорее: *равви — это значит учитель*. В тексте же Мариинского евангелия сопоставляется своя и чужая речь, а не значения слов.

Функционально эти группы разнородны. В книге А. и Д. Пэтт, по существу посвященной структурно-семантическому анализу текста Марка 15 и 16, много внимания уделяется функции арамейского высказывания |Еλωi, Еλωi лема савахтане.| Важным, по их мнению, является установление сюжетной дистрибуции этой фразы: она включена между сообщением об абсолютной тьме и нечеловеческим, т. е. невербальным криком. Суть этого отрезка, по мнению Пэтт, в воплощении полного непонимания, одиночества (Patte 1978; 58—59). Это непонимание окружающими в тексте подчеркивается: слышавъше глаахѧ.

Ѹко Илья зоветъ (Мф.27.47); **слышавъше глаахъ, виждъ Илья глашаатъ** (М.15.35).

Мотив непонимания и одиночества устанавливается и в других примерах этой группы: Мф.23.7 — перед обличением фарисеев; М.7.11; М.14.36 — как эмоциональная трагедия; в других примерах существенным представляется коммуникативная ущербность адресанта: И.9.7 — это прозрение слепого; М.5.41 — восстание мер:вой; М.7.34 — лечение косноязычного. Таким образом, метатекстовые компоненты связаны с эмоциональной отчужденностью — с непониманием — с чудом (см. и в косвенной речи усиление иноязычных компонентов именно перед Голгофой).

* * *

В общем виде функциональные нагрузки групп с метатекстовыми компонентами в Мариином Евангелии декодируются следующим образом:

1. Группа и м я. Функция скрытой притчи-образца, демонстрация пути с позитивным исходом, становления сопричастности.

2. Группа «н а р и ц а е м ы й» ч е л о в е к. Имеет значения «прозываемый» и «так называемый». В последнем случае выполняет функцию передачи отчуждения от называемого лица или чуждости этого лица.

3. Группа «н а р и ц а е м о е» м е с т о. Функция привлечения внимания к данному малоизвестному месту в связи с общим сюжетом. Соотносится содержательно с группой 1 и 2.

4. Группа о б р а щ е н и е. Функция интимизации: в старославянском тексте демонстрирует близость/дальность в общении говорящего и адресата. Старославянский текст отличается в этом плане от греческого.

5. Группа и н о я з ы ч н а я р е ч ь. Вводит мотив одиночества — непонимания — чуда.

Существенно отметить функциональную противоположность иноязычного слова в группах 4 и 5. Если в контекстах группы 4 оно вводится как показатель максимальной близости, то в контекстах группы 5 — это показатель отчуждения, одиночества. Таким образом, подтверждается положение о необходимости анализировать контекстную дистрибуцию, занимаясь лингвистикой текста.

В анализировавшемся тексте не встречаются метакомпоненты, относящиеся к внешней самоорганизации текста. Метакомпоненты соотносятся не с планом выражения текста, но с его содержанием, связываясь в основном с оппозицией: свой—чужой. Так, и м я — это «свой в чужом»; н а р и ц а е м ы — «чужой в чужом»; е же е с т ь с ь к а з а е м о е — «чужой в своем».

К чему восходит текст о безвременно погибшем юноше?

Среди нескольких внутренних «текстов» русской классической литературы, выделенных Московской семиотической школой (см. известные работы В. Н. Топорова, положившие этому начало), существует особый текст, который может быть назван по статье описавшего его В. Н. Топорова «Младой певец и быстротечное время» (Топоров 1983). Как пишет автор, **Младой певец** есть некоторая конструкция, **быстротечность времени** — ее идея, смысл, интерпретация, внутренняя форма (Топоров 1983а; 409). В. Н. Топоров приводит огромный материал о развитии этой темы в русской поэзии начала XIX века.

Влияние на ее разработку оказали переводы английских сентименталистов, в особенности Юнга и Грея, из более ранних — Томсона: «Именно томсоновские „Времена года“ и юнговские „Ночные мысли“, многократно переводившиеся на русский язык начиная с 70—80-х годов XVIII века, соединили для русского читателя тему времени с темами смерти, кладбища, уединения, „тоски“» (Топоров 1983а; 416). У начала этого текста стоял В. А. Жуковский, но, по мнению В. Н. Топорова, «критической точкой, после которой кристаллизация схемы стала неотвратимой», была внезапная смерть двадцатилетнего Андрея Тургенева в 1803 г. В. Н. Топоров намечает линейно парадигматическую схему этого текста, в пределах которого нам важен «побочный мотив», связанный с безвременной смертью всеми любимого юноши — увядание цветка — падение листа (см. впоследствии пародийное доведение этого до предела у К. Прутков: *Вянет лист, уходит лето...*).

Для нас важно в этой схеме и другое — инициальность вопроса, как правило связанного с темой минувшего воспоминания.

Мы предполагаем, что свою роль в этой теме сыграл и текст «Слова». Обратимся к переводу В. А. Жуковского места о гибели в реке Стугне юного князя Ростислава:

А юноше князю Ростиславу
Днепр затворил берега зеленые.
Плачет мать Ростислава
По юноше князе Ростиславе.
Увянул лист жалобю,
А деревья печалью к земле преклонило.

Это воспоминание о событии, имевшем место почти за сто лет перед походом Игоря — в 1093 г. Вот текст самого «Слова»:

Не тако ти, рече, рѣка Стугна:
Худу струю имея,
Пожръши чужи ручьи и стругы,

Рострена к усту,
Уношу князю Ростиславу затвори
Днепрѣ темнѣ березѣ.
Плачет мати Ростиславля
По уноши князи Ростиславѣ.
Уныша цвѣты жалобю,
И древо с тугою къ земли прѣклонилось.

Это место представляется для автора «Слова» почему-то важным. Приведем в подтверждение этого ряд лингвотекстологических верификаций.

Смерть одинокого князя описывается в «Слове» еще раз — это смерть Изяслава Васильковича:

Единѣ де изрони
Жемчюжну душу
Изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие.
Уныли голоса,
Понице веселие,
Трубы трубятъ городеньскии.

В «Слове» существует переключка концовок эпизодов, входящих в четырех-элементный ряд. Это концовка эпизода, повествующего об окончательном и трагическом поражении русских:

*Ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось;
Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче.*

— концовка рассказа о пленении Игоря.

Итак, все четыре концовки появляются после важных для текста эпизодов настоящего, они многократно объединены — по корню *уныл-*, по отрезку *древо с тугою к земли преклонилось*, а также по глаголу *никнуть*. Графическое изображение этих переключек дает очень красивое изображение креста, вписанного в квадрат.

Таким образом, почему-то безвременная смерть сто лет назад погибшего молодого князя связывается с общерусскими печальными ситуациями.

Не имея возможности интерпретировать важность смерти князя Ростислава, обратим внимание на концепты безвременной смерти, уныния, увядания, дерева, склоненного над погибшим. В работе В. Н. Топорова таких компонентов много. Есть ли эти указанные ключевые фрагменты у Пушкина?

Уже в 1814 г. в стихотворении «Осгар» появляется тема безвременно погибшего юноши: *О рано юноше настал последний час!* (т. 1, с. 34). В лицейский период она возникает в послании А. А. Дельвигу (лицейский вариант), впоследствии переделанном и изданном в 1826 г. Приводимые ниже строки в окончательном варианте вычеркнуты (здесь и далее курсив наш. — Т. Н.):

Так рано зависти увидеть зрак кровавый
 И низкой клеветы во мгле сокрытый яд.
 певец,
 Враждою, завистью на жертву обреченный,
 Погиб на утре лет.
Как ранний на поляне цвет,
 Косой безвременной сраженный.

(т. 1, с. 455)

Эта же тема представлена и в стихотворении 1821 г. «Гроб юноши»:

...старцы живы,
 А он увял во цвете лет...

(там же, с. 255)

Однако важные результаты, по нашему мнению, дает сравнение места вечного покоя этого юноши (по предположению, князя Корсакова) с описанием могилы Ленского:

Над ясными *водами*
 Гробницы мирною семьей
 Под наклоненными крестами
 Таятся в *роще вековой*.
 Там на краю большой дороги,
 Где липа старая шумит,
 забыв сердечные тревоги,
 Наш бедный юноша лежит...

(«Гроб юноши», т. 2, с. 56)

Пойдем туда, *где ручеек*
 Виясь бежит зеленым лугом
 К *реке* сквозь липовый лесок.
 ...На ветви *сосны преклоненной*,
Бывало, ранний ветерок
 Над этой урною смиренной
 Качал таинственный венок...

(«Евгений Онегин», т. 5, с. 514)

В обоих описаниях мы видим склоненное дерево, близость реки, рошу. В интересной работе В. С. Баевского о выделении разных топосов в «Евгении Онегине» — при этом одни топосы сближаются, а другие не пересекаются совсем — эта река у могилы Ленского соотносится с идеей Леты: «Обилие проточных вод, струящихся вблизи могилы Ленского, особенно знаменательно. Она соседствует с ключами, ручейком, рекой... Это напоминает еще об одной реке, неоднократно упоминаемой в романе. Поэты постоянно спорят с

Летой о том, удастся ли им избежать ее власти... Ленский перед поединком грустно пишет, что *память юного поэта / Поглотит медленная Лета*» (Баевский 1985; 216). То, что Баевский связывает это место с более широким локусом Могилы у Пушкина, нисколько не препятствует видеть здесь и корреляции со «Словом».

Идея внезапного увядания отчетливо выражена и в картине смерти молодого поэта — Ленского:

Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре.

(там же, с. 132)

Реконструкция единого «сна» у одиннадцати пушкинских героев

Постараемся показать, что темы нехристей тьмы, потери пути, страшного застолья и др. есть в «снах» у Пушкина, всегда мрачных, провиденциальных, обязательно связанных с темой смерти.

Но эта тема входит в некое глубинное семантическое целое. Собственно говоря, очевидно, нечто подобное имел в виду М. О. Гершензон, говоря о Пушкине: «Иное произведение Пушкина похоже на те загадочные картинки для детей, когда нарисован лес, а под ним написано: где тигр? Очертания ветвей образуют фигуру тигра; однажды рассмотрев ее, потом видишь ее уже сразу и дивишься, как другие не видят» (Гершензон 1919; 122). Такой метод рассмотрения текста С. Бочаров увидел как поиск иносказаний, аллегорий (Бочаров 1985; 36), однако система аллегорий и символов — это другая система, как бы надстроенная над текстом и иной природы, между тем «тигр» также нарисован, то есть, говоря современным языком, это — текст в тексте.

О «снах» в пушкинских текстах писали не очень много, но и не мало. В основном анализировались отдельные сны, причем основная часть исследований, иногда очень виртуозно построенных и уводящих далеко, приходится на знаменитый сон Татьяны Лариной. И здесь, еще раз обращаясь к современной теории текста, можно сказать о гетерогенной открытости каждого отдельного текста. Как и в каждом отдельном языке, в тексте есть нечто индивидуальное, некая сокровенность его внутреннего духа, его смысловой имманентной структуры, есть универсальный пласт (в литературоведении изучаемый наименее охотно), но есть и пласт, выявляемый только при тотальном, а не попарном, сопоставлении всех текстов единой природы. При индивидуальном анализе этот пласт может быть вообще незаметен и в принципе не обнаруживаться.

Однако, общность ряда пушкинских снов все же не была скрытой. «... Подобно Татьяне, Пушкин верил в сны и приметы. На то, говорят, имел он свои причины. Не будем их ворошить. Достаточно сослаться на его произведения, в которых нечаянный случай заглянуть в будущее повторяется с настойчивостью идеи фикс. Одни только сны в руку снятся подряд Руслану, Алеко, Татьяне, Самозванцу, Гриневу» (Абрам Терц 1993; 25).

Шесть снов пушкинских героев: сон Татьяны, сон Григория, сон Марьи Гавриловны, сон Гробовщика, сон Германа, сон Гринева — рассматривает А. М. Ремизов в книге о снах и «предсонье» в русской литературе. «И каждому из этих снов будет отклик», ибо «со светом поэзии от Пушкина идет и „морозная тьма” его снов — зловещее, ужас, угрызение, горечь...» (Ремизов 1954; 130). Сны пушкинских героев как некий единообразно построенный текст исследует и М. О. Гершензон (Гершензон 1926), он анализирует пять снов, точнее, «пять сновидений», которые «изобразил» Пушкин: сон Руслана, сон Марьи Гавриловны из «Метели», сон Петруши Гринева, сон Григория Отрепьева и сон Татьяны Лариной. Детально разбирая каждый из этих пяти снов, М. О. Гершензон находит в них общее. Прежде всего — это их двухчастность. Первая половина каждого сна есть вполне объяснимая реакция сновидца на переживания настоящего, как бы отражение пережитых ими волнений, событий, тревог в метафорической сонной форме. Зато вторая часть оказывается неожиданно пророческой, как будто бы никак не вытекающей из насущных ситуаций. Но эти неожиданные пророчества не случайны. Они суть синтез накопленных в глубине души потаенных знаний о людях и их возможной судьбе. «Пять сновидений, изображенных Пушкиным, оказались как бы пятью вариациями одной и той же темы — до такой степени они совпадают в своих главных чертах <...>

Он понимал сон, очевидно, как внутреннее видение души... Человек воспринимает несравненно больше того, что доходит до его сознания; несметные восприятия, тончайшие, едва уловимые, непрерывно западают в душу и скопляются в темных глубинах памяти, как в море не прекращающимся и ровным дождем падают с поверхности на дно микроскопические раковины мельчайших инфузорий. Но эти бессознательные знания души не мертвы: они только затаены во время бодрствования; они живы и в сонном сознании — им раздолье. Татьяна знает многое такое об Онегине, Марья Гавриловна — о Владимире, а Отрепьев — о самом себе, чего они отдаленно не сознают наяву. Из этих заповедных, тонких знаний, накопленных в опыте, душа создает сновидения: такова мысль Пушкина» (Гершензон 1926; 109). В этой интерпретации есть скрытая полемика с «потусторонностью» вещего сна. Не оспаривая это мнение и не присоединяясь к нему, скажем только, что и Татьяна могла ощутить ненависть Онегина к Ленскому (как считает Гершензон), и Отрепьев мог предвидеть свои фрустрации, но рану Владимира под Бородином, его смерть в Москве синтезировать из мельчайших повседневных впечатлений Марья Гавриловна вряд ли могла.

Кроме того, Гершензон в своей книге дает и общую характеристику у снов у героев Пушкина.

Наиболее подробное исследование этой темы за последние десятилетия проведено М. Кацем (Katz 1980). К сожалению, с этой работой удалось ознакомиться уже после окончания собственного анализа текстов, однако на ряд положений М. Каца хотелось бы обратить внимание. Он анализирует следующий «набор» снов: Руслана, Марии в «Гаврилиаде», Григория Отрепьева, Марьи Гавриловны в «Метели», гробовщика Адриана Прохорова, Германна, Петра Гринева и Татьяны. Важным является введенное М. Кацем разделение снов и мечтаний (сны/мечты). На самом деле, сны у одних героев сбываются, а у других — нет. А сбываются, скорее, мечтания. Впервые это отмечается в «Борисе Годунове». Сон видит и Пимен, и сон Пимена сходен с мечтаниями Григория:

Мне чудятся то шумные пиры,
То ратный стан, то схватки боевые,
Безумные потехи юных лет!

(т. 5, с. 233)

В сне же Григория пророческим оказывается «бесовское мечтанье».

Особенно это отчетливо прослеживается в «Повестях Белкина», где именно сны — непророческие, а мечтание, например, Марьи Гавриловны, сбывается. Итак, по мнению М. Каца, мечты-сны связываются с мечтами вообще, и он прослеживает это качество у героев — например, у Онегина — *мечтам невольная преданность*. Но сны — это то, что человек воспринимает, а мечты — сила, которая может стать демонической и далеко завести героя. Такова, как показывает Кац, история Германна, и таковы уроки этой истории.

Мы же хотим показать текстовое совпадение снов на базе некоторого внутреннего, совпадающего интертекста. Кроме того, необходимо сразу четко обозначить, что мы понимаем сон несколько шире: так, сном считаем и то, что видела Наташа в «Женихе», так как она объявляет это сном, сном считаем и «видение» короля Стефана в «Песнях западных славян»; естественно, сном является то, что объявлено сном — объявлено как самим героем, так и автором (речь идет о сне Адриана Прохорова в «Гробовщике»).

Ниже мы рассмотрим одиннадцать снов из пушкинских текстов. Порядок описания снов для нашей задачи достаточно произволен. Поэтому начать лучше именно со сна купеческой дочери Наташи в «Женихе». Об этой стихотворной новелле писали в основном, интересуясь ее источниками. Так, А. М. Кукулевич и Л. М. Лотман видят здесь отражение сюжета одной из сказок братьев Гримм (Кукулевич, Лотман 1941). Напротив, чисто народную русскую основу, связанную с миром русских народных сказок, отстаивает Р. В. Иезуитова (Иезуитова 1974). Писательница Вера Панова, слушая Ф. Шалапина, поняла, что в этой балладной стихотворной повести Пушкина скрыта песня о Кудеяре-ата-

мане (*Жили двенадцать разбойников...; Вождь Кудеяр выкрал девицу красную из-под Киева...; Много разбойники пролили крови честных христиан; Много богатства награбили, жили в дремучем лесу*) (Панова 1973). Однако посмотрим на текст сна Наташи с интересующей нас точки зрения (здесь и далее выделяться курсивом будут те фрагменты текста, которые кажутся в этом плане существенными):

*Недобрый сон меня крушит...
Мне снилось, — говорит она, —
Зашла я в лес дремучий,
И было поздно: чуть луна
Светилась из-за тучи;
С тропинки сбилась я: в глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.
И вдруг, как будто наяву,
Изба передо мною...
В избе свеча горит: гляжу
Везде серебро да золото,
Все светло и богато...
...На серебро, на золото
На сукна, коврики, парчу
На новгородскую камчу
Я молча любовалась
И диву дивовалась...
Вдруг слышу крик и конский топ...
...Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая...
...Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье...
...Идет похмелье, гром и звон
Пир весело бушует,
Лишь девица горюет...
...А старший брат свой нож берет,
Присвистывая, точит;
Глядит на девицу-красу,
И вдруг хватает за косу,
Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит.*

(т. 2, с. 269—271)

Какие существенные вещи мы видим во сне Наташи, который, как уже многократно отмечалось, имеет много общего со сном Татьяны, к нему он примыкает и хронологически (кроме того, в первоначальном варианте Наташа называлась Татьяной³):

- 1) самообъявленность сна;
- 2) мотив потерянного пути;
- 3) мотив дома (в данном случае — лесной избушки);
- 4) мотив богатства — серебра, злата и др.;
- 5) мотив шума — *конский топ*, крик, хохот, песни, шум и звон;
- 6) мотив поганых, нехристей: кстати, тут есть что-то непонятное — если страшные гости (хозяева?) не замечают икон, то чьи же они?;
- 7) мотив страшного разгуля, похмелья шайки, хохочущего стана;
- 8) мотив выхватывания внезапно страшного орудия и злодейства как будто бессмысленного (ведь также непонятно, зачем убивать девицу именно так и, наконец, кольцо можно было просто и отнять); эта бессмысленность (кажущаяся) поступка для нас очень важна.

Набор мотивов-тем, перечисленных выше в связи с «видением» Наташи, проходит, варьируясь, через все сны Пушкина, причем варьируется в основном пророческая, прогностическая часть.

Первым из пушкинских героев подобный провидческий сон видит Руслан, возвращаясь домой с усыпленной княжной:

И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...
Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...

(т. 4, с. 85)

Далее он попадает в гримлицу Владимира, которая, как уже упоминалось, по многим признакам напоминает царство теней:

Он льет мучительные слезы,
В волненьи мыслит: это сон

³ *Ее сестра звалась Наташа...* «Нет, это не опечатка. В черновом наброске у героини романа „Евгений Онегин” было именно такое имя. Зато героиня баллады „Жених” первоначально называлась у Пушкина Татьяной...» (Медриш 1993; 111); автор этой цитаты детально исследовал перемещения этих двух имен в черновиках Пушкина.

Томится, но зловещей грезы,
Увы, прервать не в силах он.

(т. 4, с. 87)

М. Кац в уже упоминавшейся выше работе о снах у Пушкина считает, что Руслан видит в этом сне в обратном порядке историю похищения Людмилы: “Ruslan’s dream recapitulates in reverse order the events of the narrative as presented in the first canto” (Katz 1980). Он также отмечает сходство мотива падения в бездну у Руслана и смертного падения Григория Отрепьева. (Интересно также, что Кац говорит об обратном порядке событий во сне Григория. Ф. С. Крылов в устном сообщении заметил, что Татьяна в своем сне видит свою жизнь в обратном порядке: ее встречает медведь — будущий муж, генерал и ее опора, а лишь потом она попадает на роковое застолье.)

Здесь впервые возникают мотивы:

- 1) объявленного пророческого сна;
- 2) мотив собственного перехода к смерти? в царство мертвых?, связанный с темой **бездны** и падения в нее;
- 3) мотив **застолья мертвых**.

Страшный пророческий сон видит и Алеко. Об этом объявляет сама Земфира:

О мой отец! Алеко страшен:
Послушай, сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он.

(т. 4, с. 219)

Она пересказывает его и Алеко:

Во сне душа твоя терпела
Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

А ле ко

Мне снилась ты.

Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

(т. 4, с. 220—221)

Очевидно, что он видел **смерть** Земфиры и ее возлюбленного от своей руки, убийство **ножом**.

Так же страшен сон Луизы в пьесе «Пир во время чумы», которая считается переделанным переводом пьесы Вильсона:

Луиза

Ужасный демон

*Приснился мне: весь черный, белоглазый...
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую речь...
Проехала ль телега?*

(т. 5, с. 417)

Правда, в тексте «Пира во время чумы» Вильсона сон (или видение Луизы) близок по тексту к сну Луизы в передаче Пушкина: см. оба текста en regard и подробный анализ текста Вильсона (Яковлев 1922). Но сам отбор — как и в случае с «Орлеанской девственницей» Вольтера — считаем существенным.

И здесь мы видим: **смерть**; страшные потусторонние существа, лепечущие неведомую речь (то есть как бы **нехристи, чужестранцы**); некое **вместилище** — тележка; **объявленность сна**, вероятно пророческого.

Собственную смерть, страшную и неотвратимую, видит и король Стефан («Песни западных славян», «Видение короля»), хотя это не сон, а как бы видение в церкви.

*Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями...
Горе! В церкви турки и татары
И предатели, враги богумилы,
На амвоне сам султан безбожный,
Держит он наголо саблю,
Кровь по сабле свежая струится...*

(т. 3, с. 289)

Король видит и свою **смерть** — сдирание кожи с живого. Сон оказывается пророческим — видение подтверждается:

*Вдруг взвилась из-за города бомба
И пошли басурмане на приступ.*

(там же, с. 290)

Есть в этом видении и **нехристи-басурмане**, есть и **переполненное мертвецами помещение** — в данном случае церковь. Есть здесь и орудие убийства — **сабля**. И вот здесь, предваряя анализ снов Татьяны и Гринева, заметим, что в снах у Пушкина орудием убийства почему-то непременно выступает холодное оружие: нож, топор, сабля, тогда как в не-сонной ткани пушкинского текста оружие может быть разнообразным и вполне современным: пистолет, пушки.

Страшный пророческий сон трижды посещает Григория Отрепьева:

*А мой покой бесовское мечтанье
Тревожило, и враг меня мутил.
Мне снилось, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, что муравейник;
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом,
И стыдно мне, и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался...*

(т. 5, с. 233)

И в этом сне мы видим те же мотивы: **собственную смерть**; указание на нечеловеческое, **бесовское** присутствие; **падение** с высоты; **хохочущую толпу**, указывающую со смехом на героя; **объявленность** сна. М. О. Гершензон проходит мимо этих совпадающих с другими снами мотивов; трижды повторенный сон Отрепьева, по его мнению, «совершенно психологичен, по форме символичен; в нем нет ничего пророческого, потому что психологически — верен» (Гершензон 1926; 102). А. М. Ремизов, интересуясь в основном сходством — глубинным или чисто аксессуарно-внешним — у Пушкина и других писателей, видит в «бесовском мечтании» Григория ту же трехступенчатую модель: подъем — падение — подъем, что и в сне Чарткова в «Портрете» Гоголя (Ремизов 1954; 132).

Несомненно, что сон Татьяны композиционно является центральным в романе, он, безусловно, не может быть разгадан по-элементно, на это указывает и сам Пушкин.

Упомянуть хотя бы кратко все концепции, высказанные по поводу сна Татьяны, мы не находим возможным. Остановимся только на общих положениях, с одной стороны, и на специальных исследованиях на эту тему — с другой.

Прежде всего все отмечают параллелизм мира гостей-чудовищ во сне Татьяны и мира гостей именина — того дня, когда начинают разворачиваться предсказанные во сне события. И это верно почти до деталей:

[СОН]

Тут остов чопорный
и гордый;
Другой с петушьей головой;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ.

(т. 5, с. 106)

[ИМЕНИНЫ]

Гвоздин, хозяин превосходный,
владелец нищих мужиков;

Трике... в очках и рыжем парике;
 Лай мосек, чмокание девиц,
 Шум, хохот, давка у порога... и т. д.

(т. 5, с. 111)

Со сном Татьяны связана и сама дуэль. И здесь видно, как виртуозно умеет обыграть Пушкин нейтрализацию категории определенности/неопределенности в «неприкрытых» местоимениями именных конструциях:

...Ныне злобно,
 Врагам наследственным подобно,
 Как в страшном непонятном сне,
 Они друг другу в тишине
 Готовят гибель хладнокровно...

(т. 5, с. 131)

— Как в каком-нибудь или в том самом сне?
 С какими мирами связывают сон Татьяны?

Прежде всего — это мир гадания, святок, когда «девушки, согласно фольклорным представлениям, в попытках узнать свою судьбу вступают в рискованную и опасную игру с нечистой силой» (Лотман 1980; 265).

Наиболее подробно за последнее время связь сна Татьяны, ее предшествующего сну гадания и каркаса концептов архаической русской культуры исследовала Е. Хеллберг (Hellberg 1989).

Она говорит о трех гаданиях Татьяны, связанных с зеркалом: 1) Татьяна смотрит на луну в зеркало; 2) гадает с зеркалом в бане; 3) ложится спать с зеркалом под подушкой (Hellberg 1989; 9). Хеллберг отмечает именно те компоненты атмосферы, которые, как мы показываем, характерны для большинства снов пушкинских героев: «Во сне Татьяна попадает в заснеженное темное поле, где ей преграждает дорогу пустынный поток с тонким обледенелым мостком. Тьма, пустынность, мрачность — постоянные признаки „того света“, отделенного от „нашего“ водной преградой... Серьги, башмачок, платок как знаки женского пола и брачные символы входят в набор ритуальных предметов и в системе святочных гаданий, и в русском свадебном обряде» (Hellberg 1989; 10). Исследовательница демонстрирует и дальнейшую роль зеркала, которое все время сна лежит под подушкой у Татьяны: «Во сне Татьяны закрепляется мрачный смысл ее первого, подблюдного гадания. Зеркало под подушкой вещим сном как бы развертывает и смысл предыдущего, и содержание будущего, отражая в нем видение Светланы и зловещие строки эпитафии. Гадание, сон и реальность образуют в пятой главе систему зеркальных отражений — не только в содержании, но и в самой структуре романа. Именно в этом месте преломляется сюжет» (там же; 11).

Затем — это мир сказки, описанный В. Я. Проппом: вхождение сказочного героя в лес, переправа, лесная избушка, лесной жених, часто являющийся в виде чудовища (Лотман 1980; 269, Тмарченко 1987, Маркович 1980 и др.).

С этим связаны и мотивы нечистой силы, перехода в иной мир, определяющийся «переправой», лесной избушкой — «заставой» иного мира и т. д.

Основной же смысл сна Татьяны многие видят в перевернутом обряде свадьбы, оборачивающейся похоронами: «... с того момента, когда Татьяна входит в лесную хижину... движение сказочного сюжета включает в себя элементы „перевернутого“ свадебного обряда, совмещенного по „изнаночной“ логике с представлением о похоронах» (Маркович 1981; 72). Неоднократно отмечалось, что сон Татьяны Лариной, в наибольшей степени исследованный в пушкинистике, сюжетно близок ко сну Наташи в «Женихе», к которому он примыкает также и хронологически по времени написания (1825 и 1826 годы). В обоих снах мы видим заблудившуюся в лесу девушку, стоящий в лесу дом, шумное страшное застолье, кровавое и как будто бы немотивированное злодеяние (там же). Изнаночность свадебного обряда Ю. М. Лотман видит, например, и в том, что Татьяна прибывает до жениха в дом (Лотман 1980; 270). О травестийности свадьбы/похороны писали много (см. хотя бы подробную статью об этом: Байбурин, Левинтон 1990). Но наиболее ясно отсутствие противоречивого стыка во сне Татьяны — стыка между нейтральным сказочным сюжетом и травестийной свадьбой, отмечаемого многими пушкинистами, — осознается после знакомства с работой Л. Г. Невской, посвященной балто-славянским причитаниям (Невская 1993).

А именно: все компоненты «сна», благодаря данным традиционной культуры, а именно — мотив дороги, мотив провожатого, тема дома, тема брака-смерти и — что важно — тема /концепт гостя — органично входят в общую семантическую структуру смерти, ее мирских и не-мирских коннотаций.

Литературные ассоциации вводятся А. М. Ремизовым. Сон Татьяны он видит как систему семи зеркальных отражений — семи эпизодов (ведь под подушкой у Татьяны лежит зеркальце), эта зеркальная видимость мира связывается им с «семипоясным сном» пана Данилы в «Страшной мести», со знаменитым стихотворением Лермонтова, с гаданием Сони в «Войне и мире» (Ремизов 1954; 131).

Для текста сна Татьяны находят и более глубокие, не-славянские параллели. «Воссоздаются скорее некие обобщенные архетипы мифологического мировоззрения. Восстанавливается то, что можно бы назвать „темной памятью“ мифа — его особая, во многом иррациональная смысловая энергия» (Маркович 1980; 76).

Обнаруживают в тексте сна и западноевропейские культурные компоненты. Так, рисунки самого Пушкина страшных гостей лесного домика привели к сходству изображения с картиной И. Босха «Искушение святого Антония» (Боцановский 1921; к сожалению, ознакомиться с работой не удалось). Наконец, в отношениях героев видят скрытые переключки с сюжетом Амура и Психеи у Апулея (Тамарченко 1987); с мифом о Нарциссе (Онегин) и Эхо (Татьяна) (Маркович 1980).

Связь с мифом о Нарциссе у Мальфилатра видит Р. Пиккио (Picchio 1976). Но в еще большей степени Р. Пиккио замечает в этом сне влияние Данте. Вообще он находит сходство в отношении Пушкина к Татьяне и Данте к Франческе да Римини. Ср.: *Татьяна, милая Татьяна! / С тобой теперь я слезы лью* — и у Данте: *Francesca, i tuoi marituri / A lagrimar mi fanno tristo e pio...* (Picchio 1976; 47).

Отдельному подробному рассмотрению подлежат и протагонисты сна. Так, Онегин приобретает inferнальные свойства и качества негодяя: он ассоциируется с Ванькой Каином, главой шайки.

«Бесовское прошлое Онегина увидела Татьяна в сне, где он возглавляет адскую шайку» (Абрам Терц 1993; 118). Он — трикстер, двойник культурного героя, озорник, «непрерывно вносящий хаос в ту организацию, которую сам и создал» (Маркович 1981). И он же доктор Фауст, пирующий в кабачке Ауэрбаха; он же и святой Антоний. То есть он как бы одновременно и Ангел-хранитель, и Коварный искуситель (Маркович 1980; 1981). Онегин идентифицируется и с медведем — «Онегин, хозяин лесного дома, в облике медведя приносит Татьяну в ее собственное пространство, хотя во сне оно зловеще наоборотное» (Чумаков 1993).

О сущности интерпретации Татьяны и множества ее ипостасей будем говорить ниже.

Непростым оказывается и образ Ленского, в частности, многозначна фраза: *Она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего*. Чьего брата? — брата (будущего зятя) Татьяны, тогда сюжет связывается с мотивом убийства свойственников на пиру. «Лесного брата» самого Онегина? — тогда сюжет восходит к оппозиции Каин / Авель. И, напротив, М. О. Гершензон объясняет гибель Ленского его внутренней пошлостью, единством с убогим миром помещиков, что раздражает Онегина и что понимает в глубине души Татьяна: «Но Ленский хуже их, потому что он — плоть от плоти этого общества, он по духу — тот же Пустяков, Скотинин, Ларин, труп, как они, но подрумяненный молодостью, поэзией, Геттингенством» (Гершензон 1926; 106).

Отметим — так же как и в предыдущих снах, — интересующие нас ключевые аллюзии:

*И снится чудный сон Татьяне,
Ей снилось, будто бы она
Идет по снеговой поляне
Печальной мглой окружена <...>
Вдруг меж дерев шалаш убогий...
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум...
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах*

<...> И что же видит?... за столом
 Сидят чудовища кругом:
 ...лай, хохот, пенье, свист и хлопок,
 Людская молвь и конский топ!...
 Вдруг ветер дунул, загашая
 Огонь светильников ночных;
 Смутилась
 Шайка домовых <...>
 <...> дверь толкнул Евгений,
 И взорам адских привидений
 Явилась дева: ярый смех
 раздался дико <...>
 <...> вдруг Евгений
 хватает длинный нож, и вмиг
 Повержен Ленский; страшно тени
 Сгустились; нестерпимый крик
 Раздался <...> хижина шатнулась
 И Таня в ужасе проснулась.

(т. 5, с. 104—108)

В этом сне в максимальной степени (как и во сне Гринева — см. далее) представлены интересующие нас мотивы.

Какие же мотивы-концепты выделяются в этом сне?

- 1) мотив **потери дороги**;
- 2) мотив **дома, убогого и разрушающегося**;
- 3) мотив **тьмы — снега — метели — мглы**;
- 4) мотив **нехристей, адских пришельцев**;
- 5) мотив **застолья**;
- 6) мотив **адского хохота**;
- 7) мотив **указующего на героя перста**;
- 8) мотив **немотивированного убийства холодным оружием**.

Сон Германна в «Пиковой даме» можно считать дискретизированным: собственно сон и «видение», т. е. появление призрака старой графини. Основное внимание исследователей привлекает обычно вторая часть, или второй сон. Между тем первая часть сна примечательна не менее. Германн видит этот сон вскоре после рассказа о чудесном знании старой графини.

Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы *ассигнаций и груды червонцев*. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрес- танно, и загребал к себе *золото*, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он *вздыхнул о потере своего фантастического богатства*, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини.

Таким образом, «пророческая часть» этого сна реализуется — во вздохах Германна об утрате богатства, это как бы катафора семантического содержания. Вторая часть, «видение», содержит, по нашему определению, тоже гостя-мертвеца.

В большинстве пушкинских снов-видений перед героями являются убиваемые (умирающие) близкие люди — возлюбленная в «Наташе», Ленский, Земфира, Владимир, отец Гринева или даже сам герой. Сон Германна — как будто бы исключение: графиня ему никто. Однако, существуют и иные точки зрения. Как считает А. Л. Слонимский, Германн — вообще не человек своего времени, а герой XVIII века и потому близок к графине, к которой он и испытывает чувство особого рода. «У Германна является дикая мысль „сделаться любовником 87-летней старухи...” Со старой графиней у него более глубокая связь, чем с Лизой, горе которой он едва замечает после сцены с графиней» (Слонимский 1922; 179).

Интересно для нашей общей темы и то, что, по А. М. Ремизову, сон Германна соотносится со сном Раскольникова (Ремизов 1954; 132). Ср. даже отвергнутую «случайную» Лизу и «случайно» зарубленную Лизвету.

Признавая композиционную и содержательную центральность сна Адриана Прохорова в «Гробовщике», С. Г. Бочаров выводит его из общего ряда других пушкинских снов по следующим причинам. Во-первых, это сон «необъявленный» — не вводится через зачин, как сон Татьяны. Во-вторых, его провиденциальность неочевидна, его нельзя назвать вещим сном (Бочаров 1985). Между тем именно в этом сне мы находим все те же мотивы.

...Покойница лежала на столе, *желтая как воск*, но еще не обезображенная глеением <...> Было поздно. Гробовщик *подходил уже к своему дому*, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся <...> *Комната* была полна *мертвецами*. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полужакрытые глаза и высунувшиеся носы <...> «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое *приглашение*» <...>

<...> Между мертвецами поднялся *ропот негодования*; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану *с бранью и угрозами*, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа...

И в этом сне представлены все те же мотивы-концепты:

- 1) тема **пути**;
- 2) тема **дома** — дважды: дом Трюхиной и дом самого Прохорова; кроме того, этот дом, желтый новый дом Прохорова, отождествляется с гробом, так что мотивы **дома** и **смерти** объединяются, см. об этой концепции: Шмид 1993;
- 3) мотив **смертного ложа**;
- 4) мотив **застолья**;
- 5) мотив **страшных гостей**;
- 6) мотив **брани и угрозы**.

«Вещести» гораздо больше в сне Марьи Гавриловны из «Метели». Вообще в «Метели» проглядывает — в большей степени, чем, например, в «Гробовщике», двойное дно философской установки и понимания жизни и страшной, и направляющей. «Но Власть-имуций следил за милой, простодушной Марьей Гавриловной. Она, шая, готова была сбиться с пути — он пошлет своего слугу спасти ее. Его слуга — жизнь, метель» (Гершензон 1919; 135). Но так ли все это оптимистично? Эпиграфом к «Метели» Пушкин взял отрывок из баллады Жуковского «Светлана»:

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокий...
Вот, в сторонке божий храм
Виден одинокий...
.....
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль...

Героиня Марья Гавриловна

...задремала. Но и тут ужасные *мечтания* поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец оттанавливал ее, с мучительной быстротой тащил ее по снегу и бросал в *темное, бездонное подземелье* <...> и она летела *стремглав с неизъяснимым замиранием сердца*; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного <...> другие безобразные⁴, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. (т. 6, с. 104)

В сне Марьи Гавриловны мы видим:

- 1) мотив **падения в бездну**;
- 2) мотив **метели-снега-мглы**;
- 3) мотив **потери пути** (во сне и наяву);
- 4) **смерть** близкого человека.

Близким к сну Татьяны по насыщенности этими «интертекстуальными» мотивами является сон Петра Гринева в «Капитанской дочке».

Приведем наиболее важные для нас фрагменты этого сна.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни <...>

⁴ Разумеется, видения Марьи Гавриловны безобразные, а не безобразные, см. (Шульгин 1989).

Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы все еще блуждали по снежной пустыне <...> Вдруг увидел я ворота, и въехал на барский двор нашей усадьбы <...> матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен, при смерти и желает с тобой проститься». — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню... Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж? <...>

Вместо отца моего вижу я, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая... Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать <...> и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах <...> Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение»...

(т. 6, с. 408—409)

В этом тексте сна представлены и объявленность сна именно как пророческого, и травестийность персонажей, превращение в бесовского двойника (см. выше об этом в связи с Онегиным). Основные мотивы «интертекста» представлены почти все:

- 1) потеря пути (наяву и во сне);
- 2) смерть близкого человека;
- 3) тема метели-(бурана)-снега;
- 4) тема дома — родная усадьба;
- 5) тема смертного ложа;
- 6) тема холодного оружия — орудия убийства (топор);
- 7) мотив наполненности помещения мертвецами.

Итак, выше было рассмотрено одиннадцать снов, представленных в пушкинских текстах — как поэтических, так и прозаических.

Что объединяет все эти сны?

Во-первых, эти сны пророческие. И даже сон Адриана Прохорова можно вполне считать провиденциальным — на уровне «Рождественских рассказов» Ч. Диккенса.

Во-вторых, они и объявляются как пророческие: это может быть сказано непосредственно в сонном тексте, может быть авторской ремаркой.

В-третьих, все они повествуют о мертвецах и о смерти, что не одно и то же.

Как представляется, внутренний «текст» этих снов может быть выявлен и описан посредством обобщающей символики метаязыка — подобно описанию структуры волшебной сказки у В. Я. Проппа. Мы выделяем два ряда событий. Ряд I — Тема смерти как процесса, изображаемого в сне. Она разделяется на:

- I1 — собственная смерть;
- I2 — смерть другого.

Ряд II — внешние обстоятельства и происходящие явления:

- III — потеря пути;

П2 — падение с высоты;

П3 — тьма—мгла—метель—снег;

П4 — дом или некое помещение (телега у Луизы или храм у Стефана);

П5 — застолье;

П6 — нехристи-гости-мертвецы (мы в данном случае, опираясь на описание славянской народной культуры, позволяем себе объединить эти концепты; см. об этом подробнее — Невская 1993);

П7 — золото-серебро-деньги;

П8 — хохот или брань, обращенные к сновидцу (как сказано в одном из исследований, посвященных сну Татьяны, что за столом мы видим «смеющуюся смерть»);

П9 — тема смертного одра;

П10 — холодное оружие как орудие убийства;

П11 — тема пространства, заполненного мертвыми телами.

Как видно из перечней компонентов обоих рядов, в снах описывается смерть на фоне смерти.

Представим описание каждого из снов в пушкинских текстах в системе введенных символов:

1. Сон Наташи — I2 — П1 — П4 — П7 — П6 — П8 — П10;

2. Сон Руслана — (I1) — П2 — П3 — П4 — П5 — П6 — (П10);

3. Сон Луизы — (I1) — П4 — П6 — П11;

4. Сон Стефана — I1 — П4 — П6 — П10;

5. Сон Отрепьева — I1 — П2 — П6 — П8;

6. Сон Алеко — I2 — П10;

7. Сон Татьяны — I2 — П1 — П3 — П4 — П5 — П6 — П8 — П10;

8. Сон Германна — (0)⁵ — П4 — П5 — П6 — П7;

9. Сон Прохорова — (0) — П3 — П5 — П6 — П8 — П11;

10. Сон Марьи Гавриловны — I2 — П2 — П3 — П9;

11. Сон Гринева — I2 — П1 — П3 — П4 — П9 — П10 — П11.

Какие же мотивы оказываются наиболее частыми, т. е. присутствуют в большинстве снов? Разумеется, это сама смерть в сновидении; кроме того, это — комплекс: потеря пути (включая и падение в бездну) + тьма, мгла, метель; тема дома; тема страшных гостей; нехристей-мертвецов (в том числе и наполняющих помещение, а не только сидящих за столом); тема холодного оружия.

В упоминавшейся книге А. М. Ремизова читаем: «Русская литература, как и литература всякого народа, едина. И как едина стихия слова, едина и стихия сна: Толстой перекликается с Пушкиным — сон Анны Карениной и сон Гринева, Тургенев с Гоголем, Толстой с Тургеневым» (Ремизов 1954; 170). И, однако, более мелкая оптика позволяет резко отличить сны Пушкина от тридцати, например, снов у Тургенева, разобранных Ремизовым. Сходство других писате-

⁵ так как ни графиня, ни Трюхина не были близкими протагонистами.

лей, но не Пушкина, — как правило, в изображении в о п л о щ е н н о й смерти: это маленькая кошечка у Гоголя, погибшая Клара Милич у Тургенева и многие персонифицированные или неясные призраки сна, олицетворяющие смерть. У Пушкина нет смерти — символа, образа, а есть смерть как событие, как действие, и есть мертвецы. Нет у Пушкина и любви, а, по Ремизову, «пол связан с кровью». Нет в снах не только любви-в-смерти, соединяющей с каким-то иным миром, но нет и иного мира. Как будто бы с этой идеей не соотносится работа М. Шапино (Shapiro 1990) о сверхъестественном у Пушкина. Именно в этом плане его интересуют сны: «Since dreams and hallucinations are also part of actual human experience, they serve as a bridge connecting the real with the unreal. The cumulative result of constructing a narrative in which alethic modalities are principally at stake is the creation of what has been called an “alternative possible world”» (Shapiro 1988; 48). Это, по мнению Шапино, связывается с важнейшей для Пушкина темой — отношением жизни и смерти. Однако, как кажется, речь идет в таком случае о «возможных мирах» человеческой психики и человеческого мира, а не о неких «пришельцах», являющихся у других писателей. Актанты пушкинских снов — в этом мире, хотя бы события и были самыми неожиданными, действительно, это тигр, которого нужно рассмотреть на хитром рисунке, но это не тень, тигр не покидает рисунка. Иначе говоря, в пушкинских снах не проглядывает символика, нечто вроде *récit de passage*, а возникает впечатление, что его герои видят части какого-то одного реконструируемого сна, каким бы ни был он индивидуально пророческим. И с этим связано и второе отличие, особенность пушкинских снов: эти сны сводимы друг к другу через систему выведенных выше «пропповских» компонентов, тогда как трудно себе представить, каким образом можно сопоставить на уровне сюжета, например, сон Свидригайлова и сон Раскольникова у Достоевского, или сон Данилы и виденье Пульхерии Ивановны у Гоголя.

§ 10. Текст и жизнь

О возможном влиянии одного текста О. Бальзака на судьбы русских поэтов¹

1. Осенью 1835 года в петербургском обозрении “*Revue étrangère*” была опубликована повесть О. Бальзака “*La fleur des poids*” (буквально «цветок гороха» или «горошковый цвет», что означает «щеголь»). См. Delesalle G. *Dictionnaire Argot-Français et Français-Argot*. Paris, 1899; 122). Впоследствии эта повесть была издана в 1842 году в Париже под названием «Брачный контракт».

¹ Большую помощь в разработке и фундировании высказанной мною гипотезы мне оказал А. Д. Михайлов, которому я от души благодарна.

Журнал “Revue étrangère” был очень известен и очень популярен.

Его издателями были «придворные книготорговцы» Ф. Беллизар и С. Дюфур. Редакция помещалась в доме голландской церкви, у Полицейского моста. Поблизости помещалась и «придворная книжная лавка». Вот как пишет об этом магазине «Северная пчела» (14 апреля 1834 г. № 35, стр. 338): «Состоя в непосредственных сношениях со всеми книгопродавцами Европы, они получают все *новости* в самом скорейшем времени... Недавно открыли они собственную свою книжную лавку в Париже и приобрели в собственность несколько отличных новейших творений... Для лучшего сообщения всех новостей литературы и наук один из двух хозяев непременно находится в Париже» (цитируется по работе: Реизов 1960; 296—297).

Известно, что в библиотеке Пушкина имелся ряд книг, купленных у Беллизара и несколько томов “Revue étrangère”. Сохранились довольно крупные счета на имя А. С. Пушкина от Беллизара. Так, в последний год своей жизни Пушкин 25 мая 1836 года покупает у Беллизара так называемую «Мистическую книгу» О. Бальзака, объединяющую в двух томах следующие произведения: «История Л. Ламбера», «Изгнанники», «Серафита» (Абрамович 1991; 217). 2 июня 1836 года Пушкин покупает в магазине Беллизара недавно вышедший роман Бальзака «Старик» (“Le Centenaire”) (Абрамович 1991; 226).

2. Повесть О. Бальзака стала известна и популярна. Вот отрывок из письма сестры Пушкина, О. С. Павлищевой, своему мужу от 18 февраля 1836 года: «...Окончила „Вечера Людовика XVIII” — интересные, но больше всего мне понравился „Горошковый цвет” Бальзака (выделено нами здесь и далее. — Т. Н.) (который, кстати, я полагаю, не придет) и „Лилия в долине”. Поверьте, это в сто тысяч раз лучше, чем ваше „Ни всегда ни никогда”, но у нас с вами такие разные вкусы!» (Письма Павлищевой 1994; 153).

Но все только что сказанное не передает и малой доли того, каким влиянием, каким авторитетом пользовался Бальзак и его герои: им подражали, с них брали пример. Русские поэты брали в качестве эпиграфа к своим стихам строки из Бальзака (Е. П. Растопчина, Н. Ф. Павлов и др.). А. И. Тургенев, готовя свое большое письмо для «Современника», в марте 1836 года встречается с Бальзаком, а также Шатобрианом и Токвилем (Абрамович 1991; 109). Впоследствии этот текст А. И. Тургенева войдет в его «Хронику русского». С. П. Шевырев в «Парижских эскизах» (1839 г.) подробнейшим образом описывает свой визит к Бальзаку (Шевырев 1999), и это было всем интересно.

Впервые упоминания о нем появляются в русских журналах с 1830 года. В 1830 году О. В. Сомов опубликовал рецензию на «Сборник повестей О. де Бальзака» в «Литературной газете». (Ряд сведений, помещенных далее, приводится мною по изданию: Бальзак в русской литературе 1999.) Печатаются все активнее, переводы из Бальзака (1831, 1832 годы и далее). Достаточно сказать о переводе, правда, опубликованном в 1844 году, «Евгении Гранде» Ф. М. Достоевским. Его печатают журналы «Телескоп», «Сын отечества», «Библиотека для

чтения». С 1832 года его публикуют отдельными изданиями и начинают переводить и статьи о нем. Сам Бальзак знал об этом и иногда высказывал желание переехать в Россию и оттуда лидерствовать в интеллектуальной Европе, но приехал только в 1843 году (более подробно о популярности О. Бальзака в России в этот период см.: Реизов 1960, Balzac dans... 1993, а также: Михайлов 1997, Дмитриева 1997, Михайлов 1999).

Много внимания уделяет ему В. Г. Белинский, анализируя и его тексты, и характер самого Бальзака («Литературные мечтания» 1834 г., «О русской повести и повестях Гоголя» 1835 г., «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» 1836 г. и далее). С энтузиазмом отзывается о нем Н. В. Станкевич (Письма Я. М. Неверову: июль 1833 г., два письма в январе 1834 г., письмо в январе 1835 г., письмо М. А. Бакунину в январе 1835 г.).

А. С. Пушкин еще в 1830 году пишет о «Записках Самсона, парижского палача», авторами этих «Записок» в действительности были О. Бальзак и Л.-Ф. Л'Эретье. В отрывке «Мы проводили вечер на даче» (1835) книга Бальзака «Физиология брака» приводится в качестве примера книги неблагопристойной и развращающей: «Вчера мы смотрели Anthony, а вон там у меня на камине валяется *La physiologie du mariage*. Неблагопристойно! Нашли, чем напугать». А в апреле 1831 года В. С. Голицын пишет Пушкину: «...посылаю Вам развратительную книгу ("*Physiologie du mariage*")», автора коей я хотел бы видеть повешенным за <...>». Правда, Пушкин находил Бальзака несколько вычурным: см. его письмо к Е. М. Хитрово в конце 1832 года: "*Comment n'avez vous pas honte d'avoir parlé si légèrement de Karr. Son roman a du génie et vaut bien le marivaudage de votre Balzac*".

Тема «Бальзак и русская литература» практически безмерна, но, не выходя за рамки интересующего нас периода, остановимся на интересе к Бальзаку такого, казалось бы, далекого от петербургской элиты человека, каким был сосланный тогда декабрист Вильгельм Кюхельбекер (Кюхельбекер 1979). Правда, о восприятии Кюхельбекером Бальзака существует специальная статья Ю. Н. Тынянова «Декабрист и Бальзак» (Тынянов 1968; 329—346). Итак, 1 июля 1834 года В. Кюхельбекер пишет: «Прочел я в „Сыне отечества“ повесть Бальзака „Рекрут“; она занимательна и жива, но я ожидал чего-то особенного — и ошибся» (там же; 320). 12 июля: «В „Сыне отечества“ прочел я превосходный отрывок из Бальзакова романа "*La peau de chagrin*". Этот отрывок несколько напоминает превосходную пляску стульев, вешалок и столов у Вашингтона Ирвинга; быть может, арабеск американца подал даже Бальзаку первую мысль — но разница все же непомерная: у Ирвинга хохочешь, у Бальзака содрогаешься» (там же; 322). 17 июля того же года: «Бальзак человек с огромным дарованием; отрывок из его повести „Саразин“ в „Сыне отечества“ под заглавием „Два портрета“ — удивителен» (там же; 323). 25 июля: «Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной повести „Г-жа Фирмиани“ (о „Мадам Фирмиани“ в дневнике Кюхельбекера есть еще несколько записей. — Т. Н.) не

могу заняться чем-нибудь другим. Это в своем роде *chef d'oeuvre*» (там же; 325). 26 июля того же года: «Мое уважение к Бальзаку очень велико; он чуть ли не выше и Гюго, и де Виньи» (там же; 326). Но вот запись от 31 июля 1834 года: «„Ростовщик Корнелиус“ Бальзака, по моему мнению, из слабейших его произведений» (там же; 326). 2 августа 1834 года: «Не забыть: „Красный трактир“, сочинение Бальзака» (там же; 327). В 1835 году В. Кюхельбекер пишет несколько разочарованно о начале повести Бальзака «Отец Горио» (Кюхельбекер 1979; 357), потом же — более увлеченно и подробно. Но уже в 1841 году мы читаем под 28 июня: «Насчет некоторых писателей я свое мнение переменяю: к этим в особенности принадлежит Бальзак. Теперь я нахожу его довольно однообразным, хотя и теперь считаю его человеком очень даровитым» (там же; 404).

Несомненно, что с начала 40-х годов популярность Бальзака в аристократических кругах России несколько падает. Таким образом, вершина его славы — это десятилетие от 1830 до 1840 года. Для целей настоящего исследования период от 1840 года не является интересным.

Но в данном случае мы хотим обратить внимание читателя не на интерес русской литературы к Бальзаку как писателю и к позитивному или негативному отношению к его стилю и его героям. Также не играют роли и увлекательные стороны *литературного* влияния Бальзака. Существенно другое: Бальзак был то, что называется у «всех на устах», ссылаться на него было модно, а его герои как бы входили в русскую жизнь, а не только в литературу. «Не только сюжеты, но и литературные герои Бальзака становятся устойчивыми мифологемами русской жизни 1830-х годов. В этом смысле особое значение приобретает роман „История тринадцати“ <...>. В 30-е годы Бальзак превращается в России почти что в культовую фигуру, со всеми положительными и отрицательными последствиями этого явления» (Дмитриева 1997; 102).

Вот А. С. Пушкин пишет жене 4 мая 1836 года (т. 10; 449):

«... Чаадаева, Орлова, Раевского и Наблюдателей (которых Нащокин называет *les treize*) еще не успел видеть...»

В «Дневнике» Пушкина находим запись от 26 января 1834 года: «Барон д'Антес и маркиз де Пина, два Шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет» (Пушкин 1995; 33). Здесь имеется в виду роман О. Бальзака «Шуаны» 1829 г. Дантес назван «шуаном», то есть легитимистом, так как он был участником заговора герцогини Беррийской в Вандее, целью которого было восстановление на престоле Бурбонов. В 1834 году П. А. Вяземский пишет в «Записной книжке» об увлечении дам Бальзаком (Вяземский 1963; 223).

Графиня Софья Бобринская сообщает мужу об очередной светской сенсации: Ж. Геккерн-Дантес женится на Екатерине Гончаровой:

Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви,

героического самопожертвования, это **Жюль Жанен**, это **Бальзак**, это **Виктор Гюго**. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно.

(Цитируется по книге: Абрамович 1991; 418)

М. Б. Лобанов-Ростовский описывает кузена Лермонтова, красавца Монго Столыпина:

Здесь я познакомился с красивым Монго, получившим это прозвище от великолепной белой ньюфаундлендской собаки, носившей эту кличку... Он тогда еще не предвещал культу собственной особы, не принимал по утрам и вечерам ванны из различных духов, не имел особого наряда для каждого случая и каждого часа дня, не превратил еще себя в бальзаковского героя прилежным изучением творений этого писателя и всех романов того времени, которые так верно рисуют женщин и большой свет... В сущности, это был красивый манекен мужчины с безжизненным лицом и глупым выражением глаз и уст.

(Цитируется по книге: Герштейн 1986; 164)

Итак, Пушкин в письме жене упоминает les treize Бальзака. За две недели до дуэли с Дантесом, 16 января 1837 года, Александр Карамзин пишет брату Андрею: «Неделю назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой. Я был шафером Гончаровой. На другой день я у них завтракал. Leur intérieur élégant мне очень понравился. Тому два дня был у старика Строганова (le père assis) свадебный обед с отличными винами. Таким образом кончился сей роман à la Balzac к большой досаде С.-Петербургских сплетников и сплетниц» (Карамзины 1960; 154). В то же самое время (16 января 1837) сам Андрей Карамзин писал из Парижа: «История Дантеса, Пушкина и К^о — не только история в духе Бальзака, но еще и история вроде „Тринадцати“ и она заставляет трудиться головы маленького русского кружка в Париже столько же, сколько и ваши» (выделено нами. — Т. Н.) (Карамзины 1960; 384—385).

Но вернемся к более конкретному и более интересующему нас сюжету.

Великолепно знал Бальзака и Лермонтов. Как сообщает об этом И. Андроников:

«В том, что Лермонтов читал сочинения Бальзака, нет никаких сомнений. „Он сидел, как сидит бальзакова 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала“, — писал он о Печорине в „Герое нашего времени“».

Тому, что Лермонтов читал Бальзака и был хорошо знаком не только с „Тридцатилетней женщиной“, но и с другими его сочинениями, доказательств много. В литературе о Лермонтове есть указания на связь лермонтовской прозы со „школой Бальзака“. Нас в данном случае интересует фраза из письма 1835 года. „Теперь я не пишу романов, — сообщает Лермонтов своей приятельнице А. М. Верещагиной, — я их делаю“.

Это зеркальный переверот фразы Бальзака, парафраз из повести „Герцогиня де Ланже“, где о генерале Монриво говорится, что он „всегда делал романы, вместо того, чтобы писать их“.

„Герцогиня де Ланже” — второе звено из замечательного произведения Бальзака „История тринадцати”» (Андроников 1979; 154).

3. Итак, Бальзак был популярен en général и повесть «Горошковый цвет» привлекла к себе также внимание и интерес.

О чем же она?

Не первой молодости человек света, дворянин Поль де Манервиль, знакомится со вдовой с креольской примесью, госпожой Эванхелиста, и ее дочерью. Единственное приданое этой необычайно красивой девушки — ее бесспорная и несомненная красота и зовут ее — Натали. Натали намного моложе своего жениха (по данным исследователей Бальзака, разница у них около десяти лет и родилась она в 1802 году). Семья красавицы Натали — не слишком родовитая, но у нее есть достаточно знатная тетка при дворе — баронесса де Малинкур, которая ей всячески помогает. Мать красавицы затягивает желанный для героя брак, обговаривая снова и снова обременительные для него условия брачного контракта. (Недаром Бальзак впоследствии, выпуская в свет эту повесть в Париже в 1842 году, называет ее «Брачный контракт»). Герой соглашается практически на все. Он женится на Натали, она начинает блистать в парижском свете, обращая на себя всеобщее внимание своей красотой. Вот как описана Натали в разделе, посвященном Бальзаку, в «Энциклопедии литературных героев» (автор заметки — В. Мильчина): «Получив от матери наставления о том, как должна вести себя замужняя женщина — отдавать себя светской жизни, уделять мужу как можно меньше времени и заставлять его во всем уступать жене, — М. воплощает эти предписания в жизнь и делает своего мужа несчастным» (Энциклопедия лит. героев 1997; 71).

Финансовые трудности и долги, так как красота Натали требует новых и дорогих туалетов, толкают героя на отправление в Вест-Индию, но на пути, уже взойдя на корабль, он получает письмо от своего старинного знакомого графа Анри де Марсе. Тот пишет, что за красавицей Натали открыто ухаживает светский лев, фат и красавец Феликс де Ванденес, и это становится объектом сплетен и перешептываний.

Де Марсе переходит к конкретным советам: Поль де Манервиль должен вызвать на дуэль Ванденеса и убить его. Иного выхода нет: “En France, le mari insulté qui tue son rival devient un homme respectable et respecté... Tue Vandenesse et ta femme tremble, et ta belle-mère tremble, et la public tremble, et tu te réhabilites, et tu publies ta passion insensée pour ta femme, et l’on te croit, et tu deviens un héros” (Balzac 1973; 268—269).

Итак, де Марсе просто гипнотически настаивает на дуэли, как бы провоцирует Манервиля. И интересно вот что. Подробные справочные издания, в которых прослеживается для удобства читателей «Человеческой комедии» судьба всех многочисленных героев Бальзака, ничего не сообщают о решении Манервиля. Мы не узнаем, была ли дуэль или нет. Так, наиболее полное справочное издание к «Человеческой комедии» сообщает только о Поле де Манервиле, что

он “reçoit, trop tard, alors que son bateau a quitté Bordeaux, la reponse de Marsay, qui lui ouvre enfin les yeux sur la machination montée par sa belle-mère et Natalie” (Balzac 1981; 1417).

Сюжет «Брачного контракта» настолько суггестивен, что раскрывать и эксплицировать его аллюзии мы не предполагаем. Они очевидны.

4. Напоминаем, что Пушкин пишет жене о том, что Нащокин называет «Наблюдателей» — les treize. Н. И. Надеждин, глядя на Париж с кладбища Пер-Лашез, тут же вспоминает «место из „Тринадцати” Бальзака, где он заставляет г. Жюля, похоронив свою несчастную жену, оглянуться на Париж, волнующийся под его ногами» (1836). Н. В. Станкевич: «Не читал я бальзаковых “Treize” — теперь прочту» (9 января 1834), (он же, январь 1835): «Наконец, прочел я два эпизода из “Histoire de treize”. Особенно нравится мне “Ne touchez pas la hâche”» (прежнее название «Герцогини де Ланже». — Т. Н.). О «тринадцати» пишет, как упоминалось выше, и Андрей Карамзин, прямо их сопоставляя с дуэльной историей и предысторией Пушкина.

Одним из этих бальзаковских героев, одним из «тринадцати», является все тот же Марсе. Кто же такие эти «тринадцать»?

Характер их пытаются понять, например, В. Г. Белинский: «Вот мы видим теперь на сцене и другого из „Тринадцати”: Феррагус и Монриво, видимо, одного покроя: люди с душой глубокою, как морское дно, с силой воли непреодолимою, как воля судьбы» («Литературные мечтания», 1834 г.). См. выше о «тринадцати» в статье Е. Е. Дмитриевой: герои этой повести становятся «мифологемами» русской жизни 1830-х годов.

Но лучше всего процитировать самого Бальзака, создавшего их в 1831 г. :

Все тринадцать были люди того же закала, что и Трелони, друг Байрона и, как говорят, оригинал его Корсара; все они были фаталисты, смелые и поэтические, но наскучившие обыденной жизнью, жаждущие азиатских наслаждений, влекомые страстями, долго дремавшими в их душе... Как-то один из них решил, что все общество должно подчиниться власти тех избранных, у которых природный ум, образование и богатство сочетались с огненным фанатизмом, способным превратить в единый сплав все эти разнородные свойства. И вот тогда перед их тайной властью, безмерной в своей действенности и силе, общественный строй оказался бы беззащитным; она опрокидывала бы все препятствия, громила бы на своем пути любое сопротивление; каждый из таких избранных силен был бы дьявольской силой всего содружества... это жизнь флибустьеров в желтых перчатках, флибустьеров, разезжающих в каретах; это тесное сообщество выдающихся людей, холодных и насмешливых, расточающих улыбки лживому и <...> свету, уверенность, что все подчинится их прихоти, что месть их будет ловко осуществлена... затем это постоянное блаженство — в присутствии посторонних людей владеть тайной своей ненависти; блаженство замкнуться в себе, сознавать себя богаче всех самых замечательных людей, не возвысившихся до твоей идеи... У них не было вожака, никто среди них не мог захватить власть в свои руки; но тому, кто сильнее других был охвачен ка-

кой-либо страстью, кто больше других нуждался в содействии, служили все остальные. То были тринадцать неведомых миру, однако подлинных властелинов, более могущественных, чем короли, — ибо они сами были и судьями, и палачами, они сотворили себе крылья и проникали во все слои общества сверху донизу, пренебрегая возможностью занять в нем какое-либо положение, и без того им все было подвластно.

(Бальзак 1953, т. 7; 10—12)

Как уже говорилось, де Марсе был одним из тринадцати. Несомненно, умело манипулируя чувствами де Манервиля, он провоцировал дуэль — для своей же забавы, для развлечения сообщества или, быть может, втайне завидуя красавцу Ванденесу.

Как часто говорил и писал Ю. М. Лотман, литература оказывает огромное влияние на жизнь и ее события — больше, чем можно подумать.

Вероятно, здесь действует логика возможных аналогий.

5. Быть может, и в петербургском обществе, живущем, как мы цитировали выше, моделью à la Balzac, мог найтись некто (некие), пожелавший в сходной ситуации также спровоцировать — только уже не скромного и неприятязательного Поля де Манервиля, а человека знаменитого по всей России, и потому тайная власть над его действиями была бы особенно привлекательной.

Усилиями отечественных исследователей середины нынешнего века (Б. М. Эйхенбаум, И. Л. Андроников и др., особенно, конечно, Э. Герштейн) было описано некое сообщество, несомненно неслучайно называвшее себя кружком «шестнадцати» (*les seize*). В основном разыскания об этом сообществе были связаны с именем М. Ю. Лермонтова.

Во всех описаниях судьбы этих людей, как правило потомков очень известных фамилий (по данным Э. Г. Герштейн, по крайней мере, семеро из шестнадцати молодых людей принадлежали к семейству ближайших фаворитов двора (Герштейн 1986; 322)), присутствуют некоторые не разрешимые для исследователей противоречия. На них мы остановимся ниже и постараемся предложить единую, как будто бы все объединяющую гипотезу.

В конце 30-х годов царь Николай I практически их всех высылает вон из столицы (как правило, на Кавказ), но — в то же время дает им прекрасные аттестации за службу. Они принадлежат к знатнейшим семьям, но — в то же время заступиться за них не решается даже царица, императрица Александра Федоровна. А заступаться как бы и не за что. М. Ю. Лермонтов пишет «На смерть поэта» и не вызывает высочайшего негодования, но — затем к нему приходит его кузен Н. Столыпин, и поэт пишет довольно странные — если читать их очень внимательно — шестнадцать строк, начинающиеся со слов: «А вы, надменные потомки» и именно этим предрешает свою судьбу: царь проникается к нему ненавистью (как будто бы ему принадлежит суждение: «Собаке — собачья смерть!») по поводу смерти Лермонтова).

6. Итак, первое — кто же они были конкретно?

Усилиями Э. Г. Герштейн многие имена восстановлены. Однако несколько странно, что описывая и реконструируя общество «шестнадцати», она никак не связывает их с бальзаковским началом. Нет этого и в ее «Мемуарах», где исследовательница подробно описывает саму работу над поиском «шестнадцати» («Между тем проблема „шестнадцати“ была исключительно трудна. В литературе были названы только десять участников этого кружка, и то по одним фамилиям, без инициалов и названий...») (Герштейн 1998; 227 и далее)). Именно на это удивляющее отсутствие переклички обратил внимание И. Андроников, прямо связавший оба сообщества: «Исследовательница тщательнейшим образом собирала материалы об этом кружке, затратила годы на выяснение сущности и характера ежевечерних собраний <...> Но само название кружка с произведением французского романиста Герштейн не сблизила. А между тем дело, кажется, не только в названии» (Андроников 1979; 155).

Итак, в сообщество входили молодые аристократы — граф Ксаверий Браницкий, Николай Жерве, Алексей Столыпин (Монго), барон Дмитрий Фредерикс, князя Александр и Сергей Долгорукие, Петр Валувев, князь Иван Гагарин, граф Андрей Шувалов, Паскевич, Борис Голицын и — Михаил Лермонтов. Э. Г. Герштейн предположила, что ими могли быть князя Григорий Гагарин, Александр Васильчиков, Михаил Лобанов-Ростовский, Петр Долгоруков и граф Павел Шувалов. Возможно, и князь Сергей Трубецкой. Правда, так получается уже 18!

Сведения о том, что существовал такой кружок, появились только в конце прошлого века. О нем упомянул Н. С. Лесков, назвав его «кружком Лермонтова». Правду сказать, аристократичность самого Лермонтова вызывает некоторые сомнения. Действительно, в вышедшей в конце 30-х годов повести Владимира Соллогуба «Большой свет» Лермонтов под именем офицера Леониана описан в роли прихвостня знатного своего родственника Сафьева. Как пишет И. Андроников, Соллогуб признался, что эта повесть была инспирирована членами царского дома. А после этого была спровоцирована дуэль Лермонтова с де Барантом. В апреле 1840 года Лермонтов был выслан в Тенгинский пехотный полк на Кавказ (сведения из: Андроников 1979; 1959—1960).

Более конкретные данные восходят к Ксаверию Браницкому, уже эмигранту, писавшему другому участнику кружка — также достаточно знаменитой фигуре, князю Ивану Гагарину, который тоже эмигрировал и вступил в орден иезуитов.

Он пишет, что в 1839 году существовало общество молодых людей, которое называли по числу его членов «Шестнадцать». Общество, состоящее из кавказских офицеров или выпускников университета, каждую ночь собиралось то у одного, то у другого, болтая обо всем с абсолютной свободой. В другом письме к тому же И. Гагарину Браницкий пишет 7 января (новый стиль) 1879 г.: «Может быть, вы уже знаете: один из бывших „шестнадцати“ Борис Голицын умер» (цит. по: Герштейн 1986; 131). И тому же И. Гагарину писал в 1840 году буду-

щий славянофил Юрий Самарин: «...я видел, как через Москву проследовала вся группа шестнадцати, направляющаяся на юг». Есть еще и третье свидетельство — Петра Валуева, в будущем весьма успешного политического деятеля, которому пророчили карьеру А. М. Горчакова. П. Валуев пишет: «В 1838—1840 — связь с Браницким, Столыпиным, Долгоруковым, Паскевичем, Лермонтовым и пр. (*les seize*), к которым и я принадлежал» (цит. по: Герштейн 1986; 133).

Из слов К. Браницкого и И. Андроников, и Э. Герштейн заключают, что общество возникло в 1839 году, хотя он употребляет только слово *существовало*.

У Э. Герштейн, в духе времени, хотя она и никак не была ортодоксальным литературоведом, нет сомнений в политическом характере кружка и — чем потаеннее — тем, конечно, революционнее. См.: «Предусмотрительность Браницкого наводит на мысль о конспиративном, а следовательно, политическом, характере этого аристократического кружка» (Герштейн 1986; 132). Она считает, что кружок был раскрыт и все высланы. Но это еще не гарантия раскрытия политической программы. Это система взглядов российского литературоведа 30-х годов.

7. Что же происходит далее?

На Кавказе вскоре после Лермонтова погибает А. Долгорукий. Пули кавказцев сражают Жерве и Фредерикса. Преждевременно умирает красавец Андрей Шувалов. «Преждевременная смерть сражает Монго Столыпина, по поводу которого Николай довольно прямо заметил, что в его лета стыдно оставаться „праздным“» (цит. по: Андроников 1979; 160).

Действительно, большинство из шестнадцати в начале 1840 года были переведены из гвардейских полков в разные полки Отдельного кавказского корпуса.

Но, как подводит итоги этому «исходу» Э. Герштейн, «добровольный» отъезд „шестнадцати“ из Петербурга был только формой, право на которую они завоевали при помощи своих влиятельных родителей» (Герштейн 1986; 135).

Приводимые ею данные поистине необычайны.

Мать Андрея Шувалова, княгиня ди Бутера, бросилась к ногам фрейлины Загряжской, прося похлопотать перед императрицей. Именно это последняя и отмечает в своем дневнике. После сложных переговоров императрица, наконец, пишет С. Бобринской: «Потом я говорила с императором об Андрее Шувалове. После многих попыток мне удалось его смягчить (его хотели отправить в армию. — Т. Н.). Это самое большое из того, что было возможно» (цит. по: Герштейн 1986; 135).

Трудностями сопровождался и перевод в Кавказский корпус Дмитрия Фредерикса, сына ближайшей подруги императрицы, баронессы Фредерикс. Мать горячо добивается протекции сыну у графа Чернышева, но все показывает, что царь был недоволен молодым Фредериксом. Сама же императрица пишет своему сыну в письме от 26 марта 1840 года: «Митя Фредерикс уехал на Кавказ с белым султаном, все по его доброй воле». И здесь, как замечает Герштейн, также остается в этом письме что-то непонятное: «...непосвященному читате-

лю трудно разобраться, в чем существо этой новости: в том ли, что он уехал, или в том, что перевод на Кавказ был добровольным» (Герштейн 1986; 136).

Как уже говорилось, Николай приказал Монго Столыпину вступить в военную службу (в его лета стыдно оставаться «праздным»). М. П. Валуева пишет 3 мая 1840 года П. А. Вяземскому: «Лермонтов уехал, читайте его Княжну Мери. Красавец Столыпин вступает в Нижегородский драгунский полк, но по своей доброй воле. Грегуар Гагарин тоже едет на Кавказ, прикомандированный к Гану... Васильчиков и Серж Долгорукий тоже».

Председатель Государственного совета, князь Васильчиков, фаворит царя, униженно хлопочет, заискивая перед сенатором Ганом, об устройстве сына при переводе на Кавказ (сведения приводятся по: Герштейн 1986; 137—138).

Э. Герштейн продолжает «мораторий». В списке добровольцев, отчисляемых из гвардейских полков, в 1840 г. появляется А. Н. Долгорукий. Вступил в военную службу отставник Жерве. Неожиданно назначается на внештатную должность секретаря посольства в Париже И. Гагарин. А П. А. Вяземский говорит об этом, что Гагарин «очень тому рад».

Э. Герштейн, настаивая на «раскрытии существования» кружка, в конце соглашается с одной из версий Б. Эйхенбаума (Эйхенбаум 1961): им *посоветовали* уехать.

8. И здесь обращают на себя внимание два обстоятельства.

Первое. Знатные родители «шестнадцати» во многих случаях падают к ногам императрицы, а ей просить очень трудно и сложно.

Второе. Кружок шестнадцати объединяло некое свойство (к Лермонтову это, конечно, не относилось!) — они были красавцы!

А это уж не так маловажно, если учесть, что и в 1914 году полк российских кавалергардов набирался согласно тем именно внешним качествам, которые предпочитала одна дама — Екатерина Вторая: высокий рост, белокурость, светлые глаза.

Принцесса Шарлотта-Фредерика-Луиза-Вильгельмина, дочь прусского короля Вильгельма III, в 1817 году вышла замуж за русского великого князя Николая Павловича и стала потом императрицей Александрой Федоровной.

Императрица Александра Федоровна, видимо, была хороша собой и обаятельна. Как пишет в дневнике А. С. Пушкин: «Я ужасно люблю царицу, несмотря на то, что ей уже 35 и даже 36» (т. 8; 34). Она обожала балы, маскарады и «интриговать». Вот приводимые Э. Герштейн записи Д. Ф. Фикельмон от 14 февраля 1833 года:

Бал-маскарад в доме Энгельгардта. Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменяла маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем m-lle Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно: я боялась всяких инциден-

тов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже — ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина — этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта m-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он действительно был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности.

(цит. по: Герштейн 1986; 50)

Даже Пушкин заметил в дневнике по поводу увлечения царской четы маскерадами: «В городе шум. Находят это неприличным» (т. 8; 62).

В марте 1834 года внимание царицы привлек новый «красавец» — **Жорж Дантес-Геккерн**. Вот запись в ее дневнике за 1 марта 1834 года: «...поехали в ложу. Смотрели маскированный бал. Около часу уехали, но опять туда с Соф. Бобр. и Катрин (то есть она уехала во дворец вместе с царем, но потом, под маской, она вернулась снова. — *Т. Н.*). Немного интриговали. Дантес, *bonj. m. gentille*, но не так красиво, как в прошлом году» (Герштейн 1986; 51). Таким образом, как пишет Э. Герштейн, камер-фурьерский журнал вторичного посещения императрицы уже не фиксировал.

Разумеется, императрица считает самого Пушкина виновником собственной гибели. Утром 28 января 1837 года царица пишет все той же Бобринской: «О Софи, какой конец этой печальной истории между Пушкиным и Дантесом. Один ранен, другой умирает. Что вы скажете? Когда вы узнали? Мне сказали в полночь, я не могла заснуть до 3 часов, мне все равно представлялась эта дуэль, две рыдающие сестры, одна — жена убийцы другого. Это ужасно, это самый страшный из современных романов. Пушкин вел себя непростительно, он написал наглые письма Геккерну, не оставя ему возможности избежать дуэли» (цитирую по: Зильберштейн 1993; 95). Тому же адресату она пишет 30 января 1837 года: «...Бедный Жорж, что он должен был почувствовать, узнав, что его противник испустил последний вздох. После этого — ужасный контраст — я должна вам говорить о танцевальном утре, которое я устраиваю завтра, я вас предупреждаю об этом, что бы Бархат не пропустил и чтобы вы тоже пришли к вечеру» (подлинник по-французски) (Зильберштейн 1993; 96). Бархат — прозвище кавалергарда А. В. Трубецкого, приятеля Дантеса, к которому царица относилась с благосклонностью.

9. Итак, в последней части этого текста постараемся объединить воедино целый набор ранее изложенных и как будто бы не соединенных логикой фактов: 1) повесть Бальзака «Брачный контракт», 2) связку: *les treize — les seize*, 3) таинственную высылку из столицы царем родовитых «шестнадцати», 4) некоторую забывчивость императрицы — о том, какой должна быть жена Цезаря, и 5) судьбу и поведение М. Ю. Лермонтова.

Как кажется, ключ ко всему этому лежит в истории написания Лермонтовым стихотворения «На смерть поэта», в котором, при очень внимательном чтении, оказывается много неясного.

Но самое важное то, что оно состоит из двух частей, каждая из которых вызвала совершенно разные высочайшие реакции.

Обратимся к подробным комментариям к этому стихотворению (Лермонтов 1936, т. 11; 172). Как будто бы в своем первом виде (то есть без окончательных 16 строк) стихотворение не вызвало никакого негодования при дворе. Приятель Лермонтова С. А. Раевский говорит в своем показании («Дело о непозволительных стихах»): «Пронеслась даже молва, что В. А. Жуковский читал их его императорскому высочеству, государю-наследнику, и что он изъявил высокое свое одобрение». Как будто бы сохранилось свидетельство, что Николай I, прочитав стихотворение Лермонтова, сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина», а великий князь Михаил Павлович заявил: “*Se poète en herbe va donner de beaux fruits*” (Бурнашев В. П. М. Ю. Лермонтов в рассказах его гвардейских однокашников // Русский архив, 1872, № 9. С. 1770—1781). А управляющий III отделением А. Н. Мордвинов, по словам А. Н. Муравьева, сказал ему: «Я давно читал эти стихи графу Бенкендорфу, и мы не нашли в них ничего предосудительного» (Муравьев А. Н. Знакомство с русскими поэтами, Киев, 1871. С. 23). (Все указанные выше библиографические данные цитируются по комментарию к: Лермонтов 1936, т. 11.)

Таково было положение первоначальное. Об обстоятельствах же появления заключительных строк известно из показаний С. А. Раевского и рассказа В. П. Бурнашева. Потрясенный смертью Пушкина, Лермонтов заболел, и вызванный к нему лейб-медик Арендт рассказал ему подробности о последних днях смерти Пушкина. Затем к поэту пришел его родственник Н. А. Столыпин. Столыпин всячески защищал Дантеса. Спор становился все более горячим (свидетелей, как можно понять, не было! — *Т. Н.*). Вечером, как сообщает Бурнашев, он нашел у Лермонтова и известное прибавление.

Новые заключительные стихи стали мгновенно расходиться и переписываться. Интересно, среди прочих, читать замечание тогда юного В. В. Стасова: «Хотя мы хорошенько и не знали, да и узнать-то не от кого было, про кого это речь шла в строфе „А вы, толпою жадною стоящие у трона” и т. д., но все-таки мы волновались, приходили на кого-то в глубокое негодование...» (Русская старина, 1881, № 2. С. 410 и 411).

А. Н. Муравьев сообщает, что на следующий день Лермонтов был уже под арестом. Был арестован и С. А. Раевский (все указанные сведения взяты из комментария к: Лермонтов 1936, т. 11).

Интересна и «покаянная» записка самого Лермонтова о том, что, хотя многие говорили о смерти поэта с печалью, «другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что был ревнив, дурен собою — они говорили также, что Пушкин негодный человек и прочее... Мне отвечали, вероятно, чтобы придать себе более весу, что весь высший круг общества такого же мнения» (Лермонтов 1936, т. 11; 178). Далее Лермонтов говорит о милости государя к покойному поэту, однако у этой «покаянной» записки очень достойный конец — «Сам я их никому больше не давал, но отречься от них, хотя постиг свою необдуманность, я не мог: правда всегда была моей святыней и теперь, принося на суд свою повинную голову, я с твердостью прибегаю к ней, как единственной защитнице благородного человека перед лицом царя и лицом божим» (Лермонтов 1936, т. 11; 179). Вслед за этим 25 февраля 1837 г. последовало высочайшее повеление о том, что «лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова за сочинение известных стихов... перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк» (этот полк стоял тогда на Кавказе. — *Т. Н.*).

10. Итак, постараемся изложить последовательно некоторую цепочку собственных гипотез, еще явно требующих верификации и доработки.

1) Общество «шестнадцати» существовало в 1838 году, но зародиться оно могло и раньше — шло некое сближение его членов.

2) Свой стиль поведения оно, как теперь говорят, «моделировало» под героев Бальзака, особенно под «тринадцатый».

3) У героев Бальзака была своя мораль, как сказали бы теперь, — ницшеанская.

4) Сюжет «Горошкового цвета» («Брачный контракт») разительно напомнил ситуацию Пушкина, вплоть даже до имени красавицы Натали.

5) Де Марсе, один из «тринадцати», явно провоцировал героя вызвать на дуэль поклонника Натали.

6) У наших «шестнадцати» аристократов также, особенно после прочтения повести Бальзака, могла мелькнуть мысль послать некое письмо Пушкину, провоцирующее дуэль с Дантесом. (Замечу, что ряд членов «шестнадцати», например П. Долгоруков и др., уже давно были на подозрении в пушкиноведении в этом смысле реально.)

7) Члены «шестнадцати», почти все — молодые красавицы, окружали царицу, которая, судя по приведенным выше воспоминаниям, вела себя не совсем точно. *La reine s'amusait.*

8) Тут важно, знал ли Лермонтов о том, кто послал Пушкину диплом рогоносца. А если он этого не знал и Н. А. Столыпин ему это рассказал только по-

сле смерти Пушкина, тогда потом, вполне логично, в стихотворении появились знаменитые шестнадцать (совпадение? — Т. Н.) строк.

Многое в них, как кажется, сказано прямо:

А вы, надменные потомки
известной подлостью прославленных отцов...

(тут более подробное обращение к предкам «шестнадцати», по-моему, сильно помогло бы).

Понятно и *наперсники разврата*.

9) Последняя идея состоит в том, что слова *жадной толпой стоящие у трона* — строка, обращенная не только и не столько к царю. «На троне» была и царица.

10) Таким образом, Лермонтов действительно совершил страшный поступок — он открыто объявил, что «жена Цезаря не вне подозрений», и ее свита позволяет себе все, и именно она, группа фаворитов, отравила великого поэта.

11) Тогда реакция царя, императора и мужа царицы, естественна. Естественно и то, что он постарался разогнать всех подозреваемых лиц, обнаружить которых как «сообщество» ему удалось постепенно. Естественно и то, что императрица, как мы видели выше, трепетала и боялась просить царственного своего мужа за любимцев. Естественно, что их матери падали именно к ее ногам.

12) И, наконец, о двух великих писателях, родившихся в один и тот же 1799 год, которых связывала — даже в браке — все та же провинциальная Россия, не удержусь от напрашивающейся пушкинской фразы: *Бывают странные сближенья*.

Примечания

§ 1. Общие положения. *Единицы языка и теория текста* — печатается по изданию: Николаева Т. М. Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста, М.: Наука, 1987.

§ 2. Звуки в тексте. *Звукопись в «Слове о полку Игореве»: Начала. Темы. Фуги. Анаграммы.* Публикуется раздел из монографии автора: Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве». Лингвистика текста и поэтика. М.: Индрик, 1997.

«Из пламя и света...» Звуки, которые слышат только поэты. Впервые опубликовано: Николаева Т. М. «Из пламя и света рожденное слово» // Труды по знаковым системам 14. Уч. записки Тартуского гос. ун-та. № 567, 1981. Публикуется по более полному варианту, см.: Из работ Московского семиотического круга. Антология. М.: Языки русской культуры, 1997.

§ 3. «Незнаменательные слова» и текст. *«А мы швейцару...»* См. публикацию: Николаева Т. М. «А мы швейцару: отворите двери...» (к вопросу об инва-

риантной семантике коммуникативной лексики) // Облик слова. Сборник памяти акад. Д. Н. Шмелева. М., 1997.

Речь Марка Антония над гробом Цезаря как средство убеждения. См. публикацию: Николаева Т. М. Семантика убеждения: лингвотекстологический анализ речи Марка Антония над гробом Юлия Цезаря // Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 27, 1991.

§ 4. Грамматические показатели и текст. *Русские — Половцы* — публикуется фрагмент из монографии: Николаева Т. М. «Слово о полку Игореве». Лингвистика текста и поэтика. М., 1997.

§ 5. Число и текст. *Числовые модели порока и добродетели* — опубликовано как: Николаева Т. М. Числовые модели порока и добродетели (роль числа в «Манон Леско») // ПОЛУТРОПОН. Сборник к 70-летию В. Н. Топорова, М.: Индрик, 1998.

§ 6. Лексико-грамматические средства. *Антитезы и повторы в «Слове о полку Игореве» как текстовые скрепы* — публикуется по тексту: Николаева Т. М. Функциональная нагрузка антитез и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Комплексные исследования. М.: Наука, 1988.

§ 7. Текст — диалог поэтов. *Образы, навеянные «Словом», в пушкинских текстах* — печатается раздел из монографии автора: «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты, М., 1997.

Автор «Слова» и Боян — печатается раздел из монографии автора «Слово о полку Игореве» (М., 1997).

Пушкин и Боян — контаминация двух публикаций автора: раздела из монографии: «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997, и статьи: Николаева Т. М. Пушкин и Боян // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. К 70-летию Т. Г. Винокур, М.: Наука, 1996.

Смерть властелина на охоте: «Охота» Н. Гумилева и «Сероглазый король» А. Ахматовой — публикуется текст: Николаева Т. М. Смерть властелина на охоте («Охота» Н. С. Гумилева и «Сероглазый король» А. А. Ахматовой) // Russian literature, 1992; см. также его перепечатку в издании: Из работ Московского семиотического круга. Антология, М.: Языки русской культуры, 1997.

§ 8. Текст как пространство. *Евгений Онегин, «Адольф» и загадочная Татьяна* — контаминация двух статей автора: Текст. Как путь и как многомерное пространство // Концепт движения в языке и культуре, М., 1996; Еще раз о загадочной Татьяне // Вестник РГНФ, 1999, № 1.

§ 9. Текст в тексте. *Роль метатекста в Мариинском Евангелии* — см. публикацию: Николаева Т. М. Метатекст в тексте // Исследования по структуре текста. М., 1987.

К чему восходит текст о безвременно погибшем юноше? — фрагмент из монографии автора: «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997.

Реконструкция единого «сна» у одиннадцати пушкинских героев — раздел «Сны» в монографии автора: «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты.

М., 1997, см. также более краткий текст: Николаева Т. М. «Сны» пушкинских героев и сон Святослава Всеволодовича // Лотмановский сборник 1, М.: Ицг-рант, 1995.

§ 10. Текст и жизнь. *О возможном влиянии одного текста О. Бальзака на судьбы великих русских поэтов — печатается впервые.*

Литература

Тексты

- Маринское Евангелие с примечаниями и приложениями. Труд И. В. Ягича. СПб., 1883
- «Слово о полку Игореве». М.: Художественная литература, 1985
- Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 10-ти томах. М., 1950—51
- Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений в 5-ти томах. М.; Л.: Academia, 1936
- Шекспир В. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1903
- Бальзак О. Собрание сочинений в 15-ти томах. М., 1953
- Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. М., 1964
- Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1959
- Ахмадулина Б. А. Свеча. М., 1977
- Ахматова А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1976
- Бальмонт К. Д. Стихотворения. Л., 1969
- Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М., 1951
- Белый А. Стихотворения и поэмы. Л., 1966
- Блок А. А. Собрание сочинений в 8-ми томах. М.; Л., 1960—63
- Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л., 1988
- Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965
- Иванов В. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1976
- Иванов Г. В. Собрание сочинений в 3-х томах. Т. 1. М., 1994
- Мандельштам О. Э. Стихотворения. Л., 1974
- Окуджава Б. Ш. Милости судьбы. М., 1993
- Пастернак Б. Л. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965
- Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974
- Сологуб Ф. К. Стихотворения. Л., 1975
- Цветаева М. И. Избранные произведения. М.; Л., 1965
- Shakespeare W. Julius Caesar. Cambridge, 1949
- Abbé Prevost. Histoire de Chevalier de Grioux et de Manon Leskaut. Paris, 1965

Исследования

1. A grand dictionary 1981 — *A grand dictionary of phonetics*. Hong Kong, 1981
2. Aitchison 1981 — *Aitchison J. Language change: progress or decay?* Bungay, 1981
3. Albrecht 1977 — *Albrecht J. Wie übersetzt man eigentlich "eigentlich"? // Aspekte der Modalpartikeln*. Tübingen, 1977
4. Alexander 1983 — *Alexander R. On the definition of Sprachboundaries: the place of Balkan Slavic // Ziele und Wege der Balkanlinguistik*. Berlin—Wiesbaden, 1983

5. Allen 1973 — *Allen W. S.* Accent and Rhythm. Prosodic features of Latin and Greek: a study in theory and reconstruction. Cambridge, 1973
6. Allen, Hill 1979 — *Allen R. L., Hill Cl. A.* Contrast between *O* and *The* in spatial and temporal predication // *Lingua*, V. 48, 1979, № 2/3
7. Altmann 1976 — *Altmann H.* Die Gradpartikeln im Deutschen // Untersuchungen zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik. Tübingen, 1976
8. Anderson 1972 — *Anderson St.* How to get *even* // *Language*, V. 48, 1972, № 4
9. Anderson 1976 — *Anderson St.* On the notion of Subject in ergative languages // Subject and topic. N.Y. — San Francisco — L., 1976
10. Anderson 1977 — *Anderson St.* On mechanisms by which languages become ergative // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977
11. Arndt 1960 — *Arndt W.* “Modal Particles” in Russian and German // *Word*, V. 16, 1960, № 2
12. Arvanti 1991 — *Arvanti A.* Rhythmic categories: a critical evaluation on the basis of Greek data // Actes du XII-ème Congrès des sciences phonétiques, Aix-en-Provence, 1991
13. Aspekte der Modalpartikeln 1977 — *Aspekte der Modalpartikeln.* Tübingen, 1977
14. Auwera 1979 — *Auwera J. von der.* Pragmatic presupposition: shared beliefs in a theory of irrefutable meaning // *Syntax and semantics*, V. 11. Pronouns in discourse. N.Y., 1979
15. Bach 1967 — *Bach E.* *Have* and *be* in English syntax // *Language*, V. 43, 1967, № 2
16. Ballester 1990 — *Ballester X.* La posicia del acento prehistorico latino // *Emerita*, t. LVIII, fasc. 1, Madrid, 1990
17. Balzac 1973 — *Balzac H. de.* Une double famille, suivi du *Contrat de mariage* er de *L'Interdiction.* Paris, 1973
18. Balzac 1973 — *Balzac H. de.* Une double famille, suivi du *Contrat de mariage* er de *L'Interdiction.* Paris, 1973
19. Balzac 1981 — *Balzac.* La Comédie humaine. XII. Paris, 1981. Index de personnages fictif.
20. Balzac dans... 1993 — Balzac dans l'empire Russe. De la Russie à l'Ukraine. Paris, 1993
21. Banfi 1991 — *Banfi E.* Storia linguistica del Sud-Est Europeo. Pavia, 1991
22. Bannert 1991 — *Bannert R.* Some general remarks on designing linguistic models of intonation // Actes du XII-ème Congrès des sciences phonétiques, Aix-en-Provence, 1991
23. Barthes 1972 — *Barthes R.* Introduction à l'analyse structurale du récit. P., 1972
24. Baud-Bovy 1953 — *Baud-Bovy S.* Sur la prosodie des chansons clèphtiques // *Ελληνικων* 1953, № 4
25. Baud-Bovy 1936 — *Baud-Bovy S.* La chanson populaire grècque de Dodecanèse, Paris, 1936

26. Baud-Bovy 1957 — *Baud-Bovy S.* La strophe de distiques rimés dans la chanson grècque // *Separatum e libro memoriali.* Budapest, 1957
27. Bauer 1958 — *Bauer J.* Slovanské spojky s *bo* // *Studie ze slovanské jazykovědy.* Pr. 1958
28. Bauer 1972 — *Bauer J.* *Syntactica slavica.* Brno, 1972
29. Bauerová 1958 — *Bauerová M.* Staroslověnské spojky BO, *NEBO, NEBONĚ a IBO // *Studie ze slovanské jazykovědy.* Praha, 1958
30. Beličová-Křížková 1978 — *Beličová-Křížková H.* System parataktických spojovacíích prostředků v současných slovanských spisovných jazycích // *Československé přednášky pro VIII mezinárodní sjezd slavistů v Zahrebu.* Pr., 1978
31. Beaugrande de, Dressler 1982 — *Beaugrande de R., Dressler W.* Introduction to text linguistics. N.Y., 1982
32. Beckman 1986 — *Beckman M. E.* Stress and non-stress accent. Dordrecht; Riverton, 1986
33. Berke 1982 — *Berke B.* Tragic thought and the grammar of tragic myth. Bloomington, 1982
34. Bernáth 1980 — *Bernáth A., Csúri K.* “Mögliche Welten” unter literaturtheoretischen Aspekt // *Literary semantics and possible words.* *Studia poetica.* 2. Szeged, 1980
35. Bernstein 1975 — *Bernstein B.* Une théorie sociologique de l'apprentissage // *Bernstein B.* Langage et classes sociales. Paris, 1975
36. Bertinetto 1981 — *Bertinetto P.* *Strutture prosodiche dell'italiano.* Firenze, 1981
37. Bichakjian 1986 — *Bichakjian B.* When do lengthened vowels become long? // *Studies in compensatory lengthening.* Dordrecht — Holland // Riverton — USA, 1986
38. Bickerton 1990 — *Bickerton D.* Language and speech. Chicago — L. 1990.
39. Bierwisch 1966 — *Bierwisch M.* Regeln für die Intonation deutscher Satze // *Studia grammatica,* Hf. VII, Berlin, 1966
40. Bierwisch 1967 — *Bierwisch M.* Some semantic universals of German adjectives // *Foundations of language.* V. 3, 1967, № 1
41. Birkenmaier 1976 — *Birkenmaier W.* Die Funktion von *odin* im Russischen // *Zeitschrift für Slawische Philologie,* 1976, Bd. XXIX, Hf. 1
42. Birkenmaier 1977 — *Birkenmaier W.* Aspekt, Aktionsart und nominale Determination im Russischen // *Zeitschrift für Slavische Philologie,* 1977, Bd. XXIX, Hf. 2
43. Birnbaum 1965 — *Birnbaum H.* Balkanslavisch und Südslavisch // *Zeitschrift für Balkanologie.* Jg. 111, 1965
44. Blass, Debrunner 1979 — *Blass F., Debrunner A.* Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. Göttingen, 1979
45. Bloch, Trager 1942 — *Bloch B., Trager G. L.* Outline of linguistic analysis. Baltimore, 1942
46. Blomkvist 1969 — *Blomkvist J.* Greek particles in hellenistic prose. Lund, 1969
47. Blomkvist 1979 — *Blomkvist J.* Das sogenannte *kai* adverstivum. Uppsala, 1979

48. Bolinger 1955 — *Bolinger D. L.* The melody of language // Modern language forum, V. XI, 1955, № 1.
49. Bolinger 1957 — *Bolinger D. L.* Interrogative structures of American English. Indiana, 1957
50. Bolinger 1970 — *Bolinger D. L.* Relative height // Prosodic feature analysis. Ottawa, 1970
51. Bolinger 1979 — *Bolinger D. L.* Pronouns in discourse // Syntax and semantics. V. 12. N.Y., 1979
52. Bolinger 1986 — *Bolinger D.* Intonation and its parts. Melody in spoken English. Standford, 1986
53. Bonnot, Fougeron 1982 — *Bonnot Chr., Fougeron I.* L'accent de phrase initial en russe est-il toujours un signe d'expressivité où de familiarité // Bulletin de société linguistique de Paris. 1982, t. LXXVII, fasc. 1
54. Bonnot-Saoulski 1983 — *Bonnot-Saoulski Chr.* L'étude des indéfinis dans une théorie de l'énonciation // Bibliothèque russe d'Institut d'études slaves. 1983, t. LXV
55. Botinis 1989 — *Botinis A.* Stress and prosodic structure in Greek. Lund, 1989
56. Botinis 1991 — *Botinis A.* Intonation pattern in Greek discourse // Actes du XII-ème Congrès des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991
57. Bowen 1956 — *Bowen J. D.* A comparison of the intonation patterns of English and Spanish // Hispania, V. XXXIX, 1956, № 1
58. Boyanus 1936 — *Boyanus S.* The main types of Russian intonation // Proceedings of the second international congress of phonetic sciences. Cambridge, 1936
59. Braun 1963 — *Braun M.* Epische Komposition im Igor's Lied // Die Welt der Slaven. 1963. Jg. 8 Hf. 2
60. Braun 1966 — *Braun M.* Literarische Polemik im Igor's Lied // Orbis scriptus. Dmitrij Tschizewskij zum Geburtstag. München, 1966
61. Braun 1968 — *Braun M.* Literarische Polemik im Igor's Lied // Slavistische Studien zum VI Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968. München, 1968
62. Breckenbridge-Pierrehumbert 1980 — *Breckenbridge-Pierrehumbert J.* The phonology and phonetics of English intonation. Ph. D. Cambridge (Mass.), 1980
63. Breuillard 1981 — *Breuillard J.* Approches d'un personnage littéraire: La Tatiana de Poushkine // La licorne. Poitiers, 1981. 5
64. Buck 1980 — *Buck G.* Hermeneutics of texts and hermeneutics of action // New literary history, V. XIII, 1980, № 1
65. Burton-Roberts 1976 — *Burton-Roberts N.* On the generic indefinite article // Language. V. 52, 1976, № 2
66. Carruba 1969 — *Carruba O.* Die Satzeinleitende Partikeln in der indogermanischen Sprachen Anatoliens. Roma, 1969
67. Catania 1993 — *Catania Ch.* Three varieties of selection and their implications for the origins of language // Language origins Society, 9-th Meeting, Oranienbaum, 1993

68. Chiarelli 1989 — *Chiarelli Br.* The origin of human language // Studies in language origins. V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989
69. Christie 1970 — *Christie J. J.* Locative, possessive and existential in Swahili // Foundations of language. V. 6, 1970, № 2
70. Cohen, t'Hart 1967 — *Cohen A., t'Hart J.* On the anatomy of intonation // Lingua, V. XIX, 1967, № 2
71. Collier, van Leeuwen, Willems 1992 — *Collier R., van Leeuwen H. C., Willems L. F.* Speech synthesis to-day and to-morrow // Philips journal of research, V. 47, 1992, № 1
72. Cooper, Ross 1975 — *Cooper W., Ross J. R., World order* // Functionalism. Chicago, 1975
73. Coseriu 1980 — *Coseriu E.* Partikeln und Sprachtypen. Zur Strukturell-funktionellen Fragestellung in der Sprachtypologie // Wege zur Universalien Forschung. Tübingen, 1980
74. Coseriu 1980a — *Coseriu E.* Textlinguistik: eine Einführung. Tübingen, 1980
75. Crystal 1971 — *Crystal D.* Relative and absolute in intonation analysis // Journal of the international phonetic association, V. 1, 1971, № 1
76. Cutler 1984 — *Cutler A.* Stress and accent in language production and understanding // Intonation. Accent and rhythm. B.—N.Y. 1984
77. Cutler 1991 — *Cutler A.* Prosody in situations of communication: salience and segmentation // Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991
78. Dahl 1970 — *Dahl Ö.* Some notes on indefinites // Language. V. 46, 1970, № 1
79. Dahl 1974a — *Dahl Ö.* Some suggestions for a logic of aspects // Slavica gothoburgensia. 1974, № 6
80. Dahl 1974 — *Dahl Ö.* Topic-comment structure revisited // Topic and comment. Contextual boundness and focus. Papiere zur Textlinguistik. Bd. 6, Hamburg, 1974
81. Daneš 1957 — *Daneš Fr.* Intonáce a věta ve spisovné češtině. Praha, 1957
82. de Bray 1969 — *de Bray R. G. A.* Guide to the Slavonic languages. L., 1969
83. Deese 1965 — *Deese J.* The structure of association in language and thought. Baltimore, 1965
84. Delattre 1967 — *Delattre P.* La nuance de sens par l'intonation // French review, V. XVI, 1967, № 3
85. Denniston 1954 — *Denniston J. D.* The Greek particles. Oxford, 1954
86. Dermody, Mackie, Katsch 1987 — *Dermody Ph., Mackie K., Katsch R.* Initial speech sound processing in spoken word recognition // Proceedings of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 4, Tallinn, 1987
87. Di Cristo 1985 — *Di Cristo A.* De la microprosodie à l'intonosyntax. T. 1. Aix-en-Provence, 1985
88. Dixon 1977 — *Dixon R. M. W.* The syntactic development of Australian languages // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977

89. Donald 1993 — *Donald M.* Precondition for the evolution of protolanguages // Language Origins Society. 9-th Meeting. Oranienbaum, 1993.
90. Dorum 1985 — *Dorum H.* L'accento tonico in Italiano // *Studia neophilologica*, 1985
91. Dressler 1972 — *Dressler W.* Einführung in die Textlinguistik. München, 1972
92. Drettas 1987 — *Drettas G.* Problèmes de la linguistique balkanique // *Bulletin de la Société de linguistique de Paris*. T. LXXXII, 1987, fasc. 1
93. Ducrot 1970 — *Ducrot O.* Les indéfinis et l'énonciation // *Langages*. T. 17, 1970
94. Dunn 1989 — *Dunn G.* Enclitic pronoun movement and the ancient Greek sentence accent // *Glotta*, bd. LXVII, Hf. 1—2, 1989, Göttingen
95. Duridanov 1983 — *Duridanov I.* Zur bestimmung des Begriffes "Balkanismus" auf den verschiedenen Sprechenebenen // *Ziele und Wege der Balkanlinguistik*. B.—Wiesbaden, 1983
96. Essen von 1957 — *von Essen O.* Rhythm and melody in Germanic languages. Amsterdam, 1957
97. Et. slovník 1973, 1980 — *Etymologický slovník slovanských jazyků*. Slova gramatická a zájmena. Pr. 1973—1980, Sv. 1—2
98. Ettmayer 1925 — *Ettmayer K.* Zur Intonation der Romanen // *Neusprachliche Studien*. "Die neueren Sprachen", 6, Beiheft, 1925
99. Fant, Nord, Kruckenberg 1987 — *Fant G., Kruckenberg, Nord L.* Temporal organization and Rhythm in Swedish // *Actes du XII Congrès des sciences phonétiques*. Aix-en-Provence, 1991
100. Fidelholz 1991 — *Fidelholz J. L.* On dating the origin of the modern form of language // *Studies in language origins*. V. 2. Amsterdam — Philadelphia, 1991
101. Filmore 1966 — *Filmore Ch. J.* Deictic categories in the semantic of "come" // *Foundations of language*. V. 2, 1966, № 3
102. Firbas 1972 — *Firbas J.* On the intonation of prosodic and nonprosodic means of Functional sentence perspective // *The Prague school of linguistic and language teaching*. L., 1972
103. Firbas 1975 — *Firbas J.* On "existence/appearance on the scene" in Functional sentence perspective // *Acta Universitatis Carolinae. Philologica*, 1975, 1
104. Firbas 1979 — *Firbas J.* A functional view of "ordo naturalis" // *Brno studies in English*, 1979, v. XIII
105. Fischer 1981 — *Fischer K.-D.* Das Aufstufen von *-que* im Pferdebuch des Pelagonius und seine Bedeutung für die Quellenkritik // *Philologus*, 1981, Bd. 125, Hf. 1
106. Fisher-Jørgensen 1987 — *Fisher-Jørgensen E.* Segment duration in Danish words: dependency on higher-level phonological units // *In honor of I. Lehiste*. Dordrecht — Holland // Providence — USA, 1987
107. Fletcher 1987 — *Fletcher J.* Some micro-effects of tempo change on timing in French // *Proceedings of XI International Congress of phonetic sciences*. Tallinn, 1987

108. Fonagy 1969 — *Fonagy I.* Métaphores d'intonation et changement d'intonation // Bulletin de la société de linguistique de Paris, 1969, t. 64, fasc. 1
109. Fonagy, Magdicz 1960 — *Fonagy I., Magdicz K.* Speed of utterance in phrases with different length // "Language and speech", 1960, v. 3
110. Fonološki opisi 1981 — *Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom.* Sarajevo, 1981
111. Forsyth 1970 — *Forsyth J.* A grammar of aspect. Cambridge, 1970
112. Fougeron 1989 — *Fougeron I.* Prosodie et organization du message. Paris, 1989
113. Fourakis 1986 — *Fourakis M.* An acoustic study of the effect of tempo and stress on segmental interval in Modern Greek // Glotta, 1967, XLIV
114. Frank 1979 — *Frank M.* Was heisst "einen Text verstehen"? // Texthermeneutik, Aktualität, Geschichte, Kritik. Paderborn—München, 1979
115. Fraser 1970 — *Fraser B.* An analysis of "even" in English // Studies in linguistic semantics. N.Y., 1970
116. Friedman 1976 — *Friedman L. A.* The manifestation of subject, object and topic in the American Sign Language // Subject and topic. N.Y. — San Francisco — L., 1976
117. Fries, Pike 1949 — *Fries Ch., Pike K. L.* Coexistent phonemic systems // Language. 1949, XXV
118. Frundt 1993 — *Frundt H.* Speech origin research: semiotic and linguistic indications from echo location among animals // Language origins Society. 9-th Meeting. Oranienbaum, 1993
119. Fry 1955 — *Fry D. B.* Duration and intensity as physical correlates of linguistic stress // The journal of the acoustical society of America. V. 27, 1955, № 4
120. Fuchs 1976 — *Fuchs A.* "Normaler" und "kontrastiver" Akzent // Lingua, V. 38, 1976, № 3—4
121. Galton 1976 — *Galton H.* The main functions of Slavic verbal aspect. Skopje, 1976
122. Genaust 1975 — *Genaust H.* Voici and voilà (eine textsyntaktische Analyse) // Textgrammatik. Tübingen, 1975
123. Givón 1970 — *Givón T.* Notes on the semantic structures of English adjectives // Language. V. 46, 1970, № 4
124. Givón 1977 — *Givón T.* The drift from VSO to SVO in Biblical Hebrew // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977
125. Givón 1979 — *Givón T.* On understanding grammar. N.Y. — San Francisco — L., 1979
126. Gornik-Gerhardt 1981 — *Gornik-Gerhardt H.* Zu den Funktionen der Modalpartikel "schon" und einiger ihrer Substituenda. Tübingen, 1981

127. Green 1982 — *Green G. M.* Rec.: Syntax and semantics. V. 12. // *Language*. V. 58, 1982, № 3
128. Green, Pepicello 1986 — *Green T., Pepicello W.* The proverb and riddle as folk enthymemes // *Proverbium-3*. Ohio, 1986
129. Greenberg 1973 — *Greenberg J. H.* The typological method // *Current trends in linguistics*. V. 11, The Hague—Paris, 1973
130. Greenberg 1978 — *Greenberg J. H.* Diachrony, synchrony and language universals // *Universals of human language*. V. 1, Stanford, 1978
131. Grepl 1967 — *Grepl M.* Emocionálne motivované aktualizace v syntaktické struktuře výpovědi. Brno, 1967
132. Guencheva 1978 — *Guentcheva Zl.* Specificité de l'aspect en bulgare (interaction entre aspect et détermination) // *Révue des études slaves*, 1978, t. LI, № 1/2
133. Haas 1977 — *Haas M.* From auxiliary verb phrase to inflexional suffix // *Mechanisms of syntactic change*. Austin, 1977
134. Hadding-Koch 1965 — *Hadding-Koch K.* On the physiological background of intonations // *Studia linguistica*. V. XIX, 1965
135. Hafferland 1989 — *Hafferland H.* Mystische Theorie der Sprache bei Jacob Böhme // *Theorien vom Ursprung der Sprache*. Bd. 1. B.—N.Y. 1989
136. Halliday 1977 — *Halliday M. A. K.* Text as semantic choice in social contexts // *Grammar and descriptions*. B.—N.Y., 1977
137. Harrelson 1991 — *Harrelson W. J.* The origin of language according to the Bible // *Studies in language origins*. V. 2. Amsterdam; Philadelphia, 1991
138. Harweg 1969 — *Harweg R.* Unbestimmter und bestimmter Artikel in generalisierenden Funktion // *Orbis*, t. XVIII, 1969, № 2
139. Harweg 1968 — *Harweg R.* Pronomina und Textkonstitution. München, 1968
140. Harweg 1969a — *Harweg R.* Nachfolgeradjective // *Folia linguistica*, 1969, t. III, № 3/4
141. Havers 1931 — *Havers W.* Handbuch der erklärenden Syntax. Heidelberg, 1931
142. Hawkins 1978 — *Hawkins J. A.* Definiteness and indefiniteness. L., 1978
143. Heinrichs 1981 — *Heinrichs W.* Die Modalpartikeln im Deutschen und Schwedischen. Tübingen, 1981
144. Hellberg 1989 — *Hellberg E. F.* Как в зеркале: гаданье и сон Татъяны // *Studia Slavica Finlandensia*. Helsinki, t. VI, 1989
145. Hermann 1942 — *Hermann E.* Probleme der Frage. Göttingen, 1942
146. Hermann 1943 — *Hermann E.* Schallsignalsprachen in Melanesian und Afrika // *Idem*.
147. Hlavsa 1972 — *Hlavsa Z.* K protikládě určenosti v češtině // *Slovo a slovesnost*, 1972, č. 3
148. Hofman 1923 — *Hofmann E.* Beobachtungen zum Stil des Igorliedes // *Archiv für slavische Philologie*. B., 1923, Bd. 38
149. Holman 1982 — *Holman E.* On the historical continuity of linguistic systems // *Current issues in linguistic theory*. V. 21. Amsterdam, 1982

150. Hombert, Ohala 1982 — *Hombert J.-M., Ohala J. J.* Historical development of tone patterns // Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. IV—V, 1982
151. Hombert, Ohala, Ewan 1979 — *Hombert J.-M., Ohala J. J., Ewan W. G.* Phonetic explanation for the development of tones // *Language*. 1979, V. 55, № 1
152. Hopper 1979 — *Hopper P. L.* Aspect and foregrounding in discourse // *Syntax and semantics*. V. 12. N.Y., 1979
153. Houtsagers 1982 — *Houtsagers H. P.* Accentuation in a few dialects of the island of Cres // *South Slavic and Balkan linguistics*. Amsterdam, 1982
154. Houtsagers 1984-5 — *Houtsagers H. P.* Vowel system of the ekavian dialects spoken on Cres and Lošinj // *Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku*. XXVII—XXVIII, Novi Sad, 1984—1985
155. Houtsagers 1985 — *Houtsagers H. P.* The čakavian dialect of Orlec on the island of Cres. Amsterdam, 1985
156. Huck 1980 — *Huck G.* Hermeneutics of texts and hermeneutics of action // *New literary history*, V. XII, 1980, № 1
157. Hultzen 1959 — *Hultzen L. S.* Information points in intonation // *Phonetica*. V. 59, 1959, № 2—3
158. Hupet 1975 — *Hupet M.* Definiteness and voice in the interpretation of active and passive sentences // *Quarterly journal of experimental psychology*. V. 27, 1975, № 2
159. Husterholz 1979 — *Husterholz P.* Semiotik und Hermeneutik // *Texthermeneutik, Aktualität, Geschichte, Kritik*. Paderborn — München, 1979
160. Isačenko, Schädlich — *Isačenko A. V., Schädlich H.-J.* Untersuchungen über deutsche Satzintonation. B., 1964
161. Itkonen 1982 — *Itkonen E.* Change of language as a prototype for change of linguistics // *Current issues in linguistic theory*. V. 21. Amsterdam, 1982
162. Ivanov 1993 — *Ivanov V.* Origin, history and meaning of the term “semiotics” // *Elementa*. V. 1, 1993, № 2
163. Iwasaki 1977 — *Iwasaki E.* “Wie hiess er noch?” // *Aspekte der Modalpartikeln*. Tübingen, 1977
164. Jakobson 1962 — *Jakobson R.* Die Betonung und ihre Rolle in der Wort- und Syntagma-phonologie // *Jakobson R. Selected writings*. T. 1, s’Gravenhage, 1962
165. Jakobson 1962a — *Jakobson R.* К характеристике Евразийского языкового союза // *Ibid.*
166. Jakobson 1962b — *Jakobson R.* On ancient Greek prosody // *Ibid.*
167. Jakobson 1966 — *Jakobson R.* Slavic epic verse. Studies in comparative metrics // *R. Jakobson. Selected writings*, IV, The Hague, 1966
168. Jakobson 1975 — *Jakobson R.* Puškin and his sculptural myth. The Hague, 1975
169. Jakobson 1979 — *Jakobson R.* О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским // *Selected writings*, t. 5, 1979

170. Jakobson 1966 — *Jakobson R.* Epic verse. Studies in comparative metrics // Jakobson R. Selected writings. IV. The Hague—Paris, 1966
171. Jakobsson 1972 — *Jakobsson G.* The prosodic pattern in isolated words in a Slavic and a non-Slavic language // *The Slavic word*, The Hague—Paris, 1972
172. Jančák 1966 — *Jančák P.* Zapadočeský intonáční typ // *Slavica pragensia*, 1966, 8
173. Janson 1979 — *Janson T.* Mechanisms of language change in Latin. Stockholm, 1979
174. Janson 1991 — *Janson T.* Comment on Maddieson: investigating linguistic universals // *Actes du XII Congrès des sciences phonétiques*. Aix-en-Provence, 1991
175. Jassem 1962 — *Jassem V.* Akcent języka polskiego. Wrocław — Warszawa — Kraków. 1962
176. Jones 1967 — *Jones A. B.* Stress and intonation in modern Greek // *Glotta*, 1967, XLIV
177. Jørgensen 1974 — *Jørgensen E.* “Only” with a temporal value // *English Studies*. V. 55, 1974, № 3
178. Joseph 1980 — *Joseph B.* Linguistic universals and syntactic change // *Language*. V. 56, 1980, № 2
179. Josephson 1972 — *Josephson F.* The function of the sentence particles in Old and Middle Hittite. Uppsala, 1972
180. Justus 1976 — *Justus C. F.* Relativization and topicalization in Hittite // *Subject and topic*. N.Y. — San Francisco — L., 1976
181. Křížková 1971 — *Křížková H.* System neurčitých zájmen v současných slovanských jazycích // *Slavia*, 1971, № 3
182. Kalverkäpper 1981 — *Kalverkäpper H.* Orientierung zur Textlinguistik. Tübingen, 1981
183. Kaplan 1979 — *Kaplan D.* Dthat // *Contemporary perspectives in the philosophy of language*. Minnesota, 1979
184. Karcevskij 1931 — *Karcevskij S. I.* La phonologie de la phrase // *Travaux de cercle linguistique de Prague*, IV, 1931
185. Karttunen, Peters 1979 — *Karttunen L., Peters St.* Conventional implicature // *Syntax and semantics*. V. 12. N.Y., 1979
186. Kasher, Gabbay 1976 — *Kasher A., Gabbay D. M.* On the semantics and pragmatics of specific and non-specific indefinite expressions // *Theoretical linguistics*. V. 3, 1976, № 1/2
187. Katz 1980 — *Katz M. R.* Dreams in Pushkin // *California Slavic Studies*. V. XI, 1980
188. Keijsper 1987 — *Keijsper C. E.* Studying neoštokavian Serbocroatian prosody // *Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics*. V. 10, 1987
189. Keller 1985 — *Keller R.* Towards a theory of linguistic change // *Linguistic dynamics, discourses, procedures and evolution*. B. — N.Y., 1985

190. Key 1989 — *Key M. R.* Language origins and the RED MARBLE theory // *Studies in language origins*. V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989
191. Kiefer 1980 — *Kiefer F.* Adjectives and presuppositions // *Theoretical linguistics*, 1980, № 1
192. Klein 1972 — *Klein I.* Zur Struktur des Igorliedes. München, 1972
193. Klein, Nassen 1979 — *Klein W., Nassen U.* Textlinguistik und Textthermeneutik // *Textthemeneutik, Aktualität, Geschichte, Kritik*. Padeborn — München, 1979
194. Koch 1976 — *Koch W. A.* Ontologietheese und Relativitätstheese für eine Textlinguistik // *Textsemiotik und strukturelle Rezeptionstheorie*. Hildesheim — N.Y., 1976
195. Korczak 1879 — *Korczak-Branicky X.* Les nationalités slaves. Lettres au révérend P. Gagarin. Paris, 1879
196. Koseska-Toszeva 1978 — *Koseska-Toszeva W.* Informacja o okrestności we fazie werbalnej i nominalnej języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego // *Slavia orientalis*, 1978, r. III
197. Kučera 1958 — *Kučera H.* Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages. s'Gravenhage, 1958
198. Kuno 1976 — *Kuno S.* Subject, theme and speaker's empathy — a reexamination of relativization phenomena // *Subject and Topic*, 1976
199. Kuno, Kaburaki 1977 — *Kuno S., Kaburaki E.* Empathy and syntax // *Linguistic inquiry*. V. 8, 1977, № 4
200. Kuryłowicz 1976 — *Kuryłowicz J.* The linguistic foundation of metre // *Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego*, 1976, z. XXXIX
201. Lüdtke 1989 — *Lüdtke H.* Invisible-hand processes and the universal laws of language change // *Language change. Contributions to the study of its causes*. B.—N.Y., 1989
202. Lachmann 1983 — *Lachmann R.* Intertextualität als Sinnkonstitution // *Poetica*, 1983, Bd. 1—2
203. Lachmann 1984 — *Lachmann R.* Zur Semantik metonymischer Intertextualität // *Das gesprach*, 1984, XI
204. Lamprecht et al. 1977 — *Lamprecht A., Slosár D., Bauer J.*, Historický vývoj češtiny. Pr., 1977
205. Langdon 1977 — *Langdon M.* Syntactic change and SOV structure. The Yuman case // *Mechanisms of syntactic change*. Austin, 1977
206. Lass 1980 — *Lass R.* On explaining language change. Cambr. 1980
207. Lass 1987 — *Lass R.* Language, speakers, history and drift // *Explanation and linguistic change*. Amsterdam—Philadelphia, 1987
208. Lass 1990 — *Lass R.* How to do things with junk: exaptation in language evolution // *Journal of linguistics*. V. 26, 1990, № 1
209. Leed 1965 — *Leed R. L.* A contrastive analysis of Russian and English intonation contours // *The Slavic and East European Journal*. V. IX, 1965, № 1

210. Lehiste 1969 — *Lehiste I.* 'Being' and 'having' in Estonian // Foundations of language. V. 5, 1969, № 3
211. Lehiste 1970 — *Lehiste I.* Suprasegmentals. Cambr. (Mass.) — L., 1970
212. Lehiste, Ivić 1980 — *Lehiste I., Ivić P.* The intonation of *yes/no* questions — a new Balkanism? // *Balkanistica*, VI, 1980
213. Lehiste, Ivić 1982 — *Lehiste I., Ivić P.* The phonetic nature of the Neo-Stokavian accent shift in Serbocroatian // Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, IV. Amsterdam, 1982
214. Lehiste, Ivić 1986 — *Lehiste I., Ivić P.* Word and sentence prosody in Serbocroatian. Cambr. (Mass.) — L., 1986
215. Lehman 1974 — *Lehman W. P.* Proto-Indo-European syntax. Austin; L. Univ. of Texas press, 1974
216. Lehman 1976 — *Lehmann W. P.* From topic to subject in Indo-European // Subject and topic. N.Y. — San Francisco — L., 1976
217. Levelt 1989 — *Levelt J.* Speaking. Dordrecht. 1989
218. Liberman, Prince 1977 — *Liberman I., Prince A.* On stress and linguistic rhythm // *Linguistic inquiry*, 1977, 8
219. Lieberman 1960 — *Lieberman Ph.* Some acoustic correlates of word stress in American English // *The journal of the acoustic society of America*. V. 32, 1960, № 4
220. Lieberman 1965 — *Lieberman Ph.* On the acoustic basis of the perception of intonation by linguists // *Word*. V. 21, 1965, № 1
221. Lieberman 1967 — *Lieberman Ph.* Intonation, perception and language. Cambr. (Mass.), 1967
222. Lieberman 1989 — *Lieberman Ph.* The new investigations on language evolution // *Studies in language origins*. V. 1. Amsterdam; Philadelphia, 1989
223. Lightfoot 1981 — *Lightfoot D.* Explaining syntactic change // *Explanations in linguistics. The logical problem of language acquisition*. L.—N.Y., 1981
224. Lightfoot 1984 — *Lightfoot D.* Explaining syntactic change // *Explanations for linguistic universals*. N.Y.—Amsterdam, 1984
225. Linde 1979 — *Linde Ch.* Focus of attention and the choice of pronouns of discourse // *Syntax and semantics*. N.Y., 1979, v. 12. Discourse and syntax
226. Lyons 1967 — *Lyons J.* A note on possessive, existential and locative sentences // *Foundations of language*. V. 43, 1967, № 2
227. Maddieson 1991 — *Maddieson J.* Investigating linguistic universals // *Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques*. Aix-en-Provence, 1991
228. Malmberg 1963 — *Malmberg B.* Structural linguistics and human communication. Berlin, 1963
229. Markey 1979 — *Markey T. L.* Deixis and U-Perfect // *International Journal of Indoeuropean studies*. V. 7, 1979, № 1—2
230. Markey 1984 — *Markey T. L.* Change typologies // *Балканско езикознание*. 1984. XXVII. 4

231. Masing 1876 — *Masing L.* Die Hauptformen des serbisch-chorvatischen Accents // Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. 1876, VII ser. T. XXIII, № 5
232. Mathesius 1947 — *Mathesius V.* Zesilení a zdôraznéni jako jevy jazykové // Mathesius V. Čestina a obecný jazykospyt. Praha, 1947
233. Mathesius 1947a — *Mathesius V.* K dynamické linii české věty // Mathesius V. Čestina a obecný jazykospyt. Praha, 1947
234. Mathesius 1947b — *Mathesius V.* K výslovnosti cizích slov v češtině. // Idem.
235. Mauron 1963 — *Mauron Ch.* Des métaphores obsédantes au mythe personnel. P., 1963
236. McCoy 1991 — *McCoy P.* Word stress in Georgian // Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991
237. Menges 1951 — *Menges K. G.* The Oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian epos "The Igor Tale" // Supplement to "Word". V. 7, N.Y., 1951
238. Meriggi 1967 — *Meriggi Br.* Bojan vescij // Studu in onore di Arturo Cronia. Padova, 1967
239. Mertens 1991 — *Mertens P.* Local prominence of acoustic and psychoacoustic functions and perceived stress in French // Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques. Aix-en-Provence, 1991
240. Mišeska-Tomić 1973 — *Mišeska-Tomić O.* Possessive modifiers and definiteness: a contrastive study of English, Macedonian and Serbocroatian // Годишен зборник на филозофскиот факултет на Универзитет во Скопје, 1973, кн. 24—25
241. Mihál 1958 — *Mihál J.* Vplyv melodie na zmysel věty // Slovenská reč, 1958, № 2
242. Militz 1991 — *Militz H. M.* Das Antisprichwort als semantische Variante eines sprichwortes Textes // Proverbium, 1991, 8
243. Mol, Uhlenbeck 1956 — *Mol H., Uhlenbeck E. M.* The linguistic relevance of intensity in stress // Lingua, V. 2, 1956
244. Mouron 1963 — *Mouron Ch.* Des métaphores obsédantes au mythe personnel. P., 1963
245. Navarro 1944 — *Navarro T.* Manuel de entonacion espanola. N.Y., 1944
246. Nerlich 1989 — *Nerlich B.* Elements for an integral theory of language change // Journal of literary semantics. XVIII / 3. 1989
247. Nikolaeva, Sedakova 1994 — *Nikolaeva T. M., Sedakova I. A.* Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // Revue des études slaves, t. 66, fasc. 3, P., 1994
248. Nootboom, Doobeman 1980 — *Nootboom S. G., Doobeman G. J. N.* Speech quality and the gating paradygm (manuscript), 1980
249. Nootboom, Kruyt 1983 — *Nootboom S. G., Kruyt J. G.* Accent, focus distribution and the perceived distribution and new information: an experiment // Preprint. Institute for perception Research. № 538, 1983

250. Nootboom, Terken 1982 — *Nootboom S. G., Terken J. G.* What makes speakers omit pitch accents? An experiment // *Phonetica*. V. 39, 1982
251. Ohala 1984 — *Ohala J. J.* An ethological perspective on common cross language utilization of Fo of voice // *Phonetica*, 1984. № 1
252. Pálková 1987 — *Pálková Z.* Intonatorische Merkmale in der Perzeption der Wortgrenze im Satz // *Proceedings of XI International Congress of phonetic sciences*. Tallinn, 1987
253. Papers on 1974 — *Papers on Functional sentence perspective*. Prague, 1974
254. Patte 1978 — *Patte D. A.* Structural exegesis: from theory to practice. Philadelphia, 1978
255. Patte 1979 — *Patte D.* What is Structural Exegesis? Philadelphia, 1979
256. Pavlović 1966 — *Pavlović M.* Intonation des Satzes und Wortakzent // *Die Welt der Slawen*, 1966, Jg. XI, Hf. 4
257. Payson Creed 1989 — *Payson Creed R.* A student of oral traditions looks at the origins of language // *Studies in language origins*. V. 1. Amsterdam—Philadelphia, 1989
258. Petřík 1938 — *Petřík St.* O hudební stránce středočeské věty. Praga, 1938
259. Petřík 1939—40 — *Petřík St.* Zur Satzintonation der mährisch-schlesischen Mundarten // *Slavia*, 1939—1940, r. XVII
260. Picchio 1976 — *Picchio R.* Dante and J. Malfilatre as literary sources of Tatiana's erotic dream (notes on the third chapter of Pushkin's Evgenij Onegin) // *Alexander Pushkin. A Symposium on 175-th Anniversary of his Birth*. N.Y., 1976
261. Pierrehumbert 1980 — см. 522
262. Pike 1947 — *Pike K. L.* The intonation of American English. Ann Arbor, 1947
263. Pike 1965 — *Pike K. L.* The hierarchical and social matrix of suprasegmentals // *Prace filologiczne*, Warszawa, 1965
264. Plett 1979 — *Plett H. F.* Einführung in die rhetorische Textanalyse. Hamburg, 1979
265. Pompino-Marschall, Grosser, Hübmaier, Wieden 1987 — *Pompino-Marschall B., Grosser W., Hübmaier R., Wieden W.* Is German stress-timed? A study of vowel compression // *Proceedings of XI International Congress of phonetic sciences*. Tallinn, 1987
266. Prince 1983 — *Prince A.* Relating to the grid // *Linguistic inquiry*. V. 14, 1983
267. Prince 1989 — *Prince A.* Metrical forms // *Phonetics and phonology*. V. 1. Rhythm and Meter. San-Diego — N.Y., 1989
268. Pulgram 1975 — *Pulgram E.* Latin-Romance phonology: prosodics and metrics. München, 1975
269. Pulleyblank 1989 — *Pulleyblank E.* The meaning of duality of patterning and its importance in language evolution // *Studies in language origins*. V. 1. Amsterdam—Philadelphia, 1989

270. Quirk et al. 1964 — *Quirk R., Duckworth A. D., Svartvik J., Rusiecki J. P. L., Colin A. J.* Studies in the correspondence of prosodic to grammatical features in English // Proceedings of IX-th Congress of linguistics, 1964
271. Ragir 1993 — *Ragir S.* The development of stone tool technologies and the structure of thought // Language origins Society. 9-th Meeting. Oranienbaum, 1993
272. Ravila 1973 — *Ravila P.* Der Akzent im Erzmordvinischen // Fu F. 1973, Bd. XL, Hf. 1—3
273. Reiter 1967 — *Reiter N.* Der Artikel in den Balkansprachen // Zeitschrift der Balkanologie, 1967, Hf. 1
274. Rigault 1970 — *Rigault A.* L'accent dans deux langues à accent fixe: le français et le chèque // Prosodic feature analysis. Montréal — Paris — Bruxelles, 1970
275. Roberts 1963 — *Roberts P.* Intonation // Essays on language and usage, N.Y., 1963
276. Rogers 1989 — *Rogers T. W.* The use of slogans, colloquialisms and proverbs in the treatment of substancia // Proverbium, 1989, 6
277. Rolfe 1993 — *Rolfe L.* Phonesthemes as primary word forms // Language origins Society. 9-th Meeting 1993.
278. Romportl 1957 — *Romportl M.* Zum vergleichenden Studium der Satzphonetik // Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft, 1957, Bd. 10, Hf. 4
279. Romportl 1958 — *Romportl M.* Zvuková stránka souvislé řeči v nářečích na Těšinsku // Publicace slezského ústavu ČAV, Ostrava, 1958
280. Romportl 1965 — *Romportl M.* Zum Problem der Fragemelodie // Lingua. V. V, 1965
281. Rusterholz 1979 — *Rusterholz P.* Semiotik und Hermeneutik // Texthermeneutik. Aktualität, Geschichte, Kritik. Paderborn-München, 1979
282. Sławow 1974 — *Sławow L.* Zarys wersyfikacji bułgarskiej. Wrocław etc., 1974
283. Salmon 1981 — *Salmon R.* Naming and Knowing in Henry James "The beast in the jungle": the hermeneutics of the sacred text // Orbis litterarum. 1981, V. 36, № 4
284. Sandfeld 1926 — *Sandfeld K.* Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1926
285. Schütz 1968 — *Schütz J.* "Vescij Bojane, Velesovú vьnuće". Zum Selbstverständnis des Igorlied-Dichters // Slavistische Studien zum VI Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968, München, 1968
286. Schaller 1983 — *Schaller H. W.* Neue Überlegungen zum Begriff des Sprachbundes und seiner Anwendung auf die Balkansprachen // Ziele und Wege der Balkanlinguistik. B. — Wiesbaden, 1983
287. Senderovich 1980 — *Senderovich S.* On Pushkin's mythology: the Shade — Myth // Alexander Pushkin. Symposium-2. Columbus (Ohio), 1980
288. Schmerling 1974 — *Schmerling S. F.* Re-examination of "normal stress" // Language. V. 50, 1974, № 2

289. Schmerling 1976 — *Schmerling S. F.* Aspects of English sentence stress. Austin, L., 1976
290. Schubiger 1958 — *Schubiger M.* English intonation, its form and function. Tübingen, 1958
291. Seiler 1959 — *Seiler H.* Ein Hauptunterschied zwischen Gemeinneugriechischen und Südostdialekten: Intonation und Silbenstruktur // *Berliner Byzantinistische Arbeiten*. Bd. 14., 1959. Probleme der neugriechischen Literatur. 1
292. Selkirk 1984 — *Selkirk E.* Phonology and syntax. Cambr.-Mass., 1984
293. Sgall 1971 — *Sgall P.* Type of language // *Travaux linguistiques de Prague*, 4, 1971
294. Shapiro 1987 — *Shapiro M.* Sapir's concept of drift in semiotic perspective // "Semiotica", V. 67, 1987, № 3—4.
295. Shapiro 1988 — *Shapiro M.* The cognitive function of the supernatural in Pushkin // *The supernatural in Slavic and Baltic literature: Essays in honor of Victor Terras*. Slavica publishers, 1988
296. Shattuck-Hufnagel 1991 — *Shattuck-Hufnagel S.* Acoustic correlates of stress shift // *Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques*. Aix-en-Provence, 1991
297. Siegel 1979 — *Siegel M. E.* Measure adjectives in Montague Grammar // *Linguistics philosophy and Montague grammar*. Austin, 1979
298. Siertsema 1962 — *Siertsema B.* Timbre, pitch and intonation // *Lingua*. V. XI, 1962
299. Skoumál 1970 — *Skoumál J.* K melódii koncového useku věty v češtině a v ruštině // *Československá rusistika*, 1970, № 2
300. Smilie 1991 — *Smillie D.* Desiderata for an evolutionary account of the origin of language // *Studies in language origins*. V. 2. Amsterdam — Philadelphia, 1991
301. Soloviev 1964 — *Soloviev A.* Le rapsode BOJAN et le prince IGOR' dans *le dit d'Igor'* et dans le *Zadonscina* // *International journal of Slavic linguistics and Poetics VIII*, 1964
302. Solta 1980 — *Solta G. K.* Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen. Darmstadt, 1980
303. Stalnaker 1972 — *Stalnaker R. C.* Pragmatics // *Semantics of natural language*. Dordrecht—Boston, 1972
304. Steele 1977 — *Steele S.* Clisis and diachrony // *Mechanisms of syntactic change*. Austin, 1977
305. Steinke 1983 — *Steinke Kl.* Diachronie und Synchronie in der Balkanlinguistik // *Ziele und Wege der Balkanlinguistik*. Berlin — Wiesbaden, 1983
306. Steyer 1979 — *Steyer G.* Satzlehre des neutestamentlichen Griechisch. Gütersloh, 1979
307. Studies 1986 — *Studies in compensatory lengthening*. Dordrecht — Holland / Riverton — USA, 1986

308. Studies 1989. — *Studies in language origins*. v. 1. Amsterdam — Philadelphia, 1989
309. Szelestei-Nagy 1974 — *Szelestei-Nagy L.* Zeitmass und Wortbetonung in den frühchristlichen Hymnen in lateinischen Sprachen // *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eotvos nominatae. Sectio classica*, t. 11, 1974
310. Taranovsky 1956 — *Taranovsky K.* The identity of the prosodic bases of Russian folk and literary verse // For Roman Jakobson. The Hague, 1956
311. Thelin 1978 — *Thelin N. B.* Towards a theory of aspect, tense and actionality in Slavic. Uppsala, 1978
312. Timberlake 1977 — *Timberlake A.* Reanalysis and actualization in syntactic change // *Mechanisms of syntactic change*. Austin, 1977
313. Timmer 1968 — *Timmer Ch. B.* The History of a History. A. S. Pushkin and The History of the Village of Gorjuchino // *Russian literature*. V. 1, 1968
314. Todorov 1978 — *Todorov Tzv.* La devinette // *Todorov T.* Les genres du discours, Paris, 1978
315. Tomasello 1991 — *Tomasello M.* Processes of communication in the origins of language // *Studies in language origins*. V. 2. Amsterdam—Philadelphia, 1991
316. Topic and comment 1974 — *Topic and comment*. Contextual boundness and focus. Hamburg, 1974
317. Topolińska 1978 — *Topolińska Z.* An attempt towards a semantic interpretation of the so-called grammatical category of definiteness // *Studia linguistica*. Austin, 1978
318. Toporow 1974 — *Toporow V. N.* O modelach liczbowych w kulturach archaicznych // *Teksty*, 1974, № 1
319. Toporov 1978 — *Toporov V. N.* W. B. Yeats. “Down by the salley gardens”: an analysis of the structure of repetition // *A journal for descriptive poetics and theory of literature*. 1978, 3
320. Toporov 1981 — *Toporov V. N.* Die Ursprünge der indoeuropäischen Poetik // *Poetica*, 1981, Bd. 13, Hf. 3—4
321. Torsen-Grønnum 1991 — *Torsen-Grønnum N.* Terminality and completion in Danish, Swedish and German // *Actes du XII Congrès International des sciences phonétiques*. Aix-en-Provence, 1991
322. Tory Higgins 1976 — *Tory Higgins E.* Effects of presupposition on deductive reasoning // *Journal of verbal learning and verbal behavior*. V. 15, 1976, № 4
323. Travníček 1924 — *Travníček F.* Příspěvky k nauce o českém přízvuku. Brno, 1924
324. Tschizewskij 1970 — *Tschizewskij D.* Lebedi rospusceni // *Die Welt der Slaven*. 1970, 15
325. Twadell 1953 — *Twadell W. F.* Stetson’s model and the suprasegmental phonemes // *Language*. V. 29, 1953, № 4
326. Uhlár 1958 — *Uhlár V.* O vetnej melódii v slovenčine // *Slovenská reč*, 1958, t. 6, r. XXII

327. Uspensky 1972 — *Uspensky B. A.* Subsystems in language, their interrelations and their correlated universals // *Linguistics*, 1972, № 88
328. Vance 1979 — *Vance E.* Roland and the poetics of memory // *Textual strategies*. Ithaca — N.Y., 1979
329. Vasilyeva 1972 — *Vasilyeva A. N.* Particles in colloquial Russian. Moscow, 1972
330. Večerka 1979 — *Večerka R.* Distribuce possessivních zájmen v staroslověnině // *Otázky slovanské syntaxe*, IV, Brno, 1979
331. Vendryes 1902 — *Vendryes J.* Recherches sur l'histoire et les effets l'intensité initiale en latin. Paris, 1902
332. Vermeer 1987 — *Vermeer W.* The treatment of the Proto-Slavic falling tone in the Resian dialects of Slovene // *Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics*. Amsterdam, 1987
333. Vygonnaya 1987 — *Vygonnaya L.* The variation in the word phonetic structure caused by speech tempo variation // *Proceedings of XI International Congress of phonetic Sciences*. Tallinn, 1987
334. Wackernagel 1953 — *Wackernagel J.* Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // *Wackernagel J. Kleine Schriften*. Göttingen, 1953, Bd. I
335. Wackernagel 1979 — *Wackernagel J.* Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung // *Wackernagel J. Kleine Schriften*. Göttingen, 1979, Bd. III
336. Watkins 1970 — *Watkins C.* Language of gods and language of men: Remarks on some Indo-European metalinguistics traditions // *Myth and law among the Indo-Europeans*. Berkeley — Los-Angeles — L., 1970
337. Weil 1879 — *Weil H.* De l'ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes. P., 1879
338. Weinrich 1964 — *Weinrich H.* Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, 1964
339. Weinrich 1975 — *Weinrich H.* Skizze einer textlinguistischen Zahlentheorie // *Beiträge zum Problem der Textualität*. Tübingen, 1975
340. Weinrich 1976 — *Weinrich H.* Sprache in Texten. Stuttgart, 1976
341. Wells 1945 — *Wells R. S.* The pitch phonemes of English // *Language*. V. XXI, 1945, № 1
342. Wetzels 1986 — *Wetzels L.* Phonological timing in Ancient Greek // *Studies in compensatory lengthening*. Dordrecht — Riverton, 1986
343. Wiener 1984 — *Wiener L. F.* The evolution of language: a primate perspective // *Word*. V. 35, 1984, № 3
344. Wierzbicka 1976 — *Wierzbicka A.* Particles and linguistic relativity // *International Review of Slavic linguistics*. V. 1, 1976, № 2/3
345. Wierzbicka 1979 — *Wierzbicka A.* Ethno-syntax and the philosophy of grammar // *Studies in language*, 1979, 3
346. Wierzbicka 1980 — *Wierzbicka A.* *Lingua mentalis*. Sydney — L. — N.Y., 1980
347. Wind 1988 — *Wind J.* Language evolution and pedomorphosis // *The genesis of language. A different judgement of evidence*. B. — N.Y. — Amsterdam, 1988

348. Wind 1992 — *Wind J.* Speech origin: a review // Language origin: a multidisciplinary approach. Dordrecht — Boston — L., 1992
349. Winter de 1988 — *Winter W. de.* Behavioral flexibility and the evolution of language // The genesis of language. A different judgement of evidence. B. — N.Y. — Amsterdam, 1988.
350. Wodarz 1960 — *Wodarz H.-W.* über vergleichende satzmelodische Untersuchungen // *Phonetica*, V. 5, 1960, № 2
351. Wodarz 1963 — *Wodarz H.-W.* Satzphonetik des Westlachsichen. Köln, 1963
352. Woll 1976 — *Woll J.* “Mozart and Salieri” and the concept of Tragedy // *Canadian-American Slavic Studies*. V. 1, 1976, № 2
353. Wollman 1958 — *Wollman Sl.* “Slovo o pluku Igoreve” jako umelecké dílo // *Rozpravy Československé Akademie Věd*, 1958. R. 68
354. Woods 1976 — *Woods M.* Existence and Tense // *Truth and meaning*. Oxford, 1976
355. Worth 1966 — *Worth D. S.* Lexico-grammmatical parallelism as a stylistic feature of Zadonscina // “Orbis scriptus”. Dmitrij Tschizhevskij zum 70. Geburtstag. München, 1966
356. Yokoyama, Klenin 1977 — *Yokoyama O., Klenin E.* The semantics of “optional” rules. Russian personal and reflexive possessive // *Sound. Sign. Shape*. Ann Arbor, 1977
357. Абаев 1936 — *Абаев В. И.* Еще о языке как идеологии и как технике // *Язык и мышление*. Л., 1936. Т. 6—7
358. Абаев 1995 — *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики // *Избранные труды 2. Общее и сравнительное языкознание*. Владикавказ, 1995
359. Абрам Терц 1993 — *Абрам Терц*. Прогулки с Пушкиным. М.; СПб., 1993
360. Абрамович 1991 — *Абрамович С.* Пушкин в последний год. М., 1991
361. Аванесов 1979 — *Аванесов Р. И.* Об одном фонетическом явлении, получившем синтаксическое значение в русском внелитературном просторечии и диалектах // *Звуковой строй языка*. М., 1979
362. Аверинцев 1977 — *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977
363. АГ-52-54 — *Грамматика русского языка*. Т. 1, М., 1952; т. 2. М., 1954
364. АГ-80 — *Русская грамматика*. Т. 1—2. М., 1980
365. Адамец 1966 — *Адамец П.* Порядок слов в современном русском языке. Прага. 1966
366. Адлер 1995 — *Адлер А.* Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995
367. Адрианова-Перетц 1950 — *Адрианова-Перетц В. П.* «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия // «Слово о полку Игореве», М.; Л., 1950
368. Адрианова-Перетц 1965 — *Адрианова-Перетц В. П.* Было ли известно «Слово о полку Игореве» в начале XIV века? // *Русская литература*, 1965, № 2

369. Азадовский 1936 — *Азадовский М. К.* Источники сказок Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1
370. Алексеев 1967 — *Алексеев М. П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Проблемы его изучения. Л., 1967
371. Алексеев 1970 — *Алексеев И. Е.* Мелодемы односоставных и двусоставных нераспространенных предложений якутского языка // Языки и литература народов Сибири. Новосибирск, 1970
372. Аллен, Перро 1986 — *Аллен Дж. Ф., Перро Р.* Выявление коммуникативного намерения, содержащегося в высказывании // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17, 1986
373. Андроников 1979 — *Андроников И. Л.* Направление поиска // М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., 1979
374. Анциферов 1921 — *Анциферов Н.* Непостижимый город // Об Александре Блоке. Пб., 1921
375. Арутюнова 1976 — *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976
376. Арутюнова 1978 — *Арутюнова Н. Д.* Синтаксические функции прилагательных // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1978, т. 37, № 6
377. Арутюнова 1983 — *Арутюнова Н. Д.* Сравнительная оценка ситуаций // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1983, т. 42, № 4
378. Арутюнова, Ширяев 1983 — *Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н.* Русское предложение: бытийный тип. М., 1983
379. Ахматова 1936 — *Ахматова А. А.* «Адольф» Бенжамена Констанана в творчестве Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.; Л., 1936, вып. 1
380. Ахматова 1967 — *Ахматова А.* Последняя сказка Пушкина // Ахматова А. Сочинения. Т. 2. М., 1967
381. Ахматова 1977 — *Ахматова А.* Болдинская осень (8-я глава «Онегина») // Ахматова А. О Пушкине. М., 1977
382. Ахматова 1977а — *Ахматова А.* Две новые повести Пушкина // Там же
383. Ахматова 1977б — *Ахматова А.* Пушкин в 1928 году // Там же
384. Баевский 1985 — *Баевский В. С.* Художественное пространство в «Евгении Онегине» // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1985, т. 44, № 3
385. Байбурин, Левинтон 1990 — *Байбурин А. К., Левинтон Г. А.* Похороны—свадьба // Исследования в области балто-славянской духовной культуры. Погребальный обряд. М., 1990
386. Бальзак 1953, т. 7 — *Бальзак О.* Собрание сочинений в 15 томах. Т. 7. М., 1953
387. Бальзак в русской литературе 1999 — Бальзак в русской литературе. М.: Рудомино, 1999
388. Баринаева 1973 — *Баринаева Г. А.* Некоторые особенности интонации разговорной речи (РР) // Русская разговорная речь. М., 1973

389. Барроу 1976 — *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976
390. Барсов 1887 — *Барсов Е. В.* «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. 1, М., 1887
391. Бартошевич 1978 — *Бартошевич А.* Частицы и лексикографическая практика // *Slavia orientalis*, 1978, г. XXVII, № 3
392. Белић 1960 — *Белић А.* Основы историје српскохорватског језика. 1. Фонетика. Београд, 1960
393. Белявский, Гейльман, Щербакова 1984 — *Белявский В. М., Гейльман Н. И., Щербакова Л. П.* Стиль, темп и сегментные характеристики речи // Экспериментально-фонетический анализ речи. Л., 1984
394. Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Взгляд на развитие лингвистики // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974
395. Бенвенист 1974а — *Бенвенист Э.* Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974
396. Блажев 1973 — *Блажев Бл.* Съдържат ли подлог и сказуемо изреченията от типа «Вот дом» в руския език? // *Език и литература*, 1973, № 4
397. Блажес 1990 — *Блажес В. В.* Языковая игра в этикетном речевом поведении горожан // *Языковой облик уральского города.* Свердловск, 1990
398. Блакар 1987 — *Блакар Р.* Язык как инструмент социальной власти // *Язык и моделирование социального поведения.* М., 1987
399. Блок 1962 — *Блок А.* О назначении поэта // Блок А. Собрание сочинений. Т. 6, М., 1962
400. Блумфильд 1968 — *Блумфильд Л.* Язык. М., 1968
401. Болинджер 1972 — *Болинджер Д.* Интонация как универсалия // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972
402. Болинджер 1987 — *Болинджер Д.* Истина — проблема лингвистическая // *Язык и моделирование социального поведения.* М., 1987
403. Болла 1968 — *Болла К.* К вопросу о соотношении длительности гласных и фонетических структур слова // *Studia slavica*, Budapest, 1968, t. 14, fasc. 1—4
404. Бондаренко 1978 — *Бондаренко Л. П.* Членение спонтанной речи паузами колебания и его соотнесенность с синтагматическим членением. АКД. Л., 1978
405. Бондарко 1965 — *Бондарко А. В.* Осциллографический анализ речи. Л., 1965
406. Бондарко 1983 — *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1978
407. Бондарко 1998 — *Бондарко А. В.* Фонетика современного русского языка. СПб., 1998
408. Бочаров 1974 — *Бочаров С. Г.* Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974
409. Бочаров 1985 — *Бочаров С. Г.* О смысле «Гробовщика» // Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985

410. Брейяр 1999 — *Брейяр Ж.* Таинственная Татьяна (в печати)
411. Брик 1927 — *Брик О. М.* Ритм и синтаксис // Новый ЛЕФ, 1927, № 3
412. Брызгунова 1963 — *Брызгунова Е. А.* Практическая фонетика и интонация русского языка. М., 1963
413. Брызгунова 1967 — *Брызгунова Е. А.* Интонация и смысл предложения // Русский язык за рубежом, 1967, № 3
414. Брызгунова 1969 — *Брызгунова Е. А.* Звуки и интонация русской речи. М., 1969
415. Брызгунова 1971 — *Брызгунова Е. А.* О смысловозначительных возможностях русской интонации // Вопросы языкознания, 1971, № 4
416. Булатникова 1973 — *Булатникова А. Е.* Семантика и функции частиц *даже, же, -то, -таки* в современном русском языке. АКД. М., 1973
417. Булаховский 1930 — *Булаховский Л. А.* К реформе русской пунктуации // Русский язык в школе, 1930, № 4
418. Булгаков С. 1990 — *Булгаков С.* Жребий Пушкина // Пушкин в русской философской критике. М., 1990
419. Булыгина 1980 — *Булыгина Т. В.* Грамматические и семантические категории и их связи // Аспекты семантических исследований. М., 1980
420. Булыгина 1982 — *Булыгина Т. В.* К построению типологии предикатов в русском языке // Семантические типы предикатов. М., 1982
421. Булыгина 1983 — *Булыгина Т. В.* Классы предикатов и аспектуальная характеристика высказывания // Аспектуальные и темпоральные значения в славянских языках. М., 1983
422. Бурлакова и др. 1962 — *Бурлакова М. И., Николаева Т. М., Сегал Д. М., Топоров В. Н.* Структурная типология и славянское языкознание // Структурно-типологические исследования. М., 1962
423. Вайнрих 1978 — *Вайнрих Х.* Текстовая функция французского артикля // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978
424. Вайнрих 1987 — *Вайнрих Х.* Лингвистика лжи // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987
425. Вежбицка 1978 — *Вежбицка А.* Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978
426. Веселовский 1877 — *Веселовский А. Н.* Новый взгляд на «Слово о полку Игореве» // Журнал Министерства народного просвещения, 1877, № 8
427. Виднэс 1958 — *Виднэс М.* О выражении принадлежности притяжательным прилагательным и родительным падежом принадлежности в русском языке XVIII—XIX веков // Scando-Slavica, t. IV, 1958
428. Виллер 1960 — *Виллер М. А.* Об интонации простого повествовательного предложения в современном русском языке // Ученые записки ЛГУ, 1960, № 237, вып. 40
429. Виноградов 1972 — *Виноградов В. В.* Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М., 1972

430. Виноградов 1979 — *Виноградов В. А.* Предисловие «От редактора» // Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии. М., 1979
431. Виноградова 1967, 1978 — *Виноградова В. Л.* Словарь-справочник «Слова о полку Игореве» / Сост. В. Л. Виноградова. Вып. 2. М., 1967; Вып. 5. М., 1978
432. Витгенштейн 1994 — *Витгенштейн Л.* Философские работы. М., 1994. Ч. 1.
433. Вишневская 1968 — *Вишневская Л. Я.* Интонация повествовательного предложения и интонационного вопроса в языке хауса // *Zeitschrift für Phonetik*, 1968, Bd. 21, Hf. 6
434. Воинов 1857 — *Воинов В.* О знаках препинания в применении к новейшему правописанию. М., 1857
435. Воинов 1986 — *Воинов С. С.* Кто ты, Ярославна? // *Русская речь*, 1986, № 3
436. Волкова 1977 — *Волкова Е. А.* О роли наречий в формировании аспектуальных и темпоральных значений // *Норма реализации. Варьирования языковых средств.* Вып. 3. Горький, 1977
437. Волоцкая 1981 — *Волоцкая З. М.* Способы номинации в загадках // *Структура текста-81.* М., 1981
438. Волоцкая 1982 — *Волоцкая З. М.* Особенности вторичной номинации в загадках // *Словообразование и номинативная деривация в славянских языках.* Гродно, 1982
439. Волоцкая 1983 — *Волоцкая З. М.* Лексика болгарских загадок: (Опыт сопоставления номинации загаданного денотата и его кодового обозначения) // *Славянское и балканское языкознание.* М., 1983
440. Волоцкая и др. 1965 — *Волоцкая З. М., Молошная Т. Н., Николаева Т. М.* Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., 1965
441. Волоцкая, Николаева 1984 — *Волоцкая З. М., Николаева Т. М.* Референция имени, семантика словообразования и возможности их корреляции // *Все-союзная научная конференция «Коммуникативные единицы языка».* Тезисы докладов. М., 1984
442. Волошинов 1929 — *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка. Л., 1929
443. Вольф 1974 — *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика местоимений. М., 1974
444. Вольф 1977 — *Вольф Е. М.* Некоторые особенности местоименных посессивных конструкций (иберо-романские языки) // *Категории бытия и обладания в языке.* М., 1977
445. Вольф 1977а — *Вольф Е. М.* Грамматика и семантика прилагательного. М., 1977
446. Вольф 1983 — *Вольф Е. М.* О соотношении посессивных и качественных значений // *Категория притяжательности в славянских и балканских языках.* Тезисы совещания. М., 1983
447. Вольф 1985 — *Вольф Е. М.* Функциональная семантика оценки. М., 1985

448. Всеволодский-Гернгросс 1922 — *Всеволодский-Гернгросс В. Н.* Теория русской речевой интонации. Пг., 1922
449. Вяземский 1877 — *Вяземский П. П.* «Слово о полку Игореве». Исследования о вариантах. СПб., 1877
450. Вязовик 1981 — *Вязовик Т. П.* Указательные местоимения, включающие частицу *вот* // *Русский язык в школе*, 1980, № 1
451. Габучан 1972 — *Габучан Г. М.* Теория артикля и проблемы арабского синтаксиса. М., 1972
452. Гаген-Торн 1976 — *Гаген-Торн Н. И.* О структуре «Слова о полку Игореве» // *Scando-Slavica*, 1976, t. 32
453. Гаспаров 1989 — *Гаспаров М. Л.* Очерк истории европейского стиха. М., 1989
454. Георгиева 1970 — *Георгиева М.* Мелодика на простото изявително разширено изречение в българската литературна реч // *Известия на института за българския език*, кн. XIX, София, 1970
455. Герценберг 1979 — *Герценберг Л. Г.* Реконструкция индоевропейских слоговых интонаций // *Исследования в области сравнительной акцентологии индоевропейских языков*. Л., 1979
456. Герценберг 1981 — *Герценберг Л. Г.* Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981
457. Гершензон 1919 — *Гершензон М. О.* «Домик в Коломне» // *Гершензон М. Мудрость Пушкина*. М., 1919
458. Гершензон 1919а — *Гершензон М. О.* «Моцарт и Сальери» // Там же
459. Гершензон 1919б — *Гершензон М. О.* «Памятник» // Там же
460. Гершензон 1919в — *Гершензон М. О.* «Метель» // Там же
461. Гершензон 1926 — *Гершензон М. О.* Сны Пушкина // *Гершензон М. О. Статьи о Пушкине*. М., 1926
462. Гершензон 1926а — *Гершензон М. О.* Тень Пушкина // Там же
463. Герштейн 1986 — *Герштейн Э.* Судьба Лермонтова. М., 1986
464. Герштейн 1998 — *Герштейн Э.* Мемуары. СПб., 1998
465. Гириная 1989 — *Гириная Л. В.* Проблемы гетерогенности компонентов интонационного комплекса. АДК, М., 1989
466. Глисон 1959 — *Глисон Г.* Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959
467. Гловинская 1967 — *Гловинская М. Я.* Фонологическая подсистема редких слов в современном русском литературном языке (на материале заимствований). АКД. М., 1967
468. Гойдина 1979 — *Гойдина В. В.* Частицы *еще, уже, только (и только)* в составе обстоятельства времени // *Лингвостилистические исследования научной речи*. М., 1979
469. Головачева 1979 — *Головачева А. В.* Идентификация и индивидуализация в анафорических структурах // *Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках*. М., 1979

470. Гринберг 1970 — *Гринберг Дж.* Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970
471. Гринберг и др. 1970 — *Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж.* Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970
472. Грозева 1979 — *Грозева М.* Употребата на словоформата *един* за изразяване на неопределеност в българския език, съпоставена в употребата на неопределителния член *ein* в немецкия език // Съпоставително езиковедие, 1979, № 5
473. Гюнтер фон 1989 — *Гюнтер И. фон.* Под восточным ветром // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Paris — N.Y., 1989
474. Данилова 1982 — *Данилова И. Г.* О художественно-семантической структуре стихотворения Э. По «Эльдорадо» // Проблемы лингвистической интерпретации художественного текста. Свердловск, 1982
475. Демкова 1979 — *Демкова Н. С.* Повторы в «Слове о полку Игореве» (к изучению композиции памятника) // Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979
476. Дмитриева 1997 — *Дмитриева Е. Е.* Русские пути и перепутья Бальзака // Оноре де Бальзак: денди и творец. М., 1997
477. Добиаш 1897 — *Добиаш А.* Опыт семасиологии частей речи и их форм на почве греческого языка. Прага, 1897
478. Добрев 1962 — *Добрев И.* Към историята на старобългарската морфема *же* // Известия на Института за български език, 1962, кн. VIII
479. Дограмаджиева 1968 — *Дограмаджиева Е.* Структура на старобългарското сложно съчинено изречение. С., 1968
480. Долгополов 1977 — *Долгополов Л.* На рубеже веков. Л., 1977
481. Дончева 1970 — *Дончева Л.* Руските неопределителни местоимения и наречия от типа *-то, — нибудь (-либо), ни было* и техните еквиваленти в български език // Български език, 1970, ч. XX, кн. 5
482. Дыбо 1981 — *Дыбо В. А.* Славянская акцентология. М., 1981
483. Дэвидсон 1986 — *Дэвидсон Д.* Истина и значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. М., 1986
484. Дюкро 1982 — *Дюкро О.* Неопределенные выражения и высказывания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. М., 1982
485. Евтюхин 1979 — *Евтюхин В. Б.* Аранжировка диалектных текстов с помощью частиц // Севернорусские говоры. Вып. 3. Л., 1979
486. Елизаренкова 1982 — *Елизаренкова Т. Я.* Грамматика ведийского языка. М., 1982
487. Елизаренкова, Топоров 1984 — *Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н.* О ведийской загадке типа *brahmodya* // Паремнологические исследования. М., 1984
488. Елисеева 1981 — *Елисеева И. А.* Семантические и синтаксические свойства классов имен прилагательных. АКД, 1981

489. Елоева 1987 — *Елоева Ф. А.* Современная лингвистическая ситуация в Греции как отражение диахронии контактов // Возникновение и функционирование контактных языков: материалы рабочего совещания. М., 1987
490. Ермакова, Земская 1993 — *Ермакова О. П., Земская Е. А.* К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993
491. Ерофеева 1990 — *Ерофеева Т. И.* «Речевой портрет» говорящего // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990
492. Жигунов 1982 — *Жигунов В. В.* *На рѣцѣ на Каялѣ* // Русская речь, 1982, № 4
493. Жолковский 1979 — *Жолковский А. К.* Инварианты Пушкина // Семиотика текста. Труды по знаковым системам. Вып. 467, Тарту, 1979
494. Журавлев 1974 — *Журавлев А. П.* Фонетическое значение. Л., 1974
495. Журинский 1971 — *Журинский А. Н.* О семантической структуре пространственных прилагательных // Семантическая структура слова. М., 1971
496. Зализняк 1981 — *Зализняк А. А.* Противопоставление относительных и вопросительных местоимений в древнерусском языке // Балто-славянские исследования. 1980. М., 1981
497. Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М., 1985
498. Зализняк 1995 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. М., 1995
499. Зильберштейн 1993 — *Зильберштейн И. С.* Парижские находки. Эпоха Пушкина. М., 1993
500. Зимин 1967 — *Зимин А.* Когда было написано «Слово»? // Вопросы литературы, 1967, № 3
501. Златоустова 1953 — *Златоустова Л. В.* Фонетическая природа русского ударения. АКД, Казань, 1953
502. Златоустова 1977 — *Златоустова Л. В.* Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами // Контекст-1976. М., 1977
503. Знаменская 1964 — *Знаменская А. В.* Частица *и* в современном русском языке // Ученые записки Смоленского ГПИ им. К. Маркса. Вып. XIII, 1964
504. Знаменская 1967 — *Знаменская А. В.* Частица *и* только в современном русском языке // Ученые записки МГПИ им. Н. К. Крупской. Вып. 13. Русский язык. 1967
505. Золотова 1982 — *Золотова Г. А.* Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982
506. Зубкова 1990 — *Зубкова Л. Г.* Фонологическая типология слова. М., 1990
507. Иванов 1930 — *Иванов В. И.* К проблеме звукообраза у Пушкина // Московский пушкинист. М., 1930

508. Иванов 1965 — *Иванов Вяч. Вc.* Общеиндоевропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965
509. Иванов 1967 — *Иванов Вяч. Вc.* Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 198. Труды по знаковым системам III, Тарту, 1967
510. Иванов 1973 — *Иванов Вяч. Вc.* Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам VI, Тарту, 1973
511. Иванов 1975 — *Иванов Вяч. Вc.* Происхождение семантического поля славянских слов, обозначающих дар и обмен // Славянское и балканское языкознание. М., 1975
512. Иванов 1977 — *Иванов Вяч. Вc.* Древнебалканский и общеиндоевропейский текст мифа о герое-убийце Пса и евразийские параллели // Славянское и балканское языкознание. М., 1977
513. Иванов 1979 — *Иванов Вяч. Вc.* Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // *Balkanica*. Лингвистические исследования. М., 1979
514. Иванов 1979a — *Иванов Вяч. Вc.* Категория неопределенности-определенности и шифтеры // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979
515. Иванов 1980 — *Иванов Вяч. Вc.* Структура гомеровских текстов, описывающих психические состояния // Структура текста. М., 1980
516. Иванов 1981 — *Иванов Вяч. Вc.* О скрытой основе текста // Структура текста-81. М., 1981
517. Иванов 1981a — *Иванов Вяч. Вc.* О текстовом отрезке, определяющем результаты диахронического развития // Там же
518. Иванов 1981b — *Иванов Вяч. Вc.* К проблеме шифтеров в анаграмматически построенном тексте // Там же
519. Иванов 1985 — *Иванов Вяч. Вc.* Тохарская стихотворная надпись на стене: анализ текста обращения к смерти // Балто-славянские этнокультурные и археологические древности: погребальный обряд. Тезисы докладов. М., 1985
520. Иванов 1990 — *Иванов В. И.* Два маяка // Пушкин в русской философской критике. М., 1990
521. Иванов, Топоров 1960 — *Иванов Вяч. Вc., Топоров В. Н.* Санскрит. М., 1960
522. Иванов, Топоров 1963 — *Иванов В. В., Топоров В. Н.* К реконструкции праславянского текста // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов. М., 1963
523. Иванов, Топоров 1973 — *Иванов Вяч. Вc., Топоров В. Н.* К проблеме достоверности поздних вторичных источников в связи с исследованиями в

- области мифологии // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 308. Труды по знаковым системам 308. Труды по знаковым системам VI. Тарту, 1973
524. Иванов, Топоров 1974 — *Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Исследования в области славянских древностей. М., 1974
525. Иванова 1970 — *Иванова Т. К.* Функции частиц *вот* и *только* в современном русском языке. АКД, Благовещенск, 1970
526. Ивић 1971 — *Ивић М.* Лексема *један* и проблем неодређеног члена // Сборник за филологију и лингвистику. 1971, XIV, 1
527. Ивич 1958 — *Ивич П.* Основные пути развития сербского вокализма // Вопросы языкознания, 1958, № 1
528. Иезуитова 1974 — *Иезуитова Р. В.* «Жених» // Стихотворения Пушкина 1820—30-х годов. Л., 1974
529. Иллич-Свитыч 1971 — *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. b — К. М., 1971
530. Иллич-Свитыч 1976 — *Иллич-Свитыч В. М.* Опыт сравнения ностратических языков. 1-s, М., 1976
531. Ильичев 1991 — *Ильичев А.* «Зачем крутится ветер в овраге...» Источники, поэтика, концепция поэта и поэзии // Временник пушкинской комиссии. Вып. 24. Л., 1991
532. Иртеньева 1976 — *Иртеньева Н. Ф.* Родовой (обобщающий) артикль в английском языке // Проблема языкознания и теории английского языка. Вып. 1. М., 1976
533. Какорина 1996 — *Какорина Е. В.* Трансформации лексической семантики и сочетаемости (на материале языка газет) // Русский язык конца XX столетия (1985 — 1995), М., 1996
534. Калнынь 1968 — *Калнынь Л.* Организация фонемного состава иноязычных заимствований в диалектном языке // Советское славяноведение, 1968, № 2
535. Канетти 1997 — *Канетти Э.* Массы и власть. М., 1997
536. Канторович 1978 — *Канторович В.* Слово, проверенное цифрой // Вопросы литературы, 1978, № 10
537. Капанадзе 1984 — *Капанадзе Л. А.* Современное городское просторечие и литературный язык // Городское просторечие. Проблемы изучения. М., 1984
538. Карамзины 1960 — Пушкин в переписке Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960
539. Карлсон 1986 — *Карлсон Л.* Соединительный союз BUT // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. М., 1986
540. Касевич, Шабельникова 1987 — *Касевич В. Б., Шабельникова Е. М.* // Proceedings of XI International congress of phonetic sciences, Tallinn, 1987

541. Категория определенности... 1979 — Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979
542. Категория посессивности... 1989 — Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989
543. Кацнельсон 1936 — *Кацнельсон С. Д.* К генезису номинативного предложения. М.; Л., 1936
544. Кацнельсон 1936а — *Кацнельсон С. Д.* Супплетивы местоимений в германских языках и генезис номинативного предложения. Тезисы канд. дис. Л., 1936
545. Кацнельсон 1939 — *Кацнельсон С. Д.* Номинативный строй речи. Л., 1939
546. Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон С. Д.* Историко-грамматические исследования. М.; Л., 1949
547. Кацнельсон 1966 — *Кацнельсон С. Д.* Сравнительная акцентология германских языков. М.; Л., 1966
548. Кершиене 1983 — *Кершиене Р. Б.* Сложносочиненное предложение // Структура предложения в истории восточнославянских языков. М., 1983
549. Киселев 1976 — *Киселев И. А.* Частицы в современных восточнославянских языках. Минск, 1976
550. Кифер 1978 — *Кифер Ф.* О пресуппозициях // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978
551. Классовский 1869 — *Классовский В.* Знаки препинания в пяти важнейших языках. СПб., 1869
552. Клычникова 1953 — *Клычникова З. А.* Бессоюзное предложение и его понимание // Ученые записки 1 МГПИИЯ, 1953, т. VI
553. Клычников 1990 — *Клычников Н. Н.* Фразеологизированные оценочные конструкции разговорного типа (структурно-семантический анализ) // Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990
554. Кнорина 1989 — *Кнорина Л. В.* Словоупотребление — компонента индивидуального стиля (на материале разговорной речи) // Язык и личность. М., 1989
555. Кобозева 1981 — *Кобозева И. М.* Опыт прагматического анализа *-то* и *-нибудь* местоимений // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1981, т. 40, № 2
556. Ковтунова 1976 — *Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976
557. Ковтунова 1976а — *Ковтунова И. И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976
558. Коджак 1978 — *Коджак А.* Сказка Пушкина «Золотой петушок» // American Contributions to the Eight International Congress of Slavists. Columbus (Ohio), 1978, v. 2
559. Кодзасов 1989 — *Кодзасов С. В.* Об акцентной структуре составляющих // Экспериментально-фонетический анализ речи. 2. Л., 1989

560. Кодзасов 1989а — *Кодзасов С. В.* Проект просодической транскрипции для русского языка // Бюллетень фонетического фонда русского языка. 1989, февраль
561. Кожевникова 1984 — *Кожевникова Н. А.* Об одном типе звуковых повторов в русской поэзии XVIII — начала XX века // Проблемы структурной лингвистики 1982. М., 1984
562. Колесов 1983 — *Колесов В. В.* Ритмика «Слова о полку Игореве» // Труды отдела древнерусской литературы, 1983, т. XXXVII
563. Коплан 1922 — *Коплан Б. И.* К стихотворению «Пророк» // Пушкинский сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1922
564. Копыленко 1978 — *Копыленко И. М.* Краткая история и задачи изучения частиц // Проблемы теории и методики преподавания иностранных языков и литературоведения. Алма-Ата, 1978
565. Копыленко 1981 — *Копыленко И. М.* О коммуникативных функциях частиц. АКД. Алма-Ата, 1981
566. Кочев 1988 — *Кочев И.* За ударения квантитет в българския език // Славистичен сборник. София, 1988
567. Кравченко 1960 — *Кравченко М. Г.* Соотношение длительности различных компонентов предложения и его роль в определении синтаксических и логических связей // Вопросы фонетики. Л., 1960
568. Крашенинникова 1956 — *Крашенинникова Е. А.* Модальные частицы в немецком языке // Иностранные языки в школе, 1956, № 4
569. Крейдлин 1975 — *Крейдлин Г. Е.* Лексема даже // Семиотика и информатика. Вып. 6. М., 1975
570. Крикман 1984 — *Крикман А. А.* Опыт объяснения некоторых семантических механизмов пословицы // Паремииологические исследования. М., 1984
571. Крысин 1989 — *Крысин Л. П.* О речевом поведении человека в малых социальных общностях (постановка вопроса) // Язык и личность. М., 1989
572. Крысин 1996 — *Крысин Л. П.* Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни // Русский язык конца XX столетия (1985—1995). М., 1996
573. Кугаевская 1969 — *Кугаевская А.* Повествовательная интонация и синтаксическое членение фраз в поволжских говорах сравнительно с литературным языком // Вестник студенческого научного общества. Вып. 2—3. Казань, 1969
574. Кузнецов 1966 — *Кузнецов П. С.* К вопросу об ударении и тоне в фонологическом и фонетическом отношении // Теоретические проблемы прикладной лингвистики. М., 1966
575. Кузнецова 1960 — *Кузнецова Г. М.* Мелодика простого повествовательного предложения в современном русском языке // Ученые записки ЛГУ, 1960, № 237, вып. 40

576. Кукулевич, Лотман 1941 — *Кукулевич А. М., Лотман Л. М.* Из творческой истории баллады Пушкина «Жених» // Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Вып. 6. 1941
577. Курзова 1979 — *Курзова Е.* Синтаксис текста и греческий язык // Проблемы античной истории и культуры. Ереван, 1979
578. Куфнерова 1980 — *Куфнерова Зл.* За категория «определеност» в българския и чешския език // Съпоставително езикознание, 1980, № 4
579. Кюхельбекер 1979 — *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979.
580. Лавров 1941 — *Лавров Б. В.* Условные и уступительные предложения в древнерусском языке. М., 1941
581. Лакофф, Джонсон 1987 — *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987
582. Лаптева 1959 — *Лаптева О. А.* Расположение компонентов устойчивого словосочетания как элемент его структуры // Вопросы языкознания, 1959 № 3
583. Лашкова, Куева-Шверчек 1979 — *Лашкова Л., Куева-Шверчек Л.* За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски // Съпоставително езикознание, 1979, № 5
584. Левашева 1983 — *Левашева Н. А.* «Почнем же, братие, повесть сию...» // Русская речь, 1983, № 5
585. Лекомцева 1971 — *Лекомцева М. И.* К семантической характеристике глаголов говорения в Мариинском кодексе // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 284. Труды по знаковым системам V. Тарту, 1971
586. Лекомцева 1979 — *Лекомцева М. И.* Семантика личных и указательных местоимений в старославянском языке // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979
587. Лекомцева 1983 — *Лекомцева М. И.* Замечания об использовании категории притяжательности в поэтическом языке // Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы конференции. М., 1983
588. Ли, Томпсон 1982 — *Ли Ч., Томпсон С.* Подлежащее и топик: новая типология языков // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XI. М., 1982
589. Лихачев 1950 — *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» (историко-литературный очерк) // «Слово о полку Игореве». М.; Л., 1950
590. Лихачев 1979 — *Лихачев Д. С.* Поэтика древнерусской литературы. М., 1979
591. Лихачев 1983 — *Лихачев Д. С.* Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве» // Русская литература, 1983, № 4
592. Лихачев 1984 — *Лихачев Д. С.* Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве» // Русская литература, 1984, № 3

593. Лопатин, Григорян 1985 — *Лопатин В. В., Григорян Э. А.* Три Черномора // Русская речь, 1985, № 1
594. Лотман 1972 — *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: структура стиха. Л., 1972
595. Лотман 1980 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980
596. Лотман 1983 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1983
597. Лукницкий 1988 — *Лукницкий П. Н.* Об Анне Ахматовой // Наше наследие, VI, 1988
598. Ляпон 1989 — *Ляпон М. В.* Оценочная ситуация и словесное самодекодирование // Язык и личность. М., 1989
599. Ляцкий 1938—1939 — *Ляцкий Е. А.* Звукопись в стиховом тексте «Слова о полку Игореве» // Slavia, 1938-9, г. XVI
600. Майтинская 1982 — *Майтинская К. Е.* Служебные слова в финно-угорских языках. М., 1982
601. Макаев 1956 — *Макаев Э. А.* К вопросу о соотношении фонетической и грамматической структуры в языке // Ученые записки I МГПИИЯ, т. IX, 1956
602. Маковский 1989 — *Маковский С.* Николай Гумилев (1886—1921) // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Paris — N.Y., 1989
603. Маковский 1989а — *Маковский С.* Николай Гумилев по личным воспоминаниям // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Paris — N. Y., 1989
604. Максимович 1836 — *Максимович М. А.* Песнь о полку Игореве. Статья первая // Журнал Министерства народного просвещения, 1836, апрель
605. Максимович 1836а — *Максимович М. А.* Песнь вторая. Песнь Игорю относительно ее духа // Журнал Министерства народного просвещения, 1836, июнь
606. Маловицкий 1971 — *Маловицкий Л. Я.* Вопросы истории предметно-личных местоимений // Ученые записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 517. Местоимения. 1971
607. Мамаев 1968 — *Мамаев Г. А.* Ударение в сложносокращенных словах // Русская речь, 1968, № 5
608. Маркович 1980 — *Маркович В. М.* Сон Татьяны в поэтической структуре «Евгения Онегина» // Болдинские чтения-5. Горький, 1980
609. Маркович 1981 — *Маркович В. М.* О мифологическом подтексте сна Татьяны // Болдинские чтения-6. Горький, 1981
610. Маслова 1977 — *Маслова Д. М.* Частицы «вот» и «вон» как показатели семантико-синтаксической связи между предложениями в тексте // Неполнозначные слова. Ставрополь, 1977, вып. 11
611. Матезиус 1967 — *Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. М., 1967

612. Медриш 1993 — *Медриш Д. И.* «Ее сестра звалась Наташа...» // Русская речь, 1993, № 2
613. Мейе 1938 — *Мейе А.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938
614. Мейе 1951 — *Мейе А.* Общеславянский язык. М., 1951
615. Мережковский 1990 — *Мережковский Д.* Пушкин // Пушкин в русской философской критике. М., 1990
616. Мещанинов 1929 — *Мещанинов И.* Введение в яфетидологию. Л., 1929
617. Мещанинов 1930 — *Мещанинов И. И.* Палеозтнология и Homo sapiens. Ленинград, 1930
618. Мещанинов 1931 — *Мещанинов И. И.* К вопросу о стадиальности в письме и языке. Л., 1931
619. Мещерский 1958 — *Мещерский Н. А.* К изучению лексики и фразеологии «Слова» // Труды Отдела древнерусской литературы, М.; Л., 1958, т. 14
620. Миллер 1877 — *Миллер Вс.* Взгляд на «Слово о полку Игореве». М., 1877
621. Минович 1962 — *Минович А.* Основные функции частиц в современном русском языке // Лексикографический сборник. М., 1962, вып. V
622. Михайлов 1997 — *Михайлов А. Д.* Из истории переводов Бальзака в России // Оноре де Бальзак: денди и творец. М., 1997
623. Михайлов 1999 — *Михайлов А. Д.* «Русский Бальзак»: «юбилейный», «приспособленный» — и настоящий // Бальзак в русской литературе. М., 1999
624. Михайловская 1980 — *Михайловская Н. Г.* Системные связи в лексике древнерусского книжно-письменного языка XI—XIV вв. М., 1980
625. Михайловская 1981 — *Михайловская Н. Г.* К вопросу о номинации в древнерусском тексте // Вопросы языкознания, 1981, № 1
626. Моисеев 1978 — *Моисеев А. И.* Частицы *уже* и *еще* в современном русском языке // *Slavia orientalis*, 1978, г. 111
627. Молчанова 1964 — *Молчанова С. Ф.* О модальности частицы *-нибудь* // Доклады на научной конференции. Ярославль, 1964, т. 111, Филологические науки.
628. Невзглядова 1998 — *Невзглядова Е.* Звук и смысл. СПб, 1998
629. Невская 1979 — *Невская Л. Г.* Дом в погребальном фольклоре (балто-балканские параллели // *Balto-Balkano-Slavica*. М., 1979
630. Невская 1980 — *Невская Л. Г.* Семантика дороги и смежных представлений в погребальном обряде // Структура текста. М., 1980
631. Невская 1983 — *Невская Л. Г.* Тавтология как один из способов организации фольклорного текста // Текст: семантика и структура. М., 1983
632. Невская 1984 — *Невская Л. Г.* Лит. *margas* (семантические связи постоянного эпитета) // Славянское и балканское языкознание. М., 1984
633. Невская 1993 — *Невская Л. Г.* Концепт *гость* в контексте переходной культуры // Символический язык традиционной культуры. Балканские чтения-2. М., 1993

634. Никитина 1989 — *Никитина С. Е.* Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре // *Язык и личность*, М., 1989
635. Николаева 1966 — *Николаева Т. М.* Знаки препинания, дерево предложения и морфологические категории // *Структурная типология языков*. М., 1966
636. Николаева 1968 — *Николаева Т. М.* О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств // *Вопросы языкознания*, 1968, № 6
637. Николаева 1969 — *Николаева Т. М.* Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969
638. Николаева 1969а — *Николаева Т. М.* О грамматике неязыковых коммуникаций // *Труды по знаковым системам*, IV, 1969
639. Николаева 1971 — *Николаева Т. М.* Типологическое изучение фразовой интонации славянских языков (перспективы исследования) // *Исследования по славянскому языкознанию*. М., 1971
640. Николаева 1979 — *Николаева Т. М.* Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // *Balkanica*. М., 1979
641. Николаева 1979а — *Николаева Т. М.* Словосочетания с лексемой *один*: форма, значение и их контекстная маркированность // *Синтаксис текста*. М., 1979
642. Николаева 1979б — *Николаева Т. М.* Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности в славянских и балканских языках // *Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках*. М., 1979
643. Николаева 1980 — *Николаева Т. М.* «Событие» как категория текста и его грамматические характеристики // *Структура текста*. М., 1980
644. Николаева 1981 — *Николаева Т. М.* Типы номинации лица в Мариинском Евангелии // *Структура текста-81*. М., 1981
645. Николаева 1981а — *Николаева Т. М.* «Экстренное введение в ситуацию»: особый вид просодического выделения // *Теория языка, методы его исследования и преподавания*. М., 1981
646. Николаева 1981б — *Николаева Т. М.* Категориально-грамматическая цельность высказывания и его прагматический аспект // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. т. 40, № 1
647. Николаева 1982 — *Николаева Т. М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982
648. Николаева 1983 — *Николаева Т. М.* Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. 1983, т. 42, № 4
649. Николаева 1984 — *Николаева Т. М.* Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // *Вопросы языкознания*, 1984, № 3

650. Николаева 1984а — *Николаева Т. М.* Оппозиции «туга — веселие» и «тьма — свет» в «Слове о полку Игореве» // Проблемы структурной лингвистики 1982. М., 1984
651. Николаева 1984—5 — *Николаева Т. М.* К поэтике «Слова о полку Игореве» (еще раз об аллитерациях и анаграммах) // «Зборник за филологию и лингвистику», XXVII—XXVIII. Нови Сад, 1984—1985
652. Николаева 1985 — *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании. М., 1985
653. Николаева 1988 — *Николаева Т. М.* Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988
654. Николаева 1989 — *Николаева Т. М.* Фонетическая природа греческого и латинского ударения // Палеобалканистика и античность. М., 1989
655. Николаева 1989а — *Николаева Т. М.* Три типа высказываний и иерархия интонационной нагруженности. // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Ленинград—Бохум, 1989, № 2
656. Николаева 1989б — *Николаева Т. М.* Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989
657. Николаева 1989в — *Николаева Т. М.* Посессивность и другие содержательные категории высказывания // Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989
658. Николаева 1989г — *Николаева Т. М.* Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи-2, Л., 1989
659. Николаева 1990 — *Николаева Т. М.* О принципе «не-кооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., 1990
660. Николаева 1991 — *Николаева Т. М.* Диахрония или эволюция? // Вопросы языкознания, 1991, № 2
661. Николаева 1994 — *Николаева Т. М.* Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // Загадка как текст, М., 1994
662. Николаева 1996 — *Николаева Т. М.* Просодия Балкан. М., 1996
663. Николаева 1997 — *Николаева Т. М.* «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., 1997
664. Николаева 1999 — *Николаева Т. М.* Речевая модель «обывателя» и идеи Н. С. Трубецкого—Р. О. Якобсона об оппозициях и «валоризации» // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В. В. Иванова, М., ОГИ, 1999
665. Николаева, Успенский 1966 — *Николаева Т. М., Успенский Б. А.* Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966
666. Николова 1987 — *Николова Л.* Реализация согласных при сандхи (на стыке клитик и знаменательного слова) в русском и болгарском языках // Proceedings of XI International Congress of phonetic sciences. Tallinn, 1987

667. Ниязов 1969 — *Ниязов Д. М.* Интонация повествования в современном узбекском литературном языке. АКД, Ташкент, 1969
668. Новиков 1951 — *Новиков И.* Пушкин и «Слово о полку Игореве». М., 1951
669. Обнорский 1946 — *Обнорский С. П.* Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л., 1946
670. Оглоблин 1967 — *Оглоблин А. К.* Слово и интонация в индонезийском языке // *Филология и история стран зарубежной Азии и Африки (тезисы конференции)*. Л., 1967
671. Орлов, Черемисина 1980 — *Орлов А. Е., Черемисина М. И.* Контактные сочетания союзов и частиц в русском языке (к постановке проблемы) // *Полипредикативные конструкции и их морфологическая база*. Новосибирск, 1980
672. Орусбаев 1971 — *Орусбаев А.* Киргизская акцентология. Опыт экспериментально-фонетического исследования ударения в слове и во фразе. АКД, М., 1971
673. Оскотская 1966 — *Оскотская Б. Л.* Система значений и функции частиц *only, just, even* в современном английском языке. АКД. Л., 1966
674. Остроумов 1954 — *Остроумов А. А.* Наречие «еще» и его безударный двойник // *Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР*, 1954, вып. VI
675. Оцуп 1989 — *Оцуп Н.* Николай Степанович Гумилев // *Николай Гумилев в воспоминаниях современников*. Paris — N. Y., 1989
676. Павлов, Есенова 1986 — *Павлов Д. А., Есенова Т. С.* Фонетическая характеристика и фонологический статус гласных калмыцкого и монгольского языков // *Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов*. Новосибирск, 1986
677. Падучева 1973 — *Падучева Е. В.* Анафорические связи и глубинная структура текста // *Проблемы грамматического моделирования*. М., 1973
678. Падучева 1982 — *Падучева Е. В.* Значение и синтаксические функции слова *это* // *Проблемы структурной лингвистики 1980*. М., 1982
679. Падучева 1983 — *Падучева Е. В.* Местоимение «свой» и его неприятельные значения // *Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы совещания*. М., 1983
680. Падучева 1984 — *Падучева Е. В.* Референциальные аспекты семантики предложения // *Известия АН СССР. Серия литературы и языка*. 1984, т. 43, № 4
681. Памятники литературы Древней Руси 1978 — *Памятники литературы Древней Руси XI — начало XII в.* М., 1978
682. Панде 1981 — *Панде Х. Ч.* К семантике «есть» в локативных и посессивных конструкциях // *Russian linguistics*, 1981, V. 5, № 3
683. Панова 1973 — *Панова В.* О балладе Пушкина «Жених» // *Аврора*, 1973, № 3

684. Пауфошима 1985 — *Пауфошима Р. Ф.* Следы музыкального удара в современном вологодском говоре // Диалектография русского языка. М., 1985
685. Пауфошима 1989 — *Пауфошима Р. Ф.* Об использовании регистровых различий в русской фразовой интонации (на материале русского литературного языка и севернорусских говоров) // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989
686. Перельман, Ольбрехт-Тытека 1987 — *Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л.* Из книги «Новая риторика». Трактат об аргументации // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987
687. Перфильева 1977 — *Перфильева Н. П.* Являются ли *хотя* и *хоть* вариантами? // Материалы Всесоюзной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс». Филология. Новосибирск, 1977
688. Пешковский 1918 — *Пешковский А. М.* Знаки препинания и научная грамматика // Пешковский А. М. Школьная и научная грамматика. М., 1918
689. Пешковский 1956 — *Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956
690. Пешковский 1959 — *Пешковский А. М.* Интонация и грамматика // Пешковский А. М. Избранные труды. М., 1959
691. Пешковский 1959а — *Пешковский А. М.* Роль выразительного чтения в обучении знакам препинания // Пешковский А. М. Избранные труды, М., 1959
692. Письма Павлищевой 1994 — *Письма Ольги Сергеевны Павлищевой к мужу и отцу* — 1837, СПб, 1994
693. Плутарх 1964 — *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания. Т. III. М.: Наука, 1964
694. Поливанов 1968 — *Поливанов Е. Д.* Фонетика интеллигентского языка // Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968
695. Полоцкая 1992 — *Полоцкая Э.* Французские корни характера Раневской // Чеховиана. Чехов и Франция. М., 1992
696. Поспелов 1970 — *Поспелов Н. С.* О синтаксическом выражении категории определенности-неопределенности в современном русском языке // Исследования по современному русскому языку. М., 1970
697. Потехня 1878 — Слово о полку Игореве / Текст и прим. А. Потехни. Воронеж, 1878
698. Правила русской орфографии и пунктуации. М., 1956
699. Прийма 1980 — *Прийма Ф. Я.* «Слово о полку Игореве» в русском литературном процессе первой трети XIX в. Л., 1980
700. Проблемы современного русского правописания. М., 1964
701. Проблемы связности и цельности текста. М., 1982
702. Пропп 1928 — *Пропп В. Я.* Трансформация волшебных сказок // Поэтика. Временник отдела словесных искусств. IV. Л., 1928

703. Пушкин 1995 — *Пушкин А. С. Дневники. Записки.* СПб., 1995
704. Радиевская 1973 — *Радиевская М. Г. Проблемы бинарного описания интонационных характеристик речи.* АКД. Л., 1973
705. Рассудова 1968 — *Рассудова О. П. Употребление видов глагола в русском языке.* М., 1968
706. Реализация 1982 — *Реализация грамматических категорий в тексте.* М., 1982
707. Ревзин 1962 — *Ревзин И. И. Модели языка.* М., 1962
708. Реизов 1960 — *Реизов Б. Г. «Лилия в долине» и ее судьба в России // Реизов Б. Г. Бальзак. Сборник статей.* Л., 1960
709. Ремизов 1954 — *Ремизов А. М. Огонь вещей. Сны и предсонье.* Париж, 1954
710. Ржіга 1926 — *Ржіга В. Гармонія мови «Слова о полку Ігореве» // «Україна», 1926, кн. 4*
711. Робинсон 1978 — *Робинсон А. Н. Солнечная символика в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве»: памятники литературы и искусства XI—XVII вв.* М., 1978
712. Розанов 1990 — *Розанов В. В. А. С. Пушкин // Пушкин в русской философской критике.* М., 1990
713. Русский язык: текст 1982 — *Русский язык: Текст как целое и компоненты текста.* М., 1982
714. Сафонова 1979 — *Сафонова Н. И. Об употреблении частиц в сибирских говорах (на материале ангаро-ленских говоров) // Проблемы сибирской диалектологии.* Красноярск, 1979, вып. 11
715. Сахно 1983 — *Сахно С. Л. Приблизительное наименование в естественном языке // Вопросы языкознания, 1983, № 6*
716. Светозарова 1970 — *Светозарова Н. Д. Реализация основных мелодических характеристик в словах различной ритмической структуры // Иностранные языки в школе, 1970, № 3*
717. Светозарова 1982 — *Светозарова Н. Д. Интонационная система русского языка.* Л., 1982
718. Светоний 1966 — *Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.* М.: Наука, 1966
719. Свешникова 1979 — *Свешникова Т. Н. Волки-оборотни у румын // Balkanica, М., 1979*
720. Свешникова 1980 — *Свешникова Т. Н. К структуре одной группы румынских заговоров (заговоры от оборотней) // Структура текста.* М., 1980
721. Свешникова, Цивьян 1979 — *Свешникова Т. Н., Цивьян Т. В. К семиотике посуды в восточнороманском фольклоре // Этническая история восточных романцев: Древность и средние века.* М., 1979
722. Севбо 1969 — *Севбо И. П. Структура связного текста и автоматизация реферирования.* М., 1969

723. Селиверстова 1973 — *Селиверстова О. Н.* Семантический анализ предикативных притяжательных конструкций с глаголом *быть* // Вопросы языкознания, 1973, № 5
724. Селиверстова 1983 — *Селиверстова О. Н.* Экзистенциальность и посесивность в языке и речи. АДД. М., 1983
725. Селищев 1941 — *Селищев А. М.* Славянское языкознание. Т. 1. М., 1941
726. Селютина 1986 — *Селютина И. Я.* Квантитативность кумандинских согласных // Фонетика языков Сибири и сопредельных регионов. Новосибирск, 1986
727. Семереньи 1980 — *Семереньи О.* Введение в сравнительное языкознание. М., 1980
728. Серль, Вандервекен 1986 — *Серль Дж., Вандервекен Д.* Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. М., 1986
729. Скупас 1966 — *Скупас А. И.* О роли длительности в физической природе ударения современного французского языка // Материалы коллоквиума лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи. 11, Вильнюс, 1966
730. Словарь иностранных слов 1954 — Словарь иностранных слов. 4-е изд. Под ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова. М., 1954
731. «Слово о полку Игореве» 1995 — Энциклопедия «Слова о полку Игореве». Т. 1—5, СПб., 1995
732. Слонимский 1922 — *Слонимский А. Л.* О композиции «Пиковой дамы» // Пушкинский сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1922
733. Смирнов 1991 — *Смирнов И. П.* О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории // Wiener Slawistischer Almanach, 1991, Bd. 28
734. Соловьев 1967 — *Соловьев А. В.* Словесная ткань «Задонщины» и «Слова о полку Игореве» // To Honor Roman Jakobson. 1967, v. 111
735. Соловьев 1988 — *Соловьев Вл.* Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1988
736. Соловьев Вл. 1991 — *Соловьев Вл.* Судьба Пушкина // Соловьев В. С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991
737. Соловьев Вл. 1991a — *Соловьев Вл.* Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Там же
738. Соловьев С. 1974 — *Соловьев С.* О некоторых особенностях изобразительности Пушкина // В мире Пушкина. Сборник статей. М., 1974
739. Срезневский 1958—9 — *Срезневский И. И.* Словарь древнерусского языка. Т. I—II. 1958, 1959
740. Стародумова 1974 — *Стародумова Е. А.* Акцентирующие частицы в современном русском литературном языке. АКД. Л., 1974
741. Степанов 1981 — *Степанов Ю. С.* Имена, предикаты, предложения. М., 1981

742. Степанов 1989 — *Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989
743. Стоева 1987 — *Стоева Т.* Явления сандхи и ритмическая организация синтагмы в русском и болгарском языках // *Proceedings of XI International congress of phonetic sciences.* Tallinn, 1987
744. Стоянов 1968 — *Стоянов Ст.* Грамматическата категория «определеност» в българския език и нейните соответствия в други славянски езици // *Славянска филология*, 1968, т. X
745. Судник 1983 — *Судник Т. М.* К описанию структуры одного белорусского (восточнославянского) заговора // *Текст: семантика и структура.* М., 1983
746. Судник, Цивьян 1980 — *Судник Т. М., Цивьян Т. В.* К реконструкции одного мифологического текста в балто-балканской перспективе // *Структура текста.* М., 1980
747. Сумаруков 1983 — *Сумаруков Г. В.* Кто есть кто в «Слове о полку Игореве». М., 1983
748. Суперанская 1968 — *Суперанская А. В.* Ударение в заимствованных словах в современном русском языке. М., 1968
749. Сурат 1994 — *Сурат И.* Пушкин как религиозная проблема // *Новый мир*, 1994, № 1
750. Сурат 1995 — *Сурат И.* «Стоит, белеясь, Ветилуя...» // *Новый мир*, 1995, № 6
751. Сурат 1996 — *Сурат И.* Жизнь и лира. М., 1996
752. Сэпир 1934 — *Сэпир Э.* Язык. М., 1934
753. Тмарченко 1987 — *Тмарченко Н. Д.* Сюжет сна Татьяны и его источники // *Болдинские чтения-12.* Горький, 1987
754. Телия 1996 — *Телия В. Н.* Русская фразеология. М., 1996
755. Теория функциональной... 1990 — *Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность.* Л., 1990
756. Теория функциональной... 1991 — *Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость.* СПб., 1991
757. Тер-Аванесова 1989 — *Тер-Аванесова А.* Об одной славянской акцентной инновации // *Славянское и балканское языкознание.* Просодия. М., 1989
758. Тименчик и др. 1978 — *Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Ахматова и Кузмин // *Russian literature*, 1978, VI
759. Тищенко 1985 — *Тищенко В. И.* Плач Ярославны // *Русская речь*, 1985, № 4
760. Толстой 1987 — *Толстой Н. И.* Христианизация как фактор усложнения структуры древнеславянской духовной культуры // *Введение христианства у народов Центральной и Восточной Европы. Крещение Руси. Сборник текстов.* М., 1987
761. Томашевский 1959 — *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.; Л., 1959

762. Топоров 1973 — *Топоров В. Н.* О структуре романа Достоевского в связи с архаическими схемами мифологического мышления // Structure of texts and semiotics of culture. The Hague — Paris, 1973
763. Топоров 1975 — *Топоров В. Н.* К объяснению некоторых славянских слов мифологического характера в связи с возможными древними ближневосточными параллелями // Славянское и балканское языкознание. М., 1975
764. Топоров 1977 — *Топоров В. Н.* Музы: Μοῦσαι: соображения об имени и предыстории образа // Славянское и балканское языкознание. М., 1977
765. Топоров 1977а — *Топоров В. Н.* К рецепции поэзии Жуковского в начале XX века. Блок — Жуковский: проблема реминисценции // Russian literature, 1977, v. 5, № 4
766. Топоров 1977б — *Топоров В. Н.* О структуре «Царя Эдипа» Софокла // Славянское и балканское языкознание. М., 1977
767. Топоров 1979 — *Топоров В. Н.* Др.-греч. μαχαρ, μαχαριος и под. (marginalia к статьям о маке и вызывании дождя) // Balto-Balkano-Slavica. М., 1979
768. Топоров 1979а — *Топоров В. Н.* Две главы из истории русской поэзии начала века // Russian literature, 1979, VII
769. Топоров 1980 — *Топоров В. Н.* Еще раз о балтийских и славянских названиях божьей коровки (*coccinella septempunctata*) в перспективе основного мифа // Балто-славянские исследования-1980. М., 1980
770. Топоров 1980а — *Топоров В. Н.* Еще раз о др.-греч. σοφια: происхождение слова и его внутренний смысл // Структура текста. М., 1980
771. Топоров 1980б — *Топоров В. Н.* О числовых моделях в архаичных текстах // Там же
772. Топоров 1981 — *Топоров В. Н.* Из исследований в области анаграммы // Структура текста-81. М., 1981
773. Топоров 1981а — *Топоров В. Н.* Ахматова и Блок. Berkeley, 1984
774. Топоров 1981б — *Топоров В. Н.* «Сельское кладбище» Жуковского: к истокам русской поэзии // Russian literature, 1981, X
775. Топоров 1981в — *Топоров В. Н.* Число и текст. 1. Уровень «ниже»: два — три — четыре. 2. Уровень «выше»: об одной «случайной» возрастной доминанте // Там же
776. Топоров 1981г — *Топоров В. Н.* Текст Города-девы и Города-блудницы в мифологическом аспекте // Структура текста-81. М., 1981
777. Топоров 1982 — *Топоров В. Н.* «Господин Прохарчин» или «Г. П.»: попытка истолкования. К анализу петербургской повести Достоевского. Р., 1982
778. Топоров 1983 — *Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983
779. Топоров 1983а — *Топоров В. Н.* Младой певец и быстротечное время // Russian poetics. Columbus (Ohio), 1983
780. Топоров 1983б — *Топоров В. Н.* К семантике четверичности (анатолийское *meu — и др.) // Этимология 1981. М., 1983

781. Топоров 1984 — *Топоров В. Н.* Несколько замечаний к «Морфологии сказки» В. Я. Проппа // To Honour Victor Ehrlich. Berkeley — Los Angeles, 1984
782. Топоров 1984а — *Топоров В. Н.* Еще раз об акмеистической цитате // *Miscellanea slavica. In honour the memory of Jan M. Meier.* Amsterdam, 1984
783. Топоров 1986 — *Топоров В. Н.* «Слово о законе и благодати» и древнекиевские реалии // *Russian literature*, 1986
784. Топоров 1987а — *Топоров В. Н.* Число как элемент языка описания и как парадигма в связи с его ролью в тексте // *Исследования по структуре текста.* М., 1987
785. Топоров 1989 — *Топоров В. Н.* Балканский макроконтекст и древнебалканская неолитическая цивилизация (общий взгляд) // *Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы.* София, 30.VIII—6.IX 1989. М., 1989
786. Топоров 1991 — *Топоров В. Н.* Др.-греч. сем- и др. (знаковое пространство, знак, мотивировка обозначения знака; заметки к теме) // *Балканские древности. Балканские чтения 1. Материалы по итогам симпозиума.* М., 1991
787. Топоров, Цивьян 1984 — *Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* О нервалианском подтексте в русском акмеизме: (Ахматова и Мандельштам) // *Russian literature*, 1984, XV, 1
788. Торсуева 1970 — *Торсуева И. Г.* Акустическая характеристика смыслового членения предложения // *Proceedings of the Sixth International congress of phonetic sciences.* Prague, 1970
789. Торсуева 1974 — *Торсуева И. Г.* Теория интонации. М., 1974
790. Торсуева 1979 — *Торсуева И. Г.* Интонация и смысл высказывания. М., 1979
791. Тронский 1953 — *Тронский И. М.* Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953
792. Тронский 1962 — *Тронский И. М.* Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962
793. Трубецкой 1960 — *Трубецкой Н. С.* Основы фонологии. М., 1960
794. Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Как следует создавать фонетическую систему искусственного международного вспомогательного языка // *Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии.* М., 1987
795. Трубецкой 1987 — *Трубецкой Н. С.* Фонология и лингвистическая география // *Трубецкой Н. С. Избранные труды по филологии.* М., 1987
796. Туркенбаев 1968 — *Туркенбаев Н.* Об интонации коммуникативных видов простого вопроса // *Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft*, 1968, Bd. 21, Hf. 6
797. Тынянов 1965 — *Тынянов Ю. Н.* Проблема стихотворного языка. М., 1965
798. Тынянов 1968 — *Тынянов Ю. Н.* Пушкин и его современники. М., 1968
799. Успенский 1965 — *Успенский Б. А.* Структурная типология языков. М., 1965

800. Успенский 1979 — *Успенский В. А.* О вещных коннотациях абстрактных существительных // Семиотика и информатика, вып. 11, М., 1979
801. Фасмер 1964—73 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1964—1973. Т. 1—4
802. Фомичев 1986 — *Фомичев А.* Поэзия Пушкина. Творческая эволюция. Л., 1986
803. Фортунатов 1956 — *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды. Т. 1. М., 1956
804. Хазагеров 1990 — *Хазагеров Г. Г.* Функционирование фигур и тропов в «Слове о полку Игореве» и «Задонщине» // Филологические науки, 1990, № 3
805. Цивьян 1971 — *Цивьян Т. В.* Заметки к дешифровке «Поэмы без героя» // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 284. Труды по знаковым системам V, Тарту, 1971
806. Цивьян 1973 — *Цивьян Т. В.* О некоторых способах отражения в языке оппозиции внешний/внутренний // Исследования в области грамматики славянских языков. М., 1973
807. Цивьян 1975 — *Цивьян Т. В.* К семантике пространственных элементов в волшебной сказке // Типологические исследования по фольклору. Сборник памяти В. Я. Проппа. М., 1975
808. Цивьян 1976 — *Цивьян Т. В.* О структуре времени и пространства в романе Достоевского «Подросток» // Russian literature, 1976, IV, № 3
809. Цивьян 1977 — *Цивьян Т. В.* «Повесть конопли»: к мифологической интерпретации одного операционного текста // Славянское и балканское языкознание. М., 1977
810. Цивьян 1978 — *Цивьян Т. В.* Дом в фольклорной модели мира // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 463. Труды по знаковым системам X, Тарту, 1978
811. Цивьян 1979 — *Цивьян Т. В.* Категория определенности-неопределенности в структуре волшебной сказки // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979
812. Цивьян 1979а — *Цивьян Т. В.* Анализ одного «александрийского» стихотворения К. Кавафиса // Славянское и балканское языкознание, М., 1979
813. Цивьян 1979б — *Цивьян Т. В.* Об одном отражении мифопоэтической традиции у Анаксимена // Balkano-Balto-Slavica. М., 1979
814. Цивьян 1979в — *Цивьян Т. В.* Наблюдения над категорией определенности-неопределенности в поэтическом тексте // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979
815. Цивьян 1979г — *Цивьян Т. В.* Категория видимого/невидимого: балканские маргиналии // Balkanica, М., 1979
816. Цивьян 1983 — *Цивьян Т. В.* Об одном особом аспекте посессивности: dat. eth. и его трансформы (на материале балканских языков) // Категория прижательности в славянских и балканских языках. Тезисы совещания. М., 1983

817. Цивьян 1992 — *Цивьян (Михайлова) Т. В.* Концепт языкового союза и современная балканистика. Научный доклад на соискание ученой степени доктора филологических наук. М., 1992
818. Цивьян 1993 — *Цивьян Т.* Текст как мера времени в архетипической модели мира // *Sprache in der Slavia und auf dem Balkan*. Wiesbaden, 1993
819. Цивьян 1999 — *Цивьян Т. В.* Движение и путь в балканской модели мира: исследования по структуре текста. М., 1999
820. Ченушэ 1971 — *Ченушэ А. Т.* Интонация некоторых видов повествования в современном молдавском языке // *Ученые записки 1 МГПИИЯ*, 1971, т. 60
821. Черкасова 1976 — *Черкасова В. И.* Интонация простого повествовательного предложения с разными видами фразового ударения при постпозиции ремы // *Вопросы фонетики и фонологии*. Иркутск, 1976
822. Чичагов 1959 — *Чичагов В. К.* О динамической структуре русского предложения // *Вопросы языкознания*, 1959, № 3
823. Чолакова 1958 — *Чолакова К.* Частиците в съвременния български книжовен език. София, 1958
824. Чумаков 1993 — *Чумаков Ю. Н.* «Сон Татьяны» как стихотворная новелла // *Русская новелла. Проблемы теории и истории*. СПб., 1993
825. Шапиро 1978 — *Шапиро Д. И.* Об использовании «расплывчатых образов» как средства изучения неосознаваемой психической деятельности // *Бессознательное. Природа. Функции. Методы исследования*. Т. III. Тбилиси, 1978
826. Шарыпкин 1976 — *Шарыпкин Д. М.* «Боян» в «Слове о полку Игореве» и поэзия скальдов // *Труды Отдела древнерусской литературы*. Л., 1976
827. Шахбагова 1970 — *Шахбагова Д. А.* Интонация общего вопроса в американском варианте английского произношения в сопоставлении с британским вариантом // *Ученые записки 1 МГПИИЯ*, 1970, т. 57
828. Шведова 1960 — *Шведова Н. Ю.* Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М., 1960
829. Шведова 1998 — *Шведова Н. Ю.* Местоимение и смысл. Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства. М., 1998
830. Шведова 1999 — *Шведова Н. Ю.* Теоретические результаты, полученные в работе над «Русским семантическим словарем» // *Вопросы языкознания*, 1999, № 1
831. Шевырев 1999 — *Шевырев С. П.* Из «Парижских эскизов». Визит к Бальзаку // *Бальзак в русской литературе*. М., 1999
832. Шелякин 1978 — *Шелякин М. А.* О семантике и употреблении неопределенных местоимений в русском языке // *Семантика номинации и семиотика устной речи*. Тарту, 1978
833. Шервинский 1963 — *Шервинский С. В.* Смысловое ударение как стихологический элемент // *Славянское языкознание. Доклады советской делегации*. V Международный съезд славистов. М., 1963

834. Шестов 1903 — *Шестов Л.* // Шекспир У. Полное собрание сочинений. Т. III. СПб., 1903
835. Шкловский 1989 — *Шкловский Вл.* Гумилев // Николай Гумилев в воспоминаниях современников. Paris — N.Y., 1989
836. Шмид 1993 — *Шмид В.* Дом-гроб, живые мертвецы и православие Адриана Прхорова. О поэтичности «Гробовщика» // Русская новелла. Проблемы теории и истории. М.; СПб., 1993
837. Шульгин 1989 — *Шульгин А. В.* Какой сон видела Марья Гавриловна? // Русская речь, 1989, № 1
838. Щерба 1947 — *Щерба Л. В.* Фонетика французского языка. М., 1947
839. Щерба 1958 — *Щерба Л. В.* Очередные проблемы языковедения // Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958
840. Щерба 1974 — *Щерба Л. В.* Пунктуация // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974
841. Эйхенбаум 1961 — *Эйхенбаум Б.* Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961
842. Эйхенбаум 1969 — *Эйхенбаум Б.* Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум Б. О прозе. Л., 1969
843. Эйхенбаум 1969а — *Эйхенбаум Б. М.* Анна Ахматова: опыт анализа // Там же.
844. Элсберг 1967 — *Элсберг И. А.* Склонение и употребление атрибутивных указательных местоимений в русском языке XII-нач. XIII вв. АКД. Л., 1967
845. Эмерсон 1995 — *Эмерсон К.* Татьяна // Вестник Московского университета, 1995, серия 9, № 6.
846. Энциклопедия лит. героев 1997 — Энциклопедия литературных героев. Зарубежная литература XVIII—XIX веков. М., 1997
847. ЭССЯ т. 1—10 — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974—1983, вып. 1—10
848. Юнг 1991 — *Юнг К. Г.* Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991
849. Языки народов СССР. II. Тюркские языки. М., 1966
850. Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977
851. Языковой облик уральского города 1990 — Языковой облик уральского города. Свердловск, 1990
852. Якобсон 1923 — *Якобсон Р.* О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским // Сборники по теории поэтического языка. Вып. V, Прага, 1923
853. Якобсон 1958 — *Якобсон Р. О.* Изучение «Слова о полку Игореве» в Соединенных Штатах Америки // Труды отдела древнерусской литературы, 1958, т. XXXI
854. Якобсон 1972 — *Якобсон Р. О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972

855. Якобсон 1985 — *Якобсон Р.* Принципы исторической фонологии // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985
856. Якобсон 1985а — *Якобсон Р. О.* К общему учению о падеже // Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985
857. Якобсон 1987 — *Якобсон Р. О.* Тайная осведомительница, воспетая Пушкиным и Мицкевичем // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987
858. Яковлев 1922 — *Яковлев Н. В.* Об источниках «Пира во время чумы» (материалы и наблюдения) // Пушкинский сборник. Памяти проф. С. А. Венгерова. М.; Пг., 1922
859. Яковлева 1992 — *Яковлева Е. С.* Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия). АДД. М., 1992
860. Якубинский 1948 — *Якубинский Л. П.* О языке «Слова о полку Игореве» // Доклады и сообщения Института русского языка РАН. М.; Л., 1948
861. Ясперс 1992 — *Ясперс К.* Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991
862. Яхнина 1971 — *Яхнина Л. Я.* Три Камю // Мастерство перевода. М., 1971. Сб. 8

Список научных трудов Татьяны Михайловны Николаевой

Монографии

1. Интонация сложного предложения в славянских языках. М., «Наука», 1969, 15,2
2. Жест и мимика у лектора. М., «Знание», 1972, 2
3. Фразовая интонация славянских языков. М., «Наука», 1977, 20
4. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. 1978 / Сост., науч. ред., вступ. ст. Ответственный редактор
5. Семантика акцентного выделения. М., «Наука», 1982, 6
6. Функции частиц в высказывании. М., «Наука», 1985, 15,2
7. Просодия Балкан. М., «Индрик», 1996, 22
8. «Слово о полку Игореве». Лингвистика текста и поэтика. М., «Индрик», 1997, 6 а. л.
9. «Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты. М., «Индрик», 1997, 15
10. Из работ Московского семиотического круга. Антология. / Вступительная статья и составление. М., «Языки русской культуры», 1997, 72 п. л.
11. От звука к тексту (в печати) 60 а. л.

Коллективные монографии

12. Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., «Наука», 1965
13. Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1979
14. Исследования по структуре текста. М., «Наука», 1987
15. Современная русская устная научная речь. Т. 1. Красноярск, 1986
16. Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1989
17. Загадка как текст. М., «Индрик», 1994 / Ответственный редактор и автор главы
18. Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1997 / Ответственный редактор и автор статьи
19. Славянские сочинительные союзы. М., 1998 / Составление, ответственное редактирование, автор раздела

Работы на правах рукописи

20. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода с русского языка и на русский язык. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. 1962, 1

21. Лингвистические проблемы типологического изучения фразовой интонации. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. 1974, 2
22. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода с русского языка и на русский язык. Канд. дис. Рук. 1962, 11
23. Лингвистические проблемы типологического изучения фразовой интонации. Докт. дис. Рук. 1974, 16

Статьи

24. Анализ русского предложения. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958, 1
25. Анализ знаков препинания при машинном переводе с русского языка // Машинный перевод. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958, 0,8
26. Машинный перевод в СССР. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1958, 1. Совм. с А. И. Мартыновой, О. С. Кулагиной
27. Определение вида глагола с помощью контекста // Машинный перевод и прикладная лингвистика, № 2 (9), 1959, 0,5
28. О строении алгоритма независимого грамматического анализа русского языка // Доклады АН СССР, т. 132, № 5. 1960, 0,2
29. Различные типы омонимии и способы их определения при МП // Вопросы языкознания, 1960, № 1, 1. Совм. с С. С. Белокрыницкой и др.
30. Построение предложения при независимом синтезе русского текста // Машинный перевод. Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1960, 0,7
31. К вопросу о различении форм на О/Е с адъективным типом основы // Машинный перевод, Изд. ИТМ и ВТ АН СССР, 1960, 0,5
32. Один из подходов к построению лексики языка-посредника // Там же, 1960, 0,5. Совм. с С. С. Белокрыницкой и др.
33. Синтез форм русских слов при МП на русский язык // Проблемы кибернетики. Вып. 5, 1961, 0,6
34. Что такое трансформационный анализ? Консультация // Вопросы языкознания, 1961, № 1, 1
35. Алгоритм независимого грамматического анализа русского текста // Доклады конференции по обработке информации. ВИНТИ АН СССР, вып. 9, 1961, 1,7
36. Структура алгоритма грамматического анализа при МП с русского языка // Машинный перевод и прикладная лингвистика, № 5, 1961, 1
37. Письменная речь и специфика ее изучения // Вопросы языкознания, 1961, № 3, 0,6
38. Классификация русских графем // Доклады конференции по обработке информации. Вып. 6, 1961, 0,6
39. Структурная типология и славянское языкознание // «Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР», № 33—34, 1961, 1. Совм с М. И. Бурлаковой, Д. М. Сегалом, В. Н. Топоровым

40. Опыт алгоритмической морфологии русского языка // Структурно-типологические исследования, М., «Наука», 1962, 1,5
41. Классификация русских глаголов по числу основ и их распределению по категориям // Там же, 1962, 0,6
42. Структурная типология и славянское языкознание // Там же, 1962, 1, 2. Совм. с М. И. Бурлаковой, Д. М. Сегалом, В. Н. Топоровым
43. Об одном подходе к типологии славянских языков // Доклады сов. делегации на V Международном съезде славистов. М., «Наука», 1963, 2, 5. Совм. с И. И. Ревзиным, Т. Н. Молошной и др.
44. Трансформационный анализ словосочетаний с прилагательным — управляющим словом // Трансформационный метод в структурной лингвистике. М., «Наука», 1964, 2
45. Что же такое графема? // Филологические науки, № 3, 1965, 0,3
46. О грамматических чередованиях в русском языке // Научно-техническая информация, № 2, 1965, 1. Совм. с Т. Н. Молошной
47. Знаки препинания, дерево предложения, морфологические категории // Структурная типология языков. М., «Наука», 1966, 0,3
48. Языкознание и паралингвистика // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., «Наука», 1966, 1, 2. Совм. с Б. А. Успенским
49. О грамматике неязыковых коммуникаций // Ученые записки Тартуского ГУ. Труды по знаковым системам, IV. 1969, 0,4
50. О синтезе через анализ // Там же, 1969, 0,4
51. О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств // Вопросы языкознания, 1968, № 6, 1
52. Невербальные средства коммуникации и их место в преподавании языка // Роль и место страноведения в практике преподавания русского языка как иностранного. М., 1969, 2
53. Интерференция неречевых и речевых средств в человеческом общении. Препринт симпозиума по Семиотике. Варшава, 1968. 1968, 1
54. Место ударения и фонетический состав слова // Фонетика. Фонология. Грамматика. К 70-летию А. А. Реформатского. М., «Наука», 1971, 0,3
55. О существующих принципах отбора речевого материала при исследовании фразовой интонации // Русская разговорная речь. Саратов, 1970, 0,4
56. Типологическое изучение фразовой интонации славянских языков // Исследования по славянскому языкознанию. К 60-летию С. Б. Бернштейна. М., «Наука», 1971, 0,4
57. Соотношение словесной и фразовой мелодики в сербском языке // Памяти академика В. В. Виноградова. М., 1971, 0,5
58. Соотношение фразовой и словесной просодии // Сборник за филологију и лингвистику, 14, Нови Сад. 1971, 1
59. Актуальное членение — категория грамматики текста // Вопросы языкознания, 1972, № 2, 1

60. К вопросу о назывании и самоназывании в русском речевом общении // Страноведение и преподавание русского языка иностранцам. М., 1972, 0,8
61. Смысловое членение текста и его индивидуальные варианты // *Semiotyka i struktura tekstu*. Warszawa, 1973, 1
62. Некоторые наблюдения над соотношением фразовой мелодики и словесных акцентов в сербском языке // Структурно-типологические исследования в области грамматики славянских языков. М., «Наука», 1973, 2,5
63. Фразовая интонация восточнославянских языков // Материалы конференции «Анализ и синтез как взаимнообусловленные методы экспериментально-фонетического исследования». Минск, 1973, 0,8
64. Место суперсегментных средств в структуре текста // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973, 0,4
65. Спроба апісання фразавай інтанацыі беларускай мовы // Беларуская лінгвістыка. 1974, 1,2
66. Интерференция речевых и неречевых средств в человеческом общении // *Recherches sur les systemes signifiants*. The Hague—Paris, 1973, 1,5
67. О включении фразовой интонации в комплекс сопоставляемых языковых фактов // Ежегодник Общеславянского лингвистического атласа 1973. М., «Наука», 1975, 2
68. «Принцип замены» А. М. Пешковского и отдельные компоненты интонации // Вопросы фонетики и обучение произношению. Изд. МГУ, 1975, 1,3
69. Исаак Иосифович Ревзин. Некролог // *Linguistica silesiana*, t. 1, 1975, 0,5
70. La force d'influence de la phrase sur celle du mot comme facteur typologique // Abstracts of papers of 8 International congress of phonetic sciences. Leeds, 1975, 0,2
71. О синтаксических отношениях единиц интонационного уровня и о соотношении фразовой интонации и синтаксиса языка // Теоретическая фонетика и обучение произношению. М., 1975, 0,5
72. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 36, № 4. 1977, 0,9
73. Анкета-вопросник для изучения фразовой интонации // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1975. М., 1977, 1
74. Лингвистика текста и ее перспективы // Новое в зарубежной лингвистике, вып. 8, М., 1978
75. Краткий словарь терминов лингвистики текста // Там же, 1978, 1
76. Уровни типологического анализа фразово-интонационных систем близкородственных языков // Интонация. Киев, «Вища школа», 1978, 1,3
77. Синтаксис устного высказывания и проблемы лингвистики текста // *Tekst, Język, Poetyka*. Warszawa, 1978, 0,8
78. The prosodic parameters of word stress and their dependence on the place of stress and on the type of stress in a given language // *Estonian papers in phonetics*, Tallinn, 1978, 0,6

79. О функциях пунктуационных знаков в современном русском языке // Современная русская пунктуация, М., «Наука», 1979, 1,2
80. Словосочетания с лексемой ОДИН. Форма, значение и их контекстная маркированность // Синтаксис текста. М., «Наука», 1979, 1,5
81. О функциональных категориях линейной грамматики // Там же, 1979, 0,6
82. Три интонационных слоя звучащей фразы // Звуковой строй языка. М., «Наука», 1979, 0,8
83. Акцентно-просодические средства выражения категории определенности-неопределенности в славянских и балканских языках // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., «Наука». 1979, 2,5
84. Введение // Там же, 1979. 0,4
85. Функции акцентного выделения и синтактико-семантическая структура высказывания // Фонетика. Фонология. Интонология. Материалы к IX Международному конгрессу фонетических наук. М., 1979, 0,5
86. Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // *Balkanica*. М., «Наука», 1979, 0,6
87. Семантика звучащего высказывания как многослойная структура // Восприятие языкового значения. Калининград, 1980, 0,5
88. «Событие» как категория текста и его грамматические характеристики // Структура текста. М., «Наука», 1980, 0,7
89. Категориально-грамматическая целостность высказывания и его прагматический аспект // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 40, № 1, 1981, 1
90. «Экстренное введение в ситуацию»: особый вид просодического выделения // Теория языка, методы его исследования и преподавания. М., «Наука», 1981, 0,6
91. «Из пламя и света рожденное слово...» // Труды по знаковым системам 14. Ученые записки Тартуского гос. ун-та, № 567, 1981, 1,1
92. Контекстуально-конситуативная обусловленность высказывания и его семантическая цельность // Текст как целое и компоненты текста. М., «Наука», 1982, 1
93. Факты славянской фразовой интонации в свете ареально-типологического подхода // *International journal of Slavic linguistics and poetics*, t. XXIV, 1982, 2,5
94. Синтаксическая акцентология и/или фразовая интонация // Фонетика. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук. М., 1983, 0,9
95. Качественные прилагательные и отражение «картины мира» // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. М., «Наука», 1983, 1
96. Slavic word stress and its acoustic realization. Preprint. 1983, 1
97. Функциональная нагрузка неопределенных местоимений в русском языке и типология ситуаций // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 42, № 4, 1983, 0,8

98. Лингвотекстологические средства в «Слове о полку Игореве». Поле прошлого-настоящего и глубинные смысловые оппозиции // *Scando-Slavica*, t. 29. 1983, 0,9
99. Функциональный синтаксис. Фразовая интонация. Диахроническое языкознание // *Актуальные вопросы интонации*. Изд. МГУ. 1984, 0,8
100. «Слово о полку Игореве». Лингвотекстологический диалог: русские—половцы // *Труды по знаковым системам* 17, Ученые записки Тартуского гос. ун-та, № 641, 1984, 1,1
101. Оппозиция «туга — веселие» и «тьма — свет» в «Слове о полку Игореве» (анализ фрагмента имманентной смысловой структуры памятника // *Проблемы структурной лингвистики-1982*. М., «Наука», 1984, 1
102. К поэтике «Слова о полку Игореве» (еще раз об аллитерациях и анаграммах) // *Зборник за филологију и лингвистику*. Београд, 1984, 0,8
103. Дейктические частицы и изолированная ситуация // *Russian linguistics*, 9, 1985, 0,5
104. Славянские частицы и некоторые проблемы типологии // *Советское славяноведение*, 1986, № 1, 0,9
105. Средства различения посессивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности*. М., «Наука», 1986, 0,7
106. К фонетике частей речи (славянские частицы и предлоги) // *Проблемы фонетики и фонологии. Материалы Всесоюзного совещания*. М., 1986, 0,3
107. Интонационная типология и проблема изучения языковых контактов // *Проблемы фонетики и фонологии*. М., «Наука», 1986, 0,4
108. Функции акцентного выделения в устной научной речи // *Современная русская устная научная речь*. Т. 1. Красноярск, 1986, 2,5
109. Единицы языка и теория текста // *Исследования по структуре текста*. М., «Наука», 1987, 2,6
110. Метатекст в тексте // *Там же*, 1987, 1
111. Автор «Слова» / Боян // *Wiener Slawistischer Almanach*, t. 19, 1987, 1
112. Именемъ нарицаемы — еже есть съказаемое // *Семиотика — 20*, Труды по знаковым системам Тартуского гос. ун-та, 1987, 1
113. Le “*semantisme implicite*” des particules // *Les particules énonciatives en Russe contemporain*, v. 2, Paris, 1987, 0,6
114. Предисловие // *Актуальные вопросы фонетики в СССР. Сборник научно-аналитических обзоров*. ИНИОН, 1987, 0,3
115. The intonology of the 80-es // *Proceedings of XI ICPHS*, vol. 2, Tallinn, 1987, 0,5
116. The typology of sentence intonation systems // *Idem.*, v. 6, 1987, 0,5
117. Функциональная нагрузка антитез и повторов в «Слове о полку Игореве» // «Слово о полку Игореве». Комплексные исследования. М., «Наука», 1988, 1,5

118. Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988, 0,8
119. Типология функционирования посессивных конструкций в славянских языках // X Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., «Наука», 1988, 1
120. «Слово о полку Игореве»: основные содержательные противопоставления // *Semiotics and the history of culture*. Columbus (Ohio), 1988, 1,5
121. Посессивность и другие содержательные категории высказывания // Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1989, 2,5
122. Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., «Наука», 1989, 0,9
123. Типология интонации и акцентное выделение // Экспериментально-фонетический анализ речи 2. Л., 1989, 0,8
124. Об одном подходе к интерпретации посессивных значений // Язык, система и функционирование. М., «Наука», 1989, 0,7
125. Фонетическая природа греческого и латинского ударения: преемственность, эволюция, скачок? // Палеобалканистика и античность. М., «Наука», 1989, 0,8
126. Интонация вопросительных предложений: славяно-финноугорские параллели // *Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Oddeljenje društvenih nauka*. Кн. 22, Сараево, 1989, 0,9
127. Три типа высказываний и иерархия интонационной нагруженности // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Ленинград—Бохум, № 2, 1989, 0,4
128. Прозвища. Опыт описания языковой личности. А. А. Реформатский // Язык и личность. М., «Наука», 1989, 0, 4 / Совм. с Е. Красильниковой и А. Супранской
129. Манипуляция смыслом и лексико-синтаксическая структура высказывания // *Revue des etudes slaves*, t. 72, f. 1—2, Paris, 1990, 0,8
130. О принципе «не-кооперации» и/или о категориях социолингвистического воздействия // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М., «Наука», 1990, 0,6
131. Опыт классификации ученых: метод — объект // Проблемы кибернетики. К 60-летию В. А. Успенского, 1990, № 3
132. Диахрония или эволюция? // Вопросы языкознания, 1991, № 2, 1,2
133. Динамическое ударение и/или вершина акцентной кривой слова // *Linguistique et slavistique. Mélanges offerts à Paul Garde*. Aix-en-Provence. 1992, 0,5
134. Н. С. Трубецкой и фонологизация динамического ударения // Н. С. Трубецкой. 100 лет. М., «Наука», 1992, 1,5

135. Первичная и вторичная семантика русских словосочетаний с неопределенными и притяжательными местоимениями // *Words are physicians for men. Сборник в честь А. Богуславского*. Fr.a.M., 1992, 1,5
136. Смерть властелина на охоте («Охота» Н. С. Гумилева и «Сероглазый король» А. А. Ахматовой) // *Russian literature*, 1992, 1
137. Семантика убеждения: лингвотекстологический анализ речи Марка Антония над гробом Юлия Цезаря // *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 27, 1991
138. Перепечатан в: Сборник статей к 70-летию Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992, 0,8
139. Просодическая схема слова и ударение. Ударение как факт фонологизации // *Вопросы языкознания*, 1993, № 2, 1
140. Временные загадки балканской просодии // *Проблемы фонетики*. 1. М., 1993, 0,6
141. Предисловие главного редактора // Там же, 0,3
142. Просодический ландшафт славянства // XI Международный съезд славистов. Славянское языкознание. М., «Наука», 1993, 1 / Совм. с М. И. Лekomцевой
143. The foundation of language evolution and actual issues of diachronic linguistics // 9-th Meeting of Language Origin Society, Oranienbaum, 1993, 0,2
144. The “double-faith” in the “The tale of Igor’s campaign” and the theme of the city // *Elementa*, v. 1, № 2, 1993, 1
145. Звучание балканского стиха // *Studia slavica*. К 70-летию Н. И. Толстого. М., «Наука», 1993, 1,3
146. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика // *Загадка как текст*. М., «Индрик», 1994, 2,1
147. Предисловие // Там же, 0,4
148. Категория времени и речевое общение на Балканах // *Знаки Балкан-2*. М., «Радикс», 1994, 1,7
149. The main tendency of language evolution // 10-th Meeting of Language Origin Society. Berkeley, 1994, 0,2
150. Определенное — неопределенное — конкретное в пословице и загадке // *Малые формы фольклора*. М., 1994, 2,5
151. Ценностная ориентация клише и штампов в современной русской речи // *Revue des études slaves*. LXVI, 3, 1995, 1, 5 / Совм. с И. А. Седаковой
152. Ответы на анкету «Основы теории интонации» // *Проблемы фонетики*. 2. 1995, 1,2
153. «Срединная проза» и парадигма социализированной оппозиции // *Вторая проза: русская литература 20-х—30-х годов*. Pisa, 1995, 1,2
154. Теория функциональной грамматики как представление языковой данности // *Вопросы языкознания*, 1995, № 1, 1,6

155. «Сны» пушкинских героев и сон Святослава Всеволодовича // Лотмановский сборник 1. М., «Ицгарант», 1995, 2,5
156. Андрей Анатольевич Зализняк. К 60-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1995, № 3, 0,3
157. Человек и Город: еще раз о «двоеверии» в «Слове о полку Игореве» // Человек в контексте культуры. Славянский мир. ИСБ РАН, 1996, 0,6
158. «Модель мира» в грамматике паремий // Филологический сборник. К 100-летию В. В. Виноградова. М., 1996, 1
159. Пушкин и Боян // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. К 70-летию Т. Г. Винокур. М., «Наука», 1996, 1,7
160. Теории происхождения языка и его эволюции — новое направление в современном языкознании // Вопросы языкознания, 1996, № 2, 1,3
161. Ярославна — три Марии — Татьяна: любящая женщина спасает героя // Московский лингвистический журнал, 1996, № 2, 0,6
162. Тема Судьбы в «Слове о полку Игореве» и пушкинских текстах // МГЛУ. Сборник научных трудов. Вып. 428. Теория и история словесности. 1996, 1,4
163. «Бусый волк» Игорь и оборотничество пушкинских героев // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., 1996, 0,7
164. «Безвременно погибший юноша» // Язык. Поэтика. Перевод. Изд. МГЛУ, Сборник научных трудов № 426, 1996, 0,4
165. Дислоговые структуры vs терминальные интонационные контуры (на материале балканских вопросительных предложений) // Acta Universitatis Nicolai Copernici, Studia Slavica 1, Zeszyt 311, 1996, 0,8
166. Текст. Как путь и как многомерное пространство // Концепт движения в языке и культуре. М., «Индрик», 1996, 1,2
167. Типология и сравнительное языкознание славянских и балканских языков // Институт славяноведения и балканистики. 50 лет. М., «Индрик», 1996, 1,2
168. *А мы швейцару: отворите двери...* (к вопросу об инвариантной семантике коммуникативной лексемы) // Облик слова. Сборник памяти акад. Д. Н. Шмелева. М., 1997, 0,6
169. Металингвистический фразеологизм — новый прием поэтики текста (по текстам романов В. Нарбиковой) // Лики языка. Сборник к 45-летию юбилею Е. А. Земской. М., «Наследие», 1998, 0,5
170. «Московский текст» в переписке А. С. Пушкина // Лотмановский сборник 2, М., «Ицгарант», М., 1997, 1,3
171. Союзы А, НО, И — индоевропейская и славянская история и функционирование // Славянские сочинительные союзы. М., 1997
172. Department of structural typology of ISB RAN: evolution of theory (в печ.). Сборник печатается в Дрездене, 1,5

173. Два направления в межвоенном языкознании Европы: схождения и специфичность (в печ.)
174. *Хотя* и *хоть* в исторической перспективе // Славянские этюды. Сборник к юбилею С. М. Толстой. М., «Индрик», 1999, 0,8
175. Новое употребление «отчества» в русской речевой традиции // *Slavia*, 1999, 0,6
176. Социолингвистическая дистрибуция речевых, коммуникативных и ментальных стереотипов (в печ., издательство «Наука»)
177. Числовые модели порока и добродетели (роль числа в «Манон Леско») // ПОЛУТРОПОН. Сборник к 70-летию В. Н. Топорова. М., «Индрик», 1998, 0,3 а. л.
178. Р. Якобсон и загадки словесного удара // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. М., РГГУ, 1999, 1,2 а. л.
179. Трагедия культурного героя // Московско-Тартуская семиотическая школа. М., «Языки русской культуры», 1998, 0,8 а. л.
180. В. Н. Топоров — К 70-летию со дня рождения // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1998, № 4, 0,3 а. л.
181. Некоторые соображения по поводу категории уступительности // Вопросы языкознания, 1999, № 1, 1,2 а. л. (совм. с И. Фужерон)
182. Три пространства Игорева похода: в «Слове»: художественное, летописное и «реальное» (в печ.)
183. «Отречение» Ю. Слезкина и русская интеллигенция на переломе // *Russian literature*, 1999, XLV—IV, Special Issue, 1,1 а. л.
184. Еще раз о загадочной Татьяне // Вестник РГНФ, № 1, 1999, 1 а. л.
185. Татьяна — загадка // Литература в школе, 1999 № 4, 0,8 а. л.
186. Несколько слов о лингвистической теории 30-х: фантазии и прозрения. Сборник к 70-летию Ю. Апресяна. 1,1 а. л. (в печ.)
187. О параллелизме в функционировании речевых клише и некоторых суперсегментных просодических моделей // Фразеология в контексте культуры. М., 1999, 1 а. л.
188. Moscow semiotic school as cultural phenomenon (в печ. в Лондоне)
189. Предисловие к сборнику «Загадка как текст 2». М., «Индрик», 1999, 0,3 а. л.
190. МГЛИА // Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. М., «Индрик», 1999, 0,4 а. л.
191. Lexical stresses and intensity peaks: variability and its causes // Abstracts of XIV International Congress of phonetic sciences. San-Francisco, 1999, 0,1 а. л.
192. Lexical stresses and intensity peaks: variability and its causes // Proceeding of ICPHS 14, San-Francisco, 1999
193. «Лексическое ударение» и «пики интенсивности» в русском именном словосочетании. Сборник к 100-летию А. А. Реформатского. 1,2 а. л. (в печ.)
194. Славянская языковая и этноязыковая системы в контакте с неславянским окружением. Предисловие к сборнику. 0,3 а. л. (в печ.)

195. Степень стабильности просодических моделей (финско-русские корреляции) 1 а. л. (в печ.)
196. Неопределенность реальной ситуации и лингвистические средства ее оформления в пушкинских текстах. Сборник к 70-летию Г. А. Золотовой. 0,6 а. л. (в печ.)
197. О возможном влиянии текста Бальзака на судьбу Пушкина и Лермонтова // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1 а. л. (в печ.)
198. Москва и Петербург в переписке Пушкина // Etudes russes II. La Russie et le Russe à travers les textes. Lille, 1999, 0,5 а. л.
199. О возможной древнейшей (славянской — ?) синтаксической категории — гипотетически (в печ.) // Сборник к 60-летию В. П. Нерознака, 0,6 а. л.
200. Металингвистический иконизм и социолингвистическая дистрибуция этикетных речевых стереотипов (в печ.) // Сборник к 70-летию Ю. С. Степанова. 0,5 а. л.

Обзоры

201. О русском языке в зарубежных работах по машинному переводу // Вопросы языкознания, 1961, № 5, 1
202. Вопросы общей лингвистики в работах Д. Болинджера // Вопросы языкознания, 1964, № 1, 1
203. Новое направление в изучении спонтанной речи // Вопросы языкознания, 1970, № 3, 1
204. О новых работах по паралингвистике // Вопросы языкознания, 1965, № 6, 1 / Совм. с Б. А. Успенским
205. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // Вопросы языкознания, 1984, № 3, 1,1
206. Славистика современных Нидерландов // Советское славяноведение, 1990, № 6, 1

Рецензии

207. K. Baldinger. Die Semasiologie // Вопросы языкознания, 1958, № 3, 0,5
208. A. Kent. Machine literature searching // Вопросы языкознания, 1960, № 3, 0,5
209. Переводная машина П. П. Смирнова-Троянского // Проблемы кибернетики, вып. 5, 1961, 0, 5 / Совм. с Т. Н. Молошной
210. Вопросы грамматики // Структурно-типологические исследования. М., «Наука», 1962, 0,2
211. Л. С. Выготский. Избранные психологические сочинения // Там же, 0,2
212. Новое в лингвистике, вып. 1 // Там же, 0,2
213. A. Hill. Introduction to linguistic structures // Там же, 0,1
214. F. Hiorth. Zur formalen Charakterisierung des Satzes // Вопросы языкознания, 1963, № 3, 0,5

215. R. B. Lees. The grammar of English nominalizations // Исследования по структурной типологии. М., «Наука», 1963, 0,5
216. М. В. Панов. А все-таки она хороша! // Русский язык в национальной школе, 1964, № 3, 0,6
217. В. Томилин. Патология, физиология и судебно-медицинская экспертиза письма // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., «Наука», 1966, 0,5
218. E. Bowmann. The minor and fragmentary sentences // Вопросы языкознания, 1968, № 2, 0,7
219. М. А. К. Halliday. Intonation and grammar in British English // Вопросы языкознания, 1970, № 5, 0,6
220. G. Neweklowsky. Slowenische Akzentstudien; T. Magner, L. Matejka. Word accent in Serbo-Croatian // Вопросы языкознания, 1974, № 5, 1
221. Kauchtschwili. La narrativa di I. S. Turgenew // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды по знаковым системам VI, 1970, 0,6
222. Чехословацкие лингвисты о Л. В. Щербе // Вопросы языкознания, 1973, № 3. 0, 9 / Совм. с Л. В. Бондарко, Г. А. Лилич
223. E. Pulgram. Syllable. Word. Nexus. Cursus // Linguistics, № 176, 1976, 0,4
224. А. А. Зализняк. Грамматический словарь русского языка // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 37, 1978, № 3, 0,3
225. Л. Калнынь, Л. Масленникова. Сопоставительная модель фонологической системы славянских языков // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. М., «Наука», 1984, 0,6
226. М. М. Гухман. Историческая типология и проблема диахронических констант // Вопросы языкознания, 1985, № 1, 0,5
227. D. Paillard. Enonciation et determination en Russe contemporain // Russian linguistics, t. 12, 1988, 0,5
228. M. Guiraud-Weber. Les propositions sans nominatif en Russe moderne // Russian linguistics, t. 13, 1989, 0,5
229. Dutch studies in South Slavic and Balcan linguistics // Советское славяноведение, 1989, № 3. 0,5
230. I. Fougeron. Prosodie et organisation du message // Russian linguistics, 1991, № 2, 0,5
231. Темпоральность. Модальность. Л., 1990 // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, т. 50, 1991, № 6, 0,4
232. I. Fougeron. Prosodie et organization du message // Вопросы языкознания, 1993, № 4, 0,3
233. Новые книги: Бюллетени фонетического фонда русского языка. Бохум, № 1—4 // Вопросы языкознания, 1994, № 3, 0,4
234. AION, "Slavistica", 1994, N 2 (Annali dell' Istituto Orientale di Napoli. Sezione slavistica // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1996, № 2, 0,3

235. R. Rathmayr. Pragmatik der Entschuldigungen. Vergleichende Untersuchung am Beispiel der Russischen Sprache und Kultur. Böhlau Verlag. Köln — Weimar — Wien. 1996 // Russian linguistics. (в печ.) 0,5

Хроника

236. Конференция по машинному переводу // Вопросы языкознания, 1959, № 5, 1
237. Научное заседание памяти Л. В. Щербы // Советское славяноведение, 1975, № 4, 0,3 / Совм. с Л. В. Бондарко
238. К 800-летию похода Игоря Новгород-Северского на половцев // Информационный Бюллетень МАИРСК, вып. 13, 1985, 0,2
239. XI Международный конгресс фонетических наук // Вопросы языкознания, 1988, № 2, 0,4 / Совм. с Л. В. Бондарко, Д. И. Эдельман
240. О деятельности Постоянной комиссии по фонологии и фонетике при ОЛЯ АН СССР // Вопросы языкознания, 1989, № 3, 0,4 / Совм. с Н. Н. Розановой

Статьи в энциклопедии

241. Музыкальное ударение // БСЭ
242. Мелодика // БСЭ
243. Тема // БСЭ
244. Рема // БСЭ
245. Паралингвистика // Философская энциклопедия, т. 4, 1965, 0,2
246. Актуальное членение предложения // Русский язык. Энциклопедия, 1979, 0,1
247. Текст // Русский язык. Энциклопедия, 1979
248. Категория определенности/неопределенности // Лингвистический энциклопедический словарь. М., «Советская энциклопедия», 1990
249. Лингвистика текста // Там же
250. Фразовое ударение // Там же
251. Эмпатия // Там же
252. Диахроническая типология // Там же
253. Паралингвистика // Там же
254. Текст // Там же
255. Теория текста // Там же
256. Универсалии языковые // Там же

Переводы

257. Д. Ворт. Трансформационный анализ конструкций с творительным падежом (англ.) // Новое в лингвистике, вып. 3, 1962, 3

258. Р. Лиз. Что такое трансформация? (англ.) // Вопросы языкознания, 1961, № 3, 1
259. Ф. Данеш, И. Вахек. Пражские исследования в области структурной лингвистики (англ.) // Пражский лингвистический кружок. М., 1967, 1
260. Д. Л. Болинджер. Интонация как универсалия. (англ.) // Типология и универсалии. М., 1972, 1
261. Р. Бернар. Ударение в существительных мужского рода в болгарском языке (франц.) // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971, 1
262. У. Брайт. Введение: параметры социолингвистики (англ.) // Новое в лингвистике, вып. 7, 1975, 1
263. С. М. Эрвин-Трипп. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия. (англ.) // Там же
264. Ф. К. Бок. Структура общества и структура языка. (англ.) // Там же
265. Э. Хауген. Лингвистика и языковое планирование (англ.) // Там же

Тезисы

266. Анализ знаков препинания при машинном переводе с русского языка // Тезисы конференции по машинному переводу. М., 1958, 0,2
267. Структура синтезирующих правил в машинном переводе при участии языка-посредника // Тезисы совещания по математической лингвистике, Л., 1959, 0,2
268. К типологии лексических соответствий // Там же / Совм. с С. С. Белокриницкой и др. 1959, 0,2
269. Типологическое сопоставление русского устного и письменного языков // Питання прикладної лінгвістики. Черновці, 1960, 0,1
270. Установление соответствий между языками при машинном переводе // Там же / Совм. с С. С. Белокриницкой и др.
271. О зависимости строения правил автоматического анализа от типа языка // Там же / Совм. с С. С. Белокриницкой и др.
272. Алгоритм независимого грамматического анализа русских текстов // Тезисы докладов на конференции по обработке информации, МП и автоматическому чтению текстов. М., 1961, 0,2
273. Трансформационный анализ словосочетаний с прилагательным-управляющим словом // Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике. М., 1961, 0,4
274. Классификация русских графем // Там же, 0,2
275. Жестовая коммуникация и ее место среди других систем человеческого общения // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962, 0,8 / Совм. с З. М. Волоцкой, Д. М. Сегалом, Т. В. Цивьян
276. Интонация и пунктуация в русском языке // Синтаксис и интонация. Тезисы конференции. М., 1962, 0,1

277. О возможности «синтеза через анализ» // Тезисы докладов летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1964, 0,2
278. Специфика эволюции пунктуационной системы внутри естественного языка // Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию. Основные проблемы эволюции языка. 11. Самарканд, 1966, 0,2
279. Структура и порождение анекдотов об остроумии великих людей // Тезисы летней школы по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1968. 0,1
280. Структура речевого высказывания и национальная специфика жеста // Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. Тезисы. М., 1969, 0,1
281. Выбор знака и коммуникативная ситуация // V Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Материалы. Тбилиси, 1970, 0,2
282. Порождение и восприятие речевых отрезков и некоторые лингвистические категории // Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике, М., 1970, 0,2
283. Лексика телеграмм // Конференция по лексикологии. Тезисы. Пермь, 1970, 0,2 / Совм. с Н. А. Меликян
284. Языковые функции фразовой интонации и ее лингвистический статус // Вопросы фонологии и фонетики. Тезисы докладов советских лингвистов на VII Международном конгрессе фонетических наук. М., 1972, 0,3
285. Место просодической системы белорусского языка в общей системе просодии восточнославянских языков // Материалы конференции «Анализ и синтез как взаимнообусловленные методы экспериментально-фонетических исследований речи». Минск, 1973, 0,8
286. La force d'influence de la prosodie de la phrase // Abstracts of papers of 7 ICPHS. Leeds, 1975, 0,1
287. Проблемы лингвистики текста и конкретные исследования балканского материала // Симпозиум по структуре балканского текста. Тезисы докладов и сообщений. М., 1976, 0,2
288. Категория связности текста как многокомпонентное иерархическое образование // Текст и аспекты его рассмотрения. Тезисы докладов и сообщений. М., 1977, 0,1
289. Functions of accent and semantic structure of utterance // Proceedings of 9-th ICPHS. Copenhagen, 1979, 02
290. Типы номинации лица в Марииинском Евангелии // Структура текста-81. Тезисы докладов. М., 1982, 0,2
291. Некоторые приемы лингвистики текста в «Слове о полку Игореве» и их функциональная нагрузка // Там же, 0,2
292. Притяжательность (посессивность) и способы ее выражения // Там же, 0,3 / Совм. с А. В. Головачевой, Т. Н. Молошной, В. В. Ивановым

293. *И справа — И слева* // Тезисы Международного симпозиума по изучению текста. Иена, 1982, 0,2
294. Тип акцентного выделения и тип связного текста // Тезисы докладов научно-методической конференции «Просодия текста». Москва, 1982, 0,2
295. Realization of word stress in Slavic languages and mechanism of its variations // Abstracts of the 10-th International congress of phonetic sciences. Dordrecht, 1983, 0,1
296. *Свой*: механизм формально-смысловой эволюции // Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы докладов. Москва, 1983, 0,2
297. Иерархия категориальных корреляций посессивности в рамках высказывания и приименного словосочетания // Там же, 0,1
298. Семантика убеждения и синтаксическая структура высказывания // Школа-семинар «Искусственный интеллект. Телави-83. Тезисы докладов». Телави, 1983, 0,2
299. Фразовая интонация: синхронно-типологический и диахронико-типологический аспекты // Fifth International Phonology Meeting. Eisenstadt. Discussion papers. Wien, 1984, 0,1
300. К соотношению формальной и содержательно-ориентированной типологии (анализ славянских данных) // III Всесоюзная конференция по теоретическим проблемам языкознания. М., 1984, 0,2
301. Референция имени, семантика словообразования, прагматические коннотации и возможность их корреляции // Конференция «Коммуникативные единицы языка. МГПИИЯ. Тезисы». М., 0,2. 1984 / Совм. с З. М. Волоцкой
302. Корреляция славянской и финно-угорской просодических систем // VI Международный конгресс финноугроведов. Тезисы. Сыктывкар, 1985, 0,2
303. Скрытая семантика высказываний с частицами // Школа-семинар по искусственному интеллекту. Кутаиси-85. Тезисы. Кутаиси, 1985, 0,2
304. Структурирование ситуации — отражение языкового менталитета (старославянский и греческий евангельские тексты) // Балканы в контексте Средиземноморья. Тезисы конференции. М., 1986, 0,1
305. Единичное и универсальное в типологической проблематике // Всесоюзная научно-практическая школа по сопоставительному и типологическому языкознанию. Звенигород, 1986, 0,1
306. Типология функционирования посессивных конструкций // Функционально-типологические проблемы грамматики. Тезисы докладов. Вологда, 1986, 0,3 / Совм. с А. В. Головачевой, Т. Н. Молошной, В. В. Ивановым
307. Непрямая социальная оценка и языковые средства ее выражения // Анализ знаковых систем. История логики и методологии науки. Киев, 1986, 0,1

308. Языковые категории и мифологемы здравого смысла // Школа-семинар по знаковым системам. Кяряку, 1986, 0,2
309. «Слово о полку Игореве»: еще раз о двоеверии // Этнолингвистика текста. Семиотика малых форм фольклора. Тезисы. М., 1988, 0,2
310. Механизм построения негативного образа: поэтика иллюкутивных сил в «Слове о полку Игореве» // Семиотические аспекты формализации интеллектуальной деятельности. Боржом, 1988, 0,2
311. Текст итальянского города в поздней русской поэзии // Всесоюзная конференция «История культуры и поэтика». Тезисы. М., 1989, 0,2
312. Ударение: разность трактовок — единство теории? // Конференция «Доказательство в фонетике и фонологии». Звенигород, 1989, 0,2
313. Смерть властелина на охоте // «Анна Ахматова и русская культура XX века». Тезисы докладов. М., 1989, 0,2
314. Балто-финноугорские-славянско-балканские просодические схождения // *Uralo-indo-germanica*. Материалы III балто-славянской конференции. М., 1990, 0,1
315. Этторе Ло Гатто — исследователь русской литературы // «Италия и славянский мир». Тезисы докладов. Москва, 1990, 0,2
316. Н. С. Трубецкой и фонологизация динамического ударения // Н. С. Трубецкой: 100 лет. М., 1990, 0,2
317. Социолингвистический портрет и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Ч. 2. М., 1991, 0,3
318. Некоторые особенности речи русских эмигрантов в Югославии // Славистика. Индоевропеистика. Ностратика. Тезисы. М., 1991, 0,2
319. Two intensity phenomena in the word prosody // 12-th International congress of phonetic sciences. Aix-en-Provence, 1991, 0,4
320. Просодия Балкан: слово-текст // Балканские древности-1992. Тезисы. М., 1992, 0,2
321. Prosodic data: one more evidence for Balkan unity // Septième congrès international d'études du Sud-Est Européen. Thessaloniki: 29 août — 4 septembre 1994. Athènes, 1994, 0,2
322. Нагорная проповедь, тема пути и неопределенный артикль // Балканские чтения 3. М., 1994, 0,2
323. *С тропинки сбилась я...* (потеря пути в пушкинских текстах) // Там же, 0,2
324. Тема «восточного врага» («Слово о полку Игореве» и пушкинские тексты) // «Миф и культура. Человек-нечеловек». Тезисы конференции. М., 1994, 0,3
325. Клишированные речения в современном русском языке // «Традиции и новые тенденции в развитии славянских литературных языков». Тезисы докладов Международной научной конференции. Москва, 1994, 0,3 / Совм. с И. А. Седаковой

326. Лингвистика XXI века: попытка прогнозирования // «Лингвистика в конце XX века». Тезисы Международной конференции. М., 1995, 0,3
327. Тема Судьбы в произведениях А. С. Пушкина // «Пушкин и славянский мир». Тезисы конференции. Алушта, 1995, 0,3
328. Качели свободы-несвободы: трагедия или спасение? // «Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии». Тезисы конференции. М., 1995, 0,3
329. Славянские языки в контакте: просодия // «Славянские языки в зеркале неславянского окружения». Тезисы конференции. М., 1996, 0,3
330. Les fondements culturels, intellectuels et linguistiques du livre Jakobson sur le vers tchèque et russe. Печ. «Jakobson: Est/ Ouest, 1915—1939». Colloque international. Crêt-Berard, Suisse, 1996, 0,1
331. Р. О. Якобсон и загадки словесного ударения // Материалы Международного конгресса «Сто лет Роману Якобсону». М., 1996, 0,3
332. Просодические характеристики ударения в русском словосочетании // Тезисы совещания Комиссии по фонетике и фонологии. Загреб (Хорватия), октябрь 1997
333. Москва и Петербург в переписке Пушкина // La Russie et les Russes a travers les textes. Lille, 1997, 0,2
334. Две заметки о «новом» в русской речевой коммуникации // «Русский язык в его функционировании». Тезисы докладов международной конференции. Третьи Шмелевские чтения. Москва, 22—24 февраля 1998 г. 0,2 а. л.
335. Возможная интерпретация «неоштокавского сдвига» и идея просодической схемы слова // «Фонетика сегодня: актуальные проблемы и университетское преподавание». Тезисы докладов Международной конференции. Звенигород, 25—27 ноября, 1998
336. Оппозиция *Я / Другой* в русском речевом общении: возможные инновации // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Материалы к коллективному исследованию. М., 1999
337. Предисловие // Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. М., 1999

Рефераты в ИНИОН

338. I. Lehiste — P. Ivić. Word and sentence prosody in Serbo-Croatian. Cambr.-L., 1986
339. Studies in compensatory lengthening. Dordrecht, 1986
340. M. Beckman. Stress and non-stress accent. Dordrecht. 1986
341. Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987
342. In honor of I. Lehiste. Dordrecht. 1987
343. A. di Cristo. De la microprosodie à l'intonosyntaxe. tt. 1—2. Aix-en-Provence, 1985

344. W. Levelt. Speaking. Dordrecht. 1989
 345. I. Fougeron. Prosodie et organization du message. Paris. 1989

Ответственный редактор и член редколлегии

346. Лингвистические исследования по общей и структурной типологии. М., «Наука», 1966. 20 а. л. Отв. ред.
 347. Новое в зарубежной лингвистике, VIII. М., «Прогресс», 1978, 25 а. л. Отв. ред.
 348. Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., «Наука», 1979, 20 а. л. Отв. ред.
 349. Звуковой строй языка. Л., «Наука» 1979, 20 а. л. Член редколлегии.
 350. Теория языка: методы его исследования и преподавания. Л., «Наука», 1981, 20 а. л. Член редколлегии.
 351. Фонетика-83. Материалы к X Международному конгрессу фонетических наук. М., «Наука», 1983, 8 а. л. Отв. ред.
 352. Категория притяжательности в славянских и балканских языках. Тезисы докладов. М., «Наука», 1983, 10 а. л. Член редколлегии.
 353. Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., «Наука», 1989. Член редколлегии.
 354. Актуальные вопросы фонетики в СССР. ИНИОН, 1989, 20 а. л. Отв. ред.
 355. Материалы по экспериментальной фонетике-2. Изд. ЛГУ, 15 а. л. Член редколлегии.
 356. Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Тезисы конференции. М., 1995, 3 а. л. Отв. ред.
 357. Славянские языки в зеркале неславянского окружения. Тезисы конференции. М., 1996. 7 а. л. Отв. ред.
 358. Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М., «Индрик», 48 а. л. Отв. ред.
 359. Энциклопедия «Русский язык». М., «Дрофа», 1997. Член редколлегии.
 360. Загадка как текст 2, М., «Индрик», 1999. Отв. ред.
 361. Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сборник к 70-летию В. В. Иванова. М., ОГИ, 1999. Член редколлегии.
 362. Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. Сборник к 100-летию Р. Якобсона. М., 1999. Член редколлегии.
 363. ПОЛУТРОПОН. К 70-летию В. Н. Топорова. М., «Индрик», 1998. Отв. ред.
 364. Речевые и ментальные стереотипы в синхронии и диахронии. Сборник материалов к коллективному труду. М., 1999. Отв. ред.

Переводы работ автора

365. Анализ русского предложения, 1958 (№ 24) — на английский язык.
 366. Это же — на китайский язык.

367. Анализ знаков препинания при МП (№ 25) — на китайский язык.
368. О соотношении сегментных указателей текста и суперсегментных языковых средств (№ 51) — на английский язык.
369. О грамматике неязыковых коммуникаций (№ 49) — на английский язык.
370. «Из пламя и света рожденное слово...» (№ 91) — на английский язык.

Татьяна Михайловна Николаева

ОТ ЗВУКА К ТЕКСТУ

Издатель А. Кошелев

Корректор М. М. Коробова

Подписано в печать 10.06.2000. Формат 70х100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 54,825. Заказ № 371

Издательство «Языки русской культуры».
129345, Москва, Оборонная, 6–105; ЛР № 071304 от 03.07.96.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: mik@sch-lrc.msk.ru
Каталог в ИНТЕРНЕТ
<http://postman.ru/~lrc-mik>

Отпечатано с оригинал-макета в ППП «Типография “Наука”».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-p, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).



Т. М. НИКОЛАЕВА • ОТ ЗВУКА К ТЕКСТУ